



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Confined to Library

~~30261~~



PG-3470.P28.A1.1866 (1-3)

= Rep. Slav. 509

3 111 2

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Издание Ф. Павленкова.

Цена за каждую часть 1 р.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Головачова.

(Вознесенскій пр., д. №№ 23 и 21.)

1866.

1. 2. 3.

Power



СТАТЬИ КРИТИЧЕСКІЯ.

СТОЯЧАЯ ВОДА.

(Сочиненія А. Ѳ. Писемскаго. Томъ I. 1861)

I.

Говоря о сочиненіяхъ Писемскаго, я не буду рѣшать вопроса о степени таланта автора и о художественномъ достоинствѣ его произведеній; эти вопросы давно разсмотрѣны и рѣшены. Стоить раскрыть любую повѣсть, или драму, любой романъ Писемскаго, чтобы силою непосредственнаго чувства убѣдиться въ томъ, что выведенныя въ нихъ личности живые люди, выражающіе собою въ полной силѣ особенности той почвы, на которой они родились и выросли. Толковать на нѣсколькихъ страницахъ читателю то, что совершенно очевидно, значить понапрасну тратить время и трудъ; на этомъ основаніи я постараюсь въ моей статьѣ заняться дѣломъ болѣе интереснымъ и, какъ мнѣ кажется, болѣе полезнымъ. Вмѣсто того, чтобы говорить о Писемскомъ, я буду говорить о тѣхъ сторонахъ жизни, которыя представляютъ намъ нѣкоторыя изъ его произведеній.—Чтобы не растеряться во множествѣ разнообразныхъ явленій, я ограничусь одною повѣстью Писемскаго. Эта повѣсть—«Тюфякъ», очень проста по завязкѣ и при этой простотѣ такъ глубоко и сильно захватываетъ матеріалы изъ живой дѣйствительности, что всѣ сѣрыя и грязныя стороны нашей жизни и нашего общества представляются разомъ воображенію читателя. Эти стороны жизни стоитъ разсматривать и изучать. Надъ ними задумываются и будутъ постоянно задумываться люди съ пытливымъ умомъ и съ теплымъ сердцемъ; ихъ не выкинешь изъ жизни, и не заставишь самого себя забыть о ихъ существованіи. Гнетъ, несправедливость, незаконныя посягательства однихъ, безполезныя страданія другихъ, апатическое равнодушіе третьихъ, гоненія, воздвигаемыя обществомъ противъ самобытности отдѣльныхъ лич-

ностей,—все это факты, которыхъ вы не опровергнете фразой, и къ которымъ вы не останетесь равнодушны, несмотря ни на какое олимпійское спокойствіе. Эти факты заставляли страдать нашихъ отцовъ и дѣдовъ; эти же факты тяготѣютъ надъ нами и вѣроятно будутъ еще отвращать жизнь нашего потомства; всѣ мы терпимъ одну участь, но между тѣмъ, наши отношенія къ тому, что заставляетъ насъ страдать, существенно измѣняются; каждое новое поколѣніе относится къ своимъ бѣдствіямъ и страданіямъ проще, смѣлѣе и практичнѣе, чѣмъ относилось предъидущее поколѣніе. Вѣроятно, ни одинъ образованный человѣкъ не будетъ теперь жаловаться на свою судьбу, и не увидитъ наказанія свыше въ постигшей его неудачѣ; вѣроятно, ни одна порядочная дѣвушка не считаетъ своею обязанностью въ выборѣ мужа руководствоваться вкусомъ дражайшихъ родителей; наша личная свобода конечно стѣсняется общественнымъ мнѣніемъ или, вѣрнѣе, свѣтскимъ *qu'en dira-t-on*, но по крайней мѣрѣ мы уже потеряли вѣру въ непреложность этихъ свѣтскихъ законовъ, и руководствуемся ими большею частью по силѣ привычки, потому что недостаетъ силъ и энергіи возстать въ жизни противъ того, что наша мысль признала стѣснительнымъ и нелѣпымъ. Всѣ мы большіе прогрессисты въ области мысли; на словахъ мы доводимъ до геркулесовыхъ столбовъ уваженіе наше къ личности человѣка; въ жизни намъ представляется конечно другая картина; наши Уильберфорсы и Говарды часто являются поборниками произвольныхъ законовъ этикета, книжниками и фарисеями, или просто мандаринами и столоначальниками. Но этимъ иногда забавнымъ, а часто и очень печальнымъ, противорѣчіемъ между прогрессивнымъ сужденіемъ и рутиннымъ поступкомъ смущаться не слѣдуетъ; и то хорошо, что думать начинаютъ по человѣчески; вы не забудьте, что эти человѣческія мысли подхватываетъ на лету молодежь; эта молодежь не умѣетъ двоить свое существо, не умѣетъ хитрить сама съ собою и принимаетъ за чистую монету тѣ слова, которыя вы произносите въ минуту увлеченія и отъ которыхъ вы, можетъ быть, завтра отречетесь вашими поступками. За поколѣніемъ людей много говорящихъ выдвигается незамѣтно поколѣніе людей, дѣлающихъ дѣло. *Pia desideria* мало по малу перестаютъ быть неуловимыми мечтами. Всякому поступку предшествуетъ размышленіе; отдѣльный человѣкъ размышляетъ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ или часовъ; общество находится въ раздумьи цѣлыми десятилѣтіями, и это время наружнаго бездѣйствія было бы несправедливо считать потерянными. Умственная зрѣлость нашихъ отцовъ идетъ намъ на пользу, и хотя мы перерѣшаемъ по своему большую часть рѣшенныхъ ими вопросовъ, но перерѣшаемъ-то мы ихъ именно потому, что ихъ рѣшенія оказались неудовлетворительными, избавляя насъ такимъ образомъ отъ дорого стоящихъ заблужденій.

II.

Много ли мы подвинулись впередъ съ того времени, какъ написанъ Тюфякъ? Съ тѣхъ поръ прошло одиннадцать лѣтъ и много воды утекло. Открылись поѣзды по московской желѣзной дорогѣ, открылось пароходство по Волгѣ, возникло множество акціонерныхъ компаній, появилось въ свѣтъ и упало множество журналовъ и газетъ, взяли Севастополь, заключенъ парижскій миръ, поднятъ крестьянскій вопросъ, родились воскресныя школы, появились въ университетѣ женщины, а между тѣмъ, читая повѣсть Писемскаго, поневолѣ скажешь: знакомыя все лица, да и до такой степени знакомы, что всѣхъ ихъ можно встрѣтить въ любой губернской залѣ дворянскаго собранія, гдѣ такъ безцвѣтно, безжизненно и вяло. Въ этихъ углахъ уходитъ много свѣжихъ силъ на безсмысленныя попытки подладиться подъ тонъ окружающей среды; многіе люди, слабые отъ природы, дѣлаются совершенною дрянью оттого, что неумѣютъ быть самими собою и ни въ чемъ не могутъ отдѣлится отъ общаго хора, поющаго съ чужаго голоса. Этотъ хоръ слѣдуетъ модѣ въ образѣ мыслей, въ политическихъ убѣжденіяхъ, въ семейной жизни, начиная отъ устройства столовой и кончая воспитаніемъ дѣтей. Такимъ образомъ плывутъ по теченію два разряда людей. Одни пронохиваютъ, откуда дуетъ вѣтеръ и, соображаясь съ своими личными выгодами, разставляютъ свои паруса и мѣняютъ убѣжденія. Другіе совершенно безкорыстно, какъ зеркало, отражаютъ въ себѣ то, что проходитъ мимо нихъ, только потому, что въ нихъ нѣтъ рѣшительно ничего своего. Ихъ дѣло сочувствовать, восторгаться, или негодовать, аплодировать или шикать, либеральничать или подличать, смотря потому, что дѣлается кругомъ. Кто нибудь крикнетъ въ толпѣ, десять голосовъ подхватятъ, еще не зная хорошенько, къ чему клонится дѣло; возгласъ, поддержанный десятью безкорыстными клакерами, превращается уже въ крикъ и получаетъ уже авторитетъ и обязательную силу. *Chaque sot trouve un plus sot qui l'admire*; комокъ снѣга, сорвавшійся съ верхушки горы, катится внизъ и растетъ отъ прилипающихъ къ нему снѣжинокъ; онъ превращается въ безобразную лавину и давитъ своимъ нелѣпнымъ паденіемъ все, что попадаетъ на пути; дома, деревья, скотъ, люди, все поглощается и гибнетъ. Спросите у лавины: къ чему она это сдѣлала? Вы не получите отъ нея отвѣта, и точно также не узнаете отъ толпы побудительной причины ея словъ и поступковъ, отъ которыхъ можетъ быть страдаютъ ваше доброе имя и душевное спокойствіе. Да, можно сказать рѣшительно, что лучше ошибаться по собственному убѣжденію,

нежели повторять истину только потому, что ее твердить большинство. Кто ошибается, тотъ можетъ сознать свою ошибку, того можно убѣдить, въ томъ можно встрѣтить сопротивленіе или дѣйствительное сочувствіе. Но что же вы сдѣлаете съ человѣкомъ, у котораго нѣтъ личности, на котораго нельзя ни надѣяться, ни разсердиться, потому что причина его дѣйствій, словъ и движеній лежитъ въ окружающемъ мірѣ, а не въ немъ самомъ? Что вы сдѣлаете съ этими вѣчными дѣтьми, для которыхъ послѣднее произнесенное слово служить закономъ, и для которыхъ противъ безсознательнаго крика большинства нѣтъ апелляціи?— Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе, вотъ болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика; вотъ что часто мѣшаетъ развитію молодаго ума, вотъ что заставляеть людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ.

III.

Семейная драма, составляющая сущность повѣсти Писемскаго «Тюфякъ», разыгрывается именно въ той душевной атмосферѣ, въ которой старые и молодые, мужчины и женщины съ утра до вечера играютъ въ гости, сплетничаютъ другъ на друга и занимаются картами, какъ существенно важнымъ дѣломъ. Три молодыхъ личности, не обиженные природою, измучиваются, вянутъ и погибаютъ въ этой атмосферѣ. Въ этихъ личностяхъ нѣтъ ничего особеннаго ни въ дурную, ни въ хорошую сторону; они не гении, и не уроды; одаренные достаточною долею ума и практическаго смысла, они могли бы прожить себѣ въ свое удовольствіе, вырастить съ полдюжины дѣтей и умереть спокойно, оставивъ по себѣ пріятное воспоминаніе въ сердцахъ признательнаго потомства, т. е. своихъ дѣтей и внучатъ. Выходить совсѣмъ не то, чего слѣдовало ожидать. Одинъ изъ трехъ — Павелъ Бешметевъ спивается съ кругу и умираетъ въ молодыхъ лѣтахъ. Другая — жена Бешметева, проводитъ молодость въ грубыхъ семейныхъ сценахъ и остается вдовою тогда, когда уже не знаетъ, что дѣлать съ своею свободою; третья — сестра Бешметева, — посвящаетъ жизнь свою служенію обязанности, живетъ для своихъ дѣтей, терпитъ дурака мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова и медленно хилѣетъ, потому что съ одною обязанностью не проживешь жизни.

И это жизни!.. Стоитъ ли заботиться о своемъ пропитаніи, поддерживать свое здоровье, беречься простуды, только для того, чтобы видѣть, какъ день смѣняется ночью, какъ чередуются времена года, какъ

подростають одни люди и старѣются другіе? Если жизнь не даетъ ни живаго наслажденія, ни занимательнаго труда, то зачѣмъ же жить? зачѣмъ пользоваться самосознаніемъ, когда самъ не находишь для него цѣли и приложенія? Странно! Этотъ вопросъ представляется самъ собою, какъ только взглянешь на себя, какъ только отдашь себѣ отчетъ въ своемъ прошедшемъ, въ настоящемъ и въ предполагаемомъ будущемъ; между тѣмъ изъ десяти знакомыхъ вамъ личностей врядъ ли одна будетъ въ состояніи отвѣчать на этотъ вопросъ удовлетворительно, врядъ ли одна сѣмѣетъ представить причины и оправданія своего бытія; сказать проще, рѣдкій человѣкъ окажется довольнымъ своею судьбою, и между тѣмъ, изъ этихъ недовольныхъ рѣдкій старается выйти изъ своего положенія и устроить свою жизнь такъ, какъ бы ему самому хотѣлось. Мы опутаны разными связями и отношеніями, мы стѣснены разными соображеніями, неимѣющими ничего общаго съ нашею свободою волею, но стѣснены не фактически, а нравственно; надъ нами въ большей части случаевъ тагетѣтъ не матеріальная сила, а *scrupule de conscience*, и мы такъ робки и слабы, что не можемъ сбросить съ себя даже этого ничтожнаго ограниченія. Безличность, безгласность, инерція,—куда ни поглядишь,—такъ и лѣзутъ въ глаза; эти свойства въ большей части случаевъ составляютъ основу ненормальнаго положенія, начиная отъ чисто комическаго и кончая страшно-трагическимъ. Возьмите съ одной стороны «Женитьбу» Гоголя, гдѣ безличность воплощена въ надворномъ совѣтникѣ Подколесинѣ, съ другой стороны «Тюфякъ» Писемскаго, гдѣ вы видите вынужденную безгласность со стороны Юліи Кураевой, которую отецъ насильно выдаетъ замужъ за Бешметева. Въ первомъ случаѣ вы отъ души смѣетесь и если дадите себѣ трудъ взглянуть въ личность Подколесина, то просто назовете его козлакомъ, какъ не разъ величаетъ его услужливый пріятель Кочкаревъ. Во второмъ случаѣ вамъ будетъ не до смѣху; искреннее негодованіе и глубокое сочувствіе къ оскорбляемой личности заговорить въ вашей душѣ тогда, когда вы прочтете, напр., такого рода сцену: Юлія, проплакавъ цѣлый день послѣ помолвки, къ вечеру слѣгла въ постель, съ сильною головою болью. Отецъ ея, провѣздивъ цѣлый день съ Бешметевымъ за разными покупками, приводитъ его въ спальню своей дочери, показывая видъ, что доставляетъ ей этимъ величайшее удовольствіе. Но этимъ еще не кончилось дѣло.

— А что, голова болитъ? спрашиваетъ онъ у дочери.

— Болитъ, папа.

— Хочешь, а тебѣ лекарство скажу?

— Скажите.

— Поцѣлуй жениха. Сейчасъ пройдетъ; не такъ ли, Павелъ Васильевичъ?

— Что это, папа? сказала Юлія.

Павель покраснѣлъ.

— Непремѣнно пройдетъ. Ну-те-ка, Павель Васильевичъ, лечите невѣсту смѣлѣй.

Онъ взялъ Павла за руку и поднялъ со стула.

— Поцѣлуй, Юлія: съ женихомъ-то и надобно цѣловаться.

Павель дрожалъ всѣмъ тѣломъ, да, кажется, и Юлія не слишкомъ было легко исполнить приказаніе папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцѣловала жениха, а потомъ сейчасъ же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платкомъ, но Павель ничего этого не видалъ.

Хороши всѣ актеры этой грязной сцены! Хорошъ отецъ, торгующій поцѣлуями своей дочери, и распоряжающійся ея тѣломъ, какъ своею собственностію; хорошъ тюфякъ-женихъ, цѣлующій свою невѣсту по мановенію папеньки; да, коли говорить правду, хороша и та дѣвушка, которая не смѣетъ выйти изъ-подъ родительской власти, несмотря на то, что эта власть наталкиваетъ ее на такія гадости, отъ которыхъ возмущается ея физическая и нравственная природа. Невольное презрѣніе къ рабской безгласности продаваемой дѣвушки смѣнится въ вашей душѣ состраданіемъ и сочувствіемъ къ оскорбляемой личности только потому, что вы видите весь механизмъ домашняго гнета, тяготящаго надъ несчастною жертвою, вы слышите строгое приказаніе въ словахъ Владиміра Андренча «поцѣлуй, Юлія,» вы понимаете, что послѣ ухода жениха можетъ начаться такая семейная сцена, которой грязныя подробности не будутъ даже прикрыты флеромъ внѣшняго приличія; Владиміръ Андренчъ начнетъ дѣлать внушенія, потомъ браниться и кричать, потомъ никто не поручится намъ за то, что онъ не прибѣтъ или не высѣчетъ непочтительную дочь. Все это будетъ происходить въ тѣсномъ семейномъ кругу, безъ постороннихъ свидѣтелей; все это будетъ тщательно скрыто отъ ближайшихъ сосѣдей, насколько можно скрыть семейную тайну въ губернскомъ городѣ, гдѣ всѣ слуги знакомы между собою, и гдѣ всѣ господа имѣютъ обыкновеніе выпрашивать у своихъ лакеевъ подробности скандальной хроники; все это, повторю, совершится безъ официальной огласки, но побои останутся побоями, и не сдѣлаются пріятнѣе и сноснѣе отъ того, что ихъ не будутъ считать посторонніе зрители. Юлія систематически развращена холопскимъ воспитаніемъ; она забита пріемами военной дисциплины, примѣненными къ патріархальному быту русскаго семейства; она боится папеньки даже послѣ своего замужества; она въ отношеніи къ нему на всю жизнь остается дѣвченкою, и потому отъ нея нельзя многого требовать. Чтобы бороться съ семейнымъ деспотизмомъ, не разборчивымъ въ средствахъ, надо обладать значительною силою характера. Сила характера развивается на свободѣ, и

глохнетъ подъ вѣшнимъ гнетомъ. Юлія не виновата въ томъ, что она сдѣлалась дрянью подъ ферулою своего нѣжнаго родителя, но въ ту минуту, когда мы ее видимъ, она является уже вполне дрянью, женщиною, отъ которой невозможно ожидать ни благороднаго порыва чувства, ни живаго проблеска мысли. Это губернская барышня въ полномъ смыслѣ этого слова. Умъ ея не занятъ никакими серьезными интересами, и скользитъ по поверхности окружающихъ явленій, не вглядываясь въ нихъ и не отдавая себѣ отчета въ собственныхъ своихъ впечатлѣніяхъ. Она наряжается, выѣзжаетъ, выслушиваетъ любезности, поддерживаетъ салонные разговоры, шепчется съ своими подругами, читаетъ попадающіеся подъ руку романы, ѣздитъ съ визитами и возвращается домой, ложится спать и встаетъ, словомъ живетъ со дня на день, ни разу не спросивъ себя о томъ, есть ли въ ея жизни какойнибудь смыслъ, хорошо ли ей живется на свѣтѣ, и нельзя ли жить какънибудь поинѣе и разумнѣе. Она умѣетъ мечтать о будущемъ, о томъ, что «выйдетъ за какогонибудь гвардейскаго офицера, который увезетъ ее въ Петербургъ и она будетъ гулять съ нимъ по невскому проспекту, блистать въ высшемъ свѣтѣ, будетъ представлена ко двору, сдѣлается статсъ-дамой.»

Чего, чего нѣтъ въ этихъ мечтахъ! Гвардейскіе эполеты мужа, невскій проспектъ, высшій свѣтъ и наконецъ дворъ, какъ конечная цѣль всѣхъ стремленій! Характеръ этихъ мечтаній находится въ строгой гармоніи съ характеромъ того образа жизни, который ведетъ Юлія въ родительскомъ домѣ. Всѣ наслажденія, о которыхъ она мечтаетъ, оказываются наслажденіями чисто вѣшними и кромѣ того, совершенно условными и искусственными. Мечтая объ этихъ наслажденіяхъ, дѣвушка мечтаетъ не отъ своего лица, а отъ лица того кружка, въ которомъ она выросла. Почему пріятнѣе выйди замужъ за гвардейскаго офицера, чѣмъ за губернскаго чиновника? Почему пріятнѣе блистать въ высшемъ свѣтѣ, чѣмъ въ среднемъ кругу? Неужели эстетическое чувство удовлетворится созерцаніемъ красныхъ отворотомъ гвардейскаго мундира или брилліантовыхъ фермуаровъ, надѣтыхъ на дамахъ высшего свѣта? Неужели званіе гвардейскаго офицера или великосвѣтской дамы достается только людямъ, отличающимся замѣчательнымъ умомъ, нѣжностью чувства и высокимъ образованіемъ? Неужели всякій гвардейскій офицеръ способенъ быть хорошимъ мужемъ, а всякая великосвѣтская дама — пріятною собесѣдницею? Какъ ни была Юлія мало развита, а мнѣ кажется, и у ней хватило бы здраваго смысла на то, чтобы найти подобные вопросы совершенно бессмысленными. Стало—быть, что же ее привлекало? что вызывало въ головѣ ея эти завѣтные мечты? Ясно, что она мечтаетъ именно такъ только потому, что точно такъ же мечтаютъ ея подруги. Всѣ говорятъ, что блистать въ высшемъ свѣтѣ весело; какъ же не повѣрить

всѣмъ? Какъ не положиться на общій говоръ, когда нѣтъ ни собственнаго сужденія, ни ясныхъ собственныхъ желаній? Мечтая съ чужаго голоса, Юлія точно также съ чужаго голоса ведетъ свою дѣйствительную жизнь, выпедши замужъ за Бешметева. Она выѣзжаетъ и наряжается, и кромѣ этого ничего не дѣлаетъ. Да что же ей дѣлать? Когда она жила въ родительскомъ домѣ, ей иногда приходилось отказаться отъ какого нубудъ предполагаемаго выѣзда собственно потому, что этотъ выѣздъ могъ нарушить финансовыя или дипломатическія соображенія главы семейства. Очень понятно, что въ подобныхъ случаяхъ, Юлія мечтала о замужествѣ, какъ о вожделѣнной минутѣ освобожденія. Было бы странно, еслибы она не пользовалась этою минутою. Дѣйствительность разбила большую часть ея воздушныхъ замковъ. Петербургъ, гвардейскіе эполеты и высшій свѣтъ оказались миражемъ. Надо же было хоть чѣмъ нибудъ вознаградить себя; надо было пожить въ свое удовольствіе хоть въ тѣхъ узенькихъ и бѣдненькихъ предѣлахъ, которые очертила вокругъ нея судьба. А какъ жить въ свое удовольствіе? Вѣдь это, воля наша, вопросъ очень важный. Не многіе въ состояніи рѣшить его совершенно ясно и удовлетворительно для самихъ себя, а кто на это способенъ, тотъ почти навѣрное устроитъ себѣ жизнь по-своему и не будетъ ни въ какомъ случаѣ несчастнымъ. Юлія не могла рѣшить этого вопроса удовлетворительно; ей недоставало для этого двухъ вещей: знанія жизни вообще, и знанія своей собственной личности; она не знала, чего можно требовать отъ жизни и не знала, чего требуетъ именно она. Въ подобномъ затруднительномъ положеніи надо было поневолѣ пойти торною дорогою, по которой раньше ея шли сотни губернскихъ барышень, сдѣлавшихся дамами по волѣ заботливыхъ родителей. Двинувшись впередъ по этому пути, Юлія не могла остановиться; пустая жизнь отнимаетъ силы даже подумать о серьезномъ дѣлѣ; если бы Юлія даже подозрѣвала существованіе и возможность какой нибудъ другой жизни, она не пожелала бы ее выбрать; если бы даже она пожелала этого, у ней не хватило бы энергіи на то, чтобы осуществить это желаніе; ни въ себѣ самой, ни вокругъ себя она не нашла бы поддержки, и только бессильное отрицаніе и инстинктивное недовольство своимъ настоящимъ положеніемъ было бы результатомъ этихъ желаній. Впрочемъ бессознательное недовольство, скука и пресыщеніе неминуемо выпали бы на долю Юліи, еслибы ей никто не мѣшалъ идти по той дорогѣ, на которую навело ее вліяніе общества. Юлія навѣрно бы соскучилась отъ выѣздовъ и нарядовъ, еслибы никто не мѣшалъ ей выѣзжать и рядиться. Но жизнь ея измѣнилась подъ вліяніемъ двухъ обстоятельствъ: разладъ съ мужемъ и зародившаяся въ ея душѣ любовь къ постороннему мужчинѣ поневолѣ отвлекли ея вниманіе отъ выѣздовъ и нарядовъ; пришлось отстаивать свою свободу отъ пассивной оппозиціи тюфяка Бешметева; пришлось ежеминутно жить

съ образомъ любимаго человѣка, и внѣшнія удовольствія губернской свѣтской жизни потеряли половину своей практической важности и большую часть своей прелести; дрязги жизни воплотились въ личности докучливаго мужа, поэзія жизни, которой почти не подозрѣвала Юлія, сказала сама собою въ восторженномъ поклоненіи красивому, идеализованному образу Бахтіарова. Юлія въ первый разъ перестала быть куклою и почувствовала себя женщиною, существомъ любящимъ и требующимъ сочувствія. Дурно ли; хорошо ли она пристроила свое чувство, это уже совсѣмъ другой вопросъ. Главное дѣло въ томъ, что она любила; однимъ этимъ фактомъ она становилась неизмѣримо выше той Юліи, которая мечтала о гвардейскомъ офицерѣ и о Невскомъ проспектѣ. Любя красивую фигуру, она выражала свою личность, жила своею жизнью, своими глазами принимала и своимъ умомъ обсуживала впечатлѣнія. Она ошибалась, но ошибалась, какъ свойственно человѣку ошибаться; она, по крайней мѣрѣ, переставала быть обезьяною или глупымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ зажженной папироски единственно потому, что вокругъ него курать взрослые. Въ любви Юліи къ Бахтіарову есть недостатокъ разборчивости, есть неумѣіе вглядываться въ людей и отличать сусальное золото отъ настоящаго, но этому чувству нельзя отказать въ нѣкоторой высотѣ нравственныхъ требованій. Юлія не умѣетъ распознать настоящаго Бахтіарова, но тотъ Бахтіаровъ, котораго она любитъ, т. е. то воображаемое лицо, которое она ставитъ на мѣсто дѣйствительно существующаго, во все не дурной, и даже не дюжинный человѣкъ. Какъ только Бахтіаровъ оказывается подлецомъ, такъ онъ погибаетъ въ глазахъ Юліи; женщина по умѣ и поопытнѣ Юліи разобрала бы своего героя раньше, объ этомъ спору нѣтъ; но дѣло въ томъ, что умственная неразвитость Юліи, а не нравственная испорченность ея была причиною ея увлеченія. Она любила хорошую и красивую личность и только не видѣла того, что эта личность не имѣетъ ничего общаго съ настоящимъ Бахтіаровымъ. Кто еще не жилъ, тотъ и не умѣетъ жить; кто никогда не мыслилъ и не наблюдалъ, тотъ не можетъ распознавать характеры окружающихъ людей. Юлія не виновата въ своей ошибкѣ. Какъ жертва своего воспитанія и своего общества, она можетъ возбудить къ себѣ состраданіе; горести и радости ея внутренняго міра такъ мелки и ничтожны, что имъ мудрено сочувствовать; разсматривая ихъ, придется только пожалѣть о человѣческой личности, тратящей нравственныя силы на пустыя и безсвязныя тревоги. Словомъ, Юлія—личность очень обыкновенная по врожденнымъ способностямъ, испорченная безобразною домашнею дисциплиною и постепенно мельчающая подъ вліяніемъ нелѣпыхъ условій семейной и общественной жизни. Личность ея очень не изыщна именно потому, что въ большей части случаевъ она сливается съ окружающимъ обществомъ, бонется отъ него отшатнуться, по рукамъ и по

ногамъ связана его предрасудками и раздѣляетъ почти всѣ его вкусы и наклонности. Она почти нигдѣ не составляетъ исключенія ни въ худшую, ни въ лучшую сторону. Любя Бахтіарова, она порой увлекается и дѣлаетъ неосторожный поступокъ; эти минуты увлеченія выражаютъ собою лучшія, живыя стороны ея характера, но къ сожалѣнію она увлекается дряннымъ человѣкомъ, и недостойная личность ея героя бросаетъ грязную тѣнь на чистоту ея порывовъ. Къ тому же эти порывы слишкомъ слабы; она дѣлаетъ неосторожный шагъ и оглядывается по сторонамъ, прячется, боится и папеньки и мужа. На ея мѣстѣ, женщина способная сильно любить, увлеклась бы за предѣлы всякаго приличія и надѣлала бы множество яркихъ глупостей. На ея мѣстѣ женщина съ твердымъ и честнымъ характеромъ не стала бы прятаться и гордо пошла бы навстрѣчу домашнимъ сценамъ и общественному стыду. Но Юлія не изъ тѣхъ; ей хочется служить и богу и мамону, и вслѣдствіе этого изъ нея выходитъ ни то ни се, ни богу свѣча, ни чорту кочерга, какъ выражается наше простанародье.

IV.

А что за человѣкъ мужъ Юліи? — Учился онъ въ университетѣ и мечтаетъ о магистерскомъ экзаменѣ. Въ немъ есть сходство съ Обломовымъ, и самое существенное различіе между этими двумя личностями заключается въ различіи манеры Гончарова и Писемскаго. Гончаровъ щадитъ и любитъ своего героя, а Писемскій безжалостно продергиваетъ свое созданіе, гдѣ только можно, и продергиваетъ его, безъ злобной раздражительности, спокойно, холодно и почти весело. При всей своей объективности, Гончаровъ можетъ быть названъ лирикомъ въ сравненіи съ Писемскимъ. Гончаровъ сочувствуетъ отдѣльнымъ личностямъ своихъ произведеній и отдѣльнымъ поступкамъ своихъ героев; иное онъ осуждаетъ, иное объясняетъ и оправдываетъ; критикъ часто уравниваетъ въ немъ художника. Ничего подобнаго не встрѣтите вы у Писемскаго; его воззрѣній и отношеній къ идеалу вы нигдѣ не встрѣтите, они даже и не просвѣчиваютъ нигдѣ. Онъ никому не сочувствуетъ, никому и ничѣмъ не увлекается, ни отъ чего не приходитъ въ негодованіе, никого не осуждаетъ и не оправдываетъ. Грязь жизни остается грязью; сырой фактъ такъ и бьетъ въ глаза; берите его какъ онъ есть, осмысливайте, осуждайте, оправдывайте—это ваше дѣло; голосъ автора не поддержитъ васъ въ вашемъ критическомъ процессѣ и не заспоритъ съ вами. — Бешметевъ и Обломовъ похожи другъ на друга тѣмъ, что

оба зависятъ отъ окружающей обстановки, несмотря на то, что стоятъ выше ея по умственному развитію. Отсутствіе активной инициативы, отсутствіе твердой оппозиціи, шаткость и слабость—вотъ основныя черты ихъ характера. Бешметевъ такъ же слабъ, какъ Обломовъ, и притомъ нисколько не лѣнивъ; онъ былъ бы способенъ двигаться впередъ, если бы кто нибудь велъ его за собою или толкалъ его сзади; общество, въ которое онъ попадаетъ, употребляетъ всѣ усилія, чтобы задержать и отодвинуть его назадъ; онъ страдаетъ отъ этого, но поддается и опускается съ ужасающею быстротою. Неопытный въ житейскихъ дѣлахъ, онъ позволяетъ женить себя черезъ сваху, и не понимаетъ того, что невѣста его терпѣть не можетъ, а что родители смотрятъ на него, какъ на владѣльца пятидесяти незаложенныхъ душъ. Не умѣя ни отразить нападковъ крикливой родни своей, ни отмалчиваться отъ нихъ, онъ, по ихъ настоянію, отказывается отъ предположенной ученой карьеры, отлагаетъ попеченіе о магистерскомъ экзаменѣ и превращается въ столоначальника губернскаго присутственнаго мѣста. Мечты о взаимной любви смѣнились нелѣпою женитьбою; мечты о разумной дѣятельности уснули подъ вицъ-мундиромъ чиновника, не отказывающагося отъ безгрѣшныхъ доходовъ. Писемскій не говоритъ ничего о доходахъ, но надо думать, что было не безъ того, потому что у Бешметева уже не было денегъ тогда, когда онъ поступилъ на службу; надо было чѣмъ нибудь жить, и мѣсто-столоначальника досталось Бешметеву по рекомендаціи Владиміра Андреевича Кураева, котораго практическія возрѣнія мы уже видѣли, говоря о воспитаніи и замужествѣ Юліи. Далѣе, паденіе Бешметева идетъ еще скорѣе; когда человѣкъ сбился съ настоящей дороги, тогда всякое случайное обстоятельство путаетъ и портитъ его. Нѣтъ настоящей дѣятельности, нѣтъ желаннаго наслажденія—такъ что же дѣлать? Надо проживать жизнь, убивать время, забивать въ самомъ себѣ лучшія потребности своей природы, лучшіе результаты своего развитія; чтобы не страдать, надо опошливаться, тупѣть и черствѣть. Все это случилось бы съ Бешметевымъ; онъ отростилъ бы брюшко, сталъ бы мечтать о счастьи получить крестикъ и объ удовольствіи составить вечеромъ преферанскіе, началъ бы нюхать табакъ, получилъ бы лысину и репутацію исполнительнаго чиновника, и наконецъ умеръ бы, оставивъ своимъ дѣтямъ состояніе исправленное и дополненное. Все это произошло бы тогда, когда бы жизнь потекла спокойно, когда бы мечты не разбирались насильственно, а просто, медленно разсѣялись бы, какъ утренній туманъ. Если бы Юлія Владиміровна Бешметева постепенно выказалась въ настоящемъ своемъ свѣтѣ, тогда ея ослѣпленный мужъ помирился бы съ своимъ разочарованіемъ такъ же тихо, какъ онъ помирился съ бюрократическою дѣятельностью. Но толчокъ, полученный Бешметевымъ со стороны его семейной жизни, былъ такъ рѣзокъ и

силенъ, что ему только и оставалось или вдругъ выпрыгнуть на прежнюю дорогу и утѣшить себя разумною дѣятельностью, или головою впередъ броситься въ омутъ грязи и гадости, запить, и съ горя ухнуть остатокъ физическихъ и нравственныхъ силъ. Вообразите себѣ, что человекъ любить свою жену и надѣется, что она его оцѣнитъ и полюбитъ въ свою очередь. Онъ работаетъ надъ ея нравственнымъ возвышеніемъ и не отчаявается отъ видимой неудачи своихъ первыхъ попытокъ; вдругъ онъ замѣчаетъ, что она не только любитъ другаго, но даже вѣшается этому другому на шею, и за-одно съ этимъ другимъ дурачить его, любящаго мужа и усерднаго наставника. Чистая, непорочная, неопытная дѣвочка вдругъ превращается въ его глазахъ въ очень опытную, очень хитрую и совершенно испорченную женщину, которая проведетъ и выведетъ полдюжины наставниковъ и надзирателей, подобныхъ ему, Бешметеву. Сдѣлавъ подобное открытіе, человекъ твердый и рѣшительный вѣроятно плюнулъ бы на все это, разорвалъ бы всякую связь съ своимъ прошедшимъ, понялъ бы то, что умный мужчина можетъ быть счастливъ собственными силами, и поступилъ бы сообразно съ этими размышленіями. Будь онъ въ положеніи Бешметева, такой человекъ вышелъ бы въ отставку, поѣхалъ бы въ Москву, занялся бы серьезно магистерскимъ экзаменомъ, и въ освѣжающемъ трудѣ мысли нашелъ бы себѣ полное утѣшеніе, достойное развитаго человека. Впрочемъ, надо сказать правду, несчастье, поразившее Бешметева, до такой степени важно, что и покрѣпче его люди могутъ надъ нимъ позалуматься. Лаврецкій не чета Бешметеву, а и Лаврецкій, узнавши объ измѣнѣ Варвары Павловны, считаетъ себя очень несчастнымъ человекомъ. Большая часть людей умѣютъ еще кое какъ перенести холодность любимой женщины, но не переносятъ того, что они называютъ ея невѣрностью. Актъ невѣрности сваливаетъ любимое существо съ высокаго и роскошнаго пьедестала въ грязную лужу; какъ ни широки эмансипационныя стремленія нашей эпохи, а до сихъ поръ большая часть развитыхъ мужчинъ нечувствительно для самихъ себя смотритъ на женщину какъ на движимую собственность, или какъ на часть своего тѣла. Когда женщина, уступая силѣ чувства, начинаетъ располагать собою, какъ свободною и полноправною личностью, тогда вдругъ забываются всѣ широкія теоріи; тотъ мужчина, который по своему общественному положенію стоитъ къ этой женщинѣ въ отношеніяхъ друга и защитника, вдругъ выступаетъ на сцену судьей и палачемъ; онъ призываетъ на нее громы общественного мнѣнія, онъ отступаетъ отъ нея съ добродѣтельнымъ отвращеніемъ, и общество конечно съ величайшею готовностью начинаетъ кидать грязью въ оставленную и обиженную личность. При болѣе грубыхъ нравахъ, мужчина преслѣдуетъ женщину болѣе чувствительнымъ оружіемъ, начиная отъ грязныхъ намековъ и кончая побоями.

Бешметевъ, при своемъ полномъ незнаніи жизни и при полномъ отсутствіи настоящаго, гуманнаго развитія, никогда не думалъ о правахъ женщины и объ отношеніяхъ ея къ мужчинамъ; онъ только мечталъ, лежа на диванѣ, о наслажденіяхъ взаимной любви; мечтамъ этимъ не пришлось осуществиться—и Бешметевъ просто озлился на жизнь и на женщину, не спрашивая у себя, правъ ли онъ въ своемъ озлобленіи, и имѣютъ ли какое нибудь разумное оправданіе его мечты о любовномъ счастіи? Если посмотрѣть глазами самаго Бешметева на непріятности его семейнаго быта, тогда можно оправдать всѣ глупости, къ которымъ его приводятъ житейскія испытанія; но если посмотрѣть на дѣло со стороны, то увидимъ, что всѣ несчастія эти составляютъ естественное и неизбежное слѣдствіе поведенія самаго героя. Молодой человѣкъ женится на дѣвушкѣ почти насильно, и почти зажмурилъ глаза; онъ видитъ, что она хороша собою, и правильныя линіи ея лица мѣшаютъ ему видѣть всю уродливость ихъ взаимныхъ отношеній; любить ли его будущая его жена, уважаетъ ли его, сходятся ли они между собою въ понятіяхъ и склонностяхъ, объ этомъ онъ забываетъ справиться; онъ женится, и послѣ свадьбы начинаетъ требовать семейнаго счастья. Нелѣпны требованія! Человѣкъ самъ положилъ руку на раскаленное желѣзо и удивляется тому, что ему больно, и сердится на несчастную плиту, которая жжетъ его безъ всякаго злаго умысла, вслѣдствіе вѣчныхъ законовъ природы. А между тѣмъ, будь вы на мѣстѣ этого человѣка, и вы положили бы руку на раскаленную плиту; вѣдь хватаются же дѣти за горячія жаровни, потому что имъ нравится ихъ странный блескъ и яркій цвѣтъ. Дѣло вотъ въ чемъ: характеръ отдѣльнаго человѣка развивается подъ вліяніемъ окружающей среды и обстоятельствъ жизни; въ человѣкѣ можетъ воспитаться преступникъ или эксцентрикъ гораздо прежде того времени, когда онъ будетъ въ состояніи дѣлать дѣйствительныя глупости и фактическія преступленія. Скажите же, кто въ подобномъ случаѣ болѣе виноватъ: тотъ ли матеріалъ, изъ котораго выкраивается та или другая фигура, или та рука, которая ее выкраиваетъ? Рука эта большею частью дѣйствуетъ безсознательно; ее называютъ случаемъ, судьбою, силою обстоятельствъ, вліяніемъ обстановки; послѣдніе два термина представляютъ нѣкоторый смыслъ, между тѣмъ, какъ первые два отличаются крайнею мистическою неопредѣленностью. Сваливая вину на силу обстоятельствъ, на вліяніе обстановки, мы снимаемъ отвѣтственность съ извѣстнаго лица, но тѣмъ прямѣе и строже относимся къ той идее, которая лежитъ въ основѣ извѣстнаго общества, къ тѣмъ условіямъ быта, къ тѣмъ житейскимъ отношеніямъ, отъ которыхъ недѣльному трудно отрѣшиться и которыя съ самой колыбели тяготѣютъ въ извѣстномъ направленіи надъ его мыслью и дѣятельностью. Вглядитесь въ личности, дѣйствующія въ повѣсти Писемскаго, — вы увидите, что,

осуждая ихъ, вы собственно осуждаете ихъ общество; всѣ они виноваты только въ томъ, что не настолько сильны, чтобы проложить свою оригинальную дорогу; они идутъ туда, куда идутъ всѣ; имъ это тяжело, а между тѣмъ они не могутъ и неумѣютъ протестовать противъ того, что заставляетъ ихъ страдать. Вамъ ихъ жалко, потому что они страдаютъ, но страданія эти составляютъ естественныя слѣдствія ихъ собственныхъ глупостей; къ этимъ глупостямъ ихъ влечетъ то направленіе, которое сообщаетъ имъ общество. Сочувствовать тому, что намъ кажется глупостью, мы не можемъ. Намъ остается только жалѣть о жертвахъ уродливаго порядка вещей, и проклинать существующія уродливости. Тѣмъ и замѣчательна повѣсть Писемскаго, что она рисуетъ намъ не исключительныя личности, стоящія выше уровня массы, а дюжинныхъ людей, копошащихся въ грязи, замаранныхъ съ ногъ до головы, задыхающихся въ сирадной атмосферѣ и неумѣющихъ найти выхода на свѣтъ. Чтобы дѣйствительно оцѣнить всю грязь нашей всендневной жизни, надо посмотрѣть на то, какъ она дѣйствуетъ на слабыхъ людей; только тогда мы въ полной мѣрѣ поймемъ ея отравляющее вліяніе; сильный человѣкъ легко выкарабкается изъ нея; но людей слабыхъ или неокрѣпшихъ она душитъ и мертвитъ. Читая «Дворянское Гнѣздо» Тургенева, мы забываемъ почву, выражающуюся въ личностяхъ Паньшина, Марьи Дмитриевны и т. д. и слѣдимъ за самостоятельнымъ развитіемъ честныхъ личностей Лизы и Лаврецакаго; читая повѣсти Писемскаго, мы никогда, ни на минуту не позабудете, гдѣ происходитъ дѣйствіе; почва постоянно будетъ напоминать о себѣ крѣпкимъ запахомъ, русскимъ духомъ, отъ котораго не знаютъ куда дѣваться дѣйствующія лица, отъ котораго порой и читателю становится тяжело на душѣ.

V.

Трудно себѣ представить болѣе яркую и сжатую картину грязной жизни губернскаго города, чѣмъ та, которую нарисовалъ Писемскій въ повѣсти «Тюфякъ». И это не карриатура, даже не сатира. Каждая отдѣльная фигура такъ твердо убѣждена въ полной правотѣ своихъ притязаній, въ полной законности своихъ дѣйствій, что она живетъ мимо воли автора, и что вамъ кажется будто иначе она и не можетъ жить. Это правда; иначе не можетъ она жить; машина заведена въ извѣстномъ направленіи и пойдетъ себѣ своимъ порядкомъ, пока не размотается пружина или не изотрутся колеса, или же пока незамѣченное, но постепенно увеличивающееся внутреннее разстройство не остановитъ разомъ

всего развихлявшагося механизма. Семейный деспотизмъ развращаетъ младшихъ членовъ семействъ и готовитъ изъ нихъ будущихъ деспотовъ, которыхъ рука будетъ тяготѣть надъ будущими подчиненными личностями такъ же тяжело, какъ тяготѣли надъ ними самими руки отцовъ и матерей. Та молодая дѣвушка, которая сегодня возбуждала ваше участіе, какъ несчастная жертва, задыхавшаяся отъ сдержанныхъ рыданій при помолвкѣ съ неимлымъ человѣкомъ, черезъ нѣсколько недѣль явится передъ вами молодою барынею, держащею въ ежовыхъ рукавицахъ свою прислугу, терзающею мужа капризами и истериками, и тратящею съ возмутительнымъ цинизмомъ его трудовыя копѣйки на украшеніе своей особы. Несчастный мужъ, котораго вы пожалѣете теперь, какъ мученика, явится скоро домашнимъ тираномъ и будетъ съ систематическою жестокостію отравлять существованіе той самой женщины, на которую онъ въ былое время чуть чуть не молился. Любящая мать, старающаяся устроить счастье своихъ дѣтей, часто связываетъ ихъ по рукамъ и ногамъ узкою стѣною своихъ взглядовъ, близорукостію своихъ расчетовъ и непрощенною нѣжностію своихъ заботъ. Чувство ея сильно и искренно, но убѣжденія односторонни и ложны, и потому сумма ея вліянія вредна и губительна. Голосомъ этой любящей матери говорить почва, на которой она росла и прозябала, и молодой человѣкъ, слышавшій вдали отъ родительскаго дома что-то новое, рванувшійся душою къ этому новому, еще неизвѣстному, но уже привлекательному образу жизни и дѣятельности, рискуетъ остановиться въ нерѣшительности, растрогаться и расплаваться, раскаться въ завыральныхъ идеяхъ, увидеть свой долгъ въ сыновнемъ повиновеніи и нечувствительно заглохнуть въ томъ омутѣ, изъ котораго онъ было старался выкарабкаться. Когда два направленія мысли вступили между собою въ борьбу на жизнь и на смерть, когда нейтралитетъ оказывается невозможнымъ, тогда людямъ съ мягкими чувствами и съ нерѣшительнымъ умомъ приходится очень тяжело. Кто не способенъ сжечь за собою корабли и идти смѣло впередъ, шагая черезъ развалины своихъ прежнихъ симпатій, вѣрованій, воздушныхъ замковъ и идеаловъ, и слыша за собою ругательства, упреки, слезы и возгласы негодующаго изумленія со стороны близкихъ людей, тотъ хорошо сдѣлаетъ, если заглушить въ головѣ работу критическаго ума и даже простаго здраваго смысла, если заблаговременно начнетъ отплываться отъ лукаваго демона, сидящаго въ мозгу каждаго здороваго человѣка, смотрящаго на вещи собственными глазами. Кому жалъ разставаться съ прошедшимъ, тому нечего и пытаться заглядывать въ лучшее, свѣтлое будущее. Идти, такъ идти, смѣло, безъ оглядки, безъ сожалѣнія, не унося за собою никакихъ пенатовъ и реликвій, и не раздвигая своего нравственнаго существа между воспоминаніями и стремленіями. Этого ни какъ не могутъ взять въ толкъ люди мягкіе и нѣжныя; имъ все хо

чется или согласить между собою двѣ противоположности, или переубѣдить людей неисправимыхъ, состарѣвшихся въ своихъ понятіяхъ и косящихся на все незнакомое; соглашая противоположности и добиваясь отъ самихъ себя историческаго безпристрастія, эти господа дѣлаются сами совершенно нерѣшительными и безцвѣтными; переубѣждая застарѣлыхъ противниковъ, они нечувствительно мирятся съ ними и переходятъ на ихъ сторону, устрояютъ свою жизнь по заведенному порядку, и увеличиваютъ собою слой грязной почвы, подобно тому, какъ прошлогоднія растенія увеличиваютъ слой чернозема. Тѣ условія, при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попытаете на чемъ нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшается въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, пересушивать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашею доброю волею, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толпы, которые, доходя до васъ, будутъ досаждаютъ вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое складается у насъ изъ очень неблагоприятныхъ матеріаловъ, то васъ, право, скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подивятся или даже ужаснутся, но потомъ, видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эксцентричности ваши идутъ себѣ своимъ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погибшаго человѣка, и, такъ или иначе, оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого нибудь другаго свое милостивое вниманіе... «Тюфякъ» даетъ намъ необходимые матеріалы, для того, чтобы опредѣлить характеръ нашего общественнаго мнѣнія. Въ губернскомъ городѣ суетятся и хлопочутъ столько же, сколько и въ столицѣ, съ тою только разницею, что въ столицѣ большее количество людей собрано въ одномъ мѣстѣ, и потому, когда всѣ разомъ суетятся, то происходитъ гораздо больше шума, движенія и толкотни. Побудительныя причины, заставляющія столичныхъ жителей суетиться, гораздо разнообразнѣе, именно потому, что жителей очень много, и что они стоятъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы и умственнаго развитія. Въ провинціи аристократическое сословіе состоитъ изъ чиновниковъ и помѣщиковъ; литераторы, художники, ученые составляютъ большую рѣдкость; имъ нечего тамъ дѣлать, и они бывають въ провинціи не иначе, какъ на правахъ гостей; да и гдѣ эти господа не гости въ нашемъ оте-

чествъ? гдѣ ихъ вліяніе на жизнь и понятія общества? гдѣ та сфера жизни, въ которой они распоряжаются, какъ хозяева и заявляютъ свои права? Если и чувствуется въ послѣднее десятилѣтіе какое-то взаимодѣйствіе между мыслями передовыхъ людей и жизнью общества, то какъ еще оно слабо, и какъ немногіе признають дѣйствительность его существованія! Итакъ—чиновники и помѣщики, съ женами и дѣтьми, составляютъ собою губернскую аристократію. Помѣщики, живущіе въ губернскомъ городѣ, поручаютъ свои имѣнія прикащикамъ и бурмистрамъ, изъ ихъ рукъ принимаютъ свои доходы, проживаютъ ихъ, навѣщаютъ иногда свои помѣстья, и, произведя ревизію, получивъ должныя суммы, снова возвращаются въ городъ, чтобы наслаждаться жизнью. Эти господа пользуются обыкновенно обезпеченнымъ состояніемъ, такъ что съ матеріальной стороны они не встрѣчаютъ себѣ препятствій и стѣсненій. Что же они дѣлають? Они ѣздятъ въ гости и принимаютъ гостей, приглашаются на званныя обѣды и даютъ такіе же обѣды у себя, танцуютъ и играютъ въ карты на вечерахъ и балахъ, и устраиваютъ у себя такіе же балы и вечера. Это называется пользоваться общественными увеселеніями. Интервалы между увеселеніями въ-родѣ званыхъ обѣдовъ и вечеровъ наполняются визитами и разговорами, для которыхъ самою интересною темою служатъ городскія событія. Вставая утромъ съ постели, губернский аристократъ, если ему не предстоитъ какого нибудь приглашенія, обыкновенно не знаетъ, что предпринять, куда дѣвать день, и отправляется къ кому нибудь, отъ нечего дѣлать, говоритъ что нибудь отъ нечего дѣлать, беретъ въ руки книжку журнала, садится играть въ карты, выпиваетъ рюмку водки,—все отъ нечего дѣлать. Да и въ самомъ дѣлѣ, что же ему дѣлать?—Доходы получаются исправно, нужды ни въ чемъ не предвидятся. Ѣхать никуда не надо. Что же дѣлать? — Сѣсть за книгу, что ли? Легко сказать; посмотрите-ка на дѣло поближе, и вы увидите, что ни что не можетъ быть скучнѣе, какъ читать для процесса чтенія, безъ послѣдовательности и системы. Вѣдь не станете же вы, безъ особенной надобности, читать листокъ полицейскихъ вѣдомостей. Что за охота утруждать зрѣніе и напрягать умъ только для того, чтобы убить нѣсколько часовъ? Предпочитать, какъ препровожденіе времени, книгу живымъ явленіямъ жизни несвойственно человѣческой природѣ. Желая разсѣяться, человѣкъ ищетъ смѣны впечатлѣній. Чѣмъ живѣе впечатлѣнія и ощущенія, тѣмъ болѣе они его удовлетворяють; на этомъ основаніи онъ отправляется въ общество, болтаетъ съ знакомыми, садится за зеленое сукно, танцуетъ и кружится въ освѣщенной залѣ. Вся бѣда въ томъ, что ему нечего дѣлать, что онъ разсѣивается въ продолженіи всей своей жизни. Вѣдь не задавать же себѣ самому задачу, не трудиться же для препровожденія времени, когда сама жизнь не шевелитъ своимъ потокомъ, не задаетъ никакихъ задачъ и не тре-

буетъ никакого труда. Жизнь эта—странная штука! Губернскіе чиновники, корміе провинціального общества, работаютъ нерѣдко машинально, почти не сталкиваясь въ своей работѣ съ явленіями жизни, и не выходя изъ сферы тѣхъ неизмѣнныхъ канцелярскихъ формъ, для которыхъ нѣтъ прогресса даже въ языкѣ. Утро занято у этихъ господъ, но ихъ машинальная дѣятельность оставляетъ по себѣ такую же пустоту, какую производятъ бездѣйствіе въ людяхъ праздныхъ. Умъ все таки остается незанятымъ, и набивается чѣмъ попало, а попадаютъ въ него обыкновенно бюрократическія интриги, городскія сплетни, преферансовыя соображенія и воспоминанія въ родѣ похожденій Чичикова. И вотъ изъ этихъ-то элементовъ составляется общественное мнѣніе, и отдѣлится отъ него не совсѣмъ легко.

Исключеніе изъ общаго правила составляютъ тѣ немногіе, которыхъ жизнь исходитъ въ борьбѣ или въ совершенномъ отчужденіи отъ окружающей среды. Это люди сильные, которыхъ не легко надломить даже губернскому обществу. Но сильныхъ людей, къ сожалѣнію, у насъ не много; наша литература до-сихъ-поръ не представила образа сильнаго человѣка, проникнутаго идеями общечеловѣческой цивилизаціи; большею частью изъ нашихъ университетовъ выходили люди, пламенно-любящіе идею, страстно привязанные къ теоріи, но потерявшіе способность руководствоваться простымъ здравымъ смысломъ, чувствовать просто и сильно, дѣйствовать рѣшительно и въ то же время умѣренно. Они готовились воевать съ крокодилами и драконами, которыхъ не бываетъ въ нашихъ провинціальныхъ болотахъ, и въ то же время забывали отмахиваться отъ мошекъ и комаровъ, которыя носятся надъ ними цѣлыми міриадами. Они выходили противъ мелкихъ гадинъ съ такимъ оружіемъ, которымъ поражаютъ чудовищъ; они со всего размаха убивали дубиною цѣлаго комара и къ ужасу своему замѣчали, что колоссальная трата энергіи и воодушевленія оплачивалась совершенно незамѣтнымъ результатомъ. Герои обезсиливали, постоянно махая тяжелыми дубинами; мошки лѣзли имъ въ глаза, въ уши, въ носъ и въ ротъ, облѣпляли ихъ со всѣхъ сторонъ, оглушали ихъ своимъ жужжаньемъ, очень больно кусали и кололи ихъ едва замѣтными жалами, и, высасывая изъ нихъ кровь, постепенно охлаждали ихъ боевой жаръ, ихъ добродѣтельную отвагу и великодушный пафосъ. Жизнь подступала къ нашимъ героямъ такъ незамѣтно, она охватывала ихъ со всѣхъ сторонъ такъ искусно и такими тонкими сѣтями, что не оставалось теоретикамъ никакой возможности не только сопротивляться, но даже замѣтить надвигавшуюся опасность. Уступка за уступкой, шагъ за шагомъ, и къ концу концовъ восторженные энтузіасты становились достойными дѣтьми своихъ отцовъ. Одни, бывшіе идеалисты или энтузіасты, просто превращались въ толстыхъ, о которыхъ говоритъ Гоголь; другіе, болѣе прочнаго закала, съ грустью

сознавали свою бесполезность, и, никуда не пристроившись, слонялись по бѣлому свѣту, нося въ разстроенной груди невылившуюся любовь къ человечеству и разбитыя надежды; немногіе, очень не многіе собирали и пересчитывали свои силы послѣ перваго пораженія, и, приведя ихъ въ извѣстность, принимались за мелкія дѣла дѣйствительности, внося въ свои практическія занятія ту любовь къ истинѣ и къ добру, которую они, бывши юношами, громко исповѣдывали въ теоріи.

Да, масса нашего общества не безъ основанія относилась съ недо-
вѣріемъ къ людямъ мысли, принимавшимся за житейскія дѣла. Лавре-
цкихъ и Штольцовъ не много! О томъ и о другомъ мы знаемъ только
что они что-то работали, но процесса ихъ работы мы не видимъ; Штольцъ
отзывается искусственностью постройки; словомъ, все говоритъ намъ,
что въ дѣйствительности очень мало положительныхъ дѣятелей, и что
попытка представить такихъ дѣятелей въ литературѣ не удалась именно
отъ недостатка наличныхъ матеріаловъ.

VI.

До сихъ поръ еще жизнь нашего общества не поддавалась такому
вліянію, которое могло бы шевельнуть стоячую воду, и спустить внизъ
по теченію тину, накопившуюся въ продолженіи цѣлыхъ столѣтій. Почти
никто не занятъ полезнымъ и разумнымъ дѣломъ, почти никто не знаетъ,
гдѣ отыскать себѣ такое дѣло, почти никто не сознаетъ въ себѣ по-
требности чѣмъ нибудь заняться, и между тѣмъ почти всѣ чѣмъ-то не-
довольны и отчего-то скучаютъ. Праздность и скука ведутъ за собою
много послѣдствій. Безпрерывная умственная праздность нѣсколькихъ
поколѣній сохраняетъ для позднѣйшихъ внуковъ тѣ формы быта, тѣ воз-
зрѣнія на отношенія между людьми, отъ которыхъ даже дѣдамъ и пра-
дѣдамъ солоно было жить на свѣтѣ. Патріархальность понятій еще жи-
ветъ въ нашемъ обществѣ, несмотря на заграничныя моды, которыя съ
замѣчательною быстротою приносятся изъ Парижа въ разныя захолустья
православной Руси. Господа въ англійскихъ визиткахъ и барыни въ кри-
нолинахъ подчасъ разыгрываютъ такія семейныя и вообще домашнія
сцены, на которыя съ удовольствіемъ могли бы посмотреть бородатые
боаре до-Петровской эпохи. Отражается ли въ этихъ сценахъ народность—
это я предоставляю рѣшить знатокамъ и любителямъ; знаю только, что
отъ этихъ сценъ больно достается пассивнымъ и подчиненнымъ лично-
стамъ; можетъ быть, эти сцены дѣлаютъ честь исторической памяти рус-

скаго народа, но въ нихъ страдаетъ человѣкъ, въ нихъ топчуть въ грязь человѣческое достоинство, и потому — Богъ съ нимъ! съ этимъ призракомъ прошедшаго, откуда бы мы его ни почерпнули. Далѣе, праздность нашего общества ведетъ за собою существованіе искусственныхъ интересовъ; надо жъ чѣмъ нибудь заняться. — и вотъ придумываются какія нибудь цѣли; настоящей жизни нѣтъ, является подставная жизнь, которая никому не приноситъ ни пользы, ни наслажденія, но отъ которой не отрѣшается почти никто. Трехмѣсячные доходы ухлопываются, напримѣръ, на званый обѣдъ или балъ, на которомъ, можетъ быть, не будетъ ни одного человѣка, дѣйствительно дорогаго и близкаго для хозяевъ. Балъ дается съ особеннымъ великолѣпіемъ изъ тщеславія, чтобы заставить говорить въ городѣ; многіе изъ гостей, бывшихъ на балѣ, говорятъ, приѣхавши домой, что надо и имъ устроить что нибудь подобное, и говорятъ это иногда съ сокрушеннымъ сердцемъ, потому что денегъ мало, а между тѣмъ изъ кожи лѣзутъ — и устраиваютъ. Вотъ вамъ и наполнена жизнь, вотъ и борьба интересовъ, вотъ и драма: переходящая то въ комическій, то въ трагическій тонъ. Иной почтенный отецъ семейства чуть не за пистолеты хватается, увѣряя своихъ домашнихъ, что жить нечѣмъ; глядя на него, подумаешь, что всему семейству придется завтрашній день безъ обѣда сидѣть, а на повѣрку окажется, что все отчаяніе происходитъ оттого, что ему нельзя дать больше одного бала въ нынѣшнемъ сезонѣ. Это комедія! Но между тѣмъ, вмѣсто одного бала дается два или три; дѣла запутываются, имѣнія закладываются и просрочиваются; долги растутъ, кредитъ падаетъ; являются серьезныя финансовыя разстройства; начинается мѣщанская трагедія. Придуманныя прихоти считаются въ искусственномъ мірѣ нашей общественной жизни необходимыми потребностями; имъ жертвуютъ часто дѣйствительными удобствами жизни. Сколько семействъ средняго круга отказываются отъ сытнаго обѣда для того, чтобы обить комнаты новыми обоями, чтобы купить старшей дочери шелковое платье, или чтобы въ нанятой каретѣ поѣхать куда нибудь на вечеръ! Еслибы еще подобныя распоряженія дѣлались съ общаго согласія, ихъ можно было бы извинить; но вѣдь дѣлами семейства завѣдуютъ только папенька съ маменькой, остальные члены, — лица безъ рѣчей, неимѣющія даже совѣщательнаго голоса, — терпятъ лишенія для того, чтобы покрыть расходы такихъ удовольствій, въ которыхъ они не принимаютъ участія.

Согласитесь, что это возмутительно! А развѣ не возмутительны тѣ мелкія интриги, которыя всѣ клонятся къ тому, чтобы можно было занять и удержать за собою извѣстное мѣсто, извѣстную роль въ обществѣ? Не уважая почти никого въ отдѣльности, члены общества уважаютъ всѣхъ вмѣстѣ; для нихъ ничего не значитъ огорчить или оскорбить сосѣда, и приобрѣсти въ немъ личнаго врага; но возбудить объ себѣ толки,

навлечь на себя вниманіе всего общества какою нибудь эксцентричностью или потерять ту долю общественнаго вниманія, которою они пользовались за роскошный образъ жизни—это для нихъ невыносимо тяжело. Чтобы удерживать балансъ въ общественномъ мнѣніи—надо прибѣгать къ самымъ разнообразнымъ средствамъ, надо тратиться и разоряться, надо занимать деньги, не теряя кредита, надо принимать у себя важныхъ лицъ, надо внушать своимъ дѣтямъ такія идеи, которыя не могли бы произвести диссонанса, надо направлять сыновей по такой дорогѣ, которую общество считало бы блестящею, надо располагать по своему произволу и благоусмотрѣнію судьбою дочерей и выдавать ихъ замужъ за людей родовитыхъ, чиновныхъ и богатыхъ. Если вы отецъ семейства, то вы отвѣчаете передъ обществомъ не за одного себя; проступокъ вашей жены, вашей дочери, вашего сына, брата или племянника падаетъ на васъ болѣе или менѣе тяжело, смотря потому, насколько близокъ къ вамъ провинившійся. Взыскивая такимъ образомъ со всѣхъ членовъ семейства за вину одного, общественное мнѣніе конечно оправдываетъ или даже поощряетъ вмѣшательство родственниковъ и родственницъ въ такія дѣла, которыя, собственно говоря, нисколько до нихъ не касаются. Простой здравый смыслъ говорить ясно, что каждый отдѣльный человѣкъ можетъ отвѣчать только за себя, да развѣ еще за малолѣтняго своего ребенка, который долженъ быть подъ хорошимъ присмотромъ, чтобы не имѣть возможности повредить какъ нибудь своему здоровью и не нанести сосѣду убытка или непріятности. Наше русское общественное мнѣніе, неимѣющее ничего общаго съ здравымъ смысломъ, судить совсѣмъ не такъ: оно предполагаетъ между членами семейства и даже рода такую крѣпкую связь, такую солидарность отношеній, которыя возможны только въ патріархальномъ быту, и о которыхъ наше время, къ счастью не имѣетъ понятія. Требованія общественнаго мнѣнія въ полномъ объемѣ неисполнимы, но эти требованія даютъ извѣстное направленіе индивидуальнымъ силамъ; при всѣхъ вашихъ стараніяхъ, вы не усмотрите за всею своею роднею, и не будете въ состояніи привести всѣ ихъ дѣйствія къ должной мѣрѣ; но важно уже то, что вы будете стараться, будете вмѣшиваться, и слѣдовательно, сталкиваясь съ сильными характерами, будете надѣлать имъ, а имѣя дѣло съ людьми слабыми, будете сбивать ихъ съ толку. Сильные характеры я могу оставить въ сторонѣ; они не поддаются общественному мнѣнію, не слушаютъ чужихъ совѣтовъ, и слѣдовательно не страдаютъ отъ уродливыхъ особенностей почвы. Что же касается до людей неглупыхъ, сколько нибудь развитыхъ, но не настолько сильныхъ, чтобы отстоять результаты своего развитія, то легко можно себя представить, какъ тяжело ихъ положеніе. Доходящіе до нихъ слухи о городскихъ толкахъ волнуютъ и смущаютъ ихъ; совѣты какаго нибудь нехѣпаго родственника или доброжелателя приво-

дять ихъ въ недоумѣніе: голосъ собственнаго просвѣщеннаго убѣжденія говоритъ имъ одно, почва требуетъ совершенно другаго, и они повинуются требованіямъ почвы, не успѣвая заглушить въ себѣ невольнаго протеста. Они унижаются и сами сознаютъ свое униженіе; это внутреннее раздвоеніе мучитъ, озлобляетъ ихъ, и возбуждаетъ въ нихъ желаніе срывать зло на окружающемъ; они дѣлаются несправедливыми, и, чувствуя это, еще болѣе окисляются и становятся еще несноснѣе. Эти люди конечно неспособны внушить къ себѣ уваженіе или сочувствіе, но они-то всего болѣе и нуждаются въ исцѣленіи; они дѣйствительно очень больны; къ тому же ихъ очень много, и объ нихъ стоитъ подумать. Перемѣнить окружающую ихъ атмосферу невозможно; для этого нужно было бы перевоспитать все общество; стало быть, надо сдѣлать ихъ по возможности нечувствительными къ міазмамъ этой атмосферы; надо настолько возвысить ихъ надъ уровнемъ окружающаго общества, чтобы они могли смотрѣть à vol d'oiseau на его гнѣвъ, негодованіе и волненіе; чтобы жить въ провинціальномъ обществѣ, не окисляясь и не опошляясь, надо уметь презирать людей безъ злобы, презирать ихъ холодно, сознательно, отъездившись отъ всякой попытки возвысить ихъ для себя и понимая совершенную невозможность сойтись съ ними на какомъ нибудь воззрѣніи. Когда дѣти играютъ въ куклы, было бы смѣшно подойти къ нимъ и начать имъ доказывать, что они тратятъ попусту драгоценное время,—отнеситесь къ обществу взрослыхъ, какъ къ группѣ играющихъ дѣтей,—и кроткая улыбка смѣнитъ собою тяжелое негодованіе, накопившееся въ вашей груди. «Пустые люди!» подумаете вы. Да что же изъ этого? Вѣдь не насильно же наполнять ихъ внутреннимъ содержаніемъ. Есть только одна сторона жизни, съ которою никакъ нельзя помириться; къ счастью, эта сторона скрыта внутри домовъ и не напрашивается на глаза постороннимъ зрителямъ. Бывая въ обществѣ, вы увидите только пустоту его жизни, мелочность и ложность его интересовъ; это еще не большая бѣда, каждый живетъ для себя и потому воленъ, лично для себя, забавляться чѣмъ вздумается и работать надъ чѣмъ угодно, но только *лично для себя*. Приневоливать къ чему бы то ни было членовъ своего семейства, располагать ихъ судьбою по своему близорукому благоусмотрѣнію, опредѣлять карьеру сыновей и выдавать замужъ дочерей—о! это такія права, противъ которыхъ глубоко возмущается человѣческая природа; замѣйте притомъ, что человѣкъ тѣмъ болѣе расположенъ пользоваться этими возмутительными правами, чѣмъ менѣе онъ способенъ употребить ихъ на благо подчиненныхъ личностей. Необразованный, безнравственный, пьющій губернскій чиновникъ обыкновенно является деспотомъ въ семействѣ, крутитъ и ломитъ всякую оппозицію, не слушаетъ ни резоновъ, ни просьбъ,—съ пьяныхъ глазъ опредѣляетъ сыновей на службу, отправляетъ дочерей подъ вѣнецъ,—и при всемъ этомъ опирается на свои природныя

и законныя права, ссмыляется на свою родительскую любовь и заботливость. Съ этою стороною жизни невозможно помириться; къ ней нельзя даже отнестись съ равнодушнымъ презрѣніемъ; здѣсь страдаютъ и гибнутъ люди, и притомъ люди молодые, неуспѣвшіе испортиться. Но сцены притѣсненія, драмы семейнаго деспотизма разыгрываются внутри семейства; ихъ можно предполагать и отгадывать, но видѣть ихъ можно только самимъ актерамъ, потому что эти сцены происходятъ безъ постороннихъ зрителей, тогда, когда ни что не требуетъ приличныхъ декорацій и благообразной костюмировки. Прекратить эти халатныя сцены, развертывающія свое полное безобразіе въ спальняхъ, дѣтскихъ, кухняхъ и другихъ жилыхъ комнатахъ, недоступныхъ для гостей, — не можетъ ни законодательство, ни общественное мнѣніе. Пока жена будетъ зависѣть отъ мужа въ отношеніи къ своему пропитанію, пока мужъ будетъ такъ грубъ, что будетъ находить удовольствіе въ притѣсненіи слабого и зависимаго существа, пока родители и дѣти не будутъ имѣть яснаго понятія о своихъ человѣчески-разумныхъ правахъ, — до тѣхъ поръ можно будетъ обходить букву самаго мягкаго и справедливаго закона, до тѣхъ поръ можно будетъ обманывать контроль самаго чуткаго и просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія. Но на наше общественное мнѣніе полагаться нельзя; оно составлено изъ голосовъ тѣхъ самыхъ семьянъ, которые тяготеютъ надъ своими домохозяевами; оно проникнуто духомъ Домостроя и только облагородило до нѣкоторой степени внѣшніе приемы, рекомендуемые попомъ Сильвестромъ. Оно признаетъ за родителями право распоряжаться судьбою дѣтей, и, обизывая послѣднихъ къ пассивному повиновенію, вознаграждаетъ ихъ за потерю свободы правомъ угнетать современемъ другихъ. Наше общественное мнѣніе можетъ быть возмущено только скандаломъ; оно прощаетъ несправедливость и систематическую жестокость, лишь бы не было крика, ласка пощечинъ, кровавыхъ синяковъ и истерическихъ припадковъ; впрочемъ, это общественное мнѣніе умѣетъ быть глухо и слѣпо, умѣетъ смотрѣть сквозь пальцы, и часто оказывается до-того пропитаннымъ духомъ патріархальности, что принимаетъ сторону притѣснителя; часто оно обвиняетъ жертву деспотизма въ томъ, что она не умѣла избѣжать срама и покориться молча. Не даромъ говоритъ пословица: «изъ избы сору не выноси;» кажется, всѣ члены чисто русскаго семейства только и заботятся о томъ, чтобы хранить свой соръ чуть не подъ образами, и ни за что не рѣшаются съ нимъ разстаться и вышвырнуть его на улицу. Тайна, въ которую ложный стыдъ облакаетъ разныя семейныя непріятности, искусственный мракъ, который стараются поддержать въ семейномъ святилищѣ, мракъ, непроницаемый ни для какой гласности, конечно содѣйствуютъ сохраненію въ семейныхъ нравахъ и отношеніяхъ той дикости, которая уже выводится въ отношеніяхъ общественныхъ и междусловныхъ. Реформировать семейство можетъ только гуманизация отдѣльныхъ лицъ и возвы-

пеніе личнаго самосознанія и самоуваженія. Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствовать свое я и отдѣлилъ себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи; когда она глубоко проникнетъ въ сознаніе каждаго взрослого недѣлимаго, всякое принужденіе, всякое насиліе вѣдѣніе ребенка, всякая ломка его характера сдѣлаются невозможными. Мы поймемъ тогда, что формировать характеръ ребенка—нелѣпая претензія; мы поймемъ, что дѣло воспитателя—заботиться о матеріальной безопасности ребенка и доставлять его мысли матеріалы для переработки; кто старается сдѣлать больше, тотъ посягаетъ на чужую свободу и воздвигаетъ на чужой землѣ зданіе, которое хозяинъ непременно разрушить, какъ только вступить во владѣніе. Когда мы поймемъ все это? — не знаю; все это, можетъ быть, утопія, надъ которыми засмѣются практики въ дѣлѣ педагогики и семейной жизни. Смѣйтесь, гг. практики, смѣйтесь! Но не удивляйтесь тому, что возникаютъ утопіи; когда рутина довела до того, что приходится барахтаться и захлебываться въ грязи, тогда поневолѣ отвернешься отъ дѣйствительныхъ фактовъ, проклянешь прошедшее и обратишься за рѣшеніемъ жизненныхъ вопросовъ не къ опыту, не къ исторіи, а къ творчеству здраваго смысла и къ непосредственному чувству.

VII.

Грозная филиппика моя противъ нашего общества вообще и провинціального въ особенности выставила такимъ образомъ на видѣ два главныхъ свойства: 1) пустоту жизни, порождающую искусственность и ложность интересовъ, и 2) патріархальную рутинность понятій и отношеній, ведущую за собою семейный деспотизмъ. Эти два свойства имѣютъ конечно значительное вліяніе на формирование тѣхъ нравственныхъ воззрѣній и правилъ, которыя признаетъ и отстаиваетъ общественное мнѣніе. Эти нравственные воззрѣнія не разъ назывались въ нашей критикѣ условною или мѣщанскою нравственностью. Оба названія довольно мѣткіи. Дѣйствительно, принято, условлено непозволять себѣ того или другаго поступка, хотя бы въ этомъ поступкѣ самая тщательная критика не открыла бы ничего предосудительнаго или неизящнаго; принято условлено—и всѣ такъ и дѣлаютъ; кто не повинуется обычаю—навлекаетъ на себя нареканія; осуждая человѣка за нарушеніе обычая, мы не разбираемъ его поступка собственнымъ здравымъ смысломъ, а просто подводимъ его подъ букву того кодекса, который успѣли заучить въ различныхъ столкновѣніяхъ съ людьми и съ обстоятельствами. Мы какъ

будто условились признать авторитетъ этого незримаго кодекса и слѣдовательно наша общественная нравственность вполне заслуживаетъ названія условной. *Мѣщанская* — эпитетъ довольно выразительный. Нравственныя понятія, установленныя общественнымъ кодексомъ, узки, мелки, робки, непостѣдовательны, какъ мѣщанскій либерализмъ, эмансипирующій личность *до извѣстныхъ предѣловъ*, какъ мѣщанскій скептицизмъ; допускающій критику ума *въ извѣстныхъ границахъ*. Въ основѣ общественной нравственности лежатъ существенныя черты того ложнаго идеала, которому поклоняется общество, того идеала, который изобразилъ Пушкинъ въ Евгеніи Онѣгинѣ, въ стихахъ:

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во-время созрѣлъ,
Кто постепенно жизни холодъ
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ;
Кто страннымъ снамъ не предавался,
Кто черни свѣтской не чуждался,
Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ иль хвѣтъ,
А въ тридцать выгодно женатъ;
Кто въ пятьдесятъ освободился
Отъ частныхъ и другихъ долговъ;
Кто славы, денегъ и чиновъ
Спокойно въ очередь добился,
О комъ твердили цѣлый вѣкъ:
N. N. прекрасный человѣкъ!

Общество не любитъ рѣзкостей и оригинальностей; его возмущаютъ яркіе пороки, проявленія сильной страсти, живыя движенія мысли; новыя идеи кажутся ему также предосудительными, какъ нарушенія чужаго права; эмансипація человѣческой личности смѣшивается въ его глазахъ съ отсутствіемъ всякаго человѣческаго чувства, съ явнымъ посягательствомъ на интересы, на личность и собственность ближняго; протестъ противъ патріархальнаго начала, противъ обязательности родственныхъ отношеній вызываетъ такую же бурю негодованія, какую могло бы вызвать какое нибудь грубое насиліе. Горячее слово за свободу и полноправность женщины можетъ упрочить за вами въ обществѣ репутацію развратнаго и опаснаго человѣка, умышленно подрывающаго лучшія чувства человѣческой жизни. Общій уровень умственнаго развитія стоитъ въ нашемъ обществѣ такъ низко, что ни одна идея не доступна ему въ полномъ своемъ объемѣ, въ полномъ величій и достоинствѣ своего значенія. Общество наше знаетъ какое нибудь одно узенькое, жалкое приложеніе этой идеи; опошлившись въ этомъ приложеніи, и не будучи доступна обществу въ чистомъ своемъ понятіи, идея, великая, широкая и прекрасная встрѣчаетъ себѣ въ обществѣ тупое не-

довѣріе и наглую насмѣшку. Представьте себѣ, что васъ обманулъ купецъ, торгующій рожью. Что, еслибы вы на этомъ основаніи стали считать мошенниками всѣхъ купцовъ, занимающихся этою отраслью торговли? Вѣдь всякій здравомыслящій человекъ имѣлъ бы право обвинить васъ въ бессмысленномъ и несправедливомъ недовѣріи; между тѣмъ, всѣ приговоры, которыми наше общество поражаетъ незнакомыя ему идеи, основаны на подобномъ процессѣ мысли. Судить о цѣлой идеѣ по тому мизерному ея извращенію, которое находится передъ вашими глазами, также несправедливо, какъ судить о цѣломъ сословіи по худшему его представителю. — Личная свобода, на примѣръ, даетъ лѣннику возможность пролежать нѣсколько дней на печи, а пьяницѣ возможность спустить въ кабацкія послѣдніе сапоги. Если бы лѣннивецъ былъ негромъ-невольникомъ, то его принудили бы встать и выйти на работу; если бы пьяница сидѣлъ гдѣ нибудь подъ присмотромъ, то на немъ уцѣлѣло бы необходимое платье. Ну, чтожъ! Не угодно ли изъ этого вывести заключеніе, что рабство гораздо лучше личной свободы? Такого рода попытка не имѣла бы даже прелести новизны и оригинальности. Такъ разсуждали многіе помѣщики и помѣщицы. Любовь часто ведетъ за собою многія глупости, или, вѣрнѣе, многія глупости прикрываются фирмою любви; во имя любви заключаются экспромтомъ браки, въ которыхъ не соблюдаются ни соразмѣрность лѣтъ, ни соотвѣтствіе характеровъ и наклонностей, ни экономическія требованія простаго практическаго здраваго смысла; старикъ женится на молодой институткѣ, неимѣющей попятія о жизни; человекъ умный и серьезный — на пустой и вѣтряной дѣвчкѣ, человекъ бѣдный и неспособный трудиться — на дѣвушкѣ бѣдной и также неспособной трудиться: начинаются семейныя огорченія, начинается нужда, во всемъ оказывается виноватою любовь, — и нѣжные матери предостерегаютъ сыновей и дочерей, указывая на роковыя примѣры и приговаривая со вздохомъ: «А ужъ какъ влюблены-то были!» Поневолѣ, умному и развитому, молодому существу, слушая такія рѣчи, приходится отвѣчать: «я не влюбленъ; я люблю». Это не диалектическая тонкость, это — необходимое разграниченіе. Общество наше понимаетъ только влюбленность, какую то *febris erotica*, въ которой человекъ бѣснуется и дѣлаетъ такія же пошлости, какія предпринималъ добрый рыцарь Донъ-Кихотъ въ горахъ Сьерры-Морены. Надо же заявить этому обществу, что я дескать въ своемъ умѣ и потому въ опеку не нуждаюсь, что я способенъ руководствоваться здравымъ смысломъ и между тѣмъ все таки нахожу величайшее наслажденіе въ сближеніи съ такою-то женщиною, а не въ томъ, чтобы пріобрѣтать много денегъ, и не въ томъ, чтобы быть самымъ блестящимъ кавалеромъ на балѣ или самымъ исполнительнымъ столоначальникомъ въ департаментѣ. Видя дурачества своихъ влюбленныхъ, общество отождествляетъ лю-

бовъ съ дурачествомъ, и сердится на то, чего оно не знаетъ. Многія женщины нашего общества удерживаются отъ того, что называется паденіемъ,—страхомъ отцовъ или мужьевъ, страхомъ стыда и осужденія; онѣ сами сознаютъ это, и это же самое понимаютъ и мужчины, заботящіеся о поддержаніи ихъ нравственной чистоты; узкость и мелкость ихъ воззрѣній мѣшаетъ этимъ господамъ и барынямъ видѣть въ женщинахъ что нибудь, кромѣ матеріальныхъ половыхъ влеченій и нравственныхъ обязанностей жены и матери.

Между тѣмъ до этихъ господъ, которые, при всей своей неразвитости, суются толковать о назначеніи женщины, подкладывая подъ это слово, какъ и подъ многія другія, свой доморощенный смыслъ,—доходятъ изумительныя для нихъ слухи. Они узнаютъ, что въ Европѣ и въ Америкѣ передовые люди толкуютъ о томъ, что женщина такой же человѣкъ, какъ и мужчина, что она вовсе не обязана только о томъ и думать, чтобы готовить мужу обѣдъ, рожать ему дѣтей и кормить ихъ сначала грудью, а потомъ манной кашкой, что она можетъ мыслить, чувствовать и дѣйствовать, не спрашивая позволенія ни у отца, ни у мужа. Задумываются наши господа; имъ говорятъ о правахъ женщины, и они сейчасъ же понятіе женщины воплощаютъ въ тѣхъ образахъ, которые суетятся и пицатъ передъ ихъ глазами; они себѣ представляютъ, что случилось бы, если бы ихъ жены и дочери были отпущены на волю, т. е. эмансипированы,—и съ ужасомъ зажмуриваютъ глаза и начинаютъ отмахиваться отъ эмансипаціонныхъ идей, потому что ихъ воображенію представляются неблаголѣпныя картины. Они думаютъ, что женская нравственность и цѣломудріе, супружеская вѣрность и материнская заботливость поддерживаются только стараніями отцовъ и мужей, да гнетомъ общественнаго мнѣнія, и вдругъ имъ предлагаютъ отказаться отъ своего господства надъ женщинами и устранить гнетъ общественнаго мнѣнія. Да какъ же такъ? спрашиваютъ они; да гдѣ же тогда граница, гдѣ будетъ плотина, которая до сихъ поръ сдерживала безнравственныя наклонности? гдѣ возможность, гдѣ обезпеченіе семейнаго счастья?—Словомъ, они видятъ, что можно употребить во зло идею, и уже кромѣ злоупотребленія въ этой идеѣ ничего не видятъ. Дѣйствительно, въ такой странѣ, гдѣ женщина признается полноправною личностью, ей легче завести себѣ любовника, чѣмъ у насъ, точно также какъ у насъ это легче сдѣлать, чѣмъ въ Турціи или въ Персіи; въ этомъ не ошибаются противники эмансипаціи. Но захочетъ ли эмансипированная женщина удариться въ развратъ изъ любви къ разврату—объ этомъ они не спрашиваютъ. Дурно ли дѣлаетъ женщина, если, дѣйствительно, любя мужчину, она отдается ему,—до этого вопроса они не умѣютъ возвыситься.

Если бы къ киргизамъ проникла какая нибудь европейская идея, то конечно она произвела бы такой диссонансъ, такой сумбуръ, котораго бы

не было, если бы она оставалась неизвѣстною. Безпорядокъ продолжался бы до тѣхъ поръ, пока эта идея не была бы задушена, или пока бы она рѣшительно не восторжествовала и не переработала весь строй народныхъ понятій. Къ числу такихъ рѣзкихъ диссонансовъ безспорно принадлежить раздѣлъ между нашими средневѣковыми понятіями о семействѣ и совершенно новыми по своей ширинѣ идеями о полноправности женщины. Многіе ли изъ нашихъ образованныхъ умниковъ достаточно приготовлены, чтобы только понять обширность и величіе этой идеи? Чтобы всецѣло провести ее въ собственной жизни, надо располагать такими силами, которыя достаются на долю немногимъ единицамъ. А между тѣмъ, посмотрите и послушайте. Полу-кретины, неумѣющіе ни мыслить, ни уважать мысли другаго—судить и ридать, оплевываютъ и закидываютъ грязью то, что для нихъ пустой звукъ, а для людей съ умомъ и съ душою сознательное и дорогое убѣжденіе. Личная свобода, любовь, полноправность женщины понимаются нашимъ обществомъ только въ опошленномъ, одностороннемъ и извращенномъ видѣ. Точно также понимается ими идея эгоизма, неразрывно связанная съ идеею свободы личности и составляющая необходимое основаніе всякой истинной любви. Эгоистъ, по понятію нашего общества, тотъ человѣкъ, который никогда не любитъ, живетъ только для того, чтобы набивать себѣ карманъ или желудокъ и наслаждается только чувственными удовольствіями или удовлетвореніемъ своей алчности или честолюбію. Тутъ прямо пододвинули подъ слово такое понятіе, которое не имѣетъ ничего общаго съ его подлиннымъ значеніемъ. Почему же эгоистъ долженъ быть недоступенъ эстетическому наслажденію? Почему онъ не можетъ любить? Почему онъ не можетъ находить наслажденія въ томъ, чтобы дѣлать добро другимъ? Эгоизмъ, т. е. любовь къ собственной личности ставить цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно—это уже подсказываютъ каждому его наклонности, его личный вкусъ. Стало быть внутри понятія *эгоистъ* открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошіе и дурные люди; эгоистъ—человѣкъ свободный, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдовательно онъ дѣлаетъ только то, чего ему хочется, или, другими словами, остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу, ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно, въ этомъ весь вопросъ и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе. и ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое разнообразіе подъ какую нибудь придуманную имъ или наслѣдо-

ваную откуда нибудь норму. Отсутствие нравственного принужденія— вотъ единственный существенный признакъ эгоизма, но этого конечно не понимаетъ наше общество; именемъ эгоиста оно называетъ непременно челоѣка сухаго и черстваго, не понимая того, что такой челоѣкъ даже и самого себя любить слабо и вяло, что онъ даже самому себѣ не умѣетъ доставлять тѣ наслажденія, которые можно вынести изъ сношеній съ другими людьми. Называть эгоизмомъ бѣдность крови и художосіе, мѣшающія энергическому восприниманію впечатлѣній, совершенно вѣрно; и надо согласиться съ тѣмъ, что только бѣдность крови и художосіе могутъ сдѣлать челоѣка нечувствительнымъ къ наслажденіямъ любви, семейной жизни, и дружбы, недоступнымъ тому волненію, которое возбуждаютъ въ насъ истинно художественныя произведенія, способнымъ къ творчеству мысли и къ искреннему воодушевленію. Эгоизмъ—система умственныхъ убѣжденій, ведущая къ полной эмансипаціи личности и усиливающая въ челоѣкѣ самоуваженіе; а между тѣмъ этимъ словомъ обозначаютъ совокупность нравственныхъ, а можетъ быть, и чисто физическихъ свойствъ, мѣшающихъ развитію полной челоѣчности, и слѣдовательно, не позволяющихъ челоѣку сильно любить, сильно желать, и сильно наслаждаться жизнью. Отчего происходитъ эта ошѣбка въ опредѣленіи понятія? Вѣроятно оттого, что мы обыкновенно очень поверхностно смотримъ на вещи. Мы видимъ, напримѣръ, что челоѣкъ никого не любитъ, держать жену и дѣтей въ черномъ тѣлѣ, копить деньги безъ всякой цѣли, или тратить ихъ на грязныя удовольствія, въ которыхъ онъ одинъ принимаетъ участіе; изъ этого мы заключаемъ, что этотъ челоѣкъ любить только самого себя и что слѣдовательно онъ эгонстъ; онъ никого кромѣ самого себя не любитъ, это вѣрно; но слѣдуетъ ли изъ этого заключенія, что онъ самого себя любить сильнѣе, чѣмъ тотъ челоѣкъ, который находитъ наслажденіе въ томъ, чтобы доставлять другимъ удовольствія и счастье? Эти два челоѣка расходятся между собою только во вкусахъ; оба идутъ къ одной цѣли—къ наслажденію; первый пускаетъ въ ходъ тѣ жалкія средства, которые отыскиваетъ его узенькій умъ и до которыхъ допущивается его бѣдная, хилая природа; второй живетъ всѣми фибрами своего организма; дышетъ полною грудью, смотритъ на міръ весело, любовно, радуется свѣжей жизни окружающей природы и довольству, разлитому на лицахъ близкихъ и дорогихъ ему людей; одинъ вѣчно безстрастенъ, вялъ, почти боленъ; другой здоровъ, свѣжъ, бодръ и вслѣдствіе этого воспримчивъ къ радостямъ окружающаго міра; различіе, какъ видите, лежитъ скорѣе въ темпераментѣ, чѣмъ въ системѣ умственныхъ убѣжденій. Повторяю, эгонзмъ, если понимать его какъ слѣдуетъ, есть только полная свобода личности, уничтоженіе обязательныхъ трудовъ и добродѣтелей, а не искорененіе добрыхъ влеченій и благородныхъ порывовъ. Пусть только

никто не требует подвиговъ, пусть никто не навязываетъ влеченій и порывовъ, пусть общество уважаетъ личность настолько, чтобы не осуждать ее за отсутствіе влеченій и порывовъ и пусть самъ человѣкъ не старается искусственно прививать къ себѣ и воспитывать въ себѣ эти влеченія и порывы — вотъ все, чего можно желать отъ послѣдовательнаго проведенія и сознательнаго воспринятія идеи эгоизма. Гнетъ общества надъ личностью такъ же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣсняя свободы своихъ сосѣдей и членовъ своего семейства, тогда конечно были бы устранены причины многихъ несчастій и страданій. Другими словами, если бы всякій былъ эгоистомъ по-своему, не мѣшая другимъ быть эгоистами по своему, тогда не было бы въ среднемъ кругу ни ссоръ, ни сплетенъ, ни скандаловъ. Въ *среднемъ кругу*, говорю я, потому что для низшихъ слоевъ общества есть такое зло, которое до сихъ поръ не могли устранить, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, лучшіе мыслители Европы. Это зло — пролетаріатъ со всѣми своими ужасными послѣдствіями. Отысканіе средства, долженствующаго устранить это зло, принадлежитъ еще будущему времени.

Большая часть идей, находящихся въ обращеніи между передовыми людьми нашего вѣка, превратно понимается массою нашего общества, и вслѣдствіе этого не находитъ себѣ довѣрія. Ничтожный и дешевый скептицизмъ, съ которымъ встрѣчаются у насъ самыя честныя воззрѣнія, самыя теплыя выраженія человѣческаго чувства, самыя благородныя и широкія стремленія мысли, доказываютъ, что наше общество вообще равнодушно къ истинѣ и красотѣ, или что оно не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Послѣднее, мнѣ кажется, вѣрнѣе; схвативъ вершки образованія, слыша слова, знакомыя по французскимъ учебникамъ и романамъ, наша публика всякую идею понимаетъ по своему, т. е. вкривь и вкось, а наши критики, не давая себѣ труда разяснить ей самыя элементарныя понятія, проповѣдуютъ въ пустынь и не производятъ на своихъ читателей никакого вліянія, потому что эти читатели принимаютъ ихъ за педантовъ, фразеровъ или шарлатановъ. Видя то, какъ общество относится къ идеямъ, составляющимъ славу нашего вѣка, можно уже до нѣкоторой степени составить себѣ понятіе о достоинствѣ его нравственныхъ воззрѣній. Покорность существующему порядку вещей и отношеній составляетъ одно изъ главныхъ нравственныхъ требованій. Протестъ, какъ бы ни былъ онъ законенъ и неизбеженъ, въ какой бы формѣ онъ ни выразился, всегда осуждается, какъ преступленіе. Семейная іерархія во всей своей строгости поддерживается общественнымъ мнѣніемъ; это общественное мнѣніе караетъ какъ тѣхъ, кто снизу возмущается противъ этой іерархій, такъ и тѣхъ, кто сверху ослабляетъ оковы семейнаго деспотизма. Первыхъ оно называетъ

непочтительными дѣтьми, вторыхъ — слабыми родителями. Отношенія между молодыми людьми разныхъ половъ находятся подъ самымъ дѣятельнымъ надзоромъ общественнаго мнѣнія. Въ правильности этихъ отношеній и заключается весь мистическій смыслъ условной нравственности. Всякое проявленіе чувства между молодыми людьми, несвязанными узами брака, и даже непомолвленными, считается наглымъ оскорбленіемъ общественной нравственности. Честная дѣвушка должна больше всѣхъ любить папеньку съ маменькой, а потомъ, когда ее выдадутъ замужъ, она должна всю сумму своей любви перенести на мужа, а потомъ, когда у нея родятся дѣти, на дѣтей. Жить такимъ образомъ значитъ исполнять свой долгъ. Если дѣвушка замѣчаетъ въ своихъ родителяхъ недостатки, она должна убѣждать себя въ томъ, что это ей только такъ показалось, или же, что эти свойства не недостатки, а хорошія качества; если она страдаетъ отъ этихъ недостатковъ, она должна принять эти страданія съ покорностью и считать ихъ крестомъ, возложеннымъ на нее богомъ; стараться объ устраненіи этихъ страданій — грѣшно. Если родители — люди дурные, то дочь должна считать ихъ хорошими людьми, и любить ихъ какъ таковыхъ; впрочемъ, брать съ нихъ примѣръ общественное мнѣніе не велитъ. Если дѣвушка случится полюбить молодого человѣка, она немедленно должна во всемъ признаться своимъ родителямъ, или, по крайней мѣрѣ, маменькѣ, хотя бы она со стороны послѣдней не могла ожидать себѣ сочувствія, хотя бы даже ей пришлось за это выслушать упреки и испытать препятствія; если маменька посоветуетъ ей прервать сношенія съ любимымъ человѣкомъ, или, говоря языкомъ патриархальнаго быта, велитъ выкинуть дурь изъ головы, она должна немедленно повиноваться; если родители прищутъ ей жениха, способнаго составить ея счастье, человѣка солиднаго, т. е. прилично-пожилаго, одареннаго состояніемъ, чинами и знаками отличія, она должна съ благодарностью принять отъ нихъ это доказательство ихъ заботливости; въ подобномъ случаѣ общественное мнѣніе поощряетъ только со стороны невесты обильныя слезы, долженствующія служить доказательствомъ неизмѣнной привязанности къ родительскому дому; впрочемъ эта привязанность, очень похвальная, если она проявляется до свадьбы, можетъ показаться странною и даже предосудительною, если она слишкомъ сильно будетъ выражаться послѣ замужества. Молодые должны быть, или казаться, счастливыми; молодая женщина должна быть довольна своею участью, хотя бы ея супругу было подъ семьдесятъ лѣтъ и хотя бы ей приходилось быть сидѣлкою, а не женою; если она покажется недовольною, и, если, боже упаси! въ числѣ знакомыхъ ея мужа отыщется какой нибудь юноша, котораго нельзя будетъ назвать уродомъ, — общественное мнѣніе отмѣтитъ ее и возьметъ ее подъ присмотръ; при малѣйшемъ предлогѣ молодая женщина будетъ

обвинена въ нарушеніи супружеской вѣрности и репутація ея будетъ замарана; объ ней никто не пожалѣетъ, никто не вмѣнитъ ей въ заслугу многолѣтняго повиновенія родителямъ; все прежнее образцовое поведение будетъ вмѣнено ей въ вину. «Какова!—скажутъ всѣ—а еще какою смиренницею прикидывалась! Ужъ подлинно, въ тихомъ омутѣ...» Я нарочно выбралъ женщину для того, чтобы по ея личности прослѣдить требованія общественной нравственности.

По физическимъ силамъ, по суммѣ умственныхъ силъ, вырабатывающихся въ ней воспитаніемъ, по положенію и правамъ своимъ въ обществѣ, женщина является намъ существомъ слабымъ, подчиненнымъ, подавленнымъ. И общественное мнѣніе только къ тому и стремится, чтобы представить эту слабость нормальнымъ положеніемъ, чтобы упрочить гнетъ, чтобы еще больше подавить и безъ того подавленную личность. *Vae victis!*—вотъ варварскій девизъ этого общественного мнѣнія. Нѣтъ въ немъ ни человѣколюбія, ни справедливости. Поклоненіе силѣ, къ чему бы она ни примѣнялась, узаконеніе существующаго порядка вещей, какъ бы ни былъ онъ безобразенъ, осужденіе слабого, какъ бы ни были справедливы его притязанія, перевѣсъ авторитета надъ здравымъ смысломъ,—словомъ, необузданный консерватизмъ патріархальнаго быта,—вотъ чѣмъ отличается наше общественное мнѣніе. Оно знаетъ и поощряетъ только два рода добродѣтелей: со стороны старшихъ и начальниковъ строгость, твердость, настойчивость, недопускающія разсужденія, несмягчаемая уваженіемъ къ подчиненному, непризнающія въ немъ самобытной личности; со стороны младшихъ и подчиненныхъ пассивное, безсмысленное, чисто внѣшнее повиновеніе, несомнѣнное съ умственною самостоятельностью и обидное для человѣческаго достоинства. Это общественное мнѣніе формируетъ только рабовъ и деспотовъ; свободныхъ людей нѣтъ; кто не чувствуетъ надъ собою гнета, тотъ гнететъ самъ и вымещаетъ на своихъ подчиненныхъ то, что ему пришлось терпѣть въ молодые годы. Что нарушить эти преемственные преданія школы, семейства и общественного быта? когда произойдетъ это нарушеніе?—на все это отвѣтитъ будущее. Но такъ жить, какъ жило и до сихъ поръ живетъ большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшаго порядка вещей и когда не понимаешь своего страданія.

VIII.

Все, что я говорилъ о нашемъ провинціальномъ обществѣ, искусственность занимающихъ его интѣресовъ, грубость семейныхъ отношеній, не-

естественность нравственных воззрѣній, подавленіе личной самостоятельности гнетомъ общественнаго мнѣнія, все это выразилось въ повѣсти «Тюфякъ». Мое дѣло будетъ обратить вниманіе читателя на тѣ факты, которые всего болѣе даютъ матеріаловъ для размышленія. Въ «Тюфякѣ» есть двѣ женщины; одну изъ нихъ мы знаемъ — это жена Бешметева; ее всѣ осуждаютъ, съ нею никто не знакомится; знакомыя съ нею дамы прерываютъ съ нею сношенія; все это дѣлается за то, что ее подозрѣваютъ въ интригѣ съ Бахтіаровымъ. Вотъ вамъ образчикъ общественной логики: выдти замужъ за человѣка, котораго не любишь — не бѣда; отдаться любимому человѣку — стыдно и грѣшно. Другая женщина — сестра Бешметева; ея мужъ — лгуны, мотъ, игрокъ, человѣкъ пустой и ограниченный; въ немъ нѣтъ сильныхъ страстей и пороковъ, но за то нѣтъ ни одной свѣтлой, человѣческой черты, за которою можно было бы простить ему его гаденькія свойства; съ такимъ джентльменомъ живетъ умная, честная, хоть и неразвитая женщина; въ отношеніи къ нему она хранитъ супружескую вѣрность; она страдаетъ отъ его пошлости; ей просто нечѣмъ жить, нечѣмъ дышать, — и она дѣйствительно медленно истлѣваетъ, сохнетъ отъ пустоты жизни, отъ недостатка внутренняго содержанія. Общественное мнѣніе не жалѣетъ объ ней и не возмущается ея бесполезнымъ самоотверженіемъ; оно говоритъ, что Лизавета Васильевна Масурова — добродѣтельная женщина, исполняющая свои обязанности! Еслибы Лизавета Васильевна любила и уважала своего мужа, тогда въ исполненіи ея обязанностей не было бы ничего оскорбительнаго для ея человѣческаго достоинства, тогда она сама была бы счастлива, и въ ея образѣ дѣйствій не видно было бы подвиговъ самоотверженія. Именно по этой причинѣ наше общество, воспитанное въ правилахъ приниженія личности, не поставило бы ей въ заслугу ея хорошаго поведенія; въ нашемъ обществѣ глубоко коренится взглядъ на добродѣтель, какъ на насилуваніе природы. Вы услышите на каждомъ шагѣ: «Что жъ за важность, что такой-то не пьетъ? — Онъ не расположенъ къ вину. Что за важность, что такая-то хорошо живетъ съ мужемъ? — Она его любитъ». Если судить такимъ образомъ, то надо всегда ставить раскаявшагося преступника выше человѣка, неспособнаго сдѣлать преступленіе. Естественное расположеніе къ добру считается въ такомъ случаѣ счастливою принадлежностью человѣческой природы, счастливымъ преимуществомъ, а не результатомъ акта свободной воли. По нравственнымъ понятіямъ нашего общества, свободная воля человѣка должна быть направлена на то, чтобы ломать врожденныя наклонности, искоренять тѣ слабости, которыя всего болѣе свойственны нашему нравственному организму и прививать тѣ добродѣтели, которыя ему всего болѣе антипатичны. Идеализмъ, т. е. выкраиваніе людей на одинъ образецъ и вражда къ матеріи, какъ къ источнику всякаго

зла, лежитъ въ основаніи этихъ нравственныхъ воззрѣній, которыя раздѣляютъ съ массою даже лучшіе люди общества. Они восхваляютъ женщину за то, что она исполняетъ свои обязанности въ отношеніи къ нелюбимому мужу;—они не понимаютъ того, что выдти замужъ за нелюбимаго человѣка—возмутительно. Они не понимаютъ того, что женщина, соглашающаяся принадлежать человѣку, котораго она разлюбила, подавляетъ въ себѣ естественный голосъ женской гордости и стыдливости, и профанируетъ актъ любви, сводя его на степень хладнокровно-исполняемаго, условнаго обряда. Здѣсь, какъ и вездѣ, приговоры общественнаго мнѣнія клонятся къ тому, что извратить и изуродовать чувство человѣческаго достоинства, чтобы въ угоду неосязательному принципу раздавить и уничтожить живую личность. Самъ Бешметевъ можетъ служить намъ яркимъ примѣромъ того нравственнаго развращенія, которое въ грязной средѣ выпадаетъ на долю молодой и слабой личности, стоявшей на хорошей дорогѣ, но несумѣвшей на ней удержаться. Поддержало-ли, остановило-ли его хоть на минуту общественное мнѣніе? Напротивъ, оно постоянно толкало его къ паденію, и потомъ, когда онъ повалился въ пропасть, оно отреклось отъ своего поступка и рѣзко осудило его за нравственное униженіе. Переходъ отъ ученой карьеры къ бюрократической дѣятельности, нелѣпныя отношенія къ женѣ, посягательства на ея свободу, грубая ревность, притѣсненія и попреки—все это оправдывало общественное мнѣніе, ко всему этому оно подзадоривало доверчиваго Тюфяка, и все это привело къ чему же?—Къ внутренней пустотѣ, къ озлобленію противъ жены, къ недовольству собою и людьми, къ желанію забыться, къ пьянству запоємъ, къ грязному паденію нравственныхъ силъ, къ разрушенію здоровья, къ преждевременной смерти. И что же сдѣлали тѣ старшіе родственники, которые, какъ проводники общественнаго мнѣнія, управляли дѣйствіями Бешметева? Увидали-ли они, по крайней мѣрѣ, что слишкомъ хорошо повиноваться ихъ совѣтамъ—нелѣпо? Поняли-ли они свою оплошность? Сознали-ли они свою неспособность руководить дѣйствіями молодыхъ и свѣжихъ личностей?—Ни мало! Они отступились отъ своего дѣла и не захотѣли повѣтъ того, что несчастія, свалившіяся на Бешметева, составляютъ естественныя слѣдствія ихъ совѣтовъ; они обвинили самого же Бешметева, презрительно сожалѣли о немъ, и потомъ, вѣроятно забыли о несчастной жертвѣ своей нелѣпости.

И это судьи! Это законодатели общественнаго мнѣнія!

1861 г. Октябрь.

ПИСЕМСКІЙ, ТУРГЕНЕВЪ и ГОНЧАРОВЪ.

(Сочиненія А. Ѳ. Писемскаго Т. I и II., Сочиненія И. С. Тургенева.)

I.

Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ принадлежатъ къ одному поколѣнію. Это поколѣніе уже давно созрѣло и теперь клонится къ старости; дѣти этого поколѣнія уже способны рѣшать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся дѣателями прошедшаго времени, и для нихъ встаетъ судъ ближайшаго потомства. Пора PROVĖRITЬ результаты ихъ работъ, не для того, чтобы выразить имъ свою признательность или неудовольствіе, а просто для того, чтобы пересчитать умственный капиталъ, доставшійся намъ отъ прошедшаго, узнать сильныя и слабыя стороны нашего наслѣдства, и сообразить, что въ немъ можно оставить на старомъ основаніи, и что надо фундаментально передѣлать. Всего этого наслѣдства разомъ не оглядишь; оно, какъ и все русское, велико и обильно. Посмотримъ на первый разъ, что оставили намъ наши первоклассные романисты, лучшіе представители русской поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Вопросъ, поставленный мною, шире, чѣмъ можетъ подумать читатель. Романы Писемскаго, Гончарова и Тургенева имѣютъ для насъ не только эстетическій но и общественный интересъ; у Англичанъ рядомъ съ Диккенсомъ, Теккереемъ, Бульверомъ и Элліотомъ есть Джонъ Стюартъ Милль; у Французовъ рядомъ съ романистами есть публицисты и социалисты: а у насъ въ изыщной словесности, да въ критикѣ на художественныя произведенія сосредоточилась вся сумма идей нашихъ объ обществѣ, о человѣческой личности, о междучеловѣческихъ, семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ; у насъ нѣтъ отдѣльно существующей нравственной философіи, нѣтъ социальной науки; стало-быть, всего этого надо

искать въ художественныхъ произведеніяхъ. Я говорю: *надо искать*. потому что не можетъ же быть, чтобы люди, имѣющіе знакомыхъ, жену, дѣтей, состоящіе на государственной или частной службѣ, и притомъ сколько нибудь способные размышлять, не составляли себѣ извѣстныхъ понятій о своихъ отношеніяхъ, о жизни и ея требованіяхъ; не можетъ быть, чтобы, составивъ себѣ эти понятія, они не дѣлились ими съ тѣми, кто можетъ ихъ понимать. Въмѣсто того, чтобы сообщать результаты своихъ наблюденій въ отвлеченной формѣ, они стали облекать идею въ образы. Многіе изъ нашихъ беллетристовъ сдѣлались художниками потому, что не могли сдѣлаться общественными дѣятелями или политическими писателями; что же касается до истинныхъ художниковъ по призванію, то они также должны были какою нибудь стороною своей дѣятельности сдѣлаться публицистами.

Кто, живя и дѣйствуя въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, не проводилъ въ общественное сознаніе живыхъ, общечеловѣческихъ идей, того мы уважать не можемъ, того потомство не помѣститъ въ число благородныхъ дѣателей русскаго слова. Гг. Фетъ, Полонскій, Щербина, Грековъ и многіе другіе микроскопическіе поэтики забудутся также скоро, какъ тѣ журнальныя книжки, въ которыхъ они печатаются. «Что вы для насъ сдѣлали?» спроситъ этихъ господъ молодое поколѣніе. «Чѣмъ вы обогатили наше сознаніе? Чѣмъ вы насъ шевельнули, чѣмъ заронили въ насъ искру негодованія противъ грязныхъ и дикихъ сторонъ нашей жизни? Сказали-ли вы тѣплое слово за идею? Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблужденіе? Стояли-ли вы сами, хоть въ какомъ-нибудь отношеніи, выше воззрѣній вашего времени?» На всѣ эти вопросы, возникающіе сами собою при оцѣнкѣ дѣятельности художника, наши версификаторы ничего не сумѣютъ отвѣтить. Мало того. Они не поймутъ этихъ вопросовъ, и останутся въ недоумѣніи, они въ наивности души увѣрены въ величіи своихъ заслугъ и въ правахъ своихъ на всеобщую признательность, они думаютъ, что, шлифуя русскій стихъ, баюкая насъ своими тихими мелодіями, воспѣвая на тысячу ладовъ мелкіе отгѣнки мелкихъ чувствъ, они приносятъ пользу русской словесности и русскому просвѣщенію. Они считаютъ себя художниками, имѣя на это званіе такія же права, какъ модистка, выдумавшая новую куафюру.

Чтобы эти слова не казались бессмысленною выходкою, лаяніемъ на луну, я считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ, что я понимаю подъ словомъ художникъ. Вотъ видите-ли, всѣ мы смотримъ на какой нибудь уличный скандалъ, но не во всѣхъ насъ это зрѣлище западетъ одинаково глубоко, не всѣхъ насъ оно потрясетъ одинаково сильно. Чего, чего не передумать бы чловѣкъ впечатлительный, присутствуя, положимъ, при подвигѣ расправы надъ из-

вощикомъ; одна эта сцена показалась бы ему только эпизодомъ длинной, никому невѣдомой драмы, разыгрывающейся каждый день безъ свидѣтелей въ разныхъ бѣдныхъ квартирахъ, на улицахъ, «подъ овиномъ подъ стогомъ», вездѣ, гдѣ бѣдный и слабый терпитъ горькую долю отъ богатаго и сильнаго. Воображеніе дорисовало бы недостающія подробности; естественное, гуманное чувство, воспитанное разностороннимъ образованіемъ, согрѣло бы всю картину, и вотъ, изъ грубой уличной сцены возникло бы художественное произведеніе, которое навѣрное подѣйствовало бы на читателя, шевельнуло бы его, или заставило бы его задуматься. Кто по природѣ и по воспитанію впечатлителенъ, да кто усвоилъ себѣ умѣніе передавать свои впечатлѣнія другимъ такъ, чтобы они могли перечувствовать то, что онъ самъ чувствуетъ, тотъ и художникъ. Умѣніе передавать составляетъ техническую сторону искусства, и приобрѣтается навыкомъ и упражненіемъ. Способность воспринимать, или впечатлительность составляетъ принадлежность человѣческаго характера художника; эта способность кроется въ строеніи нервовъ, рождается вмѣстѣ съ нами и, конечно, развивается или притупляется обстоятельствами жизни. Умѣніе передавать, или виртуозность формы сама по себѣ не можетъ сильно и обаятельно подѣйствовать на читателя; не угодно ли вамъ, напримѣръ, описать самымъ яркимъ и подробнымъ образомъ лицо вашего героя такъ, чтобы читатель видѣлъ каждую морщинку на его лбу, каждый волосокъ на его бровяхъ, каждую бородавку на лбу или щекѣ? На каждой академической выставкѣ есть нѣсколько подобныхъ картинъ: тутъ, положимъ, художникъ нарисовалъ палитру, карандашъ и куски красокъ; въ другомъ мѣстѣ корзину съ цвѣтами или разрѣзанный арбузъ, въ третьемъ—портретъ какого нибудь господина, у котораго бобровый воротникъ и пуговицы на шинели выдѣланы такъ тщательно, что не знаешь, портретъ ли это или вывѣска мѣховщика. Ахъ какъ натурально, скажете вы, но представить себѣ, чтобы художникъ, рисуя всѣ эти прелести, что нибудь думалъ или чувствовалъ, вы рѣшительно не будете въ состояніи. Вы увидите, что такой-то господинъ хорошо составляетъ краски и ловко владѣетъ кистью, но человѣческаго характера этого господина вы не увидите; ни мысли его, ни чувства вы не уловите; отходя отъ картины, вы будете вправѣ сказать, что такой-то NN тратитъ свое замѣчательное умѣніе на совершеннѣйшіе пустяки; почему это происходитъ—на это могутъ быть многія причины: или г. NN не на столько уменъ, чтобы составить въ головѣ свой планъ картины, или не настолько развитъ, чтобы умѣть обставить свою идею, или не настолько впечатлителенъ, чтобы печально наткнуться на сюжетъ, и, почти помимо собственной воли, выносить и взлелеять его въ груди. Во всякомъ случаѣ, этотъ NN художникъ только на-половину, на столько же, насколько можетъ быть названъ художникомъ поваръ, отлично изготовившій

кулебяку. Г. NN совершенно воленъ рисовать палитры, арбузы и мѣховые воротники всѣхъ цвѣтовъ и достоинствъ, но мы, зрители, также совершенно вольны восхищаться или не восхищаться его малеваніями.

Перенесемъ теперь то, что было сказано о живописи, на поэзію. Къ сожалѣнію, область поэзіи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ далеко не такъ обширна, какъ область живописи. Вы можете, напр., нарисовать картину, не выразивъ ровно никакой идеи и никакого чувства; эта завидная привилегія совершенно отнимается у васъ, когда вы берете орудіемъ своимъ — слово; тогда надо непременно что-нибудь сказать; читая самое наглядное описаніе какого нибудь плетня или огорода, читатель никакъ имъ не удовлетворится, а все будетъ спрашивать, что же дальше? Если же вы ему ничего дальше не дадите, то онъ подумаетъ, что вы надъ нимъ подшутили, и, чего добраго! найдетъ вашу шутку довольно плоскою. На этомъ основаніи, каждый поэтъ, какъ бы онъ ни дорожилъ своею художническою свободою, и какъ бы ни былъ ему враждебенъ элементъ мысли, старается чисто для приличія, прикинуться въ своихъ произведеніяхъ мыслящимъ и чувствующимъ. Никто конечно не упрекнетъ гг. Фета, Мея и Полонскаго въ томъ, чтобы они были глубокіе мыслители, а между тѣмъ и въ ихъ лирическихъ стихотвореніяхъ есть подобія мыслей и чувствъ; случается, правда, что вы прочтете маленькое стихотвореніе въ три-четыре куплета и тотчасъ же забудете его, какъ забываете докуренную сигару; но за то это стихотвореніе подѣйствовало на вашу нервную систему почти также, какъ сигара; первые два стиха подкупили васъ своею благозвучностью, первыя четыре рѣмы ублажали васъ своимъ мѣрнымъ паденіемъ, и вы дочитываетесь до конца, находясь въ состояніи пріятной полудремоты, и потерявъ всякую способность, да и всякое желаніе отнестись критически къ прочитанному произведенію. Такого рода чтеніе дѣйствительно хорошо въ гигиеническомъ отношеніи, послѣ обѣда, и кромѣ того, такого рода стихотворенія очень полезны въ типографскомъ отношеніи, для пополненія бѣлыхъ полосъ, т. е. страницъ, между серьезными статьями и художественными произведеніями, помѣщающимися въ журналахъ. Но знаете ли, что часто случается? Джентльменъ, наполнившій глазами пустячками штукъ полтора-раста такихъ бѣлыхъ полосъ, производится въ русскіе поэты, становится авторитетомъ, издаетъ собраніе своихъ стихотвореній, и начинаетъ помышлять о признательности потомства, о монументѣ аере perpetuus. Я совершенно согласенъ признать за ними права на монументъ, но позволю себѣ только дать читателю такихъ поэтовъ одинъ совѣтъ: попробуйте, милостивый государь, переложить два три хорошенькія стихотворенія Фета, Полонскаго, Щербины или Бенедиктова въ прозу и прочтите ихъ такимъ образомъ. Тогда всплывутъ на верхъ подобно деревянному маслу, два драгоценныя свойства этихъ стихотвореній: во-пер-

выхъ, неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторыхъ, колоссальная напыщенность формы; вамъ покажется, будто вы по ошибкѣ раскрыли томъ сочиненій Марлинскаго, вы припомните семейство Маниловъ или даже надписи на конфетныхъ билетикахъ, вы закроете книгу и, вѣроятно, согласитесь съ моимъ мнѣніемъ. Мнѣ кажется, что въ стихахъ, какъ и въ прозѣ, прежде всего нужна мысль; отсутствіе мысли можетъ быть замаскировано фантастическими арабесками, и затушевано гладкостью и музыкальностью стиховъ; но то, что лишено мысли, никогда не произведетъ сильнаго впечатлѣнія.

У нашихъ лириковъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обывденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ физіономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія тревоженія ихъ собственнаго, узенькаго, психическаго міра; какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно при такой-то разлукѣ, что шевельнулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ—все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ больно мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какимъ манеромъ любить свою возлюбленную г. Фетъ, или г. Мей, или г. Полонскій? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскимъ поэтомъ, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, глубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похожденій и нѣжныхъ чувствованій. Впрочемъ, опять таки говорю, вы вольны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, воленъ обсуживать вашу дѣятельность, какъ мнѣ угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на одни мои глаза покажется больно пустою и безцвѣтною.

Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человека, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣднака и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: Филатропъ, Эпилогъ къ ненаписанной поэмѣ, «Ѣду-ли ночью по улицѣ темной», Саша, «Живя согласно съ строгою моралью,» — тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаетъ и любитъ живая Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современно развитаго человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго

опредѣленное, трезвое міросозерцаніе, какъ творца: Трехъ Смертей, Саванароллы, Приговора, и т. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ версификаторовъ, о которыхъ я говорилъ на предыдущей страницѣ. Но все-таки, если мы желаемъ изучить тотъ запасъ общечеловѣческихъ идей, который находился въ обращеніи въ мыслящей части нашего общества, если мы хотимъ прослѣдить, какъ эта мыслящая часть относилась къ жизни массы, то мы преимущественно должны обратить наше вниманіе на тѣхъ трехъ романистовъ, которыхъ имена выписаны въ заглавіи статьи. Ихъ личности, ихъ манера писать, условія ихъ развитія, складъ ихъ таланта, взглядъ на жизнь—все это представляетъ самое пестрое разнообразіе; между тѣмъ, всѣ трое пользуются постоянно любовью нашей публики, слѣдовательно, или каждый изъ нихъ какою-нибудь стороною своего таланта удовлетворяетъ требованіямъ этой публики, или, извините за откровенность, эта публика не предъявляетъ никакихъ опредѣленныхъ требованій, и кушаетъ безъ разбору все, что ей ни поднесутъ. Оба эти предположенія имѣютъ нѣкоторую долю основательности. Дѣйствительно, публика наша не взыскательна и мало развита, какъ въ эстетическомъ, такъ и во всякомъ другомъ отношеніи; съ другой стороны, каждый изъ трехъ названныхъ романистовъ имѣетъ свою характерную особенность; въ Гончаровѣ, напр., развита та сторона, которая слаба въ Тургеневѣ и Писемскомъ; въ Писемскомъ есть такія достоинства, которыхъ вы не найдете ни въ Тургеневѣ, ни въ Гончаровѣ; Тургеневъ задѣнеть въ васъ такія струны, которыхъ не шевельнетъ ни Гончаровъ, ни Писемскій; стало быть, публика наша, читая ихъ вмѣстѣ и находя всѣхъ троихъ по своему вкусу, поступаетъ очень основательно; она для своего умственного продовольствія распоряжается точно также благоразумно, какъ опытная хозяйка, заказывающая хорошій обѣдъ и инстинктивно устроивающая такъ, чтобы одно кушанье дополнялось другимъ, чтобы питательныя вещества, не находящіяся въ мясѣ, приносились въ соусъ и приправѣ, и чтобы такимъ образомъ организмъ вынесъ изъ-за стола возможно большее количество обновляющаго матеріала.

Чтобы открыть характерныя особенности каждаго изъ нашихъ трехъ романистовъ, надо поговорить довольно подробно о каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности. Я начну съ Гончарова; онъ написалъ меньше Писемскаго и Тургенева; его романы менѣе замѣчательны для характеристики русской жизни и потому съ нимъ легче справиться; покончивши съ нимъ, я остановлю все вниманіе читателей на параллели между Писемскимъ и Тургеневымъ.

II.

Гончаровъ написалъ только два капитальные романа: «Обыкновенную исторію» и «Обломова.» Первый изъ этихъ романовъ сразу поставилъ его въ ряды первоклассныхъ русскихъ литераторовъ, и его «Очерки кругосвѣтнаго плаванія» и «Обломовъ» были встрѣчены журналами и публикою съ такою радостью, съ какою рѣдко встрѣчаются на Руси литературныя произведенія. Мнѣ кажется, причины этого замѣчательнаго явленія заключаются преимущественно въ томъ, что Гончаровъ по плечу всякому читателю, т. е. для всякаго ясенъ и понятенъ. Онъ вездѣ стоитъ на почвѣ чистой современной практичности, и притомъ практичности, не западной, не европейской, а той практичности, которою отличаются образованные петербургскіе чиновники, читающіе помѣщики, разсуждающіе о современныхъ предметахъ барыни, и т. п. Прочтите Гончарова отъ начала до конца, и вы, по всей вѣроятности, ничѣмъ не увлечетесь, ни надъ чѣмъ не замечаетесь, ни о чемъ горячо не заспорите съ авторомъ, не назовете его ни обскурантомъ, ни рынымъ прогрессистомъ, и, закрывая послѣднюю страницу, скажете очень хладнокровно, что г. Гончаровъ очень умный и основательно разсуждающій господинъ. У Гончарова нѣтъ никакого конька, никакой любимой идеи; утопія всякаго рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлеченію онъ относится съ легкимъ и вѣжливымъ отгнѣнкомъ ироніи; онъ скептикъ, не доводящій своего скептицизма до крайности: онъ практикъ и матеріалистъ, способный ужиться съ фантазмомъ и идеалистомъ; онъ эгоистъ, не рѣшающійся взять на себя крайнихъ выводовъ своего міросозерцанія, и выражающій свой эгоизмъ въ тепловатомъ отношеніи къ общимъ идеямъ, или даже, гдѣ возможно, въ *игнорированіи* челоуѣческихъ и гражданскихъ интересовъ. Этотъ эгоизмъ проглядываетъ во всѣхъ его произведеніяхъ; кто читалъ «Фрегатъ Палладу» и «Обломова», тотъ не найдетъ удивительнымъ мое мнѣніе. Постоянно спокойный, ни чѣмъ не увлекающійся, романистъ нашъ развязно подходитъ къ запутаннымъ вопросамъ общественной и частной жизни своихъ героевъ и героинь; безстрастно и безпристрастно осматриваетъ онъ положеніе, отдавая себѣ и читателю самый ясный и подробный отчетъ въ мелкихъ его особенностяхъ, становясь поочередно на точку зрѣнія каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ, не сочувствуя особенно сильно никому, и понимая по своему всѣхъ. Онъ обсуживаетъ положеніе и свойства своихъ дѣйствующихъ лицъ, но всегда воздерживается отъ окончательнаго приговора. Прочитавши «Обыкновенную исторію», читатель не можетъ сказать, чтобы авторъ сочувствовалъ старшему Адуеву, и не можетъ также сказать, чтобы онъ находилъ его неправымъ;

сочувствія къ младшему Адуеву также не видно ни въ ту минуту, когда онъ составляетъ совершенную противоположность съ своимъ дядей, ни въ тотъ моментъ; когда онъ становится на него похожимъ. Вслѣдствіе этого, оканчивая послѣднюю страницу романа, читатель чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ. «Обыкновенная исторія» производитъ такое впечатлѣніе, какое могла бы произвести отлично нарисованная, но неясно освѣщенная картина; мы чувствуемъ, что авторъ романа—человѣкъ умный, наблюдательный и способный осмысливать свои наблюденія; этотъ человѣкъ говорить съ нами о явленіяхъ нашей жизни, описываетъ ихъ подробно и наглядно, изображаетъ вліяніе этихъ явленій на молодое существо, знакомящееся съ жизнью, но изображаетъ чисто виѣшнимъ образомъ, перечисляя только симптомы перемѣнъ, происходящихъ въ его героѣ.

Очень естественно, что читатель, заинтересованный настолько же личностью рассказчика, насколько нитью самаго рассказа, ждетъ на каждой страницѣ, чтобы авторъ въ постановкѣ образовъ, или въ лирическомъ отступленіи выразилъ бы свои воззрѣнія, сказалъ бы: я считаю это хорошимъ, а то дурнымъ, по такимъ-то причинамъ. Мнѣ могутъ возразить на это, что объективность — высшее достоинство эпического поэта; я отвѣчу, что это одна изъ тѣхъ наслѣдованныхъ отъ прошедшаго фразъ, которыми пробавляется, за неимѣніемъ лучшаго, эстетика и критика, одна изъ тѣхъ фразъ, въ которыхъ многіе свѣдущіе, но робкіе люди видятъ предѣлъ, «его же не прейдеши». Во-первыхъ, эпическая поэзія въ чистомъ видѣ своемъ теперь невозможна; попробуйте рассказывать событія безъ основной мысли, негруппируя ихъ такъ, чтобы читатель могъ видѣть просвѣчивающую идею,—вы собьетесь на Дюма-отца, Феваля и компанію, и ни одинъ развитой человѣкъ не раскроетъ вашей книги и не скажетъ вамъ спасибо за ваше эпическое спокойствіе. Рассказывать что нибудь безъ особенной цѣли даже своимъ знакомымъ—свойственно только праздному болтуну или дряхлѣющему старцу, а рассказывать для процесса рассказыванія всей читающей публикѣ—просто недобросовѣстно и невѣжливо; надо помнить, что публика за рассказы платитъ деньги и на чтеніе ихъ тратитъ время. Зачѣмъ же такъ безцеремонно обращаться съ достоиніемъ ближняго? Я этимъ не хочу сказать, чтобы необходимо было читать публикѣ нравоученія и наставленія. Боже упаси! Это еще скучнѣе! Но дѣло въ томъ, что, собираясь рассказывать что нибудь, писатель долженъ же самъ имѣть въ головѣ понятіе о томъ, что онъ будетъ сообщать другимъ. Если ему придется описывать явленіе, зависящее отъ другаго явленія, то долженъ же онъ объяснить одно другимъ, вывести одно изъ другаго, показать, что такая-то причина должна привести и приводить къ такому-то слѣдствію. Слѣдовательно, рассказчикъ долженъ раскрыть передъ читателемъ

свой процессъ мысли. Кромѣ того, читателю невольно придетъ въ голову вопросъ: да съ какой стати г. NN. рассказываетъ мнѣ эти событія? что, кромѣ желанія получить авторскій гонораръ, побудило его написать нѣсколько страницъ, вывести на сцену десятка полтора лицъ, и слѣдить за ними въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ ихъ жизни?—Отвѣта на эти естественные вопросы надо искать въ самомъ произведеніи; если произведеніе вылилось изъ души, то писатель конечно въ этомъ произведеніи говоритъ о томъ, что, такъ или иначе, интересуется его лично, что затрагиваетъ его за живое, что онъ горячо любитъ или горячо ненавидитъ. Если предметъ его разсказа для него равнодушенъ, то какъ объяснить себѣ то, что онъ обратилъ на него вниманіе, сталъ надъ нимъ задумываться, сталъ уяснять его самому себѣ, и наконецъ, довелъ его до такой степени наглядности, что онъ и для другихъ людей сталъ замѣтенъ, понятенъ и осизателенъ. А если ничего этого не было, если писатель не вдумывался, не уяснял себѣ и т. д., то разсказъ выйдетъ блѣдный и скучный; его дѣйствующія лица будутъ тѣни или маріонетки, но никакъ не живые люди; таковы дѣйствительно бывають разсказы, писанные на заказъ, безъ внутренняго желанія, безъ живаго участія къ предмету.

Для того, чтобы печатныя строки казались намъ рѣчами и поступками живыхъ людей, необходимо, чтобы въ этихъ печатныхъ строкахъ сказала живая душа того, кто ихъ писалъ; только въ этомъ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью писателя и заключается обаятельное дѣйствіе поэзіи; живопись говоритъ глазу, музыка — уху, а поэзія (творчество) — чисто одному мозгу; вы видите глазомъ черныя значки на бѣломъ полѣ и, при помощи этихъ значковъ узнаете то, что думалъ человекъ, котораго вы, можетъ быть, никогда въ глаза не видали; на васъ дѣйствуетъ чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бывають личныя; слѣдовательно, что же останется отъ поэтическаго произведенія, если вы изъ него вытравите личность автора; вполне объективная картина — фотографія; вполне объективный разсказъ — показаніе свидѣтеля, записанное стенографомъ; вполне объективная музыка — шарманка; добиться этой объективности значитъ уничтожить въ поэзіи всякій патетическій элементъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ убить поэзію, убить искусство, даже науку, даже всякое движеніе мысли.

Личность автора для меня интересна, какъ всякая человѣческая личность, и кромѣ того, какъ личность, чувствующая потребность высказаться, слѣдовательно, воспринявшая въ себѣ рядъ извѣстныхъ впечатлѣній и переработавшая ихъ силою собственной мысли. Личности же вымышленныхъ дѣйствующихъ лицъ я только терплю и допускаю, какъ выраженіе личности автора, какъ форму, въ которую ему заблагоразсудилось вложить свою идею. Если я съ идеею

согласенъ, если я ей сочувствую, а выведенныя личности оказываются блѣдными и неестественными, то я скажу, что авторъ — неопытный музыкантъ, что чувство въ немъ есть, а техническаго умѣнья мало; замѣтивши этотъ недостатокъ, а все-таки буду, можетъ быть, нѣкоторые отрывки читать съ удовольствіемъ, вѣроятно тѣ отрывки, въ которыхъ сила внутренняго убѣжденія и воодушевленія укрѣпляет неопытныя руки виртуоза, и заставляетъ его на нѣсколько мгновений побѣдить трудности техники. «Ничего, современемъ будетъ прокъ, явится навыкъ», — можно будетъ сказать, закрывая книгу, написанную такимъ образомъ, т. е. съ неподдѣльною теплотою, но безъ достаточнаго знанія жизни; читатель съ добрымъ чувствомъ расстанется съ такимъ писателемъ, и съ радостью встрѣтится съ нимъ въ другой разъ. Но если въ рассказѣ, великолѣпно обставленномъ живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатлѣніе будетъ совершенно неудовлетворительно. Вамъ покажется, что передъ вами играетъ на фортепіано какой нибудь заѣзжій искусникъ, выдѣлывающій удивительныя штуки пальцами, исполняющій съ быстротою молніи невообразимыя трели и рулады, возбуждающій ваше искреннее изумленіе бѣгlostью рукъ, но ничѣмъ не дающій вамъ почувствовать, что онъ человѣкъ. Тутъ ужъ нѣтъ никакой надежды; тутъ года не принесутъ пользы; приобрѣсти фактическія знанія можно, усвоить технику какого угодно искусства тоже не большая трудность, но откуда-же взять свѣжести чувства, самодѣльной энергіи мысли, той электрической, непонятной силы, которая берется въ насъ богъ вѣсть откуда и уходитъ съ годами богъ вѣсть куда?

Словомъ, только личное воодушевленіе автора грѣетъ и раскаляетъ его произведеніе; гдѣ этого личнаго воодушевленія не замѣтно, тамъ, какъ бы ни были вѣрно подмѣчены и искусно сгруппированы подробности, тамъ, повторяю, нѣтъ истинной силы, нѣтъ истинно обаятельнаго вліянія поэзіи, нѣтъ сочувствія между поэтомъ и читателемъ.

III.

Между публикою и любимымъ писателемъ почти всегда устанавливаются извѣстныя отношенія, основанныя на сочувствіи и довѣріи. Любя произведенія какого нибудь NN, невольно составляешь себѣ понятіе о его личности, допускаешь въ ней тѣ или другія свойства и рѣшительно отвергаешь разныя темныя пятна. Иногда случается разочароваться и часто подобное разочарованіе бываетъ такъ же тяжело, какъ разочарованіе въ близкомъ и дорогомъ человѣкѣ. Гончаровъ — писатель, любимый публикою; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, а между

тъмъ, странное дѣло, между нимъ и публикою положительно нѣтъ подобныхъ отношеній; его человѣческой личности никто не знаетъ по его произведеніямъ; даже въ дружескихъ письмахъ, составившихъ собою «Фрегатъ Палладу», не сказались его убѣжденія и стремленія; выразилось только то настроеніе, подъ вліяніемъ котораго писаны письма; настроеніе это переходитъ отъ спокойно лѣниваго къ спокойно веселому, и больше намъ не представляется никакихъ данныхъ для обсужденія личнаго характера нашего художника. Во всякомъ случаѣ, если два большіе романа, которыхъ сюжеты взяты изъ современной жизни, не выражаютъ ясно даже отношеній автора къ идеямъ и явленіямъ этой жизни,—это значитъ, что въ этихъ романахъ есть умышленная или нечаянная недоговоренность, и что эти романы продуманы и состроены, а не прочувствованы и созданы. Бѣглый взглядъ на остова «Обыкновенной исторіи» и «Обломова» подтвердить эту мысль. «Обыкновенная исторія» говоритъ намъ: вотъ что дѣлается изъ молодаго человѣка, подъ вліяніемъ нашей петербургской жизни. Ну что же такое? спрашиваетъ читатель. Что она его формируетъ или портитъ? Что она сама хороша или дурна? — На второй вопросъ Гончаровъ отвѣчаетъ такъ: Петербургская жизнь вотъ какаа, и описываетъ наружность этой жизни, тщательно избѣгая какихъ бы то нибыло отношеній къ этой наружности. Положимъ, у васъ спрашиваютъ, хороша-ли такая-то женщина? вы отвѣчаете:—носъ у нея такой-то длины и такой-то ширины, ротъ такой-то величины; зубовъ столько-то, такого-то цвѣта глаза, столько-то линій въ длину и столько-то въ разбѣзѣ, цвѣтъ ихъ такой-то и т. д. Согласитесь, что изъ подобнаго безпристрастнаго описанія не вынесешь скольконибудь цѣлостнаго понятія о характерѣ фізіономіи, какимъ бы увлекательнымъ языкомъ ни были записаны эти статистическія данныя. Точно также описаніе петербургскаго житья-бытья у Гончарова, выходитъ неяркимъ потому, что авторъ рѣшительно не хочетъ выразить своего мнѣнія, своего взгляда на вещи.

На вопросъ о томъ, формируетъ или портитъ эта жизнь молодаго Александра Адуева, Гончаровъ ничего не отвѣчаетъ. Онъ намъ рассказываетъ въ концѣ романа, что Александръ приобрѣлъ лысину, почтенную полноту, и житейскую опытность, охладившую его мечтательность; тѣмъ дѣло и кончается. Читатель вправѣ сказать: г. Гончаровъ, я самъ очень хорошо знаю, что у человѣка лѣтъ въ пятьдесятъ вытѣзаютъ волосы, что сидячая жизнь увеличиваетъ въ насъ количество жира, и что съ годами мы становимся опытнѣе. Вы описали все это чрезвычайно подробно, вѣрно и наглядно, но вы не сказали намъ ничего новаго, и скрыли отъ насъ внутренній смыслъ вашихъ сценъ и картинъ. Дѣйствительно, крупныя, типическія черты нашей жизни почти умышленно сглажены писателемъ и слѣдовательно ускользаютъ отъ читателя; зато отдѣла,

подробностей тонка, красива, какъ брюссельскія кружева. и, по правдѣ сказать, почти такъ же бесполезна. Александръ приходитъ въ соприкосновеніе съ міромъ чиновниковъ—объ этомъ сказано вскользь, и потомъ сообщенъ результатъ, что онъ привыкъ къ канцелярской работѣ и сталъ получать порядочное жалованье. Александръ вступаетъ въ сношенія съ журналами,—объ этомъ тоже упоминается мимоходомъ, и только для того, чтобы отмѣтить приращеніе его годового дохода. Двѣ такія важныя стороны нашей жизни, какъ бюрократія и періодическая литература, не удостоиваются внимательнаго разсмотрѣнія, а между тѣмъ приводятся отъ слова до слова—длиннѣйшіе разговоры между Петромъ Ивановичемъ и Александромъ; между Александромъ и Наденькою, Александромъ и Тафаевою и т. п. Это — ошибка, какъ передъ изображеніемъ самой жизни, такъ даже и передъ личностью самого героя. Положимъ, старшіе родственники и любимыя женщины имѣютъ значительное вліяніе на формированіе характера и убѣжденій; но вѣдь все-таки формируетъ-то самая жизнь, столкновеніе съ ея дрызгами, съ ея сѣрыми, трудовыми сторонами; намъ любопытно видѣть, какъ живутъ герои Гончарова, а онъ намъ показываетъ, какъ они резонерствуютъ о жизни или мечтаютъ о ней, сидя рядомъ съ героинями, гдѣ нибудь подъ кустомъ сирени, въ тѣнистой бесѣдкѣ. Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а развѣ—крошечный уголокъ жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивленія: онъ умѣетъ удерживать насъ на этомъ крошечномъ уголкѣ въ продолженіи цѣлыхъ сотенъ страницъ, не давая намъ ни на минуту почувствовать скуку или утомленіе; онъ чаруетъ насъ простотою своего языка и свѣжею полнотою своихъ картинъ, но, если вы, по прочтеніи романа, захотите отдать себѣ отчетъ въ томъ, что вы вмѣстѣ съ авторомъ пережили, передумали и перечувствовали, то у васъ въ итогѣ получится очень немного: Гончаровъ открываетъ вамъ цѣлый міръ, но міръ микроскопическій; какъ вы приняли отъ глаза микроскопъ, такъ этомъ мірѣ исчезъ, и капля воды, на которую вы смотрѣли, представляется вамъ снова простою каплею. Еслибы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ея широтѣ, во всемъ ея пестромъ разнообразіи, — какія бы чудеса она могла произвести! — Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализѣ мелочей, тотъ, стало быть, и неспособенъ идти дальше и подниматься выше. Гончаровъ останется на анализѣ мелочей потому, что у него нѣтъ побудительной причины перейти къ чему-либо другому; онъ холоденъ, его не волнуютъ и не возмущаютъ крупныя нелѣпости жизни; микроскопическій анализъ удовлетворяетъ его потребности мыслить и творить; на этомъ поприщѣ онъ пожинаетъ обильные лавры, — стало быть, о чемъ же еще хлопотать, къ чему еще стремиться? Словомъ, г. Гончаровъ, какъ художникъ,

то-же самое, что г. Срезневскій, какъ ученый; первый творить для процесса творчества, не заботясь о степени важности тѣхъ предметовъ, которые онъ воспрѣваетъ, не спрашивая себя о томъ, высѣкаетъ-ли онъ своимъ рѣзцомъ великолѣпную статую или вытачиваетъ красивую бездѣлушку для писменнаго стола богатаго барина; второй точно также изслѣдуетъ для процесса изслѣдованія, не спрашивая себя о томъ, стоитъ-ли игра свѣчей, и выйдетъ-ли изъ его трудовъ какой нибудь осязательный результатъ. Обѣ эти личности, представители одного типа, выработались подъ вліяніемъ извѣстныхъ условій, сжились съ ними, и, почисливъ вопросы жизни рѣшенными вполне удовлетворительно, обратили дѣятельность свою на шлифованіе подробностей, не имѣющихъ даже относительной важности. Какъ, спросить съ негодованіемъ мой читатель—и Обломовъ — шлифованіе подробностей? Да,—отвѣчу я съ подобающею скромностью—«Обломовъ,» какъ правоописательный романъ, не что иное, какъ шлифованіе подробностей. Типъ Обломова не созданъ Гончаровымъ; это повтореніе Бельтова, Рудина и Бешметева; но Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ приведены въ связь съ коренными свойствами и особенностями нашей зачинающейся цивилизаціи, а Обломовъ поставленъ въ зависимость отъ своего неправильно сложившагося темперамента. Бельтовъ и Рудинъ сломлены и помяты жизнью, а Обломовъ просто лѣнивъ, потому что лѣнивъ. Вліяніе общества на личность героя здѣсь, какъ и въ «Обыкновенной Исторіи,» скрыто отъ глазъ читателя; авторъ понимаетъ, что оно должно существовать, но онъ держитъ его гдѣ-то за кулисами, и изъ-за этихъ кулисъ его герой выходитъ совершенно готовымъ и начинаетъ разсуждать и ходить по сценѣ. Если читатель возразитъ мнѣ, что «Сонъ Обломова» объясняетъ намъ процессъ его развитія, то я на это отвѣчу, что «сонъ» говоритъ только о студенческихъ годахъ нашего героя. Никакой характеръ не оказывается сложившимся въ десяти или двѣнадцатилѣтнемъ мальчикѣ; тѣмъ болѣе, не могъ сложиться въ такіе годы характеръ Обломова, котораго и въ тридцать пять лѣтъ можно было ворочать куда угодно; стало-быть, за тѣмъ же авторъ, заговоривши о воспитаніи и развитіи своего героя, не далъ намъ сценъ изъ его гимназической, студенческой, чиновнической жизни? Вѣдь это, воля вапа, было бы нетолько плодотворнѣе, но даже интереснѣе многихъ сценъ между Обломовымъ и Захаромъ. Вѣдь любопытно знать, что именно формируетъ у насъ Обломовыхъ, гораздо любопытнѣе, чѣмъ смотрѣть на то, какъ уже сформированные Обломовы, т. е. люди, на которыхъ надо махнуть рукою, валяются на диванѣ и плюютъ въ потолокъ. Но, какъ вездѣ, интересный, живой вопросъ обойденъ, а подробности—гибель.

Изображая личность Обломова, Гончаровъ могъ еще ограничиться тѣсною сферою, не выходить за предѣлы кабинета и спальни, и занимать

своего читателя пересказываніемъ того, что говорили между собою Илья Ильичъ и Захаръ. Но вотъ нашъ художникъ хочетъ противопоставить своему лѣнивому герою лицо дѣятельное, весело и дѣльно смотрящее на жизнь, и энергически расправляющееся съ ея драггами и невзгодами. Является Андрей Ивановичъ Штольцъ, о которомъ даже самъ авторъ возвѣщаетъ не безъ торжественности, говоря, что это человѣкъ будущаго, что много Штольцевъ кроется подъ русскими именами, что люди такого закала будутъ дѣлать дѣло, какъ слѣдуетъ. О, думаете вы, вотъ тутъ-то Гончаровъ выскажетъ то, что у него на душѣ, тутъ-то онъ воспользуется всѣми собранными матеріалами, чтобы дать плоть и кровь этому человѣку будущаго, тутъ-то онъ приведетъ своего любимаго героя въ столкновеніе съ разными сторонами и типическими особенностями нашей жизни. Вы продолжаете читать съ возрастающимъ нетерпѣніемъ, и убѣждаетесь въ томъ, что Штольцъ ведетъ себя точно также, какъ всѣ гончаровскіе герои, т. е. много говоритъ, хорошо округляетъ періоды, самодовольно развертываетъ передъ слушателемъ свои убѣжденія, и ничего не дѣлаетъ; о его дѣятельности, которая составляетъ сущность его характера и замѣчательнѣйшее его достоинство, авторъ рассказываетъ намъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ. Штольцъ представленъ внѣ жизни; а Штольцъ безъ жизни все равно, что рыба безъ воды. Онъ выведенъ изъ своего естественнаго положенія, и потому самъ блѣденъ и неестественъ до крайности. Такъ какъ онъ на нашихъ глазахъ не дѣйствуетъ, то ему, чтобы зарекомендовать себя читателю, поневолѣ приходится говорить самому о себѣ: я, дескать, человѣкъ дѣятельный, вѣрьте мнѣ на-слово; автору точно также приходится обращаться къ вѣрѣ читателя и говорить ему: «Штольцъ у меня человѣкъ дѣятельный; дѣятельности его вы не увидите, но онъ, право, постоянно занятъ.» Читатель, расположенный къ скептицизму, подумаетъ при этомъ такъ: «если романистъ приписываетъ одному изъ своихъ героев какое нибудь качество, а между тѣмъ это качество не выражается въ его дѣйствіяхъ, то я, читатель, имѣю право заключить, что у автора не хватило силъ вложить въ образы то, что онъ выразилъ въ отвлеченной фразѣ. Дѣятельный Штольцъ принадлежитъ къ разряду лицъ, подобныхъ добродѣтельному станковому г. Львова, и знаменитому чиновнику его сѣятельства графа Соллогуба.» Читатель—скептикъ не ошибется въ своемъ предположеніи.

Впрочемъ, то обстоятельство, что Гончаровъ взялся за сооруженіе своего Штольца, и то обстоятельство, что это сооруженіе вышло до крайности неудачнымъ, такъ характерны, что объ нихъ стоитъ поговорить подробнѣе. Дѣйствующія лица романовъ Гончарова постоянно вращаются въ безразличной атмосферѣ, живутъ въ тѣхъ комнатахъ, въ которыя не проникаетъ русскій духъ, и становятся другъ къ другу

въ такія отношенія, которыя зависятъ отъ особенностей ихъ личнаго характера, а не отъ условій мѣста и времени. Декораціи у Гончарова русскія; для обстановки онъ выводитъ русскаго лакея, русскую кухарку, но это—аксессуары, которые могутъ быть устранены, не нарушая завязки романа; главные дѣйствующія лица созданы головою автора, а не навѣяны впечатлѣніями живой дѣйствительности. Задавшись своею идеею, набросавъ ее въ общихъ чертахъ, г. Гончаровъ потомъ уже съ натуры подрисовываетъ подробности, и всё вмѣстѣ выходитъ очень удовлетворительно, и на первый взглядъ кажется романомъ, взятымъ изъ русской жизни и воспроизводящимъ русскіе типы. Но это только на первый взглядъ. Отдѣляйтесь только отъ обаянія великолѣпнаго языка, отбросьте аксессуары, неотносящіеся къ дѣлу, обратите все ваше вниманіе на тѣ фигуры, въ которыхъ сосредоточивается смыслъ романа, и вы увидите, что въ нихъ нѣтъ ничего русскаго, и, кромѣ того, ничего типичнаго. Если мы поступимъ такимъ образомъ съ «Обыкновенной Исторіей», то увидимъ, что смыслъ романа лежитъ въ двухъ фигурахъ, въ дядѣ и въ племянникѣ, и что изъ этихъ двухъ фигуръ, одна невѣрна и неестественна, а другая совершенно пассивна и безцвѣтна.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя,—невѣренъ съ головы до ногъ. Это какой-то англійскій джентльменъ, пробившій себѣ дорогу въ люди силою своего ума, составившій себѣ карьеру и состояніе, и при этомъ нисколько не загрязнившійся. Въ нашемъ отечествѣ дорога къ почестямъ и деньгамъ усыяна всякаго рода терніями. Кто хочетъ преуспѣть на томъ поприщѣ, по которому путешествовалъ Петръ Ивановичъ, тотъ немного сохранить въ себѣ гонора и фанаберіи; подъ старость непременно дойдетъ до положенія Фамусова, а вѣдь между Фамусовымъ и Петромъ Ивановичемъ огромная разница. Петра Ивановича видимо уважаетъ г. Гончаровъ, а къ Фамусову онъ, по всей вѣроятности, отнесся бы съ добродѣтельнымъ презрѣніемъ. Это видимое различіе между Фамусовымъ и Петромъ Ивановичемъ не можетъ быть объяснено различіемъ времени. Скажите по совѣсти, неужели мы такъ много ушли впередъ съ тѣхъ поръ, какъ была написана комедія Грибоедова? Неужели вы до сихъ поръ не встрѣчаете между вашими знакомыми Фамусова, Молчалина и Скалозуба? Формы стали дѣйствительно поприличнѣе, но что же это за утѣшеніе! Неужели же г. Гончаровъ, выводя своего героя, обманулъ вышнюю благопристойность формы, и не умѣлъ заглянуть по глубже и распознать подъ гладкими фразами Петра Ивановича родовыхъ свойствъ фамусовскаго типа? Брядъ-ли такой острый аналитикъ могъ впасть въ грубую ошибку, въ которой можетъ уличить его всякій школьникъ. Мнѣ кажется, дѣло въ томъ, что въ самомъ Фамусовѣ авторъ «Обыкновенной исторіи» осудилъ бы не сущность, а внѣшнее неблагообразіе. Потяхоньку вести свои дѣла, заводить связи и поддерживать ихъ изъ

чистаго расчета, заниматься такимъ дѣломъ, къ которому не лежитъ сердце и котораго не оправдываетъ умъ, оставлять подъ спудомъ въ практикѣ тѣ идеи, которыя исповѣдуешь въ теоріи, смотрѣть съ скептической улыбкою на порывы молодежи, стремящейся обратить слово въ дѣло— всѣ эти вещи можно назвать благоразуміемъ, лишь бы онѣ не представлялись въ полной наготѣ, безъ прикрасъ и смягченій. Своему герою г. Гончаровъ приписываетъ именно это благоразуміе, утаивая и сглаживая тѣ сфренскія стороны, которыя неизбежно связаны съ этимъ благоразуміемъ. Но утаить и сгладить эту обратную сторону медали можно было только съ тѣмъ условіемъ, чтобы показывать читателямъ одну сторону дѣла. Если бы г. Гончаровъ вздумалъ выдержать очерченный имъ характеръ, привести его въ столкновение со всѣми фазами русской жизни, тогда ему пришлось бы всѣ эти фазы выдумать самому, и тогда вопиющая неестественность бросилась бы въ глаза каждому читателю. На этомъ основаніи надо было пройти молчаніемъ всѣ отношенія Петра Ивановича къ тому міру, который лежитъ за предѣлами его кабинета и спальни. На этомъ основаніи нельзя было сказать ни слова о томъ, какъ Петръ Ивановичъ вышелъ въ люди; даже тѣ средства и пути, которыми его племянникъ приобрѣлъ себѣ независимое положеніе, покрыты мракомъ неизвѣстности. Петръ Ивановичъ, какъ чиновникъ, какъ подчиненный, какъ начальникъ, какъ свѣтскій человѣкъ—не существуетъ для читателя «Обыкновенной Исторіи,» и не существуетъ именно потому, что автору предстояло рѣшить грозную дилемму: или выдумать отъ себя всю русскую жизнь и превратить Петербургъ въ Аркадію, или бросить грязную тѣнь на своего героя, какъ на человѣка, подкупленнаго этою жизнью и отстаивающаго ея нечѣстности ради своихъ личныхъ выгодъ. Чтобы не насиловать явленій жизни, чтобы не становиться къ нимъ въ ложныя отношенія и чтобы не закидать грязью своего героя, г. Гончаровъ благоразсудилъ въ «Обыкновенной Исторіи» совершенно отвернуться отъ явленій жизни. Отнестись къ нимъ съ тѣмъ суровымъ отрицаніемъ, съ которымъ относились къ нимъ всѣ честные дѣятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity, г. Гончаровъ не рѣшился. Почему?—Отвѣчать на этотъ вопросъ не мое дѣло; пусть отвѣтитъ на него самъ романистъ. Во всякомъ случаѣ, въ «Обыкновенной Исторіи» онъ исполнилъ удивительный *tour de force*, и исполнилъ его съ безпримѣрною ловкостью; онъ написалъ большой романъ, не говоря ни одного слова о крупныхъ явленіяхъ нашей жизни; онъ вывелъ двѣ невозможныя фигуры и увѣрилъ всѣхъ въ томъ, что это дѣйствительно существующіе люди; онъ сталъ въ первый рядъ русскихъ литераторовъ, не отыкаясь ни однимъ звукомъ на вопросы, поставленные историческою жизнью народа, пропуская мимо ушей то, что носится въ воздухѣ и составляетъ живую связь между живыми дѣятелями. Исполнить такого рода *tour de*

логсе, и притомъ исполнить его на глазахъ Бѣлинскаго, удалось г. Гончарову, только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, безпримѣрной тщательности въ отдѣлкѣ мелочей и подробностей. Герои г. Гончарова ведутъ между собою такіе живые разговоры, что, прислушиваясь къ нимъ, невольно забываешь невѣрность ихъ типа и невозможность ихъ существованія. А между тѣмъ, эта невѣрность и невозможность, незаявленные положительно въ нашей критикѣ, заявляются въ ней отрицательно. Рудина, Лаврецкаго, Калиновича, Бешметева наши критики берутъ, какъ представителей типовъ, какъ живыхъ людей, служащихъ образчиками русской природы, а героевъ г. Гончарова никто не беретъ такимъ образомъ, потому что, повторяю, въ нихъ нѣтъ ничего русскаго, и нѣтъ никакой природы.

Оба Адуевы, дядя и племянникъ, не обратились и никогда не обратятся въ полу-нарицательныя имена, подобныя Онѣгину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Фёдоровича Адуева, племянника? Только и скажешь, что у него нѣтъ личности, а между тѣмъ даже и безличность или безхарактерность не можетъ быть поставлена въ число его свойствъ. Онъ молодъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ съ большими надеждами и съ сильною дозою мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбиваетъ его надежды и заставляетъ его быть скромнѣе и смотрѣть подъ ноги, вмѣсто того, чтобы носиться въ пространствахъ ээира. Онъ влюбляется—ему измѣняетъ любимая дѣвушка; онъ напускаетъ на себя хандру и—понемногу отъ нея вылечивается; потомъ онъ влюбляется въ другую, и на этотъ разъ уже самъ измѣняетъ своей Дульцинеѣ; съ годами онъ становится разсудительнѣе; при этомъ онъ постоянно споритъ съ своимъ дядею и мало-по-малу начинаетъ сходиться съ нимъ во взглядѣ на жизнь; романъ кончается тѣмъ, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно въ понятіяхъ и наклонностяхъ.—«Это канва романа, скажете вы; это—общія черты, контуры, которые можно раскрасить какъ угодно.» Это правда; и эти контуры такъ и остались нераскрашенными; бѣдность и недодѣланность ихъ опять-таки замаскированы тщательностью внѣшней отдѣлки. Напримѣръ, Александръ ѣдетъ къ той дѣвушкѣ, которую онъ любитъ; онъ чувствуетъ сильное нетерпѣніе, и г. Гончаровъ чрезвычайно подробно рассказываетъ, въ какихъ именно внѣшнихъ признакахъ проявлялось это нетерпѣніе, какъ сидѣлъ его герой, какъ онъ перемѣнялъ положеніе, какое впечатлѣніе производили на него окрестныя виды; потомъ эта дѣвушка ему измѣнила, предпочла другаго — и г. Гончаровъ опять таки съ дагерротипическою вѣрностью воспроизводитъ внѣшнія выраженія отчаянія, а потомъ апатіи своего героя. Онъ пишетъ вообще исторію болѣзни, а не характеристику больного; поэтому, еслибы романъ г. Гончарова попался въ руки какому нибудь разумному жителю луны,

то этотъ господинъ могъ бы составить себѣ довольно вѣрное понятіе о томъ, какъ говорятъ, любятъ, живутъ, наслаждаются и страдаютъ на землѣ животныя, называемыя людьми. Но мы, къ сожалѣнію, все это знаемъ по горькому опыту, и потому тѣ общія черты, которыя нашъ романистъ разрабатываетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ, представляютъ для насъ мало существеннаго интереса. Мы знаемъ, что, отправляясь на свиданіе съ любимой женщиною, молодой человѣкъ чувствуетъ усиленное бѣненіе сердца; какъ подробно ни описывайте этотъ симптомъ, вы охарактеризуете только извѣстное физиологическое отправленіе, а не очертите личной фizioноміи. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, какъ человѣкъ жуетъ или храпитъ во снѣ, или сморкается. Дѣло другое, если герой, отправляясь на свиданіе, перебираетъ въ головѣ такія идеи, которыя составляютъ его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоитъ отмѣтить и воспроизвести. Но г. Гончаровъ думаетъ иначе; онъ съ зеркальною вѣрностью отражаетъ все, или вѣрнѣе, все то, что находитъ удобоотражаемымъ, все безцвѣтное, т. е. именно все то, чего не слѣдовало и не стоило отражать.

Условія удобоотражаемости измѣняются съ годами; что было неудобно лѣтъ десять тому назадъ, то сдѣлалось удобнымъ и общепринятымъ теперь. Вслѣдствіе этихъ измѣненій въ воздухѣ времени, измѣнилось и направленіе г. Гончарова. Его «Обыкновенная Исторія», за исключеніемъ послѣднихъ страницъ, которыя какъ-то не вяжутся съ цѣлымъ и какъ будто приклеены чужою рукою, говоритъ довольно прямо, хоть и очень осторожно: «эхъ, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремленія вдаль, къ усовершенствованіямъ, къ лучшему порядку вещей!—все это пустяки, фантазерство! — надѣньте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпѣньемъ, молчите, когда васъ не спрашиваютъ, говорите, когда прикажутъ, и что прикажутъ скрипите перьями, не спрашивая, о чемъ и для чего вы пишете, — и тогда, повѣрьте мнѣ, всѣ будутъ вами довольны и вы сами будете довольны всѣмъ и всѣми». Эти мысли и воззрѣнія въ свое время были какъ нельзя болѣе вѣстатіи; ихъ надо было только выразить съ нѣкоторою осторожностью, чтобы не прослыть за послѣдователя почтеннѣйшаго Булгарина; а, какъ мы видѣли, дипломатической осторожности въ «Обыкновенной Исторіи» дѣйствительно гораздо больше, чѣмъ мысли, и несравненно больше, чѣмъ чувства. Но времена перемѣнились, и пришлось настраивать лиру на новый ладъ; всѣ заговорили о прогрессѣ, о разумѣ, и г. Гончаровъ также заблагоразсудилъ дать нашему обществу урокъ, наставить его на путь истины и указать ему на свѣтлое будущее. «Россіяне!—говоритъ онъ въ своемъ «Обломовѣ»,—всѣ вы спите—всѣ вы равнодушны къ судьбѣ родины, всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна и заплыли жиромъ, что мнѣ, романисту, приходится въ укоръ вамъ, брать своего

положительнаго героя изъ нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя русской земли.» — И россияне, съ свойственною имъ однимъ добродушною наивностью, умиляются надъ гениальнымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную до нельзя фигуру Обломова, и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: «да, да! вотъ наша язва, вотъ наше общее страданіе, вотъ корень нашихъ золъ — Обломовщина, Обломовщина!.. Всѣ мы — Обломовы! всѣ мы ничего не дѣлаемъ! а дѣло ждетъ» и т. д.

Добрые люди! напрасно вы такъ на себя ропщете; да что же вы будете дѣлать? Какая это вамъ пригрезилась работа? Это, должно быть, одно изъ слѣдствій вашего продолжительнаго сна; перевернитесь на другой бокъ и усните опять. Вы можете быть или Обломовыми, или Молчаливыми, Фамусовыми и Петрами Ивановичами; первые — байбаки, тряпки; вторые — положительные дѣятели; но всякій порядочный человѣкъ скорѣе согласится быть Обломовымъ, чѣмъ Фамусовымъ. Г. Гончаровъ, какъ авторъ «Обломова» *), думаетъ иначе; онъ думаетъ, что дѣло ждетъ, а работники спятъ, такъ что приходится нанимать ихъ за границу; спятъ они не потому, что ихъ измучила работа, не потому что ихъ истомила жажда и пропекли жгучіе лучи солнца, а потому, что — негодящій народъ, лѣнтяи, увальни, жиромъ заплыли! Вотъ ужъ это дешевая клевета, пустая фраза, разведенная на цѣлый огромный романъ. Г. Гончаровъ, какъ Панышинъ въ романѣ Тургенева «Дворянское гнѣздо», думаетъ, что стоитъ только захотѣть, такъ сейчасъ и посыпятся въ ротъ жаренные рябчики, и l'idée du cadastre будетъ популяризирована; вотъ поэтому его «Обломовъ» и относится къ тогдашнему пробужденію дѣятельности, какъ замѣчаніе начальника, высказанное подчиненному: «чтожъ вы, дескать, любезный мой, спите? вѣдь такъ нельзя! вы видите, я самъ не жалѣю силъ». Г. Гончаровъ, очевидно, думалъ этою мыслию попасть въ поту, и дѣйствительно, многимъ показалось, что онъ попалъ; а наповѣрку выходитъ, что пѣнье было фальшивое, да и подтягивалъ-то онъ не теноромъ а фистулою. Дѣло въ томъ, что Обломовъ похожъ на Бельтова, Рудина и Бешметева, только гораздо рѣзче обрисованъ; вотъ многимъ, если не всѣмъ, и покажись въ то время, что г. Гончаровъ говоритъ то же самое, что Тургеневъ и Писемскій; а г. Гончаровъ говорилъ другое, только съ свойственною ему осторожностью. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ доходятъ до своей дрянности вслѣдствіе обстоятельствъ, а Обломовъ вслѣдствіе своей натуры. Бель-

*) Какъ авторъ «Обыкновенной Исторіи», г. Гончаровъ думаетъ совсѣмъ не то: такъ онъ думаетъ, что все хорошо и всѣ хороши; стоитъ только приглядѣться да впасться.

товъ, Рудинъ и Бешметевъ—люди измятые и исковерканные жизнью, а Обломовъ человѣкъ ненормальнаго тѣлосложенія. Въ первомъ случаѣ виноваты условія жизни, во второмъ—организация самаго человѣка. По мнѣнію Тургенева, Писемскаго и др. наше общество нуждается въ реформахъ, по мнѣнію г. Гончарова — мы всѣ больные, нуждающіеся въ лекарствахъ и въ совѣтахъ врача. Согласитесь, что это не совѣтъ то же самое. Вотъ изъ этого-то взгляда и вытекла попытка г. Гончарова соорудить нелѣпую фигуру Штольца. Положительныхъ дѣятелей нѣтъ; это фактъ, который рѣшается признать нашъ романистъ; но почему ихъ нѣтъ? спрашиваетъ онъ. Дать на этотъ вопросъ удовлетворительный отвѣтъ онъ боится, потому что такой отвѣтъ можетъ повести ужасно далеко, по русской пословицѣ: «языкъ до Кіева доведетъ». Вотъ онъ и отвѣчаетъ: «дѣятелей нѣтъ, потому что мы страдаемъ Обломовщиною.» Это не отвѣтъ, это повтореніе вопроса въ другой формѣ, а между тѣмъ фраза облетѣла всю Россію, «обломовщина» вошла въ языкъ, и даже талантливый критикъ «Современника» посвятилъ цѣлую критическую статью на разборъ вопроса: что такое Обломовщина?

Далѣе, г. Гончаровъ разсуждаетъ такъ: если мы страдаемъ припадками болѣзни, то, чтобы изобразить положительнаго дѣятеля, стоитъ только представить здороваго человѣка; въ насъ недостаетъ энергіи, стало—быть, если приписать энергію какому-нибудь джентльмену, если заставить его ходить большими шагами, говорить рѣшительно и громко, рѣшать, не задумываясь, теоретическіе вопросы—великая задача будетъ рѣшена; ключъ найденъ, рецептъ положительнаго дѣятеля составленъ; остается только послать въ аптеку, чтобы тамъ подписали: *ordinavit nobis doctor vitae russicae I. Gontcharow.* А—ну, какъ въ аптекѣ не найдется матеріаловъ? Что, если провизоръ усмѣхнется, прочитавъ рецептъ и отвѣтитъ ученому доктору, что такихъ спецій въ-цѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и что такіа химическія соединенія невозможны ни подъ какою широтою? Что тогда? Ничего. Докторъ умоетъ руки, скажетъ, что больной непременно выздоровѣлъ бы, еслибы можно было найти птичье молоко, о которомъ толкуетъ его рецептъ. Въ дѣйствительности, больной неоправится, но зато докторъ будетъ правъ: онъ не задумался, онъ рѣшилъ вопросъ; его ли вина, что вопросъ можетъ быть рѣшенъ только въ теоріи, или, вѣрнѣе, въ фантазіи? Да и всего вѣрнѣе, что робкій провизоръ не отвѣтитъ доктору такъ рѣзко, какъ мы это предположили. Благоговѣя передъ репутаціею ученаго мужа, онъ начнетъ смѣшивать и размѣшивать, и, если у него не выйдетъ требуемаго соединенія, отнесетъ свою неудачу на счетъ собственной неловкости, вмѣсто того, чтобы обличить эскулапа въ невѣжество и шарлатанствѣ.

Благоговѣіе передъ авторитетами, общими и частными, одинаково сильно: въ аптекахъ и въ журналахъ. Если откинуть это благоговѣіе,

то надо будет сказать напрямикъ, что весь Обломовъ—клевета на русскую жизнь, а Штольцъ,—просто faux-fuyant, подставное рѣшеніе вопроса, вмѣсто истиннаго; попытка разрубить фразами тотъ узелъ, надъ которымъ, не жалѣя глазъ и костей, трудятся въ продолженіи цѣлыхъ десятилѣтій истинно добросовѣстные дѣятели. Да! Авторъ «Обыкновенной Исторіи» напрасно прикинулся прогрессистомъ. Обращаясь къ нашему дотомству, г. Гончаровъ будетъ имѣть полное право сказать: не поминайте лихомъ, а добромъ нечѣмъ!

IV.

Теплѣе и искреннѣе могутъ быть наши отношенія къ Тургеневу и къ Писемскому. Оба они—честные дѣятели и прямые люди; оба смотрятъ на явленія нашей жизни, понимая и чувствуя свое сродство съ ними; оба говорятъ о нихъ то, что думаютъ въ самомъ дѣлѣ, говорятъ искренно и задушевно, не задавая себѣ задачи поддѣлаться подъ господствующій тонъ. За эту правдивость, за эту честную стойкость имъ можно сказать большое спасибо; говорить, что думаешь, не насилуя себя—совсѣмъ не такъ легко, какъ кажется; этого даже нельзя и требовать отъ всякаго, но этимъ свойствомъ надо дорожить въ тѣхъ людяхъ, въ которыхъ оно встрѣчается. Имена двухъ романистовъ нашихъ, Тургенева и Писемскаго, чисты; никто не обвинитъ ихъ, какъ людей и какъ писателей, въ потаканіи и нашимъ и вашимъ. Это отрицательное достоинство, можетъ замѣтить читатель; я съ этимъ совершенно согласенъ, но именно это отрицательное достоинство въ наше время такъ рѣдко, что его стоитъ отмѣтить тамъ, гдѣ мы его замѣчаемъ. Читая романы Писемскаго и Тургенева, пріятно сознавать, что каждая строчка ихъ произведеній—не фраза, брошенная для удовольствія тѣхъ или другихъ читателей, а дѣйствительное выраженіе дѣйствительно существующаго въ авторѣ чувства или воззрѣнія. Съ этими чувствами и воззрѣніями можно не соглашаться, но ихъ нельзя не уважать. потому что право на уваженіе имѣетъ всякое искреннее убѣжденіе.

Существенное различіе между Тургеневымъ и Писемскимъ бросается въ глаза при самомъ бѣгломъ обзорѣ ихъ произведеній; это различіе было не разъ отмѣчено въ нашей критикѣ; еще недавно А. Григорьевъ называлъ Писемскаго—представителемъ реализма, и Тургенева—представителемъ и чуть ли не послѣднимъ могиканомъ идеализма. Такого рода разграниченіе обыкновенно ведетъ къ спору о сравнительномъ достоинствѣ этихъ двухъ направленій, и слѣдовательно заводитъ въ такую глубь эстетики, которою, какъ мнѣ кажется, было бы бесполезно и не-

вѣжливо утомлять читателей. Для меня Тургеневъ и Писемскій важны настолько, насколько они разъясняютъ явленія жизни; слѣдовательно, для меня всего интереснѣе отношенія ихъ къ изображаемымъ ими типамъ. Что же касается до того, какъ каждый изъ нихъ рисуетъ явленія и картины, то этотъ вопросъ имѣетъ для меня совершенно второстепенный интересъ. Пусть одинъ рисуетъ крупными штрихами, а другой съ любовью отдѣлываетъ подробности—все равно; они могутъ сходиться между собою въ результатахъ. Разбирать манеру писателя и отдѣлывать ее отъ манеры другаго писателя почти то же самое, что писать стилистическое изслѣдованіе; это конечно важно для характеристики писателя, но это не можетъ служить отвѣтомъ на нашъ вопросъ: чтò сдѣлали Тургеневъ и Писемскій для нашего общественнаго сознанія? — Чтобы сколько нибудь разрѣшить этотъ важный и интересный вопросъ, надо обратиться къ остову романовъ и повѣстей нашихъ литераторовъ, взглянуть на нихъ почти *à vol d'oiseau*, отмѣтить выдающіеся типы, и, главное, отдать себѣ ясный отчетъ въ отношеніи авторовъ къ этимъ типамъ.

При теперешнемъ положеніи женщины въ обществѣ и въ семействѣ, мужчина является необходимымъ и единственнымъ проводникомъ идей, носящихся въ воздухѣ эпохи,—въ тѣ домашніе кружки, которые замѣняютъ намъ общество. Подъ вліяніемъ этихъ идей, понятыхъ такъ или иначе, складываются обстоятельства жизни, формируются характеры, опредѣляются направленія мысли и дѣятельности. Мужчины приходятъ въ непосредственныя столкновенія съ жизнью; они серьезно учатся, служатъ, обдѣлываютъ жизнь въ ту или въ другую форму, смотря по своимъ силамъ и по обстоятельствамъ времени и мѣста. Женщины въ настоящее время зависятъ отъ мужчинъ въ отношеніи къ своему матеріальному положенію, въ отношеніи къ своему развитію, къ взгляду на жизнь, къ тому складу и направленію, которое принимаетъ все ихъ существованіе. При анализѣ романа не мѣшаетъ взять отдѣльно эти два ряда типовъ и личностей; одни лица—дѣятельныя, распоряжающіяся обстоятельствами, испытывающія на себѣ ихъ непосредственное вліяніе; другія лица—пассивныя, зависящія отъ первыхъ, получающія отъ нихъ свѣтъ преломленный и видоизмѣненный. Мужчины зависятъ отъ общихъ условій; женщины отъ частныхъ условій, отъ отдѣльныхъ личностей, отъ отца, отъ старшаго брата, отъ любовника или мужа. Общіе условія почти для всѣхъ одни и тѣ же; слѣдовательно, эти условія въ извѣстной сферѣ общества вырабатываютъ довольно опредѣленное количество типовъ; личнаго разнообразія искать и требовать мудрено; одинъ мирится съ общими условіями, другой заявляетъ свой протестъ, — вотъ вамъ двѣ главныя категоріи, подъ которыя можно подвести личности мыслящія и дѣйствующія; одни идутъ направо, другіе налево; кромѣ

того одни идутъ по избранному направленію скорѣе, другіе медленнѣе, одни идутъ сознательно, другіе изъ обезьянства, одни легко устаютъ, другіе оказываются неустойчивыми, но всѣ эти второстепенные отбѣнки происходятъ уже отъ того, что у одного человѣка больше мозга въ головѣ, у другаго больше крови въ жилахъ, у третьяго больше лимфы въ сосудахъ, у четвертаго больше желчи выдѣляется изъ печени. Физиологу можетъ быть очень интересно разграничивать эти отбѣнки и сортировать сообразно съ ними людскіе характеры, но для физиологій общества подобныя изслѣдованія будутъ довольно безплодны.

Изучая общество, талантливый и умный романистъ выводитъ слабаго, сильнаго, безцвѣтнаго человѣка, и т. д. не для того, чтобы сказать читателю: «вотъ посмотрите, господа, какіе бываютъ люди!» а для того, чтобы сказать ему: «вотъ посмотрите, какъ дѣйствуютъ на различныхъ людей тѣ условія жизни, тѣ идеи и стремленія, среди которыхъ живете вы сами. Посмотрите, какіе типы формируются подъ влияніемъ этихъ условій.» Только тогда, когда романистъ доходитъ до такихъ размышленій, онъ является истиннымъ художникомъ, потому что только тогда онъ вполне овладѣваетъ своимъ предметомъ и перерабатываетъ его силою зидущей мысли. Гдѣ нѣтъ этой переработки, тамъ есть только списываніе картинокъ съ природы, списываніе, предпринимаемое для препровожденія времени, списываніе, при которомъ ни сила мысли, ни сила чувства не подсказываетъ рисовальщику истиннаго, общаго смысла тѣхъ явленій, которыя онъ кладетъ на полотно или на бумагу. Какъ бы ни былъ ярко нарисованъ поэтическій образъ, я имѣю полное право спросить: на что онъ мнѣ нуженъ? что у меня съ нимъ общаго? отвѣчаетъ ли онъ хоть на одинъ жизненный вопросъ? — Если эти вопросы останутся безъ отвѣта, я смѣло отнесу яркій образъ къ разряду пестрыхъ игрушекъ, до которыхъ всегда найдется много охотниковъ между взрослыми дѣтьми обоюго пола.

Романы Тургенева и Писемскаго никакимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ разряду этихъ игрушекъ; всѣ они слишкомъ глубоко прочувствованы или слишкомъ полно отражаютъ картины жизни, чтобы не показаться каждому читателю серьезнымъ и дѣльнымъ словомъ мыслящаго человѣка. Въ дѣятельности Писемскаго до сихъ поръ нельзя отыскать ни одной фальшивой ноты; въ дѣятельности Тургенева, до его несчастнаго романа «Наканунѣ», не было также значительныхъ ошибокъ *); ни тотъ, ни другой не пробовали представить положительныхъ дѣателей, т. е. такихъ героев, которымъ вполне могли бы сочувствовать авторъ и читатели; ни тотъ, ни другой не давали даже нелѣпныхъ

*) Я не говорю о его стихотвореніяхъ и драматическихъ произведеніяхъ, которыя извѣстны очень немногимъ читателямъ.

объщаній, въ родѣ того, которое далъ Гоголь въ первой части Мертвыхъ душъ, и которое онъ такъ уродливо выполнилъ во второй части своей поэмы. Оба—Тургеневъ и Писемскій—стояли въ чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ нашей дѣйствительности, оба скептически относились къ лучшимъ проявленіямъ нашей мысли, къ самымъ красивымъ представителямъ выработавшихся у насъ типовъ. Эти отрицательныя отношенія, этотъ скептицизмъ — величайшая ихъ заслуга передъ обществомъ. Сбить съ пьедестала пустаго фразера, показать ему, что онъ несетъ вздоръ, упиваясь звуками собственного голоса, что онъ только фразеромъ и можетъ быть — это чрезвычайно важно; это такой урокъ, послѣ котораго отрезвляется цѣлое поколѣніе; отрезившись, оно всматривается въ окружающія явленія... Поколѣніе Рудинныхъ -- гегельянцы, заботившіеся только объ томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ — замысловатая таинственность, мирили насъ съ недѣлостями жизни, оправдывали ихъ разными высшими взглядами и, всю свою жизнь толкуя о стремленіяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта. Развѣнчать этотъ типъ было такъ же необходимо, какъ необходимо было Сервантесу похоронить своимъ Донъ-Кихотомъ рыцарскіе романы, какъ одно изъ послѣднихъ наслѣдій средневѣковой жизни. Типъ красиваго фразера, совершенно чистосердечно увлекающагося потокомъ своего краснорѣчія, типъ человѣка, для котораго слово замѣняетъ дѣло, и который, живя однимъ воображеніемъ, прозябаетъ въ дѣйствительной жизни, совершенно развѣнчанъ Тургеневымъ и представленъ во всей своей дрянности Писемскимъ.

Люди этого типа совершенно не виноваты въ томъ, что они не дѣйствуютъ въ жизни, не виноваты въ томъ, что они люди бесполезные; но они вредны тѣмъ, что увлекаютъ своими фразами тѣ неопытныя созданія, которыя прельщаются ихъ внѣшнею эффектною; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требованіямъ; усиливъ ихъ чувствительность, способность страдать, они ничѣмъ не облегчаютъ ихъ страданія; словомъ, это болотные огоньки, заводящіе ихъ въ трущобы и погасящіе тогда, когда несчастному путнику необходимъ свѣтъ, чтобы разглядѣть свое затруднительное положеніе.

Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ Рудинѣ, Писемскій представилъ его въ Эльчаниновѣ (Боярщина) и въ Шамиловѣ (Богатый женихъ), Всѣ трое съ самыхъ юныхъ лѣтъ все собираются летѣть, все расправляютъ крылья, иногда машутъ ими до изнеможенія, но ни на вершокъ не поднимаются отъ полу и для безпристрастнаго наблюдателя остаются смѣшными и пошлыми въ самыя пылкія минуты своего лиризма. Въ этихъ людяхъ равновѣсіе между головою и тѣломъ оказывается нарушеннымъ съ самаго дѣтства; уродливое воспитаніе не позволяетъ имъ развить-

ся, какъ слѣдуетъ, въ физическомъ отношеніи; они не отличаются въ дѣтствѣ ни здоровьемъ, ни силою, но за то, благодаря наемнымъ гувернерамъ, очень рано начинаютъ украшать свою голову разнообразными свѣдѣніями; они опережаютъ немного сверстниковъ и сами замѣчаютъ это; воспитатели своимъ вліяніемъ поддерживаютъ въ нихъ это «благородное соревновеніе». У ребенка являются искусственные интересы, ему хочется не конфетъ, не игрушекъ, не бѣготни, не забавъ, а того, чтобы его похвалили, по головкѣ погладили, отличили передъ другими; онъ заботится не о томъ, что доставляетъ непосредственное пріятное ощущеніе, а о томъ, что считается хорошимъ въ глазахъ старшихъ. Вотъ онъ подрастаетъ, становится къ своимъ педагогамъ въ критическія отношенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ привычка смотрѣть на себя со стороны не пропадаетъ; когда ему было десять лѣтъ, ему хотѣлось хорошо отвѣтить урокъ, чтобы учитель называлъ его молодцомъ; а въ семнадцать лѣтъ ему хочется совершить удивительнѣйшій подвигъ, чтобы его имя повторяли съ уваженіемъ соотечественники и соотечественницы. «Благородная гордость, благородныя стремленія,» говорятъ окружающіе люди. Мнѣ кажется, вѣрнѣе было бы сказать, что началось маханіе крыльями, которое рѣшительно ни къ чему не поведетъ. Удивительнѣйшій подвигъ конечно не совершается, но мысль о такомъ подвигѣ раздражаетъ нервы; молодой искатель великихъ дѣлъ говоритъ съ увлеченіемъ и увлекательно; его слушатели, добрая, довѣрчивая молодежь, уважаетъ высоту его порывовъ и съ умиленіемъ слушаетъ его тирады; герой нашъ чувствуетъ свою силу надъ кружкомъ, воодушевляется своимъ торжествомъ, питается своимъ тщеславіемъ, растетъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и, одерживая постоянно въ спорѣ легкія побѣды, мечтая и говоря о широкой и великой дѣятельности, мало по малу теряетъ всякую способность трудиться. Вотъ еслибы тутъ, въ кругу молодыхъ слушателей и собесѣдниковъ будущаго великаго человѣка, нашелся умный, ѣдкій скептикъ, который, какъ дважды два четыре, доказалъ бы оратору, что онъ поретъ ахинею, — тогда, можетъ быть, нашъ герой одумался бы и понялъ бы, что мечтать смѣшно, а не трудиться, когда есть силы — глупо, или, по крайней мѣрѣ, нерасчетливо; но молодое пиво бродитъ, ничто не сдерживаетъ его броженія, и оно бьетъ черезъ край, и утекаетъ въ мутной пѣнѣ; года идутъ; силы, не освѣжаемыя трудомъ, тупѣютъ; матеріальное положеніе остается сомнительнымъ; способность импровизировать восторженную гиль превращается въ привычку говорить высокимъ слогомъ о мудреныхъ вещахъ, какъ-то *жизнь, Русь, назначеніе человека, долгъ гражданина*; удивительный подвигъ, который предполагалось совершить въ началѣ поприща, откладывается: фразеръ начинаетъ понимать, что онъ ничего не сдѣлалъ, и ничего не сдѣлаетъ, но отказаться отъ эффектичанія передъ самимъ собою онъ рѣшительно

не въ состояніи; онъ начинаетъ говорить: «у меня были силы, ихъ разнесла жизнь; жизнь меня измѣла, но я не уступилъ ей напору; теперь я безсиленъ, теперь я жалокъ, ничтоженъ, смѣшонъ.» Даже въ патетическомъ перечисленіи своихъ нравственныхъ нарывовъ и струповъ нашъ герой ищетъ картинной эффектности, подобно того, какъ уѣздная барышня ищетъ интересной блѣдности, если не можетъ похвастаться свѣжимъ цвѣтомъ лица и округлостью бюста. Роль, позы, трагическая мантія оказываются самыми насущными потребностями неудавшагося титана. Искренности, жизни, натуры—ни на волосъ.

На словахъ эти люди способны на подвиги, на жертвы, на героизмъ; такъ, по крайней мѣрѣ, подумаетъ каждый обыкновенный смертный, слушая ихъ разглагольствованія о человѣкѣ, о гражданинѣ и другихъ тому подобныхъ отвлеченныхъ и высокихъ предметахъ. На дѣлѣ, эти дряблыя существа, постоянно испаряющіяся въ фразы, неспособны ни на рѣшительный шагъ, ни на усидчивый трудъ. Вглядитесь въ Рудина: какъ онъ говоритъ о жизни, какъ его слова западаютъ въ душу двумъ молодымъ личностямъ, Натальѣ и Басистову, какъ онъ самъ воодушевляется и становится почти великъ, когда его увлекаетъ потокъ его мыслей! И вдругъ, что же выходитъ на дѣлѣ? Рудинъ труситъ предъ Волинцевымъ, труситъ предъ Натальей, спотыкается объ ничтожнѣйшія препятствія, падаетъ духомъ, выѣзжая изъ гостепріимнаго дома Дарьи Михайловны и наконецъ, является передъ читателями измѣтымъ, забитымъ, бесполезнымъ, какъ выжатый лимонъ; и тутъ онъ фразерствуетъ, только нѣсколькими тонами ниже. Но въ Рудинѣ есть выкупающія стороны; Рудинъ поэтъ, голова, сильно раскаляющаяся и быстро простывающая, для того, чтобы снова раскалиться отъ прикосновенія другихъ предметовъ. Онъ впечатлителенъ до крайности, и въ этой впечатлительности заключается и его обаятельность, и источникъ его страданій. Еслибы дѣло также скоро дѣлалось, какъ сказка сказывается, то Рудинъ могъ бы быть великимъ дѣятелемъ; въ ту минуту, когда онъ говоритъ, его личность вырастаетъ выше обыкновенныхъ размѣровъ; онъ гальванизируетъ самаго себя, онъ силенъ и вѣритъ въ свою силу, онъ готовъ пойти на открытый бой со всею неправдою земли; вотъ почему онъ умираетъ со знаменемъ въ рукѣ; но въ обыденной жизни нельзя устраивать свои дѣла однимъ взмахомъ руки; ничто не приходитъ къ намъ по щучьему велѣнію; надо выработать, надо срыть препятствія и разровнять себѣ дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывомъ кипучей отваги, вспышкой нечеловѣческой энергіи можно только ослѣпить зрителей; оно красиво, но бесплодно. Рудинъ умираетъ великолѣпно, но вся жизнь его не что иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочаровавшій, мыльных пузырей и миражей.

Всего печальнѣе то, что эти миражи обманывали не его одного; съ

нимъ вмѣстѣ, за него, и часто сильнѣе его самаго страдали люди, принимавшіе его слова на вѣру, воспламенявшіеся вмѣстѣ съ нимъ и не умѣвшіе остыть тогда, когда остывалъ Рудинъ. Особенно вредно Рудины дѣйствуютъ на женщинъ; женщины въ нашемъ обществѣ нерѣдко до сѣдыхъ волосъ остаются дѣтми; онѣ не знаютъ жизни, потому что сами не сталкиваются съ нею; они не знаютъ того, какъ лгутъ въ жизни, поступками и словами, на каждомъ шагу и при каждомъ удобномъ случаѣ, иногда даже лучшіе люди и добросовѣстнѣйшіе дѣятели; онѣ видятъ этихъ людей и дѣятелей въ домашнемъ костюмѣ, когда вицмундиръ смѣняется простыми сюртуками, онѣ слышатъ, какъ эти люди разсуждаютъ о своей дѣятельности и много фальшивой монеты принимаютъ за наличную. Упоминая такимъ образомъ о женщинахъ, я конечно не говорю о тѣхъ несчастныхъ личностяхъ, которыхъ горькая нужда слишкомъ хорошо познакомила съ грязью жизни, или которыхъ уродливое воспоминаніе сдѣлало нечувствительными къ какому бы то ни было впечатлѣнію, кромѣ чисто физической боли и чисто физическаго наслажденія.

Нѣкоторая независимость отъ внѣшнихъ обстоятельствъ совершенно необходима для того, чтобы человѣкъ могъ мыслить и чувствовать; если человѣкъ цѣлый день работаетъ для того, чтобы не умереть съ голода, и утоляетъ свой голодъ для того, чтобы завтра опять цѣлый день работать, то онъ прозябаетъ, а не живетъ; онъ черствѣетъ, тупѣетъ, покрывается какою-то ржавчиною; въ этомъ и заключается деморализирующее, опошляющее вліяніе пауперизма, котораго не испытываютъ животныя, и который страшнымъ бременемъ тяготѣетъ надъ человѣкомъ. Слѣдовательно, говоря о психической жизни женщинъ, я поневолѣ принужденъ ограничиваться тѣми сферами, въ которыхъ эта психическая жизнь не подавлена и не забита ежеминутною, тревожною заботою о кускѣ хлѣба; такіе женщины, знающія жизнь настолько, насколько пожелаютъ показать имъ эту жизнь ихъ папеньки, опекуны или супруги, любятъ смѣлыя рѣчи Рудиныхъ; онѣ въ этихъ людяхъ надѣются увидѣть тѣхъ героевъ, къ которымъ инстинктивно стремятся ихъ желанія; онѣ надѣются черезъ нихъ познакомиться съ тою, болѣе полною и широкою жизнью, онѣ привязываются къ этимъ людямъ тою пылкою любовью, которою мы любимъ наши лучшія надежды, наши свѣтлыя мечты, наши благородныя стремленія; все то, что даетъ намъ силы переносить тягости жизни, все это воплощается для женщины въ образъ того человѣка, который горячимъ словомъ шевельнулъ ея мозговые нервы; тутъ обмануться, тутъ разочароваться значитъ упасть съ страшной высоты; вынести такое паденіе, окрѣпнуть послѣ такого грубаго удара удается очень немногимъ.

Вотъ въ какомъ отношеніи Рудины принимаютъ на себя страшную

отвѣтственность; кто будить въ человѣкѣ его лучшіе инстинкты, тотъ долженъ и удовлетворить ихъ требованіямъ; кто ведетъ слабого ребенка на крутую гору, тотъ можетъ сдѣлаться преступникомъ, если не подержитъ до самаго конца горы это существо, вѣрующее въ его силу и смѣло пошедшее за нимъ по его призыву; оставить такое существо на половинѣ дороги, когда впереди страшная крутизна, а сзади страшный спускъ въ сырую трущобу — это непростительно: тутъ извиненіемъ не можетъ служить ни ошибка, ни слабость; когда берешься устроить чужую жизнь, надо взвѣсить свои силы; кто этого не умѣетъ или не хочетъ сдѣлать, тотъ опасенъ, какъ слабоумный, или какъ эксплуататоръ.

У.

Выкупающія стороны, отмѣченныя мною въ характерѣ Рудина, не встрѣчаются въ личностяхъ Эльчанинова и Шамилова. Сущность типа состоитъ, какъ мы видѣли, въ несоразмѣрности между силами и претензіями; духъ бодръ, плоть немощна—вотъ формула рудинскаго типа. Несоразмѣрность эта можетъ происходить или отъ избытка претензій, или отъ недостатка силъ. Рудинъ воплощаетъ въ себѣ первый моментъ; Эльчаниновъ и Шамиловъ служатъ представителями втораго. Рудинъ человѣкъ очень недюжинный по своимъ способностямъ, но онъ постоянно собирается сдѣлать какой-то фокусъ, перескочить à pieds joints черезъ всѣ препятствія и дразни жизни; этотъ фокусъ ему не удастся, потому что онъ вообще удастся только немногимъ счастливымъ или генимъ; вслѣдствіе этого Рудинъ истощается въ безплодныхъ попыткахъ, разливается въ разсужденіяхъ объ этихъ попыткахъ и дальше этого не идетъ; дѣятельность обыкновеннаго работника мысли ему сподручна, да, вотъ видите ли, онъ бѣлоручка, онъ ее знать не хочетъ; ему подавайте такое дѣло, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его въ восторженномъ состояніи; онъ черновой работы не терпитъ, потому что считаетъ себя выше ея. Эльчаниновъ и Шамиловъ, напротивъ того, представляютъ собою полнѣйшую посредственность; они даже въ мечтахъ своихъ слишкомъ высоко не забираютъ; имъ съ трудомъ достаются даже такіе рядовые результаты, какъ кандидатскій экзаменъ; они просто лѣнтяи, не рѣшающіеся сознаться самимъ себѣ въ причинѣ своихъ неудачъ.

Въ каждомъ обществѣ, дурно или хорошо устроенномъ, есть два рода недовольныхъ; одни дѣйствительно страдаютъ отъ господствующихъ предрассудковъ, другіе страдаютъ отъ побочныхъ причинъ и только сваливаютъ вину на эти предрассудки. Одни жалуются на то, что масса ихъ современниковъ отстаетъ отъ нихъ; другіе—на то, что эти же со-

временники идутъ мимо нихъ, не обращая вниманія на ихъ возгласы и трагическіе жесты; къ числу первыхъ относится Галилей, Іоаннъ Гуссъ, аболиціонистъ Броунъ; къ многочисленной фалангѣ вторыхъ принадлежатъ разныя непризнанныя дарованія и непонятныя души, люди, нищіе духомъ, и не рѣшающіеся убѣдиться въ своей нищетѣ. Одинъ, положимъ, оказался неспособнымъ кончить курсъ и вслѣдствіе этого кричить, что система преподаванія уродлива, а преподаватели взяточники; другому возвратили нелѣпую статью изъ редакціи журнала — онъ начинаетъ жаловаться на тлетворное направленіе періодической литературы; третьяго выгнали изъ службы за то, что онъ пьетъ запоемъ, — онъ становится въ мефистофелевскія отношенія къ современному порядку вещей. Критическія отношенія къ дѣйствительности неизбѣжны и необходимы, но критиковать надо честно и дѣльно; кто выдается въ отрицаніе съ горя, съ досады, чтобы сорвать зло за личную несправедливость, тотъ вредитъ дѣлу общественнаго развитія, тотъ роняетъ идею оппозитіи, и подрываетъ въ публикѣ довѣріе къ тѣмъ честнымъ дѣятелямъ, съ которыми онъ, повидимому, стоитъ подъ однимъ знаменемъ.

Когда вы горячо спорите о чемъ нибудь, то нѣтъ ничего несправедливаго, какъ услышать отъ другаго собесѣдника плохой аргументъ въ пользу вашего мнѣнія; нечестный или ограниченный союзникъ въ умственномъ дѣлѣ, въ борьбѣ принциповъ, вредитъ врагу; поэтому псевдо-прогрессисты мѣшаютъ дѣлу прогресса гораздо сильнѣе, чѣмъ открытые обскуранты, если только послѣдніе въ борьбѣ съ новыми идеями останавливаются на одной аргументаціи. Мелкіе представители рудинскаго типа схватываютъ на лету свѣжія идеи, выкраиваютъ себѣ изъ нихъ эффектную, по ихъ мнѣнію, драпировку, и закутываясь въ нее, до такой степени опешиваютъ самую идею, что становятся совѣстно за нихъ, и до слезъ обидно за идею. Возьмемъ, напримѣръ, Шамилова. Онъ пробылъ три года въ университетѣ, болтался, слушалъ по разнымъ предметамъ лекціи такъ же безсвязно и безцѣльно, какъ ребенокъ слушаетъ сказки старой няни, вышелъ изъ университета, ухалъ во свояси, въ провинцію и разсказалъ тамъ, «что намѣренъ держать экзаменъ на ученую степень и пріѣхалъ въ провинцію, чтобы удобнѣе заняться науками.» Въѣсто того, чтобы читать серьезно и послѣдовательно, онъ пробавлялся журнальными статьями, и тотчасъ по прочтеніи какой нибудь статьи пускался въ самостоятельное творчество; то вздумаетъ писать статью о Гамлетѣ, то составитъ планъ драмы изъ греческой жизни; напишетъ строкъ десять, и броситъ; зато говорить о своихъ работахъ всякому, кто только соглашается его слушать. Росказни его заинтересовываютъ молодую дѣвушку, которая по своему развитію стоитъ выше уѣзднаго общества; находя въ этой дѣвушкѣ усердную слушательницу, Шамиловъ сближается съ нею, и отъ нечего дѣлать, воображаетъ себя до-безуміа

влюбленнымъ; что же касается до дѣвушки, — та, какъ чистая душа, влюбляется въ него самымъ добросовѣстнымъ образомъ, и, дѣйствуя смѣло, изъ любви къ нему, преодолеваетъ сопротивленіе своихъ родственниковъ; происходитъ помолвка съ тѣмъ условіемъ, чтобы Шамиловъ до свадьбы получилъ степень кандидата и опредѣлился на службу. Является, стало быть, необходимость поработать, но нашъ новый Митрофанушка не осиливаетъ ни одной книги и начинаетъ говорить: «не хочу учиться, хочу жиниться.» Къ сожалѣнію, онъ говоритъ эту фразу не такъ просто и откровенно, какъ произносилъ ее его прототипъ. Онъ начинаетъ обвинять свою любящую невѣсту въ холодности, называетъ ее сѣвровою женщиною, жалуется на свою судьбу, прикидывается страстнымъ и пламеннымъ, приходитъ къ невѣстѣ въ нетрезвомъ видѣ, и съ пьяныхъ глазъ, совершенно не кстати и очень неграціозно обнимаетъ ее. Всѣ эти штуки продѣлываются отчасти отъ скуки, отчасти потому, что г. Шамилову ужасно не хочется готовиться къ экзамену; чтобы обойти это условіе, онъ готовъ поступить на-хлѣбъ къ дядѣ своей невѣсты и даже выпросить черезъ невѣсту обезпеченный кусокъ хлѣба у одного стараго вельможи, бывшаго друга ея покойнаго отца. Всѣ эти гадости прикрываются мантиею страстной любви, которая будто бы омрачаетъ разсудокъ г. Шамилова; осуществленію этихъ гадостей мѣшаютъ обстоятельства и твердая воля честной дѣвушки. Шамиловъ дѣлаетъ ей сцены, требуетъ, чтобы она отдалась ему до брака, но невѣста его настолько умна, что видитъ его ребячество и держитъ его въ почтительномъ отдаленіи. Видя серьезный отпоръ, нашъ герой жалуется на свою невѣсту одной молодой вдовѣ и, вѣроятно, чтобы утѣшиться, начинаетъ объясняться ей въ любви. Между тѣмъ, отношенія съ невѣстою поддерживаются; Шамилова отправляютъ въ Москву держать экзаменъ на кандидата; Шамиловъ экзамена не держитъ; къ невѣстѣ не пишетъ, и наконецъ успѣваетъ увѣрить себя безъ большаго труда въ томъ, что его невѣста его не понимаетъ, не любитъ и не стоитъ. Невѣста отъ разныхъ потрясеній умираетъ въ чахоткѣ, а Шамиловъ избираетъ благую часть, т. е. женится на утѣшавшей его молодой вдовѣ; это оказывается весьма удобнымъ, потому что у этой вдовы — обезпеченное состояніе. Молодые Шамиловы пріѣзжаютъ въ тотъ городъ, въ которомъ происходило все дѣйствіе разказа; Шамилову отдають письмо, написанное къ нему его покойною невѣстою за день до смерти и по поводу этого письма происходитъ между нашимъ героемъ и его женою слѣдующая сцена, достойнымъ образомъ завершающая его бѣглую характеристику:

— Покажите мнѣ письмо, которое отдалъ вамъ вашъ другъ, начала она.

— Какое письмо? спросилъ съ притворнымъ удивленіемъ Шамиловъ, сядя у окна.

— Не запирайтесь: я все слышала... Понимаете ли вы, что дѣлаете?

— Что такое я дѣлаю?

— Ничего: вы только принимаете отъ того человѣка, который самъ прежде интересовался мною, письма отъ вашихъ прежнихъ пріятельницъ и потомъ еще говорите ему, что вы теперь наказаны—кѣмъ? позвольте васъ спросить. Мною, вѣроятно? Какъ это благородно и какъ умно! Еще васъ считаютъ умнымъ человѣкомъ; но гдѣ же вашъ умъ? въ чемъ онъ состоитъ, скажите мнѣ пожалуйста?.. Покажите письмо.

— Оно писано ко мнѣ, а не къ вамъ; я вашими переписками не интересуюсь.

— У меня не было и нѣтъ ни съ кѣмъ переписки... Я играть вамъ собою, Петръ Александрычъ, не позволю... Мы ошиблись, мы не поняли другъ друга.

Шамиловъ молчалъ.

— Отдайте мнѣ письмо или сейчасъ же поѣзжайте, куда хотите, повторила Катерина Петровна.

— Возьмите. Неужели вы думаете, что я привязываю къ нему какой нибудь особый интересъ? сказалъ съ намѣшкою Шамиловъ.

И, бросивъ письмо на столъ, ушелъ.

Катерина Петровна начала читать его съ замѣчаніями.

«Я пишу это письмо къ вамъ послѣднее въ жизни»...

— Печальное начало!

«Я не сержусь на васъ; вы забыли ваши клятвы, забыли тѣ отношенія, которыя я, безумная, считала неразрывными.»

— Скажите, какая неопытная невинность.

«Передо мною теперь...»

— Скучно!.. Аннушка!..

Явилась горничная.

— Поди, отдай барину это письмо, и скажи, что я совѣтую ему сдѣлать для него медальонъ и хранить его на груди своей.

Горничная ушла, и, воротившись, доложила барынѣ:

— Петръ Александрычъ приказали сказать, что они безъ вашего совѣта будутъ беречь его.

Вечеромъ Шамиловъ поѣхалъ въ Карелину, просидѣлъ у него до полуночи, и, возвратясь домой, прочиталъ нѣсколько разъ письмо Вѣры, вдохнулъ и разорвалъ его. На другой день онъ цѣлое утро просилъ у жены прощенія.

Вотъ онъ каковъ Шамиловъ. Надо отдать Писемскому полную справедливость: онъ раздавилъ, втопталъ въ грязь дрянной типъ «драпирующагося фразера. Ни Тургеневъ въ своемъ Рудинѣ, ни Жоржъ-Зандъ

въ Орасѣ не возвышались до такой удивительной, практической простоты отношеній къ личностямъ этихъ героевъ.

Въ выписанной мною заключительной сценѣ нѣтъ ни малѣйшей эффектности, ни тѣни искусственности; характеръ дорисовывается вполне; впечатлѣніе производится на читателя самое сильное, и притомъ самыми простыми, дешевыми, естественными средствами. Пустой фразеръ наказанъ какъ нельзя больнѣе, и притомъ наказанъ не стеченіемъ обстоятельствъ, какъ Рудинъ въ эпилогѣ, а неизбежными слѣдствіями собственного характера. Онъ тщеславенъ, неспособенъ трудиться и сухъ—очень естественно, что онъ съ удовольствіемъ женится на богатой женщинѣ, хотя бы она была и гораздо постарше его. Соблюдая передъ самимъ собою благообразіе отношеній, онъ не сознается въ томъ, что поставилъ себя въ зависимое положеніе—ему даютъ почувствовать эту зависимость; онъ видитъ, что дѣло некрасиво и пробуетъ возмутиться—ему затагиваютъ мундштукъ потуже; онъ, чисто для приличія, произноситъ передъ горничною гордую фразу—его заставляютъ отказаться отъ этой фразы; онъ уходитъ и надувается—его принуждаютъ просить прощеніе, да еще цѣлое утро; ему грозятъ, что его согнать со двора—и онъ становится шелковый. Собакъ собачья смерть, говорить пословица; но, мнѣ кажется, было бы правильнѣе сказать: «собакъ собачья жизнь». Смерть—случайность, потому что камень можетъ свалиться и на героя, и на негодяя, но жизнь съ своимъ направленіемъ и съ своею обстановкою зависитъ отъ самого человѣка; жизнь Шамилова представляетъ полный оттискъ его личности; какимъ бы героемъ этотъ джентльменъ ни умеръ—все равно; мы видѣли, какъ онъ расположилъ свое существованіе, какъ напакостилъ себѣ и другимъ, и этого совершенно достаточно, чтобы оцѣнить букетъ его характера.

Въ Шамиловѣ, по моему мнѣнію, больше жизненнаго значенія, чѣмъ въ Рудинѣ: Шамиловыхъ тысячи, Рудинныхъ—десятки. Тургеневъ беретъ довольно исключительное явленіе. Писемскій, напротивъ того, прямо запускаетъ руку въ дѣйствительную жизнь и вытаскиваетъ оттуда такихъ людей, какихъ мы встрѣчаемъ сплошь да рядомъ; между тѣмъ, общій характеръ типа у Писемскаго проанализированъ также вѣрно, какъ и у Тургенева, а очерченъ даже гораздо ярче.

Виновато-ли общество въ формированіи недѣлимыхъ, относящихся къ этому типу?—На этотъ вопросъ можно отвѣтить такъ. Общество виновато во всемъ томъ, что совершается въ его предѣлахъ; всякая дрянная личность самымъ фактомъ своего существованія указываетъ на какой нибудь недостатокъ въ общественной организаціи. Что же дѣлать обществу? спросить читатель. Вѣшать, что-ли, преступниковъ, или усиливать полицейскія мѣры для предупрежденія преступленій? Нѣтъ, отвѣчу я. Воръ не могъ родиться воромъ, потому что новорожденный ре-

бенокъ не имѣть никакого понятія о томъ, что такое собственность. Его испортило воспитаніе, а воспитаніе зависитъ отъ отношеній, отъ условій экономическаго быта, отъ суммы гуманнхъ идей, находящихся во всеобщемъ обращеніи; если воспитаніе плохо въ какомъ бы то ни было отношеніи, въ этомъ прямо виновато общество; ни вы, ни я, ни Петръ, ни Сидоръ отдѣльно не заслуживаютъ порицанія, но тѣ отношенія, въ которыхъ Петръ стоитъ къ Сидору, или я стою къ вамъ, могутъ быть названы ложными, неестественными и стѣснительными.

Отношенія эти образовались помимо насъ и до нашего рожденія; ихъ освятила исторія, ихъ не устранить никакая единичная воля; вѣрить и сомнѣваться мы не можемъ *ad libitum*; мысли наши текутъ въ извѣстномъ порядкѣ, помимо нашей воли; даже въ процессѣ мысли мы стѣснены условіями нашей физической организаціи и обстоятельствами нашего развитія; если вы выросли при извѣстной обстановкѣ, свыклись съ нею въ теченіи вашей жизни и притомъ не обладаете значительною силою мысли, то вамъ, можетъ быть, никогда не удастся обсудить эту обстановку совершенно свободно и смѣло; винить васъ въ этомъ было бы смѣшно, но замѣтить, что ваша робость оказываетъ вредное вліяніе на зависящія отъ васъ личности было-бы совершенно справедливо; устранить это вредное вліяніе, хотя бы вамъ это было непо сердцу, также очень законно; но валить на васъ отвѣтственность за то, что вы поступаете сообразно съ вашею природою, безжалостно и бесполезно. Если пороховые газы у васъ въ рукахъ разорвутъ ружье, въ которомъ уже образовался разстрѣлъ, то вы вѣроятно не станете сердиться ни на ружье, ни на порохъ, хотя бы отъ разрыва у васъ перекалечило руки. Вы просто выведете заключеніе, что разстрѣленное ружье можетъ быть разорвано, если положить въ него слишкомъ крѣпкій зарядъ, и вѣроятно, на будущее время будете осмотрительнѣе. Еслибы только вы могли быть всегда послѣдовательны, то и на человѣческія слабости и погрѣшности вы смотрѣли бы также безстрастно, какъ на разрывъ ружья; вы бы остерегались отъ вредныхъ послѣдствій этихъ слабостей, но на самыя слабости не могли бы сердиться; поэтому необходимо хотъ въ критикѣ становиться выше искуственнаго понятія; необходимо, говоря о личности человѣка, разсмотрѣть причины его поступковъ, привести ихъ въ соотношеніе съ условіями его жизни, объяснить ихъ вліяніемъ обстоятельствъ и, вслѣдствіе этого, оправдать того грѣшника, въ котораго прежде летѣли камни. Въ заключеніе всего, можно только сказать о подсудимой личности: такой-то слабъ, и не вынесъ гнета обстоятельствъ, а такой-то силенъ и побѣдилъ всѣ препятствія. Одного мы уважаемъ за его силу, другаго презираемъ за его слабость, по той же самой причинѣ, по которой мы съ удовольствіемъ съѣдаемъ кусокъ свѣжаго мяса и съ отвращеніемъ вы-

брасывается въ помойную яму гнилое яйцо. Кто же во всемъ этомъ виновать? Неужели самъ субъектъ, т. е. продуктъ извѣстныхъ условій, совершенно независѣвшихъ отъ его выбора? — Никто не виновать, да и что это за скверное слово: *вина*, *виновать*; отъ него пахнетъ уголовнымъ наказаніемъ. Это слово, это понятіе исчезаетъ теперь, и пенитенціарная система сѣверныхъ штатовъ является намъ первую удачною попыткою замѣнить наказаніе—перевоспитаніемъ.

Шамиловъ и подобныя имъ личности не имѣютъ права претендовать на общество за то, что общество обращается съ ними, какъ съ трутями, но они имѣютъ право жаловаться на то, что общество допустило ихъ сдѣлаться людьми дряблыми и никуда негодными. Они должны сказать: мы лишніе люди, насъ нельзя пристроить ни къ какому дѣлу, но еслибы насъ иначе воспитывали въ дѣтствѣ и иначе направляли въ молодости, мы, можетъ быть, не бременили бы собою земли и не относились бы къ коптителямъ неба и къ чужероднымъ растеніямъ.

VI.

Чтобы отгнать своихъ героевъ, принадлежащихъ къ рудинскому типу, чтобы рельефнѣе выставить безпощадность своихъ отношеній къ ихъ чахламъ личностямъ и смѣшнымъ претензіямъ, Тургеневъ и Писемскій ставятъ ихъ рядомъ съ простыми, очень неразвитыми смертными, и эти простые смертные оказываются выше, крѣпче и честнѣе полированныхъ и фразерствующихъ умниковъ. Рудинъ пасуетъ передъ Волынцевымъ, передъ отставнымъ армейскимъ ротмистромъ, не получившимъ никакого образованія. Эльчаниновъ у Писемскаго въ подметки не годится Савелію, мелкопомѣстному дворянину, пашущему вмѣстѣ съ своимъ единственнымъ мужикомъ. Шамиловъ оказывается дрянью въ сравненіи съ лихимъ гусаромъ Карелинымъ и даже въ сравненіи съ тупоумнымъ Сальнивовымъ.

Рудинъ, Эльчаниновъ и Шамиловъ гораздо образованнѣе и даже развитѣ тѣхъ личностей, которымъ они противопоставляются, а между тѣмъ неотесанныя натуры послѣднихъ внушаютъ гораздо больше довѣрія, уваженія и сочувствія. Отчего это происходитъ? Оттого, что въ фразахъ мы ничего не видимъ кромѣ извѣстной дрессировки, а въ дичкахъ видимъ человѣка, каковъ онъ есть, съ самородными достоинствами и съ прилипшими случайно странностями и шероховатостями. Но теперь возникаетъ другой вопросъ: съ какою цѣлью Тургеневъ и Писемскій рѣшаются дѣлать эти сопоставленія? Что они хотятъ этимъ доказать? Неужели то, что образованіе вредно дѣйствуетъ на человѣка? На послѣдній вопросъ можно смѣло отвѣтить: нѣтъ. Дѣло въ томъ, что польза

образованія, на словахъ, если не на самомъ дѣлѣ, до такой степени признана всѣми, что этого положенія никто не станетъ доказывать, и что противъ этого положенія, выраженнаго совершенно абстрактно, никто не станетъ спорить. Самъ Асоченскій не скажетъ прямо: образованіе вредно, хотя и постарается подъ благовиднымъ предлогомъ очернить самые свѣтлые его результаты. Для порядочныхъ же людей нашего времени вопросъ о пользѣ образованія давнымъ давно, чуть не съ пеленокъ, пересталъ быть вопросомъ. Къ признанному же факту, стоящему на незыблемыхъ основаніяхъ, мы можемъ относиться совершенно смѣло, съ самою безпощадною и послѣдовательною критикою. Намъ не зачѣмъ ни миндальничать передъ идеями цивилизаціи, ни благовѣсть передъ ея благодѣяніями. Мы можемъ уже говорить другимъ тономъ. Мы видимъ, что свѣтъ цивилизаціи исподволь распространяется въ нашемъ обширномъ отечествѣ, и отъ всей души радуемся этому факту, но, признавая его чрезвычайно важнымъ, именно по этой причинѣ и стараемся всмотрѣться въ него какъ можно пристальнѣе. Великолѣпное растеніе, принадлежащее всѣмъ людямъ, но воздѣланное съ особенною любовью западными европейцами и доставляющее имъ богатые плоды, перенесено на нашу почву и посажено на нашихъ равнинахъ, гдѣ его и вѣтромъ качаетъ, и снѣгомъ заноситъ, и засухой зажариваетъ. Вѣдь право не грѣшно будетъ спросить: каково принялось иноземное растеніе? есть-ли надежда акклиматизировать его подъ нашимъ негостепріимнымъ небомъ? Не грѣшно будетъ отвѣтить на это: надежда, пожалуй, есть, да и гдѣ же ея нѣтъ. А принялось-то нѣжное растеніе запада не совсѣмъ хорошо; характеръ его извращенъ климатическими и другими условіями; плоды мелкіе и горьковатые; зелень чахлая и тощая. Вотъ и стали кричать по этому случаю славянофилы: «не надо намъ этого растенія! Оно намъ не по климату; оно истощитъ всю нашу навозную почву, которую мы, отцы и дѣды наши удобряли съ такимъ постояннымъ усердіемъ, не щадя живота и животовъ. Проклятый тотъ народъ, который воздѣлываетъ это растеніе; чтобъ ему подавиться тѣми плодами, которые оно приноситъ».

Было бы грустно думать, что лучшіе изъ нашихъ современныхъ художниковъ вторятъ въ своихъ произведеніяхъ этимъ нестройнымъ крикамъ. Неужели Писемскій и Тургеневъ славянофильствуютъ, ставя полудикія натуры выше фразеровъ? Если бы эта статья принадлежала перу славянофила, то навѣрное бы авторъ ея подвелъ такого рода заключеніе, и пришелъ бы въ неописанный восторгъ оттого, что наши повѣствователи преклоняются будто бы передъ народною правдою и святынею. И же, не имѣя счастья принадлежать къ сотрудникамъ покойной «Русской Бесѣды» и нынѣ процвѣтающаго «Дня», позволю себѣ взглянуть на дѣло болѣе широкимъ взглядомъ, и постараюсь оправдать Тургенева и Писемскаго отъ упрека въ славянофильствѣ.

Противуполагая полудикую натуру—обезцвѣченной, нани художники говорятъ за человѣка, за самородныя и неотъемлемыя свойства и права его личности, они не думаютъ выхвалять одинъ народъ насчетъ другаго, одинъ слой общества насчетъ другаго; національная или кастическая исключительность не можетъ найти себѣ мѣста въ томъ свѣтломъ и любовномъ взглядѣ, которымъ истинный художникъ охватываетъ природу и человѣка; обнимая своимъ могучимъ синтезомъ все разнообразіе явленій жизни, обобщая ихъ естественнымъ чутьемъ истины, видя въ каждомъ изъ нихъ его живую сторону, художникъ видитъ человѣка въ каждомъ изъ выводимыхъ типовъ, заступаетъ за него, когда онъ страдаетъ, сочувствуетъ ему, когда онъ опечаленъ, осуждаетъ его, когда онъ гнететъ другихъ;—и во всѣхъ этихъ случаяхъ только интересы человѣческой личности волнуютъ и потрясаютъ впечатлительные нервы художника. Споръ о томъ, что годится намъ лучше, западная-ли наука, или восточная рутинна, не можетъ имѣть никакого интереса для художника; эпитеты *западная* и *восточная*, въ которыхъ, по мнѣнію борцовъ различныхъ партій, заключается вся сила, откидываются въ умѣ художника, или даже вообще умнаго человѣка. Онъ разсматриваетъ просто науку и рутину, движеніе и застой, какъ два различныхъ состоянія человѣческаго мозга; онъ одинаково легко отрѣшается отъ узкой англоманіи московскихъ доктринеровъ и отъ тупаго патріотизма славянофиловъ; способность сочувствовать всему человѣческому, всему живому и естественному, способность, составляющая необходимую принадлежность истиннаго художника, даетъ ему возможность видѣть хорошія стороны самыхъ противуположныхъ между собою явленій, и ни подъ какимъ видомъ не позволяетъ ему дѣлаться рабомъ какой бы то ни было головной теоріи.

Нашъ братъ работникъ часто вдается въ крайность и, вслѣдствіе этого, противорѣчитъ самому себѣ; полемизируя противъ вредной идеи, мы противопоставляемъ ей тотъ принципъ, который считаемъ хорошимъ, и часто, увлекаясь благороднымъ жаромъ, проводимъ этотъ принципъ до послѣднихъ, въ дѣйствительности невозможныхъ предѣловъ; мы пересаливаемъ, какъ партизаны, какъ люди партіи, и въ эти минуты художникъ, понимающій какъ-то инстинктивно правду и ложь всякаго дѣла, можетъ нарисовать насъ и воспроизвести въ одно время и благородное побужденіе, заставляющее насъ кричать и бѣсноваться, и смѣшныя крайности, до которыхъ доводитъ насъ увлеченіе. Такъ поступили Писемскій и Тургеневъ въ отношеніи къ явленіямъ, произведеннымъ у насъ на Руси вліяніемъ цивилизаціи; они отнеслись совершенно безпопадно къ той дикой почвѣ, на которой разбрасываются сѣмена нѣжнаго, европейскаго растенія; ни Писемскаго, ни Тургенева нельзя упрекнуть въ тупомъ пристрастіи къ патріархальности; но съ другой стороны, ихъ

несколько не подкупилъ блескъ той цивилизаціи, которая дѣлаетъ чудеса въ Америкѣ и въ Англіи; «блестѣть-то она блеститъ, говорятъ наши романисты, да каково-то у насъ она принимается. Вѣдь теперь періодъ порыва и страсти, и много уродливыхъ, много жалкихъ явленій, много крикливыхъ диссонансовъ происходитъ отъ сшибки обще-человѣческаго элемента съ домостроемъ».

Что дѣлать художнику въ такія эпохи? Что дѣлать челоѣку, горячо любящему челоѣческие интересы и сильно нуждающемуся въ нравственной опорѣ? На что ему надѣяться? На силу идеи, внесенной въ жизнь народа, или на энергію народа, который переработаетъ доставшуюся ему идею и обратитъ ее въ свою полную умственную собственность, въ капиталъ, съ котораго онъ со временемъ будетъ брать богатые проценты? На что ему надѣяться, повторю я: на силу идеи, или на энергію челоѣка? Конечно, на силу идеи, подхватятъ идеалисты и доктринеры, на силу истины, которая всегда восторжествуетъ и останется вѣчно истинною. Хорошо; пускай себѣ идеалисты говорятъ, что имъ угодно, а я скажу, что надо надѣяться на силу челоѣка, какъ живаго, органическаго тѣла, и со мною въ этомъ случаѣ согласны, по смыслу своихъ произведеній, Тургеневъ и Писемскій. Увлечься идеею не трудно, подчиниться идеѣ способенъ челоѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой челоѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы, и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ; чтобы переработать идею, напротивъ того, необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи. т. е. только такой челоѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для самаго себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими — избранныя личности; оттого въ тѣхъ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда челоѣкъ вырабатываетъ ее силами собственнаго мозга; какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, такъ она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться.

Столкнувшись съ цѣлымъ міромъ новыхъ, широкихъ идей, наши рулявшіе молодые люди теряютъ всякую способность переработать ихъ въ плоть и кровь свою; они благоговѣютъ передъ тѣми идеями, которыхъ они наслушались, любятъ на эти идеи, но жить ими не могутъ, потому что нельзя же жить такими вещами, на которыя смотришь издали, и которыхъ не осмѣливаешься взять въ руки. Они сами по себѣ, а идеи ихъ — сами по себѣ. Очень можетъ быть, что новыми идеями вообще увлекаются прежде другихъ натурн впечатлительныя, подвижныя, неспособныя къ критикѣ и вслѣдствіе этого, ничтожныя въ дѣлѣ

жизни; тѣ крѣпкія натуры, которыя противопологаются Рудиннымъ; воспринимаютъ туго, недовѣрчиво, постепенно; но когда извѣстная идея, какъ извѣстный приѣмъ лекарства, расшевелила ихъ мозговые нервы, тогда они начинаютъ дѣйствовать; мысль не расходится съ дѣломъ; они живутъ вмѣсто того, чтобы разсуждать о жизни; такихъ людей у насъ не много, но такихъ людей начинаютъ признавать и уважать наше общество. Къ числу ихъ принадлежалъ Зыковъ, котораго представилъ Писемскій въ романѣ «Тысяча душъ»; такимъ людямъ приходится только говорить, надсаживать легкія безплоднымъ крикомъ, надрывать грудь, надъ неблагодарною работою, иногда вдаваться въ дикій вутежъ съ горя, сжигать жизнь до-тла и умирать съ горькимъ сознаніемъ своего безсилія, умирать, какъ умираетъ человѣкъ, задыхающійся подъ стогомъ сѣна, котораго онъ не въ силахъ своротить съ своей груди. Некрасивая и даже негромкая смерть. Эти мученики нашего тупоумія и нашей инертности до сихъ поръ были разрозненными единицами, и художники наши не могли обращаться съ ними, какъ съ представителями цѣлаго типа; въ томъ, что называется у насъ обществомъ, замѣчалось страшное раздвоеніе; одни повторяли на разные лады чужія мысли и воображали себѣ, что они *думаютъ*; другіе ничего не думали, и ничего не воображали, росли въ брюхо, ѣли и наѣдались, жили и умирали, словомъ, задавая себѣ маленькія цѣли, шли къ нимъ бодримъ твердымъ шагомъ, и всегда достигали ихъ, если не случалось поскользнуться, или если не расшибалъ параличъ. Весь запасъ мыслей былъ на одной сторонѣ, весь запасъ воли и энергіи — на другой; между тѣми и другими лежала бездна...

Но отъ кого же ждать спасительнаго толчка: отъ фразеровъ, или отъ дикарей? Отвѣтъ на этотъ вопросъ ясенъ: Фразеры развились до послѣднихъ предѣловъ, настолько, насколько они способны развиваться; развились — и остановились; они сдѣлали все, что могли, и больше отъ нихъ нечего ждать, это — выпаханное поле; а у дикарей — новъ, дичь, глушь, рѣкы да крапива; но есть растительная сила, которую ничто не замѣнить. Кто заучился до такой степени, что потерялъ здравый смыслъ, на того остается махнуть рукою; кто ничему не учился, у того могутъ быть проблески самороднаго здраваго смысла, и изъ этихъ проблесковъ можетъ выработаться, смотря по обстоятельствамъ, живая мыслительная сила, или горькій, забудыжный русскій юморъ. Въ живой силѣ, въ здоровомъ тѣлѣ, въ мускулахъ, въ костяхъ и въ нервахъ, а не въ бумаженныхъ страницахъ и не въ кожаныхъ переплетахъ заключаются для человѣка задатки свѣтлаго будущаго. Работать надо, работать мозгомъ, голосомъ, руками, а не упиваться сладкозвучнымъ теченіемъ чужихъ мыслей, какъ бы ни были эти мысли стройны и выложены.

VII.

Кромѣ типа неисправимыхъ фразеровъ, въ произведеніяхъ Писемскаго и Тургенева можно отмѣтить еще два главные разряда мужскихъ характеровъ. Во-первыхъ заслуживаютъ вниманія люди, подобные Лежневу и Лаврецкому; во-вторыхъ люди, подобные Веретьеву (въ повѣсти Тургенева «Затишье»), и Рымову (въ разсказѣ Писемскаго «Комикъ»). Первые проникаются гуманными идеями, и, не вступая во имя этихъ идей въ борьбу съ дѣйствительностью, располагаютъ только свою собственную жизнь сообразно съ этими идеями. Если они помѣщики—они берутъ съ своихъ крестьянъ легкій оброкъ, обращаются съ ними кротко и ласково, и не ломая круто ихъ предразсудковъ, стараются по возможности улучшить ихъ матеріальный бытъ и смягчать грубость ихъ нравовъ; если у нихъ есть семейство, они предоставляютъ свободу жёнѣ своей, воспитываютъ дѣтей своихъ внѣ предразсудковъ и не стѣсняютъ ихъ свободной воли съ той самой минуты, когда она начинается у нихъ проявляться. Словомъ, это люди мягкіе, нетяжелые, терпимые ко всему, что ихъ окружаетъ, и въ томъ числѣ къ глупостямъ и подлостямъ другихъ людей. Какъ дѣятели, они никуда не годятся, но мѣрять достоинства человѣка только тою пользою, которую онъ приноситъ идеѣ или окружающему обществу—было бы не совсѣмъ справедливо. Если человѣкъ не вредитъ другому, если онъ живетъ въ свое удовольствіе, не эксплуатируя другихъ и не стѣсня чужой свободы, то самое строгое нравственное югу должно признать его невиновнымъ. Какъ дѣятель, онъ—нуль, но заставлятъ всѣхъ быть дѣятелями, и клеймить презрѣніемъ того, кто въ этомъ отношеніи оказывается несостоятельнымъ, или бѣриѣ, кто совершенно не выступаетъ на это поприще, значить врываться въ область личной свободы и смотрѣть на человѣка не какъ не на самостоятельный организмъ, а какъ на винтъ или какъ на гайку въ общемъ механизмѣ общества. Предоставляю этотъ взглядъ Платону, Аристотелю и новѣйшимъ ихъ послѣдователямъ; я же, съ своей точки зрѣнія, безусловно оправдываю Лежнева, Лаврецкаго и Бѣлавина; они дѣлаютъ, что могутъ, и больше отъ нихъ нечего требовать, потому что требовать отъ человѣка самоотверженія совершенно не деликатно и не гуманно, какъ бы велика и прекрасна ни была та идея, во имя которой мы его требуемъ.

Темпераментъ людей, подобныхъ Лежневу и Бѣлазину, обыкновенно очень спокоенъ; развиваются они при благоприятныхъ условіяхъ, т. е. обыкновенно пользуются обезпеченнымъ состояніемъ,

усваиваютъ себѣ свои убѣжденія безъ особенной боли, смотрятъ на жизнь свѣтло и любовно, любятъ ровно и тихо, ненавидѣть не умѣютъ и спокойно презираютъ то, что возмущаетъ до глубины души людей болѣе страстныхъ и раздражительныхъ. Они — люди умѣренные по самой натурѣ своей; ихъ несправедливо было бы смѣшать съ тѣми личностями, которыя угождаютъ нашимъ и вашимъ изъ чистаго расчета, изъ боязни навлечь себѣ непріятности или изъ желанія подслужиться; первые — люди, отъ природы лишенные жала и желчи; вторые — скрываютъ жало и желчь и пускаютъ ихъ въ ходъ тогда, когда они могутъ сдѣлать это.

Совершенную противоположность съ этими спокойными натурами представляютъ люди, подобные Рымову и Веретьеву. Это люди съ кипучими силами, съ огненнымъ темпераментомъ, съ огромными страстями, съ рѣзкими недостатками, но съ яркими талантами и съ могучими стремленіями. Дарованія и силы этихъ людей разбрасываются, тратятся на пустяки, и сами они видятъ это, и самими имъ жаль себя, и досадно на себя, и хочется забыться, утопить тяжелое чувство, размыкать горе. Сколько могучихъ талантовъ гибнетъ въ нашемъ отечествѣ отъ безпорядочной жизни, отъ пьянства и кутежа. Зачѣмъ пьютъ, зачѣмъ кутятъ?.... Человѣкъ съ умомъ и съ душою такого наглаго вопроса не предложитъ. Кабы не было тяжело, такъ не стали бы пить. Пить съ горя неизящно, я съ этимъ согласенъ, но жалокъ тотъ человѣкъ, который постоянно смотритъ на себя со стороны и всю свою жизнь думаетъ о томъ, чтобы сохранить вѣншнее благообразіе; у людей полныхъ души и чувства бываютъ такіа минуты, когда весь человѣкъ сосредоточенъ въ одномъ стремленіи, когда онъ имъ только и живетъ, въ немъ только и видитъ отраду и цѣль существованія; и если что нибудь остановитъ такого человѣка въ то время, когда онъ идетъ къ своей любимой цѣли, если что нибудь станетъ между этимъ человѣкомъ и его призваніемъ, тогда не пеняйте на него, и не удивляйтесь его поступкамъ. Та самая сила, которая могла бы сдѣлать чудеса, побѣдить всѣ вѣншнія препятствія осуществить безпокойное стремленіе, та самая сила, передъ проявленіями которой мы бы стали благовѣть и преклоняться, обращается противъ самаго человѣка и разбиваетъ въдребезги ту грудь, въ которой она гнѣздится. Есть люди, которые могутъ помириться съ неполною или помятою жизнью, съ перекошеною и перекрашенною дѣятельностью; есть и другіе люди, которые не умѣютъ дѣлать уступокъ; имъ подавай или все, или ничего; при первой разбитой надеждѣ, при первой попыткѣ жизни прибрать ихъ къ рукамъ и скрутить ихъ по-своему, они бросаютъ все, и съ какимъ-то злобнымъ наслажденіемъ разбиваютъ объ дорогу и свой идеаль, и свои стремленія, и молодость, и силы, и жизнь. Являются вспышки отчаянной энергіи,

попытки повернуть дѣло по-своему, и головою пробить себѣ дорогу къ любимой дѣятельности; но такія попытки одному человѣку не по силамъ, и за энергическимъ движеніемъ впередъ слѣдуетъ обыкновенно страшная, часто отвратительная реакція. Кабы этимъ силамъ да другую сферу — было бы совсѣмъ другое дѣло. Типъ широкой натуры, разбрасывающейся въ простомъ народѣ на сивуху, а въ среднемъ кругу на шампанское, могъ бы переродиться въ типъ талантливаго, живаго, веселаго работника.

Отношенія Писемскаго къ этому типу теплѣе, симпатичнѣе и справедливѣе, чѣмъ отношенія Тургенева. Тургеневъ смотритъ на своего Веретьева какъ-то слишкомъ легко и слишкомъ презрительно; это невеликодушно; жертвы нашего собственнаго тупоумія, нашей собственной инертности имѣютъ право на наше сочувствіе или по крайней мѣрѣ на наше состраданіе; если жизнь однихъ вколачиваетъ въ могилу, другихъ вгоняетъ въ кабакъ, третьихъ превращаетъ въ негодяевъ, то, согласитесь, что въ этомъ не виноваты тѣ личности, которыя не выносятъ атмосферы этой жизни. «Комикъ» Писемскаго неподражаемо хорошъ, какъ выраженіе этой идеи въ поразительно яркихъ образахъ. Вотъ, говоритъ авторъ, Рымовъ запыль, превратился въ тряпку, попалъ подъ башмакъ глупой жены своей, какого-то ходячаго пуховика; а вотъ, полюбуйтесь, то общество, среди котораго онъ живетъ, всѣ, какъ на подборъ: одинъ глупѣе другаго, и каждый подличаетъ по своему; Рымовъ пьяный умнѣе ихъ всѣхъ трезвыхъ. Какъ же ему не пить? Когда вездѣ видишь, по выраженію Гоголя, одни свинья рыла, тогда поневолѣ захочешь, хоть на нѣсколько минутъ закрыть глаза, чтобы ничего не видѣть. Рымовъ ищетъ одурѣнія, самозабвенія, бреда—и все это очень понятно, все это протестъ противъ того, съ чѣмъ борются всѣ честные дѣятели, и что ненавидятъ всѣ порядочные люди.

VIII.

Въ томъ, что я написалъ до сихъ поръ, есть нѣсколько мыслей о тѣхъ явленіяхъ жизни, которыя представлены Писемскимъ и Тургеневымъ. Полной оцѣнки ихъ дѣятельности нѣтъ, а между тѣмъ статья вышла уже очень большая. Сознывая ея неполноту, я постараюсь въ особой статьѣ высказать свои мысли о женскихъ типахъ, выведенныхъ въ произведеніяхъ Гончарова, Тургенева и Писемскаго. Кромѣ того, о такомъ романѣ, какъ «Тысяча душъ», нельзя говорить вскользь и между прочимъ. По обилію и разнообразію явленій, схваченныхъ въ этомъ романѣ, онъ стоитъ положительно выше всѣхъ произведеній нашей но-

вѣйшей литературы. Характеръ Калиновича задуманъ такъ глубоко, развитіе этого характера находится въ такой тѣсной связи со всѣми важнѣйшими сторонами и особенностями нашей жизни, что о романѣ «Тысяча душъ» можно написать десять критическихъ статей, не исчерпавши вполне его содержанія и внутренняго смысла. Объ такихъ явленіяхъ говорить всегда кстати; говорить о нихъ—значить говорить о жизни, а когда же обсужденіе вопросовъ современной жизни можетъ быть лишено интереса? Поэтому, я теперь постараюсь въ нѣсколькихъ словахъ сгруппировать выводы, которые могутъ быть сдѣланы изъ те-перешней моей статьи:

1) Я считаю трехъ названныхъ мною романистовъ важнѣйшими представителями современной поэзіи и отругаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова.

2) Въ романѣ Гончарова я вижу только тщательное копированіе мелкихъ подробностей и микроскопически тонкій анализъ. Ни глубокой мысли, ни искренняго чувства, ни прямодушныхъ отношеній къ дѣйствительности я не замѣчаю.

3) Въ Писемскомъ и въ Тургеневѣ я дорожу преимущественно ихъ отрицательнымъ и совершенно-трезвымъ возрѣніемъ на явленія жизни.

4) Писемскій глубже Тургенева захватываетъ эти явленія, изображаетъ ихъ болѣе густыми красками и по жизненной полнотѣ своихъ твореній, какъ «черноземная сила», стоитъ выше Тургенева.

1861 г. Ноябрь.

Ж

ЖЕНСКІЕ ТИПЫ

въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова.

I.

Сколько лѣтъ уже живутъ люди на свѣтѣ, сколько времени толкуютъ они о томъ, какъ бы устроить свою жизнь поизящнѣе и поудобнѣе, а до сихъ поръ самыя простыя и положительно необходимыя отношенія не установились какъ слѣдуетъ. До сихъ поръ мужчина и женщина мѣшаютъ другъ другу жить, до сихъ поръ они взаимно, самыми разнообразными и утонченными средствами, отравляютъ другъ другу жизнь. Разойтись они не могутъ, сойтись, какъ слѣдуетъ, не умѣютъ, и, инстинктивно стараясь сблизиться, запутываются въ такія сложныя, мучительныя, естественныя отношенія, о которыхъ свѣжій человѣкъ съ здоровымъ мозгомъ не можетъ себѣ составить даже приблизительно-вѣрнаго понятія. Мужчина гнететъ женщину и клеветаетъ на нее. Взгляните на восточныя гаремы, вспомните о тѣхъ законахъ, по которымъ вдова должна была сжигаться на кострѣ покойнаго мужа, вспомните тѣ странныя статьи первобытнаго уголовного кодекса, въ силу которыхъ нарушительница супружеской вѣрности подвергалась смертной казни, или, по меньшей мѣрѣ, жестокому и унижительному тѣлесному наказанію—вспомните все это, и вы увидите ясно, что на сторонѣ мужчины всегда находилась сила, власть, и неопровержимое право мучить по своему благоусмотрѣнію подчиненную, безответную; и, сравнительно съ нимъ, слабую спутницу. Загляните потомъ въ литературу всѣхъ народовъ, начиная съ древнѣйшихъ временъ, пересчитайте, если у васъ на то хватитъ силъ и свѣ-

дѣній, всѣ ядовитыя или просто грязныя обвиненія, направленныя противъ женщины вообще, и вы увидите также ясно, что мужчина, постоянно развращавшій женщину гнетомъ своего крѣпкаго кулака, въ то же время постоянно обвинялъ ее въ ея умственной неразвитости, въ отсутствіи тѣхъ или другихъ высокихъ добродѣтелей, въ наклонности къ тѣмъ или другимъ преступнымъ слабостямъ. Обвиненія эти дѣлались конечно, чисто съ точки зрѣнія самого обвинителя, который въ своемъ собственномъ дѣлѣ являлся обыкновенно истцомъ, судьей, присяжнымъ и палачомъ. Если, напримѣръ, молодому, образованному Греку время Перикла было скучно сидѣть съ своею женою, которая не знала ничего, кромѣ своихъ рабынь и шерстяной пряжи,—то онъ громко обвинялъ ее въ тупоуміи и уходилъ съ веселыми пріятелями къ модной гетерѣ, гдѣ, конечно, находилъ полное сочувствіе своему семейному горю; а вслѣдъ за сочувствіемъ, отыскивалъ и утѣшеніе. Жена, существо молодое, свѣжее, способное развиваться и наслаждаться, оставалась одна, не смѣя даже роптать, съ тихимъ, затаеннымъ вздохомъ принималась опять за пряжу, робко поджидала возвращенія господина-супруга, стыдливо принимала его полупыльныя ласки, и, не получая ни откуда притока свѣжаго воздуха, постоянно тупѣла и съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе надѣдала своему мужу. Возьмемъ другой примѣръ.

Если богатый мусульманинъ, владѣтель великолѣпнаго гарема, не имѣлъ возможности любить съ одинаковою силою всѣхъ своихъ женъ и любовницъ, и если одна изъ оставленныхъ одалискъ искала себѣ утѣшенія въ какой нибудь посторонней привязанности, если она успѣвала склонить стражу и украдкой ввести въ гаремъ своего возлюбленнаго.—хозяинъ и властелинъ считалъ себя смертельно оскорбленнымъ, и самымъ жестокимъ образомъ вымещалъ свою обиду на своей возмущавшейся собственности. Эта собственность зашивалась въ мѣшокъ и отправлялась на дно ближайшей рѣки или немилосердно уродовалась палками, плетью, розгами и другими исправительными орудіями, принадлежавшими къ той же категоріи.

Но все это, скажетъ читатель, примѣры, взятые изъ отдаленнаго прошлаго или изъ другой уродливо сложившейся цивилизаціи! Хорошо, возьмемъ примѣръ изъ нашихъ временъ и изъ нашего быта. Года четыре тому назадъ, въ нашемъ отечествѣ былъ поднятъ вопросъ о воспитаніи; появилось нѣсколько педагогическихъ журналовъ, и въ нихъ, между прочимъ, заговорили очень рѣчисто о женщинѣ. На нашихъ женщинъ напали съ двухъ сторонъ: во-первыхъ, ихъ раскритиковали въ пухъ, какъ воспитательницъ; во-вторыхъ, какъ часть воспитывающагося и вырастающаго молодого поколѣнія. Матерямъ и воспитательницамъ наша литература говорила безо всякихъ обиняковъ: «вы воспитываете скверно, вы сами пусты, вы живете нарядами и выѣздами, вы не думаете о страш-

ной отвѣтственности, которая лежитъ на васъ передъ обществомъ, передъ родиною, передъ собственною совѣстью. Покайтесь и обратитесь на путь истины.» Обращаясь къ воспитанницамъ, литература наша даже ихъ умѣла обвинить въ томъ, что онѣ получили съ самыхъ малыхъ лѣтъ скверное направленіе, что онѣ не любятъ науки, равнодушны къ интересамъ своего развитія, обожаютъ своихъ учителей, начинаютъ кокетничать чуть не съ пеленокъ, и, достигши шестнадцатилѣтняго возраста, наробятъ выдти замужъ за кого попало. Я возьму только одинъ фактъ этого обвиненія и докажу вамъ, что, по своей идѣ, онъ нисколько не лучше тѣхъ двухъ примѣровъ, которые я привелъ выше.

Въ первомъ примѣрѣ, Грекъ дуется на свою жену за ея неразвѣстность, которую онъ же самъ поддерживаетъ въ ней своимъ обращеніемъ съ нею.

Во второмъ примѣрѣ, мусульманинъ колотитъ свою одалиску за невѣрность, которую онъ же самъ вызываетъ своею невнимательностью.

Въ третьемъ примѣрѣ, литераторы наши ругаютъ женщинъ за ихъ глупость, за ихъ пустоту, которая поддерживается складомъ всего общества, и въ которой виноваты одни мужчины, какъ единственные дѣятельные члены этого общества.

Наши русскія матери плохо воспитываютъ — согласенъ; да гдѣ жъ имъ было научиться приемамъ здоровой педагогики? Гдѣ имъ было проникнуться человѣческими идеями? Наши матери занимаются устройствомъ своихъ куафюръ, или маринованіемъ грибовъ — опять таки согласенъ. Да что же имъ дѣлать, когда онѣ ничего лучшаго не знаютъ? А не знаютъ онѣ потому, что съ ними никто по человѣчески не говорилъ. Виноваты же въ этомъ одни мужчины, потому что мужчины дирижируютъ оркестромъ общественныхъ убѣжденій и являются запѣвалами. Если выходить развѣдчица, они же сами за это отвѣчаютъ, и на себя должны пенять.

Наши дѣвушки кокетничаютъ потому, что никто не умѣетъ шевельнуть, какъ слѣдуетъ, ихъ ума; молодыя силы ищутъ себѣ исхода, и не находя себѣ разумнаго приложенія, обращаются на пустяки и тратятся на неглупости; дѣвушка старается выйти замужъ—это очень похвально и благоразумно; желая этого, она повинуется естественному голосу физической природы, и показываетъ въ себѣ присутствіе свѣжихъ силъ, потребность любви и наслажденія; кромѣ того, она очень хорошо понимаетъ, что, выходя замужъ, она останется свободнѣе, чѣмъ была прежде, находясь въ родительскомъ домѣ; если она ищетъ для себя личной свободы, значитъ она инстинктивно или сознательно понимаетъ ея цѣну. Кто стремится къ независимости, тотъ во всякомъ случаѣ оказывается сильнѣе, умнѣе и энергичнѣе человѣка, мирящагося съ своимъ подчиненнымъ положеніемъ.

Чтобы выйти замужъ, многія дѣвушки пускаютъ въ ходъ неблагообразныя средства; онѣ стараются понравиться, продаютъ товаръ лицомъ, кокетничаютъ; все это очень нехорошо, но опять таки въ этомъ виноваты мужчины. Еслибы мужчинамъ не нравились кокетки, еслибы мужчины требовали отъ женщинъ серьезнаго ума, еслибы они не довольствовались легкою граціею, тогда кокетство сдѣлалось бы невозможнымъ. А кричать въ литературѣ противъ того зла, которое поощряешь въ жизни, безцѣльно и бесполезно. Валить нравственную отвѣтственность на такое существо, которое въ теченіи всей своей жизни находится въ зависимости, несправедливо и неблагородно. Пора, мнѣ кажется, сказать рѣшительно и откровенно: женщина ни въ чемъ не виновата. Она постоянно является страдальцею, жертвою или, по крайней мѣрѣ, страдательнымъ лицомъ. Если случается иногда, что женщина отравляетъ существованіе добраго, честнаго и умнаго мужчины, то въ этомъ случаѣ совершается только круговая порука. Женщина вымещаетъ на своемъ мужѣ то зло, которое ей сдѣлали въ домѣ отца; ее испортили, — она и является испорченною; а все таки, въ существованіи портящихъ элементовъ виновата не женщина. Она въ полномъ смыслѣ слова продуктъ извѣстныхъ бытовыхъ формъ и условій, и притомъ продуктъ, не имѣющій никакой возможности заявить свой протестъ. Даже мужчина, недовольный тою жизнью, на которую обрекаютъ его понятія, укоренившіяся въ обществѣ, бываетъ принужденъ выдерживать страшную борьбу, такую борьбу, которая обыкновенно истекаетъ до послѣдней капли живыхъ силъ его личности; большая часть мужчинъ не доводятъ этой борьбы до конца, смиряются и склоняютъ голову, признавая себя побѣжденными; кто остается побѣдителемъ, тотъ скоро умираетъ отъ послѣдствій непомѣрныхъ усилій.

Подумайте, что же, при такихъ условіяхъ, можетъ сдѣлать женщина? Вспомните, что женщина у насъ знаетъ несравненно меньше, чѣмъ мужчина, изнѣжена несравненно больше, и также несравненно больше мужчины сдвлена контролемъ общественнаго мнѣнія. Мужчина приходитъ въ столкновение съ множествомъ разнообразныхъ сферъ; родительскій домъ, гимназія, университетъ, департаментъ или полкъ, маскарадъ, трактиръ, редація журнала, прилавокъ торговой конторы — вѣдь это все школы жизни; положимъ, что каждая изъ этихъ школъ сама по себѣ неудовлетворительна, но зато ихъ довольно много, и каждая изъ нихъ болѣе или менѣе даетъ матеріалы для критики остальныхъ. Если даже мы видимъ уродливыя явленія, то они оказываютъ на нашу мыслительную дѣятельность возбуждающее вліяніе, лишь бы только эти уродливыя явленія не были утомительно-однообразны. Мужчинѣ есть на чемъ развиваться; что это развитіе пойдетъ вкривь и вкось, въ этомъ нѣтъ почти ни малѣйшаго сомнѣнія; но тѣмъ не менѣе, первобытный сонъ ребенка будетъ

нарушенъ; придется не разъ задуматься, разсердиться, опечалиться, явятся столкновѣнія съ разными личностями, съ разными сферами; явится борьба, и эта борьба такъ или иначе начнетъ обтесывать личность молодого индивидуума, вступающаго въ жизнь. Тѣ задатки способностей и страстей, которыя лежали въ темпераментѣ мальчика, разовьются въ дурную или хорошую сторону, смотря по обстоятельствамъ; сдѣлавшись молодымъ человѣкомъ, этотъ мальчикъ помирится съ жизнью или возстанетъ противъ нея, но во всякомъ случаѣ онъ обозначится, по своему пойметъ самого себя и станетъ къ окружающей его жизни въ какія нибудь отношенія. Личность сложится такъ или иначе, а у женщины, въ большей части случаевъ, и этого не бываетъ. Мужчину жизнь вертитъ и колышетъ круче, но женщину она давитъ сильнѣе. Для того, чтобы одна женщина выдѣлилась своимъ образомъ жизни изъ тысячеголовой массы необозначившихся, недоразвившихся и ничѣмъ и не затронутыхъ индивидуумовъ, необходимо соблюденіе нѣсколькихъ условій, которыя въ нашемъ обществѣ, при теперешнемъ складѣ воспитанія и понятій, встрѣчаются чрезвычайно рѣдко.

Необходимо, во-первыхъ, чтобы что нибудь вызвало на размышленіе и на критику. Необходимъ какой нибудь толчокъ, который нарушилъ бы ребяческую полудремоту дѣвушки или женщины. Мужчина встрѣчаетъ такіе толчки довольно часто; каждый изъ насъ помнитъ, вѣроятно теплое слово какого нибудь учителя или профессора, старшаго товарища или случайнаго знакомаго, котораго свѣтлая личность рельефно вырисовывается на темномъ фонѣ будничныхъ, житейскихъ воспоминаній; каждый испыталъ, вѣроятно, электрическое дѣйствіе такого слова, послѣ котораго приходилось оглянуться на свою прежнюю жизнь, перебрать въ умѣ свои неясныя, неперебродившія чаянія и стремленія, и положить первый краеугольный камень будущимъ, мужскимъ убѣжденіямъ. — Къ такимъ словамъ женщины воспріимчивѣе, чѣмъ вы думаете: такіа слова для нихъ не пропадаютъ даромъ, онѣ запоминаютъ ихъ чувствомъ, онѣ вырастаютъ и развертываются мгновенно, подъ живительнымъ вліяніемъ такого слова, онѣ привязываются всѣми силами молодой и пылкой души — и къ этому слову, и къ тому, кто его произноситъ; но посмотрите, гдѣ, когда, отъ кого приходится имъ слышать такое слово? Много-ли у насъ такихъ людей, которые способны заговорить съ женщиною по человѣчески? а изъ тѣхъ людей, которые на это способны, много-ли такихъ, которые достойны этого? Много-ли такихъ, повторяю я, которые, вызвавъ довѣріе и сочувствіе женщины смѣлою, вдохновенною тирадою, не обмануть этого довѣрія и не окажутся мыльными пузырями и ничтожными фразерами? Оглянемся на самихъ себя; посмотримъ, каковы мы сами; посмотримъ, что мы, люди дѣла, люди мысли, дали и даемъ нашимъ женщинамъ? посмотримъ — и покраснѣемъ отъ стыда! Порисо-

4 ваться передъ женщиною извѣществомъ чувствъ, огоршить ее блестящею оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивою смѣлостью честнаго порыва—это наше дѣло, на это мы мастера. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить—мы на понятный дворъ, мы начинаемъ дѣлаться благоразумными, мы пугаемся того, что мы сдѣлали, мы стараемся залить тотъ пожаръ, который сами, сдуру, не спросясь броду, раздули; мы говоримъ и себѣ, и другимъ, и даже женщинѣ: вольно жъ было такъ горячо принимать въ сердце! Надо помириться, надо покориться! Да, вотъ мы каковы, и туда же требуемъ отъ женщины, чтобы она была мыслящимъ существомъ. И смѣшно, и досадно!

Вотъ видите ли: стало быть, если даже толчокъ данъ, если даже мышление и критика пробудились, этого еще недостаточно. Женщина во всякомъ возрастѣ до такой степени лишена самостоятельности, что первыя же проявленія этой критики очень легко могутъ быть задавлены тѣми людьми, которые составляютъ обстановку. Молодое существо шевельнется, рванется къ какой-то новой, незнакомой жизни,—его круто осадятъ назадъ; оно заговоритъ—его осмѣютъ; она начнетъ протестовать—ей велятъ молчать; чтобы побѣдить въ неравной борьбѣ, которая завяжется между молодою женщиною и обстановкой, необходимы или особенно благоприятныя обстоятельства, или огромная сила характера. Осуждать ту молодую дѣвушку или женщину, которая начнетъ борьбу и не выдержитъ ея до конца—я не рѣшаюсь. Силъ у нея мало—да что же дѣлать? Гдѣ было развиваться этимъ силамъ? На что имъ опереться? Да и наконецъ, развѣ ей самой, этой побѣжденной личности, склонившей голову и смирившейся передъ тѣмъ, что вызываетъ въ ней глубокое отвращеніе, развѣ ей самой легко жить на свѣтѣ? Обличать страдальицу осуждать женщину, сломленную и изнывающую подъ ея бременемъ—это, можетъ быть, высоко-нравственно и глубоко-справедливо, но я предоставляю подобные подвиги другимъ, тѣмъ болѣе, что охотники всегда найдутся.

Итакъ, получивши расшевеливающій толчокъ, женщина должна еще получить извнѣ или развить въ самой себѣ силы для протеста и борьбы. Борьба будетъ самая разнообразная; сначала внутренняя борьба, ломка прежнихъ убѣжденій и созиданіе новыхъ; потомъ борьба съ семейными властями, съ маменьками, съ тетюшками, съ ихъ матримоніальными планами, съ ихъ великосвѣтскими предразсудками, съ ихъ мѣщанскою посредственностью и оконченѣвшею рутинностью; наконецъ, борьба съ общественнымъ мнѣніемъ, съ насмѣшками, намеками и сплетнями. Возьмемъ самую простую вещь—трудъ женщины. Мы знаемъ вѣдѣнный фактъ: нѣкоторыя дѣвушки ходили на лекціи въ университетъ и ходятъ до сихъ поръ въ медико-хирургическую академію. Но знаемъ ли мы внут-

реннюю, завулисную, семейную сторону этого факта? Сколько домашних споровъ вызывало быть можетъ желаніе дѣвушки учиться серьезно, сколько разъ это желаніе бывало подавляемо, сколько слезъ тутъ было пролито, и какія святныя слезы! Если вы, положимъ, видите сегодня десять дѣвушекъ на лекціи, то почему вы знаете, чего имъ стоило придти? И почему вы знаете, что на эту лекцію не пришло бы еще двадцать дѣвушекъ, еслибы ихъ не задержали... доводами, насмѣшками, слякою? Теперь идетъ рѣчь о томъ, что женщины желаютъ быть допущены къ медицинской практикѣ. Вопросъ, какъ вы видите, поднять свѣжій, но какіе иногда встрѣчаются отзывы, хоть святныхъ вонь неси. Напримѣръ, Кіевская газета, «Современная Медицина» въ своемъ фельетонѣ вздумала позубоскалить на эту тему; она говоритъ, что женщины-медики будутъ поставлены въ щекотливое положеніе, если имъ придется лечить специально-мужскія болѣзни, и потомъ предлагаетъ этимъ женщинамъ-медикамъ называться докториссами. Это только плоско, и конечно не можетъ имѣть никакого вліянія на разрѣшеніе поставленнаго вопроса, но вы посмотрите на дѣло вотъ съ какой точки зрѣнія: если такія штуки откалываются въ печати людьми грамотными, чуть ли даже не учеными, то что же говорится на эту тему конфиденціально, въ своихъ кружкахъ, людьми темными и употребляющими прилагательное *учиный* не иначе, какъ съ прибавленіемъ существительнаго *цусь*. Каково тутъ будутъ острить и потѣшаться надъ тою женщиною, которая у насъ въ Россіи первая рѣшится объявить себя практикующимъ медикомъ? И вѣдь эти остроты и потѣхи будутъ раздаваться въ тѣхъ самыхъ семейныхъ кружкахъ, въ которыхъ будутъ подростать молодыя существа, способныя проникнуться до глубины души идеею о пользѣ и необходимости женскаго труда. Какова будетъ борьба! Каково будетъ слабой женщинѣ съ нѣжною, тонкою кожею проходить сквозь строй грубыхъ насмѣшекъ, наглыхъ взглядовъ въ упоръ, благонамѣренныхъ совѣтовъ и крупнопосоленныхъ остротъ и намековъ. Подумайте-ка объ этомъ, поставьте на мѣсто этой пробивающейся личности образъ дорогой для васъ женщины и тогда найдите въ себѣ силы бросить камнемъ въ ту, которая ослабѣетъ и спасуетъ на половинѣ дороги. Мнѣ кажется, вы тогда согласитесь со мною въ томъ, что женщина находится у насъ въ такомъ положеніи, при которомъ она не отвѣчаетъ ни за что; когда она изнемогаетъ и падаетъ, мы должны ей сочувствовать, какъ мученицѣ; когда она одолеваетъ препятствія, мы должны прославлять ее, какъ героиню.

Если что нибудь дурно въ женщинѣ, такъ дурна форма, въ которую отлиты ея понятія, чувства и дѣйствія; а форму эту изготовили мы; измѣнить ее собственными силами женщина не можетъ; а матеріаль въ ней такъ хорошъ, такъ свѣжъ, не смотря на уродливую форму, въ

которую онъ втиснуть, что онъ заставляетъ все забывать; любовь матери, сестры, любовницы, жены разливаетъ на нашу сѣрую жизнь свѣтлыя полосы счастья и поэзій. И за что насъ любятъ эти милыя существа? И чѣмъ мы это заслужили? На этотъ вопросъ мы затруднимся отвѣтить, если не захотимъ отвѣтить фразой; но въ этомъ избыткѣ любви, которая вырывается изъ мѣры и тратится безъ разбора, въ этой кипучей полнотѣ покуда неосмысленнаго чувства, въ этомъ отсутствіи нравственной экономіи и разсудочности—заключаются именно задатки будущаго, богатаго развитія, будущей, широкой, разносторонней, размахистой жизни, будущей плодотворной, любвеобильной дѣятельности. Что сдѣлаетъ женщина, если она будетъ развиваться наравнѣ съ мужчиною?—это вопросъ великій и покуда неразрѣшимый.

II.

Изъ предъидущихъ общихъ разсужденій читатель можетъ замѣтить двѣ выдающіяся черты: во-первыхъ то, что я во всѣхъ случаяхъ, безусловно оправдываю женщину; во-вторыхъ то, что я считаю теперешнее положеніе женщины крайне тяжелымъ и неутѣшительнымъ. Съ этими двумя основными идеями я приступаю теперь къ анализу женскихъ типовъ, встрѣчающихся въ романахъ и повѣстяхъ Гончарова, Тургенева и Писемскаго. Я буду выбирать только тѣ личности, которыя еще борются съ жизнью и чего нибудь отъ нея требуютъ. Женщины, уже помирившіяся съ извѣстною долею, не войдутъ въ мой обзоръ потому, что онѣ, собственно говоря, уже перестали жить.

Тѣ конечные результаты, къ которымъ приводитъ жизнь, не лишены интереса; ихъ можно изучать, какъ опредѣлившіеся факты, какъ памятники прошедшаго; но дѣло въ томъ, что мы теперь живемъ тревожною жизнью настоящей минуты; мы чувствуемъ неотразимую потребность отвернуться отъ прошедшаго, забыть, похоронить его и съ любовью устремить взоры въ далекое, манящее, неизвѣстное будущее. Поддаваясь этой потребности, мы сосредоточиваемъ все наше вниманіе на томъ, въ чемъ видна молодость, свѣжесть и протестующая энергія, на томъ, въ чемъ вырабатываются и зрѣютъ задатки новой жизни, представляющей рѣзкую противоположность съ нашимъ теперешнимъ прозябаніемъ. Наши романисты также поддаются этой потребности, изображая своихъ героинь именно въ тотъ моментъ, когда онѣ, подъ вліяніемъ чувства къ мужчинамъ, развертываютъ всѣ силы своей природы и поворачиваютъ свою

жизнь въ ту или другую сторону. Этотъ поворотный пунктъ въ жизни женщины особенно важенъ; рѣдко удастся женщинѣ пойти по той дорогѣ, которая обѣщаетъ полное удовлетвореніе ея потребностямъ и стремленіямъ; большею частью ей приходится, споткнувшись объ какое нибудь препятствіе, свернуть куда нибудь въ сторону, и потомъ, убѣдившись въ невозможности выйти снова на прежній широкій, свѣтлый и ровный путь, жить день за днемъ, безъ цѣли, безъ опредѣленныхъ желаній, безъ живаго наслажденія. Кто видитъ женщину въ этой фазѣ развитія, тотъ видитъ существо больное, слабое, увядающее, способное молча покоряться, но уже потерявшее силы и желаніе работать и бороться. Въ такой отживающей женщинѣ вы не найдете слѣдовъ той энергіи, которая кипѣла въ молодой дѣвушкѣ; въ энергіи этой заключаются залогов будущаго развитія, слѣдовательно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, на что способна женщина, какія силы таятся въ ея мозгу, въ ея нервахъ, изучайте ее тогда, когда она еще полна жизни и свѣжести, а не тогда, когда она измята, избита и обезцвѣчена вліаніемъ пошлыхъ людей и пошлой обстановки. Берите ее именно въ ту минуту, когда она любитъ и когда подавая руку избранному человѣку, она готова съ нимъ рядомъ весело идти навстрѣчу труду, лишеніямъ, суду свѣта, упрекамъ родственниковъ, словомъ всѣмъ тѣмъ передрыгамъ, которыя закаляютъ человѣка, и которыя, на нашемъ безцвѣтномъ и неточномъ разговорномъ языкѣ, называются горемъ и непріятностями.

Романъ большей части нашихъ женщинъ непродолжителенъ и нерастенъ, благодаря тому обстоятельству, что наши мужчины изъ рукъ вонъ плохи; а почему плохи наши мужчины, это я, насколько возможно, старался объяснить въ предыдущей статьѣ. Большею частью, мужчина влюбляется въ женщину или тогда, когда онъ находится въ положеніи неоперившагося птенца, или тогда, когда жуированіе жизнью, мелкія дразги и постоянный разладъ между міромъ мысли и міромъ дѣйствительности измучили и утомили его до крайности. Свѣжести и силы нѣтъ у нашихъ мужчинъ; они становятся стариками на другой день послѣ того, какъ перестаютъ быть ребятами; мало того, старческая дряблость живетъ въ нихъ рядомъ съ ребяческою наивною и неразвитою; не умѣя ни однимъ серьезнымъ дѣломъ заняться серьезно, они уже начинаютъ чувствовать себя лишними на бѣломъ свѣтѣ въ томъ возрастѣ, въ которомъ при нормальномъ образѣ жизни должно еще продолжаться физическое и умственное развитіе. Дѣлать нечего, заняться нечѣмъ, болтать вдохновенную чепуху надоедаетъ—и человѣкъ мечется изъ угла въ уголъ, привязывается къ разнымъ искусственнымъ интересамъ, чтобы хоть чѣмъ нибудь заинтересоваться, и наконецъ, встрѣтивъ на своей дорогѣ женщину, которая ему нравится и способна понимать то, что онъ ей будетъ говорить, воображаетъ себѣ, что онъ въ пристани, что цѣль

жизни найдена. что его счастье въ рукахъ этой любимой имъ особы. Но дѣло въ томъ, что особа и ея обожатель совершенно различными глазами смотрятъ на жизнь.

Женщину интересуетъ то, что мужчина говоритъ ей о жизни; она сама не жила, а покуда только росла или прозябала въ родительскомъ домѣ; а между тѣмъ силъ познать и желанія познать въ ней набралось много, вотъ она и слушаетъ съ напряженнымъ и постоянно возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ то, что ей говоритъ ея собесѣдникъ о новомъ для нея процессѣ, о самостоятельной жизни. въ которой человѣкъ самъ пожинаетъ посѣянные плоды и самъ несетъ отвѣтственность за свои хорошіе и дурные поступки. Она не замѣчаетъ того, что ея собесѣдникъ усталъ жить, хотя въ сущности очень мало жилъ; она не замѣчаетъ того, что ея собесѣдникъ постоянно оставался школьникомъ, хотя давно уже покинулъ университетскую скамью; она воображаетъ себѣ, что дѣятельность ея собесѣдника дѣйствительно широка и плодотворна, что жизнь его полна и разнообразна; она готова была бы завидовать ему, если бы она его не любила и не надѣялась раздѣлить съ нимъ все наслажденіе и всю обаятельную тревогу этой, по ея мнѣнію, дѣятельной жизни. Она не знаетъ и не понимаетъ, что ея обожатель никогда въ жизни не являлся и не явится полноправною, самостоятельною, всесторонне развитою человѣческою личностью; она не видитъ того, что избранникъ ея сердца бѣгаетъ, какъ бѣлка въ колесѣ и будетъ продолжать это общепольное занятіе до тѣхъ поръ, пока не откажутся служить его руки и ноги; заглядывая изъ спертой атмосферы своей дѣвической каморки въ рабочій кабинетъ того человѣка, котораго она желаетъ назвать своимъ мужемъ, дѣвушка не замѣчаетъ того, что она только изъ одной кѣткѣ хочетъ перейти въ другую; эта другая будетъ пожалуй попросторнѣе первой, да что же въ этомъ толку; кѣткѣ все таки останется кѣткою.

Ошибаясь насчетъ размѣровъ и значенія дѣятельности, дѣвушка ошибается точно также насчетъ самой личности того человѣка, который, поразивши ея воображеніе, начинаетъ мало по малу возбуждать въ ней любовь. Она слушаетъ его разсужденія о жизни съ страстнымъ воодушевленіемъ, и придаетъ его личности часть того огня, который горитъ въ ней самой; она воображаетъ себѣ, что разсказчикъ чувствуетъ тоже самое, что чувствуетъ она, слушательница; вѣдь случается же иногда, что человѣкъ, съ которымъ произошло какое нибудь счастливое событіе, выходитъ на улицу и воображаетъ себѣ, подѣ вліяніемъ своего господствующаго настроенія, что всѣ окружающіе предметы, одушевленные и неодушевленные, смотрятъ на него какъ-то особенно весело, дружелюбно и довѣрчиво. Если такой человѣкъ одаренъ значительною долей впечатлительности и фантазіи, то съ нимъ можетъ случиться то, что онъ подойдетъ

къ цѣпной собакѣ, чтобы приласкать ее, и конечно очень быстро, печальнымъ опытомъ убѣдится въ ошибочности своихъ оптимистическихъ воззрѣній. Для молодой дѣвушки, воспитывающей въ груди своей первое чувство любви, такого рода ошибка почти неизбежна. Идеализировать личность нравящагося человѣка гораздо легче, чѣмъ идеализировать цѣпную собаку, а послѣдствія отъ того и другаго могутъ выдти одинаково скверныя, хотя и существенно различныя по внѣшнимъ проявленіямъ.

Молодой человѣкъ, рассказывающій дѣвушкѣ о томъ, какъ онъ развивался, какъ боролся съ обстоятельствами, что перенесъ и выстрадалъ, гальванизируетъ самого себя процессомъ разсказа и близостью нравящейся ему женщины; глаза его блестятъ, давно поблекшія щеки загараются яркимъ румянцемъ; дикція его оживляется по мѣрѣ того, какъ онъ замѣчаетъ впечатлѣніе, производимое его рѣчью на свою собесѣдницу; онъ самъ наслаждается своимъ торжествомъ; чувство удовлетворяемаго самолюбія доставляетъ ему болѣе сильное удовольствіе, чѣмъ чувство раздѣленной любви; въ самой пылкой сценѣ любви онъ является въ одно время и актеромъ и зрителемъ, и эта несчастная способность смотрѣть на самого себя со стороны, въ то время, когда существо свѣжее безраздѣльно отдается обаятельному впечатлѣнію минуты, эта несчастная способность, повторяю я, есть вѣрный симптомъ вялости и дряблости; мозгъ постоянно бодрствуетъ и господствуетъ надъ всѣми отправленіями организма потому, что остальные нервы притупились и ослабли. А между тѣмъ дѣвушка вся находится подъ обаяніемъ: ни одно слово въ разсказѣ, ни одна нота въ голосѣ разсказчика, ни одно измѣненіе въ мускулахъ его лица или въ выраженіи его глазъ не пропадаетъ для нея и не ускользаетъ отъ ея напряженнаго, благоговѣющаго вниманія. Новыя, неиспытанныя и неожиданныя ощущенія проходятъ черезъ ея нервную систему съ такою непостижимою быстротою, что она въ теченіи получасоваго разговора переживаетъ чуть ли не два три года и почти внезапно изъ взрослого ребенка превращается въ любящую женщину. И какъ она хороша въ эту минуту перерожденія! И какъ она, при всей своей чуткости, при всей напряженной силѣ вниманія, не способна отнестись критически къ своему собесѣднику! Какъ она горячо вѣритъ и какъ жестоко ошибается! Въ ней вспыхиваетъ энергія, и въ немъ вспыхиваетъ энергія, но въ ней это первые проблески разгорающагося пламени, а въ немъ это послѣднія искры потухающаго огня. Она, послѣ двухъ трехъ теплыхъ разговоровъ, способна рѣшиться на все, а онъ послѣ двухъ трехъ такихъ разговоровъ ужъ равно ни на что не способенъ; она подойдетъ къ нему и скажетъ: ну что же! мы довольно говорили; пора дѣйствовать, пора жить; если между нами есть препятствія, опрокинемъ ихъ, перешагнемъ черезъ нихъ. Пойдемъ на

встрѣчу трудамъ, опасностямъ и наслажденію. А онъ, потративши остатки энергіи на восторженную рѣчь, чистосердечно удивится тому, что отъ него еще-чего-то требуютъ; она думаетъ, что разговоръ есть только начало дѣйствія, прелюдія жизни, а онъ послѣ разговора отдыхаетъ на лаврахъ въ полномъ убѣжденіи, что разговоръ есть полнѣйшее и единственное возможное проявленіе жизни. Увлеченная его рѣчами, она кидается къ нему на шею, и въ эту минуту забываетъ и папеньку, и маменьку, и то, что въ комнату можетъ войти посторонній человѣкъ, и даже то, что она благородная дѣвица, какъ неоднократно внушали ей воспитательницы. А онъ, при подобной вспышкѣ дѣйствительнаго чувства, при подобномъ проявленіи свѣжей жизни, теряется и опускаетъ руки подъ вліяніемъ чисто-комическаго, глубокаго испуга; онъ не знаетъ, что ему дѣлать съ этою женщиною, принявшею его слова въ такомъ серьезномъ смыслѣ; онъ до такой степени теряетъ присутствіе духа, что не понимаетъ даже того, что ему изъ деликатности, почти изъ приличія слѣдуетъ приласкать любящее существо и отвѣтить выраженіемъ теплаго сочувствія на страстныя объятія; онъ предобродушно проситъ взволнованную женщину успокоиться, придти въ себя, вспомнить, что ихъ могутъ застать...

Если эта сцена происходитъ съ дѣвушкою впечатлительною, слабою и нервною, то она разрѣшается слезами, кончается истерическимъ припадкомъ и не производитъ рѣшительнаго перелома; дѣвушка объясняетъ себѣ всю нескладность этой сцены тѣмъ обстоятельствомъ, что она сама была растроена и взволнована; любимый мужчина не теряетъ въ ея глазахъ своего достоинства и разочарованіе происходитъ уже впоследствии, послѣ цѣлаго ряда подобныхъ сценъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ вальхъ отношеній. Но если дѣйствующимъ лицомъ въ этой цѣлѣной сценѣ была дѣвушка или женщина сильная, страстная и энергическая, то она сразу понимаетъ, какъ пошло вель себя въ этой сценѣ нравившійся ей мужчина, она быстро откидывается назадъ, однимъ колоднымъ взглядомъ уничтожаетъ впечатлѣніе всего разговора, въ одну минуту сосредоточивается въ самой себѣ, и только что начатой романъ оказывается навсегда оконченнымъ, безъ шума, безъ слезъ, безъ эффектныхъ выходовъ, и по видимому, къ обоюдному удовольствію героя и героини. А между тѣмъ, чувство женщины глубоко и несправедливо оскорблено; она обманута въ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ; первое проявленіе жизни прихвачено морозомъ и самая жизнь оказывается надломленною. Зло, конечно, поправимое; но кому-жъ его поправить? Гдѣ у насъ тѣ люди, которые умѣли и хотѣли бы понять страданія женщины и радикально излечить эти страданія любовью, ласкою, удовлетвореніемъ той потребности дѣятельности, которая постоянно волнуетъ мыслящую человѣческую личность. Если бы у насъ было много такихъ

людей, то, во многихъ отношеніяхъ, жизнь наша пошла бы не такъ, какъ она идетъ теперь.

III.

Изъ женскихъ личностей, выведенныхъ въ романахъ г. Гончарова, только Ольга Сергѣевна Ильинская до нѣкоторой степени заслуживаетъ анализа. Въ доброе старое время, когда литература считалась роскошью и забавою жизни, отъ автора романа требовали только блестящаго вымысла и разнообразія картинъ; самые строгіе цѣнители требовали отъ него нравственнаго поученія, и совершенно удовлетворялись его произведеніемъ, если оно изображало борьбу добра и зла и выводило на сцену воплощенія разныхъ добродѣтелей и пороковъ; одни критики требовали, чтобы непременно торжествовало добро; другіе, болѣе догадливые, позволяли злу одерживать побѣду, но желали только, чтобы зло, подавленное или торжествующее, было представлено въ очень отвратительномъ видѣ, «во всей наготѣ своего безобразія», какъ выражались съ добродѣтельнымъ негодованіемъ эти догадливые цѣнители. Для однихъ романъ былъ источникомъ благородной забавы, пособіемъ для успѣшнаго пищеваренія, чѣмъ нибудь въ родѣ хорошей сигары, рюмки ликера или коньяка; для другихъ романъ былъ нравоученіемъ въ лицахъ, и эти другіе смотрѣли на первыхъ, какъ на жалкихъ умственныхъ недорослей, какъ на людей пустыхъ и ничтожныхъ. Эти другіе, считавшіе себя солью земли и свѣтилами міра, очень много толковали объ идеалахъ и искали идеаловъ въ романахъ, повѣстяхъ и драмахъ. Подъ именемъ идеала они разумѣли что-то очень высокое и хорошее; идеаломъ человѣка они называли совокупленіе въ одномъ вымышленномъ лицѣ всевозможныхъ хорошихъ качествъ и добродѣтельныхъ стремленій; чѣмъ больше такихъ качествъ и стремленій романистъ нанизывалъ на своего героя, тѣмъ ближе онъ подходилъ къ идеалу, и тѣмъ больше похвалялъ заслуживалъ онъ со стороны этихъ высоко развитыхъ цѣнителей. Цѣнители эти хотѣли, чтобы читатель, закрывая книгу, могъ сказать съ сердечнымъ умиленіемъ: да! вотъ какіе должны быть люди! Увы! зачѣмъ это я не похожъ на этого героя, и зачѣмъ это въ моей супружѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства съ изящною личностью этой героини.

Доброе старое время, о которомъ я говорю, время Грандисоновъ и Клариссъ для многихъ добродушныхъ людей еще не миновалось, и для многихъ никогда не минуетъ. До сихъ поръ есть такіе высоконравственные люди, которые смотрятъ на литературу, какъ на проповѣдь, возвышающую душу и очищающую нравственность; есть и такіе, которые

видятъ въ ней весьма позволительную забаву; есть даже и такіе, которые видятъ въ ней источникъ всякаго зла. Люди послѣдней категоріи не читають ничего, кромѣ календарей и дѣловыхъ бумагъ; но зато люди первыхъ двухъ категорій съ наслажденіемъ читають «Обломова»; людей, наслаждающихся чтеніемъ романовъ послѣ сытнаго обѣда, нѣжитъ обаятельность языка и спокойствіе разсказа; сверхъ того ихъ радуетъ и умиляетъ тщательная отдѣлка мелочей; нужны ли эти мелочи для пониманія дѣла, объ этомъ они не спрашиваютъ; ощущеніе, доставляемое имъ романомъ,—пріятно, и они совершенно довольны. Люди, ищущіе назиданія, восхищаются фигурою Ольги и видятъ въ немъ идеаль женщины; каюсъ, господа читатели, года два тому назадъ я принадлежалъ къ числу этихъ людей, и я восторгался Ольгою, какъ образцомъ русской женщины. Но нашъ желѣзный вѣкъ, вѣкъ демоническихъ сомнѣній и грубо реальныхъ требованій, образуетъ мало по малу такихъ людей, которые даже романисту не позволяютъ быть фантазеромъ, и даже ученому специалисту не позволяютъ быть буквѣдомъ. Мы нуждаемся, говорятъ эти люди, въ рѣшеніи самыхъ элементарныхъ вопросовъ жизни, и намъ некогда заниматься тѣмъ, что не имѣетъ прямого отношенія къ этимъ вопросамъ. Мы жить хотимъ, и слѣдовательно назовемъ дѣятелемъ жизни, науки или литературы только того человѣка, который помогаетъ намъ жить, пуская въ ходъ всѣ средства, находящіеся въ его распоряженіи.

Но созданія г. Гончарова не выясняютъ намъ ни одного явленія жизни, и слѣдовательно, мы можемъ взглянуть на всю его дѣятельность какъ на явленіе чрезвычайно оригинальное, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени бесполезное. Мы не требуемъ отъ художника мелкаго обличенія, но полагаемъ, что пониманіе жизни и ясныя, сознательныя и притомъ искреннія отношенія къ поставленнымъ имъ вопросамъ представляютъ необходимую принадлежность художника. Г. Гончаровъ попытался нарисовать образъ русской дѣвушки, одаренной отъ природы значительными умственными силами и поставленной при самыхъ выгодныхъ условіяхъ развитія. Картинка вышла, на первый взглядъ, очень красивая. Благодаря пластичности гончаровскаго изложенія, большинство читателей приняли Ольгу за живую личность, возможную при условіяхъ нашей жизни. Первое впечатлѣніе говоритъ въ пользу героини «Обломова», но стоитъ только, не останавливаясь на мелочахъ, взглянуть на крупныя черты этого характера, чтобы убѣдиться въ томъ, что онъ выдуманъ, какъ и все то, что когда нибудь выходило изъ подъ пера Гончарова. При первомъ своемъ появленіи на сцену, Ольга выходитъ изъ головы автора совершенно сформированною, въ полномъ вооруженіи, подобно тому, какъ въ доброе старое время, Паллада Аѳина вышла изъ черепа Зевеса.

Авторъ пытается объяснить происхожденіе выведеннаго имъ жен-

скаго характера, но попытки эти оказываются совершенно неудачными. Говоря вскользь о развитіи Ольги, г. Гончаровъ указываетъ только на два обстоятельства, отличавшія собою ея жизнь отъ жизни другихъ дѣвушекъ, принадлежащихъ къ тому же слою общества. Первымъ обстоятельствомъ является отрицательное вліяніе тетки, вторымъ положительное вліяніе Штольца. Тетка, замѣнившая Ольгѣ родителей, не мѣшала ей дѣлать, что угодно, а Штолецъ въ досужныя минуты училъ ее уму разуму; первое обстоятельство довольно правдоподобно: сироты обыкновенно растутъ свободнѣе, чѣмъ дѣти, воспитывающіеся въ родительскомъ домѣ; они терпятъ больше горя, но зато развиваются самобытнѣе и становятся тверже, именно потому, что ихъ не охватываетъ со всѣхъ сторонъ разслабляющая атмосфера слѣпой любви и неотразимаго деспотизма. Ольгѣ было удобнѣе развиваться подъ надзоромъ тетки, чѣмъ подъ руководствомъ матери; но вѣдь тетка могла дать только отрицательный элементъ; она могла до извѣстной степени не мѣшать развитію, а условія жизни, выборъ чтенія, кружокъ знакомыхъ должны были направлять силы молодого ума въ ту или другую сторону.

Что могъ сдѣлать Штолецъ? Если бы даже онъ съ неуклоннымъ вниманіемъ слѣдилъ за проявленіями мысли и чувства въ молодой дѣвушкѣ, то и тогда ему одному было бы довольно трудно составлять противувѣсъ всему вліянію домашней и общественной обстановки. Но, кромѣ того, Штолецъ—«человѣкъ дѣятельный»; онъ съ утра до вечера бѣгаетъ по городу, онъ постоянно находится въ разъѣздахъ; гдѣ жъ ему быть руководителемъ и воспитателемъ молодой дѣвушки? Сверхъ того, Штолецъ относится къ Ольгѣ, какъ къ ребенку даже во время той сцены, послѣ которой онъ предлагаетъ ей руку и сердце; когда Ольга говоритъ ему о своемъ романѣ съ Обломовымъ, онъ ей отвѣчаетъ на ея признанія: «васъ за это надо оставить безъ сладкаго блюда за обѣдомъ». Если этотъ дѣловой господинъ, сильно смахивающій вообще на *comptis-voyageur*, относится такъ шутливо къ серьезному разсказу дѣвушки о серьезныхъ чувствахъ и о дѣйствительныхъ, пережитыхъ ею страданіяхъ, то можно себя представить, съ какою покровительственною улыбкою онъ относился къ этой дѣвушкѣ, когда она ходила въ коротенькихъ платьяхъ, и когда она, какъ умный, развивающійся ребенокъ, всего болѣе нуждалась въ дружескомъ совѣтѣ и въ уваженіи со стороны взрослого. Кромѣ того, Штолецъ и самъ не отличается значительною высотой развитія; когда Ольга, сдѣлавшаяся уже его женою, жалуется ему на какія-то стремленія, на какую-то неудовлетворенную тоску, Штолецъ говоритъ на это: «мы не боги», и совѣтуетъ ей покориться, помириться съ этою тоскою, какъ съ неизбѣжною принадлежностью жизни. Штолецъ очевидно не понимаетъ смысла и причины этой тоски, но какъ человѣкъ самолюбивый и самонадѣянный, онъ не рѣ-

шается признаться въ своемъ непониманіи и пускается въ фразерство. Человѣкъ, неспособный понять такую простую вещь, человѣкъ, неспособный въ рѣшительную минуту поддержать и разумнымъ образомъ успокоить женщину, опирающуюся на него съ полнымъ довѣріемъ, конечно не можетъ имѣть на развитіе молодаго существа того рѣшительнаго и благотворнаго вліянія, которое приписано Штольцу въ романѣ г. Гончарова. Если Штольцъ не умѣетъ направить къ разумной дѣятельности силы женщины, уже сложившейся и окрѣпшей, то какимъ же образомъ можетъ этотъ самый Штольцъ пробудить и вызвать къ жизни силы, еще дремлющія въ мозгу ребенка? Есть, конечно, такіе люди, которые могутъ расшевелить, но потомъ не въ силахъ поддержать довѣрившуюся имъ женщину; къ числу такихъ людей принадлежитъ Рудинъ, Шамилъ, герой стихотворенія Некрасова: «Саша»; такіе люди слабы и порывисты, а Штольцъ твердъ и спокоенъ; такіе люди очень хорошо знаютъ, что надо дѣлать, но у нихъ не хватаетъ силъ, на то, чтобы исполнить созннное дѣло. Штольцъ, напротивъ того, могъ бы все сдѣлать, но онъ не знаетъ, что надо дѣлать. Изъ всего этого видно, что Штольцъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми рудинскаго типа; мало того, онъ поставленъ въ противоположность къ этому типу; онъ, по мнѣнію г. Гончарова, является живымъ укоромъ этимъ людямъ. Спрашивается, какъ же этотъ высоко развитой, металлически твердый, трезво и спокойно размышляющій человѣкъ оказался неспособнымъ вывести жену свою изъ лабиринта осадившихъ ее сомнѣній и стремленій?

Тѣ эпитеты, которые я здѣсь придаю Штольцу, не выражаютъ моего личнаго мнѣнія объ этой фигурѣ; этими эпитетами я обозначаю только тѣ свойства, которыя г. Гончаровъ *хотѣлъ* придать своему созданію; я же съ своей стороны не считаю Штолца ни высокоразвитымъ, ни металлически твердымъ, ни спокойно размышляющимъ; всѣ эти свойства могутъ быть приписаны человѣку, а я не считаю Штолца за человѣка. Я вижу въ немъ довольно искусно выточенную маріонетку, двигающуюся взадъ и впередъ по произволу выточившаго ее мастера. Еще гораздо искуснѣе маріонетки Штолца выточена другая, очень красивая маріонетка, Ольга Сергѣевна Ильинская; но жизни нѣтъ ни въ той, ни въ другой. Поэтому, говоря о гончаровскихъ лицахъ, намъ приходится только слѣдить за процессомъ мыслительной дѣятельности въ головѣ автора; намъ приходится не обсуживать выведенныя имъ стороны жизни, а просто рѣшать вопросъ: послѣдовательны-ли и пригодны-ли его сужденія. Веру я на себя этотъ трудъ потому, что имя г. Гончарова пользуется значительною извѣстностью и слѣдовательно, мнѣнія его могутъ имѣть нѣкоторое вліяніе на мысли читателей.

И такъ, мы видѣли, что г. Гончаровъ думаетъ о развитіи женщины: онъ полагаетъ, что дѣвушкѣ достаточно пользоваться нѣкоторою неза-

всесоюзностью и встрѣчаться порою съ умнымъ и твердымъ мужчиною, для того, чтобы вполне развить свои природныя силы. Тѣ предѣлы, которыхъ должна достигать эта независимость, не обозначены ясно, потому что отношенія Ольги къ теткѣ совершенно не обрисованы, и отношенія ея къ обществу оставлены въ тѣни, съ тѣмъ замѣчательнымъ умѣніемъ, съ которымъ г. Гончаровъ всегда набрасываетъ покрывало на то, о чемъ, по его мнѣнію, неудобно распространяться. Тѣ размѣры, въ которыхъ должны проявляться умъ и твердость мужчины, также не опредѣлены съ достаточною ясностью; г. Гончаровъ не далъ себѣ труда подумать о томъ, чѣмъ могутъ быть искренніе и разумныя отношенія между развитымъ мужчиною и развитою женщиною, и вслѣдствіе этого отношенія эти вышли блѣдны и фальшивы, какъ казенная фраза на избитую тему. Въ самомъ характерѣ Ольги встрѣчаются внутреннія противорѣчія, которыя ясно показываютъ, до какой степени туманны и обивчивы понятія автора о томъ идеалѣ женщины, который онъ самъ себѣ составилъ и который онъ хотѣлъ выяснитъ читателямъ своего романа.

Возьмемъ отношенія Ольги къ Обломову. Ольгу заинтересовываетъ граціозность этой честной, мѣшковой личности, которой наивность и природный умъ рѣзко отдѣляются отъ вычурности и безцвѣтности тѣхъ свѣтскихъ джентльменовъ, которыхъ до того времени приходилось видѣть Ольгѣ. Заинтересовавшись Обломовымъ, Ольга начинаетъ въ него вглядываться, убѣждается въ томъ, что онъ дѣйствительно уменъ, честенъ, мягокъ, симпатиченъ, и начинаетъ чувствовать къ нему влеченіе. Когда эта зародившаяся любовь сдѣлалась замѣтна для самой Ольги, то она взглянула на свое чувство довольно оригинально; она посмотрѣла на него, какъ на подвигъ, который посылаетъ ей судьба; она вообразила себѣ, что ей предстоитъ обновить Обломова, одряхлѣвшаго отъ умственного сна, воодушевить его новою энергіею, и сдѣлать его способнымъ къ дѣятельной, человѣческой жизни. Чтобы понимать такимъ образомъ свои отношенія къ любимому человѣку, надо стоять на высокой степени умственного развитія и обладать огромными природными силами. Кто стоитъ на такой степени и обладаетъ такими силами, тотъ неспособенъ затосковать безпредметною тоскою и не понять причины своей тоски. Если Ольга понимаетъ, что Обломову необходима дѣятельность, то какъ же она можетъ не понять, что ей, какъ энергической личности, дѣятельность еще гораздо необходимѣе? Какъ же она не понимаетъ, что вся ея тоска съ любимымъ человѣкомъ, на южномъ берегу Крыма, среди роскошной, цвѣтущей природы, — не что иное, какъ неудовлетворенная потребность разумной дѣятельности? Какъ, наконецъ, эта энергическая природа не рвется вонъ изъ душной атмосферы спокойнаго, соннаго счастья въ живую среду дѣятельности и тревоги? Какъ возможно, чтобы

Ольга, рѣшившаяся такъ рѣзко разорвать свои отношенія съ Обломовымъ тогда, когда Обломовъ оказался трупомъ, чтобы эта самая Ольга, повторяю я, успокоилась на плоскомъ отвѣтѣ Штольца: «мы не боги»; и помирилась съ такою жизнью, въ которой, сколько намъ извѣстно по словамъ г. Гончарова, не было ничего, кромѣ воркованія любящаго супруга, нянчанія ребенка, и заботъ по домашнему хозяйству? Энергическая женщина сама пробила бы себѣ дорогу къ дѣятельности и взглянула бы съ невольнымъ презрѣніемъ на того мужчину, который рѣшился бы увѣрить ее, что надо быть богомъ, чтобы работать и наслаждаться. Но г. Гончаровъ, расходясь съ моимъ мнѣніемъ, доказываетъ, кажется, совершенно противное. Если сгруппировать въ общую картину всѣ черты, введенныя имъ въ фигуру Ольги, то смыслъ выйдетъ довольно оригинальный, гармонирующий съ основною идеею «Обыкновенной Истории». Ольга въ крайней молодости беретъ себѣ на плеча огромную задачу; она хочетъ быть нравственною опорою слабого, но честнаго и умнаго мужчины; потому она убѣждается въ томъ, что эта работа ей не по силамъ, и находитъ гораздо болѣе удобнымъ самой опереться на крѣпкаго и здороваго мужчину. Положеніе ея очень прочно и комфортабельно, но, какъ вспышка молодости, у нея является припадокъ тоскливаго волненія. Этотъ припадокъ отъ времени до времени повторяется, постепенно ослабѣвая; наконецъ, молодая женщина совершенно излѣчивается, дѣлается спокойною и веселою, и жизнь ея начинаетъ струиться тихимъ, прозрачнымъ и отчасти усыпительно журчащимъ ручейкомъ. Г. Гончаровъ находитъ, что это сонное спокойствіе должно быть признано счастьемъ; я съ нимъ не буду спорить, потому что у каждого свои понятія о счастьи; это—дѣло личнаго вкуса. Г. Гончаровъ въ изображеніи личности Ольги, точно также какъ и въ «Обыкновенной Истории» производитъ варіаціи на извѣстныя русскія пословицы: «жгуча крапива, да уварится», или «кабы на горохъ, да не морозъ, онъ бы и тынъ переросъ»; онъ видитъ въ проявленіяхъ молодости и свѣжести дикія вспышки, бесплодныя попытки перекрутить все по своему, и постепенно ослабѣвающіе припадки сумасбродства; онъ смотритъ на вещи трезвыми глазами благоразумнаго старца и считаетъ развитіе человѣка благополучно довершеннымъ въ ту эпоху, когда онъ начинаетъ располагать свои слова и поступки, сообразуясь съ внушеніями приличнаго расчета.

Знаете-ли, господа читатели, что вышло бы изъ «Обломова», если бы этотъ романъ былъ рассказанъ писателемъ, смотрящимъ на вещи не такъ благоразумно, какъ смотритъ г. Гончаровъ. Вышло бы вотъ что: Обломовъ оказался бы беззаботною головою, съ поэтическими стремленіями, не находящими себѣ удовлетворенія; онъ бы вышелъ похожимъ на Бельтова; и авторъ показалъ бы, что условія жизни, а не лимфатическій темпераментъ, мѣшаютъ ему развернуть свои способности

и удовлетворить тѣмъ стремленьямъ, которыя отъ неудовлетворенія чахнутъ и мелѣютъ. Ольга оказалась бы очень умною дѣвушкою, во всей личности которой совершается борьба между энергическимъ голосомъ чувственности—съ одной стороны и расчетомъ—съ другой стороны. Ей нравится Обломовъ; она желала бы отдаться ему; ее привлекаетъ граціозная беззаботность, спокойная размашистость этой честной личности; но съ другой стороны эти самыя свойства внушаютъ ей серьезныя и благоразумныя опасенія. «Вѣдь этотъ Обломовъ, разсуждаетъ она, ужасный ротозѣй; его могутъ оплести и обмануть, такъ что онъ и ухомъ не поведетъ; растратитъ все состояніе, работать не сумѣетъ, служить не пойдетъ, потому что «прислуживаться тошно.» Что же я съ нимъ буду дѣлать? Онъ милый, хорошій; мнѣ его поцѣловать хочется, у меня къ нему сердце лежитъ, да вѣдь страшно; вѣдь онъ по міру пустить.» Пока дѣвушка раскидываетъ такимъ образомъ своимъ рано созрѣвшимъ рассудочкомъ, чувство симпатіи къ Обломову въ ней усиливается, она увлекается пылкимъ темпераментомъ; случайно рука ея попадаетъ въ его руку; она наклоняется къ нему, слышится звукъ поцѣлуя; случай этотъ повторяется,—она счастлива, потому что находится подъ обаяніемъ минуты, и потому, что въ ней громко говоритъ голосъ здоровой природы... Но въ это время обаяніе вдругъ разрушается; ей дѣлается предложеніе молодой человѣкъ, Штольцъ, находящійся на отличной дорогѣ, подвигающійся къ видному положенію въ обществѣ, отлично-устроившій свое мѣщеніе и пользующійся репутаціею красиваго, умнаго и дѣльнаго джентльмена. «Изъ молодыхъ, да ранній», говорятъ объ этомъ юношѣ благоразумные старцы, и этотъ-то юноша съ подобающею солидностью выражаетъ Ольгѣ искренность и силу своего чувства, и, серьезно глядя ей въ глаза, предлагаетъ ей руку и сердце. Юноша Штольцъ дѣйствуетъ не безъ расчета, онъ знаетъ, что Ольга можетъ рассчитывать на наслѣдство отъ какой-нибудь тетушки или бабушки; «кромя того, разсуждаетъ онъ, все же будетъ женщина въ домѣ; больше порядка, изыщества, представительности; въ томъ положеніи, которое мнѣ въ скоромъ времени придется занимать, это даже необходимо». Ну, да что тянуть рассказы! расчетъ у Ольги беретъ верхъ надъ чувствомъ; она круто обрываетъ отношенія съ Обломовымъ, называетъ его пустымъ человѣкомъ, хотя самой больно разстаться съ милою личностью, и наконецъ, скрѣпя сердце, выходитъ замужъ за дѣльнаго Штольца, который представляетъ что-то среднее между Калиновичемъ Писемскаго и Паньшинымъ Тургенева. Апоеоза расчета, скептическое отношеніе къ чувству—вотъ альфа и омега обонхъ романовъ г. Гончарова. Эти черты составляютъ остоу характера Ольги; не та дѣвушка хороша, по мнѣнію Гончарова, которая любитъ сильно и безкорыстно, а та, которая умѣетъ выбирать себѣ мужа; не тотъ человѣкъ хорошъ, по мнѣнію г. Гонча-

рова, у котораго есть и теплое чувство, и свѣтлый умъ, и широкія стремленія, а тотъ, кто, живя съ волками, умѣетъ быть по волчьи. Это совершенно справедливо, и эту глубокую истину, до которой мы, легкомысленные свистуны, ни какъ не можемъ додуматься, уже давно со знала ученая редакція учено-литературнаго журнала: «Русскій Вѣстникъ». Одно опасно въ этомъ случаѣ: желая поправиться волкамъ, подражая подъ нихъ, какъ говорить наше купечество, можно завить такъ нескладно и пелѣпо, что даже волкамъ придется тошноту. — Да и наконецъ, неужели большинство нашей публики—волки? Не наговоръ ли это?

И такъ насчетъ Ольги Ильинской, мы можемъ замѣтить, что это характеръ невѣрно понятый и ложно представленный авторомъ. Кто не можетъ ужиться съ нами, думаетъ г. Гончаровъ, тотъ и дрянъ; кто живетъ припѣваячи, тотъ молодецъ. Коротко и ясно. Но справедливо ли будетъ, если я поступлю такъ: положимъ, я иду мимо высыхающаго прудка и вижу, что карась издыхаетъ отъ недостатка воды; въ это самое время сотни лягушекъ прыгаютъ и квакаютъ, пляшутъ отъ радости и съ наслажденіемъ таскаютъ червяковъ изъ жидкой грязи; я останавливаюсь надъ карасемъ и указывая ему на лягушекъ, начинаю ругать его, зачѣмъ онъ не веселится и не наслаждается благами жизни. Правъ ли я буду? Кажется, нѣтъ. — Не виноватъ карась въ томъ, что онъ родился карасемъ, и небольшая заслуга лягушкамъ отъ того, что онѣ родились или сдѣлались лягушками. Одинъ дышетъ жабрами, другой легкими; одинъ любитъ свѣтлую воду, другой жидкую грязь. Ну и съ Богомъ!

IV.

Съ любовью и съ полнымъ довѣріемъ обращаюсь я снова къ нашимъ, менѣе благоразумнымъ художникамъ, Писемскому и Тургеневу. У Тургенева мы находимъ разнообразіе женскихъ характеровъ, у Писемскаго, разнообразіе положеній. Тургеневъ входитъ своимъ тонкимъ анализомъ во внутренній міръ выводимыхъ личностей; Писемскій останавливается на яркомъ изображеніи самаго дѣйствія. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы; романы Писемскаго плотнѣе и крѣпче построены. Тургеневъ больше Писемскаго рискуетъ ошибиться, потому что онъ старается отыскать и показать читателю смыслъ изображаемыхъ явленій; Писемскій не видитъ въ этихъ явленіяхъ никакого смысла, и въ этомъ случаѣ, заботясь только о томъ, чтобы воспроизвести явленіе во всей его яркости, онъ, кажется, избираетъ вѣрную дорогу. У Тур-

Тургенев уловленъ смысломъ нашей жизни, но, рядомъ съ тонкими и вѣрными замѣчаніями и соображеніями попадаются поразительно фальшивыя ноты, въ родѣ построенія Инсарова. У Писемскаго букетъ нашей жизни, какъ крѣпкій запахъ дегтя, конопляника и тулуна, поражаетъ нервы читателя мимо воли самаго автора. Тургеневъ мудритъ надъ жизнью, и иногда не въ попадѣ; Писемскій лѣзнетъ прямо съ натуры, и созданія его выходятъ некрасивыми, грубыми, кражистыми, какъ некрасива, груба и кражиста самая жизнь наша, самая неотесанная наша натура. Общая атмосфера нашей жизни схвачена полнѣе у Писемскаго, но зато индивидуальныя характеры у Тургенева обработаны гораздо тщательнѣе. Словомъ, романы Писемскаго представляютъ *этнографическій* интересъ, а романы Тургенева замѣчательны по интересу *психологическому*.

Въ повѣстяхъ и романахъ Тургенева—много великолѣпно отдѣланныхъ женскихъ характеровъ. Я остановлюсь только на нѣкоторыхъ; возьму Асю, Наталью (изъ Рудина), Зинаиду (изъ Первой любви), Вѣру (изъ Фауста), Лизу (изъ Дворянскаго гнѣзда) и Елену (изъ Наканунѣ).

Ася—милое, свѣжее, свободное дитя природы; какъ незаконнорожденная дочь, она въ домѣ отца своего не пользовалась тѣмъ тщательнымъ надзоромъ, который душитъ въ ребенкѣ живыя движенія, и превращаетъ здоровую дѣвочку въ благовоспитанную барышню. Свободно играла и рѣзвилась она, бывши ребенкомъ; свободно стала она развиваться подъ руководствомъ своего старшаго законнорожденного брата, добродушнаго молодого человѣка, весело, свѣтло и широко смотрящаго на жизнь. «Вы видите, говоритъ объ ней ея братъ, Гагинъ, что она многое знала и знаетъ, чего не должно бы знать въ ея годы... Но развѣ она виновата? Молодые силы разыгрывались въ ней, кровь кипѣла, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила... Полная независимость во всемъ, да развѣ легко ее вынести? Она хотѣла быть не хуже другихъ барышень. Она бросилась на книги. Что тутъ могло выйти путнаго? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце въ ней не испортилось, умъ уцѣлѣлъ».

Эти слова Гагина характеризуютъ и того, кто ихъ произноситъ, и ту дѣвушку, о которой говорятъ. Миѣ могутъ возразить, что изъ этихъ словъ не видно, чтобы Гагинъ смотрѣлъ на жизнь широко. На это возраженіе отвѣчу, что Гагинъ принадлежитъ къ числу людей мягкихъ, неспособныхъ вступить въ открытую борьбу съ существующимъ предрасудкомъ или завязать горячій споръ съ несогласающимся собесѣдникомъ. Мягкость и добродушіе поглощаютъ въ немъ всѣ остальные свойства; онъ изъ добродушія посовѣстится уличить васъ въ нелѣпости; онъ даже съ подлестомъ постарается разойтись помягче, чтобы не обидѣть его; самъ онъ не стѣсняетъ Аси ни въ чемъ, и даже не находитъ въ ея своеобразности ничего дурнаго, но онъ говоритъ объ ней съ довольно

развитымъ, но отчасти фешенебельнымъ господиномъ и потому невольно, изъ мягкости, становится въ уровень съ тѣми понятіями, которыя онъ предполагаетъ въ своемъ собесѣдникѣ. Онъ высказываетъ о воспитаніи Ася тѣ понятія, которыя живутъ въ обществѣ; самъ онъ не сочувствуетъ этимъ понятіямъ; находитъ на словахъ, что полную независимость вынести не легко, онъ самъ никогда не рѣшится стѣснить чью-нибудь назависимость; зато и не рѣшится отстоять отъ притязаній общества свою или чужую независимость. Уступая требованіямъ общественныхъ приличій, онъ отдалъ Асю въ пансіонъ; когда же Ася по выходѣ изъ пансіона поступила подъ его покровительство, онъ не могъ стѣснять ея свободы ни въ чемъ, и она стала дѣлать, что ей было угодно. Что же, спросить читатель, она вѣроятно надѣлала много непозволительныхъ вещей? О да, отвѣчу я, ужасно много. Какъ же въ самомъ дѣлѣ! Она прочла нѣсколько страстныхъ романовъ, она одна ходила гулять по прирейнскимъ скаламъ и развалинамъ, она держала себя съ посторонними людьми то очень застѣнчиво, то весело и бойко, смотря потому, въ какомъ она была настроеніи, она... ну да что же! Неужели вамъ этого мало? *Вы видите, что она многое знала и знаетъ, чего не должно бы знать въ ея годы. Полная независимость во всемъ! Да разве легко ее вынести?* О, эти двѣ фразы имѣютъ великое значеніе. Золотая середина! Тебѣ я посвящаю ихъ! Русскій Вѣстникъ! Отечественныя Записки! Возьмите ихъ въ эпиграфъ!

Ася является въ повѣсти Тургенева восемнадцатилѣтнею дѣвушкою; въ ней кипятъ молодая сила; и кровь играетъ, и мысль бѣгаетъ; она на все смотритъ съ любопытствомъ, но ни во что не вглядывается; посмотритъ и отвернется, и опять взглянетъ на что-нибудь новое; она съ жадностью ловитъ впечатлѣнія, и дѣлаетъ это безъ всякой цѣли и совершенно безсознательно; силъ много, но силы эти бродятъ. На чемъ онѣ сосредоточатся и что изъ этого выдетъ, вотъ вопросъ, который начинается занимать читателя тотчасъ послѣ перваго знакомства съ этою своеобразною и прелестною фигурою.

Она начинаетъ кокетничать съ молодымъ человѣкомъ, съ которымъ Гагинъ случайно знакомится въ нѣмецкомъ городѣ; кокетство Ася такъ же своеобразно, какъ и вся ея личность; это кокетство безцѣльно и даже безсознательно; оно выражается въ томъ, что Ася въ присутствіи посторонняго молодаго человѣка становится еще живѣе и шаловливѣе; по ея подвижнымъ чертамъ пробѣгаетъ одно выраженіе за другимъ; она какъ-то вся въ его присутствіи живетъ ускоренною жизнью; она при немъ побѣжитъ такъ, какъ не побѣжала бы, можетъ быть безъ него; она станетъ въ граціозную позу, которую не приняла бы, можетъ быть, еслибы его тутъ не было, но все это не рассчитано, не пригоняется къ извѣстной цѣли; она становится рѣзвѣе

и граціознѣе, потому что присутствіе молодаго мужчины незамѣтно для нея самой волнуетъ ея кровь и раздражаетъ нервную систему; это не любовь, но это—половое влеченіе, которое неизбѣжно должно явиться у здоровой дѣвушки точно такъ же, какъ оно является у здороваго юноши. Это половое влеченіе, признакъ здоровья и силы, систематически забивается въ нашихъ барышняхъ образомъ жизни, воспитаніемъ, обученіемъ, пищею, одеждою; когда оно оказывается забитымъ, тогда тѣ же воспитательницы, которыя его забили, начинаютъ обучать своихъ воспитанницъ такимъ маневрамъ, которые до извѣстной степени воспроизводятъ его внѣшніе симптомы. Естественная грѣция убита; на ея мѣсто подставляютъ искусственную; дѣвушка запугана и забита домашнею выправкою и дисциплиною, а ей велятъ при гостяхъ быть веселою и развязною; проявленіе истиннаго чувства навлекаетъ на дѣвушку потокъ правоученій, а между тѣмъ любезность ставится ей въ обязанность; однимъ словомъ, мы вездѣ и всегда поступаемъ такъ: сначала разобьемъ естественную, цѣльную жизнь, а потомъ изъ жалкихъ черепковъ и верешковъ начинаемъ клеить что нибудь свое, и ужасно радуемся, если это свое издали почти похоже на натуральное. Ася—вся живая, вся натуральная, и потому-то Гагинъ считаетъ необходимымъ извиниться за нее передъ тою золотою серединою, которой лучшимъ и наиболѣе развитымъ представителемъ является г. Н. Н., рассказывающій всю повѣсть отъ своего лица. Мы такъ далеко отошли отъ природы, что даже ея явленія мѣряемъ не иначе, какъ сравнивая ихъ съ нашими искусственными копіями; вѣроятно, многимъ изъ нашихъ читателей случалось, глядя на закатъ солнца и видя такіе рѣзкіе цвѣта, которыхъ не рѣшился бы употребить ни одинъ живописецъ, подумать про себя (и потомъ, конечно, улыбнуться этой мысли): «что это, какъ рѣзко! Даже не натурально». Если намъ случается такимъ образомъ ломить на колѣнку явленія неодушевленной природы, которыя имѣютъ свое оправданіе въ самомъ фактѣ своего существованія, то можно себя представить, какъ мы, безсознательно, незамѣтно для самихъ себя, ломаемъ и насилуемъ природу человѣка, обсуживая и перетолковывая веривъ и вкось явленія, попадающіяся намъ на глаза. Изъ того, что я до сихъ поръ говорилъ объ Асѣ, прошу не выводить того заключенія, будто это—личность совершенно непосредственная. Ася настолько умна, что умѣетъ смотрѣть на себя со стороны, умѣетъ по-своему обсуживать свои собственные поступки и произносить надъ собою приговоръ. Напримѣръ, ей показалось, что она чересчуръ распалилась, на другой день она является тихою, спокойною, смиренною до такой степени, что Гагинъ говоритъ даже объ ней:

— А-га! Постъ и покаяніе на себя наложила.

Потомъ она замѣчаетъ, что въ ней что-то не ладно, что она, кажется, привязывается къ новому знакомому; это открытіе ее пугаетъ; она по-

нимаетъ свое положеніе, двусмысленное по мнѣнію нашего общества; она понимаетъ, что между нею и любимымъ человѣкомъ можетъ появиться такая преграда, черезъ которую она, изъ гордости, не захочетъ перескочить и черезъ которую онъ, изъ робости, не посмѣетъ перешагнуть. Весь этотъ рядъ мыслей пробѣгаетъ въ ея головѣ чрезвычайно быстро, и отдается во всемъ ея организмѣ; кончается тѣмъ, что она, какъ испуганный ребенокъ, порывисто отвертывается отъ неизвѣстнаго будущаго, которое является ей въ образѣ новаго чувства, и съ дѣтскимъ довѣріемъ, съ громкимъ плачемъ и въ то же время съ недѣтскою страстностью кидается назадъ къ своему милому прошедшему, воплощающемуся для нея въ личности добраго снисходительнаго брата.

— Нѣтъ, говоритъ она сквозь слезы, я никого не хочу любить, кромѣ тебя; нѣтъ, нѣтъ, одного тебя я хочу любить—и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, говоритъ Гагинъ, — ты знаешь, я тебѣ вѣрю.

— Тебя, тебя одного! повторила она, бросилась ему на шею и съ судорожными рыданіями начала цѣловать его и прижиматься къ его груди.

— Полно, полно, твердилъ онъ, слегка проводя рукой по ея волосамъ.

Наша европейская цивилизація какъ-то такъ устроена, что она пугаетъ дикарей и мало-по-малу истребляетъ ихъ; Ася въ отношеніи къ этой цивилизаціи находится почти въ такомъ положеніи, въ какомъ можетъ быть поставленъ какой-нибудь краснокожій стрѣлокъ; ей предстоитъ рѣшить грозную дилемму; надо или отказаться отъ того человѣка, къ которому она начинаетъ чувствовать влеченіе, или стать во фронтъ, войти въ ранжиръ, отказаться отъ милой свободы; она инстинктивно боится чего-то, и инстинктъ ее не обманываетъ; она хочетъ воротиться къ прошедшему, а между тѣмъ будущее манитъ къ себѣ, и не отъ насъ зависитъ остановить теченіе жизни.

Настроеніе Аси, ея обращеніе къ прошедшему скоро исчезаютъ безъ слѣда; приходитъ Н. Н., начинается разговоръ, прихотливо перепрыгивающій отъ одного впечатлѣнія къ другому, и Ася вся отдается настоящему, и отдается такъ весело и беззаботно, что не можетъ даже скрыть ощущаемаго удовольствія; она болтаетъ почти безсвязный вздоръ, обаятельный какъ выраженіе ея свѣтлаго настроенія, и наконецъ прерывается и просто говоритъ, что ей хорошо. И это настроеніе совершенно неожиданно разрѣшается въ весьма естественномъ желаніи—повалиться съ любимымъ человѣкомъ.

«Все радостно сіяло вокругъ насъ, внизу, надъ нами, небо, земля и воды; самый воздухъ, казалось, былъ насыщенъ блескомъ.

— Посмотрите, какъ хорошо! сказалъ я, невольно понизивъ голосъ.

— Да, хорошо! также тихо отвѣтила она, не смотря на меня...

— Еслибъ мы съ вами были птицы—какъ бы мы взвились, какъ-бы полетѣли... Такъ бы и утонули въ этой синевѣ... Но мы не птицы.

— А крылья могутъ у насъ вырасти, возразилъ я.

— Какъ такъ?

— Поживете—узнаете. Есть чувства, которыя поднимаютъ насъ отъ земли. Не безпокойтесь, у васъ будутъ крылья.

— А у васъ были?

— Какъ вамъ сказать?.. Кажется, до сихъ поръ я еще не леталъ. Ася опять задумалась. Я слегка наклонился къ ней.

— Умѣете вы вальсировать? спросила она вдругъ.

— Умѣю, отвѣчалъ я, нѣсколько озадаченный.

— Такъ пойдите, пойдите... Я попрошу брата сыграть намъ вальсъ... Мы вообразимъ, что мы летаемъ, что у насъ выросли крылья.

— Она побѣжала къ дому. Я побѣжалъ вслѣдъ за нею, и, нѣсколько мгновеній спустя, мы кружились въ тѣсной комнатѣ, подъ сладкіе звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, съ увлеченіемъ. Что-то мягкое, женское проступило вдругъ сквозь ея дѣвически-строгій обликъ. Долго потомъ рука моя чувствовала прикосновеніе ея нѣжнаго стана, долго слышалось мнѣ ея ускоренное близкое дыханіе, долго мерещились мнѣ темные, неподвижные, почти закрытые глаза на блѣдномъ, но оживленномъ лицѣ, рѣзко обвѣянномъ кудрями. Во всей этой сценѣ Ася очевидно находится въ напряженномъ состояніи; она переживаетъ новую для себя фазу развитія; она въ одно время и живетъ, и думаетъ о жизни, какъ это всегда бываетъ съ людьми, одаренными свѣтлыми умственными способностями; она поддается новымъ впечатлѣніямъ, и въ то же время боится ихъ, потому что не знаетъ, что дадутъ они ей въ будущемъ; порою пересиливаетъ страхъ, порою одолеваетъ желаніе. Чувство растетъ съ каждымъ днемъ; Ася объявляетъ г-ну Н., что крылья у нея выросли, да летѣть некуда, а потомъ признается брату, что она любитъ этого господина. «Увѣряю васъ, говоритъ Гагинъ въ разговорѣ съ Н., мы съ вами, благоразумные люди, и представить себѣ не можемъ, какъ она глубоко чувствуетъ и съ какой невѣроятной силой высказываются въ ней эти чувства; это находить на нее также неожиданно и также неотразимо, какъ гроза.» Дѣйствительно, чувство Аси высказывается не одними словами и слезами; оно доводитъ ее до дѣйствія: забывая всякую предосторожность, отлагая въ сторону всякую ложную гордость, она назначаетъ любимому человѣку свиданіе, и тутъ-то, при этомъ случаѣ, высказывается въ полной яркости превосходство свѣжей, энергической дѣвушки надъ вальсомъ продуктомъ великосвѣтской, условно-этикетной жизни. Посмотрите, чѣмъ рискуетъ Ася, и посмотрите, чего боится Н? Идя на свиданіе, Ася, конечно, не знала, чѣмъ оно можетъ кончиться;

Зиданье это было назначено без всякой цѣли, но неотразимой потребности сказать любимому человѣку наединѣ что-то такое, чего и сама Ася ясно не сознавала; свидѣвшись съ Н. у фрау Луизы, она такъ безраздѣльно отдалась впечатлѣнію минуты, что потеряла и желаніе, и способность сопротивляться чему бы то ни было; она безусловно довѣрилась, не слышавши отъ Н. ни одного слова любви; бессознательная робость молодой дѣвушки и сознательная боязнь лишиться добраго имени — все умоляло передъ настоятельными, неотразимыми требованіями чувства.

Если можно благоговѣть передъ чѣмъ бы то ни было, то всего разумнѣе и изыщнѣе будетъ съ благоговѣніемъ остановиться передъ этою силою чувства, это — такой двигатель, для котораго не существуетъ непреодолимыхъ трудностей, при всякой борьбѣ между людьми одолѣть рано или поздно та партія, на сторонѣ которой находится наибольшая сумма энергическаго чувства; человѣкъ, вносящій въ жизнь пылкое желаніе наслаждаться, горячую, энергическую любовь къ жизни, навѣрное достигнетъ желаемаго счастья, если ему не свалится на голову какой-нибудь нелѣпный камень. Только вялость и апатія вязнуть въ трясины, не умѣя осилить ни матеріальную нужду, ни людское недоброжелательство.. *Femme le veut, Dieu le veut*, — эта поговорка живетъ у французовъ со временъ рыцарства и въ ней есть значительная доля правды; чего, чего не надѣваетъ любящая женщина? Какія новыя силы не пробудятся въ ней подъ влияніемъ ея чувства? Еслибы, дѣйствительно, (какъ утверждаютъ противники такъ называемой эманципаціи женщинъ) у женщины не было ничего, кромѣ способности любить, то и тогда еще неизвѣстно, чья природа оказалась бы крѣпче и богаче интеллектуальными дарами природа мужчины или природа женщины? Въ разбираемой мною повѣсти — неразвита, полудикая дѣвушка одною силою своего чувства становится выше молодаго человѣка, у котораго есть и умъ, и образованіе, и современное развитіе. Она на все рѣшилась, не остановилась даже передъ тою мыслью, что можетъ огорчить брата, единственнаго человѣка въ мірѣ, котораго она любитъ; она пошла навстрѣчу осужденію и позору, страданію и домашнему горю, а онъ, онъ... на чемъ онъ запнулся? Стыдно сказать, а умалчивать незачѣмъ. На томъ, читатели, что его женѣ на визитныхъ карточкахъ не удобно будетъ написать: *M-me N. née une telle*. На томъ, что онъ самъ, г. Н., затруднится отвѣчать на вопросъ какого-нибудь великосвѣтскаго хлыща: «какъ ваша супруга урожденная? «Потомъ онъ, послѣ двухдневной борьбы, одолѣваетъ это препятствіе, но эта побѣда оказывается несвоевременною. Кромѣ того, читатель, подумайте сами, если мы будемъ бороться съ такими плюгавыми препятствіями, какъ съ какимъ нибудь дѣйствительно существующимъ колоссальнымъ врагомъ, то, не правда-ли, какъ мы далеко уйдемъ впередъ, какъ много сдѣлаемъ дѣльнаго, а главное, какъ много успѣемъ насладиться жизнью?

А жизнь, ей-Богу, коротка, и счастливыя стеченія обстоятельствъ бывають такъ рѣдки, что ими необходимо пользоваться, если не хочешь глупѣйшимъ образомъ прозвѣвать жизнь. На личность г. Н. можно взглянуть еще съ одной очень поучительной стороны. Онъ приходитъ на свиданіе, съ твердымъ намѣреніемъ объявить Асѣ, что они должны разстаться. «Жениться на семнадцатилѣтней дѣвочкѣ (прибавьте еще, г. Н., на незаконнорожденной дочери), говорить онъ самъ себѣ, съ ея правомъ (тутъ г. Н. очевидно боится, чтобы у него, вслѣдствіе этого права, не выросли рога), какъ это можно?» (Да и не бойтесь г. Н.: вамъ, конечно, нельзя, да вы и не женитесь. Это вамъ сказалъ уже и Гагинъ). Твердое намѣреніе г. Н. начинаетъ колебаться, когда онъ видитъ грустную, робкую и обаятельную въ этой грустной робости фигуру Аси, которая старается улыбнуться и не можетъ, хочетъ сказать что-то и не находитъ ни словъ, ни голоса. Ему становится жаль этой милой, любящей дѣвушки; онъ снисходитъ къ ней и называетъ ее ласкательнымъ по имени.

— «Ася, сказалъ я едва слышно.

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взглядъ женщины, которая полюбила, кто тебя опишетъ? Они молили, эти глаза, они доверились, вопрошали, отдавались... Я не могъ противиться ихъ обаянію. Тонкій огонь пробѣжалъ по мнѣ жгучими иглами, я нагнулся и приникъ къ ея рукѣ...

Послышался трепетный звукъ, похожій на прерывистый вздохъ, и я почувствовалъ на моихъ волосахъ прикосновеніе слабой, какъ листъ дрожавшей, руки. Я поднялъ голову и увидать ея лицо. Какъ оно вдругъ преобразилось. Выраженіе страха исчезло съ него, взоръ ушелъ куда-то далеко и увлекалъ меня за собою, губы слегка раскрылись, лобъ поблѣднѣлъ какъ мраморъ и кудри отодвинулись назадъ, какъ-будто възоръ ихъ откинулъ. Я забылъ все, и потянулъ ее къ себѣ—покорно повиновалась ея рука, все ея тѣло повлеклось вслѣдъ за рукою, шаль покатила съ плечъ, и голова ея тихо легла на мою грудь, легла подъ мой загорѣвшіся губы...

— Вава... прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокругъ ея стана...

«Ахти, бѣда! подумаетъ сердобольный читатель. Погубить онъ, озорникъ, бѣдную дѣвушку! Да, дѣйствительно, всякій здоровый и крѣпкій человѣкъ увлекся бы до послѣднихъ предѣловъ, и, конечно, въ увлекающей Асѣ не встрѣтилъ бы ни малѣйшаго сопротивленія. Честный человѣкъ увлекся бы, и отъ послѣдствій его увлеченія не пострадалъ бы никто; онъ женился бы на Асѣ на другой день послѣ свиданія, и самое свиданіе осталось бы въ жизни обоихъ супруговъ свѣтлымъ, блестящимъ воспоминаніемъ. Энергическій негодай, въ родѣ Василя Луча-

нова (въ повѣсти Тургенева: «Три портрета»), также не отказался бы отъ плодовъ свиданія, воспользовался бы всѣми наслажденіями, какія можно было-бы добыть отъ Аси, и потомъ бросилъ бы ее, какъ прочитанную записку. Первый поступилъ бы, какъ порядочный человѣкъ, второй — какъ отъявленный негодяй. Что же касается до тѣстообразнаго г. Н., то онъ поступилъ такъ замысловато и вслѣдствіе этого такъ глупо, какъ можетъ поступить только существо, лишенное плоти и крови, или одаренное весьма жалкою дозою крови плохаго достоинства. Онъ сначала было-растаялъ, а потомъ спохватился. У него не достало мозгу, чтобы съ первой минуты окатить дѣвушку ушатомъ холодной воды, а потомъ не достало полнокровія, чтобы, не заботясь о послѣдствіяхъ, дать этой дѣвушкѣ и самому себѣ нѣсколько мгновеній жгучаго наслажденія. У него все перепутано: чувство врывается въ процессъ мысли, мысль парализируетъ чувство. Воспитаніе ослабило его тѣло и набило мозгъ его идеями, которыхъ тотъ не можетъ осилить и переварить. У него нѣтъ физическаго здоровья, физической силы, физической свѣжести; это — ходячая теорія, человѣческая голова на курьихъ ножкахъ, выжатый лимонъ безъ соку, безъ вкуса и безъ остроты. И таково большинство; и намъ этотъ типъ такъ привыченъ, что насъ даже не поражаютъ его вопіющіе недостатки; многіе читатели навѣрное сказали, по прочтеніи Аси, что Н. очень честный человѣкъ, которому не посчастливилось въ жизни. Да, честный. Никто у него и не отнимаетъ это честности....

Ася такая личность, въ которой есть всѣ задатки счастливой, полной жизни; развившись помимо условій нашей жизни, она не заразилась ея нелѣпостями. Встрѣться она съ свѣжимъ мужчиною, она бы показала намъ, что значитъ быть счастливою и дала бы намъ самый спасительный и плодотворный урокъ, котораго намъ до сихъ поръ никто не умѣлъ дать. Но гдѣ же взять такого мужчину? У насъ ихъ нѣтъ. И вотъ свѣжее, молодое, здоровое существо попало въ лазаретъ, въ которомъ стонуть на разные лады субъекты, одержимые самыми разнообразными болѣзнями. Ну, конечно, изъ этого не могло выдти ничего путнаго; поневолѣ ей пришлось зачахнуть отъ аптечнаго воздуха или заразиться отъ дыханія окружающихъ субъектовъ. Виновата ли въ этомъ женщина?

V.

Наталя въ Рудинѣ похожа на Асю, или, вѣрнѣе, въ основу ихъ личностей положена авторомъ одна идея, разработанная различно въ обоихъ романахъ. Въ Асѣ больше граціи, въ Натальѣ больше твердости;

Ася отличается подвижностью, Наталья — сдержанностью и способностью глубоко вдумываться въ предметъ и долго вынашивать въ головѣ идею или чувство. Въ Асѣ огонь вспыхиваетъ сильно и внезапно; дѣйствіе этого внутренняго огня тотчасъ отражается на ея фizioноміи, въ ея поступкахъ, во всемъ ея поведеніи; въ Натальѣ этотъ огонь разгарается медленно, и дѣйствіе его долгое время скрывается отъ нея самой и отъ другихъ; а потомъ, когда она сама отдаетъ себѣ отчетъ въ своемъ настроеніи, она все-таки скрываетъ его отъ другихъ, и одна, безъ постороннихъ свидѣтелей, хозяйничаетъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Различій, какъ видите, очень много, а между тѣмъ, сходство самое существенное: обѣ дѣвушки сохранили свѣжесть и здоровье помимо обстановки, помимо тѣхъ людей, которые считали себя вправѣ распоряжаться ихъ мыслями и чувствами. Наталья это было труднѣе сдѣлать, чѣмъ Асѣ, и потому Наталья вышла изъ своей борьбы крѣпче и вынесла изъ нея большій запасъ сознанаго опыта. Наталья — старшая дочь богатой барыни, окруженная съ малолѣтства гувернантками, французскими грамматиками и душеспасительными наставленіями, произносимыми на разныхъ европейскихъ языкахъ. Какъ тутъ не ополиться? Дѣйствительно мудро, но тутъ выручаетъ одно обстоятельство, именно то, что матери некогда постоянно наблюдать за воспитаніемъ, а гувернантки большею частью довольно тупы.

Воспитанію дѣтей посвящаютъ себя обыкновенно тѣ лица, которыя, по ограниченности ума, ни на что другое не способны, да иначе и быть не можетъ. Во-первыхъ, матеріальное положеніе наставника всегда зависимо и всегда скудно обезпечено. Во-вторыхъ, обрець себя на то, чтобы постоянно передавать другому то, что знаешь, значитъ отказаться отъ возможности идти дальше. Когда начинаешь учить другаго, тогда уже интересы собственнаго развитія отодвигаются на задній планъ. Кто хочетъ денегъ, тотъ не пойдетъ въ педагога, потому что мѣсто не хлѣбное. Кто хочетъ идей, тотъ не пойдетъ въ педагога, потому что занятія съ дѣтьми отнимаютъ у человѣка время, не обогащая его внутреннимъ содержаніемъ. Стало быть, въ педагога идетъ, даже по призванію, только трудолюбивая посредственность; въ гувернантки идутъ тѣ дѣвушки, которымъ не удалось выдти замужъ. То обстоятельство, что мѣсто педагога не пользуется почетомъ, и что, вслѣдствіе этого, на эти мѣста идутъ люди, обиженные богомъ, не разъ возбуждало въ нашей педагогической литературѣ жалобные вопли; я осмѣлюсь самымъ скромнымъ тономъ выразить сомнѣніе въ основательности этихъ воплей. Осмѣлюсь даже предложить вопросъ: велика-ли та услуга, которую мы оказываемъ дѣтямъ, занимаясь ихъ нравственнымъ воспитаніемъ? Воспитывать — значитъ готовить къ жизни; спрашивается, можетъ-ли готовить къ жизни кого бы то ни было такой человѣкъ, который самъ

не умѣть жить? А что мы не умѣемъ жить, въ этомъ, кажется, не усомнится благосклонный читатель. Воспитывая нашихъ дѣтей, мы втискиваемъ молодую жизнь въ тѣ уродливыя формы, которыя тяготѣли надъ нами; мы поступаемъ такимъ образомъ съ такими личностями, которыя сами не могутъ еще ни подать голоса, ни заявить протеста, ни оказать сопротивленія; мы безъ спросу мнемъ чужія личности и чужія силы; когда владѣльцы этихъ силъ и этихъ личностей начинаютъ вступать въ свои человѣческія права, то они находятъ, что въ ихъ владѣніяхъ все перепутано; мысль загромождена разными кошмарами и кикиморами; чувство извращено и болѣзненно нацарапано или насильственно притуплено педагогическими внушеніями о долгѣ, о чести, о нравственности; молодое тѣло изнурено бесплодною, одностороннею мозговою работою, отсутствіемъ правильнаго моціона, чистаго воздуха, часто даже недостаткомъ здоровой пищи. Физическое здоровье подорвано, а что дано взаимѣть? Насажень въ мозгу, по разнымъ грядкамъ, съ нѣмецкою тщательностью и возмутительною аккуратностью, бурьянъ и чертополохъ, который надо вырывать съ корнемъ, чтобъ онъ не истощилъ всю умственную почву. И вотъ молодой хозяинъ поневолѣ посылаетъ ко всѣмъ чертямъ услужливыхъ огородниковъ, вскопавшихъ и засѣявшихъ ему мозгъ; онъ исподоволь или вдругъ, смотря по обстоятельствамъ, эмансипируетъ себя отъ ихъ непрошенной опеки и начинаетъ жить по своему и думать по своему. Но на борьбу съ сорными травами уходитъ много хорошихъ силъ, часто человѣкъ оказывается освобожденнымъ отъ бурьяна уже тогда, когда тѣлесное развитіе достигло полной зрѣлости и стоитъ уже на поворотномъ пунктѣ.

Чѣмъ раньше молодая личность становится въ скептическія отношенія къ своимъ наставникамъ, тѣмъ лучше, потому что тѣмъ меньше послѣдніе успѣютъ напортить и тѣмъ больше времени останется на поправленіе или, вѣрнѣе, на радикальное уничтоженіе ихъ работы. Стать въ скептическія отношенія легче къ дураку, чѣмъ къ умному человѣку, и потому я рѣшаюсь признать положительно полезнымъ то обстоятельство, что нашимъ воспитаніемъ занимались и занимаются большею частью недалекіе люди. Развиваться подъ руководствомъ наставника, мнѣ кажется, положительно невозможно, а развиваться помимо наставника тѣмъ удобнѣе, чѣмъ ограниченнѣе наставникъ. Но отчего же однако, спроситъ читатель, умный и широко-развитой человѣкъ не можетъ принести своему воспитаннику существенной пользы? Оттого, любезный читатель, что умный и широко развитый человѣкъ никогда не рѣшится воспитывать ребенка; онъ пойметъ, что врываться въ интеллектуальный міръ другаго человѣка съ своею инициативой — безчестно и нелѣпо; онъ будетъ хорошо кормить ребенка, удалять отъ него вредные предметы, въ родѣ бѣшеной собаки, каленаго желѣза, сырой ком-

наты, угарнаго воздуха. На томъ онъ и остановится; если ребенокъ предложитъ ему вопросъ, онъ ему отвѣтитъ; если ребенокъ принесетъ на его судъ какое нибудь сомнѣніе, онъ ему выскажетъ свое убѣжденіе. Зрѣлый умъ старшаго будетъ имѣть вліяніе на формированіе сужденій ребенка, но это вліяніе будетъ независимо отъ воли обоихъ дѣйствующихъ лицъ; его не будутъ втискивать силою, или всучивать педагогическою хитростію. Кто попытается сдѣлать больше этого, тотъ, стало быть, не настолько уменъ, или не настолько широко развитъ, чтобы быть безвреднымъ сознательно и добровольно. Если онъ не можетъ быть безвреденъ сознательно и добровольно, то пускай будетъ безвреденъ невольно, вслѣдствіе безсилія. Если нельзя найти человѣка очень умнаго, возьмите человѣка очень глупаго. Результатъ получится почти въ такой-же мѣрѣ удовлетворительный, а людей глупыхъ много, особенно между педагогами. Стало быть выдѣть и дешево, и сердито.

Наталя, какъ умный ребенокъ, рано заявила свою умственную жизнь какимъ нибудь озадачивающимъ вопросомъ, мѣткимъ замѣчаніемъ, вспышкой своеволія; это заявленіе, благодаря тупости воспитательницы, встрѣтило себѣ холодный или даже недоброжелательный приѣмъ. На вопросъ отвѣчали вскользь; на мѣткое замѣчаніе воспослѣдовало со стороны гувернантки не менѣе мѣткое замѣчаніе: «маленькія дѣвочки не должны такъ говорить». Маленькая дѣвочка спросила: почему? Ей приказали молчать. Вспышку своеволія назвали капризомъ, и подавили силою. Словомъ, такъ или иначе, воспитывающая сторона уронила себя въ глазахъ воспитывающейся стороны, а это, какъ извѣстно всѣмъ, занимавшимся когда нибудь воспитаніемъ, вовсе не трудно сдѣлать, когда имѣешь дѣло съ умнымъ ребенкомъ. Маленькая дѣвочка широко раскрыла свои умные глаза, съ удивленіемъ посмотрѣла на старшихъ недоумѣвающимъ взоромъ и подумала про себя: какіе они странные; а черезъ нѣсколько времени она подумала: а, такъ вотъ они какіе! Вотъ и вошелъ въ воспитаніе новый элементъ, котораго существованіе не подозреваютъ воспитатели, и который, между тѣмъ, постоянно путаетъ алгебраическія выкладки педагогическихъ соображеній. Приказанія ихъ исполняются, но «формировать умъ и сердце» ребенка имъ не удастся; приказанія ихъ не прохватываютъ вглубь; маленькая дѣвочка, какъ улитка, ушла въ себя, и начинаетъ строить себѣ свой мірокъ, въ который она ни за какія коврижки не пуститъ ни мамашу, ни гувернантку; откровенность откладывается въ сторону, и чѣмъ умнѣе ребенокъ, тѣмъ безуспѣшнѣе оказываются попытки старшихъ разбить раковину улитки и подсмотрѣть нескромнымъ взоромъ тайну внутренняго развитія.

Дѣти, начинающіе развиваться помимо руководства наставниковъ, выбираютъ обыкновенно одинъ изъ двухъ путей: или они вступаютъ въ ожесточенную, отчаянную борьбу съ посягательствами взрослыхъ, или

они, отказываясь от всякой борьбы, повинуются чисто внѣшнимъ образомъ и уже постоянно держатся на сторожѣ, постоянно относятся къ распоряженіямъ педагоговъ критически и скептически. Первые—будущіе Донъ-Кихоты жизни, всегда готовые ломать копые за свои идеи, всегда дѣйствующіе открыто и смѣло, и часто погибающіе за доброе дѣло. Другіе—тѣ люди, о которыхъ говоритъ нашъ народъ: «въ тяхомъ омутѣ черти водятся». Невозмутимо спокойные по наружности, глубоко-страстные въ душѣ, непоколебимые и неподкупные, эти люди дѣйствуютъ медленно, бьютъ на-вѣрняка и рѣдко промахиваются. Наталья принадлежала ко второй категоріи, а между тѣмъ промахнулась. Она полюбила Рудина и ошиблась въ немъ; но кто же бы и не ошибся въ Рудинѣ? Кого бы не подкупили его рѣчи, если даже онѣ подкупили Лежнева, мужчину, одареннаго значительною дозою скептицизма и здраваго смысла. Причины ошибки Натальи лежатъ не въ ней самой, а въ окружавшихъ ее обстоятельствахъ. Рудинъ былъ лучшимъ изъ окружавшихъ ее мужчинъ, она его и выбрала; что же дѣлать, если и лучший оказался куда негоднымъ? И Лежневъ, и Волинцевъ крѣпче Рудина, въ этомъ спорѣ нѣтъ; но ни Волинцевъ, ни Лежневъ не могли шевельнуть молодую дѣвушку, находящуюся въ той порѣ жизни, когда умъ требуетъ яркости идей, и когда весь организмъ проситъ сильныхъ ощущений. Романъ Натальи очень похожъ на романъ Аси; и та, и другая искала въ любимомъ человѣкѣ жизни и силы; и та, и другая наткнулась на вялое резонерство и на позорную робость. И опять приходится закончить главу вопросомъ: въ чемъ тутъ виновата женщина?

VI.

Но не всѣмъ же дѣвушкамъ удастся развиваться помимо обстановки; многія и очень многія, даже большинство, пропитываются насквозь атмосферою нашей жизни, въ дѣтствѣ принимаютъ въ себя зародыши разложенія, живыми тѣнями проходятъ свое земное странствіе, и какъ неизлечимые больные, рано начинаютъ увядать и клониться къ могилѣ.

Къ этому чрезвычайно многочисленному типу, допускающему внутри себя почти безконечное разнообразіе, принадлежатъ два замѣчательные женскіе характера: Вѣра (изъ Фауста) и Лиза (изъ Дворянскаго гнѣзда).

Первая искусственно заморожена воспитаніемъ, вторая заражена съ дѣтства міазмами нашей домашней атмосферы. Разберу отдѣльно ту и другую личность.

Вѣра воспитывается подъ руководствомъ своей матери, женщины очень умной, очень энергичной, испытавшей много несчастій и сосредоточившей всю силу своей любви на единственной дочери. Сказать по правдѣ, трудно найти болѣе невыгодныя условія развитія. Любящая мать, да еще къ тому же энергичная, да еще къ тому же умная, да еще къ тому же испытавшая несчастія, навѣрное будетъ слѣдить за каждымъ движеніемъ дочери, будетъ прокрадываться въ ея мысли, будетъ рѣшать за нее всѣ представляющіеся вопросы жизни, будетъ оберегать ее отъ впечатлѣній такъ же заботливо, какъ отъ сквознаго вѣтра. вмѣсто того, чтобы жить въ жизни, дочь будетъ обрѣтаться въ какой-то восковой ячeyкѣ, состроенной вокругъ нея любящею рукою матери. Любить человека и не мѣшать ему въ жизни, не отравлять его существованія непрошенными заботами и навязчивымъ участіемъ, это такой фокусъ, который не многимъ по силамъ. Родителямъ онъ совершенно недоступенъ. Они хотятъ во что бы то ни стало, чтобы ихъ опытность шла на пользу дѣтямъ; того они не понимаютъ и не хотятъ понять, что самый процессъ приобрѣтенія, опытности чрезвычайно приятенъ, и что этотъ процессъ никакъ не можетъ быть замѣненъ чужимъ рассказомъ или описаніемъ; когда вы голодны, вамъ надо ѣсть, а не читать описанія лакомыхъ блюдъ и даже не смотреть на эти блюда; когда вы любите женщину, чтеніе самыхъ разнообразныхъ романовъ и рассказы о самыхъ замысловатыхъ любовныхъ похиженіяхъ вашего папеньки не замѣняютъ вамъ двухъ минутъ разговора, созерцанія, непосредственной близости; когда вы молоды, когда вы вступаете въ жизнь, вамъ надо жить, а никакъ не слушать рассказы о томъ, какъ жили ваши родители.

Мать Вѣры вообразила себѣ, что она пожила за себя и за свою дочь, и рѣшилась во что бы то ни стало избавить Вѣру отъ ошибокъ и страданій, выпавшихъ на долю ея матери. Для этого нужно было обработать по своему мягкій матеріалъ, попавшійся въ руки, и г-жа Ельцова принялась за работу довольно ловко; она успѣла приготовить изъ дочери своей такую консерву, которая могла-бы десятки лѣтъ плавать по морю житейскому, постоянно сохраняя подъ свинцовою крышкою свою нетронутую, дѣтскую невинность; борьба между умною, опытною женщиною съ одной стороны, и непробудившимися силами бѣднаго ребенка съ другой стороны, была слишкомъ не равна; мать побѣдила безъ труда, и живыя силы почти безъ сопротивленія отправились подъ свинцовую крышку; и свинцовая крышка эта придавила ихъ такъ рано, что онѣ замерли, не заявивъ протеста; дѣвочка даже не замѣтила существованія этой крышки и выросла, считая свое положеніе нормальнымъ, или, вѣрнѣе, не думая подвергать его анализу.

Во-первыхъ, г-жа Ельцова приобрѣла полное довѣріе своей дочери и вынудила ей страстную, доходящую до благоговѣнія, любовь къ своей

особѣ. Есть личности, которымъ очень пріятна подобная любовь, исключаящая критику. Мнѣ кажется, существованіе такого чувства унижаетъ человѣческое достоинство того, кто его испытываетъ, и того, къ кому оно обращено. Обожающее лицо теряетъ всякую самостоятельность: обожаемое—ставится въ обидное положеніе китайскаго идола.

Вѣруя въ опытность матери, въ ея умъ и непогрѣшимость, Вѣра Ельцова поневолѣ должна была безусловно подчиниться ея воззрѣніямъ; но убѣжденія отжившей старухи не могутъ быть убѣжденіями молодой дѣвушки; они могутъ сдѣлаться для нея только догматами вѣры; она можетъ повторять ихъ про себя, какъ магическое заклинаніе, не понимая ихъ истиннаго смысла, потому что этотъ смыслъ дается только тому, кто пожилъ и кого помяла жизнь; принять на вѣру убѣжденія матери значило отказаться отъ знакомства съ жизнью; при всей любви своей къ матери, молодая дѣвушка могла-бы не рѣшиться на подобную жертву, если бы кто-нибудь представилъ ей эту жертву въ настоящемъ свѣтѣ; но такого Мефистофеля не нашлось, а старый ангелъ-хранитель, г-жа Ельцова, употребила съ своей стороны всѣ усилія, чтобы отвести дочери глаза и показать ей только тѣ уголки жизни, которые, по ея мнѣнію, не могли произвести вреднаго вліянія, т. е. не могли нарушить умственной и нервной дремоты дѣвушки. Все, что могло сильно потрясти нервы, подѣйствовать на воображеніе и сообщить сильный толчокъ критическому уму, было тщательно устранено; ни посторонній человѣкъ, ни посторонняя книга не могли пробиться сквозь ту китайскую стѣну, которою г-жа Ельцова отдѣлила свою Вѣрочку отъ всего живаго міра; еслибы Вѣрѣ случилось поговорить съ кѣмъ-нибудь, то этотъ разговоръ она же сама отъ слова до слова передала бы матери; если бы Вѣрѣ попалась книга, она не стала бы ее читать, не спрося позволенія матери; когда узникъ полюбилъ свою тюрьму, тогда нѣтъ средствъ освободить его; вѣдь не насильно же тащить его на свѣтъ божій! Вѣрѣ до ея замужества не давали въ руки ни одного романа; зато научное ея образованіе было такъ полно, что она удивляла кандидата своими обширными свѣдѣніями; свѣдѣнія эти были, конечно, чисто фактическія; Вѣра знала, въ которомъ году произошло, положимъ, Нердлингенское сраженіе, къ какому роду и виду принадлежитъ божья коровка, сколько пестиковъ и тычинокъ въ георгинѣ, но значенія реформации она не понимала и общаго взгляда на жизнь природы не имѣла.

Навѣрное г-жа Ельцова боялась Вольтера и Фейербаха такъ же сильно и такъ же основательно, какъ Жоржъ-Занда или Бальзака. Вѣрочкѣ позволялось украшать свою память всякими антиками и диковинками, но работать мыслью или воспринимать какія-нибудь необыденныя ощущенія нервами было строго запрещено.

Строгій выборъ книгъ былъ только административнымъ средствомъ

въ рукахъ г-жи Ельцовой; цѣль, къ достиженію которой она стремилась, опираясь на подобныя средства, лежала очень далеко; надо было устроить по извѣстной программѣ всю жизнь молодой дѣвушки, надо было искусно обѣжать опасный періодъ любви, надо было выдать ее замужъ за хорошаго человѣка, укрѣпить ее въ понятіи долга и наконецъ поставить ее на якорѣ въ такой пристани, въ которую не заходить и не заглядывать житейскія бури, смѣлыя мысли, безпорядочныя, кометообразныя чувства. Чтобы дойти до такой пристани, надо было лавировать, и г-жа Ельцова лавировала не безъ успѣха.

Молодой человѣкъ, заинтересованный Вѣрою, съ похвальною скромностью проситъ у г-жи Ельцовой позволенія сдѣлать ей предложеніе; заботливая маменька, видя, что этотъ молодой человѣкъ, несмотря на всю свою скромность, не похожъ на желанную пристань, отказывается ему прямо, не спросивши мнѣнія дочери; она даже не считаетъ нужнымъ сказать ей потомъ, что за нее сватался такой-то. Одного этого факта достаточно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, насколько г-жа Ельцова употребляла во зло довѣренность своей дочери, и какъ грубо она нарушала ея святыя человѣческія права. Наконецъ, желанная пристань находится; добродушный, простоватый господинъ, бывшій въ университетѣ, не вынесшій оттуда завыральныхъ идей и превратившійся въ помѣщика, не смотря на свои молодые лѣта, оказывается достойнымъ субъектомъ; эврика! говоритъ г-жа Ельцова, — и выдаетъ за него свою дочь, которая, конечно, ставитъ себѣ за счастье исполнить волю божію и родительскую. Ельцова умираетъ, вполне спокойная; «пристроила, думаетъ она, теперь и безъ меня проживетъ; въ сторону-то сбиться некуда».

Мы видѣли такимъ образомъ, какъ формировалась Вѣра Ельцова; посмотримъ теперь, какъ она, несмотря на предосторожности маменьки, столкнулась съ жизнью мысли и чувства. Вотъ она уже лѣтъ девять замужемъ, ей уже двадцать восемь лѣтъ, а она смотритъ семнадцатилѣтнею дѣвушкою. «То же спокойствіе, та же ясность, голосъ тотъ же, ни одной морщинки на лбу, точно она всѣ эти годы пролежала гдѣ-нибудь въ снѣгу». И попрежнему незнакома съ волненіями мысли и чувства, попрежнему не тронута жизнью, попрежнему не прочла ни одного романа, ни одного стихотворенія. Страшно становится за эту женщину!—Если она проживетъ свой вѣкъ и умретъ, не любивши, не мысливши, не испытавши ни одного эстетическаго наслажденія, то, спрашивается, для чего же было жить? А если она вдругъ проснется отъ какого-нибудь сильнаго потрясенія,—что съ нею будетъ? Вынесутъ-ли ея нервы ту массу ощущеній, которыя нахлынутъ со всѣхъ сторонъ и поразятъ ее сильнѣе, чѣмъ кого-либо другаго. Дѣти впечатлительнѣе взрослыхъ; ребенокъ плачетъ о сломанной игрушкѣ, о томъ, что мать

Идетъ куда-нибудь дня на два, такъ же горько, какъ взрослый заплачетъ о смерти дорогаго человѣка; ребенокъ утѣшается также гораздо скорѣе, и это служить новымъ доказательствомъ того, что онъ впечатлительнѣе взрослого. Міръ дѣтскихъ радостей и дѣтскихъ горестей гораздо мельче и уже, чѣмъ міръ горя и радости у взрослого; если-бы у ребенка было столько же серьезныхъ интересовъ, сколько ихъ у взрослого, и если бы ребенокъ на всѣ эти интересы откликался съ тою же живостью, съ какою онъ радуется подарку или горюетъ о минутной разлукѣ, то навѣрное организмъ его не вынесъ бы этого избытка сильныхъ ощущений. Входя въ міръ мысли и чувства постепенно, незамѣтно, втягиваясь понемногу въ серьезныя занятія и въ интересы дѣйствительной жизни, ребенокъ мало по-малу теряетъ свою прежнюю раздражительность и воспріимчивость. Нервы притупляются отъ часто повторяющагося раздраженія; является привычка; человѣкъ черствѣетъ и, вслѣдствіе этого, крѣпнетъ. Крайняя раздражительность несовмѣстна съ мужественною твердостью, и, чтобы вынести передраги жизни, необходимо утратить невинность, свѣжесть, дѣвственность чувства, и тому подобныя свойства, которыми особенно дорожатъ въ своихъ воспитанникахъ добродѣтельные педагоги.

Недобрую штуку сотворила Ельцова съ своею дочерью; сохранивши первобытную чуткость и отзывчивость ребенка, Вѣра смотритъ на вещи, какъ женщина; она понимаетъ умомъ многое, чего не переживала чувствомъ: силы въ ней дремлютъ, но онѣ созрѣли; стоитъ дать толчокъ и вся эта личность преобразится; въ ней мгновенно разыграется такая драма, которая удивитъ всѣхъ знающихъ ее людей порывистостью и силою борьбы. Положеніе ея страшно усложнено заботливыми распоряженіями матери: она никогда не любила; а между тѣмъ она замужемъ; она рискуетъ полюбить тою свѣжею и сильною любовью, какая доступна и понятна только очень молодымъ существамъ, а между тѣмъ у нея есть семейство, есть такъ называемыя обязанности, и въ ней сильно развито чувство долга. Что-то будетъ?

Чего можно было ожидать, то и происходитъ на самомъ дѣлѣ. Мужчина открываетъ Вѣрѣ Николаевнѣ доступъ въ тотъ міръ сильныхъ ощущений, который оставался ей неизвѣстнымъ въ продолженіи цѣлаго десятка лѣтъ; мужчина пробуждаетъ ее изъ того летаргическаго сна, въ который погрузило ее воспитаніе; мужчина превращаетъ мраморную статую въ женщину, и эта женщина привязывается къ своему просвѣтителю всѣми силами богатой, любящей женской души. Проспать слишкомъ десять лѣтъ, лучшіе годы жизни, и потомъ проснуться, найти въ себѣ такъ много свѣжести и энергіи, сразу вступить въ свои полныя человѣческія права—это, воля ваша, свидѣлствуетъ о присутствіи такихъ силъ, которыя, при скольконибудь естественномъ развитіи, мо-

гли бы доставить огромное количество наслажденія, какъ самой Вѣрѣ Николаевнѣ, такъ и близкимъ къ ней людямъ. Вѣра Николаевна любила такъ сильно, что забыла и мать, и мужа, и обязанности; образъ любимаго человѣка и наполняющее ее чувство сдѣлались для нея жизнью и она рванулась къ этой жизни, не оглядываясь на прошедшее, не жалѣя того, что остается позади, и не боясь ни мужа, ни умершей матери, ни упрековъ совѣсти; она рванулась впередъ и надорвалась въ этомъ судорожномъ движеніи; глаза, привыкшіе къ густой темнотѣ, не выдержали яркаго свѣта, прошедшее, отъ котораго она кинулась прочь, настигло и придавило ее къ землѣ. Она первая, прямо, безъ вызова со стороны мужчины, объявляетъ ему, что она его любитъ; она сама назначаетъ свиданіе и идетъ твердымъ шагомъ къ назначенному мѣсту.

«Послѣ чаю, когда я уже начиналъ думать о томъ, какъ бы незаметно выскользнуть изъ дому, она сама вдругъ объявила, что хочетъ идти гулять, и предложила мнѣ проводить ее. Я всталъ, взялъ шляпу и побрелъ за ней. Я не смѣлъ заговорить, я едва дышалъ, я ждалъ ея перваго слова, ждалъ объясненій; но она молчала. Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ — я до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это сдѣлалось — мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ друга. Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней, ее — ко мнѣ.

При потухшемъ свѣтѣ дня, ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилось улыбкою самозабвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцѣлуй...

Этотъ поцѣлуй былъ первымъ и послѣднимъ.

Вѣра вдругъ выпалась изъ рукъ моихъ, и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ...

— Оглянитесь, сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ: вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы развѣ что нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видѣла.

Она глубоко и рѣдко дышала.

— Кого? Что?

— Мою мать, медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже задрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновеніе?

— Полноте, началъ я: что вы это? Скажите мнѣ лучше...

— Нѣтъ, ради Бога нѣтъ! перебила она и схватила себя за голову. Это сумасшествіе... Я съ ума схожу... Этимъ шутить нельзя — это смерть... Прощайте...

Я протянулъ къ ней руки.

— Остановитесь, ради Бога, на мгновенье, воскликнулъ я съ невольнымъ порывомъ. Я не зналъ, что говорилъ и едва держался на ногахъ. Ради Бога, вѣдь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечеромъ, поспѣшно проговорила она: не сегодня, прошу васъ... уѣзжайте сегодня... завтра вечеромъ приходите къ калиткѣ сада, возлѣ озера. Я тамъ буду, я приду... я клянусь тебѣ, что приду, прибавила она съ увлеченіемъ, и глаза ея блеснули... Кто бы ни останавливалъ меня, клянусь! Я все скажу тебѣ, только пустите меня сегодня.

И прежде, чѣмъ я могъ промолвить слово, она исчезла».

А потомъ умерла. Организмъ не выдержалъ потрясенія и обаятельная сцена любви разрѣшилась смертельною нервною горячкою. Образы, въ которыхъ Тургеневъ выразилъ свою идею, стоятъ на границѣ фантастическаго міра. Онъ взялъ исключительную личность, поставилъ ее въ зависимость отъ другой исключительной личности, создалъ для нея исключительное положеніе, и вывелъ крайнія послѣдствія изъ этихъ исключительныхъ данныхъ. Старуха Ельцова и дочь ея такіе чистые представители двухъ типовъ, какихъ въ дѣйствительности не бываетъ. Какая мать сдумаетъ провести такъ послѣдовательно свои идеи въ воспитаніе дочери, и какая дочь захочетъ съ такою слѣпою покорностью подчиниться этимъ идеямъ? Размѣры, взятые авторомъ, превышаютъ обыкновенные размѣры, но идея, выраженная въ повѣсти, остается вѣрною, прекрасною идеею. Какъ яркая формула этой идеи, «Фаустъ» Тургенева неподражаемо хорошъ. Ни одно единичное явленіе не достигаетъ въ дѣйствительной жизни той опредѣленности контуровъ и той рѣзкости красокъ, которая поражаютъ читателя въ фигурахъ Ельцовой и Вѣры Николаевны, но за-то эти двѣ, почти фантастическія фигуры бросаютъ яркую полосу свѣта на явленія жизни, расплывающіяся въ неопредѣленныхъ, сѣроватыхъ, туманныхъ пятнахъ.

VII.

Слѣдуетъ-ли подвергать отдѣльному разбору личность Лизаветы Михайловны Калитиной, героини романа «Дворянское гнѣздо»? Этотъ романъ написанъ такъ недавно, по поводу его выхода въ свѣтъ появилось въ нашей періодической литературѣ столько критическихъ статей, что

читателямъ, вѣроятно, прѣлились толки о Лизѣ и о Лаврецкомъ, толки, въ которыхъ все-таки не договаривалось послѣднее слово. Я знаю, что мнѣ тоже не придется договориться до послѣдняго слова, и потому предпочитаю вовсе не говорить. Если же, паче чаянія, кто нибудь изъ читателей пожелаетъ знать мое мнѣніе о Лизѣ, то я попрошу этого читателя внимательно просмотрѣть предыдущую главу моей критической статьи и потомъ перечитать «Дворянское гнѣздо». Зная, какъ я смотрю на Вѣру, читатель узнаетъ также, какъ я смотрю на Лизу. Лиза ближе Вѣры стоитъ къ условіямъ нашей жизни; она вполне правдоподобна; размѣры ея личности совершенно обыкновенные; идеи и формы, сдѣлывающія ея жизнь, знакомы какъ нельзя лучше каждому изъ нашихъ читателей по собственному горькому опыту. Словомъ, задача, рѣшенная Тургеневымъ въ абстрактѣ въ повѣсти «Фаустъ», рѣшается имъ въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» въ приложеніи къ нашей жизни. Результатъ выходитъ одинъ и тотъ же; гниль одолеваетъ, праведная смерть торжествуетъ надъ грѣховною жизнью.

О Зинаидѣ Засѣкиной (изъ повѣсти «Первая любовь») не скажу ни слова. Я ея характера не понимаю.

VIII.

Совершенно уйдти отъ вліянія обстановки невозможно; такъ или иначе, обстановка дастъ себя знать; если вы живете съ дурными людьми, то эти люди могутъ подѣйствовать на васъ двоякимъ образомъ, смотря по тому, на сколько стойки ваши убѣжденія и тверда ваша воля. Вы можете или заразиться отъ этихъ людей ихъ преобладающимъ порокомъ, или довести въ самомъ себѣ до уродливой крайности протестъ противъ этого порока. Большею частью случается такъ, что отдѣльная личность понемногу окрашивается подъ общій цвѣтъ массы; личности, одаренныя значительными силами, обыкновенно не многочисленны; и эти немногія избранныя личности окрашиваются обыкновенно въ противоположный цвѣтъ, и, нечувствительно для самихъ себя, доводятъ этотъ цвѣтъ до рѣзкой крайности именно потому, что масса постоянно пытается заштукатурить ихъ подъ одну тѣнь съ собою. Если вы жизнью и словами съ особеннымъ воодушевленіемъ протестуете противъ господствующаго въ обществѣ порока, то вы протестуете такъ горячо именно потому, что порокъ стоитъ передъ вашими глазами; причина протеста лежитъ не въ вашей природѣ, а въ томъ, что васъ окружаетъ; для васъ самихъ протестъ дѣло безплодное и утомительное; вашъ крикъ сушить вамъ легкія и производить охриплость въ голосъ; а между тѣмъ, нельзя

не кричать; вы кричите и этимъ самымъ платите дань тѣмъ идеямъ, которыя уродуютъ жизнь вашихъ соотечественниковъ. Если вы отмахиваетесь отъ комаровъ и не даёте имъ укусыть себя, то все-таки комары дѣйствуютъ на васъ тѣмъ, что заставляютъ васъ дѣлать утомительныя движенія. Подлость и глупость раздражаютъ ваши нервы, слѣдовательно производятъ въ васъ перемѣну, и можно сказать навѣрное, что, въ какомъ бы направленіи ни совершилась эта перемѣна, она никогда не можетъ быть перемѣною къ лучшему. Вотъ это-то послѣднее обстоятельство Тургеневъ упустилъ изъ виду, создавая характеръ Елены, и отъ этой ошибки произошла, мнѣ кажется, вся нескладница, поражающая читателя въ построеніи романа: «Наканунъ».

Елена раздражена мелкостью тѣхъ людей и интересовъ, съ которыми ей приходится имѣть дѣло каждый день. Она умнѣе своей матери, умнѣе и честнѣе отца, умнѣе и глубже всѣхъ гувернантокъ, занимавшихся ея воспитаніемъ, она раздражена и неудовлетворена тѣмъ, что даётъ ей жизнь; она съ сознаннымъ негодованіемъ отвертывается отъ дѣйствительности, но она слишкомъ молода и женственна, чтобы стать къ этой дѣйствительности въ трезвыя отрицательныя отношенія. Ея недовольство дѣйствительностью выражается въ томъ, что она ищетъ лучшаго, и, не находя этого лучшаго, уходитъ въ міръ фантазій, начинаетъ жить воображеніемъ. Это болѣзненное состояніе. Когда воображеніе забѣгаетъ впередъ, когда начинается сооруженіе идеала и потомъ бѣгъ за нимъ, тогда живыя силы уходятъ на безплодные поиски и попытки, и жизнь проходитъ въ какомъ-то тревожномъ, безпредметномъ, смутномъ ожиданіи. Елена все мечтаетъ о чемъ-то, все хочетъ что-то сдѣлать, все ищетъ какого-то героя; мечты ея не приходятъ и не могутъ придти въ ясность, именно потому, что это мечты, а не мысли; она не критикуетъ нашей жизни, не всматривается въ ея недостатки, а просто отворачивается отъ нея, и хочетъ выдумать себѣ жизнь. Такъ нельзя, Елена Николаевна! Что жизнь въ дурныхъ своихъ проявленіяхъ вамъ не нравится, это дѣлаетъ вамъ величайшую честь, это показываетъ, что вы умѣете мыслить и чувствовать; но жить и дѣйствовать вы рѣшительно не умѣете. Если не нравится жизнь, надо или исправить ее, или умереть, или уѣхать. Чтобы исправить жизнь, для себя лично, надо вглядѣться въ ея недостатки, и отдать себѣ самый ясный отчетъ въ томъ, что именно особенно не нравится; чтобы умереть, надо обратиться къ оружію или къ яду; чтобы уѣхать куда бы то ни было, надо взять паспортъ и запастись деньгами. Но не мечтать, ни въ какомъ случаѣ не мечтать! Это совсѣмъ не практично; это растравляетъ раны, вмѣсто того, чтобы залечивать ихъ; это губить силы, вмѣсто того, чтобы обновлять и укрѣплять человѣка. Мечта—принадлежность и утѣшеніе слабаго, больного, задавленного существа, а вамъ, Елена Николаевна, не-

чего бога гнѣвить, можно и другимъ дѣломъ заняться. Вы пользуетесь нѣкоторою независимостью въ домѣ вашихъ родителей, васъ не бьютъ, не гнутъ въ дугу, не выдаютъ насильно замужъ; этихъ условій слишкомъ мало, для того, чтобы наслаждаться, но ихъ слишкомъ достаточно для того, чтобы дѣйствовать и бороться; мечтать было позволительно въ былые годы вашей крѣпостной горничной, точно также, какъ ей позволительно было пить запоемъ, но теперь и ей это будетъ уже не къ лицу. Я не осуждаю Елену въ томъ, что она мечтаетъ; я бы не осудилъ человѣка, схватившаго сильнѣйшій простудный кашель, я бы сказалъ только, что онъ боленъ; точно также я говорю и доказываю самой Еленѣ, что она больна, и что она ошибается, если считаетъ себя здоровою. Въ этомъ отношеніи ошибается вмѣстѣ съ нею самъ Тургеневъ; онъ глазами психически больной Елены смотритъ на дѣйствующія лица своего романа; оттого онъ вмѣстѣ съ Еленою ищетъ героевъ; оттого онъ вмѣстѣ съ нею бракуетъ Шубина и Берсенева; оттого онъ выписываетъ изъ Болгаріи невозможнаго и ни на что ненужнаго Инсарова. Елена и, вмѣстѣ съ нею, Тургеневъ не удовлетворяются обыкновенными, человѣческими размѣрами личностей; все это мелко, все это обыкновенно, все это пошло; давай имъ эффекта, волосальности, героизма. «Жить северно», говорятъ Тургеневъ и Елена.—Согласенъ. «Жить скверно потому, что люди скверны».—Несогласенъ! Отношенія между людьми ненормальны—это такъ, а люди ни въ чемъ не виноваты, потому что передѣлать отношенія, затвердѣвшія отъ десятилѣтней исторической жизни, и передѣлать ихъ тогда, когда еще очень немногіе начали сознавать ихъ неудобства—это, воля ваша, мудро. Если несется шестерня бѣшеныхъ лошадей, то я никакъ не рѣшусь называть мелкими трусами всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ уклоняться въ сторону и давать имъ дорогу. Инстинктъ самосохраненія и трусость—двѣ вещи разныя. Ставить самоотверженіе въ число необходимыхъ добродѣтелей, обязательныхъ для всякаго человѣка, можетъ только мечтательная дѣвушка Елена Николаевна Стахова, да замечтавшійся до забвенія дѣйствительности художникъ, Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Бракуя людей за то, что они не герои, раскидывая направо и налево окружающую его мелюзгу, Тургеневъ доходитъ наконецъ до созданія идеальнаго человѣка. Человѣкъ этотъ — Болгаринъ. На какомъ основаніи? Невѣдомо. Приимать Инсарова за живое лицо я не могу; потому прослѣживать его развитіе и воссоздавать его личность критическимъ анализомъ я не берусь; выпишу только съ буквальною вѣрностью рядъ фактовъ, совершенныхъ этимъ героемъ и рядъ свойствъ, приписанныхъ ему Тургеневымъ.

1) Инсаровъ—Болгаръ; мать его убита турецкимъ агою; отецъ разстрѣленъ безъ суда.

2) Въ 48 году Инсаровъ былъ въ Болгаріи, исходилъ ее вдоль и поперекъ, провелъ въ ней два года и въ 50 году вернулся въ Россію съ широкимъ рубцомъ на шеѣ и съ желаніемъ образоваться въ московскомъ университетѣ и сблизиться съ Русскими.

3) Вотъ портретъ Инсарова: «это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, худощавый и жилистый, съ впалой грудью, съ узловатыми руками; черты лица имѣлъ онъ рѣзкія, носъ съ горбиной, изсинячёрные, прямые волосы, небольшой лобъ, небольшіе, пристально глядѣвшіе, углубленные глаза, густыя брови; когда онъ улыбался, прекрасные бѣлые зубы показывались на мигъ изъ-подъ тонкихъ, жесткихъ, слишкомъ отчетливо очерченныхъ губъ. Одѣтъ онъ былъ въ старенькій, но опрятный сюртучокъ, застегнутый доверху».

4) Когда Берсенева предлагалъ Инсарову переѣхать къ нему на дачу, Инсаровъ соглашается только съ тѣмъ условіемъ, чтобы заплатить Берсенева по расчету 20 руб. сер.

5) По уходѣ Берсенева, Инсаровъ бережно снимаетъ сюртукъ.

6) Берсенева говоритъ объ Инсаровѣ, что онъ ни отъ кого не возьметъ денегъ взаймы.

7) Инсаровъ отказывается обѣдать съ Берсеневинымъ, говоря ему съ спокойной улыбкой:

— Мои средства не позволяютъ мнѣ обѣдать такъ, какъ вы обѣдаете!

8) Инсаровъ никогда не мѣняетъ никакого своего рѣшенія, и никогда не откладываетъ исполненія даннаго обѣщанія.

9) Инсаровъ учится русской исторіи, праву, и политической экономіи, переводитъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для Болгаръ, болгарскую для Русскихъ.

10) Инсаровъ не любитъ распространяться о собственной своей поѣздкѣ на родину, но о Болгаріи вообще говорить охотно со всякимъ.

11) Инсаровъ надѣваетъ на голову ушастый картузь, и на прогулкѣ выступаетъ не спѣша, глядитъ, дышетъ, говоритъ и улыбается спокойно.

12) Инсаровъ уходитъ куда то на три дня съ двумя Болгарами, которые предварительно сѣдаютъ у него «цѣлый огромный горшокъ каши».

13) Въ разговорѣ съ Еленою Инсаровъ откровенно рассказываетъ исторію своей отлучки, говоритъ, что онъ ѣздилъ за шестьдесятъ верстъ, чтобы помирить двухъ земляковъ, что его всѣ знаютъ, и что всѣ ему вѣрятъ. Елена спрашиваетъ у него: «вы очень любите свою родину»? Онъ на это отвѣчаетъ: это еще неизвѣстно. Вотъ, когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ. Потомъ онъ говоритъ такъ: «Но вы сейчасъ спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на землѣ?

Что одно неизгнѣнно, что выше всѣхъ сомнѣній, чему нельзя не вѣрить, послѣ Бога? Эта, нелишенная риторики, рѣчь заканчивается удивительною антитезою: «Замѣтьте, послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я, мы желаемъ одного и того же». Антитеза, ей Богу, очень хороша. А Елена-то слушаетъ и только уши развѣшиваетъ.

14) Инсаровъ бросаетъ въ воду пьянаго Нѣмца, обезпокоившаго дамъ на гуляніи.

15) Инсаровъ замѣчаетъ, что онъ полюбилъ Елену и хочетъ уѣхать. Онъ говоритъ: «Я Болгарь, мнѣ русской любви не нужно».

16) Инсаровъ, наканунѣ своего отъѣзда, на просьбу Елены придти къ нимъ на другой день утромъ, ничего не отвѣчаетъ и не приходитъ. «Я васъ ждала съ утра, говоритъ Елена, встрѣтившись съ нимъ у часовни. Онъ отвѣчаетъ на это: я вчера, вспомните Елена Николаевна, ничего не общалъ».

17) Въ объясненіи съ Инсаровымъ, Елена постоянно является активнымъ лицомъ и постоянно тащитъ его за собою; она первая говоритъ ему о любви.

18) По возвращеніи съ дачи въ Москву, Инсаровъ опасно занемогаетъ и двѣ недѣли находится при смерти.

19) Елена приходитъ къ Инсарову послѣ его выздоровленія; Инсаровъ въ ея присутствіи чувствуетъ волненіе и проситъ ее уйдти, говоря, что онъ ни за что не отвѣчаетъ; Елена не уходитъ и отдается ему.

20) Тайно обвинявшись съ Еленою, Инсаровъ уѣзжаетъ вмѣстѣ съ нею въ Венецію, чтобы оттуда пробраться въ Болгарію.

21) Инсаровъ въ Венеціи умираетъ отъ аневризма, соединеннаго съ разстройствомъ легкихъ.

Ради Бога, господа читатели, изъ этого длиннаго списка дѣяній и свойствъ, составьте себѣ какой нибудь цѣлостный образъ; я этого не умѣю и не могу сдѣлать. Фигура Инсарова не возстаетъ передо мною; но зато съ ужасающею отчетливостію возстаетъ передо мною тотъ процессъ механическаго построенія, которому Инсаровъ обязанъ своимъ происхожденіемъ. Тургеневъ не могъ остановиться на чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ жизни; ему до смерти надоѣли пигмеи, а между тѣмъ отъ этого жизнь не измѣнилась и пигмеи не выросли ни на вершокъ. Ему захотѣлось колоссальности, героизма и онъ задумался надъ тѣмъ, какія свойства надо придать герою; образъ не напрашивался въ его творческое сознаніе; надо было съ невѣроятными усиліями составлять этотъ образъ изъ разныхъ кусочковъ; во первыхъ, надо было поставить героя въ необыкновенное положеніе; положеніе придумано: Инсаровъ Болгарь и родители его погибли лютою смертію. Потомъ надо было устроить такъ, чтобы каждое слово и движеніе героя было пронянуто особенною многозначительностію, не сознаваемою самимъ героемъ; Тур-

гениевъ достигъ этого, заставивъ Инсарова разглагольствовать о любви къ родинѣ почти также, какъ разглагольствуетъ чиновникъ Соллогуба, съ тою только разницею, что послѣдній не дѣлаетъ блестящей антитезы (послѣдній мужикъ—и я). Чтобы отгнать то воодушевленіе, которое овладѣваетъ Инсаровымъ, когда онъ говоритъ о родинѣ, Тургеневъ напираетъ даже на то, что въ Инсаровѣ не видно ничего необыкновеннаго, что въ немъ все очень просто, начиная отъ ушатаго картуза и кончая спокойною походкою. Чтобы показать благородную гордость героя, Тургеневъ упоминаетъ о томъ, что Инсаровъ ни отъ кого не взялъ бы денегъ взаймы и даже отъ Берсенева не принимаетъ даромъ комнаты, когда тотъ приглашаетъ его къ себѣ на дачу. Не знаю, какъ другимъ, а мнѣ эта гордость по поводу десяти или двадцати рублей кажется мелочностью. Не принимать одолженія отъ мало знакомаго человѣка или отъ такого, которому тяжело быть обязаннымъ, это понятно; но съ мелочною тщательностью отгораживать свои интересы отъ интересовъ товарища студента или друга—это, воля ваша, бесплодный трудъ. Мое ли перейдетъ къ нему, его ли ко мнѣ—чортъ ли въ этомъ? Я знаю, что самъ съ удовольствіемъ сдѣлаю ему одолженіе, и потому съ полною довѣрчивостью принимаю отъ него такое же одолженіе. Чтобы показать, какъ земляки Болгары вѣрятъ Инсарову, Тургеневъ рассказываетъ о поѣздѣ послѣдняго за шестьдесятъ верстъ; чтобы дать образчикъ той колоссальной энергіи, на которую способенъ герой—Тургеневъ изобрѣлъ бросаніе пьянаго Нѣмца, и притомъ великана, въ воду. Чтобы дать понятіе о любви Инсарова къ родинѣ—Тургеневъ заставляетъ его бороться съ любовью къ Еленѣ; Инсаровъ готовъ на пользу Болгаріи пожертвовать любимую женщиною,—и это невольно переноситъ читателя въ лучшие дни Римской республики. Но вотъ что любопытно. Инсаровъ герой, сильный человѣкъ; отчего же онъ постоянно предоставляетъ Еленѣ инициативу? Отчего Елена тащитъ его за собою и постоянно сама дѣлаетъ первый шагъ къ сближенію? Отчего Инсаровъ постоянно принимаетъ отъ нея разныя доказательства любви не иначе, какъ послѣ нѣкотораго упрашиванія съ ея стороны? Что это за церемоніи, и умѣстны ли онѣ между не-пигмеями? Инсаровъ видитъ, что дѣвушка вышла къ нему на встрѣчу и съ тоскою спрашиваетъ у него: отчего же вы не пришли сегодня утромъ? Въ этомъ вопросѣ сказывается любовь, недоумѣніе, страданіе, а Инсаровъ отвѣчаетъ на это «я вамъ не обѣщалъ» и старается только отстоять ненарушимость своего слова. Точно будто хозяинъ торговаго дома отвѣчаетъ кредитуру: «срокъ вашему векселю не сегодня!» Освободитъ ли Инсаровъ Болгарію—не знаю; но Инсаровъ, какинъ онъ является въ отдѣльныхъ сцѣнахъ романа «Наканунъ», не представляетъ въ себѣ ничего цѣлостно-человѣческаго, и рѣшительно ничего симпатичнаго. Что его полюбила болѣзненно-восторженная дѣвушка, Елена—въ

этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; вѣдь и Титанія гладила съ любовью длинныя уши ослиной головы; но что истинный художникъ, Тургеневъ, соорудилъ ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца—это очень грустно; это показываетъ радикальное измѣненіе во всемъ міросозерцаніи, это начало увяданія. Кто въ Россіи сходилъ съ дороги чистаго отрицанія, тотъ падалъ. Чтобы освѣтить ту дорогу, по которой идетъ Тургеневъ, стоитъ назвать одно великое имя, Гоголя. Гоголь тоже затосковалъ по положительнымъ дѣятелямъ, да и свернулъ на переписку съ друзьями. Что-то будетъ съ Тургеневымъ? Кромѣ фальшиваго пониманія и уродливаго построенія, въ романѣ «Наканунъ» есть еще недоговоренность, умышленная недоковченность въ выраженіи главной идеи. Нѣтъ отвѣта на естественный вопросъ: нашла ли Елена своего героя въ Инсаровѣ? Вопросъ этотъ очень важенъ, потому что ведетъ къ рѣшенію общаго психологическаго вопроса: Что такое мечтательность и исканіе героя? Болѣзнь ли это, порожденная пустотою и пошлостью жизни, или это—естественное свойство личности, выходящей изъ обыкновенныхъ размѣровъ? Есть ли это проявленіе силы или проявленіе слабости? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, надо было создать для Елены самыя благопріятныя обстоятельства и тогда въ картинахъ и образахъ показать намъ: счастлива ли она или нѣтъ? А тутъ, что такое? Инсаровъ скоропостижно умираетъ: да рѣшилъ это рѣшеніе вопроса? Къ чему эта смерть, обрывающая романъ на самомъ интересномъ мѣстѣ, замазывающая черною краскою неоконченную картину, и избавляющая художника отъ труда отвѣчать на поставленный вопросъ? Но, можетъ быть, Тургеневъ и не задавалъ себѣ этого вопроса? Можетъ быть, для него центромъ романа была не Елена, а былъ Инсаровъ? Тогда остается только пожалѣть, что въ плохомъ дидактическомъ романѣ, похожемъ на Обломова по идеѣ, встрѣчается такъ много такихъ великолѣпныхъ частныхъ, какъ наприимѣръ личности Елены, Шубина и Берсенева, дневникъ Елены, сцена ожиданія, сцены любви, и наконецъ неподражаемый Уваръ Ивановичъ.

IX.

У Писемскаго я не буду брать отдѣльныхъ женскихъ характеровъ; постараюсь только показать общія отношенія его къ женщинамъ; отношенія эти въ высшей степени гуманны; всепрощеніе доведено въ нихъ до послѣднихъ предѣловъ. «Женщина, говоритъ намъ Писемскій своими произведеніями, никогда ни въ чемъ не виновата. Ее бьютъ, ее угнетаютъ, ее обижаютъ дѣломъ и словомъ, ея потребности остаются неудовлетво-

ренными и не понятыми; она страдает, и своими страданіями мучить мужчину; мужчина на нее сердится и не понимает того, что онъ самъ причина ея страданій и своихъ мученій». Переберите всѣ романы Писемскаго и вы убѣдитесь въ вѣрности моихъ словъ. Писемскій не идеализируетъ женщинъ; у него есть дрянныя женщины, есть и хорошія; но и самая дрянная женщина освобождается отъ всякаго укора. Посмотрите на Юлію Владиміровну въ «Тюфякъ», на Марію Антоновну въ «Бракъ по страсти», на Катерину Александровну въ «Богатомъ женихѣ». Не красивы эти три барыни, куда не красивы, но вы чувствуете и видите, что имъ не было никакого выхода изъ пошлости и грязи. Онѣ увязли и перемарались, потому что не было никакой возможности пробраться въ жизни сухими тропинками. И во всѣхъ трехъ случаяхъ, мужчина постоянно является ближайшею, непосредственною причиною униженія женщины. На Юлію женится почти насильно тюфякъ Бешметевъ; очень понятно, что Юлія пускается во всѣ тяжкія; на Марію Антоновну женится по расчету хлыщъ Хозаровъ; она выходитъ за него замужъ по чистосердечной страсти; онъ оставляетъ ее въ забросѣ и начинаетъ ухаживать за другою женщиною; она отъ скуки начинаетъ цѣловаться съ офицеромъ Пириневскимъ. На Катеринѣ Александровнѣ женится фразеръ Шамиловъ, также по расчету; потомъ этотъ господинъ начинаетъ показывать себя несчастнымъ, не имѣя на то законнаго повода; Катерина Александровна чувствуетъ себя оскорбленною, и съ своей стороны очень жестоко показываетъ своему неделикатному супругу его зависимое положеніе.—Вы видите такимъ образомъ, что эти три женщины находятъ себѣ оправданіе въ поведеніи своихъ мужей, и въ томъ воспитаніи, которое было имъ дано въ родительскомъ домѣ.

Когда Писемскій симпатизируетъ выводимой женской личности, тогда все построеніе и изложеніе повѣсти или романа согрѣвается такимъ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ, какое на первый взглядъ трудно даже предположить въ этомъ безпощадномъ реализмѣ Это чувство выражается не въ лирическихъ отступленіяхъ, не въ идеализаціи любимаго женскаго типа; оно, помимо воли и сознанія самаго автора, просвѣчиваетъ въ постановкѣ фигуръ, въ группировкѣ событій; оно не нарушаетъ правдивости; оно само вытекаетъ изъ этой правдивости. Чтобы сочувствовать страданіямъ женщины, чтобы оправдать ее, не нужно подкупать себя въ ея пользу; надо только смотрѣть на вещи простыми, невооруженными и не предубѣжденными глазами.

Писемскій вполне понялъ значеніе этой мысли, и съ свойственною ему неумолимою и притомъ безсознательною послѣдовательностью провелъ эту мысль во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Прочтите, господа читатели, его рассказъ: «Виновата ли она?», по-

мѣщенный во второмъ томѣ его сочиненій, и вы увидите, какъ просто и честно относится онъ къ вопросу о женщинѣ.

Хотѣлось бы мнѣ подольше остановиться на отношеніяхъ Писемскаго къ женщинѣ, но я потратилъ много времени на разборъ менѣ отрадныхъ явленій, и потому приходится кончить.

1861 г. Декабрь.

БАЗАРОВЪ.

(ОТЦЫ И ДѢТИ, романъ И. С. Тургенева.)

I.

Новый романъ Тургенева даетъ намъ все то, чѣмъ мы привыкли наслаждаться въ его произведеніяхъ. Художественная отдѣлка безукоризненно хороша; характеры и положенія, сцены и картины нарисованы такъ наглядно и въ тоже время такъ мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствуетъ при чтеніи романа какое-то непонятное наслажденіе, котораго не объяснишь ни занимательностью разсказываемыхъ событій, ни поразительною вѣрностью основной идеи. Дѣло въ томъ, что событія вовсе не занимательны, а идея вовсе не поразительно вѣрна. Въ романѣ нѣтъ ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманнаго плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, и главное, сквозь ткань разсказа сквозитъ личное, глубоко-прочувствованное отношеніе автора къ выведеннымъ явленіямъ жизни. А явленія эти очень близки къ намъ, такъ близки, что все наше молодое поколѣніе съ своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа. Я этимъ не хочу сказать, чтобы въ романѣ Тургенева идеи и стремленія молодаго поколѣнія отразились такъ, какъ понимаетъ ихъ само молодое поколѣніе; къ этимъ идеямъ и стремленіямъ Тургеневъ относится съ своей личной точки зрѣнія, а старикъ и юноша почти никогда не сходятся между собою въ убѣжденіяхъ и симпатіяхъ. Но, если вы подойдете къ зеркалу, которое, отражая предметы, измѣняетъ немного ихъ цвѣта, то вы узнаете свою фizioномію, не смотря на погрѣшности зеркала. Читая романъ Тургенева, мы видимъ въ

немъ типы настоящей минуты и въ то же время отдаемъ себѣ отчетъ въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя испытали явленія дѣйствительности, проходя черезъ сознаніе художника. Любопытно прослѣдить, какъ дѣйствуютъ на человѣка, подобнаго Тургеневу, идеи и стремленія, шевелящіеся въ нашемъ молодомъ поколѣніи, и проявляющіяся, какъ все живое, въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, рѣдко привлекательныхъ, часто оригинальныхъ, иногда уродливыхъ.

Такого рода изслѣдованіе можетъ имѣть очень глубокое значеніе. Тургеневъ одинъ изъ лучшихъ людей прошлаго поколѣнія; опредѣлить, какъ онъ смотритъ на насъ, и почему онъ смотритъ на насъ такъ, а не иначе, значитъ найти причину того разлада, который замѣчается повсемѣстно въ нашей частной семейной жизни; того разлада, отъ котораго часто гибнутъ молодые жизни и отъ котораго постоянно крехтять и охаютъ старички и старушки, не успѣвающіе обработать на свою колодку понятія и поступки своихъ сыновей и дочерей. Задача, какъ видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я съ нею вѣроятно не слажу, а подумать—подумаю.

Романъ Тургенева, кромѣ своей художественной красоты, замѣчательнъ еще тѣмъ, что онъ шевелитъ умъ, наводитъ на размышленія, хотя самъ по себѣ не разрѣшаетъ никакого вопроса, и даже освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ не столько выводимыя явленія, сколько отношенія автора къ этимъ самымъ явленіямъ. Наводитъ онъ на размышленія именно потому, что весь насъ взоръ проникнуть самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано въ послѣднемъ романѣ Тургенева, прочувствовано до послѣдней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознанія самого автора и согрѣваетъ объективный рассказъ вмѣсто того, чтобы выражаться въ лирическихъ отступленіяхъ. Авторъ самъ не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ, не подвергаетъ ихъ анализу, не становится къ нимъ въ критическія отношенія. Это обстоятельство даетъ намъ возможность видѣть эти чувства во всей ихъ нетронутой непосредственности. Мы видимъ то, что просвѣчиваетъ, а не то, что авторъ хочетъ показать или не показывать. Мнѣнія и сужденія Тургенева неизмѣняютъ ни на волосъ нашего взгляда на молодое поколѣніе и на идеи нашего времени; мы ихъ даже не примемъ въ соображеніе, мы съ ними даже не будемъ спорить; эти мнѣнія, сужденія и чувства, выраженные въ неподражаемо живыхъ образахъ, дадутъ только матеріалы для характеристики прошлаго поколѣнія, въ лицѣ одного изъ лучшихъ его представителей. Постараюсь сгруппировать эти матеріалы и, если это мнѣ удастся, объясню, почему наши старики не сходятся съ нами, качаютъ головами, и, смотря по различнымъ характеристамъ и по различнымъ настроеніямъ, то сердятся, то недоумѣваютъ, то такъ грустятъ по поводу нашихъ поступковъ и разсужденій.

II.

Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1859 года. Молодой кандидатъ, Аркадій Николаевичъ Кирсановъ, пріѣзжаетъ въ деревню къ своему отцу вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ, Евгениемъ Васильевичемъ Базаровымъ, который, очевидно, имѣетъ сильное вліяніе на образъ мыслей своего товарища. Этотъ Базаровъ, человѣкъ сильный по уму и по характеру, составляетъ центръ всего романа. Онъ—представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ; и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателя.

Базаровъ—сынъ бѣднаго уѣзднаго лекаря; Тургеневъ ничего не говоритъ объ его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бѣдная, трудовая, тяжелая; отецъ Базарова говоритъ о своемъ сынѣ, что онъ у нихъ отроду лишней копѣйки не взялъ; по правдѣ сказать, многого и нельзя было бы взять даже при величайшемъ желаніи; слѣдовательно, если старикъ Базаровъ говоритъ это въ похвалу своему сыну, то это значитъ, что Евгенийъ Васильевичъ содержалъ себя въ университетѣ собственными трудами, перебивался копѣчными уроками и въ то же время находилъ возможность дѣльно готовить себя въ будущей дѣятельности. Изъ этой школы труда и лишеній Базаровъ вышелъ человѣкомъ сильнымъ и суровымъ; прослушанный имъ курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ развилъ его природный умъ и отъучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познания, личное ощущеніе—единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. «Я придерживаюсь отрицательнаго направленія, говоритъ онъ, въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и ба! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія—это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнуть. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу». Какъ эмпирикъ, Базаровъ признаетъ только то, что можно ощупать руками, увидеть глазами, положить на языкъ, словомъ только то, что можно освидѣтельствовать однимъ изъ пяти чувствъ. Всѣ остальные человѣческія чувства онъ сводитъ на дѣятельность нервной системы; вслѣдствіе этого, наслажденіе красотами природы, музыкою, живописью, поэзіею, любовью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслажденія сытнымъ обѣдомъ или бутылкою хорошаго вина. То, что восторженные юноши называютъ идеаломъ, для

Базарова не существует; онъ все это называетъ «романтизмомъ», а иногда вмѣсто слова «романтизмъ» употребляетъ слово «вздоръ». Несмотря на все это, Базаровъ не воруетъ чужихъ платковъ, не вытягиваетъ изъ родителей денегъ, работаетъ усидчиво и даже не прочь отъ того, чтобы сдѣлать въ жизни что нибудь путное. Я предчувствую, что многіе изъ моихъ читателей зададутъ себѣ вопросъ: а что же удерживаетъ Базарова отъ подлыхъ поступковъ, и что побуждаетъ его дѣлать что нибудь путное? Этотъ вопросъ поведетъ за собою слѣдующее сомнѣніе: ужъ не притворяется ли Базаровъ передъ самимъ собою и передъ другими? Не рисуется ли онъ? Можетъ быть, онъ въ глубинѣ души признаетъ многое изъ того, что отрицаетъ на словахъ, и можетъ быть именно это признаваемое, это затаившееся спасаетъ его отъ нравственнаго паденія и отъ нравственнаго ничтожества. Хоть мнѣ Базаровъ ни свать, ни братъ, хоть я, можетъ быть, и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь отвѣтить на вопросъ и опровергнуть лукавое сомнѣніе. На людей подобныхъ Базарову можно негодовать, сколько душъ угодно, но признавать ихъ искренность—рѣшительно необходимо. Эти люди могутъ быть честными и безчестными, гражданскими дѣятели и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вкусамъ. Ничто, кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ имъ убивать и грабить и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ людей подобнаго заката дѣлать открытія въ области наукъ и общественной жизни. Базаровъ не украдетъ платка по тому же самому, почему онъ не съѣстъ кусокъ тухлой говядины. Еслибы Базаровъ умиралъ съ голоду, то онъ вѣроятно сдѣлалъ бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности побѣдило бы въ немъ отвращеніе къ дурному запаху разлагающагося мяса и къ тайному посягательству на чужую собственность. Кромѣ непосредственнаго влеченія, у Базарова есть еще другой руководитель въ жизни—расчетъ. Когда онъ бываетъ боленъ, онъ принимаетъ лекарство, хотя не чувствуетъ никакого непосредственнаго влеченія къ касторовому маслу или къ ассафетидѣ. Онъ поступаетъ такимъ образомъ по расчету; цѣною маленькой непріятности онъ покупаетъ въ будущемъ большее удобство, или избавленіе отъ болѣе непріятности. Словомъ, изъ двухъ золъ онъ выбираетъ меньшее, хотя и къ меньшему не чувствуетъ никакого влеченія. У людей посредственныхъ такого рода расчетъ большею частью оказывается несостоятельнымъ; они по расчету хитрятъ, подличаютъ, воруютъ, запутываются и въ концѣ концовъ остаются въ дуракахъ. Люди очень умные поступаютъ иначе; они понимаютъ, что быть честнымъ очень выгодно, и что всякое преступленіе, начиная отъ простой лжи и кончая смертоубійствомъ—опасно и слѣдовательно неудобно. Поэтому, очень умные люди могутъ быть честны по расчету, и дѣйствовать на чистоту тамъ, гдѣ люди ограни-

ченные будутъ вилать и метать петли. Работая неутомимо, Базаровъ повиновался непосредственному влеченію, вкусу, и, кромѣ того, поступалъ по самому вѣрному расчету. Еслибы онъ искалъ протекціи, кланялся, подличалъ, вмѣсто того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то онъ поступалъ бы нерасчетливо. Карьеры, пробитыя собственною головою, всегда прочнѣе и шире карьеръ, проложенныхъ низкими поклонами или заступничествомъ важнаго дядюшки. Благодаря двумъ послѣднимъ средствамъ, можно попасть въ губерскіе или въ столичныя тузы, но, по милости этихъ средствъ, никому съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ, не удавалось сдѣлаться ни Вашингтономъ, ни Гарибальди, ни Коперникомъ, ни Генрихомъ Гейне. Даже Геростратъ, и тотъ пробилъ себѣ карьеру собственными силами и попалъ въ исторію не по протекціи.—Что же касается до Базарова, то онъ не мѣтитъ въ губерскіе тузы; если воображеніе иногда рисуеъ ему будущность, то эта будущность какъ-то неопредѣленно широка; работаетъ онъ безъ цѣли, для добыванія насущнаго хлѣба или изъ любви къ процессу работы, а между тѣмъ онъ смутно чувствуетъ, по количеству собственныхъ силъ, что работа его не останется безслѣдною и къ чему нибудь приведетъ. Базаровъ чрезвычайно самолюбивъ, но самолюбіе его не замѣтно именно вслѣдствіе своей громадности. Его не занимаютъ тѣ мелочи, изъ которыхъ складываются обиденныя людскія отношенія; его нельзя оскорбить явнымъ пренебреженіемъ, его нельзя обрадовать знаками уваженія; онъ такъ полонъ собою и такъ непоколебимо-высоко стоитъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, что дѣлается почти совершенно равнодушнымъ къ мнѣнію другихъ людей. Дядя Кирсанова, близко подходящій къ Базарову по складу ума и характера, называетъ его самолюбіе «сатанинскою гордостью». Это выраженіе очень удачно выбрано и совершенно характеризуетъ нашего героя. Дѣйствительно, удовлетворить Базарова могла бы только цѣлая вѣчность постоянно расширяющейся дѣятельности и постоянно увеличивающагося наслажденія, но, къ несчастью для себя, Базаровъ не признаетъ вѣчнаго существованія человѣческой личности. «Да вотъ, напримѣръ, говоритъ онъ своему товарищу, Кирсанову, ты сегодня сказать, проходи мимо избы нашего старосты Филиппа—она такая славная, бѣлая—вотъ скажь ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... Да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ роста будетъ;—ну, а дальше?»

Итакъ Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ. Имъ упра-

власть только личная прихоть или личные расчеты. Ни надъ собой, ни, —
внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, ни-
какого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди — никакой
высокой цѣли; въ умѣ — никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ,
силы огромныя. — Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ!
слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну,
хорошо, злодѣй, уродъ; браните больше, преслѣдуйте его сатирой и эпи-
граммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣ-
ніемъ, кострами инквизиціи и топорами палачей, — и вы не вытравите,
не убьете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенной
публикѣ. Если базаровщина — болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени,
и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе паліативы и ампу-
таціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно — это ваше дѣло; а оста-
новить — не остановите; это та же холера.

III.

Болѣзнь вѣка рѣже всего пристаётъ къ людямъ, стоящимъ по
своимъ умственнымъ силамъ выше общаго уровня. Базаровъ, одержимый
этою болѣзнію, отличается замѣчательнымъ умомъ, и вслѣдствіе этого
производитъ сильное впечатлѣніе на сталкивающихся съ нимъ людей.
«Настоящій человѣкъ, говоритъ онъ, тотъ, о которомъ думать нечего,
а котораго надобно слушаться или ненавидѣть». Подъ опредѣленіе настоя-
щаго человѣка подходитъ именно самъ Базаровъ; онъ постоянно сразу
овладѣваетъ вниманіемъ окружающихъ людей; однихъ онъ загнуживаетъ и
отталкиваетъ; другихъ подчиняетъ, не столько доводами, сколько не-
посредственною силою, простотою и цѣльностью своихъ понятій. Какъ
чѣловѣкъ замѣчательно умный, онъ не встрѣчалъ себѣ равнаго. «Когда
я встрѣчу человѣка, который не спасовалъ бы передо мною, проговоритъ
онъ съ разстановкой, тогда я измѣню свое мнѣніе о самомъ себѣ».

Онъ смотритъ на людей сверху внизъ и даже рѣдко даетъ себѣ трудъ
скрывать свои полу-презрительныя, полу-покровительственныя отношенія
къ тѣмъ людямъ, которые его ненавидятъ, и къ тѣмъ, которые его слу-
шаются. Онъ никого не любитъ; не разрывая существующихъ связей и
отношеній, онъ въ то же время не сдѣлаетъ ни шагу для того, чтобы
снова завязать или поддержать эти отношенія, не смягчитъ ни одной
ноты въ своемъ суровомъ голосѣ, не пожертвуетъ ни одною рѣзкою
шуткою, ни однимъ краснымъ словомъ.

Поступаетъ онъ такимъ образомъ не во имя принципа, не для того, чтобы въ каждую данную минуту быть вполне откровеннымъ, а потому, что считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять свою особу въ чемъ бы то ни было, по тому же самому побужденію, по которому американцы задираютъ ноги на спинки креселъ и заплываютъ табачнымъ сокомъ паркетные полы пышныхъ гостинницъ. Базаровъ ни въ комъ не нуждается, никого не боится, никого не любитъ и, вслѣдствіе этого, никого не падитъ. Какъ Діогенъ, онъ готовъ жить чуть не въ бочѣ и за это предоставляетъ себѣ право говорить людямъ въ глаза рѣзкія истинныя по той причинѣ, что это ему нравится. Въ цинизмъ Базарова можно различить двѣ стороны: внутреннюю и внѣшнюю, цинизмъ мыслей и чувствъ, и цинизмъ манеръ и выраженій. Ироническое отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечтательности, къ лирическимъ порывамъ и изліаніямъ составляетъ сущность внутреннего цинизма. Грубое выраженіе этой ироніи, безпричинная и безцѣльная рѣзкость въ обращеніи относятся къ внѣшнему цинизму. Первый зависитъ отъ склада ума и отъ общаго міросозерцанія; второй обуславливается чисто внѣшними условіями развитія, свойствами того общества, въ которомъ жилъ разсматриваемый субъектъ. Насмѣшливыя отношенія Базарова къ мягкосердечному Кирсанову вытекаютъ изъ основныхъ свойствъ общаго базаровскаго типа. Грубныя столкновенія его съ Кирсановымъ и съ его дядею составляютъ его личную принадлежность. Базаровъ не только эмпирикъ—онъ, кромѣ того, неотесанный буршъ, незнающій другой жизни, кромѣ бездомной, трудовой, подъ частъ дико-разгульной жизни бѣднаго студента. Въ числѣ почитателей Базарова найдутся навѣрное такіе люди, которые будутъ восхищаться его грубыми манерами, слѣдами бурсацкой жизни, будутъ подражать этимъ манерамъ, составляющимъ во всякомъ случаѣ недостатокъ, а не достоинство, будутъ даже, можетъ быть, утрировать его угловатость, мѣлковатость и рѣзкость. Въ числѣ ненавистниковъ Базарова найдутся навѣрное такіе люди, которые обратятъ особенное вниманіе на эти неказистыя особенности его личности и поставятъ ихъ въ укоръ обществу. Тѣ и другіе ошибутся и обнаружатъ только глубокое непониманіе настоящаго дѣла. И тѣмъ, и другимъ можно будетъ напомнить стихъ Пушкина:

Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ
И думать о красѣ ногтей.

Можно быть крайнимъ матеріалистомъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно-вѣжливо съ своими знакомыми, быть любезнымъ собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльменомъ. Это я говорю для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ по-

смотреть на Базарова, какъ на человѣка *mal élevé* и *mauvais ton*. Онъ дѣйствительно *mal élevé* и *mauvais ton*, но это нисколько не относится къ сущности типа, и не говоритъ ни противъ него, ни въ его пользу. Тургеневу пришло въ голову выбрать представителемъ базаровскаго типа человѣка неотесаннаго; онъ такъ и сдѣлалъ, и, конечно, рисуя своего героя, не утаилъ и не закрашилъ его угловатостей; выборъ Тургенева можно объяснить двумя различными причинами; во-первыхъ, личность человѣка, безпоощадно и съ полнымъ убѣжденіемъ отрицающаго все, что другіе признаютъ высокимъ и прекраснымъ, всего чаще вырабатывается при сѣрой обстановкѣ трудовой жизни; отъ суроваго труда грубѣютъ руки, грубѣютъ манеры, грубѣютъ чувства; человѣкъ крѣпнетъ и прогоняетъ юношескую мечтательность, избавляется отъ слезливой чувствительности; за работою мечтать нельзя, потому что вниманіе сосредоточено на занимающемъ дѣлѣ; а послѣ работы нуженъ отдыхъ, необходимо дѣйствительное удовлетвореніе физическимъ потребностямъ и мечта нейдетъ на умъ. На мечту человѣкъ привыкаетъ смотрѣть, какъ на блажь, свойственную праздности и барской изнѣженности; нравственные страданія онъ начинаетъ считать мечтательными; нравственные сдержанія и подвиги—придуманными и нелѣпыми. Для него, трудового человѣка, существуетъ только одна, вѣчно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о томъ, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная въ своей простотѣ забота заслоняетъ отъ него остальные, второстепенныя тревоги, дразни и заботы жизни; въ сравненіи съ этою заботою ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными разныя неразрѣшенные вопросы, неразъясненные сомнѣнія, неопредѣленные отношенія, которыя отравляютъ жизнь людей обезпеченныхъ и досужихъ.

Такимъ образомъ пролетарій-труженикъ самымъ процессомъ своей жизни, независимо отъ процесса размысленія, доходитъ до практическаго реализма; онъ за недосугомъ отбываетъ мечтать, гоняться за идеаломъ, стремиться въ идеѣ къ недостижимо-высокой цѣли. Развивая въ труженикѣ энергію, трудъ пріучаетъ его сближать дѣло съ мыслью, актъ воли съ актомъ ума. Человѣкъ, привыкшій надѣяться на себя и на свои собственные силы, привыкшій осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинаетъ смотрѣть съ болѣе или менѣе явнымъ пренебреженіемъ на тѣхъ людей, которые, мечтая о любви, о полезной дѣятельности, о счастьи всего человѣческаго рода, не умѣютъ шевельнуть пальцемъ, чтобы хоть сколько нибудь улучшить свое собственное, въ высшей степени неудобное положеніе. Словомъ, человѣкъ дѣла, будь онъ медикъ, ремесленникъ, педагогъ, даже литераторъ (можно быть литераторомъ и человѣкомъ дѣла въ одно и тоже время) чувствуетъ естественное, непреодолимое отвращеніе къ фразистости, къ тратѣ словъ, къ сладкимъ мечтаніямъ, къ сантиментальнымъ стремленіямъ и вообще ко всякимъ пре-

тензіямъ, не основаннымъ на дѣйствительной, осязательной силѣ. Такого рода отвращеніе ко всему отрѣшенному отъ жизни и улетучивающемуся въ звукахъ составляетъ коренное свойство людей базаровскаго типа. Это коренное свойство вырабатывается именно въ тѣхъ разнородныхъ мастерскихъ, въ которыхъ человѣкъ, изощряя свой умъ и напрягая мускулы, борется съ природою за право существовать на бѣломъ свѣтѣ. На этомъ основаніи Тургеневъ имѣлъ право взять своего героя въ одной изъ такихъ мастерскихъ и привести его въ рабочемъ фартукѣ, съ неумытыми руками и угрюмо-озабоченнымъ взглядомъ въ общество фешенебельныхъ кавалеровъ и дамъ. Но справедливость побуждаетъ меня выразить предположеніе, что авторъ романа «Отцы и дѣти» поступилъ такимъ образомъ не безъ коварнаго умысла. Этотъ коварный умыселъ и составляетъ ту вторую причину, о которой я упомянулъ выше. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ, очевидно, не благоволилъ къ своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся къ вѣрѣ и сочувствію, коробитъ отъ разбѣдающаго реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; онъ слишкомъ слабъ и впечатлителенъ, чтобы вынести безотрадное отрицаніе; ему необходимо помириться съ существованіемъ, если не въ области жизни, то по крайней мѣрѣ въ области мысли, или вѣрнѣе мечты. Тургеневъ, какъ нервная женщина, какъ растеніе «нетронь меня», сжимается болѣзненно отъ самаго легкаго прикосновенія съ букетомъ базаровщины.

Чувствуя такимъ образомъ невольную антипатію къ этому направленію мысли, онъ вывелъ его передъ читающею публикою въ возможно неграціозномъ экземплярѣ. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ публикѣ нашей очень много фешенебельныхъ читателей и, рассчитывая на утонченность ихъ аристократическаго вкуса, не щадитъ грубыхъ красокъ, съ очевиднымъ желаніемъ уронить и опошлить, вмѣстѣ съ героемъ тотъ складъ идей, который составляетъ общую принадлежность типа. Онъ очень хорошо знаетъ, что большинство его читателей скажутъ только о Базаровѣ, что онъ дурно воспитанъ и что его нельзя пустить въ порядочную гостиную; дальше и глубже они ни пойдутъ, но, говоря съ такими людьми, даровитый художникъ и честный человѣкъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ изъ уваженія въ самому себѣ и къ той идеѣ, которую онъ защищаетъ или опровергаетъ. Тутъ надо держать въ ундѣ свою личную антипатію, которая при извѣстныхъ условіяхъ можетъ превратиться въ произвольную клевету на людей, не имѣющихъ возможности защищаться тѣмъ же оружіемъ.

IV.

Я старался до сихъ поръ обрисовать крупными чертами личность Базарова, или вѣрнѣе, тотъ общій, складывающійся типъ, котораго представителемъ является герой тургеневскаго романа. Надобно теперь прослѣдить, по возможности, его историческое происхожденіе; надо показать, въ какихъ отношеніяхъ находится Базаровъ къ разнымъ Онѣгиннымъ, Печориннымъ, Рудиннымъ, Вельтовымъ и другимъ литературнымъ типамъ, въ которыхъ, въ прошлыя дѣсятилѣтія, молодое поколѣніе узнавало черты своей умственной фizioноміи. Во всякое время жили на свѣтѣ люди, недовольные жизнью вообще или нѣкоторыми формами жизни въ особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила пригнѣвочно, и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тѣмъ, что было на лицо. Только какое нибудь матеріальное бѣдствіе, въ родѣ «труса, глада, потопа, нашествія иноплемennыхъ», приводило массу въ бесповойное движеніе и нарушало обычный, солидно-безмятежный процессъ ея прозябанія. Масса, составленная изъ тѣхъ сотенъ тысячъ недѣлимыхъ, которые никогда въ жизни не пользовались своимъ головнымъ мозгомъ, какъ орудіемъ самостоятельнаго мышленія, живетъ себѣ со дня на день, обдѣлываетъ свои дѣлшки, получаетъ мѣстечки, играетъ въ картишки, кое-что почитываетъ, слѣдитъ за модою въ идеяхъ и въ платьяхъ, идетъ черепашьимъ шагомъ впередъ по силѣ инерціи, и, никогда не задавая себѣ крупныхъ, многообъемлющихъ вопросовъ, никогда не мучась сомнѣніями, не испытываетъ ни раздраженія, ни утомленія, ни досады, ни скуки. Эта масса не дѣлаетъ ни открытій, ни преступленій; за нее думаютъ и страдаютъ, ищутъ и находятъ, борются и ошибаются другіе люди, вѣчно для нея чужіе, вѣчно смотрящіе на нее съ пренебреженіемъ, и въ то же время вѣчно работающіе для того, чтобы увеличить удобства ея жизни. Эта масса, желудокъ человѣчества, живетъ на всемъ на готовомъ, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося съ своей стороны ни одной полунки въ общую сокровищницу человѣческой мысли. Люди массы у насъ въ Россіи учатся, служатъ, работаютъ, веселятся, женятся, плодятъ дѣтей, воспитываютъ ихъ, словомъ, живутъ самою полною жизнью, совершенно довольны собою и средою, не желаютъ никакихъ усовершенствованій, и, шествуя по торной дорогѣ, не подозреваютъ ни возможности, ни необходимости другихъ путей и направленій. Они держатся заведеннаго порядка по силѣ инерціи, а не вслѣдствіе привязанности къ нему; попробуйте измѣнить этотъ порядокъ—они сейчасъ сживутся

съ нововведеніемъ; закоренѣлыя старовѣры являются самобытными личностями и стоятъ выше безотвѣтнаго стада. А масса сегодня ѣздитъ по сквернымъ проселочнымъ дорогамъ и мирится съ ними; чрезъ нѣсколько лѣтъ она сядетъ въ вагоны и будетъ любоваться быстротою движенія и удобствами путешествія. Эта инерція, эта способность на все соглашаться и со всѣмъ уживаться составляетъ, можетъ быть, драгоценнѣйшее достояніе человѣчества. Убогость мысли уравнивается такимъ образомъ скромностью требованій. Человѣкъ, у котораго не хватаетъ ума на то, чтобы придумать средства для улучшенія своего невыносимаго положенія, можетъ назваться счастливымъ только въ томъ случаѣ, если онъ не понимаетъ и не чувствуетъ неудобствъ своего положенія. Жизнь человѣка ограниченнаго почти всегда течетъ ровнѣе и пріятнѣе жизни гения или даже просто умнаго человѣка. Умные люди не уживаются съ тѣми явленіями, къ которымъ безъ малѣйшаго труда привыкаетъ масса. Къ этимъ явленіямъ умные люди, смотря по различнымъ условіямъ темперамента и развитія, становятся въ самыя разнообразныя отношенія.

Вотъ, положимъ, живетъ въ Петербургѣ молодой человѣкъ, единственный сынъ богатыхъ родителей. Онъ уменъ. Учили его, какъ слѣдуетъ, слегка всему тому, что по понятіямъ папеньки и гувернера необходимо знать молодому человѣку хорошаго семейства. Книги и уроки ему надобли; надобли и романы, которые онъ читалъ сначала потихоньку, а потомъ открыто; онъ жадно набрасывается на жизнь, танцуетъ до упаду, волочитъ за женщинами, одерживаетъ блестящія побѣды. Незамѣтно пролетаетъ два, три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же, что сегодня — шуму, толкотни, движенія, блеску, пестроты много, а въ сущности разнообразія впечатлѣній нѣтъ; то, что видѣлъ нашъ предполагаемый герой, то уже понято и изучено имъ; новой пищи для ума нѣтъ и начинается томительное чувство умственного голода, скуки. Разочарованный или, проще и вѣрнѣе, скучающій молодой человѣкъ начинаетъ раздумывать, что бы ему сдѣлать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себѣ работу для того, чтобы не скучать — все равно, что гулять для моціона безъ опредѣленной цѣли. О такомъ фокусѣ умному человѣку и подумать странно. Да и наконецъ, не угодно ли вамъ найти у насъ такую работу, которая заинтересовала и удовлетворяла бы умнаго человѣка, не втянувшагося въ эту работу съ молоду. Ужъ не поступитъ ли ему на службу въ казенную палату? Или не готовится ли для развлечения къ магистерскому экзамену? Не вообразитъ ли себя художникомъ и не приметъ ли въ двадцать пять лѣтъ, за рисованіе глазъ и ушей, за изученіе перспективы или генераль-баса?

Развѣ влюбится? — Оно, конечно, не мѣшало бы, да бѣда въ томъ,

что умные люди очень требовательны и рѣдко удовлетворяются тѣми экземплярами женскаго пола, которыми изобилуютъ блестящіе петербургскіе гостиныя. Съ этими женщинами они любезничаютъ, съ ними они сводятъ интриги, на нихъ они женятся иногда по увлеченію, чаще по благоразумному расчету, но сдѣлать изъ отношеній съ подобными женщинами занятіе, наполняющее жизнь, спасающее отъ скуки—это для умнаго человѣка не мыслимо. Въ отношеніи между мужчиною и женщиною проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные проявленія нашей частной и общественной жизни. Живая природа человѣка здѣсь, какъ и вездѣ, скована и обезцвѣчена мундирностью и обрядностью. Ну, вотъ молодому человѣку, изучившему мундиръ и обрядъ до послѣднихъ подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, какъ на неизбежное зло, или съ отчаянья броситься въ разныя эксцентричности, питая неопредѣленную надежду разсѣяться. Первое сдѣлалъ Онѣгинъ, второе—Печоринъ; вся разница между тѣмъ и другимъ заключается въ температурѣ. Условія, при которыхъ они формировались и отъ которыхъ они заскукали, — одни и тѣ же; среда, которая пріѣлась тому и другому — та же самая. Но Онѣгинъ холоднѣе Печорина и потому Печоринъ дуритъ гораздо больше Онѣгина, кидается за впечатлѣніями на Кавказъ, ищетъ ихъ въ любви Бэлы, въ дуэль съ Грушницкимъ, въ схваткахъ съ Черкесами, между тѣмъ какъ Онѣгинъ, вяло и лѣнливо, носитъ съ собою по свѣту свое красивое разочарованіе. Немножко Онѣгинимъ, немножко Печоринимъ бывалъ и до сихъ поръ бываетъ у насъ всякій, мало-мальски умный человѣкъ, владѣющій обезпеченнымъ состояніемъ, выросшій въ атмосферѣ барства и не получившій серьезнаго образованія.

Рядомъ съ этими скукающими трутнями являлись и до сихъ поръ являются толпами люди грустящіе, тоскующіе отъ неудовлетвореннаго стремленія приносить пользу. Воспитанные въ гимназіяхъ и университетахъ, эти люди получаютъ довольно основательныя понятія о томъ, какъ живутъ на свѣтѣ цивилизованные народы, какъ трудятся на пользу общества даровитые дѣятели, какъ опредѣляютъ обязанности человѣка разные мыслители и моралисты. Въ неопредѣленныхъ, но часто теплыхъ выраженіяхъ говорятъ этимъ людямъ профессора о честной дѣятельности, о подвигѣ жизни, о самоотверженіи во имя человѣчества, истины, науки, общества. Варіаціи на эти теплыя выраженія наполняютъ собою Задушевные, студенческіе бесѣды, во время которыхъ высказывается такъ много юношески-свѣжаго, во время которыхъ такъ тепло и безгранично вѣрится въ существованіе и въ торжество добра. Ну, вотъ, проникнутые теплыми словами идеалистовъ — профессоровъ, согрѣтые собственными восторженными рѣчами, молодые люди изъ школы выходить въ жизнь съ неукротимымъ желаніемъ сдѣлать хорошее дѣло или — пострадать за правду. Пострадать имъ иногда приходится, но сдѣлать

дѣло никогда не удастся. Они ли сами въ этомъ виноваты, та ли жизнь виновата, въ которую они вступаютъ, — разсудить мудро. Вѣрно по крайней мѣрѣ то, что передѣлать условія жизни у нихъ не хватаетъ силъ, а ужиться съ этими условіями они не умѣютъ. Вотъ они мечутся изъ стороны въ сторону, пробуютъ свои силы на разныхъ карьерахъ, просятъ, умоляютъ общество: «пристрой ты насъ куда нибудь, возьми ты наши силы, выжми изъ нихъ для себя какую нибудь частицу пользы; погуби насъ, но губи такъ, чтобы наша гибель не пропала даромъ». Общество глухо и неумолимо; горячее желаніе Рудинныхъ и Бельтовыхъ пристроиться къ практической дѣятельности и видѣть плоды своихъ трудовъ и пожертвованій остается бесплоднымъ. Еще ни одинъ Рудинъ, ни одинъ Бельтовъ не дослужился до начальника отдѣленія; да къ тому же, — странные люди! — они, чего добраго, даже этою почетною и обезпеченною должностію не удовлетворились бы. Они говорили на такомъ языкѣ, котораго не понимало общество, и послѣ напрасныхъ попытокъ растолковать этому обществу свои желанія, они умолкали и впадали въ очень извинительное уныніе. Иные Рудины успокаивались и находили себѣ удовлетвореніе въ педагогической дѣятельности; дѣлались учителями и профессорами, они находили исходъ для своего стремленія къ дѣятельности. Сами мы, говорили они себѣ, ничего не сдѣлали. По крайнѣй мѣрѣ, передадимъ наши честныя тенденціи молодому поколѣнію, которое будетъ вѣрнѣе насъ, и создастъ себѣ другія, болѣе благопріятныя времена. Оставаясь такимъ образомъ вдали отъ практической дѣятельности, бѣдные идеалисты-преподаватели не замѣчали того, что ихъ лекціи плодятъ такихъ же Рудинныхъ, какъ и они сами, что ихъ ученикамъ придется точно также оставаться внѣ практической дѣятельности или дѣлаться ренегатами, отказываться отъ убѣжденій и тенденцій. Рудиннымъ-преподавателямъ было бы тяжело предвидѣть, что они даже въ лицѣ своихъ учениковъ не примутъ участія въ практической дѣятельности; а между тѣмъ, они бы ошиблись, еслибы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносятъ никакой пользы. Отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Они размножаютъ людей неспособныхъ къ практической дѣятельности; вслѣдствіе этого, самая практическая дѣятельность, или вѣрнѣе, тѣ формы, въ которыхъ она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнѣніи общества. Лѣтъ двадцать тому назадъ, всѣ молодые люди служили въ различныхъ вѣдомствахъ; люди не служащіе принадлежали къ исключительнымъ явленіямъ; общество смотрѣло на нихъ съ состраданіемъ или съ пренебреженіемъ; сдѣлать карьеру — значило дослужиться до большого чина. Теперь очень многіе молодые люди не служатъ, и нѣкто не находитъ въ этомъ ничего страннаго или предосудительнаго. Почему

такъ случилось? А потому, мнѣ кажется, что къ подобнымъ явленіямъ притягивался, или, что то же самое, потому что Рудины размножились въ наше общество. Не такъ давно, лѣтъ шесть тому назадъ, вскорѣ послѣ Крымской кампаніи, наши Рудины вообразили себѣ, что ихъ время настало, что общество приметъ и пуститъ въ ходъ тѣ силы, которыя они давно предлагали ему съ полнымъ самоотверженіемъ. Они рванулись впередъ; литература оживилась; университетское преподаваніе сдѣлалось свѣжѣе; студенты преобразились; общество съ небывалымъ рвеніемъ принялось за журналы и стало даже заглядывать въ аудиторіи; возникли даже новыя административныя должности. Казалось, что за эпохою бесплодныхъ мечтаній и стремленій наступаетъ эпоха кипучей, полезной дѣятельности. Казалось, Рудинству приходитъ конецъ, и даже самъ г. Гончаровъ похоронилъ своего Обломова, и объявилъ, что подъ русскими именами таятся много Штольцевъ. Но миражъ разсѣялся — Рудины не сдѣлались практическими дѣятелями; изъ-за Рудинныхъ выдвинулось новое поколѣніе, которое съ укоромъ и насмѣшкой отнеслось къ своимъ предшественникамъ. «Объ чемъ вы поете, чего вы ищите, чего просите отъ жизни? Вамъ, небось, счастья хочется, говорили эти новые люди мягкосердечнымъ идеалистамъ, тоскливо опустившимъ крылышки, да вѣдь мало ли что! Счастье надо завоевать. Есть силы — берите его. Нѣтъ силъ — молчите, а то и безъ васъ тошно!» — Мрачная, сосредоточенная энергія сказывалась въ этомъ недружелюбномъ отношеніи молодого поколѣнія къ своимъ наставникамъ. Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ, это поколѣніе сходилось съ лучшими людьми предыдущаго; симпатіи и антипатіи у нихъ были общія; желали они одного и того же; но люди прошлаго метались и суетились, надѣясь гдѣ нибудь пристроиться и какъ нибудь, втихомолку, урывками, незамѣтно влить въ жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго не мечтаютъ, ничего не ищутъ, нигдѣ не пристраиваются, не поддаются ни на какіе компромиссы, и ни на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи они также безсильны, какъ и Рудины, но они сознали свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не могу дѣйствовать теперь — думаю про себя каждый изъ этихъ новыхъ людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружаетъ, и не стану скрывать этого презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живетъ, не мирясь съ господствующимъ зломъ и не давая ему надъ собою никакой власти. Я — чужой среди существующаго порядка вещей и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. Ванинаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю — что хочу и выполняю — что можно высказать».

Это холодное отчужденіе, доходящее до полного индифферентизма, и въ то же время развивающее отдѣльную личность до послѣднихъ пре-

дѣловъ твердости и самостоятельности, напрягаетъ умственные способности; не имѣя возможности дѣйствовать, люди начинаютъ думать и изслѣдовать; не имѣя возможности передѣлать жизнь, люди вымещаютъ свое безсиліе въ области мысли; тамъ ничто не останавливаетъ разрушительной критической работы; суевѣрія и авторитеты разбиваются въдребезги и міросозерцаніе совершенно очищается отъ разныхъ призрачныхъ представленій.

— Что же вы дѣлаете? (спрашиваетъ дядя Аркадія у Базарова).

— А вотъ что мы дѣлаемъ (отвѣчаетъ Базаровъ), прежде,—въ недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильного суда.

— Ну да, да, вы обличители, такъ, кажется, это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и къ доктринерству; мы увидали, что умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители, ни куда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ то искусствѣ, бессознательномъ творествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ, и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда *грубѣйшее суевѣріе насъ дулитъ*, когда всѣ наши аэціонерныя общества лопаются единственно отъ того, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ; потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ...

— Такъ, перебилъ Павелъ Петровичъ, такъ; вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И рѣшились ни за что не приниматься, утрово повторилъ Базаровъ. Ему вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ такъ распространился передъ этимъ бариномъ.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмомъ?

— И это называется нигилизмомъ, повторилъ опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенною дерзостью».

— И такъ вотъ мои выводы. Человѣкъ массы живетъ по установленной нормѣ, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что онъ родился въ известное время, въ известномъ городѣ или селѣ. Онъ весь опутанъ разными отношеніями родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована принятыми предразсудками; самъ онъ не любитъ ни этихъ отношеній, ни этихъ предразсудковъ, но они представляются ему «предѣломъ, его же не прейдши»,

и онъ живетъ и умираетъ, не проявивъ своей личной воли, и часто даже не заподозривъ въ себѣ ея существованія. Если попадется въ этой массѣ человѣкъ поумнѣе, то онъ, смотря по обстоятельствамъ, въ томъ или въ другомъ отношеніи выдѣлится изъ массы, и распорядится по своему, какъ ему выгодно, удобно и приятно. Умные люди, не получившіе серьезнаго образованія, не выдерживаютъ жизни массы, потому что она надѣдаетъ имъ свою безцвѣтность; они сами не имѣютъ понятія о лучшей жизни, и потому, инстинктивно отшатнувшись отъ массы, остаются въ пустомъ пространствѣ, не зная куда идти, зачѣмъ жить на свѣтѣ, чѣмъ разогнать тоску. Здѣсь отдѣльная личность отрывается отъ стада, но не умѣетъ распорядиться собою. Другіе люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы, и подвергаютъ ее сознательной критикѣ; у нихъ составленъ свой идеалъ; они хотятъ идти къ нему, но оглядываясь назадъ, постоянно, боязливо сдерживаютъ другъ друга: а пойдеть ли за нами общество? А не останемся ли мы одни съ своими стремленіями? Не попадемъ ли мы въ просакъ? У этихъ людей, за недостаткомъ твердости, дѣло останавливается на словахъ. Здѣсь личность сознаетъ свою отдѣльность, составляетъ себѣ понятіе самостоятельной жизни, и, не осмѣливаясь двинуться съ мѣста, раздвигаетъ свое существованіе, отдѣляетъ міръ мысли отъ міра жизни. Люди третьяго разряда идутъ дальше — они сознаютъ свое несходство съ массою, и смѣло отдѣляются отъ нея поступками, привычками, всѣмъ образомъ жизни. Пойдетъ ли за ними общество, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою, своею внутреннею жизнью, и не стѣсняютъ ея въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія, полной osobности и самостоятельности.

Словомъ, у Печоринныхъ есть воля безъ знанія, у Рудинныхъ — знанье безъ воли; у Базаровыхъ есть и знанье, и воля. Мысль и дѣло сливаются въ одно твердое цѣлое.

V.

До сихъ поръ я говорилъ объ общемъ жизненномъ явленіи, вызванномъ собою романъ Тургенева; теперь надо посмотрѣть, какъ это явленіе отразилось въ художественномъ произведеніи. Узнавши, что такое Базаровъ, мы должны обратить вниманіе на то, какъ понимаетъ этого Базарова самъ Тургеневъ, какъ онъ заставляетъ его дѣйствовать, и въ какія отношенія ставитъ его къ окружающимъ людямъ. Словомъ, я приступаю теперь къ подробному, фактическому разбору романа.

Я сказалъ выше, что Базаровъ прѣзжаетъ въ деревню къ своему пріятелю, Аркадію Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его вліянію. Аркадій Николаевичъ молодой человѣкъ не глупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающійся въ чьей нибудь интеллектуальной поддержкѣ. Онъ, вѣроятно, лѣтъ на пять моложе Базарова, и въ сравненіи съ нимъ кажется совершенно неоперившимся птенцомъ, не смотря на то, что ему около двадцати трехъ лѣтъ и что онъ кончилъ курсъ въ университетѣ. Благоговѣя передъ своимъ учителемъ, Аркадій съ наслажденіемъ отripаеъ авторитеты; онъ дѣлаеъ это съ чужаго голоса, не замѣчая такимъ образомъ внутренняго противорѣчія въ своемъ поведеніи. Онъ слишкомъ слабъ, чтобы держаться самостоятельно въ той холодной атмосферѣ трезвой разумности, въ которой такъ привольно дышется Базарову; онъ принадлежитъ къ разряду людей вѣчно опеваемыхъ, и вѣчно не замѣчающихъ надъ собою опеки. Базаровъ относится къ нему покровительственно, и почти всегда насмѣшливо; Аркадій часто спорить съ нимъ, и въ этихъ спорахъ Базаровъ даеъ полную волю своему увѣсистому юмору. Аркадій не любитъ своего друга, а какъ то невольно подчиняется неотразимому вліянію сильной личности и при томъ воображаеъ себѣ, что глубоко сочувствуетъ базаровскому міросозерцанію. Отношенія его къ Базарову чисто головныя, сдѣланныя на заказъ; онъ познакомился съ нимъ гдѣ нибудь въ студенческомъ кругу, заинтересовался цѣльностью его воззрѣній, покорился его силѣ, и вообразилъ себѣ, что онъ его глубоко уважаеъ и отъ души любитъ. Базаровъ, конечно, ничего не вообразилъ и, нисколько не стѣсняя себя, позволилъ своему новому провѣдиту любить его, Базарова, и поддерживать съ нимъ постоянныя отношенія. Поѣхалъ онъ съ нимъ въ деревню, не для того, чтобы доставить ему удовольствіе, и не для того, чтобы познакомиться съ семействомъ своего нарѣченного друга, а просто потому, что это было по дорогѣ, да и, наконецъ, отчего же не пожить недѣли двѣ въ гостяхъ у порядочнаго человѣка, въ деревнѣ, лѣтомъ, когда нѣтъ никакихъ отвлекающихъ занятій и интересовъ.

Деревня, въ которую прѣѣхали наши молодые люди, принадлежать отцу и дядѣ Аркадія. Отецъ его, Николай Петровичъ Кирсановъ — человѣкъ лѣтъ сорока съ небольшимъ; по складу характера онъ очень похожъ на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убѣжденіями и природными наклонностями гораздо больше соответствія и гармоніи, чѣмъ у Аркадія. Какъ человѣкъ мягкій, чувствительный и даже сентиментальный, Николай Петровичъ не порывается къ рационализму и успокаивается на такомъ міросозерцаніи, которое даеъ нишу его воображенію и пріятно щекочетъ его нравственное чувство. Аркадій, напротивъ того, хочетъ быть сыномъ своего вѣка и напавляетъ на себя идеи Базарова, которыя рѣшительно не могутъ съ

нимъ спрестись. Онъ—самъ по себѣ, а идеи—сами по себѣ болтаются, какъ шкуртукъ взрослого человѣка, надѣтый на десятилѣтняго ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается въ мальчикахъ, когда его шути производятъ въ большіе, даже эта радость, говорю я, замѣтна въ нашемъ юномъ мыслителѣ съ чужаго голоса. Аркадій щеголяетъ своими идеями, старается обратить на нихъ вниманіе окружающихъ, думаетъ про себя: вотъ я какой молодецъ и увѣ, какъ дитя малое, неразумное, иногда провирается и доходитъ до явнаго противорѣчія съ самимъ собою и съ накладными своими убѣжденіями.

Дядя Аркадія, Павелъ Петровичъ, можетъ быть названъ Печориннымъ маленькимъ развѣровъ; онъ на своемъ вѣку пожуривалъ и подурачился, и наконецъ все ему надобло; пристроиться ему не удалось, да это и не было въ его характерѣ; добравшись до той поры, когда, по выраженію Тургенева, сожалѣнія похожи на надежды, и надежды похожи на сожалѣнія, бывший левъ удалился къ брату въ деревню, окружилъ себя изыщнымъ комфортомъ, и превратилъ свою жизнь въ спокойное прозябаніе. Выдающимся воспоминаніемъ изъ прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное чувство къ одной великосвѣтской женщинѣ, чувство, доставившее ему много наслажденій, и въ слѣдъ за тѣмъ, какъ бываетъ почти всегда, много страданій. Когда отношенія Павла Петровича къ этой женщинѣ оборвались, то жизнь его совершенно опустѣла.

«Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на мѣсто, говорить Тургеневъ; онъ еще выѣзжалъ, онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣка, онъ могъ похвастаться двумя, тремя новыми побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя, ни отъ другихъ, и ничего не предпринималъ; онъ состарѣлся, посѣдѣлъ; сидѣть по вечерамъ въ клубѣ, желчно скучать, равнодушно поспортить въ холостомъ обществѣ, стало для него потребностью — знакъ, какъ извѣстно, плохой. О женитбѣ онъ, разумѣется, и не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ, безцвѣтно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи: въ тюрьмѣ, говорятъ, оно бѣжитъ еще скорѣе.» Какъ человѣкъ желчный и страстный, одаренный гибкимъ умомъ и сильною волею, Павелъ Петровичъ рѣзко отличается отъ своего брата и отъ племянника. Онъ не поддается чужому вліянію, онъ самъ подчиняетъ себѣ окружающія личности и неавидитъ тѣхъ людей, въ которыхъ встрѣчаетъ себѣ отпоръ. Убѣжденъ у него, по правдѣ сказать, не имѣется, но за то есть привычки, которыми онъ очень дорожитъ. Онъ, по привычкѣ, толкуетъ о правахъ и обязанностяхъ аристократіи, и по привычкѣ доказываетъ въ спорахъ необходимость примасоваго. Онъ привыкъ къ тѣмъ идеямъ, которыхъ держится общество, и стоитъ за эти идеи, какъ за свой комфортъ. Онъ терпѣть не можетъ, чтобы кто набудъ опровергалъ эти понятія, хотя въ сущ-

ности онъ не питаетъ къ нимъ никакой сердечной привязанности. Онъ гораздо энергичнѣе своего брата спорить съ Базаровымъ, а между тѣмъ Николай Петровичъ гораздо искреннѣе страдаетъ отъ его безпощаднаго отрицанія. Въ глубинѣ души Павелъ Петровичъ такой же скептикъ и эмпирикъ, какъ и самъ Базаровъ; въ практической жизни онъ всегда поступалъ и поступаетъ, какъ ему вздумается, но въ области мысли онъ не умѣетъ признаться въ этомъ передъ самимъ собою, и потому поддерживаетъ на словахъ такія доктрины, которыми постоянно противорѣчатъ его поступки. Дядѣ и племяннику слѣдовало бы помѣняться между собою убѣжденіями, потому что первый ошибочно приписываетъ себѣ вѣру въ *принципы*, второй точно также ошибочно воображаетъ себя крайнимъ скептикомъ и смѣлымъ рационалистомъ. Павелъ Петровичъ начинаетъ чувствовать къ Базарову сильнѣйшую антипатію съ перваго знакомства. Плебейскія манеры Базарова возмущаютъ отставнаго дѣнди; самоувѣренность и нецеремонность его раздражаютъ Павла Петровича, какъ недостатокъ уваженія въ его изящной особѣ. Павелъ Петровичъ видитъ, что Базаровъ не уступитъ ему преобладанія надъ собою, и это возбуждаетъ въ немъ чувство досады, за которое онъ хватывается, какъ за развлеченіе среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самаго Базарова, Павелъ Петровичъ возмущается всѣми его мнѣніями, придирается къ нему, насильно вызываетъ его на споръ, и спорить съ тѣмъ рьянымъ увлеченіемъ, которое обыкновенно обнаруживаютъ люди праздные и скучающіе.

А что же дѣлаетъ Базаровъ среди этихъ трехъ личностей? Вопервыхъ, онъ старается обращать на нихъ какъ можно меньше вниманія и большую часть своего времени проводить за работою; шляется по окрестностямъ, собираетъ растенія и насѣкомыхъ, рѣжетъ лягушекъ и занимается микроскопическими наблюденіями; на Аркадія онъ смотритъ, какъ на ребенка, на Николая Петровича какъ на добродушнаго старичка, или, какъ онъ выражается, на старенькаго романтика. Къ Павлу Петровичу онъ относится не совсѣмъ дружелюбно; его возмущаетъ въ немъ элементъ барства, но онъ невольно старается скрывать свое раздраженіе подъ видомъ презрительнаго равнодушія. Ему не хочется сознаться передъ собою, что онъ можетъ сердиться на «уѣднаго аристократа», а между тѣмъ страстная натура беретъ свое; онъ часто запальчиво возражаетъ на тирады Павла Петровича и не вдругъ успѣваетъ овладѣть собою и замкнуться въ свою насмѣшливую холодность. Базаровъ не любитъ ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павелъ Петровичъ отчасти обладаетъ умѣньемъ вызвать его на многозначительный разговоръ. Эти два сильные характера дѣйствуютъ другъ на друга враждебно; видя этихъ двухъ людей лицомъ къ лицу, можно себѣ представить борьбу, происходящую между двумя поколѣніями, непосредственно сдѣлающимися

одно за другимъ. Николай Петровичъ, конечно, не способенъ быть угнетателемъ, Аркадій Николаевичъ, конечно, неспособенъ вступить въ борьбу съ семейнымъ деспотизмомъ; но Павелъ Петровичъ и Базаровъ могли бы, при извѣстныхъ условіяхъ, явиться яркими представителями, первый—сковывающей, леденящей силы прошедшаго, второй—разрушительной, освобождающей силы настоящаго.

На чьей же сторонѣ лежатъ симпатіи художника? Кому онъ сочувствуетъ? На этотъ существенно важный вопросъ можно отвѣчать положительно, что Тургеневъ не сочувствуетъ вполнѣ ни одному изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ; отъ его анализа не ускользаетъ ни одна слабая или смѣшная черта; мы видимъ, какъ Базаровъ завирается въ своемъ отрицаніи, какъ Аркадій наслаждается своею развитостью, какъ Николай Петровичъ робѣетъ, какъ пятнадцатилѣтній юноша, и какъ Павелъ Петровичъ рисуется и злится, зачѣмъ на него не любитъ Базаровъ, единственный человѣкъ, котораго онъ уважаетъ въ самой ненависти своей.

Базаровъ завирается—это, къ сожалѣнію, справедливо. Онъ съ плеча отрицаетъ вещи, которыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поэзія, по его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина—потерянное время; заниматься музыкою—смѣшно, наслаждаться природою—нелѣпо. Очень можетъ быть, что онъ, человѣкъ затертый трудовою жизнью, потерялъ или не успѣлъ развить въ себѣ способность наслаждаться пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ, но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ разумное основаніе отрицать или осмѣивать эту способность въ другихъ. Выкраивать другихъ людей на одну мѣрку съ собою значить впадать въ узкій умственный деспотизмъ. Отрицать совершенно произвольную или другую естественную и дѣйствительно существующую въ человѣкѣ потребность или способность—значить удалаться отъ чистаго эмпиризма.

Увлечение Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первыхъ, односторонностью развитія, во-вторыхъ, общимъ характеромъ эпохи, въ которую намъ пришлось жить. Базаровъ основательно знаетъ естественныя и медицинскія науки; при ихъ содѣйствіи онъ выбилъ изъ своей головы всякіе предрасудки; затѣмъ, онъ остался человѣкомъ крайне необразованнымъ; онъ слыхалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, не потрудился подумать, и съ плеча произнесъ приговоръ надъ незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна намъ вообще; она имѣетъ свои хорошія стороны, какъ умственная смѣлость, но за то, конечно, приводитъ порою къ грубымъ ошибкамъ. Общій характеръ эпохи заключается въ практическомъ направленіи; мы всѣ хотимъ жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормить. Люди очень энергическіе часто преувеличиваютъ тенденціи, господствующія въ обществѣ; на этомъ основаніи, слишкомъ неразборчивое отрицаніе Базарова и самая односторонность его развитія стоятъ въ прямой связи

съ преобладающими стремлениями къ осязательной пользѣ. Намъ надобно были фразы гегелистовъ, у насъ захрустѣла голова отъ витанія въ облачныхъ высяхъ и многіе изъ насъ, отрезвившись и спустившись на землю, ударились въ крайность, и, изгоняя мечтательность, вмѣстѣ съ нею стали преслѣдовать простыя чувства и даже чисто физическія ощущенія, въ родѣ наслажденія музыкою. Большаго вреда въ этой крайности нѣтъ, но указать на нее не мѣшаетъ и назвать ее смѣшиною вовсе не значить стать въ ряды обскурантовъ и старенькихъ романтиковъ. Многіе изъ нашихъ реалистовъ возстанутъ на Тургенева за то, что онъ не сочувствуетъ Базарову и не скрываетъ отъ читателя промаховъ своего героя; многіе изъявляютъ желаніе, чтобы Базаровъ былъ выведенъ чело-вѣкомъ образцовымъ, рыцаремъ мысли безъ страха и упрека, и что бы такимъ образомъ было доказано передъ лицомъ читающей публики несомнѣнное превосходство реализма надъ другими направленіями мысли. Да, реализмъ, по моему, вещь хорошая; но во имя этого же самаго реализма, не будемъ же идеализировать ни себя, ни нашего направленія. Мы смотримъ холодно и трезво на все, что насъ окружаетъ; посмотримъ же точно также холодно и трезво на самихъ себя; кругомъ чужь и глушь, да и у насъ самихъ не богъ знаетъ, какъ свѣтло. Отрицаемое недѣло, да и отрицатели тоже дѣлаютъ порою капитальныя глупости; они все-таки стоятъ неизмѣримо выше отрицаемаго, но тутъ еще честь больно девелика; стоять выше вопіющей недѣлости не значить еще быть гедіальнымъ мыслителемъ. Но мы, пишущіе и говорящіе реалисты, теперь слишкомъ увлечены умственной борьбою минуты, горячими схватками съ отсталыми идеалистами, съ которыми по настоящему не стоило бы даже спорить, мы, говорю я, слишкомъ увлечены, чтобы скептически отнестись къ самимъ себѣ и провѣрить строгимъ анализомъ, не прои-раемся ли мы въ пылу діалектическихъ сраженій, совершающихся въ журнальныхъ книжкахъ и во вседневной жизни. Къ намъ отнесутся скептически наши дѣти, или, можетъ быть, мы сами узнаемъ себѣ со временемъ настоящую цѣну, и посмотримъ à vol d'oiseau на теперешнія любимыя идеи. Тогда мы будемъ смотрѣть съ высоты настоящаго на прошедшее; Тургеневъ же теперь смотритъ на настоящее съ высоты прошедшаго. Онъ не идетъ за нами; онъ спокойно смотритъ намъ въ слѣдъ, описываетъ нашу походку, рассказываетъ намъ, какъ мы ускоряемъ шаги, какъ прыгаемъ черезъ рытвины, какъ порою спотыкаемся на неровныхъ мѣстахъ дороги.

Въ тонѣ его описанія не слышно раздраженія; онъ просто усталъ идти; развитіе его личнаго міросозерцанія окончилось, но способность наблюдать за движеніемъ чужой мысли, понимать и воспроизводить все ея изгибы, осталась во всей своей свѣжести и полнотѣ. Тургеневъ самъ никогда не будетъ Базаровымъ, но онъ думался въ этотъ типъ и де-

наш его такъ вѣрно, какъ не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ. Авторъ пронайденаго нѣтъ въ романѣ Тургенева. Авторъ «Рудина» и «Аси», разоблачившій слабости своего поколѣнія, и отрывшій въ «Запискахъ Охотника» цѣлый міръ отечественныхъ дилеттантовъ, дѣлавшихся на главахъ этого самого поколѣнія, остался вѣронъ себѣ и не покривилъ душою въ своемъ послѣднемъ произведеніи. Представители прошлаго, «отцы», изображены съ безпощадною вѣрностью; они люди хорошие, но объ этихъ хорошихъ людяхъ не поможешь Россіи; въ нихъ нѣтъ ни одного элемента, который дѣйствительно стоялъ бы спасать отъ могилы и отъ забвенія, а между тѣмъ есть и такіе моменты, когда этимъ отцамъ можно полнѣе сочувствовать, чѣмъ самому Базарову. Когда Николай Петровичъ любуется вечернимъ пейзажемъ, тогда онъ всякому непредубѣжденному читателю покажется жалкимъ и Базарова, голосовою отрицающаго красоту природы.

— И природа пустыя? проговорилъ Аркадій, задумчиво глядя вдаль на нестрыя поля, красиво и мягко освѣщенныя уже немощнымъ солнцемъ.

— И природа пустыя въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человекъ въ ней работникъ.

Въ этихъ словахъ у Базарова отрицаніе превращается въ что-то искусственное и даже перестаетъ быть послѣдовательнымъ. Природа — мастерская, и человекъ въ ней — работникъ, — съ этою мыслью я готовъ согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никакъ не прихожу къ тѣмъ результатамъ, въ которыхъ приходитъ Базаровъ. Работнику надо отдыхать, и отдыхъ не можетъ ограничиться однимъ тяжелымъ спомъ послѣ утомительнаго труда. Человеку необходимо освѣжаться пріятными впечатлѣніями, и жизнь безъ пріятныхъ впечатлѣній, даже при удовлетвореніи всѣхъ насущныхъ потребностей, превращается въ невыносимое страданіе. Послѣдовательные материалисты, въ родѣ Карла Фокса, Моленшота и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чашкѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ употребленіи наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно даже на нарушенія должной мѣры, хотя признають подобныя нарушенія вредными для здоровья. Еслибы работникъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы въ свободные часы лежать на спинѣ и глядѣть на стѣны и потолокъ своей мастерской, то тѣмъ болѣе всякій вразумляющій человекъ сказалъ бы ему: глазѣй, любезный другъ, глазѣй, сколько дунѣй угодно; здоровью твоему это не повредитъ, а въ рабочее время ты глазѣть не будешь, чтобы не надѣлать промаховъ. Отчего же, допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не допустить наслажденія красотою природы, мягкимъ воздухомъ, свѣжею зеленью, вѣжными переливами контуровъ и красота? Преслѣдуя романтическую, Базаровъ съ неавторитетною подозрительностью ищетъ его тамъ,

гдѣ его никогда и не бывало. Вооружась противъ идеализма и разбивая его воздушные замки, онъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и тѣмъ ему наслаждаться, и къ какой мѣрѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природою—все равно, что сказать ему: умерь свой плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій. Многие возразятъ на это, что мы живемъ въ такое тяжелое время, въ которомъ еще нечего думать о наслажденіи; наше дѣло, скажутъ они, работать, искоренять зло, сдѣлать добро, расчищать мѣсто для великаго зданія, въ которомъ будутъ нравить наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласенъ съ тѣмъ, что мы поставлены въ необходимость работать для будущаго, потому что плоды всѣхъ нашихъ начинаній могутъ созрѣть только въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій; цѣль наша, положимъ, очень возвышенная, но эта возвышенность дѣли представляетъ очень слабое утѣшеніе въ житейскихъ передрыгкахъ. Человѣку усталому и измученному врядъ ли станетъ весело и пріятно отъ той мысли, что его прапраправнукъ будетъ жить въ свое удовольствіе. Въ тяжелыя минуты жизни утѣшаться возвышенностью дѣла—это, воля ваша, все равно, что пить неподслащенный чай, поглядывая на кусокъ сахара, привѣшенный къ потолку. Людямъ, не обладающимъ чрезмѣрною пылкостью воображенія, чай не покажется вкуснѣе отъ этихъ тоскливыхъ взглядовъ къверху. Точно также жизнь, состоящая изъ однихъ трудовъ, окажется не по вкусу и не по силамъ современному человѣку. Поэтому, съ какой точки зрѣнія вы не посмотрите на жизнь, а все-таки выдетъ на повѣрку, что наслажденіе рѣшительно необходимо. Одни посмотрятъ на наслажденіе, какъ на конечную цѣль; другіе принуждены будутъ признать въ наслажденіи важнѣйшій источникъ силъ, необходимыхъ для работы. Въ этомъ будетъ заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.

И такъ, Тургеневъ никому и ничему въ своемъ романѣ не сочувствуетъ вполнѣ. Если бы сказать ему: «Иванъ Сергѣевичъ, вамъ Базаровъ не нравится, чего же вамъ угодно?»,—то онъ на этотъ вопросъ не отвѣтилъ бы ничего. Онъ никакъ не пожелалъ бы молодому поколѣнію сойтись съ отцами въ понятіяхъ и влеченіяхъ. Его не удовлетворяютъ ни отцы, ни дѣти, и въ этомъ случаѣ его отрицаніе глубже и серьезнѣе отрицанія тѣхъ людей, которые, разрушая то, что было до нихъ, воображаютъ себѣ, что они — соль земли и чистѣйшее выраженіе полной человѣчности. Въ разрушеніи своемъ эти люди, можетъ быть, правы, но въ наивномъ самообожаніи, или въ обожаніи того типа, къ которому они себя причисляютъ, заключается ихъ ограниченность и односторон-

ность. Такихъ формъ, такихъ типовъ, на которыхъ дѣйствительно можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала, и, можетъ быть, никогда не выработаетъ жизнь. Тѣ люди, которые, отдаваясь въ полное распоряженіе какой бы то ни было господствующей теоріи, отказываются отъ своей умственной самостоятельности и замѣняютъ критику подобострастнымъ поклоненіемъ, оказываются людьми увлеченными, безсильными и часто вредными. Поступить такимъ образомъ способенъ Аркадій, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно въ этомъ свойствѣ ума и характера заключается вся обаятельная сила тургеневскаго героя. Эту обаятельную силу понимаетъ и признаетъ авторъ, несмотря на то, что самъ онъ ни по темпераменту, ни по условіямъ развитія не сходится съ своимъ нигилистомъ. Скажу больше: общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ рабскаго поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго. Тургеневъ не любитъ безпощаднаго отрицанія, и между тѣмъ личность безпощаднаго отрицателя выходитъ личностью сильною, и внушаетъ каждому читателю невольное уваженіе. Тургеневъ склоненъ къ идеализму, а между тѣмъ ни одинъ изъ идеалистовъ, введенныхъ въ его романъ, не можетъ сравниться съ Базаровымъ ни по силѣ ума, ни по силѣ характера. Я увѣренъ, что многіе изъ нашихъ журнальныхъ критиковъ захотятъ, во что бы то ни стало увидать въ романѣ Тургенева затаенное стремленіе унижить молодое поколѣніе и доказать, что дѣти хуже родителей, но я точно также увѣренъ въ томъ, что непосредственное чувство читателей, не скованныхъ обязательными отношеніями къ теоріи, оправдаетъ Тургенева, и увидитъ въ его произведеніи не диссертацию на заданную тему, а вѣрную, глубоко прочувствованную, и безъ малѣйшей утайки нарисованную картину современной жизни. Если бы на тургеневскую тему написать какой нибудь писатель, принадлежащій къ нашему молодому поколѣнію, и глубоко сочувствующій базаровскому направленію, тогда, конечно, картина вышла бы не такая, и краски были бы положены иначе. Базаровъ не былъ бы угловатымъ бурсакомъ, господствующимъ надъ окружающими людьми естественною силою своего здороваго ума; онъ, можетъ быть, превратился бы въ воплощеніе тѣхъ идей, которыя составляютъ сущность этого типа; онъ, можетъ быть, представилъ бы намъ въ своей личности яркое выраженіе тенденцій автора, но врядъ ли онъ былъ бы равенъ Базарову въ отношеніи къ жизненной вѣрности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художникъ говорилъ бы своимъ произведеніемъ, обращаясь къ сверстникамъ: «вотъ, друзья мои, тѣмъ долженъ быть развитый человѣкъ! Вотъ конечная цѣль нашихъ стремленій!» Что же касается до Тургенева, то онъ просто и спокойно

говорить: «вот какіе бываютъ теперь молодые люди!» и при этомъ не скрываетъ даже того обстоятельства, что ему такіе молодые люди не совсѣмъ нравятся.—Какъ же это можно, закричать многіе изъ нашихъ современникъ критикъ и публицистъ, это обскурантизмъ!—Господа, можно было бы отвѣтить имъ, да что вамъ за дѣло до личнаго ощущенія Тургенева. Нравятся, или не нравятся ему такіе люди,—это дѣло вѣуса; вотъ если бы онъ, несочувствуя типу, клеветалъ бы на него, тогда каждый честный человѣкъ имѣлъ бы право вывести его на свѣжую воду, но подобной клеветы вы не найдете въ романѣ; даже угловатости Базарова, на которыя я уже обращалъ вниманіе читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни, и составляютъ, если не существенно необходимое, то по крайней мѣрѣ очень часто встрѣчающееся свойство людей базаровскаго типа. Намъ, молодымъ людямъ, было бы, конечно, пріятнѣе, если бы Тургеневъ скрылъ и опростилъ неграціозныя шероховатости; но я не думаю, чтобы, петворствуя такимъ образомъ нашимъ прихотливымъ желаніямъ, художникъ могъ бы охватить бы явленія дѣйствительности. Со стороны виднѣе достоинства и недостатки, и потому строго-критическій взглядъ на Базарова со стороны въ настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнѣе, чѣмъ голословное восхищеніе или работѣнное обожаніе. Взглянувъ на Базарова со стороны, взглянувъ такъ, какъ можетъ смотрѣть только человѣкъ «отставной», не причастный къ современному движенію идей, рассмотрѣвъ его тѣмъ холоднымъ, испытующимъ взглядомъ, который дается только долгимъ опытомъ жизни, Тургеневъ оправдалъ Базарова и оцѣнилъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ изъ испытанія чистымъ и крѣпкимъ. Противъ этого типа Тургеневъ не нашелъ ни одного существеннаго обвиненія, и въ этомъ случаѣ его голосъ, какъ голосъ человѣка, находящагося по лѣтамъ и по взгляду на жизнь въ другомъ лагерѣ, имѣетъ особенно важное, рѣшительное значеніе. Тургеневъ не полюбилъ Базарова, но призналъ его силу, призналъ его перевѣсъ надъ окружающими людьми, и самъ принесъ ему полную дань уваженія.

Этого слишкомъ достаточно для того, чтобы снять съ романа Тургенева всякій, могущій возникнуть упрекъ въ отсталости направленія; этого достаточно даже для того, чтобы признать его романъ практически полезнымъ для настоящаго времени.

VI.

Отношенія Базарова къ его товарищу бросаютъ яркую полосу свѣта на его характеръ; у Базарова нѣтъ друга, потому что онъ не встрѣчалъ еще человѣка, «который бы не спасовалъ передъ нимъ»; Базаровъ одинъ,

самъ по себѣ, стоитъ на холодной высотѣ трезвой мысли, и ему тяжело это одиночество; онъ весь поглощенъ собою и работою; наблюденія и изслѣдованія надъ живою природою, наблюденія и изслѣдованія надъ живыми людьми наполняютъ для него пустоту жизни и застраховываютъ его противъ скуки. Онъ не чувствуетъ потребности въ какомъ-нибудь другомъ человѣкѣ отыскать себѣ сочувствіе и пониманіе; когда ему приходитъ въ голову какая-нибудь мысль, онъ просто высказываетъ, не обращая вниманія на то, согласны ли съ его мнѣніемъ слушатели, и пріятно ли дѣйствуютъ на нихъ его идеи. Чаще всего онъ даже не чувствуетъ потребности высказаться; думаетъ про себя, и нрѣдка ро-няетъ бѣглое замѣчаніе, которое обыкновенно съ почтительною жадностью подхватываютъ прозелиты и итены, подобные Арвадію. Личность Базарова замыкается въ самой себѣ, потому что внѣ ея и вокругъ нея почти вовсе нѣтъ родственныхъ ей элементовъ. Эта замкнутость Базарова тяжело дѣйствуетъ на тѣхъ людей, которые желали бы отъ него нѣжности и общительности, но въ этой замкнутости нѣтъ ничего искусственного и преднамѣреннаго. Люди, окружающіе Базарова, ничтожны въ умственномъ отношеніи и никакимъ образомъ не могутъ расшевелить его, поэтому онъ и молчитъ, или говоритъ отрывочные афоризмы, или обрываетъ начатый споръ, чувствуя его смѣшную бесполезность. Посадите взрослого человѣка въ одну комнату съ дюжиною ребятъ, и вы вѣроятно не найдете удивительнымъ, если этотъ взрослый не станетъ говорить съ своими товарищами по мѣсту жительства о своихъ человѣческихъ, гражданскихъ и научныхъ убѣжденіяхъ. Базаровъ не важничаетъ передъ другими, не считаетъ себя гениальнымъ человѣкомъ, непонятнымъ для своихъ современниковъ или соотечественниковъ; онъ просто принужденъ смотрѣть на своихъ знакомыхъ сверху внизъ, потому что эти знакомые приходятъ ему по колѣно; чтожъ ему дѣлать? Вѣдь не садиться же ему на полъ для того, чтобы сравняться съ ними въ ростѣ? Не прикидываться же ребенкомъ для того, чтобы дѣлать съ ребятами ихъ недозрѣлыя мысленки. Онъ поневолѣ остается въ уединеніи, и это уединеніе не тяжело для него потому, что онъ молодъ, крѣпокъ, занятъ кипучею работою собственной мысли. Процессъ этой работы остается въ тѣни; сомнѣваюсь, чтобы Тургеневъ былъ въ состояніи передать намъ описаніе этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его въ своей головѣ, надо самому быть Базаровымъ, а съ Тургеневымъ этого не случилось, за это можно поручиться, потому что кто въ жизни своей хотя одинъ разъ, хоть въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ смотрѣлъ на вещи глазами Базарова, тотъ остается нигилистомъ на весь свой вѣкъ. У Тургенева мы видимъ только результаты, къ которымъ пришелъ Базаровъ, мы видимъ внѣшнюю сторону явленія, т. е. слышимъ, что говоритъ Базаровъ и узнаемъ, какъ онъ поступаетъ въ жизни, какъ обращается съ

разными людьми. Психологическаго анализа, связнаго перетя мислей Базарова мы не находимъ; мы можемъ только отгадывать, что онъ думалъ, и какъ формулировалъ передъ самимъ собою свои убѣжденія. Не посвящая читателя въ тайны умственной жизни Базарова, Тургеневъ можетъ возбудить недоумѣніе въ той части публики, которая не привыкла трудомъ собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано въ произведеніи писателя. Невнимательный читатель можетъ подумать, что у Базарова нѣтъ внутренняго содержанія, и что весь его нигилизмъ состоитъ изъ сплетенія смѣлыхъ фразъ, выхваченныхъ изъ воздуха и не выработанныхъ самостоятельнымъ мышленіемъ. Можно сказать положительно, что самъ Тургеневъ не такъ понимаетъ своего героя, и только потому не слѣдитъ за постепеннымъ развитіемъ и созрѣваніемъ его идей, что не можетъ и не находитъ удобнымъ передавать мысли Базарова такъ, какъ онѣ представляются его уму. Мысли Базарова выражаются въ его поступкахъ, въ его обращеніи съ людьми; онѣ просвѣчиваютъ, и ихъ разглядѣть не трудно, если только читать внимательно, группировать факты и отдавая себѣ отчетъ въ ихъ причинахъ.

Два эпизода окончательно дорисовываютъ эту замѣчательную личность: во-первыхъ, отношенія его къ женщинѣ, которая ему нравится; во-вторыхъ, — его смерть.

Я рассмотрю и то и другое, но сначала считаю нелишнимъ обратить вниманіе на другія, второстепенныя подробности.

Отношенія Базарова къ его родителямъ могутъ однихъ читателей predispose противъ героя, другихъ — противъ автора. Первые, увлекаясь чувствительнымъ настроеніемъ, упрекнутъ Базарова въ черствости; вторые, увлекаясь привязанностью къ базаровскому типу, упрекнутъ Тургенева въ несправедливости къ своему герою, и въ желаніи выставить его съ невыгодной стороны. И тѣ, и другіе, по моему мнѣнію, будутъ совершенно неправы. Базаровъ, дѣйствительно, не доставляетъ своимъ родителямъ тѣхъ удовольствій, которыхъ эти добрые старики ожидаютъ отъ его пребыванія съ ними, во между нимъ и его родителями нѣтъ ни одной точки соприкосновенія.

Отецъ его — старый уѣздный лѣкарь, совершенно опустившійся въ безцвѣтной жизни бѣднаго помѣщика; мать его — дворяночка стараго покроя, вѣрящая во всѣ примѣты и умѣющая только отлично готовить кушанье. Ни съ отцомъ, ни съ матерью Базаровъ не можетъ ни поговорить такъ, какъ онъ говоритъ съ Аркадіемъ, ни даже поспорить такъ, какъ онъ споритъ съ Павломъ Петровичемъ. Ему съ ними скучно, пусто, тяжело. Жить съ ними подъ одною кровлею онъ можетъ только съ тѣмъ условіемъ, чтобы они не мѣшали ему работать. Имъ это, конечно, тяжело; ихъ онъ запугиваетъ, какъ существо изъ другаго міра, но ему-то что жъ съ этимъ дѣлать? Вѣдь это было бы безжалостно въ отношеніи

къ самому себѣ, если бы Базаровъ захотѣлъ посвятить два, три мѣсяца на то, чтобы потѣшить своихъ стариковъ; для этого ему надо было бы отложить въ сторону всякія занятія и цѣлыми днями просиживать съ Василиемъ Ивановичемъ, и съ Арнономъ Власьевномъ, которые на радостяхъ болтали бы всякій вздоръ, приплетая каждый по своему и уѣздныя смелки, и городскія слухи, и замѣчанія объ урожаѣ, и рассказы какой нибудь юродивой, и латинскія сентенціи изъ стараго медицинскаго трактата. Человѣкъ молодой, энергическій, полный своею личною жизнью не выдержалъ бы двухъ дней подобной идилліи, и, какъ угорѣлый, вырвался бы изъ этого тихаго уголка, гдѣ его такъ любятъ, и гдѣ ему такъ страшно надоѣдаютъ. Не знаю, хорошо ли бы себя почувствовали старики Базаровы, если бы, послѣ двухъ-суточного блаженства, они услышали отъ своего ненагляднаго сына, что непредвидѣнные обстоятельства принуждаютъ его уѣхать. Не знаю вообще, какимъ образомъ Базаровъ могъ бы вполнѣ удовлетворить требованіямъ своихъ родителей, не отказываясь совершенно отъ своего личнаго существованія. Если же, такъ или иначе, ему непремѣнно пришлось бы оставить ихъ неудовлетворенными, тогда не изъ чего было возбуждать въ нихъ такія надежды, которыя не могли осуществиться. Когда два человѣка, любящіе другъ друга или связанные между собою какими нибудь отношеніями, расходятся между собою въ образованіи, въ идеяхъ, въ наклонностяхъ и привычкахъ, тогда разладъ и страданіе той или другой стороны, а иногда обѣихъ вмѣстѣ, дѣлаются до такой степени неизбежными, что становится даже бесполезнымъ хлопотать объ ихъ устраненіи. Но родители Базарова страдаютъ отъ этого разлада, а Базаровъ и въ усь не дуетъ; это обстоятельство естественно располагаетъ сострадающаго читателя въ пользу стариковъ; иной скажетъ даже: зачѣмъ онъ ихъ мучаетъ? Вѣдь они его такъ любятъ!—А зачѣмъ же, позвольте васъ спросить, онъ ихъ мучаетъ? Тѣмъ что ли, что онъ не вѣритъ въ примѣты, или скучаетъ отъ ихъ болтовни? Да какъ же ему вѣрить-то, и какъ же не скучать? Если бы самый близкій мнѣ человѣкъ сокрушался бы отъ того, что во мнѣ слишкомъ два съ половиною, а не полтора аршина роста, то я при всемъ моемъ желаніи не могъ бы его утѣшить; вѣроятно даже я не сталъ бы утѣшать его, а просто пожалъ бы плечами и отошелъ въ сторону. Предвижу впрочемъ одно, довольно курьезное обстоятельство: если бы Базаровъ также страдалъ отъ невозможности сойтись съ своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы съ нимъ и посмотрѣли бы на него, какъ на несчастную жертву историческаго процесса развитія. Но Базаровъ не страдаетъ, и потому многіе на него накинута, и съ негодованіемъ назовутъ его безчувственнымъ человѣкомъ. Эти многіе очень дорожатъ красотою чувства, хотя эта красота не имѣетъ никакого практическаго значенія. Страданіе отъ разъединенія съ родителями кажется

ить чертой, необходимою для красоты чувства, и потому они требуют, чтобы Базаровъ страдалъ, не обращая вниманія на то, что это несколько не поправило бы дѣла, и что Василию Ивановичу и Аринѣ Власовѣ отъ этого никакъ не было бы легче. Если же отношенія Базарова къ его родителямъ могутъ повредить ему только во мнѣніи сострадательныхъ читателей, то Тургеневъ нельзя упрекнуть въ несправедливости или въ утрировкѣ, потому что тѣмъ людямъ, у которыхъ чувствительность беретъ рѣшительный перевѣсъ надъ критикою ума, вообще не понравится всѣ существенныя, основныя черты базаровскаго типа. Имъ не понравится ни трезвость мысли, ни безпощадность критики, ни твердость характера, не понравились бы имъ эти свойства даже въ томъ случаѣ, когда бы авторъ романа написалъ этимъ свойствамъ восторженный панегирикъ; слѣдовательно тутъ, какъ и вездѣ, не художественная обработка, а самый матеріалъ, самое явленіе дѣйствительности возбудило бы непріязненные чувства. Изображая отношенія Базарова къ старикамъ, Тургеневъ вовсе не превращается въ обвинителя, умышленно подбирающаго мрачныя краски; онъ остается по прежнему искреннимъ художникомъ и изображаетъ явленіе, какъ оно есть, не подслащая и не сгущая его по своему произволу. Самъ Тургеневъ, можетъ быть, по своему характеру подходитъ къ сострадательнымъ людямъ, о которыхъ я говорилъ выше; онъ порою увлекается сочувствіемъ къ наивной, почти не сознающей грусти старухи матери, и къ сдержанному, стыдливому чувству старика отца, увлекается до такой степени, что почти готовъ корить и обвинять Базарова; но въ этомъ увлеченіи нельзя исать ничего предвзятаго и расчитаннаго. Въ немъ сказывается только любящая натура самаго Тургенева, и въ этомъ свойствѣ его характера трудно найти что нибудь предосудительное. Тургеневъ не виноватъ въ томъ, что жалѣетъ бѣдныхъ, стариковъ, и даже сочувствуетъ ихъ непоправимому горю. Тургеневу не резонъ скрывать свои симпатіи въ угоду той или другой психологической или социальной теоріи. Эти симпатіи не заставляютъ его кривить душою и уродовать дѣйствительность, слѣдовательно, онъ не вредитъ ни достоинству романа, ни личному характеру художника.

VII.

Базаровъ съ Аркадіемъ отправляются въ губернский городъ, по приглашенію одного родственника Аркадія, и встрѣчаются съ двумя, въ высшей степени типичными личностями. Эти личности — юноша Ситниковъ и молодая дама Кукинина — представляютъ великолѣпно исполненную

париватуру безмозглаго прогрессиста и по русски эмансипированной женщины. Ситниковых и Кушниковых у насъ разведосъ въ послѣднее время безчисленное множество; хвататься чужихъ фразъ, неверовать чужую мысль и нарядиться прогрессистомъ теперь такъ же легко и выгодно, какъ при Петрѣ было легко и выгодно нарядиться европеемъ. Истинныхъ прогрессистовъ, т. е. людей дѣйствительно умныхъ, образованныхъ и добросовѣстныхъ у насъ очень немного; поработанныхъ и развитыхъ женщинъ еще того меньше, но за то не перечесть того несмѣтнаго количества разнокалиберной сволочи, которая тѣлится прогрессивными фразами, какъ модною венщицею, или драпируется въ нихъ, чтобы закрыть свои пошленькія поположенія. У насъ можно сказать, что всякій пустомеля смотритъ прогрессистомъ, дѣлаетъ въ передовые люди, создаетъ изъ чужихъ лоскутьевъ свою теорію, и даже часто ослѣпится заявить о ней въ литературѣ. «Русскій Вѣстникъ» смотритъ на это обстоятельство съ сердечнымъ прискорбіемъ, которое часто переходитъ въ крикливое негодованіе. Это крикливое негодованіе вызываетъ себя отпоръ.

— Что вы дѣлаете? говорятъ многіе Русскому Вѣстнику, вы ругаете прогрессистовъ, вы вредите дѣлу и идеѣ прогресса. Русскій Вѣстникъ вѣроятно съ особеннымъ наслажденіемъ принялъ на свои страницы тѣ сцены романа Тургенева, въ которыхъ дѣйствуютъ Ситниковъ и Кушнина: вотъ, думаетъ онъ, всѣ псевдо-прогрессисты съ ужасомъ и съ отвращеніемъ оглянутся на самихъ себя! Многіе изъ литературныхъ противниковъ Русскаго Вѣстника съ ожесточеніемъ навинутся на Тургенева за эти сцены.—Онъ осмѣиваетъ нашу святиню, закричатъ они съ неистовыми жестами, онъ идетъ противъ направленія вѣка, противъ свободы женщины. Этотъ споръ между сторонниками и противниками Русскаго Вѣстника, какъ вообще многіе литературные и нелитературные споры, вовсе не касается того предмета, по поводу котораго горячатся спорящія стороны. Какъ негодованіе Русскаго Вѣстника противъ Ситниковыхъ, такъ и негодованіе многихъ журналовъ противъ возгласовъ Русскаго Вѣстника не имѣютъ ни малѣйшаго смысла. Негодованіе противъ глупости и подлости вообще понятно, хотя впрочемъ оно такъ же плодотворно, какъ негодованіе противъ осенней сырости, или зимняго холода. Но негодованіе противъ той формы, въ которой выражается глупость или подлость, дѣлается уже совершенно нелѣпымъ. Ни правительственныя распоряженія, ни литературныя теоріи никогда не уничтожатъ глупыхъ и мелкихъ людей; эти глупые и мелкие люди надѣваются на себя тотъ или другой костюмъ, но никакой головной уборы не можетъ закрыть ихъ ослинныя уши. Чѣмъ бы ни былъ Ситниковъ—байронистомъ (вродѣ Грушницкаго), гегелистомъ (вродѣ Шамилова) или нигилистомъ (каковъ онъ и есть), онъ все-таки останется пошлымъ чело-

вѣномъ. Следовательно, не все ли равно, какъ онъ себя величаетъ — консерваторомъ или прогрессистомъ? Всего лучше то положеніе, которое дѣлаетъ глупаго человѣка по возможности безвреднымъ, а надо сказать правду, что глупый прогрессистъ принадлежитъ къ числу наиболѣе безвредныхъ созданий. Въ былые годы Ситниковъ былъ бы способенъ изъ удалства бить на почтовыхъ станціяхъ ямщиковъ; теперь онъ уже откажется себѣ въ этомъ удовольствіи, потому что это не принято, и потому что я-де прогрессистъ. Уже и это хорошо, и за то спасибо отечественному прогрессу. Противъ чего же тутъ негодовать, и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистомъ и дѣятелемъ? Кому это вредить? Кому отъ этого больно? Но только, конечно, надо знать Ситниковымъ ихъ настоящую цѣну, и не надо ожидать чудесъ гражданской и человѣческой доблести отъ такого общества, въ которомъ большая половина сама не знаетъ того, что она говоритъ, и чего хочетъ. Поэтому художникъ, рисующій передъ нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмѣивающій искаженія великихъ и прекрасныхъ идей, заслуживаетъ нашей полной признательности. Многія идеи сдѣлались ходячею монетою и, путешествуя изъ рукъ въ руки, потемнѣли и потерялись, какъ старый полтинникъ; на идею валить то, что принадлежитъ исключительно ея уродливому проявленію, то, что пристало въ ней случайно отъ прикосновенія грязныхъ рукъ; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявленіе во всей его уродливости, и такимъ образомъ строго отдѣлить основную сущность отъ произвольныхъ примѣсей. Между Кукшиной и эмансипаціею женщины нѣтъ ничего общаго, между Ситниковымъ и гуманными идеями XIX вѣка нѣтъ ни малѣйшаго сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порожденіемъ времени было бы въ высокой степени нелѣпо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше всего остальнаго ихъ умственного достоянія. Стало быть, какой же смыслъ будетъ имѣть негодованіе теоретиковъ противъ Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, если бы Тургеневъ представилъ русскую женщину, эмансипированную въ лучшемъ смыслѣ этого слова и молодого человѣка, проникнутаго высокими чувствами гуманности? Да вѣдь это было бы пріятное самообольщеніе! Это была бы сладкая ложь, и къ тому же, ложь, въ высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взялъ Тургеневъ красокъ для изображенія такихъ явленій, которыхъ нѣтъ въ Россіи и для которыхъ въ русской жизни нѣтъ ни почвы, ни простора? И какое значеніе имѣла бы эта произвольная выдумка? Вѣроятно возбудила бы въ нашихъ мужчинахъ и женщинахъ добродѣтельное желаніе подражать столь высокимъ образцамъ нравственного совершенства!... Нѣтъ, скажутъ противники Тургенева, пусть авторъ не выдумываетъ небывалыхъ явленій! Пусть онъ

только разрушаетъ старое, гнилое, и не трогаетъ тѣхъ идей, отъ которыхъ мы ожидаемъ обильныхъ, благотѣльныхъ результатовъ. Ахъ! да, это понятно; это значить: нашихъ не тронь! Да какъ же, господа, не трогать, если въ числѣ нашихъ много дрянн, если фирмой многихъ идей пользуются тѣ самые негодн, которые, за нѣсколько лѣтъ тому назадъ, были Чичиковыми, Новодревыми, Молчаливыми и Хлестаковыми? Неужели не трогать ихъ въ награду за то, что они перебѣжали на нашу сторону, неужели поощрять ихъ за ренегатство подобно тому, какъ въ Турціи поощряютъ за принятіе ислама? Нѣтъ, это было бы слишкомъ наивно. Мнѣ кажется, идеи нашего времени слишкомъ сильны своимъ собственнымъ внутреннимъ значеніемъ, чтобы нуждаться въ искусственной подпоркѣ. Пусть принимаетъ эти идеи только тотъ, кто дѣйствительно убѣжденъ въ ихъ вѣрности, и пусть онъ не думаетъ, что титулъ прогрессиста самъ по себѣ, подобно индульгенціи, возмываетъ грѣхи прошлаго, настоящаго и будущаго. Ситниковъ и Кувшиновъ всегда останутся смѣшными личностями; ни одинъ благоразумный человѣкъ не порадуется тому, что онъ стоитъ съ ними подъ однимъ знаменемъ, и въ то же время не принимаетъ ихъ уродливости тому деизму, который написанъ на знамени. Посмотрите, какъ обращается Базаровъ съ этими идиотами; онъ, по приглашенію Ситникова, заходитъ къ Кувшиной, съ цѣлью посмотрѣть людей, завтракаетъ, пьетъ шампанское, не обращаетъ никакого вниманія на усилія Ситникова блеснуть смѣлостью мысли, и на усилія Кувшиной вызвать его, Базарова, на умный разговоръ, и наконецъ уходитъ, даже не простившись съ хозяйкой.

«Ситниковъ выскочилъ вслѣдъ за ними.

— Ну что, ну что, спрашивалъ онъ, подобострастно забывая то справа, то слѣва, вѣдь я говорилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ какихъ бы намъ женщинъ побольше? Она въ своемъ родѣ высоко нравственное явленіе!

— А это заведеніе *твоего* отца тоже нравственное явленіе? промолвилъ Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ, мимо котораго они въ это мгновеніе проходили.

Ситниковъ опять засмѣялся съ визгомъ. Онъ очень стыдился своего происхожденія, и не зналъ, чувствовать ли ему себя польщеннымъ или обиженнымъ отъ неожиданнаго тыканья Базарова».

VIII.

Въ городѣ Аркадій знакомится на балѣ у губернатора съ молодою вдовою, Анною Сергѣевною Одинцовой; онъ танцуетъ съ нею мазурку, между прочимъ заговариваетъ съ нею о своемъ другѣ Базаровѣ и за-

интересовывает ее восторженнымъ описаніемъ его снѣлаго ума и рѣшительнаго характера. Она приглашаетъ его къ себѣ и проситъ привести съ собою Базарова. Базаровъ, замѣтившій ее, какъ только она появилась на балѣ, говоритъ о ней съ Аркадіемъ, невольно усиливая обыкновенный цинизмъ своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и отъ себя и отъ своего собесѣдника впечатлѣніе, произведенное на него этою женщиною. Онъ съ удовольствіемъ соглашается ѣхать въ Одинцову вѣстѣ съ Аркадіемъ, и объясняетъ себѣ и ему это удовольствіе надеждою завести пріятную интригу. Аркадія, не преминушаго влюбиться въ Одинцову, воробить отъ шутилаго тона Базарова, а Базаровъ, конечно, не обращаетъ на это ни малѣйшаго вниманія, продолжаетъ толковать о красивыхъ и ласкахъ Одинцовой, спрашиваетъ у Аркадія, дѣйствительно ли эта барыня—ой, ой, ой? говоритъ, что въ тихомъ омутѣ черти водятся и что холодныя женщины—все равно, что мороженое. Подходя къ квартирѣ Одинцовой, Базаровъ чувствуетъ нѣкоторое волненіе, и, желая переложить себя, въ началѣ визита, ведетъ себя естественно развязно, и, по замѣчанію Тургенева, разваливается въ креслѣ не хуже Ситникова. Одинцова замѣчаетъ волненіе Базарова, отчасти отгадываетъ его причину, усложняетъ нашего героя ровною и тихою пріятливостію обращенія и часа три проводитъ съ молодыми людьми въ исторической, разнообразной и живой бесѣдѣ. Базаровъ обращается съ нею особенно почтительно; видно, что ему не все равно, какъ объ немъ подумаютъ и какое онъ произведетъ впечатлѣніе; онъ, противъ обыкновенія, говоритъ довольно много, старается занять свою собесѣдницу, не дѣлаетъ рѣзкихъ выходовъ, и даже, осторожно держась внѣ круга общихъ убѣжденій и воззрѣній, толкуетъ о ботаникѣ, о медицинѣ и другихъ, хорошо извѣстныхъ ему предметахъ. Прощаясь съ молодыми людьми, Одинцова приглашаетъ ихъ къ себѣ въ деревню. Базаровъ въ знакъ согласія молча кланяется и при этомъ краснѣетъ. Аркадій все это замѣчаетъ и всему этому удивляется. Послѣ этого перваго свиданія съ Одинцовой, Базаровъ пробуетъ по прежнему говорить объ ней шутивымъ тономъ, но въ самомъ цинизмѣ его выраженій сказывается какое-то навальное, затаенное уваженіе. Видно, что онъ любитъ эту женщину и желаетъ съ нею сблизиться; шутитъ онъ на ея счетъ потому, что ему не хочется говорить серьезно съ Аркадіемъ ни объ этой женщинѣ, ни о тѣхъ моральныхъ ощущеніяхъ, которыя онъ замѣчаетъ въ самомъ себѣ. Базаровъ не могъ полюбить Одинцову съ перваго взгляда, или послѣ перваго свиданія; такъ вообще влюблялись только очень пустые люди въ очень плохихъ романахъ. Ему просто понравилось ея красивое, или, какъ онъ самъ выражается, богатое тѣло; разговоръ съ нею не нарушилъ общей гармоніи впечатлѣній, и этого на первый разъ было достаточно, чтобы подержать въ немъ желаніе узнать ее покороче. Базаровъ не сдерживаетъ

себѣ никакихъ теорій о любви. Его студенческіе годы, о которыхъ Тургеневъ не говоритъ ни слова, вѣроятно не обошлись безъ похождений по сердечной части; Базаровъ, какъ мы увидимъ впоследствии, оказывается опытнымъ человѣкомъ, но по всей вѣроятности онъ имѣлъ дѣло съ женщинами совершенно неразвитыми, далеко не изящными, и, следовательно, не способными сильно заинтересовать его умъ, или шевелить его нервы. Онъ и на женщинъ привыкъ смотрѣть сверху внизъ; встрѣчаясь съ Одинцовой, онъ видитъ, что можетъ говорить съ нею, какъ равный съ равной, и предчувствуетъ въ ней долю того гибкаго ума и твердаго характера, который онъ сознаетъ и любитъ въ своей особѣ. Говоря между собою, Базаровъ и Одинцова, въ умственномъ отношеніи, умѣютъ какъ-то смотрѣть другъ другу въ глаза, черезъ голову птенца Аркадія, и эти задатки взаимнаго пониманія доставляютъ пріятныя ощущенія обоимъ дѣйствующимъ лицамъ. Базаровъ видитъ изящную форму и невольно любитъ ее; подъ этою изящною формою онъ отгадываетъ самородную силу и безотчетно начинаетъ уважать эту силу. Какъ чистый эмпирикъ, онъ наслаждается пріятнымъ ощущеніемъ и постепенно втягивается въ это наслажденіе, и втягивается до такой степени, что, когда приходитъ время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно. У Базарова въ любви нѣтъ анализа, потому что нѣтъ недоуверія къ самому себѣ. Онъ ѣдетъ въ деревню къ Одинцовой съ любопытствомъ, и безъ малѣйшей боязни, потому что хочется присмотрѣться къ этой миловидной женщинѣ, хочется быть съ нею вмѣстѣ, провести пріятно нѣсколько дней. Въ деревнѣ незамѣтно проходитъ пятнадцать дней; Базаровъ много говоритъ съ Анной Сергѣевною, спорить съ нею, высказывается, раздражается, и наконецъ привязывается къ ней какою-то злобною, мучительною страстью. Такую страсть всего чаще внушаютъ энергическимъ людямъ женщины красивыя, умныя, и холодныя. Красота женщины волнуетъ кровь ея обожателя; умъ ея даетъ ей возможность понимать головою и обсуживать тонкимъ психическимъ анализомъ такіа чувства, которыхъ она сама не раздѣляетъ и которымъ даже не сочувствуетъ; холодность застраховываетъ ее противъ увлеченія, и, усиливая препятствія, вмѣстѣ съ тѣмъ усиливаетъ въ мужчинѣ желаніе преодолѣть ихъ. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думаетъ: она такъ хороша, она такъ умно говоритъ о чувствахъ, порою такъ оживляется, высказывая свои тонкія психологическія замѣчанія, или выслушивая мои горячо-прочувствованныя рѣчи. Отчего же въ ней такъ уморно молчитъ чувственность? Какъ затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ея сосредоточена въ головномъ мозгу? Неужели она только тѣпится впечатлѣніями и не способна ими увлечься? Время уходитъ въ напряженныхъ усиліяхъ распутать живую загадку; голова работаетъ вмѣстѣ съ чувственностью;

являются тяжелыя, мучительныя ощущенія; весь романъ отношеній между мужчиною и женщиною принимаетъ какой-то странный характеръ борьбы. Знакомаясь съ Одинцовой, Базаровъ думалъ развлечься пріятною интригою; узнавши ее повороче, онъ почувствовалъ къ ней уваженіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ увидаль, что надежды на успѣхъ очень мало; если бы онъ не успѣлъ привязаться къ Одинцовой, тогда онъ просто махнулъ бы рукою и тотчасъ утѣшился бы практическимъ замѣчаніемъ, что земля не клиномъ сошлась, и что на свѣтѣ много такихъ женщинъ, съ которыми легко справиться; онъ попробовалъ и тутъ поступить такимъ образомъ, но махнуть рукою на Одинцову у него не хватило силъ. Практическое благоразуміе совѣтовало ему бросить все дѣло и уѣхать, чтобы не томить себя по напрасну, а жажда наслажденія говорила громче практическаго благоразумія; и Базаровъ оставался, и злился, и сознавалъ, что дѣлаетъ глупость, и все таки продолжалъ ее дѣлать, потому что желаніе пожить въ свое удовольствіе было сильнѣе желанія быть послѣдовательнымъ. Эта способность дѣлать сознательныя глупости составляетъ завидное преимущество людей сильныхъ и умныхъ. Человѣкъ безстрастный и сухой поступаетъ всегда такъ, какъ велитъ поступать логическія выкладки; человѣкъ робкій и слабый старается обмануть себя софизмами и увѣрить себя въ правотѣ своихъ желаній или поступковъ; но Базаровъ не нуждается въ подобныхъ фокусахъ; онъ прямо говоритъ себѣ: это глупо, а поступаю я все таки такъ, какъ мнѣ хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успѣю и съумѣю повернуть самого себя, какъ слѣдуетъ. Цѣльная, крѣпкая натура скazujeвается въ этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный умъ выражается въ этомъ умѣніи назвать глупостью то самое увлеченіе, которое въ данную минуту охватываетъ весь организмъ.

Отношенія Базарова съ Одинцовой кончаются тѣмъ, что между ними происходитъ странная сцена. Она вызываетъ его на разговоръ о счастьи и любви, она, съ любопытствомъ, свойственнымъ холоднымъ и умнымъ женщинамъ, выпрашиваетъ у него, что въ немъ происходитъ, она вытягиваетъ изъ него признаніе въ любви, она съ отгѣнкомъ невольной нѣжности произноситъ его имя, потомъ, когда онъ, ошеломленный внезапнымъ притокомъ ощущеній и новыхъ надеждъ, бросается къ ней и прижимаетъ ее къ груди, она же отскакиваетъ съ испугомъ на другой конецъ комнаты и увѣряетъ его, что онъ ее не такъ понялъ, что онъ ошибся.

Базаровъ уходитъ изъ комнаты и тѣмъ кончаются отношенія. Онъ уѣзжаетъ на другой день послѣ этого происшествія, потомъ видится раза два съ Анной Сергѣевной, даже гоститъ у нея вмѣстѣ съ Арнадіемъ, но для него и для нея прошедшія событія оказываются дѣйствительно невозкресимымъ прошедшимъ, и они смотрятъ другъ на друга

спокойно и говорят между собою тономъ разсудительныхъ и солидныхъ людей. А между тѣмъ Базарову грустно смотрѣть на отношенія съ Одинцовою, какъ на пережитой эпизодъ; онъ любитъ ее, и, не давая себѣ воли нить, страдать и разыгрывать несчастнаго любовника, становится однако какъ-то неровенъ въ своемъ образѣ жизни, то бросается на работу, то впадаетъ въ бездѣйствіе, то просто скучаетъ и брюзжитъ на окружающихъ людей. Высказаться онъ ни передъ кѣмъ не хочетъ, да онъ и самъ передъ собою не сознается въ томъ, что чувствуетъ что-то похожее на тоску и на утомленіе. Онъ какъ-то злится и окисляется отъ этой неудачи, ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событіе производитъ на него впечатлѣніе. Все это скоро переработалось бы въ его организмъ; онъ принялся бы за дѣло, выругалъ бы самымъ энергическимъ образомъ проклятый романтизмъ и неприступную барыню, водившую его за носъ, и зажилъ бы по прежнему, занимаясь рѣзаніемъ лягушекъ и ухаживая за менѣе непобѣдимыми красавицами. Но Тургеневъ не вывелъ Базарова изъ тяжелаго настроенія. Базаровъ внезапно умираетъ, конечно, не отъ огорченія, и романъ оканчивается или, вѣрнѣе, рѣзко и неожиданно обрывается.

Въ то время, какъ Базаровъ хандритъ въ деревнѣ своего отца, Аркадій, влюбившійся также въ Одинцову со времени губернаторскаго бала, но не успѣвшій даже заинтересовать ее, сближается съ ея сестрою, Катериною Сергѣевною, 18-ти лѣтнею дѣвушкою и, самъ того не замѣчая, привязывается къ ней, забываетъ свою прежнюю страсть и наконецъ дѣлаетъ ей предложеніе. Она соглашается, Аркадій женится на ней и вотъ, когда онъ уже объявленъ женихомъ, между нимъ и Базаровымъ, уѣзжающимъ къ своему отцу, происходитъ слѣдующій короткій, но выразительный разговоръ.

«Аркадій бросился на шею къ своему бывшему наставнику и другу, и слезы такъ и брызнули у него изъ глазъ.

— Что значить молодость! произнесъ спокойно Базаровъ, да я на Катерину Сергѣевну надѣюсь. Посмотри, какъ живо она тебя утѣшаетъ.

— Прощай, братъ! сказалъ онъ Аркадію, уже взобравшись на телегу, и, указавъ на пару галокъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на крышѣ конюшни, прибавилъ:—вотъ тебѣ, изучай!

— Это что значить? спросилъ Аркадій.

— Какъ? Развѣ ты такъ плохъ въ естественной исторіи или забылъ, что галка самая восточная, семейная птица? Тебѣ примѣръ!... Прощайте, синьоръ!

Телѣга задрезбезжала и покатилась».

Да, Аркадій, по выраженію Базарова, попалъ въ галки, и прямо изъ-подъ вліянія своего друга перешелъ подъ мягкую власть своей юной

супруги. Но, какъ бы то ни было, Аркадій свилъ себѣ гнѣздо, напелъ себѣ кой-какое счастье, а Базаровъ остался бездомнымъ, не согрѣтымъ скитальцемъ. И это не прихоть романиста! Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько нибудь понимаете характеръ Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человѣка пристроить очень мудро, и что онъ не можетъ, не измѣнившись въ основныхъ чертахъ своей личности, сдѣлаться добродѣтельнымъ семьяниномъ. Базаровъ можетъ полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, онъ не подчинитъ свою любовь никакимъ условіямъ; онъ не станетъ охлаждать и сдерживать себя, и точно также не станетъ искусственно подогревать своего чувства, когда оно остываетъ послѣ полного удовлетворенія. Онъ не способенъ поддерживать съ женщиною обязательныя отношенія; его искренняя и цѣльная натура не поддается на компромиссы и не дѣлаетъ уступокъ; онъ не покупаетъ расположеніе женщины извѣстными обязательствами; онъ беретъ его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безъ условно. Но умныя женщины у насъ обыкновенно бываютъ осторожны и расчетливы. Ихъ зависимое положеніе заставляетъ ихъ бояться общественнаго мнѣнія и не давать воли своимъ влеченіямъ. Ихъ страшитъ неизвѣстное будущее, имъ хочется застраховать его, и потому рѣдкая умная женщина рѣшится броситься на шею къ любимому мужчине, не связавъ его предварительно крѣпкимъ обѣщаніемъ передъ лицомъ общества и церкви. Имѣя дѣло съ Базаровымъ, эта умная женщина пойметъ очень скоро, что никакое крѣпкое обѣщаніе не свяжетъ необузданной воли этого своенравнаго человѣка и что его нельзя обязать быть хорошимъ мужемъ и нѣжнымъ отцомъ семейства. Она пойметъ, что Базаровъ или вовсе не дастъ никакого обѣщанія, или, давши его въ минуту полного увлеченія, нарушитъ его тогда, когда это увлеченіе разсѣется. Словомъ, она пойметъ, что чувство Базарова свободно и останется свободнымъ, не смотря ни на какія клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуться отъ неизвѣстной перспективы, эта женщина должна безраздѣльно подчиниться влеченію чувства, броситься къ любимому человѣку очертя голову и не спрашивая о томъ, что будетъ завтра или черезъ годъ. Но такъ способны увлекаться только очень молодыя дѣвушки, совершенно незнакомыя съ жизнью, совершенно нетронутыя опытомъ, а такія дѣвушки не обратятъ вниманія на Базарова или, испугавшись его рѣзкаго образа мыслей, откинутся къ такимъ личностямъ, изъ которыхъ современемъ вырабатываются почтенныя галки. У Аркадія гораздо больше шансовъ понравиться молодой дѣвушкѣ, не смотря на то, что Базаровъ несравненно умнѣе и замѣчательнѣе своего юнаго товарища. Женщина, способная обѣщать Базарова, не отдастся ему безъ предварительныхъ условій, потому что такая женщина обыкновенно бы-

вастъ себѣ на умѣ, знаетъ жизнь, и по расчету бережетъ свою репутацію. Женщина, способная увлечься чувствомъ, какъ существо наивное и мало размышлявшее, не пойметъ Базарова и не полюбитъ его. Словомъ, для Базарова нѣтъ женщинъ, способныхъ вызвать въ немъ серьезное чувство и съ своей стороны горячо отвѣтить на это чувство. Въ настоящее время нѣтъ такихъ женщинъ, которыя, умѣя мыслить, умѣли бы въ то же время, безъ оглядки и безъ боязни, отдаваться влеченію господствующаго чувства. Какъ существо зависимое и страдательное, современная женщина изъ опыта жизни выноситъ ясное сознаніе своей зависимости, и потому думаетъ не столько о томъ, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о томъ, чтобы не попасть въ какую нибудь неприятную передѣлку. Ровный комфортъ, отсутствіе грубыхъ оскорбленій, увѣренность въ завтрашнемъ днѣ для нихъ дороги. Ихъ за это нельзя осуждать, потому что человѣкъ, подверженный въ жизни серьезнымъ опасностямъ, пошевелившись становится осмотрительнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, трудно осуждать и тѣхъ мужчинъ, которые, не видя въ современныхъ женщинахъ энергіи и рѣшимости, навсегда отказываются отъ серьезныхъ и прочныхъ отношеній съ женщинами, и пробавляются пустыми интригами и легкими побѣдами. Еслибы Базаровъ имѣлъ дѣло съ Асеею, или съ Натальею (въ Рудинѣ), или съ Вѣрою (въ Фаустѣ), то онъ бы, конечно, не отступилъ въ рѣшительную минуту; но дѣло въ томъ, что женщины, подобныя Асѣ, Натальѣ и Вѣрѣ, увлекаются сладкорѣчными фразерами, а предъ сильными людьми, вроде Базарова, чувствуютъ только робость, близкую къ антипатіи. Такихъ женщинъ надобно приласкать, а Базаровъ никого ласкать не умѣетъ. Повторяю, въ настоящее время нѣтъ женщинъ, способныхъ серьезно отвѣтить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будетъ находиться въ теперешнемъ зависимомъ положеніи, пока за каждымъ ея шагомъ будутъ наблюдать и она сама, и нѣжные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественнымъ мнѣніемъ, до тѣхъ поръ Базаровы будутъ жить и умирать бобылями, до тѣхъ поръ согревающая нѣжная любовь умной и развитой женщины будетъ имъ извѣстна только по слухамъ, да по романамъ. Базаровъ не даетъ женщинѣ никакихъ гарантій; онъ доставляетъ ей только своею особою непосредственное наслажденіе, въ томъ случаѣ, если его особа нравится; но въ настоящее время, женщина не можетъ отдаваться непосредственному наслажденію, потому что за этимъ наслажденіемъ всегда выдвигается грозный вопросъ: а что же потомъ? Любовь безъ гарантій и условій не употребительна, а любви съ гарантіями и условіями Базаровъ не понимаетъ. Любовь, такъ любовь, думаетъ онъ, торгъ, такъ торгъ, «а смѣшивать эти два ремесла», по его мнѣнію, неудобно и неприятно. *Къ сожалѣнію*, я долженъ замѣтить, что

безправственным и *напуганным* убѣжденія Базарова находятъ себѣ во многихъ хорошихъ людяхъ сознательное сочувствіе.

IX.

Разсмотримъ теперь три обстоятельства въ романѣ Тургенева: 1) отношенія Базарова къ простому народу, 2) ухаживаніе Базарова за Феничкой и 3) дуэль Базарова съ Павломъ Петровичемъ.

Въ отношеніяхъ Базарова къ простому народу надо замѣтить прежде всего отсутствіе всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится и потому Базарова любятъ прислуга, любятъ ребяташки, несмотря на то, что онъ съ ними вовсе не мицдальничаетъ и не задариваетъ ихъ ни деньгами, ни пряниками. Замѣтивъ въ одномъ мѣстѣ, что Базарова любятъ простые люди, Тургеневъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что мужики смотрятъ на него, какъ на шута горохового. Эти два показанія нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Базаровъ держитъ себя съ мужиками просто, не обнаруживаетъ ни барства, ни приторнаго желанія поддѣлаться подъ ихъ говоръ и поучить ихъ уму-разуму, и потому мужики, говоря съ нимъ, не робѣютъ и не стѣсняются; но съ другой стороны Базаровъ и по обращенію, и по языку, и по понятіямъ совершенно расходится какъ съ ними, такъ и съ тѣми помѣщиками, которыхъ мужики привыкли видѣть и слушать. Они смотрятъ на него, какъ на странное, исключительное явленіе, ни то, ни сѣ, и будутъ смотрѣть такимъ образомъ на господъ, подобныхъ Базарову, до тѣхъ поръ, пока ихъ не разведется больше и пока къ нимъ не успѣютъ приглядѣться. У мужиковъ лежитъ сердце къ Базарову, потому что они видятъ въ немъ простаго и умнаго человѣка, но въ то же время этотъ человѣкъ для нихъ чужой, потому что онъ не знаетъ ихъ быта, ихъ потребностей, ихъ надеждъ и опасеній, ихъ понятій, вѣрованій и предразсудковъ.

Послѣ своего неудавшагося романа съ Одинцовой, Базаровъ снова пріѣзжаетъ въ деревню къ Кирсановымъ, и начинаетъ заигрывать съ Феничкой, любовницею Николая Петровича. Феничка ему нравится, какъ пухленькая, молоденькая женщина; онъ ей нравится, какъ добрый, простой и веселый человѣкъ. Въ одно прекрасное іюльское утро онъ успѣваетъ напечатлѣть на ея свѣжія губки полновѣсный поцѣлуй; она слабо сопротивляется, такъ что ему удается «возобновить и продлить свой поцѣлуй». На этомъ мѣстѣ его любовное похожденіе обрывается; ему, какъ видно, вообще не везло въ то лѣто, такъ что ни одна интрига не доводилась до счастливаго окончанія, хотя всѣ онѣ начинались при самыхъ благопріятныхъ предзнаменованіяхъ.

Вслѣдъ затѣмъ, Базаровъ уѣзжаетъ изъ деревни Кирсановыхъ и Тургеневъ напутствуетъ его слѣдующими словами: «ему и въ голову не пришло, что онъ въ этомъ домѣ нарушилъ всѣ права гостепріимства».

Увидавши, что Базаровъ поцѣловалъ Өеничку, Павелъ Петровичъ, давно уже питавшій ненависть къ «лекаришкѣ» и нигилисту, и, кромѣ того, равнодушный къ Өеничкѣ, которая почему-то напоминаетъ ему прежнюю любимую женщину, вызываетъ нашего героя на дуэль. Базаровъ стрѣлится съ нимъ, ранитъ его въ ногу, потомъ самъ перевязываетъ эту рану, и на другой день уѣзжаетъ, вида, что ему послѣ этой исторіи неудобно оставаться въ домѣ Кирсановыхъ. Дуэль, по понятіямъ Базарова, нелѣпость. Спрашивается, хорошо ли поступилъ Базаровъ, принявши вызовъ Павла Петровича? Этотъ вопросъ сводится на другой, болѣе общій вопросъ: позволительно ли вообще въ жизни отступать отъ своихъ теоретическихъ убѣжденій. Насчетъ понятія *убѣжденіе* господствуютъ различныя мнѣнія, которыя можно свести къ двумъ главнымъ отлѣнкамъ. Идеалисты и фанатики готовы все сломать передъ своимъ убѣжденіемъ—и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты, и законы жизни. Они кричатъ объ убѣжденіяхъ, не анализируя этого понятія, и потому рѣшительно не хотятъ и не умѣютъ взять въ толкъ, что человѣкъ всегда дороже мозгового вывода, въ силу простой математической аксіомы, говорящей намъ, что цѣлое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажутъ такимъ образомъ, что отступать въ жизни отъ теоретическихъ убѣжденій—всегда позорно и преступно. Это не помѣшаетъ многимъ идеалистамъ и фанатикамъ при случаѣ струсить и попятиться, а потомъ упрекать себя въ практической несостоятельности и заниматься угроженіями совѣсти. Есть другіе люди, которые не скрываютъ отъ себя того, что имъ иногда приходится дѣлать нелѣпости, а даже вовсе не желаютъ обратить свою жизнь въ логическую выкладку. Къ числу такихъ людей принадлежитъ Базаровъ. Онъ говоритъ себѣ: «я знаю, что дуэль нелѣпость, но въ данную минуту я вижу, что мнѣ отъ нея отказаться рѣшительно неудобно. По моему лучше сдѣлать нелѣпость, чѣмъ, оставаясь благоразумнымъ до послѣдней ступени, получить ударъ отъ руки или отъ трости Павла Петровича». Стоику Эпиктету, конечно, поступилъ бы иначе, и даже рѣшился бы съ особеннымъ удовольствіемъ пострадать за свои убѣжденія, но Базаровъ слишкомъ уменъ, чтобы быть идеалистомъ вообще и стоикомъ въ особенности. Когда онъ размышляетъ, тогда даетъ своему мозгу полную свободу и не старается придти въ заранѣе назначеннымъ выводамъ; когда онъ хочетъ дѣйствовать, тогда онъ по своему благоусмотрѣнію примѣняетъ или не примѣняетъ свой логическій выводъ, пускаетъ его въ ходъ или оставляетъ его подъ спудомъ. Дѣло въ томъ, что мысль наша свободна, а дѣйствія наши происходятъ во времени и

въ пространствѣ; между вѣрною мыслью и благоразумнымъ поступкомъ такая же разница, какъ между математическимъ и физическимъ математикомъ. Базаровъ знаетъ это и потому въ своихъ поступкахъ руководствуется практическимъ смысломъ, сметкою и навыкомъ, а не теоретическими соображеніями.

Х.

Въ концѣ романа Базаровъ умираетъ; его смерть—случайность; онъ умираетъ отъ хирургическаго отравленія, т. е. отъ небольшого порѣза, сдѣланнаго во время разсѣченія трупа. Это событіе не находится въ связи съ общою нитью романа; оно не вытекаетъ изъ предыдущихъ событій, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характеръ своего героя. Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1859 года; въ теченіи 1860 и 1861 года Базаровъ не могъ бы сдѣлать ничего такого, чтобы показало намъ приложеніе его міросозерцанія къ жизни; онъ бы по прежнему рѣзалъ лагушекъ, возился бы съ микроскопомъ и, насмѣхаясь надъ различными проявленіями романтизма, пользовался бы благами жизни по мѣрѣ силъ и возможности. Все это были бы только задатки; судить о томъ, что разовьется изъ этихъ задатковъ, можно будетъ только тогда, когда Базарову и его сверстникамъ минетъ лѣтъ пятьдесятъ, и когда имъ на сцену выдвинется новое поколѣніе, которое въ свою очередь отнесется критически къ своимъ предшественникамъ. Такіе люди, какъ Базаровъ, неопредѣляются вполнѣ однимъ эпизодомъ, выхваченнымъ изъ ихъ жизни. Такого рода эпизодъ даетъ намъ только смутное понятіе о томъ, что въ этихъ людяхъ таятся колоссальныя силы. Въ чемъ выразятся эти силы? На этотъ вопросъ можетъ отвѣчать только біографія этихъ людей или исторія ихъ народа, а біографія, какъ извѣстно, пишется послѣ смерти дѣятеля, точно также какъ исторія пишется тогда, когда событіе уже совершилось. Изъ Базаровыхъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, вырабатываются великіе историческіе дѣятели; такіе люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу; они не вдаются въ односторонность, не привязываются къ теоріи, не прирастаютъ къ специальнымъ занятіямъ; они всегда готовы промѣнять одну сферу дѣятельности на другую, болѣе широкую и болѣе занимательную; они всегда готовы выйти изъ ученаго кабинета и лабораторіи; это не труженики; углубляясь въ тщательныя изслѣдованія специальныхъ вопросовъ науки, эти люди никогда не теряютъ изъ виду того великаго міра, который вмѣщаетъ въ себя ихъ лабораторію и ихъ самихъ, со всею ихъ наукою и со всеми ихъ инструментами и аппаратами.

тами; когда жизнь серьезно перевелась на мозговые нервы, тогда они бросать микроскопъ и скальпель, тогда они оставить недописаннымъ какое нибудь ученѣйшее изслѣдованіе о костяхъ или перепонкахъ. Базаровъ никогда не сдѣлается фанатикомъ, жрецомъ науки, никогда не возведетъ ее въ кумиръ, никогда не обречетъ своей жизни на ея служеніе; постоянно сохраняя скептическое отношеніе къ самой наукѣ, онъ не дастъ ей приобрести самостоятельное значеніе; онъ будетъ ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать изъ нея непосредственную пользу для себя и для другихъ. Медициною онъ будетъ заниматься отчасти для препровожденія времени, отчасти, какъ хлѣбнымъ и полезнымъ ремесломъ. Если представится другое занятіе, болѣе интересное, болѣе хлѣбное, болѣе полезное,—онъ оставитъ медицину, точно также, какъ Веніаминъ Франклинъ оставилъ типографскій станокъ. Базаровъ—человѣкъ жизни, человѣкъ дѣла, но возьмется онъ за дѣло только тогда, когда увидитъ возможность дѣйствовать не машинально. Его не подкупать обманчивыя формы; вышнія усовершенствованія не побѣдятъ его упорнаго скептицизма; онъ не приметъ случайной оттепели за наступленіе весны и проведетъ всю жизнь въ своей лабораторіи, если въ сознаніи нашего общества не произойдетъ существенныхъ измѣненій. Если же въ сознаніи, а слѣдовательно и въ жизни общества, произойдутъ желаемыя измѣненія, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный трудъ мысли не дастъ имъ заглѣниться, залежаться и заржавѣть, а постоянно бодрствующій скептицизмъ не позволитъ имъ сдѣлаться фанатиками специальности или валыми послѣдователями односторонней доктрины. Кто рѣшится отгадывать будущее и бросать на вѣтеръ гипотезы? Кто рѣшится дорисовывать такой типъ, который только что начинаетъ складываться и обозначаться, и который можетъ быть дорисованъ только временемъ и событіями? Не имѣя возможности показать намъ, какъ живетъ и дѣйствуетъ Базаровъ, Тургеневъ показалъ намъ, какъ онъ умираетъ. Этого на первый разъ довольно, чтобы составить себѣ понятіе о силахъ Базарова, о тѣхъ силахъ, которыхъ полное развитіе могло обозначиться только жизнью, борьбою, дѣйствіями и результатами. Что Базаровъ не фразеръ—это увидитъ всякій, вглядываясь въ эту личность съ первой минуты ея появленія въ романѣ. Что отрицаніе и скептицизмъ этого человѣка сознаны и прочувствованы, а не недѣты для прихоти и для пушей важности,—въ этомъ убѣждаетъ cadaго безпристрастнаго читателя непосредственное ощущеніе. Въ Базаровѣ есть сила, самостоятельность, энергія, которой не бываетъ у фразеровъ и подражателей. Но если бы кто нибудь захотѣлъ не замѣтить и не почувствовать въ немъ присутствія этой силы, если бы кто нибудь захотѣлъ подвергнуть ее сомнѣнію, то единственнымъ фактомъ, торжественно и беззапелла-

цiонно опровергающимъ это нелѣпое сомнѣнiе, была бы смерть Базарова. Влiанiе его на окружающихъ людей ничего не доказываетъ; вѣдь и Рудинъ имѣлъ влiанiе; на безрыбьи и ракъ рыба, и на людей, подобныхъ Аркадiю, Николаю Петровичу, Василю Ивановичу и Аринѣ Власьевнѣ, больно нетрудно произвести сильное впечатлѣнiе. Но смотрѣть въ глаза смерти, предвидѣть ся приближенiе, не стараясь себя обмануть, оставаться вѣрнымъ себѣ до послѣдней минуты, не ослабѣть и не струсить — это дѣло сильнаго характера. Умереть такъ, какъ умеръ Базаровъ, все равно, что сдѣлать великiй подвигъ; этотъ подвигъ остается безъ послѣдствiй, но та доза энергiи, которая тратится на подвигъ, на блестящее и полезное дѣло, истрачена здѣсь на простой и неизбѣжный физиологическiй процессъ. Оттого, что Базаровъ умеръ твердо и спокойно, никто не почувствовалъ себѣ ни облегченiя, ни пользы, но такой человекъ, который умѣетъ умирать спокойно и твердо, не отступить передъ препятствiемъ, и не струсить передъ опасностью.

Описанiе смерти Базарова составляетъ лучшее мѣсто въ романѣ Тургенева; я сомнѣваюсь даже, чтобы во всѣхъ произведенiяхъ нашего художника нашлось что нибудь болѣе замѣчательное. Выписывать какой нибудь отрывокъ изъ этого великолѣпнаго эпизода я считаю невозможнымъ; это значило бы уродовать цѣльность впечатлѣнiя; по настоящему слѣдовало бы выписать цѣлыхъ десять страницъ, но мѣсто не позволяетъ мнѣ этого сдѣлать; кромѣ того, я надѣюсь, что всѣ мои читатели прочли и прочтутъ романъ Тургенева, и потому, не извлекая изъ него ни одной строки, я постараюсь только прослѣдить и объяснить съ начала до конца болѣзни психическое состоянiе Базарова. Обрѣзавъ себѣ палецъ при разсѣченiи трупа и не имѣвши возможности тотчасъ прижечь ранку яписомъ или желѣзомъ, Базаровъ черезъ четыре часа послѣ этого событiя приходитъ къ отцу и прижигаетъ себѣ больное мѣсто, не скрывая ни отъ себя, ни отъ Василя Ивановича бесполезности этой мѣры въ томъ случаѣ, если гной разлагающагося трупа проникъ въ ранку и смѣшался съ кровью. Василiй Ивановичъ, какъ медикъ, знаетъ, какъ велика опасность, но не рѣшается взглянуть ей въ глаза и старается обмануть самого себя. Проходитъ два дня. Базаровъ крѣпится, не ложится въ постель, но чувствуетъ жаръ и ознобъ, теряетъ аппетитъ и страдаетъ сильною головою болью. Участiе и распросы отца раздражаютъ его, потому что онъ знаетъ, что все это не поможетъ, и что стариезъ только самого себя лелѣетъ и тѣшитъ пустыми иллюзiями. Ему досадно видѣть, что мужчина, и притомъ медикъ, не смѣетъ видѣть дѣло въ настоящемъ свѣтѣ. Арину Власьевну Базаровъ бережетъ; онъ говоритъ ей, что простудился; на третiй день ложится въ постель и проситъ прислать ему липоваго чая. На четвертый день, онъ обращается къ отцу, прямо и серьезно

говорить ему, что скоро умереть, показывает ему красныя пятна, выступившія на тѣлѣ, и служащія признакомъ зараженія, называетъ ему медицинскимъ терминомъ свою болѣзнь и холодно опровергаетъ робкія возраженія растерявшагося старика. А между тѣмъ, ему хочется жить, жаль прощаться съ самосознаніемъ, съ своею мыслью, съ своею сильною личностью, но эта боль разставанія съ молодою жизнью и съ неизношенными силами выражается не въ мягкой грусти, а въ желчной, проинической досадѣ, въ презрительномъ отношеніи къ себѣ, какъ къ бессильному существу, и къ той грубой, нелѣпой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилистъ остается вѣреть себѣ до послѣдней минуты.

Какъ медикъ, онъ видѣлъ, что люди зараженные всегда умираютъ, и онъ не сомнѣвается въ непреложности этого закона, не смотря на то, что этотъ законъ осуждаетъ его на смерть. Точно также онъ въ критическую минуту не мѣняетъ своего мрачнаго міросозерцанія на другое, болѣе отрадное; какъ медикъ и какъ человѣкъ, онъ не утѣшаетъ себя миражами.

Образъ единственного существа, возбудившаго въ Базаровѣ сильное чувство и внушившаго ему уваженіе, приходитъ ему на умъ въ то время, когда онъ собирается прощаться съ жизнью. Этотъ образъ вѣроятно и раньше носился передъ его воображеніемъ, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успѣло умереть, но тутъ, прощаясь съ жизнью и, чувствуя приближеніе бреда, онъ проситъ Василія Ивановича послать нарочнаго къ Аннѣ Сергѣевнѣ и объявить ей, что Базаровъ умираетъ и приказалъ ей кланяться. Надѣялся ли онъ увидѣть ее передъ смертью, или просто хотѣлъ ей дать вѣсть о себѣ — это невозможно рѣшить; можетъ быть, ему было пріятно, произнося при другомъ человѣкѣ имя любимой женщины, живѣе представить себѣ ея красивое лицо, ея спокойные, умные глаза, ея молодое, роскошное тѣло. Онъ любитъ только одно существо въ мірѣ, и тѣ нѣжные мотивы чувства, которые онъ давилъ въ себѣ, какъ романтизмъ, теперь всплываютъ на поверхность; это не признакъ слабости, это—естественное проявленіе чувства, высвободившагося изъ подъ гнета разсудочности; Базаровъ не измѣняетъ себѣ; приближеніе смерти не перерождаетъ его; напротивъ, онъ становится естественнѣе, человѣчнѣе, непринужденнѣе, чѣмъ онъ былъ въ полномъ здоровьи. Молодая, красивая женщина часто бываетъ пріятельнѣе въ простой, утренней блузѣ, чѣмъ въ богатомъ бальномъ платьѣ. Такъ точно умирающій Базаровъ, распустившій свою натуру, давшій себѣ полную волю, возбуждаетъ больше сочувствія, чѣмъ тотъ же Базаровъ, когда онъ холоднымъ разсудкомъ контролируетъ каждое свое движеніе, и постоянно ловить себя на романтическихъ пополамъ.

Если человекъ, ослабляя контроль надъ самимъ собою, становится лучше и человѣчнѣе, то это служить энергическимъ доказательствомъ цѣльности, полноты и естественнаго богатства натуры. Разсудочность Базарова была въ немъ простительною и понятною крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить надъ собою и ломать себя, исчезла бы отъ дѣйствія времени и жизни; она исчезла точно также во время приближенія смерти. Онъ сдѣлался человѣкомъ, вмѣсто того, чтобы быть воплощеніемъ теоріи нигилизма, и, какъ человекъ, онъ выразилъ желаніе видѣть любимую женщину.

Анна Сергѣевна пріѣзжаетъ. Базаровъ говоритъ съ нею ласково и спокойно, не скрывая легкаго оттѣнка грусти, любитъ ее, проситъ у нея послѣдняго поцѣлуя, закрываетъ глаза и впадаетъ въ безсознательность.

Къ родителямъ своимъ онъ остается по прежнему равнодушнымъ и не даетъ себѣ труда притворяться. О матери онъ говоритъ: «мать бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщомъ»? Василию Ивановичу онъ предобродушно совѣтуетъ быть фило-софомъ.

Слѣдить за нитью романа послѣ смерти Базарова я не намѣренъ. Когда умеръ такой человекъ, какъ Базаровъ, и когда его геройскою смертью рѣшена такая важная психологическая задача, произнесенъ приговоръ надъ цѣлымъ направленіемъ идей, тогда стоитъ ли слѣдить за судьбою людей, подобныхъ Аркадію, Николаю Петровичу, Ситникову et tutti quanti?.. Постараюсь сказать нѣсколько словъ объ отношеніяхъ Тургенева къ новому, созданному имъ типу.

XI.

Приступая къ сооруженію характера Инсарова, Тургеневъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ представить его великимъ, и, вмѣсто того, сдѣлалъ его смѣшнымъ. Создавая Базарова, Тургеневъ хотѣлъ разбить его въ прахъ, и, вмѣсто того, отдалъ ему полную дань справедливаго уваженія. Онъ хотѣлъ сказать: наше молодое поколѣніе идетъ по ложной дорогѣ, и сказалъ: въ нашемъ молодомъ поколѣніи вся наша надежда. Тургеневъ не диалектикъ, не софистъ, онъ не можетъ доказывать своими образами предвзятую идею, какъ бы эта идея ни казалась ему отвлеченно вѣрна, или практически полезна. Онъ прежде всего художникъ, человекъ безсознательно, невольно искренній; его образы живутъ своею жизнью; онъ любитъ ихъ, онъ увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества и ему становится невозможнымъ

помирать ими по своей прихоти, и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственною цѣлью и съ добродѣтельною развязкою. Честная, чистая натура художника беретъ свое, ломаетъ теоретическія загородки, торжествуетъ надъ заблужденіями ума и своими инстинктами выкупаютъ все — и невѣрность основной идеи, и односторонность развитія, и устарѣлость понатій. Вглядываясь въ своего Базарова, Тургеневъ, какъ человѣкъ и какъ художникъ, растетъ въ своемъ романѣ, растетъ на нашихъ глазахъ и дозреваетъ до правильнаго пониманія, до справедливой оцѣнки созданнаго типа. Съ недобримъ чувствомъ началъ Тургеневъ свое послѣднее произведеніе.

Съ перваго разу онъ показалъ намъ въ Базаровѣ угловатое обращеніе, педантическую сомонадѣянность, черствую разсудочность; съ Аркадіемъ онъ держитъ себя деспотически-небрежно, къ Николаю Петровичу относится безъ нужды насмѣшливо, и все сочувствіе художника лежитъ на сторонѣ тѣхъ людей, которыхъ обижаютъ, тѣхъ безобидныхъ стариковъ, которыхъ велитъ глотать пилюлю, говоря о нихъ, что они отставные люди. И вотъ художникъ начинаетъ искать въ нигилистѣ и безпощадномъ отрицателѣ слабаго мѣста; онъ ставитъ его въ разные положенія, вертитъ его на всѣ стороны и находитъ противъ него только одно обвиненіе — обвиненіе въ черствости и рѣзости. Всматривается онъ въ это темное пятно; возникаетъ въ его головѣ вопросъ: а кого же станетъ любить этотъ человѣкъ? Въ комъ найдетъ удовлетвореніе своимъ потребностямъ? Кто его пойметъ насквозь, и не испугается его каравой оболочки? Подводитъ онъ къ своему герою умную женщину; женщина эта смотритъ съ любопытствомъ на эту своеобразную личность; нигилистъ съ своей стороны вглядывается въ нее съ возрастающимъ сочувствіемъ, и потомъ, увидавъ что-то похожее на нѣжность, на ласку, кидается къ ней съ нерасчитанною порывистостью молодого, горячаго, любящаго существа, готоваго отдаться вполне, безъ торгу, безъ утайки, безъ задней мысли. Такъ не кидаются люди холодные, такъ не любятъ черствые педанты. Безпощадный отрицатель оказывается моложе и свѣжѣ той молодой женщины, съ которою онъ имѣетъ дѣло; въ немъ накинута и вырвалась бѣшеная страсть въ то время, когда въ ней только что начинало бродить что-то въ родѣ чувства; онъ бросился, перепугалъ ее, сблизъ ее съ толку и вдругъ отрезвилъ ее; она отшатнулась назадъ и сказала себѣ, что спокойствіе все-таки лучше всего. Съ этой минуты все сочувствіе автора переходитъ на сторону Базарова и только кой-какія разсудочныя замѣчанія, которыя не вяжутся съ цѣлымъ, напоминаютъ прежнее, недоброе чувство Тургенева.

Авторъ видитъ, что Базарову некого любить, потому что вокругъ него все мелко, плоско и дрябло, а самъ онъ свѣжъ, уменъ и крѣпокъ; авторъ видитъ это и въ умѣ своемъ снимаетъ съ своего героя послѣд-

пій незаслуженный упрекъ. Изучивъ характеръ Базарова, вдумавшись въ его элементы и въ условія развитія, Тургеневъ видитъ, что для него нѣтъ ни дѣятельности, ни счастья. Онъ живетъ бобылемъ и умретъ бобылемъ, и притомъ бесполезнымъ бобылемъ, умретъ, какъ богатырь, которому негдѣ повернуться, нечѣмъ дышать, некуда дѣвать исполинской силы, некого полюбить крѣпкою любовью. А незачѣмъ ему жить, такъ надо посмотреть, какъ онъ будетъ умирать. Весь интересъ, весь смыслъ романа заключался въ смерти Базарова. Еслибы онъ струсилъ, еслибы онъ измѣнилъ себя, — весь характеръ его освѣтился бы иначе; явился бы пустой хвастунъ, отъ котораго нельзя ожидать въ случаѣ нужды ни стойкости, ни рѣшимости; весь романъ оказался бы клеветою на молодое поколѣніе, незаслуженнымъ укоромъ; этимъ романомъ Тургеневъ сказалъ бы: вотъ, посмотрите, молодые люди, вотъ лучший, умнѣйшій, изъ васъ — и тотъ нигде не годится! Но у Тургенева, какъ у честнаго человѣка и искренняго художника, языкъ не повернулся произнести теперь такую печальную ложь. Базаровъ не оплошалъ и смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и выпадаютъ въ крайности, но въ самыхъ увлеченіяхъ связываются свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержать ихъ въ жизни.

Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную мысль, тотъ не можетъ не изъявить ему глубокой и горячей признательности, какъ великому художнику и честному гражданину Россіи.

А Базаровымъ все-таки плохо жить на свѣтѣ, хоть они припѣваютъ и похваляются. Нѣтъ дѣятельности, нѣтъ любви, — стало быть, нѣтъ и наслажденія.

Страдать они не умѣютъ, цыть не стануть, а подчасъ чувствуютъ только, что пусто, скучно, безцвѣтно и бессмысленно.

А что же дѣлать? Вѣдь не заражать же себя умышленно, чтобы имѣть удовольствіе умирать красиво и спокойно? Нѣтъ! Что дѣлать? Жить, пока живется, ѣсть сухой хлѣбъ, когда нѣтъ ростбифу, бить съ женщинами, когда нельзя любить женщину, и вообще не мечтать объ апельсиновыхъ деревьяхъ и пальмахъ, когда подъ ногами снѣговые сугробы и холодныя тундры.

ЦВѢТЫ НЕВИННАГО ЮМОРА.

1. Оатры въ прозѣ. Н. Щедрина.
2. Невинные рассказы. Н. Щедрина.

I.

Плохо приходится въ наше время поэтамъ; кредитъ ихъ быстро понижается; безчувственные критики и бездушные свистуны подрываютъ въ публикѣ всякое уваженіе къ великимъ тайнамъ безсознательнаго творчества. Прежде говорили о вдохновеніи поэта, прежде поэта считали любимцемъ боговъ и интимнымъ собесѣдникомъ музъ; хотя эти мифологическія метафоры грѣшно было принимать буквально, однакожъ за этими метафорами постоянно чувствовалось что-то хорошее и таинственное, неуловимое и непостижимое, что-то такое, что нашему брату вахлаку должно оставаться навсегда недоступнымъ; объ этомъ нашему брату позволялось узнавать только по неяснымъ рассказамъ художниковъ, которые «какъ боги, входятъ въ зевесовы чертоги», гдѣ имъ показывали весьма интересныя и часто нескромныя картинки. Теперь все это перемѣнилось; нашъ братъ вахлакъ большую силу забралъ, и обо всемъ разсуждать берется; и вдохновенія не признаетъ, и въ зевесовы чертоги не желаетъ забираться, не смотря на то, что поэтъ весьма наглядно разсказываетъ, какъ въ этихъ чертогахъ показывали одному художнику въ «вѣчныхъ идеалахъ», «волнистость спинки бѣлой», и вообще разныя такія вещи, которыя «божество отрываетъ смертнымъ въ доляхъ ма-лыхъ» *). Все это нашъ братъ отрицаетъ съ свойственною ему грубостью

*) Эти свѣдѣнія о зевесовыхъ чертогахъ и о тамошнихъ картинкахъ съ буквальною вѣрностью заимствованы мною изъ стихотворенія г. Майкова «Анакреонъ скульптору».

чувствъ и дерзостью выраженій; это, говорить, все цвѣты фантазій; а вы намъ вотъ что скажите: какова у поэта сила ума? и широко ли его развитіе? и основательно ли его образованіе? — Ну, что-жъ это за вопросы? Умѣстны ли они? Деликатны ли они? Позволительно ли ставить передъ собою любимца боговъ, и допрашивать его, какъ провинившагося гимназиста? Когда уже дѣло дошло до такихъ неслыханныхъ вопросовъ, когда утрачена вѣра въ божественность вдохновенія, когда журналы находятъ болѣе интереснымъ держать корреспондентовъ въ Парижѣ или въ Лондонѣ, въ Саратовѣ или въ Иркутскѣ, чѣмъ на Парнасѣ или въ чертогахъ Зевеса, тогда, конечно, мирному поэту остается только повѣсить ~~свое~~ ~~подружку~~ ~~—~~ ~~лѣру~~ на гвоздикъ, и поступить на дѣйствительную службу или обратиться къ мрачнымъ заботамъ сельского хозяйства. Если такъ пойдетъ дальше, то наступитъ со временемъ драматическая минута, когда послѣдній поэтъ бросится на шею къ послѣднему эстетикъ, и рыдая скажетъ ему: «другъ мой, мы съ тобою одни. Миръ прокисъ и развратился. Микроскопъ и скальпель не даютъ намъ покоя. Если мы не спрячемся, или не притворимся натуралистами, то насъ съ тобою могутъ посадить за-живо въ спиртъ, чтобы сохранить въ полной цѣлости послѣдніе экземпляры исчезнувшей породы, имѣвшей удивительное внѣшнее сходство съ человѣкомъ. Другъ мой, когда мы умремъ, тогда послѣдняя калитка, ведущая въ зевесовы чертоги, будетъ заколочена, и на глухо заложена—не кирпичами, а всѣми нераспроданными экземплярами моихъ стихотвореній, и всѣми неразрѣзанными листами твоихъ критическихъ статей». Ну, скажетъ эстетикъ, если такъ, то все кончено. Калитка навсегда сдѣлается неприступною! Сквозь мою критику и твою поэзію ни человѣкъ не пролѣзетъ, ни звѣрь не проскочитъ. И обнявшись весьма крѣпко, какъ обнимаются люди на могилѣ всего, что имъ дорого, наши послѣдніе могиканы во весь духъ побѣгутъ въ лавку покупать себѣ микроскопъ и химическія реторты, какъ маскарадные принадлежности, долженствующія спасти ихъ отъ преждевременнаго и непроизвольнаго погруженія въ спиртъ. Исторія переродившихся экземпляровъ исчезнувшей породы кончится тѣмъ, что оба, эстетикъ и поэтъ, женятся à la face du soleil et de la nature на двухъ дѣвушкахъ, занимающихся медицинскою практикою, и приводившихъ въ бывшее время своихъ теперешнихъ поклонниковъ въ совершенный ужасъ своимъ непостижимо-солиднымъ образованіемъ, своимъ неприлично-твердымъ образомъ мыслей, и своимъ полнѣйшимъ отсутствіемъ женственной граціи, т. е. слабости, глупости и жеманства. Дѣти этихъ двухъ счастливыхъ паръ услышатъ еще кое-какіе темные толки объ эстетикахъ и поэтахъ, а внуки и того не услышатъ. Обѣ породы сдѣлаются совершенно неизвѣстными, какъ не извѣстны намъ теперь многіе сли-

знаніи неробитнаго міра, не оставившіе послѣ себя ни востей, ни раковинъ, ни другихъ слѣдовъ своего брэннаго существованія.

По многимъ отдѣльнымъ чертамъ, разсѣяннымъ въ моей пророческой импровизаціи, читатель можетъ замѣтить, что осуществленіе ея принадлежитъ еще весьма отдаленному будущему; по всей вѣроятности, пра-дѣдушки и прабабушки послѣдняго эстетика и послѣдняго поэта въ настоящую минуту еще не находятся въ утробахъ своихъ матерей; но, не смотря на отдаленность рѣшительной катастрофы, злобѣщіе признаки показываются уже и въ наше время. Такъ, напримѣръ, г. Фетъ, рѣшившись посвятить всѣ свои умственныя способности неутомимому преслѣдованію хищныхъ гусей, сказалъ въ прошломъ 1863 году послѣднее прощаніе своей литературной славѣ; онъ самъ отпѣлъ, самъ похоронилъ ее, и самъ поставилъ надъ свѣжею могилою величественный памятникъ, изъ подъ котораго покойника уже никогда не встанетъ; памятникъ этотъ состоитъ не изъ гранита и мрамора, а изъ печатной бумаги; воздвигнуть онъ не въ обширныхъ сердцахъ благородныхъ россіянъ, а въ тѣсныхъ кладовыхъ весьма неблагодарныхъ книгопродавцевъ; монументъ этотъ будетъ, конечно, несокрушимѣе бронзы (*aere perennius*), потому что бронза продается и покупается, а стихотворенія г. Фета, составляющія вышеупомянутый монументъ, въ наше время уже не подвергаются этимъ не эстетическимъ операціямъ. Эта неизбежная прочность монумента весьма огорчаетъ гг. книгопродавцевъ вообще, а г. издателя стихотвореній, купца Солодатовскаго, въ особенности; эти господа не понимаютъ трагическаго величія этого монумента, и готовы роптать на его несокрушимость; по этому-то я и назвалъ ихъ неблагодарными; неблагодарность ихъ, мнѣ кажется, можетъ дойти до того, что они современемъ сами разобьютъ монументъ на куски, и продадутъ его пудами для окленванія комнать подъ обон, и для заворачиванія салыныхъ свѣчей, мещерскаго сыра и копченой рыбы. Г. Фетъ унижится такимъ образомъ до того, что въ первый разъ станетъ приносить своими произведеніями нѣкоторую долю практической пользы. Согласитесь, что для вѣчнаго поклонника чистой красоты такое «ворабоженіе искусства», не снившееся даже г. Ахмату-мову, должно казаться невыносимо обиднымъ.

Я вижу, какъ растроганы всѣ мои чувствительные читатели, и спѣшу отереть ихъ взоры, отуманенные слезами, отъ этихъ печальныхъ и злобѣщящихъ явленій, исподоволь подготовляющихъ для нашего потомства окончательное паденіе чистаго искусства. Спѣшу даже утѣшить моихъ стиколобныхъ читателей. Мы вѣдь не потомство, мы не люди будущаго. На нашъ вѣкъ хватитъ и лирической поэзіи, и кулачныхъ подвыхонокъ, и темнаго суевѣрія, и бурныхъ таракановъ, и всякаго другаго стадобья, въ которомъ выражаются даже до сего дня наши отечественный бытъ, нашъ доморощенный умъ, и наше народное самосознаніе.

Чтобы утѣшить читателя еще болѣе, я кромѣ того попрошу его замѣтить, что въ наше время чистое искусство еще чрезвычайно сильно, и отдѣлаться отъ него почти невозможно, тѣмъ болѣе, что оно до безконечности измѣняетъ свои наружныя формы, и иногда появляется въ такомъ мѣстѣ, и въ такомъ видѣ, въ которомъ чрезвычайно трудно вывести его на свѣжую воду. Вы не думайте, что чистое искусство проявляется только въ пѣсенкахъ «о серебрѣ и колыбаніи соннаго ручья», или «о волнахъ ликующаго звука». Не думайте также, что въ одинъ разрядъ съ этими пѣсенками слѣдуетъ поставить только тѣ романы и повѣсти, которые изслѣдуютъ невысказанныя чувства и неразъясненныя недоразумѣнія, растерзавшія два нѣжныя сердца, изъ которыхъ одно принадлежало существу мужескаго пола, а другое такому же существу пола женскаго. Это самыя невинныя видоизмѣненія чистаго искусства; ихъ уже давно взяли на замѣчаніе, и кто попадется на эту удочку, тотъ обличитъ уже или крайнюю неопытность, или неисправимую закоснѣлость. Но развѣ мало другихъ видоизмѣненій, болѣе утонченныхъ? Вотъ, напримѣръ, исполнѣ-ловецъ, неутомимо преслѣдующій въ «Русскомъ Вѣстникѣ» всякую умственную ересь, толкуетъ горячо и странно о «плюшущихъ блудницахъ», о «головкахъ и хвостикахъ недоделанной мысли», о томъ что онъ, московскій Немвродъ, часто превращающійся въ мычащаго Новуходоносора *), всѣхъ умнѣе, честнѣе и благонадежнѣе, и что онъ всякому честному человѣку будетъ смотрѣть прямо въ глаза, до тѣхъ поръ, пока тотъ отвернется, или сморгнетъ. Что долженъ думать читатель, при которомъ производятся такія конфиденціальныя бесѣды, пересыпанныя столь загадочными выраженіями, и столь неожиданными эксцентричностями? Онъ долженъ думать, что читаетъ лирическую пѣсню, и долженъ жалѣть о томъ, что эта пѣсня такъ длинна, и притомъ написана прозою, а не убаюкивающимъ стихомъ г. Фета. А вотъ, напримѣръ, платоническій любитель славянскихъ идей въ сотый разъ повторяетъ въ своей газеткѣ, что наша цивилизація есть ложь, и что свѣдѣнія о самой настоящей правдѣ слѣдуетъ собрать въ самыхъ пыльныхъ архивахъ и въ самыхъ завалающихъ пещерахъ; и все-таки онъ не представляетъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній, и не собираетъ никакихъ матеріаловъ, а только, бѣя себя въ перси, лепечетъ и выкликаетъ слово «ложь», какъ всемогущее заклинаніе противъ всѣхъ неблаголѣпій любезнаго отечества. Очевидно, что онъ, изъ любви къ искусству, пишетъ дифирамбъ, и читателю опять таки приходится пожалѣть, что онъ пишетъ его не стихами; во-первыхъ,

*) Такъ какъ я человѣкъ очень добродѣтельный, и украшать себя напылными перьями не желаю, то я долженъ признаться, что уподобленіе московскаго атлета мычащему Новуходоносору взято мною на прокатъ у г. Зайцева.

омъ въ такомъ случаѣ писалъ бы не такъ быстро, и слѣдовательно, не такъ много; во-вторыхъ, его читали бы еще меньше, и осмѣивали бы больше, чѣмъ читаютъ и осмѣиваютъ теперь. А вотъ, напротивъ, хроникеръ «Отечественныхъ Записокъ» ежемѣсячно производитъ издательскій смотръ прекраснымъ качествомъ своей собственной великой души, и, также ежемѣсячно, проливаетъ горькія слезы надъ печальными заблужденіями и чернило-пролитными ссорами своихъ журнальных собратьевъ. Какъ жаль, скажетъ всякій безпристрастный читатель, что этотъ добрый человекъ не лишеть элегій. Его произведенія можно было бы положить на ноты, и ему сказали бы большое спасибо всѣ уѣздныя барышни, находящія, что «Черная шаль», конечно романъ безнудный, но что въ немъ, въ сожалѣнію, недостаетъ современнаго подерита гражданской скорби. А весь легіонъ сотрудниковъ «Времени», всѣ эти гг. Григорьевы, Страховы, Косицы и всѣ «ихъ же имена богъ вѣсть», развѣ можно не признать ихъ жрецами чистаго искусства, и развѣ можно не поставить ихъ въ этомъ отношеніи гораздо выше гг. Фета, Случевского, Майкова и Крестовскаго? Вся политика, наука и критика «Времени» составляетъ очевидно одну длинную, сладкую, пресладкую, нѣжную, пренѣжную идиллію, написанную въ прозѣ Афанасіемъ Ивановичемъ собственно для того, чтобы изумить и обрадовать голубушину Пульхерію Ивановну въ день ея шестидесять седьмаго *) тезоименитства. Собственно, одна Пульхерія Ивановна только и должна была бы читать эту идиллію, а если у «Времени» было, какъ оно говоритъ, 4,000 подписчиковъ, то это доказываетъ только, что Пульхерія Ивановна у насъ на Руси составляетъ лицо не единоличное, а въ нѣкоторомъ смыслѣ коллегіальное. Да, чистое искусство, вытѣсненное задорными отрицателями изъ области «сладкихъ звуковъ и молитвъ», немедленно влетѣло въ міръ «корысти и битвъ», и на этой новой почвѣ разрослось съ такою силою и быстротою, какой никто не могъ-бы въ немъ предположить.

Читатель, вѣроятно, понимаетъ уже теперь, что я называю чистымъ искусствомъ, и почему я считаю несправедливымъ ограничивать область этого чужаднаго растенія тѣмъ крошечнымъ палисадникомъ, въ которомъ разводятся для барской потѣхи эстетическія рецензіи, розовые романы и благоухающія стихотворенія. Какъ-бы это было хорошо, кабы чистое искусство процвѣтало въ одномъ этомъ палисадникѣ; тогда можно

*) Цифра 67 не имѣетъ здѣсь никакого таинственнаго значенія. Она означаетъ только, что Пульхерія Ивановна была уже въ зрѣломъ возрастѣ, когда сожитель ея поднесъ ей идиллію. Старый дѣдушка писалъ эту идиллію для старой бабушки. Каждый догадливый читатель, вѣроятно, давно уже замѣтилъ это обстоятельство по смирному тону изложенія и по сладкой неопредѣленности умированій. Такъ и слышится въ каждой строчкѣ: «охъ-охъ-охъ! Всѣ-то мы люди, всѣ человѣки!»

было бы уговорить и упрямить всѣхъ задорныхъ критиковъ, чтобы они совѣщались и незатягивали въ этотъ палисадничекъ; пускай себѣ растутъ и цвѣтутъ всѣ эти зеленныя жилашки; они никого не прогадаютъ, и ихъ пускай не трогаютъ. А теперь нельзя. Прѣтъ чистое искусство во всѣ стороны, и поневолѣ приходится, изъ чувства самосохраненія, преслѣдовать его въ томъ самомъ убѣжищѣ, въ которомъ оно съ незапамятныхъ временъ устроило себѣ теплое гнѣздышко.

Итакъ, что же такое чистое искусство? А вотъ видите ли, человѣкъ пользуется своимъ языкомъ для того, чтобы выразить свои мысли, чувства и потребности; когда онъ дѣйствуетъ такъ, тогда разговоръ приноситъ пользу или удовольствіе ему, или его слушателю, или тому и другому вмѣстѣ. Тутъ разговоръ служитъ средствомъ; а цѣль разговора лежитъ внѣ его предѣловъ; стало быть, тутъ нельзя сказать, что разговоръ производится для разговора. Но въ большей части случаевъ, человѣкъ пользуется языкомъ для того, чтобы убить время. Разговоръ самъ себѣ становится цѣлью. Французы съ гордостью говорятъ о себѣ, что они создали искусство разговора—*l'art de la causerie*. За то, Базаровъ умоляетъ Аркадія не говорить красиво и по своей медвѣжьей грубости увѣряетъ, что говорить красиво свойственно только людямъ совершенно пустоголовнымъ. Если мы припомнимъ, что искусство *de la causerie* процвѣтало при дворахъ Людовиковъ XIV, XV и XVI, и что оно воздѣлывалось маркизами и графинями, систематически притуплявшими свои умственные способности съ самой ранней молодости, то мы принуждены будемъ сознаться, что нашъ грубый землякъ Базаровъ разсуждаетъ весьма не почтительно, но довольно основательно. Примѣненіе чистаго искусства къ человѣческому разговору оказывается вѣрнѣйшимъ средствомъ развратить и ослабить умственные способности, и вселить въ лубазое сердце человѣка непобѣдимую любовь къ извивающейся фразѣ, и неодолимое отвращеніе ко всякому серьезному труду мысли. Вообразимъ себѣ теперь, что искусство салонной бесѣды успѣло развиваться во Франціи еще сильнѣе, чѣмъ было въ дѣйствительности; очевидно, могло и должно было случиться, что изъ общей массы бесѣдующихъ выдѣлились бы спеціалисты своего дѣла, художники-болтуны, которымъ стали бы платить деньги, по стоѣлку-то за часъ или за вечеръ, какъ платятъ таперу, пѣвцу или чтецу; поговори только, отецъ родной, побесѣдуй!—Этого не случилось въ отношеніи къ разговору даже во Франціи прошлаго столѣтія; но въ отношеніи къ письменному изложенію мыслей, это случилось во всѣхъ образованныхъ странахъ Европы. Всякій умѣетъ говорить, но не всякій умѣетъ писать; поэтому и платятъ литературѣ деньги, не только за мысль, за изслѣдованіе, за умственный трудъ, а, сверхъ всего этого, за то еще, что вотъ ты, дескать, соболю ясный, съумѣлъ связать слова въ предложенія, и предложенія въ періоды. И это совершенно

справедливо, потому что не всё уживётся это сблизить, самые хорошие и оригинальные мысли часто становятся для общества недоступным сокровищемъ, единственно оттого, что онѣ разбросаны въ такомъ безпорядкѣ, и покрыты такимъ туманомъ, въ которомъ безжестотный читатель, не видитъ ни начала, ни конца, ни середины, а видитъ только «хаоса бытность довременну». Когда принимается за дѣло какойнибудь умный и трудолюбивый человѣкъ, неизмѣняющій однако ни малѣйшаго притязанія на гениальность, онъ рассеиваетъ туманъ, и превращаетъ хаосъ въ прекрасный садъ, въ которомъ растётъ древо познанія добра и зла. Онъ овладѣваетъ тѣми матеріалами, которые даны ему въ хаотическихъ твореніяхъ оригинальнаго гениа; онъ перерабатываетъ чужія мысли, но если бы онъ ихъ не перерабатывалъ, то онѣ остались бы мертвымъ капиталомъ, и не обнаружили бы ни малѣйшаго вліянія на умственную жизнь остальныхъ людей. За подобный трудъ стоитъ платить деньги, и, кромѣ того, стоитъ удѣлять популяризатору часть того уваженія, которое достается оригинальному гению. Но въ каждомъ обществѣ бываютъ между писателями люди неглупые и нелишенные дарованій, а между тѣмъ питающіе глубочайшее отвращеніе ко всякому упорному и тяжелому труду. Оригинальными гениями, бросающими въ міръ новыя идеи, эти люди не могутъ быть: силъ не хватаетъ. Терпѣливыми популяризаторами они не хотятъ быть: лѣнь одолѣла. Читаютъ эти люди только то, что доведено предварительною обработкою до послѣдней степени ясности; мысли и взгляды свои они почерпаютъ изъ популярныхъ книгъ и статей; такимъ образомъ они учатся въ одной школѣ со всею массою читающаго общества; между тѣмъ въ этихъ господахъ бодрствуетъ безсмертный духъ Петра Ивановича Бобчинскаго; съ одной стороны, имъ хочется заявить о своемъ существованіи, а съ другой стороны, имъ желательно приобрести побольше денегъ легкою работою литературнаго перетряхиванья изъ кулъка въ рогожку. Тогда они начинаютъ перефразировать мысли, полученныя ими изъ вторыхъ или третьихъ рукъ; мысль, вполне разъясненная первымъ популяризаторомъ, становится для этихъ милыхъ умственныхъ паразитовъ основнымъ мотивомъ, на который разыгрываются десятки варіацій; если вы сравните варіацію съ мотивомъ, то увидите, что варіація нисколько не яснѣе самого мотива, и что она не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшаго намека на самостоятельную работу мысли. Вся работа паразита состоитъ въ томъ, что онъ измѣнилъ слова и обороты. Такъ какъ о мысли уже заботиться нечего, то все вниманіе паразита сосредоточивается на формѣ; онъ не убѣждаетъ читателя, онъ ничего не доказываетъ, онъ просто повторяетъ то, что уже доказано другими, и что уже проведено этими другими, въ сознаніе читателя; поэтому, паразиту надо устроить только такъ, чтобы читатель не замѣтилъ избитости той мысли, которую ему подносятъ; надо прикрыть убожество па-

разннзма эффеитностью внѣшней формы; надо и соловьемъ свистать, и лягушкой квакать, и въ грудь себя колотить, и слезами обливаться, и конструкции необыкновенныя употреблять, и главное трещать, трещать и трещать такъ, чтобъ у читателя въ ушахъ зазвенѣло. Ну, читатель и ротъ разинетъ; бѣдность и безсиліе мысли, взятой съ барскаго плеча, проскользнуть незамѣченными, и счастливый паразитъ получить большія деньги, и пріобрѣтетъ репутацію блестящаго писателя и полезнаго двигателя отечественнаго прогресса.

II.

Литературныхъ паразитовъ чрезвычайно много, но изъ темной и жалкой толпы умственнаго пролетаріата выдвигаются только тѣ изъ нихъ, которые умѣютъ усвоить себѣ гибкую и разнообразную форму выраженія. Эти блестящіе паразиты дѣйствительно доводятъ форму до невѣроятнаго совершенства. Они выдѣлываютъ на своемъ языкѣ такіе же изумительныя рулады, какія Контскій выдѣлываетъ на скрипкѣ, или Рубинштейнъ на фортепьяно. Когда эта виртуозность пріобрѣтена навыкомъ и практикою, тогда, разумѣется, слѣдуетъ ею пользоваться; это капиталъ, съ котораго надо брать проценты. И вотъ гдѣ всякому простодушному читателю приходится только глазами хлопать и диву даваться! Приходится присутствовать при сотвореніи міра въ малыхъ размѣрахъ: все творится изъ ничего; пустота прикидывается полнотою, и такъ натурально прикидывается, что остается только плечами пожимать: художникъ, артистъ, профессоръ бѣлой магіи, Боско и даже Михайла Васильевичъ! Разумѣется, публика ахаетъ и восхищается, да и нельзя не восхищаться, когда чудеса во очію совершаются!

Когда паразитъ начинаетъ брать проценты съ своего капитала, тогда онъ просто и рѣшительно творитъ для того, чтобы къ чему-нибудь прикладывать свою техническую ловкость. Онъ вовсе не имѣетъ потребности высказывать обществу какія-нибудь идеи; у него нѣтъ такого чувства, которое настоятельно искало бы себѣ выхода и проявленія; онъ вовсе не желаетъ сознательно подѣйствовать на развитіе общества въ томъ или въ другомъ направленіи; онъ не мыслитель, не общественный дѣятель и не поэтъ въ высшемъ и забытомъ теперь значеніи этого слова; онъ статейныхъ, романыхъ или стиховныхъ дѣлъ мастеръ, и какъ разсудительный мастеровой, онъ не хочетъ, чтобы его умѣніе пропадало даромъ. Зачѣмъ сидѣть сложа руки, когда выучился ремеслу? Отчего не отправиться на ловлю рублей и лавровыхъ

вѣнковъ, когда есть добрые люди, разсыпавшіе въ приличномъ изобиліи то и другое?

Разсужденіе безукоризненно вѣрно, и это разсужденіе ведетъ прямымъ путемъ къ полному торжеству и безграничному господству чистаго искусства. Одни люди пишутъ потому, что во всемъ ихъ существѣ кипитъ страстная работа мысли и чувства; ясно, что мысль и чувство ихъ, служація причиною творческаго процесса, возбуждены впечатлѣніями, независимыми отъ этого процесса. Другіе люди пишутъ для того, чтобы дѣйствовать на общество; цѣль дѣятельности независима отъ процесса, какъ это мы видимъ у Бѣлинскаго, Добролюбова и автора: «Что дѣлать?» Третьи пишутъ вслѣдствіе того, что выучились писать и могутъ писать безъ малѣйшаго труда, такъ, какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ; у нихъ творчество безпричинно и безцѣльно; то есть, если хотите, причина и цѣль есть, но онѣ не могутъ имѣть вліянія на направленіе творческаго процесса; положимъ, что стиходѣлатель хочется пришить къ своему теплому пальто бобровый воротникъ; вотъ побудительная причина, заставляющая его обмокнуть перо въ чернильницу; между тѣмъ онъ, по всей вѣроятности, станетъ писать не о бобровыхъ воротникахъ, а о превратностяхъ судьбы, постигшихъ трехъ древнихъ мудрецовъ, или о несчастіяхъ бѣдной дѣвочки, умершей весною подъ звуки отцовской скрипки, или вообще о чемъ нибудь высокомъ и прекрасномъ, неимѣющемъ ничего общаго съ обворожительною выставкою сосѣдняго мѣховщика. Цѣль также есть, стиходѣлатель желаетъ продать свое стихотвореніе въ журналъ, да взять подороже, да прихватить, коли дадутъ, хорошій задатокъ; не смотря на то, Сенека, Луканъ и Люцій разсуждаютъ весьма горячо о безсмертіи души, а совсѣмъ не о томъ, гдѣ больше дадутъ, въ «Современникѣ» или въ «Отечественныхъ Запискахъ»; и умирающая Маня также интересуется въ свои послѣднія минуты весеннею зеленью, вмѣсто того, чтобы смущать себя щекотливымъ вопросомъ: отпустятъ ли моль изъ «Русскаго Слова» рублей пятьдесятъ впередъ? Ясно, стало быть, что причина и цѣль не проникаютъ въ святилище творчества; святилище остается неоскверненнымъ, и люди, тоскующіе о бобровомъ воротникѣ, и мечтающіе о плѣнительномъ задаткѣ, могутъ быть признаны достойными жрецами чистаго искусства. Вопросъ, конечно, нисколько не измѣнится, если вмѣсто боброваго воротника я поставлю стремленіе къ литературной славѣ, а вмѣсто задатка въ 50 рублей — рукоплесканія на публичномъ чтеніи. Жрецъ чистаго искусства въ томъ или въ другомъ случаѣ останется вѣренъ своему призванію, и въ томъ или въ другомъ случаѣ останется великолѣпнѣйшимъ экземпляромъ породы паразитовъ.

Если читателю не совсѣмъ ясно, почему наши лирическіе поэты, представляющіе полное отсутствіе мысли, могутъ быть включены въ раз-

рядъ паразитовъ, похищающихъ чужую мысль, то я немедленно разрѣшу это недоумѣніе. Лирическіе поэты наши питаютъ свое убожество тѣми мельчайшими крупницами мысли и чувства, которыя составляютъ всеобщее достояніе всѣхъ людей, глупыхъ и умныхъ, образованныхъ и необразованныхъ, честныхъ и подлыхъ. Всякій человѣкъ ощущаетъ что нибудь, когда смотритъ на красивую женщину, и всякій знаетъ это ощущение и понимаетъ, что оно и другимъ извѣстно, и что, стало быть, о немъ разсказывать бесполезно и не интересно. Но лирики, подобно птицѣ колибри, питаются цвѣточной пылью; они даже это мельчайшее и извѣстнѣйшее чувство обратили въ свою собственность, и стали извлекать изъ него доходъ, благодаря своему умѣнію творить все изъ ничего, и надѣвать на неосвязаемую пыль легкотканныя и весьма пестрыя одежды изъ ямбовъ, хореевъ, анапестовъ, дактилей и амфибрахіевъ. Лирики, какъ мелкія птички въ великой семьѣ паразитовъ, пробавляются тѣмъ, что уже всѣ знаютъ, и чѣмъ никто, кромѣ лирика, не можетъ и не хочетъ пользоваться. Другіе паразиты, болѣе крупныя, эксплуатируютъ въ свою пользу не крупницы чувства, а не зародыши мысли, а цѣлыя большія чувства, и цѣлыя развившіяся мысли. Этими жрецами чистаго искусства поглощаются замѣчательныя теоріи, и величественныя міросозерцанія. Есть между этими жрецами воробы, но есть и слоны, и такъ какъ большому кораблю и большое плаваніе, то слоны, разумѣется, овладѣваютъ самыми широкими и самыми смѣлыми міросозерцаніями. Они толкуютъ съ чужаго голоса о самыхъ важныхъ и великихъ вопросахъ жизни; они разыгрываютъ свои варіаціи съ такимъ апломбомъ и съ такимъ оглушительнымъ трескомъ, что читатель робѣетъ и почтительно склоняетъ передъ ними голову. Но храмъ чистаго искусства одинаково отворенъ для всѣхъ своихъ настоящихъ поклонниковъ, для всѣхъ жрецовъ, чистыхъ сердцемъ и невинныхъ въ самостоятельной работѣ мысли. Благодаря этому обстоятельству, читатель, изумляясь и не вѣря глазамъ своимъ, увидитъ за однимъ и тѣмъ же жертвенникомъ съ одной стороны, нашего маленькаго лирика, г. Фета, а съ другой стороны, нашего большаго юмориста, г. Щедрина. Это съ непривычки столь удивительно, что надо начать новую главу.

III.

Да, г. Щедринъ, вождь нашей обличительной литературы, съ полною справедливостью можетъ быть названъ чистѣйшимъ представителемъ чистаго искусства въ его новѣйшемъ видовыженіи. Г. Щедринъ не под-

чается въ своей дѣятельности ни силѣ любимой идеи, ни голосу возмущающаго чувства; принимаясь за перо, онъ также не предлагаетъ себѣ вопроса о томъ, куда хватить его обличительная стрѣла — въ оловякъ или въ чужихъ, «въ титулярныхъ совѣтниковъ или въ интимистовъ *). Она пишетъ рассказы, обличаетъ неправду, и смѣшитъ читателя единственно потому, что умѣетъ писать легко и ирриво, обладаетъ огромнымъ запасомъ диковинныхъ матеріаловъ, и очень любитъ потѣшиться надъ этими диковинками виждѣсь съ добродушнымъ читателемъ. Влѣдствие этихъ свойствъ автора, его произведенія въ высшей степени безвредны, для чтенія пріятны, и съ гигиенической точки зрѣнія даже полезны, потому что смѣхъ способствуетъ пищеваренію, тѣмъ болѣе, что къ смѣху г. Щедрина, заразительно дѣйствующему на читателя, вовсе не примѣшиваются тѣ грустныя и серьезныя ноты, которыя слышатся по-настоящему въ смѣхѣ Диккенса, Теккерея, Гейне, Берне, Гоголя, и вообще всѣхъ не дѣйствительно-статскихъ, а дѣйствительно замѣчательныхъ юмористовъ: Г. Щедринъ всегда смѣется отъ чистаго сердца, и смѣется настолько надъ тѣмъ, что онъ видитъ въ жизни, сколько надъ тѣмъ, какъ онъ самъ рассказываетъ и описываетъ событія и положенія; измѣните слегка манеру изложенія, отбросьте шалости языка и конструкціи, и вы увидите, что юмористическій букетъ значительно выдохнется и ослабѣетъ. Чтобы разсѣлшить читателя, г. Щедринъ не только пускаетъ въ ходъ грамматическія и синтаксическія *salto-mortale*, но даже умышленно искажаетъ жизненную и бытовую правду своихъ рассказовъ; главное дѣло — ракету пустить, и смѣхъ произвести; эта цѣль оправдываетъ всѣ средства, узаконяетъ собою всякія натяжки, и, разумѣется, достигается, потому что все остальное безъ малѣйшаго колебанія приносится ей въ жертву.

Эта особенность въ литературной дѣятельности г. Щедрина объясняется въ значительной степени построенный усилъхъ его произведеній. Когда мы были расположены ворковать по голубиному, тогда мы упивались г. Фетомъ; когда мы пожелади смѣяться, тогда мы стали обожать г. Щедрина; смѣхъ во всякомъ случаѣ представляетъ собою болѣе нормальное отравленіе человѣческаго организма, чѣмъ воркованіе, и, поэтому переходъ отъ г. Фета къ г. Щедрину, обозначаетъ собою нѣкоторый прогрессъ въ нашемъ умственномъ развитіи. Но безпредметный и безцѣльный смѣхъ г. Щедрина, самъ по себѣ приноситъ нашему общественному сознанию и нашему человѣческому совершенствованію такъ же мало пользы, какъ безпредметное и безцѣльное воркованіе г. Фета. Мы легко можемъ заснуть на этомъ смѣхѣ, и, продолжая смѣяться,

*) Сія послѣдняя острота, побивающая разонъ и титулярныхъ совѣтниковъ и интимистовъ, украшаетъ собою страницы «Современника»; (см. «Наша общественная жизнь»). 1864 г. января.

воображать себѣ, что мы дѣлаемъ дѣло, идемъ за вѣжомъ, и обновляемъ нашимъ невиннымъ смѣхомъ старыя бытовыя формы. Смѣхъ г. Щедрина убавливаетъ и располагаетъ ко сну, потому что, возбуждая собою этотъ серебряный смѣхъ, все тяжелое безобразіе нашей жизни производитъ на насъ легкое и отрадное впечатлѣніе. Мы смѣемся и теряемъ силу негодовать; личность веселаго рассказчика и нежестокаго балагура за-сложиваетъ отъ насъ темную и трагическую сторону живыхъ явленій; мы смѣемся, и склоняемъ голову на подушку, и тихо засыпаемъ; съ дѣтскою улыбкою на губахъ. Вотъ тутъ мы и можемъ измѣрить громадное разстояніе, отдѣляющее людей, дѣйствительно чувствующихъ, отъ тѣхъ людей, которые служатъ съ безуворивненнымъ усердіемъ чистому искусству. Сравните, напримѣръ, Писемскаго съ г. Щедринымъ. — Г. Щедринъ — писатель, пріятный во всѣхъ отношеніяхъ; онъ любитъ стоять въ первомъ ряду прогрессистовъ, сегодня съ «Русскимъ Вѣстникомъ», завтра съ «Современникомъ», послѣ завтра еще съ кѣмъ-нибудь, но непремѣнно въ первомъ ряду; для того, чтобы удерживать за собою это лестное положеніе, онъ осторожно производитъ въ своихъ убѣжденіяхъ разныя маленькія передвиженія, приводящія незамѣтнымъ образомъ къ полному повороту на лѣво кругомъ. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ, г. Щедринъ своимъ отрицаніемъ соорудилъ фигуру идеальнаго чиновника Надимова; но, по свойственной ему осторожности, авторъ «Губернскихъ очерковъ», не произнесъ въ этомъ направленіи послѣдняго слова; это слово, какъ извѣстно, было произнесено графомъ Соллогубомъ, котораго наши добрые соотечественники сначала на рукахъ носили, а потомъ, разумѣется, осмѣяли. Когда великовѣстскій литераторъ такимъ образомъ опростоволосился, когда идеальный чиновникъ былъ доведенъ до послѣднихъ границъ картонности трудами чувствительныхъ писателей, подобныхъ г. Львову, тогда г. Щедринъ, счастливо выбравшійся изъ этого кораблекрушенія, тотчасъ началъ растирать въ порошокъ фигуру Надимова, и притомъ растирать ее тѣмъ же самымъ отрицаніемъ, которымъ онъ ее соорудилъ. Изъ тона г. Каткова онъ перешелъ въ тонъ Добролюбова. Держась постоянно хорошаго общества, то есть общества прогрессистовъ, г. Щедринъ постоянно велъ себя, «чинно, благопристойно и вѣжливо», соблюдая «чистоту и опрятность въ одеждѣ», то есть, онъ никогда не огорчалъ своихъ товарищей по прогрессу какою-нибудь рѣзкою выходкою, хотя случалось не рѣдко, что онъ не попадалъ въ тактъ людей, къ образу мыслей которыхъ онъ пристранялся съ боку. Формулярный списокъ г. Щедрина какъ литератора совершенно чистъ; литературная служба его безпорочна: служилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», служитъ теперь въ «Современникѣ»; удовлетворялъ прежде однимъ требованіямъ, теперь также хорошо и отчетливо удовлетворяетъ другимъ; ни тогда, ни теперь онъ не произвелъ такого

скандала, который бы изумил читателей, и привелъ въ негодование лучшихъ представителей нашего общественнаго сознанія. Г. Писемскаго; напротивъ того, нельзя, назвать даже просто пріятнымъ писателемъ; сходится онъ съ людьми самыхъ сомнительныхъ убѣжденій, и ведетъ себя часто совершенно «безчино, неблагопристойно и невѣжливо»; скандалы производить на каждомъ шагѣ, и упреки въ обскурантизмѣ сыплются на него со всѣхъ сторонъ; онъ не развитъ и не образованъ, и шлохъ заслуживаетъ эти упреки своею грубою безтактностью. Но вотъ что любопытно замѣтить. Г. Щедринъ, какъ дѣйствительно статскій прогрессистъ, долженъ очевидно осуждать нашу родиную безалаберщину гораздо строже и сознательнѣе, чѣмъ г. Писемскій, котораго образъ мыслей загроможденъ предрассудками, противорѣчіями и разлагающимися остатками конишинской старины. Между тѣмъ, на повѣрку выходитъ, что произведенія г. Писемскаго каждому не предубѣжденному читателю внушаютъ гораздо болѣе осмысленной ненависти и серьезнаго отвращенія къ безобразію нашей жизни, чѣмъ сатиры и рассказы г. Щедрина. Критикъ «Современника» въ ноябрьской книгѣ 1868 года, разбирая «Горькую Судьбину» Писемскаго, жалуется на то, что произведенія этого писателя производятъ невыносимо-тяжелое впечатлѣніе, и заставляютъ читателя испытывать чувство нестерпимой духоты; причину этого обстоятельства критикъ ищетъ въ томъ, что у Писемскаго нѣтъ идеала; объясненіе это кажется мнѣ довольно страннымъ; жалоба также очень оригинальная. Проще было бы сообразить, что романъ или драма даютъ читателю тѣже впечатлѣнія, какия дала автору сама жизнь. Вѣроятно «Современникъ» не рѣшится отвергать присутствіе духоты въ нашей жизни, а если она существуетъ въ жизни, то я не вижу резона, за чѣмъ ее выкуривать изъ романовъ и драмъ. Г. Писемскому душно и больно, когда онъ берется за перо, и оттого каждый фактъ, изображаемый имъ, бьетъ читателя, какъ обухомъ по головѣ, а совокупность картины потрясаетъ всю нервную систему читателя неотразимымъ впечатлѣніемъ ужасающей дѣйствительности. А тамъ ужъ выше дѣло осмысливать себѣ исмытаемое ощущеніе, и отыскивать причины той духоты и того мрака, которые охватили васъ во время чтенія. Авторъ заставляетъ васъ перечувствовать то, что онъ чувствуетъ самъ, и вы можете быть на него въ претензіи только въ томъ случаѣ, если вы полагаете, что наша жизнь свѣтла, прекрасна и богата разумными наслажденіями, доступными для каждой человѣческой личности. Если же вы этого не думаете, тогда вы должны согласиться, что романы и повѣсти непріятнаго обскуранта Писемскаго, дѣйствуютъ на общественное сознаніе сильнѣе и живительнѣе, чѣмъ сатиры и рассказы пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ и прогрессивнаго г. Щедрина. Когда г. Писемскій начинаетъ разсуждать, тогда хоть святыхъ вонъ носи, но когда онъ даетъ сырые ма-

териалы, тогда читателю приходится задумываться надъ ними очень глубоко. Г. Щедринъ, напротивъ того, очень отчетливо и благообразно рассуждаетъ по Добролюбову, очень мило смѣшиваетъ читателя до упаду своимъ простодушнымъ весельемъ; но вы можете прочитать отъ доски до доски всѣ его сатиры и рассказы, и вы ни надъ чѣмъ не задумаетесь, и впечатлѣніе останется точно такое, какъ будто-бы вы побывали въ Михайловскомъ театрѣ, и посмотрѣли известный французскій водевилъ: «L'Amour qu'on qu'est qu'on sa?». Г. Писемскій способенъ написать романъ съ самыми невольными тенденціями, и онъ вполне обнаруживаетъ эту способность въ своемъ послѣднемъ, отвратительномъ произведеніи, но за то онъ способенъ написать и такую вещь, которая, какъ его «Тюфизъ», характеризуетъ грязь нашего провинціального общества гораздо полнѣе и ярче, чѣмъ всѣ юмористическія диссертациі г. Щедрина о «нашихъ групповскихъ дѣлахъ»; за то онъ создалъ «Горькую Судьбину» и «Ватю», и въ этихъ произведеніяхъ очертилъ трагическую сторону крѣпостнаго права съ такою страшною силою, которая останется на всегда недоступною для г. Щедрина. Г. Писемскаго вы сегодня можете ненавидѣть, и ненавидѣть за дѣло, но вчера вы его любили, и любили также за дѣло; что же касается до г. Щедрина, то его не за что ни любить, ни ненавидѣть; въ его книгѣ нельзя видѣть ни друга, ни врага; его книга ничто иное, какъ веселый собесѣдникъ, съ которымъ пріятно бываетъ побалагурить часъ-другой, послѣ хорошаго обѣда, или на сонъ грядущій.

Зная беззаботные нравы нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ, и принимая въ расчетъ невинность щедринскаго юмора, и заразительную веселость его добродушнаго смѣха, мы съ читателемъ въ одну минуту сообразимъ, почему г. Щедринъ съ перваго появленія своего на литературномъ поприщѣ вошелъ во вкусъ нашей читающей публики, и преимущественно тѣхъ самыхъ классовъ общества, которые сатира его преслѣдуетъ съ неумолимымъ постоянствомъ. Конечно, провинціальныя чиновники съ самаго начала было переконфузились, полагая, что сатира служить предвѣстницею грома; но, такъ какъ громъ не грянулъ, то догадливые провинціалы скоро успокоились, возлюбили веселаго г. Щедрина своимъ сердцемъ своимъ, и продолжаютъ любить его вплоть до настоящаго времени. Оно и естественно. Въ томъ обществѣ, въ которомъ «Сынъ Отечества» имѣетъ десятки тысячъ читателей, г. Щедринъ неизбѣжно долженъ считать десятки тысячъ поклонниковъ. Легкая наука «Сына Отечества», и легкій смѣхъ г. Щедрина, и легкая мечтательность г. Фета связаны между собою тѣсными узами умственного родства. Всѣ эти писатели пишутъ для процесса писанія, а публика всѣхъ ихъ читаетъ для процесса чтенія. Изъ этого происходитъ удовольствіе взаимное, безгрѣшное и пренебрежительное.

IV.

Но читатель мнѣ не вѣрить; читатель убѣжденъ, что я протесни-
чиваю. Я съ своей стороны совершенно одобряю недоверіе читателя,
потому что терпѣть не могу, чтобы мнѣ вѣрили на слово. Я тотчасъ
выдвину впередъ доказательства; я выберу изъ сочиненій г. Щедрина
нѣсколько смѣхотворныхъ пассажей, и мы съ читателемъ посмотримъ,
въ чемъ заключается ихъ юмористическая соль. Предупреждаю, что вы-
писокъ будетъ пренного, потому что коли доказывать, такъ ужъ доказывать
неотразимо. Вотъ, напримѣръ, г. Щеринъ рассказываетъ, что одинъ гу-
бернаторъ имѣлъ привычку повторять по цѣлымъ днямъ каковъ нибудь слово;
вздумаетъ говорить: закона *тѣтъ* такъ и пойдетъ на цѣлый день: «нѣтъ за-
кона.» До такой степени зарапортуется, что даже когда докладываютъ, что
кушанье подано, онъ все такъ кричитъ: «нѣтъ закона.»

— Ахъ, Nicolas, какой ты разсѣянный! замѣтитъ бывало губерна-
торша.

— Ахъ, матушка! возразить губернаторъ, и съ этой минуты, вмѣсто
«нѣтъ закона,» начинаетъ пилить: «ахъ матушка.»

«Надо сознаться, что съ непривычки это крайне затрудняетъ сно-
шенія съ нашимъ начальникомъ края, а незнакомыхъ съ его обычаями
повергаетъ даже въ крайнее изумленіе. Я помню, одинъ эстляндскій ба-
ронъ, пріѣхавшій изъ за двѣсти верстъ жаловаться, что у него изъ грун-
тового сарая двѣ вишни украли, даже странно оскорбился, когда на-
чальникъ губерніи, вмѣсто всякой резолюціи, сказалъ ему: «ахъ, мату-
шка», и чуть ли даже не хотѣлъ довести объ этомъ до свѣдѣнія выс-
шаго начальства.

— На что это похоже! сказывалъ онъ мнѣ: у него идутъ правосудіи,
а онъ: «ахъ, матушка!»

Неправда ли читатель, что это замысловатая выдумка сатирика по
своему остроумію и по своей безобидности не уступить лучшимъ карри-
катурамъ «Оныя Отечества»? Это мѣсто находится въ книжкѣ «Сатиры
въ прозѣ,» на страницѣ 286—287; исторія о губернаторскихъ погово-
ркахъ этимъ еще не оканчивается, но слѣдитъ за ея продолженіемъ и
считаю дѣломъ роскоши. Перейдемъ къ другимъ забавамъ.

Говорится, напримѣръ, о провинціальныя сплетняхъ, и сатирикъ,
обыкновенно веселый волненіемъ, восклицаетъ: «Какое дѣло кабаньей женѣ;
что поросенковъ братъ третьяго дня съ свиньиной племянницей черезъ
клетень похитилъ? Ахъ дѣло, потому что кабанья жена до изступленія
чувствъ этимъ взволнована, потому что кабанья жена дала себѣ слово

неустанно искоренять пороссячью безнравственность и выводить на свѣжую воду тайные пороссячьи амуры.» — *A la bonne heure*, вотъ это сатира! Каковъ великодушный пылъ негодованья! Какова возвышенная смѣлость рѣчи! А главное, каково остроуміе, и какова неистощимая веселость въ самомъ разгарѣ душевнаго волненія! Что Ювеналъ! Ему и не грезились такіе обороты. Свинымъ, говорить, вы провинциалы! но говорить не просто, а съ тонкими намеками, указывая на «пороссячью безнравственность» и «пороссячьи амуры.»

Мягко, а между тѣмъ, язвительно!—Одинъ изъ героевъ г. Щедрина, Пьеръ Уколкинъ, цѣтъ и надежда Глупова, говоритъ, ради остроты: «съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше вамъ-съ» и потомъ спрашиваетъ на счетъ своей выдумки: «joli»? Но до «тайныхъ пороссячьихъ амуровъ» самъ Пьеръ Уколкинъ никогда не возвысится; за то г. Щедринъ постоянно мигаетъ своему читателю и, подобно Пьеру Уколкину, постоянно спрашиваетъ на счетъ своихъ остротъ: «joli»? Вопросы и миганія не выражены въ печати, но они живо чувствуются въ архитектурѣ самыхъ остротъ. Пороссячье мѣсто смотри на страницѣ 372.—Рассказывается эпизодъ изъ политической исторіи Глупова: «Вотъ и созвала Минерва вѣрныхъ своихъ глуповцевъ: скажите дескать мнѣ, какая это крѣпкая дума въ васъ засѣла? Но глуповцы кланялись и потѣли, самый, что называется, горланъ ихній хотѣлъ было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмѣлился, а только взопрѣлъ, душе прочіихъ.» — «Скажите, что жъ вы желали бы? настаивала Минерва, и даже топнула ножкой отъ нетерпѣнья. Но глуповцы продолжали кланяться и потѣть. Тогда, богъ вѣсть откуда, раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: «лихо бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали, и засмѣялись тѣмъ внутреннимъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачокъ, когда ему кукишъ показываютъ. Съ тѣхъ поръ и не тревожили глуповцевъ вопросами» (стр. 407). Это забавное мѣсто заключаетъ въ себѣ философію исторіи, популярно изложенную г. Щедринымъ для пороссячьихъ братьевъ и для свиныхъ племянницъ. Изъ этого мѣста мы можемъ извлечь кое-какія поучительныя размышленія: во-первыхъ, мы усматриваемъ, что вся мудрость заключалась въ головѣ Минервы, а что глуповцы всегда умѣли только кланяться, потѣть и смѣяться внутреннимъ смѣхомъ, который, вѣроятно, очень значительно отличается отъ смѣха г. Щедрина; во-вторыхъ, мы видимъ, что Минерва отличалась безконечною благостью, и отъ души готова была даровать глуповцамъ рѣшительно все, чего бы они ни спросили; этого мы до сихъ поръ не знали, но теперь будемъ знать, и твердо будемъ помнить, что глуповцы сами во всемъ виноваты, что, впрочемъ, говорить уже намъ г. Гончаровъ, создавшій Обломова и выдумавшій Обломовщину, какъ болѣзнь, и Штольца, какъ

лекарство; а въ третьихъ, мы замѣчаемъ, что повѣствовать о губернаторскихъ поговоркахъ, и разоблачать тайные поросачьи амуры легче и безопаснѣе, чѣмъ пускаться на утлой ладѣ сатирическаго ума въ неизвѣстное и непонятное море историческихъ и политическихъ соображеній; ну, а въ четвертыхъ и въ послѣднихъ, мы убѣждаемся въ томъ, что Добролюбовъ не всегда вывозить, и что г. Щедринъ, предоставленный своимъ собственнымъ силамъ, разсуждаетъ о высокихъ матеріяхъ не столько благоразумно и основательно, сколько развязно, игриво и простоудушно. Но, такъ какъ поросенины братья и свиньины племянники хохочутъ надъ потѣющими глуповцами, то цѣль великаго сатирика очевидно достигнута. «Joli?» спрашиваетъ онъ и мигаетъ.

Описываются глуповскія губернскія власти: «Въ то счастливое время, когда я процвѣталъ въ Глуповѣ, губернаторъ тамъ былъ плѣшивый, вице-губернаторъ плѣшивый, прокуроръ плѣшивый. У управляющаго палатой государственныхъ имуществъ хотя и были цѣлы волосы, но такая была странная фізіономія, что съ перваго и даже съ послѣдняго взгляда онъ казался плѣшивымъ. Соберется, бывало, губернский синклитъ этотъ, да учить о судьбахъ глуповскихъ толковать — даже мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ, таково оно тоинно!» (Стр. 410) Здѣсь сатирикъ нашъ, очевидно, находится въ своей истинной сферѣ; здѣсь онъ опять состязается въ остроуміи и невинности съ «Сыномъ Отечества», и опять одерживаетъ блистательную побѣду надъ своимъ опаснѣйшимъ конкурентомъ. Всѣ плѣшивые — ахъ, забавники! А управляющій палатой кажется плѣшивымъ — каково? и *учить* толковать, и *мухи умрутъ*, и *таково оно тоинно!* Ну можно ли въ двухъ строкахъ собрать столько аттической соли! Вѣдь явно посягаетъ человѣкъ на жизнь своихъ глуповскихъ читателей; вѣдь уморить со смѣху хочетъ! Просто приходится пощады просить. А фантазія какова: «мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ!» Этого и Державинъ бы не выдумалъ, а ужъ на что, кажется, былъ проказникъ. Оно положимъ непонятно: какъ это мухи умрутъ. Оно, положимъ, и смысла нѣтъ; но развѣ Державинъ могъ бы писать, если бы отъ писателя всегда требовался смыслъ? Да и что такое смыслъ? Луканный врагъ пріятныхъ и величественныхъ иллюзій. Прочь здравый смыслъ, и да здравствуютъ иллюзіи, начиная отъ державинскихъ и кончая щедринскими! «Умъ молчитъ, а сердцу ясно». Ну, значить, милые глуповцы, понимающіе сердцемъ стихи Державина, будутъ также сердцемъ хохотать надъ сатирами г. Щедрина, потому что уму и здравому смыслу нечего дѣлать ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ. Читателя изумляетъ, почему это я вдругъ Державина потревожилъ; а вотъ видите ли, юмористическая фантазія г. Щедрина на счетъ мухъ напомнила мнѣ другія фантазіи торжественнаго свойства, менѣе забавныя, но еще болѣе нелѣпыя; ну, и тутъ, конечно, представился мнѣ самый торжественный

изъ нашихъ одошвцевъ, а такъ какъ, я очень люблю и уважаю г. Державина, то я и неутерпѣлъ, чтобы не приласкать его мимоходомъ, при семъ удобномъ случаѣ. Юзъ тому же г. Щедринъ, какъ новѣйшій жрецъ чистаго искусства, болѣе или менѣе приводитъ нѣтъ на память всѣхъ своихъ товарищей и предпешественниковъ на поприщѣ этого великаго служенія.

Изображается сцена, характеризующая коренные обычаи Глунова: «Въ это хорошее, старое время, когда собирались гдѣ либо «хорошіе» люди, не въ рѣдкость было услышать слѣдующаго рода разговоръ:

— А ты затѣмъ на меня, подлецъ, такъ смотришь? говорилъ одинъ «хорошій» человѣкъ другому.

— Помилуйте.... отвѣчалъ другой «хорошій» человѣкъ, правомъ помирнѣе.

— И тебя спрашиваю не «помилуйте», а затѣмъ ты на меня смотришь? настаивалъ первый «хорошій» человѣкъ.

— Да помилуйте-съ...

... И бацъ въ рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо въ локанъ (такъ въ просторѣчій назывались лица «хорошихъ» людей!), выѣшивался, случавшійся тутъ, третій «хорошій» человѣкъ!

И выходило тутъ нѣчто въ родѣ свѣтопреставленія, во время котораго глазамъ сражающихся, и вдругъ и поочередно, представлялись всевозможныя свѣтила небесныя... (Стр. 418).

Вы смѣтаетесь, читатель, и я тоже смѣюсь, потому что нельзя не смѣяться. Ужъ очень большой артистъ г. Щедринъ въ своемъ дѣлѣ! Ужъ такъ онъ умѣетъ слова подбирать; вѣдь сцена-то сама по себѣ вовсе не смѣшная, а глупая, безобразная и отвратительная; а между тѣмъ впечатлѣніе остается у васъ самое легкое и пріятное, потому что вы видите передъ собою только смѣшныя слова, а не грязные поступки; вы думаете только о затѣяхъ г. Щедрина, и совершенно забываете глуповскіе нравы. Я знаю, что эстетическіе критики называютъ это просвѣтляющимъ и примирающимъ дѣйствіемъ искусства, но я въ этомъ просвѣтленіи и примиреніи не вижу ничего, кромѣ одурающаго. Разсказъ долженъ производить на насъ тоже впечатлѣніе, какое производитъ живое явленіе; если же жизнь тяжела и безобразна, а разсказъ заставляетъ насъ смѣяться пріятнѣйшимъ и добродушнѣйшимъ смѣхомъ, то это значить, что литература превращается въ щекотаніе нитокъ, и перестаетъ быть серьезнымъ общественнымъ дѣломъ. Чтобы предлагать людямъ такое чтеніе, не стоитъ отрывать ихъ отъ карточныхъ столовъ. Здѣсь я, опять укажу на Писемскаго. «Взбалоумученное море», при всей затклости своихъ тенденцій, представляетъ нѣсколько замѣчательныхъ эпизодовъ. Приведемъ, напримеръ, дѣянія Юны-чинника: тутъ ужъ не засмѣетесь; тутъ за чело-

вѣща страшно одѣвается, а между тѣмъ, Іона-тининъ вовсе не хуже щедринскихъ героевъ; среда та же самая, и порожденія ея одинаковы; да жанры-то у писателей бываютъ различны: одинъ чувствуетъ, что калѣби и изверги нашей общественной жизни все-таки люди, которыхъ можно ненавидѣть, презирать, отвергать, но къ которымъ невозможно относиться, какъ къ марионеткамъ, созданнымъ нашими руками для нашей забавы; а другой ищетъ только случая посягнуть, водить передъ читателями своихъ глуповцевъ, какъ медвѣдей на цѣпи, и заставляетъ ихъ показывать ночтенѣйшей публикѣ, «какъ малые ребята горохъ вертуть», и «какъ старыя бабы на барщину ходить». Если Писемскій своими грубыми ухватками оскорбляетъ наши временныя симпатіи, то г. Щедрина своимъ юмористическимъ добродушіемъ обнаруживаетъ непониманіе вѣчныхъ интересовъ человѣческой природы. Есть язвы народной жизни, надъ которыми мыслящій человѣкъ можетъ смѣяться только желчнымъ и саркастическимъ смѣломъ; кто въ подобныхъ случаяхъ смѣется ради пицваренія, тотъ сбиваетъ съ толку общественное сознаніе, тотъ усиливаетъ общественное негодованіе, тотъ ругается надъ священной личностью человѣка, и, стоя въ первыхъ рядахъ прогрессистовъ, вредствуетъ хуже всякаго обскуранта. Но за то выходитъ joli, и даже très-joli.

Гегемонію преподаетъ наставленіе Потапчикову: «А я тебѣ скажу, что все это одна только видимость, что и Потапчиковъ, и Овчинниковъ тутъ только на прикладъ даны, въ существѣ же веществъ становой есть, ни мало ни много, невещественныхъ отношеній вещественное изображеніе... шутка! (Невинные рассказы. Стр. 8)». Ну, объ этомъ распространяться нечего; это очевидно «съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше вамъ-съ»; шутка эта даже не отличается самостоятельностью; она заимствована изъ «Обыкновенной исторіи» г. Гончарова, гдѣ Александръ Адуевъ говоритъ о «вещественныхъ знакахъ невещественныхъ отношеній»; тамъ это выраженіе уместно, а здѣсь поставлено ни къ селу, ни къ городу; конечно, г. Щедрина можетъ сказать, что онъ не заимствовалъ, и что гениальные умы, идя самостоятельными путями, часто встрѣчаются между собою на одномъ и томъ же открытіи, но это возраженіе мало поможетъ нашему балагуру, потому что открытіе все-таки приписывается обыкновенно тому, кто первый его обнаружилъ; стало быть, въ этомъ случаѣ честь изобрѣтенія останется неотъемлемою принадлежностью г. Гончарова. А вѣдь много есть добродушныхъ и доверчивыхъ читателей, которые, зная г. Щедрина, какъ весьма передового прогрессиста, будутъ искать въ его шуткахъ какогонибудь высшаго и таинственнаго смысла; они даже не повѣрятъ загадочности «Невинныхъ рассказовъ». Скажутъ: знаемъ мы тебя, какой ты невинный, и все-таки будутъ искать, и, разумеется, каждый найдетъ

все, что захочет найти. Въ безсмыслицѣ всегда можно увидать какой угодно смыслъ, именно, потому, что нѣтъ въ ней своего собственного, яснаго и опредѣленнаго смысла. И когда каждый найдетъ все, что захочетъ найти, то, конечно, слава г. Щедрина, какъ передоваго прогрессиста, соединяющаго глубокомыслие съ остроуміемъ, упрочится и распространится пуще прежняго. Тутъ весь секретъ тактики состоитъ въ томъ, чтобы говорить неясно и игриво, не договаривая до конца, и давая чувствовать, что и радъ бы, да нельзя, потому что не время, потому что не поймутъ. Это была всегдашняя тактика всѣхъ дипломатовъ, но такъ какъ наша читающая публика до сихъ поръ еще особенно доверчива, то морочить ее и дразнить ея ребяческое любопытство гіероглифическими шутками несравненно легче, чѣмъ водить за носъ ту европейскую публику, передъ которою Талейранъ и Меттернихъ умѣли прикидываться міровыми геніями. Для этого не надо обладать даже тою дозою дешеваго ума, которою обладали Меттернихъ и Тайлеранъ, для этого достаточно усвоить себѣ извѣстнаго рода сноровку и жаргонъ. Какъ простодушна и доверчива наша публика, это можно видѣть на самомъ г. Щедринѣ; нашъ сатирикъ ухитрился самого себя обморочить жаргономъ и сноровкою своего собственного изобрѣтенія; онъ не шутя, принимаетъ себя за глубокомысленнаго прогрессиста, соединяющаго протость голубя съ мудростью змія; въ своемъ заглавіи «Невинные рассказы» онъ думалъ затантъ глубокою и горькою иронію; онъ думалъ, что невинность будетъ только внѣшнимъ лакомъ, сообщающимъ его рассказамъ необходимое благообразіе: но соскоблите этотъ лакъ, и подъ нимъ вы опять увидите невинность; скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и вездѣ одно и тоже, невинность да невинность, можетъ быть угнетенная, но угнетенная чисто по недоразумѣнію, угнетенная потому, что угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки. А то и угнетать было бы нечего.

Во всѣхъ сочиненіяхъ г. Щедрина безъ исключенія нѣтъ ни одной идеи, которая бы въ наше время не была извѣстна и нерезиѣстна каждому пятнадцатилѣтнему гимназисту и кадету; но такъ какъ эта идея показывается изъ подъ полы, съ таинственными предосторожностями и лукавыми миганіями, то публика и хватается ее, какъ самую новѣйшую диковинку, и какъ вѣрнѣйшій талисманъ противъ всякаго умственнаго недуга. Конечно публика разочаровалась бы, увидавши, что ей всучили мѣдную копѣечку вмѣсто червонца, но ей не дадутъ всмотрѣться въ дѣло; ее смѣивать до упаду, и она остается совершенно доволенною, закрывая книгу въ полной увѣренности, что она и либерализмомъ побаловалась, и душу свою натѣшила. Ну, значитъ, сдѣлала дѣло, и спать ложись. Тактика хорошая, и плоды приносятъ обильные. Публикѣ все село, а г. Щедрину и поданно.

Приведу еще три примѣра; въ нихъ обнаружится до послѣдней степени ясности глубокая невинность и несложность тѣхъ пружинъ, которыми г. Щедринъ надрываетъ животы почтеннѣйшей публикѣ. Его Сивушество. Князь Полугаровъ (смиѣйтесь же, добрые люди!) всѣхъ кабаковъ, выставокъ и штофныхъ лавочекъ всерадостный обладатель и повелитель, говоритъ рѣчи: «отъ опредѣленія обращаюсь къ самому дѣлу, т. е. къ откупамъ. Тутъ господа, ужь не то, что «плевъ сто рублей», тутъ пахнутъ милліонами, а запахъ милліоновъ—сильный, острый, всѣмъ любезный, совсѣмъ не то, что запахъ теорій; чѣмъ замѣнить эти милліоны? Какою новою затыкаемостью затынуть эту старую поглощаемость?». Что можетъ сказать читатель, прочитавшій это удивительное мѣсто? Можетъ сказать совершенно справедливо: «Кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь? Эта фраза будетъ замѣшкана читателемъ у самого г. Щедрина, и нашъ неистощимый сатирикъ погнѣбаетъ такимъ образомъ подъ ударами своего собственнаго остроумія. Забудьте еще, что исторія о князѣ Полугаровѣ, растянутая на нѣсколько страницъ, предлагается публикѣ въ то время, когда откупъ уже не существуетъ; забудьте, что, по рассказамъ самого г. Щедрина, шамковскій гимназистъ, процвѣтающій въ городѣ Глуховѣ, уже отвергнутъ съ презрѣніемъ отъ администратора, желающаго поддержать откупную систему; сообразите на эти обстоятельства, и поставьте себѣ тогда вопросъ: не есть ли смѣхъ г. Щедрина безплодное проявленіе чистаго искусства, подобное лирическимъ воздыханіямъ гг. Фета, Крестовскаго и Майкова? Посмотримъ, какъ-то вы на этотъ вопросъ ответите. Положимъ, г. Щедринъ можетъ возразить, что онъ писалъ тогда, когда откупъ еще существовалъ, и что въ 1883 году выходило только въ свѣтъ отдельною книжкою тѣ сатирическіе рассказы, которые печатались прежде въ журналѣ, и имѣли нѣкогда животрепещущій интересъ современности. Но это возраженіе ни къ чему не ведетъ, потому что тутъ возникаетъ тотчасъ новый вопросъ: съ какой же стати вторично угощать публику объѣдами? Она, наша матушка, разумѣется все събысть, да еще и втораго изданія попросить; но не мѣшаетъ нашему брату писателю и честь знать, особенно когда писатель стоитъ въ первомъ ряду прогрессистовъ. Тутъ не дурно было бы и самому писателю относиться къ себѣ критически, и до нѣкоторой степени оберегать публику отъ ея собственной доверчивости и неравнорѣчивости. Возвращая на публику, какъ на подонную корову, надо предоставить въ неразрѣзную сабоианность производящему лагерю обскурантовъ. Идеи наши только тогда будутъ дѣйствительно сильны, когда отношенія наши къ обществу будутъ строго безкорыстны и до послѣдней степени деликатны. Кто думаетъ и поступаетъ въ этомъ случаѣ иначе, тотъ не прогрессистъ, а симулянтъ прогрессивной идеи, паразитъ и откупщикъ».

умственного міра. Если же г. Щедринъ погрѣшилъ здѣсь по необходимости, то онъ можетъ принести покаяніе и позаботиться объ исправленіи.

Въ слѣдующихъ двухъ примѣрахъ живость смѣхотворныхъ пружинъ доходить до такого великаго совершенства, что она должна даже возбуждать умиленіе читателя.

Ходить по комнатамъ Кондратій Тихоничъ, «я ходить, и ходить по своимъ сараямъ, ходить до того, что и полъ-то слезно жалуются и стонеть подъ ногами его: да садъ же ты, ради Христа!» Читатель смѣется, а чему тутъ смѣяться?

Чиновникъ играетъ въ ералашъ, противъ своего начальника; вслѣдствіе этого обстоятельства онъ вовсе не радуется своимъ хорошимъ картамъ, которыя заставляютъ его, ваяемъ—неволею, обыгрывать и огорчать великаго патрона. Положеніе действительно характеристическое, и комизма въ немъ много; но г. Щедринъ, здѣсь, какъ и вездѣ, вызываетъ смѣхъ читателя не самымъ положеніемъ, а неожиданно фривольною эксцентричностью. «Поэтому, онъ вслѣсно старался оправдаться, разбирая карты, пожимая плечами, какъ бы говоря: вѣдь лѣзетъ же такое дурацкое счастье! дѣлая ходъ, не кладъ карту на столъ, а какъ-то презрительно цырялъ ее, какъ бы говоря: вотъ и еще сукинъ сынъ тузъ!» Еще бы тутъ читатель не расхохотался; но ясно, что онъ будетъ смѣяться надъ «сукинымъ сыномъ тузомъ», а не надъ мелочными слабостями начальника и подчиненнаго. Смѣхъ будетъ безгрѣшный.

Г. Щедринъ, самъ того не замѣчая, въ одной изъ глуповскихъ сценъ превосходно охарактеризовалъ типическія особенности своего собственнаго юмора. Играютъ глуповцы въ карты

— Греческій человѣкъ Трефандосъ! восмалцаетъ онъ (пѣхотный командиръ), выходя съ трефъ. Мы вѣкъ ходимъ, хотя Трефандосъ этотъ является на сцену аккуратно, каждый разъ, какъ мы садимся играть въ карты, а это случается едва ли на всякій вечеръ.

— Финя! продолжаетъ командиръ, выходя съ нивовой мести.

— Ой, да перестань же, пострѣлъ! говоритъ генералъ Голубиновъ, показываясь со смѣху: — вѣдь этакъ а всю игру съ тобой перапутано».

На кажется-ли вамъ, любезный читатель, послѣ всего, что мы уже читали выше, что г. Щедринъ говоритъ вамъ: «Трефандосъ» и «Финя», а вы, подобно генералу Голубинову, отмахиваетесь руками, и, показываясь со смѣху, кричите безсильнымъ голосомъ: «ой, да перестань же, пострѣлъ! всю игру перапутаю».... Но неумолимый острякъ не перестаетъ, въ видъ действительно путаетъ игру, то есть, сбивается съ толку, и принимаетъ глуповскаго балагура за русскаго сатирика. Конечно, «спеціальне поросычьи амуры», «чужая затѣяемость старой неглупаемоты», и особенно «судить сынъ тузъ» не чета, «греховному человѣку Трефандосъ». Остроты г. Щедрина смѣлы, неожиданны и заморозятъ, шутки

интересного командира, но за то и сибется надъ островами г. Щедрин не однихъ глуповатыхъ генералъ Голубчиковъ, а вся наша читающая публика, и въ томъ числѣ даже самая умная, свѣжая и дѣятельная молодежь. А ужъ это дѣло пера бы и бросить. Развращаетъ умъ нашей молодежи «пуризмъ» сибыхомъ Иванушки-дурачка такъ же предосудительно, какъ щекотать ея перомъ звучными бессмыслицами лирической поэзии. Первое опасеніе послѣднее: надъ лириками молодежь уже сибется, а сатирикамъ она еще доверять, особенно тѣмъ изъ сатириковъ, которымъ удалось прикритъяся почтенною фирмою замѣчательнаго журнала, который еще долго будетъ представляться высшею силой его прошлаго дѣятеля. Какъ эти патентованные сатирики пользуются выгодами своего положенія, какъ они эксплуатируютъ доверіе публики вообще и молодежи въ особенности — это мы съ читателями уже отчасти видѣли, и увидимъ еще впереди.

V.

Г. Щедрину приходится иногда изображать трагическія происшествія у него въ разсказахъ встрѣчаются два сумасшествія и одно самоубійство. Но г. Щедринъ твердо убѣжденъ въ томъ, что глуповатого чиновника всегда слѣдуетъ обманывать и обманывать; поэтому онъ не разсказываетъ о помѣшательствахъ Зубатова и Голубчикова, а извѣстно облачаетъ того и другого въ этомъ непрогрессивномъ проступкѣ. Трагическія происшествія передаются такими образомъ: читатель весело и игриво, а читатель, разумеется, принимаетъ ихъ съ благодарностью, какъ новую пародическую интермедію. Что касается до самоубійства, то тутъ дѣло совсѣмъ другое; такъ какъ дѣйствующими лицами являются въ этомъ случаѣ два прѣдостные мальчика, то г. Щедринъ, желая развѣять самыя банальнѣйшія образы роли гуманнаго прогрессиста, постигаетъ трагическія сцены своего повѣствовательнаго таланта такъ тутъ, что онъ обращается до конца разсказа; видя, что эническая сила изнѣжаетъ ему, а что изъ нея ужъ не выйдетъ болѣе никакого раздѣлительнаго оффорта, г. Щедринъ смѣло выдвигаетъ въ лирическое вродство, и бумажно-паточные голоса и вымываетъ надъ несчастными ребятишками, которыхъ и безъ того тошно на свѣтѣ жить. Дѣло доходитъ до того, что юмористъ нашъ обращается съ возмущеніемъ сначала къ женой наивнѣйшей, Катеринѣ Афанасьевнѣ, а потомъ въ нашей публикѣ. Но, вѣроятно, такъ читатель «Катерина Афанасьевна» если бы ни была недоурачена, что дѣлается въ этомъ случаѣ, побужда въ бѣшенно почиваетъ съ нагнанными на носу и на щекахъ пластырами,

вы съ ужасомъ всдочили бы съ постели, вы выбѣжали бы босъ нафѣи на улицу, и огласили бы ее неслыханными, раздарающими душу вскриками.

«Земля мать! Если бы ты анала, какое страшное дѣло совершается въ этомъ оврагѣ, ты застонала бы, ты вокалхалась бы всѣми твоими морями, ты заговорила бы всѣми твоими рѣками, ты закипѣла бы всѣми твоими ручьями, ты зашумѣла бы всѣми твоими лѣсами, ты задрожала бы всѣми твоими горами!» («Невинные рассказы», стр. 168—169).

Ахъ мои батюшки! Страсти канія! Не жирно-ли будетъ, если земля мать станетъ проповѣдывать всѣ предписанныя ей эволюціи по поводу каждаго страшнаго дѣла, совершающагося въ оврагѣ. Вѣдь ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своемъ вѣку всѣяе виды; не осталось на ней ни одного квадратнаго аршина, на которомъ ея возлюбленный сынъ не совершилъ бы надъ собою или надъ другими какой-нибудь невообразимой гадости; такъ ужъ гдѣ ей, старухѣ, возмущаться такимъ дѣломъ, которое даже въ слабомъ человѣкѣ, въ гуманномъ русскомъ прогрессистѣ, въ самомъ г. Щедринѣ не можетъ возбудить ни одной искры неподдѣльнаго чувства. Вѣдь не выражается же въ самомъ дѣлѣ истинное чувство въ этомъ завываніи, въ которомъ такъ мало смысла, и такъ много риторства. Вѣдь это все поддѣлка съ начала до конца; вѣдь это—плаксивая примаса, это — слезы, навлеченныя нѣтъ, глазъ посредствомъ проханія хрѣна, это—какая-то искусственная мистификація, которая была бы возмутительна, если бы она не была такъ плоско смѣшна. «И кого ты своими благоглупостями благоудивлять хочешь?» въ раздумьи повторяетъ читатель, и потомъ усмѣхается; пожмала плечами, но на этотъ разъ усмѣхается, конечно, не шуткамъ сатирика, а тому печально-комическому положенію, въ которое попалъ самъ сатирикъ. Но допустимъ невозможное предположеніе: положимъ, что г. Щедринъ былъ потрясенъ дѣйствительно сильнымъ приливомъ чувства въ ту минуту, когда онъ создавалъ свое воззваніе къ землѣ и къ Катеринѣ Афанасьевнѣ; тогда тѣмъ хуже для него; въ такомъ случаѣ онъ несетъ заслуженное наказаніе за хроническую невинность своего безплоднаго смѣха; это значитъ, что человѣкъ можетъ превратить себя въ вертячую куклу; это значитъ, что вся нервная система человѣка можетъ быть безвозвратно исковеркана постояннымъ и одностороннимъ употребленіемъ умственныхъ способностей на мелкое и пустое увеселеніе публики; тогда приходится выразить истинное чувство, тогда истасканные нервы откликаются служить, и подъ перомъ писателя не оказывается ни одного образа, ни одного выраженія, соответствующаго этой непереносимой потребности. И выходитъ, вслѣдствіе этого, такая неестественная инстинтина, что читатель не знаетъ, что ему дѣлать: жалѣть ли, бѣдѣть ли, дожидаться, продажнаго свой душевный жаръ въ мелочную личную, смѣ-

итися-ли надъ его тщетными усиліями, или просто отвернуться и плюнуть отъ негодованія.

Но это еще не все. Желая во весь духъ ударить кулакомъ по лирическимъ струнамъ, г. Щедринъ не только риторствуетъ, но даже совершается надъ самимъ собою нѣчто въ родѣ литературнаго самоубійства; онъ умышленно искажаетъ въ своемъ воззваніи къ Катеринѣ Афанасьевнѣ тотъ характеръ, который онъ самъ очертилъ довольно тщательно на предыдущихъ страницахъ. Если бы Катерина Афанасьевна зимою выбѣжала изъ дому «безъ кофты», не боясь простуды, и стала бы оглашать улицы города «неслыханными воплями», не боясь скандала и всѣхъ его неприятныхъ послѣдствій, тогда это значило бы, что она женщина взбалмошная, вспыльчивая; но, при всемъ томъ, способная почувствовать себя виноватою, способная, подъ вліяніемъ сильнаго потрясенія, прийти въ себя и отбросить въ сторону систему своего хозяйственного терроризма. Между тѣмъ, предыдущія страницы говорятъ намъ совсѣмъ другое; изъ нихъ мы видимъ, что Катерина Афанасьевна совершаетъ свои жестокости очень хладнокровно, и съ значительною прихвѣсью рабовладѣльческаго остроумія; мы видимъ, что строй нравственныхъ понятій, вытекающихъ изъ крѣпостнаго права, отражается ее самымъ надежнымъ и непроницаемымъ щитомъ противъ всякихъ непосредственныхъ припадковъ состраданія и человеколюбія. Мы узнаемъ, кромѣ того, что Катерина Афанасьевна—стрѣлиная ворона; ей уже не въ первый разъ приходится переживать, что люди по ея милости рѣшаются на самоубійство; сестра одного изъ мальчиковъ утопилась вслѣдствіе жестокаго обращенія, а стоицизмъ помѣщицы не поколебался; помѣщица увѣрила себя и другихъ, что «поганка — Ольгушка» утопилась «для того, чтобы скрыть свой стыдъ», то есть беременность. Потомъ, когда тѣло не было найдено, и когда исправникъ укрѣпилъ естественный стоицизмъ помѣщицы своею дѣловою опытностію, тогда Катерина Афанасьевна смѣло стала отрицать самый фактъ самоубійства, и подала объявленіе о побѣгѣ «дѣвки Ольги Никандровой»; которая не только бѣжала сама, но, усугубляя свою вину воровствомъ, «унесла съ собою данное ей помѣщикомъ нестрадинное платье, въ которое и была въ тотъ день одѣта». Возьмите въ расчетъ, что наша бойкая помѣщица—женщина необразованная и суевѣрная, и тогда вы поймете, какую силу характера обнаружила Катерина Афанасьевна, взводя клевету въ побѣгѣ и въ воровствѣ на такую покойницу, которую она, Катерина Афанасьевна, почти собственноручно сирочадила на тотъ свѣтъ. Правда, «поганка Ольгушка» явилась своей баринѣ во снѣ, и барыня высочила изъ спальни, какъ полоумная; но во-первыхъ, это видѣла только ключница Матрена, а во-вторыхъ, что же изъ этого слѣдуетъ? Помѣщица набивала свой желудокъ особенно плотно, потому что больше и дѣлать нечего было; а

известно, что переполненный желудокъ награждаетъ человека разнообразными и эксцентрическими сновидѣніями; это и случилось съ Екатериною Афанасьевною; привидѣлась ей «поганка Ольгушка», но могъ привидѣться и чортъ съ рогами; тутъ не было бы ничего удивительнаго, и оба сновидѣнія заставили бы ее выскочить изъ спальни съ одинаковою стремительностію. Гораздо характернѣе то обстоятельство, что на глазахъ Екатерины Афанасьевны росъ маленькій братъ утонившейся дѣвушки, и что барыня не только не было тяжело смотреть на этого ребенка, который долженъ былъ ежеминутно напоминать ей совершившееся преступленіе, но что, напротивъ того, барыня имѣла даже храбрость мучить этого мальчика наравнѣ съ другими домочадцами, и ежедневными мученіями постоянно толкать его къ тому оврагу, въ которомъ должно было произойти новое самоубійство. И вдругъ эта практическая женщина становится бѣгать по улицамъ въ одной рубашкѣ, и раздирать уши городскихъ обывателей неслыханными воплями. И отчего? Отъ того, что мальчишки, которыхъ она, вѣроятно, иначе и не называла, какъ «меравацами» и «паршивыми», вздумали полоснуть себя ножомъ по горлу. Да ей-то какое дѣло? Она постарается схоронить концы въ воду, она подаритъ кому слѣдуетъ сколько будетъ необходимо, и потомъ кромѣному будетъ найдаться до отвала, и въ случаѣ переполненія желудка, будетъ видѣть во снѣ на одну Ольгу, а нѣкую компанію знакомыхъ мертвецовъ. Велика важность — начево связать! Г. Охоту Бергу или не-известному поэту, воспѣвавшему въ «Отечественныхъ Запискахъ» «Слезы кукушки», позволительно не знать этикъ особенностей человѣческаго организма, а со стороны г. Щедрина такое незнаніе не только неприлично, но и не вѣроятно. Всякій здравомыслящій читатель хорошо понимаетъ, что это игнорированіе также искусственно, какъ и самое чувство, породившее лирическое обращеніе къ землѣ и къ помѣщикамъ. Надъ подобною искусственностію всегда слѣдуетъ смѣяться, и тѣмъ дорожее вамъ тотъ предметъ, по поводу котораго она пускается въ ходъ, тѣмъ громче и рѣвнѣе долженъ быть вашъ карающій смѣхъ, потому что искусственность унижаетъ и опошляетъ все то, въ чему она прикасается.

Не и это еще не все. У читателя давно уже вертится на языкѣ вопросъ: да развѣ есть теперь крѣпостные мальчуганы? — Нѣтъ, нѣту. — Такъ какъ же это они себя убивать могутъ? — Да они убиваютъ себя не теперь, а прежде, давно, во время оно. — А если прежде, во время оно, то съ какою же стати повѣствуется объ этомъ событіи теперь, во время сіе? — Не знаю. Должно быть, г. Щедринъ позавидовалъ литературной славѣ нашего Вальтеръ-Скотта, графа А. Толстаго, описавшаго съ такою наглядностію всѣ кушанья, подававшіяся на столѣ Ивана Грознаго? Или онъ хотѣлъ состязаться съ нашимъ Шекспиромъ, г. Островскимъ, изобразившимъ съ такимъ састливымъ успѣхомъ Козьму Ми-

ника и всё его видѣнія? Или онъ боялся, что вновь возстановится крѣпостное право, и пожелалъ противодействовать такому пассажи кроткими мѣрами литературнаго увѣщанія? Или же онъ постарался поразить своимъ перомъ прошедшее, чтобы сдѣлать пріятный и любезный сюрпризъ настоящему? Последнее предположеніе кажется мнѣ всего болѣе правдоподобнымъ, потому что всякому жрецу чистаго искусства должно быть чрезвычайно лестно соединить въ своей особѣ блестящую репутацію русскаго Аристофана съ полезными достоинствами современнаго Державина, который, какъ извѣстно, говорилъ истину съ улыбкою самого обезоруживающаго и обворожительнаго свойства.

Г. Щедринъ прекрасно сдѣлаетъ, если пойдетъ впередъ по этому пути, но, становясь на чисто эстетическую точку зрѣнія, и заботясь о чистотѣ нашего литературнаго вкуса, я позволяю себѣ выразить желаніе, чтобы на будущее время, г. Щедринъ, слагая свои оды, построже придерживался литературныхъ предацій и пріемовъ чисто-классической школы. Я возьму для примѣра отношеніе литературы къ нашему молодому поколѣнію, на сторонѣ котораго находятся всё мои личные симпатіи, тѣмъ болѣе, что и самъ я принадлежу къ нему тѣломъ и душою. Лучшіе органы нашей періодической литературы начали защищать умственные интересы молодаго поколѣнія противъ нападеній дряхлой и озлобленной бездарности, съ той самой минуты, какъ только въ нашемъ обществѣ обнаружился тотъ повсемѣстный разладъ, который всегда бываетъ неразлученъ съ поступательнымъ движеніемъ впередъ. Междоусобная борьба въ литературѣ по поводу молодежи продолжается до сихъ поръ, и вѣроятно протянется еще довольно долго, хотя строгіе обвинители юношества уже значительно послабили тонъ. Мыслящіе представители свѣжаго направленія въ нашей литературѣ защищаютъ до сихъ поръ молодыхъ людей противъ медоточивой клеветы и противъ грубаго непониманія. Защищеніе это вовсе не панегирикъ, и оно еще необходимо, во-первыхъ потому, что нельзя же оставлять общество въ начальномъ заблужденіи, а во-вторыхъ потому, что человѣкъ все-таки не камень, и что самого хладнокровнаго писателя все-таки нѣтъ, нѣтъ, да и взбѣситъ, когда онъ услышитъ черезъ-чуръ нелѣпую исторію, въ родѣ «Взбаламученнаго моря». А между тѣмъ, не смотря на полную законность и разумность этого защищенія, надо сказать правду, что для молодежи всего безплоднѣе именно тѣ страницы нашихъ журналовъ, въ которыхъ всего болѣе толкуютъ о ней, и всего сильнѣе выражаютъ ей сочувствіе. Эти горячія и благородныя страницы не даютъ ей никакого новаго знанія. Въ самомъ дѣлѣ, что узнаютъ изъ нихъ молодые люди? Что они — хорошіе люди? Это они сами знаютъ. Что имъ сочувствуетъ честное меньшинство литературы? Это, подумавъ, благодареніе оно имъ оказываетъ. Да и потому, это само собою разумѣется. Какъ

бы ухитрилось это меньшинство, оставаясь честнымъ, не ощущевать тому, что также честно? Что они, молодые люди, думаютъ такъ и такъ? Да ужъ навѣрное сами-то молодые люди знаютъ это еще лучше, чѣмъ тѣ литераторы, которые объ этомъ пишутъ.

Такимъ образомъ, всего безполезнѣе для молодого поколѣнія оказывается именно то, что всего ближе подходитъ къ восхваленію этого самого молодого поколѣнія. Чѣмъ больше вы хотите приносить пользу молодымъ людямъ, тѣмъ меньше толкуйте о ихъ достоинствахъ, и тѣмъ больше думайте о ихъ умственныхъ потребностяхъ. Старайтесь помогать вашими статьями ихъ развитію, старайтесь давать имъ матеріалъ для размышленія, старайтесь, чтобы молодой человѣкъ, берущій въ руки журнальную книжку для развлечения, постоянно находилъ бы въ ней, вмѣстѣ съ развлеченіемъ, полезныя и основательныя знанія, свѣжія и живыя идеи, разумную ширину взглядовъ и сознательную гуманность направленія; дѣлайте все это, посвящайте вашу жизнь этому дѣлу, и вы увидите, что молодость будетъ считать васъ своимъ истиннымъ другомъ, хотя бы вамъ ни разу не пришлось сказать ни одного слова въ ея похвалу. Такимъ образомъ, гораздо лучше выражать свою любовь полезнымъ дѣломъ, чѣмъ пріятною похвалою.

Въ настоящее время, чисто отрицательныя отношенія литературы къ молодежи еще невозможны, потому что молодежь находится еще въ пассивномъ положеніи. Литература не можетъ поставить себѣ задачей постоянно указывать на недостатки и ошибки такого элемента, который еще въ значительной степени неизвѣстенъ, и, во всякомъ случаѣ, только что начинаетъ заявлять о своемъ существованіи. Но и теперь уже возможны нѣкоторыя частныя попытки въ отрицательномъ родѣ, попытки, которыя разумѣется не могутъ имѣть ни малѣйшаго сходства съ слѣпыми и ожесточеннымъ отрицаніемъ некоторыхъ свирѣпствующихъ старцевъ. Мнѣ кажется, что эти попытки принесутъ молодежи гораздо больше пользы, чѣмъ защитительныя статьи ея честныхъ адвокатовъ. Къ числу подобныхъ попытокъ въ отрицательномъ родѣ я отношу мою теперешнюю рецензію: Я знаю, что г. Щедрина принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые до поры до времени пользуются сочувствіемъ молодежи, но съ которою у нихъ нѣтъ ничего общаго; мнѣ кажется, что сочувствіе это не обдуманно и не проверено критическимъ анализомъ; молодежь смѣется, читая г. Щедрина, молодежь привыкла встрѣчать имя этого писателя на страницахъ лучшаго изъ нашихъ журналовъ, и молодежь поддается веселымъ впечатлѣніямъ, потому что ей не приходится къ голову отнести къ этимъ впечатлѣніямъ съ недовѣріемъ и съ вопросительнымъ знакомъ. Но мнѣ кажется, что вліяніе г. Щедрина на молодежь можетъ быть только вредно, и на этомъ основаніи я стараюсь разрушить пьедестальчикъ этого маленькаго кумира, и провѣ-

всю эту отрицательную работу съ особеннымъ усердіемъ, именно потому, что тутъ дѣло идетъ о симпатіяхъ молодежи. Я хочу уничтожить эти симпатіи, и если онѣ дѣйствительно приносятъ молодымъ людямъ только вредъ, то уничтоженіе ихъ, и, слѣдовательно, попытка въ отрицательномъ родѣ, будетъ полезнѣе для нашего поколѣнія, чѣмъ самая горячая похвала Базарову и Лопухову, и самая ѣдая полемика противъ г. Каткова. Такимъ образомъ, разсмотрѣвши отношенія журналистики къ молодежи, я показалъ на этомъ примѣрѣ, какимъ образомъ дѣльное отрицаніе приносить обществу гораздо больше пользы, чѣмъ справедливая похвала, воздаваемая существующимъ фактамъ. Щедринъ поступаетъ какъ разъ на оборотъ.

VI.

Если мы, съ высоты птичьяго полета, бросимъ общій взглядъ на рассказы г. Щедрина, то намъ придется изумляться бѣдности, мелочности и однообразію ихъ основныхъ мотивовъ. Все вниманіе сатирика направлено на вчерашній день, и на переходъ къ нынѣшнему дню; хотя этотъ переходъ совершился очень недавно, но онъ, очевидно, составляетъ для насъ прошедшее, совершенно законченное, и имѣющее чисто историческій интересъ; а исторію эту писать еще слишкомъ рано, да и совсѣмъ это не щедринское дѣло. Конечно, крѣпостное право такъ глубоко отравило всѣ отправления нашей народной жизни, что тяжелая старина долго еще будетъ давать себя чувствовать въ разныхъ воспоминательныхъ ощущеніяхъ весьма непріятнаго свойства; конечно и чиновничество долго еще будетъ жить старинными преданіями классической школы, перекроенными и перекрашенными сообразно съ требованіями новѣйшей моды; все это такъ, но всѣ эти отпрыски срубленныхъ деревьевъ надо изучать именно въ ихъ теперешнихъ видоизмѣненіяхъ; и чтобы изучать ихъ, нѣтъ никакой необходимости восходить ни къ тѣмъ вѣкамъ, когда деревья стояли на корню, ни къ тѣмъ минутамъ, когда деревья стали трещать подъ топоромъ. Прощедшее само по себѣ, переходъ самъ по себѣ, а настоящее тоже само по себѣ. Въ исторіи всѣ эти моменты, разумѣется, связаны между собою, и объясняютъ другъ друга, какъ необходимое сѣблєніе причинъ и слѣдствій, но опять таки никому въ голову не приходитъ требовать и ожидать отъ г. Щедрина исторіи, а сатира хороша только тогда, когда она современна. Что мнѣ за охота и за интересъ смѣяться надъ тѣмъ, что не только осмѣяно, но даже уничтожено законодательнымъ распоряженіемъ правительства.

«Довлѣтъ днѣви злоба его» и «пускай жертвеннiи сами хоронятъ своихъ жертведовъ».

Но г. Щедринъ игнорируетъ это простое требованіе здраваго смысла, и потому почти всѣ дѣйствующія лица его разсказовъ смотрятъ жертвами, выкопанными изъ могилъ, нарочно для того, чтобы повеселить читателя. Ретрограды, перепуганные зловѣщими слухами, чиновники, перепуганные невиданными предписаніями, и, кромѣ того, глуновцы, плюющие другъ другу въ лохань, выпивающіе «по маленькой», а каждый вечеръ потѣшающіеся «Трефондосами» — вотъ и все содержаніе сатирическихъ разсказовъ. Глуновъ, блаженствующій въ своемъ нетронутости спокойствіи, и Глуновъ, только что взбудораженный слухами о преобразованіяхъ — вотъ и все; а вѣдь, кажется, пора бы это бросить, потому что вся наша журналистика молотила, молотила эту тощую копну плохой ржи, да и молотить устала. Всѣмъ надобно — и писателямъ и читателямъ; да и наконецъ, кромѣ соломы, тутъ ничего больше и не осталось. Такъ ужъ это избито, что можно измѣнять только слова, а новой, нетронутой черты не отыщете самый проникательный сатирикъ. Поэтому, бросьте прошедшее, ищите въ настоящемъ, а если настоящее еще не выработало себѣ особенной физіономіи, если вы не умѣете уловить того процесса броженія, который выработываются эти новыя черты, то бросьте сатиру, бросьте совсѣмъ нашу истрепанную беллетристику, обратившуюся съ нѣкотораго времени для нашихъ писателей въ какую то казенную или барщинную работу. — Эти слова обращены не къ г. Щедрину, а вообще ко всѣмъ нашимъ второстепеннымъ беллетристамъ. А кто же теперь не второстепенный? Чернышевскій, Тургеневъ, можетъ быть Островскій — и только. Разъ, два — да и обчелся. Но ясно, что сила Чернышевскаго заключается не въ самородномъ художественномъ талантѣ, а въ широкости умственномъ развитіи; ясно, что Тургеневъ и Островскій приближаются къ концу своей литературной карьеры; ясно, что разстроенная печень Писемскаго будетъ портить каждое новое произведеніе этого сильнаго таланта, и превращать каждый новый романъ его въ «Взбаломученное море» авторской желчи. Ну, стало быть

И погѣзли изъ щелей
Мошки да букашки.

Не знаю, какъ другіе, а я радуюсь этому увяданію нашей беллетристики, и вижу въ ней очень хорошіе симптомы для будущей судьбы нашего умственнаго развитія. Поэзія, въ смыслѣ стиходѣланія, стала клониться къ упадку со времянь Пушкина; при Гоголѣ, романисты или вообще прозаики заняли въ литературѣ то высшее мѣсто, которое занимали поэты; съ этого времени, стихотворцы сдѣлались чѣмъ-то въ

родъ литературныхъ башибузузовъ, плохо вооруженныхъ, безсильныхъ, и неспособныхъ оказать регулярному войску никакого серьезнаго содѣйствія; теперь стиходѣланіе находится при послѣднемъ издыханіи, и конечно этому слѣдуетъ радоваться, потому что есть надежда, что ужъ ни одинъ дѣйствительно умный и даровитый человѣкъ нашего поколѣнія не истратитъ своей жизни на провозвѣщаніе чувствительныхъ сердецъ убійственными лямбами и анапестами. А кто знаетъ, какое великое дѣло—экономія человѣческихъ силъ, тотъ пойметъ, какъ важно для благосостоянія всего общества, чтобы всѣ его умные люди берегли себя въ цѣлости, и пристроили всѣ свои прекрасныя способности къ полезной работѣ. — Но, одержавши побѣду надъ стиходѣланіемъ, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство въ литературѣ; первый ударъ нанесъ этому господству Бѣлинскій; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть знаменитымъ писателемъ, не сочинивши ни поэмы, ни романа, ни драмы. Это было великимъ шагомъ впередъ, потому что добрые земляки наши выучились читать критическія статьи, и понемногу приготовились такимъ образомъ понимать разсужденія по вопросамъ науки и общественной жизни. Когда эти разсужденія сдѣлались возможными, тогда Добролюбовъ и Чернышевскій стали продолжать дѣло Бѣлинскаго; въ это же время «Русскій Вѣстникъ» проторилъ себѣ свою особенную дорожку, на которой онъ до сихъ поръ въ большемъ успѣхѣмъ вліяетъ; но, какъ ни предосудительна его дѣятельность съ гражданской точки зрѣнія; однако надо отдать ему справедливость; своими статьями объ Англіи и своими политическими обозрѣніями, онъ также содѣйствовалъ тому общему движенію мысли, которое постепенно оттѣсняло на задній планъ беллетристику и искусство вообще. Теперь это оттѣсненіе произведено: въ послѣднее пятилѣтіе не было рѣшительно ни одного чисто литературнаго успѣха; чтобы не унасть, беллетристика принуждена была прислониться къ текущимъ интересамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетристическія произведенія, обращающія на себя вниманіе общества, возбуждали говоръ единственно потому, что касались какихъ нибудь интересныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ вамъ примѣръ: «Подводный Камень» романъ, стоящій по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имѣетъ громкій успѣхъ, а «Дѣтство, отрочество и юность» графа Л. Толстаго, вѣдь замѣчательно хорошая по тонкости и вѣрности психологическаго анализа, читается холодно, и проходитъ почти незамѣчено.

Теперь пора бы сдѣлать еще шагъ впередъ: недурно было бы помянуть, что серьезное изслѣдованіе, написанное ясно и увлекательно, осмѣляетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему, и обставленный ненужными подробностями и необходимыми уклоненіями отъ главнаго сюжета. Впрочемъ;

этотъ шагъ сдѣлается самъ собою, и можетъ быть онъ уже наполовину сдѣланъ. Разумѣется, здѣсь, какъ и вездѣ, не слѣдуетъ увлекаться педантическимъ ригоризмомъ: если въ самомъ дѣлѣ есть такіе человѣческіе организмы, для которыхъ легче и удобнѣе выражать свои мысли въ образахъ, если въ романѣ или въ поэмѣ они умѣютъ выразить новую идею, которую они не сумѣли бы развить съ надлежащею полнотою и ясностью въ теоретической статьѣ, тогда пусть дѣлаютъ такъ, какъ имъ удобнѣе; критика сумѣетъ отыскать, а общество сумѣетъ принять и оцѣнить плодотворную идею, въ какой бы формѣ она не была выражена. Если Некрасовъ можетъ высказываться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи; если Тургеневъ умѣетъ только изобразить, а не объяснить Базарова, пусть изображаетъ; если Чернышевскому удобно писать романъ, а не трактатъ по физиологіи общества, пусть пишетъ романъ; этимъ людямъ есть что высказать, и потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ, и не остается въ накладе. Это даже хорошо, если такіе люди излагаютъ свои идеи въ беллетристической формѣ, потому что окончательный шагъ все-таки еще не сдѣланъ, и искусство для нѣкоторыхъ читателей, и особенно читательницъ, все еще сохраняетъ нескромныя блѣдныя лучи своего ложнаго ореола.

Но, если въ рукахъ писателей, имѣющихъ свои собственныя идеи, беллетристическая форма можетъ еще приносить обществу пользу, то, напротивъ того, попадая въ руки писателей, ничѣмъ духомъ, эта форма становится положительно вредною. Она превосходно маскируетъ ихъ бѣдность, вводитъ читателей въ ошибку и, что всего хуже, возбуждаетъ въ рядахъ молодежи охоту подражать такимъ произведеніямъ, которыя составляютъ пустоцвѣтъ и сорную траву нашей умственной жизни. Г. Щедринъ взявъ изъ Добролюбовскаго Свистка манеру относиться недовѣрчиво къ нашему официальному прогрессу, естественный, живой и глубоко-сознательный скептицизмъ Добролюбова превратился у его подражателя въ пустой знакъ, въ вокарду, которую онъ приписываетъ въ своимъ рассказамъ для того, чтобы сообщить имъ колоритъ безукоризненной прогрессивности. Еслибы г. Щедринъ писалъ не рассказы, а научныя или критическія статьи, то эта форменная безукоризненность очень скоро надѣла бы всѣмъ читателямъ, и г. Щедринъ не былъ бы мететомъ, а занялъ бы ту скромную роль, которую занимаетъ, напримѣръ, нашъ почтенный и возлюбленный сотрудникъ, В. П. Ноповъ. Тогда онъ поневолѣ былъ бы полезенъ, потому что ему уже нельзя было бы ограничивать свою дѣятельность производствомъ безконечныхъ варіацій на весьма извѣстныя темы. Ему пришлось бы, за неимѣніемъ своихъ оригинальныхъ идей, популяризировать чужія идеи, еще неизвѣстныя русской публикѣ, переводить, извлекать, компилировать, давать не мудрствованія, а дѣйствительные факты. Ему пришлось бы побольше читать,

а это пришлось бы ему не малую работу, потому что тогда бы онъ не сталъ имъ равсваивать мифы о Минервѣ, и постарался бы поосмысленнѣе обдумать вопросъ, отчего это глуповскіе снѣтъ таковы глубокии снѣтъ, и показывалъ другъ другу «всевоможныя свѣтила небесныя». Теперь онъ, по видимому, убѣжденъ въ томъ, что рыться въ глуповскомъ навосѣ полезно; что молодое поколѣніе, ради своего умственаго совершенствованія, должно внимательно вглядываться въ каждую частичку этого вещества, каждую изъ нихъ должно осмыслить, и счастливѣйшимъ смѣхомъ своимъ должно ограждать себя отъ онемѣленія и отъ возвращенія къ глуповской старинѣ. Если бы г. Щедринъ не былъ блестящимъ балетристомъ, и если бы, вслѣдствіе этого, онъ былъ принужденъ побольше читать и размышлять, тогда онъ не читалъ бы вышеозначеннаго убѣжденія, и понималъ бы въ которыхъ вещахъ, которыхъ онъ теперь не понимаетъ, въ которыхъ постому постарался ему объяснить.

Осмѣяться надъ безобразіемъ Глуповца все равно, что смѣяться надъ уродствомъ калфа, или надъ дикостью дикаря, или надъ неопытностью ребенка; всѣ эти смѣхи не дадутъ рѣшительно ничего ни тому, кто смѣется, ни тому, кого осмѣиваютъ. Осмѣяться полезно только надъ идеею; потому что въ этомъ случаѣ смѣхъ есть самъ по себѣ новая идея, отрицающая старую, и становящаяся на ея мѣстѣ. Осмѣивать идею, значить доводить ее до абсурда, и показывать такимъ образомъ ея несостоятельность, не показывать такъ живо и такъ ясно, чтобы аргументація не утомляла читающую массу, чтобы эта аргументація иногда сосредоточивалась все въ одномъ эпитетѣ, въ одномъ намека, въ одной веселой шуткѣ; такой смѣхъ дѣйствительно способенъ выворачивать наизусть дѣлаи тысячелѣтнія міросозерцанія; стоитъ назвать только два имени, Вольтеръ и Гейне. Не всякій—Вольтеръ и Гейне, но всякій человекъ, обладающій свѣтлымъ умомъ и сатирическимъ талантомъ, можетъ и долженъ приправлять свой смѣхъ туда, гдѣ онъ имѣетъ какой нибудь смыслъ. А если онъ не умѣетъ этого сдѣлать, то вѣдь это никто и не принуждаетъ смѣяться публично. Пусть смѣется надъ глуповскими «Трофандеями» съ добрыми пріятелями, въ тиши своего уютнаго кабинета. Что же касается до огражденія молодежи отъ возвращенія къ старинѣ, то и тутъ смѣхъ г. Щедрика равняется нулю. Насъ ограждаетъ отъ пошлости, не смѣхъ надъ пошлостью, а то внутреннее содержаніе, которое даетъ намъ чтеніе и размышленіе. Чтобы человекъ не былъ испорченною пицци, надо дать ему свѣжую пиццу; а если вы ему не дадите свѣжей, онъ будетъ есть испорченную, потому что не умирать же ему съ голоду, нѣтъ любви въ свѣстѣ. У насъ есть теперь это содержаніе, а если основаніе думать, что оно у насъ съ каждымъ годомъ будетъ умножаться, это содержаніе заключается въ изученіи природы и въ изученіи человека, какъ послѣдняго звѣна длинной цѣпи органическихъ

существовать. Мыслящие европейцы собрали и привели в перадеггенобо- зримую груду фактов, относящихся ко всем отраслям естествознания; в настоящее время историки и политическая экономия приспосабливают изучению природы, и постоянно очищаются от примеси таких фраз, какотчас и такт называемых законов, которые не живут для себя основанія въ видимыхъ и осязаемыхъ свойствахъ предметовъ. Умозрительная философія окончалась, кончилась съ Гегелемъ, и приемы онитикихъ наукъ проникли, и продолжают проникать до сихъ поръ во всѣ отрасли челоѳѳеческаго мышленія. Отрицаась отъ школьныхъ фантазій, наука, въ вышней и всеобъемлющей значакин этого слова, получаетъ наконецъ въ мірѣ свое полное право гражданства; она формируетъ не спеціального изслѣдователя, а челоѳѳика; она закладаетъ свое умъ, она приучаетъ его дѣйствовать этимъ умомъ во всѣхъ обстоятельствахъ вседневной жизни; она входитъ въ общество и въ семейство; она помогаетъ людямъ, подобнымъ Лопухову, разрѣшать, неопредѣленнымъ, спороваго анализа, всѣ запутанные и неясныя вопросы, которые прежде рѣшались на удачу слѣплыми движеніями чувства; она входитъ въ жизнь челоѳѳика и перерабатываетъ его темпераментъ; она создаетъ величайшихъ поэтовъ, такихъ людей, у которыхъ живая мысль пролиняута нас- крозь горячей струей чувства; такихъ людей, которые способны дрожать и плакать отъ восторга и созерцанія великой истины; такихъ людей, которые дышатъ одною жизнью съ природою и челоѳѳичествомъ, и у которыхъ полнѣйшій эрозимъ имѣетъ равносильное значеніе съ всеобъемлющей любовью. Я исчезаеъ потому, что, для этого я жить и любить, есть одно и тоже; а если оно живетъ и любитъ, то оно, стало быть, живетъ, милліонами жизней, живетъ въ себѣ и въ другихъ, наслаждаясь, процессомъ и цѣлю той всемірной работы ума, которая облегчаеъ или, облегчить страданія всемірныя.

И воѳ эти неодолимыя, но очень естественныя чудеса дѣлаеъ наука, раскрывающая предъ челоѳѳикомъ жалкія влѣтки, жаны челоѳѳическаго организма, и историческую жизнь челоѳѳическихъ обществъ. Все это она совершаеъ не тѣмъ, что отрицаетъ челоѳѳику интересныя тайны, а тѣмъ, что, влакая его въ изслѣдованіе этихъ тайнъ, ус- ливаеъ и регулируетъ дѣятельность, необходимую для его счастья; и затѣмъ, когда дѣятельность эта доведена до сильной степени возбужде- нія и обращаеъ въ привычное отпаденіе организма, позволяеъ ему (челоѳѳику) обратить ее (дѣятельность) на ежедневное, оброщеніе и совершенствованіе всѣхъ между-челоѳѳическихъ отношеній. Словомъ, наука создаетъ, мыслящихъ людей; если она такимъ образомъ перевоо- цитываетъ челоѳѳическую личность, если ея вліяніе неотвѣстно слѣдуетъ за челоѳѳикомъ въ семейство и въ общество, и въ судъ, и въ лагерь, въ купеческую контору и на профессорскую кафедру, на фабрику и на

постель больного, въ степную деревню и въ убогий городъ, то, безъ сомнѣнія, сремное наученіе химическихъ силъ и органической кѣлѣтокъ составляетъ такую двигательную силу общественнаго прогресса, которая рано или поздно — и даже скорѣй рано, чѣмъ поздно — должна подтянуть себя и переработать по своему всѣ остальные силы. Это уже и теперь замѣтно. Сремно наученіе началось настоящимъ образомъ съ прошедшаго столѣтія, съ тѣхъ поръ, какъ Лавуазье создалъ химическій анализъ; когда оно началось, метафизика смотрѣла на него покровительственнымъ окомъ. А гдѣ теперь метафизика? И кто ее тихимъ манеромъ отравилъ въ архивъ? И гдѣ теперь та наука, которая бы не подолжала къ естествознанію, и не отчаявалась бы въ своемъ существованіи, если естествознаніе не оказываетъ ей покровительства?

Наша русская цивилизація находится въ особенно благоприятномъ положеніи для того, чтобы принять въ себя эти обновляющія начала; ей благопріядствуетъ въ этомъ отношеніи именно то обстоятельство, что она находится еще въ колыбели или даже въ утробѣ матери; у ней нѣтъ укоренившихся преданій школы; нѣтъ въ каждомъ городѣ, да и въ каждомъ филістерствѣ; нѣтъ фантастической рутинѣ средневѣковой науки; передъ нами лежитъ вся европейская наука: переводы, читай и учись! Не будемъ же мы, въ самомъ дѣлѣ, таковыми дураками, чтобы брать у другихъ то, что они выкидываютъ за негодность? Нѣтъ, не будемъ. Это мы доказываемъ каждый день, потому что постоянно переводимъ книги по естественнымъ наукамъ, и выбираемъ все, что похвально и по-лучше. Если бы Добролюбовъ былъ живъ, то можно поручиться за то, что онъ бы первый пенялъ и оцѣнялъ это явленіе. Говоря проще, онъ посвятилъ бы лучшую часть своего таланта на популяризованіе европейскихъ идей естествознанія и антропологии. Въ его время интересъ еще не былъ пробужденъ, и такіа статьи рисковали остаться непрочтанными; теперь дѣло пошло на ладъ, и сообразно съ обстоятельствами, должна возникнуть задача прогрессивнаго литератора; но э. Ищадрина, разумеется, этого не допускаетъ, и все тянетъ по привычному старому ноу, заимствованному отъ молодыхъ учителей; и не замѣчаетъ онъ того, что его однообразное и неинтересное излаганіе отталкиваетъ только отъ настоящаго дѣла, нѣкоторую часть нашей ожившей и умной молодежи.

Можетъ быть, мое благоговѣніе передъ естествознаніемъ показателъ читателю преувѣченнаго; можетъ быть, онъ возразитъ мнѣ, что и естествознаніе будетъ приносить пользу и удовольствіе только тѣмъ классамъ нашего общества, которымъ и безъ того не слишкомъ трудно живется на свѣтѣ. Книжки по естественнымъ наукамъ, скажетъ онъ, издается только для народа, и всѣ сокровища, заключающіяся въ нихъ, остаются сокрытыми для народа жертвами капитализма. — На это я отвѣчу, что издаются эти книги, и вообще актиаизація естествознанія не

нашемъ обществѣ, неизмѣримо полезнѣе для нашего народа, чѣмъ изданіе книгъ, предназначенныхъ собственно для него, и чѣмъ всякіе добродѣтельные толки о необходимости сблизиться съ народомъ и любить народъ.

Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить; то эти люди, вмѣстѣ съ тѣмъ, выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймутъ, что выгодоѣ и пріятію увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманывать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ вармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будутъ уходить за границу; не будутъ тратиться на безумную роскошь, не будутъ ухлопываться на безполезныя сооруженія, а будутъ прилагаться именно къ тѣмъ отраслямъ народнои промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содѣйствіи. Это будетъ дѣлаться такъ потому, что капиталисты во первыхъ будутъ правильно понимать свою выгоду, а во-вторыхъ будутъ находить наслажденія въ полезной работѣ. Это предположеніе можетъ показаться идиллическимъ, но утверждать, что оно неосуществимо, значить утверждать, что капиталистъ не человѣкъ, и даже никогда не можетъ сдѣлаться человѣкомъ. Что касается до меня, то я рѣшительно не вижу реиона, почему сынъ капиталиста не могъ бы сдѣлаться Базаровымъ или Лопуховымъ, точно такъ же какъ, сынъ богатаго помѣщика сдѣлался Рахметовымъ. Для того, чтобы подобныя превращенія были возможны и даже обыкновенны, необходимо только, чтобы въ нашемъ обществѣ постоянно поддерживалась та свѣжая струя живой мысли, которую вносятъ къ намъ зарождающееся естествознаніе. Если всѣ наши капиталы, если всѣ умственные силы нашихъ образованныхъ людей обратятся на тѣ отрасли производства, которыя полезны для общаго дѣла, тогда разумность, дѣятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будетъ возрастать постоянно, и качество его мота будетъ улучшаться съ каждымъ десятилетіемъ. А если народъ будетъ дѣлаться богатымъ и умнымъ, то что же можетъ помѣшать ему сдѣлаться счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Конечная цѣль лежитъ очень далеко, и путь тажесть во многіе отношеніяхъ; быстрого успѣха ожидать невозможно; но, если этотъ путь, къ счастью, путь умственнаго развитія, оказывается необходимымъ, единственно вѣрнымъ путемъ, то это вовсе не значить, чтобы слѣдовало исключить изъ исторіи всѣ двигатели событий, кромѣ охотной науки. Народное чувство, народный энтузіазмъ остается при всѣхъ своихъ правахъ, если они могутъ привести къ цѣли быстро, нуснай приводитъ. Но

литература тутъ ни при чемъ: она ничего не можетъ сдѣлать ни для охлажденія, ни для разогрѣванія народнаго чувства и энтузіазма; тутъ дѣйствуютъ только историческія обстоятельства; журналистика старается обыкновенно попадать въ тонъ общаго настроенія, но это попаданіе содѣйствуетъ только успѣху журнала, но вовсе не приноситъ пользы важному и общему дѣлу. Литература можетъ приносить пользу только посредствомъ новыхъ идей; это ея настоящее дѣло, и въ этомъ отношеніи она не имѣетъ соперниковъ. — Если даже чувство и энтузіазмъ приведутъ къ какому нибудь результату, то упрочить этотъ результатъ могутъ только люди, умѣющіе мыслить. Стало быть, размножать мыслящихъ людей—вотъ альфа и омега всякаго разумнаго общественнаго развитія. Стало быть, естественное знаніе составляетъ въ настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекаетъ молодежь отъ этого дѣла, тотъ вредитъ общественному развитію. И потому еще разъ скажу г. Щедрина: пусть читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣньи владѣть русскимъ языкомъ, и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ. А Глуховъ давно пора бросить.

1864 г. Февраль.

МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ.

I.

Основываясь на драматических произведеніяхъ Островскаго, Добролюбовъ показалъ намъ въ русской семьѣ то «темное царство», въ которомъ вянутъ умственные способности и истощаются свѣжія силы нашихъ молодыхъ поколѣній. Статью прочли, похвалили, и потомъ отложили въ сторону. Любители патріотическихъ иллюзій, не съумѣвшіе сдѣлать Добролюбову ни одного основательнаго возраженія, продолжали упиваться своими иллюзіями, и вѣроятно будутъ продолжать это занятіе до тѣхъ поръ, пока будутъ находить себѣ читателей. Глядя на эти постоянныя коленопреклоненія передъ народною мудростью и передъ народною правдою, замѣчая, что довѣрчивые читатели принимаютъ за чистую монету ходячія фразы, лишеныя всякаго содержанія, и зная, что народная мудрость и народная правда выразились всего полнѣе въ сооруженіи нашего семейнаго быта, — добросовѣстная критика поставлена въ печальную необходимость повторять по нѣскольку разъ тѣ положенія, которые давно уже были высказаны и доказаны. Пока будутъ существовать явленія «темнаго царства», и пока патріотическая мечтательность будетъ смотрѣть на нихъ сквозь пальцы, до тѣхъ поръ намъ постоянно придется напоминать читающему обществу вѣрныя и живыя идеи Добролюбова о нашей семейной жизни. Но, при этомъ, намъ придется быть строже и послѣдовательнѣе Добролюбова; намъ необходимо будетъ защищать его идеи противъ его собственныхъ увлеченій; тамъ, гдѣ Добролюбовъ поддался порыву эстетическаго чувства, мы постараемся разсуждать хладнокровно, и увидимъ, что наша семейная патріархальность подавляетъ всякое здоровое развитіе. Драма Островскаго «Гроза» вызвала со стороны Добролюбова критическую статью, подъ заглавіемъ: «Лучъ свѣта въ темномъ

парствѣ». Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова; онъ увлекся симпатіею къ характеру Катерины, и принялъ ее личность за свѣтлое явленіе. Подробный анализъ этого характера покажетъ нашимъ читателямъ, что взглядъ Добролюбова въ этомъ случаѣ невѣренъ, и что ни одно свѣтлое явленіе не можетъ ни возникнуть, ни сложиться въ «темномъ царствѣ» патріархальной русской семьи, выведенной на сцену въ драмѣ Островскаго.

II.

Катерина, жена молодого купца, Тихона Кабанова, живетъ съ мужемъ въ домѣ своей свекрови, которая постоянно ворчитъ на всѣхъ домашнихъ. Дѣти старой Кабанихи, Тихонъ и Варвара, давно прислушались къ этому брюзжанію, и умѣютъ его «мимо ушей пропускать», на томъ основаніи, что «ей вѣдь что нибудь надо жъ говорить». Но Катерина никакъ не можетъ привыкнуть къ манерамъ своей свекрови, и постоянно страдаетъ отъ ея разговоровъ. Въ томъ же городѣ, въ которомъ живутъ Кабановы, находится молодой человекъ, Борисъ Григорьевичъ, получившій порядочное образованіе. Онъ заглядывается на Катерину въ церкви и на бульварѣ, а Катерина съ своей стороны влюбляется въ него, но желаетъ сохранить въ цѣлости свою добродѣтель. Тихонъ уѣзжаетъ куда-то на двѣ недѣли; Варвара, по добродушію, помогаетъ Борису видѣться съ Катериною, и влюбленная чета наслаждается полнымъ счастьемъ въ продолженіи десяти лѣтнихъ ночей. Пріѣзжаетъ Тихонъ; Катерина терзается угрызѣніями совѣсти, худѣетъ и блѣднѣетъ; потому ея пугаетъ гроза, которую она принимаетъ за выраженіе небеснаго гнѣва; въ это же время слышатъ ее слова полоумной барыни о гееннѣ огненной; все это она принимаетъ на свой счетъ; на улицѣ, при народѣ, она бросается передъ мужемъ на колѣни и признается ему въ своей винѣ. Мужъ, по приказанію своей матери, «побилъ ее немножко», послѣ того, какъ они воротились домой; старая Кабаниха съ удвоеннымъ усердіемъ принялась точить покаявшуюся грѣшницу упреками и нравоученіями; къ Катеринѣ приставили крѣпкій домашній караулъ, однако ей удалось убѣжать изъ дома: она встрѣтилась съ своимъ любовникомъ, и узнала отъ него, что онъ, по приказанію дяди, уѣзжаетъ въ Кяхту;—потомъ, тотчасъ послѣ этого свиданія, она бросилась въ Волгу и утонула. Вотъ тѣ данныя, на основаніи которыхъ мы должны составить себѣ понятіе о характерѣ Катерины. Я далъ моему читателю голый перечень такихъ фактовъ, которые въ моемъ разсказѣ могутъ показаться слишкомъ рѣзкими, безсвязными, и въ общей совокупности даже неправ-

доподобными. Что это за любовь, возникающая отъ общѣна нѣсколькихъ взглядовъ? Что это за суровая добродѣтель, сдающаяся при первомъ удобномъ случаѣ? Наконецъ, что это за самоубійство, вызванное такими мелкими неприя́тностями, которыя переносятся совершенно благополучно всѣми членами всѣхъ русскихъ семействъ?

Я передалъ факты совершенно вѣрно, но, разумѣется, я не могъ передать въ нѣсколькихъ строкахъ тѣ оттѣнки въ развитіи дѣйствія, которые, смягчая внѣшнюю рѣзкость очертаній, заставляютъ читателя или зрителя видѣть въ Катеринѣ не выдумку автора, а живое лицо, дѣйствительно способное сдѣлать всѣ вышеозначенныя эксцентричности. Читая «Грозу», или смотря ее на сценѣ, вы ни разу не усомнитесь въ томъ, что Катерина должна была поступать въ дѣйствительности именно такъ, какъ она поступаетъ въ драмѣ. Вы увидите передъ собою и поймете Катерину, но, разумѣется, поймете ее такъ или иначе, смотря по тому, съ какой точки зрѣнія вы на нее посмотрите. Всякое живое явленіе отличается отъ мертвой отвлеченности именно тѣмъ, что его можно разсматривать съ разныхъ сторонъ; и, выходя изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ фактовъ, можно приходить къ различнымъ и даже къ противоположнымъ заключеніямъ. Катерина испытала на себѣ много разнородныхъ приговоровъ; нашлись моралисты, которые обличили ее въ безнравственность; это было всего легче сдѣлать: стоило только сравнить каждый поступокъ Катерины съ предписаніями положительнаго закона, и подвести итоги; на эту работу не требовалось ни остроумія, ни глубокомыслія, и поэтому ее дѣйствительно исполнили съ блестящимъ успѣхомъ писатели, не отличающіеся ни тѣмъ, ни другимъ изъ этихъ достоинствъ; потомъ явились эстетики, и рѣшили, что Катерина—свѣтлое явленіе; эстетики, разумѣется, стояли неизмѣримо выше неумолимыхъ поборниковъ благочинія, и поэтому первыхъ выслушали съ уваженіемъ, между тѣмъ какъ послѣднихъ тотчасъ же осмѣяли. Во главѣ эстетиковъ стоялъ Добролюбовъ, постоянно преслѣдовавшій эстетическихъ критиковъ своими мѣткими и справедливыми насмѣшками. Въ приговорѣ надъ Катериною, онъ сошелся съ своими всегдашними противниками, и сошелся потому, что, подобно имъ, сталъ восхищаться общимъ впечатлѣніемъ вмѣсто того, чтобы подвергнуть это впечатлѣніе спокойному анализу. Въ каждомъ изъ поступковъ Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбовъ отыскалъ эти стороны, сложилъ ихъ вмѣстѣ, составилъ изъ нихъ идеальный образъ, увидалъ вслѣдствіе этого, «лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», и, какъ человѣкъ, полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина и поэта. Если бы онъ не поддался этой радости, если бы онъ на одну минуту попробовалъ взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоценную находку, то въ его умѣ тотчасъ родился бы самый простой вопросъ, ко-

торый немедленно привелъ бы за собою полное разрушеніе привлекательной иллюзіи. Добролюбовъ спросилъ бы самого себя: какъ могъ сложиться этотъ свѣтлый образъ? Чтобы отвѣтить себѣ на этотъ вопросъ, онъ прослѣдилъ бы жизнь Катерины съ самаго дѣтства, тѣмъ болѣе, что Островскій даетъ на это нѣкоторые матеріалы; онъ увидѣлъ бы, что воспитаніе и жизнь не могли дать Катеринѣ ни твердаго характера, ни развитаго ума; тогда онъ еще разъ взглянулъ бы на тѣ факты, въ которыхъ ему бросилась въ глаза одна привлекательная сторона, и тутъ вся личность Катерины представилась бы ему въ совершенно другомъ свѣтѣ. Грустно разставаться съ свѣтлою иллюзіею, а дѣлать нечего; пришлось бы и на этотъ разъ удовлетвориться темною дѣйствительностью.

III.

Во всѣхъ поступкахъ и ощущеніяхъ Катерины замѣтна, прежде всего, рѣзкая несоразмѣрность между причинами и слѣдствіями. Каждое внѣшнее впечатлѣніе потрясаетъ весь ея организмъ; самое ничтожное событіе, самый пустой разговоръ производятъ въ ея мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ цѣлые перевороты. Кабаниха ворчитъ, Катерина отъ этого изнываетъ; Борисъ Григорьевичъ бросаетъ нѣжные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говоритъ мимоходомъ нѣсколько словъ о Борисѣ, Катерина заранѣе считаетъ себя погибшею женщиною, хотя она до тѣхъ поръ даже не разговаривала съ своимъ будущимъ любовникомъ; Тихонъ отлучается изъ дома на нѣсколько дней, Катерина падаетъ передъ нимъ на колѣни и хочетъ, чтобы онъ взялъ съ нея страшную клятву въ супружеской вѣрности. Варвара даетъ Катеринѣ ключъ отъ калитки, Катерина, подержавшись за этотъ ключъ въ продолженіи пяти минутъ, рѣшаетъ, что она непременно увидитъ Бориса, и кончаетъ свой монологъ словами: «ахъ, кабы ночь поскорѣе!» А между тѣмъ, даже и ключъ-то былъ данъ ей преимущественно для любовныхъ интересовъ самой Варвары, и въ началѣ своего монолога Катерина находила даже, что ключъ жжетъ ей руки, и что его непременно слѣдуетъ бросить. При свиданіи съ Борисомъ, конечно, повторяется та же исторія; сначала «поди прочь, окаянный человѣкъ», а вслѣдъ за тѣмъ на шею выдается. Пока продолжаются свиданія, Катерина думаетъ только о томъ, что «погуляемъ»; какъ только пріѣзжаетъ Тихонъ и, вслѣдствіе этого, ночныя прогулки прекращаются, Катерина начинаетъ терзаться угрызѣніями совѣсти, и доходитъ въ этомъ направленіи до полусумасшествія; а между тѣмъ, Борисъ живетъ въ томъ же городѣ, все идетъ

по старому, и, прибѣгая къ маленькимъ хитростямъ и предосторожностямъ, можно было бы кое-когда видѣться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходитъ, какъ потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу въ ноги, да и расскажетъ ему все по порядку. Такъ оно и выходитъ, и катастрофу эту производитъ стеченіе самыхъ пустыхъ обстоятельствъ. Гринулъ громъ — Катерина потеряла послѣдній остатокъ своего ума, а тутъ еще прошла по сценѣ полоумная барыня съ двумя лакеями, и произнесла всенародную проповѣдь о вѣчныхъ мученіяхъ; а тутъ еще на стѣнѣ, въ крытой галлерей, нарисовано адское пламя; и все это одно къ одному—ну, посудите сами, какъ же въ самомъ дѣлѣ Катеринѣ не рассказать мужу тутъ же, при Кабанихѣ и при всей городской публикѣ, какъ она провела во время отсутствія Тихона всѣ десять ночей. Окончательная катастрофа, самоубійство, точно также происходитъ экспромтомъ. Катерина убѣгаетъ изъ дому съ неопредѣленною надеждою увидать своего Бориса; она еще не думаетъ о самоубійствѣ; она жалѣетъ о томъ, что прежде убивали, а теперь не убиваютъ; она спрашиваетъ: «долго ли еще мнѣ мучиться?» Она находитъ неудобнымъ, что смерть не является; «ты, говоритъ, ее кличешь, а она не приходитъ». Ясно, стало быть, что рѣшенія на самоубійство еще нѣтъ, потому что въ противномъ случаѣ не о чемъ было бы и толковать. Но вотъ, пока Катерина разсуждаетъ такимъ образомъ, является Борисъ; происходитъ нѣжное свиданіе. Борисъ говоритъ: «ѣду». — Катерина спрашиваетъ: куда ѣдешь?—Ей отвѣчаютъ: «далеко, Катя, въ Сибирь». — Возьми меня съ собой отсюда! — «Нельзя мнѣ, Катя». Послѣ этого разговоръ становится уже менѣе интереснымъ, и переходитъ въ общія взаимныя нѣжности. Потомъ, когда Катерина остается одна, она спрашиваетъ себя: «куда теперь? домой идти?» и отвѣчаетъ: «нѣтъ, мнѣ что домой, что въ могилу — все равно». Потомъ, слово «могила» наводитъ ее на новый рядъ мыслей, и она начинаетъ разсматривать могилу съ чисто-эстетической точки зрѣнія, съ которой, впрочемъ, людямъ до сихъ поръ удавалось смотрѣть только на чужія могилы. «Въ могилахъ, говоритъ, лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо!.. Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочить... весной на ней травка вырастаетъ, мягкая такая... вѣтви прилетать на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ, цвѣточки разцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе, всякіе». Это поэтическое описаніе могилы совершенно очаровываетъ Катерину, и она объявляетъ, что «объ жизни и думать не хочется». При этомъ, увлекаясь эстетическимъ чувствомъ, она даже совершенно упускаетъ изъ виду геену огненную, а между тѣмъ, она вовсе не равнодушна къ этой послѣдней мысли, потому что въ противномъ случаѣ не было бы сцены публичнаго покаянія въ грѣхахъ, не было бы отъѣзда Бориса въ Сибирь, и вся исторія о ночныхъ

прогулкахъ оставалась бы шитою и крытою. Но въ послѣднія свои минуты Катерина до такой степени забываетъ о загробной жизни, что даже складываетъ руки крестъ на крестъ, какъ въ гробу складываютъ; и дѣлая это движеніе руками, она даже тутъ не сближаетъ идеи о самоубійствѣ съ идеею о геенѣ огненной. Такимъ образомъ дѣлается прыжокъ въ Волгу, и драма оканчивается.

IV.

Вся жизнь Катерины состоитъ изъ постоянныхъ внутреннихъ противорѣчій; она ежеминутно кидается изъ одной крайности въ другую; она сегодня раскаявается въ томъ, что дѣлала вчера, и, между тѣмъ, сама не знаетъ, что будетъ дѣлать завтра; она на каждомъ шагу путается и свою собственную жизнь, и жизнь другихъ людей; наконецъ, перепутавши все, что было у нея подъ руками, она разрубаетъ заткнувшіеся узлы самымъ глупимъ средствомъ, самоубійствомъ, да еще такимъ самоубійствомъ, которое является совершенно неожиданно для нея самой. Эстетика не могли не замѣтить того, что бросается въ глаза во всемъ поведеніи Катерины; противорѣчія и нелѣпости слишкомъ очевидны, но за то ихъ можно назвать красивымъ именемъ; можно сказать, что въ нихъ выражается страстная, нѣжная и искренняя натура. Страстность, нѣжность, искренность — все это очень хорошія свойства, по крайней мѣрѣ, все это очень красивые слова, а такъ какъ главное дѣло заключается въ словахъ, то и нѣтъ резона, чтобы не объявить Катерину свѣтлымъ явленіемъ, и не придти отъ нея въ восторгъ. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что страстность, нѣжность и искренность составляютъ дѣйствительно преобладающія свойства въ натурѣ Катерины; согласенъ даже съ тѣмъ, что всѣ противорѣчія и нелѣпости ея поведенія объясняются именно этими свойствами. Но что же это значитъ? Значитъ, что поле моего анализа слѣдуетъ расширить; разбирая личность Катерины, слѣдуетъ имѣть въ виду страстность, нѣжность и искренность вообще, и кромѣ того, тѣ понятія, которыя господствуютъ въ обществѣ и въ литературѣ на счетъ этихъ свойствъ человѣческаго организма. Если бы я не зналъ заранѣе, что задача моя расширится такимъ образомъ, то я и не принялся бы за эту статью. Очень нужно, въ самомъ дѣлѣ, драму, написанную слишкомъ три года тому назадъ, разбирать для того, чтобы доказать публикѣ, каковыя образомъ Добролюбовъ ошибся въ оцѣнкѣ одного женскаго характера. Но тутъ дѣло идетъ объ общахъ вопросахъ нашей жизни, а о такихъ вопросахъ говорить всегда

удобно, потому что они всегда стоятъ на очереди и всегда рѣшаются только на время. Эстетики подводятъ Катерину подъ извѣстную мѣрку, и я вовсе не намѣренъ доказывать, что Катерина не подходитъ подъ эту мѣрку; Катерина-то подходитъ, да мѣрка-то нигде негодится, и всѣ основанія, на которыхъ стоитъ эта мѣрка, тоже нигде не годятся; все это должно быть совершенно передѣлано, и хотя, разумѣется, я не справлюсь одинъ съ этою задачею, однако лепту свою внесу.

Мы до сихъ поръ, при оцѣнкѣ явленій нравственнаго міра, ходимъ ощупью и дѣйствуемъ на угадъ; по привычкѣ мы знаемъ, что такое грѣхъ; по уложенію о наказаніяхъ мы знаемъ, что такое преступленіе; но, когда намъ приходится ориентироваться въ безконечныхъ лѣсахъ тѣхъ явленій, которыя не составляютъ ни грѣха, ни преступленія, когда намъ приходится разсматривать, напримѣръ, качества человѣческой природы, составляющія задатки и основанія будущихъ поступковъ, тогда мы идемъ всѣ въ разсыпную, и аukaемся изъ разныхъ угловъ этой дубравы, т. е. сообщаемъ другъ другу наши личные вкусы, которые чрезвычайно рѣдко могутъ имѣть какой нибудь общій интересъ. Каждое человѣческое свойство имѣетъ на всѣхъ языкахъ, по крайней мѣрѣ, по два названія, изъ которыхъ одно порицательное, а другое хвалительное,—скупость и бережливость, трусость и осторожность, жестокость и твердость, глупость и невинность, вранье и поэзія, дряблость и нѣжность, взбалмошность и страстность, и такъ далѣе, до безконечности. У каждаго отдѣльнаго человѣка есть, въ отношеніи къ нравственнымъ качествамъ, свой особенный лексиконъ, который почти никогда не сходится вполне съ лексиконами другихъ людей. Когда вы, напримѣръ, одного человѣка называете благороднымъ энтузіастомъ, а другого безумнымъ фанатикомъ, то вы сами, конечно, понимаете вполне, что вы хотите сказать, но другіе люди понимаютъ васъ только приблизительно, а иногда могутъ и совсѣмъ не понимать. Есть вѣдь такіе озорники, для которыхъ коммунистъ Бабефъ былъ благороднымъ энтузіастомъ, но за то есть и такіе мудрецы, которые австрійскаго министра Шмерлинга назовутъ безумнымъ фанатикомъ. И тѣ, и другіе будутъ употреблять одни и тѣ же слова, и тѣми же самыми словами будутъ пользоваться всѣ люди безчисленныхъ промежуточныхъ оттѣнковъ. Какъ вы тутъ поступите, чтобы отрыть живое явленіе изъ-подъ груды набросанныхъ словъ, которыя на языкѣ каждаго отдѣльнаго человѣка имѣютъ свой особенный смыслъ? Что такое благородный энтузіазмъ? Что такое безумный фанатикъ? Это пустыне звуки, не соотвѣтствующіе никакому опредѣленному представленію. Эти звуки выражаютъ отношеніе говорящаго лица къ неизвѣстному предмету, который остается совершенно неизвѣстнымъ во все время разговора, и послѣ его окончанія. Чтобы узнать, что за человѣкъ былъ коммунистъ Бабефъ, и что за человѣкъ

Шмерлингъ, надо, разумеется, отодвинуть въ сторону всѣ приговоры, произнесенные надъ этими двумя личностями различными людьми, выражавшими въ этомъ случаѣ свои личные вкусы и свои политическія симпатіи. Надо взять сырые факты во всей ихъ сырости, и чѣмъ они сырее, чѣмъ меньше они замаскированы хвалительными или порицательными словами, тѣмъ больше мы имѣемъ шансовъ уловить и понять живое явленіе, а не безцвѣтную фразу. Такъ поступаетъ мыслящій историкъ. Если онъ, располагая обширными свѣдѣніями, будетъ избѣгать увлеченія фразами, если онъ къ человѣку и ко всѣмъ отраслямъ его дѣятельности будетъ относиться не какъ патриотъ, не какъ либераль, не какъ энтузіастъ, не какъ эстетикъ, а просто какъ натуралистъ, то онъ навѣрное сумѣетъ дать опредѣленные и объективные отвѣты на многие вопросы, рѣшавшіеся обыкновенно красивымъ волненіемъ возвышенныхъ чувствъ. Обиды для человѣческаго достоинства тутъ не произойдетъ никакой, а польза будетъ большая, потому что, вмѣсто ставовъ вранья, получится одна горсть настоящего знанія. А одна остроумная поговорка утверждаетъ совершенно справедливо, что лучше получить маленькій деревянный домъ, чѣмъ большую каменную болѣзнь.

V.

Мыслящій историкъ трудится и размышляетъ, конечно, не для того, чтобы приклеить тотъ или другой ярлыкъ къ тому или другому историческому имени. Стоитъ ли, въ самомъ дѣлѣ, тратить трудъ и время для того, чтобы съ полнымъ убѣжденіемъ назвать Сидора мошенникомъ, а Филимона добродѣтельнымъ отцомъ семейства? Историческія личности любопытны только, какъ крупные образчики нашей породы, очень удобные для изученія, и очень способные служить матеріалами для общихъ выводовъ антропологін. Разсматривая ихъ дѣятельность, измѣряя ихъ вліяніе на современниковъ, изучая тѣ обстоятельства, которыя помогали или мѣшали исполненію ихъ намѣреній, мы, изъ множества отдѣльных и разнообразныхъ фактовъ, выводимъ неопровержимыя заключенія объ общихъ свойствахъ человѣческой природы, о степени ея измѣлимости, о вліяніи климатическихъ и бытовыхъ условій, о различныхъ проявленіяхъ національныхъ характеровъ, о зарожденіи и распространеніи идей и вѣрованій, и наконецъ, что всего важнѣе, мы подходимъ къ рѣшенію того вопроса, который въ послѣднее время блистательнымъ образомъ поставилъ знаменитый Бокль. Вотъ въ чемъ состоитъ этотъ вопросъ: какая сила или какой элементъ служитъ основаніемъ и

важѣйшимъ двигателемъ человѣческаго прогресса? Бокль отвѣчаетъ на этотъ вопросъ просто и рѣшительно. Онъ говоритъ: чѣмъ больше реальныхъ знаній, тѣмъ сильнѣе прогрессъ; чѣмъ больше человѣкъ изучаетъ видимыя явленія и чѣмъ меньше онъ предается фантазіямъ, тѣмъ удобнѣе онъ устроиваетъ свою жизнь и тѣмъ быстрѣе одно усовершенствованіе быта смѣняется другимъ. — Ясно, смѣло и просто! — Такимъ образомъ, дѣльные историки путемъ терпѣливаго изученія идутъ къ той же цѣли, которую должны имѣть въ виду всѣ люди, рѣшающіеся заявлять въ литературѣ свои сужденія о различныхъ явленіяхъ нравственной и умственной жизни человѣчества.

Каждый критикъ, разбирающій какойнибудь литературный типъ, долженъ, въ своей ограниченной сферѣ дѣятельности, прикладывать къ дѣлу тѣ самыя приемы, которыми пользуется мыслящій историкъ, рассматривая міровыя событія, и разставляя по мѣстамъ великихъ и сильныхъ людей. — Историкъ не восхищается, не умиляется, не негодуетъ, не фразерствуетъ, и всѣ эти патологическія отклоненія такъ же неприличны въ критикѣ, какъ и въ историкѣ. Историкъ разлагаетъ каждое явленіе на его составныя части, и изучаетъ каждую часть отдѣльно, и потомъ, когда извѣстны всѣ составныя элементы, тогда и общій результатъ оказывается понятнымъ и неизбѣжнымъ; что казалось, раньше анализа, ужаснымъ преступленіемъ или непостижимымъ подвигомъ, то оказывается, послѣ анализа, простымъ и необходимымъ слѣдствіемъ данныхъ условій. Точно также слѣдуетъ поступать критику; вмѣсто того, чтобы плакать надъ несчастіями героевъ и героинь, вмѣсто того, чтобы сочувствовать одному, негодовать противъ другаго, восхищаться третьимъ, лѣзть на стѣны по поводу четвертаго, критикъ долженъ сначала проплакаться и пробѣсноваться про себя, а потомъ, вступая въ разговоръ съ публикою, долженъ обстоятельно и разсудительно сообщить ей свои размышленія о причинахъ тѣхъ явленій, которыя вызываютъ въ жизни слезы, сочувствіе, негодованіе или восторги. Онъ долженъ объяснять явленія, а не воспѣвать ихъ; онъ долженъ анализировать, а не лицедействовать. Это будетъ болѣе полезно, и менѣе раздирательно.

Если историкъ и критикъ пойдутъ оба по одному пути, если оба они будутъ не болтать, а размышлять, то оба придутъ къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Между частною жизнью человѣка и историческою жизнью человѣчества есть только количественная разница. Одни и тѣ же законы управляютъ обоими порядками явленій, точно такъ же, какъ одни и тѣ же химическіе и физическіе законы управляютъ и развитіемъ простой кѣлочкы, и развитіемъ человѣческаго организма. Прже господствовало мнѣніе, будто общественный дѣятель долженъ вести себя совсѣмъ не такъ, какъ частный человѣкъ. Что въ частномъ человѣкѣ считалось мошенничествомъ, то въ общественномъ дѣятелѣ называлось политическою мудростію. Съ другой стороны то, что въ общественномъ дѣя-

тебѣ считалось предосудительною слабостью, то въ частномъ человѣкѣ называлось трогательною мягкостью души. Существовало такимъ образомъ, для однихъ и тѣхъ же людей два рода справедливости, два рода благоразумія,—всего по два. Теперь дуализмъ, вытѣсняемый изъ всѣхъ своихъ убѣжищъ, не можетъ удержаться и въ этомъ мѣстѣ, въ которомъ нехѣдность его особенно очевидна, и въ которомъ онъ надѣлалъ очень много практическихъ гадостей. Теперь умные люди начинаютъ, понимать, что простая справедливость составляетъ всегда самую мудрую и самую выгодную политику; съ другой стороны, они понимаютъ, что и частная жизнь не требуетъ ничего, кромѣ простой справедливости; потоки слезъ и конвульси самоистязанія такъ же безобразны въ самой скромной частной жизни, какъ и на сценѣ всемірной исторіи; и безобразны они въ томъ и въ другомъ случаѣ единственно потому, что вредны, то есть, доставляютъ одному человѣку или многимъ людямъ боль, не выпадаемую никакимъ наслажденіемъ.

Искусственная грань, поставленная человѣческимъ невѣжествомъ между исторіею и частною жизнью, разрушается по мѣрѣ того, какъ исчезаетъ невѣжество со всѣми своими предразсудками и нелѣпыми убѣжденіями. Въ сознаніи мыслящихъ людей, эта грань уже разрушена, и на этомъ основаніи, критикъ и историкъ могутъ и должны приходить къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Историческія личности и простые люди должны быть измѣряемы одною мѣркою. Въ исторіи явленіе можетъ быть названо свѣтлымъ или темнымъ, не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряетъ или задерживаетъ развитіе человѣческаго благосостоянія. Въ исторіи нѣтъ безплодно-свѣтлыхъ явленій; что безплодно, то не свѣтло, — на то не стоитъ совсѣмъ обращать вниманія; въ исторіи есть очень много услужливыхъ медвѣдей, которые очень усердно били мухъ на лбу спящаго человѣчества увѣсистыми булыжниками; однако смѣшонъ и жалокъ былъ бы тотъ историкъ, который сталъ бы благодарить этихъ добросовѣстныхъ медвѣдей за чистоту ихъ намѣреній. Встрѣчаясь съ примѣромъ медвѣжьей нравственности, историкъ долженъ только замѣтить, что лобъ человѣчества оказался раскроеннымъ; и долженъ описать, глубока ли была рана, и скоро ли зажила, и какъ подѣйствовало это убіеніе мухи на весь организмъ пациента, и какъ обрисовались, вслѣдствіе этого, дальнѣйшія отношенія между пустынноикомъ и медвѣдемъ. Ну, а что такое медвѣдь? Медвѣдь ничего; онъ свое дѣло сдѣлалъ. Хватилъ камень по лбу — и успокоился. Съ него взятки гладки. Ругать его не слѣдуетъ—во-первыхъ потому, что это ни къ чему не ведетъ; а во-вторыхъ, не за что: потому — глупъ. Ну, а хвалить его за непорочность сердца и подавно не резонъ; во-первыхъ, не стоитъ благодарности: вѣдь

любя-то все-таки разбить; а во-вторых, опять-таки онъ глупъ, такъ на какого же чорта годится его непорочность сердца.

Такъ какъ я случайно попалъ на басню Крылова, то, мимоходомъ, любопытно будетъ замѣтить, какъ простой здравый смыслъ сходится иногда въ своихъ сужденіяхъ съ тѣми выводами, которые даютъ основательное научное изслѣдованіе и широкое философское мышленіе. Три басни Крылова, о медвѣдѣ, о музыкантахъ, которые «немножечко дерутъ, за то ужъ въ ротъ хмѣльнаго не беруть,» и о судѣ, который попадетъ въ рай за глупость, — три эти басни, говорю я, написаны на ту мысль, что сила ума важнѣе, чѣмъ безукоризненная нравственность. Видно, что эта мысль была особенно мила Крылову, который, разумѣется, могъ замѣчать вѣрность этой мысли только въ явленіяхъ частной жизни. И эту же самую мысль Бокль возводитъ въ мировой историческій законъ. Русский баснописецъ, образовавшійся на мѣдныхъ деньгахъ, и навѣрное считавшій Карамзина величайшимъ историкомъ XIX вѣка, говорить по своему то же самое, что высказалъ передовой мыслитель Англіи, вооруженный наукою. Это я замѣчаю не для того, чтобы похвастаться русскою смѣливостью, а для того, чтобы показать, до какой степени результаты разумной и положительной науки соотвѣтствуютъ естественнымъ требованіямъ неспорченнаго и незасореннаго человѣческаго ума. Кромѣ того, эта неожиданная встрѣча Бокля съ Крыловымъ, можетъ служить примѣромъ того согласія, которое можетъ и должно существовать, во-первыхъ, между частною жизнью и исторіею, а вслѣдствіе этого, во-вторыхъ, между историкомъ и критикомъ. Если добродушный дѣдушка Крыловъ могъ сойтись съ Боклемъ, то критикамъ, живущимъ во второй половинѣ XIX вѣка, и обнаруживающимъ притязанія на смѣлость мысли, и на широкое развитіе ума, такимъ критикамъ, говорю я, и подавно слѣдуетъ держаться съ непоколебимою послѣдовательностью за тѣ приемы и идеи, которые въ наше время сближаютъ историческое изученіе съ естествознаніемъ. Наконецъ, если Бокль слишкомъ уменъ и гологоломенъ для нашихъ критиковъ, пусть они держатся за дѣдушку Крылова; пусть проводятъ, въ своихъ изслѣдованіяхъ о нравственныхъ достоинствахъ человѣка, простую мысль, выраженную такими незатѣйливыми словами: «услужливый дуракъ опаснѣе врага.» Если бы только одна эта мысль, понятная пятилѣтнему ребенку, была проведена въ нашей критикѣ съ надлежащею послѣдовательностью, то во всѣхъ нашихъ воззрѣніяхъ на нравственные достоинства произошелъ бы радикальный переворотъ, и престарѣлая эстетика давнымъ-давно отправилась бы туда же, куда отправились алхимія и метафизика.

VI.

Наша частная жизнь запружена до нельзя красивыми чувствами и высокими достоинствами, которыми всякій порядочный человекъ старается запастись для своего домашняго обихода, и которымъ всякій свидѣтельствуеъ свое вниманіе, хотя вѣсто не можетъ сказать, чтобы они, когда нибудь, кому бы то ни было доставили малѣйшее удовольствіе. Было время, когда лучшими атрибутами физической красоты считалась въ женщинѣ интересная блѣдность лица и непостижимая тонкость таліи; барышни пили уксусъ, и перетагивались такъ, что у нихъ трещали ребра и спиралось дыханіе; много здоровья было уничтожено по милости этой эстетики, и, по всей вѣроятности, эти своеобразныя понятія о красотѣ еще не вполне уничтожились и теперь, потому что Любисъ возстаетъ противъ корсетовъ въ своей физиологіи, а Чернышевскій заставляеъ Вѣру Павловну упомянуть о томъ, что она, сдѣлавшись умною женщиною, перестала шнуроваться. Такимъ образомъ, физическая эстетика очень часто идетъ въ разрѣзъ съ требованіями здраваго смысла, съ предписаніями элементарной гігіены, и даже съ инстинктивнымъ стремленіемъ человека къ удобству и къ комфорту. «Il faut souffrir pour être belle,» говорила въ былое время молодая дѣвушка, и всѣ находили, что она говорить святую истину, потому что красота должна существовать сама по себѣ, ради красоты, совершенно независимо отъ условій, необходимыхъ для здоровья, для удобства и для наслажденія жизнью. Критики, не освободившіеся отъ вліянія эстетики, сходятся съ обожателями интересной блѣдности и тонкихъ талій, вѣсто того, чтобы сходиться съ естествоиспытателями и мыслящими историками. Надо сознаться, что даже лучшіе изъ нашихъ критиковъ, Бѣлинскій и Добролюбовъ, не могли оторваться окончательно отъ эстетическихъ традицій. Осуждать ихъ за это было бы негѣно, потому что надо же помнить, какъ много они сдѣлали для уясненія всѣхъ нашихъ понятій, и надо же понимать, что не могутъ два человека отработать за насъ всю нашу работу мысли. Но, не осуждая ихъ, надо видѣть ихъ ошибки и прокладывать новыя пути въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ старыя тропинки увлоняются въ глушь и въ бѣлота.

Относительно анализа «свѣтлыхъ явленій», насъ не удовлетворяеъ эстетика ни своимъ красивымъ негодованіемъ, ни своимъ искусственно подогрѣтымъ восторгомъ. Ея бѣлила и румяна тутъ остаются не при чемъ. —Натуралистъ, говоря о человекѣ, назоветъ свѣтлымъ явленіемъ нормально развитой организмъ; историкъ даеъ это названіе умной лич-

ности, понимающей свои выгоды, знающей требованія своего времени, и, вслѣдствіе этого, работающей всѣми силами для развитія общаго благосостоянія; критикъ имѣетъ право видѣть свѣтлое явленіе только въ томъ человѣкѣ, который умѣетъ быть счастливымъ, то есть, приносить пользу себѣ и другимъ, и, умѣя жить и дѣйствовать при неблагоприятныхъ условіяхъ, понимаетъ въ то же время ихъ неблагоприятность, и, по мѣрѣ силъ своихъ, старается переработать эти условія къ лучшему. И натуралистъ, и историкъ, и критикъ согласятся между собою въ томъ пунктѣ, что необходимымъ свойствомъ такого свѣтлаго явленія долженъ быть сильный и развитой умъ; тамъ, гдѣ нѣтъ этого свойства, тамъ не можетъ быть и свѣтлыхъ явленій. Натуралистъ скажетъ вамъ, что нормально развитый человѣческій организмъ необходимо долженъ быть одаренъ здоровымъ мозгомъ, а здоровый мозгъ такъ же неизбѣжно долженъ мыслить правильно, какъ здоровый желудокъ долженъ переваривать пищу; если же этотъ мозгъ разслабленъ отсутствіемъ упражненія, и если, такимъ образомъ, человѣкъ, умный отъ природы, притупленъ обстоятельствами жизни, то весь рассматриваемый субъектъ уже не можетъ считаться нормально развитымъ организмомъ, точно такъ же, какъ не можетъ имъ считаться человѣкъ, ослабившій свой слухъ или свое зрѣніе. Такого человѣка и натуралистъ не назоветъ свѣтлымъ явленіемъ, хотя бы этотъ человѣкъ пользовался желѣзнымъ здоровьемъ и лошадиною силою. Историкъ скажетъ вамъ... но вы и сами знаете, что онъ вамъ скажетъ; ясное дѣло, что умъ для исторической личности такъ же необходимъ, какъ жабры и плавательныя перья для рыбы; ума тутъ не замѣнятъ никакими эстетическими ингредиентами; это, можетъ быть, единственная истина, неопровержимо доказанная всѣмъ историческимъ опытомъ нашей породы. Критикъ докажетъ вамъ, что только умный и развитой человѣкъ можетъ оберегать себя и другихъ отъ страданій, при тѣхъ неблагоприятныхъ условіяхъ жизни, при которыхъ существуетъ огромное большинство людей на земномъ шарѣ; это не умѣетъ сдѣлать ничего для облегченія своихъ и чужихъ страданій, тотъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ свѣтлымъ явленіемъ; тотъ—трусень, можетъ быть, очень милый, очень граціозный, симпатичный, но все это такіа неосознанныя и невѣсомыя качества, которыя доступны только пониманію людей, обожающихъ интересную блѣдность и тонкія таліи. Облегчая жизнь себѣ и другимъ, умный и развитой человѣкъ не ограничивается этимъ; онъ, кромѣ того, въ большей или въ меньшей степени, сознательно или невольно, перерабатываетъ эту жизнь, и приготовляетъ переходъ къ лучшимъ условіямъ существованія. Умная и развитая личность, сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,— все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду человѣческой рутинны; кто

уже не въ силахъ развиваться, тотъ, по крайней мѣрѣ, уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка,—а людямъ очень полезно уважать то, что дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодъ, кто способенъ полюбить идею, кто ищетъ возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ быть, начать новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность, давъ такимъ образомъ, обществу двухъ-трехъ молодыхъ работниковъ, если она внушитъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притѣсняли,—то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлаютъ въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ силъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ приѣмовъ. Такъ вотъ какіе должны быть «лучи свѣта»—не Катеринѣ чета.

VII.

«Яйца курицу не учатъ»,—говорятъ нашъ народъ, и такъ эта поговорка ему по душѣ приилась, что онъ твердитъ ее съ утра до вечера, словами и поступками, отъ моря и до моря. И передаетъ онъ ее потомству, какъ священное наслѣдство, и благодарное потомство, пользуясь ею въ свою очередь, созидаетъ на ней величественное зданіе семейнаго чинопочитанія. И поговорка эта не теряетъ своей силы, потому что она всегда употребляется встати; а встати потому, что ее употребляютъ только старшіе члены семейства, которые не могутъ ошибаться, которые всегда оказываются правыми, и которые, слѣдовательно, всегда дѣйствуютъ благотворительно и разсуждаютъ поучительно. Ты — яйцо безсознательное, и долженъ пребывать въ своей безотвѣтной невинности до тѣхъ поръ, пока самъ не сдѣлаешься курицею. Такимъ образомъ, пятидесятилѣтніе мурзъ разсуждаютъ съ тридцатилѣтними яйцами, которыя съ помощью выучились понимать и чувствовать все, что такъ коротко и такъ величественно внушаетъ имъ бессмертная поговорка. Великое изрѣченіе народной мудрости дѣйствительно выражаетъ въ четырехъ словахъ весь принципъ нашей семейной жизни. Принципъ этотъ дѣйствуетъ еще съ полною силою въ тѣхъ слояхъ нашего народа, которые считаются чисто-русскими.

Только въ молодости человѣкъ, можетъ развернуть и воспитать тѣ силы своего ума, которыя потомъ будутъ служить ему въ зрѣломъ возрастѣ; что не развилось въ молодости, то остается неразвитымъ на всю жизнь; слѣдовательно, если молодость проводится подъ скорлупою, то и умъ, и воля человѣка остаются навсегда въ положеніи замороженнаго зародыша; и наблюдателю, смотрящему со стороны на этотъ курятникъ, остается только изучать различныя проявленія человѣческаго уродства. Каждый новорожденный ребенокъ втискивается въ одну и ту же готовую форму, а разнообразіе результатовъ происходитъ, во-первыхъ, отъ того, что не всѣ дѣти рождаются одинаковыми, а во вторыхъ, отъ того, что для втискиванія употребляются различныя приемы. Одинъ ребенокъ ложится въ форму тихо и благопривольно, а другой барахтается и кричитъ благимъ матомъ; одного ребенка бросаютъ въ форму со всего размаху, да еще потомъ держать въ формѣ за вихорь; а другаго кладутъ помаленьку, полегоньку, и при этомъ поглаживаютъ по головкѣ, и при этомъ оболащиваютъ. Но форма все-таки одна и та же, и—не въ укоръ будь сказано искателямъ свѣтлыхъ явленій—уродованіе идетъ всегда надлежащимъ порядкомъ; такъ какъ жизнь не шевелитъ и не развиваетъ ума, то человѣческія способности глоснуть и искажаются, какъ при воспитаніи палкой, такъ и при воспитаніи лаской. Въ первомъ случаѣ получается типъ, который я для краткости назову карликами, во второмъ получаютъ также уроды, которыхъ можно назвать вѣчными дѣтьми. Когда ребенка ругаютъ, порятъ и всячески огорчаютъ, тогда онъ съ самыхъ малыхъ лѣтъ начинаетъ чувствовать себя одинокимъ. Какъ только ребенокъ начинаетъ понимать себя, такъ онъ приучается надѣяться только на свои собственныя силы; онъ находится въ постоянной войнѣ со всѣмъ, что его окружаетъ; ему дремать нельзя; чуть оплошаешь, тотчасъ лишись всякаго удовольствія, да еще налетятъ на тебя со всѣхъ сторонъ ругательства, затрепичины, и даже весьма серьезныя непріятности, въ видѣ многочисленныхъ и полновѣсныхъ ударовъ розгами. Гимнастика для дѣтскаго ума представляется постоянная, и каждый безграмотный мальчишка, выдержанный въ ежовыхъ рукавицахъ свирѣпымъ родителемъ, удивитъ своими дипломатическими талантами любого благовоспитаннаго мальчишка, способнаго уже восхищаться, по Корнелію Непоту, доблестями Аристиды и непреклоннымъ характеромъ Катона. Умъ разовьется на столько, на сколько это необходимо для того, чтобы обдѣлывать практическія дѣлишки: тамъ надуть, тутъ поклониться въ поясъ, здѣсь прижать, въ другомъ мѣстѣ въ амбицію вломиться, въ третьемъ—добрымъ малымъ прикинуться,—все это будетъ исполнено самымъ отчетливымъ манеромъ, потому что вся эта механика усвоена во времена нѣжнаго дѣтства. Но выйти изъ коленъ этой механики умъ уже не можетъ; надуется онъ десять разъ, проведетъ и выведетъ, будетъ лгать и выверты-

ваться, будетъ постоянно обходить препятствія, на которыя постоянно будетъ наткаться; но обдумать заранѣе планъ дѣйствій, разсчитать вѣроятности успѣха, предусмотрѣть и устранить препятствія заблаговременно, словомъ, связать въ головѣ длинный рядъ мыслей, логически вытекающихъ одна изъ другой,—этого вы отъ нашего субъекта не ждите. Умственного творчества вы въ немъ также не найдете; практическое изобрѣтеніе, созданіе новой машины или новой отрасли промышленности возможно только тогда, когда у человѣка есть знанія, а знаній у нашего карлика нѣтъ никакихъ; онъ не знаетъ ни свойствъ того матеріала, который онъ обрабатываетъ, ни потребностей тѣхъ людей, для которыхъ онъ работаетъ. Шьеть онъ, положимъ, чемоданъ изъ кожи; кожа скверно выдѣлана и трескается; ну, значить чемоданъ надо вычернить, чтобы подъ краскою трещины были незамѣтны; и рѣшительно ни одному карлику въ голову не придетъ: а нельзя ли какъ нибудь такъ выдѣлывать кожу, чтобы она не трескалась? Да и не можетъ придти; чтобы замазать трещину черною краскою, не нужно ровно никакихъ знаній, и почти никакого труда мысли; а для того, чтобы сдѣлать малѣйшее усовершенствованіе въ выдѣлкѣ кожъ, надо, по крайней мѣрѣ, всматриваться въ то, что имѣешь подъ руками, и обдумывать то, что видишь. Но мы никогда не были заражены такими мыслительными слабостями; поэтому, мы разработали у себя барышничество и надувательство до высокой степени художественности, а всѣ науки мы принуждены привозить къ себѣ изъ за границы; другими словами, мы постоянно обирали удобства жизни другъ у друга, но производительность нашей земли мы не съ умѣли увеличить ни на одинъ мѣдный грошъ. Не зная свойствъ предметовъ, карликъ не знаетъ и самого себя: онъ не знаетъ ни своихъ силъ, ни своихъ наклонностей, ни своихъ желаній; поэтому, онъ цѣнитъ себя только по внѣшнему успѣху своихъ предпріятій; онъ мѣняется въ своихъ собственныхъ глазахъ, какъ акція сомнительнаго достоинства, которой курсъ колеблется на биржѣ; штука удалась, барышъ въ карманѣ,—тогда онъ великій человѣкъ, тогда онъ возносится выше нарицательной цѣны и даже выше облака ходячаго; штука лопнула, капиталъ улетучился,—тогда онъ червь, подлецъ, поношеніе человѣковъ; тогда онъ умоляетъ васъ, чтобы вы на него плюнули, да только оказали бы ему участіе. И хоть бы это было, по крайней мѣрѣ, притворство, хоть бы онъ прикидывался несчастнымъ для того, чтобы разжалобить васъ, все было бы легче; а то вѣдь нѣтъ—дѣйствительно раздавленъ и уничтоженъ, дѣйствительно палъ въ своихъ собственныхъ глазахъ отъ того, что потерялъ убытокъ или другую неудачу; немудрено, что карликъ отвертывается отъ друзей своихъ, когда они въ несчастіи; онъ и отъ самого себя радъ былъ бы отвернуться, да жалъ, некуда.

Все это понятно; только сознательное уваженіе человѣка къ самому

себѣ даетъ ему возможность спокойно и весело переносить всѣ желкія и крупныя непріятности, которыя не сопровождаются сильною физическою болью; а чтобы сознательно уважать самого себя, и чтобы находить въ этомъ чувствѣ высшее наслажденіе, человѣку надо предварительно поработать надъ собою, очистить свой мозгъ отъ разнаго мусора, сдѣлаться полнымъ хозяиномъ своего внутренняго міра, обогатить этотъ міръ кое-какими знаніями и идеями, и наконецъ, изучивши самого себя, найти себѣ въ жизни разумную, полезную и пріятную дѣятельность. Когда все это будетъ сдѣлано, тогда человѣку будетъ понятно удовольствіе быть самимъ собою, удовольствіе класть на каждый поступокъ печать своей просвѣтленной и облагороженной личности, удовольствіе жить въ своемъ внутреннемъ мірѣ, и постоянно увеличивать богатство и разнообразіе этого міра. Тогда человѣкъ почувствуетъ, что это высшее удовольствіе можетъ быть отнято у него только сумасшествіемъ или постояннымъ физическимъ мученіемъ; и это величественное сознаніе полной независимости отъ мелкихъ огорченій, въ свою очередь сдѣлается причиною гордой и мужественной радости, которую опять таки ничто не можетъ ни отнять, ни отравить. Сколько минутъ чистѣйшаго счастья пережилъ Лопуховъ въ то время, когда, отрываясь отъ любимой женщины, онъ собственноручно устраивалъ ей счастье съ другимъ человѣкомъ? Тутъ была обаятельная смѣсь тихой грусти и самого высокаго наслажденія, но наслажденіе далеко превѣшивало грусть, такъ что это время напряженной работы ума и чувства, навѣрное оставило послѣ себя въ жизни Лопухова, неизгладимую полосу самого яркаго свѣта. А между тѣмъ, какъ все это кажется непонятнымъ и неестественнымъ для тѣхъ людей, которые никогда не испытали наслажденія мыслить и жить въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Эти люди убѣждены самымъ добросовѣстнымъ образомъ, что Лопуховъ — невозможная и неправдоподобная выдумка, что авторъ романа «Что дѣлать?» только прикидывается, будто понимаетъ ощущенія своего героя, и что всѣ пустозвоны, сочувствующіе Лопухову, морочатъ себя и стараются обморочить другихъ совершенно бессмысленными потоками словъ. И это совершенно естественно. Кто способенъ понимать Лопухова и сочувствующихъ ему пустозвоновъ, тотъ самъ — и Лопуховъ, и пустозвонъ, потому что рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше.

Замѣчательно, что высокое удовольствіе самоуваженія, въ большей или меньшей степени, доступно и понятно всѣмъ людямъ, развившимъ въ себѣ способность мыслить, хотя бы эта способность привела ихъ потомъ къ чистымъ и простымъ истинамъ естествознанія; или, напротивъ того, къ туманнымъ и произвольнымъ фантазіямъ философскаго мистицизма. Матеріалисты и идеалисты, скептики и догматики, эпикурейцы и стоики, раціоналисты и мистики — всѣ сходятся между собою, когда

идеть, рѣчь о высшемъ благѣ, доступномъ человѣку на землѣ, и независимомъ отъ вѣнпныхъ и случайныхъ условій. Всѣ говорятъ объ этомъ благѣ въ различныхъ выраженіяхъ, всѣ подходятъ къ нему съ разныхъ сторонъ, всѣ называютъ его разными именами, но отодвиньте въ сторону слова и метафоры и вы вездѣ увидите одно и то же содержаніе. Одни говорятъ, что человѣкъ долженъ убить въ себѣ страсти, другіе—что онъ долженъ управлять ими, третьи—что онъ долженъ облагородить ихъ, четвертые—что онъ долженъ развить свой умъ, и что тогда все пойдетъ, какъ по маслу. Пути различные, но цѣль вездѣ одна и та же,—чтобы человѣкъ пользовался душевнымъ миромъ, какъ говорятъ одни,—чтобы въ его существѣ царствовала внутренняя гармонія, какъ говорятъ другіе,—чтобы совѣсть его была спокойна, какъ говорятъ третьи,—или наконецъ, если взять самыя простыя слова, — чтобы человѣкъ постоянно былъ доволенъ самимъ собою, чтобы онъ могъ сознательно любить и уважать самого себя, чтобы онъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни могъ положиться на самого себя, какъ на своего лучшаго друга, всегда неизмѣннаго и всегда правдиваго.

Если всѣ мыслители понимаютъ и цѣнятъ чувство самоуваженія, то мы въ этомъ отношеніи никакъ не должны считать мыслителями всѣхъ людей, читающихъ и пишущихъ философскія сочиненія. Рутинеръ, буквоедъ и филистеръ, къ какой бы школѣ онъ ни принадлежалъ, и какою бы наукою онъ ни занимался, всегда будетъ работать по обязанности службы, никогда не почувствуетъ наслажденія въ процессѣ мысли, и, поэтому, никогда не составитъ себѣ понятія о чарующей прелести самоуваженія. Дѣло въ томъ, что все можно обратить въ механику. У насъ обращено въ механику искусство надувательства, а въ западной Европѣ, со временъ средневѣковой схоластики, въ механику превратилось искусство писать ученые трактаты, рыться въ фоліантахъ, и получать самымъ добросовѣстнымъ образомъ докторскіе дипломы, не переставая вѣрить въ колдовство или въ алхімію. Закваска рутины такъ сильна, что многіе нѣмцы и англичане находятъ возможнымъ заниматься даже естественными науками, не переставая быть, по своему міросозерцанію, чисто средневѣковыми субъектами. Отъ этого выходятъ презабавные эпизоды. Напримѣръ, знаменитый англійскій анатомъ, Ричардъ Оуэнъ (прошу не смѣшивать съ социалистомъ, Робертомъ Оуэномъ), упорно не желаетъ видѣть въ мозгу обезьяны одну особенную штучку (аммоніевы рога), потому что существованіе этой штучки у обезьяны кажется ему оскорбительнымъ для человѣческаго достоинства. Ему показываютъ, Гексли изъ себя выходитъ, а тотъ такъ и остается при своемъ. Не вижу, да и только. Любопытно также послушать, какъ Карлъ Фохтъ бесѣдуетъ съ Рудольфомъ Вагнеромъ, чрезвычайно замѣчательнымъ физиологомъ, и, въ то же время, еще болѣе замѣчательнымъ филистеромъ. Но Оуэнъ

и Вагнеръ, во всякомъ случаѣ, превосходные изслѣдователи; они смотрятъ во всё глаза, и сильно работаютъ мозгомъ, когда вопросъ не слишкомъ близко подходитъ къ ихъ сердечнымъ симпатіямъ. Напряженное вниманіе и размышленіе все-таки могутъ расшевелить и развить умъ на столько, что чувство самоуваженія сдѣлается понятнымъ и драгоценнымъ. А есть и второстепенные Оуэны и Вагнеры; во всѣхъ философскихъ и научныхъ лагеряхъ есть мародеры и паразиты, которые не только не создаютъ мыслей сами, но даже не передумываютъ чужихъ мыслей, а только затверживаютъ ихъ, чтобы потомъ разбавлять готовые темы ушатами воды, и составлять такимъ образомъ статьи или книги. Этимъ людямъ чувство самоуваженія, разумѣется, останется навсегда неизвѣстнымъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что мыслители всѣхъ школъ понимаютъ одинаково высшее и неотъемлемое благо человѣка; мы видимъ, кромѣ того, что это благо дѣйствительно доступно только тѣмъ изъ мыслителей, которые въ самомъ дѣлѣ работаютъ умомъ, а не тѣмъ, которые повторяютъ, съ тупымъ уваженіемъ слѣпыхъ адептовъ, великія мысли учителей. Выводъ простъ и ясенъ. Не школа, не философскій догматъ, не буква системы, не истина, дѣлаютъ человѣка существомъ разумнымъ, свободнымъ и счастливымъ. Его облагораживаетъ, его ведетъ къ наслажденію только самостоятельная умственная дѣятельность, посвященная безкорыстному исканію истины, и неподчиненная рутиннымъ и мелочнымъ интересамъ всендневной жизни. Чѣмъ бы ни пробудили вы эту самостоятельную дѣятельность, чѣмъ бы вы ни занимались—геометріею, филологіею, ботаникою, все равно—лишь бы только вы начали мыслить. Въ результатѣ все-таки получится расширеніе внутренняго міра, любовь къ этому міру, стремленіе очистить его отъ всякой грязи, и, наконецъ, незамѣнимое счастье самоуваженія. Значить, все-таки умъ дороже всего, или вѣрнѣе умъ—все. Я съ разныхъ сторонъ доказывалъ эту мысль, и, можетъ быть, надоѣлъ читателю повтореніями, но вѣдь мысль-то ужъ больно драгоценная. Ничего въ ней нѣтъ новаго, но если бы только мы провели ее въ нашу жизнь, то мы всё могли бы быть очень счастливыми людьми. А то вѣдь мы всё куда какъ не далеко ушли отъ тѣхъ карликовъ, отъ которыхъ совершенно отвлекло меня это длинное отступленіе.

VIII.

По тѣмъ немногимъ чертамъ, которыми я обрисовалъ карликовъ, читатель видитъ уже, что они вполне заслуживаютъ свое названіе. Всѣ способности ихъ развиты довольно равномерно: у нихъ есть и умишко,

и кое-какая воляшка, и миниатюрная энергія, но все это чрезвычайно мелко, и прилагается, конечно, только къ тѣмъ микроскопическимъ цѣлямъ, которыя могутъ представиться въ ограниченномъ и бѣдномъ мірѣ нашей всеневной жизни. Карлики радуются, огорчаются, приходятъ въ восторгъ, приходятъ въ негодованіе, борются съ искушеніями, одерживаютъ побѣды, терпятъ пораженія, влюбляются, женятся, спорятъ, горячатся, интригуютъ, мирятся, словомъ все дѣлаютъ точно настоящіе люди, а между тѣмъ ни одинъ настоящій человѣкъ не сѣмѣетъ имъ сочувствовать, потому что это невозможно; ихъ радости, ихъ страданія, ихъ волненія, искушенія, побѣды, страсти, споры и разсужденія — все это такъ ничтожно, такъ неуволнимо мелко, что только карликъ можетъ ихъ понять, оцѣнить и принять къ сердцу. Типъ карликовъ, или что то же, типъ практическихъ людей чрезвычайно распространенъ, и видоизмѣняется сообразно съ особенностями различныхъ слоевъ общества; этотъ типъ господствуетъ и торжествуетъ; онъ составляетъ себѣ блестящія карьеры, наживаетъ большія деньги, и самовластно распоряжается въ семействахъ; онъ дѣлаетъ всѣмъ окружающимъ людямъ много неприємностей, а самъ не получаетъ отъ этого никакого удовольствія; онъ дѣятеленъ, но дѣятельность его похожа на бѣганіе бѣлки въ колесѣ.

Литература наша давно уже относится къ этому типу безъ всякой особенной нѣжности, и давно уже осуждаетъ съ полнымъ единодушіемъ то воспитаніе палкой, которое вырабатываетъ и формируетъ плотоядныхъ карликовъ. Одинъ только г. Гончаровъ пожелалъ возвести типъ карлика въ перлъ созданія; вслѣдствіе этого, онъ произвелъ на свѣтъ Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца; но эта попытка, во всѣхъ отношеніяхъ, похожа на поползновеніе Гоголя представить идеальнаго помѣщика Костанжогло, и идеальнаго откупщика Муразова. Типъ карликовъ, повидимому, уже не опасенъ для нашего сознанія; онъ не прельщаетъ насъ больше, и отвращеніе къ этому типу заставляетъ даже нашу литературу и критику бросаться въ противоположную крайность, отъ которой также не мѣшаетъ поостеречься; не умѣя остановиться на чистомъ отрицаніи карликовъ, наши писатели стараются противопоставить торжествующей силѣ угнетенную невинность; они хотятъ доказать, что торжествующая сила нехороша, а угнетенная невинность, напротивъ того, прекрасна; въ этомъ они ошибаются; и сила глупа, и невинность глупа, и только отъ того, что онѣ обѣ глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается въ тупое терпѣніе; свѣту нѣтъ, и оттого люди, не видя и не понимая другъ друга, дерутся въ темнотѣ; и хотя у поражаемыхъ субъектовъ часто сыпятся искры изъ глазъ, однако это освѣщеніе, какъ извѣстно по опыту, совершенно неспособно разсвѣять окружающій мракъ; и какъ бы ни были многочисленны

и разноцвѣтны подставляемые фонари, но всѣ они въ совокупности не замѣняютъ самаго жалкаго салнаго огарка.

Когда человѣкъ страдаетъ, онъ всегда дѣлается трогательнымъ; вокругъ него разливается особенная мягкая прелесть, которая дѣйствуетъ на васъ съ неотразимою силою; не сопротивляйтесь этому впечатлѣнію, когда оно побуждаетъ васъ, въ сферѣ практической дѣятельности, заступиться за несчастнаго, или облегчить его страданіе; но, если вы, въ области теоретической мысли, разсуждаете объ общихъ причинахъ разныхъ специфическихъ страданій, то вы непременно должны относиться къ страдальцамъ такъ же равнодушно, какъ и къ мучителямъ, вы не должны сочувствовать ни Катеринѣ, ни Кабанихѣ, потому что, въ противномъ случаѣ, въ вашъ анализъ ворвется лирический элементъ, который перепутаетъ все ваше разсужденіе. Вы должны считать свѣтлымъ явленіемъ только то, что, въ большей или меньшей степени, можетъ содѣйствовать прекращенію или облегченію страданія; а если вы расчувствуетесь, то вы назовете лучше свѣта—или самую способность страдать, или ослиную кротость страдальца, или нелѣпые порывы его безсильнаго отчаянія, или вообще, что нибудь такое, что ни въ какомъ случаѣ не можетъ образумить плотоядныхъ карликовъ. И выйдетъ изъ этого, что вы не скажете ни одного дѣльнаго слова, а только обольете читателя ароматомъ вашей чувствительности; читателю это, можетъ быть и понравится; онъ скажетъ, что вы человѣкъ отмѣнно хорошій; но я съ своей стороны, рискуя прогнѣвать и читателя, и васъ, замѣчу только, что вы принимаете синія пятна, называемыя фонарями, за настоящее освѣщеніе.

Страдательныя личности нашихъ семействъ, тѣ личности, которымъ порывается посочувствовать наша критика, болѣе или менѣе подходятъ подъ общій типъ вѣчныхъ дѣтей, которыхъ формируетъ ласковое воспитаніе нашей безтолковой жизни. Нашъ народъ говоритъ, что «за битаго двухъ не битыхъ даютъ». Имѣя понятіе о дикости семейныхъ отношеній въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего общества, мы должны сознаться, что это изрѣченіе совершенно справедливо, и проникнуто глубокою практическою мудростью. Пока въ нашу жизнь не проникнетъ настоящій лучъ свѣта, пока въ массахъ народа не разовьется производительная дѣятельность, разнообразіе занятій, довольство и образованіе, до тѣхъ поръ битый непременно будетъ дороже двухъ небитыхъ, и до тѣхъ поръ родители въ простомъ бытѣ постоянно будутъ принуждены бить своихъ дѣтей для ихъ же пользы. И польза эта вовсе не воображаемая. Даже въ наше просвѣщенное время дѣтямъ простолюдина полезно и необходимо быть битыми, иначе они будутъ современемъ несчастнѣйшими людьми. Дѣло въ томъ, что жизнь сильнѣе воспитанія, и, если послѣднее не подчиняется добровольно требованіямъ первой, то жизнь

насилъно схватываетъ продуктъ воспитанія, и спокойно ломаетъ его по своему, не спрашивая о томъ, во что обходится эта ломка живому организму. Съ молодымъ человѣкомъ обращаются такъ же, какъ и со всѣми его сверстниками; другихъ ругаютъ, и его ругаютъ, — другихъ бьютъ, и его бьютъ. Привыкъ или не привыкъ онъ къ этому обращенію — кому до этого дѣло? Привыкъ, хорошо значитъ, выдержать; не привыкъ — тѣмъ хуже для него, пусть привыкаетъ. Вотъ какъ разсуждаетъ жизнь, и отъ нея невозможно ни ожидать, ни требовать, чтобы она дѣлала какія нибудь исключенія въ пользу деликатныхъ комплекцій или нѣжно-воспитанныхъ личностей. Но, такъ какъ всякая привычка пріобрѣтается всего легче въ дѣтствѣ, то ясно, что люди, воспитанные лаской, будутъ страдать въ своей жизни отъ одинаково-дурнаго обращенія гораздо сильнѣе, чѣмъ люди, воспитанные палкой. Воспитаніе палкой не хорошо, какъ не хорошо, напримѣръ, повсемѣстное развитіе пьянства въ нашемъ отечествѣ; но оба эти явленія составляютъ только невинные и необходимые аксессуары нашей бѣдности и нашей дикости; когда мы сдѣлаемся богаче и образованнѣе, тогда закроется, по крайней мѣрѣ, половина нашихъ кабаковъ, и тогда родители не будутъ бить своихъ дѣтей. Но теперь, когда мужикъ дѣйствительно нуждается въ самозабвеніи, и когда водка составляетъ его единственную отраду, было бы нелѣзно требовать, чтобы онъ не ходилъ въ кабаки; съ тоски онъ могъ бы придумать что нибудь еще болѣе безобразное; вѣдь есть и такіе племена, которые ѣдятъ мухоморъ. Теперь и палка приноситъ свою пользу, какъ приготовленіе къ жизни; уничтожьте палку въ воспитаніи, и вы приготовите только для нашей жизни огромное количество безсильныхъ мучениковъ, которые, потерпѣвши на своемъ вѣку, или помрутъ отъ чахотки, или превратятся понемногу въ ожесточенныхъ мучителей. Въ настоящее время, вы имѣете въ каждомъ русскомъ семействѣ два воспитательные элемента, родительскую палку и родительскую ласку; и то, и другое безъ малѣйшей примѣси разумной идеи. И то, и другое изъ руля вонъ скверно, но родительская палка все-таки лучше родительской ласки.

Я знаю, чѣмъ я рискую; меня назовутъ обскурантомъ, а заслужить въ наше время это названіе почти то же самое, что было въ средніе вѣка прослыть еретикомъ и колдуномъ. Я очень желаю сохранить за собою честное имя прогрессиста, но разсчитывая на благоразуміе читателя, надѣюсь, что онъ понимаетъ общее направленіе моей мысли, и, вооружившись этимъ упованіемъ, осмѣливаюсь уклоняться отъ общепринятой рутины нашего дешерега либерализма. Палка дѣйствительно развиваетъ до нѣкоторой степени дѣтскій умъ, но только не такъ, какъ думаютъ суровые воспитатели; они думаютъ, что, коли посягъ ребенка, такъ онъ запомнитъ и приметъ въ сердцу спасительные совѣты, раскается

въ своемъ легкомыслии, пойметъ заблужденіе, и исправитъ свою грѣховную волю; для большей вразумительности, воспитатели даже сѣкутъ и приговариваютъ, а ребенокъ кричитъ: «никогда не буду!» и, значитъ, изъясняетъ раскаяніе. Эти соображенія добрыхъ родителей и педагоговъ неосновательны; но въ высѣченномъ субъектѣ дѣйствительно происходитъ процессъ мысли, вызванный именно ощущеніемъ боли. Въ немъ изощряется чувство самосохраненія, которое обыкновенно дремлетъ въ дѣтяхъ, окруженныхъ нѣжными заботами и постоянными ласками. Но чувство самосохраненія составляетъ первую причину всякаго человѣческаго прогресса; это чувство, и только оно одно, заставляетъ дикаря переходить отъ охоты къ скотоводству и земледѣлію; оно кладетъ основаніе всѣмъ техническимъ изобрѣтеніямъ, всякому комфорту, всѣмъ промысламъ, наукамъ и искусствамъ. Стремленіе къ удобству, любовь къ изящному, и даже чистая любознательность, которую мы въ простотѣ души считаемъ безкорыстнымъ порывомъ человѣческаго ума къ истинѣ, составляютъ только частныя проявленія и тончайшія видоизмѣненія того самаго чувства, которое побуждаетъ насъ избѣгать боли и опасности. Мы чувствуемъ, что нѣкоторыя ощущенія освѣжаютъ и укрѣпляютъ нашу нервную систему; когда мы долго не получаемъ этихъ ощущеній, тогда организмъ нашъ разстроивается, сначала очень легко, однако такъ, что это разстройство заставляетъ насъ испытать какое-то особенное ощущеніе, извѣстное подъ названіемъ скуки или тоски. Если мы не хотимъ, или не можемъ прекратить это непріятное чувство, то есть, если мы не даемъ организму того, что онъ требуетъ, тогда онъ разстроивается сильнѣе, и чувство дѣлается еще непріятнѣе и томительнѣе. Для того, чтобы постоянно чѣмъ нибудь затыкать ротъ нашему организму, когда онъ, такимъ образомъ, начинаетъ скрипѣть и пищать, мы, то есть, люди вообще, стали смотрѣть вокругъ себя, стали вглядываться и прислушиваться, стали двигать самымъ усиленнымъ образомъ и руками, и ногами, и мозгами. Разнообразное движеніе совершенно соотвѣтствовало самымъ прихотливымъ требованіямъ неутомимой нервной системы; это движеніе такъ завлекло насъ и такъ полюбилось намъ, что мы занимаемся имъ теперь съ самымъ страстнымъ усердіемъ, совершенно теряя изъ виду исходную точку этого процесса. Мы серьезно думаемъ, что любимъ изящное, любимъ науку, любимъ истину, а на самомъ дѣлѣ, мы любимъ только пѣлость нашего хрупкаго организма, да и не любимъ даже, а просто повинемся слѣпо и невольно закону необходимости, дѣйствующему во всей цѣпи органическихъ созданій, начиная отъ какаго нибудь гриба, и кончая какимъ-нибудь Гейне или Дарвиномъ.

IX.

Если чувство самосохранения, действуя въ нашей породѣ, вызвало на свѣтъ всѣ чудеса цивилизаціи, то, разумѣется, это чувство, возбужденное въ ребенкѣ, будетъ въ малыхъ размѣрахъ дѣйствовать въ немъ въ томъ же направленіи. Чтобы привести въ движеніе мыслительныя способности ребенка, необходимо возбудить и развить въ немъ ту или другую форму чувства самосохранения. Ребенокъ начнетъ работать мозгомъ только тогда, когда въ немъ проснется какое нибудь стремленіе, которому онъ пожелаетъ удовлетворить, а всѣ стремленія, безъ исключенія, вытекаютъ изъ одного общаго источника, именно изъ чувства самосохранения. Воспитателю предстоитъ только выборъ той формы этого чувства, которую онъ пожелаетъ возбудить и развить въ своемъ воспитанникѣ. Образованный воспитатель выберетъ тонкую и положительную форму, то есть, стремленіе къ наслажденію; а воспитатель полудикій поневолѣ возьметъ грубую и отрицательную форму, то есть, отвращеніе къ страданію; второму воспитателю нѣтъ выбора; стало быть, очевидно, надо или сѣчь ребенка, или помириться съ тою мыслию, что въ немъ всѣ стремленія останутся не пробужденными, и что умъ его будетъ дремать до тѣхъ поръ, пока жизнь не начнетъ толкать и швырять его по своему. Ласковое воспитаніе хорошо и полезно только тогда, когда воспитатель умѣетъ разбудить въ ребенкѣ высшія и положительныя формы чувства самосохранения, то есть, любовь къ полезному и къ истинному, стремленіе къ умственнымъ занятіямъ, и страстное влеченіе къ труду и къ знанію. У тѣхъ людей, для которыхъ эти хорошія вещи не существуютъ, ласковое воспитаніе есть не что иное, какъ медленное развращеніе ума, посредствомъ бездѣйствія. Умъ спитъ годъ, два, десять лѣтъ, и наконецъ доспится до того, что даже толчки дѣйствительной жизни перестаютъ возбуждать его. Человѣку не все равно, когда начать развиваться, съ пятилѣтія или съ двадцати лѣтъ. Въ двадцать лѣтъ и обстоятельства встрѣчаются не тѣ, да и самъ человѣкъ уже не тотъ. Не имѣя возможности справиться съ обстоятельствами, двадцатилѣтній ребенокъ поневолѣ подчинится имъ, и жизнь начнетъ кидать это пассивное существо изъ стороны въ сторону, а ужъ тутъ плохо развиваться, потому что, когда на охоту ѣдутъ, тогда собаекъ поздно кормить. И выйдетъ изъ человѣка ротозѣй и трипка, интересный страдалецъ и невинная жертва. Когда ребенокъ не затронутъ никакими стремленіями, когда дѣйствительная жизнь не подходитъ къ нему ни въ видѣ угрожающей розги, ни въ видѣ тѣхъ обаятельныхъ и серьезныхъ во-

просовъ, которые она задаетъ человѣческому уму,—тогда мозгъ не работаетъ, а постоянно играетъ разными представленіями и впечатлѣніями. Эта безцѣльная игра мозга называется фантазією, и, кажется, даже считается въ психологій особенною силою души. На самомъ же дѣлѣ, эта игра есть просто проявленіе мозговой силы, непристроенной къ дѣлу. Когда человѣкъ думаетъ, тогда силы его мозга сосредоточиваются на опредѣленномъ предметѣ, и, слѣдовательно, регулируются единствомъ цѣли; а когда нѣтъ цѣли, тогда готовой мозговой силѣ все-таки надо же куда нибудь дѣваться; ну, и начинается въ мозгу такое движеніе представленій и впечатлѣній, которое относится къ мыслительной дѣятельности такъ, какъ насвистываніе какого нибудь мотива относится къ оперному пѣнію передъ многочисленною и взысательною публикой. Размышленіе есть трудъ, требующій участія воли, трудъ, невозможный безъ опредѣленной цѣли, а фантазія есть совершенно невольное отщипываніе, возможное только при отсутствіи цѣли. Фантазія—сонъ на яву; поэтому и существуютъ на всѣхъ языкахъ для обозначенія этого понятія такія слова, которыя самымъ тѣснымъ образомъ связаны съ понятіемъ о снѣ; по русски—греза, по французски—reverie, по нѣмецки—Träumerei, по англійски—day dream. Очень понятно, что спать днемъ, и притомъ спать на яву можетъ только такой человѣкъ, которому нечего дѣлать, и который не умѣетъ употребить свое время ни на то, чтобы улучшить свое положеніе, ни на то, чтобы оживить свои нервы дѣятельнымъ наслажденіемъ. Чтобы быть фантазеромъ, вовсе не нужно имѣть темпераментъ особеннаго устройства; всякій ребенокъ, у котораго нѣтъ никакихъ заботъ, и у котораго очень много досуга, непременно одѣлается фантазеромъ; фантазія рождается тогда, когда жизнь пуста, и когда нѣтъ никакихъ дѣйствительныхъ интересовъ; эта мысль оправдывается, какъ въ жизни цѣлыхъ народовъ, такъ и въ жизни отдѣльных личностей. Если эстетики будутъ превозносить развитіе фантазіи, какъ свѣтлое и отрадное явленіе, то этимъ они обнаружатъ только свою привязанность къ пустотѣ, и свое отвращеніе къ тому, что дѣйствительно возвышаетъ человѣка; или, еще проще, они докажутъ намъ, что они чрезвычайно лѣнивы, и что умъ ихъ уже не переноситъ серьезной работы. Впрочемъ, это обстоятельство уже ни для кого не составляетъ тайны.

Х.

Наша жизнь, предоставленная своимъ собственнымъ принципамъ, вырабатываетъ карликовъ и вѣчныхъ дѣтей. Первые дѣлаютъ зло активное, вторые—пассивное; первые болѣе мучаютъ другихъ, чѣмъ стра-

дають сами, вторые больше страдают сами, тѣмъ мучаютъ другихъ. Впрочемъ, съ одной стороны, карлики вовсе не наслаждаются безмятежнымъ счастьемъ, а, съ другой стороны, вѣчные дѣти причиняютъ часто другимъ очень значительныя страданія; только дѣлаютъ они это не нарочно, по трогательной невинности, или, что то же, по непродолимой глупости. Карлики страдаютъ узкостью и мелкостью ума, а вѣчные дѣти—умственной спячкою, и, вслѣдствіе этого, совершеннымъ отсутствіемъ здраваго смысла. По милости карликовъ наша жизнь изобилуетъ грязными и глупыми комедіями, которыя разыгрываются каждый день, въ каждомъ семействѣ, при всѣхъ сдѣлкахъ и отношеніяхъ между людьми; по милости вѣчныхъ дѣтей, эти грязныя комедіи иногда заканчиваются глупыми трагическими развязками. Карлики ругаются и дерется, но соблюдаетъ при этихъ дѣйствіяхъ благоразумную расчетливость, чтобы не надѣлать себѣ скандала, и чтобы не вынести сора изъ избы. Вѣчный ребенокъ все терпитъ, и все печалится, а потомъ, какъ прорветъ его, онъ и хватить заразы, да ужъ такъ хватить, что или самого себя, или своего собесѣдника уложить на мѣстѣ. Послѣ этого завѣтный соръ, разумѣется, не можетъ оставаться въ избѣ; и препровождается въ уголовную палату. Простая драка превратилась въ драку съ убійствомъ, и трагедія выпала такая же глупая, какая была предшествовавшая ей комедія.

Но эстетика понимаютъ дѣло иначе; въ ихъ головы засѣла очень глубоко старая шитика, предписывающая писать трагедіи высокимъ слогаемъ, а комедіи среднимъ, и, смотря по обстоятельствамъ, даже низкимъ; эстетика помнятъ, что герой умираетъ въ трагедіи насильственной смертію; они знаютъ, что трагедія непременно должна производить впечатлѣніе возвышенное, что она можетъ возбуждать ужасъ, но не презрѣніе, и что несчастный герой долженъ приковывать къ себѣ вниманіе и сочувствіе зрителей. Вотъ эти-то предписанія шитики они и прикладываютъ къ обсужденію тѣхъ словесныхъ и рукописныхъ схематъ, которыя составляютъ мотивы и сюжеты нашихъ драматическихъ произведеній. Эстетики отверчиваются и отплевываются отъ преданій старой шитики; они не упускаютъ ни одного случая посмѣяться надъ Аристотелемъ и Буало, и заявить свое собственное превосходство надъ ложно-классическими теоріями, а между тѣмъ, именно эти одряхлѣвшія преданія составляютъ до сихъ поръ все содержаніе эстетическихъ приговоровъ. Эстетикамъ и въ голову не переходитъ, что трагическое происшествіе почти всегда бываетъ такъ же глупо, какъ и комическое; и что глупость можетъ составлять единственную пружину разнообразныхъ драматическихъ коллизій. Какъ только дѣло переходитъ отъ простой бесѣды къ уголовному преступленію, такъ эстетика тотчасъ припадаетъ въ смущеніе, и спрашиваютъ себя, кому же они будутъ сочув-

ствовать, и какое выраженіе изобразить они на своихъ фizioноміяхъ— ужасъ, или негодованіе, или глубокую задумчивость, или торжественную грусть? Но вообще надо имъ найти, во-первыхъ, предметъ для сочувствія, а во-вторыхъ, возвышенное выраженіе для собственной фizioноміи. Иначе нельзя и говорить о трагическомъ происшествіи.

Однако, что же въ самомъ дѣлѣ, думаетъ читатель, вѣдь не смѣяться же, когда люди лишаютъ себя живота, или перегрызаютъ другъ другу горло? О, мой читатель, кто васъ заставляетъ смѣяться? Я такъ же мало понимаю смѣхъ при видѣ нашихъ комическихъ глупостей, какъ и возвышенные чувства при нашихъ трагическихъ пошлостяхъ; совсѣмъ не мое дѣло, и вообще не дѣло критика, предписывать читателю, что онъ долженъ чувствовать; не мое дѣло говорить вамъ: извольте, сударь, улыбнуться,—потрудитесь, сударыня, вздохнуть и возвести очи къ небу. Я беру все, что пишется нашими хорошими писателями, — романы, драмы, комедіи, что угодно, — я беру все это, какъ сырые матеріалы, какъ образчики нашихъ нравовъ; я стараюсь анализировать всѣ эти разнообразныя явленія, я замѣчаю въ нихъ общія черты, я отыскиваю связь между причинами и слѣдствіями, я прихожу такимъ путемъ къ тому заключенію, что всѣ наши тревоженія и драматическія коллизіи обуславливаются исключительно слабостью нашей мысли и отсутствіемъ самыхъ необходимыхъ знаній, то есть, говоря короче, глупостью и невежествомъ. Жестокость семейнаго деспота, фанатизмъ старой ханжи, несчастная любовь дѣвушки къ негодяю, кротость терпѣливой жертвы семейнаго самовластия, порывы отчаянія, ревность, корыстолюбіе, кошенничество, буйный разгулъ, воспитательная розга, воспитательная ласка, тихая мечтательность, восторженная чувствительность — вся эта пестрая смѣсь чувствъ, качествъ и поступковъ, возбуждающихъ въ груди пламеннаго эстетика цѣлую бурю высокихъ ощущеній, вся эта смѣсь сводится, по моему мнѣнію, къ одному общему источнику, который, сколько мнѣ кажется, не можетъ возбуждать въ насъ ровно никакихъ ощущеній, ни высокихъ, ни низкихъ. Все это различныя проявленія неисчерпаемой глупости.

Добрые люди будутъ горячо спорить между собою о томъ, что въ этой смѣси хорошо, и что дурно; вотъ это, скажутъ, добродѣтель, а вотъ это порокъ; но бесплоденъ будетъ весь споръ добрыхъ людей; нѣтъ тутъ ни добродѣтелей, ни пороковъ, нѣтъ ни зѣврей, ни ангеловъ. Есть только хаосъ и темнота; есть не пониманіе и неумѣнье понимать. Надъ чѣмъ же тутъ смѣяться, противъ чего тутъ негодовать, чему тутъ сочувствовать? Что тутъ долженъ дѣлать критикъ? Онъ долженъ говорить обществу и сегодня, и завтра, и послѣ завтра, и десять лѣтъ подрядъ, и сколько хватитъ его силъ и его жизни, говорить, не боясь повтореній, говорить такъ, чтобы его понимали, говорить постоянно, что народъ нуждается

только въ одной вещи, въ которой заключаются уже всѣ остальные блага человѣческой жизни. Нуждается онъ въ движеніи мысли, а это движеніе возбуждается и поддерживается приобрѣтеніемъ знаній. Пусть общество не сбивается съ этой прямой и единственной дороги къ прогрессу, пусть не думаетъ, что ему надо приобрѣсти какія нибудь добродѣтели, привить къ себѣ какія нибудь похвальные чувства, запасть тонкостью вкуса, или вытвердить кодексъ либеральныхъ убѣждений. Все это мыльные пузыри, все это дешевая поддѣлка настоящаго прогресса, все это болотные огоньки, заволакивающие насъ въ трясины возвышеннаго краснорѣчія, все это бесѣды о честности винуна и о необходимости почвы, и ото всего этого мы не дождемся ни одного луча настоящаго свѣта. Только живая и самостоятельная дѣятельность мысли, только прочныя и положительныя знанія обновляютъ жизнь, разгоняютъ темноту, уничтожаютъ глупые пороки и глупыя добродѣтели, и, такимъ образомъ, выметаютъ соръ изъ избы, не переноса его въ уголовную палату. Но не думайте, пожалуйста, что народъ найдетъ свое спасеніе въ тѣхъ знаніяхъ, которыми обладаетъ наше общество, и которыя разсыпаютъ щедрою рукою книжки, продающіяся теперь для блага младшихъ братьевъ по пятаку и по гривнѣ. Если, вмѣсто этого просвѣщенія, мужикъ купитъ себѣ калачъ, то онъ докажетъ этимъ поступкомъ, что онъ гораздо умнѣе составителя книжки, и самъ могъ бы многому научить послѣдняго.

Дерзость наша равняется только нашей глупости, и только глупостью нашею можетъ быть объяснена и оправдана. Мы—просвѣтителі народа?!... Что это—невинная шутка, или ядовитая насмѣшка?—Да сами-то мы что такое? Неправда ли, какъ мы много знаемъ, какъ мы основательно мыслимъ, какъ превосходно мы наслаждаемся жизнью, какъ умно мы установили наши отношенія къ женщинѣ, какъ глубоко мы поняли необходимость работать на пользу общую? Да можно ли перечислить всѣ наши достоинства? Вѣдь мы такъ безподобны, что, когда намъ покажутъ издали, въ романѣ, поступки и размышленія умнаго и развитаго человѣка, тогда мы сейчасъ въ ужасъ придемъ, и глаза зажмуримъ, потому что примемъ неискаженный человѣческій образъ за чудовищное явленіе. Вѣдь мы такъ человѣколюбивы, что, великодушно забывая свою собственную неумытость, лѣземъ непременно умывать нашими грязными руками младшихъ братьевъ, о которыхъ болитъ наша нѣжная душа, и вторые, само собою разумѣется, выпачканы также до помраченія человѣческаго образа. И усердно мажемъ мы грязными руками по грязнымъ лицамъ, и велики наши труды, и пламенна наша любовь, во-первыхъ, къ чумазымъ братьямъ, а во-вторыхъ, къ ихъ няткамъ и гривнамъ, и человѣколюбивые подвиги темныхъ просвѣтителей могутъ съ величайшимъ удобствомъ продолжаться вплоть до втораго пришествія, не нанося ни малѣйшаго уцѣрба тому надежному слою грязи, который съ полнымъ

безпристрастїемъ украшаетъ какъ хлопотливцы руки учителей, такъ и неподвижныя лица учениковъ. Глядя на чудеса нашего народолубїа, поневолѣ прибѣгнешь къ языку боговъ, и произнесешь стихъ г. Подонскаго:

Тебѣ ли съ рыломъ
Суконнымъ да въ гостинный рядъ

Лучшіе наши писатели очень хорошо чувствуютъ, что рыло у насъ дѣйствительно суконное, и что въ гостинный рядъ намъ покуда ходить не за чѣмъ. Они понимаютъ, что имъ самимъ слѣдуетъ учиться и развиваться, и что вмѣстѣ съ ними должно учиться то русское общество, которое для красоты слога называетъ себя образованнымъ. Они видятъ очень ясно двѣ вещи: первое—то, что наше общество, при теперешнемъ уровнѣ своего образованїа, совершенно безсильно, и, слѣдовательно, неспособно произвести въ понятїяхъ и нравахъ народа ни малѣйшаго измѣненїа, ни въ дурную, ни въ хорошую сторону; а второе то, что, если бы даже, по какому нибудь необъяснимому стеченїю случайностей, теперешнему обществу удалось переработать народъ по своему образу и подобию, то это было бы для народа истиннымъ несчастьемъ.

Чувствуя, понимая и видя все это, лучшіе наши писатели, люди дѣйствительно мыслящіе, обращаются до сихъ поръ исключительно къ обществу, а книжки для народа пишутся тѣми литературными промышленниками, которые въ другое время стали бы издавать сонники и новыя собранїа пѣсенъ московскихъ цыганъ. Даже такое чистое и святое дѣло, какъ воскресныя школы, оказывается еще сомнительнымъ. Тургеневъ совершенно справедливо замѣчаетъ въ своемъ послѣднемъ романѣ, что мужикъ говорилъ съ Базаровымъ, какъ съ несмыслящимъ ребенкомъ, и смотрѣлъ на него, какъ на шута горохового. Пока на сто квадратныхъ миль будетъ приходиться по одному Базарову, да и то врядъ ли, до тѣхъ поръ всѣ, и сермяжники, и джентльмены, будутъ считать Базаровыхъ вздорными мальчишками и смѣшными чудаками. Пока одинъ Базаровъ окруженъ тысячами людей, неспособныхъ его понимать, до тѣхъ поръ Базарову слѣдуетъ сидѣть за микроскопомъ, и рѣзать лягушекъ, и печатать книги и статьи съ анатомическими рисунками. Микроскопъ и лягушка—вещи невинныя и занимательныя, а молодежь—народъ любопытный; ужъ если Павелъ Петровичъ Кирсановъ не утерпѣлъ, чтобы не взглянуть на инфузорїю, глотавшую зеленую пылинку, то молодежь и подавно не утерпитъ, и не только взглянетъ, а постарается завести себѣ свой микроскопъ, и, неважѣтно для самой себя, ироничнется глубочайшимъ уваженїемъ и пламенною любовью къ распластанной лягушкѣ. А только это и нужно. Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ-то и заключается спасенїе и обновленїе русскаго народа. Ей богу, читатель, а не

шучу, и не потыпаю васъ парадоксами. Я выражаю, только безъ торжественности, такую истину, въ которой я глубоко убѣжденъ, и въ которой гораздо раньше меня убѣдились самыя свѣтлыя головы въ Европѣ, и слѣдовательно, во всемъ подлунномъ мірѣ. Вся сила здѣсь въ томъ, что по поводу разрѣзанной лыгушки чрезвычайно мудроно приходитъ въ восторгъ, и говорить такія фразы, въ которыхъ самъ понимаешь одну десятую часть, а иногда и еще того меньше. Пока мы, вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ, спали невиннымъ сномъ груднаго ребенка, до тѣхъ норъ фразерство не было для насъ опасно; теперь, когда наша слабая мысль начинаетъ по немногу шевелиться, фразы могутъ на долло задержать и изуродовать наше развитіе. Стало быть, если наша молодежь съумѣетъ вооружиться непримиримомъ ненавистью противъ всякой фразы, кѣмъ бы она ни была произнесена, Шатобрианомъ или Пруденомъ, если она выучится отыскивать вездѣ живое явленіе, а не ложное отраженіе этого явленія въ чужомъ сознаніи—то мы будемъ имѣть полное основаніе рассчитывать на довольно нормальное и быстрое улучшеніе нашихъ мозговъ. Конечно, эти расчеты могутъ быть совершенно перепутаны историческими обстоятельствами, но объ этомъ я не говорю, потому что тутъ голосъ критики совершенно безсиленъ. Но придетъ время, и оно уже вовсе не далеко,—когда вся умная часть молодежи, безъ различія сословія и состоянія, будетъ жить полною умственною жизнью, и смотрѣть на вещи разсудительно и серьезно. Тогда молодой землевладѣлецъ поставитъ свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталистъ заведетъ тѣ фабрики, которыя намъ необходимы, и устроитъ ихъ такъ, какъ того требуютъ общіе интересы хозяина и работниковъ; и этого довольно; хорошая ферма, и хорошая фабрика, при рациональной организаціи труда, составляютъ лучшую и единственную возможную школу для народа, во-первыхъ потому, что эта школа кормитъ своихъ учениковъ и учителей, а во вторыхъ, потому, что она сообщаетъ знанія не по книгѣ, а по явленіямъ живой дѣйствительности. Книга придетъ въ свое время, устроить школы при фабрикахъ и при фермахъ будетъ такъ легко, что это уже сдѣлается само собою.

Вопросъ о народномъ трудѣ заключаетъ въ себѣ всѣ остальные вопросы, и самъ не заключается ни въ одномъ изъ нихъ; поэтому надо постоянно имѣть въ виду именно этотъ вопросъ, и не развлекаться тѣми второстепенными подробностями, которыя всѣ будутъ устроены, какъ только подвинется впередъ главное дѣло. Не даромъ Вѣра Павловна заводитъ мастерскую, а не школу, и не даромъ тотъ романъ, въ которомъ описывается это событіе, носитъ заглавіе: «Что дѣлать?» Тутъ дѣйствительно, дается нашимъ прогрессистамъ самая вѣрная и вполне осуществимая программа дѣятельности. Много ли, мало ли времени придется намъ идти къ нашей цѣли, заключающейся въ томъ, чтобы обо-

гатить и просвѣтить нашъ народъ—объ этомъ бесполезно спрашивать. Это—вѣрная дорога, и другой вѣрной дороги нѣтъ. Русская жизнь, въ самыхъ глубокихъ своихъ нѣдрахъ, не заключаетъ рѣшительно никакихъ задатковъ самостоятельнаго обновленія; въ ней лежатъ только сырые матеріалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны вліяніемъ общечеловѣческихъ идей; русскій человѣкъ принадлежитъ къ высшей, кавказкой расѣ; стало быть, всѣ милліоны русскихъ дѣтей, неискалеченныхъ элементами нашей народной жизни, могутъ сдѣлаться и мыслящими людьми, и здоровыми членами цивилизованнаго общества. Разумѣется, такой колоссальный умственный переворотъ требуетъ времени. Онъ начался въ кругу самыхъ дѣльныхъ студентовъ, и самыхъ просвѣщенныхъ журналистовъ. Сначала были свѣтлыя личности, стоявшія совершенно одиноко; было время, когда Бѣлинскій воплощалъ въ себѣ всю сумму свѣтоносныхъ идей, находившихся въ нашемъ отечествѣ; теперь, испытавши по дорогѣ много видоизмѣненій, одинокая личность русскаго прогрессиста разрослась въ цѣлый типъ который нашелъ уже себѣ свое выраженіе въ литературѣ, и который называется или Базаровымъ или Лопуховымъ. Дальнѣйшее развитіе умственного переворота должно идти такъ же, какъ шло его начало; оно можетъ идти скорѣе или медленнѣе, смотря по обстоятельствамъ, но оно должно идти все одною и тою же дорогою.

XI.

Не ждите и не требуйте отъ меня, читатель, чтобы я теперь сталъ продолжать начатый анализъ характера Катерины. Я такъ откровенно и такъ подробно высказалъ вамъ свое мнѣніе о цѣломъ порядкѣ явленій «темнаго царства» или говоря проще, семейнаго курятника, — что мнѣ теперь осталось бы только прикладывать общія мысли къ отдѣльнымъ лицамъ и положеніямъ; мнѣ пришлось бы повторять то, что я уже высказалъ, а это была бы работа очень не головоломная, и, вслѣдствіе этого, очень скучная и совершенно бесполезная. Если читатель находитъ идеи этой статьи справедливыми, то онъ, вѣроятно, согласится съ тѣмъ, что всѣ новые характеры, выводимые въ нашихъ романахъ и драмахъ, могутъ относиться или къ базаровскому типу, или къ разряду карликовъ и вѣчныхъ дѣтей. Отъ карликовъ и отъ вѣчныхъ дѣтей ждать нечего; новаго они ничего не произведутъ; если вамъ покажется, что въ ихъ мірѣ появился новый характеръ, то вы смѣло можете утверждать, что это оптический обманъ. То, что вы въ первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старымъ; это просто — новая помѣсь карлика съ

вѣчными ребенкомъ, а какъ ни смѣшивайте эти два элемента, какъ ни разбавляйте одинъ видъ тупоумія другимъ видомъ тупоумія, въ результатѣ вы все-таки получите новый видъ стараго тупоумія.

Эта мысль совершенно подтверждается двумя послѣдними драмами г. Островскаго: «Гроза» и «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ». Въ первой, русская Офелія, Катерина, совершивъ множество глупостей, бросается въ воду, и дѣлаетъ, такимъ образомъ, послѣднюю и величайшую нехѣдность. Во второй, русскій Отелло, Красновъ, во все время драмы ведетъ себя довольно сносно, а потомъ сдурю зарѣзываетъ свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Можетъ быть, русская Офелія ничѣмъ не хуже настоящей, и можетъ быть, Красновъ ни въ чемъ не уступитъ венеціанскому мавру, но это ничего не доказываетъ: глупости могли такъ же удобно совершаться въ Даніи и въ Италіи, какъ и въ Россіи; а что въ средніе вѣка онѣ совершались гораздо чаще и были гораздо крупнѣе, чѣмъ въ наше время, это уже не подлежитъ никакому сомнѣнію; но средневѣковыми людямъ, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большія человѣческія глупости за великія явленія природы, а намъ, людямъ XIX столѣтія, пора уже называть вещи ихъ настоящими именами. Есть, правда, и у насъ средневѣковые люди, которые увидать въ подобномъ требованіи оскорбленіе искусства и человѣческой природы, но вѣдь на всѣ вкусы мудрено угодить; такъ пускай ужъ эти люди гнѣваются на меня, если это необходимо для ихъ здоровья.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о двухъ другихъ произведеніяхъ г. Островскаго, о драматической хроникѣ: «Козьма Мининъ» и о сценахъ: «Тяжелые дни.» По правдѣ сказать, я хорошенько не вижу, чѣмъ «Козьма Мининъ» отличается отъ драмы Кукольника: «Рука всевышняго отечество спасла.» И Кукольникъ, и г. Островскій рисуютъ историческія событія, такъ, какъ наши доморощенные живописцы и граверы рисуютъ доблестныхъ генераловъ; на первомъ планѣ огромный генералъ сидитъ на лошади и машетъ какимъ нибудь дрекольемъ; потомъ — клубы пыли, или дыма — что именно не разберешь; потомъ за клубами крошечные солдатики, поставленные на картину только для того, чтобы показать наглядно, какъ великъ полковой командиръ, и какъ малы въ сравненіи съ нимъ нижніе чины. Такъ у г. Островскаго на первомъ планѣ колоссальный Мининъ, за нимъ его страданія на яву и видѣнія во снѣ, а совсѣмъ назади два-три карапузика изображаютъ русскій народъ, спасающій отечество. По настоящему, слѣдовало бы всю картину перевернуть, потому что въ нашей исторіи Мининъ, а во французской — Іоанна д'Аркъ понятны, только какъ продукты сильнѣйшаго народнаго воодушевленія. Но наши художники разсуждаютъ по своему, и урезонить ихъ мудрено. — Что касается до «Тяжелыхъ дней,» то это

ужь и богъ знаетъ что за произведеніе. Остается пожелать, что г. Островскій не украсилъ его куплетами и переодѣваніями; вышелъ бы премиленькій водевиль, который съ большимъ успѣхомъ можно было бы давать на сценѣ для съѣзда и для разѣзда театральной публики. Сюжетъ заключается въ томъ, что добродѣтельный и остроумный чиновникъ съ безкорыстіемъ, достойнымъ самаго идеальнаго становаго, устраиваетъ счастье кунеческаго сына Андрея Брускова и купеческой дочери Александры Кругловой. Дѣйствующія лица пьютъ шампанское, занавѣсъ опускается, и статья моя оканчивается.

1864 г. Мартъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

I. Стоячая вода	3
II. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ	37
III. Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Турге- нева и Гончарова	79
IV. Базаровъ	126
V. Цвѣтъ невиннаго юмора.	173
VI. Мотивы русской драмы	210

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Издание Ф. Павленкова.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р.

ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ А. ГОЛОВАЧОВА.

(Вознесенскій пр., д. №№ 23 и 81.)

1866.

СТАТЬИ КРИТИЧЕСКІЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕССЪ

по 2-й части

„СОЧИНЕНІЙ Д. И. ПИСАРЁВА“.

15-го Іюня 1866 г. въ уголовномъ департаментѣ С.-Петербургской Судебной Палаты, разсматривалось, подъ предсѣдательствомъ сенатора Я. Я. Чемадурова, при членахъ Н. Н. Медвѣдевѣ и А. Н. Маркевичѣ, прокурорѣ Н. О. Тизенгаузенѣ и секретарѣ Орестовѣ дѣло по обвиненію отставнаго поручика Павленкова, въ нарушеніи постановленій о печати при изданіи имъ второй части «Сочиненій Д. И. Писарева».

По введеніи подсудимаго въ залу суда, былъ прочитанъ составленный противъ него обвинительный актъ. Вотъ его содержаніе:

Въ С.-Петербургскій цензурный комитетъ представлена была 2-го іюня 1866 г., отпечатанная въ типографіи А. Головачева, безъ цензуры, въ числѣ 3,000 экземпляровъ, часть вторая сочиненій Д. И. Писарева, изданія Ф. Павленкова.

По разсмотрѣніи этой книги, признавъ, что она, по содержанію двухъ, заключающихся въ ней, статей, не можетъ быть допущена къ обращенію въ публикѣ, и вслѣдствіе сего сдѣлавъ распоряженіе, чрезъ С.-Петербургскаго Оберъ-Полиціймейстера, о заарестованіи оной, на основаніи ст. 14 отд. III. Высочайше утвержденнаго 6 апрѣля 1865 года мѣтнаго Государственнаго Совѣта, С.-Петербургскій цензурный Комитетъ 7 іюля 1866 года отнесся къ Прокурору С.-Петербургскаго Окружнаго Суда о начатіи судебного преслѣдованія противъ издателя означенной книги Флорентія Федорова Павленкова, изложивъ въ сообщеніи своемъ слѣдующее:

Разсмотрѣвъ вторую часть означеннаго изданія, комитетъ нашелъ, что въ первыхъ двухъ статьяхъ этой книги: «Русскій Донъ Кихотъ» и «Въдняя русская мысль» заключаются мысли вредныя по ихъ направленію и цѣли, и противныя существующимъ узаконеніямъ по дѣламъ печати, именно:

а) Въ статьѣ «Русскій Донъ Кихотъ» и въ особеннсти на страницахъ 3, 4, 7—10, 16, 19 и 20, авторъ, говоря о литературной дѣятельности Кирѣвскаго, осмѣиваетъ православно-христіанскія вѣрованія этого писателя, составлявшія, какъ извѣстно, основаніе всѣхъ его философскихъ разсужденій и проводитъ мысль, что вѣрованія эти были плодомъ предразсудковъ и наивно-ребяческихъ понятій, навѣянныхъ маменьками и нянюшками, называетъ ихъ московскою сантиментальностью, непогрѣшимыми убѣжденіями убогихъ старушекъ Вѣлокаменной, мистическими инстинктами, зародышемъ того разложенія, которое погубило и извратило умственные силы Кирѣвскаго; авторъ глумится, какъ надъ невѣжествомъ и московскою мудростью — надъ мыслями Кирѣвскаго о недостаточности чистаго разума, о необхо-

димости искать других источников познания и очистить дорогу къ храму живой мудрости; надъ его убѣжденіемъ, что философія, исторія и политика нуждаются, для своего оживленія, въ религіозныхъ основахъ. Выписавъ изъ сочиненій Кирѣвскаго то мѣсто, гдѣ онъ говоритъ, что просвѣщеніе въ Россіи должно основываться на истинахъ святой православной вѣры и что образованный классъ нашъ долженъ обратиться къ чистымъ источникамъ этой вѣры и къ разуму Св. Отцовъ церкви авторъ сопровождаетъ эту выписку словами: «мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ: они сами говорятъ за себя».

б) Въ статьѣ «Блудная русская мысль» авторъ, (въ особенности на стр. 29, отъ словъ «наши современныя литературныя партіи»), перетолковываетъ и извращаетъ по-своему ту мысль, что личная воля народныхъ властителей и другихъ политическихъ дѣателей всегда оказывается, въ своихъ результатахъ, слабѣ естественнаго хода народной жизни и окончательно побѣждается сею послѣднею. Еслибъ развитіе этой мысли имѣло у автора характеръ серьезнаго философско-историческаго разсужденія, то оно, по мнѣнію цензурнаго комитета, не заключало бы въ себѣ ничего вреднаго; но авторъ, какъ заключаетъ комитетъ, дѣлаетъ эту мысль только предлогомъ и прикрытіемъ для пропаганды крайнихъ политическихъ мнѣній, враждебныхъ не только существующей у насъ формѣ правленія, но и вообще спокойному и нормальному состоянію общества. По изложенію автора, политическіе властители представляются только какъ сила реакціонная, угнетательная и стѣсняющая естественное развитіе народной жизни, или, по-крайней-мѣрѣ, какъ начало, бессмысленно-мудрищее надъ народною жизнью, вертящее ее по своему и навязывающее народу свою непрошенную опеку; народъ же, или общество выставляются какъ элементъ гонимый, протестующій, борющійся съ гонителями и, наконецъ, поборающій ихъ личную волю (29—34). По мнѣнію автора, въ націи развитой и цивилизованной, личная дѣятельность правителей не имѣетъ почти никакого значенія, а всѣ успѣхи гражданской жизни совершаются или естественнымъ ея теченіемъ — силною поколѣній, или же крупными переворотами. Авторъ самыми черными красками, хотя и иносказательно, рисуетъ характеръ неограниченнаго правленія и многозначительнымъ тономъ напоминаетъ читателю примѣры Карла I и Іакова II-го англійскихъ и Карла X-го и Людовика-Филиппа французскихъ; не видитъ въ Россіи ни прежде ни послѣ Петра Великаго никакого историческаго движенія жизни (исключая реформы 19-го февраля 1861 г.); о личности же и дѣяніяхъ Петра Великаго относится въ самомъ презрительномъ тонѣ; издѣвается надъ патріотизмомъ и консервативными чувствами прежнихъ нашихъ писателей, восхваляетъ насильству, презрѣніе и жолчь, которыми проникнута нынѣшняя литература наша, и только въ этихъ ея качествахъ видитъ надежду будущаго. Умаливъ, на сколько могъ, значеніе властителей въ жизни государствъ, даже такихъ властителей, какъ Петръ Великій, авторъ прибавляетъ: «Жизнь тѣхъ 70 милліоновъ, которые называются общимъ именемъ русскаго народа, вовсе не измѣнилась бы въ своихъ отправленіяхъ, если бы напримѣръ, Шакловитому удалось убить молодого Петра» (39). Въ этой же статьѣ есть выраженіе, оправдывающее свободныя отношенія двухъ половъ (32).

Независимо отъ вреднаго содержанія означенныхъ двухъ статей, комитетъ въ настоящемъ случаѣ призналъ также въ основаніе своихъ сужденій слѣдующія обстоятельства: 1) что упоминаемыя двѣ статьи и окончаніе второй изъ нихъ, не вошедшее нынѣ во 2-ю часть сочиненій Цисарева *), были напечатаны въ первый разъ въ февральской, апрѣльской и майской книжкахъ журнала «Русское Слово» за 1862 годъ, т. е. именно въ тѣхъ нумерахъ, за которыми непосредственно послѣдовало

*) Теперь эта половина вошла во 2-ю часть.

приостановление издания этого журнала на восемь месяцев и что эти две статьи были в означенных книжках наиболее вредными по направлению; 2) что изданными в последствии законами, именно Высочайше-утвержденным 6-го апреля 1866 года мнением Государственного Совета точно прежнего определены преступления и проступки по делам печати, а равно и степень ответственности за оные авторов и издателей; 3) что Высочайшим повелением, объявленным 28-го мая 1866 года министру внутренних дел г-мъ председателем комитета министров, прекращено вовсе издание журнала «Русское Слово», в котором г. Писаревъ был главным и самым плодотворнымъ сотрудникомъ, за доказанное издавна вредное направление. В виду этихъ обстоятельствъ комитетъ полагалъ, что дозволить вторичный выпускъ въ свѣтъ упомянутыхъ двухъ статей—значило бы допустить, въ явное нарушение Высочайшей воли, распространять въ публикѣ наиболее вредныя и возбудительныя статьи изъ запрещеннаго журнала.

По всемъ означеннымъ соображениямъ комитетъ пришелъ къ заключенію: 1) что статья «*Русскій Донъ-Кихотъ*», подъ формою литературной критики, заключая въ себѣ осмѣяніе нравственно-религіозныхъ вѣрованій и отрицаніе необходимости религіозныхъ основъ въ просвѣщеніи и нравственности, составляетъ законо-нарушеніе, предусмотрѣнное въ ст. 1001 улож. о наказ., издан. 1866 года и 2) что статья «*Бѣдная русская мысль*», заключая въ себѣ иносказательное порицаніе существующей у насъ формы правленія, дѣлая вообще враждебное сопоставленіе монархической власти съ народомъ, и стараясь представить первую началомъ бесполезнымъ и даже вреднымъ въ народной жизни, составляетъ, какъ по прямому своему смыслу, такъ и по вытекающимъ изъ нея категорическимъ заключеніямъ, законо-нарушеніе, предвидѣнное въ ст. 1035 того же уложенія.

На основаніи вышеизложенныхъ обстоятельствъ, 545 ст. уст. угол. судопр. и 3 ст. Высочайше утвержденного 12 Декабря 1866 года мнѣнія Государственного Совета, отставной поручикъ Флорентій Федоровъ Павленковъ, по упомянутымъ обвиненіямъ, предается суду С.-Петербургской Судебной Палаты.

Обвинительный актъ былъ составленъ Прокуроромъ С.-Петербургской Судебной Палаты Тизенгаузенемъ.

Послѣ обычныхъ вопросовъ, предложенныхъ председателемъ Павленкову, который себя виновнымъ въ приписываемомъ ему преступленіи не признавъ, председатель предложилъ прокурору изложить обвинительную рѣчь.

Прокуроръ Тизенгаузенъ.—Издатель сочиненій Писарева, подсудимый Флорентій Павленковъ, подвергнутъ, по требованію с.-петербургскаго цензурнаго комитета, судебному преслѣдованію по поводу двухъ, помѣщенныхъ имъ въ своемъ изданіи, статей: 1) «*Русскій Донъ-Кихотъ*», и 2) «*Бѣдная русская мысль*».

Не повторяя подробностей обвиненія, которое изложено въ обвинительномъ актѣ, мы считаемъ лишь нужнымъ, во-первыхъ, указать на главныя черты содержанія этихъ статей, — черты, которыми опредѣляется общій ихъ характеръ, признанный со стороны цензурнаго комитета заслуживающимъ осужденія, и, во-вторыхъ, изложить нѣкоторыя соображенія относительно одного довода, который приводимъ былъ подсудимымъ при предварительномъ слѣдствіи и который, безъ сомнѣнія, будетъ представляемъ имъ и здѣсь на судѣ въ свое оправданіе, а именно — того довода, что статьи Писарева: «*Русскій Донъ-Кихотъ*» и «*Бѣдная русская мысль*», какъ дозволенныя предварительною цензурою, при печатаніи ихъ въ 1862 году въ журналѣ «*Русское Слово*», не могутъ уже быть преслѣдуемы судебнымъ порядкомъ въ настоящее время.

Итакъ, сперва скажемъ объ общемъ характерѣ этихъ статей.

Статьи «*Русскій Донъ-Кихотъ*» составляютъ разсужденія объ изданныхъ въ

Москвѣ, въ 1861 г., сочиненіяхъ Кирѣвскаго, — разсужденія, имѣющія цѣлю — говоря словами автора статьи — «объяснить личность Кирѣвскаго, какъ любопытный психологическій фактъ».

Казалось бы, что заключенная въ такіе предѣлы статья Писарева о сочиненіяхъ Кирѣвскаго и не могла вмѣщать въ себѣ ничего противозаконнаго. Авторъ находитъ, что «Кирѣвскаго слѣдуетъ причислить», какъ онъ говоритъ, «къ самымъ мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ»; что «изъ его сочиненій можно выписать десятки такихъ страницъ, отъ которыхъ» — выражаясь словами критика — «покоробить самаго невзыскательнаго читателя»; что «Кирѣвскій былъ плохой мыслитель», «боялся мысли», «хотѣлъ остановить разумъ на пути его развитія»; что «его умъ никогда не дошелъ до самоосвобожденія»; что «Кирѣвскій — русскій Донъ-Кихоть».

Какъ ни строгъ такой приговоръ критика надъ писателемъ, но за эту строгость онъ не можетъ отвѣтствовать предъ судомъ закона. И въ самомъ дѣлѣ, почему отказывать критику въ правѣ имѣть именно такое, а не иное мнѣніе о достоинствахъ того или другаго писателя? Почему же и Писареву не думать такъ о сочиненіяхъ покойнаго Кирѣвскаго? А если онъ именно такъ, а не иначе думаетъ о дѣятельности этого писателя, то почему же не выразить этихъ мнѣній въ печати? Въ этомъ правѣ ему невозможно отказать, точно также какъ нельзя отрицать и права всякаго другаго критика произнести подобное же сужденіе о сочиненіяхъ самого Писарева.

Но этотъ критикъ, въ своихъ сужденіяхъ о направленіи литературной дѣятельности покойнаго Кирѣвскаго, пошелъ нѣсколько далѣе законныхъ предѣловъ свободы слова, когда сталъ объяснять, какую именно сторону этой дѣятельности находить онъ достойною произнесеннаго имъ строгаго приговора.

Этого приговора заслуживаетъ, по его мнѣнію, «православно-славянское» направленіе Кирѣвскаго, какъ говорится на 16 стр. разбираемой статьи, съ особеннымъ указаніемъ на слово *православное*, напечатанное курсивомъ: тѣ христіанскія вѣрованія и религіозныя убѣжденія покойнаго Кирѣвскаго, которыя выразились въ этомъ «православно-славянскомъ», какъ говоритъ критикъ, направленіи его литературной дѣятельности, въ насмѣшку называются, въ статьѣ Писарева «допотопными идеями» (стр. 3), «московскими убѣжденіями, казавшимися Кирѣвскому непогрѣшимыми, которыя раздѣляли съ нимъ всѣ убогія старушки Бѣлокаменной» (стр. 4), и которыя были «втолкованы ему съ дѣтства мамсенькой да нянюшкой» (стр. 7). Приводя въ своей статьѣ цитаты изъ нѣкоторыхъ сочиненій Кирѣвскаго, критикъ, между прочимъ, слѣдующее разсужденіе этого писателя называетъ «замысловатымъ міросозерцаніемъ»,

«Корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ, и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его святой православной церкви. Потому, на этомъ только основаніи и ни на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣщенія Россіи... Построеніе же этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который неисключительно занятъ добываніемъ матеріальныхъ средствъ жизни и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе — выработывать мысленно общественное самосознаніе, — когда этотъ классъ, до сихъ поръ проникнутый западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго просвѣщенія, когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ, когда съ разумною жаждой полной правды онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней православной вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой святой вѣры отечества въ прежней родимой жизни Россіи» (стр. 19).

А въ другомъ мѣстѣ (стр. 3), говоря о понятіяхъ Кирѣвскаго, съ которыми онъ сыкъ съ дѣтства, и называя ихъ «допотопными идеями» авторъ статьи приводитъ

въ примѣръ слѣдующую, относимую имъ къ такимъ «допотопнымъ идеямъ», мысль покойнаго Кирѣвскаго, выраженную въ письмѣ его къ Кошелеву:

«Мы, пишетъ онъ къ г. Кошелеву, мечтая о жизни, возвратимъ права истинной религіи, изнищенное согласимъ съ нравственностью, возбудивъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога».

Изъ этихъ указаній видно, что сущность разбираемой статьи Писарева, общій ея характеръ, представляются не въ критическомъ разборѣ сочиненій Кирѣвскаго, но въ насмѣшливомъ осужденіи православно-христіанскихъ воззрѣній этого писателя.

Во второй изъ разбираемыхъ статей, «Бѣдная русская мысль», авторъ излагаетъ свои воззрѣнія на значеніе, въ исторіи человѣческихъ обществъ, личной воли народныхъ правителей и другихъ политическихъ дѣятелей. Онъ отрицаетъ вліяніе этой воли отдѣльных людей, и разныхъ, какъ онъ говоритъ, геніевъ, мудрецовъ и великихъ историческихъ дѣятелей на предусматриваемыя или предустраиваемыя ими событія. По его мнѣнію, всѣ ихъ усилія, стремленія, соображенія, никогда не приводили къ тѣмъ послѣдствіямъ, какихъ желалъ самъ дѣятель, но единичная ихъ мысль и единичная воля тонули и исчезали, какъ убѣжденъ Писаревъ, «въ общихъ проявленіяхъ великой народной мысли, великой народной воли». Сама же нѣтъ эти великіе дѣятели, по его понятіямъ, суть ничто иное, какъ «мудрители надъ жизнью»; «всякій изъ нихъ» — говоритъ онъ — «какъ болѣе или менѣе крупный Петръ Ивановичъ Бобчинскій, хотѣлъ заявить о себѣ почтеннѣйшей публикѣ, и часто заявлялъ такую же оригинальною шуткою, посредствомъ которой Геростратъ вошелъ во всемирную исторію». Таковъ взглядъ Писарева вообще на историческихъ дѣятелей, изъ числа которыхъ онъ приводитъ и нѣкоторыя имена, какъ-то: Александра Македонскаго, Наполеона I, Филиппа II Испанскаго, Фердинанда II, Императора Германскаго.

Путемъ какихъ ученыхъ историческихъ изслѣдованій дошелъ Писаревъ до такихъ воззрѣній — изъ статьи его не видно, — да и нѣтъ надобности допытываться. Это — воззрѣнія какъ и всякія иныя, съ которыми можно соглашаться, если они кому нибудь покажутся глубокомысленными, и не соглашаться, если кто либо найдетъ ихъ недостаточно основательными.

Но, предлагая эти мнѣнія всѣмъ, кто пожелаетъ усвоить ихъ себѣ, авторъ связываетъ съ ними такія сужденія, выраженіе коихъ въ печати, въ томъ видѣ какъ они изложены въ разбираемой статьѣ, не можетъ почитаться дозволительнымъ. Это — сужденія его о личности и дѣятельности покойнаго Императора Петра I.

Исходя отъ той точки зрѣнія, съ которой онъ смотритъ на всѣхъ вообще историческихъ дѣятелей, только «коверкавшихъ» — по его выраженію — «на свой ладъ живую дѣятельность», «ломавшихъ жизнь по своей прихоти или по своимъ, болѣе или менѣе, мудрымъ соображеніямъ», «продѣлывавшихъ надъ жизнью народа тѣ или другіе фокусы», — авторъ разбираемой статьи прилагаетъ эту же оцѣнку и къ дѣятельности Императора Петра I, и выражаетъ мнѣніе, что она вовсе не такъ плодотворна историческими послѣдствіями, какъ это кажется ея хвалителямъ и порицателямъ. Дѣятельность эта — говоря словами автора — представляетъ собою только «остроумныя затѣи Петра Алексѣевича»; жизнь же русскаго народа — говоритъ онъ далѣе — вовсе не измѣнилась бы въ своихъ отправленияхъ, если бы Шакловитому удалось убить молодого Петра».

Вотъ къ какому заключенію сводятся всѣ разсужденія о значеніи историческихъ дѣятелей, излагаемыя въ статьѣ «Бѣдная русская мысль».

Итакъ, осмѣяніе православно-христіанскаго образа мыслей одного изъ нашихъ отечественныхъ писателей, порицаніе литературной его дѣятельности за его пра-

вославно-славянское направление, и сужденія, путемъ коихъ оправдывается гнусное политическое преступленіе — вотъ темы, развиваемыя въ подлежащихъ нашему разсмотрѣнію двухъ статьяхъ.

И гдѣ все это проповѣдуется?—Въ славянской державѣ, въ христіанской странѣ, исповѣдующей православіе, какъ первенствующую и господствующую вѣру, верховный защитникъ и хранитель догматовъ ея—Императоръ; въ государствѣ, управляемомъ на твердыхъ началахъ монархической власти, столь чтимой народомъ!

И въ этой-то странѣ провозглашается, что православныя вѣрованія ничто иное, какъ замысловатое міросозерцаніе, допотопныя идеи, сказки нянюшки, и что преступное покушеніе злодѣя, которое было направлено противъ одного изъ Монарховъ Россіи, если бы оно удалось, вовсе не-измѣнило бы отправленій жизни русскаго народа!

Спрашиваемъ: пристойно ли оглашеніе такихъ сужденій въ печати? Дозвоительно-ли свободу печатнаго слова простирать до такихъ предѣловъ? Отвѣтомъ на эти вопросы будетъ приговоръ суда, какой состоится по настоящему дѣлу. Мы же, съ своей стороны, выразимъ, не обвиняясь, что распространеніе въ нашей странѣ, путемъ печати, такихъ воззрѣній, какія излагаются въ упомянутыхъ статьяхъ, признаемъ дѣломъ, по мнѣнью мѣрѣ, непристойнымъ, и потому — противнымъ закону.

Свобода печатнаго слова, какъ и всякая иная законная и разумно понимаемая свобода, должна, прежде всего, основываться на уваженіи свободы другихъ, на уваженіи чужаго мнѣнія, убѣжденія, вѣрованія, на твердои сознаніи лежащей на каждомъ обязанности — не говорить и не дѣлать ничего, что могло-бы оскорбить другаго. Но, спрашиваемъ, не должно-ли глубоко оскорбиться религіозное чувство каждаго изъ православно-вѣрующихъ, воле скоро вѣрованія ихъ будутъ подвергаться публичному осмѣянію въ печати, будутъ называемы «замысловатымъ міросозерцаніемъ», «допотопными идеями», «толками нянюшекъ и убогихъ старушекъ». Не оскорбится-ли столь же сильно нравственное и гражданское чувство каждаго изъ вѣропопдавшихъ, когда въ печати будутъ проповѣдываться такія идеи, что столь гнусное дѣло, какъ преступное покушеніе Шакловитаго, если бы оно удалось, не оказало-бы никакого вліянія на судьбы народа. Не оскорбляется-ли это чувство гражданина и тѣмъ презрительнымъ тономъ, какимъ въ статьѣ Писарева говорится о дѣяніяхъ одного изъ не столь отдаленныхъ предковъ царствующаго монарха, о дѣяніяхъ Великаго Петра, которыхъ авторъ называетъ «затѣями Петра Алексѣевича»?

Но какое-же именно преступленіе во всемъ этомъ заключается,—гдѣ та статья уголовного кодекса, которую оно предусматрѣно, которую были-бы воспрещены такія сужденія въ печати?

Рассматриваемыя статьи Писарева слишкомъ несерьезны для того, чтобы искать въ нихъ матеріала для обвиненія въ какомъ либо преступленіи. Преступленіе всегда предполагаетъ существованіе злаго умысла, вліяніе злой воли. Но сочиненія, подобныя этимъ двумъ статьямъ, при первомъ же знакомствѣ съ ихъ легкимъ содержаніемъ, засвидѣтельствуютъ сами о себѣ, сколь мало можно относить появленіе ихъ къ злему умыслу или къ злой волѣ, или же, если и была эта воля, то сколь бессильно она выразилась. Въ подобныхъ сочиненіяхъ видны не преступныя умыслы, но какая-то странная торопливость поспѣе высказать въ печати все, что только думаетъ авторъ о различныхъ предметахъ,—торопливость, подъ вліяніемъ которой, въ настоящемъ случаѣ, было забыто то приличіе, какое требуется отъ публичнаго слова, ибо нельзя предавать публичной печати все то, что человекъ думаетъ, точно также, какъ непристойно въ публичномъ мѣстѣ говорить и дѣлать многое изъ того, что каждый безпрепятственно говорить и дѣлать въ своихъ четырехъ стѣнахъ.

Итакъ, въ напечатаніи означенныхъ статей мы видимъ явное нарушение общественной благопристойности; находимъ, что эти статьи противны закону, потому что, какъ мы уже доказывали, онъ непристойны по нѣкоторымъ содержащимся въ нихъ сужденіямъ, оскорбляющимъ религіозное чувство вѣрующаго и нравственное чувство гражданина.

Закономъ воспрещается всякая вообще публичная неблагопристойность, хотя всѣхъ видовъ, въ какихъ только можетъ выразиться неблагопристойность, законъ, разумѣется, не предусматриваетъ, и не въ состояніи предусмотрѣть. Такъ и въ отношеніи печати законъ возбраняетъ, подъ угрозой опредѣленнаго взысканія, сочиненія вообще противныя благопристойности. Законъ этотъ изображенъ въ 1001 ст. Улож. о нак. Подъ дѣйствіе этого закона мы и подводимъ напечатаніе упомянутыхъ двухъ статей изъ сочиненій Писарева. На основаніи того же закона подлежитъ осужденію, согласно съ заключеніемъ цензурнаго комитета, и то указанное комитетомъ мѣсто въ статьѣ «Бѣдная русская мысль», въ которомъ авторъ оправдываетъ свободныя отношенія двухъ половъ.

За сими предстантъ намъ обсудить тотъ приводимый обвиняемымъ доводъ, что онъ не можетъ подлежать отвѣтственности передъ судомъ за напечатаніе нѣкихъ двухъ разсматриваемыхъ статей Писарева, такъ какъ онъ въ 1862 году были напечатаны въ журналѣ «Русское Слово» съ разрѣшенія предварительной цензуры.

Эта оправданіе подсудимаго мы должны признать совершенно незаслуживающимъ уваженія, такъ какъ оно, прежде всего, заключаетъ въ самомъ себѣ внутреннее противорѣчіе, проистекающее отъ того, что приводимый доводъ ставитъ во взаимную между собою связь такіе предметы, которые ничего общаго не представляютъ, ни въ какихъ между собою отношеніяхъ не состоятъ и одинъ отъ другаго, по самой идее своей, существенно отличны.

И въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ, есть-ли что нибудь общее между напечатаніемъ статей Писарева въ журналѣ «Русское Слово» въ 1862 году, и напечатаніемъ ихъ въ 1866 году въ отдѣльномъ изданіи подсудимаго Павленкова? — Находятся-ли эти два явленія въ какихъ либо взаимныхъ одно къ другому отношеніяхъ?

Между ними ничего нѣтъ общаго—въ нихъ все различно:

Во-первыхъ, различно время: въ «Русскомъ Словѣ» статьи Писарева напечатаны въ 1862 г.,—въ изданіи Павленкова онѣ напечатаны въ 1866 году.

Во-вторыхъ, различны отвѣтственные лица и изданія; въ 1866 г. статьи напечатаны въ «Русскомъ Словѣ», издававшемся граф. Кушелевымъ Безбородко; въ 1866 г. онѣ помѣщены въ отдѣльномъ изданіи, принадлежащемъ подсудимому Павленкову.

Въ-третьихъ, различны законодательства: въ 1862 году, въ дѣлахъ печати дѣйствовала только предварительная цензура, правила коей были приложены и къ статьямъ Писарева, помѣщеннымъ въ «Русскомъ Словѣ»; въ 1866 г. изданіе Павленкова напечатано безъ предварительной цензуры, на основаніи новаго, дѣйствовавшего уже тогда закона 6 апрѣля 1865 г., устанавливающаго цензуру карательную, которая дѣйствуетъ путемъ судебного преслѣдованія.

Въ-четвертыхъ, наконецъ, различны и самыя цензурныя инстанціи: въ 1862 г. печатаніе статей Писарева, разрѣшила единоличная власть цензора; въ 1866 году статьи тѣ, въ изданіи Павленкова, задержаны и подвергнуты судебному разсмотрѣнію по опредѣленію коллегиальнаго учрежденія—цензурнаго комитета.

Итакъ, что общаго между двумя явленіями, изъ коихъ позднѣйшее усиливается оправдать тѣмъ, которое ему предшествовало?

Это общее, можетъ быть сказать намъ, есть самыя статьи, о которыхъ идетъ рѣчь. Да, дѣйствительно, статьи тѣ же самыя, какія были напечатаны въ 1862 г. съ

разрѣшенія предварительной цензуры. Но это обстоятельство—весьма дурное оружіе для защиты свободы печати, и, какъ мы сейчасъ постараемся объяснить, обращается противъ этой свободы: обвиняемый желаетъ, въ настоящемъ случаѣ, пользоваться въ одно и то же время льготами обѣихъ цензуръ—и карательной и превентивной: печатаетъ свое изданіе безъ предварительной цензуры, пользуясь закономъ 6 апрѣля 1865 г., а между тѣмъ, когда примѣняются къ нему невыгодныя стороны этого закона, становится себя подъ защиту прежней предварительной цензуры, которая для него, обвиняемаго, въ настоящее время уже не существуетъ. Противорѣчіе явное. Такое смѣшанное примѣненіе двухъ совершенно различныхъ законодательствъ къ одному и тому же дѣлу невозможно. Это немыслимо, ибо, если допустить такое смѣшеніе, то, въ силу послѣдовательности (такъ какъ прежде всего надо быть послѣдовательнымъ), мы придемъ къ выводамъ, можно сказать, чудовищнымъ, и именно: защищеніе себя прежними рѣшеніями предварительной цензуры, когда обвиняемый преслѣдуется на основаніи правилъ цензуры карательной, сводится на то, чтобы за прежними рѣшеніями предварительной цензуры признавать обязательную силу и на то время, въ которое она уже не дѣйствуетъ, т. е. установить такой порядокъ, чтобы нынѣшніе цензурные комитеты, дѣйствующие на основаніи закона 6 апрѣля, разрѣшали къ выпуску въ свѣтъ все, что было когда либо прежде дозволено предварительною цензурою,—и, съ другой стороны, слѣдующаго тому же началу, *заарестовывали бы всякія печатныя изданія, въ коихъ появляется что-либо такое, что въ прежнее время какой нибудь цензоръ недопустилъ въ печать*. Но возможно ли послѣднее, возможно ли допустить, чтобы нынѣ цензурный комитетъ возбуждалъ какое либо судебное преслѣдованіе и заарестовывалъ книгу на томъ только основаніи, что напечатанное сочиненіе не было дозволено цензоромъ къ печати когда либо прежде, лѣтъ 10 или болѣе тому назадъ, при представленіи рукописи на предварительную цензуру. Не былъ-ли-бы такой порядокъ стѣсненіемъ свободы печати? Очевидно, что это немыслимо. Но если невозможно нынѣ, при дѣйствіи цензуры карательной, признавать законную силу за прежними запретительными рѣшеніями превентивной цензуры, то точно также нельзя въ настоящее время опираться и на ея *дозволительныя* разрѣшенія, относящіяся къ тому времени, когда законъ 6 апрѣля еще не существовалъ.

Въ этомъ-то и заключается, какъ мы упомянули въ началѣ, то внутреннее противорѣчіе, которое мы видимъ въ разбираемомъ доводѣ, коимъ подсудимый отклоняетъ отъ себя отвѣтственность, ссылаясь на цензорское разрѣшеніе 1862 г., неотносившееся ни до него, ни до его изданія 1866 г.

Относительно этого довода присовокупимъ еще одно соображеніе, касающееся до существа обвиненія: напечатаніе разсматриваемыхъ двухъ статей Писарева признается нарушеніемъ общественнаго благочинія, и судебное преслѣдованіе возбуждено противъ того, кто въ этомъ нарушеніи обвиняется, въ настоящемъ случаѣ—противъ отставнаго поручика Павленкова. Но неужели можетъ судъ признать этого обвиняемаго неподлежащимъ отвѣтственности потому только, что другому лицу, въ другое время, за 4 года предъ сѣмъ, когда дѣйствовали другіе законы, было попущено это же самое закононарушеніе. Полагаемъ, что такое умозаключеніе было бы совершенно неправильно. Закононарушеніе, почему либо оставшееся безнаказаннымъ для одного, не можетъ служить основаніемъ къ требованію такой же безнаказанности для другаго, тѣмъ болѣе когда, какъ въ настоящемъ случаѣ, нарушеніе это подлежитъ дѣйствию совершенно другихъ законовъ, *несуществовавшихъ въ то время*, къ которому относится приводимый прецедентъ. Доводъ, приводимый подсудимымъ въ свое оправданіе, могъ-бы имѣть силу, если бы настоящее судебное преслѣдованіе касалось тѣхъ лицъ и того изданія, до которыхъ относилось указываемое цензорское разрѣ-

шение 1862 г. Тѣ, дѣйствительно, могли-бы оправдываться этимъ разрѣшеніемъ, если бы ихъ начали преслѣдовать теперь передъ судомъ, по закону 6 апрѣля за напечатаніе въ 1862 году статей Писарева въ «Русскомъ Словѣ»; они могли бы возражать, что разрѣшеніе то было для нихъ *законнымъ* разрѣшеніемъ, и что законъ 6 апрѣля не можетъ быть примѣняемъ къ нимъ въ его обратной силѣ.—Но подсудимый Павленковъ не можетъ приводить это возраженіе, ибо цензорское разрѣшеніе 1862 года было дано не ему, касалось не до его изданія, и съ закономъ 6 апрѣля, на основаніи котораго онъ преслѣдуется, никакого соотношенія не имѣетъ.

Полагаемъ, что всѣ изложенныя нами соображенія достаточно выяснили вопросъ въ томъ смыслѣ, что отвѣтственность подсудимаго Павленкова по настоящему дѣлу не можетъ быть поставляема ни въ какую зависимость отъ того разрѣшенія предварительной цензуры, которое въ 1862 году было дано на помѣщеніе въ «Русскомъ Словѣ» двухъ статей Писарева, за напечатаніе конхъ, въ отдѣльномъ изданіи, въ 1866 году, обвиняемый Павленковъ преданъ суду.

И потому мы полагаемъ: 1) отставнаго поручика Павленкова признать по настоящему дѣлу виновнымъ въ напечатаніи, во II томѣ издаваемыхъ имъ сочиненій Писарева, двухъ статей этого писателя, явно противныхъ благопристойности; 2) подвергнуть за сіе подсудимаго Павленкова, на основаніи приведенной въ заключеніи Ц. К. 1001 ст. Улож. о нак., денежному взысканію въ 300 рублей, замѣнивъ оное, въ случаѣ его несостоятельности, временнымъ арестомъ въ соотвѣтствующей мѣрѣ, и 3) статьи: «Русскій Довѣ-Кихоть» и «Вѣдная русская мысль», уничтожить на основ. 1045 ст. Улож. о нак., дозволивъ остальную часть зарестованнаго II тома сочиненій Писарева выпустить въ свѣтъ.

Послѣ обвинительной рѣчи прокурора подсудимый Павленковъ произнесъ свою защитительную рѣчь.

Павленковъ. Г. прокуроръ сказалъ, что нужно прежде всего быть послѣдовательнымъ, между тѣмъ какъ все его обвиненіе есть ни что иное, какъ одно длинное сплошное противорѣчіе съ прежнею практикой прокурорскаго надзора. Если не ошибаюсь, прокурорская власть имѣетъ дѣлю наблюдение за охраненіемъ закона, т. е. за правильнымъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе *единообразнымъ* его при-
нженіемъ. Но...

Предсѣдатель. Я васъ прошу воздержаться отъ обсужденія прокурорскихъ обязанностей. Говорите только то, что можетъ послужить къ вашему оправданію.

Павленковъ. Въ обсужденіе дѣйствій и обязанностей прокуратуры я не вхожу. Я заявляю только о противорѣчii. Мнѣ кажется, что если г. Тизенгаузенъ можетъ говорить о *можн* будто бы противорѣчii, то и я не могу быть лишень права говорить о *сio* противорѣчiяхъ.

Предсѣдатель. Вы этимъ себѣ не помогаете. Говорите непосредственно о дѣлѣ.

Павленковъ. Я не могу не указать на противорѣчiя прокурорской практики. Доказательствомъ такого противорѣчiя — мой настоящій процессъ. Какъ ни странно и ни голословно съ перваго взгляда высказываемое мною положеніе, но голословность его перейдетъ въ полное доказательство, если припомнить нашъ первый литературный процессъ. На этомъ процессѣ, происходившемъ по поводу книги «Всякіе», состоявшей изъ очерковъ, на половину цензурованныхъ, а на половину напечатанныхъ безъ цензуры, прокурорскій надзоръ окружнаго суда, начиная свою обвинительную рѣчь, прямо и категорически заявилъ, что онъ разсѣкаетъ доставленную ему комитетомъ книгу на двѣ части, изъ которыхъ первая, какъ цензурованная, *не можетъ подлежать преслѣдованію*, что эта часть освящена предварительнымъ разрѣшеніемъ и потому не должна быть предметомъ отвѣтственности для автора. И такъ передъ окружнымъ судомъ говорится одно, передъ судебной палатой совер-

шенно другое. Замѣчательнѣе всего, что оба говорящіе лица—юристы, оба—прокуроры и оба ссылаются въ своихъ діаметрально противоположныхъ взглядахъ на одинъ и тотъ же указъ 6-го апрѣля.

Всякую статью, прошедшую черезъ цензуру можно сравнить съ болѣе или менѣе богатою золотомъ россыпью, побывавшей въ рукахъ жадныхъ промышленниковъ и купцовъ. Изъ ихъ рукъ уже не выскользаетъ ни одна крупинка благороднаго металла — въ томъ порукой ихъ алчбость, вооруженная всевозможными средствами для своего удовлетворенія. Поэтому было бы или высшей степенью непониманія дѣла или крайнею вавнивостью стремиться къ открытію золота въ обработанныхъ ими пескахъ. Но не то-же ли самое представляетъ собою настоящій процессъ? Стараться выжать сокъ изъ лимона, побывавшаго подъ гидравлическимъ прессомъ—но меньшей мѣрѣ бесполезно, это просто значить не жалѣть своихъ рукъ.

О невозможности преслѣдовать книги, прошедшія цензуру, до изданія законовъ 1865 года, я буду говорить подробнѣе въ концѣ. Здѣсь же я хотѣлъ только наметить противорѣчіе. Перехожу къ опроверженію обвиненій г. прокурора. Приступая къ защитѣ «Русскаго Донъ-Кихота» и «Бѣдной русской мысли», я долженъ замѣтить, что обѣ эти статьи представлены какъ въ актѣ, такъ и обвинительномъ рѣчью прокурора въ превратномъ видѣ.

Возстановленіе ихъ истиннаго смысла я считаю въ настоящемъ случаѣ *особенно важнымъ*. Изъ своего личнаго опыта я вынесъ убѣжденіе, что цензурный комитетъ не затруднился-бы при новыхъ изданіяхъ преслѣдовать Некрасова, Добролюбова, и др. Въ виду такихъ обстоятельствъ, я имѣю полное основаніе принимать свой процессъ за первый цензурный камень, направленный къ дорожку для всѣхъ печать начала настоящаго царствованія. Если позволительны на судѣ образныя представленія, то, мнѣ кажется, можно безъ натяжекъ сказать, что дерево этой печати, зне смотря на то, что оно выросло на корнѣ самыхъ строгихъ — даже пожалуй драконовскихъ—законовъ тѣмъ не менѣе обладаетъ множествомъ такихъ плодовъ, отъ которыхъ никто не захочетъ отказываться, — отказаться отъ которыхъ можно только заставить или грубою силою или утонченными принужденіемъ, что, по моему, все равно. Но первый успѣхъ есть залогъ дальнѣйшихъ. Вотъ почему допустить создать изъ настоящаго процесса благоприятный для цензурнаго комитета прецедентъ значило-бы тоже самое, что помогать маляру въ его первой попыткѣ загрнтовать свѣрой краской картинную галлерей.

Надѣясь не столько на свои ничтожныя силы, сколько на очевидную правоту дѣла, я думаю, что мнѣ удастся, не смотря на всѣмъ извѣстную *талантливость* г. Тизенгаузена, не допустить до созданія такого прецедента.

Въ своемъ возраженіи на обвиненіе г. прокурора, я буду держаться того же порядка, который былъ принятъ г. Тизенгаузенемъ. Такимъ образомъ я прежде всего обращу вниманіе судей на статью о Кирѣевскомъ, затѣмъ на «Бѣдную русскую мысль» и, наконецъ, на тѣ постороннія соображенія, которыя онѣ прибавляетъ къ обвиненію.

Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе голословное, чѣмъ только что произнесенное обвиненіе по поводу «Русскаго Донъ-Кихота». Сваружи оно какъ-будто и обставлено фактами, подтверждено цитатами; но если подойти къ нему ближе, если разсмотрѣть его внимательнѣе, то оно представитъ собою одно изъ двухъ: или крайнее смѣшеніе понятій о самыхъ разнообразныхъ вещахъ, — смѣшеніе, переходящее всякія границы или-же то.... для чего я затрудняюсь найдти выраженіе. Г. прокуроръ говоритъ, что въ этой статьѣ нарушены правила благопристойности. Но то, что онъ сводитъ къ этому обвиненію, совсѣмъ не подходитъ подъ это понятіе. Поэтому, оставляя въ сторонѣ *благопристойность*, я обращу вниманіе на самую сущ-

ность обвиненія, охарактеризованную этимъ эпитетомъ. Ядро этого обвиненія, послужившее исходнымъ пунктомъ всѣхъ дальнѣйшихъ заключеній г. Тизенгаузена, заключается въ томъ, будто авторъ, говоря о литературной дѣятельности Кирѣвскаго, осмѣиваетъ православно-христіанскія вѣрованія этого писателя, составлявшія, какъ извѣстно, основаніе всѣхъ его философскихъ разсужденій. Авторъ осмѣиваетъ... Но гдѣ г. прокуроръ нашелъ осмѣиваніе? Послѣ такого заключенія я могу предположить, что г. Тизенгаузенъ плохо читалъ статью Писарева. На первой же...

Прокуроръ (къ председателю). Я бы желалъ, ваше превосходительство, чтобъ подсудимый не употреблялъ выраженій, несогласныхъ съ уваженіемъ къ прокурорскому надзору. Кромѣ того, моя фамилія здѣсь не должна упоминаться. Я дѣйствую не отъ своего лица, а какъ представитель обвинительной власти.

Председатель. Подсудимый, будьте осторожны въ употребляемыхъ вами выраженіяхъ.

Павленковъ. Я съ удовольствіемъ буду говорить вмѣсто «г. Тизенгаузена» — г. прокуроръ. Продолжаю опроверженіе. Я сказалъ, что въ статьѣ «Русскій Донъ-Кихоть» нѣтъ и тѣни осмѣянія. Писаревъ именно съ того и начинается, что изъясляетъ свое удивленіе, какъ можно глумиться надъ такими людьми, какъ славянофилы вообще, и Кирѣвскій въ особенности. Онъ выражаетъ даже свою досаду на рецензента «Современника» за то, что тотъ въ своей статьѣ «Московское Словенство» позволяетъ себѣ насмѣшливо относиться къ этому направленію. Г. прокуроръ увѣряетъ, что, по мнѣнію Писарева, отъ статей Кирѣвскаго покоробить самого невзыскательнаго читателя, что они отличаются такою пахучестью, которая отшибетъ отъ нихъ всякаго; но нѣтъ то мѣсто, изъ котораго онъ извлекъ свое заключеніе. Въ этомъ мѣстѣ Писаревъ говоритъ совершенно обратное. Строки эти слѣдующія:

«Еслибъ подойти къ сочиненіямъ И. В. Кирѣвскаго такъ, какъ подошелъ къ нимъ критикъ «Современника», то съ нимъ порѣшнить было бы очень не трудно. Причислить его къ самымъ мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ вовсе не мудрено; за цитатами дѣло не станетъ; изъ его сочиненій можно выписать десятки такихъ страницъ, отъ которыхъ покоробить самого невзыскательнаго читателя; ну, стало быть и толковать нечего; привелъ подложнымъ самымъ пахучимъ выпискою, поглумился каждою въ отдѣльности и надъ всѣми въ совокупности, поспорилъ для виду съ авторомъ, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своихъ воззрѣній, завершилъ рецензію общимъ прогрессивнымъ заключеніемъ и дѣло готово — статья идетъ въ типографію».

Ясно, что Писаревъ здѣсь не только не направляетъ на пахучесть Кирѣвскаго, а возстаетъ противъ такихъ недобросовѣстныхъ, по его мнѣнію, приѣмовъ. Онъ говоритъ этимъ мѣстомъ, что коробитъ или не коробитъ отъ чтенія Кирѣвскаго — это вещь посторонняя, что не въ этомъ дѣло, что на подобную вещь не стоить обращать вниманія, что во всемъ этомъ дѣлѣ есть вещи болѣе важныя, которыя не слѣдуетъ упускать изъ виду. Я не думаю, чтобъ такое начало можно было принять за приглашеніе къ насмѣшкѣ. Прокуроръ не хотѣлъ также замѣтить, что Писаревъ, не смотря на радикальное различіе въ мировоззрѣніяхъ съ Кирѣвскимъ, относится къ нему съ большимъ сочувствіемъ. Онъ въ разныхъ мѣстахъ своей статьи называетъ его человекомъ *неглупымъ, даровитымъ*, въ высшей степени *добросовѣстнымъ*, а понятно, что такъ нельзя относиться къ человеку, надъ которымъ насмѣхаются. Всего этого не хотѣлъ замѣтить г. прокуроръ. Нужно также согласиться, что смѣхъ есть литературное оружіе; но кто же берется за оружіе, не предполагая бороться. Между тѣмъ Писаревъ прямо говоритъ на стр. 2, что «бороться съ нимъ (т. е. съ Кирѣвскимъ) не зачѣмъ, потому что дѣятельность его принадлежитъ прошедшему», а главное, что онъ и безъ того забытъ, «не смотря на то, что послѣдняя

его статья была написана всего лѣтъ семь тому назадъ». Трудно все это согласить съ обвиненіемъ въ насмѣшѣ. Но еще труднѣе понять, какимъ образомъ Писаревъ могъ осмѣивать православно-христіанскія вѣрованія Кирѣвскаго. Сколько мнѣ извѣстно, Писаревъ никогда и нигдѣ—ни въ этой, ни въ другихъ своихъ статьяхъ—не считалъ нужнымъ касаться чьихъ бы то ни было вѣрованій. Это слишкомъ индивидуальный міръ. Кромѣ того вѣрованія немислимы безъ догматовъ. Но въ такомъ случаѣ пусть г. прокуроръ укажетъ, какіе догматы отвергаются Писаревымъ въ «Русскомъ Донъ-Кихотѣ». Если онъ это сдѣлаетъ — я тотчасъ же откажусь отъ защиты и признаю себя виновнымъ. Такимъ образомъ я предоставляю ему легкую возможность выиграть настоящій процессъ. Къ сожалѣнію, сдѣлать этого невозможно: Писаревъ оспариваетъ *мнѣнія* Кирѣвскаго, а не *вѣрованія* его. Разница большая! Не думаетъ ли г. прокуроръ, что выраженія, пересыпанные словами: *свѣтой, церковью, молитвы* и т. п. уже по тому самому стоятъ внѣ всякаго оспариванія и что прикасаться къ нимъ, значитъ тоже, что осмѣивать вѣрованія? Но тогда мы пришли бы къ весьма страннымъ выводамъ. Многіе помнятъ, что одинъ ораторъ въ одномъ публичномъ засѣданіи сдѣлалъ такое восклицаніе: «Молимъ Бога, чтобы съ его святою помощью скорѣе выступили благотворныя охранительныя силы на подобающую имъ высоту». Предположимъ, что въ какой-нибудь газетѣ оратора этого осмѣяли-бы за это выраженіе. Неужели же нашелся бы такой человѣкъ, который могъ бы обвинить редакцію въ издѣвательствѣ надъ вѣрованіями оратора, тогда какъ она считалась-бы надъ однимъ только неумѣньемъ этого господина говорить рѣчи? Очень можетъ быть, что г. прокуроръ мысленно указываетъ мнѣ на ту тираду Кирѣвскаго (по-крайней-мѣрѣ, онъ читалъ ее передъ палатой), которая начинается словами: «Но корень образованности Россіи живетъ еще въ ея святой православной церкви...» и послѣ которой Писаревъ говоритъ: «Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ». Я еще возвращусь къ этой тирадѣ въ концѣ защиты; но здѣсь не могу не замѣтить, что это прочитанное г. прокуроромъ мѣсто болѣе всего смахиваетъ на обыденныя разсужденія, пересыпанныя фразами: *молимъ Бога, его свѣтлая помощь* и т. п. Если вы видите корень цивилизаціи въ церкви, то почему-же я въ свою очередь не могу съ тою-же безопасностью видѣть этотъ корень въ другихъ государственныхъ учрежденіяхъ? Еслибъ взгляды на источники знанія и просвѣщенія не съ духовной точки зрѣнія, а со свѣтской, могъ считаться осмѣяніемъ вѣрованій, то во что бы тогда превратились споры о томъ, кому слѣдуетъ поручить народное образованіе — церкви или земству? Возможно ли было-бы тогда, не подвергаясь опасности, отвергать полезность супрематіи духовенства въ такомъ важномъ дѣлѣ? Практика доказываетъ, что это возможно. На основаніи всего сказаннаго, я еще разъ повторяю, что осмѣяніе вѣрованій безъ осмѣянія догматовъ также невозможно, какъ оскорбленіе безъ оскорбляемаго.

Далѣе г. прокуроръ говоритъ, что православно-христіанскія вѣрованія составляли, какъ извѣстно, основаніе всѣхъ философскихъ разсужденій Кирѣвскаго.

Кто избираетъ своею спеціальностью обвиненіе, отъ того можно требовать не голословія, а фактовъ. Но какъ похоже на факты это прокурорское «какъ извѣстно»!... Мнѣ кажется, что суду извѣстно только то, что доказано. Какъ частнымъ лицамъ, судьямъ можетъ быть многое извѣстно, но такая извѣстность остается при нихъ и никогда не переходитъ вмѣстѣ съ ними за порогъ этой залы. Каткова въ Москвѣ всѣ знаютъ, всѣ знаютъ его имя, отчество, званіе, профессію, но тѣмъ не менѣе, призваннаго къ суду, его, также какъ и меня, спросили бы и объ имени, и о чинѣ, и занятіяхъ, потому что извѣстность частная и судебная — двѣ вещи совершенно различныя. Странно, что г. прокуроръ не привелъ для подтвержденія своего мнѣнія ни одной цитаты изъ «Сочиненій Кирѣвскаго», а ограничился только тѣми отрыв-

камн, которые приведены въ статьѣ Писарева. Я предлагаю ему въ отвѣтъ на мое возраженіе подтвердить свое «какъ извѣстно» указаніями на болѣе характеристическія мѣста изъ Кирѣвскаго. Книга со мной.

Предсѣдатель. Вы не имѣете права ничего предлагать прокурору. Если онъ найдетъ нужнымъ, онъ самъ безъ нашихъ предложеній сдѣлаетъ необходимыя указанія. Обращайтесь ко мнѣ, а не къ прокурору.

Павленковъ. Возвращаюсь къ защитѣ. Я разобралъ составныя части *сущи* прокурорскаго обвиненія по статьѣ «Русскій Донъ-Кихотъ». Признаюсь, что общій смыслъ его для меня непонятенъ. Писаревъ не отрицаетъ никакихъ догматовъ и, слѣдовательно, смѣяться надъ вѣрованіями не могъ. Поэтому допущу, въ видѣ предположенія что г. прокуроръ хотѣлъ обвинить Писарева не въ «осмѣяніи христіанскихъ *авроманій* Кирѣвскаго, составлявшихъ, какъ извѣстно, основаніе всѣхъ его философскихъ разсужденій», а на оборотъ въ «осмѣяніи философскихъ *разсужденій* Кирѣвскаго, основаніемъ для которыхъ послужили, какъ извѣстно, православно-христіанскія вѣрованія». Но даже и въ этомъ послѣднемъ видѣ обвиненіе не приобретаетъ самостоятельности. Очень часто на дурномъ основаніи могутъ быть сооружены весьма хорошія прочныя строенія и на оборотъ, на самыхъ прочныхъ основаніяхъ возвышаются кучи хлама. Петербургъ стоитъ на болотѣ, а Москва на твердой землѣ. Но неужели же поэтому нужно отдавать ей предпочтеніе? Неужели она, не смотря на свое твердое основаніе, не грязна, не вонюча, не крива и не горбата? И наконецъ съ какихъ это поръ разрушать постройку, значить тоже самое, что разрушать фундаментъ? Неужели, разрушая навозную кучу, воздвигнутую на неприступной скалѣ и сбрасывая навозъ въ подобающую ему помойную яму, я могу быть обвиненъ въ разрушеніи скалы. Это воззрѣніе болѣе чѣмъ оригинально.

Вы видите г. судьи, какъ произвольно и голословно ядро обвиненія прокурора по статьѣ «Русскій Донъ-Кихотъ». Я не буду слѣдить шагъ за шагомъ за его обвинительною рѣчью: это было бы бесполезно послѣ разбора главной сущности ея. Впрочемъ, не могу не обратить вниманіе на то, что г. прокуроръ, по всей вѣроятности для усиленія обвиненія, собираетъ изъ разныхъ мѣстъ статьи всѣ прилагательныя и существительныя, употребленныя авторомъ по различнымъ поводамъ и представляетъ ихъ суду въ одномъ букетѣ. Но, съ одной стороны такой приемъ совершенно несогласенъ съ правдой. Изъ самаго слабаго вина я могу помощью концентрированія и дистилляціи добыть самый крѣпкій спиртъ, но буду-ли я правъ, выдавая добытый спиртъ за первоначальное вино? Съ другой стороны я не думаю, чтобъ пятикратное или шестикратное провознесеніе какого-нибудь слова, считаемаго неблагопристойнымъ, представляло большую вину, чѣмъ однократное. Всѣ эти перечисленія «убогихъ старушекъ Бѣлокаменной», «допотопныхъ идей», «мистическихъ инстинктовъ», «зародышей разложенія» и прочихъ пугающихъ г. прокурора выраженій—есть ни что иное, какъ варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Вообще я долженъ замѣтить, что г. прокуроръ старался тщательно выставить всѣ мнѣнія Писарева о Кирѣвскомъ, но вѣстѣ съ тѣмъ онъ почему-то не сказалъ ни слова о тѣхъ матеріалахъ, изъ которыхъ должно было составиться такое, а не иное воззрѣніе Писарева на этого писателя. Повторяю, что во всемъ своемъ обвиненіи г. прокуроръ не привелъ ни одной цитаты изъ подлинныхъ сочиненій Кирѣвскаго. Мало того, онъ даже не объяснилъ настоящаго смысла статьи Писарева, той задачи, которую авторъ поставилъ себѣ достигъ въ «Русскомъ Донъ-Кихотѣ». Судебная Палата въ своемъ рѣшеніи по дѣлу Суворина выразила мнѣніе, что, принимая въ соображеніе одинъ отдѣльный выписки изъ сочиненія, можно упустить изъ виду преступность цѣлаго, даже въ такихъ случаяхъ, когда преслѣдуемая книга безспорно принадлежить къ подлежащимъ уничтоженію. Если это справедливо, — что конечно, не мо-

жетъ подлежать никакому сомнѣнію — то будетъ еще справедливѣе обратное: къ самой нравственной книгѣ можно такъ сдѣлать выдержки и такъ ихъ сгруппировать, что она покажется непрерывнымъ рядомъ преступленій. Мнѣ самому удалось видѣть рядъ такихъ выписокъ изъ евангелія.

Предсѣдатель. Не отклоняйтесь отъ дѣла.

Павленковъ. Такъ какъ я уже сказалъ, что г. прокуроръ невѣрно понялъ статью Писарева «Русскій Донъ-Кихотъ», то я считаю необходимымъ представить суду краткое ея изложеніе. Чтобы избѣгнуть нареканія въ голословности, я буду пользоваться при этомъ не только статьей Писарева, но и самими «Сочиненіями Кирѣвскаго» и матеріалами для его біографіи. Такимъ образомъ, возстановляя истинный смыслъ статьи, а вмѣстѣ съ тѣмъ буду ее какъ бы повѣрять съ ея первоначальными источниками.

Основная задача статьи Писарева «Русскій Донъ-Кихотъ» мнѣ кажется должна формулироваться такъ:

Нельзя не сознаться, что источникъ славянофильства самъ по себѣ достоинъ уваженія. Вообще говоря, славянофилы были люди умные, честные и не безъ характера. Поэтому, къ какимъ бы результатамъ они ни пришли, хотя бы къ самымъ уродливымъ, ничѣмъ неотличающимся отъ доктринъ «Маяка», во всякомъ случаѣ это явленіе русской жизни достойно не гаснѣнья, а внимательнаго разсмотрѣнія. Интересно прослѣдить, какимъ образомъ отъ попытки къ самобытности, можно было придти къ идеалу полигійнаго оскотченія русскаго ума и русской мысли. Взглянувши на славянофильство съ такой, чисто-психологической стороны, Писаревъ беретъ одного изъ его лучшихъ представителей, Кирѣвскаго, и показываетъ на немъ, какимъ образомъ наши борцы постепенно, незамѣтно для самихъ себя, превращаются въ Донъ-Кихотовъ. Отсюда и самое заглавіе статьи.

Можно ли, задавшись такою цѣлью, быть сколько нибудь близкимъ къ насѣишкѣ?

Вдумываясь въ поставленный вопросъ, Писаревъ даетъ въ своей статьѣ характеристику Кирѣвскаго и въ краткомъ очеркѣ рисуетъ развитіе его литературной дѣятельности. Кирѣвскій былъ одной изъ тѣхъ честныхъ натуръ, которыя выродоженіе всего своего земнаго поприща томятъ потребностью служить дѣлу и жизни. Къ сожалѣнію, онъ жилъ въ очень тяжелое время, когда никакое служеніе, кромѣ officialнаго, не было возможно. Но совсѣмъ не того искала его честная натура. Борся противъ чуждостей, онъ скоро увидѣлъ, что несовершенства окружающей жизни слишкомъ велики, чтобъ такая борьба могла быть дѣйствительна. Сильныя натуры въ этихъ случаяхъ разбиваются на куски, слабыя поворачиваютъ назадъ, но все-таки двигаются, хотя и по противоположному направленію. Кирѣвскій пошелъ по дорогѣ этихъ послѣднихъ. Убѣдившись въ невозможности самостоятельной дѣятельности, онъ весь перешелъ въ міръ мечты, какъ задержанное движеніе всецѣло переходитъ въ теплоту. Онъ составилъ около себя тѣсный кружокъ, вполне ему симпатизировавшій и сочувственно относившійся къ нему. Такимъ образомъ міръ мечтаній, которымъ онъ жилъ, который, такъ-сказать, поддерживалъ его нравственное существованіе, очень скоро обратился для него какъ бы въ чистую и полную дѣйствительность.

Въ такомъ настроеніи онъ отправляется за границу. Тамъ онъ встрѣчается уже не съ воображаемой, а съ реальной жизнью. Но онъ уже къ ней слѣпъ. Какъ мечтающій философъ—идеалистъ, онъ привыкъ уже видѣть весь смыслъ жизни не во внѣшнемъ мірѣ, а во внутреннемъ. Умозрительная философія, отрѣшенная отъ жизни, принимается имъ за полное выраженіе западно-европейской цивилизаціи. Онъ не хочетъ замѣтить, что явленіе это есть болѣзненное, что развитіе умозрительной философіи обязано было гнету живыхъ силъ, стремившихся къ дѣятельности и ненаходившихъ себѣ исхода. Понятно, что такая, можно сказать, патологическая философія не могла воздвигнуть себѣ прочнаго алтара на западѣ, тамъ, гдѣ все стре-

милось къ обновленію бытовыхъ формъ. При такихъ обстоятельствахъ она представляла собою социальную роскошь. Вотъ причина холодности къ ней многихъ. Но Кирѣвскій не усмотрѣлъ этой причины и объяснялъ эту холодность сознаніемъ западно-европейскаго общества въ неудовлетворительности чистаго разума. «Западная философія», пишетъ онъ, «находится теперь въ томъ положеніи, что ни далѣе по своему пути она уже идти не можетъ, ни проложить себѣ новую дорогу не въ состояніи». Но безъ философій, думаетъ Кирѣвскій, нѣтъ цивилизаціи и вотъ онъ пишетъ:

«Жизнь западнаго европейца лишена своего существеннаго смысла: непроникнутая никакимъ общимъ сильнымъ убѣжденіемъ, она не можетъ быть ни украшена высокою надеждою, ни согрѣта глубокимъ сочувствіемъ... Такимъ образомъ онъ принужденъ или довольствоваться состояніемъ полускотскаго равнодушія ко всему что выше чувственныхъ интересовъ и торговыхъ расчетовъ, или опять возвратиться къ тѣмъ отвергнутымъ убѣжденіямъ, которыя одушевляли западъ прежде конечнаго развитія отвлеченнаго разума».

Замѣтивъ на западѣ нѣкоторую усталость, которая всегда естественно является за всякимъ значительнымъ напряженіемъ силъ, онъ принималъ ее за разочарованіе, даже за разложеніе — и, не видя разочарованій въ средѣ своего кружка, отрѣшеннаго отъ жизни, онъ мысленно начинаетъ чувствовать превосходство своего роднаго Арбата надъ Европой, и восторженно восклицаетъ:

«Вообще все русское имѣетъ то общее со всѣмъ огромнымъ, что его осмотрѣть можно только издали... Нѣтъ на всемъ земномъ шарѣ народа пломе, бездушнѣе и тупѣе нѣмцевъ. И нашъ русскій народъ, который теперь, можетъ быть, одинъ въ Европѣ способенъ къ восторгу, называютъ непросвѣщеннымъ».

Такимъ образомъ, онъ незаметно для самого себя уже на пути къ идеализированію всего русскаго. Но въ то же время Кирѣвскій не можетъ не видѣть, что наше настоящее мрачно, а будущее неизвѣстно. Остается прошедшее. И вотъ онъ влюбляется въ это прошедшее, ухватывается за него, какъ утопающій хватается за соломенку, клянется западъ и реформы Петра, прозрѣваетъ въ старинной Руси такія качества, какія ей даже и не снились, и начинаетъ смотрѣть на нашъ народъ такъ же, какъ простонародье смотритъ на обезьяну, которая, по его мнѣнію, все умѣетъ, все знаетъ, все понимаетъ, только не хочетъ этого показывать и скрываетъ отъ людей свои таланты. Наконецъ, Кирѣвскій заговаривается даже до того, что отрицаетъ возможность существованія Европы безъ Россіи. Возвращаясь къ сочиненному имъ самимъ вопросу о неудовлетворительности чистаго разума и его опасности, Кирѣвскій устремляетъ свои взоры на древнюю Русь, какъ на сосудъ, изъ котораго Европа можетъ почерпнуть живую воду для излѣченія своихъ недуговъ. Въ древней Руси онъ видитъ господство вѣрованій, поглощающихъ дремлющій умъ, принимаетъ это поглощеніе за *цѣльность* русскаго духа, и на эту тему начинаетъ варіировать акафіастъ Россіи. Нужно сознаться, что мѣсто это одно изъ тѣхъ, въ которыхъ Писаревъ относится не скажу съ насмѣшкой — это будетъ неправда — а съ свисходительнымъ недоумѣніемъ, съ добродушной улыбки. Я, впрочемъ, его не буду читать, оно извѣстно судьямъ. Съ моей стороны достаточно будетъ сказать, что Кирѣвскій приводитъ 23 причины, по которымъ слѣдуетъ предпочесть Россію Европѣ. Эта тирада помѣщена на 17 и 18 стр. 2-й части Сочиненій Писарева. Можетъ быть, найдутся люди, патріотизмъ которыхъ и будетъ польщенъ этимъ панегирикомъ, но всякій обыкновенный читатель, смотрящій на вещи не черезъ патріотическую призму, а прямо, безъ посредства какихъ-либо преломляющихъ срединъ, скажетъ, что подобный наборъ бездоказательныхъ восклицаній есть ни что иное, какъ всѣмъ извѣстная Гоголевская тройка.

Г. прокуроръ можетъ сказать, что Кирѣвскій выводилъ цѣльность русскаго духа изъ исповѣдымаго нами православія, и что, слѣдовательно, относясь къ его мнѣнію объ этомъ предметѣ съ снисходительной улыбкой, онъ этой улыбкой, награждаетъ самое православіе. Но такой выводъ былъ бы большимъ недоразумѣніемъ. Авторъ отвергаетъ самую цѣльность, сочиненную Кирѣвскимъ. Онъ не признаетъ народовъ однодольныхъ и двусѣменодольныхъ. А отсюда прямо слѣдуетъ, что Писаревъ ни на волосъ не касается православія.

Мнѣ кажется, что та цѣлость, которая вездѣ мерещится Кирѣвскому и давить его, какъ кошмаръ, есть ни что иное, какъ извѣстнаго рода недоразвитіе. Какъ въ зачаточной почкѣ, до полнаго развитія цвѣтка, сливаются въ одно цѣлое его чашечка, лепестки, тычинки и плодникъ, такъ точно въ молодомъ обществѣ рѣзко выдающіяся качества народовъ зрѣлыхъ, не успѣвши специализироваться, — находятся въ зачаточномъ состояніи и, повидному, какъ бы слиты нераздѣльно; но эта нераздѣльность, эта *цѣльность*, какъ выражается Кирѣвскій, только кажущаяся; она есть только первая фаза развитія. Настанетъ время и непреложные законы роста и организаціи возьмутъ свое. Вотъ въ какомъ смыслѣ улыбается Писаревъ, вотъ въ какомъ смыслѣ онъ относится къ мнѣніямъ Кирѣвскаго о цѣльности съ снисходительнымъ изумленіемъ.

Исчисливъ всѣ добродѣтели древне-русскаго человѣка и снабдивъ его такими богатствами, какими не обладали еще ни одинъ народъ, Кирѣвскій увидѣлъ, что съ такой тяжелой ношей русскій человѣкъ могъ-бы раздавить весь міръ лишь одной своей тяжестью, и что у всякаго читателя долженъ непремѣнно родиться вопросъ: почему же русскій народъ не опередилъ Европу, почему же Россія, имѣя столько залоговъ, не стала во главѣ умственнаго движенія всего человѣчества? Какъ человѣкъ честный, Кирѣвскій не уклоняется отъ отвѣта. Но что это за отвѣтъ! Я предлагаю его преимущественно вниманію г. прокурора.

Предсѣдатель. Я повторяю вамъ, что вы ничего не можете предлагать прокурору. Прокуроръ самъ знаетъ, на что ему обратить вниманіе. Продолжайте.

Павленковъ. Я хотѣлъ указать на отвѣтъ Кирѣвскаго. Вотъ его отвѣтъ:

«Это произошло по высшей волѣ Провидѣнія. Провидѣнію видимо угодно было остановить дальнѣйшій ходъ умственнаго развитія Россіи, спасая ее, можетъ быть, отъ вреда той односторонности, которая неминуемо стала бы ея удѣломъ, еслибъ ея разсудочное образованіе началось прежде, чѣмъ Европа докончила кругъ своего умственнаго развитія».

Я уже не говорю про внутреннюю негѣлость этого отвѣта, по которому слѣдуетъ, что мы должны ждать для своей умственной зари полнаго заката европейскаго солнца, и что нашей цивилизаціи поставлена такого рода дилемма: если она началась, то европейское умственное развитіе кончилось и разлагается, если же Европа продолжаетъ развиваться, то мы должны коснѣть. Я не говорю объ всемъ этомъ. Но посмотрите, какаго подклада у всего этого отвѣта. Россія *предопредѣлено* подождать... Россія *предопредѣлена* лучшей будущностью, чѣмъ Европѣ... Позволю себѣ спросить, неужели понятіе о предопредѣленіи есть понятіе христіанское, а не фаталистическое и неужели Писаревъ, читая эти строки, не имѣлъ права назвать такіа *нехристіанскія* воззрѣнія Кирѣвскаго—вепогрѣшными убѣжденіями убогихъ старушекъ Бѣлокаменной, допотопными идеями и другими одинаково справедливыми эпитетами, такъ ужасающими г. прокурора? Неужели, наконецъ, нельзя назвать мистикомъ человѣка, признающагося въ томъ, что онъ ходитъ по соборамъ слушать евангелія, предварительно *задавши*? Пусть мнѣ докажутъ, что слушаніе евангелія въ видѣ игры въ лотерею не есть чистѣйшій мистицизмъ, а вполнѣ согласно съ православно-христіанскими вѣрованіями!

На этомъ я бы желалъ покончить съ «Русскимъ Донъ-Кихотомъ», еслибъ не былъ увѣренъ, что г. прокуроръ можетъ меня заподозрить въ желаніи обойти нѣкоторыя мѣста его обвиненія, выраженнаго частью въ рѣчи, частью въ актѣ. Такъ онъ могъ бы сказать, что я ничего не отвѣчалъ на его обвиненіе въ глумленіи Писарева надъ мыслями Кирѣвскаго о недостаточности чистаго разума, о необходимости искать новыхъ источниковъ познания или иначе надъ его убѣжденіями, что философія, исторія и политика нуждаются для своего оживленія въ релігіозныхъ основахъ. Замѣчу на это, что Писаревъ прежде всего несогласенъ съ первой посылкой Кирѣвскаго, т. е. съ его мнѣніемъ о недостаточности чистаго разума. Но кто затрогиваетъ первую посылку, тотъ не затрогиваетъ остальныхъ. Если мнѣ говорить, что соха не подъ силу лошади и что необходимо для лучшей распахки земли, для оживленія ея производительности, обратиться къ новой рабочей силѣ—къ волаку и если я отвѣчу на это: «не судите о моихъ лошадяхъ по своимъ», то я нисколько не глумлюсь надъ волами, а только выражаю увѣренность въ своей рабочей силѣ. Неужели точно также надѣяться на силу разума и призывать его достаточность для развитія философіи, политики и исторіи—значить осмѣивать православно-христіанскія вѣрованія? Но тогда невозможенъ никакій споръ безъ оскорбленія этой святыни. Наконецъ мнѣнія Кирѣвскаго, защищаемыя г. прокуроромъ, сами по себѣ страдаютъ неосновательностью. Въ самомъ дѣлѣ, какими качествами должно отличаться оживляющее начало? Прежде всего оно должно быть *ново*. Но религія стара какъ міръ, а христіанству около 2,000 лѣтъ. Съ другой стороны *исторія* ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть оживлена, хотя бы уже потому, почему не можетъ быть оживлено кладбище. Еслибъ вопросъ шелъ не объ исторіи, а объ исторической жизни, тогда бы было дѣло другаго рода. Но въ такомъ случаѣ я повторилъ бы то, что сказано было мною вообще объ оживленіи. Въ заключеніе Кирѣвскій указываетъ на религію, какъ на новый источникъ познания. Это болѣе чѣмъ странно. Мнѣ кажется, что вѣра и разумъ слишкомъ различныя области, чтобъ первая могла замѣнить второй. Какъ ни дорогъ и ни цѣненъ алмазный порошокъ, но изъ него нельзя свить грошовой пеньковой веревки. Изъ цѣлой горы золота невозможно получить одной микроскопической крупинки желѣза. Мы можемъ уважать религію, преклоняться передъ нею, но именно въ силу этого самаго уваженія мы не должны призывать ее на неприсущее ей дѣло: источникомъ познания она быть не можетъ, а новымъ тѣмъ болѣе. Это имѣетъ право говорить всякій, безъ риска прослыть еретикомъ, безъ опасенія быть обвиненнымъ членами суда.

Наконецъ, обращаюсь къ послѣдней обвинительной читатѣ г. прокурора, которая начинается словами: «Но корень образованности Россіи еще живетъ въ ея святой православной церкви» и т. д. Я не буду читать этого мѣста, оно уже было прочитано моимъ обвинителемъ. Г. прокуроръ негодуетъ на то, что Писаревъ не желаетъ ничего прибавлять къ этимъ словамъ и называетъ ихъ достаточно говорящими сами за себя. Но въ какомъ смыслѣ онъ такъ къ этому относится—г. прокуроръ не поясняетъ. Я долженъ замѣтить, что слова Писарева относятся, главнымъ образомъ, не къ первой фразѣ цитаты, а къ послѣдующимъ. Чтобъ понять это, стоитъ только дать себѣ отчетъ, чего требуетъ Кирѣвскій. Первое условіе дѣйствительности его рецепта—это признать односторонность и несостоятельность западно-европейской цивилизаціи, отказаться отъ нея, покончить съ ней. Но кто же на это согласится? Мнѣ кажется, само правительство первое подставило бы тормазъ осуществленію такихъ попытокъ, еслибъ онѣ перешли изъ области разстроенной фантазіи славянофиловъ въ дѣло. Совсѣмъ не тому удивляется Писаревъ, что Кирѣвскій опирается на православіе, а тому, что для него помимо православія не существуетъ религіи,—тому, что онъ говоритъ: «Теперь, кажется, настоящая пора для Россіи сказать свое

слово въ философіи, и показать имъ, *еретикамъ*, что истина наука — только въ истинѣ православія». Итакъ всѣ, кромѣ насъ,—еретики и нѣтъ никакой истины, кромѣ православно-русской. Это-ли христіанство, это-ли не чистѣйшій фанатизмъ? Но Кирѣевскій не останавливается и на этомъ. Онъ пишетъ: «Направленіе философіи зависить въ первомъ началѣ своемъ отъ того понятія, какое мы имѣемъ о пресвятой Троицѣ». Неужели послѣ такихъ словъ можно что нибудь прибавлять, неужели мнѣніе Писарева, что слова эти говорятъ сами за себя, несправедливо? Положимъ, что понятіе о троицѣ вещь весьма святая, но говорить, что отъ этого зависить развитіе всѣхъ философій земнаго шара—это значить быть не христіаниномъ, а релігиознымъ фанатикомъ, значить не поддерживать православіе, а оказывать ему медвѣжью услугу, значить обвинять православіе въ чудовищномъ деспотизмѣ,—въ томъ, что оно хочетъ поглотить философію, что она у насъ немислима, что мы можемъ имѣть лишь одну теологію. Слѣвать же теологію съ философіей и ставить послѣднюю не только въ зависимость, но даже въ продуктъ первой—значить договориться до того, послѣ чего, какъ выразился Писаревъ, нечего прибавлять. Гдѣ-же тутъ вина со стороны Писарева?

Итакъ, вотъ тѣ причины, вотъ тѣ основанія, которыя послужили Писареву матеріаломъ для произнесенія надъ воззрѣніями Кирѣевскаго своего приговора. Въ его лицѣ онъ сдѣлалъ приговоръ и надъ всѣми славянофилами. Смыслъ его статьи, мнѣ кажется, такъ: «Господа, перестраивать нашу жизнь въ ея коренныхъ началахъ, безъ помощи опыта западныхъ сосѣдей, еще не настало время. Славянофилы сдѣлали-было въ этому попытку, но неминуемо должны были зайти въ такую трущобу, изъ которой нѣтъ выхода. Дѣло въ томъ, что наши умственные и нравственные Инсаровы невозможны до тѣхъ поръ, пока вся Россія не покроется, какъ сѣтью, живыми Маркинонами *) и только на томъ черноземѣ, которой произойдетъ отъ ихъ разложенія могутъ вырасти эти гиганты. Не забывайте же этого». Вотъ смыслъ «Русскаго Донъ-Кихота». Что же тутъ нарушающаго благопристойность и благочиніе, о которомъ заявилъ г. прокуроръ? Неужели сказать: «господа! подождите, взгляните въ окружающее, изучите его, взвѣсьте свои силы и не тратьтесь на подниманіе голыми руками Александровской колонны, а почитесь сначала механикѣ» — неужели такая мысль сколько-нибудь анти-релігіозна, неужели въ такой мысли можетъ сколько-нибудь слышаться насмѣшливая нота?

Теперь я нахожу возможнымъ перейти къ слѣдующей статьѣ, а именно къ «Бѣдной русской мысли».

Обращаясь къ опроверженію мнѣнія, выраженнаго г. прокуроромъ о статьѣ Писарева «Бѣдная русская мысль», я не могу не замѣтить той странности, къ которой приводитъ совокупное обвиненіе этой статьи на ряду съ «Русскимъ Донъ-Кихотомъ». Въ самомъ дѣлѣ, сначала г. прокуроръ защищаетъ воззрѣнія Кирѣевскаго, направленныя противъ Петра и его реформъ, а потомъ, тотчасъ же вслѣдъ за этимъ, перекладываетъ защиту Петра и его реформъ. Для юриста это, можетъ быть, и понятно, меня же это поражаетъ, какъ всякое рѣзкое противорѣчіе. Но что дѣлать, въ виду необходимости, приходится подчиниться самому противорѣчію и даже представить себѣ, что его нѣтъ.

Основная идея «Бѣдной русской мысли» понята г. прокуроромъ совершенно вѣрно. Но на этомъ конечно и кончается все мое съ нимъ согласіе. Дѣйствительно, Писаревъ этой статьѣй хотѣлъ сказать, что личная воля одного человѣка, какъ бы великъ онъ ни былъ, какимъ бы гениемъ онъ ни обладалъ—ничто въ сравненіи съ тре-

*) Типъ безпокойнаго человѣка, выведенный въ романѣ Д. Гирса: «Старая и юная Россія».

бояніями жизни цѣлаго народа, и что одинъ мудрецъ не въ состояніи перемудрить десятки милліоновъ. Но кто не знаетъ, что мысль эта далеко не нова, что она извѣстна всѣмъ и каждому, что она повторяется на всѣ лады и въ жизни, и въ литературѣ? То, что высказано Писаревымъ, въ гораздо болѣе рѣзкой и неумолимой формѣ можно встрѣтить на каждой страницѣ Бокля, Дрепера и др. Но я оставлю въ сторонѣ другихъ, даже не трону Дрепера. Для меня достаточно одного Бокля. Я преимущественно останавливаюсь на немъ потому, что этотъ писатель прошелъ то называется — сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы нашей болѣе чѣмъ строгой предварительной цензуры, той цензуры, которая самимъ законодателемъ косвенно названа въ указѣ 6-го апрѣля *тяжеломъ* и обременительномъ для печати. Бокль подѣ этой цензурой выдержалъ 4-е изданія: два изданія Тиблена и два изданія Буйницкаго. Кажется, въ цензурномъ отношеніи авторитетъ достаточно убѣдительный. И что же! Тамъ мы встрѣтимъ буквально тоже самое, что такъ поразило г. прокурора въ «Бѣдной русской мысли». Бокль не только отрицаетъ прочное вліяніе единичнѣ на массы — онъ отрицаетъ *всакое* вліяніе правителей въ жизнь народа и вездѣ, безусловно, считаетъ его вредомъ. Для подтвержденія этого даже не нужно дѣлать никакихъ цитатъ, достаточно пробѣжать заглавія нѣкоторыхъ рубрикъ. Вотъ наприимѣръ рубрики 5-ой главы I-го тома: 1) вліяніе политиковъ въ торговлю нанесло ей вредъ 2) законодательство породило контрабанду 3) законодательство усилило лицемеріе и т. д. наконецъ 6-я рубрика: «въ Англіи было меньше вліянія правителей, чѣмъ въ другихъ странахъ и потому благосостояніе ея значительнѣе». Бокль отрицаетъ *всакую* инициативу великихъ людей. Онъ говоритъ, что ихъ инициатива только кажущаяся. Все полезное сдѣлано не ими, а такъ сказать около нихъ: «ни одно политическое событіе, говоритъ онъ, ни одна прочная реформа—законодательная или исполнительная—не были задуманы правителями страны. Первыми инициаторами такихъ реформъ постоянно были смѣлые и талантливые мыслители, которые отыскиваютъ злоупотребленіе, указываютъ на него и вмѣстѣ съ тѣмъ предлагаютъ средства къ его исправленію.. Реформаторы нашего времени плывутъ по теченію. Они способствуютъ торжеству того, чему не могутъ долѣе сопротивляться», потому что, какъ-бы поясняетъ Бокль черезъ нѣсколько страницъ: «чего одно поколѣніе проситъ какъ милости, слѣдующее потребуетъ, какъ права».

Я бы могъ привести бездну цитатъ изъ этого автора объ отношеніи *лично* мудренія различныхъ великихъ людей къ строю народной жизни и о полномъ безсиліи перваго надъ послѣднимъ. Но это бы значило только совершенно напрасно утомлять судей. Книга, о которой я говорю, слишкомъ намятна публикѣ. Впрочемъ, самъ г. прокуроръ говоритъ въ обвинительномъ актѣ, что идеи, высказанныя Писаревымъ, сами по себѣ нисколько не предосудительны, но что предосудительность ихъ происходитъ лишь оттого, что онѣ перетолкованы авторомъ и извращены имъ по-своему. Къ сожалѣнію, это утвержденіе остается фразою. Оно не подтверждено ни однимъ доказательствомъ. Мнѣнія Бокля наша цензура не считаетъ извращеніемъ чего-либо — она одобрила ихъ *четыре раза*. Но пусть сравнятъ ихъ съ мнѣніями Писарева, и покажутъ, чѣмъ послѣдніе искажаютъ первыя, чѣмъ онѣ отличаются отъ мнѣній автора «Исторіи цивилизаціи въ Англіи».

Въ обвинительномъ актѣ, заключающемъ подробности обвиненія, настолько извѣстныя палатѣ, что прокуроръ, не жала утомлять судей, счелъ лишнимъ «повторять» ихъ вторично въ своей рѣчи, приведено одно странное основаніе, а именно прокуроръ заявилъ, что преслѣдованіе не было бы начато, еслибы развитіе высказанной авторомъ мысли имѣло характеръ философскаго разсужденія. Не говоря уже о неосновательности такой претензіи, онъ не объяснилъ, какой смыслъ на его языкѣ имѣетъ понятіе *философскаго разсужденія*. Прежде всего нужно спросить, въ какой

степенно умѣстно требовать отъ каждой журнальной статьи, чтобъ она была философскимъ трактатомъ, т. е. захватывала всякій вопросъ во всей его глубинѣ и всесторонности. Понятно, что тогда журналъ не былъ бы журналомъ. Журналъ не книга. Онъ разбираетъ въ одно время весьма много вопросовъ. Если сегодня въ немъ помѣщена статья о какомъ-нибудь предметѣ, разсматриваемомъ съ данной стороны, то при разборѣ того же предмета въ послѣдующихъ книжкахъ объ этой сторонѣ необходимо говорить уже мимоходомъ, главное же вниманіе должно быть обращено на стороны, незатронутыя прежде. «Бѣдная русская мысль» какъ разъ представляетъ такой случай. Въ самомъ дѣлѣ, книга Бокля была разобрана въ предъидущихъ №№ «Русскаго Слова», положенія его цитировались чуть не въ каждой журнальной книжкѣ, затѣмъ дѣятельность Петра тоже была оцѣнена въ журналѣ. Такимъ образомъ задача Писарева состояла въ обсужденіи значенія Петра съ боклевской точки зрѣнія. Неужели же ему нужно было при этомъ опять перебирать все введеніе къ «Исторіи цивилизаціи въ Англіи»?

Наконецъ, какъ оцѣнить философичность книги? Гдѣ для этого мѣрка? Не во внѣшнемъ ли объемѣ? Но тогда многія брошюры, философичность которыхъ не подлежитъ сомнѣнію, оказались бы не философскими. Если же принять за основаніе философичности внутреннія качества сочиненія, то это едва ли не будетъ еще хуже, потому что тогда для прокуроровъ откроется такое обширное поле произвола, на которомъ невозможна никакая борьба: философія можетъ пониматься ими слишкомъ различно, настолько различно, сколько заключается степеней между строгимъ и научнымъ взглядомъ и фразой въ родѣ того; что «человѣкъ зафилософовался». Основанія при этомъ всегда будутъ слишкомъ шатки; по большей части невозможно указать границы, гдѣ рядъ авторскихъ разсужденій начинаетъ *приобрѣтать* характеръ философичности и гдѣ онъ начинаетъ *утрачивать* его. Тутъ понадобятся свѣдущіе люди. Наконецъ, на какомъ законѣ основанъ г. прокуроръ свое предположеніе о возможности создать новый критерій преступности идеи, вывода этотъ критерій изъ характера ея развитія, изъ того — философски она изложена или нѣтъ? Такого закона не существуетъ и не можетъ существовать. Что-нибудь одно изъ двухъ: или идея предсудительна и тогда она сохраняетъ свою предсудительность и въ простомъ, и въ мудреномъ изложеніи, или же она не предсудительна, и тогда, какъ бы она ни была изложена, ее послѣдовать нельзя. Доктрины Штрауса и Фейербаха всѣмъ извѣстны, не думаю также, чтобы можно было отвергать философичность хоть-бы *Vie de Jesus*, но я увѣренъ, что книга эта на могла-бы быть у насъ допущена даже и тогда, если бы философичность ея удесятирилась.

Говоря откровенно, все дѣло здѣсь совсѣмъ не въ недостаткѣ философичности. Совсѣмъ не въ этомъ вина Писарева. Единственный грѣхъ, который можетъ быть ему поставленъ на видъ въ этой статьѣ, это то, что онъ здѣсь, какъ и вездѣ, ясенъ и понятенъ до чрезвычайности. Но кто не знаетъ, что у насъ извѣстныя сферы всегда относились къ общедоступности съ недоуверіемъ и боязнью. Эта боязнь унаслѣдована нами еще отъ временъ предшествовавшаго царствованія. Такъ напримѣръ въ 34 году на сообщеніе Уварова о томъ, что къ нему поступаетъ много прошеній объ изданіи общедоступныхъ дешевыхъ книгъ и журналовъ и на вопросъ его, можно ли распространять подобную литературу, Главное Управленіе Цензуры отвѣтило, что это не только бесполезно, но даже вредно. Съ той же цѣлью въ 50 году князь Ширинскій-Шихматовъ требовалъ, чтобъ простонародныя книги печатались славянскимъ шрифтомъ. Я привожу это затѣмъ, чтобъ показать, что мое предположеніе не произвольное, что оно основано на фактахъ. Я могъ бы еще привести въ подтвержденіе одинъ циркуляръ бывшаго министра Валуева, — циркуляръ, послужившій основаніемъ къ преслѣдованію многихъ книгъ, но я удержусь отъ этого, полагаю, что боязнь по-

знатности не сообщится членам палаты: свѣтобоязнью страдаютъ только люди извѣстныхъ специальностей.

Г. прокуроръ говоритъ, что та мысль, по поводу которой мнѣ приходится возражать ему, служить Писареву только предлогомъ и прикрытіемъ для другихъ цѣлей, а именно для умащенія значенія государственныхъ правителей. Но прикрытіе всегда ведетъ къ противорѣчію. Противорѣчіе это можетъ быть искусно спрятано, замаскировано, но оно всегда существуетъ и его всегда можно открыть при желаніи и умѣнн. Тотъ, напримѣръ, кто, печатно возставая противъ свободы слова, проситъ на судѣ своего оправданія во имя его свободы, тотъ конечно только прикрывается знаменемъ свободы. Человѣкъ, отрицающій бракъ какъ будто по принципу и бросающій женщину въ то время, когда къ его извѣстнымъ *правамъ* прибавляются *обязанности* отца, также прикрывается принципами. Здѣсь опять противорѣчіе. И такъ всегда. Но гдѣ же противорѣчіе у Писарева? Не составляетъ-ли вся его статья прямой логическій выводъ изъ той мысли, которая признана прокуроромъ незаключающей въ себѣ ничего вреднаго, — мысли, съ которой можно, «смотря по вкусу, соглашаться или не соглашаться»?

Такъ какъ г. прокуроръ не доказалъ, чтобы Писаревъ прикрывался непредсудительною мыслью для предосудительныхъ цѣлей, то такое мнѣніе г. прокурора слѣдуетъ считать за его субъективное впечатлѣніе, которое могло только родиться отъ такъ-называемаго междустрочнаго чтенія. Но я долженъ замѣтить, что чтеніе между строкъ положительно запрещается цензурнымъ уставомъ: между строками можно прочесть все, что угодно.

Далѣе г. прокуроръ увѣряетъ, будто Писаревъ отзывался о власти всѣхъ вообще правителей, какъ о силѣ реакціонной, способной на одно только бессмысленное мудреніе надъ массою. Это совершенно не вѣрно. Авторъ совсѣмъ не намѣревался выставить всѣхъ правителей поголовно сознательными друзьями реакціи. Напротивъ, онъ говоритъ, что «рѣшительно ни одинъ человѣкъ, имѣвшій влияние на устройство нашего быта, не дѣлалъ намъ умышленнаго зла, всякій хотѣлъ сдѣлать получше, всякій мудрилъ надъ жизнью». Я думаю, что это нисколько не походитъ на то, что угодно было усмотрѣть г. прокурору въ мысляхъ Писарева. Какъ оказывается, прокурорское «мудреніе» и авторское имѣютъ совершенно различные смыслы. Г. прокуроръ желаетъ показать, что подъ *мудреніемъ* авторъ подразумѣваетъ отъявленный произволъ, деспотическую ломку, между тѣмъ какъ Писаревъ говоритъ о мудреніи съ добрыми намѣреніями и такимъ образомъ относится къ происходящему отсюда злу, какъ къ злу непроизвольному, т. е. такому, которое не подлежитъ вѣненію. Еслибы Писаревъ говорилъ, что правители могутъ приносить одинъ только вредъ, что вся ихъ дѣятельность сводится на гнѣть, тогда было бы другое дѣло. Но Писаревъ относится къ исторической роли правителей совершенно иначе. Онъ говоритъ, что если ихъ цѣли и намѣренія расходятся съ потребностями страны, если они дѣйствуютъ, не изучивъ этихъ потребностей, не справляясь съ ними, а руководствуются въ своихъ мѣропріятіяхъ только своею личною логикою, то всѣ ихъ проекты и созданія, какъ бы хорошо они ни были обдуманы, никогда не привьются къ народной жизни, никогда не составятъ съ ней одного органическаго цѣлаго, а будутъ приклеены къ ней механически; что при *такихъ* обстоятельствахъ они никогда не достигнутъ желаемыхъ ими результатовъ, что, напротивъ, результаты всегда получатся обратные ихъ ожиданіямъ. Писаревъ настойчиво утверждаетъ, что въ сущности правители, какъ *тольконыя единицы*, не могутъ принести народу ни вреда, ни пользы. То и другое будетъ слишкомъ скоропреходяще. Но понятно, что такъ можно смотрѣть только съ громаднаго отдаленія: возвышенія и углубленія только тогда могутъ сливаться съ поверхностью, когда наблюдающій ихъ зритель

слишкомъ высоко поднялся надъ этой поверхностью. Такая высота и обуславливаетъ собой философскій взглядъ. Между тѣмъ г. прокурору было угодно отвергнуть всякую тѣнь философскаго характера въ «Вѣдной русской мысли».

Повторяю, идеи, послужившія основаніемъ «Вѣдной русской мысли», встрѣчаются теперь чуть не въ каждой книгѣ. Возьмемъ наприхѣръ «Войну и Миръ» Толстаго. Тамъ, въ IV томѣ, просто на просто говорится, что «великіе люди составляютъ собою не болѣе какъ ярлыки, дающіе названіе событіямъ», «Царь есть рабъ исторіи» и т. п. Нужно понимать смыслъ подобныхъ взглядовъ на роль историческихъ дѣятелей. Неужели тотъ, кто признаетъ землю круглою, можетъ быть обвиненъ въ отрицаніи Гималаевъ, Альповъ, Пиринеевъ и другихъ горныхъ хребтовъ? Мнѣ кажется, что такое признаніе не ведетъ къ отрицанію не только Гималаевъ, но даже сами московскихъ холмовъ, оно только показываетъ, что величина всѣхъ этихъ воддырей слишкомъ ничтожна въ сравненіи съ массой земнаго шара, чтобъ можно было думать объ ихъ существованіи при опредѣленіи формы нашей планеты. Въ строгомъ смыслѣ центръ тяжести земли измѣняется отъ простаго подниманія и опусканія руки, съ перемѣною-же этого центра должно измѣняться положеніе оси, полюсовъ, экватора и т. д. Но кто-же можетъ говорить серьезно о такихъ измѣненіяхъ? Въ такомъ-же философскомъ смыслѣ говорится и о личной исторической дѣятельности всякой отдѣльной единицы.

По смыслу прочитанныхъ выписокъ, обвинительному акту и нѣкоторымъ мѣстамъ рѣчи, обвиненіе прокурора сводится къ тому, что, будто бы Писаревъ набрасываетъ *иносказательно* тѣнь на существующую у насъ форму правленія, что считается прокуроромъ «по меньшей мѣрѣ непристойнымъ». Но конецъ его по этому поводу обвиненія противорѣчить и не согласуется съ началомъ.

Такъ, въ подтвержденіе непризнаннаго отношенія Писарева къ существующей у насъ формѣ правленія, г. прокуроръ въ обвинительномъ актѣ указываетъ на примѣры, выставленные авторомъ въ лицѣ Карла I и Якова II англійскихъ, и Карла X и Людовика-Филиппа французскихъ. Къ сожалѣнію, всѣ эти четыре государя не были неограниченными монархами. Всѣ они были правители конституціонные. Но такъ какъ въ доказательство ядовитости стрихнина нельзя указывать на примѣры отравленія меркуріальными пилюлями, то ясно, что смыслъ этихъ примѣровъ совершенно другой. Я не-виноватъ, что г. прокуроръ невѣрно поналъ ихъ истинный смыслъ. Объяснять его считаю лишнимъ. Съ моей стороны достаточно того, что я показалъ ложность силлогизма.

Что же касается до *иносказанія*, то я позволю себѣ усомниться въ справедливости такого приѣма. Этимъ способомъ можно заподозрить все, что угодно. Допустить законность *иносказанія*, можно провести параллель между самыми разнородными вещами, можно, наприхѣръ, доказать, что «Ревизоръ» Гоголя не «Ревизоръ», а *иносказательное* изображеніе страшнаго суда. Чиновники—это совратившіеся съ истиннаго пути христіане, Хлестаковъ—антихристъ, жандармъ—труба втораго прішествія...

Предсѣдатель. Не отклоняйтесь въ сторону.

Павленковъ. Я хотѣлъ только нагляднѣе показать, къ чему можно придти путемъ *иносказанія*.

Писареву еще ставится въ вину то, что онъ не видитъ въ Россіи никакого историческаго движенія жизни, за исключеніемъ реформы 19-го февраля. Я не знаю, обвиненіе это или полемика. Мнѣ кажется, на этотъ счетъ не запрещается никому имѣть свое мнѣніе. Вотъ Тургеневъ—тотъ въ своемъ «Дымѣ» не признаетъ даже и 19-го февраля: у него все дымъ:—и земство, и гласный судъ, и крестьянская реформа. Между тѣмъ, его никто еще не звалъ за это въ судъ и вѣроятно не позовутъ.

Что касается до того, что будто бы Писаревъ отзывался о Петрѣ презрительно—

во всем же только как о простом смертном—то я жалю, что прокуроръ, какъ видно, не знаетъ о существованіи комитета, бывшаго въ 60 году и состоявшаго изъ министровъ юстиціи, просвѣщенія, внутреннихъ дѣлъ и шефа жандармовъ. Комитетъ этотъ позволялъ не допускать къ печати неосновательныхъ и неприличныхъ отзывовъ и извѣстій о жизни и правительственныхъ дѣйствіяхъ лицъ царствующаго дома по смерти Петра. Рѣшеніе этого комитета было высочайше утверждено. Какъ широко пользуется литература этимъ разрѣшеніемъ, можетъ служить образчикомъ слѣдующій отзывъ Погодина объ Иванѣ IV, напечатанный въ его газетѣ «Русскій»:

«Что есть въ немъ высокаго, благороднаго, проворливаго, государственнаго? Злодѣй, зѣбрь, говорунъ-начетчикъ съ подъяческимъ умомъ,—и только. Надо же вѣдь, чтобы такое существо, потерявшее даже образъ человѣческій, не только высокій лилъ царскій, нашло себѣ прославителей!.... Обозрѣвая несчастное царствование, надо только удивляться этому великому, необыкновенному, ангельскому терпѣнію русскаго народа (не исключая и бояръ), который двадцать-пять лѣтъ сносилъ мучителя, видѣлъ въ немъ наказаніе Божіе за грѣхи свои, и молился объ немъ столько же, сколько о себѣ, и долго, долго, чуть-ли не до послѣдняго времени служилъ панихиды по царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ. Вотъ, вотъ чѣмъ украшается, сіяетъ русская исторія, сравнительно съ западною!»

Ничего подобнаго нельзя встрѣтить у Писарева.

Никакого «презрительнаго тона» въ «Вѣдной русской мысли» нѣтъ. Напротивъ, Писаревъ во многихъ мѣстахъ своей статьи относится къ Петру съ большимъ уваженіемъ. Такъ, на одной изъ страницъ, онъ прямо говоритъ, что Петръ былъ бы вездѣ выдающейся личностью: былъ ли бы онъ ученымъ, писателемъ или простымъ рабочимъ—онъ всюду бы заявилъ себя, всюду бы стоялъ цѣлою головою выше окружающихъ его лицъ. Не думаю, чтобы это сколько-нибудь походило на презрѣніе. Писаревъ даже отчасти оправдываетъ его историческую дѣятельность. Онъ сознается, что въ 18-мъ столѣтіи сынъ Алексѣя и не могъ дѣйствовать иначе, чѣмъ Петръ.

Но г. прокуроръ не останавливается на презрѣніи, онъ идетъ гораздо дальше: онъ утверждаетъ, что Писаревъ, говоря о покушеніи на жизнь Петра *оправдываетъ* «гнусныя политическія убійства». На самомъ дѣлѣ Писаревъ въ своей статьѣ «Вѣдная русская мысль» высказываетъ лишь мнѣніе о томъ, что жизнь русскаго народа нисколько не измѣнилась бы въ своихъ существенныхъ отправленіяхъ, еслибъ Шакловитому удалось убить Петра. Можно ли изъ этого вывести одобреніе покушенія? Это такъ странно, такъ странно, что я считаю лишнимъ отвѣчать на подобное обвиненіе. Если бы въ какомъ нибудь переулкѣ совершилось убійство, а я бы сказалъ, что по случаю этого убійства никакъ не можетъ случиться свѣтопредставленія—неужели этими словами я одобрялъ-бы сдѣланное убійство? Что же касается до того, что въ этихъ словахъ слышится желаніе Писарева умалить значеніе Петра, то и это ничто иное, какъ недоразумѣніе г. прокурора. Относительная величина зависитъ не отъ размѣровъ измѣряемаго предмета, а отъ размѣровъ мѣрки. Еслибъ длину стола, за которымъ сидятъ судьи, смѣрить миллиметромъ, то она выразилась-бы безконечно большимъ числомъ, но если тотъ же самый столъ смѣрить нѣмецкой географической милой, то эта длина представилась-бы безконечно малой величиной. Понятно однако, что самый столъ отъ этого не сдѣлается короче ни на волосъ. Или представимъ себѣ, что въ то время какъ у меня въ сундукѣ лежало 25 аршинъ матеріи, длина аршина увеличилась въ 100 разъ противъ прежняго. Неужели же, если-бы я, узнавши, что у меня теперь вмѣсто 25 аршинъ всего только одна четверть, подалъ жалобу въ судъ о пропажѣ матеріи, то жалоба моя не была бы по меньшей мѣрѣ странною? Но не тоже-ли самое обвиненіе прокурора въ умаленіи значенія Петра? Тутъ дѣло не въ формѣ моихъ сравненій (форма — дѣло второстепенное), но согласиться, что

сущность одна и таже. Сущность въ томъ, что г. прокуроръ увеличеніе авторской мѣры принимаетъ за уменьшеніе разбираемыхъ предметовъ. Вина въ ли Писаревъ, что г. прокуроръ въ своихъ воззрѣніяхъ на міровыя событія стоитъ на ряду съ тѣми историками, которые приписываютъ измѣненія въ судьбахъ Европы послѣ Ватерлоосаго разгрома — низкимъ передковымъ колесамъ французской артиллеріи, а потерю французами Бородинскаго сраженія — камердинеру, не подавшему Наполеону непромокаемыхъ сапоговъ?

Кромѣ всего этого г. прокуроръ усматриваетъ въ статьѣ «Бѣдная русская мысль» еще нѣсколько винъ. Такъ, онъ жалуется суду, что, по мнѣнію Писарева, «въ успѣхахъ гражданской жизни совершаются или естественнымъ ея теченіемъ или же крупными переворотами». Я смѣю думать, что если даже назначить 100-тысячную премію, то и тогда никто не укажетъ ничего средняго между этими двумя путями, точно такъ же какъ никто не въ состояніи назвать двѣ такіа однородныя величины, которыя не были бы одно изъ двухъ — равны между собою или одна больше другой. Далѣе г. прокуроръ доводитъ до свѣдѣнія судей, что Писаревъ оиѣется надъ консервативными чувствами прежнихъ писателей. Я не понимаю этого обвиненія: еслибъ онъ смотрѣлъ на палату не какъ на судебную коллегію, а какъ на извѣстную политическую партію, напримѣръ, какъ на партію «Вѣстн», какъ на друзей Скаратина, то подобное донесеніе имѣло бы *практическую* серьезность, но я не думаю, чтобы онъ согласился такъ взглянуть на находящихся здѣсь судей. Поэтому я считаю лишнимъ отвѣчать на консервативное соболѣзнованіе прокурора.

Наконецъ еще одно послѣднее обвиненіе, обвиненіе въ присутствіи выраженій, «оправдывающихъ свободныя отношенія половъ». Какъ-то странно видѣть такое обвиненіе на ряду съ обвиненіемъ въ вносказательномъ отрицаніи пользы властей и оправданіи «гнусныхъ политическихъ убійствъ». Это, можетъ быть, — на случай, если не посчастливится въ болѣе серьезныхъ обвиненіяхъ. Я удивляюсь только, какъ можно было найти въ указанныхъ прокуроромъ строкахъ то, что онъ выдаетъ за существенный ихъ смыслъ. Вотъ это мѣсто:

«Кто изъ насъ не знаетъ, напримѣръ, что ревность — чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не отъ насъ зависитъ, и что женщина не виновата, если измѣняетъ вамъ и отдается другому? Кто изъ насъ не ратовалъ словомъ и перомъ за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать въ своей любви огорченіе, пусть его разлюбитъ женщина, въ которой онъ глубоко привязанъ! Что же выйдетъ? Неужели вы думаете, что онъ утѣшитъ себя своими теоретическими доводами и успокоится въ своей безукоризненно-гуманной философіи? Нѣтъ, помилуйте! Этотъ неподбидимый діалектикъ, этотъ вдохновенный философъ полѣзетъ на стѣны и надѣлаетъ такихъ глупостей, на которыя, можетъ быть, не рѣшился бы самый дюжинный смертный».

Ясно, что смыслъ прочитаннаго явно какъ разъ обратный тому, который усмотрѣлъ въ этихъ строкахъ г. прокуроръ. Писаревъ, напротивъ, какъ бы признаетъ мнѣнію о свободѣ отношенія половъ расходившимся съ практикой, онъ допускаетъ ихъ возможность лишь въ области теоріи и совершенную несостоятельность при первомъ прикосновеніи съ реальной жизнью. Если въ чемъ нибудь можно обвинять Писарева, читая приведенныя строки, такъ это развѣ въ совершенно обратномъ, — въ томъ что онъ недостаточно сильно вѣрить въ нераздѣльность идеи съ дѣломъ. Статья эта принадлежитъ къ тому времени, когда онъ еще начиналъ свою литературную карьеру. Въ другихъ мѣстахъ своихъ сочиненій болѣе позднѣйшаго періода онъ относится къ этому вопросу иначе; но здѣсь, какъ будто нарочно, онъ, противорѣча самому себѣ, отнимаетъ обвинительную пищу отъ прокурора.

Вотъ все, что я желаю привести въ защиту «Русскаго Донъ-Кихота» и «Бѣдной

Русской Мысли». Теперь я перейду къ постороннимъ соображеніямъ г. прокурора. Но прежде чѣмъ это сдѣлать, я позволю себѣ обратиться къ нему, черезъ председателя, съ однимъ вопросомъ...

Председатель. Вы не имѣете права дѣлать прокурору какіе-либо вопросы.

Павленковъ. Въ такомъ случаѣ, я отказываюсь отъ обращенія къ нему. Но мнѣ все-таки необходимо знать, какъ слѣдуетъ смотрѣть на разницу между рѣчи прокурора и обвинительнымъ актомъ. Въ актѣ, между прочимъ, указывается, какъ на обстоятельство, усиливающее вредность статей,—на приостановку «Русскаго Слова» въ 62 году будто бы за тѣ нумера, въ которыхъ онѣ были помѣщены и на запрещеніе этого журнала въ 66 году. Между тѣмъ, въ рѣчи объ этомъ не говорится ни слова. Считать-ли мнѣ, что прокуроръ не желаетъ поддерживать двухъ первыхъ доводовъ? Наконецъ въ актѣ я обвиняюсь по 1001 и 1035 статьямъ Уложенія, а въ рѣчи только по одной 1001 ст. Могу ли я ничего не говорить о 1035 ст.?

Председатель. Оба упомянутые вами довода есть только *миниме* цензурнаго комитета. Вы слышали, что васъ обвиняютъ только по 1001 ст.

Павленковъ. Развивая свои постороннія соображенія объ отношеніи указа 6-го апрѣля къ цензурному уставу и моей неминусовой отвѣтственности, г. прокуроръ скажетъ, что онъ отвѣчаетъ на мои доводы, будто бы приведенные мною во время предварительнаго слѣдствія. Но я не дѣлалъ на этотъ счетъ *никакихъ* заявленій (*председатель беретъ дѣло*) и не знаю, почему онъ приписываетъ ихъ мнѣ? Поэтому я не буду отвѣчать ему на подробности, тѣмъ болѣе, что ихъ трудно понять; но крайней-мѣрѣ я, признаюсь, ихъ не понялъ. Однако общій смыслъ этихъ соображеній, кажется, таковъ, что, на основаніи указа 6-го апрѣля, возможна отвѣтственность за то, за что прежде она была невозможна, потому что въ этомъ указѣ подробно и опредѣленно прежняго изложены преступленія и проступки печатнаго слова. Это, впрочемъ, уже извѣстный мнѣ доводъ цензурнаго комитета. Позволю себѣ сказать нѣсколько словъ объ указѣ 6-го апрѣля, и объ его неудобопримѣнности къ книгамъ, разъ уже разрѣшеннымъ предварительной цензурой.

Прежде всего мнѣ кажется, что указъ 6-го апрѣля изданъ для произведеній печати, минувшихъ предварительную цензуру: въ немъ опредѣлена отвѣтственность авторовъ, редакторовъ, издателей, типографщиковъ и книгопродавцевъ. Но отвѣтственность за книги, одобренныя цензурой, лежитъ на цензорахъ. Статьи «Русскій Донъ-Кихотъ» и «Бѣдная русская мысль» были *одобренны цензурой*, поэтому къ нимъ непримѣнимъ на судъ указъ 6-го апрѣля, особенно при существованіи 178 статьи Цензурнаго Устава. Кромѣ формальной невозможности такой отвѣтственности, я еще укажу на невозможность логическую. Когда авторъ представляетъ свою рукопись въ цензуру и беретъ ее обратно со множествомъ различныхъ помярокъ, тогда его статья въ строгомъ смыслѣ теряетъ свой первоначальный характеръ. Послѣ цензурныхъ сокращеній писатель говоритъ уже не то, что хотѣлъ сказать, или не совсѣмъ то. Но развѣ возможна отвѣтственность за то, чего не хочешь сказать и что вышло, такъ-сказать, само собой? Во вторыхъ, указъ 6-го апрѣля изданъ, какъ говорить самъ законодатель, «для облегченія отечественной печати». Отсюда прямо слѣдуетъ, что прежняя цензура была *тяжела* для печати. Теперь спрашивается, если рукопись разрѣшается и одобряется даже тяжелой, обременительной цензурой, то какъ же можно ее преслѣдовать посредствомъ указа, написаннаго для облегченія? Вѣдь подобное преслѣдованіе провозглашаетъ начало, совершенно обратное мысли законодателя; такое преслѣдованіе какъ-бы говоритъ: «прежде печать была слишкомъ распушена, нужно подобрать ей возжи». Что указъ 6-го апрѣля окончательно и на вѣчныя времена застраховываетъ отъ судебного преслѣдованія всѣ произведенія печати, вышедшія въ цензурный періодъ нашей литературы—это прямо слѣдуетъ изъ

7-й статьи 3-го отдела Высочайше-утвержденного 6 апреля 1866 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, гдѣ говорится, что срокъ для возбужденія судебного преслѣдованія по нарушеніямъ постановленій о печати полагается годовой со дня совершенія нарушенія. Указъ этотъ вошелъ въ силу 1-го сентября 1866 г. Значить, при самомъ его введеніи все напечатанное по 1-е сентября 1864 г. уже выходило изъ сферы преслѣдованія при всѣхъ послѣдующихъ перепечаткахъ. Скажутъ, что это правило сумествуется только для безцензурныхъ изданій. Но это будетъ несправедливо. Въ самомъ дѣлѣ, если безцензурныя изданія, изданія, ускользнувшія отъ цензурныхъ помарокъ, нельзя преслѣдовать послѣ годичнаго срока со дня ихъ выхода, то изданія, побывавшія въ комитетѣ,—изданія, со всѣхъ сторонъ имъ рассмотрѣнныя, обужденныя, доложенныя и т. д., тѣмъ болѣе не могутъ, безъ нарушенія здраваго смысла, подвергаться суду въ продолженіе болѣе длиннаго срока. Мнѣ кажется, что если необходимо установить неравные сроки для возбужденія преслѣдованія, то относительная продолжительность ихъ должна быть какъ разъ обратная, т. е. для безцензурныхъ книгъ болѣе значительная, чѣмъ для книгъ когда-либо цензурованныхъ, если только послѣднія можно преслѣдовать. Между тѣмъ настоящій процессъ какъ бы устанавливаетъ совершенно противоположное начало,—начало, въ силу котораго безцензурныя книги преслѣдуются годъ, а цензурованныя—вѣчно. Цензурный комитетъ самъ чувствовалъ эту нехвосткость и потому прибѣгнулъ въ этомъ случаѣ къ такому толкованію указа 6-го апреля, которое я считаю крайне-неосновательнымъ. Это толкованіе, по моему мнѣнію, возможно только для него; прокуроръ же, специальность котораго состоитъ въ вѣдѣніи законовъ, не долженъ былъ его поддерживать и опираться на него. Но изъ его объясненій видно, что онъ также стоитъ за возможность отиѣчать по указу 6-го апреля при невозможности отиѣта по цензурному уставу, слѣдовательно также соглашается, что указъ 6-го апреля опредѣлительнѣе (въ смыслѣ строгости) прежнихъ узаконеній. Я считаю необходимымъ сказать, что если ставится вопросъ объ опредѣленности, то для того, чтобы онъ вышелъ изъ области фразъ, необходимо показать съ одной стороны ту неопредѣленность въ старыхъ узаконеніяхъ, которая въ 62 году давала возможность легально появленію преслѣдуемыхъ теперь статей и съ другой—ту точность новыхъ, которая *теперь* прямо бьетъ по этимъ статьямъ и превращаетъ ихъ въ закононарушеніе. Короче, я предлагаю г. прокурору прибѣгнуть къ одному изъ первыхъ четырехъ правилъ. Пусть онъ вычтетъ изъ полныхъ узаконеній неполныя, и дополненіе первыхъ, полученное въ остаткѣ, покажетъ суду. Тогда мы увидимъ, имѣла ли въ виду эта опредѣленность что-нибудь похожее на статьи въ родѣ «Русскаго Донъ-Кихота» и «Вѣдной русской мысли.» Въ противномъ случаѣ доводъ объ опредѣленности и неопредѣленности останется голословнымъ. Къ сожалѣнію, исполнить мою просьбу невозможно по той простой причинѣ, что г. прокуроръ самымъ подведеніемъ преслѣдуемыхъ статей подѣ 1001 ст. Улож. о наказ. уже доказалъ противное, т. е. математическую точность прежнихъ узаконеній о печати, по-крайней-мѣрѣ относительно «Русскаго Донъ-Кихота» и «Вѣдной русской мысли». Въ самомъ дѣлѣ, статья, предусматривающая преступленіе, взводимое на меня г. прокуроромъ, существовала и въ уложеніи 1867 г. съ тою лишь разницей, что тамъ она стоитъ подѣ № 1356. Но гдѣ же тогда неопредѣленность постановленій, дѣйствовавшихъ до указа 6-го апреля, или можетъ быть, номеръ 1001 опредѣленнѣе 1035-го?.. Но тогда пусть г. прокуроръ объяснитъ мнѣ эту кабалистику.

Вотъ къ какимъ несообразностямъ можетъ привести преслѣдованіе цензурованныхъ книгъ. Но понятно, что если обвиненіе въ нарушеніи той или другой статьи закона приводитъ къ несообразности, то значить, что его не существуетъ. Поэтому я утверждаю, что если мною одѣлано какое-либо закононарушеніе, то это—закононарушеніе, предусмотрѣнное ст. 1712 улож. о наказ. (*Предсѣдатель беретъ за Уло-*

жение). Къ сожалѣнію, для обвиненія по этой статьѣ нужно быть въ одно и то же время прокуроромъ и законодателемъ, что, очевидно, невозможно.

Но если я намечтаніемъ преслѣдуемыхъ статей не сдѣлалъ *никакого* закононарушенія, то какъ объяснить себѣ заарестованіе 2-й части «Сочиненій Писарева» до выхода въ свѣтъ, которое по указу 6-го апрѣля производится только въ самыхъ крайнихъ и серьезныхъ случаяхъ? По всей вѣроятности, большая часть конфискацій произошла потому, что г. Щербининъ, бывшій начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати, издалъ въ 1866 году, раскубликованный въ газетахъ, циркуляръ, въ которомъ предписалъ цензурнымъ комитетамъ «относительно изданій, изъятыхъ отъ предварительной цензуры, безотлагательно приостанавливать и подвергать судебному преслѣдованію *всякія* нарушенія законовъ о печати». Цензурный комитетъ такъ и дѣйствовалъ, не смотря на то, что приостанавливать книги до выхода въ свѣтъ дозволяется указомъ 6-го апрѣля не за *всякія* нарушенія законовъ. Строго говоря, онъ не былъ виноватъ, если различные указанія и циркуляръ, данный ему для руководства, радикально расходились по этому предмету съ указомъ. Сочиненія Писарева дѣйствительно, можетъ быть, погрѣшаютъ противъ 1712 ст. улож. о наказ. и это, съ моей стороны, не фраза, такъ какъ я подъ этой статьѣй подразумеваю секретныя инструкціи цензорамъ. Но *секретныя* канцелярскія указанія никогда не должны являться на *ясный* судъ. При конфискованіи 2-й части «Сочиненій Д. И. Писарева» все дѣло состояло совсѣмъ не въ закононарушеніяхъ. Послѣ всѣхъ извѣстныхъ событій, цензурный комитетъ такъ засуетился, что сталъ въ суетахъ обращать свои преслѣдованія не столько на идеи, сколько на знамена этихъ идей, на извѣстныя имена. Но понятно, что съ именемъ Писарева соединено много воспоминаній. Поэтому возобновленіе его статей могло показаться комитету отступленіемъ отъ рескрипта. Что въ то время преслѣдовалось *имя* Писарева—это доказывается между прочимъ, запрещеніемъ публикацій о его сочиненіяхъ. Цензура просто хотѣла заставить меня прекратить начатое изданіе, какъ заставила г. Звонарева сжечь до суда изданныя этимъ книгопродавцемъ сочиненія М. Л. Михайлова. Къ сожалѣнію, со мной это ей не удалось: всѣ части «Сочиненій Д. И. Писарева», отпечатаны въ томъ видѣ, въ какомъ предполагалось, не смотря на то, что два тома, 2-й и 6-й, были конфискованы до выхода въ свѣтъ. Повторяю, на самомъ дѣлѣ во 2-й части «Сочиненій Писарева» нѣтъ ничего предосудительнаго. Еслибъ она вышла позже, то ее-бы не конфисковали; а еслибы преслѣдуемыя теперь статьи были подписаны не Писаревымъ, а кѣмъ-нибудь другимъ, то онѣ прошли бы даже и въ 1866 году. Я знаю, мнѣ могутъ возразить, что это не идетъ къ дѣлу, что все это—однѣ мои, ни на чемъ не основанныя, предположенія, которыхъ нельзя подтвердить доказательствами и которыми, слѣдовательно, будутъ оставлены судомъ безъ вниманія. Но въ томъ-то и дѣло, что за моими словами стоитъ неопровержимый фактъ. Будучи вполне увѣренъ, что въ статьяхъ «Бѣдная русская мысль» и «Русскій Донъ-Кихотъ» преслѣдуются не идеи, а выѣска надъ ними имени Писарева, я, по полученіи обвинительнаго акта, отправился въ Москву, по извѣстному палатѣ дѣлу, а главное съ цѣлью, переживши заглавіе преслѣдуемыхъ статей и имя автора, отпечатать ихъ такъ вторично не только безъ всякихъ измѣненій, но даже съ прибавленіемъ второй половины «Бѣдной русской мысли», которая не вошла въ мое конфискованное изданіе. Я зналъ, что у насъ относятся съ недоустріемъ къ общедоступности и потому положилъ себѣ выставить на оберткѣ крупную цѣну; я зналъ, что у насъ обращается вниманіе на число печатаемыхъ экземпляровъ и потому положилъ себѣ оговориться въ предувѣдомленіи, что книжка эта печатается въ незначительномъ количествѣ. Принявъ всѣ эти чисто-*опышніа* предосторожности, я могъ разсчитывать на полный успѣхъ. Ожиданія мои оправдались какъ нельзя лучше. Книжка прошла.

Я ее сюда принесъ. Вотъ четыре экземпляра. Такимъ образомъ, Палата можетъ видѣть, какъ послѣдовательно наше цензурное вѣдомство. Одну и ту же книгу, на основаніи одного и того же указа, оно считаетъ возможнымъ и справедливымъ безпрепятственно допускать къ обращенію и преслѣдовать съ предварительной конфискаціей, т. е. мирить двѣ такія крайнія противоположности, какъ политическая безвредность и выходящая изъ ряда преступность. Вы видите также, гг. судьи, въ какое странное положеніе вы поставили-бы свое рѣшеніе, еслибѣ обвинили меня согласно мнѣнію прокурора. Тѣ же самыя статьи, послѣ ихъ осужденія, послѣ приговора объ ихъ уничтоженіи, могли бы свободно обращаться въ публику черезъ посредство московскихъ книжныхъ магазиновъ. Ваши рѣшенія не всеобщы, палата не кассационный департаментъ Сената, ея приговоры не дѣйствительны для московскаго судебного округа, гдѣ статьи эти допущены своею мѣстною цензурой. Вотъ какая изъ всего этого процесса является цѣль несообразностей. Найти тотъ или другой изъ нея выходъ, конечно, зависитъ отъ суда. По моему же мнѣнію, выходъ этотъ можетъ быть только одинъ — это оправдать меня.

Прокуроръ противъ защитительной рѣчи Павленкова не возражалъ.

Когда были постановлены *вопросы*, Павленковъ на основаніи ст. 763 уст. угол. судопр., просилъ ввести новый вопросъ и поставить его прежде всѣхъ остальныхъ, а именно: вопросъ о томъ, можетъ ли, при существованіи указа 6-го апрѣля, считаться закононарушеніемъ воспроизведеніе книги, напечатанной съ оригинала, разрѣшеннаго предварительной цензурой? Въ случаѣ, если бы судъ не согласился на постановку этого вопроса, Павленковъ заявилъ желаніе, чтобы въ первомъ вопросѣ было оговорено о состоявшемся прежде цензурномъ разрѣшеніи на напечатаніе преслѣдуемыхъ статей. Члены палаты согласились съ послѣднимъ его заявленіемъ и вопросы въ своей окончательной формѣ были поставлены слѣдующіе:

1) Виновенъ ли Павленковъ въ напечатаніи двухъ статей, заключающихъ въ себѣ непристойныя сужденія и разрѣшенныхъ въ 1862 г. предварительною цензурою 2) если виновенъ, то какому подлежитъ за то наказанію и 3) должно ли уничтожить самыя статьи?

ПРИГОВОРЪ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ.

1866 года, іюня 5-го дня, по указу Его Императорскаго Величества, с.-петербургская судебная палата, по уголовному департаменту, въ публичномъ судебномъ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ старшаго предсѣдателя, сенатора Я. Я. Чемадурова, въ составѣ членовъ: А. Н. Маркевича и Н. Н. Медвѣдова, при секретарѣ Д. С. Орестовѣ, въ присутствіи прокурора судебной палаты П. О. Тишенгаузена, слушала дѣло объ отставномъ поручикѣ Флорентіѣ Федоровѣ Павленковѣ, обвиняемомъ въ нарушеніи постановленій о печати. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1866 года, въ с.-петербургскій цензурный комитетъ представлена была отпечатанная безъ предварительной цензуры, вторая часть сочиненій Д. И. Писарева, изданія Флорентія Павленкова. По разсмотрѣніи этой книги, цензурный комитетъ нашелъ, что въ первыхъ двухъ статьяхъ оной: «Русскій Донъ-Кихоть» и «Бѣдная русская мысль» заключаются мысли вредныя по ихъ направленію и цѣли, а потому, сдѣлавъ распоряженіе объ арестованіи отпечатанныхъ въ числѣ 3000 экземпляровъ означенной книги, отнесся къ прокурору с.-петербургскаго окружнаго суда о преданіи издателя книги Павленкова суду, обвиняя его въ напечатаніи такихъ двухъ статей, изъ коихъ первая — «Русскій Донъ-Кихоть», заключаетъ въ себѣ осмѣяніе нравственно религіоз-

ных вѣрованій и отрицаніе необходимости религіозныхъ основъ въ просвѣщеніи и нравственности, составляетъ закононарушеніе, предусмотрѣнное въ 1001 ст. Улож.; и вторая «Бѣдная русская мысль», въ коей есть выраженіе, оправдывающее свободныя отношенія двухъ половъ, заключаая въ себѣ, сверхъ того яносказательное порицаніе существующей у насъ формы правленія, дѣлая враждебное сопоставленіе монархической власти съ народомъ и стараясь представить первую началомъ безполезнымъ и даже вреднымъ въ народной жизни, составляетъ закононарушеніе, предусмотрѣнное въ статьѣ 1035 Улож. Вслѣдствіе сего, прокуроръ судебной палаты, составивъ о Павленковѣ обвинительный актъ, въ коемъ прописалъ изложенные выше выводы цензурнаго комитета, предложилъ оный на разсмотрѣніе палаты. Въ публичномъ засѣданіи судебной палаты по сему дѣлу, прокуроръ палаты, въ обвинительной своей рѣчи, не указывая болѣе нарушенія Павленковымъ правилъ, предусмотрѣнныхъ 1035 ст. уложенія, объяснилъ, что, по мнѣнію его, поименованныя статьи въ книгѣ, изданной Павленковымъ, заключаютъ въ себѣ: первая—оскорбительное для чувства вѣрующаго осмѣяніе православно-христіанскаго образа мыслей и православно-славянскаго направленія одного изъ отечественныхъ писателей, а вторая — сужденія, путемъ коихъ умаляется значеніе гнуснаго политическаго преступленія, и презрительный тонъ, какимъ говорится о дѣяніяхъ Великаго Петра; что обѣ эти статьи слишкомъ несерьезны для того, чтобы исать въ нихъ матеріала для обвиненія въ преступленіи; что преступленіе, предполагающее всегда существованіе злаго умысла, не можетъ крыться въ сочиненіяхъ столь легкаго содержанія; что въ подобныхъ сочиненіяхъ видны не преступныя умыслы, но странная торопливость высказать поскорѣе въ печати все, что думаетъ авторъ о разныхъ предметахъ, торопливость, подъ вліяніемъ которой авторъ разсматриваемыхъ сочиненій забылъ то приличіе, какое требуется отъ публичнаго слова; что такимъ образомъ, напечатаніе этихъ сочиненій, содержащихъ въ себѣ неприличныя сужденія, оскорбляющія религіозное чувство вѣрующаго и нравственное чувство гражданина, составляетъ явное нарушеніе общественной благопристойности, воспрещенное 1001 ст. Улож., подѣ дѣйствіе коей подводится и указанное цензурнымъ комитетомъ мѣсто въ статьѣ «Бѣдная русская мысль», въ которомъ авторъ оправдываетъ свободныя отношенія двухъ половъ. При этомъ, какъ и въ обвинительномъ актѣ, прокуроръ указалъ тѣ мѣста и выраженія статей Писарева, на коихъ основаны вышеизложенныя обвиненія.—Оставшая безъ разсмотрѣнія первоначально изведенныя на Павленкова обвиненія, какъ неподдерживаемыя въ судебномъ засѣданіи обвинительною властью, и приступая къ обсужденію сего дѣла по отношенію къ указанной въ обвиненіи 1001 ст. Улож., судебная палата усматриваетъ, что означенная статья подвергается взысканію того, кто тайно отъ цензуры будетъ печатать или инымъ образомъ издавать въ какомъ бы то ни было видѣ, или же распространять подлежащія цензурѣ сочиненія, явно противныя благопристойности. — Такимъ образомъ, для признанія какого-либо издателя книги виновнымъ въ нарушеніи постановленій, указанныхъ въ 1001 ст. Улож., нужно во-первыхъ, чтобы издаваемая имъ книга содержала въ себѣ что-либо явно противное благопристойности, и, во-вторыхъ, чтобы книга эта была тайно отъ цензуры отпечатана и распространяема. Изъ этого видно, что 1001 ст. можетъ относиться къ такого рода сочиненіямъ, которыя, подлежа предварительной цензурѣ, не будутъ въ оную представлены, а, напротивъ, тайно отъ нея напечатаны и распространены. Обращаясь затѣмъ къ разсмотрѣнію дѣйствій Павленкова, при изданіи имъ разсматриваемой нынѣ книги, оказывается, что книга эта, по объему своему могла быть и была напечатана безъ предварительной цензуры, что затѣмъ, по отпечатаніи, она представлена была въ узаконенномъ порядкѣ въ цензурный комитетъ, и тайно отъ цензуры распространяема Павленковымъ не была. Признавая посему, что въ

дѣйствіяхъ Павликова не было одного изъ существенныхъ признаковъ проступка, предусмотрѣннаго 1001 ст. улож., а именно тайнаго отъ цензуры распространѣнія сочиненія, что по сему за одно не тайное отъ цензуры напечатаніе безъ распространѣнія книги, если бы въ ней и заключалось что-либо явно противное благопристойности, Павликовъ не могъ бы подвергнуться личному, указанному въ 1001 ст. взысканію, и, переходя къ разсмотрѣнію самаго содержанія тѣхъ двухъ статей книги, которыя послужили поводомъ къ преслѣдованію издателя оной передъ судомъ, такъ-какъ при существованіи въ нихъ чего-либо воспрещеннаго 1001 ст. уст., онѣ, на основаніи этой статьи закона, должны быть уничтожены, палата находить: 1) что статья «Русскій Донъ-Кихотъ» составляетъ критическій обзоръ сочиненій И. В. Кирѣвскаго и разсужденія о личности этого писателя.—Не соглашавсь съ возрѣніями Кирѣвскаго и съ его направленіемъ, Писаревъ называетъ Кирѣвскаго «мрачнымъ и вреднымъ обскурантомъ», называетъ «допотопными» выработавшіяся съ дѣтства у Кирѣвскаго идеи, его направленіе «православно-славянскимъ», а убѣжденія—«московскими», которыя «раздѣляли съ нимъ всѣ старушки бѣлокаменной», которыя «были втолкованы ему съ дѣтства маменькой, да нянюшкой». Эти выраженія, вызванныя у Писарева чтеніемъ сочиненій Кирѣвскаго, не составляютъ, по мнѣнію палаты, ничего противозаконнаго. Они касаются единственно Кирѣвскаго и его личнаго направленія; нельзя придавать выраженіямъ этимъ смысла болѣе обширнаго, чѣмъ придавалъ имъ самъ авторъ, и потому затронуть, а тѣмъ менѣе оскорбить, чувства всякаго православно-вѣрующаго они не могутъ; наконецъ, и по формѣ своей эти выраженія не переходятъ границъ благопристойности. Въ статьѣ «Вѣдная русская мысль» Писаревъ, выражая свой взглядъ на значеніе личной воли правителей и политическихъ дѣятелей въ историческомъ развитіи народовъ, находитъ, между прочимъ, что дѣятельность Петра Великаго не была вовсе такъ плодотворна историческими послѣдствіями, какъ это кажется его восторженнымъ поклонникамъ и ожесточеннымъ врагамъ, что она представляетъ собою только «остроумныя затѣи Петра Алексѣевича» и что еслибъ «Шакловитому удалось убить молодаго Петра», то «жизнь русскаго народа вовсе не измѣнилась бы въ своихъ отправленіяхъ». Это послѣднее выраженіе, употребленное Писаревымъ въ подкрѣпленіе мнѣнія своего, какъ о дѣятельности Петра I и о вліяніи его на историческое развитіе Россіи, такъ и о вліяніи вообще единоличныхъ политическихъ дѣятелей, не заключаетъ ничего воспрещеннаго закономъ. Дѣлать же изъ этого выводъ, что Писаревъ старается этимъ умалить гнусность политическаго преступленія Шакловитаго, палата не считаетъ себя въ правѣ, ибо выводъ такой не оправдывается общимъ смысломъ статьи Писарева, въ которой онъ о дѣйствіи Шакловитаго вовсе и не разсуждаетъ. Эта статья, имѣющая предметомъ разсужденія о дѣятеляхъ, имена которыхъ принадлежатъ исторіи и о дѣятельности коихъ не воспрещено писать, не заключаетъ въ себѣ, ни по содержанію, ни по способу выраженій, ничего такого, что могло бы оскорбить чувство гражданина и быть признаваемо неблагопристойнымъ. Вообще, при чтеніи этихъ двухъ статей Писарева, составляющихъ ни что иное, какъ коротенькія журнальныя статейки, нельзя не согласиться съ мнѣніемъ прокурора, что онѣ лишены всякаго серьезнаго значенія и искать въ нихъ какого-либо преступнаго умысла не слѣдуетъ. Что касается, наконецъ, обвиненія въ оправданіи Писаревымъ въ послѣдней изъ разсматриваемыхъ статей его теоріи свободныхъ отношеній двухъ половъ, то объ этомъ предметѣ сказано имъ на страницѣ 32 вскользь [только нѣсколько словъ, въ концѣ онъ самъ отчасти опровергаетъ основательность этой, какъ онъ называетъ, «безуниверсальной гуманной философіи». Вслѣдствіе всего изложеннаго, судебная палата приходитъ къ заключенію: 1) что въ статьяхъ Писарева: «Русскій Донъ-Кихотъ» и «Вѣдная русская мысль», нѣтъ ничего противозаконнаго и, какъ по содержанію своему, такъ

и по способу изложения, онъ не заключаютъ въ себѣ ничего противнаго благопристойности и воспрещеннаго 1001 ст. улож. Этотъ выводъ палаты подкрѣпляется и тѣмъ: а) что 1001 ст. улож. изд. 1866 г. существовала и въ уложеніи 1857 г. (ст. 13⁴⁶), что, при существованіи этой статьи закона, сочиненія явно неблагопристойныя, не могли бы быть допущены къ распространенію въ публикѣ печатно, а между тѣмъ обѣ означенныя статьи Писарева были пропущены въ началѣ 1862 г. цензурою, напечатаны въ журналѣ «Русское Слово» и находятся донинѣ въ обращеніи въ публикѣ, и б) что хотя въ томъ же 1862 г. и было прекращено на нѣкоторое время изданіе журнала «Русское Слово», но изъ произведеннаго по настоящему дѣлу предварительнаго слѣдствія не видно, чтобы основаніемъ къ такой мѣрѣ послужили именно означенныя двѣ статьи Писарева; 2) что при печатаніи Павлинковымъ 2-й части сочиненій Писарева не было нарушено правило, предусмотрѣнное 1001 ст. улож. Посему, и принимая во вниманіе, что высочайшее повелѣніе о прекращеніи вовсе изданія журнала «Русское Слово», состоявшееся въ 1866 г., не относится къ статьямъ, напечатаннымъ въ этомъ журналѣ еще въ 1862 г., судебная палата *опредѣляетъ*: отставнаго поручика Флорентія Федорова Павлинкова, 28 лѣтъ, на основаніи 1 п. 771 ст. уст. угол. суд., признать «оправданнымъ», а арестъ, наложенный с.-петербургскимъ цензурнымъ комитетомъ на напечатанную Павлинковымъ 2-ю часть сочиненій Д. И. Писарева, снять.

На помѣщенный здѣсь оправдательный приговоръ судебной палаты (согласный съ мнѣніемъ московскаго цензурнаго комитета 1868 г., с.-петербургскаго комитета 1862 г.), прокуроръ ея, г. Тизенгаузенъ, подалъ въ уголовный кассационный департаментъ сената апелляціонный протестъ, въ которомъ объясняетъ, что въ статьѣ «Бѣдная русская мысль» содержится вообще неприличное по изложенію своему и неуважительное сужденіе о личности и дѣятельности покойнаго императора Петра I, о дѣяніяхъ котораго выражень отзывъ, что они представляютъ собою только «остроумныя затѣи Петра Алексѣевича», и излагается мнѣніе, что жизнь русскаго народа «вовсе не измѣнилась бы въ своихъ отравленіяхъ, еслибъ Пшавловитому удалось убить молодого Петра», каковымъ сужденіемъ умалывается значеніе преступнаго покушенія на убійство одного изъ монарховъ Россіи. Упомянутыя сужденія, если и не обнаружили со стороны издателя злаго умысла, который поступку его сообщалъ бы значеніе преступленія,—представляются, во всякомъ случаѣ, непристойными въ печати, какъ оскорбляющія нравственное чувство вѣрноподданнаго гражданина страны, управляемой на твердыхъ началахъ монархической власти. Посему напечатаніе означенной статьи, содержащей въ себѣ такіа сужденія, должно быть признано нарушеніемъ общественной благопристойности, и подлежать дѣйствию закона, изображеннаго въ 1001 ст. улож. о наказ., воспрещающей, подъ угрозой опредѣленнаго взысканія, изданіе всякихъ вообще сочиненій, противныхъ благопристойности. Столь же непристойнымъ и подлежащимъ дѣйствию того же закона представляется и то, указанное цензурнымъ комитетомъ мѣсто въ этой статьѣ, въ которомъ оправдываются свободныя отношенія двухъ половъ. Разрѣшеніе этой статьи предварительною цензурою къ напечатанію въ 1862 г. въ журналѣ «Русское Слово», на что ссылается подсудимый, не представляетъ оправданія для него, такъ какъ разрѣшеніе, данное въ 1862 г., когда дѣйствовали правила предварительной цензуры, не

можетъ быть примѣнимо къ изданію, вышедшему въ 1866 г., когда дѣйствовалъ уже новый законъ 6-го апрѣля 1865 г., установившій цензуру карательную; разрѣшеніе, данное при существованіи прежняго закона единоличною властью цензора, не можетъ сохранять обязательную силу для цензурнаго комитета—учрежденія коллегіальнаго, и притомъ тогда, когда прежній законъ уже отиѣненъ; разрѣшеніе цензора, данное графу Кушелеву-Безбородко, издававшему журналъ «Русское Слово» въ 1862 году, не относилось и не относится до Флорентія Павленкова, издававшаго упомянутую статью въ 1866 году; подсудимый Павленковъ, обвиняемый нынѣ по поводу напечатанія той статьи, въ нарушеніи законовъ общественнаго благочинія, не можетъ быть оправдываемъ на томъ только основаніи, что то же самое закононарушеніе попущено было другому лицу, въ другое время; примѣненіе къ одному и тому же дѣлу двухъ различныхъ законодательствъ, изъ которыхъ одно нынѣ уже не дѣйствуетъ, невозможно, какъ потому, что отиѣненный законъ вообще не примѣнимъ къ событіямъ, послѣдовавшимъ позднѣе его отиѣны, такъ и потому, что въ дѣлахъ печати допущеніе такого смѣшаннаго примѣненія двухъ различныхъ законодательствъ привело бы къ невозможному выводу, а именно: надлежало бы признать тогда, что дѣйствующіе на основаніи закона 6-го апрѣля цензурные комитеты, ссылаясь на обязательную для нихъ силу всѣхъ рѣшеній прежней предварительной цензуры, и потому разрѣшая къ выпуску въ свѣтъ все, что было когда-либо тому цензурою дозволено, должны съ другой стороны и преслѣдовать безусловно всѣ изданія, печатаемыя нынѣ, въ которыхъ заключалось бы что-либо изъ запрещеннаго въ прежнее время предварительною цензурой.

За сими прокуроръ объясняетъ, что приводимыя въ рѣшеніи палаты основанія опровергаются еще слѣдующими соображеніями. Ни изъ разума, говоритъ прокуроръ, ни изъ буквального смысла 1001 ст. улож. не слѣдуетъ, чтобы законъ этотъ могъ быть примѣняемъ, какъ заключаетъ палата, лишь къ тѣмъ сочиненіямъ, которыя, подлежа предварительной цензурѣ, будутъ тайно отъ нея напечатаны и распространены. Законъ этотъ, по точному его смыслу, воспрещаетъ подъ страхомъ наказанія, какъ тайно отъ цензуры печатать, такъ и *инымъ образомъ издавать, въ какомъ бы то ни было видѣ*, подлежащія цензурному разсмотрѣнію, сочиненіе противное благопристойности. По сему не представляется основанія ограничивать примѣненіе этого закона исключительно тѣми сочиненіями, которыя подлежатъ предварительной цензурѣ: во первыхъ, такое ограниченіе не выражено въ самой статьѣ закона, ибо въ ней упоминается не исключительно о предварительной цензурѣ, но вообще о цензурномъ разсмотрѣніи, которое имѣетъ мѣсто и при дѣйствіи цензуры карательной; во вторыхъ, 1001 ст. улож. о наказ., соответствующая статьѣ 1356 по изданію 1857 года оставлена безъ измѣненія и послѣ изданія закона 6-го апрѣля 1865 года, изъ коего въ улож. изд. 1866 г. включены всѣ статьи, опредѣляющія за нарушеніе постановленія о печати наказанія, на основаніи правилъ цензуры карательной, слѣдовательно, существуя въ улож. совместно съ сими послѣдними правилами, приводимая 1001 ст. не можетъ не относиться и къ тѣмъ нарушеніямъ постановленій о печати, кои преслѣдуются путемъ цензуры карательной. Наконецъ, въ третьихъ, по самому значенію своему и по той цѣли, которую законъ этотъ имѣетъ, онъ не можетъ быть понимаемъ въ томъ тѣсномъ смыслѣ, какой данъ ему приговоромъ палаты, ибо невозможно допустить, чтобы законъ, возбраняя *тайное* печатаніе неблагопристойныхъ сочиненій, оставлялъ безнаказаннымъ *открытое* печатаніе и распространеніе ихъ. Кромѣ того подобное предположеніе было бы не согласно съ 12—14 ст. Высоч. утвер. 6-го апрѣля 1865 г. мнѣнія госуд. совѣта, ибо, отвергая наказуемость въ тѣхъ случаяхъ, когда преслѣдуемое судебнымъ порядкомъ неблагопристойное сочиненіе распространено не тайно отъ цензуры, над-

лежало бы допустить, что судебное преслѣдованіе со стороны цензурныхъ комитетовъ должно *всегда* быть соединяемо съ наложеніемъ предварительнаго ареста на такого рода сочиненія, тогда какъ на основаніи приведенныхъ 12—14 ст. закона 6-го апрѣля возбужденіе судебного преслѣдованія *не всегда* сопровождается этою мѣрою, принимаемою лишь въ чрезвычайныхъ случаяхъ.

Приводимое въ приговорѣ палаты указаніе на то, что не тайно отъ цензуры напечатаніе упоминаемой статьи Писарева не было соединено въ настоящемъ случаѣ съ распространеніемъ книги, не можетъ вести къ тому заключенію, что подсудимый долженъ, какъ полагаетъ палата, быть освобожденъ отъ личной отвѣтственности вслѣдствіе этого обстоятельства. Такое заключеніе палаты представляется неправильнымъ прежде всего потому, что, принявъ оное, надлежало бы допустить, что авторъ или издатель подобнаго рода сочиненій, напечатавшій оное въ объемѣ не менѣе 10-ти листовъ и подвергнутый судебному преслѣдованію на основаніи установленныхъ закономъ 6-го апрѣля правилъ карательной цензуры, никогда не можетъ быть приговоренъ къ личному наказанію, какъ бы противузаконно ни было содержаніе книги, ибо возбужденіе судебного преслѣдованія въ дѣлахъ этого рода всегда сопровождается одно изъ двухъ: или дозволеніе отъ цензурнаго комитета выпустить преслѣдуемое сочиненіе въ свѣтъ, когда не признается необходимымъ предварительное заарестованіе оного; слѣдовательно, распространить оное съ вѣдома цензуры, или же наложеніе до судебного приговора ареста на изданіе; въ первомъ случаѣ обвиняемый, согласно съ изложенными въ приговорѣ палаты соображеніями, не могъ бы подлежать наказанію, вслѣдствіе того, что сочиненіе распространено не тайно отъ цензуры, а въ послѣднемъ онъ освобождался бы отъ наказанія на томъ основаніи, что распространеніе сочиненія вовсе не послѣдовало. Очевидно, что законъ не можетъ быть подвергаемъ такому толкованію, которое лишало бы оный смысла. Независимо отъ сего признаніе подсудимаго неподсуднымъ възысканію на томъ основаніи, что напечатанное сочиненіе не было допущено къ распространенію, противорѣчитъ рѣшенію палаты 20-го декабря 1866 года по дѣлу Суворина, судившагося за напечатаніе сочиненія «Вскіе». Это сочиненіе также не было допущено къ распространенію, но подсудимый тѣмъ не менѣе приговоренъ былъ къ наказанію; предварительное же заарестованіе этой книги принято было палатою лишь за основаніе къ тому, чтобы въ дѣйствіяхъ подсудимаго признать не воплію совершившагося противузаконнаго дѣянія, а только покушеніе на оное. Наконецъ, приводимый доводъ не можетъ служить основаніемъ къ оправданію подсудимаго Памленкова еще потому, что въ настоящемъ случаѣ распространеніе сочиненій, за напечатаніе коихъ онъ былъ преданъ суду, имѣло мѣсто, такъ какъ Памленковъ, какъ онъ самъ заявилъ на судѣ (что внесено въ протоколъ судебного засѣданія), объ преслѣдуемыхъ статьяхъ Писарева «Русскій Донъ-Кихотъ» и «Бѣдную русскую мысль» выпустилъ въ свѣтъ въ Москвѣ отдѣльною брошюрой, измѣнивъ названіе статей и утаивъ отъ московскаго цензурнаго комитета, что статьи эти уже заарестованы и подвергнуты судебному преслѣдованію сиб. цензурнымъ комитетомъ.

Что касается до заключенія палаты о самомъ содержаніи упомянутой статьи Писарева, которая, какъ выражено въ приговорѣ палаты, не заключаетъ въ себѣ ничего противузаконнаго и противнаго благопристойности, то такое заключеніе не можетъ быть признано правильнымъ въ виду тѣхъ доводовъ обвиненія, которые указывали, что непристойная сторона разсматриваемой статьи состоитъ не въ общихъ сужденіяхъ автора о значеніи государственной дѣятельности Петра I, но въ тѣхъ нѣкоторыхъ, приведенныхъ въ обвиненіи мѣстахъ, въ которыхъ выражены неприличныя для оглашенія въ печати отзывы о лицѣ и дѣятельности одного изъ вождей Россіи. Неприличіе это, явствующее изъ самыхъ словъ и смысла выра-

женій, въ концѣ тѣ отзывы изложены, не можетъ быть извиняемо тѣмъ, что такіе сужденія вызваны разсужденіями о вліяніи Петра I на историческое развитіе Россіи, и что означенная статья Писарева была пропущена предварительной цензурой въ 1862 г. Выраженіе мысли, что убіеніе монарха не имѣетъ вліянія на отправленія жизни русскаго народа, если въ настоящемъ случаѣ не имѣетъ характера преступленія, по ничтожности разсматриваемой статьи, то во всякомъ случаѣ должно быть признано дѣломъ непристойнымъ, независимо отъ того, соединяется ли обнаруженіе этой непристойности съ сужденіями о какомъ-либо отдѣльномъ лицѣ, или нѣтъ. Равнымъ образомъ и непристойность того сужденія, въ которомъ оправдываются свободныя отношенія двухъ половъ, не можетъ быть извиняема тѣмъ, что объ этомъ сказано авторомъ только нѣсколько словъ; а заключеніе палаты, что самъ авторъ отчасти опровергаетъ основательность этого сужденія, представляется несогласнымъ съ настоящимъ смысломъ приводимаго мѣста изъ статьи «Бѣдная русская мысль», въ которомъ авторъ, прямо высказывая, что женщина не виновата, если измѣнить и отдается другому, и называя эту мысль безукоризненно-гуманною философіей, осуждаетъ слабость тѣхъ людей, которые не имѣютъ достаточной нравственной силы, чтобы такую философію примѣнить къ дѣлу. Что же касается до ссылки на цензурное разрѣшеніе 1862 г., то выраженные противъ сего обвинительною властью доводы оставлены вовсе безъ возраженія, какъ со стороны обвиняемаго, такъ и со стороны судебной палаты. По этимъ основаніямъ прокуроръ находитъ приговоръ палаты несогласнымъ съ существомъ дѣла, съ точнымъ смысломъ 1001-ст. улож. о наказ., и съ закономъ 6-го апрѣля, и полагаетъ, что Павленковъ долженъ быть признанъ подлежащимъ одному изъ взысканій, опредѣленныхъ приведенною статью уложенія, а именно денежному взысканію 300 руб. и кромѣ того должна быть уничтожена статья на основаніи 1045 ст. улож. о наказ.

Г. Оберъ-прокуроръ Ковалевскій, не соглашаясь вполнѣ съ только что изложенными здѣсь взглядами г. Тизенгаузена, нашелъ возможнымъ поддерживать преслѣдованіе 2-й части «Сочиненій Д. И. Писарева» только по отношенію къ одной: «Бѣдной русской мысли» или вѣрнѣе къ первой (т. е. меньшей) ея половинѣ, помѣщенной издателемъ въ упомянутой книжкѣ. Что же касается до статьи «Русскій Допъ-Клхоть», то онъ, не видя въ ней никакого матеріала для обвиненія, вошелъ въ министерство юстиціи съ представленіемъ о прекращеніи преслѣдованія по этой статьѣ, на что и послѣдовало разрѣшеніе г. министра юстиціи, графа Палена.

Въ такомъ сокращенномъ видѣ дѣло поступило на разсмотрѣніе сената, въ публичномъ засѣданіи 14 мая 1869 года. Подсудимый Павленковъ, содержавшійся въ крѣпости, сталъ на этотъ разъ подъ юридическую защиту предсѣдателя С.-Петербургскаго совѣта присяжныхъ повѣренныхъ К. К. Арсеньева.

Судоговореніе началось докладомъ сенатора Н. И. Стояновскаго, который прочелъ передъ судомъ: 1) обвинительный актъ, предававшій Павленкова суду С.-Петербургской судебной палаты; 2) оправдательное рѣшеніе судебной палаты; 3) апелляціонный протестъ на это рѣшеніе, поданный прокуроромъ Тизенгаузеномъ, и наконецъ 4) всѣ тѣ мѣста «Бѣдной русской мысли», оглашеніе которыхъ въ печати обвинительная власть считаетъ вреднымъ. Излагать здѣсь этотъ докладъ было бы лишнимъ, такъ какъ съ первыми тремя документами читатель уже познакомился изъ предыдущихъ страницъ; послѣднее-же вошло дѣликомъ въ приговоръ сената, который помѣщенъ ниже.

По выслушаніи доклада, предсѣдательствующій сенаторъ В. А. Арцимовичъ далъ слово состезающимъ сторонамъ.

Оберъ-прокуроръ М. Е. Ковалевскій. Состоявшійся въ судебной палатѣ приговоръ объ издателѣ сочиненій Писарева г. Павленковѣ подлежитъ разсмотрѣ-

нію Сената въ предѣлахъ апелляціоннаго отзѣва, принесеннаго прокуроромъ палаты; а именно правительствующему Сенату подлежитъ разрѣшить: дѣйствительно ли въ статьѣ «Бѣдная русская мысль», подвергнутой преслѣдованію, не заключается ничего неблагопристойнаго, ничего такого, что нарушало бы законъ, изображенный въ 1,001 ст. ул. о нак.? Но предварительно разсмотрѣнія содержанія этой статьи, я остановлюсь на тѣхъ вопросахъ, разрѣшеніе которыхъ въ смыслѣ противномъ заключенію, данному прокуроромъ судебной палаты, послужило отчасти поводомъ къ освобожденію палатой г. Павленкова отъ всякой отвѣтственности. Первый изъ этихъ вопросовъ касается до прихѣненія 1,001 ст. ул. къ тѣмъ сочиненіямъ, которыя могутъ быть напечатаны безъ разрѣшенія предварительной цензуры. По мнѣнію палаты, статья эта можетъ относиться лишь къ такимъ сочиненіямъ, которыя, подлежа предварительной цензурѣ, будутъ тайно отъ нея напечатаны или издаваемы. Буквальный смыслъ 1,001 ст. не подаетъ никакого повода къ недоразумѣнію. Статья эта положительно говоритъ только о сочиненіяхъ, подлежащихъ предварительной цензурѣ, тайно отъ нея печатаемыхъ и распространяемыхъ, и нельзя не признать, что, дѣйствительно, въ Уложеніи нѣтъ прямой спеціальной статьи, которая бы предусматривала изданіе и распространеніе безнравственныхъ и сочиненій нарушающихъ общественную благопристойность, которыя могутъ быть издаваемы безъ предварительной цензуры на основаніи правилъ закона 6-го апрѣля 1865 г. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы сочиненія, противныя правиламъ благопристойности, могли быть безпрепятственно распространяемы и издателя ихъ не могли бы подлежать никакому взысканію потому только, что сочиненіе, по числу печатныхъ листовъ, не подлежало предварительному разсмотрѣнію цензуры. Если правило, заключающееся въ 151 ст. Улож. объ аналогическомъ прихѣненіи закона, когда-либо можетъ имѣть мѣсто, то, конечно, въ настоящемъ случаѣ. А такъ какъ въ Улож. нѣтъ другой статьи, которая предусматривала бы преступленіе, по роду своему наиболее подходящее къ настоящему случаю, то, по мнѣнію моему, не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что 1,001 ст. должна быть прихѣнена и къ тѣмъ сочиненіямъ, нарушающимъ благопристойность, которыя могутъ быть издаваемы безъ предварительной цензуры.

Второй вопросъ, вытекающій изъ приговора палаты, заключается въ томъ: дѣйствительно ли одно напечатаніе подобнаго рода сочиненія, безъ распространенія его, хотя бы сочиненіемъ этимъ дѣйствительно нарушились правила благопристойности, не можетъ имѣть послѣдствіемъ подверженіе г. Павленкова взысканію по 1,001 ст.? Въ 1001 ст. говорится какъ о лицахъ, которыя будутъ распространять тайно сочиненія, такъ и о тѣхъ, которыя будутъ печатать или инымъ образомъ издавать ихъ, хотя они, слѣдовательно, и не будутъ принимать никакого участія въ распространении этого рода сочиненій. Еслибы возможно было прихѣнить эту статью по аналогіи, не только относительно наказанія, но буквально въ полномъ ея объемѣ, то, конечно, разрѣшеніе настоящаго вопроса не представляло бы затрудненія; но я сказалъ уже, что въ статьѣ этой говорится только о тайномъ печатаніи, тайномъ распространеніи, а эти дѣянія составляютъ самостоятельныя преступленія независимо отъ содержанія сочиненія. Примѣняя же эту статью лишь по аналогіи къ такому сочиненію, которое могло быть напечатано безъ предварительной цензуры, конечно, встрѣчается вопросъ: можетъ ли одно печатаніе тайнаго сочиненія безъ распространенія его подлежать уголовной отвѣтственности? Разрѣшеніе этого вопроса зависитъ, во первыхъ, отъ того представляется ли одно печатаніе, безъ распространенія сочиненія, совершившимся преступленіемъ, покушеніемъ на оное или только приготовленіемъ къ преступленію, и, во-вторыхъ, если печатаніе есть только приготовленіе, то наказуется ли такое приготовленіе по нашимъ законамъ? На осно-

ваніи ст. 10 ул. о наказ. преступленіе считается совершившимся, когда на самомъ дѣлѣ послѣдовало преднамѣренное зло. Преднамѣренное зло всякаго литературнаго произведенія, всякаго печатнаго слова можетъ заключаться въ распространеніи въ обществѣ ложныхъ ученій, въ нарушеніи законовъ благопристойности, нравственности, чести или въ возбужденіи къ какому-либо противозаконному дѣянію; слѣдовательно, преднамѣренное зло можетъ быть достигнуто только посредствомъ распространенія сочиненія; покуда же распространенія не началось, до-тѣхъ-поръ одно напечатаніе противозаконнаго сочиненія—не можетъ считаться совершившимся преступленіемъ; въ этомъ, мнѣ кажется, сомнѣваться невозможно. Болѣе серьезный вопросъ заключается въ томъ, составляетъ ли напечатаніе покушеніе или приготовленіе?

Законодательство наше раздѣляетъ періодъ приведенія злаго умысла въ исполненіе до окончательнаго совершенія преступления на двѣ части, на приготовленіе и покушеніе. Приготовленіемъ, на основаніи 8 стат. улож. о наказ., называется присканіе или пріобрѣтеніе средствъ для совершенія преступления, а покушеніемъ называется всякое дѣяніе, коимъ начинается или продолжается приведеніе злаго намѣренія въ исполненіе. Изъ сопоставленія этихъ двухъ опредѣленій очевидно, что покушеніемъ на преступленіе можетъ быть признаваемо лишь такое дѣяніе, которое слѣдуетъ послѣ окончательнаго уже присканія средствъ, по исполненіи всѣхъ необходимыхъ условій для совершенія преступления и притомъ дѣяніе это должно быть неразрывно связано съ тѣмъ дѣйствіемъ, исполненіемъ коего заканчивается совершеніе преступления. Дѣяніе, коимъ приводится преступленіе печати въ исполненіе, заключается въ распространеніи сочиненія, слѣдовательно покушеніе на это преступленіе можетъ заключаться лишь въ дѣйствіяхъ, относящихся до распространенія, какъ-то отсылка сочиненія на почту и т. п. Напечатаніе же сочиненія, литографированіе и переписка его безъ попытки на распространеніе не составляетъ покушеніе, а только присканіе средствъ для распространенія, ибо ненапечатаннаго сочиненія распространять нельзя. Эта граница, отдѣляющая въ дѣлахъ печати покушеніе отъ приготовленія, указана и въ особенной части Уложенія, а именно въ ст. 245, 247, 251, 252 и 275 Улож., предусматривающихъ самыя тяжкія преступленія, которыя могутъ быть совершаемы посредствомъ печати. Въ этихъ статьяхъ ясно указано, что совершившимся преступленіемъ называется распространеніе переписаннаго или печатнаго сочиненія, или воззванія, составленіе же письменныхъ или печатныхъ сочиненій и воззваній безъ распространенія называется безразлично въ этихъ статьяхъ приготовленіемъ, умысломъ; а въ 251 ст. — началомъ покушенія. Это послѣднее выраженіе, встрѣчающееся только въ 251 ст., ясно показываетъ, что оно употреблено здѣсь для означенія такого приготовленія, которое весьма близко къ покушенію, но которое не составляетъ собственно того покушенія, о коемъ говорится въ 9 ст. Улож., вслѣдствіе чего оно и наказывается не по правиламъ о казаніяхъ за покушеніе, а какъ самостоятельное преступленіе. Изъ смысла этихъ статей очевидно, что законодательство наше не дѣлаетъ различія между напечатанными, переписанными или литографированными сочиненіями и признаетъ составленіе какъ тѣхъ, такъ и другихъ, т. е. переписку, напечатаніе или литографированіе ихъ за приготовленіе, а не за покушеніе на преступленіе; ибо не подлежитъ сомнѣнію, что законодательство подъ словомъ «составленіе» разумѣло не одно изложеніе сочиненія въ рукописи, но и печатаніе и литографированіе его. Въ этомъ именно смыслѣ поясняемый мною выше статьи постоянно толковались и примѣнялись въ прежнемъ порядкѣ судопроизводства высшими судебными учрежденіями какъ Правительствующимъ Сенатомъ, такъ и Государственнымъ Совѣтомъ. Точно также, по мнѣнію моему, нельзя считать покушеніемъ на распространеніе обязательное представленіе экземпляровъ отпечатаннаго сочиненія въ цензурный

комитетъ, ибо подобнымъ представленіемъ исполняется лишь предписаніе закона, послѣ котораго можетъ только начаться покушеніе и совершеніе преступленія, т. е. представится возможность приступить къ распространенію сочиненія. Но признаніемъ напечатанія сочиненія и представленія его въ цензурный комитетъ приготовленіемъ еще не разрѣшается вопросъ о томъ, наказуемо ли подобное приготовленіе по нашимъ законамъ?

Ст. 1,001, подъ которую прокуроръ палаты подводилъ поступокъ г. Павленкова, предусматриваетъ такое нарушеніе печати, которое, по свойству и роду своему, а также по свойству налагаемаго за него наказанія, должно быть причислено къ такимъ нарушеніямъ правилъ печати, которыя предусмотрены въ VIII отдѣлѣ главы 5 Улож. о наказ. Слѣдовательно, разрѣшеніе вопроса о томъ, наказуемо ли напечатаніе сочиненія, подходящаго подъ 1,001 ст., зависитъ отъ разрѣшенія того, наказуемо ли вообще одно напечатаніе безъ распространенія сочиненій, предусмотрѣнныхъ въ VIII разр. глав. 5. Въ этомъ отношеніи требованія закона, мнѣ кажется, весьма ясны и опредѣлительны. Ст. 1,034 наказываетъ за перепечатываніе произведенія, запрещеннаго судомъ; ст. 1,035 наказываетъ напечатаннаго оскорбительныя и направленныя къ колебанію общественнаго довѣрія отзывы о дѣйствующихъ въ имперіи законахъ, постановленіяхъ и распоряженіяхъ правительственныхъ и судебныхъ установленій; ст. 1,036—учинившаго въ печати воззваніе, возбуждающее вражду одной части населенія государства противъ другой, или одного сословія противъ другаго; ст. 1037 наказываетъ за прямое оспариваніе или порицаніе началъ собственности и семейнаго союза. Буквальный смыслъ этихъ выраженій въ особенности «за перепечатаніе и напечатаній» даетъ уже полнѣйшій поводъ предполагать, что законодательство наказуетъ напечатаніе сочиненія, независимо отъ того, было ли оно распространено или нѣтъ. Что такое буквальное пониманіе закона есть именно то, которое имѣло въ виду законодательство — доказывается тѣмъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда законодательство не хотѣло подводить какихъ-либо сочиненій подъ это общее правило, то объ этомъ оно спеціально указывало въ законѣ. Такъ по ст. 1,038 напечатаніе безъ разрѣшенія подлежащаго начальства постановленій дворянскихъ, земскихъ и городскихъ собраній, наказывается только въ томъ случаѣ, когда напечатаніе соединено съ распространеніемъ. Это же самое подтверждается и правилами, установленными для преслѣдованія обвиняемыхъ по дѣламъ печати. На основаніи ст. 14 гл. 3 прил. 5 ст. улож. ценз. по продолж. 1868 года предоставляется цензурнымъ комитетамъ право, когда распространеніе какого-либо сочиненія не представляется особенно вреднымъ, налагать на такое сочиненіе арестъ и возбуждать въ то же время судебное преслѣдованіе противъ виновнаго. Еслибъ одно напечатаніе, безъ распространенія, было наказуемо, то не зачѣмъ было бы поручать цензурному вѣдомству преслѣдованіе обвиняемыхъ. Понимать же это правило въ томъ смыслѣ, что судебное преслѣдованіе въ этихъ случаяхъ можетъ имѣть цѣлью только остановку распространія книги и наложеніе судебного запрещенія на изданіе, невозможно, потому что наложеніе ареста на литературное произведеніе, безъ личнаго взысканія съ издателя, въ нашихъ законахъ допущено лишь относительно періодическихъ изданій и то только въ порядкѣ административномъ; судъ же не иначе можетъ воспретить распространеніе книги, какъ при доказанной виновности подсудимаго и при назначеніи ему наказанія, это ясно и положительно выражено въ ст. 1,045 ул. о нак. Вотъ почему я рѣшительно несогласенъ съ мнѣніемъ палаты о томъ, что одно напечатаніе книги безъ распространенія его, хотя бы сочиненіе и было противозаконно, не можетъ имѣть послѣдствіемъ личную отвѣтственность издателя.

Затѣмъ я перейду къ третьему вопросу, касающемуся того значенія, которое могло имѣть на наказуемость дѣянія г. Павленкова разрѣшеніе, данное предварительною цензурой на напечатаніе въ 1862 году этой статьи. Прокуроръ палаты доказывалъ въ судебномъ засѣданіи, что г. Павленковъ, воспользовавшись правомъ дарованнымъ литературѣ закономъ 6-го апрѣля 1865 года; печатать сочиненія подъ личною своею отвѣтственностью, не имѣетъ законнаго основанія оправдываться въ нарушеніи закона дозволеніемъ напечатать эту статью даннымъ не ему, а другому лицу предварительною цензурой, несуществующею нынѣ для сочиненій подобнаго рода. Изъ этому совершенно справедливому выводу я прибавлю только то, что въ нашемъ законѣ не существовало правила, по которому дозволеніе, данное предварительною цензурой, покрывало бы незаконность содержанія сочиненія. Дозволеніе цензора только въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ могло имѣть вліяніе на ненаказуемость писателей и издателей, но и въ этихъ исключительныхъ случаяхъ разрѣшеніе цензора могло имѣть значеніе лишь относительно того изданія, на выпускъ коего оно послѣдовало; съ новымъ же изданіемъ того же сочиненія, авторъ, не смотря на прежде данное разрѣшеніе, долженъ былъ представлять сочиненіе вновь въ цензурный комитетъ, какъ-будто бы перваго разрѣшенія вовсе не существовало. Такимъ образомъ, еслибъ г. Павленковъ издавалъ сочиненія Писарева при дѣйствіи предварительной цензуры, онъ долженъ былъ бы представлять книгу вновь въ цензуру. Въ настоящее же время, пользуясь правомъ, предоставленнымъ закономъ 6-го апрѣля, онъ издавалъ ее подъ личною отвѣтственностью и не можетъ, слѣдовательно, прикрываться прежнимъ цензурнымъ дозволеніемъ, потерявшимъ всякое юридическое значеніе.

Наконецъ, я перейду къ самому существу дѣла, на которомъ, впрочемъ, долго останавливаться не буду. Въ докладѣ дѣла подробно изложено было содержаніе статьи «Бѣдная русская мысль», и я не буду утруждать вниманіе присутствія повтореніемъ одного и того же. Всякое литературное произведеніе можетъ нарушить законы общественного благоустройства и благочинія не только противозаконностью предмета сочиненія, но и формою изложенія, т. е. употребленіемъ выраженій неблагопристойныхъ, сравненій, нарушающихъ правила нравственности и общественнаго приличія, и прокуроръ судебной палаты обвинялъ г. Павленкова именно въ томъ, что выраженія, употребленныя въ изданной имъ статьѣ «Бѣдная русская мысль», нарушаютъ нравственные чувства каждаго гражданина. Критическій обзоръ минувшихъ царствованій, сдѣлавшихся уже достояніемъ исторіи, конечно, не представляетъ собою ничего противозаконнаго. Судъ исторіи, какъ бы онъ ни былъ строгъ, никогда не можетъ имѣть послѣдствіемъ колебаніе основныхъ началъ управленія или уваженія къ сану Императора. Но величіе этого сана и то чувство народнаго къ нему уваженія и благоговѣнія, — чувство, основаніе котораго лежитъ въ нравственномъ и релігіозномъ убѣжденіи народа, безусловно требуютъ, чтобы авторъ, излагая свои убѣжденія, не позволялъ себѣ выраженій и сравненій, которыя оскорбляли бы это чувство. Приличіе и благопристойность выраженій никогда не стѣсняютъ, не имѣютъ ничего общаго съ свободой историческаго заключенія. Намъ нѣтъ дѣла до личныхъ мнѣній автора о дѣяніи Петра Великаго, о вліяніи его царствованія на дальнѣйшее развитіе нашего отечества, но обвинительная власть не могла оставить безъ вниманія и не возбудить преслѣдованія противъ издателя этой статьи, въ виду тѣхъ нарушающихъ чувство благопристойности выраженій, въ которыя авторъ облачалъ свои мысли. Я не буду утруждать вниманіе Сената разборомъ всѣхъ такихъ выраженій, встрѣчающихся на каждомъ листѣ этой небольшой статьи, а ограничусь указаніемъ лишь нѣкоторыхъ обращеній: такъ,

авторъ, желая выразить несогласіе свое съ свойствомъ преобразовательной дѣятельности Петра Великаго, говоритъ, что нѣтъ «отращеніи» къ преобразователямъ, насильно благоденствующимъ человѣчеству, — даѣе сравниваетъ Петра Великаго съ Панышинымъ, героемъ одной изъ повѣстей г. Тургенева и, наконецъ, заключаетъ тѣмъ, что еслибъ *Шакловитому удалось убить молодого Петра*, то судьба русскаго народа нимаю бы отъ этого не измѣнилась. Я согласенъ съ мнѣніемъ судебной палаты, что въ этомъ послѣднемъ выраженіи нельзя видѣть предвѣренной дѣли умалить гнусность поступка Шакловитаго, но тѣмъ не менѣе нельзя не признать выраженія эти въ высшей степени неприличными, въ высшей степени нарушающими правила общественной благопристойности. Вслѣдствіе сего я покорнѣйше прошу Правительствующій Сенатъ воспретить распространеніе статьи «Вѣдная русская мысль», а издателя ея, на основаніи 1,001 ст. Улож., подвергнуть денежному штрафу въ томъ количествѣ, въ которомъ Правительствующій Сенатъ признаетъ необходимымъ.

Присланный повѣренный Арсенъевъ (защитникъ Павленкова). Возражая г. оберъ-прокурору, я измѣню дѣсколько тотъ порядокъ, котораго онъ держался, потому-что вопросъ о томъ, составляетъ ли одно напечатаніе сочиненія, безъ его распространенія, приготовленіе или покушеніе на преступленіе? — вопросъ самый важный въ настоящемъ дѣлѣ, — можетъ возникнуть только тогда, если подсудимый будетъ признанъ виновнымъ въ вводимомъ на него проступкѣ. Прежде чѣмъ перейти къ вопросу о приготовленіи, поставленному г. оберъ-прокуроромъ на первый планъ, я рассмотрю поэтому примѣнимость къ настоящему дѣлу 1,001 ст. Улож. о наказ.

Я совершенно согласенъ съ г. оберъ-прокуроромъ только въ одномъ отношеніи. Я нахожу, что хотя по буквальному своему смыслу ст. 1,001 примѣняется только къ сочиненіямъ, напечатаннымъ тайно, безъ вѣдома цензуры и, слѣдовательно, не относится къ сочиненіямъ, печатаемымъ по закону безъ предварительной цензуры, но по внутреннему ея смыслу она должна быть распространена и на эти послѣдніе случаи. Невозможно предположить, чтобъ законодатель, наказывая за безнравственные сочиненія, напечатанныя тайно, безъ вѣдома цензуры, просмотру которой они подлежали, хотѣлъ оставить безнаказанными точно такія же сочиненія, если они принадлежатъ къ числу тѣхъ, которыя, на основаніи закона, могутъ быть напечатаны безъ предварительной цензуры. Поэтому я вполнѣ допускаю, что съ точки зрѣнія, только-что мною высказанной, ст. 1,001 можетъ имѣть примѣненіе къ настоящему дѣлу, и что соображенія палаты, вносящіяся къ разрѣшенію вопроса въ противоположномъ смыслѣ, должны быть отвергнуты Правительствующимъ Сенатомъ. Но затѣмъ я встрѣчаю другія болѣе важныя препятствія къ примѣненію ст. 1,001, въ случаяхъ подобныхъ настоящему. Ст. 1,001 помѣщена въ 4-й главѣ VIII раздѣла Уложенія, озаглавленной слѣдующимъ образомъ: «О преступленіяхъ противъ общественной нравственности и нарушенія ограждающихъ оную постановленій». Эта 4-я глава раздѣляется на два отдѣленія: въ первомъ говорится «о соблазнительномъ и развратномъ поведеніи, о противонатуральныхъ порокахъ и о сводничествѣ», а во-второй «о противныхъ нравственности и благопристойности сочиненіяхъ, изображеніяхъ, представленіяхъ и рѣчахъ». Уже изъ одного изъсга, занимаемаго статьею 1,001, нельзя не видѣть, что эта статья, подобно всѣмъ другимъ постановленіямъ 4-й главы VIII раздѣла, направлена только противъ проступковъ безнравственныхъ, только противъ такихъ сочиненій, которыя развращаютъ добрые нравы, возбуждаютъ чувственность и должны быть призваны неприличными и неблагопристойными въ спеціальноймъ смыслѣ этихъ словъ. Къ тому же заключенію ведутъ послѣдующія статьи того отдѣленія, въ которомъ помѣщена статья 1,001. Такъ вслѣдъ за 1,001

ст. была помѣщена въ Улож. по изд. 1857 г. ст. 1,357, въ которой говорилось о продажѣ фабричныхъ издѣлій съ явно соблазнительными на нихъ изображеніями. Подъ именемъ соблазнительныхъ изображеній, конечно, никто не будетъ понимать изображеній неприличныхъ съ точки зрѣнія чисто-условной, изображеній нарушающихъ тѣ утонченныя понятія о приличіи, которыя существуютъ только въ высшихъ классахъ общества; подъ именемъ соблазнительныхъ изображеній можно разумѣть только изображенія прямо направленные къ тому, чтобъ раздражать чувственность и развращать добрые нравы. Ст. 1,359, перешедшая въ уст.: о нак., вѣл. имп. суд., опредѣляла наказанія за слова, тѣлодвиженія или другія дѣйствія публично совершенныя, которыми явно оскорбляются добрые нравы и благопристойность. И здѣсь, очевидно, слово, «благопристойность» употреблено въ тѣсномъ его смыслѣ. Въ такомъ же смыслѣ употреблено оно въ ст. 1,001 (по изданію 1857 года 1,356), къ разбору которой я теперь перехожу. Эта статья назначаетъ наказаніе за напечатаніе сочиненій, имѣющихъ цѣлью развращеніе нравовъ или явно противныхъ нравственности и благопристойности, или клонящихся къ сему изображеній... Буквальный смыслъ этой статьи приводитъ къ убѣжденію, что она подобно всѣмъ другимъ, которыя помѣщены въ томъ же отдѣлѣ, направлена только противъ сочиненій неблагопристойныхъ и безнравственныхъ въ извѣстномъ смыслѣ, т. е. циническихъ, возбуждающихъ чувственность, развращающихъ нравы. Я полагаю, что этому толкованію 1,001 ст. соответствуетъ и тотъ общежитейскій смыслъ, въ которомъ употребляются слова: нравственность, благопристойность. Никто, конечно, не скажетъ, что правила нравственности и благопристойности могутъ быть нарушены легкомысленнымъ отношеніемъ къ тому или другому серьезному предмету. Если подобное отношеніе, по мнѣнію законодателя, требуетъ карательныхъ мѣръ, то оно должно составлять предметъ особаго уголовного закона. Такъ, напримѣръ, нашъ законъ назначаетъ особое наказаніе за легкомысленное отношеніе къ предметамъ вѣры, т. е. за кощунство. За легкомысленное отношеніе къ серьезнымъ предметамъ государственнаго устройства, государственной жизни нашъ законъ не назначаетъ никакого наказанія. Примѣняя къ нему 1,001 ст., имѣющую такой ясный, опредѣлительный смыслъ, значило бы создавать какъ бы новый законъ, до-сихъ-поръ несуществующій. Въ подтвержденіе моего мнѣнія я позволю себѣ привести еще одно доказательство, почерпнутое также изъ текста 1,001 ст. Судебныя мѣста, на основаніи нашихъ законовъ, имѣютъ право (но не обязаны), уничтожать напечатанныя сочиненія, которыя почему-либо будутъ представляться опасными или вредными (Улож. ст. 1,045). Этимъ правомъ судъ можетъ пользоваться или не пользоваться по своему усмотрѣнію. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда сочиненіе представляется направленнымъ къ колебанію довѣрія къ закону, къ постановленіямъ и распоряженіямъ правительственныхъ, или судебныхъ учрежденій, судебныя мѣста могутъ не уничтожать сочиненія, признаннаго противозаконнымъ, если оно уже слишкомъ долго обращается въ публикѣ, или по своему содержанію не можетъ произвести никакихъ особенно вредныхъ послѣдствій. Между тѣмъ, 1,001 ст. вѣнчаетъ суду въ непрѣмѣнную обязанность уничтожать всѣ сочиненія и изображенія, противъ которыхъ она направлена. Если ограничивать примѣненіе статьи 1,001 сочиненіями, возбуждающими чувственность и развращающими нравы, то обязательное уничтоженіе подобныхъ сочиненій представляется исполнѣ понятнымъ. Но если распространять дѣйствіе статьи 1,001 на сочиненія, несовмѣстныя съ условными правилами приличія — правилами, о которыхъ каждый можетъ имѣть свое особое мнѣніе, нарушеніе которыхъ никакою опасностью не угрожаетъ, то между постановленіемъ статьи 1,001 требующимъ уничтоженія сочиненій, и постановленіемъ ст. 1,045, предоставляющимъ его на усмотрѣніе суда, окажется вопіющее противорѣчіе, ничѣмъ необъяснимое. Объ аналогиче-

скомъ прииѣненіи ст. 1,001 къ случаямъ, подобнымъ настоящему, также не можетъ быть и рѣчи. Для того, чтобъ судъ могъ воспользоваться предоставленнымъ ему ст. 151 Уложения весьма важнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма опаснымъ правомъ, необходимо, чтобъ между проступкомъ, за который не назначено въ законѣ опредѣленнаго наказанія, и между проступкомъ, къ которому его приравниваютъ, была тѣсная внутренняя связь, чтобъ дѣйствіе, подводимое по аналогіи подъ кару уголовного закона, было дѣйствіемъ несомнѣнно противузаконнымъ, преступленіемъ, такъ какъ по 151 ст. назначается наказаніе по аналогіи только за преступленія, за противузаконныя дѣйствія. Гдѣ можетъ быть сомнѣніе относительно противузаконности дѣянія, тамъ немислимо прииѣненіе статьи 151. Между тѣмъ, противузаконность неприлично-легкомысленнаго отзыва о томъ или другомъ предметѣ — вопросъ крайне спорный и подлежащій, по моему мнѣнію, скорѣе отрицательному, чѣмъ утвердительному разрѣшенію. Между сочиненіями, развращающими добрыя нравы, — сочиненіями, которыхъ послѣдствія могутъ быть гибельны для многихъ членовъ общества, и между сочиненіями, которыя, можетъ быть, возбуждаютъ въ нѣкоторыхъ читателяхъ, на нѣсколько минутъ, не совсѣмъ пріятное чувство, нѣтъ никакой внутренней аналогіи; они совершенно не сходны между собой. Такъ какъ все обвиненіе противъ Павленкова построено исключительно на 1,001 ст., и такъ какъ никто не утверждаетъ, чтобы изданныя имъ статьи клонились къ развращенію нравовъ или возбужденію чувственности, то приведенныхъ мною соображеній достаточно для поколебанія обвиненія въ самомъ его основаніи. Правда, въ обвинительномъ актѣ и въ протестѣ прокурора судебной палаты говорилось объ оправданіи, будто бы, Писаревымъ свободныхъ отношеній между двумя полами; но такъ какъ это обвиненіе не было поддерживаемо обвинительною властью въ настоящемъ засѣданіи, то я не считаю нужнымъ входить въ подробное его разсмотрѣніе. Достаточно бросить бѣглый взглядъ на слова, приведенныя г. прокуроромъ судебной палаты, чтобы убѣдиться въ томъ, что они заключаютъ въ себѣ не оправданіе теорій, на которую они намекаютъ, а указаніе на непримѣнимость ея къ практической жизни. Но для того, чтобы исчерпать всѣ вопросы, которые возбуждаютъ настоящее обвиненіе, я считаю необходимымъ перейти къ самому существу дѣла. Въ этомъ отношеніи я ограничусь весьма немногими замѣчаніями, какъ вотому, что г. оберъ-прокуроръ коснулся только двухъ-трехъ мѣстъ въ статьѣ Писарева, такъ и потому, что правительствующему сенату, конечно, известна защита, которая была представлена самимъ Павленковымъ въ судебной палатѣ, — защита, заключающая въ себѣ самый полный и обстоятельный разборъ фактической стороны дѣла.

Доказывая неблагопрістойность статьи Писарева, г. оберъ-прокуроръ ссылается преимущественно на сравненіе императора Петра Великаго съ Панинымъ, героемъ одного изъ романовъ Тургенева, и на то мѣсто статьи, гдѣ говорится о покушеніи Шакловитаго на жизнь Петра Великаго. Я не стану утверждать, что сравненіе Петра Великаго съ Панинымъ можно одобрить, но неприличія, неблагопрістойности я въ немъ не вижу. Что касается до словъ о покушеніи Шакловитаго, то, по общему смыслу статьи «Вѣдная русская мысль», эти слова заключаютъ въ себѣ не оправданіе преступленія Шакловитаго, какъ полагаетъ г. прокуроръ судебной палаты, но логическое его сужденіе. Писаревъ говоритъ, что ни одна личность не имѣетъ господствующаго вліянія на ходъ историческихъ событій, что ни одна личность, какъ бы она ни была сильна, рѣшительно не можетъ, по своему произволу, измѣнить теченіе жизни. Если Писаревъ выводитъ отсюда то заключеніе, что личная дѣятельность реформаторовъ болѣею частью остается безплодною, то съ такою же послѣдовательностью можно прійти и къ другому заключенію — что всякая попытка остановить подобную дѣятельность путемъ насилія не только безправ-

ственная, но и совершенно бесполезна, такъ какъ реформатора и безъ того останавливаетъ самая сила вещей. Я не вхожу здѣсь въ разсмотрѣніе того, насколько правильно это воззрѣніе: я утверждаю только, что изъ него вытекаютъ, какъ необходимое послѣдствіе, оба приведенные выше вывода. Если нѣтъ такого властителя, который могъ бы осуществить идею, несоотвѣтствующую положенію народа въ данную минуту, то столь же невозможенъ успѣхъ и для насильственного движенія, начатаго снизу. Теорія, развиваемая Писаревымъ, осуждаетъ одинаково всякое насиліе; слова его о Шакловитомъ не могутъ имѣть, поэтому, никакого предосудительнаго смысла.

Такимъ образомъ, гг. сенаторы, еслибъ даже и можно было распространять понятіе о неприличіи и неблагопристойности до тѣхъ далекихъ границъ, до которыхъ распространяетъ его г. оберъ-прокуроръ, то и тогда слѣдовало бы признать, что эти границы не нарушены статьей Писарева въ отношеніи къ Петру Великому. Можетъ быть было бы лучше, еслибъ Писаревъ воздержался отъ нѣкоторыхъ выраженій, имъ употребленныхъ; но, во всякомъ случаѣ, онъ не нарушилъ уваженія къ личности императора, и статья его не можетъ низвести Петра Великаго съ того мѣста, которое совершенно законно принадлежитъ ему въ исторіи Россіи.

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію послѣдняго, самаго существеннаго, вопроса о томъ, что такое напечатаніе книги безъ распространенія, я долженъ сказать нѣсколько словъ о вопросѣ, возбужденномъ въ судебной палатѣ и затронутомъ обвинительною властью и сегодня. Г. оберъ-прокуроръ доказываетъ, что позволеніе цензуры, съ которымъ напечатана статья Писарева въ 1862 г., не можетъ имѣть въ настоящее время никакого значенія; онъ полагаетъ, что нѣтъ закона, на основаніи котораго сочиненіе, разъ пропущенное цензурой, могло бы быть печатаемо вторично безнаказанно, и указываетъ на то, что при дѣйствіи прежняго порядка для новаго изданія сочиненія, однажды пропущеннаго цензурой, нужно было новое разрѣшеніе цензуры.

Съ точки зрѣнія юридической, формальной, противъ этого взгляда довольно трудно возражать; но мнѣ кажется, что прежнее одобреніе статьи цензурой все-таки не можетъ быть упущено изъ виду при разсмотрѣніи дѣла по существу. Прѣжній пропускъ цензурою показываетъ, что извѣстная статья съ точки зрѣнія правительства представлялась не вредной, неопасной, слѣдовательно, не подлежащей наказанію; всякое лицо, знающее, что правительство разъ выразило, такимъ образомъ, свой взглядъ на извѣстную статью, можетъ разсчитывать на безнаказанность въ случаѣ новаго изданія ея. Издавая новый законъ о печати, законодатель хотѣлъ измѣнить положеніе печати не къ худшему, а къ лучшему. Это даетъ право предполагать, что если такая-то статья прошла въ печать при порядкѣ гораздо болѣе строгомъ, то она тѣмъ болѣе можетъ быть напечатана при новомъ порядкѣ, болѣе благопріятномъ для печати. Точно также и Павленковъ, приступая къ изданію сочиненій Писарева, зная, что они уже появлялись въ печати въ журналѣ «Русское Слово» въ 1862 году, слѣдовательно, появлялись въ такой формѣ, надъ которою у насъ существуетъ особенно строгое наблюденіе, и въ такое время, когда еще не былъ изданъ законъ 6-го апрѣля 1865 года. Я думаю, что судъ, судящій по совѣсти, не можетъ не обратить вниманія на эти обстоятельства, потому что они разъясняютъ побужденія, которыми руководствовался Павленковъ при напечатаніи сочиненія Писарева. Что въ 1862 году статьи Писарева издавались графомъ Кушелевымъ-Безбородко, а въ 1866 году были изданы Павленковымъ — это совершенно безразлично, потому что дѣло не въ томъ, кто издаетъ книгу, а въ томъ, какая книга издается. Прокуроръ судебной палаты указывалъ еще на то, что принятіе того мнѣнія, которое поддерживалъ подсудимый, привело бы къ невозможности,

негнѣнымъ результатамъ; что освобожденіе отъ всякой отвѣтственности всего того, что было напечатано съ разрѣшенія предварительной цензуры, предполагаетъ преслѣдованіе всего того, что не было пропущено цензурою. Противъ этого я считаю достаточнымъ указать только на то, что законъ 6-го апрѣля изданъ для облегченія литературы, и что если позволительное при прежнемъ порядкѣ вещей остается позволительнымъ и при новомъ, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобъ граница позволеннаго и непозволеннаго осталась на прежнемъ мѣстѣ. Законъ 6-го апрѣля подвинулъ ее впередъ, и слѣдуетъ, слѣдовательно, позволеннымъ многое изъ того, что считалось не позволеннымъ въ прежнее время.

Я старался доказать, что 1001 ст. уложенія, ни по буквальному, ни по внутреннему ея смыслу не можетъ имѣть примѣненія къ такимъ нарушеніямъ приличія, о которыхъ идетъ рѣчь въ настоящемъ дѣлѣ, что въ статьѣ Писарева «Вѣдная русская мысль» нѣтъ никакихъ неприличныхъ словъ и выраженій, и что прежнее напечатаніе, съ разрѣшенія предварительной цензуры, устраняетъ возможность осужденія г. Павленкова за новое изданіе этой статьи.

За сими я перехожу къ вопросу, сегодня въ первый разъ поступающему на обсужденіе Правительствующаго Сената—къ вопросу о томъ, какъ слѣдуетъ разсматривать напечатаніе статьи, когда она не была распространена. По этому предмету соображенія г. оберъ-прокурора распадаются на двѣ части, изъ которыхъ я вполне согласенъ съ одной, и безусловно несогласенъ съ другой. По мнѣнію г. оберъ-прокурора, преступленіемъ въ дѣлахъ печати можетъ считаться только распространеніе сочиненія, покушеніемъ — только попытка распространенія; поэтому онъ признаетъ, что не только составленіе статьи, но и напечатаніе ея должно быть признаваемо только приготовленіемъ къ преступленію. Въ этомъ отношеніи я раздѣляю мнѣніе г. оберъ-прокурора, и считаю нужнымъ дополнить его только указаніемъ на рѣшенія с.-петербургской судебной палаты, въ которыхъ былъ затронутъ вопросъ о приготовленіи къ проступкамъ печати. Въ одномъ изъ этихъ рѣшеній (по дѣлу Соколова), отличающемся большою подробностью и основательностью, вопросъ о приготовленіи разрѣшенъ въ томъ же смыслѣ, къ какому предполагаетъ разрѣшить его г. оберъ-прокуроръ. Въ другомъ рѣшеніи (по дѣлу Суворина) признано, что напечатаніе книги есть покушеніе на преступленіе, и въ числѣ соображеній, которыя были приведены для того, чтобъ опровергнуть теорію защиты, ту самую теорію, которая была развита сегодня г. оберъ-прокуроромъ, указывается на то, что нашъ законъ считаетъ приготовленіемъ одно составленіе статьи, когда она заключаетъ въ себѣ государственное преступленіе. Изъ этого выводится заключеніе, что если приготовленіемъ считается составленіе статьи, то все идущее дальше составленія должно быть признаваемо покушеніемъ на преступленіе. Мнѣ кажется, что законъ о государственныхъ преступленіяхъ, совершаемыхъ путемъ печати, даетъ ключъ къ разрѣшенію спорнаго вопроса въ совершенно другомъ смыслѣ. Этотъ законъ различаетъ распространеніе сочиненія отъ простаго составленія, и назначаетъ за первое наказаніе гораздо болѣе строгое, чѣмъ за второе. Изъ двухъ сопрягающихся между собою постановленій уголовнаго закона въ ограничительномъ смыслѣ должно быть толкуемо то, которымъ назначается наказаніе болѣе строгое. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ дѣйствія, занимающія средину между составленіемъ и распространеніемъ, должны быть уравниваемы не съ послѣднимъ, а съ первымъ, и что понятіе о приготовленіи, въ дѣлахъ печати, оканчивается только тамъ, гдѣ начинается распространеніе.

Находя совершенно справедливымъ мнѣніе г. оберъ-прокурора о приготовленіи вообще, а не вполне понимаю, какимъ образомъ можно перейти отъ этой первой послышки къ тому заключенію, на которомъ останавливался г. оберъ-прокуроръ. По

мнѣнію г. оберъ-прокурора, законы о печати, помѣщенные въ 5-й главѣ VIII раздѣла, которую онъ считаетъ себя въ правѣ примѣнять по аналогіи къ статьямъ, помѣщеннымъ въ 4-й главѣ того же раздѣла, назначаютъ большею частью наказаніе за самое напечатаніе статьи или книги. Это мнѣніе опровергается прежде всего простымъ сопоставленіемъ узаконеній 5-й главы VIII раздѣла. Еслибъ законодатель считалъ наказуемымъ самое напечатаніе статьи или книги, то онъ, конечно, примѣнилъ бы это общее начало одинаково ко всѣмъ проступкамъ печати, въ особенности къ проступкамъ болѣе важнымъ. Между тѣмъ, мы видимъ, что, по буквальному смыслу закона, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, болѣе важныхъ, наказуемымъ признается только распространеніе статьи или книги, а въ другихъ, менѣе важныхъ — простое напечатаніе ея. Такъ, напримѣръ, по статьѣ 1039, назначается наказаніе за оглашеніе въ печати фактовъ, вредящихъ достоинству извѣстнаго лица, а по статьѣ 1040 за простое оскорбленіе. Само собою разумѣется, что оскорбленіе есть проступокъ менѣе тяжкій, нежели опозореніе или диффамачія; это подтверждается и различіемъ наказаній, которыя установлены въ той и другой статьѣ. Между тѣмъ, если толковать законъ, какъ толкуеть его г. оберъ-прокуроръ, простое оскорбленіе будетъ подлежать наказанію даже тогда, когда статья только напечатана, а опозореніе или диффамачія только тогда, когда сочиненіе будетъ распространено въ публикѣ. Я вывожу это изъ первыхъ словъ 1039 ст., которая говоритъ объ оглашеніи въ печати; разумѣется, что подъ *оглашеніемъ въ печати* можно понимать только распространеніе; поэтому, если нѣтъ распространенія, то нѣтъ и наказанія. Въ 1040 статьѣ говорится о *всякомъ оскорбительномъ въ печати отзывѣ* и т. д. Слѣдовательно, здѣсь возможно наказаніе за простое напечатаніе, возможно наказаніе даже тогда, когда арестъ наложенъ на книгу до выхода ея въ свѣтъ, но частное лицо случайно узнало, что въ книгѣ содержатся оскорбительные о немъ отзывы. Можно-ли допустить толкованіе закона, приводящее къ подобнымъ результатамъ? Не ясно-ли, что слово «напечатаніе» употребляется нашимъ закономъ наравнѣ съ словами: «распространеніе, публикація, оглашеніе въ печати, въ печатныхъ изданіяхъ». Въ подтвержденіе этого я сошлюсь еще на 1042 ст. улож., въ которой сказано, что сочинитель призывается къ суду, когда не докажетъ, что публикація его сочиненія произведена безъ его вѣдома и согласія; слѣдовательно, наказуемость сочинителя становится возможной только тогда, когда сочиненіе опубликовано; пока оно не опубликовано, не можетъ быть и рѣчи о наказаніи.

Затѣмъ обратимся къ общему характеру той теоріи, которую выставляетъ обвинительная власть и посмотримъ, къ какимъ результатамъ она насъ приведетъ. Мы увидимъ одно изъ двухъ: или въ преступленіяхъ печати нѣтъ никакой разницы между приготовленіемъ, покушеніемъ и совершеніемъ, или, что еще болѣе странно, покушеніе наказывается менѣе строго, чѣмъ приготовленіе. Если допустить, что законы, помѣщенные въ 5-й главѣ VIII раздѣла, назначаютъ наказаніе за приготовленіе, то нужно будетъ признать, что то же самое наказаніе назначается и за покушеніе, т. е. за попытку выпустить книгу въ свѣтъ, или за совершившееся преступленіе, т. е. за дѣйствительное ея распространеніе. Но такой выходъ противенъ тому общему правилу, на основаніи котораго преступленіе совершившееся наказывается строже, нежели приготовленіе или покушеніе, не успѣвшее осуществиться. Между тѣмъ, здѣсь отвѣтственность будетъ одинаковая. Если же признать, что наказаніе за покушеніе смягчается на двѣ или болѣе степени (ул. ст. 114 и 115), тогда окажется еще большая несообразность, т. е. покушеніе будетъ наказываемо менѣе строго, нежели приготовленіе. Между тѣмъ, на какомъ основаніи преступленія по дѣламъ печати, въ большинствѣ случаевъ, гораздо болѣе заслуживающія снисхожденія, чѣмъ другія преступленія, должны быть изъяты изъ дѣйствія того

общаго правила, по которому покушеніе наказывается менѣе строго, чѣмъ совершившееся преступленіе? Кромѣ того, если принять теорію г. оберъ-прокурора, то что сдѣлается съ другимъ общимъ правиломъ, на основаніи котораго покушеніе, остановленное по собственной силѣ, оставляется безнаказаннымъ? Представимъ себѣ такой случай: я представляю въ цензурный комитетъ извѣстное сочиненіе; по закону оно должно лежать тамъ 2—3 дня, въ продолженіе которыхъ я рѣшаюсь остановить выпускъ его въ свѣтъ: я готовлюсь заявить объ этомъ; я могу, впрочемъ, обойтись и безъ заявленія, такъ какъ цензурный комитетъ не разрѣшаетъ выпускъ книги, а только допускаетъ его своимъ безмолвіемъ; но въ это же время на книгу налагаютъ арестъ и меня предають суду. Если признавать наказуемымъ уже приготовленіе, то я подвергнусь наказанію, не смотря на то, что я рѣшился не публиковать напечатанную мною книгу. Наконецъ, если считать безразличнымъ въ дѣлахъ печати и приготовленіе, и покушеніе, и совершеніе преступленія и признавать ихъ одинаково наказуемыми, то нѣтъ причины ограничивать наказуемость только вполне отпечатанными сочиненіями; можно начинать преслѣдованіе за напечатаніе нѣсколькихъ страницъ, хотя бы послѣдующее давало имъ совершенно другой смыслъ. Наконецъ, я позволю себѣ указать еще на одно, чрезвычайно важное противорѣчіе, которое вытекаетъ изъ теоріи, защищаемой г. оберъ-прокуроромъ. Я позволю себѣ обратить вниманіе ваше, гг. сенаторы, съ одной стороны на ст. 1035 уложенія, съ другой—на ст. 275 и 274. Въ ст. 274—5 говорится о распространеніи и составленіи такихъ сочиненій, которыя возбуждаютъ сопротивленіе или противудѣйствіе властямъ, отъ правительства установленнымъ. Наказаніе за распространеніе — ссылка въ Сибирь, а за составленіе — заключеніе въ тюрьмѣ на время отъ дѣтхъ до четырехъ мѣсяцевъ. Статья 1,035 опредѣляетъ наказаніе за возбужденіе неуваженія къ закону, т. е. за проступокъ менѣе важный, чѣмъ тотъ, который предусматриваетъ ст. 274—275. Maximum наказанія, опредѣленнаго въ ст. 1,035 — заключеніе въ тюрьмѣ на одинъ годъ и четыре мѣсяца. Представимъ себѣ, что появляются въ свѣтъ два сочиненія, изъ которыхъ въ одномъ заключается возбужденіе къ насильственному сопротивленію власти, а въ другомъ возбужденіе только къ неуваженію закона. Оба сочиненія подвергаются предварительному аресту, начинается судебное преслѣдованіе, и признается какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ приготовленіе. Затѣмъ, на основаніи спеціальнаго закона, 275 ст., тотъ, который совершилъ болѣе важное преступленіе, подвергается заключенію въ тюрьмѣ на четыре мѣсяца, а тотъ, который совершилъ преступленіе менѣе тяжкое, на основаніи 1,035 ст., можетъ быть заключенъ въ тюрьмѣ на годъ и четыре мѣсяца. Такимъ образомъ за преступленіе болѣе важное, но относительно котораго существуетъ спеціальный законъ, можетъ быть назначено наказаніе менѣе тяжкое, нежели за преступленіе менѣе важное, но относительно котораго нѣтъ спеціальнаго закона, назначающаго наказаніе за приготовленіе.

Изъ всего сказаннаго я вывожу заключеніе, что толкованія обвинительной власти не соотвѣтствуютъ ни общему, ни буквальному смыслу нашихъ законовъ. Я думаю, что во всѣхъ случаяхъ, когда въ законѣ не назначено спеціальнаго наказанія за приготовленіе, оно должно быть признаваемо не наказуемымъ. Здѣсь я встрѣчаюсь съ послѣднимъ доводомъ обвинительной власти. Она выводитъ изъ закона 6-го апрѣля, что такъ какъ судебное преслѣдованіе можетъ быть начинаемо и противъ сочиненій, подвергнутыхъ аресту прежде выхода въ свѣтъ, то послѣдствіемъ такого преслѣдованія непрежнѣнно должно быть личное наказаніе виновнаго; въ противномъ случаѣ, самое преслѣдованіе не имѣло бы никакой цѣли. Но еслибъ это было и такъ, то законъ 6-го апрѣля, измѣнилъ бы положеніе нашей литературы не къ лучшему, а къ худшему. При нѣиствѣіи прежняго порядка запрещеніе статьи цензу-

рою не влекло бы за собой личной ответственности автора, если въ его сочиненіи не было признаковъ государственнаго преступленія; между тѣмъ въ настоящее время, по мнѣнію г. оберъ-прокурора, лицо, представившее въ цензурный комитетъ статью или книгу, можетъ подвергнуться личному наказанію независимо отъ уничтоженія статьи или книги. Это была бы слишкомъ явная несообразность. Съ другой стороны судебное преслѣдованіе книги, арестованной до выхода въ свѣтъ, не можетъ быть названо ни къ чему не ведущимъ, хотя бы оно и не могло окончиться личнымъ наказаніемъ виновнаго. Статья 1,045 Уложенія даетъ суду право уничтожить статью или книгу при назначеніи наказанія за преступленіе или проступокъ печати. По аналогіи, статья эта можетъ быть примѣнена и къ тѣмъ случаямъ, когда никакого наказанія не назначается, когда существуетъ только приготовленіе къ преступленію. Прежде, уничтоженіе статьи или книги зависѣло отъ усмотрѣнія цензуры, теперь оно можетъ воспослѣдовать только по опредѣленію суда (за исключеніемъ, конечно, тѣхъ сочиненій, для которыхъ продолжаетъ существовать предварительная цензура). Слѣдовательно преданіе суду, не смотря на то, что авторъ не можетъ подвергнуться личному наказанію, не есть пустая формальность; отъ суда зависитъ разрѣшеніе вопроса, часто болѣе важнаго, нежели личная отвѣтственность автора, вопроса о томъ, должна ли быть уничтожена статья или книга.

Всѣ соображенія, мною приведенныя, сводятся къ тому, что подсудимый Павленковъ не совершилъ никакого преступленія, которое могло бы подлежать наказанію по буквѣ или по общему смыслу нашихъ законовъ. Если же правительствующій сенатъ признаетъ, что дѣйствіе Павленкова можно подвести подъ 1,001 ст., то во всякомъ случаѣ, на основаніи того общаго правила, по которому виновный наказывается за приготовленіе только тогда, когда существуетъ о томъ специальный законъ, я прошу оставить Павленкова свободнымъ отъ всякой личной ответственности.

Что касается уничтоженія статьи, то я полагаю, что эта крайняя мѣра только тогда можетъ быть примѣнена, когда статья представляетъ большую опасность; но та статья, за которую судится Павленковъ, была и находится въ обращеніи въ публикѣ, слѣдовательно никакой опасности отъ новаго выпуска ея въ свѣтъ нельзя ожидать. Притомъ подсудимый уже достаточно наказанъ: изданная имъ книга арестована три года тому назадъ, и онъ несетъ отъ того большой убытокъ. Я прошу бы правительствующій сенатъ, даже въ случаѣ признанія Павленкова виновнымъ, не подвергать его личному наказанію и не уничтожать ни всей статьи, ни тѣхъ частей ея, которыя составляютъ предметъ настоящаго дѣла.

Оберъ-прокуроръ. На всѣ возраженія защитника противъ возможности примѣненія къ настоящему случаю ст. 1,001 Улож., я представляю на разрѣшеніе правительствующаго сената слѣдующее замѣчаніе. Не раздѣляя мнѣнія защитника о возможности толковать понятія о благопристойности, заключающееся въ 1,001 ст., въ такомъ ограниченномъ смыслѣ, я тѣмъ не менѣе сдѣлаю предположеніе, что толкованіе защитника справедливо и затѣмъ расмотрю, къ какому практическому результату такое толкованіе закона должно привести насъ въ примѣненіи его къ данному случаю. Самъ г. защитникъ, разбирая выраженія, употребленныя въ статьѣ «Бѣдная русская мысль», пришелъ къ убѣжденію, что нѣкоторыя изъ нихъ, конечно, похвалить невозможно. Я съ своей стороны нахожу, что выраженія эти не только нельзя похвалить, но что они заслуживаютъ полнѣйшаго осужденія. Я убѣжденъ, что правительствующій сенатъ признаетъ, что по духу нашего законодательства о печати невозможно допустить въ печати такіа выраженія, которыя употреблены въ этой статьѣ. Нельзя допустить въ государствѣ, управляемой самодержавной властью, чтобы авторъ, говоря объ Императорѣ, дѣянія котораго хотя и сдѣлались уже до-

стояннѣхъ исторіи, могъ позволить себѣ сказать, что еслибъ Шаковитому удалось убитъ его, то судьба Россіи отъ этого бы не измѣнилась.

Я ни минуты не сомнѣваюсь въ томъ, что Правительствующій Сенатъ признаетъ слова эти въ высшей степени неприличными и неблагопристойными, и что статья эта не можетъ быть разрѣшена къ распространенію. Если же подобное сочиненіе не могло быть допущено къ распространенію, то Правительствующій Сенатъ, въ силу 1,045 ст. Улож. о наказ., обязанъ будетъ подвести поступокъ издателя подъ одну изъ статей Улож. о наказ., предусматривающую подобнаго рода поступокъ. Статьи же наиболѣе подходящей, а по моему мнѣнію, и вполнѣ предусматривающей этотъ поступокъ какъ ст. 1,001, нѣтъ въ Уложеніи. Что же касается за сими до возраженій защитника относительно ненаказуемости будто-бы одного напечатанія по всѣмъ преступленіямъ печати, предусмотрѣннымъ въ 5 главѣ VIII разд. Улож. о наказ. и той несообразности въ наказаніи за приготовленіе и самое совершеніе преступления, которое непрямо будетъ, если признать одно напечатаніе наказуемымъ, — то въ дополненіе перваго заключенія моего я обращу вниманіе Правительствующаго Сената на то, что въ каждой изъ статей, предусматривающихъ эти преступления, опредѣлено не одно какое-либо, а различныя наказанія, какъ-то: тюремное заключеніе, арестъ и денежное взысканіе. Слѣдовательно, отъ суда зависить примѣнить то или другое наказаніе, соображаясь не только съ содержаніемъ сочиненія, но и съ тѣмъ, въ какой мѣрѣ самое преступленіе приведено въ исполненіе, т. е. совершилось-ли преступленіе вполнѣ, было-ли покушеніе или только приготовленіе къ преступленію.

Защитникъ. Я не говорю, что въ статьѣ Писарева есть неприличные выраженія; я замѣтилъ только, что лучше было бы не употреблять нѣкоторыхъ словъ, дающихъ поводъ къ недоразумѣніямъ, но за употребленіе такихъ словъ возможно осужденіе только съ точки зрѣнія литературной, а не съ точки зрѣнія судебной. Я полагаю, что для предупрежденія такихъ отзывовъ объ историческихъ дѣятеляхъ, которые могутъ имѣть вредныя послѣдствія, наши уголовные законы вполнѣ достаточны; но примѣненіе ихъ немыслимо, когда идетъ рѣчь только о рѣзкихъ выраженіяхъ, неприятныхъ въ печати. Желательно или нежелательно изданіе закона, который былъ бы направленъ противъ такихъ выраженій — это вопросъ, неподлежащій обсужденію въ настоящемъ дѣлѣ; несомнѣнно только то, что пока такого закона не существуетъ, не существуетъ и возможности наказанія за выраженія, неприличные лишь по своей рѣзкости. Аналогическое примѣненіе закона не можетъ здѣсь имѣть мѣста. Что касается до втораго замѣчанія г. оберъ-прокурора, то я не могу признать его правильнымъ по весьма простой причинѣ. Онъ полагаетъ, что неудобства, мною указанныя, не существуютъ при томъ большомъ просторѣ въ выборѣ наказаній за проступки печати, который предоставленъ суду. Но весьма легко можетъ встрѣтиться такой случай: судъ, признавая распуликованную статью преступною, но усматривая вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельства до крайности смягчающія вину подсудимаго, считаетъ справедливымъ назначить наказаніе въ низшей степени и въ низшей мѣрѣ, какую только допускаетъ законъ. Представимъ себѣ, что статья точно такого же содержанія осталась нераспуликованною, была задержана до выхода въ свѣтъ. Понизить наказаніе еще въ большей мѣрѣ судъ не будетъ имѣть права, и такимъ образомъ онъ будетъ поставленъ въ необходимость назначить одно и то же наказаніе и за приготовленіе къ преступленію, и за преступленіе вполнѣ совершившееся. Такая несообразность противна духу закона, и нельзя предполагать, чтобы она была допущена законодателемъ. Отсюда явствуетъ, что приготовленіе, въ дѣлахъ печати, ненаказуемо, за исключеніемъ случаевъ, особо предусмотрѣнныхъ въ законѣ.

ПРИГОВОРЪ СЕНАТА *).

(14 марта 1869 года).

По выслушаніи заключительныхъ преній между оберъ-прокуроромъ и защитникомъ подсудимаго присяжнымъ повѣреннымъ Арсеньевымъ, Правительствующій Сенатъ принялъ на видъ, что въ перепечатанной Павленковымъ статьѣ Писарева: «Бѣдная русская мысль», авторъ главнымъ образомъ разбираетъ споръ между западниками и славянофилами о значеніи реформы императора Петра I, и что въ этой статьѣ въ числу самыхъ рѣзкихъ сужденій принадлежать нижеслѣдующія.

Предпосялая главному предмету статьи общія соображенія о значеніи историческихъ дѣятелей, Писаревъ, между прочимъ говоритъ:

«Область неизвѣстнаго, непредвидѣннаго и случайнаго еще такъ велика, мы еще такъ мало знаемъ и вѣдѣшнюю природу, и самихъ себя, что даже въ частной жизни наши смѣлые замыслы и послѣдовательныя теоріи разбиваются въ прахъ то обвѣдѣнными обстоятельствомъ, то обвѣдѣнными собственную психическую натуру. Кто изъ насъ не знаетъ, напримѣръ, что ревность—челуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не отъ насъ зависитъ, и что женщина не виновата, если измѣняетъ намъ и отдается другому? Кто изъ насъ не ратовалъ словомъ и перомъ за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать въ своей любви огорченіе, пусть его разлюбятъ женщина, къ которой онъ глубоко привязанъ. Что же выйдетъ? Неужели вы думаете, что онъ утѣшитъ себя своими теоретическими доводами и успокоится въ своей безукоризненно гуманной философіи? Нѣтъ, помилуйте. Этотъ непобѣдимый диалектикъ, этотъ вдохновенный философъ ползѣтъ на стѣны и надбѣляетъ такихъ глупостей, на которыя, можетъ быть, не рѣшился бы самый дюжинный смертный... Если намъ трудно и даже невозможно расположить собственную жизнь по той программѣ, которую совершенно одобряетъ нашъ разумъ, то тѣмъ болѣе историческому дѣятелю, т. е. человеку, стоящему на замѣтной ступенькѣ, совершенно невозможно сдѣлать такъ, чтобы нѣсколько тысячъ или милліоновъ людей завели между собою именно такія отношенія, какія онъ считаетъ разумными и нормальными... Жизнь не терпитъ произвольныхъ ампутацій и механическихъ склеиваній, кто хочетъ коверкать на свой ладъ живую дѣйствительность, тотъ этимъ самымъ желаніемъ обнаруживаетъ полное непониманіе жизни и полную неспособность дѣйствовать на нее благотворно... Въ цивилизованной націи, въ которой каждый отдѣльный гражданинъ считаетъ себя полноправнымъ лицомъ и знаетъ, гдѣ кончается свобода и гдѣ начинается нахальный произволъ, въ такой націи... возможны или постоянныя измѣненія въ правахъ и идеяхъ,—измѣненія, происходящія отъ смѣны поколѣній и отъ естественнаго движенія жизни, или крупныя перевороты, соответствующіе той или другой неудовлетворенной потребности цѣлаго сословія, цѣлой массы людей. По идеѣ одного мыслителя, по волѣ одного генія, какъ бы ни

*) Рѣшали дѣло сенаторы: В. А. Арцимовичъ, Н. А. Буцковскій, Н. И. Стояновскій, К. Н. Лебедевъ, К. К. Петерсъ и И. И. Полверъ при оберъ-секретарѣ г. Утинѣ. Мы пропускаемъ начало этого приговора, которое представляетъ собой *буквальное* изложеніе рѣшенія судебной палаты и протеста г. Тизенгаузена. То и другое уже извѣстно читателю изъ предыдущихъ страницъ.

былъ уметь этотъ мыслитель, какъ бы ни былъ спленъ этотъ гений, не сдѣлается никакого ощутительнаго измѣненія ни въ жизни, ни въ понятіяхъ, ни въ стремленіяхъ. Когда мыслятъ, когда живутъ полною человѣческою жизнью цѣлыя тысячи или милліоны разумныхъ существъ, тогда, конечно, единичная мысль и единичная воля тонуть и исчезаютъ въ общихъ проявленіяхъ великой народной мысли, великой народной воли... Въ какой-нибудь имперіи негровъ - Ашантиевъ, властелинъ, имѣющій подъ своимъ начальствомъ преданное войско, можетъ, пожалуй, по своему благоусмотрѣнію, измѣнять у жителей моды, обычаи, образъ жизни; онъ можетъ насильно дать имъ новую религію, новыя законы, новыя увеселенія. Не составивъ себѣ яснаго понятія о своихъ чисто-человѣческихъ правахъ, бѣдныя Ашантины покорятся, привыкнутъ, можетъ быть, къ новымъ искусственнымъ порядкамъ и даже, можетъ быть, согласятся быть въ рукахъ своего властелина послушными орудіями для дрессированія своихъ упорныхъ или непонятливыхъ соотечественниковъ. Въ образованномъ обществѣ, конечно, немислима даже подобная попытка. Самый съумасшедшій изъ римскихъ Цезарей, какой-нибудь Кай-Калигула, Коммодъ или Геліогобаль не пытался произвольно перестроить социальныя отношенія, установленныя обычаями, существующіе законы. Въ новѣйшее время, самое легкое посягательство отдѣльнаго лица на такія права, которыя общество привыкло считать своимъ неотъемлемою и законною собственностью, вело за собою самыя рѣзкіе и рѣшительныя перевороты. Достаточно назвать Карла I и Іакова II англійскихъ, Карла X и Людовика-Филиппа французскихъ. Эти четыре имени напоминаютъ читателю четыре многозначительные историческіе эпизода.» — Переходя затѣмъ къ спору между западниками и славянофилами, Писаревъ замѣчаетъ, что нельзя не раздѣлять какъ стремленіе западниковъ къ европейской жизни, такъ и отвращеніе славянофиловъ противъ цивилизаторовъ à la Панышинъ, или, что тоже самое, à la Петръ Великій «Въ настоящее время мы, русскіе, почувствовавъ свою незрѣлость, стали строги и требовательны къ самимъ себѣ, и потому стремимся къ настоящему европеизму и неудовлетворяемся остроумными затѣями Петра Алексѣевича. Сходясь съ славянофилами въ ихъ отвращеніи къ цивилизаторамъ, насильно благоденствующимъ человѣчеству, мы бы желали, чтобы народъ развивался самъ по себѣ, чтобы онъ собственнымъ ощущеніемъ сознавалъ свои потребности и собственнымъ умомъ пріискалъ средства для ихъ удовлетворенія. Мы въ этомъ случаѣ не возстаемъ противъ подражательности, если только народъ собственнымъ процессомъ мысли доходитъ до сознанія необходимости позаимствоваться у сосѣдей тѣмъ или другимъ изобрѣтеніемъ или учрежденіемъ. Мы не желаемъ только, чтобы надъ жизнью народа *продлывали тѣ или другіе фокусы*, чтобы способъ проведенія реформы въ жизнь былъ насильственный. Но придавая важное значеніе самостоятельному развитію народной жизни, мы не думаемъ, чтобы мыслящій историкъ могъ въ исторіи московскаго государства до Петра подмѣтить какіе-нибудь симптомы народной жизни, чтобы онъ нашелъ въ ней что-нибудь, кромѣ жалкаго подавленнаго прозябанія . . . Славянофильское отрицаніе дѣйствій Петра во имя допетровскаго порядка вещей оказывается несостоятельнымъ, хотя это отрицаніе основано на очень законномъ и понятномъ отношеніи славянофиловъ къ тѣмъ бытовымъ формамъ, которыя выработались у насъ въ XVIII и въ половинѣ XIX вѣка. Сухой бюрократизмъ этихъ бытовыхъ формъ тяготѣлъ надъ ними свинцовою тяжестью, и они видѣли, что этотъ бюрократизмъ ведетъ свое происхожденіе изъ заморскаго запада и постоянно указываетъ на свою непосредственную связь съ дѣйствіями Петра... Накидываясь на Петра за то, что онъ нарушилъ гармонію прошедшаго, славянофилы не сообразили того, что одинъ человѣкъ не можетъ измѣнить строй народной жизни, если эта жизнь построена на крѣпкихъ и разумныхъ основаніяхъ, сознанныхъ и

любимых своимъ народомъ. Если Петръ дѣйствительно опротивилъ что-нибудь, то онъ опротивилъ только то, что было слабо и гнило, только то, что повалилось бы само собою. Мы видимъ такимъ образомъ, что и славянофилы и западники преувеличиваютъ значеніе дѣятельности Петра; одни видятъ въ немъ искажителя народной жизни, другіе какого-то Самсона, разрушившаго стѣну, отдѣлявшую Россію отъ Европы. Метафорамъ съ одной и съ другой стороны нѣтъ конца, потому что только метафорами можно до нѣкоторой степени закрасить нелѣпость того или другаго положенія. Дѣятельность Петра вовсе не такъ плодотворна историческими послѣдствіями, какъ это кажется его восторженнымъ поклонникамъ и ожесточеннымъ врагамъ. Жизнь тѣхъ семидесяти милліоновъ, которые называются общимъ именемъ русскаго народа, вовсе не изменилась бы въ своихъ отправленияхъ, если бы, напримеръ, *Шакловитому удалось убить молодого Петра*. . . . Вотъ манифестъ 19 февраля 1861 года дѣло совсѣмъ другое. Этотъ манифестъ — историческое событіе, эпоха для жизни Россіи. Но кто же, кромѣ г. Устрялова, рѣшится считать эпохою закладку Петербурга или учрежденіе академіи, или основаніе потѣшныхъ ротъ? А между тѣмъ нельзя не замѣтить, что многосторонняя, кипучая дѣятельность Петра представляетъ собою оригинальное и характерное явленіе. Эта дѣятельность важна и замѣчательна, какъ барометрическое указаніе; она доказываетъ намъ, какъ глубоко спалъ русскій народъ, какъ безспленъ былъ противъ этого богатырскаго сна тотъ шумъ, который производилъ Петръ, и какъ непробудно продолжалъ спать этотъ народъ во время дѣятельности своего властелина и послѣ ея окончанія. Проснулся ли онъ теперь, просыпается ли, спитъ ли по прежнему мы не знаемъ. Народъ съ нами не говоритъ, и мы его не понимаемъ. Вѣрно только одно: если онъ проснется то самъ по себѣ, по внутренней потребности; мы его не разбудимъ воплями и воззваніями, не разбудимъ любовью и ласками, какъ не разбудилъ Петръ Алексѣевичъ ни казнями стрѣльцовъ, ни изданіями голландской типографіи Тессинга.

Сопоставляя эти сужденія съ выведенными изъ нихъ прокурорскими надзоромъ обвиненіями, Правительствующій Сенатъ находитъ, что изъ нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ Писаревымъ о супружескихъ отношеніяхъ, вовсе нельзя заключить, что бы онъ оспаривалъ начало семейнаго союза, или оправдывалъ свободныя отношенія двухъ половъ, какъ выражается о томъ прокуроръ судебной палаты. Не говоря уже о томъ, что Писаревъ лишь вскользь коснулся этого предмета, въ видѣ примѣра, а не въ видѣ заданной себѣ темы, нельзя не замѣтить, что онъ самъ признаетъ теорію о свободѣ чувствъ и отношеній между супругами неосуществимою утопіею, слѣдовательно, не одобряетъ этой теоріи; ставя вездѣ и во всемъ реальныя дѣли выше идеальныхъ, Писаревъ глумится надъ послѣдними. Поэтому, сужденія Писарева по означенному предмету не могутъ быть признаны противузаконными ни въ смыслѣ 1.037 ст. Улож. о наказ., воспреещающей оспариваніе или порицаніе въ печатныхъ изданіяхъ начало семейнаго союза, ни въ смыслѣ указанной прокуроромъ судебной палаты 1.001 ст. того же Улож., воспреещающей изданіе сочиненій, явно противныхъ нравственности и благопристойности, тѣмъ болѣе, что эти сужденія и по формѣ употребленныхъ Писаревымъ выраженій не заключаютъ въ себѣ ничего непристойнаго. Переходя затѣмъ къ другому предмету обвиненія, а именно къ непристойнымъ отзывамъ Писарева въ статьѣ, напечатанной Павленковымъ, а государственной дѣятельности Императора Петра I-го, Правительствующій Сенатъ остановился на вопросѣ о томъ: на сколько можетъ быть свободна, по нашимъ законамъ, критика въ историческихъ изслѣдованіяхъ о государственной дѣятельности почившихъ Монарховъ Россіи? Не подлежатъ сомнѣнію, что историческіе труды не могутъ быть поставлены въ такую рамку, въ которой историческому изслѣдователю дозволялось бы разбирать только полезныя дѣйствія почившаго Монарха и воспремещалось бы ка-

саться дѣйствій неодобрительныхъ и вредныхъ по ихъ существу или по ихъ послѣдствіямъ. Такое воспрещеніе, было бы искаженіемъ исторической истины и лишило бы народъ его исторіи, т. е. того самосознанія, которое служитъ основаніемъ всякаго развитія народной жизни. Въ дѣйствующихъ у насъ законахъ нѣтъ ничего подобнаго такому воспрещенію исторической критики. Напротивъ того, не только въ отношеніи къ временамъ давно минувшимъ, но даже и въ отношеніи къ настоящему времени, дозволяется у насъ обсужденіе какъ отдѣльныхъ законовъ и цѣлаго законодательства, такъ и распубликованныхъ правительственныхъ распоряженій, если въ напечатанной статьѣ не возбужденія къ неповиновенію законамъ, не оспаривается обязательная ихъ сила и нѣтъ выраженій оскорбительныхъ для установленныхъ властей (прилож. къ ст. 5 цензур. уст. по прод. 1868 года, гл. IV, ст. 16). Но вмѣстѣ съ тѣмъ законы наши требуютъ, чтобы въ печатныхъ сочиненіяхъ упоминаемо было съ должнымъ уваженіемъ и приличіемъ о предметахъ важныхъ и высокихъ, чтобы безвредныя шутки отличались отъ существенныхъ оскорбленій нравственныхъ приличій, и чтобы недопускались оскорбительныя насмѣшки надъ цѣлыми сословіями или должностями государственной и общественной службы (Уст. ценз. ст. 7, 13, и примѣч. къ 5 п. продол. 1863 г.). Очевидно, что, по разуму этихъ законовъ, историческій изслѣдователь въправѣ критиковать дѣянія историческихъ дѣятелей, не исключая и почившихъ Монарховъ, но онъ обязанъ сохранять тонъ, приличный предмету. Величіе царскаго сана и чувство народнаго къ нему уваженія и благоговѣнія—чувство, основаніе котораго лежитъ въ нравственномъ и религіозномъ убѣжденіи народа, безусловно требуютъ, чтобы авторъ, излагая свои убѣжденія, не позволялъ себѣ выраженій и сравненій, оскорбительныхъ для этого чувства. Съ этой точки зрѣнія нельзя признать дозволеннымъ закономъ критикомъ глумленіе Писарева надъ государственною дѣятельностію Императора Петра I-го. Глумленіе это бросается въ глаза какъ въ намекахъ, что самый сумасшедшій изъ римскихъ цезарей попытался произвольно перестроить соціальныя отношенія, установленныя обычаями и существующіе законы,—что въ настоящее время мы не желаемъ, чтобы надъ жизнью народа продѣлывали тѣ или другіе фокусы, такъ и въ прямыхъ отзывахъ автора о такъ называемыхъ имъ «затѣяхъ Петра Алексѣевича» о «цивилизаторѣ à la Пашинѣ» (ничтожная личность въ повѣсти Тургенева «Дворянское гнѣздо»), или что тоже самое, «à la Петръ Великій», и наконецъ о томъ, что «жизнь русскаго народа во все неизмѣнилась бы въ своихъ отправленіяхъ, если бы, напримѣръ, Шакловитому удалось убить молодого Петра». Изложенныя въ статьѣ Писарева сужденія, имѣющія извѣстный въ исторической литературѣ взглядъ на значеніе политическихъ дѣятелей, непозволительны ни по существу своему, ибо вѣрность того или другаго взгляда на политическихъ дѣятелей можетъ быть предметомъ ученаго спора и свободнаго состязанія, ни по тону въ высшей степени неприличному, ни по выраженіямъ, несообразнымъ съ должнымъ уваженіемъ къ государственному дѣятелю и бывшему русскому Императору. Неразборчивость выраженій доходитъ здѣсь до того, что Писаревъ отзывается легкомысленно даже о такомъ ужасномъ преступленіи, каково царубійство и для указанія на сколько онъ считаетъ безполезною дѣятельность Императора Петра I-го, говоритъ, что жизнь русскаго народа вовсе не измѣнилась бы, если бы Шакловитому удалось убить молодого Петра.

Но сколь бы ни былъ неприличенъ и непозволителенъ тонъ статьи Писарева, этого еще недостаточно для осужденія Павленкова за перепечатаніе этой статьи. Для признанія извѣстнаго дѣянія преступнымъ, а виновника дѣянія подлежащимъ наказанію недостаточно того, чтобы это дѣяніе было противно духу существующихъ законовъ, необходимо, сверхъ того, чтобы оно было воспрещено закономъ подъ страхомъ наказанія, или, по крайней мѣрѣ, чтобы оно имѣло существенное сходство съ

дѣянiемъ, за которое законъ угрожаетъ наказанiемъ (Улож. о наказ. ст. 1, 90, 147 и 151; Уст. Угол. Суд. ст. 12 и 771 пунктъ 1-й). Въ настоящемъ случаѣ обвинительная власть подводитъ поступокъ подсудимаго Павленкова подъ дѣйствiе 1001 ст. Улож. о наказ. Чтобы опредѣлить съ точностiю, какое именно преступленiе предусмотрено въ этой статьѣ закона, слѣдуетъ обратить вниманiе, во первыхъ, на мѣсто, занимаемое ею въ Уложенiи о наказанiяхъ, т. е. на то, къ какому разряду уголовныхъ законовъ она отнесена, а во вторыхъ, на буквальный ея смыслъ. По системѣ, принятой въ Уложенiи о наказанiяхъ, раздѣла VIII, глава IV, о преступленiяхъ противъ общественной нравственности, раздѣляется на два отдѣленiя: первое о соблазнительномъ и развратномъ поведенiи, о противоестественныхъ порокахъ и сводничествѣ, и второе—о противныхъ нравственности и благопристойности сочиненiяхъ, изображенiяхъ, представленiяхъ и рѣчахъ. Это послѣднее отдѣленiе начинается означенною 1001 статьёю, въ которой изображено: «если кто-либо будетъ тайно отъ цензуры печатать или инымъ образомъ издавать въ какомъ бы то ни было видѣ, или же распространять подлежащiя цензурному разсмотрѣнiю сочиненiя, имѣющiя цѣлю развращенiе нравовъ или явно противныя нравственности и благопристойности, или клонящiяся къ сему соблазнительныя изображенiя, тотъ подвергается за сiе: денежному взысканiю не свыше пятисотъ рублей, или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ. Всѣ сочиненiя или изображенiя сего рода уничтожаются безъ всякаго за оныя вознагражденiя». Очевидно, что этотъ законъ, какъ по мѣсту, занимаемому имъ въ системѣ Уложенiя о наказанiяхъ, такъ и по своему точному смыслу, относится къ такимъ безнравственнымъ и неблагопристойнымъ сочиненiямъ, которыя противны чувствамъ цѣломудрiя, непорочности и стыдливости, и которыя имѣютъ цѣлю, по словамъ закона, развращенiе нравовъ, почему законъ не предоставляетъ на усмотрѣнiе суда, но безусловно предписываетъ уничтожать всѣ сочиненiя или изображенiя этого рода. Между неблагопристойностiю въ этомъ смыслѣ и неприличiемъ въ смыслѣ изъясненiя неуваженiя къ предметамъ высокимъ, въ смыслѣ язвительной насмѣшки или кощунства надъ предметами народнаго почитанiя нѣтъ никакого близкаго сходства, ни по роду, ни по важности проступка, и еслибы проступки послѣдняго рода были предусмотреныъ въ Уложенiи о наказанiяхъ, то карательный законъ, къ нимъ относящiйся, былъ бы помѣщенъ не въ IV главѣ VIII раздѣла, а въ главѣ V, въ развитiе примѣчанiя къ 1035 ст. Но какъ эта статья, такъ и примѣчанiе къ ней имѣютъ предметомъ охраненiе уваженiя лишь къ *обстояющимъ* законамъ и къ *существующимъ* властямъ, и вовсе не касаются злоупотребленiй правомъ исторической критики. Поэтому нельзя не признать, что въ отношенiи злоупотребленiя правомъ исторической критики наше уголовное законодательство представляетъ пробѣлъ, который не можетъ быть пополненъ толкованiемъ закона по аналогiи, т. е. по правилу, предписанному въ 151 ст. Улож. о наказ., такъ какъ для опредѣленiя наказанiя по этому правилу необходимо, чтобы въ Уложенiи о наказанiяхъ существовалъ законъ, который предусматривалъ бы преступленiе, имѣющее близкое сходство съ даннымъ случаемъ по роду и важности преступленiя, а такого закона, какъ выше объяснено, въ отношенiи къ поступку Павленкова, не существуетъ. Постановленное въ 151 ст. Улож. правило, по источникамъ его, допускало опредѣленiе по аналогiи только наказанiя, а не преступности факта, который долженъ быть установленъ закономъ. Но на практикѣ примѣненiе закона по аналогiи допускалось и въ тѣхъ случаяхъ, когда факту приписывались всѣ признаки опредѣленнаго въ законѣ преступленiя не по буквальному смыслу закона, а по его разуму, т. е. по основанiямъ и цѣли закона. За расширенiемъ судебными уставами власти суда въ толкованiи закона, въ настоящее время судебныя установленiя распространяютъ законъ и на такіе факты, которые не вполнѣ подхо-

дать подъ опредѣленные закономъ виды преступленій, но имѣютъ основныя черты преступленія, или, лучше сказать, имѣютъ характеръ той группы преступленій, подъ которую подводится фактъ. Простирать примѣненіе закона по аналогіи далѣе этого значило бы присвоить суду законодательную власть и уничтожить всякую опредѣленную черту въ томъ разграниченіи между судебною властію и властію законодательною, которое постановлено было во главѣ основныя положенія преобразования судебной части (ст. 1). Не слѣдуетъ думать, что 12 ст. уст. уг. суд., опредѣлявшая власть суда въ примѣненіи уголовнаго закона, не поставляетъ въ этомъ отношеніи никакихъ предѣловъ для суда, и что такъ какъ по 13-й ст. того же устава, воспрещается останавливать рѣшеніе дѣла подъ предлогомъ неполноты, неясности или противорѣчія законовъ, то судъ, при неимѣніи въ виду закона, воспрещающаго судимое дѣяніе подъ страхомъ наказанія, можетъ примѣнить къ этому дѣянію законъ о другомъ преступленіи, не стѣсняясь неправильностію аналогіи между судимымъ дѣяніемъ и предусмотрѣннымъ въ законѣ. Такой выводъ изъ вышеозначенныхъ законовъ былъ бы совершенно несогласенъ съ ихъ разумомъ, какъ по тому, что вмѣстѣ съ ними дѣйствуютъ 90, 147 и 151 ст. Улож. о наказ., которыхъ смыслъ опредѣленъ выше, такъ и по тому, что уставъ уголовного судопроизводства, воспрещающій останавливать рѣшеніе дѣла за какими-либо недостатками въ законѣ, вовсе не предписываетъ подвергать тому или другому наказанію всякаго, кто признанъ будетъ виновнымъ въ судимомъ дѣяніи, а напротивъ того прямо указываетъ въ 1 п. 771 ст., что судъ постановляетъ приговоръ объ оправданіи подсудимаго, когда дѣяніе, въ коемъ онъ обвиненъ, невоспрещено законами подъ страхомъ наказанія. Уставъ уголовного судопроизводства расширяетъ власть суда въ толкованіи законовъ, лишь въ томъ отношеніи, что онъ дозволяетъ суду, въ примѣненіи къ данному случаю, разъяснять недомолвки и неточное изложеніе закона, а также соглашать важнее или дѣйствительное въ законахъ противорѣчіе, но и за тѣмъ остаются непоколебимыми основныя правила толкованія законовъ судебною властію — правила, состоящія въ томъ, что судъ можетъ подводить, по аналогіи, подъ извѣстную статью Уложенія о наказаніяхъ лишь такое дѣяніе, которое несомнѣнно подходитъ подъ эту статью по разуму закона и только въ ней именно не упомянуто, что явные пробѣлы въ кодексахъ можетъ пополнить только законодатель, а не судья. Въ настоящемъ случаѣ примѣненіе къ поступку подсудимаго Павленкова указывающей обвинительною властію 1001 ст. Улож. о наказ., тѣмъ менѣе возможно, что статья эта не только предусматриваетъ дѣяніе, неоднородное съ дѣяніемъ Павленкова, но вмѣстѣ съ тѣмъ наказуемость за это дѣяніе обуславливаетъ такими обстоятельствами, которыя вовсе не встрѣчаются въ дѣлѣ Павленкова, а именно обстоятельствами тайнаго отъ цензуры печатанія, изданія или распространенія. Разсматриваемая статья Писарева была напечатана Павленковымъ въ сборникѣ сочиненій Писарева, не подлежавшемъ, по своему объему, предварительной цензурѣ, и статья эта не была Павленковымъ распространяема, а задержана при самомъ напечатаніи ея; слѣдовательно въ поступкѣ Павленкова нѣтъ и тѣхъ признаковъ преступленія, предусмотрѣннаго въ 1001 ст. Улож., которые состоятъ въ тайномъ отъ цензуры печатаніи и распространеніи такого сочиненія. Что же касается указанія прокурора судебной палаты на выпускъ Павленковымъ преслѣдуемой статьи, вмѣстѣ съ другою, въ Москвѣ, отдѣльною брошюрою съ измѣненіемъ названія статей и съ утайкою отъ московскаго цензурнаго комитета, что статьи эти уже заарестованы и подвергнуты судебному преслѣдованію с.-петербургскимъ цензурнымъ комитетомъ, то это новое обвиненіе, какъ не предусмотрѣнное въ обвинительномъ актѣ и не разсмотрѣнное судомъ первой степени, за силою 751—753, 868, 863, 878 и 892 ст. уст. угол. суд., не можетъ быть предметомъ сужденій апелляціоннаго суда. Указанныя

въ 1001 ст. Улож. о наказ., условия наказуемости предусмотрѣннаго въ ней проступка не такъ маловажны, чтобы можно было не стѣсняться отсутствіемъ ихъ въ примѣненіи этого закона, и они не потеряли своей силы и въ настоящее время, за отиѣною предварительной цензуры для сочиненій извѣстнаго объема, какъ это доказываетъ останленіе прежняго закона безъ измѣненія и въ новомъ изданіи Уложенія, послѣдовавшемъ въ виду постановленныхъ 6 апрѣля 1866 г. временныхъ правилъ о цензурѣ и печати. Конечно, такимъ образомъ остается неразрѣшеннымъ вопросъ о наказуемости виновнаго въ напечатаніи сочиненія, которое по роду своему подходитъ подъ указанныя въ 1001 ст. Уложенія, но, по объему, не подлежало предварительной цензурѣ и задержано до его распространенія. Очевидно, что вина въ такомъ проступкѣ несравненно менѣе вины въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ 1001 ст. Уложенія, а потому отсутствіе спеціальнаго закона о первомъ изъ этихъ проступковъ неосновательно было объяснять тѣмъ, что законодатель приравнивалъ оба проступка, различные по своей важности, и полагалъ подводить ихъ подъ одинъ и тотъ же карательный законъ, а скорѣе можно допустить, что законодатель не считалъ нужнымъ облагать личнымъ наказаніемъ виновныхъ въ одномъ лишь напечатаніи, безъ всякаго распространенія, такихъ сочиненій, которыя не заключаютъ въ себѣ важныхъ злоупотребленій. Понятно, что одно уничтоженіе такихъ сочиненій можетъ служить достаточною уздою для лицъ, предпринимающихъ подобныя изданія. Но здѣсь Правительствующій Сенатъ по необходимости долженъ коснуться болѣе общаго вопроса, а именно: какою степенью осуществленія злаго умысла надлежитъ считать напечатаніе преступнаго сочиненія, задержаннаго до обращенія его въ употребленіе? По закону (Улож. о наказ. ст. 9 и 10), преступленіе почитается совершившимся когда въ самоѣ дѣлѣ послѣдовало преднамѣренное виновнымъ, или же иное отъ его дѣйствій зло, а покушеніемъ на преступленіе признается всякое дѣйствіе, конимъ начинается или продолжается приведеніе злаго намѣренія въ исполненіе. Если приложить эти опредѣленія закона къ преступленіямъ печати, имѣющимъ дѣлю распространить въ обществѣ вредныя мысли, описанія или изображенія, то окажется, что преступленіе этого рода надлежитъ считать совершившимся лишь съ распространеніемъ, или по крайней мѣрѣ съ выпускомъ сочиненія въ обращеніе, а покушеніемъ на такое преступленіе слѣдуетъ считать всякое дѣйствіе, конимъ начинается распространеніе или выпускъ его въ обращеніе. Поэтому одно напечатаніе сочиненія, когда выпускъ его еще не послѣдовалъ или былъ задержанъ, должно быть признаваемо лишь приготовленіемъ къ преступленію, наказуемымъ, по общему закону, только въ особыхъ, именно означенныхъ законодателемъ случаяхъ, а также тогда, когда содѣянное при приготовленіи есть само по себѣ преступленіе (ст. 112 и 113). Эти соображенія вполне подтверждаются и тѣми законами, въ которыхъ законодатель, по важности преступленій или по инымъ причинамъ, призналъ нужнымъ, не отсылая къ общимъ положеніямъ о мѣрѣ наказаній, опредѣлѣть спеціально по каждому роду преступленія, какому наказанію подвергается не только совершившееся преступленіе, но и предшествующія восходящія ступени осуществленія злаго умысла. Такъ, по ст. 245, 248, 251, 252, 274 и 275 Улож. о наказ., виновные въ составленіи и распространеніи письменныхъ или печатныхъ сочиненій съ преступною дѣлю, опредѣленною въ тѣхъ статьяхъ, приговариваются къ наказанію за совершенное или преступленіе, а виновные въ составленіи такихъ сочиненій, но неизобличенные въ злоумышленномъ распространеніи ихъ, приговариваются къ наказанію, по словамъ закона, какъ за преступный умыселъ, приготовленіе или начало покушенія. Это послѣднее выраженіе, встрѣчающееся только въ 251 ст., употреблено въ ней, по видимому, лишь для означенія такого приготовленія, которое весьма близко къ покушенію, но которое, однако, не составляетъ собственно прямого по-

кушенія, предусмотрѣннаго въ 9 ст. Уложенія. Правда, въ вышеозначенныхъ специальныхъ законахъ не указано съ точностію промежуточной ступени между распространеніемъ напечатаннаго сочиненія и составленіемъ его; но при объясненіи этой неполноты опредѣленія признаковъ преступленія, надлежитъ слѣдовать тому общему въ толкованіи законовъ правилу, что изъ двухъ сопрягающихся между собою постановленій уголовного закона, въ ограниченномъ смыслѣ должно быть толкуемо то, которымъ назначается наказаніе менѣе строгое. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ дѣйствія, занимающія средину между составленіемъ и распространеніемъ, должны быть уравниваемы не съ послѣднимъ, а съ первымъ, и что понятіе о приготовленіи въ дѣлахъ печати, какъ это вытекаетъ и изъ общихъ положеній закона, оканчивается только тѣмъ, гдѣ начинается распространеніе. Законъ, опредѣляя наказаніе за извѣстное преступленіе, всегда имѣетъ въ виду преступленіе совершенное или оконченное, а въ тѣхъ случаяхъ, когда въ видѣ изъятія изъ общихъ правилъ, полагается особое наказаніе и за одну изъ предшествовавшихъ ступеней осуществленія злаго умысла, обыкновенно означаетъ при этомъ, какъ выше сказано, что наказаніе полагается, какъ за преступный умыселъ, приготовленіе или покушеніе. Поэтому статьи закона, опредѣляющія самостоятельное наказаніе, повидимому, лишь за дѣйствіе, которое должно служить предварительною ступенью къ совершенію преступленія, безъ указанія этой ступени, слѣдуетъ толковать съ особенною осмотрительностію, а въ дѣлахъ печати не упускать изъ виду и того, что слово «напечатать» имѣетъ въ общепринятій двоякое значеніе: въ тѣсномъ смыслѣ оно значить—оттиснуть въ типографіи, а въ пространномъ—публиковать, т. е. оттиснуть и пустить въ обращеніе. Два значенія этого слова были уже источникомъ разнообразнаго толкованія закона судебными мѣстами. При толкованіи этого слова въ законахъ о печати, необходимо принять во вниманіе: *во-первыхъ*, что въ 1021 ст. Улож., объемяющей почти всѣ преступленія печати, или по крайней мѣрѣ всѣ болѣе важныя изъ нихъ, наказанія полагаются за выпускъ въ обращеніе *не пропущенныхъ цензурою* книгъ преступнаго содержанія, означеннаго, между прочимъ, въ ст. 1001, 1035 и 1039 Улож. Это преступленіе, какъ исполнѣнное и, притомъ, вопреки запрещенію цензуры, несравненно важнѣе, тѣмъ одно напечатаніе такихъ сочиненій, когда они не подлежали цензурѣ и не были еще выпущены въ обращеніе; а посему нѣтъ никакого основанія полагать, чтобы законодатель сравнивалъ въ мѣрѣ отвѣтственности приготовленіе къ преступленію, менѣе важному, съ совершеніемъ преступленія болѣе важнаго. Однако къ такому заключенію неминуемо слѣдовало бы придти, если бы употребленныя въ означенныхъ статьяхъ слова «напечатать, огласить въ печати», принимать въ тѣсномъ ихъ значеніи. *Во-вторыхъ*, наше уголовное уложеніе подвергаетъ наказанію за одно приготовленіе къ преступленію только въ случаяхъ самыхъ опасныхъ и важныхъ злоумышленій (ст. 241, 242, 244, 245, 248—254, 274, 275, 1457, 1611), и придерживается того же взгляда и въ преступленіяхъ печати, какъ это видно между прочимъ изъ того, что даже наказаніе за богохуленіе въ печатныхъ сочиненіяхъ обусловливается распространеніемъ этихъ сочиненій (ст. 181); слѣдовательно, нѣтъ никакого основанія полагать, чтобы въ преступленіяхъ печати, несравненно меньшей важности, какъ-то въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 1,001, 1,035—1,037, 1,039 и 1,040, законодатель желалъ обложить наказаніемъ даже одно приготовленіе къ преступленію, а между тѣмъ къ такому именно заключенію приводитъ принятіе слово «печатать», встрѣчающееся въ этихъ статьяхъ, въ тѣсномъ его значеніи. *Въ-третьихъ*, съ принятіемъ этого слова въ его тѣсномъ значеніи, пришлось бы наказывать за оскорбительныя слова или отзывы, предусмотрѣнныя въ 1,040 ст. Улож. о наказ., коль скоро сочиненіе, въ которомъ содержатся эти слова или отзывы, было отпечатано, хотя бы оно было задержано до распро-

страненія его и о существованіи такого сочиненія обвиненный знаетъ лишь по слухамъ или по догадкѣ, а такой выводъ противорѣчитъ общему понятію объ обидахъ, какъ непосредственныхъ личныхъ оскорбленіяхъ, и о неваказуемости заочныхъ обидъ. *Въ-четвертыхъ*, вообще, если допустить, что законы, помѣщенные въ V-й главѣ, VIII раздѣла Улож., назначаютъ наказаніе за приготовленіе къ преступленіямъ печати, въ нихъ предусмотрѣннымъ, то нужно будетъ признать, что тоже самое наказаніе назначается и за покушеніе, т. е. за попытку выпустить книгу въ свѣтъ, и за совершившееся преступленіе, т. е. за дѣйствительное ея распространеніе, такъ какъ осуществленіе злаго умысла въ его послѣднихъ степеняхъ окажется предусмотрѣннымъ въ законахъ, но такой выводъ противенъ тому общему и весьма важному правилу, на основаніи котораго преступленіе, совершившееся, наказывается строже, нежели приготовленіе или покушеніе, неусиѣвшее осуществиться; притомъ въ такомъ случаѣ нѣтъ причины ограничивать наказуемость только исполнѣ отпечатанными сочиненіями: можно начать преслѣдованіе за напечатаніе нѣсколькихъ страницъ, хотя бы содержаніе послѣдующихъ страницъ давало первымъ совершенно другой смыслъ. *Въ-пятыхъ*, по ст. 1,042 Улож., опредѣляющей постепенность отвѣтственности, сочинителя, издателя, типографщика и книгопродавца; сочинитель призывается къ суду во всѣхъ случаяхъ, когда онъ не докажетъ, что публикація его сочиненія произведена безъ его вѣдома и согласія, а изъ этого ясно видно, что употребленныя въ предыдущихъ статьяхъ слова «напечатать въ печати», должны быть понимаемы не въ тѣсномъ, а въ пространномъ смыслѣ публикаціи напечатаннаго сочиненія. Если такимъ образомъ принять все вышеизложенное во вниманіе, то не останется никакого сомнѣнія въ томъ, что одно напечатаніе сочиненія, неподлежаваго предварительной цензурѣ и задержаннаго до выпуска его въ обращеніе, можетъ подвергаться наказанію сочинителя, издателя или типографщика лишь тогда, когда оно, по содержанію своему, принадлежитъ къ роду тѣхъ преступныхъ злоумышленій, въ которыхъ законъ караетъ даже одно приготовленіе къ преступленію (ст. 112, 245, 248, 251, 252, 274 и 275 Улож. о наказ.). По этому, еслибы поступокъ подсудимаго Павленкова и могъ быть подведенъ по аналогіи, подъ дѣйствіе 1,001 ст. Улож., то и въ этомъ случаѣ онъ не могъ бы подлежать наказанію, такъ какъ напечатанное имъ сочиненіе было задержано до выпуска его въ обращеніе, слѣдовательно, напечатаніе его составляло лишь одно приготовленіе къ преступленію, ненаказуемое въ преступленіяхъ этого рода. Наконецъ Правительствующій Сенатъ не можетъ оставить безъ вниманія, что подсудимый Павленковъ только *перепечаталъ* сочиненія Писарева, пропущенныя предварительною цензурою и находящіяся въ книгахъ, неизятыхъ изъ обращенія и невнесенныхъ въ каталогъ запрещенныхъ книгъ, а по закону (Улож. ст. 1,034) даже перепечатанія произведенія, *запрещеннаго по суду*, подвергаетъ наказанію лишь тогда, когда произведеніе это было внесено въ каталогъ запрещенныхъ книгъ. Согласно съ этимъ правиломъ и книгопродавцы, за храненіе, продажу и распространеніе такой книги, которая сперва была позволена, а влослѣдствіи подверглась запрещенію, не подлежатъ отвѣтственности, если книга эта не была внесена въ каталогъ запрещенныхъ, или если о запрещеніи ея не было установленнымъ порядкомъ объявлено (ст. 1,019). Слѣдовательно, если бы поступокъ подсудимаго Павленкова и былъ воспрещенъ уголовнымъ закономъ подъ страхомъ наказанія и еслибы подсудимый оказался виновнымъ въ самомъ совершеніи преступленія, а не въ одномъ лишь приготовленіи къ оному, ненаказуемому въ этомъ родѣ преступленій, то и въ такомъ случаѣ онъ не подлежалъ бы наказанію за перепечатаніе такого сочиненія, которое не было запрещено и невнесено въ каталогъ запрещенныхъ книгъ. Что же касается разсматриваемой статьи Писарева, перепечатанной Павленковымъ, то хотя содержаніе ея и не можетъ быть

призвано преступнымъ, по неимѣнію въ виду спеціального закона, воспреещающаго подѣ страхомъ наказанія, сочиненія подобнаго содержанія, но какъ тонъ статьи Писарева и выраженія въ ней употребляемыя противны общимъ цензурнымъ правиламъ и дальнѣйшее распространеніе такого сочиненія можетъ имѣть вредное вліяніе, то означенную статью, согласно съ указаніемъ закона (Улож. ст. 1,045), слѣдуетъ уничтожить. Хотя въ законѣ этомъ сказано, что судъ можетъ опредѣлить уничтоженіе этой книги при назначеніи наказанія виновному въ преступленіи печати; но очевидно, что здѣсь слова: «при назначеніи наказанія» опредѣляютъ скорѣе время, въ которомъ эта мѣра принимается, чѣмъ условіе, при которомъ она можетъ быть принята? Конечно, въ большей части случаевъ, уничтоженіе вредной книги будетъ совпадать съ назначеніемъ наказанія; однако могутъ быть и такіе случаи, въ которыхъ книга оказывается самою вредною или даже преступнаго содержанія, а между тѣмъ сочинитель или издатель книги не можетъ быть подвергнутъ наказанію, или потому, что совершилъ преступленіе въ состояніи невмѣняемости, или потому, что виновенъ въ одномъ лишь приготовленіи къ преступленію, или потому, что вредное его сочиненіе не воспрещено закономъ подѣ страхомъ наказанія, или же потому, что привлечено къ суду не то лицо, которое по закону подлежитъ отвѣтственности (ст. 1,042 Улож. о наказ.) и т. п. Изъ этого видно, что уничтоженіе вредной книги невозможно поставять всегда и безусловно въ зависимость отъ назначенія наказанія виновному въ преступленіи печати.

По всѣмъ симъ соображеніямъ Правительствующій Сенатъ *опредѣляетъ*: 1) подсудимаго отставнаго поручика Флорентія Федорова Павленкова отъ наказанія по настоящему дѣлу освободить, а перепечатанную имъ статью Писарева «Бѣдная русская мысль» уничтожить; 2) приговоръ Судебной Палаты въ чемъ онъ не согласенъ съ вышеизложенными соображеніями, отиѣнить, о чемъ и послать указъ С.-Петербургской Судебной Палатѣ съ возвращеніемъ подлиннаго дѣла.

РУССКІЙ ДОНЪ-КИХОТЪ.

(Сочиненія И. В. Кирѣвскаго I и II т. Москва. 1861 годъ).

I.

Ничто не можетъ быть безцвѣтнѣе и неопредѣленнѣе общихъ выраженій: обскурантъ, прогрессистъ, либералъ, консерваторъ, славянофилъ, западникъ; эти выраженія нисколько не характеризуютъ того человека, къ которому они прикладываются; они надѣваютъ непрошенный мундиръ на его умственную личность и, вмѣсто живого человека, мыслящаго и чувствующаго по-своему, показываютъ намъ неподвижную вывѣску замкнутаго круга убѣжденій. Чѣмъ даровитѣе и замѣчательнѣе разсматриваемая личность, тѣмъ пошлѣе кажутся мнѣ общіе эпитеты, прилагаемые къ ней такими критиками, которые не хотятъ или не умѣютъ вдуматься въ ея личныя особенности, прослѣдить ея индивидуальное развитіе и, такимъ образомъ, вмѣсто голаго термина дать оживленную характеристику.

Еслибы подойти къ сочиненіямъ И. В. Кирѣвскаго такъ, какъ подошелъ къ нимъ критикъ Современника, то съ нимъ порѣшить было бы очень не трудно. Причислить его къ самымъ мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ вовсе не мудрено; за цитатами дѣло не станетъ; изъ его сочиненій можно выписать десятки такихъ страницъ, отъ которыхъ покоробитъ самого невзыскательнаго читателя; ну, стало быть и толковать нечего; привелъ полдюжины самыхъ пахучихъ выписокъ, поглумился надъ каждою въ отдѣльности и надъ всѣми въ совокупности, поспорилъ для виду съ авторомъ, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своихъ воззрѣній, завершилъ рецензію общимъ прогрессивнымъ заключеніемъ и дѣло готово — статья идетъ въ типографію.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Напасть на Кирѣвскаго не трудно, да толку-то въ этомъ мало. Бороться съ нимъ не зачѣмъ, потому что его дѣятельность уже принадлежитъ прошедшему; если же мы останавливаемся на немъ, какъ на совершившемся фактѣ, то мы должны или объяснить его по мѣрѣ силъ, или сознаться въ томъ, что мы объяснять не умѣемъ; а поработать надъ объясненіемъ личности Кирѣвскаго, какъ любопытнаго психологическаго факта—право стоить. Друзья и единомышленники Кирѣвскаго скажутъ, конечно, что его слѣдуетъ изучать, какъ мыслителя, что его должно уважать, какъ двигателя русскаго самосознанія, что принесенная имъ польза будетъ оцѣнена послѣдующими поколѣніями. Съ подобными мнѣніями согласиться невозможно: Кирѣвскій былъ плохой мыслитель, — онъ боялся мысли; Кирѣвскій никуда не подвинулъ русское самосознаніе, онъ даже не затронулъ его; его статьи никогда не производили впечатлѣнія; ихъ читали мало, и теперь ихъ совсѣмъ забыли, несмотря на то, что послѣдняя изъ нихъ была написана всего лѣтъ семь тому назадъ; пользы Кирѣвскій не принесъ никакой, и если послѣдующія поколѣнія по какому нибудь чуду запомнятъ его имя, то они пожалѣютъ только о печальныхъ заблужденіяхъ этого даровитаго человѣка. Еслибы Кирѣвскому удалось составить себѣ обширный кругъ читателей и приобрести себѣ значеніе въ литературѣ, то вліяніе его идей составило бы самый яркій антагонизмъ съ пропагандою Бѣлинскаго. Всякому честному дѣятелю литературы пришлось бы воевать съ нимъ всѣми силами своего пера; противъ него поднялись бы всѣ люди, сколько нибудь дорожащіе мыслию; за него стали бы только люди очень ограниченные или очень недобросовѣстные. А самъ Кирѣвскій былъ человѣкъ очень не глупый и въ высшей степени добросовѣстный — отчего же онъ хотѣлъ остановить разумъ на пути его развитія? Отчего онъ порывался повернуть его назадъ къ младенческимъ его годамъ? Вотъ въ этихъ-то пунктахъ и заключается психологическій интересъ тѣхъ вопросовъ, на которые наводитъ чтеніе сочиненій Кирѣвскаго и приложенныхъ къ нимъ матеріаловъ для его біографіи.

II.

И. В. Кирѣвскій родился въ 1806 году и выросъ въ деревнѣ своихъ родителей. Отецъ его умеръ, когда ему было шесть лѣтъ, а мать его, черезъ 5 лѣтъ послѣ смерти своего мужа, вышла замужъ за Ела-

гна. Молодой Кирѣвскій привязался къ своему вотчиму и выросъ подъ его вліяніемъ. Доброе согласіе его съ своимъ семействомъ продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось относиться критически къ личностямъ своихъ родственниковъ, и поэтому онъ не испыталъ того тяжелаго разочарованія, которое переживаютъ почти всѣ люди, начинающіе мыслить. Вѣроятно, дѣтство Кирѣвскаго оставило въ его душѣ самое свѣтлое воспоминаніе; до конца жизни онъ дорожилъ тѣми лицами, которыя управляли его первоначальнымъ воспитаніемъ; его совершенно удовлетворяли ихъ педагогическіе приемы, ихъ воззрѣнія на жизнь, ихъ отношенія къ разнымъ практическимъ и теоретическимъ вопросамъ; одобряя ихъ понятія, Кирѣвскій самъ успокоивался на нихъ и не чувствовалъ необходимости стремиться къ чему нибудь болѣе разумному; спокойно и пріятно проведенное дѣтство вмѣстѣ съ неизгладимыми воспоминаніями оставило въ его умѣ такой густой осадокъ допотопныхъ идей, котораго не могли сдвинуть съ мѣста ни житейскія волненія, ни теоретическія размышленія. Любознательность Кирѣвскаго была очень велика — онъ много читалъ, серьезно задумывался надъ прочитаннымъ, но какъ только вычитанныя идеи начинали разрушать образы, населявшіе его дѣтство, такъ онъ отстранялъ ихъ прочь, чистосердечно называя ихъ заблужденіями и не считая даже нужнымъ останавливаться на вопросѣ—точно ли это заблужденія. Кирѣвскій любилъ тѣ понятія, съ которыми онъ свыкъ въ дѣтствѣ; а когда человѣкъ любитъ какую нибудь идею, тогда бываетъ очень трудно убѣдить его въ ея несостоятельности; чтобы опрокинуть въ головѣ его эту любимую идею, необходимъ сильный толчокъ, крутой переворотъ или постоянное вліяніе другого человѣка, стоящаго выше его по развитію и смотрящаго на вещи непредубѣжденными глазами. Ни того, ни другого не пришлось испытать Кирѣвскому.

— Мы, — пишетъ онъ къ г. Кошелеву, мечтая о жизни, — возвратимъ права истинной религіи, вѣяющее согласіемъ съ нравственностью, возбуждѣвъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога.

Въ началѣ 1830 года Кирѣвскій, воодушевленный этими высокими стремленіями, уѣхалъ за границу; ему въ это время пришлось пережить глубокое огорченіе; онъ сдѣлалъ предложеніе любимой женщинѣ и получилъ отказъ; это событіе потрясло его здоровье и медики предписали ему путешествіе, какъ лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило вдаль стремленіе къ широкой жизни мысли; ему было уютно въ московскомъ кругу родственниковъ и друзей, и спокойное наслажденіе ровными отношеніями съ окружающими людьми было для него дороже кипучей дѣятельности и разнообразныхъ волненій умственной жизни. „Я возвращусь, возвращусь скоро, писалъ онъ черезъ нѣсколько

дней послѣ своего отъѣзда изъ Москвы, это я чувствую, разставшись съ вами“.

Мягкосердечный московскій юноша пробылъ за-границею всего 10 мѣсяцевъ, и заграничная атмосфера не успѣла произвести въ немъ никакого благотворнаго измѣненія. Онъ мѣрилъ западную мысль крошечнымъ аршиномъ своихъ московскихъ убѣжденій, которыя казались ему непогрѣшимыми и которыя раздѣляли съ нимъ всѣ убогія старушки Бѣлокаменной. Онъ слушалъ лекціи извѣстнѣйшихъ профессоровъ, усвоивалъ себѣ фактическія свѣдѣнія, сообщалъ въ письмахъ къ родственникамъ и друзьямъ остроумныя замѣтки о методѣ и манерѣ ихъ преподаванія, и между тѣмъ самъ оставался неразвитымъ, наивнымъ ребенкомъ, не умѣвшимъ ни на минуту возвыситься надъ воззрѣніями папеньки и маменьки.

Слушая лекціи Шлейермахера, профессора теологіи, Кирѣевскій находилъ, что Шлейермахеръ слишкомъ много разсуждаетъ, и что современному мыслителю слѣдуетъ воздерживаться отъ анализа подробностей. Избавляю себя отъ обязанности выписывать то мѣсто, въ которомъ Кирѣевскій произноситъ сужденіе надъ Шлейермахеромъ, и прошу читателей моихъ, желающихъ познакомиться съ этимъ сужденіемъ, пробѣжать въ I томѣ 42-ую страницу матеріаловъ.

Въ Берлинѣ Кирѣевскій познакомился съ Гегелемъ, и на него сильно подѣйствовала чарующая мысль, что онъ окруженъ *первоклассными умами Европы*; онъ выразилъ эту мысль въ письмахъ на родину; съ первоклассными умами онъ говорилъ „о политикѣ, о философіи, о религіи, о поэзіи“; какъ на него подѣйствовали сужденія первоклассныхъ умовъ объ этихъ высокихъ предметахъ, онъ не пишетъ. Развивалъ ли онъ самъ передъ ними свои наивно-ребяческія понятія и нравилось ли имъ его нетронутое простодушіе, онъ также не сообщаетъ. Сношенія Кирѣевского съ Гегелемъ и его знакомыми продолжались очень недолго и поэтому не успѣли произвести прочнаго впечатлѣнія. Кирѣевскій съ любопытствомъ осматрѣлъ мнѣнія первоклассныхъ умовъ, какъ осматриваютъ диковинки какого нибудь музеума, и оставилъ эти мнѣнія нетронутыми вѣроятно потому, что они рѣзко расходились съ его стремленіями и казались ему непригодными для жизни.

Въ концѣ 1830 года Кирѣевскій возвратился въ Россію. Впечатлѣнія его заграничной жизни глубоко запали въ его воспримчивый умъ, и выразились въ искреннемъ сочувствіи къ западному просвѣщенію, въ сильномъ желаніи провести въ русскую жизнь начала лучшей цивилизаціи. Въ теченіи 1831 года онъ собралъ матеріалы для изданія журнала, составилъ себѣ кругъ сотрудниковъ и въ 1832 году выпустилъ въ свѣтъ двѣ первыя книжки журнала „Европеецъ“. Сочувствіе Кирѣевского къ западному просвѣщенію обнаружилось въ его статьѣ „Девятнадца-

тій вѣкъ", открывшей собою его журналъ и выразившей въ общихъ чертахъ ту программу, которой намѣренъ былъ слѣдовать издатель. Въ этой статьѣ проведена мысль о необходимости постоянного умственного общенія между Европою и Россією. „Ибо просвѣщеніе одинокое, говоритъ Кирѣвскій, китайски отдѣленное, должно быть и китайски ограниченное: въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогресса, нѣтъ того успѣха, который добывается только совокупными усиліями человѣчества“. Въ этой статьѣ можно замѣтить только одинъ существенно важный недостатокъ—крайнюю голословность и бездоказательность. Въ подтвержденіе своихъ идей Кирѣвскій не приводитъ ни одного факта. Вся статья вертится на отвлеченныхъ умозрѣніяхъ; Кирѣвскій составляетъ себѣ какую-то химическую формулу европейской образованности и потомъ, отвернувшись отъ дѣйствительныхъ фактовъ, смотритъ только на эту формулу, передвигаетъ и перетасовываетъ ея ингредиенты и подводитъ такіе итоги, которые столько же похожи на дѣйствительность, сколько списокъ примѣтъ, означенныхъ въ отпускомъ билетѣ, похожъ на живаго владѣтеля этой бумаги. Все сочувствіе Кирѣвскаго къ европейской цивилизаціи улетучивается въ общихъ мѣстахъ и въ фразахъ; если оно не выражается въ междометіяхъ и восклицаніяхъ, то это происходитъ единственно оттого, что Кирѣвскій старается вездѣ выдерживать тонъ серьезнаго и основательнаго мыслителя. На самомъ же дѣлѣ въ его статьѣ кромѣ внѣшняго тона нѣтъ ничего солиднаго и основательнаго; онъ беретъ изъ Гизо (не указывая на источникъ) его мнѣніе о томъ, что европейская цивилизація сложилась изъ трехъ элементовъ, изъ остатковъ классическаго міра, изъ христіанства и изъ германскаго варварства и на эту тему начинаетъ разыгрывать вариаціи очень однообразныя, утомительныя и безполезныя. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута въ этой характеристикѣ девятнадцатаго вѣка. Мы не видимъ даже въ общихъ чертахъ какъ живутъ люди въ Европѣ, какъ смотрятъ другъ на друга различныя сословія, къ чему стремятся отдѣльныя личности и цѣлыя партіи, какія потребности жизни отражаются въ литературѣ. Видно, что благоговѣніе Кирѣвскаго передъ первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нѣтъ дѣла до того, что ѣсть французскій блузникъ, нѣтъ дѣла до того, что говорить на своемъ митингѣ англійскій ремесленникъ, нѣтъ дѣла до того, какъ богатая буржуазія эксплуатируетъ пролетаріевъ и какъ буржуа, хозяинъ въ своемъ домѣ и въ своей семьѣ, давитъ индивидуальное развитіе своихъ сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающіе въ европейской жизни и составляющіе ея животрепещущій и общечеловѣческій интересъ, проходятъ мимо его просвѣщеннаго ума, занятаго недостижимо высокими интересами и аристократическими идеальными стремленіями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Ки-

рѣвскій, очевидно, думаетъ, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины двѣ нѣмецкихъ профессоровъ философіи олицетворяютъ въ своихъ особахъ самые характерные моменты европейской цивилизаціи. Кирѣвскому кажется, что мысль Шеллинга о сущности истиннаго познанія имѣетъ мировое значеніе и что высказавши эту мысль въ научной формѣ, Шеллингъ сдѣлалъ истинно великое открытіе, просто въ концѣ разодолжилъ все человѣчество. Придавая такое колоссальное значеніе нѣмецкой умозрительной философіи, Кирѣвскій, конечно, забываетъ, что врядъ ли одна сотая часть всего населенія западной Европы интересуется диалектическими построеніями нѣмецкихъ профессоровъ, и что даже эта сотая не выноситъ для себя изъ этихъ диалектическихъ построеній ничего существеннаго. Если подъ именамъ цивилизаціи подразумѣвать тѣ формы, въ которыя укладывается знанье отдѣльнаго человѣка и народа, то умозрительная философія получаетъ право участвовать въ картинѣ цивилизаціи настолько, насколько она содѣйствуетъ развитію и измѣненію бытовыхъ формъ и жизненныхъ отношеній. Въ этомъ случаѣ она электрическимъ токомъ проходитъ черезъ тысячи работающихъ головъ; когда же эта умозрительная философія ограничивается построеніемъ формулъ, тогда она оставляется на долю досужныхъ людямъ, которыхъ не помяла желѣзная рука вседневной заботы и которыми пріятно носиться въ отвлеченныхъ пространствахъ, вмѣсто того, чтобы смотрѣть на горе окружающихъ людей и помогать имъ дѣломъ и совѣтомъ.

Умозрительная философія—пустая трата умственныхъ силъ, безцѣльная роскошь, которая всегда останется непонятною для толпы, нуждающейся въ насущномъ хлѣбѣ. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллингъ, этого, конечно, не понялъ и Кирѣвскій. Вмѣсто того, чтобы взглянуть на умозрительную философію какъ на хроническое повѣтріе, какъ на болязненный наростъ, развившійся вслѣдствіе того, что живыя силы, стремившіяся къ практической дѣятельности, были насильственно сдвинуты и задержаны. Кирѣвскій преклоняется передъ философами, какъ передъ вожаками европейской мысли, любитъ ихъ, какъ цвѣтомъ и надеждою европейской цивилизаціи. Замѣчательно, что масса читателей обыкновенно сочувствуетъ мыслителю только въ какомъ нибудь одномъ, часто очень узкомъ, часто чрезвычайно широкомъ примѣненіи его идеи. Масса беретъ только практическій выводъ и обыкновенно дѣлаетъ этотъ выводъ такъ смѣло и такъ рѣзко, что самъ мыслитель пугается и пятится назадъ. Анабаптисты и крестьянскіе воины были практическимъ выводомъ идей Лютера и Меланхтона, и Лютеръ вмѣстѣ съ Меланхтономъ испугались и прокляли свое собственное дѣло. Также точно Гегель, Шеллингъ и всѣ прочіе предводители „нѣмецкаго любомудрія“ проклинали бы тѣ неожиданные выводы, которые дѣлаетъ Кирѣв-

скій на основаніи ихъ идей и ихъ дѣятельности. Этимъ „первокласснымъ“ умамъ Европы пришлось бы краснѣть отъ стыда и досады, еслибы они узнали, что ихъ въ Россіи глядятъ по головкѣ за то, что они показали неудовлетворительность чистаго разума, составили реакцію противъ энциклопедистовъ XVIII вѣка и такимъ образомъ натолкнули европейскій западъ на возвратный путь — — Кирѣевскій, какъ мягкосердный московскій юноша, сросшійся съ идеями своего родимаго города, увидалъ и понялъ въ нѣмецкихъ философахъ только то, что имѣло сходство съ его стремленіями. Чтобы согласить свое уваженіе къ первокласснымъ умамъ Европы съ своею слѣпою привязанностью къ тому, что толковали ему съ дѣтства маменька да нянюшка, Кирѣевскій употребилъ довольно ловкій маневръ: Кирѣевскій говоритъ, что Гегель тѣмъ великъ и полезенъ, что, доведя раціонализмъ до крайнихъ предѣловъ, онъ показалъ недостаточность чистаго разума и убѣдилъ людей въ необходимости искать другихъ источниковъ познанія, „очистилъ дорогу къ храму живой мудрости“. Вотъ, думаетъ Кирѣевскій, западъ увидалъ, что на своихъ философахъ далеко не уѣдешь; вотъ онъ погорюетъ, погорюетъ, да и обратится къ намъ за совѣтомъ, а мы, конечно, дадимъ ему совѣтъ въ московскомъ духѣ; западъ прислушается, увидитъ, что это „добро зѣло“, скажетъ подобно князю Владиміру, что, отвѣдавъ сладкаго, уже не хочешь горькаго, и заживемъ мы съ западомъ душа въ душу, какъ жили съ нимъ слишкомъ лѣтъ тысячу тому назадъ. Въ такихъ-то краскахъ рисуются Кирѣевскому будущія отношенія между цивилизаціями Россіи и Европы. Эти краски въ его статьѣ „Девятнадцатый вѣкъ“ положены такъ легко, что онѣ проходятъ незамѣтными для невнимательнаго читателя; Кирѣевскій въ этой статьѣ напираетъ всего больше на то, что мы должны сближаться съ Европою и заимствовать у нея образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будетъ и на нашей улицѣ праздникъ; придетъ къ намъ Европа просить ума-разума и мы великодушно подѣлимся съ нею нашими духовными благами. Въ статьѣ „Девятнадцатый вѣкъ“ выражались такимъ образомъ два главные момента умственной жизни Кирѣевского; на эту статью положили свою печать дѣтство Кирѣевского и его путешествіе за-границу; первое отразилось въ теплотѣ чувства и въ робости мысли, второе — въ искреннемъ, но голословномъ и необъясненномъ сочувствіи къ европейской цивилизаціи. Чему сочувствуетъ Кирѣевскій — мы не видимъ. На что ему нужна Европа — не понимаемъ. Словомъ, во всей статьѣ переплетается московскій сентиментализмъ съ какимъ-то сердечнымъ влеченіемъ къ европейскому западу. При этомъ должно замѣтить, что это неопредѣленное, сердечное влеченіе не имѣетъ ничего общаго съ сознательнымъ уваженіемъ арѣлаго чловѣка къ оцененной и прѣвѣренной идеѣ.

III.

Еслибы Кирѣевскій, управляя журналомъ, продолжалъ уяснять себѣ и публикѣ свои стремленія и симпатіи, то, вѣроятно, онъ договорился бы до какихъ нибудь осязательныхъ результатовъ; онъ увидалъ бы противорѣчіе между европеизмомъ и московскою сентиментальностью и склонился бы опредѣленнымъ образомъ на ту или на другую сторону. Пока впечатлѣніе заграничнаго путешествія было еще свѣжо и сильно, можно было надѣяться, что западный элементъ возьметъ верхъ надъ воспоминаніями дѣтства; но тутъ, къ несчастью, непредвидѣнные обстоятельства насильственно прервали дѣятельность Кирѣевского. „Европеецъ“ прекратился на первыхъ двухъ книжкахъ. Люди съ сильнымъ характеромъ раздражаются неудачами; ихъ энергія удваивается при борьбѣ съ препятствіями; ихъ убѣжденія становятся строже и послѣдовательнѣе, обозначаются отчетливѣе, рѣзче и неумолимѣе. Но съ Кирѣевскимъ этого не могло случиться; онъ упалъ духомъ, пересталъ писать, сталъ внимательно пересматривать свои убѣжденія и во многомъ измѣнилъ ихъ основной характеръ. Онъ, конечно, не прививалъ къ себѣ искусственно такихъ идей, которыя гармонировали бы съ обстоятельствами; онъ не сталъ бы себя насиловать, не поплылъ сознательно по теченію, но, какъ человѣкъ въ высшей степени впечатлительный, онъ испыталъ отъ этой неудачи самое сильное потрясеніе; встревоженный и огорченный, онъ усомнился въ самомъ себѣ; ему пришло въ голову, что, можетъ быть, это *само Провидѣніе* даетъ ему спасительный урокъ, что, можетъ быть, онъ заблуждался и указывалъ своимъ согражданамъ такой путь развитія, который не соотвѣтствуетъ ихъ потребностямъ. Когда въ умѣ Кирѣевского началось это тяжелое раздумье, когда ему такимъ образомъ представился случай, подъ влияніемъ житейской невзгоды, выковать себѣ убѣжденія зрѣлаго человѣка, тогда воспоминанія дѣтства въ полной яркости и отчетливости представились его встревоженному воображенію. Окружающія впечатлѣнія, Москва и Долбино (родовое имѣніе Кирѣевскихъ), взяли верхъ надъ европейскими тенденціями, пробудившимися во время заграничной поѣздки, и выразившимися въ прерванной дѣятельности молодого журналиста. Эти тенденціи, въ которыхъ было такъ много неяснаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много искреннаго, эти тенденціи, изъ которыхъ, при другихъ условіяхъ, могло выработаться много хорошаго и разумнаго, отошли на задній планъ, завили и зачали, усту-

или свое мѣсто другимъ воззрѣніямъ, мрачнымъ, бесплоднымъ и безжизненнымъ.

Если можно сближать литературный типъ съ личностью дѣйствительно существовавшего человѣка, то я позволю себѣ сравнить участь Кирѣвскаго съ судьбою Лизы изъ „Дворянскаго гнѣзда“ Тургенева. И Кирѣвскій, и Лиза носили въ себѣ съ дѣтства зародыши того разложенія, которое современемъ погубило и извратило ихъ богатныя умственные силы; оба они, и Кирѣвскій, и Лиза были способны жить разумною жизнью; еслибы имъ благопріятствовало счастье, то Лиза не пошла бы въ монастырь, а Кирѣвскій остался бы вѣренъ чисто европейскимъ тенденціямъ; но когда надъ ними обрушилась бѣда, тогда въ нихъ поднялись всѣ ихъ мистическіе инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекративъ изданіе „Европейца“, Кирѣвскій сосредоточился, и, въ продолженіи двѣнадцати лѣтъ написалъ только двѣ небольшія статьи; когда онъ снова началъ высказываться въ печати, тогда направленіе его мыслей оказалось уже существенно измѣненнымъ. Составитель матеріаловъ для біографіи Кирѣвскаго находитъ, конечно, что это измѣненіе было важнымъ шагомъ впередъ; я скажу съ своей стороны, что это измѣненіе было глубокимъ и окончательнымъ паденіемъ.

Обо многихъ людяхъ, шедшихъ по тому пути, по которому пошелъ Кирѣвскій можно сказать просто: туда имъ и дорога! Но о Кирѣвскомъ нельзя не пожалѣть, какъ нельзя, напримѣръ, не пожалѣть о Гоголѣ. Несмотря на то, что его умъ никогда не дошелъ до самоосвобожденія, ему невозможно отказать въ значительной степени даровитости. Онъ не доводитъ никакой идеи до послѣднихъ предѣловъ, но въ діалектическомъ развитіи этой идеи онъ всегда обнаруживаетъ гибкость ума и логическую находчивость. Логика Кирѣвскаго скована пристрастіями и предразсудками, но отстаивая эти пристрастія и предразсудки, онъ пускаетъ въ ходъ самыя разнообразныя діалектическіе приемы и дѣйствуетъ на читателя не силою послѣдовательности, а разнообразіемъ и наглядностью аргументовъ. Онъ не мыслитель; онъ просто человѣкъ, горячо чувствующій и старающійся убѣдить читателя въ нормальности и законности своихъ симпатій. Люди, одаренные отъ природы непобѣдимою логикою здраваго смысла, конечно, увидятъ, къ чему клонятся усилія Кирѣвскаго, и не поддадутся ни его доводамъ, ни теплотѣ чувства, разлитого въ его статьи.

Что же касается до людей слабыхъ, чувствительныхъ и способныхъ увлекаться, то на нихъ могутъ подѣйствовать въ высшей степени — — тенденціи Кирѣвскаго, прикрытыя приличною литературною формою, соглашенныя наружнымъ образомъ съ интересами гуманнаго развитія и подкрашенныя научными терминами и именами новѣйшихъ философовъ.

Когда Кирѣевскій толкуетъ объ общихъ историческихъ вопросахъ, о потребностяхъ народа и человѣчества, тогда онъ оказывается совершенно не на своемъ мѣстѣ. У него не хватаетъ широты взгляда и силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всемъ ихъ величии и чтобы, обсуживая ихъ, не забиться въ какую нибудь трущобу, изъ которой нѣтъ выхода на свѣжій воздухъ. Объ Европѣ и о Россіи онъ судитъ вернвъ и вкось, не зная фактовъ, не понимая ихъ и стараясь доказать всему читающему міру, что и философія, и исторія, и политика нуждаются для своего оживленія именно въ тѣхъ понятіяхъ, которыя были привиты ему самому. Тотъ-же Кирѣевскій, имѣя дѣло съ частнымъ вопросомъ, съ небольшимъ явленіемъ, не превышающимъ пониманія обыкновеннаго человѣка, оказывается очень тонкимъ цѣнителемъ, очень остроумнымъ критикомъ и безпристрастнымъ судьей.

Въ его мелкихъ статьяхъ разсыпано много удачныхъ замѣчаній о нашей всендневной жизни, объ уродливыхъ и смѣшныхъ явленіяхъ, встречающихся на каждомъ шагу въ нашемъ несложившемся обществѣ. Вотъ напр. что говоритъ Кирѣевскій въ своей статьѣ „Горе отъ ума на московскомъ театрѣ“:

„Философія Фамусова и теперь еще кружитъ намъ головы; мы и теперь, также какъ въ его время, хлопочемъ и суедемся изъ ничего, кланяемся и унижаемся безкорыстно, только изъ удовольствія кланяться; ведемъ жизнь безъ цѣли, безъ смысла; сходимся съ людьми безъ участія, расходимся безъ сожалѣнія; ищемъ наслажденій минутныхъ и не умѣемъ наслаждаться. И теперь, также какъ при Фамусовѣ, дома наши равно открыты для всѣхъ: для званныхъ и незванныхъ, для честныхъ и для подлецовъ. Связи наши состояются не сходствомъ мнѣній, не сообразностью характеровъ, не одинакою цѣлью въ жизни и даже не сходствомъ нравственныхъ правилъ; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай насъ сводитъ, случай разводитъ и снова сближаетъ безъ всякихъ послѣдствій, безъ всякаго значенія“.

Эти слова, по моему мнѣнію, выражаютъ вѣрный и беспощадный взглядъ на пустую жизнь нашего общества, на отсутствіе въ немъ общихъ интересовъ, на узкую ограниченность той сферы, въ которой мы живемъ и стараемся дѣйствовать. Ясно, что Кирѣевскій, выражая подобныя мысли, не мирился съ несовершенствами нашей дѣятельности и считалъ необходимымъ исправленіе этихъ недостатковъ. Причину недостатковъ онъ видитъ въ томъ, что „изъ-подъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ русскаго кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица“. Средство исцѣленія заключается, по его мнѣнію, въ сближеніи съ Европою, въ усвоеніи общечеловѣческихъ идей, въ уничтоженіи особенности и неподвижности. Всѣ эти идеи здравы и вѣрны; въ положительной ихъ части, т. е. тамъ, гдѣ Кирѣевскій указы-

ваетъ на то, что должно дѣлать, можно замѣтить ту же отвѣченную голословность, которую мы уже видѣли въ статьѣ „Девятнадцатый вѣкъ“. Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисленія недостатковъ, то должно сознаться, что въ ней много справедливаго и даже оригинальнаго. Кирѣевскій глубоко чувствовалъ безалаберность русской жизни, и это чувство выразилось въ его произведеніяхъ въ очень разнообразныхъ формахъ; порою онъ является обличителемъ житейскихъ нагбностей, порою выражаетъ свое сочувствіе къ тѣмъ лучшимъ единицамъ, которыя страдаютъ въ душевной атмосферѣ, порою самъ тоскливо стремится вонъ изъ дѣйствительности въ міръ мечты или въ область отвлеченнаго умозрѣнія. Въ небольшой статьѣ его „О русскихъ писательницахъ“ можно найти нѣсколько горячо прочувствованныхъ страницъ. Кирѣевскій понимаетъ, что женщина, чувствующая потребность высказаться передъ своими согражданами, принуждена бороться въ Россіи со многими и положительными, и отрицательными препятствіями; онъ понимаетъ, что трудъ женщины далеко не получилъ еще у насъ права гражданства, что женщина, предоставленная своимъ собственнымъ силамъ, принужденная преодолевать предубѣжденіе однихъ, равнодушіе другихъ, непониманіе третьихъ, рискуетъ умереть съ голоду, несмотря ни на свою даровитость, ни на свое образованіе, ни на искреннее стремленіе къ честному и общепользному труду. Если этого уже нѣтъ теперь, если въ наше время даровитая писательница пользуется всеобщимъ уваженіемъ, то это было иначе въ тридцатыхъ годахъ, когда писалъ Кирѣевскій; тогда вообще кругъ читающей публики былъ гораздо тѣснѣе, и кромѣ того, предубѣжденіе противъ литературнаго труда женщины имѣло свое значеніе въ обществѣ и въ семействѣ. Вотъ напр. краткій разсказъ Кирѣевского объ одномъ замѣчательномъ фактѣ тогдашней литературы и тогдашней жизни:

„Недавно, говоритъ онъ, россійская академія издала стихотворенія одной русской писательницы, которой труды займутъ одно изъ первыхъ мѣстъ между произведеніями нашихъ дамъ-поэтовъ, и которая до сихъ поръ оставалась въ совершенной неизвѣстности. Судьба, кажется, отдѣлила ее отъ людей накомъ-то страшною бездною, такъ что, живя посреди ихъ, посреди столицы, ни она ихъ не знала, ни они ее. Они оставили ее, не зная для чего; она оставила ихъ для своей Греціи, — для Греціи, которая, кажется, одна наполняла всѣ ея мечты и чувства; по крайней мѣрѣ о ней одной говоритъ каждый стихъ изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, написанныхъ ею. Странно: семнадцать лѣтъ, въ Россіи, дѣвушка бѣдная, бѣдная съ всею своею ученостью! Знать восемь языковъ, съ талантомъ поэзіи соединять талантъ живописи, музыки, танцованья, учиться самымъ разнообразнымъ наукамъ, учиться безпрестанно, работать все дѣтство, работать всю первую молодость, рабо-

татъ, начиная день, работать отдыхая; написать три большихъ тома стиховъ по-русски, можетъ быть столько же на другихъ языкахъ; въ свободное время переводить трагедіи, русскія трагедіи,—и все для того, чтобы умереть въ семнадцать лѣтъ, въ бѣдности, въ крайности въ неизвестности“!

Въ этомъ живомъ разсказѣ о неизвѣстныхъ трудахъ, объ этой глухой борьбѣ съ нуждою, объ этой молодой жизни, испепелившейся въ безплодныхъ усиліяхъ, слышенъ голосъ человѣка, способнаго чувствовать и понимать чужое горе. Въ этомъ разсказѣ слышится страшный укоръ нашей жизни. Отчего дѣвушка даровитая, работающая изо всѣхъ силъ, обладающая значительными свѣдѣніями, тратитъ время на бесполезные стихи о Греціи, не находитъ въ русской жизни матеріаловъ для своей дѣятельности и умираетъ безпомощная, непризнанная, никому не нужная, никѣмъ и ничѣмъ не согрѣтая?

Кирѣевскій глубоко сочувствуетъ тѣмъ постояннымъ огорченіямъ, которыя впечатлительная душа женщины испытываетъ ежеминутно при разнообразныхъ столкновеніяхъ съ уродливыми явленіями нашей жизни. Онъ понимаетъ, что женщина, одаренная живымъ эстетическимъ чувствомъ, можетъ и должна стремиться въ какую нибудь болѣе изящную и гармоническую среду.

„Италія, кажется, сдѣлалась ея вторымъ отечествомъ, говоритъ онъ объ одной изъ нашихъ писательницъ, и, впрочемъ кто знаетъ? Можетъ быть; необходимость Италіи есть общая, неизбѣжная судьба всѣхъ, имѣвшихъ участь ей подобную? Кто изъ первыхъ впечатлѣній узналъ лучший міръ на землѣ, міръ прекраснаго; чья душа, отъ перваго пробужденія въ жизнь, была, такъ сказать, взлелѣяна на цвѣтахъ искусствъ и образованности, въ теплой итальянской атмосферѣ изящнаго; можетъ быть, для того уже нѣтъ жизни безъ Италіи, и синее итальянское небо, и воздухъ итальянскій, исполненный солнца и музыки, и итальянскій языкъ, проникнутый всею прелестью нѣги и граціи, и земля итальянская, усыпанная великими воспоминаніями, покрытая, зачарованная созданіями гениальнаго творчества, — можетъ быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственнымъ, неудушающимъ воздухомъ для души, избалованной роскошью искусствъ и просвѣщенія“.

Любуясь изящнымъ произведеніемъ, Кирѣевскій невольно сравниваетъ гармонію этого произведенія съ нестройностью окружающей жизни; онъ чувствуетъ разладъ, существующій между міромъ мечты и міромъ сѣренькой дѣйствительности, и самое эстетическое наслажденіе переходитъ въ тихое чувство грусти. „Все слишкомъ идеальное, говоритъ онъ, даже при свѣтлой наружности, рождаетъ въ душѣ печаль, оттѣненную какимъ-то магнетическимъ сочувствіемъ; такова одинокая, чистая нѣсна

прославленная сквозь нестройный, ее заглушающій шумъ; такова жизнь дѣвухи съ душою пламенною, мечтательною, для которой изъ міра событий существуютъ еще одни внутреннія“. Пожалуйста, гг. читатели, не останавливайтесь на виѣшней сентиментальности, которую грѣшитъ это мѣсто; взгляните въ основную мысль, вникните въ то настроеніе, которое выразилось въ этихъ тихихъ изліяніяхъ грусти, поставьте себя на мѣсто Кирѣвскаго, перенеситесь въ его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальныя.

У Кирѣвскаго разсѣяно въ его статьяхъ много замѣчательныхъ мыслей; чисто литературная критика его отличается вѣрностью эстетическаго чутія. Замѣчательнѣе другихъ его произведеній небольшая статья о стихотвореніяхъ Языкова. Приведу изъ этой статьи нѣсколько выносокъ, выражающихъ общія отношенія автора къ общимъ вопросамъ жизни.

„Мы часто, говоритъ Кирѣвскій, считаемъ людьми нравственными тѣхъ, которые не нарушаютъ приличій, хотя бы впрочемъ жизнь ихъ была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была лишена всякаго стремленія къ добру и красотѣ. Если вамъ случалось встрѣчать человѣка, согрѣтаго чувствами возвышенными, но одареннаго притомъ сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей которые почили въ немъ красоту души, и сколько такихъ, которые замѣтили одни заблужденія. Странно, но правда, что для хорошей репутаціи у насъ лучше совсѣмъ не дѣйствовать, чѣмъ иногда ошибаться, между тѣмъ, какъ въ самомъ дѣлѣ, скажите, есть ли на свѣтѣ что нибудь безнравственнѣе равнодушія“.

Вотъ замѣчательная мысль Кирѣвскаго объ отношеніяхъ между жизнью и искусствомъ:

„Но когда является поэтъ оригинальный, открывающій новую область въ мірѣ прекраснаго и прибавляющій такимъ образомъ новый элементъ къ поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики измѣняется. Вопросъ о достоинствѣ художественномъ становится уже вопросомъ второстепеннымъ; даже вопросъ о талантѣ является неглавнымъ: но мысль, одушевлявшая поэта, получаетъ интересъ самобытный, философическій; и лицо его становится идеею, и его созданія становятся прозрачными, такъ что мы не столько смотримъ на нихъ, сколько сквозь нихъ, какъ сквозь открытое окно стараемся разсмотрѣть самую внутренность новаго храма и въ немъ божество, его освящающее.

Оттого, входя въ мастерскую живописца обыкновеннаго, мы можемъ удивляться его искусству; но предъ картиною художника творческаго забываемъ искусство, стараясь понять мысль, въ ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить въ воображеніи то

состоянія души, при которомъ она исполнена. Впрочемъ и это послѣднее сочувствіе съ художникомъ свойственно однимъ художникамъ же; но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только въ томъ, что въ немъ чисто человѣческаго: съ его любовью, съ его тоской, съ его восторгами, съ его мечтою—утѣшительницею, однимъ словомъ, съ тѣмъ, что происходитъ внутри его сердца, не заботясь о событіяхъ его мастерской.

Такимъ образомъ на нѣкоторой степени совершенства искусство само себя уничтожаетъ, обращаясь въ мысль, превращаясь въ душу.

Вотъ сужденіе Кирѣвскаго объ особенностяхъ поэзіи Языкова:

„Если мы выикнемъ въ то впечатлѣніе, которое производитъ на насъ его поэзія, то увидимъ, что она дѣйствуетъ на душу какъ вино, имъ воспрѣяемое, какъ какое-то волшебное вино отъ котораго жизнь двоятся въ глазахъ нашихъ: одна жизнь является намъ тѣсною, мелкою, ежедневною; другая—праздничною, поэтической, просторною. Первая угнетаетъ душу; вторая освобождаетъ ее, возвышаетъ и наполняетъ восторгомъ. И между сими двумя существованіями лежитъ явная, бездонная пропасть; но черезъ эту пропасть судьба бросила нѣсколько живыхъ мостовъ, по которымъ душа переходитъ изъ одной жизни въ другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль объ отечествѣ, мысль о поэзіи и, наконецъ, тѣ минуты безотчетнаго, разгульнаго веселья, когда собственные звуки сердца заглушаютъ ему голосъ окружающаго міра, — звуки, которыми сердце обязано собственной молодости болѣе, чѣмъ случайному предмету, ихъ возбудившему“.

И, можетъ быть, утомилъ читателя выписками, но мнѣ хотѣлось дать возможно полное понятіе о свѣтлой сторонѣ литературной дѣятельности Кирѣвскаго. Въ этой свѣтлой сторонѣ отразилась способность сочувствовать всѣмъ человѣческимъ ощущеніямъ, и понимать чувствомъ всѣ человѣческія слабости и страданія. Кирѣвскій родился художникомъ и, неизвѣстно почему, вообразилъ себя мыслителемъ. Онъ впечатлителенъ, воспримчивъ, отзывчивъ, способенъ подчиняться чужому вліянію, увлекаться чужими идеями; у него нѣтъ умственной самобытности; онъ постоянно отражаетъ въ себѣ идеи и симпатіи той среды, въ которой онъ живетъ и которую любитъ. Бывши юношею, онъ жилъ тѣмъ, что было втолковано ему въ дѣтствѣ; поѣхавши за границу, онъ увлекся „первоклассными умами“ Европы и началъ стремиться къ западному просвѣщенію, которое было извѣстно ему какъ-то по наслышкѣ, да по философскимъ трактатамъ Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслушавъ гулъ московскихъ колоколовъ, онъ вѣрно приросъ къ той родимой почвѣ, о которой убивается журналъ „Время“ и вообразилъ себя представителемъ славянскаго любуудрія, необходимаго для спасенія разлагающагося запада. Но, какъ ни глубоко было заблужденіе Кирѣвскаго, оно органически вытекало изъ основныхъ свойствъ его

характера, изъ тѣхъ самыхъ свойствъ, которыя выразились въ нѣсколькихъ блестящихъ мысляхъ и въ нѣсколькихъ горячо прочувствованныхъ страницахъ.

Вотъ, видите ли, есть люди, которые не могутъ смотрѣть хладнокровнымъ критическимъ взглядомъ на все, что ихъ обружаетъ; имъ необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему нибудь, съ полнымъ самоотверженіемъ служить какому нибудь принципу или даже какому нибудь лицу. Когда эти люди успѣваютъ обречь себя на служеніе какой нибудь великой, истинной идеѣ, тогда они совершаютъ великіе подвиги, становятся благодѣтелями своего народа и заслуживаютъ признательность современниковъ и потомковъ. Когда же они ошибаются въ выборѣ своего кумира, тогда они дѣлаются безпутными людьми, поступаютъ въ число гасильниковъ и становятся тѣмъ опаснѣе, чѣмъ ревностнѣе и чистосердечнѣе увлекаются своею привязанностью къ превратной идеѣ. Кирѣевскій чувствовалъ, что многія потребности просвѣщеннаго ума не находятъ себѣ удовлетворенія, что многія обиденныя явленія оскорбляютъ человѣческое чувство. Что же оставалось ему дѣлать въ такомъ положеніи? Оставалось бороться противъ тѣхъ сторонъ жизни, которыя можно было измѣнить, и мириться съ тѣмъ, что было не подъ силу отдѣльному человѣку. Мирясь съ явленіями жизни чисто внѣшнимъ образомъ, надо было оградить самого себя отъ развращающаго вліянія этой жизни. Надо было, отказываясь отъ фактической борьбы, оставаться на сторожѣ и хранить свою умственную самостоятельность среди хаоса невѣжества, насилія и предрасудковъ. Но жить такимъ образомъ, безъ дѣятельной борьбы и безъ страстныхъ привязанностей значило жить чистымъ отрицаніемъ, не вѣрить ни въ себя, ни въ другихъ, ни въ идею, сознавая безотрадность настоящаго и сомнѣваться въ возможности лучшаго будущаго. Остановиться на такомъ печальномъ воззрѣніи на жизнь способны очень немногіе люди; чтобы ужиться съ чистымъ сомнѣніемъ въ области науки и жизни, надо обладать значительною трезвостью ума и недюжинною твердостью характера. Но у Кирѣевского не было ни того, ни другого; страдая отъ особенностей жизни, онъ не могъ ни свыкнуться съ этими особенностями, ни выстрадать себѣ полное равнодушіе къ этой жизни. Уродливыя явленія мѣшали ему дѣйствовать, но они не мѣшали ему мечтать, и онъ весь ушелъ въ міръ мечты, унося съ собою свою діалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себѣ, и другимъ, что мечта его — не мечта, а живая дѣйствительность. Еслибы Кирѣевскій былъ мыслителемъ, еслибы онъ заботился не объ удобствахъ того или другого міросозерцанія, а только о степени его дѣйствительной вѣрности, тогда онъ не сталъ бы утѣшать себя произвольными фантазіями; еслибы онъ былъ чистымъ поэтомъ, тогда онъ просто окружилъ бы себя созданіями

собственного воображенія, не стараясь связывать эти созданія съ явленіями дѣйствительной жизни. Но, въ сожалѣнію, въ Кирѣвскомъ соединились эти два рѣдко-совмѣстные элемента; онъ по природѣ своей художникъ, а по развитію ученикъ нѣмецкихъ философовъ. Онъ постоянно мечтаетъ, но воспрѣваемые имъ предметы, къ сожалѣнію, вовсе не вяжутся съ поэзіею; вмѣсто того чтобы изображать свои собственные чувства, настроеніе своей души, наконецъ то или другое, мелкое или крупное событіе, онъ беретъ самыя отвлеченныя темы и пишетъ поэму въ прозѣ о европейской цивилизаціи, объ отношеніяхъ между западомъ и Россіею, о новыхъ началахъ въ философіи. Такого рода сочиненія оказываются плохими поэмами, и плохими разсужденіями. Личное настроеніе автора не можетъ выразиться въ свободномъ лирическомъ изліяніи, потому что онъ скованъ логикою, діалектикою и фізіономіею дѣйствительныхъ фактовъ. Что же касается до логики автора, то она, конечно, стоитъ ниже всякой критики, потому что ея дѣло — доказывать то, во что Кирѣвскому пріятно вѣрить. „Логическій выводъ, говоритъ собиратель матеріаловъ, думая похвалить своего героя, былъ у Кирѣвскаго всегда завершеніемъ и оправданіемъ его внутренняго вѣрованія, и никогда не ложился въ основаніе его убѣжденія“. Въ сочиненіяхъ Кирѣвскаго хороши только тѣ мѣста, въ которыхъ онъ является чистымъ поэтомъ, тѣ мѣста, въ которыхъ онъ безсознательно выражаетъ всю полноту своего чувства. Повѣсти Кирѣвскаго (изъ которыхъ окончена только одна „Опаль“) очень плохи, потому что въ нихъ преобладаетъ головной элементъ; онѣ сбиваются на аллегоріи или же на разсужденія на заданную тему. У Кирѣвскаго не хватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно-стройное цѣлое; у него мечтательность выражается въ общемъ направленіи мысли, а сильное воодушевленіе появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписалъ почти всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ Кирѣвскій, увлекаясь лирическимъ порывомъ, производитъ на читателя сильное и вполне гармоническое впечатлѣніе. Такихъ мѣстъ въ двухъ томахъ очень не много, и эти мѣста тонутъ въ сотняхъ дидактическихъ, утомительно-скучныхъ и глубоко-безполезныхъ страницъ.

IV.

Направленіе, по которому пошелъ Кирѣвскій послѣ своего двѣнадцатилѣтняго бездѣйствія, называется *православно-славянскимъ*. Задатки этого направленія заключаются еще въ основнхъ положеніяхъ его

статьи «Девятнадцатый вѣкъ» но эти положенія получили полное развитіе и принесли обильные плоды впоследствии, въ его отвѣтъ Хомякову, въ письмѣ къ графу Комаровскому, въ критическихъ статьяхъ, помѣщавшихся въ Москвитинѣ, и въ послѣдней его философской статьѣ, украсившей собою страницы покойной Русской Бесѣды. Всѣ эти статьи большею частью посвящены сравненію европейской цивилизаціи съ русскою. Существованіе самобытной русской цивилизаціи, процвѣтавшей «во время оно» и задавленной реформою Петра составляетъ въ глазахъ Кирѣвскаго неопровержимый фактъ, не требующій никакихъ доказательствъ. Эта русская цивилизація восхваляется всѣми возможными возгласами и причитаніями; сравнивая ее съ западною, Кирѣвскій находитъ, что она не въ примѣръ лучше; онъ останавливается на этомъ сравненіи съ особенною любовью и съ трогательнымъ патріотическимъ самодовольствомъ; главное преимущество, которое онъ находитъ въ русской цивилизаціи, заключается въ томъ, что русская цивилизація не проникнута рационализмомъ и не подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Кирѣвскій считаетъ это свойство дѣйствительнымъ и важнымъ преимуществомъ, и что дѣятельность разума кажется ему въ высшей степени опасною, я приведу слѣдующую цитату изъ его письма къ графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнаетъ изъ нея замисловатое миросозерцаніе Кирѣвскаго и убѣдится въ томъ, что русская цивилизація стоитъ неизмѣримо выше западной:

«Но остановимся здѣсь и соберемъ вмѣстѣ все сказанное нами о различіи просвѣщенія западно-европейскаго и древне-русскаго; ибо, кажется, достаточно уже замѣченныхъ нами особенностей для того, чтобы, сведя ихъ въ одинъ итогъ, вывести ясное опредѣленіе характера той и другой образованности.

«Христіанство проникало въ умы западныхъ народовъ черезъ ученіе одной римской церкви, — въ Россіи оно зажигалось на свѣтильникахъ всей церкви православной; богословіе на западѣ приняло характеръ разсудочной отвлеченности, — въ православномъ мірѣ оно сохранило внутреннюю цѣльность духа; тамъ раздвоеніе силъ разума, здѣсь—стремленіе къ ихъ живой совокупности; тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ логическаго сфилософствія понятій, здѣсь—стремленіе къ ней посредствомъ внутреннего возвышенія самосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію разума; тамъ исканіе наружнаго, мертвато единства, здѣсь—стремленіе къ внутреннему, живому; тамъ церковь смѣшалась съ государствомъ, соединивъ духовную власть со свѣтскою и сливая церковное и мірское значеніе въ одно устройство смѣшаннаго характера, въ Россіи—она оставалась не смѣшанною съ мірскими цѣлями и устройствомъ; тамъ схоластическіе и юридическіе университеты, въ древней Россіи—молитвенные монастыри, сосредоточивавшіе въ себѣ высшее знаніе; тамъ раз-

судочное и школьное изученіе высшихъ истинъ, здѣсь стремленіе къ ихъ живому и цѣльному познаванію; тамъ взаимное проростаніе образованности языческой и христіанской, здѣсь—постоянное стремленіе къ очищенію истины; тамъ государственность изъ насилій завоеванія, здѣсь—изъ естественнаго развитія народнаго быта, проникнутаго единствомъ основнаго убѣжденія; тамъ враждебная разграниченность сословій, въ древней Россіи—ихъ единодушная совокупность при естественной разнovidности; тамъ искусственная связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежностями составляетъ отдѣльные государства, здѣсь совокупное согласіе всей земли духовно выражаетъ нераздѣлимое единство; тамъ поземельная собственность—первое основаніе гражданскихъ отношеній, здѣсь собственность только случайное выраженіе отношеній личныхъ; тамъ законность формально логическая, здѣсь — выходящая изъ быта; тамъ наклонность права къ справедливости внѣшней, здѣсь предпочтеніе внутренней; тамъ юриспруденція стремится къ логическому кодексу, здѣсь, вмѣсто наружной связности формы съ формою, ищетъ она внутренней связи правомѣрнаго убѣжденія съ убѣжденіями вѣры и быта; тамъ законы исходятъ искусственно изъ господствующаго мнѣнія, здѣсь они рождались естественно изъ быта; тамъ улучшенія всегда совершались насильственными перемѣнами, здѣсь стройнымъ естественнымъ возрастаніемъ; тамъ волненіе духа партій, здѣсь неизбѣжность основнаго убѣжденія; тамъ прихоть моды, здѣсь твердость быта; тамъ шаткость личной самозаконности, здѣсь крѣпость семейныхъ и общественныхъ связей; тамъ щеголеватость роскоши и искусственность жизни, здѣсь простота жизненныхъ потребностей и бодрость нравственнаго мужества; тамъ изнѣженность мечтательности, здѣсь здоровая цѣльность разумныхъ силъ; тамъ внутренняя тревожность духа при разсудочной увѣренности въ своемъ нравственномъ совершенствѣ, у Русскаго—глубокая тишина и спокойствіе внутренняго самосознанія при постоянной недовѣрчивости къ себѣ и при неограниченной требовательности нравственнаго усовершенія; однимъ словомъ, тамъ раздвоеніе духа, раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе государства, раздвоеніе сословій, раздвоеніе общества, раздвоеніе семейныхъ правъ и обязанностей, раздвоеніе нравственнаго и сердечнаго состоянія, раздвоеніе всей совокупности и всѣхъ отдѣльныхъ видовъ бытія человѣческаго, общественнаго и частнаго; въ Россіи, напротивъ того, — преимущественное стремленіе къ цѣльности бытія внутренняго и внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозрительнаго и житейскаго, искусственнаго и нравственнаго. Потому, если справедливо, сказанное нами прежде, то *раздвоеніе* и *цѣльность*, *разсудочность* и *разумность* будутъ послѣднимъ выраженіемъ западно-европейской и древне-русской образованности».

Читатель долженъ помнить, что всѣ великія достоинства, о кото-

рых говорить Кирѣвскій, принадлежать только древне-русской цивилизаціи. Мы, современные русскіе люди, должны только вздыхать о томъ, что намъ не пришлось насладиться этими благами, и что мы, по всей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Исслѣдователь древне-русскаго быта могъ бы, пожалуй, возразить Кирѣвскому, что въ древней Руси было плохое житье, что тамъ били батогами не на животъ, а на смерть, что судъ никогда не обходился безъ пытки; что рабство или холопство существовало въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, что мужья хлестали своихъ женъ шелковыми и ременными плетками, а блюстители нравственности, въ родѣ Сильвестра, уговаривали ихъ только не бить зря, по уху или по видѣнію. Много подобныхъ возраженій могъ бы привести исслѣдователь, но Кирѣвскій не обратилъ бы на нихъ никакого вниманія; онъ сказалъ бы, что все это мелкія, внѣшнія, случайныя явленія, не касающіяся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизаціи остается неприкосновенною, что принципъ ея великъ и непогрѣшимъ, не смотря на всѣ продѣлки, творившіяся подъ покровомъ этого принципа. На такіе убѣдительные доводы исслѣдователь, конечно, не нашелъ бы отвѣта. Подобно этому предполагаемому исслѣдователю, мы преклоняемся передъ непонятною мудростью мыслителя—поэта, и съ трепетомъ живой надежды прислушиваемся къ его обѣтованіямъ, открывающимъ намъ перспективу лучшей, просвѣтленной жизни. Изъ слѣдующихъ словъ его мы узнаемъ, что мы еще не совсѣмъ погибли, что и для насъ есть возможность спасенія:

«Но корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его святой, православной церкви. Потому на этомъ только основаніи, и ни на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣщенія Россіи... Построеніе же этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который не исключительно занятъ добываніемъ матеріальныхъ средствъ жизни, и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе—вырабатывать мысленно общественное самосознаніе,—когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ проникнутый западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ разумною жаждой полной правды онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней православной вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета разсудочныхъ системъ европейскаго любуудрія, русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, живого, цѣльнаго умо-

зрѣнія святыхъ отцевъ церкви, найдеть самыя полныя отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами западнаго сомосознанія. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдеть возможность понять развитіе другой образованности».

Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ. Они сами говорятъ за себя.

V.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о критической статьѣ, помѣщенной въ «Современникѣ» подѣ заглавіемъ «Московское словенство». Эта статья своею бездоказательностью и голословіемъ можетъ поспорить съ философскими поэмами самаго Кирѣвскаго. Всѣ представители православно-славянскаго направленія—Хомяковъ, К. Аксаковъ, Кирѣвскій, ступеваны подѣ одинъ колеръ; у всѣхъ на лбу прицѣпленъ ярлыкъ съ надписью «славянофилъ», и всѣ они совершенно лишены своей индивидуальной фizioноміи; славянофильство принимается за какое-то умственное повѣтріе, свалившееся на Москву, какъ снѣгъ на голову, и заразившее собою цѣлый кружокъ людей, очень честныхъ и очень неглупыхъ. Внѣшніе признаки славянофильства описаны въ общихъ чертахъ, но изъ этого описанія читатель никакъ не можетъ составить себѣ понятія о томъ, какъ возникло это направленіе мысли, и почему именно оно пришлось по душѣ Кирѣвскому, Хомякову и компаніи. Если закоренѣлые обскуранты смотрятъ на нововведенія, какъ на дьявольскую прелесть, пущенную въ міръ для соблазна и гибели православныхъ христіанъ, то должно сознаться, что нѣкоторые отчаянные и черезъ-чуръ запальчивые прогрессисты смотрятъ на явленія, подобныя славянофильству, какъ на какое-то чудовищное и необъяснимое порожденіе духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нѣсколько не похожи другъ на друга по образу мыслей, но тѣ и другіе, сражаясь съ враждебными имъ явленіями, увлекаются за предѣлы всякаго благоразумія, теряютъ способность хладнокровно анализировать, и, впадая въ декламацию, берутъ фальшивыя ноты, вредящія тому дѣлу, которое они защищаютъ.

Вмѣсто того, чтобы прослѣдить развитіе Кирѣвскаго, Хомякова и другихъ славянофиловъ, вмѣсто того, чтобы рассмотреть тѣ свойства этихъ людей, которыя породили въ нихъ недовѣріе къ дѣятельности разума, словомъ, вмѣсто того, чтобы объяснить славянофильство какъ пси-

хологическій фактъ, критикъ „Современника“ вдается въ совершенно бесплодную полемику съ положеніями славянофильскихъ теорій.

Спорить съ славянофилами — это, право, странно; благоразумный человѣкъ не станетъ ни опровергать отрывочныхъ восклицаній, ни смѣяться надъ несвязною рѣчью. Онъ будетъ наблюдать, изучать развитіе и причины и сообщать результаты своихъ изслѣдованій другимъ людямъ, способнымъ и желающимъ его слушать.

Славянофильство — не повѣтріе, идущее неизвѣстно откуда, это — психологическое явленіе, возникающее вслѣдствіе неудовлетворенныхъ потребностей. Кирѣевскому хотѣлось жить разумною жизнью, хотѣлось наслаждаться всѣмъ, чего просить душа живого человѣка, хотѣлось любить, хотѣлось вѣрить... Въ дѣйствительности не нашлось матеріаловъ; а между тѣмъ онъ полюбилъ ее, обидеализировалъ ее, раскрасилъ ее по своему и сдѣлался рыцаремъ печальнаго образа, подобно незабвенному Донъ-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донъ-кихотство; гдѣ стоятъ вѣтряныя мельницы, тамъ славянофилы видятъ вооруженныхъ богатырей; отсюда происходятъ ихъ вѣчно-фразистыя, вѣчно-неясныя бредни о народности, о русской цивилизаціи, о будущемъ вліяніи Россіи на умственную жизнь Европы.

Все это — донъ-кихотство, всегда искреннее, часто трогательное, большею частью несостоятельное.

КУКОЛЬНАЯ ТРАГЕДІЯ

СЪ

БУКЕТОМЪ ГРАЖДАНСКОЙ СКОРВИ.

I.

Въ каждой изъ нашихъ журнальныхъ партій есть неисправимые фразеры, которымъ никогда въ жизни не случилось произвести на свѣтъ ни одной самостоятельной мысли. Эти господа въ своихъ произведеніяхъ самымъ усерднымъ и добросовѣстнымъ образомъ обезцвѣчиваютъ ту идею, которая даетъ имъ насущный хлѣбъ, но этимъ не ограничивается ихъ дѣятельность. По самолюбію, свойственному всякой бездарности, они непремѣнно желаютъ высказывать руководящую идею «своими словами», изобрѣтаютъ сами различныя приставки и украшенія, воплощаютъ идею въ каррикатурные образы, и наконецъ доводятъ ее до такого жалкаго безсилія, что всѣмъ мыслящимъ защитникамъ этой идеи приходится или краснѣть за своихъ непрощенныхъ союзниковъ, или отталкивать ихъ отъ себя съ тѣмъ суровымъ презрѣніемъ, съ которымъ Вазаровъ относится къ своему обожателю Ситникову. Большая часть нашихъ второстепенныхъ беллетристовъ, нашедшихъ себѣ пріютъ въ различныхъ журналахъ, принадлежатъ къ числу самыхъ отъявленныхъ каррикатуристовъ идеи. Ихъ романы и повѣсти сшиваются обыкновенно на живую нитку по выкройкамъ послѣдней моды, а модною выкройкою служить для нихъ критическій отдѣлъ того журнала, для котораго они работаютъ. Люди, событія, положенія — все это задумывается по данной программѣ, и

кромѣ того, самая программа понимается изъ пятого въ десятое, или, вѣрнѣе, отражается въ творческомъ умѣ беллетриста съ тою неподражаемою ясностью и отчетливостью, съ какою человѣческая фізіономія можетъ отразиться въ дешовомъ зеркалѣ, покрытомъ пузырями. Много у насъ такихъ беллетристовъ, и велики труды ихъ, но, мнѣ кажется, въ этомъ отношеніи никто не можетъ сравниться съ г. Н. Станицкимъ, по милости котораго почтенный «Современникъ» такъ часто нагружается раздирательными романами. Бываютъ бездарности тихія, скромныя, почти пріятныя по своей безобидности; но бываютъ и другія бездарности: лютыя, буйныя, изъясняющія притязаніе на смѣлость мысли, на пылкость чувства, на ширину умственного развитія, на свѣжесть и бѣдность юмора, и на разныя другія хорошія вещи, которыя навсегда остаются для нихъ недоступными. По произведеніямъ г. Станицкаго намъ будетъ очень удобно изучить типъ фразера, маскирующаго свою умственную бѣдность крикомъ и жестикულიаціею. Изученіе г. Станицкаго особенно интересно для насъ потому, что этотъ писатель постоянно работаетъ для «Современника», и постоянно уродуетъ своимъ фразерствомъ свѣтлыя и широкія идеи, которыя развивали въ этомъ журналѣ дѣйствительно мыслящіе и дѣльные люди. Если бы какой нибудь усердный писатель уродовалъ идеи «Отечественныхъ Записокъ» или «Русскаго Вѣстника», то подобное занятіе можно было бы назвать безвреднымъ толченіемъ воды, потому что въ этихъ наипочтеннѣйшихъ журналахъ, по нашему крайнему разумѣнію, нечего уродовать, и еще потому, что ихъ изуродованную идею могутъ отличить отъ неизуродованной только самые опытные эксперты. Но искажать идеи Добролюбова и людей близкихъ къ нему, обезцвѣчивать эти идеи невинною болтовнею, или опошлять ихъ мелодраматическимъ риторствомъ — это уже выходитъ изъ границъ позволительной шутки, и противъ такихъ упражненій критика должна принимать болѣе серьезныя мѣры. Она должна подвергнуть произведенія свирѣпствующаго фразера строгому и тщательному изученію, чтобы показать и доказать публикѣ, что между фразерами и настоящими мыслителями, стоящими, по видимому, подъ однимъ знаменемъ, нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей умственной солидарности. Такого рода операцію я намѣренъ произвести надъ авторскою личностью г. Станицкаго, и я твердо убѣжденъ въ томъ, что лучшіе, мыслящіе сотрудники «Современника» въ душѣ скажутъ мнѣ спасибо за эту дружескую услугу. Имъ самимъ, конечно, неловко говорить горькія истины своему старому и постоянному сподвижнику, но когда эти истины будутъ высказаны постороннимъ человѣкомъ, тогда это, навѣрное, доставитъ имъ большое удовольствіе, потому что они, разумѣется, понимаютъ очень хорошо, что дубовый трагизмъ г. Станицкаго, подобно невинному юмору г. Щедрина, только сбиваетъ съ толку читателей и вредитъ уяс-

ненію настоящей идеи журнала. Итакъ, пускаюсь въ путь и принимаюсь за разборъ романа «Женская доля». Я буду слѣдить за каждымъ шагомъ нашего романиста, потому что въ развитіи подробностей г. Станицкій еще болѣе прелестенъ, чѣмъ въ общей концепціи своихъ произведеній.

II.

Въ селѣ Григорьевкѣ живетъ помѣщица Анна Антоновна, женщина пожилая и болѣзненная; у нея шестнадцатилѣтняя дочь, Софья Григорьевна. Мужъ Анны Антоновны, Григорій Андреевичъ, живетъ въ Петербургѣ и пользуется безпредѣльною ненавистью г. Станицкаго. Впрочемъ, эту ненависть раздѣляютъ съ Григоріемъ Андреевичемъ почти всѣ остальные дѣйствующія лица романа. Почти всѣ они — гнусные люди, и выведены на сцену особенно для того, чтобы ихъ пороки давали обильную пищу великодушному негодованію и ювеналовскому краснорѣчію пылаго романиста. Предо мною лежитъ въ настоящую минуту мартовская книжка «Современника» за 1862 годъ; она раскрыта на стр. 48 перваго отдѣла, и я усматриваю въ этомъ мѣстѣ пылую ненависть г. Станицкаго къ одному изъ дѣйствующихъ лицъ его романа.

Вслѣдъ за тѣмъ, я отправляюсь въ «Современное Обзорѣіе» той же книжки, и на стр. 68 читаю слѣдующія строки: «Онъ питаетъ какую-то личную ненависть и неприязнь, какъ будто они лично сдѣлали ему какую нибудь обиду и пакость, и онъ старается отмстить имъ на каждомъ шагѣ, какъ человѣкъ лично оскорбленный; онъ съ внутреннимъ удовольствіемъ отыскиваетъ въ нихъ слабости и недостатки, о которыхъ и говоритъ съ дурно-скрываемымъ злорадствомъ, и только для того, чтобы унижить героя въ глазахъ читателей: «посмотрите, дескать, какіе негодяи мои враги и противники». Онъ дѣтски радуется, когда ему удастся уколотъ чѣмъ нибудь нелюбимаго героя, состричь надъ нимъ, представить его въ смѣшномъ или пошломъ и мерзкомъ видѣ; каждый промахъ, каждый необдуманнѣйшій шагъ героя пріятно щекочетъ его самолюбіе, вызываетъ улыбку самодовольствія, обнаруживающую гордое, но мелкое и негуманное сознаніе собственного превосходства». Все это говоритъ г. Антоновичъ въ той статьѣ, въ которой онъ провелъ очень неудачно параллель между Тургеневымъ и г. Асоченскимъ; все это онъ говоритъ по поводу отношеній Тургенева къ Базарову, и все это разсужденіе, совершенно неподходящее къ роману «Отцы и дѣти», обри-

является романъ «Что дѣлать?» и читатель съ удивленіемъ усматриваетъ, что бываютъ и такіе эгоисты, съ которыми можно вступать въ сношенія безъ помощи желѣзнаго кольца. Оказывается, что эти эгоисты никого не стремятся побить каменьями, непримиримой вражды не питаютъ, и даже порядочными людьми никогда не прикидываются. Читатель недоумѣваетъ, и наконецъ склоняется на сторону романа: «Что дѣлать?», потому что дѣйствіе сильнаго и свѣтлаго ума почти всегда бываетъ неотразимо. Но вѣдь безхитростный читатель не привыкъ вдумываться въ то, что онъ читаетъ; онъ не умѣетъ сразу усваивать себѣ навсегда вѣрныя мысли. Романъ «Что дѣлать?» оставилъ, быть можетъ, въ его умѣ болѣе глубокой слѣдъ, чѣмъ другіе романы, но все-таки этотъ слѣдъ изгладится очень быстро, если его никто не будетъ подновлять дальнѣйшими впечатлѣніями изъ того же міросозерцанія. А ужъ какое тутъ можетъ быть подновленіе, когда черезъ годъ г. Станицкій, того и гляди разразится новымъ романомъ, въ которомъ опять соединитъ семинарскую психологію съ звѣринцемъ Крейнцберга! Спрашивается теперь, какое же право имѣютъ мыслящіе представители нашей литературы требовать отъ нашего общества нравственной и умственной стойкости, сознательной инициативы и послѣдовательности въ мысляхъ и поступкахъ? Если лучшій изъ нашихъ журналовъ шатается изъ стороны въ сторону, безо всякой надобности тормозитъ свое собственное вліяніе, и самаго себя сбиваетъ съ ногъ, если, такимъ образомъ, въ самую лабораторію русской мысли забираются разныя умственные нечистоты, если «солъ земли» сама себя пакоститъ, то можемъ ли мы ожидать какихъ нибудь болѣе утѣшительныхъ результатовъ отъ той пестрой и разнокалиберной массы, которая называется русскою публикою?

Я знаю, что мнѣ на это могутъ возразить. Мнѣ скажутъ, что вѣдь это — беллетристика, и что въ отношеніи къ этому отдѣлу слѣдуетъ быть болѣе снисходительнымъ, чѣмъ въ отношеніи къ критикѣ, къ политикѣ, и къ прочимъ серьезнымъ отдѣламъ журнала. Почти всѣ журналисты на практикѣ придерживаются этой методы, но мнѣ кажется, что такой взглядъ на дѣло сильно отзывается самымъ близорукимъ рутинерствомъ. Если повѣсти и романы не имѣютъ для публики важнаго значенія, то есть, если они читаются мало и неохотно, тогда не за чѣмъ набивать бесполезнымъ балластомъ половину книжки. Если же они читаются большинствомъ, тогда они важнѣе всѣхъ остальныхъ отдѣловъ, и сохраняютъ свое значеніе до тѣхъ поръ, пока большинство не доросетъ до серьезнаго чтенія. Стало быть, надо или сократить размѣры этого отдѣла, или смотрѣть на него во всѣ глаза, чтобы въ него не заглѣзало всякое безобразіе. Но дѣлать то, что мы теперь дѣлаемъ, то есть, держать при журналахъ огромные беллетристическіе отдѣлы, и, въ то же время, вести эти отдѣлы, спустя рукава, устроить въ нихъ

богодѣльни для разныхъ умственныхъ убогостей,—это уже просто ни на что непохоже. Это нерасчетливо въ отношеніи къ интересамъ издателя, это вредно для литературы, и это чрезвычайно недобросовѣстно и невѣжливо въ отношеніи къ читающей публикѣ. Если плохо пишутъ отечественные художники— помѣщай переводы, но не поощрай бездарности, и не развивай этого умственного тунеядства. Кромѣ того, силннй и любимый журналъ можетъ понемногу совершенно перевоспитать вкусъ публики, и приучить ее къ дѣльному и серьезному чтенію, такъ что беллетристическій отдѣлъ можно будетъ довести до самыхъ крошечныхъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ, вмѣсто того, чтобы продѣвать эгоистамъ желѣзные кольца въ поздри, было бы гораздо лучше заняться чѣмъ нибудь менѣе лютымъ, но болѣе полезнымъ для читателей.

III.

Карая безнравственность Григорія Андреевича и его лоретки, г. Станицкій, при семъ удобномъ случаѣ, прохаживается на счетъ эманципациі женщинъ, и все это въ восклицательномъ и афористическомъ тонѣ. «Чего же, взываетъ нашъ Цицеронъ, вы можете ждать, бѣдныя, честныя женщины, въ жизни? Вы развѣ не видите, какъ нагло покровительствуется сознательный развратъ и какъ позорно наказываютъ вашъ проступокъ, вынужденный страхомъ и стыдомъ, а также и неопытностью. И не ждите ничего пока отъ эманципациі женщинъ! Это проповѣдываніе такъ же бесплодно, какъ и состраданіе къ человѣчеству, о которомъ такъ давно и много толкуютъ. И развѣ вы не видите, что женщина, увлекавшаяся эманципациею и отдававшаяся мужчине безъ всякихъ гражданскихъ условій, развѣ она не гибнетъ также въ унижительномъ рабствѣ, — и въ придачу еще опозоренная!» (Стр. 50).

Дальше идетъ все въ томъ же возвышенномъ направленіи, но съ насъ довольно и этого образчика, тѣмъ болѣе, что намъ придется еще потрудиться довольно долго надъ распутываніемъ нагороженной здѣсь чепухи. Подъ названіемъ *проступка* г. Станицкій разумѣетъ *дѣтоубійство*. Онъ противопоставляетъ позорное наказаніе этого *проступка* тому *наглому покровительству*, которымъ пользуется *сознательный развратъ* соблазнительей. Какъ ораторская рулада, это противоположеніе, можетъ быть, очень красиво и эффектно, но смысла въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго. Г. Станицкій желаетъ, по видимому, чтобы въ случаѣ дѣтоубійства вмѣстѣ съ матерью ребенка наказывался и его отецъ; или онъ желаетъ, чтобы въ этомъ случаѣ наказывался одинъ отецъ; или же на-

конецъ, онъ желаетъ, чтобы всякій отецъ незаконнорожденного ребенка подлежалъ уголовному наказанію, хотя и не произошло никакого дѣтубійства. Всѣ эти три желанія очень великодушны и еще болѣе остроумны. Разные французскіе романисты и моралисты, очень добродѣтельные и очень пустоголовые, постоянно эксплуатируютъ въ своихъ произведеніяхъ избитую тему на счетъ *infame séducteur* и *innocente victime*, и постоянно призываютъ на голову первого небесный громъ и уголовную кару; но, если бы составить изъ всѣхъ этихъ призывателей комитетъ, и предоставить этому комитету полную законодательную власть по дѣламъ между *séducteur*'ами и *victim*'ами, то всѣ эти добродѣтельные люди убѣдились бы очень скоро, что они говорили совершенные пустяки. Во-первыхъ, не можетъ быть никакихъ ясныхъ и неопровержимыхъ доказательствъ на то, что именно Иванъ, а не Петръ, долженъ считаться отцомъ ребенка. Римскіе юрисконсульты говорятъ совершенно основательно, что *mater semper est certa* (мать всегда достоверно известна); но объ отцѣ этого никакъ нельзя сказать, а осуждать человѣка по догадкамъ — это было бы ужъ чересчуръ игриво. Во-вторыхъ, женщина наказывается не за безнравственность, а за истребленіе живого человѣческаго существа, и если любовникъ этой женщины не принимаетъ прямого участія въ этомъ послѣднемъ поступкѣ, то его и наказывать не за что. Г. Станицкій скажетъ на это, что коварный любовникъ есть прямая причина дѣтубійства, но это возраженіе никуда не годится. Если судъ долженъ, такимъ образомъ, восходить къ причинамъ, то ему придется наказывать за дѣтубійство не только отца и мать убитого ребенка, а еще и многихъ другихъ людей. Придется наказывать родителей и воспитателей матери за то, что они сдѣлали ее легкомысленною, за то, что они не познакомили ее съ дѣйствительною жизнью, и скрыли отъ нея даже тѣ естественныя послѣдствія, которыя ведетъ за собою взаимная и неплатоническая любовь. Придется наказывать такъ же всѣхъ тѣхъ людей, по милости которыхъ отецъ ребенка сдѣлался коварнымъ оболъстителемъ угнетенной невинности.

Можно себя представить, на сколько подобное восхожденіе къ причинамъ благоразумно и приложимо къ условіямъ дѣйствительной жизни. Если же г. Станицкій негодуетъ только противъ жестокости и несправедливости тѣхъ позорныхъ наказаній, которыя обрушиваются на женщину, обезумѣвшую отъ стыда, горя, страха и физической боли, то я конечно не буду съ нимъ спорить, потому что моя аргументація приводитъ меня именно къ этому результату. Но тогда не за чѣмъ кричать о *malice* покровительства, потому что тутъ нѣтъ ни наглости, ни покровительства, а есть только не вмѣшательство закона въ такіа дѣла, въ которыя онъ не можетъ вмѣшаться, и въ которыя ни одинъ здравомыслящій человѣкъ не пожелаетъ его впутывать. Стало быть эф-

фектная антитеза г. Станицкаго оказывается или бессмысленной фразой, или совершенно превратнымъ разсужденіемъ, клонящимся къ тому общему выводу, что общественные пороки должны излечиваться уголовными наказаніями. Это выходитъ опять въ родѣ продѣванія желѣзныхъ колецъ для облагороживанія эгоистическихъ натуръ. Что подразумѣваетъ г. Станицкій подъ терминомъ: «эманципація женщинъ» — это вопросъ очень мудреный, но кажется мнѣ, что его понятія объ этомъ предметѣ такъ же ясны и основательны, какъ и всѣ остальные его воззрѣнія. Честныя женщины, по его мнѣнію, не должны ничего ждать отъ эманципаціи, потому что «женщина, увлекавшаяся эманципаціею и отдававшаяся мужчинѣ безъ всякихъ гражданскихъ условій, позорится и гибнетъ въ унижительномъ рабствѣ». Ну вотъ, скажите пожалуйста: постоянный сотрудникъ «Современника» разсуждаетъ, такимъ образомъ объ эманципаціи женщинъ, и въ это самое время г. Антоновичъ дѣлаетъ Тургеневу строжайшій выговоръ за Евдокію Кукушину. Нельзя сказать, чтобы Кукушина была одарена гениальнымъ умомъ, но объ эманципаціи женщинъ эта барыня разсуждаетъ гораздо основательнѣе г. Станицкаго.

Нечего дѣлать: давайте распутывать чепуху, прикрытую почтенною фирмою. Во-первыхъ, осмѣлюсь замѣтить, что когда женщина отдается мужчинѣ безъ условій, тогда она обыкновенно увлекается любовью къ этому мужчинѣ, а не эманципаціею. Если же женщина отдается мужчинѣ во имя идеи и по теоріи, то мнѣ кажется, что такая женщина дура набитая, глупѣе всякой Кукушиной, а дурѣ, конечно, никакая эманципація не можетъ пойти въ прокъ. Г. Станицкій, очевидно, понимаетъ эманципацію исключительно съ точки зрѣнія половыхъ отношеній. Честная женщина, по мнѣнію его, гибнетъ, когда отдается «грязному, развратному эгоисту». Прекрасно. Но за чѣмъ же она отдается такому недостойному человѣку? За чѣмъ она въ него влюбляется? За чѣмъ она суется въ воду, не спросясь броду? Что ее, приворотнымъ зельемъ, что ли, приколдовываютъ? Влюбляется она потому, что неопытна, неразвита, не умѣетъ размышлять, не имѣетъ понятія о настоящемъ достоинствѣ человѣка, не можетъ поставить, при встрѣчѣ съ мужчиною, ни одного разумнаго требованія. Женщина отдается мужчинѣ и ошибается въ немъ: что же это значить? Значить, что она не знала ни его характера, ни склада его ума, ни уровня его развитія. Спрашивается, что же она знала, и чему же она отдавалась? Ясно что, и ясно чему: знала мужчину, — и отдавалась тоже мужчинѣ, и въ этомъ отношеніи ошибки не произошло. А что можетъ избавить будущія поколѣнія женщинъ отъ подобныхъ пошлостей? Мнѣ кажется, отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ: широкое развитіе умственныхъ способностей, и экономическая самостоятельность, то есть, именно эманципація жен-

щины, проведенная въ ея воспитаніе и въ сферу женскаго труда. Но г. Станицкій думаетъ совсѣмъ по своему. «Пока, глаголетъ онъ, сами мужчины не сдѣлаются нравственнѣе — никакая эманципация женщинъ невозможна». (Стр. 51). Это «пока» равняется совершенному отрицанію эманципации. На это «пока» можно отвѣчать другимъ «пока». Пока женщины не перестанутъ быть невинными и легкомысленными жертвами, до тѣхъ поръ мужчины не перестанутъ быть коварными оболъстителями, потому что — извѣстное дѣло — не клади плохо, не вводи вора въ грѣхъ. Положимъ, что Іосифъ прекрасный убѣжалъ отъ жены Пентефрія. Но вѣдь всякому извѣстно, что такіа добродѣтели даже въ древности были рѣдки, а ужъ въ наше время было бы черезъ-чуръ неосторожно воздвигать на такихъ исключительныхъ добродѣтеляхъ будущее зданіе женской эманципации. Кромѣ того, мужчины уже и теперь, стоятъ далеко впереди женщинъ по своему умственному развитію; всякій *нравственный* прогрессъ возможенъ только подъ условіемъ дальнѣйшаго *умственного* прогресса, и если г. Станицкій не знаетъ этой простой истины, то мнѣ остается только пожалѣть о его невѣденіи. Стало быть, если мужчины должны сдѣлаться нравственнѣе, то это значить, что они должны сдѣлаться умнѣе, и что, вслѣдствіе этого, разстояніе между мужчинами и женщинами должно еще болѣе увеличиться. Но мы видимъ, что разладъ между мужчинами и женщинами уже и теперь очень силенъ; мы видимъ, что матери, сестры, жены, невинныя дѣвушки и *наши лоретки*, словомъ, женщины вообще, чрезвычайно сильно тормозятъ развитіе мужчинъ, и, по своей умственной несостоятельности, постоянно тянутъ назадъ, въ застои и въ рутину, тѣхъ мужчинъ, которые не одарены желѣзною твердостью характера. Можно сказать безошибочно, что *филистерство* родилось у семейнаго очага, и что холостякъ никогда неспособенъ сдѣлаться такимъ чистокровнымъ филистеромъ, каковымъ становится, рано или поздно, почти каждый добродѣтельный отецъ семейства. Поэтому не трудно понять, что дальнѣйшій прогрессъ мужчины связанъ, самымъ тѣснымъ образомъ, съ вопросомъ объ умственномъ развитіи женщины. И всякія разсужденія о томъ, кому надо умнѣть сначала, мужчинамъ или женщинамъ, напоминаютъ только старинный натурфилософскій вопросъ о томъ, что раньше произошло на свѣтѣ, яйцо или курица? Съ одной стороны, если — яйцо, то кѣмъ же это первое яйцо было снесено? А съ другой стороны, если курица, то откуда же эта первая курица взялась? Выходить, стало быть, что, по настоящему, не могли произойти на свѣтѣ ни курица, ни яйцо, и что слѣдовательно на свѣтѣ не можетъ быть ни куръ, ни яицъ, что, по видимому, противорѣчитъ прямымъ указаніямъ всенеднежнаго опыта. Такъ точно и въ дѣлѣ прогресса. Если бы прогрессъ не совершался самъ собою, помимо всякихъ теоретическихъ выкладокъ, то, разумѣется, вопросъ о

томъ, кому слѣдуетъ двинуться впередъ, мужчинамъ или женщинамъ, на практикѣ оказался бы неразрѣшимымъ. Мужчины стали бы говорить: «place aux dames!», а женщины стали бы говорить: *messieurs*, мы слабыи полъ; ступайте впередъ, и тащите насъ за собою; и всѣ вмѣстѣ остановились бы въ полной неподвижности, и начали бы упрекать другъ друга за неудачу поступательнаго движенія. Все это непременно случилось бы, если бы прогрессъ зависѣлъ отъ нашихъ разсужденій; мы постоянно вертѣлись бы въ заколдованномъ кругу, въ которомъ одно неудобство поддерживается всѣми остальными, и въ которомъ надо непременно или все разомъ двинуть впередъ, или все оставить, на вѣчныя времена, въ первобытномъ положеніи. Въ теоріи мы и не знаемъ, какъ же это все разомъ двинуть, но на практикѣ все двигается разомъ, потому что каждый отдѣльный кусочекъ этого всего, то есть, каждая отдѣльная личность, мужского или женскаго пола, во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется эгоизмомъ, то есть, старается устроить свою жизнь, какъ можно пріятнѣе. Подчиняясь этому общему двигателю всего органическаго міра, каждый отдѣльный кусочекъ шевелится въ томъ или въ другомъ направленіи, и сумма всѣхъ этихъ частичныхъ шевеленій создаетъ общій прогрессъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ общій регрессъ или упадокъ, потому что все зависитъ отъ того, въ какую сторону направляется большинство индивидуальныхъ стремленій.

Но, разумѣется, для г. Станицкаго, считающаго наглость лоретокъ и жестокость развратныхъ эгонистовъ самыми серьезными препятствіями на пути отечественнаго преуспѣянія, для г. Станицкаго, говорю я, правильное пониманіе прогресса останется навсегда недоступнымъ, и онъ постоянно будетъ утруждать свою творческую мысль разными многозначительными «пока». Всего интереснѣе то, что этотъ Кифа Мокіевичъ, составляющій для «Современника» чистое божеское наказаніе, принимаетъ самого себя за серьезное явленіе, и чувствуетъ поношенье сдѣлаться наставникомъ молодого поколѣнія. «Я долженъ оговориться, замѣчаетъ онъ, что я пишу этотъ романъ для юношей, которые вступаютъ только въ общество, а потому, по неопытности, часто увлекаются рутинными, вредными понятіями о многихъ вещахъ,—тѣмъ болѣе вредными, что эти понятія усвоены большинствомъ.» (Стр. 52).

Неопытные юноши! Что вы на это скажете? Молодое поколѣніе! Какъ вамъ нравится такой глубокомысленный просвѣтитель? Такимъ образомъ, мы познакомились, до нѣкоторой степени, съ краснорѣчіемъ г. Станицкаго, съ его претензіями, и вообще съ тѣмъ элементомъ фразерства, который я назвалъ въ заглавіи этой статьи «букетомъ гражданской скорби». Намъ, можетъ быть, придется еще встрѣтиться съ различными проявленіями этого элемента, но теперь мы обратимъ наши взоры на «кубольшую трагедію», и начнемъ серьезно и добросовѣстно изучать стра-

данія, размышленія и злодѣянія различныхъ добродѣтельныхъ и пороченныхъ, и притомъ сплошь деревянныхъ марionетокъ.

IV.

Анна Антоновна скрываетъ отъ своей дочери неудовлетворительное поведеніе ея отца; но дочь, придя въ возрастъ, догадывается, что между родителями все обстоитъ не весьма благополучно. Она желаетъ примирить Григорія Андреевича съ супругою, и говоритъ матери: «почему ты не пишешь отцу, чтобъ онъ ѣхалъ къ намъ?» Аннѣ Антоновнѣ на этотъ вопросъ отвѣчать неудобно, и потому она рѣшается писать къ своему незаконному сожителю пригласительное письмо. Софья Григорьевна также пишетъ, и безпутный глава семейства возвращается къ своимъ пенатамъ, но возвращается не одинъ, а привозитъ съ собою молодого человѣка, Петра Васильевича, также очень безпутнаго, и чрезвычайно ненавистнаго г. Станицкому. Вотъ тутъ-то и начинается трагическое раздирательство.

Вѣщее сердце матери угадываетъ въ молодомъ гостѣ коварнаго оболъстителя, и Анна Антоновна очень возмущается его прибытіемъ и его долговременнымъ присутствіемъ въ селѣ Григорьевкѣ, но злокачественный супругъ ея, *на зло ей*, удерживаетъ опаснаго юношу, и даже старается сблизить его съ дочерью. Впрочемъ, у молодыхъ людей это дѣло идетъ на ладъ помимо всякихъ постороннихъ вліяній. Все это вмѣстѣ очень беспокоитъ г. Станицкаго. «Да и чѣмъ было возмущаться Аннѣ Антоновнѣ?» восклицаетъ онъ съ явными претензіями на самую горькую и язвительную иронию. «Развѣ тѣмъ, что молодой человѣкъ говорилъ съ ея дочерью все о поэзіи и объ идеальныхъ предметахъ; или тѣмъ, что онъ, по цѣлымъ ночамъ, игралъ въ карты и пилъ множество вина съ ея мужемъ; или тѣмъ, наконецъ, что онъ вздыхалъ, какъ страстно влюбленный, въ присутствіи барышни, и въ то же время искалъ случая соблазнить молоденькую и хорошенькую горничную этой же самой барышни?» (Стр. 60).

Читатель видитъ, что молодой человѣкъ дѣйствительно ведетъ себя неблагоугодно. Соблазнять молодыхъ горничныхъ вовсе непохвально, а пить *множество* вина изъ рукъ вонъ не хорошо, потому что это послѣднее занятіе не только унижаетъ человѣческое достоинство, но даже противорѣчитъ духу и требованіямъ русскаго языка. Впрочемъ, я полагаю, что молодой человѣкъ пилъ вино не множествомъ, а *рюмками* или

стаканами, и поэтому мнѣ кажется, что по крайней мѣрѣ половина грѣха должна упасть на авторскую совѣсть г. Станицкаго. Петръ Васильевичъ, во всякомъ случаѣ, рекомендуетъ себя плохо, но я хорошенъко не понимаю, почему его порочныя наклонности огорчаютъ Анну Антоновну. Вѣдь она вовсе не желаетъ, чтобы онъ женился на ея дочери. Стало быть, чего же лучше? Позвала бы она къ себѣ свою дочь, да и рассказала бы ей по порядку, что вотъ онъ вчера выпилъ «множество вина», а третьяго дня строилъ куры какой нибудь Натальѣ или Палагеѣ. Можно было бы представить на лицо самыя убѣдительныя доказательства, напримеръ, свидѣтельство буфетчика и оболящаемой горничной. Тогда Софья Григорьевна поняла бы настоящую цѣну любовныхъ вздоховъ и поэтическихъ разговоровъ, и такимъ образомъ оболястительный ядъ потерялъ бы всю свою роковую силу. Но маріонеткамъ кукольной трагедіи подобное разрѣшеніе практическихъ вопросовъ не нравится, потому что оно слишкомъ просто и благоразумно.

Анна Антоновна воспитывала свою дочь въ счастливомъ невѣдѣніи дѣйствительной жизни; послѣ пріѣзда молодого гостя она «сознала вполне страшную ошибку», но отъ этого сознанія дѣло нисколько не поправилось, и эта остроумная барыня, вмѣсто того, чтобы сразу открыть глаза своей наивной дочери, начала предаваться какимъ-то неяснымъ размышленіямъ, которыя я могу сообщить читателю не иначе, какъ собственными словами г. Станицкаго. «Анна Антоновна сама находила, что было бы гораздо лучше, если бы ея дочь теоретически ознакомилась съ развратомъ общества, съ его лицемѣрствомъ и эгоизмомъ, чѣмъ переиспытала все это на практикѣ, рискуя самой попасть въ этотъ грязный потокъ дѣйствительной жизни, который умчитъ ее и обезобразитъ въ водоворотѣ всевозможныхъ пороковъ.» (Стр. 61). Это, я вамъ скажу, чудесная метода знакомиться съ жизнью, и я удивляюсь, какъ до сихъ поръ никто не догадался учредить при нашихъ университетахъ кафедры для *теоретическаго* преподаванія «разврата, лицемѣрства и эгоизма». Недурно было бы также примѣнить эту *теоретическую* методу къ изученію плаванія, верховой ѣзды, фехтованія и стрѣльбы въ цѣль. Результаты получились бы блестящія. Хотя Анна Антоновна *сама* находила, что теоретическая метода очень хороша, однако она, опять таки *сама* начала дѣйствовать противъ Петра Васильевича практическимъ путемъ, и потерпѣла совершенное пораженіе. Она обратилась къ супругу съ требованіемъ, чтобы онъ выпроводилъ своего гостя изъ дому. Супругъ, конечно, обругалъ ее за такое глупое требованіе; тогда она, въ свою очередь, обругала Петра Васильевича; Григорій Андреевичъ, послѣ отъѣзда обруганнаго гостя, сугубо обругалъ Анну Антоновну, и даже пожелалъ увезти отъ нея дочь, но дочь не поѣхала, и военныя дѣйствія на нѣсколько времени приостановились. Какимъ образомъ ругалась

Анна Антоновна, этого намъ г. Станицкій не сообщаетъ, потому что Анну Антоновну онъ любитъ и всячески выгораживаетъ. Но о Григоріѣ Андреевичѣ мы доподлинно знаемъ, что онъ ругается шибко, кричитъ «неистово», кричитъ «ужасающимъ голосомъ», стучитъ «изо всей силы кулакомъ по столу», и держитъ «кулаки надъ головой несчастной женщины». Результатъ всѣхъ этихъ усилій оказывается въ высшей степени удовлетворителенъ, потому что Анна Антоновна остается безъ чувствъ на полѣ сраженія, хотя сраженіе ограничивалось только краснорѣчіемъ и мимикой; и слѣдовательно, могло, по всей справедливости, называться *теоретическимъ* изученіемъ семейнаго боксерства. Когда наступила тишина, и когда Анна Антоновна стала поправляться отъ болѣзни, причиненной ей всѣми *теоретическими* и практическими трудностями, тогда она замѣтила, что дочь ея тоскуетъ объ уѣхавшемъ гостѣ. Тутъ она «дала себѣ слово понемногу начать, въ разговорахъ, знакомить свою дочь съ дѣйствительной жизнью». (стр. 71).

Видно, теоретическая метода очень глубоко засѣла въ голову этой барыни, и намъ было бы куда какъ лестно послушать эти поучительные разговоры, но къ сожалѣнію Аннѣ Антоновнѣ побесѣдовать о жизни не удалось, потому что въ это самое время открылось, что барышня изучаетъ жизнь по другой методѣ, подъ непосредственнымъ руководствомъ Петра Васильевича, и при содѣйствіи добродушнаго папеньки. — Въ одну прекрасную ночь Аннѣ Антоновнѣ пришлось увидать, что ея дочь палается въ саду съ тѣмъ самымъ гостемъ, котораго она, Анна Антоновна, такъ храбро и рѣшительно выпроводила изъ дому. «Несчастливая мать тотчасъ узнала голосъ дочери, говоритъ г. Станицкій: силы ей измѣнили, и она схватилась за дерево, чтобъ устоять на ногахъ, но тотчасъ же, оглушенная точно громомъ, опустилась на сырую траву, приклонивъ свою пылающую голову къ дереву. Анна Антоновна не чувствовала холодной осенней ночи; напротивъ мучительный огонь жегъ ее, она хотѣла кричать, но у ней не хватало голоса, хотѣла схватить за платье дочь, когда та прошла мимо съ Петромъ Васильевичемъ, но руки были безсильны; одинъ только слухъ, какъ бы нарочно, не былъ парализованъ, и она ясно разслышала и циническія шуточки Григорія Андреевича, совѣтовавшаго влюбленнымъ разойтись по домамъ, и звонкій, прощальный поцѣлуй». (стр. 71, 72).

Однако, думаетъ хладнокровный читатель, какая же эта Анна Антоновна воинственная, и притомъ, какая преглупая! Какое она питаетъ страстное влеченіе къ бесполезнымъ скандаламъ! И какъ это хорошо устроено, что бодливой коровѣ богъ рогъ не даетъ. Ну, посудите вы сами, за чѣмъ она хотѣла кричать и хватать дочь свою за платье? — Въѣдъ изъ этого кричанія и хватанія ровно ничего не могло выйти, кромѣ смертельнаго испуга для Софьи Григорьевны. Представьте себѣ,

въ самомъ дѣлѣ, что дѣвушку, взволнованную любовнымъ свиданіемъ, окликаетъ въ темномъ саду отчаянный и неестественный голосъ; или еще лучше, ее ухватываетъ въ темнотѣ за платье, съ судорожною силою, какая то невѣдомая рука. Ну, разумѣется, обморокъ, нервная горячка и смерть,—вотъ все, что можно ожидать отъ такой родительской шалости. И потомъ та же самая Анна Антоновна стала бы раздирать свои ризы, и стала бы обвинять въ смерти дочери весь свѣтъ, кромѣ самой себя, потому что услужливые медвѣди всегда поступаютъ такимъ образомъ. Вѣдь вотъ и въ этомъ случаѣ, размышляя о ночной сценѣ въ саду, Анна Антоновна никакъ не умѣетъ сообразить, что это любовное свиданіе вполнѣ можетъ быть названо дѣломъ ея собственныхъ рукъ. Пересчитаемъ всѣ ея капитальныя глупости, и мы увидимъ, что романъ ея дочери составляетъ прямой, естественный и необходимый результатъ родительской тактики самой Анны Антоновны. *Во первыхъ*, она воспитываетъ свою дочь въ глубокомъ уединеніи, и въ такомъ оранжерейномъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ рѣшительно ничего похожего на дѣйствительную жизнь. *Во вторыхъ*, она самымъ тщательнымъ образомъ лжетъ предъ дочерью на счетъ своей собственной семейной жизни, но сама требуетъ отъ дочери полной откровенности, и въ то же время брюзжитъ на эту дочь, когда замѣчаетъ или подозрѣваетъ въ ней какія нибудь неподходящія мысли. Это, впрочемъ, самая обыкновенная метода старшихъ при сношеніяхъ съ младшими. Я, говорить, старшій, твой другъ, и ты открывай мнѣ всѣ твои мысли, а я тебя буду распекать за твои глупости, и буду тебя обманывать для твоей же пользы. И послѣ этого старшій удивляется, какъ это у младшаго достало безсовѣстности нарушить такой выгодный и удобный контрактъ. Но, разумѣется, контракты эти всегда нарушаются, потому что, въ самомъ дѣлѣ, трудно найти такого олуха, который удовлетворялся бы подобною дружбою и вообразилъ бы себѣ, что онъ дѣйствительно видитъ передъ собою настоящаго друга, а не благодѣтельное начальство. Поэтому, система обязательной откровенности непременно учить младшаго хитрить и притворяться, потому что хитрость и притворство составляютъ, въ этомъ случаѣ, естественное и необходимое орудіе личной обороны. Если же эта система располагаетъ огромными, разнообразными и утонченными средствами угнетенія, то она приводитъ младшаго къ искусственному идиотизму, что и дѣлалось съ полнымъ успѣхомъ въ іезуитскихъ коллегіяхъ. Но такъ какъ Аннѣ Антоновнѣ было далеко во всѣхъ отношеніяхъ до іезуитовъ, то ея педагогическія глупости привели только къ тому, что отношенія ея съ дочерью, оставаясь нѣжными и чувствительными, сдѣлались неестественными и натянутыми, съ той самой минуты, какъ только въ головѣ молодой дѣвушки шевельнулась первая самородная мысль. Если бы Софья Григорьевна встрѣтилась съ подру-

гою, то она бы ей отдала всю свою довѣренность, и стала бы ей высказывать такія вещи, которыя она не находила удобнымъ говорить любящей, но скрипящей, матери. Случилось ей встрѣтиться на первый разъ не съ подругою, а съ молодымъ мужчиною; очень естественно, что она бросилась къ нему на шею, потому что увидала въ немъ своего перваго друга, и кромѣ того перваго близкаго знакомаго мужескаго пола. *Въ-третьихъ*, Анна Антоновна, по просьбѣ дочери, пишетъ своему мужу, чтобы онъ ѣхалъ къ нимъ въ деревню. Этотъ поступокъ составляетъ очень большую глупость, которая, именно съ точки зрѣнія самой Анны Антоновны и г. Станицкаго, оказывается совершенно непрости- тельною. Анна Антоновна знаетъ давно, что ея мужъ человѣкъ отри- тный; за чѣмъ же она сама напрашивается на то, чтобы этотъ человѣкъ забралъ въ руки вліяніе надъ ея дочерью? За чѣмъ она рѣшается при- близить къ своей взрослой дочери этого человѣка, который, по ея же собственному убѣжденію, не можетъ принести ровно ничего, кромѣ вре- да и горя?—Развѣ она не понимаетъ, что Григорій Андреевичъ навѣр- ное навяжетъ ей и дочери какое нибудь знакомство, вовсе непоучитель- ное для молодой дѣвушки? Что онъ привезетъ съ собою такого знако- маго изъ Петербурга, этого она, положимъ, не могла предвидѣть. Но вѣдь какова нибудь молодого кутилу и веселаго собутыльника не труд- но отыскать и въ провинціи, а что Григорій Андреевичъ будетъ искать и найдетъ такую драгоцѣнность, это было въ высшей степени вѣроятно, во-первыхъ потому, что человѣкъ созданъ для общества, а во-вторыхъ потому, что на ловца и звѣрь бѣжитъ. Если даже оставить въ сторонѣ это частное неудобство, то вообще слѣдовало ожидать, что Григорій Андреевичъ такъ или иначе обнаружитъ свои достоинства, и что дочь, именно вслѣдствіе сближенія съ отцемъ, испытаетъ въ отношеніи къ нему самое полное и самое тяжелое разочарованіе. За чѣмъ же любя- щая и заботливая мать сама не взяла на себя труда разочаровать свою дочь, и убѣдить ее въ томъ, что сближеніе съ кутящимъ родителемъ неудобно и не осуществимо во всѣхъ отношеніяхъ. Вотъ тутъ, дѣйстви- тельно, не мѣшало пустить въ ходъ *теоретическую* методу, потому что, когда мать говоритъ дочери: «твой отецъ — пьяница», то дочери, для того, чтобы повѣрить этимъ словамъ, нѣтъ никакой особенной надоб- ности видѣть собственными глазами, какъ родитель пишетъ мыслѣти. Въ этомъ случаѣ, показаніе матери замѣняетъ вполне непосредственное созерцаніе сырого факта. Спрашивается, почему же Анна Антоновна сдѣлала эту третью, капитальную глупость? Г. Станицкій, по своему пристрастію къ этой рыдающей маріонеткѣ, не останавливается надъ этимъ вопросомъ, и глухо даѣтъ почувствовать читателю, что Анна Ан- тоновна выписала своего супруга по своему мягкосердію. Но я думаю, что она сдѣлала это по русской пословицѣ: громъ не грянетъ, мужикъ

разказа въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и покажемъ дѣйствительныя пружины, управляющія ходомъ этихъ событій, то весь романъ приведетъ насъ къ совершенно противоположенному заключенію. Что женщины терпятъ часто горькую муку—это правда; но главная и почти единственная причина ихъ страданій заключается въ ихъ собственной неразвитости, и въ томъ искусственномъ тупоуміи, которое напускается на нихъ воспитаніемъ и всѣмъ складомъ нашей образцовой семейной жизни. Развратъ и эгоизмъ тутъ ни въ чемъ не виноваты, и вся основная тенденція романа оказывается, такимъ образомъ, совершенно ложною. Г. Станицкій кричитъ людямъ: «старайтесь, подлецы вы эдакіе, исправить вашу нравственность», и весь этотъ крикъ, растянутый на сотни страницъ, по всей справедливости долженъ быть названъ бесплоднымъ наборомъ рѣзкихъ звуковъ. Людямъ надо говорить очень кротко и доказывать какъ можно убѣдительно, что они въ сущности совсѣмъ не подлецы, и что имъ вовсе не слѣдуетъ исправляться, но что имъ было бы очень приятно и не бесполезно побольше и почаще пользоваться содѣйствіемъ головного мозга. «Вы бы, сударьки мои, почитали книжку; вы бы, голубчики, подумали о вашихъ потребностяхъ; вы бы взглянули на такой-то вопросъ съ такой-то точки зрѣнія.»—Вотъ какъ слѣдуетъ объясняться съ нашими милыми соотечественниками, и только такіа дружелюбныя объясненія и могутъ принести хоть какую нибудь пользу, потому что все человѣческое благосостояніе безусловно зависитъ отъ высоты умственнаго развитія.

Мы увидимъ, что даже творческій умъ г. Станицкаго не въ состояніи былъ изобрѣсти такіе факты, которые бы противорѣчили этой основной и неопровержимой истинѣ. Г. Станицкому постоянно хочется свернуть на нравственную проповѣдь, а факты его романа, вопреки его авторскому всемогуществу, говорятъ ясно и громко, что вся бѣда происходитъ исключительно отъ недостатка умственнаго развитія.

V.

Мы видѣли въ предыдущей главѣ, что добродѣтельная женщина надѣлала кучу глупостей, и, вполне обезоруживъ свою дочь нелѣпымъ воспитаніемъ, сама отдала ее въ безотчетное распоряженіе первому встрѣчному, который оказался неблагонадежнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Посмотримъ теперь, какую роль играли здѣсь «грязные и развратные эгоисты», ненавидимые Аннѣ Антоновнѣ и г. Станицкому. Что эта роль бы-

ла совершенно второстепенною, это уже ясно изъ предыдущаго. Но теперь надо посмотрѣть, какая побудительная причина заставляла ихъ играть эту второстепенную роль? На соображенія г. Станицкаго тутъ полагаться невозможно, потому что онъ самъ рѣшительно не понимаетъ, и упорно отказывается понимать тѣ факты, которые самъ изобрѣтаетъ и рассказываетъ. Добродѣтельная ненависть къ эгоизму и разврату помрачаетъ всѣ его помыслы. Онъ думаетъ, что Григорій Андреевичъ устроилъ сближеніе дочери съ Петромъ Васильевичемъ «на зло» Аннѣ Антоновнѣ, потому, изволите-ли видѣть, что «черствыя души не могутъ выносить самопожертвованій и чистыхъ привязанностей» и еще потому, что «у людей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому». Сильно сказано, но по обыкновенію, неосновательно. Что Григорій Андреевичъ питаетъ непріязненное чувство къ Аннѣ Антоновнѣ—этому я охотно вѣрю, потому что это болезненное, слезливое и раздражительное существо способно навести тоску и уныніе даже на такого пламеннаго и постояннаго обожателя, какимъ былъ добрый рыцарь Тоггенбургъ, или его близкій родственникъ, полоумный Донъ-Кихотъ. Но губить дочь для того, чтобы насолить женѣ, это слишкомъ замысловато и не совѣтъ правдоподобно, особенно, если еще сообразить, что эта дочь любить и ласкаетъ своего отца, и что собственно противъ дочери у этого отца нѣтъ ни малѣйшей непріязни. Но «у людей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому»; примемъ эти слова за святую истину, и допустимъ, что Григорій Андреевичъ способенъ испортить жизнь дочери для того, чтобы доѣхать любезную супругу. Прекрасно, но вѣдь невозможно сомнѣваться въ томъ, что люди самолюбивые соблюдаютъ свои собственные интересы; дѣлать зло они могутъ, но если это для нихъ самихъ невыгодно, то они на вѣрное не будутъ увлекаться, въ ущербъ собственному интересу, идеальнымъ удовольствіемъ напакостить ближнему. Село Григорьевка, заключающее въ себѣ пятьсотъ душъ, принадлежитъ Аннѣ Антоновнѣ,—и, послѣ ея смерти, должно перейти во владѣніе Софьи Григорьевны; Анна Антоновна — женщина и можетъ умереть чрезъ два, три года; тогда Софья Григорьевна, какъ молодая и неопытная дѣвушка, доверитъ все управленіе отцу даже въ томъ случаѣ, если она въ то время будетъ совершеннолѣтнею. Спрашивается, выгодно ли Григорію Андреевичу выдавать дочь свою замужъ, то есть, вводить между собою и дочерью третье лицо, съ которымъ, по всей вѣроятности, будетъ гораздо труднѣе ладить, чѣмъ съ одинокою и неопытною дѣвушкою? Кажется, невыгодно. А если невыгодно, то невозможно допустить, чтобы его участіе въ романѣ Софьи Григорьевны было обдуманною и злонамеренною интригою. Лютый эгоизмъ и нравственная испорченность остаются совершенно въ сторонѣ, а вмѣсто этихъ фантастическихъ свойствъ является на сцену то же самое драблное мягкосердечіе, которое

мы уже нашли въ Аннѣ Антоновнѣ, и которое обыкновенно управляетъ почти всѣми поступками пустыхъ и ничтожныхъ людей. Привезъ онъ съ собою Петра Васильевича отъ нечего дѣлать, потому что съ «хорошимъ человекомъ» пріятно компанію вести; молодые люди понравились другъ другу; ихъ одушевленіе разсѣяло однообразие деревенской жизни, и Григорію Андреевичу это обстоятельство доставило особенно много удовольствія, потому что онъ видѣлъ тутъ дѣло рукъ своихъ, и потому, что это обстоятельство льстило его родительскому самолюбію. Вотъ-молъ Соня, думаетъ онъ, сколько лѣтъ ты жила вмѣстѣ съ мамашей, и все удовольствія никакого не видала; а пріѣхалъ отецъ, и все разомъ пошло по новому. Отецъ-то съ разу догадался привезти тебѣ такую игрушку, которая должна тебѣ понравиться больше всего на свѣтѣ.

Когда Анна Антоновна стала косо поглядывать на петербургскую игрушку, тогда Григорію Андреевичу сдѣлалось досадно по многимъ причинамъ. Во-первыхъ—что за чортъ! ничѣмъ не угодишь. Всякая заслуга обращается въ преступленіе. Во-вторыхъ—чѣмъ же Петръ Васильевичъ не женихъ? Молодъ, нравится дѣвушка, имѣетъ состояніе, и главное—душа-человѣкъ. Въ третьихъ—зачѣмъ же огорчать Соню? Въ четвертыхъ—пріятно зашитить дочь отъ капризовъ больной и раздражительной матери. Именно такого рода мысли и ощущенія должны были зашевелиться въ оскорбленномъ родителѣ, когда Анна Антоновна начала войну противъ развратныхъ эгоистовъ. При этомъ надо замѣтить, что Анна Антоновна съ своей стороны сдѣлала все, что могла сдѣлать для того, чтобы довести почтеннаго супруга до послѣднихъ предѣловъ бѣшенства. Объясненія свои она начинаетъ обыкновенно самымъ надменнымъ и кисло-враждебнымъ тономъ; потомъ, когда видитъ, что этотъ тонъ никого не можетъ удивить и запугать, она вдругъ превращается въ казанскую сироту, и начинаетъ визжать и плакать, но, сквозь слезы, все-таки продолжаетъ дѣлать оскорбительные попреки. Вотъ вамъ образчикъ: «я считаю неблагоразумнымъ, сказала она, долѣе терпѣть присутствіе вашего гостя: я его не знаю, и не желаю знать короче. Прошу васъ сдѣлать ему намекъ, что его посѣщеніе слишкомъ продолжительно и что я утомилась имъ» (стр. 63).

Мнѣ кажется, что порядочные люди съ своими лакеями никогда не говорятъ такимъ сухимъ и повелительнымъ тономъ. Григорій Андреевичъ отвѣчаетъ ей «грубыми словами», «оскорбительнымъ и озлобленнымъ крикомъ», и это, конечно, съ его стороны непохвально, но надо же войти и въ его положеніе. Слова Анны Антоновны сразу уничтожаютъ возможность всякихъ дальнѣйшихъ переговоровъ. На эти слова надо отвѣчать или самымъ полнымъ изъясненіемъ покорности, то есть, немедленнымъ изгнаніемъ невиннаго гостя, или самымъ рѣшительнымъ отказомъ, а такой отказъ, въ какую бы мягкую форму онъ ни былъ

облеченъ, все-таки долженъ произвести на Анну Антоновну самое потрясающее впечатлѣніе. Г. Станицкій очевидно желаетъ, чтобы «грязный эгоистъ» собственноручно продѣлъ себѣ въ ноздри желѣзное кольцо, и малѣйшее уклоненіе этого лютаго животнаго отъ этой священной обязанности вѣняется ему въ позорное преступленіе. Анна Антоновна, между тѣмъ, немедленно переходитъ въ минорный тонъ: «я прошу васъ не отрывать отъ меня мое дитя. Пожалуйте меня хоть разъ въ жизни! Развѣ вы не видите, что вся моя жизнь въ ней?» и такъ далѣе, и все это произносится «умоляющимъ голосомъ». А вслѣдъ за тѣмъ, начинаются попреки, которые, какъ извѣстно, никогда не могутъ принести ни малѣйшей пользы. «Развѣ я плакала, когда вы прикидывались влюбленнымъ въ меня. Я вѣрила вамъ, вашей любви, и потому не могла перенести всѣ ваши унижительные поступки со мной»... и такъ далѣе.

Всѣ эти рѣчи, очевидно, не имѣютъ никакого прямого отношенія къ Петру Васильевичу, и нисколько не могутъ расположить Григорія Андреевича къ мягкости и уступчивости. Я не думаю также, чтобы всѣ эти переходы отъ величаваго презрѣнія къ покорнѣйшей просьбѣ, и отъ обильныхъ слезъ къ обильной брани могли внушить кому бы то ни было уваженіе къ личному характеру и къ желаніямъ Анны Антоновны. Поэтому, мнѣ кажется, нѣтъ основанія противопоставлять Анну Антоновну, какъ добродѣтельную мученицу, Григорію Андреевичу, какъ свирѣпому злодѣю. Анна Антоновна сама себѣ причиняетъ огорченія своими собственными ошибками, а Григорій Андреевичъ въ настоящемъ случаѣ является даже вовсе не злодѣемъ, а, напротивъ того, защитникомъ естественныхъ правъ своей дочери. Анна Антоновна шестнадцать лѣтъ воспитывала эту дочь, и не умѣла даже на столько развить ея умъ, чтобы она не увлекалась первымъ нѣжнымъ взглядомъ перваго встрѣчнаго фата. А потомъ, когда это воспитаніе начинаетъ приносить свои плоды, Анна Антоновна думаетъ поправить все дѣло крутыми мѣрами родительской власти. Отецъ предлагаетъ дочери прогулку, а мать говоритъ «не надо прогулки, ступай въ свою комнату и займись чѣмъ нибудь.» Сонѣ нравится молодой человѣкъ, а мать дѣлаетъ этому молодому человѣку дерзости, и выгоняетъ его изъ дому. Намѣренія матери превосходны, но дѣйствія нелѣпы, и нѣтъ надобности быть эгоистомъ, развратникомъ или злодѣемъ для того, чтобы принять сторону дочери, и сдѣлаться покровителемъ ея молодой любви. Жаль, что эта любовь возникла, но объ этомъ надо было думать гораздо раньше; дѣвушка не виновата въ томъ, что она полюбила, и подавлять ея любовь родительскими приказаніями значитъ только причинять ей бесполезную боль. Эта дѣвушка, по всей вѣроятности, будетъ несчастлива, но совѣтъ не потому, что у нея дурной отецъ, и не потому, что она влюбилась въ дурного человѣка, а потому,

что она родилась, выросла и будет жить при таких условіяхъ, при которыхъ не могутъ развиваться и окрѣпнуть силы ея ума.

Представьте себѣ, что Ноздревъ женился на помѣщицѣ Коробочкѣ, и что у нихъ родилась дочь; много мелкихъ волненій и огорченій достанется на долю этой дочери, много бесполезныхъ слезъ прольетъ она на своемъ вѣку; подобно своей матери, она будетъ оплакивать каждую околѣвшую телушку, и ужасаться при видѣ каждой градовой тучи; каждый конфечный проигрышъ ея мужа будетъ дарить ее бессонными ночами; каждый убійственный вздоръ, брошенный этимъ же самымъ мужемъ на какую нибудь казначейшу, будетъ повергать ее въ бездну отчаянія. Спрашивается, кто будетъ виновать во всѣхъ ея страданіяхъ? Папенька-ли ея Ноздревъ, или маменька Коробочка, или супругъ ея, подпоручикъ Кувшинниковъ, или всѣ они вмѣстѣ, или никто изъ нихъ? И каждый, и всѣ, и никто, и самъ чортъ ихъ разберетъ, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ. Причина всѣхъ страданій этой подпоручицы Кувшинниковой заключается и въ ней самой, и во всемъ, что ея окружаетъ, и во всей исторіи ея развитія. Ея личный характеръ, ея всеневная жизнь, и ея воспитаніе — это такая мозаика, въ которую самыя разнокалиберныя личности положили и ежедневно кладутъ по крошечному камушку; тутъ и маменька, и папенька, и супругъ, и соперница-казначейша, и скотница Авдотья, и лакей Филимонъ, и странница Евпраксія, и юродивый Гришутка, и всѣ, ихъ же имена богъ вѣсть, всѣ, всѣ вложили по лептѣ; и составилось изъ всѣхъ этихъ добровольныхъ приношеній нѣчто болѣе похожее на тѣстообразный осадокъ, чѣмъ на мозаику, построенную по опредѣленному рисунку. И совершаются въ этомъ осадкѣ разные химическіе процессы броженія: осадокъ дуетъ и плачетъ, осадокъ волнуется и страдаетъ, осадокъ лѣзетъ на стѣны и проклинаетъ свою жизнь, то есть, свой химическій составъ. — Кто тебя, осадочекъ, обижаетъ? спрашиваетъ сердобольный человѣкъ, подобный г. Станицкому. — А, вотъ кто! отвѣчаетъ себѣ этотъ человѣкъ. — Хорошо, я жъ его отдѣлаю! — Кто тебя, осадочекъ, замѣсилъ? спрашиваетъ другой человѣкъ, также очень сердобольный, и также очень похожій на г. Станицкаго. — А, вотъ кто, отвѣчаетъ онъ себѣ, я жъ ему покажу. И распространяются, по милости этихъ сердобольныхъ людей, зловѣщіе слухи, что всѣ страданія тѣстообразнаго осадка напущены на него, и выдуманы спеціально для него лютыми злодѣями, подлецомъ Кувшинниковымъ и мерзавцемъ Ноздревымъ. Кувшинниковъ обижаетъ, а Ноздревъ замѣсилъ. Ясное дѣло, что они виноваты. Они выдумали рецептъ тѣстообразнаго осадка, они привели этотъ рецептъ въ исполненіе, и они же теперь производятъ надъ осадкомъ разные химическіе опыты, которые для осадка мучительны, а для нихъ, для этихъ злобныхъ алхимиковъ, пріятны и занимательны.

О, могущественные чародѣи, Ноздревъ и Кувшинниковъ, о великіе изслѣдователи осадочныхъ формаций! Какъ же это вы злодѣйствуете такъ сознательно, а между тѣмъ, сами не умѣете приложить вашу сознательность къ устройству вашей собственной жизни? Неужели тебѣ, чародѣй Ноздревъ, пріятно, когда взыскательные партнеры истребляютъ твои бакенбарды? И неужели тебѣ, алхимикъ Кувшинниковъ, весело, когда ты примѣриваешь цѣлое утро новые сапоги, и осматриваешь со всѣхъ сторонъ «на-диво сточенный каблукъ»?—Скучно и скверно живетъ вамъ обоимъ, друзья мои, и оба вы точно такъ же волнуетесь и страдаете, какъ тотъ несчастный осадокъ, на которомъ вы такъ часто срываете вашу нелѣпную злобу, и который, въ свою очередь, немедленно вымѣщаетъ полученныя отъ васъ огорченія на какой нибудь безотвѣтной кухаркѣ или на своемъ собственномъ пятилѣтнемъ ребенкѣ.—Какіе жъ вы, послѣ этого, чародѣи и алхимики? Какіе жъ вы сознательные злодѣи? Вы сами тѣстообразные осадки, и никакого вы рецепта не выдумали, и никакого рецепта не существуетъ. Существуетъ только поголовное неумѣнье жить, существуетъ повсемѣстная темнота и безсознательность, и въ этомъ отношеніи вы, Ноздревы и Кувшинниковы, нисколько не лучше, но и нисколько не хуже вашихъ добродѣтельныхъ женъ и вашихъ невинныхъ дочерей. Это неумѣнье жить, эта толкотня и это разнообразное мордобитіе существуютъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ существуетъ земля. Когда мы смотримъ въ самую глубокую древность, тогда мы называемъ это неумѣнье жить дикостью или варварствомъ; вотомъ, когда это неумѣнье организуется, мы замѣчаемъ въ немъ различныя стороны или грани, а теперь это неумѣнье жить раздробилось на такое множество отдѣльныхъ и мелкихъ явленій, и получило столько благозвучныхъ названій, что всякое разсужденіе объ этомъ предметѣ сдѣлалось въ высшей степени неудобнымъ и щекотливымъ. Всякая отдѣльная форма этого неумѣнья пріобрѣла себѣ солидную осанку, укрѣпилась на фундаментѣ исторической давности, выработала себѣ самое щепетильное чувство собственного достоинства, и вооружилась, въ лицѣ своихъ передовыхъ представителей, всѣми утонченными аргументами схоластической логики. А лекарство всетаки остается одно и то же: не умѣешь жить, такъ учись; а не умѣешь учиться, такъ живи, какъ знаешь, и не жди себѣ никакого чудодѣйственнаго облегченія ни отъ декламаци г. Станицкаго, ни отъ игривости г. Щедрина, ни даже отъ громоносной сатиры г. Розенгейма.

VI.

Романъ г. Станицкаго очень длиненъ (239 страницъ), и поэтому я нахожу невозможнымъ вести далѣе мое критическое изслѣдованіе о его достоинствахъ въ томъ объемѣ, въ которомъ я его началъ. Разнообразныя красоты этого романа такъ неисчислимы, что приходится сдѣлать самый строгій выборъ, и остановиться только на самыхъ яркихъ и крупныхъ алмазахъ поэтической діадемы г. Станицкаго. Такими алмазами будутъ для насъ: *во-первыхъ*, идеальный конецъ, придѣланный къ земному существованію Анны Антоновны; *во-вторыхъ* страданія Софьи Григорьевны; *въ-третьихъ* дѣдушка Петра Васильевича; и *въ-четвертыхъ* — добродѣтельные люди молодого поколѣнія. Но, прежде нежели я приступлю къ изученію этихъ блестящихъ драгоценностей, я желаю еще разъ позабавить моего читателя «букетомъ гражданской скорби» и высококаго негодованія. Я полагаю, что г. Станицкій есть именно тотъ князь Григорій, о которомъ говорить Репетиловъ, что у него

«Глаза въ крови, лице горитъ
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!...»

По крайней мѣрѣ мнѣ никогда не случалось встрѣчать другого писателя, который такъ упорно и добросовѣстно придирался бы ко всякому удобному и неудобному случаю, для того, чтобы, вмѣстѣ съ своими читателями, порыдаться надъ несовершенствами нашей жизни и надъ испорченностью человѣческаго рода. На каждомъ шагу нить разсказа прерывается, романистъ восклицаетъ: «но восплачемъ же, братія мои,» и начинается немедленно скрежетаніе зубовъ и посыпаніе главы пепломъ и соромъ разныхъ бесплодныхъ выкликаній. А потомъ ничего, выплачетъ свое обязательное горе, и опять начнетъ разсказывать. И никакъ невозможно предусмотрѣть, какое именно слово затронетъ чувствительную струну въ душѣ пылающаго гражданина. Иногда буря краснорѣчиваго огорченія разыгрывается по поводу самой ничтожной причины, подобно тому, какъ лавина сваливается часто отъ того, что какой нибудь пастухъ громко высморкается, или какой нибудь дикій козелъ сдѣлаетъ неосторожный прыжокъ. Вотъ вамъ очень любопытный примѣръ. Г. Станицкій приводитъ отрывокъ изъ письма влюбленнаго Петра Васильевича къ влюбленной Софьѣ Григорьевнѣ: И ничего. На небѣ ясно. Бури не предвидится. «Я нахожу, говоритъ г. Станицкій, этотъ отрывокъ изъ переписки достаточнымъ, какъ образчикъ краснорѣчія влюбленнаго Пет-

ра Васильевича, которому Софья Григорьевна бузусловно вѣрила, какъ она нѣкогда вѣрила, бывши ребенкомъ, волшебнымъ сказкамъ, которыя ей рассказывала ее няня.»—Кажется, спокойно разсуждаетъ человѣкъ; но вообразите себѣ, въ этихъ спокойныхъ словахъ уже заключается гибельный зародышъ неистовой бури. Гдѣ же буря, спрашиваете вы съ безпокойствомъ. Должно быть на счетъ довѣрчивости дѣвушекъ и коварства мужчинъ?—Нѣтъ-съ, это было бы слишкомъ просто.—Такъ, можетъ быть, по части педагогики: о томъ, что молъ не слѣдуетъ дѣтямъ разсказывать волшебныя сказки?—Нѣтъ, все не то. Извольте слушать дальше, сами не догадаетесь. «Разсказы о чудесномъ такъ плѣняли ее, что мать должна была долго и настойчиво разузнавать, что въ дѣйствительной жизни вовсе не существуетъ людей, въ видѣ звѣря или рыбы, что нѣтъ ни мертвой, ни живой воды, и нѣтъ такой волшебной палочки, по взмаху которой воздвигались бы дворцы, а всѣ люди при этомъ раболѣпно преклонялись бы предъ владѣтелемъ палочки; что нѣтъ также тѣхъ стоглавыхъ чудовищъ, которыхъ бы ни огонь, ни сталь и никакая сила человѣческая не могла уничтожить.» Буря надвинулась со всѣхъ сторонъ. Вы и сами чувствуете, что дѣло неладно. Недаромъ же авторъ такъ разгулялся на счетъ волшебныхъ сказокъ. Охъ, не даромъ. Но вы, все-таки, еще не знаете, съ которой же стороны на васъ посыпятся стрѣлы краснорѣчія, и отъ этой неизвѣстности вамъ становится еще болѣе жутко. Но вотъ раздается первый громовой ударъ, и передъ вами открывается мгновенно вся бездна приготовленнаго для васъ несчастья. «Но я такъ думаю, продолжаетъ г. Станицкій, что Анна Антоновна скорѣе ошибалась, разузнавая ребенка, въ томъ, что сказочныя нечѣстои не существуютъ въ дѣйствительной жизни. Неужели читатель не встрѣчалъ въ своей жизни людей, которые только носятъ человѣческій образъ, а по всѣмъ своимъ наклонностямъ дикіе звѣри? Мало ли мы видимъ людей, нѣмыхъ, какъ рыба, при видѣ какихъ угодно ужасовъ».... Ну, и такъ далѣе.

Вотъ она, буря-то! Поняли теперь, какой зловѣщій смыслъ имѣло перечисленіе тѣхъ предметовъ, которые встрѣчаются, а, можетъ быть даже и не встрѣчаются въ русскихъ волшебныхъ сказкахъ. Теперь вамъ г. Станицкій будетъ доказывать, не убѣдительно, но очень горячо, что въ жизни есть и живая вода, и мертвая вода, и стоглавныя чудовища и волшебныя палочки. За ходомъ его доказательствъ я слѣдить не буду, потому что, кому же охота лѣзть подъ проливной дождь, когда можно пребывать въ сухости и безопасности?— Но результаты получаются такіе, что тщеславіе въ обществѣ — это живая и мертвая вода, что стоглавныя чудовища доподлинно существуютъ, и что волшебную палочку составляютъ деньги. Ну, думаете вы, буря окончилась, потому что параллель проведена самымъ блистательнымъ образомъ. Но у г. Станицкаго

бура родитъ бурю, бѣда влечетъ за собою новую бѣду. Деньги родятъ роскошныя обѣды, роскошныя обѣды родятъ обжоръ, въ числѣ обжоръ оказываются «ученые мужи» и «патентованные либералы и демократы». И тутъ, при этомъ роковомъ словѣ, въ одну минуту поднимается такой ураганъ, который сваливаетъ съ ногъ самого г. Станицкаго, и отшибаетъ у него послѣдніе остатки здраваго смысла. Дѣло доходитъ вотъ до чего: «Да, ученые мужи и патентованные либералы, вѣдь, сознайтесь, что не будь у этихъ плутовъ дворцовъ и роскошныхъ обѣдовъ, вы бы, съ вашими строгими убѣжденіями, возмутились отъ одной дерзости ихъ, если бы они протянули вамъ гордо руку и пригласили бы васъ на роскошный обѣдъ». (Стр. 74 75).

Что же это такое? Въ первой половинѣ фразы роскошный обѣдъ рѣшительно отрицается, а во второй половинѣ той же фразы это условіе уже забыто, и роскошный обѣдъ опять явился на сцену. У плута нѣтъ роскошнаго обѣда, и плутъ приглашаетъ на роскошный обѣдъ. Ай да плутъ! Именно плутъ! Тонкая шельма! Вотъ что значить разсуждать во время урагана. Вотъ до какой премудрости можно договориться. Но почему же это г. Станицкій такъ горячо заботится о желудкахъ «патентованныхъ либераловъ», и почему знакомство этихъ господъ съ богатыми плутами принимаетъ въ его глазахъ размѣры общественнаго бѣдствія? Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ не трудно. Люди, подобные г. Станицкому, обыкновенно слышать звонъ, да не знаютъ, откуда онъ. Г. Станицкій слышалъ, а, можетъ быть, и читалъ, что есть на свѣтѣ доктринеры и ложные либералы, которые своею дѣятельностью тормозятъ развитіе общества. Какъ и чѣмъ они тормозятъ, этого г. Станицкій не сумѣлъ разобранъ; сказали ему, что тормозятъ — онъ и давай ихъ ненавидѣть безъ всякихъ дальнѣйшихъ справокъ. Слышалъ онъ вѣроятно, что и у насъ расплодился ложные либералы и доктринеры, но чѣмъ эти господа отличаются отъ истинныхъ либераловъ — этого онъ, по своему обыкновению, не дослышалъ и не понималъ. И началъ онъ отличать истинныхъ либераловъ отъ ложныхъ не по идеямъ, а по поведенію. И поэтому, явилась настоятельная необходимость разузнавать, гдѣ либералъ обѣдаетъ, гдѣ чай пьетъ, гдѣ ужинаетъ, и какъ проводитъ ночь. А тутъ подоспѣла на помощь французская поговорка: «dis-moi que tu hantes, je te dirai que tu es.» (Скажи мнѣ, съ кѣмъ ты знакомишься, я тебѣ скажу, кто ты такой). И такимъ образомъ, составилось въ творческомъ умѣ г. Станицкаго непоколебимое убѣжденіе, что кромѣ лоретокъ и эгоизма существуетъ въ Россіи еще одно общественное зло, именно привычка «патентованныхъ либераловъ и демократовъ» обжираться роскошными обѣдами у богатыхъ плутовъ. Только не страдай эти господа чревоугодіемъ, многое пошло бы совсѣмъ иначе. Обѣдай они въ трактирѣ, а не у богатаго плута — и г. Станицкій съ удовольствіемъ призналъ бы ихъ

настоящими либералами. Если же ихъ чревоугодіе составляетъ общественное зло, то надо разразить это чревоугодіе обличительнымъ громомъ. Ну вотъ, онъ и разражается.

Привожу здѣсь послѣдніе и самые сильные порывы урагана, который постоянно вертится на роскошныхъ обѣдахъ и патентованныхъ либералахъ.

«А вы, господа, вы свою продажность души прикрываете честными убѣжденіями, и къ вамъ довѣрчиво идетъ пылкій юноша поучиться тому, какъ надо твердо отстаивать честныя убѣжденія, какъ строго нужно слѣдить за своими слабостями и страшиться вреднаго тщеславія. И чему же вы научаете юношу? — торговать честью, принести все въ жертву пустому тщеславію, карать пороки на словахъ, а на дѣлѣ принимать участіе въ нихъ, съ іезуитскою осмотрительностью, чтобъ сухимъ выйти изъ воды? Вы—Иуды предатели! (Я вамъ говорилъ, что разразить; вотъ и разразилъ). Вамъ мало показалось зла человечеству отъ процвѣтанія торговли, вы завели биржу либераловъ и демократовъ, гдѣ идетъ торгъ честными убѣжденіями, посредствомъ которыхъ ловкіе торгаши обогащаются популярностью и дѣлаются либеральными Ротшильдами, и такъ же эксплуатируютъ бѣднымъ человечествомъ, какъ банкиры и фабриканты на своихъ биржахъ!...» (Стр. 75).

Такъ какъ ураганъ при самомъ своемъ началѣ подрѣзалъ логику г. Станицкаго, то въ этой тирадѣ совершенно бесполезно будемъ искать какого нибудь опредѣленнаго смысла. Мнѣ остается только замѣтить, что послѣдній порывъ урагана спихиваетъ даже грамматику, и вслѣдствіе этого, «либеральные Ротшильды» начинаютъ «эксплуатировать» не *бѣдное* *человѣчество* а «*бѣднымъ* *человѣчествомъ*», что во время тихой погоды, то есть, при ненарушенномъ господствѣ русской грамматики, оказывается совершенно невозможнымъ.

На стр. 130 г. Станицкій говоритъ о страданіяхъ трехъ добродѣтельныхъ женщинъ, и произноситъ между прочимъ слѣдующія слова: «въ этихъ случаяхъ, у меня умъ за разумъ заходитъ.» Вотъ, что правда, то правда. Съ этимъ я совершенно согласенъ, и мнѣ даже кажется, что этотъ феноменъ совершается надъ г. Станицкимъ гораздо чаще, чѣмъ онъ самъ предполагаетъ. Теперь мы можемъ проститься съ «букетомъ гражданской скорби.» Много остается нетронутыхъ сокровищъ, но кто же можетъ выловить изъ Персидскаго залива весь заключающійся въ немъ жемчугъ? Или изъ Сѣвернаго океана — всю плавающую въ немъ селедку? — «Ты можешь ли левіаэана на удѣ вытащить на берегъ?» — Нѣтъ, не могу. — Ну, стало быть, не ропщи на судьбу, будь малымъ доволенъ, и благословляй свою скромную долю.

VII.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЕЦЪ, ПРИДЪЛАННЫЙ КЪ ЗЕМНОМУ СУЩЕСТВОВАНІЮ АННЫ
АНТОНОВНЫ.

Г. Станицкій употребляетъ всѣ усилія, чтобы внушить читателю величайшее уваженіе къ характеру Анны Антоновны, и побудительная причина этихъ усилій очень понятна, потому что Анна Антоновна составляетъ, такъ сказать, краеугольный камень всего строенія. Если окажется, что эта барыня смахиваетъ на помѣшницу Коробочку, тогда Григорій Андреевичъ перестанетъ быть свирѣпымъ мучителемъ добродѣтельной мученицы, а сдѣлается просто ничтожнымъ супругомъ ничтожной женщины; тогда печальная участь Софьи Григорьевны перестанетъ быть преступнымъ дѣломъ недостойнаго отца, а сдѣлается просто естественнымъ результатомъ дурнаго воспитанія, и очень обыкновенныхъ условій жизни. Тогда читатель не будетъ думать, что все зло дѣйствительной жизни выдуманно и напущено на добродѣтельныхъ людей «грязными эгоистами,» «наглými лоретками», и «либеральными Ротшильдами». Тогда читатель можетъ подумать, что добродѣтельные люди часто бываютъ людьми очень глупыми, и что ихъ глупость составляетъ крѣпкую почву, на которой растутъ и процвѣтаютъ всякіе Ротшильды, лоретки и такъ называемые эгоисты. Словомъ, тогда читатель нарушитъ въ отношеніи къ г. Станицкому всякую дисциплину, и осмѣетъ его нравственную проповѣдь, какъ плоскую шутку. Очевидно, что такое безчинство допущено быть не можетъ, и что, слѣдовательно, Анну Антоновну необходимо утвердить на пьедесталѣ несокрушимой прочности и недосыгаемой высоты. Г. Станицкій усердно принимается за эту работу, и съ свойственною ему смѣлостью, въ одно мгновеніе ока превращаетъ Анну Антоновну въ благодѣтельницу крестьянъ села Григорьевки. Послѣ свадьбы, Петръ Васильевичъ увозитъ свою молодую жену къ своимъ роднымъ, а Анна Антоновна переноситъ продолжительную болѣзнь, и потомъ, послѣ выздоровленія, проводитъ нѣсколько мѣсяцевъ «въ бездѣйственномъ состояніи.» Она сидитъ въ комнатѣ дочери, перебираетъ ея дѣтскія вещи, и только иногда соглашается выпить чашку чаю или бульону. Потомъ, надумавшись, она отправляется на деревню, обходитъ всѣ крестьянскія избы, вникаетъ въ потребности каждаго семейства, и общается возвратитъ дѣтей, отданныхъ въ ученіе, тѣмъ отцамъ и матерямъ, которые желаютъ воспитывать ихъ при себѣ. Въ тотъ же вечеръ она пишетъ къ дочери письмо, въ которомъ сообщаетъ ей свои намѣренія.

«Мнѣ страшно будетъ теперь умирать, говорить она, если я не искуплю, хоть чѣмъ нибудь, жертвы, какія я требовала отъ людей. Мнѣ стыдно: у меня не повернется языкъ требовать отъ этихъ, по моей милости нищихъ, еще новыхъ жертвъ!...» «Свой домъ я превращу въ больницу и дѣтскую школу. Безъ тебя это наполнить мою жизнь!...» «Всѣ земли, принадлежащія мнѣ, будутъ принадлежать обществу; изъ нихъ часть будетъ идти на больницу и школу, другая часть — на уплату податей, а остатки будутъ составлять капиталъ, безъ котораго нельзя обходиться сотнямъ людей. Мало ли что можетъ случиться: пожаръ, голодъ, имъ будетъ чѣмъ извернуться.» (Стр. 81 и 82.)

Все это очень похвально, но только неправдоподобно, чтобы именно Анна Антоновна могла распорядиться такимъ образомъ. Въ такомъ образѣ дѣйствій нѣтъ никакого особеннаго героизма или самоотверженія; напротивъ того, въ положеніи Анны Антоновны, только такой образъ дѣйствій можетъ избавить человѣка отъ невыносимой апатіи, и снова помирить его съ жизнью живыхъ людей. Если бы Анна Антоновна могла вполне благоразумно обсудить свое положеніе, то она, конечно, выбрала бы именно этотъ путь, и ее не остановили бы какія нибудь корыстолюбивыя, или, какъ ихъ назвалъ бы г. Станицкій, «эгоистическія» соображенія. Но я осмѣливаюсь думать, что Анна Антоновна не могла разсуждать такъ здраво, и что г. Станицкій навязываетъ ей свои собственные мысли; а мысли сотрудника «Современника», даже такого, какъ г. Станицкій, все-таки должны быть несравненно благообразнѣе, чѣмъ тѣ умозрѣнія, которыми руководствуются наши добродѣтельные барыни. Г. Станицкій совершенно упускаетъ изъ виду одно чрезвычайно важное обстоятельство. Спрашивается: была ли Анна Антоновна сколько нибудь расположена къ ханжеству? Существовалъ ли, по крайней мѣрѣ, въ ея умѣ тотъ микроскопическій зародышъ этихъ стремленій, который существуетъ почти у всѣхъ нашихъ женщинъ, и который, часто оставаясь незамѣтнымъ во время веселой и беззаботной молодости, развертывается съ полною силою, и доходитъ иногда до мономаніи подѣ старость или послѣ сильныхъ огорченій? Если на эти два вопроса г. Станицкій отвѣтитъ *да*, то благородная дѣятельность Анны Антоновны должна будетъ измѣниться самымъ существеннымъ образомъ отъ примѣси этихъ постороннихъ элементовъ. Тогда начнутся благочестивыя пожертвованія, поѣздки по монастырямъ, безтолковое раздаваніе милостыни, учрежденіе какого нибудь пріюта или богадѣльни для убогихъ странницъ. Вмѣстѣ съ этимъ, пойдутъ, пожалуй, и какія-нибудь милостивыя льготы для мужиковъ, но это будетъ великодушное копѣечное подаваніе, а совсѣмъ не такое широкое и полное возстановленіе нарушенной справедливости, какое изображаетъ г. Станицкій. Кормить нищихъ, и поддерживать, такимъ образомъ, нищенство, это подвигъ очень не головоломный, и

поэтому совершенно доступный для наших благотворительных господъ и барынь. Но подрѣзывать нищенство подъ самый корень, дѣйствовать противъ первыхъ причинъ нищенства, пересоздавать всѣ свои отношенія къ труждающемуся населенію — это работа въ высшей степени *сознательная*, и для того, чтобы понять настоящую необходимость такой работы, недостаточно выдать дочь за «грязнаго эгоиста», и посидѣть нѣсколько мѣсяцевъ въ опустѣвшей комнатѣ этой дочери. Если же на мои вопросы г. Станицкій отвѣтитъ *нѣтъ*, то намъ представится затрудненіе другого рода; если не было даже микроскопическаго зародыша, то, значить, были такіа убѣжденія, которыя совершенно его искоренили. Стало быть, было широкое, свѣтлое и основательное развитіе ума; но въ такомъ случаѣ, все воспитаніе Софьи Григорьевны было бы направлено совершенно иначе. Въ такомъ случаѣ, Анна Антоновна не стала бы пускаться въ ходъ систему педагогическаго обмана, и въ шестнадцать лѣтъ Софья Григорьевна была бы дѣвушкою серьезно образованною, и неспособною увлекаться безцвѣтнымъ и плоскимъ фразерствомъ такого ничтожнаго господина, какъ Петръ Васильевичъ. Да и никакого Петра Васильевича не было бы на сценѣ, потому что Соня понимала бы, что папашѣ очень весело жить въ Петербургѣ, и что папашу вовсе не слѣдуетъ отрывать отъ удовольствій столичной жизни. Но, увы! такая Соня не могла бы сдѣлаться героинею трагическаго романа, и г. Станицкому пришлось бы искать добродѣтельныхъ маріонетокъ въ какомъ нибудь другомъ мѣстѣ, за предѣлами села Григорьевки. Поэтому я думаю, что попытка г. Станицкаго возвысить Анну Антоновну въ глазахъ читателя должна считаться совершенно неудачною. Эта попытка показываетъ намъ, какъ мало г. Станицкій понимаетъ настоящее значеніе тѣхъ явленій дѣйствительной жизни, которыя онъ рѣшается изображать. Читатель согласится, конечно, что предложенные мною вопросы имѣютъ очень важное значеніе, а между тѣмъ, эти вопросы не только не разрѣшены, но даже не поставлены г. Станицкимъ.

VIII.

СТРАДАНІЯ СОФЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ.

Анна Антоновна внезапно умираетъ отъ огорченія, не исполнивъ ни одного изъ своихъ плановъ. Замѣчательно, что ее убиваетъ Софья Григорьевна, и еще замѣчательнѣе то, что нашъ удивительный романистъ не обращаетъ на это обстоятельство почти никакого вниманія. Узнавъ

о намѣреніяхъ своей жены, Григорій Андреевичъ подаетъ, куда слѣдуетъ, бумагу о томъ, что Анна Антоновна страдаетъ припадками помѣшательства, и на этой бумагѣ красуется подлинная подпись Софьи Григорьевны. «По требованію отца, говорить г. Станицкій, Софья Григорьевна подписала просьбу, которая и была причиной смерти Анны Антоновны. Но дочь и не воображала, чтобы отецъ могъ ее заставить подписать подобное гнусное обвиненіе», и такъ далѣе. (ст. 168).

Этотъ интересный случай доказываетъ, только ту простую истину, что совсѣмъ не надо *воображать*, а надо *читать* тѣ бумаги, которыя подписываешь, и кромѣ того надо *понимать* то, что читаешь. Я очень хорошо знаю, что огромное большинство нашихъ дамъ подписываютъ, не читая; а если бы онѣ и рѣшились прочесть, то ничего не поняли бы, и все таки подписали бы на авось. Но когда женщина погружена въ такую счастливую невинность, что она подписываетъ бумаги *нечаянно*,—когда она своею подписью пришибаетъ до смерти родную мать, и когда она, *по невѣдѣнію*, принимаетъ *дѣятельное* участіе въ подлости, тогда можно сказать навѣрное, что каждый шагъ въ жизни будетъ приносить ей разочарованія, оскорбленія и страданія. По своей ребяческой неопытности, она будетъ наткаться лбомъ на такія препятствія, которыя легко можно было устранить или обойти. По своей ребяческой раздражительности и впечатлительности, она будетъ чувствовать сильную боль отъ такихъ ничтожныхъ ушибовъ, на которые взрослый и мыслящій человѣкъ не обращаетъ никакого вниманія. Вдвое чаще ушибаться, да вдвое сильнѣе чувствовать каждый ушибъ, это значитъ вчетверо больше страдать, но вѣдь масса страданій учетверяется только благодаря личнымъ свойствамъ женщины. Будь она позрѣлѣе, она страдала бы вчетверо меньше, и тогда масса страданій была бы, можетъ быть, такъ незначительна, что въ общемъ итогѣ женщина чувствовала бы себя счастливою. Для Вѣры Павловны, изъ романа «Что дѣлать?», даже немислимы тѣ огорченія, отъ которыхъ зачахла Софья Григорьевна. Вѣра Павловна можетъ быть счастливою, потому что она сама знаетъ, въ чемъ она нуждается, сама умѣетъ контролировать свои желанія, и сама отыскиваетъ средства для удовлетворенія этимъ желаніямъ. Но для Софьи Григорьевны счастье было бы возможно только при одномъ условіи. Надо было бы, чтобы нашелся какой нибудь господинъ очень ограниченнаго ума, который прочиталъ бы книги Мишле о женщинѣ и о любви, и принялъ бы эти книги за величайшее произведеніе гениальнаго мыслителя. Проникнувшись идеями Мишле, убѣдившись въ томъ, что женщина есть существо вѣчно больное, что женщина есть цвѣтокъ, что женщина есть ребенокъ и что мужъ долженъ быть вѣчнымъ садовникомъ, вѣчнымъ воспитателемъ и вѣчною сидѣлкою, ухитрившись согласить въ своемъ убогомъ умѣ всѣ эти и многія другія обязанности

мужа по Мишле, этот господинъ долженъ предложить Софьѣ Григорьевнѣ руку и сердце, и за тѣмъ должна начаться такая маниловщина, которая даже самому Манилову показалась бы невыносимою по своей утонченности. Вотъ тогда Софья Григорьевна почувствовала бы себя счастливою, но такъ какъ человѣкъ имѣющій хоть каплю практическаго ума, неспособенъ проникнуться идеями Мишле, и не пожелаетъ посвятить свою жизнь на воздѣлываніе Софьи Григорьевны, то мужъ цвѣтка будетъ также цвѣткомъ, и поэтому, для охраненія этихъ невинныхъ растений отъ коровъ и ословъ, потребуются специальный садовникъ или опекунъ.

Такимъ образомъ, для счастья каждой женщины, подобной Софьѣ Григорьевнѣ, необходимы, по меньшей мѣрѣ, два должностныя лица, во первыхъ, глупый мужъ, а во-вторыхъ, идеальный опекунъ. Но изъ этого ясно, что счастье подобныхъ созданій не только не возможно, но даже и не желательно, потому что, въ самомъ дѣлѣ, за что же одну половину наличныхъ мужчинъ погружать въ красивый идиотизмъ, а другую осуждать на безправіе и на вѣчное ухаживаніе за плодящимися идиотами. Я знаю, что очень многія женщины похожи на Софью Григорьевну. Очень жаль, что онѣ несчастливы, но не приведи богъ, чтобы онѣ когда нибудь сдѣлались счастливыми, потому что тогда земной шаръ еще сильнѣе, чѣмъ въ настоящую минуту, сдѣлался бы похожъ на психіатрическую лечебницу. Больнымъ надо выздоравливать, а неизлечимымъ больнымъ надо умирать, но никакъ не слѣдуетъ желать такого измѣненія въ условіяхъ жизни, вслѣдствіе котораго больные, не переставая *быть* больными, *чувствовали* бы себя легко и весело. Если бы такое измѣненіе и было возможно, то оно, очевидно, было бы гибельно для здоровыхъ. Музыкантъ не виноватъ въ томъ, что глухой не слышитъ музыки; лечите глухого, но не заставляйте музыкантовъ играть такъ, чтобы вашъ невылеченный паціентъ могъ слышать всѣ переливы звуковъ; такую музыкою вы разгоните всѣхъ здоровыхъ слушателей. Можетъ быть, оркестръ играетъ плохо, можетъ быть, музыка находится въ младенческомъ состояніи, но и оркестръ, и музыка должны совершенствоваться для того, чтобы доставлять наслажденіе здоровымъ, а не для того, чтобы принимать глухихъ. Какъ бы музыка ни усовершенствовалась, глухому отъ этого не сдѣлается легче, потому что ему можетъ помочь только такая перемѣна, которая произойдетъ не въ окружающемъ мірѣ, а въ его собственной личности.

Страданія Софьи Григорьевны начинаются съ первыхъ недѣль ея замужества, и принимаютъ очень крупныя размѣры, хотя, по видимому, никакихъ особенныхъ несчастій не происходитъ.—«Нынче день такой для меня; я его никогда въ жизни не забуду: страшнѣе этого дня не можетъ быть ни въ чьей жизни, замѣтила съ увѣренностью Софья Григорьевна». (Стр. 127). Что же такое случилось въ этотъ страшный

день? Умеръ ктонибудь, или съ-ума сошелъ, или преступленіе какое-нибудь ужасное совершилось, или развратные эгоисты прибили Софью Григорьевну? Нѣтъ, ничего этого не случилось, да и вообще въ этотъ день не произошло никакого событія, а только Софья Григорьевна узнала нѣкоторыя подробности изъ холостой жизни Петра Васильевича, и всѣ эти подробности относятся исключительно къ различнымъ проявленіямъ русскаго донъ-жуанства. Узнала она, что Петръ Васильевичъ прижилъ сына съ дворовою дѣвушкою Лизаветою, и увидела она этого сына, и убѣдилась въ томъ, что ребенокъ дѣйствительно похожъ на своего отца; узнала она, кромѣ того, что Петръ Васильевичъ велъ любовную переписку съ бѣдною дѣвушкою, Олимпиадою Федоровною. И узнала она, наконецъ, что Петръ Васильевичъ находился въ интригѣ съ камеліею Катей. Вотъ и всѣ ужасы. Надо сказать правду: было бы очень весело жить на свѣтѣ, если бы «страшнѣе этого дня» не могло быть «ни въ чьей жизни.» Ясно, что всѣ страданія Софьи Григорьевны происходятъ отъ ревности, и притомъ отъ самой глупой ревности, то есть, отъ такой, которая обращена на прошедшее.

Замѣчательно, что г. Станицкій горячо осуждаетъ ревность въ Григорѣ Андреевичѣ, и въ тоже время относится съ полнымъ сочувствіемъ къ ревности его дочери; «и если грубость иногда и проглядывала въ его дѣйствіяхъ, говорить онъ о Григорѣ Андреевичѣ, то это, какъ догадывались, была ревность,—а вѣдь ревность-то и есть любовь, какъ доказываютъ всѣ влюбленные эгоисты, чтобъ оправдаться чѣмъ-нибудь въ своихъ дурныхъ поступкахъ въ то время, когда власть ихъ надъ женщиной еще колеблется.» (Стр. 49). Положимъ, что не влюбленные эгоисты, а влюбленные пошляки доказываютъ, что «ревность-то и есть любовь.» Но это все равно; мы уже знаемъ, что слово «эгоистъ» на языкѣ г. Станицкаго имѣетъ ругательное значеніе; стало быть, не придираясь къ словамъ, замѣтимъ только, что на стр. 49 г. Станицкій считаетъ ревность чувствомъ вполне достойнымъ грязныхъ эгоистовъ, а потомъ, все мученичество Софьи Григорьевны основывается почти исключительно на этомъ оплеванномъ чувствѣ, и однако, сама мученица не считается ни эгоисткою, ни грязною, ни даже глупою. На стр. 130 Софья Григорьевна бросаетъ на полъ медальонъ Петра Васильевича, и кричитъ «раздирающимъ голосомъ: «поѣдьте къ нему! я хочу его видѣть и сказать ему въ глаза, что онъ...» Здѣсь вырываются изъ груди ея вопли, которые мѣшаютъ ей «досказать фразу», и она падаетъ безъ чувствъ. — Можно сказать, что вопли и обморокъ подоспѣли очень кстати, потому что Софья Григорьевна вѣроятно произнесла бы какую-нибудь «грубость», и тогда г. Станицкому пришлось бы доказывать, что грубости Григорья Андреевича были предосудительны и выте-

кали изъ грязнаго эгоизма, а грубости Софьи Григорьевны, напротивъ того, похвальны и вытекаютъ изъ самой чистой любви.

Но ни вопли, ни обморокъ не могутъ замаскировать ту печальную неурядицу, которая господствуетъ въ идеяхъ г. Станицкаго. Какъ ни поворачивай дѣло, а все-таки выходитъ, что мужчина не смѣй ревновать, а женщина ревнуй, сколько душѣ угодно. Само собою разумѣется, что это мнѣніе г. Станицкаго въ высшей степени оскорбительно для женщинъ. Если мы допустимъ, что ощущеніе ревности есть необходимое и нормальное отправленіе женскаго организма, то мы, этимъ самымъ сужденіемъ, обречемъ женщину на вѣчную, самую унижительную и самую тягостную зависимость. Въ самомъ дѣлѣ, если вы ревнуете, и если это чувство принимаетъ у васъ размѣры серьезнаго страданія, то это значитъ, что все счастье вашей жизни находится въ чужихъ рукахъ, и что эти чужія руки во всякую данную минуту могутъ измѣять и изуродовать ваше счастье, не прикасаясь къ вашей собственной личности. Когда намъ говорятъ: «эта женщина счастлива», то мы обыкновенно понимаемъ эти слова въ томъ смыслѣ, что эта женщина любима тѣмъ человѣкомъ, котораго она сама любитъ; чуть только этотъ человѣкъ отвернулся отъ нея, вотъ она и несчастлива, вотъ и начинаются мученія ревности; мы такъ привыкли къ такимъ явленіямъ, что даже не замѣчаемъ ихъ уродливости, а вѣдь, между тѣмъ, не трудно, кажется, понять, что эти явленія указываютъ на страшную внутреннюю пустоту тѣхъ личностей, для которыхъ любовь Петра или Ивана составляетъ, такимъ образомъ, высшее благо и единственную цѣль существованія. У этихъ несчастныхъ личностей нѣтъ своего внутренняго содержанія; у нихъ нѣтъ никакой любимой дѣятельности; онѣ не принимаютъ никакого участія въ общей работѣ человѣчества; онѣ даже не имѣютъ понятія о существованіи такой работы; всѣ величайшія усилія человѣческой мысли, всѣ колоссальныя событія новѣйшей исторіи, всѣ животрепещущія надежды и стремленія лучшихъ людей—все это или совершенно неизвѣстно ревнивымъ обожателямъ Петра и Ивана, или, еще хуже, извѣстно имъ, какъ вызубренный параграфъ учебника, или какъ мертвый столбецъ газеты. Взаимная любовь, конечно, даетъ много наслажденій, больше, чѣмъ хорошій обѣдъ, больше, чѣмъ роскошная квартира, больше, чѣмъ оперная музыка, но наполнять всю жизнь взаимною любовью, не видѣть въ жизни ничего выше и обаятельнѣе взаимной любви, не умѣть, въ случаѣ надобности, отказаться отъ этого наслажденія,—это значитъ не имѣть понятія о настоящей жизни, это значитъ не подозрѣвать, какъ великъ и силенъ человѣческій умъ, и какія неисчерпаемыя сокровища неотъемлемыхъ наслажденій скрыты въ сѣромъ веществѣ нашего головного мозга. Когда любовь дается вамъ въ руки, пользуйтесь ею, какъ вы пользуетесь, напримѣръ, свѣтлымъ и теплымъ

лѣтнимъ днемъ. Но если набѣгутъ тучи и польется дождь, не станете же вы плакать о томъ, что разстроилась ваша прогулка. Велика бѣда! —сегодня дождь, а завтра будетъ опять солнечный день. А семилѣтній ребенокъ все-таки заплачетъ: завтрашній день далекъ, ему надо сегодня. Печальная была бы штука, если бы этому семилѣтнему ребенку пришлось оставаться ребенкомъ въ теченіи семидесяти лѣтъ, и если бы существовала цѣлая порода такихъ человѣкообразныхъ созданий, которыя проливали бы горькія слезы по поводу каждаго лѣтняго дождя, разстроившаго пріятную прогулку. А вѣдь не далеко уѣхали отъ этихъ плаксивыхъ созданий тѣ убогія и нищія личности, для которыхъ невѣрность Ивана или Петра составляетъ громадное несчастье, наполняющее цѣлую жизнь слезами и отчаяніемъ. И эту плаксивость, эту убогость, эту поразительную нищету романисты и критики ежедневно возводятъ въ великое достоинство человѣческой природы. Вотъ она, говорятъ, истинная любовь, вотъ она сила любви. А вся эта сила и истинность ничто иное, какъ результатъ внутренней пустоты. Личность такъ слаба и несостоятельна сама по себѣ, что по неволѣ должна прислониться къ другой личности, и когда эта опора измѣняется, тогда прислонившаяся личность падаетъ, ушибается и начинаетъ охать.

Вотъ именно противъ этой-то мучительной и позорной зависимости должна быть направлена эманципація женщинъ. Женщина должна стоять на своихъ собственныхъ ногахъ; женщина, какъ человѣческая личность, должна постоянно носить въ себѣ самый главный источникъ своего счастья, и ни мужчина, ни женщина никогда не должны отдавать этотъ основной капиталъ своей жизни въ чужія руки. Удастся ли женщинѣ стать, такимъ образомъ, въ-совершенно независимое положеніе—этого никто не рѣшится утверждать заранѣе, но объ этомъ еще не время разсуждать; удастся или нѣтъ—это все равно; во всякомъ случаѣ, каждая женщина, уважающая свою человѣческую личность, и желающая упрочить свое собственное счастье, должна употреблять всѣ усилія, чтобы какъ можно ближе подойти къ полному самоосвобожденію. А подойти къ этой цѣли можно только однимъ путемъ, путемъ серьезнаго, послѣдовательнаго и общепользнаго умственнаго труда. Въ медицинѣ нѣтъ универсальнаго лекарства, но есть общія правила гигиены, и соблюденіе этихъ правилъ предотвращаетъ большую часть болѣзней. Противъ различныхъ нравственныхъ и общественныхъ страданій человечества также нѣтъ универсальнаго лекарства; но, если мы хотимъ, чтобы будущія поколѣнія страдали меньше насъ, то мы должны стараться, чтобы умственный капиталъ обращался въ обществѣ, какъ можно, быстро. Въ этомъ заключается главное правило общественной гигиены, и если это правило будетъ соблюдаться, то можно сказать навѣрное, что несчастная любовь, мучительная ревность и подвиги донъ-жуанства ско-

ро будутъ сданы въ общій архивъ забытыхъ человѣческихъ глупостей.— Но, къ сожалѣнію, въ умственный капиталъ впущено много фальшивой монеты, и множество человѣческихъ глупостей пользуются полнымъ сочувствіемъ и уваженіемъ тѣхъ самыхъ людей, которые считаютъ себя проповѣдниками истины и карателями заблужденій.

Любопытно и даже умилительно замѣтить, какъ чистосердечно г. Станицкій, неутомимый проповѣдникъ и пламенный каратель, восхищается ребическимъ слабоуміемъ своихъ любимыхъ маріонетокъ. Идетъ Софья Григорьевна встрѣчать Петра Васильевича, уѣхавшаго въ городъ къ Катѣ, и общавшаго воротиться въ назначенный день. Она отходитъ отъ дому довольно далеко, и вмѣсто Петра Васильевича, встрѣчаетъ его молодого родственника, Сережу, который считается съумасшедшимъ, и живетъ отпелыникомъ, въ уединенномъ флигелѣ; на самомъ дѣлѣ, этотъ Сережа — благороднѣйшій человѣкъ, вовсе не съумасшедшій, но ведущій созерцательную жизнь среди книгъ, нотъ и цвѣтовъ; выбралъ же онъ, эту жизнь достойную рыцаря Тоггенбурга, потому, что мать его—дурная женщина, а еще потому, что сестра его умерла отъ отчаянія и воспаления въ легкихъ, и наконецъ, еще потому, что самъ онъ, Сережа, не въ состояніи смотрѣть на человѣческія гнусности. Встрѣтившись съ Софьею Григорьевною, Сережа спрашиваетъ у нея, между прочимъ, давно ли уѣхалъ ея мужъ?

— «Вотъ уже теперь ровно двое сутокъ.—Софья Григорьевна произнесла это такимъ тономъ, точно богъ знаетъ, сколько лѣтъ прошло съ минуты ихъ разлуки». (Стр. 138). Эта наивность очень трогательна и похвальна, но еще трогательнѣе и похвальнѣе то, что Софья Григорьевна принимаетъ предложеніе Сережи, вызвавшагося поѣхать ночью, верхомъ, въ городъ, для того, чтобы къ утру доложить Софѣ Григорьевнѣ, какая причина задержала ея супруга. Сережа, слабый и болѣзненный юноша, путешествуетъ всю ночь, и воротившись домой, конечно, занемогаетъ. На другой день, узнавши, что Сережа боленъ, Софья Григорьевна говоритъ «съ досадою»: Такъ онъ не былъ въ городѣ? А я такъ понадѣялась на него. (Стр. 140). И этими словами ограничивается все ея участіе къ положенію больного, даже тогда, когда ей говорятъ, что его свалила съ ногъ поѣздка въ городъ. Вы не забудьте, что все это происходитъ черезъ два дня послѣ швыривія медальона на полъ. Посудите сами, есть ли какая нибудь разница между этою женщиною и тѣмъ семилѣтнимъ ребенкомъ, который плачетъ и капризничаетъ по поводу лѣтнаго дождя? И есть ли какая нибудь возможность серьезно сочувствовать воплямъ и обморокамъ такого пустого и ничтожнаго существа?

Дальше наивность Софьи Григорьевны становится еще обаятельнѣе, а сочувствіе г. Станицкаго дѣлается еще очевиднѣе и умилительнѣе.

Софья Григорьевна сближается съ Сережей, и посѣщаетъ иногда его уединенный флигель. «Они, какъ дѣти, говоритъ г. Станицкій, долго болтали и смѣялись; ихъ взгляды такъ были чисты, ихъ разговоръ такъ искрененъ, что невольно думалось: вотъ что нужно для супружескаго счастья, — нужно, чтобъ равно обоихъ пугала грязь жизни, а не такъ, какъ это бываетъ всегда: одинъ пропитанъ развратомъ, безстрашенъ ко всякимъ низостямъ и равнодушенъ ко всякому горю и страданію ближняго, другой — слабая, неопытная женщина». (Стр. 146). А вотъ чѣмъ занимались невинные молодые люди. «Они читали вѣѣствѣ, и даже иногда, какъ дѣти, бѣгали по саду, стараясь каждый сдѣлать возможно большее число круговъ. Послѣ этой бѣготни, они, безъ всякой натянутости, вели серьезный разговоръ объ умершей сестрѣ молодого человѣка, о страданіяхъ бѣдныхъ двухъ женщинъ и оканчивали всегда надеждою, что добро восторжествуетъ наконецъ надъ зломъ, — въ это они дѣтски вѣровали» (Стр. 146).

Да! Вотъ что нужно для супружескаго счастья! Договорился наконецъ г. Станицкій до послѣднихъ результатовъ своей нравственной философіи. Раскрылись передъ нашими изумленными очами самые глубокіе тайники его мирозерпанія. Когда я предлагалъ для Софьи Григорьевны счастье по рецепту Мишле, то недовѣрчивые читатели думали, быть можетъ, что я преувеличиваю, и что я слишкомъ недоброжелательно отношусь къ тому типу, который выражается въ возлюбленной героинѣ г. Станицкаго. Теперь эти недовѣрчивые читатели видятъ желанія самого г. Станицкаго, благоговѣющаго передъ этимъ типомъ; кажется, эти желанія, по своей смѣлости, превосходятъ всѣ мои предположенія, потому что я никакъ не думалъ, чтобы для полноты супружескаго счастья, даже по Мишле, и даже для Софьи Григорьевны, было необходимо или полезно дѣлать по саду «возможно большее число круговъ». Впрочемъ, мнѣ кажется, что это дѣланіе круговъ составляетъ самое благоразумное изъ всѣхъ занятій, наполнявшихъ безконечные досуги Сережи и Софьи Григорьевны. Тутъ получаютъ осязательные результаты: укрѣпляются мускулы, развиваются легкія, и пріобрѣтается аппетитъ. Но какую пользу приносило ихъ чтеніе, и къ чему вели ихъ возвышенныя бесѣды о торжествѣ добра, чѣмъ отличалось ихъ чтеніе отъ упражненій чичиковскаго Петрушки, и чѣмъ отличались ихъ бесѣды отъ умозрѣній судьи Ляпкина-Тяпкина о сотвореніи міра — это вопросы очень мудреные, и если г. Станицкій попробуетъ ихъ разрѣшить, то его умъ немедленно зайдетъ за его разумъ. Всѣ эти серьезные или игривыя забавы Сережи и Софьи Григорьевны оправдаются вполнѣ извѣстною поговоркою: чѣмъ бы дитя не тѣшилось, лишь бы не плакало; но при этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что добро врядъ ли когданибудь восторжествуетъ надъ зломъ, если всѣ люди, желающіе этого тор-

жества, сдѣлаются похожими на Софью Григорьевну и на ея невиннаго собесѣдника.

Это, конечно, очень красиво и трогательно, когда *грязь жизни рано падаетъ обонхъ*, но для того, чтобы эта боязнь грязи воспиталась въ одной человѣческой личности, необходимо, чтобы десятки или сотни другихъ человѣческихъ личностей вертѣли за кулисами очень грязныя колеса большой и тяжелой машины. Окружить себя цвѣтами, книгами и нотами, бѣгать по саду съ хорошенькою женщиною, и воодушевлять себя и ея пріятными разговорами о торжествѣ добра—все это, конечно, очень изящно, и пропитано ароматомъ чистѣйшей поэзіи и самой возвышенной нравственности, но все это было бы совершенно невозможно, если бы, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ ристалища невинныхъ отроковъ, не копошились, съ ранняго ута до поздней ночи, грязныя лапы тѣхъ милыхъ младшихъ братьевъ, которые обращаются съ своими супругами очень невѣжливо, о торжествѣ добра никогда не бесѣдуютъ, и вообще погрязаютъ упорно въ самомъ грубомъ и предосудительномъ матеріализмѣ. Если бы у Сережи не было денегъ, заработанныхъ руками милыхъ мужичковъ, то невинному Сережѣ пришлось бы замѣнить боязнь передъ житейскою грязью разными другими, болѣе производительными свойствами ума и характера. Боязнь житейской грязи, это—самое барское качество, и люди, обладающіе этою добродѣтелью, всегда будутъ годны только на то, чтобы дѣлать «возможно большее число круговъ», читать для процесса чтенія, и бесѣдовать о борьбѣ между добромъ и зломъ. Уважать этихъ людей нѣтъ ни малѣйшей возможности, и въ этихъ людяхъ особенно противно именно то, что они бесѣдуютъ о торжествѣ добра, и заявляютъ свои благія желанія: ахъ, молъ, кабы восторжествовало! Заявлять эти желанія, вѣровать въ полную искренность своихъ заявленій, считать самого себя за чистаго и честнаго человѣка, имѣющаго право гнущаться житейскою грязью, и въ то же время сидѣть, сложа руки, и коптить небо, и при этомъ не чувствовать невыносимо мучительной бессмысленности своего положенія и всего своего существованія—это великолѣпный фокусъ человѣческой глупости. Хороша честность и чистота, которая ѣстъ чужой хлѣбъ, на чужой счетъ доставляетъ себѣ умственную роскошь, и въ замѣнъ этихъ поглощаемыхъ продуктовъ чужого труда, не производитъ и не хочетъ производить ровно ничего, кромѣ супружескаго счастья. Отчего жъ ты, голубчикъ, не хочешь?—Да я боюсь замарать мою честность и чистоту. Меня пугаетъ грязь жизни. Я ненавижу пороки, и не желаю подходить къ нимъ близко.—О другъ любезный! Ты можешь совершенно успокоиться на счетъ твоей честности и чистоты. Эти пріятныя свойства существуютъ только въ твоёмъ собственномъ воображеніи. На самомъ же дѣлѣ твоя честность и чистота насквозь пропитаны тою грязью, которая тебя

пугаетъ. Твои родители купили для тебя эти свойства вмѣстѣ съ твоими тонкими бѣльемъ и учебными книжками. Добываніе твоей честности и чистоты принесло, такимъ образомъ, препорядочную массу зла. Теперь эти свойства тщательно сохраняются тобою подъ стекляннымъ колпакомъ. Ты боишься ихъ замарать, и, вслѣдствіе этого, они не приносятъ ни малѣйшаго добра. Изъ этого выходитъ то печальное заключеніе, что ты, о другъ мой—чистый минусъ, и что твое существованіе вредно для общества. Разсуждая о торжествѣ добра, ты всякій разъ долженъ краснѣть за самого себя; если же ты не краснѣешь, а напротивъ того, радуешься и воодушевляешься, то это доказываетъ только, о другъ мой, что ты замѣчательно тупоуменъ, что ты дѣйствительно можешь составить счастье Софьи Григорьевны, и что на тебѣ съ любовью и съ благоволеніемъ могутъ и должны останавливаться взоры твоего великаго создателя, г. Станицкаго.

Однако, пора оставить въ покоѣ Софью Григорьевну. Пускай швыряетъ на полъ медальоны, пускай падаетъ въ обмороки, пускай дѣлаетъ возможно большее число круговъ—всѣ эти упражненія представляютъ очень мало интереснаго, и всѣ они объясняются очень удовлетворительно краткою и невѣжливою поговоркою: съ жиру собаки бѣсятся. — Я самъ чувствую, что поговорка невѣжлива, но что же съ этимъ дѣлать?—Ее сложили младшіе братья, одаренные грязными лапами и лишенные эстетическаго пониманія.

IX.

ДѢДУШКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Романъ г. Станицкаго переполненъ гнусными людьми, но даже въ этомъ мрачномъ романѣ дѣдушка Петра Васильевича приводитъ читателя въ изумленіе размѣрами своей гнусности. Если бы творческая сила г. Станицкаго равнялась его добродѣтельному азарту, то фигура этого дѣдушки оказалась бы гораздо ужаснѣе титанической фигуры шекспировскаго Ричарда III, а извѣстно, что въ сравненіи съ Ричардомъ III Сатана Мильтона можетъ быть названъ кроткимъ и привлекательнымъ юношею. Но такъ какъ силы г. Станицкаго далеко не соотвѣтствуютъ обширности его замысловъ и претензій, то ужасный дѣдушка оказывается похожимъ на полишенеля: онъ, дѣйствительно, очень некрасивъ, но въ его безобразіи нѣтъ ничего ужаснаго, и вообще это безобразіе не производитъ на читателя никакого впечатлѣнія, потому что оно—совер-

шенно неправдоподобно. Это фигура была бы вполне уместна въ «Парижскихъ тайнахъ», а если она появилась на страницахъ «Современника», то это обстоятельство доказываетъ только, что пересоленный реализмъ очень легко превращается въ мелодраму, и что редакция, заваленная серьезною работою, не въ силахъ постоянно оберегать свой беллетристическій отдѣлъ отъ различныхъ нелѣпостей.

При первомъ знакомствѣ нашемъ съ безобразнымъ дѣдушкою, вы тотчасъ чувствуете, что это очень дурной человѣкъ, и что г. Станицкій приказываетъ вамъ возненавидѣть его всѣми силами вашей добродѣтельной души. Вотъ описаніе его наружности: «Лице старика было длинно и желто; сверхъ того, дрябло, и покрыто крупными морщинами, подбородокъ острый; носъ формою походилъ на клювъ хищной птицы, а губы то какъ бы жевали, то складывались въ неприятную, злобную улыбку; маленькіе глаза, съ какимъ-то желтымъ блескомъ, такъ и сверкали изъ подъ ключевъ полусѣдыхъ бровей, и невольно поражали противорѣчіемъ съ аптечной обстановкой комнаты и съ натянутымъ, болѣзненно плачевнымъ, выраженіемъ лица, которое однако то и дѣло измѣнялось въ самое ехидное». (Стр. 102). Ясное дѣло, что дѣдушка ужасный «моветонъ», то есть, «хорошо, если мошенникъ, а можетъ, и еще того хуже». Чего и ожидать отъ человѣка, у котораго носъ подобенъ клюву хищной птицы, глаза сверкаютъ желтымъ блескомъ, а на лицѣ выражается всякое ехидство? «Впрочемъ, говорить далѣе г. Станицкій, этотъ почтенный дѣдушка—была такая гнусная личность, что ей по настоящему надо было, вмѣстѣ съ гадами, скрываться гдѣ нибудь въ подземелья, но ужъ никакъ не жить при дневномъ свѣтѣ и пользоваться уваженіемъ людей независимыхъ и образованныхъ» (Стр. 105).

Не знаю, кто тутъ напуталъ, г. Станицкій или г. корректоръ, но во всякомъ случаѣ, меня безконечно увеселяетъ то обстоятельство, что «дѣдушка была» такая большая мерзавка. Лирическое мѣсто само по себѣ безподобно, но грамматическая ошибка возводитъ его въ перлъ созданія, потому что она порождаетъ тотъ примиряющій смѣхъ, котораго эстетики требуютъ отъ каждаго комическаго произведенія. «Его лицемерство и эгоизмъ, продолжаетъ нашъ романистъ, доходили до ужасающихъ размѣровъ: онъ мучилъ и притѣснялъ съ какимъ-то страстнымъ наслажденіемъ» (Стр. 105). Я вамъ говорилъ, что *подлая* дѣдушка выйдетъ хуже Ричарда III, если только мы будемъ вѣрить на слово г. Станицкому. У Ричарда, по крайней мѣрѣ, была какая нибудь цѣль: онъ добивался англійской короны. А у дѣдушки и цѣли никакой нѣтъ: голая ядовитость, безъ малѣйшей примѣси. «Можно ли было свободно дышать тамъ, гдѣ до того развито было шпіонство между дворней, что даже шефъ инквизиціи позавидовалъ бы дѣдушкѣ, такъ глубоко развратившему людей.» (Стр. 106).—Ну, шефъ-то инквизиціи

не позавидовалъ бы, глубокомысленно замѣтить здѣсь зятя Поздрева, скептикъ Мижуевъ. И оказывается, что, дѣйствительно, нечему завидовать, и что инквизиція приплетена тутъ для большей мрачности колорита, и для пущаго посрамленія недостойнаго дѣдушки.

На стр. 170 и 171 повѣствуется о томъ, что двѣ женщины, живущія въ домѣ дѣдушки, надули всѣхъ шпионовъ, и не только надули, но даже надували ихъ въ продолженіи нѣсколькихъ дней; онѣ перенесли умирающаго Сережу изъ его уединеннаго флигеля въ домъ дѣдушки, въ комнату Софьи Григорьевны, которая въ то время уже уѣхала вмѣстѣ съ мужемъ. «Но надо было обманывать шпионовъ, говорить г. Станицкій, и Марья Васильевна носила въ пустой домъ пищу и питье, чтобъ только не потревожили умирающаго.» (Стр. 171). Все это открылось только тогда, когда Сережа умеръ. Нечего сказать, хороши шпионы, и хороша была бы инквизиція, опирающаяся на услуги такихъ болвановъ. «Очень понятно, что и новая внучка не была избавлена отъ подобнаго шпионства, и онъ, что называется, ловилъ рыбу въ мутной водѣ, упиваясь слезами и отчаяніемъ молодой женщины, противъ которой составилось чуть не ополченіе.» (Стр. 106). Эту новую внучку, то есть, Софью Григорьевну, онъ старается даже сдѣлать своею любовницею. «Будьте умненькая, говоритъ онъ, не огорчайте меня; что вамъ стоитъ поласкать старика? Право, старики еще честнѣе: молодой-то разомъ ласкаетъ трехъ-четырехъ, и всѣхъ обманываетъ, а ужъ старикъ такого предательства не сдѣлаетъ.» (Стр. 110).

Всѣ это, и многое другое въ томъ же эротическомъ направленіи, несчастный дѣдушка говоритъ, очевидно, по приказанію г. Станицкаго, и только для того, чтобы обнаружить передъ читателемъ всю глубину своей гнусности. Для самого дѣдушки отъ этихъ разговоровъ не можетъ произойти ни малѣйшаго удовольствія, и онъ, какъ опытный старикъ и отставной Донъ-Жуанъ, самъ очень хорошо долженъ понимать, что эти разговоры ни къ чему не поведутъ, потому что, въ самомъ дѣлѣ, кто же обращается съ подобными предложеніями къ женщинѣ, только что вышедшей замужъ, и страстно влюбленной въ своего мужа. Само собою разумѣется, что Софья Григорьевна даже не догадывается, къ чему дѣдушка клонитъ свою рѣчь, а дѣдушка, съ своей стороны, заявивъ публикѣ, что онъ развратникъ, считаетъ дѣло оконченнымъ и оставляетъ всякія дальнѣйшія домогательства. Въ домѣ дѣдушки живетъ его бывшая любовница, старуха Марья Васильевна, которую дѣдушка, конечно, терзаетъ всякими попреками. У дѣдушки есть незаконнорожденная дочь, Олимпиада Федоровна, которую онъ, на глазахъ читателя, доводитъ до чахотки, и укладываетъ въ могилу, также попреками. Въ концѣ первой части романа происходитъ генеральное вымираніе различныхъ замученныхъ жертвъ. Прежде всѣхъ умираетъ великодушный Се-

режа. За нимъ слѣдуетъ, черезъ страницу, Марья Васильевна. На слѣдующей страницѣ умираетъ Олимпиада Федоровна. Это называется черезъ часть по ложкѣ. Дѣдушка переживаетъ ихъ всѣхъ, и избираетъ себѣ жертву изъ новаго поколѣнія. Онъ держитъ при себѣ, въ видѣ казачка, сына Петра Васильевича и Лизаветы: «Старикъ тѣшился надъ бѣднымъ мальчикомъ безобразно: всякій день ему приготовляли въ коробкѣ пауковъ, и дѣдушка тихонько выпускалъ ихъ на мальчика, который страшно боялся этихъ насѣкомыхъ (мимоходомъ замѣчу, что это даже и не насѣкомыя), плакалъ, дрожалъ и умолялъ снять съ него паука, но старикъ притворялся, что онъ тоже боится, и такимъ образомъ доводилъ ребенка до истерики.» (Стр. 174). «А уже испуская дыханіе, онъ выкинулъ слѣдующую штуку. Измученный мальчикъ обыкновенно засыпалъ стоя, и потомъ уже, скользя по стѣнѣ, тихо опускался на коверъ, гдѣ и спалъ. Но умирающій, не желая, чтобы ребенокъ спалъ, велѣлъ привязать его къ спинкѣ стула и поставить противъ себя» (Стр. 176).

Однако, дѣдушкѣ не удалось замучить казачка до смерти. Время взяло свое, и старикъ умеръ прежде мальчика. Г. Станицкій не сообщаетъ намъ, какую эпитафію изобразили на памятникѣ лютаго дѣдушки, но, по всей справедливости, эпитафію слѣдовало бы составить такъ: «здѣсь лежитъ несчастная жертва неудавшагося реалиста».

Х.

ДОБРОДѢТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ МОЛОДОГО ПОКОЛѢНІЯ.

Сережа очень добродѣтеленъ, и не разгромить порока очень пламенными рѣчами. «Вы увидите, говоритъ онъ Софѣ Григорьевнѣ *утишительнымъ тономъ*, что я заставляю всѣхъ пресмыкающихся и ползающихъ около васъ гадовъ спрятаться по своимъ мрачнымъ норамъ». (стр. 158). Но этотъ добродѣтельный Сережа, выражающій свои мысли такимъ сильнымъ и въ то же время книжнымъ языкомъ, не вполне удовлетворяетъ нравственнымъ требованіямъ г. Станицкаго. Въ лицѣ Сережи мы видимъ плачущую и страждущую добродѣтель, и поэтому необходимо, чтобы на сцену явились новыя маріонетки, изображающія добродѣтель веселую, твердую и побѣдоносную. Такія маріонетки дѣйствительно являются во второй части романа, и, конечно, причисляются къ тому молодому поколѣнію, о которомъ наши писатели разсуждаютъ такъ много, и о которомъ они, на самомъ дѣлѣ, не имѣютъ почти ни-

какого понятія. Г. Станицкій знаетъ это молодое поколѣніе такъ же хорошо, какъ онъ знаетъ вообще природу человѣка, потребности нашей современной жизни и причины семейныхъ несогласій. Его добродѣтельный юноша, Александръ Егоровичъ Снѣговъ, составленъ по очень извѣстному рецепту, и по этому же самому рецепту составленъ другой добродѣтельный юноша, Дмитрій Степановичъ Карсановъ, украшающій своимъ присутствіемъ «Романъ въ петербургскомъ полусвѣтѣ». Личнаго характера не имѣютъ ни тотъ, ни другой, и, вслѣдствіе этого, я буду анализировать ихъ общій рецептъ, выбирая факты изъ обоихъ романовъ, принадлежащихъ одному автору. Бѣдные родители, природная любознательность, блестящія способности, борьба съ бѣдностью, кружокъ университетскихъ товарищей, однимъ словомъ, все, какъ слѣдуетъ, все такъ, какъ обыкновенно бываетъ написано въ книжкахъ, и все это, разумѣется, безъ малѣйшихъ слѣдовъ самостоятельнаго наблюденія. Вотъ, напримѣръ, какія подробности сообщаются изъ исторіи умственной жизни героевъ: «вмѣсто пошлыхъ французскихъ романчиковъ, какіе читаются единственно завитыми и расчесанными головами, Снѣговъ читалъ дѣльныя книги да изучалъ русскую литературу». — «Пріѣхавъ въ Петербургъ застѣнчивымъ мальчикомъ, онъ не имѣлъ случая завести себѣ знакомствъ и сдѣлался очень разборчивъ, мѣтко угадывая и понимая все дурное въ людяхъ». Что застѣнчивость и отсутствіе знакомствъ развиваютъ въ мальчикѣ способность мѣтко угадывать и понимать въ людяхъ все дурное—это, очевидно, субъективное соображеніе г. Станицкаго, потому что до сихъ поръ, по всей вѣроятности, никому не приходило въ голову связывать такія причины съ такими послѣдствіями «Снѣговъ и его товарищи постоянно разсуждали объ обязанностяхъ честнаго человѣка, и оставались твердыми въ своихъ убѣжденіяхъ, не смотря ни на какіе соблазны.» Снѣговъ и его товарищи могли бы найти болѣе полезный предметъ для разсужденій. Съ какими соблазнами имъ приходилось бороться—это остается неизвѣстнымъ, тѣмъ болѣе, что Снѣговъ «выжилъ почти весь курсъ въ четырехъ стѣнахъ института». О Карсановѣ мы узнаемъ то же самое. «Его студенческая, труженическая жизнь не убила въ немъ юношеской свѣтлой вѣры въ достоинство человѣка и въ торжество истины въ мірѣ. Около Карсанова составилъ кружокъ подобныхъ ему честныхъ, пылкихъ душою товарищей, и въ скоромъ времени въ этомъ кружкѣ закипѣла дѣятельная жизнь мысли. Европейскіе мыслители были ихъ заочными наставниками, такъ что этотъ маленький кружокъ молодыхъ людей сдѣлался какою-то изолированнымъ міркомъ въ русскомъ обществѣ.» — «Они, въ своей экзальтаціи, очень походили на людей, которые усѣлись на берегу моря въ лодку, распустили паруса и, любуясь величественною картиною безбрежной дали, закатомъ солнца, убаюканные мѣрными волнами, плывутъ

все дальше, не замѣчая, что ихъ уже раздѣлило страшное пространство и что ихъ голоса не достигнутъ до берега.»

Изъ всего этого явствуется, что Карсановъ и Снѣговъ сдѣлались очень добродѣтельными людьми. Но изъ всего этого явствуется еще болѣе, что г. Станицкій не имѣетъ никакого понятія о томъ, что онъ описываетъ. Если бы я умѣлъ писать одну фразу за другою, не вкладывая въ эти фразы никакого осязательнаго смысла, то я бы могъ тотчасъ изобразить вамъ, какъ развиваются японскіе юноши, и мое изображеніе было бы такъ же вѣрно и наглядно, какъ рассказы г. Станицкаго о студенческихъ занятіяхъ Снѣгова и Карсанова. Что читали эти молодые люди? — «Дѣльныя книги». — Какія книги? Сочиненія «европейскихъ мыслителей». — Какихъ европейскихъ мыслителей? Такихъ, которые превратили «этотъ маленький кружокъ молодыхъ людей» въ «какой-то изолированный мірокъ». А если даже этотъ отвѣтъ покажется вамъ недостаточно опредѣленнымъ, то вамъ представлять лодку, плывущую при закатѣ солнца, и людей, любующихся величественною картиною безбрежной дали. Этимъ поясненіемъ вы уже непременно обязаны удовлетвориться, потому что всякая человѣческая любознательность должна же имѣть какіе нибудь предѣлы. Да и чего вамъ еще надо? Книги были дѣльныя, мыслители—европейскіе, кружокъ—маленькій, мірокъ—изолированный, даль безбрежная, картина—величественная. При каждомъ существительномъ особое прилагательное. Какой же вы еще желаете ясности и опредѣленности? Вамъ, можетъ быть, любопытно знать, что изучалъ Снѣговъ? Извольте; г. Станицкій такъ великодушенъ, что даже на этотъ вопросъ онъ готовъ вамъ отвѣтить; Снѣговъ изучалъ русскую литературу. Вы спросите, пожалуй, о чемъ разсуждалъ Снѣговъ съ своими товарищами? Объ обязанностяхъ честнаго человѣка.

Теперь довольно. Прекратите ваши нескромные вопросы и рассмотрите внимательно данный вамъ отвѣтъ, на счетъ русской литературы. Снѣговъ, конечно, можетъ изучать русскую литературу; если ему угодно, онъ можетъ даже изучать сіамскія древности или алеутскую грамматику; всѣ эти занятія не представляютъ физической невозможности, и не воспрещены закономъ; но если Снѣговъ изображаетъ свою особю представителя молодого поколѣнія, если въ немъ должны воплощаться преобладающія стремленія теперешней молодежи и если онъ дѣйствительно одаренъ блестящими способностями, то изученіе русской литературы навязано ему совершенно некстати. Теперешніе молодые люди относятся къ русской литературѣ очень равнодушно, и врядъ ли можно ожидать, чтобы гг. Лонгиновъ, Галаховъ, Тихонравовъ, Буслаевъ, Сухомлиновъ и другіе, нашли бы себѣ въ рядахъ нашей молодежи восторженныхъ цѣнителей и усердныхъ продолжателей. Конечно, кафедры русской сло-

весности въ университетахъ и въ гимназіяхъ не опустѣютъ; всегда найдутся молодые люди, желающіе ихъ занять; но трудно себя вообразить, чтобы къ этимъ кафедрамъ устремились самыя блестящія дарованія трудящейся молодежи. Русскую литературу изучаютъ въ настоящее время юноши очень трудолюбивые, очень кроткіе, очень добросовѣстные, но вовсе не даровитые и совершенно неспособные привязываться сознательно и страстно любовью къ предмету своихъ занятій. Эти юноши превосходно выдерживаютъ кандидатскій экзаменъ, также превосходно выдерживаютъ экзамены на магистра и на доктора, и защищаютъ свои диссертациі съ скромною основательностью; потомъ они получаютъ кафедру; за тѣмъ, лѣтъ черезъ пятнадцать, они сдѣлаются ординарными профессорами; они будутъ читать лекціи и, ради приличія, писать маленькія изслѣдованія до тѣхъ поръ, пока не выслужатъ себя въ пенсіонъ полный окладъ жалованья, и наконецъ, достигнувъ этой послѣдней цѣли, они сойдутъ со сцены, для того, чтобы, подобно императору Діоклитіану, дожить свои дни въ спокойной и обезпеченной неизвѣстности.

Почему именно *эти* юноши устремляются къ изученію русской литературы, это понять не трудно. Стоитъ только подумать о томъ, что можно изучать въ русской литературѣ и какая сторона этого изученія можетъ завлечь даровитаго представителя молодого поколѣнія? Спрашивается, прежде всего, какой періодъ русской литературы затронетъ любознательность молодого человѣка? Тотъ ли, который тянется отъ начала русской письменности до петровской реформы; или тотъ, который продолжается со времени Петра до Гоголя? Или, наконецъ, новѣйшій періодъ, получившій свою теперешнюю фizioномію послѣ Гоголя? Необходимо, чтобы одинъ изъ этихъ отдѣловъ тѣмъ нибудь заинтересовалъ молодого человѣка, потому что иначе молодой человѣкъ не будетъ изучать русской литературы. Посмотримъ, интересуетъ ли его древній періодъ нашей литературы. Есть у насъ, въ этомъ древнемъ періодѣ, пѣсни, сказки, былины, легенды, лѣтописи и юридическіе памятники. Пѣсни, сказки, былины и легенды—все это, по видимому, очень интересно; все это, какъ толковали намъ въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ различныхъ ученыхъ сочиненіяхъ, знакомитъ съ народною жизнью и открываетъ передъ нашими глазами глубокіе тайники народнаго міросозерцанія. Не знаю, такими ли именно словами выражались и выражаются преподаватели и составители ученыхъ книгъ, но знаю навѣрное, что только этими мыслями оправдывается и объясняется появленіе такихъ тяжеловѣсныхъ изданій, каковы, на примѣръ, «Очерки» г. Буслаева или «Памятники» гг. Кастомарова и Пыпина.

И такъ, молодому человѣку представляется возможность проникнуть въ тайники народнаго міросозерцанія. Но, прежде чѣмъ проникнуть, не поставитъ ли себя молодой человѣкъ вопроса: зачѣмъ я буду за-

браться въ эти трущобы? Кому я своими трудами на этомъ поприщѣ принесу дѣйствительную пользу: народу или себѣ? Народу? Странное дѣло! Какая выгода можетъ быть народу отъ того, что я, Александръ Егоровичъ Снѣговъ, узнаю всѣ примѣты домового, всѣ варианты былины о Микулушѣ Селяниновичѣ и всѣ столкновенія Иванушки съ Бабой Ягой? А какая отъ этого произойдетъ польза для моего собственнаго развитія? Я узнаю нѣсколько новыхъ подробностей о сказочныхъ личностяхъ, я отпечатаю въ своей памяти нѣсколько сотенъ лубочныхъ картинъ, но общее понятіе мое о народѣ останется совершенно такое же, какое образовалось въ моемъ умѣ изъ впечатлѣній дѣтства, и какое поддерживается всѣми ежедневными столкновеніями моими съ дѣйствительною жизнью и съ милою «почвою». Бѣдность та же самая, и невѣжество то же самое, и та же заурядность пѣсни съ тѣми же проблесками забубенной удалы. Что въ этомъ народѣ есть много ума, и много юмора, и много хорошихъ силъ, и много задатковъ здороваго развитія, это я знаю очень хорошо безо всякихъ былинь и пѣсенъ. Во-первыхъ, я знаю это по моимъ собственнымъ столкновеніямъ съ простыми людьми, а во-вторыхъ, это иначе и быть не можетъ, потому что человѣкъ кавказской расы есть самое понятливое изъ всѣхъ существующихъ позвоночныхъ животныхъ. Могу ли я взять, лично для себя, хоть какую нибудь частицу изъ того народнаго міросозерцанія, съ которымъ меня знакомятъ легенды, былины и пѣсни? Мудрено, очень мудрено, даже совсѣмъ невозможно, потому что всѣ эти идеи и мотивы этого міросозерцанія находятся въ самой непримиримой враждѣ со всѣми элементарными учебниками физики и географіи. Есть ли надобность знать эти идеи и мотивы народнаго міросозерцанія, для того, чтобы работать на пользу этого народа? Нѣтъ. Ну, стало быть, скажетъ въ заключеніе Александръ Егоровичъ Снѣговъ, я вовсе не намѣренъ углубляться въ былины и сказки, и древній періодъ русской литературы можетъ оставаться для меня недоступнымъ сокровищемъ.

Такія размышленія моею Снѣгова (а не того, который изображенъ у г. Станицкаго) могутъ вызвать противъ себя много насмѣшекъ и много горячихъ возраженій. Молодой человѣкъ, скажутъ ему специалисты, вы не знаете того предмета, о которомъ разсуждаете такъ смѣло. Если вы не изучали нашей древней литературы, то почему же вы знаете, что ее не стоитъ изучать, и что она не можетъ принести вамъ ни малѣйшей пользы? На это мой скромный Снѣговъ отвѣтитъ такъ: я прочиталъ отъ доски до доски два тома «Очерковъ» г. Буслаева. Я знаю, что г. Буслаевъ трудится на своемъ поприщѣ гораздо больше десяти лѣтъ, и что эти «Очерки» составляютъ сборникъ его статей за все время его ученой дѣятельности. Я знаю, кромѣ того, что г. Буслаевъ считается за одного изъ самыхъ дѣятельныхъ и талантливыхъ изслѣдова

телей нашей литературной старины. Я вовсе не смѣю думать, что я умнѣе, даровитѣе и трудолюбивѣе г. Буслаева. Я не имѣю также особенныхъ основаній надѣяться, что нападу на такія сокровища, которыя укрылись отъ пытливаго взора этого изслѣдователя. Стало быть, если я пойду по слѣдамъ г. Буслаева, то я, можетъ быть дѣтъ черезъ пятнадцать, подарю русской публикѣ два тома «очерковъ» Александра Снѣгова. Я не дѣлаю, чтобы этотъ подарокъ принесъ русской публикѣ значительную пользу, и меня вовсе не обольщаетъ перспектива обогатить со временемъ нашу книжную торговлю такимъ произведеніемъ. Книга г. Буслаева, навѣрное, представляетъ очень удовлетворительный образчикъ нашихъ литературныхъ сокровищъ. Будущіе изслѣдователи могутъ отыскать много новыхъ подробностей, но невозможно предположить, что они вдругъ найдутъ подъ хламомъ былинъ, пѣсенъ и легендъ, цѣлый міръ самородной мысли, такой міръ, котораго существованіе было совершенно неизвѣстно г. Буслаеву и его сподвижникамъ; невозможно предположить, что въ этомъ ископаемомъ мірѣ русскихъ идей вдругъ окажутся такія драгоценности, которыя придется предпочесть непоколебимымъ истинамъ европейской или, вѣрнѣе, общечеловѣческой науки. Вѣроятно, самые усердные специалисты не рѣшатся утверждать, что такой удивительный случай возможенъ; а если онъ невозможенъ, то я и не желаю тратить свое время и свои силы на изученіе былинъ, пѣсенъ, легендъ, и разныхъ другихъ памятниковъ нашей письменной и изустной литературы.—Стало быть, возражать любители древности, вы отвергаете заслуги такихъ дѣятелей, каковы, напримѣръ, братья Гриммы, великіе собиратели нѣмецкихъ сказокъ, пѣсенъ, пословицъ и преданій?—Братья Гриммы, отвѣтитъ Снѣговъ съ своею обыкновенною кротостью, люди очень умные, трудолюбивые и честные. Я очень уважаю ихъ усердіе и добросовѣстность, но мнѣ кажется, что ихъ превосходныя качества могли бы принести несравненно больше пользы, если бы они были приспособлены къ другому занятію. Гриммы исходили вдоль и поперекъ всю Германію, чтобы собрать остатки старины, сохранившейся въ обычаяхъ, въ языкѣ и въ народной поэзіи. Путешествуя пѣшкомъ по Германіи, они, конечно, превосходно усвоили себѣ всѣ обороты народной рѣчи; они приобрѣли драгоценное умѣніе объясняться съ самыми простыми и необразованными людьми. Если бы они примѣнили это умѣніе къ обобщенію научныхъ истинъ, если бы они, своимъ простымъ и понятнымъ языкомъ, провели знаніе природы въ низшіе слои рабочаго населенія, то они принесли бы дѣйствительно громадную пользу, хотя, быть можетъ, ихъ и не считали бы великими свѣтилами ученаго міра. Ученныя работы Гриммовъ громадны, но приносятъ ли онѣ какую нибудь дѣйствительную пользу, хоть одному живому человѣку въ мірѣ? Мнѣ кажется, что на этотъ вопросъ можно смѣло и рѣшительно отвѣчать:

пѣть.—Гриммы то же самое, что Рафаэль, за котораго Базаровъ гроша мѣднаго не хочетъ дать. Базаровъ выражается рѣзко, но мысль его вполне справедлива. Если бы въ Италиі было десять тысячъ живописцевъ, равныхъ Рафаэлю, то это нисколько не подвинуло бы впередъ итальянскую націю ни въ экономическомъ, ни въ политическомъ, ни въ социальномъ, ни въ умственномъ отношеніи. И если бы въ Германіи было десять тысячъ археологовъ, подобныхъ Якову Гримму, то Германія отъ этого не сдѣлалась бы ни богаче, ни счастливѣе. Безобразіе ея политическаго устройства, пошлость ея юнкерства и неимовѣрное филистерство всякихъ патріотическихъ обществъ, при десяти тысячахъ Гриммовъ, продолжали бы существовать точь въ точь въ такомъ же видѣ, въ какомъ они существуютъ теперь. Поэтому я говорю совершенно искренно, что желалъ бы лучше быть русскимъ сапожникомъ или булочникомъ, чѣмъ русскимъ Рафаэлемъ или Гриммомъ. Каждый Рафаэль обожаетъ свое искусство, и каждый Гриммъ обожаетъ свою науку, но ни тотъ, ни другой не задаютъ себѣ убійственнаго вопроса: *зачѣмъ?* Я имѣю несчастье задавать себѣ этотъ вопросъ, и когда я прикладываю его къ дѣятельности Рафаэлей и Гриммовъ, то не нахожу на него отвѣта. Поэтому я не могу, не хочу, и не долженъ быть ни Рафаэлемъ, ни Гриммомъ, ни въ малыхъ, ни въ большихъ размѣрахъ. Поэтому я могу, хочу и долженъ браться только за такую работу, которой результаты давали бы громкій и совершенно опредѣленный отвѣтъ на вопросъ: *зачѣмъ?* — Поэтому, проходи мимо, древній періодъ русской литературы.—

Специалисты, конечно, не согласятся съ размышленіями моего Снѣгова, но, по крайней мѣрѣ, они махнутъ на него рукою, и оставятъ его въ покоѣ; въ самомъ дѣлѣ, можно ли разговаривать съ такимъ человѣкомъ, который даже дѣятельность Гриммовъ считаетъ бесполезною? Когда специалисты умолкнутъ и отойдутъ въ сторону, тогда самъ читатель сдѣлаетъ Снѣгову слѣдующее возраженіе: вы задаете себѣ вопросъ, скажетъ онъ, есть ли надобность знать идеи и мотивы народнаго міросозерцанія, для того, чтобы работать на пользу этого народа, и потомъ на этотъ вопросъ вы отвѣчаете: «нѣтъ». Какъ же это возможно? Какъ же вы принесете пользу такому народу, о которомъ вы не имѣете никакого понятія?—Во-первыхъ, отвѣтитъ на это Снѣговъ, можно приносить пользу народу, не находясь въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ тѣми слоями населенія, которые преимущественно называются народомъ, и которые дѣйствительно составляютъ огромное большинство всей націи. Вѣлинскій и Добролюбовъ принесли много пользы русскому народу, а между тѣмъ ни грамотный мужикъ, ни-грамотный мѣщанинъ не могутъ понимать ихъ сочиненія. Во-вторыхъ, я думаю, что даже учителю народной школы нѣтъ никакой надобности изучать ту народную по

богодѣльны для разныхъ умственныхъ убогостей,—это уже просто ни на что непохоже. Это неразсчитливо въ отношеніи къ интересамъ издателя, это вредно для литературы, и это чрезвычайно недобросовѣстно и невѣжливо въ отношеніи къ читающей публикѣ. Если плохо пишутъ отечественные художники— помѣщай переводы, но не поощрай бездарности, и не развивай этого умственного туеядства. Кромѣ того, силный и любимый журналъ можетъ понемногу совершенно перевоспитать вкусъ публики, и приучить ее къ дѣльному и серьезному чтенію, такъ что беллетристическій отдѣлъ можно будетъ довести до самыхъ крошечныхъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ, вмѣсто того, чтобы продѣлывать эгоистамъ желѣзные кольца въ ноздри, было бы гораздо лучше заняться чѣмъ нибудь менѣе лютымъ, но болѣе полезнымъ для читателей.

III.

Карая безнравственность Григорія Андреевича и его лоретки, г. Станицкій, при семъ удобномъ случаѣ, прохаживается на счетъ эманципации женщинъ, и все это въ восклицательномъ и афористическомъ тонѣ. «Чего же, взываетъ нашъ Цицеронъ, вы можете ждать, бѣдныя, честныя женщины, въ жизни? Вы развѣ не видите, какъ нагло покровительствуется сознательный развратъ и какъ позорно наказываютъ вашъ проступокъ, вынужденный страхомъ и стыдомъ, а также и неопытностью. И не ждите ничего пока отъ эманципации женщинъ! Это проповѣдываніе такъ же бесплодно, какъ и состраданіе къ человѣчеству, о которомъ такъ давно и много толкуютъ. И развѣ вы не видите, что женщина, увлекавшаяся эманципациею и отдававшаяся мужчинѣ безъ всякихъ гражданскихъ условій, развѣ она не гибнетъ также въ унижительномъ рабствѣ, — и въ придачу еще опозоренная!» (Стр. 50).

Дальше идетъ все въ томъ же возвышенномъ направленіи, но съ насъ довольно и этого образчика, тѣмъ болѣе, что намъ придется еще потрудиться довольно долго надъ распутываніемъ нагороженной здѣсь чепухи. Подъ названіемъ *проступка* г. Станицкій разумѣетъ *дѣтубійство*. Онъ противопоставляетъ позорное наказаніе этого *проступка* тому *наглому покровительству*, которымъ пользуется *сознательный развратъ* соблазнительей. Какъ ораторская рулада, это противоположеніе, можетъ быть, очень красиво и эффектно, но смысла въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго. Г. Станицкій желаетъ, по видимому, чтобы въ случаѣ дѣтубійства вмѣстѣ съ матерью ребенка наказывался и его отецъ; или онъ желаетъ, чтобы въ этомъ случаѣ наказывался одинъ отецъ; или же на-

людей, сли мы, по ихъ сочиненіямъ, не будемъ догадываться, о томъ, что составляло смыслъ и безсмыслицу ихъ существованія, то для насъ, во многихъ отношеніяхъ, останутся непонятными настоятельныя потребности и накопившіяся со всѣхъ сторонъ задачи нашей собственной эпохи. Грибоѣдовъ, Крыловъ, въ нѣкоторыхъ изъ его лучшихъ басенъ, Пушкинъ въ Онѣгинѣ, Лермонтовъ въ Печоринѣ, Гоголь въ первой части Мертвыхъ душъ, въ Ревизорѣ и во многихъ мелкихъ повѣстяхъ, Писемскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ, Островскій, и особенно Бѣлинскій и Добролюбовъ, и въ заключеніе, какъ фактъ вчерашняго дня, романъ «Что дѣлать?» — Это все сырые матеріалы, которые каждый изъ нашихъ образованныхъ соотечественниковъ долженъ непремѣнно переработать въ своемъ умѣ, чтобы знать, чего мы хотимъ, о чемъ мы думаемъ, и съ какихъ различныхъ точекъ зрѣнія мы разсматриваемъ наше собственное положеніе. Но изучать тутъ все-таки нечего; надо только прочесть, какъ мы читаемъ журнальную статью, какъ пробѣгаемъ отдѣлъ иностранныхъ извѣстій въ газетѣ. Въ каждомъ литературномъ произведеніи, и въ каждой критической статьѣ Бѣлинскаго и Добролюбова надо видѣть только то явленіе жизни, которымъ они вызваны, а вдаваться въ эстетику, подмѣчать индивидуальныя особенности того или другого таланта, вглядываться въ языкъ и въ манеру повѣствованія, это значитъ терять изъ виду требованія живой дѣйствительности, и уходить отъ этихъ требованій въ темныя трущобы семинарской и гимназической пѣнатики.

Часто случается однако, что личность автора и его литературныя приемы составляютъ сами по себѣ очень знаменательный фактъ въ исторіи нашей умственной жизни, и этотъ фактъ можетъ быть для насъ важнѣе и интереснѣе, чѣмъ то явленіе, которое описываетъ намъ авторъ. Возьмемъ, напримѣръ, сочиненія Бѣлинскаго. На каждой страницѣ мы видимъ передъ собою человѣка умнаго, горячаго, непоколебимо честнаго, совершенно неспособнаго продать, кому бы то ни было, дѣйствительные интересы человѣческой личности, и вполне способнаго увидеть и понять, въ чемъ именно заключаются эти великіе интересы. И, въ то же время, мы видимъ, что всѣ умственные силы этого превосходнаго человѣка, и вся его кипучая энергія тратятся на то, чтобы разсматривать и оцѣнивать игрушечныя издѣлія разныхъ пустѣйшихъ господъ, наполнявшихъ свои досуги писаніемъ русскихъ стиховъ и русскихъ повѣстей. Пушкинъ былъ, безъ сомнѣнія, человѣкъ очень умный и стихъ его былъ очень легокъ, и образы очень картинны, но когда вы видите, что весь осьмой томъ сочиненій Бѣлинскаго посвященъ оцѣнкѣ Пушкина, то вамъ становится обидно за Бѣлинскаго, и вамъ невольно приходится въ голову, что эта честь слишкомъ велика для Пушкина, и что силамъ великаго и серьезнаго критика негдѣ развернуться въ эсте-

тическомъ разборѣ красивыхъ произведеній остроумнаго русскаго барина. Никакой отдѣльный поэтъ, ни Гете, ни Гейне, ни даже Шекспиръ, не можетъ быть достаточно обширенъ, для того, чтобы приковать къ себѣ и поглотить въ своихъ произведеніяхъ всѣ силы такого мыслящаго и такого живого человѣка, какимъ былъ Бѣлинскій. Эти люди не могутъ и не должны возиться съ индивидуальными мыслями, чувствами и фантазіями. Для нихъ достаточно широка только одна сфера, та, которая шире всѣхъ остальныхъ и которая вмѣщаетъ въ себѣ и Шекспира, и г. Станицкаго, и нѣмецкаго филистера, и безграмотнаго мужика, и всѣ усилія человѣческой геніальности, и всѣ безчисленныя проявленія человѣческаго тупоумія. Для мыслителей, подобныхъ Бѣлинскому, необходима живая и непрерывная умственная связь съ настоящими страданіями и радостями настоящихъ людей. Для нихъ необходимо размышлять о дѣйствительной жизни и откровенно передавать свои размышленія всѣмъ тѣмъ людямъ, которые могутъ и желаютъ ихъ понимать. Эти мыслители только тѣмъ и счастливы, только тѣмъ и живутъ, что пробуждаютъ въ человѣческихъ умахъ дѣятельность мысли и сознательное стремленіе къ разумному, свѣтлому и далекому, очень далекому будущему. Бѣлинскій былъ современникомъ Лудвига Бѣрне; по силѣ своего ума и по честности своего характера Бѣлинскій былъ вполне способенъ сдѣлаться русскимъ Бѣрне; а между тѣмъ, Бѣлинскій жилъ и умеръ эстетикомъ, и, разумеется, этотъ фактъ, по своему печальному и грозному значенію, гораздо важнѣе и интереснѣе для насъ, чѣмъ тѣ поэмы Пушкина, которыя такъ превосходно оцѣниваетъ Бѣлинскій. Въ своей статьѣ «Бѣлинскій и Добролюбовъ», г. Зайцевъ показалъ значеніе этого факта въ исторіи нашей умственной жизни; но этотъ предметъ до такой степени важенъ, Бѣлинскій, какъ эстетикъ, представляетъ явленіе до такой степени замѣчательное по своей колоссальной уродливости, что, мнѣ кажется, было бы полезно разработать и освѣтить этотъ фактъ въ отдѣльномъ, чисто психологическомъ этюдѣ. Бѣлинскій былъ настоящимъ Прометеемъ нашего времени, и въ глубинѣ, искренности и законности своихъ страданій онъ навѣрное можетъ поспорить съ самимъ Байрономъ, съ тѣмъ великимъ и несчастнымъ Байрономъ, котораго, для увеселенія русскихъ барышень, такъ обкарнали и обезсмыслили наши милые байронисты, начиная отъ самого Лермонтова и кончая г. Полонскимъ.

И такъ, въ концѣ концовъ, мы пришли къ тому общему результату, что наше молодое поколѣніе, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, не изучаетъ русской литературы, а только читаетъ тѣ книги, русскія или иностранныя, которыя даютъ человѣку основательное знаніе дѣйствительной жизни.

Теперь, мой читатель, вы мнѣ позволите сдѣлать вамъ откровенное

признаіе. Мнѣ ужасно надоѣло возиться съ романами г. Станицкаго и со всѣми его добродѣтельными и порочными фигурами изъ *parier-maché*. Честью васъ могу увѣрить, что въ Снѣговѣ и въ Карсановѣ нѣтъ даже ничего похожаго на какое бы то ни было поколѣніе, старое или молодое. Поэтому, будьте великодѣшны, позвольте мнѣ совершенно оставить ихъ въ сторонѣ, и передать вамъ, въ отдѣльной статьѣ, тѣ мысли, на которыя навелъ меня вопросъ объ изученіи, или вѣрнѣе, о не изученіи русской литературы. Эта отдѣльная статья пойдетъ въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Реалисты».

РЕАЛИСТЫ *).

(Посвящается моему лучшему другу — моей матери В. Д. Писаревой).

I.

Мнѣ кажется, что въ русскомъ обществѣ начинаетъ выработываться въ настоящее время совершенно самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполне оригинально; оно непременно обуславливается тѣмъ, что было до него, и тѣмъ, что его окружаетъ; оно непременно заимствуетъ съ различныхъ сторонъ то, что соотвѣтствуетъ его потребностямъ; въ этомъ отношеніи оно, разумѣется, подходитъ вполне подъ тотъ общій естественный законъ, что въ природѣ ничто не возникаетъ изъ ничего. Но самостоятельность этого возникающаго направленія заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества. Это направленіе создано этими потребностями, и, только, благодаря имъ, существуетъ и понемногу развивается. Когда наши дѣдушки забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ или волтерьянствомъ, когда наши папеньки утѣшались романтизмомъ, байронизмомъ или гегелизмомъ, тогда они были похожи на очень юныхъ гимназистовъ,

*) Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревымъ въ концѣ 1864 года, носила заглавіе «Реалисты», но почему то ей дали названіе «Нерѣшенный вопросъ», подъ которымъ она испытала на себѣ, по словамъ Писарева, нѣчто вроде геологическаго переворота. Наиболѣе вопіющія измѣненія восстановлены.

которые, во что-бы то ни стало, стараются себя увѣрить, что чувствуютъ neodолжимую потребность ватануться послѣ обѣда крѣпкою папироскою. У юныхъ гимназистовъ существуетъ на самомъ дѣлѣ потребность казаться взрослыми людьми, и эта потребность вполне естественна и законна, но все таки самый процессъ куренія не имѣетъ ни малѣйшей связи съ дѣйствительными требованіями ихъ организма. Такъ было и съ нашими ближайшими предками. Имъ было очень скучно, и у нихъ существовала дѣйствительная потребность занять мозги какими нибудь размышленіями, но почему выписывался изъ за границы мартинизмъ, или байронизмъ, или гегелизмъ—на этотъ вопросъ не ищите отвѣта въ органическихъ потребностяхъ русскихъ людей. Всѣ эти—измы выписывались единственно потому, что они были въ ходу у европейцевъ, и всѣ они не имѣли ни малѣйшаго отношенія къ тому, что происходило въ нашемъ обществѣ. Теперь, повидимому, дѣло пошло иначе. Мы теперь выписываемъ больше, чѣмъ когда-бы то ни было; мы переводимъ столько книгъ, сколько не переводили никогда; но мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ именно это, а не другое.

Послѣ окончанія крымской войны родилась и быстро выросла наша обличительная литература. Она была очень слаба и ничтожна, и даже очень близорука, но ея рожденіе было явленіемъ совершенно естественнымъ и вполне органическимъ. Ударъ вызвалъ ощущеніе боли, и, вслѣдъ за тѣмъ, явилось желаніе отдѣлаться отъ этой боли. Обличеніе направилось, конечно, на тѣ стороны нашей жизни, которыя всѣмъ мозолили глаза и между прочимъ, наше негодованіе обрушилось на мелкое чиновничество; но такіе обличительные подвиги, конечно, не могли насъ удовлетворить, и мы скоро поняли, что они, во первыхъ, бесплодны, а во вторыхъ, несправедливы, и даже бессмысленны. Прежде всего, явилось въ отпоръ обличительному бѣшенству то простое соображеніе, что мелкому чиновнику хочется ѣсть, и что за это естественное желаніе не совсѣмъ основательно считать его извергомъ рода человѣческаго.—Это точно. Пускай ѣдятъ мелкіе чиновники. Значить, надо увеличить оклады жалованья, заговорили тѣ мыслители, которые любятъ находить въ одну минуту универсальныя лекарства для всякихъ неудобствъ частной и общественной жизни. — Это само собою, отвѣчали другіе; но этого мало. Когда чиновникъ будетъ обеспеченъ, тогда онъ потянется за роскошью. Надо сдѣлать такъ, чтобы онъ не тянулся.—Ну да, конечно, заговорили опять любители универсальныхъ лекарствъ. Дать чиновнику твердые нравственныя убѣжденія. Дать ему солидное образованіе. Пускай кандидаты университета идутъ въ квартальные и въ становые.—И это хорошо,—замѣтили другіе. Образованіе дѣло превосходное, но у каждого чиновника есть семейство или кружокъ близкихъ знакомыхъ. Каждый

чиновникъ, получившій солидное образованіе, прямо съ университетской скамейки входитъ въ одинъ изъ такихъ кружковъ, и проводитъ всю свою жизнь въ одномъ кружкѣ, или въ нѣсколькихъ кружкахъ, которые, впрочемъ, всѣ похожи другъ на друга. Преданія университетской скамейки говорятъ ему одно, а вліяніе жены, сестеръ, матери, отца, и тотъ безконечный гуль и говоръ, который, все таки, какъ ни вертись, составляетъ общественное мнѣніе,—говорятъ совершенно другое. Преданія и воспоминанія всегда бываютъ слабѣ живыхъ впечатлѣній, повторяющихся каждый день, и выходитъ изъ этого тотъ результатъ, что чиновникъ начинаетъ тянуться за роскошью, хотя и знаетъ, что тянуться за нею дозволенными средствами невозможно, а недозволенными негодится. Значить какъ же?—Ахъ, чортъ побери, думаютъ любители универсальныхъ лекарствъ, подобныя Гг. Каткову, Павлову, Громеку и К^о. Въ самомъ дѣлѣ: какъ же? Шутка сказать. Вѣдь это надо реформировать среду.—Впрочемъ, раздумье этихъ мыслителей продолжается недолго и они непремѣнно что нибудь придумываютъ, или, по крайней мѣрѣ, о чемъ нибудь начинаютъ говорить: ну да, реформировать! ну да, обновить. Ну да, распространить грамотность, устроить сельскія школы, завести женскія гимназіи, проложить желѣзныя дороги, открыть земскіе банки и т. д.—Но мы видѣли и до сихъ поръ видимъ передъ собою два гдомадные факта, изъ которыхъ вытекаютъ всѣ наши отдѣльныя непріятности и огорченія. Во первыхъ мы бѣдны, а во вторыхъ, глупы. Эти слова нуждаются, конечно, въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ. *Мы бѣдны*: это значить, что у насъ, сравнительно съ общимъ числомъ жителей мало хлѣба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, бѣлья, человѣческихъ жилищъ, удобной мебели, хорошихъ земледѣльческихъ и ремесленныхъ орудій, словомъ, всѣхъ продуктовъ труда, необходимыхъ для поддержанія жизни и для продолженія производительной дѣятельности. *Мы глупы*,—это значить, что огромное большинство нашихъ мозговъ находится почти въ полномъ бездѣйствіи, и что, можетъ быть одна десяти тысячная часть наличныхъ мозговъ работаетъ кое-какъ и вырабатываетъ въ двадцать разъ меньше дѣльныхъ мыслей, чѣмъ сколько она могла-бы выработать при нормальной и нисколько не изнурительной дѣятельности. Обижаться тутъ, конечно, нечѣмъ; когда человѣкъ спитъ, онъ не можетъ работать умомъ; когда Иванъ Сидоровичъ ремизитъ Степана Парамоновича за зеленымъ сукномъ, онъ не можетъ работать умомъ. Словомъ, только тѣ и не работаютъ, кто, по своему теперешнему положенію, не въ состояніи работать. Кто можетъ, тотъ работаетъ, но кое какъ, потому что потребность на эту работу слаба, и потому самый страстный актеръ будетъ холоденъ и вилъ, когда ему придется играть передъ пустымъ партеромъ. Само собою разумѣется, что наша умственная бѣдность не составляетъ невлекчмой

болѣзни. Мы не идіоты и не обезьяны по тѣлосложенію, но мы люди кавказской рассы, сидѣвшіе сиднемъ, подобно нашему милому Ильѣ Муромцу, и, наконецъ, ослабившіе свой мозгъ этимъ продолжительнымъ и вреднымъ бездѣйствіемъ. Надо его зашевелить, и онъ очень быстро войдетъ въ свою настоящую силу. Оно, конечно, надо, но вѣдь вотъ въ чемъ бѣда: мы бѣдны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бѣдны. Змѣя кусаетъ свой хвостъ, и изображаетъ собою эмблему вѣчности, изъ которой нѣтъ выхода. Шарль Фурье говоритъ совершенно справедливо, что главная сила всѣхъ бѣдствій современной цивилизаціи заключается въ этомъ проклятомъ *cerce vicieux*. Чтобы разбогатѣть, надо, хоть не много, улучшить допотопные способы нашего земледѣльческаго, фабричнаго и ремесленного производства, то есть, надо поумнѣть; а поумнѣть некогда, потому что окружающая бѣдность не даетъ вздохнуть. Вотъ тутъ и вертись, какъ знаешь. Есть, однако, возможность пробить этотъ заколдованный кругъ въ двухъ мѣстахъ. *Во первыхъ*, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроеизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ производителя, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію. Къ этой цѣли были направлены законодательныя распоряженія правительства по крестьянскому вопросу. Въ этомъ мѣстѣ заколдованный кругъ можетъ быть пробитъ только дѣйствіемъ законодательной власти, и поэтому мы объ этой сторонѣ дѣла распространяться не будемъ.—*Во вторыхъ*, можно дѣйствовать на непроеизводящихъ потребителей, но, конечно, надо дѣйствовать на нихъ не моральною болтовней, а живыми идеями, и поэтому, надо обращаться только къ тѣмъ потребителямъ, которые желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу, и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые, по своему положенію, могутъ, и, по своему личному характеру, желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайнею осмотрительностію и расчетливостію; то есть, они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу.—Такая экономія умственныхъ силъ необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ, расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты, до сихъ поръ, получались самыя жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ, до сихъ поръ, всего какой нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуетъ безобразно.

Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ народамъ, потому что мы, въ сравненіи съ ними, нищѣ. Но чтобы соблюдать такую экономію, надо, прежде всего, уяснить себѣ до послѣдней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Вотъ тутъ-то, надъ этимъ уясненіемъ и должна работать литература. Мнѣ кажется, что мы начинаемъ чувствовать необходимость умственной экономіи и стремимся уяснить себѣ понятіе настоящей выгоды или пользы. Въ этомъ и заключается то самостоятельное направленіе мысли, которое, по моему мнѣнію, вырабатывается въ современномъ русскомъ обществѣ. Если это направленіе разовьется, то заколдованный кругъ будетъ пробитъ. Экономія умственныхъ силъ увеличить нашъ умственный капиталъ, а этотъ увеличенный капиталъ, приложенный къ полезному производству, увеличить количество хлѣба, мяса, одежды, обуви, орудій и всѣхъ остальныхъ вещественныхъ продуктовъ труда. Обязанность развивать это направленіе и пробивать съ этой стороны заколдованный кругъ, лежитъ цѣликомъ на нашей литературѣ, потому что въ этой сферѣ литература можетъ дѣйствовать самостоятельно.

II.

Экономія умственныхъ силъ есть ни что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ. «Природа не храмъ, а мастерская, говоритъ Базаровъ, и человекъ въ ней работникъ». Рахметовъ видится только съ тѣми людьми, съ которыми ему «нужно» видѣться, онъ читаетъ только тѣ книги, которыя ему «нужно» прочесть, онъ даже ѣстъ только ту пищу, которую ему «нужно» ѣсть, для того чтобы поддерживать въ себѣ физическую силу; а поддерживаетъ онъ эту силу также потому, что это кажется ему «нужнымъ», то есть потому, что это находится въ связи съ общею цѣлью его жизни. Особенность Рахметова состоитъ исключительно въ томъ, что онъ менѣе другихъ честныхъ и умныхъ людей нуждается въ отдыхѣ; можно сказать, что онъ отдыхаетъ только тогда, когда спитъ. Вся остальная часть его жизни проходитъ за работой и вся эта работа клонится только къ одной цѣли: уменьшить массу человѣческихъ страданій и увеличить массу человѣческихъ наслажденій. Къ этой цѣли клонились всегда, сознательно и безсознательно, прямо или косвенно, всѣ усилія всѣхъ умныхъ и честныхъ людей, всѣхъ мыслителей и изобрѣтателей. Чѣмъ сознательнѣе и прямѣе дѣятельность человека направлялась къ этой цѣли, тѣмъ значительнѣе была масса

принесенной имъ пользы; но въ сожалѣнію, нервная система человѣка такъ устроена, что она не можетъ долго сосредоточивать свои силы на одной точкѣ. Если мы захотимъ долго держать руку или ногу въ одномъ и томъ же положеніи, то мы почувствуемъ въ этой ногѣ или рукѣ утомленіе и, наконецъ, настоящую боль. Если мы будемъ долго смотрѣть на одинъ предметъ, то у насъ зарябитъ въ глазахъ. Если мы будемъ долго вдумываться въ одну и ту же мысль, то умъ нашъ на нѣсколько времени откажется работать. Если мы будемъ проводить эту мысль во всѣ наши поступки, то наконецъ, эта мысль начнетъ насъ тяготить, и мы почувствуемъ непреодолимую потребность отложить ее на время всторону, и пожить, хоть нѣсколько часовъ, безцѣльною жизнью. У Рахметова эта потребность возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, то есть, можетъ, въ теченіе своей жизни, сдѣлать больше работы; а всякій согласится, что мы можемъ мѣрить умственные силы людей только количествомъ сдѣланной ими полезной работы. Рахметовъ можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастьемъ; ему нѣтъ надобности освѣжать свои силы любовью женщины, или хорошею музыкою, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него есть только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполне успѣшно размышлять. Но и это наслажденіе служить ему только средствомъ: онъ куритъ не потому, что это доставляетъ ему удовольствіе, а потому что куреніе возбуждаетъ его мозговую дѣятельность. Если-бы онъ не замѣчалъ въ этомъ куреніи осознательной пользы, онъ бы отъ него отказался, не ради идеальнаго совершенства, а ради того, что не слѣдуетъ ничѣмъ отвлекаться отъ настоящей цѣли. Ставить такого титана въ примѣръ читателю совершенно бесполезно. Это все равно, что совѣтовать читателю связать желѣзную кочергу въ узелъ, или открыть какой нибудь міровой законъ, въ родѣ ньютоновскаго тяготѣнія, или дарвиновской теоріи естественнаго выбора. Мы люди обыкновенные, и, если бы мы захотѣли выбросить изъ нашей жизни отдыхъ и чисто-личное наслажденіе, то мы сдѣлали-бы себя мучениками, и, кромѣ того, повредили-бы даже общему дѣлу; мы бы надорвались, мы бы отняли у себя возможность принести ту малую долю пользы, которая соотвѣтствуетъ размѣрамъ нашихъ силъ; поэтому намъ не слѣдуетъ надуваться, потому что до вола мы все-таки не доростемъ, а если лопнемъ, то вмѣсто экономіи окажется чистый убытокъ. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имѣетъ права посылать васъ на работу; общее дѣло человечества подвигается впередъ не барщиною работою, и сгонять на этотъ трудъ лѣнливыхъ или утомленныхъ людей значить изображать суетливую муху, помогавшую лошадямъ вытаскивать въ гору тяжелый рыдванъ. Но, когда вы, отдохнувши и на-

сладившись вдоволь, сами, по собственной охотѣ, принимаетесь за работу, тогда общество, въ лицѣ каждаго изъ своихъ членовъ, тотчасъ получаетъ надъ вами право контроля и критики; оно произноситъ свой приговоръ надъ вашею дѣятельностью, и оно имѣетъ полное право выражать свое желаніе, чтобы тѣ силы, которыя добровольно отдаются на общепользное дѣло, дѣйствительно тратились тамъ, гдѣ онѣ необходимы. Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себѣ; когда вы работаете, вы принадлежите обществу. Если же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имѣетъ никакого значенія для него! тогда вы можете быть вполне увѣрены, что вы совсѣмъ никогда не работаете, и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему съ цвѣтка на цвѣтокъ. Мартышкинъ трудъ не есть работа. Если такой мартышкинъ трудъ производится вполне сознательно, то есть, если трудящаяся личность сама понимаетъ свою бесполезность, и сама говоритъ себѣ и другимъ: я трутень и хочу быть трутнемъ, потому что это мнѣ пріятно, тогда, разумѣется, не о чемъ и толковать, потому что неизлечимые больные не нуждаются ни въ дружескихъ совѣтахъ, ни въ медицинской помощи. Но можно сказать навѣрное, что большая часть мартышкина труда производится въ каждомъ человѣческомъ обществѣ по чистому недоразумѣнію. Трудящаяся личность, въ большей части случаевъ, добросовѣстно и искренно убѣждена въ томъ, что она трудится для человѣчества и для общества; это обаятельное убѣжденіе придаетъ ей бодрость и вдохновляетъ ее во время труда; если вы поколеблете въ ней это убѣжденіе, у нея опустятся руки и для нея настанетъ очень тяжелая минута разочарованія и унынія; но за этою минутою явится сильное стремленіе къ настоящей пользѣ и крутой поворотъ къ какой нибудь другой дѣятельности, достойной мыслящаго человѣка и добросовѣстнаго гражданина. Въ результатъ получится, такимъ образомъ, экономія умственныхъ силъ, и эта экономія будетъ гораздо болѣе значительна, чѣмъ это можетъ показаться читателю съ перваго взгляда. Каждая личность дѣйствуетъ болѣе или менѣе на все, что ее окружаетъ; поворотъ къ реализму, происшедшій въ одной личности, даетъ себя чувствовать многимъ другимъ, и таже самая особа, которая до своего обращенія, могла своимъ примѣромъ и своими совѣтами сбить съ толку двухъ или трехъ молодыхъ людей, будетъ, послѣ своего обращенія, дѣйствовать на этихъ же молодыхъ людей самымъ благотворнымъ образомъ, какъ покаившійся грѣшникъ можетъ дѣйствовать на человѣка, порывающагося согрѣшить, и главное, убѣжденного въ похвальности грѣха. Поэтому, я думаю, что наша литература могла-бы принести очень много пользы, если-бы она тщательнее подмѣтила и основательно разоблачила различныя проявленія мартышкина труда, свирѣпствующаго въ нашемъ обществѣ, и отравляю-

разказа въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и покажемъ дѣйствительныя пружины, управляющія ходомъ этихъ событій, то весь романъ приведетъ насъ къ совершенно противоположенному заключенію. Что женщины терпятъ часто горькую муку—это правда; но главная и почти единственная причина ихъ страданій заключается въ ихъ собственной неразвитости, и въ томъ искусственномъ тупоуміи, которое напускается на нихъ воспитаніемъ и всѣмъ складомъ нашей образцовой семейной жизни. Развратъ и эгоизмъ тутъ ни въ чемъ не виноваты, и вся основная тенденція романа оказывается, такимъ образомъ, совершенно ложною. Г. Станицкій кричитъ людямъ: «старайтесь, подлецы вы эдакіе, исправить вашу нравственность», и весь этотъ крикъ, растянутый на сотни страницъ, по всей справедливости долженъ быть названъ бесплоднымъ наборомъ рѣзкихъ звуковъ. Людямъ надо говорить очень кротко и доказывать какъ можно убѣдительно, что они въ сущности совсѣмъ не подлецы, и что имъ вовсе не слѣдуетъ исправляться, но что имъ было бы очень приятно и не бесполезно побольше и почаще пользоваться содѣйствіемъ головного мозга. «Вы бы, сударики мои, почитали книжку; вы бы, голубчики, подумали о вашихъ потребностяхъ; вы бы взглянули на такой-то вопросъ съ такой-то точки зрѣнія.»—Вотъ какъ слѣдуетъ объясняться съ нашими милыми соотечественниками, и только такіа дружелюбныя объясненія и могутъ принести хоть какую нибудь пользу, потому что все человѣческое благосостояніе безусловно зависитъ отъ высоты умственнаго развитія.

Мы увидимъ, что даже творческій умъ г. Станицкаго не въ состояніи былъ изобрѣсти такіе факты, которые бы противорѣчили этой основной и неопровержимой истинѣ. Г. Станицкому постоянно хочется свернуть на нравственную проповѣдь, а факты его романа, вопреки его авторскому всемогуществу, говорятъ ясно и громко, что вся бѣда происходитъ исключительно отъ недостатка умственнаго развитія.

V.

Мы видѣли въ предыдущей главѣ, что добродѣтельная женщина нашла кучу глупостей, и, вполне обезоруживъ свою дочь нелѣпымъ воспитаніемъ, сама отдала ее въ безотчетное распоряженіе первому встрѣчному, который оказался неблагонадежнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Посмотримъ теперь, какую роль играли здѣсь «грязные и развратные эгоисты», ненавистные Аннѣ Антоновнѣ и г. Станицкому. Что эта роль бы

граничнымъ учителемъ; мы въ этомъ отношеніи не похожи на гегелистовъ прошлаго поколѣнія; намъ приходится готовить каждый аргументъ своими домашними средствами; оттого дѣло идетъ у насъ не очень прытко, оттого мы иногда пятамся и провираемся, но это еще ничего не значитъ. Но конфузиться все таки не годится, а уже сдѣланныя ошибки въ подобномъ родѣ слѣдуетъ исправлять для того, чтобы на будущее время обнаруживать, при столкновеніяхъ съ литературными противниками, больше достоинства, стойкости и сознательности. Года два тому назадъ наши литературные реалисты сильно опростоволосились, и этотъ случай такъ интересенъ и поучителенъ, что о немъ стоитъ поговорить подробно, для того чтобы опредѣлить разумныя отношенія настоящаго литературнаго реализма къ вопросу объ искусствѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ 1862 году. Въ февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» появляется романъ Тургенева: «Отцы и дѣти». Романъ этотъ, очевидно, составляетъ вопросъ и вызовъ, обращенный къ молодому поколѣнію старшею частью общества. Одинъ изъ лучшихъ людей старшаго поколѣнія, Тургеневъ, писатель честный, написавшій и напечатавшій «Записки охотника» задолго до уничтоженія крѣпостнаго права, Тургеневъ, говорю я, обращается къ молодому поколѣнію и громко предлагаетъ ему вопросъ: «Что вы за люди? Я васъ не понимаю, а вамъ не могу и не умѣю сочувствовать. Вотъ что я успѣлъ подмѣтить. Объясните мнѣ это явленіе». Таковъ настоящій смыслъ романа. Этотъ откровенный и честный вопросъ пришелся, какъ нельзя болѣе, въ-время. Его предлагала вмѣстѣ съ Тургеневымъ вся старшая половина читающей Россіи. Этотъ вызовъ на объясненіе невозможно было отвергнуть. Отвѣчать на него литературѣ было необходимо.—Это было-бы превосходно, если-бы каждая идея, проводимая мыслящими людьми, проникала въ общество, перерабатывалась въ немъ, и потомъ возвращалась-бы назадъ къ литераторамъ въ отраженномъ видѣ для повѣрки и поправки. Тогда умственная работа закипѣла-бы очень быстро и всякія недоразумѣнія между литературою и обществомъ оканчивались-бы вполне удовлетворительными объясненіями. Дурна или хороша была тенденція тургеневскаго романа—это все равно; для литературныхъ реалистовъ этотъ романъ былъ, во всякомъ случаѣ, драгоценнымъ извѣстіемъ о судьбѣ ихъ идеи, и еще болѣе драгоценнымъ поводомъ къ обстоятельному объясненію съ читающею публикою. Но надо было именно говорить со всѣмъ русскимъ обществомъ, а не съ личностью Тургенева и ужъ, во всякомъ случаѣ, не съ литературною партіею «Русскаго Вѣстника». *Надо* было совершенно отодвинуть всторону оцѣнку романа, и сосредоточиться на разборѣ базаровскихъ идей, даже въ томъ случаѣ, если-бы самъ Базаровъ былъ карикатурою. Но «Современникъ» поступилъ какъ разъ на оборотъ. Совершенно измѣняя Добролюбовскимъ преданіямъ, онъ далъ

своимъ читателямъ чисто эстетическую рецензію. Г. Антоновичъ употребилъ всѣ силы своей діалектики на то, чтобы доказать, что романъ Тургенева плохъ, хотя публикѣ не было никакого дѣла ни до Тургенева, ни до его романа. Она хотѣла знать, что такое Базаровъ, и этотъ вопросъ имѣлъ для нея самое жизненное значеніе, потому что большая часть матерей, отцевъ и сестеръ видѣли въ своихъ дѣтяхъ и братьяхъ частицы или зародыши тѣхъ типическихъ особенностей, которыя сосредоточились и воплотились съ полною силою въ фигурѣ тургеневскаго нигилиста. «Если Базаровъ—карикатура, разсуждала публика, то объясните и представьте намъ въ настоящемъ свѣтѣ то явленіе жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите намъ еще разъ ту идею, которая породила это явленіе. Если Базаровъ живой человѣкъ, то растолкуйте намъ его, мы не понимаемъ, онъ насъ пугаетъ, и пугаетъ именно потому, что мы видимъ что-то непонятное и базаровское въ чертахъ характера многихъ изъ тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ, отъ которыхъ намъ больно отрываться и съ которыми мы не умѣемъ свынуться». Но этотъ животрепещущій вопросъ, поставленный жизнью, не дошелъ до слуха критика, углубившагося въ проведеніе остроумной параллели между г. Тургеневымъ и Викторомъ Инатъевичемъ Аскоченскимъ. Критикъ «Современника» не захотѣлъ объяснить публикѣ и даже самому молодому поколѣнію, какой смыслъ заключается для него въ Базаровѣ, изъ какой общей идеи выходить тенденціи его. Задача, дѣйствительно, была очень обширная, и для удовлетворительнаго ея разрѣшенія требовалось очень много осторожности, хладнокровія и технической ловкости; надо было отказаться отъ всякихъ стремленій къ пафосу и къ полемической декламации. Надо было уяснить себѣ свою собственную мысль во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ и затѣмъ изложить ее въ полной ясности самыми холодными, безстрастными, и, пожалуй, даже безцвѣтными словами. Но критикъ написалъ статью чрезвычайно рѣзкую, напалъ на Тургенева съ неслыханнымъ ожесточеніемъ, уличилъ его въ такихъ мысляхъ и стремленіяхъ, о которыхъ Тургеневъ никогда и не думалъ, выдержалъ самую упорную борьбу съ несуществующими заблужденіями автора, и затѣмъ, наполнивъ этимъ воинственнымъ шумомъ пятьдесятъ страницъ, оставилъ существенный вопросъ совершенно нетронутымъ. Съ Тургеневымъ критикъ расправляется очень бойко, но при встрѣчѣ съ тѣми людьми, которые считаютъ Базарова уродомъ и злодѣемъ, онъ совершенно умолкаетъ. Эти люди говорятъ, что Базаровъ дѣйствительно существуетъ, и что онъ—лютое животное, подобное тѣмъ эгоистамъ, для которыхъ г. Станицкій рекомендуетъ желѣзные кольца, продѣтые въ ноздри. А критикъ Тургенева говоритъ, что Базаровъ—карикатура, что Базаровъ не существуетъ, но что если бы онъ существовалъ, то, конечно, его надо было

бы признавать лютымъ животнымъ. Это значить, что дама просто пріятная говорить о лапкахъ да о глазкахъ: «ахъ, нестро!» а дама пріятная, во всѣхъ отношеніяхъ возражаетъ: «ахъ, неestro!», но въ сущности обѣ дамы вполне согласны между собою въ томъ, что нестрое платье унижаетъ достоинство благовоспитанной губернской аристократки. Они спорятъ о фактѣ, и только обѣ одномъ фактѣ и при этомъ критикъ тщательно скрываетъ то обстоятельство, что онъ совершенно расходится съ гг. Дудышкинымъ, Зариннымъ и Катковымъ въ самомъ принципѣ, на основаніи котораго произносится сужденіе о достоинствѣ факта. И онъ даже не останавливается на одномъ молчаніи; онъ робко и нежно произноситъ такіа слова, которыя совершенно не вяжутся съ основными идеями «Современника»; словомъ, онъ конфузится, теряется и доходитъ въ своей скромности или въ тонкости своей литературной дипломатіи до очевиднаго молчаливства, но все это благополучно сходитъ съ рукъ, по мѣлости воинственнаго экстаза, который составляетъ декорацію и направляется противъ личности Тургенева, какъ мыслителя, художника и гражданина. Базарова критикъ выдаетъ головой и при этомъ онъ даже не осмѣливается отстаивать то живое явленіе, по поводу котораго былъ созданъ Базаровъ. Причина, которою онъ оправдываетъ свою робость, въ высшей степени любопытна: «пожалуй, говоритъ онъ, обличать въ пристрастіи къ молодому поколѣнію, а что еще хуже, стануть укорять въ недостаткѣ самообличенія. Поэтому пускай кто хочетъ защищаетъ молодое поколѣніе, только не мы.» (Стр. 93). Вотъ это очаровательно! Вѣдь защищать молодое поколѣніе значить, по настоящему, защищать тѣ идеи, которыя составляютъ содержаніе его умственной жизни, и которыя управляютъ его поступками. Одно изъ двухъ: или критикъ самъ проинкинуть этими идеями, или онъ ихъ отрицаетъ. Въ первомъ случаѣ, защищать молодое поколѣніе значитъ защищать свои собственные убѣжденія. Во второмъ случаѣ, защищать его не возможно, потому что человѣкъ не можетъ поддерживать ту идею, которую онъ отрицаетъ. Но критикъ, видите-ли, и радъ бы защитить, да боится, что «его обличать въ пристрастіи». — Къ чему? — Къ собственнымъ убѣжденіямъ. Удивительное обличеніе! Умень, долженъ быть, тотъ господинъ, который выступить съ подобнымъ обличеніемъ, да и тотъ тоже не дурень, кто боится такихъ обличителей. И зачѣмъ приводить такіе неестественные резоны? Просто не хватило умѣнья, и ничего тутъ нѣтъ постыднаго въ этомъ недостаткѣ наличныхъ силъ. Мы, люди молодые: поживемъ, поучимся, подумаемъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ рѣшимъ тѣ вопросы, которые теперь, быть можетъ, заставляютъ насъ становиться въ тупикъ. Но валить съ больной головы на здоровую все таки не годится: Тургеневъ и Базаровъ, во всякомъ случаѣ, невиноваты въ томъ, что критикъ не умѣетъ защищать молодое поколѣніе, и что роль пер-

ваго критика въ «Современникѣ» не соответствуетъ теперешнимъ размѣрамъ его силъ. А между тѣмъ, въ все, про все отдуваются именно Тургеневъ, да Базаровъ. Чтобы доказать, что Базаровъ—гнусная карикатура, и что Тургеневъ написалъ презрѣнный насквиль, критикъ «Современника» разсуждаетъ такъ неестественно, и пускаетъ въ ходъ такіа удивительныя натяжки, что читателю, знакомому съ романомъ «Отцы и дѣти», приходится на каждомъ шагу обвинять и уличать критика или въ непонятливости, или въ нежеланіи понимать. Какъ объяснить себѣ, напримѣръ, такой пассажъ: «Главный герой романа съ гордостью и заносчивостью говоритъ о своемъ искусствѣ въ картежной игрѣ» (стр. 68). Это Базаровъ-то! Съ гордостью и заносчивостью! О преферансѣ и ералашѣ! Мнѣ даже совѣстно становится за критика. «Потомъ г. Тургеневъ старается выставить главнаго героя обжорой, который только и думаетъ о томъ, какъ-бы поѣсть и попить.» (Стр. 69). Подумаешь, право, что этотъ г. Тургеневъ есть нѣчто въ родѣ г. Бориса Ѳедорова, пишущаго, для какихъ-то воображаемыхъ дѣтей поучительныя разсказы о жадномъ Василькѣ и о воздержной Парашѣ. «Даже смотрѣть глупо», какъ говоритъ г. Щедринъ въ своемъ разсказѣ «Развеселое житіе». Но еще глупѣе смотрѣть на то, какъ критикъ «Современника», умышленно или нечаянно, уродуетъ сцену, происходящую передъ смертью Базарова. Вотъ это изумительное мѣсто: «герой, какъ медикъ, очень хорошо знаетъ, что ему остается до смерти нѣсколько часовъ; онъ призываетъ къ себѣ женщину, къ которой онъ питалъ не любовь, а что-то другое, непохожее на настоящую возвышенную любовь. Она пришла, герой и говоритъ ей: «старая штука смерть, а каждому вновь. До сихъ поръ не трушу.... а тамъ придетъ безпамятство, и фюты! Ну, чтожъ мнѣ сказать вамъ... Что я любилъ васъ? Это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь—форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая».... «(Читатель дальше яснѣе увидитъ, какой гадкій смыслъ заключается въ этихъ словахъ). Она подошла къ нему поближе и онъ опять заговорилъ: «ахъ, какъ близко, и какая молодая, свѣжая, чистая... въ этой гадкой комнатѣ!»... (Стр. 657). «Отъ этого рѣзкаго и дикаго диссонанса теряетъ всякое поэтическое значеніе эффектно написанная картина смерти героя». Читатель, конечно, недоумѣваетъ, и начинаетъ думать, что критикъ «Современника» прекраснѣйшій критикъ, но только «ужъ очень строго на счетъ манеръ», подобно Матренѣ Марковнѣ, супругѣ Егора Капитонича, изъ повѣсти Тургенева—«Затишье». Читатель никакъ не можетъ понять, гдѣ же тутъ «гадкій смыслъ», и въ чемъ именно чуткое ухо эстетика уловило «рѣзкій и дикій диссонансъ»? Оказывается, что критикъ оскорбленъ не какъ эстетикъ, а какъ моралистъ.

«И у автора, восклицаетъ онъ на стр. 73, поварачивается языкъ говорить о всепримиряющей любви, о безконечной жизни, послѣ того, какъ его самого эта любовь и мысль о безконечной жизни не могли удержатъ отъ безчеловѣчнаго обращенія съ своимъ умирающимъ героемъ, который, лежа на смертномъ одрѣ, призываетъ свою возлюбленную для того, чтобы видошъ ея прелестей въ послѣдній разъ пощекотать свою потухающую страсть. Очень мило!» Да ужъ такъ мило, что милѣе этого мѣста не выдумалъ-бы ни г. Заринъ, ни г. Щегловъ. Всякій обыкновенный читатель видитъ ясно, что Базаровъ хочетъ въ послѣдній разъ взглянуть на любимую женщину и въ послѣдній разъ сказать ей какое нибудь ласковое слово. Можетъ быть, со стороны Базарова очень непохвально занимать свои мысли передъ самою смертью такими суетными привязанностями. Чтожъ, думаетъ онъ, пускай посмотритъ. Пусть она ему улыбнется, пусть онъ увидитъ въ этой улыбкѣ тѣнь тихой грусти, пусть онъ выскажетъ ей словами или взглядами хоть что нибудь изъ той горячей любви, которую переполнена была его молодая душа.

Такъ подумаетъ самый обыкновенный и самый безхитростный читатель, тотъ самый читатель, который, быть можетъ, на здороваго Базарова смотрѣлъ, какъ на злобнаго и опаснаго разрушителя. Такъ подумали, навѣрное, даже многіе изъ мудреныхъ русскихъ писателей, подобныхъ гг. Каткову, Павлову, Скарятину и другимъ блюстителямъ литературнаго благочинія. Но критикъ «Современника» такъ переполненъ воинственнымъ жаромъ, что онъ ни на одну минуту не желаетъ сдѣлаться обыкновеннымъ и безхитростнымъ читателемъ. Онъ надѣваетъ на себя неестественную маску; онъ старается быть неумолимо строгимъ. Онъ проникаетъ въ мысли Базарова и усматриваетъ въ нихъ грѣховную нечистоту. Прежде всего, онъ впускаетъ въ свой рассказъ нѣкоторыя невѣрности, которыя я, изъ вѣжливости, назову ошибками. Во первыхъ, Базаровъ не призываетъ Одинцову, а только посылаетъ ей сказать, что онъ умираетъ. Одинцова пріѣзжаетъ къ нему безъ всякаго зова. Базаровъ не ожидалъ ея; онъ едва могъ надѣяться на то, что она пріѣдетъ, и вслѣдствіе этого онъ, увидя ее передъ собою, чувствуетъ такой избытокъ радости и благодарности, что не находитъ даже, какъ и о чемъ говорить съ нею. Сверхъ того, онъ уже такъ плохъ, что въ присутствіи Одинцовой начинаетъ бредить, и вообще съ трудомъ можетъ связывать мысли. Онъ, какъ больной ребенокъ, смотритъ на нее, и видитъ, что она хорошая, и бормочетъ «славная, красивая, молодая, свѣжая, чистая, въ гадкой комнатѣ». При этомъ онъ только съ мучительною ясностью чувствуетъ поразительный контрастъ между ея цвѣтущею жизнью и своимъ собственнымъ разложеньемъ. И тутъ, при всей его слабости, въ немъ не видно ни зависти, ни боязни. Какъ только Одинцова переступаетъ черезъ порогъ его комнаты, онъ говоритъ ей: » не

подходите; моя болѣзнь можетъ быть заразительна»; но Одинцова тотчасъ, по естественному движенію нѣжности и неустрашимости, подходитъ къ самой его постели. Тогда онъ и говоритъ: «ахъ, какъ близко!» Этими словами онъ хочетъ сказать: я кусокъ гнилого мяса. Мнѣ больно за васъ. Затѣмъ вы, молодая, свѣжая, чистая, дышите зараженнымъ воздухомъ этой гадкой комнаты. И въ тоже время ему, конечно, въ высшей степени пріятно, что она его не боится, что она смотритъ на него ласково и безъ отвращенія, что она не бѣжитъ вонъ изъ гадкой комнаты, а особенно пріятно для него то, что она, въ самомъ дѣлѣ, хорошая и милая женщина, а не только «вдова души возвышенной, благородной и аристократической», какъ называетъ ее критикъ. Базаровъ мучительно счастливъ ея присутствіемъ и съ грустнымъ удовольствіемъ наслаждается ея простою и естественною гуманностью, потому что въ немъ шевелятся до самой послѣдней минуты высоко-человѣчныя и строго-разумныя мысли. И по поводу этого-то человѣка критикъ говоритъ о какомъ-то щекотаніи. Я даже не понимаю хорошенько, что именно онъ называетъ этимъ карательнымъ терминомъ. Во всякомъ случаѣ я нахожу, что мнѣ давно пора прекратить разговоръ объ этомъ предметѣ. Да, опростоволосились наши реалисты, опростоволосились до такой степени, что сочли нужнымъ поддерживать свое дѣло крючкотворною аргументаціею.

IV.

Наши умственные силы расходуются нерасчетливо — это не подлежитъ сомнѣнію, и въ признаніи этого факта сходятся между собою всѣ наши литературные органы самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ. Гдѣ причина нерасчетливости? Когда приходится отвѣчать на этотъ вопросъ, тогда всѣ органы бросаются въ распыленную и другъ друга побивающую величіемъ своей ерунды. Все это очевидно доказываетъ, что ясныхъ и неопровержимыхъ аргументовъ не представляетъ никто, что въ корень дѣла не заглядываетъ ни одинъ писатель, и что настоящая причина нашей умственной суеты остается неизвѣстною всѣмъ ея искателямъ и обличителямъ. Если бы кто нибудь растолковалъ публикѣ, какъ дважды два — четыре, въ чемъ состоятъ важныя интересы ея умственной жизни, то противники этого «кто нибудь» были-бы радикально побѣждены, потому что публика себѣ не врагъ и, стало быть, не будетъ обольщаться тѣмъ, что она, разъ на всегда признала для себя вреднымъ и невыгоднымъ. Поэтому, указать на эти интересы и дока-

зять, что они дѣйствительно существенныя, это, разумѣется, самая важная задача современной литературы. Пока эта задача не будетъ рѣшена вполне, до тѣхъ поръ и писателямъ придется работать ощупью, и публикѣ выбирать себѣ кусочки изъ груды ихъ произведеній — также ощупью. Ни одинъ писатель не рѣшится сказать, что онъ работаетъ для нанесенія вреда читающему обществу; ни одинъ не рѣшится также сказать, что онъ своею работою не приноситъ обществу ни малѣйшей пользы; стало быть, всѣ стремятся принести своимъ читателямъ пользу; между тѣмъ одни изъ нихъ дѣйствуютъ прямо наперекоръ другимъ. Если-бы читатели «однихъ» были моллюсками, а читатели «другихъ» тараканами, то, разумѣется, можно было бы думать, что и «одни» и «другіе» говорятъ дѣло, потому что организація таракана не похожа на организацію моллюска, и, слѣдовательно, умственные интересы этихъ двухъ породъ могутъ быть диаметрально противоположными. Но, къ сожалѣнію, и однихъ, и другихъ читаютъ всетаки несчастные люди, стало быть очевидно, или одни, или другіе врутъ и вредятъ, а легко можетъ быть и то, что врутъ и вредятъ какъ одни, такъ и другіе, потому что способны вранья неисчислимы; между тѣмъ, какъ истина двоятся не можетъ. Стало быть, есть писатели, приносящіе чистый вредъ, или по медвѣжьей услужливости, или по узкой корыстности *); первые ошибаются, вторые лицемерятъ. Первыхъ надо урезонить, вторыхъ надо разоблачить для того, чтобы они сдѣлались безвредными и неопасными. Чтобы произвести эти двѣ операціи, то есть, чтобы радикально вычислить литературу, надо именно указать существенную пользу. Вполнѣ послѣдовательное стремленіе къ пользѣ называется реализмомъ, и непременно обуславливаетъ собою строгую экономію умственныхъ силъ, то есть, постоянное отрицаніе всѣхъ умственныхъ занятій, не приносящихъ никому пользы. Реалистъ постоянно стремится къ пользѣ, и постоянно отрицаетъ въ себѣ и другихъ такую дѣятельность, которая не даетъ полезныхъ результатовъ. Стало быть, строгій реалистъ, соблюдаетъ въ самомъ себѣ, и уважаетъ въ другихъ людяхъ строгую экономію умственныхъ силъ. Стало быть, разъяснить вполне значеніе реализма въ литературѣ — значитъ рѣшить самую важную задачу современной идеи, и радикально очистить эту идею отъ ненужнаго сора и отъ бесплодныхъ полемическихъ волненій. — Но различныя недоразумѣнія могутъ укрыться въ самомъ словѣ «польза», и поэтому прежде всего необходимо разъяснить эти недоразумѣнія. — Человѣкъ одаренъ чувствомъ самосохраненія. Онъ невольно и безсознательно любитъ свою жизнь и старается сохранить ее въ себѣ, какъ можно дольше. Такія крайности, какъ мотовство и скряжничество — одинаково нерасчетливы, потому что

*) Въ концѣ концовъ и то, и другое сводится къ тупоумію.

при обоихъ способахъ дѣйствія жизнь даетъ меньше наслажденій, чѣмъ сколько она могла-бы дать, при рациональномъ пользованіи. Дѣти такъ радикально предпочитаютъ пріятное полезному, то есть, непосредственное наслажденіе отсроченному, что если посыпать сахаромъ ихъ молочную кашу и не разгѣпывать ее начальственной рукою, они непременно истребятъ сначала элементъ *пріятнаго*, то есть, чистый сахаръ, а потомъ уже, по необходимости, и съ тяжелымъ вздохомъ, примутся за голую *полезу*, то есть за кашу, которая, однако, была-бы гораздо вкуснѣе въ соединеніи съ *пріятностью*. Взрослые называютъ этихъ юныхъ эпикурейцевъ глупыми ребятами и сами дѣлаютъ глупости гораздо болѣе крупныя. Напримѣръ, далеко не всякій чиновникъ умѣетъ такъ распорядиться съ своимъ третнимъ жалованьемъ, чтобы въ началѣ трети не задавать неестественнаго форсу и въ концѣ трети не созерцать свои зубы, положенные на полу. Это значитъ—сначала облизать весь сахаръ, а потомъ лишить себя даже молочной каши. У кого хватаетъ предусмотрительности на четыре мѣсяца, у того можетъ не хватить ея на два года. Сколько бывало примѣровъ, что на литературное поприще выступаетъ вдругъ блестящее молодое дарованіе; два три успѣха быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ; опытные люди смотрятъ на него и радуются, но въ тоже время совѣтуютъ ему потихоньку: почитайте книжку; поучитесь, голубчикъ. Ей богу лучше будетъ,—Еще успѣю, говоритъ онъ, еще успѣю. — Успѣю, да успѣю, какъ вдругъ неожиданное фіаско постигаетъ юное дарованіе, которое, какъ падающая звѣзда, мгновенно сватывается съ неба и скрывается на заднемъ дворѣ какого нибудь «Сына Отечества» или «Развлеченія», куда, впрочемъ, настоящія падающія звѣзды, сколько мнѣ извѣстно, не заглядываютъ...

V.

Базаровъ, съ первой минуты своего появленія, приковалъ къ себѣ всѣ мои симпатіи и онъ продолжаетъ быть моимъ любимцемъ даже теперь. Я долго не могъ себѣ объяснить причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполне понимаю. Ни одинъ изъ подобныхъ ему героевъ не находится въ такомъ трагическомъ положеніи, въ какомъ мы видимъ Базарова. Трагизмъ базаровскаго положенія заключается въ его полномъ уединеніи среди всѣхъ живыхъ людей, которые его окружаютъ. Онъ вездѣ производитъ своею особою рѣзкій диссонансъ, онъ всѣхъ заставляетъ страдать своимъ присутствіемъ и существованіемъ.

онъ самъ это видитъ и понимаетъ; и понимаетъ, кромѣ того, съ мучительною ясностью роковыя причины и абсолютную неизбежность этихъ страданій. Люди, окружающіе Базарова, страдаютъ не отъ того, что онъ поступаетъ съ ними дурно, и не отъ того, что они сами дурные люди, напротивъ того, онъ не дѣлаетъ въ отношеніи къ нимъ ни одного дурного поступка, и они, съ своей стороны, также очень добродушные и честные люди. И тѣмъ хуже, тѣмъ мучительнѣе и безвыходнѣе ихъ положеніе. Нѣтъ причинъ для разрыва и нѣтъ возможности сблизиться. Нѣтъ возможности, потому, что нѣтъ ни одного общаго интереса, ни одного такого предмета, который съ одинаковою силою затронулъ-бы умственныя способности Базарова и его собесѣдниковъ. Ему приходится слушать ихъ, какъ пятилѣтнихъ дѣтей, рассказывающихъ, что вотъ они гулять ходили и вдругъ видятъ большую такую корову, и вдругъ эта корова подошла туда, знаете, къ рѣкѣ, и вдругъ начала пить. — Ну, такъ что-же? спрашиваете вы. — Ну вотъ напилась и пошла. — А потомъ? — Потомъ мы домой вернулись. — Вотъ вамъ и весь анекдотъ. И, выслушивая его, вы, изъ чувства естественной гуманности, должны тщательно наблюдать за вашею фізіономіею, чтобы на ней не выразилось изумленіе, чтобы ваши губы не сложились невольно въ улыбку сострадательнаго недоумѣнія, и чтобы, кромѣ того, черты вашего лица изображали хоть малѣйшее участіе къ тому, что вамъ рассказывается съ чисто дѣтскимъ увлеченіемъ. Чуть только какой нибудь мускулъ вашей фізіономіи утомился отъ этого неестественнаго напряженія и подернулся не въ тактъ этой усыпительной музыкѣ, и вся гармонія нарушена, и весь плодъ вашихъ долговременныхъ усилій пропалъ безвозвратно, и рассказчикъ, человѣкъ добрый и честный, искренно желающій васъ утѣшить и развлечь, оказывается глубоко и смиренно опечаленнымъ своею немощностію и своею неспособностію дать вамъ то, чего бы вы желали. Если-бы онъ васъ обругалъ въ эту минуту, вы-бы этому обрадовались; но онъ тихо опечалится и замолчитъ; въ его душѣ будетъ только грусть, безъ малѣйшей горечи, но эту грусть вы въ немъ видите совершенно ясно, и совершенно независимо отъ его воли и его усилія скрыть отъ васъ эту грусть, то есть, не огорчить васъ, человѣка, огорчившаго его, — эти усилія, говорю я, дѣлаютъ его еще болѣе трогательнымъ въ вашихъ глазахъ; и вамъ больно было и ему больно, и обоимъ грустно, что развели другъ друга, и все-таки ничѣмъ, да вѣдь рѣшительно ничѣмъ, нельзя этому дѣлу помочь. Вотъ оно, дявольское-то положеніе; вотъ что можетъ душу вытянуть изъ каждаго человѣка, способнаго мыслить и чувствовать. Я совѣтую читателямъ, получившимъ «Русское Слово» 1863 годъ, перечитать въ немъ повѣсть «Женитьба отъ скуки.» Тамъ именно такой разладъ между мужемъ и женою приводитъ къ сьумасшествію и къ самоубійству.

VII.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЕЦЪ, ПРИДЪЛАННЫЙ КЪ ЗЕМНОМУ СУЩЕСТВОВАНІЮ АННЫ АНТОНОВНЫ.

Г. Станицкій употребляетъ всѣ усилія, чтобы внушить читателю величайшее уваженіе къ характеру Анны Антоновны, и побудительная причина этихъ усилій очень понятна, потому что Анна Антоновна составляетъ, такъ сказать, краеугольный камень всего строенія. Если окажется, что эта барыня смахиваетъ на помѣщицу Коробочку, тогда Григорій Андреевичъ перестанетъ быть свирѣпымъ мучителемъ добродѣтельной мученицы, а сдѣлается просто ничтожнымъ супругомъ ничтожной женщины; тогда печальная участь Софьи Григорьевны перестанетъ быть преступнымъ дѣломъ недостойнаго отца, а сдѣлается просто естественнымъ результатомъ дурнаго воспитанія, и очень обыкновенныхъ условій жизни. Тогда читатель не будетъ думать, что все зло дѣйствительной жизни выдуманно и напущено на добродѣтельныхъ людей «грязными эгоистами», «наглыми лоретками», и «либеральными Ротшильдами». Тогда читатель можетъ подумать, что добродѣтельные люди часто бываютъ людьми очень глупыми, и что ихъ глупость составляетъ крѣпкую почву, на которой растутъ и процвѣтаютъ всякіе Ротшильды, лоретки и такъ называемые эгоисты. Словомъ, тогда читатель нарушитъ въ отношеніи къ г. Станицкому всякую дисциплину, и осмѣетъ его нравственную проповѣдь, какъ плоскую шутку. Очевидно, что такое безчинство допущено быть не можетъ, и что, слѣдовательно, Анну Антоновну необходимо утвердить на пьедесталѣ несокрушимой прочности и недосигаемой высоты. Г. Станицкій усердно принимается за эту работу, и съ свойственною ему смѣлостью, въ одно мгновеніе ока превращаетъ Анну Антоновну въ благодѣтельницу крестьянъ села Григорьевки. Послѣ свадьбы, Петръ Васильевичъ увозитъ свою молодую жену къ своимъ роднымъ, а Анна Антоновна переноситъ продолжительную болѣзнь, и потомъ, послѣ выздоровленія, проводитъ нѣсколько мѣсяцевъ «въ бездѣйственномъ состояніи.» Она сидитъ въ комнатѣ дочери, перебираетъ ея дѣтскія вещи, и только иногда соглашается выпить чашку чаю или бульону. Потомъ, надумавшись, она отправляется на деревню, обходитъ всѣ крестьянскія избы, вникаетъ въ потребности каждаго семейства, и обѣщаетъ возвратитъ дѣтей, отданныхъ въ ученіе, тѣмъ отцамъ и матерямъ, которые желаютъ воспитывать ихъ при себѣ. Въ тотъ же вечеръ она пишетъ къ дочери письмо, въ которомъ сообщаетъ ей свои намѣренія.

а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него записаться. Ну и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, промолвилъ Аркадій, да и онъ тоже.

— Я къ нимъ еще вернусь.

— Когда?

— Да вотъ какъ въ Петербургъ поѣду.

— Мнѣ твою мать особенно жалко.

— Что такъ? Ягодами что-ли она тебѣ угодила?

Аркадій опустилъ глаза.»—

Такъ тебѣ и надо поступать, Аркашенька. Больше ты, другъ мой разлюбезный, ничего и дѣлать не умѣешь, какъ только глазаи опускать. Заговорилъ было съ тобою Базаровъ сначала какъ съ путнымъ человѣкомъ, а ты только, какъ старушка божія, охами да вздохами отвѣчать ухитрился. Въ самомъ дѣлѣ, взгляните въ этотъ разговоръ. Базарову тяжело и душно; онъ видитъ, что и работать нельзя, да и для стариковъ-то удовольствія мало, потому что «выйдешь къ ней—и сказать ей нечего.» Такъ ему приходится скверно, что онъ чувствуетъ потребность высказаться хоть кому нибудь, хоть младенчествуущему кандидату Аркадію. И начинаетъ онъ высказываться отрывочными предложеніями, такъ какъ всегда высказываются люди сильные и сильно измученные. «Совѣстно какъ-то,» «ну и мать тоже,» «вздыхаетъ за стѣной,» «сказать ей нечего.» Кажется, не хитро понять изъ этихъ словъ, что не гаерствуетъ онъ надъ своими стариками, что не весело ему смотрѣть на нихъ сверху внизъ, и что самъ онъ видитъ съ поразительною ясностью, какъ мало даетъ имъ его присутствіе, и какъ мучительна будетъ для нихъ необходимая разлука. Я думаю, умный человѣкъ, будучи на мѣстѣ Аркадія, понялъ-бы, что Базаровъ особенно заслуживаетъ въ эту минуту сочувствія, потому что быть мучителемъ, и мучителемъ роковымъ, для каждаго разумнаго существа гораздо тяжеле, чѣмъ быть жертвою. Умный человѣкъ хоть однимъ добрымъ словомъ даль-бы замѣтить огорченному другу, что онъ понимаетъ его положеніе, и что въ самомъ дѣлѣ, ничѣмъ нельзя помочь бѣдѣ, и что, стало-быть, дѣйствительно слѣдуетъ залить тяжелое впечатлѣніе свѣжими волнами живительнаго труда. А Аркадій? Онъ ничего не нашелъ лучшаго, какъ ухватить Базарова за самое больное мѣсто: — «Очень она огорчится.» Точно будто Базаровъ этого не знаетъ. И точно будто эта мысль даетъ какое нибудь средство поправить дѣло. На это старушечье размышленіе Базаровъ могъ отвѣчать сокрушительнымъ вопросомъ:—Ну, а что-жъ мнѣ дѣлать, чтобъ она не огорчалась? И тутъ Аркадій, какъ настоящая старуха, повторилъ-бы опять ту-же минорную гамму съ легкой перестановкою нотъ: «она очень огорчится.» И такъ какъ изъ трехъ словъ

можно сдѣлать шесть перестановокъ, то юный мудрецъ, повторивъ ту же фразу шесть разъ, замолчалъ-бы, находя, что онъ подалъ своему другу шесть практическихъ совѣтовъ, или шесть цѣлительныхъ бальзамовъ. Къ счастью, Базарову было не до диспутовъ съ этимъ пылкимъ цыпленкомъ. Онъ тотчасъ спохватился, вспомнилъ, что юный другъ его не созданъ для пониманія трагическихъ положеній, и сталъ продолжать разговоръ безъ всякихъ изліяній, въ самомъ лаконическомъ тонѣ. Но это плоское животное, Аркадій, не утерпѣлъ и произвелъ новое визжаніе, и опять еще грубѣе ухватилъ Базарова за большое мѣсто. «Мнѣ твою мать особенно жалко.» Въ сущности, это изрѣченіе есть ничто иное, какъ одна изъ шести возможныхъ перестановокъ. Но такъ какъ Аркадій взялся за перестановки очень хитро, то есть, сталъ выражать ту же мысль *другими* словами, то надо было опасаться, что перестановокъ будетъ не шесть, а даже гораздо больше. Базарову предстояло утонуть въ волнахъ цѣлительнаго бальзама и, очевидно, было необходимо сразу заморозить потоки кандидатскаго сердоболія. Ну, а Базаровъ на эти дѣла мастеръ. Какъ сказать объ ягодахъ, такъ и закрылись хляби сердечныя. Аркадій опустилъ глаза, что ему необходимо было сдѣлать въ самомъ началѣ разговора.—А наша критика?! А наша глубокая и проницательная критика?!—Она съумѣла только за этотъ разговоръ укорить Базарова въ жестокости характера и въ непочтительности къ родителямъ.—Ахъ ты Коробочка доброжелательная!—Ахъ ты обличительница копѣчная! Ахъ ты лукошко російскаго глубокомыслія!

VI.

Взглядъ Базарова на отца Аркадія, Николая Петровича, доказываетъ самымъ неопровержимымъ образомъ, что Базаровъ желаетъ и старается сблизиться съ тѣми людьми старшаго поколѣнія, которые еще способны подвинуться впередъ. Но какъ сблизиться? Такъ-ли, чтобы Базаровъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ ихъ сторону, или такъ, чтобы люди старшаго поколѣнія сами подошли къ Базарову и къ его идеямъ? То есть, другими словами, готовъ-ли Базаровъ сдѣлать рядъ уступокъ, или, напротивъ того, онъ желаетъ переубѣдить другихъ? Я думаю, достаточно поставить этотъ вопросъ, для того, чтобы считать его рѣшеннымъ. Человѣкъ, дѣйствительно имѣющій какія нибудь убѣжденія, только отъ того и держится этихъ убѣжденій, что считаетъ ихъ истин-

ными. Онъ, быть можетъ, ошибается; быть можетъ, онъ замѣтитъ со временемъ свою ошибку и тогда, разумѣется, тотчасъ перемѣнитъ въ своихъ убѣжденіяхъ то, что окажется несогласнымъ съ истиною; но куда онъ не увидитъ ясно несостоятельности своихъ мнѣній, пока эти мнѣнія не разбиты ни фактами дѣйствительной жизни, ни очевидными доказательствами противниковъ, до тѣхъ поръ онъ думаетъ по своему, считаетъ свои идеи вѣрными, держится за нихъ твердо и, изъ чистой любви къ своимъ ближнимъ, чувствуетъ желаніе избавить ихъ отъ того, что онъ, справедливо или несправедливо, считаетъ заблужденіемъ. Когда сходятся между собою два человѣка различныхъ убѣжденій, оба искренно преданные своимъ идеямъ, оба добросовѣстно стремящіеся къ истинѣ и оба на столько просвѣщенные, чтобы понимать возмутительную пошлость нетерпимости, тогда каждый изъ нихъ, видя въ своемъ собесѣдникѣ честнаго человѣка, и не имѣя причины ненавидѣть его, желаетъ открыть своему ближнему ту истину, которою онъ самъ обладаетъ. Одна изъ этихъ истинъ непремѣнно оказывается заблужденіемъ; но тотъ, кто обладалъ этимъ заблужденіемъ, старался доставить ему побѣду, потому что видѣлъ въ немъ несомнѣнную истину. Можетъ быть — мало ли что бываетъ на свѣтѣ? — Можетъ быть, говорю я, Базарову и пришлось бы въ чемъ нибудь сдѣлать искреннюю уступку идеямъ старшаго поколѣнія, но все-таки Базаровъ не могъ подходить къ старшему поколѣнію съ желаніемъ сдѣлать ему эту уступку, и съ тою мыслью, что такая уступка возможна. Подобная мысль и подобное желаніе составляютъ уже дѣйствительную уступку и могутъ возникнуть въ человѣкѣ искренно убѣжденномъ только вслѣдствіе фактическихъ доказательствъ, а никакъ не вслѣдствіе мягкости характера. Когда у человѣка есть дѣйствительно какія нибудь убѣжденія, тогда ни состраданіе, ни уваженіе, ни дружба, ни любовь, ничто, кромѣ осязательныхъ доказательствъ, не можетъ поколебать или измѣнить въ этихъ убѣжденіяхъ ни одной мельчайшей подробности.

VII.

Если-бы отцемъ Базарова былъ Николай Петровичъ, крѣпкій и довольно образованный сорока четырехлѣтній мужичина, то Базаровъ, можетъ быть, увлекъ-бы своего отца въ область реалистическаго труда и представители двухъ поколѣній съ любовью и съ взаимнымъ довѣріемъ

стали-бы поддерживать и ободрять другъ друга. Молодой работаль-бы больше пожилого, но пожилой понималъ-бы его вполне, и совершенно сознательно радовался-бы каждому отдѣльному успѣху своего младшаго товарища, на котораго это сочувствіе дѣйствовало-бы самымъ живительнымъ образомъ. О разладѣ не могло-бы быть и рѣчи, потому что, вполне понимая другъ друга, эти люди видѣли-бы, что между нихъ интересами нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей противоположности. Одинъ ищетъ истины и другой также ищетъ истины, и эта истина для обоихъ одна и та-же, и эта истина не такое благо, которое, доставшись одному, не могло-бы въ то-же время принадлежать и другому. Стало быть, и дуться другъ на друга незачѣмъ, и надо только договориться до взаимнаго пониманія. Базаровъ очень хорошо знаетъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ всякая попытка договориться до какого-нибудь удовлетворительнаго результата совершенно бесплодна. Онъ никогда не пробуетъ серьезно разговаривать съ Ситниковымъ или съ Кукшиною, потому что эти господа, очевидно, изображаютъ своими особами бездонную бочку Данаидъ. Сколько въ нихъ не вали дѣльныхъ мыслей, хоть весь британскій музей опрокинь въ ихъ головы, все будетъ пусто, и все будетъ проходить насквозь съ величайшею легкостью. Базаровъ не пробуетъ также вступать въ серьезные разговоры съ своими родителями, хотя эти родители вовсе не глупы отъ природы. Но договориться и съ ними не возможно: отецъ Базарова славный и добрый старикъ, еще бодрящійся, но уже начинающій впадать въ дѣтство; а мать его даже никогда не переставала быть ребенкомъ, хотя и была постоянно прижѣною супругою, отличною хозяйкою и до самозабвенія нѣжною матерью. Такія личности, обладающія здоровымъ и нормальнымъ мозгомъ, но живущія и умирающія безъ пособія этого органа, встрѣчаются у насъ на каждомъ шагу, и доказываютъ своимъ существованіемъ ту несомнѣнную истину, что время полного господства головного мозга надъ явленіями человѣческой жизни наступитъ еще очень нескоро. Такія личности живутъ, такъ называемымъ, чувствомъ, то есть, каждое впечатлѣніе, не задерживаясь и не перерабатываясь въ ихъ мозгу ни одной минуты, немедленно переходитъ въ какой-нибудь поступокъ, въ которомъ эта поступающая личность никогда не спрашиваетъ у себя, и никогда не можетъ дать себѣ ни малѣйшаго отчета. Такія личности приходится во душѣ нашему обществу и нашимъ художникамъ, которые дѣйствительно имѣютъ съ ними довольно много точекъ соприкосновенія; но я сильно сомнѣваюсь въ томъ, чтобы такія личности могли имѣть особенно живительное вліяніе на медленное, страшно-медленное движеніе человѣчества къ свѣтлому будущему. Личности, подобныя старушкѣ Базаровой—это ходячіе пуховики, часто очень привлекательные, и всегда приглашающею своею симпатичностью полезныхъ работниковъ очнотить до

конца жизни отъ несодѣланныхъ подвиговъ и разумаго труда. Съ этимъ милымъ, добродушнымъ, трогательно любящимъ и уже состарѣвшимся пуховникомъ Базаровъ, конечно, ни о чемъ не разсуждаетъ, потому что «и сказать ей нечего». Такимъ образомъ, Базаровъ разговариваетъ только съ Аркадіемъ, съ Николаемъ и Павломъ Петровичами и съ Одинцовой. Самое серьезное значеніе для Базарова и самый серьезный результатъ во всѣхъ отношеніяхъ могли имѣть разговоры съ Одинцовой; они могли доставить Базарову счастье взаимной любви, и они же могли дать обществу мыслящую женщину. Наслаждаясь разумнымъ счастьемъ, Базаровъ удесятирилъ-бы свои рабочія силы и это приращеніе пошло-бы цѣликомъ на пользу общему умственному капиталу всего человѣчества. Одинцова, съ своей стороны, развернула бы всѣ свои силы своего здороваго ума. Но такіе счастливые результаты получаются очень рѣдко. Почти всегда какая-нибудь ничтожная оплошность нарушаетъ процессъ развитія въ самомъ его началѣ, подобно тому, какъ самое легкое движеніе воздуха разстраиываетъ всѣ расчеты химика и искажаетъ весь процессъ медленной и нормальной кристаллизаціи. Такъ случилось и въ исторіи Одинцовой. Ее испугала страстность Базарова, но если-бы таже страстность проявилась съ такою же силою двумя или тремя мѣсяцами поздиѣ, то Одинцова увлеклась-бы ею сама до полнѣйшаго самозабвенія. Впрочемъ, объ отношеніяхъ реалистовъ къ женщинамъ я буду говорить впослѣдствіи очень подробно.

Аркадій, мнѣ кажется, во всѣхъ отношеніяхъ похожъ на кусокъ очень чистаго и очень мягкаго воска. Вы можете сдѣлать изъ него все, что хотите, но за то, послѣ васъ, всякій другой точно также можетъ сдѣлать съ нимъ все, что этому другому будетъ угодно. Вы можете натереть имъ мебель и паркетный полъ: Аркадій исполнитъ это назначеніе въ совершенствѣ! Вы можете превратить его въ свѣчку: Аркадій будетъ таять и уничтожаться въ порывахъ самопожертвованія, и можетъ уничтожиться безъ остатка, если никто не догадается дунуть на свѣтильню; но этотъ процессъ самоистребленія будетъ постоянно совершаться только въ непосредственной близости самого огня и во время этого процесса вся свѣча будетъ совершенно холодна и равнодушна. Какъ только погаснетъ свѣтильня, немнѣющая по своему составу ничего общаго съ воскомъ, такъ въ ту же минуту прекратится всякое таяніе и изнываніе. Если вы искусный скульпторъ, вы можете сдѣлать изъ этого воскового Аркадія изящнѣйшую статуэтку и даже можете вложить въ складки его чела выраженіе глубокой задумчивости и міровой печали; но эту художественную бездѣлку вы непременно должны держать подъ стеклянныиъ колпакомъ, чтобы ее не засидѣли мухи, кромѣ того, вы должны тщательно наблюдать, чтобы она не подвергалась вліяніямъ измѣнчивой температуры; попробуйте оставить ее на полчаса подъ лучами лѣтняго солнца и она

расплывется такъ удивительно, что ея творецъ, искусный скульпторъ, не будетъ въ состояніи узнать свое любимое произведеніе. Не только глубокая задумчивость, не только міровая печаль изгладятся безъ слѣда, но даже обыкновенныя черты человѣческаго образа ступаются до полнаго безличія. Но это ничего незначить. Если скульпторъ терпѣливъ, онъ можетъ немедленно взять свою отекушую креатуру въ свои искусныя руки, и снова можетъ возстановить утраченное достоинство ея выраженія. Впрочемъ, надо сказать правду, что такой терпѣливый скульпторъ окажется чистымъ художникомъ, то есть, человѣкомъ, работающимъ изъ любви къ искусству, безъ малѣйшаго стремленія къ практической пользѣ, потому что такая восковая статуэтка можетъ быть только очень бесполезнымъ и очень непрочнымъ украшеніемъ дамскаго будуара. Въ концѣ концовъ, мухи засидятъ ее непремѣнно до полнаго помраченія и воскъ утратитъ всю свою первобытную чистоту, такъ что статуэтку все-таки придется отдать въ распоряженіе полотеровъ для украшенія паркета. Говоря проще, подъ старость Аркадій все-таки сдѣлается бесполезнѣйшимъ, а можетъ быть, и дряннѣйшимъ тунеядцемъ. А старость, то есть, житье въ брюхо, для этихъ восковыхъ господъ начинается ровно черезъ годъ послѣ выхода изъ университета. Базаровъ разговариваетъ съ Аркадіемъ именно въ то время, когда послѣдній находится въ переходномъ состояніи изъ отрочества въ старость. Базаровъ видитъ своего, такъ называемого, друга насквозь и нисколько его не уважаетъ. Но иногда, какъ мыслящій человѣкъ, и какъ страстный скульпторъ, онъ увлекается тѣмъ разумнымъ выраженіемъ, которое его же собственное вліяніе накладываетъ порою на мягкія черты его воскового друга. Еслибы вы спросили у Базарова: «выйдетъ-ли что нибудь путное изъ вашего друга?» Базаровъ отвѣчалъ-бы вамъ съ полнымъ убѣжденіемъ: «ничего путнаго не выйдетъ; будетъ рафинированнымъ Маниловымъ и больше ничего.» Но на практикѣ Базаровъ не всегда послѣдовательно выдерживаетъ эту идею; онъ иногда обращается къ Аркадію такъ, какъ будто-бы онъ видѣлъ въ немъ какіе нибудь задатки сильнаго ума и твердаго характера.

Это понятно и извинительно. Базаровъ такъ одинокъ, всѣ окружающіе его люди смотрятъ на него такими изумленными глазами, что поневолѣ одолеваетъ его иногда потребность хоть кому нибудь сказать человѣческое слово, хоть кому нибудь помочь добрымъ совѣтомъ. Николай Петровичъ положительно умнѣе своего сына, и съ нимъ Базаровъ могъ-бы сблизиться, если-бы была какая нибудь возможность завязать это сближеніе, то есть, сдѣлать первый шагъ. Но вѣдь неловко же, неудобно подойти къ постороннему человѣку пожилыхъ лѣтъ и, безъ малѣйшаго вызова съ его стороны, подарить ему нѣсколько непрошенныхъ совѣтовъ касательно направленія его умственной дѣятельности. Аркадій могъ-бы явиться посредникомъ между отцемъ и Базаровымъ, но

Аркадій не умѣетъ сдѣлать ни одного активнаго шага, а какъ неоперившійся пленецъ, производить ежеминутно разныя плоскости и безтактности. Братъ Николая Петровича, Павелъ, положительно мѣшаетъ всякому сближенію, постоянно вызываетъ Базарова на бесплоднѣйшіе діалектическіе поединки, жестоко надѣбдаетъ ему, и наконецъ, завершаетъ всѣ свои подвиги глупѣйшею дуэлью, уже не на словахъ, а на пистолетахъ.

Павелъ Петровичъ — человѣкъ очень неглупый и его фигура чрезвычайно любопытна и поучительна, какъ отживающая тѣнь печоринскаго типа. Эта тѣнь не хочетъ и не можетъ признать себя тѣнью, и встрѣчаясь съ тѣмъ типомъ, который живетъ въ настоящемъ, она, эта представительница прошедшаго, отрицаетъ его всѣми силами своего ума и ненавидитъ его такъ, какъ скупой рыцарь ненавидитъ своихъ наслѣдниковъ. Печоринскій и Базаровскій типы ненавидятъ и отталкиваютъ другъ друга. Печорины и Базаровы рѣшительно не могутъ существовать вмѣстѣ въ одномъ обществѣ, потому что и Печорины, и Базаровы выдѣляются изъ одного матеріала: стало быть, тѣмъ больше Печоринныхъ, тѣмъ меньше Базаровыхъ и на оборотъ. Вторая четверть XIX столѣтія особенно благопріятствовала производству Печоринныхъ; новыхъ Печоринныхъ жизнь уже не отечеканиваетъ, а старые, потускнѣлые и поблекшіе, никакъ не желаютъ понять, что ихъ время прошло. Прошло-ли оно неозвратно, этого никто не рѣшится сказать, но что Печорины въ настоящую минуту не стоятъ на первомъ планѣ—это несомнѣнно. Печорины и Базаровы совершенно непохожи другъ на друга по характеру своей дѣятельности; но они совершенно сходны между собою по типическимъ особенностямъ натуры: и тѣ, и другіе—очень умные, и вполне послѣдовательные эгоисты; и тѣ, и другіе выбираютъ себѣ изъ жизни все, что въ данную минуту можно выбрать самого лучшаго, и, набравши себѣ столько наслажденій, сколько возможно добыть, и сколько способенъ выѣстить человѣческій организмъ, оба остаются неудовлетворенными, потому что жадность ихъ непомѣрна, а также и потому, что современная жизнь вообще не очень богата наслажденіями.

Очень умный человѣкъ можетъ наслаждаться мыслью только тогда, когда дѣятельность мысли клонится къ какой нибудь великой и немечтательной цѣли. Великія цѣли бываютъ безконечно разнообразны въ своихъ внѣшнихъ проявленіяхъ; но всѣ онѣ, въ сущности, могутъ заключаться только въ томъ, чтобы улучшить, такъ или иначе, положеніе той или другой группы человѣческихъ существъ. Переберите всѣ сферы человѣческой дѣятельности и вы увидите, что всѣ онѣ порождены и поддерживаются исключительно стремленіемъ людей къ нравственному или матеріальному благосостоянію. Не всѣ эти сферы, далеко не всѣ, удовлетворяютъ своему назначенію; многія, очень многія изъ нихъ бесполезны для лю-

дей, и слѣдовательно, вредятъ уже тѣмъ, что поглощаютъ силы; многія вредятъ даже положительно, не только отвлекая силы, но и парализуя или извращая другія полезныя проявленія человѣческой дѣятельности; но все-таки всѣ эти сферы существуютъ для блага человѣчества. Такимъ образомъ, можно сказать рѣшительно, что для человѣческой мысли главная цѣль есть стремленіе къ человѣческому благополучію. Но въ исторіи бывають такія эпохи, когда враждебныя обстоятельства мѣшаютъ людямъ стремиться къ благополучію, и рѣшать задачи, вытекающія изъ этого стремленія.

Мысль, работающая для блага человѣчества, дѣйствуетъ обыкновенно по одному изъ двухъ главныхъ путей: или она прилагаетъ къ современной жизни людей тѣ результаты, которые уже добыты передовыми дѣятелями посредствомъ теоретическихъ изслѣдованій и научныхъ наблюденій; или же она добываетъ для будущаго времени новыя результаты, то есть, производитъ изслѣдованія, наблюденія и опыты. Тѣ науки, которыя, подобно исторіи и политической экономіи, живутъ только безпристрастнымъ анализомъ между-человѣческихъ отношеній,—въ эпохи застоя теряютъ значительную долю своей занимательности. Этими наукамъ предаются въ такое время люди двухъ сортовъ: одни пишутъ казенные учебники, другіе честно и добросовѣстно убѣждены въ томъ, что людямъ слѣдуетъ вѣчно спать, но спать облагоустроеннымъ сномъ, то есть, видѣть во снѣ великія идеи. Они восхищаются своихъ слушателей одушевленными бесѣдами, отъ которыхъ, однако, никогда, ни при какихъ условіяхъ, ничего, кромѣ испаряющагося восхищенія, не можетъ произойти.

Въ эту категорію я включаю всѣхъ честныхъ и умныхъ людей, подобныхъ Грановскому и Кудрявцеву. Эти имена пользуются у насъ уваженіемъ и я называю ихъ для того, чтобы не оставить въ моей мысли ни малѣйшей неясности. Эти два профессора жили и умерли вполнѣ честными людьми, но надо сказать правду, что имъ, въ этомъ отношеніи, сильно посчастливилось; ихъ выручила своевременная смерть, которую ихъ почитатели совершенно неосновательно называютъ преждевременною. Между такимъ историкомъ, какъ Грановскій, и такимъ, какъ г. Костомаровъ, лежитъ дистанція огромнаго размѣра, а извѣстно, что даже г. Костомарова застають иногда въ располѣхъ и ставятъ въ тупикъ запросы пробуждающейся жизни. Любопытно замѣтить, какъ тонко и вѣрно Тургеневъ выразилъ свое мнѣніе о дѣятельности Грановскаго. Пусть читатели припомнятъ личность Берсенева въ романѣ «Наканунъ» и пусть подумаютъ, могъ-ли Грановскій сформировать что нибудь выше и лучше Берсенева. Если-бы сѣмя всѣхъ сѣятелей всегда падало на такую добрую почву, какъ душа Берсенева, то и желать ничего болѣе не оставалось бы. Берсенева въ высокой степени честенъ, и на столько уменъ, чтобы быть очень полезнымъ работникомъ.

Если-же общій результатъ берсенеvской дѣятельности оказывается совершенно ничтожнымъ, то виновато, исключительно, плохое качество того сѣмени, которое было принято и взлелѣяно этимъ честнымъ и искреннимъ человѣкомъ съ полнѣйшимъ благоговѣніемъ и съ безкорыстнѣйшею любовью. А кажется, Тургеневу, въ этомъ отношеніи, можно повѣрить, во первыхъ потому, что онъ зналъ вполнѣ всѣ задушевныя стремленія московскихъ кружковъ, а во вторыхъ потому, что его можно заподозрить скорѣе въ пристрастіи къ симпатичному Грановскому, чѣмъ въ преувеличенной нѣжности къ угловатымъ реалистамъ нашего времени.

Мнѣ возразить, что на поприщѣ Грановскаго никто бы не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе. Я знаю, что не могъ. Но это доказываетъ только, что ненадо ему было становиться на такое поприще. На это скажутъ, что лучше чтонибудь, чѣмъ совсѣмъ ничего. Съ этимъ я опять таки совершенно согласенъ, но только надо условиться въ пониманіи термина — «чтонибудь». Если мнѣ очень хочется ѣсть, то я прошу: дайте мнѣ, ради бога, хоть чтонибудь! То есть, дайте мнѣ хоть сухую корку хлѣба. Но если мнѣ дадутъ палисандровую дощечку, или атласный лоскутокъ, то я никакъ не скажу, что это—«чтонибудь», а скажу, что это—совсѣмъ ничего. При совершенно рациональномъ преподаваніи, исторія есть «чтонибудь», и можетъ служить обществу очень питательною пищею. Но при художественной манерѣ преподаванія, исторія превращается въ галерею рембрантовскихъ портретовъ. И хорошо, и весело, и глаза разбѣгаются, а въ результатъ выходитъ все-таки совсѣмъ ничего. Вѣдь какъ хотите толкуйте: Грановскому до Маколея очень далеко, а между тѣмъ, я бы покорнѣе попросилъ когонибудь изъ многочисленныхъ обожателей великаго Маколея доказать мнѣ ясно и вразумительно, что вся дѣятельность этого великаго человѣка принесла Англіи или человѣчеству хоть одну крупинку дѣйствительной пользы. А что, дѣятельность всѣхъ ученыхъ и писателей, подобныхъ Маколею, принесла чрезвычайно много вреда, это вовсе не трудно доказать. Всѣ эти господа, сознательно или безсознательно, постоянно морочили граціозностью.

Молодые люди, подобные Берсенеvу, входятъ въ храмъ науки, и прежде всего попадаютъ въпреддверіе, изъ котораго расходится въ двѣ противоположныя стороны — въ два корридора. Пойдешь на лѣво — тебѣ покажутъ тысячи палисандровыхъ дощечекъ и атласныхъ лоскутковъ, которые тебѣ придется жевать для утоленія умственнаго голода. А пойдешь на право — тебя накормятъ, одѣнутъ, обуятъ, обмоютъ, и покажутъ, кромѣ того, какъ кормить, одѣвать, обувать и обмывать другихъ людей. Въ лѣвомъ, атласно-палисандровомъ отдѣленіи храма наукъ господствуютъ: исторіографія Маколея и его без-

численныхъ, даровитыхъ и бездарныхъ послѣдователей, политическая экономія не менѣе безчисленныхъ учениковъ Мальтуса и Рикардо, и сверхъ того, пестрѣйшая толпа различныхъ «правъ»: римское, гражданское, государственное, уголовное, и множество другихъ. И всѣ атласно-написандровныя подобія наукъ тщательно приведены, посредствомъ усѣченій и пришиваній, въ строгую гармонію, какъ между собою, такъ въ особенности и съ общими современными требованіями. Въ правомъ отдѣленіи, напротивъ того, помѣщается изученіе природы.

Если-бы молодымъ людямъ, вступающимъ въ храмъ науки, ставили вѣпросто о двухъ корридорахъ такъ откровенно, какъ онъ поставленъ здѣсь, то, разумѣется, кому же была-бы охота идти на лѣво и жевать атласъ? Но, къ несчастью, къ большому несчастью для молодыхъ людей, и для всего человечества, — все лѣвое отдѣленіе биткомъ набито сладкогласными сиренами, въ родѣ Маколея и Грановскаго, которыя только тѣмъ и занимаются, что очаровываютъ и завлекаютъ своимъ мелодическимъ пѣніемъ неопытныхъ посѣтителей великаго храма. Въ правомъ отдѣленіи совсѣмъ нѣтъ сиренъ; во первыхъ потому, что тамъ вообще, до сихъ поръ, мало обитателей, а во вторыхъ и потому, что наличнымъ обитателямъ рѣшительно некогда заниматься пѣснопѣніями: одинъ добываетъ какую нибудь кислоту, другой анатомируетъ пузырчатую глисту, третій изслѣдуетъ химическія свойства гуано, четвертый возится съ кореннымъ зубомъ какого нибудь *Elephas meridionalis*, пятый прилаживаетъ отрѣзанную лапку лягушки къ гальванической батарее, шестой анализируетъ мочу помѣшанныхъ людей, и такъ далѣе, и такъ далѣе, все въ томъ же прозанческомъ направленіи. Ну, скажите бога ради, такіа-ли это занятія, чтобы можно было запѣть по поводу ихъ мелодическую серенаду, способную очаровать и привлечь молодыхъ посѣтителей, только-что поступившихъ въ храмъ науки, и не умѣющихъ ясно отличать область чистой фантазіи отъ области строгаго знанія?

Неудивительно, что почти вся масса свѣжихъ умственныхъ силъ, не находившихъ себѣ никакого приложенія къ жизни, тратилась прежде или на строго научное веденіе правильныхъ атакъ противъ женскихъ сердецъ, или на писаніе и чтеніе сочиненій и статей въ маколеевскомъ родѣ, только гораздо пожиже. Грановскіе и ихъ ученики Берсенева почти совершенно удовлетворялись этою послѣднею дѣятельностью и были глубоко убѣждены въ томъ, что они дѣлаютъ дѣло, и что Россія, только по своей крайней неразвитости, не считаетъ ихъ великими гражданами; но люди болѣе умные, люди, подобные Лермонтову и его герою Печорину, рѣшительно отвергивались отъ русскаго маколейства и искали себѣ наслажденій въ любви, страдали исключительно отъ любовныхъ неудачъ, порхали съ цвѣтка на цвѣтокъ, довели русское донъ-жуанство до замѣчательной виртуозности и все таки скучали, какъ ни были разно-

образны и очаровательны отдѣльные эпизоды этой многотрудной дѣятельности.

Выбрать себѣ донъ-жуанство, когда общество живетъ или начать жить полною жизнью, значить, во первыхъ, обнаружить замѣчательное скудоуміе, а во вторыхъ, обнять мечту вмѣсто дѣйствительности; потому что въ живущемъ или пробуждающемся обществѣ, субъектъ, не имѣющій за собою никакихъ достоинствъ, кромѣ стремленія къ любви, одержитъ весьма слабое количество очень неблестящихъ побѣдъ. Въ такомъ обществѣ женщины всегда требуютъ отъ своихъ поклонниковъ хоть какихъ нибудь вѣшнихъ признаковъ дѣльности и умственной энергіи; тутъ ужъ невозможно колотить себя въ грудь и божиться, что въ этой груди заключены исполинскія силы, которыя тщетно стремятся найти себѣ исходъ; тутъ самая простодушная женщина скажетъ этому колотителю: чтожь вы не проявляете вашихъ силъ? Вѣдь вотъ М и N проявляютъ. И вы проявите. — И останется на это сказать только: слушаюсь-съ, сударыня; завтра же проявлять начну. Но въ цвѣтущее время печоринства постоянная праздность, хроническое скучаніе, и полный разгулъ страстей дѣйствительно составляютъ неизбежную и естественную принадлежность самыхъ умныхъ людей. Конечно, маску вѣчной скуки надѣвали на себя такіе люди, которые просто были глупы, которые во всякое время были-бы праздными, и которые старались только протрѣлить женское сердце разочарованными взорами. Грушницкіе носили тогда обноски Печоринныхъ, такъ точно, какъ теперь Ситниковы носятъ обноски Базаровыхъ. Конечно, и настоящіе Печорины часто интересничали своимъ скучаніемъ, когда это интересничаніе могло остаться незамѣченнымъ, сойдти за чистую монету и ускорить желанную развязку любовной интриги. Но, не смотря на то, скука настоящихъ Печоринныхъ вовсе не была маскою; она ихъ дѣйствительно тяготила, и, если-бы какой нибудь благодѣтельный геній предложилъ имъ снять съ нихъ эту проклятую обузу, то они съ большимъ удовольствіемъ дали-бы клятвенное обязательство никогда не надѣвать на себя личину этой скуки «для пушаго трагизма», какъ выражается г. Запцевъ. Печорины были во всѣхъ отношеніяхъ умнѣ Берсеневыхъ, и поэтому-то именно имъ и не оставалось никакого выхода изъ скуки и изъ міра любовныхъ похожденій. Конечно, ихъ силы могли-бы найти себѣ удовлетвореніе въ глубокомъ изученіи природы, но вѣдь надо же помнить, что въ нашемъ любезномъ отечествѣ только что на этихъ дняхъ сдѣлано то великое открытіе, что естественныя науки дѣйствительно существуютъ, что онѣ способны принести людямъ нѣкоторую пользу, и что не мѣшало-бы, вмѣсто «розъ Теокрита» возрастить на російскихъ сибѣгахъ нѣчто въ родѣ химіи, фізіологіи и анатоміи. Для Печоринныхъ естествознаніе было тѣмъ, чѣмъ будетъ, вѣроятно, во всякое время, интегральное исчисленіе для огромного большинства людей. Стало быть,

Петориннымъ не было никакого выбора и постоянная ихъ праздность нисколько не можетъ служить доказательствомъ ихъ умственной хлосты. Даже напротивъ того.

VIII.

Германія, классическая страна «здороваго растительнаго сна», настоящая родина чистѣйшаго филистерства, совершенно недоступна въ своей полной чистотѣ для всѣхъ остальныхъ частей нашей планеты, Германія, говорю я, сдѣлала однако устроить такъ, что ея многолѣтній сонъ не пропалъ даромъ, ни для нея самой, ни для человѣчества. Первые шестьдесятъ четыре года XIX столѣтія останутся навсегда незабвенною эпохою, какъ колыбель новѣйшаго естествознанія. Либихъ, Леманъ, Мульдеръ, Молешоттъ, Дюбуа-Реймонъ, Пфлюгеръ, Фирховъ, Фирордтъ, Фалентинъ, Гельмгольцъ, братья Веберы, Карлъ Фохтъ, Гиртль, Броннъ, Келликеръ, Фульротъ, Шахтъ, Александръ Гумбольдтъ, Шваннъ, Функе, Эренбергъ, Зибольдъ, и другіе болѣе или менѣ замѣчательные натуралисты, сдѣлали изъ этой эпохи незыблемый фундаментъ для будущаго развитія естествознанія. «Химическія письма» Либиха, «Круговоротъ жизни» Молешотта, «Исслѣдованія о животномъ электричествѣ» Дюбуа-Реймона, «Целлюлярная патологія» Фирхова, «Анатомія» Гиртля, «Гистологія» Келликера, «Дерево» Шахта, «Космосъ» Гумбольдта навсегда останутся драгоценнѣйшимъ достояніемъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Эти труды не только кладутъ фундаментъ будущаго благосостоянія, но, кромѣ того, даже въ настоящемъ увеличиваютъ богатство массъ; подобные люди счастливы, глубоко и безконечно счастливы въ двухъ отношеніяхъ: во первыхъ, они прежде другихъ созерцаютъ тѣ великія тайны природы, съ которыхъ они срываютъ завѣсу; и во вторыхъ, они видятъ счастье тѣхъ людей, которые имъ однимъ обязаны своимъ благосостояніемъ. Конечно, многія тайны остаются для нихъ недоступными; но я и не говорю, что истинные ученые естествоиспытатели наслаждаются безоблачнымъ блаженствомъ. Они часто и страдаютъ, и волнуются, но они не отдадутъ этихъ великихъ минутъ страданія и волненія за миллионы невозмутимыхъ филистерскихъ благополучій. Вы любите женщину, васъ волнуетъ и терзаетъ и ея присутствіе, и ея отсутствіе, и ея слова, и ея взгляды, и ея холодность, и ея страстность; въ самыя счастливыя минуты вы не знаете сами, весело ли вамъ, или больно; а между тѣмъ, всѣ эти мучительныя ощущенія безконечно дороги для васъ, и дороги даже тогда, когда весь вашъ романъ цѣликомъ ушелъ въ прошлое, и когда у васъ не осталось для настоящаго ров-

но ничего, кромѣ грустно-радужныхъ воспоминаній; какъ только прошедшее выступаетъ ярко передъ вашею памятью, такъ вамъ становится положительно больно, и никакого изъ этой боли не можетъ выйти толку; а между тѣмъ, вы любите даже эти томительныя минуты, и вы ни за что не согласились бы взять себѣ забвеніе, если бы даже оно было возможно.

Если вы когда нибудь любили, то вы найдете эти замѣчанія вѣрными, и вы получите тогда легкое понятіе о томъ, какимъ образомъ знающіе естествоиспытатели относятся ко всѣмъ трудамъ, непріятностямъ и страданіямъ той дѣятельности, которая наполняетъ всю ихъ жизнь. Когда типъ скучающихъ Печоринныхъ процвѣталъ въ нашемъ отечествѣ, тогда все таки никакія обстоятельства не мѣшали и не хотѣли мѣшать развитію физическихъ, химическихъ и физиологическихъ изслѣдованій. Конечно, идеи Фейербаха и Бюхнера считались и тогда очень предосудительными. Но совсѣмъ не въ этихъ идеяхъ и заключается сила современнаго естествознанія. Если, до сихъ поръ, мы относимся къ этимъ идеямъ съ особенною нѣжностью, и накидываемся на нихъ съ особенною жадностью, то это доказываетъ только, что мы стоимъ еще на самомъ порогѣ настоящей науки, и что мы, до сихъ поръ, никакъ не можемъ отказаться отъ ребяческой замашки строить системы міра изъ двухъ десятковъ собранныхъ кирпичей. Кромѣ того, запрещенный плодъ всегда привлекателенъ. Но настоящіе натуралисты тѣ, которымъ нѣтъ причины нѣжничать съ запрещенными плодами, и тѣ, которые находятъ скучнымъ полемизировать съ подобными созданіями человѣческой глупости, тѣ, говорю я, относятся съ глубочайшимъ равнодушіемъ къ такимъ системамъ, начиная съ необузданнаго идеализма Платона, и кончая простымъ матеріализмомъ Бюхнера. Они даже перестали удивляться тому, что люди спорятъ о такихъ предметахъ. Мы желаемъ работать, говорятъ естествоиспытатели, а не фантазировать. Работа же наша состоитъ въ изученіи тѣхъ сторонъ природы, которыя можно видѣть, измѣрять и вычислять. Такъ рассуждаютъ величайшіе изъ современныхъ натуралистовъ, и простота, и разумность такихъ рассужденій такъ очевидны, такъ неотразимо дѣйствуютъ на всѣ человѣческіе умы, даже на самыя неразвитыя, что передъ трудами натуралиста преклоняются съ невольнымъ уваженіемъ люди всѣхъ политическихъ партій.

На основаніи всѣхъ предъидущихъ соображеній, я рѣшаюсь высказать ту мысль, что наши Печорины могли проникнуть въ область труда, недоступную атмосферическимъ вліяніямъ, и проникли бы въ нее непременно, если бы они только имѣли ясное понятіе о ея существованіи. Мнѣ кажется, что имъ всего болѣе мѣшали открыть эту область три вещи: во первыхъ, наше общее невѣжество, во вторыхъ,—поэзія и эстетика и въ третьихъ—ученое фразерство нашихъ добродѣтельныхъ и не-

добродѣтельныхъ Маколеевъ. Послѣдніи двѣ причины жѣлали преимущественно тѣмъ, что возбуждали въ сильныхъ и естественно-свѣтитическихъ умахъ нашихъ Печоринныхъ презрѣніе къ умственной дѣятельности вообще. Они думали, по своей необразованности, что видятъ передъ собою образчики всей человѣческой науки и, замѣчая тотчасъ дряблость и практическое убожество тѣхъ занятій, которымъ, съ колѣнопреклоненіями и съ священнымъ ужасомъ, предавались наши Берсеневы, они, Печорины, рѣшали сразу, что все это чепуха, и что надо жить, пока живется, и что скука составляетъ неизбѣжную непріятность въ жизни каждого умнаго человѣка. Я увѣренъ, что, читая даже статьи Вѣлинскаго, многіе Печорины разсуждали про себя: «Да. Славно пишетъ. И умно, и честно. Но къ чему все это? «И если они разсуждали такимъ образомъ, то нельзя сказать, чтобы они были совершенно неправы. Если-бы Вѣлинскій и Добролюбовъ поговорили между собою съ глаза на глаза, съ полною откровенностью, то они разошлись-бы между собою на очень многихъ пунктахъ. А если-бы мы поговорили такимъ же образомъ съ Добролюбовымъ, то мы не сошлись-бы съ нимъ почти ни на одномъ пунктѣ. Читатели «Русскаго Слова» знаютъ уже, какъ радикально мы разошлись съ Добролюбовымъ во взглядѣ на Катерину, то есть, — въ такомъ основномъ вопросѣ, какъ оцѣнка свѣтлыхъ явленій въ нашей народной жизни. Слѣдовательно, самыя идеи Вѣлинскаго уже не годятся для нашего времени. Въ свое время онѣ были очень полезны, но неосновательно было-бы утверждать, что въ его время невозможны были такія другія идеи, которыя принесли-бы въдесятеро больше пользы.

Мнѣ кажется, что такія идеи были возможны даже тогда, Вѣлинскій, усвоившій себѣ полулитературное, полуфилософское образованіе, не могъ сдѣлаться проводникомъ этихъ другихъ идей; но тотъ-же Вѣлинскій, получившій математическое и строго реальное образованіе, тотъ же Вѣлинскій, съ тѣмъ же сильнымъ умомъ, съ тѣмъ же блестящимъ талантомъ, съ тѣми же честными убѣжденіями, но только Вѣлинскій натуралистъ, а не эстетикъ и не гегельянецъ, принесъ-бы въ десять разъ больше пользы; и послѣ дѣятельности такого атлета, мнѣ, конечно, не было-бы ни надобности, ни даже возможности писать въ 1864 году настоящія строки. Но многіе уцѣлѣвшіе и состарѣвшіеся Печорины никакъ не хотятъ и не могутъ повѣрить тому, что они, при всемъ своемъ умѣ, были круглыми невѣждами и, въ теченіи всей своей жизни, скучали не по возвышенности своей натуры, а только потому, что не знали, какъ взяться за дѣло. Поэтому, при встрѣчѣ съ молодыми Печоринными, они стараются ихъ разразить аргументами, какъ разражали, въ былые годы, гегелистовъ и маколеевъ россійской фабрикаціи. Но тутъ коса находитъ на камень и старые Печорины замѣчаютъ въ молодыхъ ту же холодную ясность взгляда, ту же умственную требовательность, ту же безпощадность ироніи,

словомъ, всѣ тѣ-же свойства, которыми они сами наводили трепетъ на Максима Максимовича, и благоговѣйную любовь на княжну Мери. И ко всему этому присоединяется знаніе, котораго у пятигорскаго демона не было. Да еще, въ добавокъ, не скучаютъ каналы, и даже отрицаютъ скуку, то есть ухитряются, такимъ образомъ, перещеголять демона даже въ отрицаніи, которое, какъ извѣстно, составляетъ его нарочитую спеціальность. Разумѣется, все это неимоვნно бѣситъ посѣдѣвшихъ Печоринныхъ, и имъ, чтобы не видѣть молодыхъ чертенятъ, которые оказываются шустрѣе старыхъ,—остается только взять примѣръ съ Павла Петровича Кирсанова, то есть, уѣхать въ Дрезденъ и показывать себя публикѣ на брюлевской террасѣ.

IX.

Базаровъ говоритъ Аркадію: «твой отецъ добрый малый, но онъ чело-вѣкъ отставной, его пѣсенька спѣта. Онъ читаетъ Пушкина. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Вѣдь онъ не мальчикъ: пора бросить эту ерунду. Дай ему что нибудь дѣльное, хоть Бюхнерово «Stoff und Kraft» на первый случай».

Выписавъ эти слова, г. Антоновичъ прибавляетъ отъ себя замѣчаніе: «Сынъ вполне согласился съ словами друга и почувствовалъ къ отцу сожалѣніе и презрѣніе».

Но во-первыхъ, это неправда, ни сожалѣнія, ни презрѣнія Аркадій не чувствовалъ къ своему отцу, ни до этого разговора, ни *послѣ*. А во вторыхъ, если-бы даже глупость Аркадія дошла до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, то, разумѣется, *сожалѣніе и презрѣніе* родилось-бы въ немъ не отъ того, что онъ *согласился съ словами друга*, а отъ того, что онъ *понялъ* эти слова совсѣмъ наизуворотъ. Базаровъ нисколько не желаетъ разъединять сына съ отцемъ; напротивъ того, Базаровъ своимъ совѣтомъ указываетъ на тотъ единственный путь, по которому Аркадій можетъ приблизиться къ Николаю Петровичу, не измѣняя идеямъ своего поколѣнія. Но прежде всего необходимо правильно понимать Базарова; онъ выражается всегда очень сильно и довольно небрежно; поэтому, если мы захотимъ придираться къ отдѣльнымъ словамъ, намъ будетъ вовсе не трудно извратить ихъ смыслъ, обвинить Базарова въ различныхъ намѣреніяхъ, и даже отыскать въ каждой его фразѣ по нѣскольку противорѣчій. Напримѣръ, онъ говоритъ, что Николай Петровичъ — чело-вѣкъ отставной, и въ тоже время совѣтуетъ дать ему что нибудь дѣльное. Явное противорѣчіе! Если отставной, такъ и пускай читаетъ Пушкина; не зачѣмъ его и отрывать отъ этого безвреднаго занятія. Далѣе: противъ

чтенія Пушкина приводится тотъ аргументъ, что «вѣдь онъ (т. е. Николай Петровичъ) не мальчикъ.» Это опять похоже на бессмыслицу. Значить, если-бы Базаровъ увидалъ сочиненія Пушкина въ рукахъ семнадцатилѣтняго мальчика, то онъ этого мальчика похвалилъ-бы за прилежаніе и нашелъ бы, что этому мальчику дѣйствительно слѣдуетъ тратить время на чтеніе «Кавказскаго плѣнника» и «Бахчисарайскаго фонтана.» Уличивши, такимъ образомъ, Базарова въ противорѣчіяхъ, доказавши ему, что онъ самъ не понимаетъ своихъ собственныхъ словъ, мы, конечно, безъ малѣйшаго труда, придемъ къ тому заключенію, что Базарову, какъ самолюбивому мальчишкѣ, хочется только поумничать надъ почтеннымъ отцемъ семейства, и что вся тирада противъ Пушкина должна быть приписана этому мелкому предосудительному побужденію. Это заключеніе чрезвычайно печально, потому что оно доказываетъ намъ удивительную непрочность той гармоніи, которая господствуетъ въ самыхъ лучшихъ и просвѣщенныхъ русскихъ семействахъ.

Когда Базаровъ говоритъ съ Аркадіемъ о Николаѣ Петровичѣ, то слова могутъ подать поводъ къ ложнымъ истолкованіямъ; въ этихъ словахъ можно отыскать безсвязность и нелѣпость; но стоитъ только взглянуть на эти слова безъ предубѣжденія, чтобы увидать и понять немедленно честныя, чистыя и вполне сознательныя стремленія Базарова.—Зачѣмъ онъ говоритъ Аркадію, что его отецъ — человѣкъ отставной? — Очень понятно, зачѣмъ. — Аркадій — юноша впечатлительный. Пріѣхавъ въ деревню, онъ подчиняется вліянію разнѣживающей обстановки и увлекается симпатичною личностію своего добраго отца. Любитъ отца очень похвально, но всякій читатель вѣроятно согласится со мною въ томъ, что двадцатилѣтнему юношѣ не слѣдуетъ относиться къ требованіямъ современной дѣйствительности такъ, какъ относится къ нимъ сорока-четырелѣтній мужчина. Если пожилой человѣкъ отдыхаетъ и благодушествуетъ, если онъ занимается полезнымъ трудомъ отъ нечего дѣлать, если этотъ трудъ составляетъ для него не цѣль и смыслъ всего существованія, а только пріятное развлеченіе, въ родѣ прогулки для моціона, если, говорю я, все это дѣлается пожилымъ человѣкомъ, то мы отъ всей души говоримъ ему спасибо за то, что онъ не мѣшаетъ работѣ другихъ людей, и еще за то, что онъ способенъ находить удовольствіе въ такихъ занятіяхъ, которыя не могутъ быть названы совершенно бесполезными. Мы всегда должны помнить, что человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ провелъ всю свою молодость въ печоринскомъ періодѣ, и что вынужденная неподвижность дѣйствуетъ на человѣческія силы гораздо разрушительнѣе, чѣмъ самый тяжелый и изнурительный трудъ. Поэтому, реалисты никогда не потребуютъ отъ Николая Петровича, чтобы онъ съ юношескою энергіею и съ горячимъ усердіемъ принялся за работу нашего времени. Но, по этой же самой причинѣ, реалисты отнесутся съ полнымъ и совер-

нелюбимъ справедливый презрѣніемъ къ тому двадцатилѣтнему прайдолобцу, который вздумаетъ отдыхать, благодушествовать и дилетантствовать, подобно Николаю Петровичу. Или работой серьезно, или совсѣмъ не принимайся за работу—они скажутъ каждому изъ своихъ сверстниковъ, потому что отъ нихъ, отъ нашихъ сверстниковъ, мы имѣемъ полное право настоятельно требовать непреклонной энергіи, желѣзнаго терпѣнія и неутомимаго трудолюбія. У кого нѣтъ этихъ свойствъ и кто, будучи двадцатилѣтнимъ, здоровымъ парнемъ не въ состояніи выработать въ себѣ эти свойства, тотъ не можетъ пользоваться уваженіемъ нашихъ, того ошибаются и осмѣютъ, если онъ осмѣлится пуститься въ добродѣтельные фразы о своемъ пламенномъ сочувствіи общему дѣлу отечественнаго прогресса. Намъ нужна полезная работа, и нѣтъ никакого дѣла до пламенныхъ сочувствій. Сочувствіе же мы съ полною признательностью принимаемъ только отъ тѣхъ людей, которые уже не въ силахъ быть дѣятельными работниками.

Теперь понятно, что значать слова Базарова: «твой отецъ — человѣкъ отставной». Это значить: помни, о другъ мой, Аркадій Николаевичъ, что съ твоей стороны будетъ совершенно неприлично вести тотъ образъ жизни, который дѣлаетъ твоему пожилому отцу большую честь. Онъ поступаетъ хорошо, потому что онъ отставной, но тебѣ рано выходить въ отставку. Смотри же, держи ухо востро, если не желаешь къ двадцати пяти годамъ сдѣлаться Афанасіемъ Ивановичемъ. Когда Аркадій женился на Катеринѣ Сергѣевнѣ, онъ дѣйствительно превратился въ Афанасія Ивановича, и можно было сказать заранѣе, что всѣ предостереженія Базарова пронадутъ даромъ, потому что воскъ ни при какихъ условіяхъ не перестанетъ быть воскомъ, и не сдѣлается ни сталью, ни алмазомъ. Но вѣдь Базаровъ не виновать въ томъ, что его разумныя слова попадали въ ослиное ухо. Слова все таки разумны, намѣреніе все таки честно, а если успѣхъ невеликъ, такъ что же съ этимъ дѣлать? Намъ пришлось-бы наложить на себя пифагорейскій обѣтъ молчанія, если-бы мы стали высказывать наши мысли только въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ навѣрное должны попасть въ цѣль и произвести осизательный практическій результатъ.

Это напоминаетъ мнѣ, что фельетонистъ «Современника» называетъ Базарова болтуномъ. О Господи! Уже не нашимъ бы литераторамъ высказывать этотъ упрекъ. Намъ, пишущимъ людямъ, приходится болтать десятки лѣтъ прежде, чѣмъ наша болтовня дойдетъ до назначенію. Или, можетъ быть, г. Щедринъ думаетъ, что каждое его слово творитъ чудеса и извлекаетъ изъ камня нашей закостѣлости живую воду плодотворныхъ идей и высокихъ стремленій? Ну, и пускай думаетъ! Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ!—Но Базаровъ даже и говорить то совсѣмъ немного, и выражаетъ свои мысли такъ коротко и отры-

висто, что почти каждое его слово требует дополнительных и пояснительных комментариевъ. Такъ не говорятъ болтуны, то есть, люди наслаждающіеся звукомъ собственныхъ рѣчей. Такъ говорить только дѣловые люди, чувствующие непримиримую ненависть ко всякому риторству. Сказавши Аркадію, что его отецъ отставной человѣкъ, Базаровъ на этомъ не останавливается. Онъ не хочетъ махнуть рукой на отставного человѣка и отвернуться отъ него. Онъ говоритъ Аркадію: «растолкуй ему, что это куда негодится...» «Дай ему что нибудь дѣльное.» — Затѣмъ онъ это говоритъ? Конечно не затѣмъ, чтобы сдѣлать Николая Петровича великимъ естествоиспытателемъ. И конечно не затѣмъ, чтобы покуражиться надъ этимъ добродушнымъ и смирнымъ человѣкомъ. Если-бы онъ хотѣлъ куражиться, то онъ самъ полѣзъ-бы съ совѣтами къ Николаю Петровичу, вмѣсто того, чтобы разговаривать съ его сыномъ. Базаровъ просто желаетъ подѣлиться тѣмъ, что онъ считаетъ высшими человѣческими наслажденіями со всякимъ, кто только способенъ воспринять и почувствовать эти наслажденія. Если вы любите ѣсть устрицы, то очень-естественно, что вы при случаѣ будете угощать устрицами каждаго изъ вашихъ знакомыхъ; и вы даже, съ особеннымъ удовольствіемъ, будете вовлекать въ любовь къ устрицамъ тѣхъ людей, которые никогда не брали ихъ въ ротъ и смотрять на нихъ съ непроизвольнымъ ужасомъ. Ваше удовольствіе будетъ совершенно безкорыстно, и оно будетъ вытекать изъ самого чистого источника. Вамъ хочется, чтобы вмѣстѣ съ вами наслаждались и другіе. На этомъ желаніи основано убійственное хлѣбосолюство гоголевскаго Пѣтуха, и хлѣбосолюство это, проявляющееся въ самыхъ скотскихъ размѣрахъ, все-таки остается очень симпатичнымъ, именно потому, что въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго тщеславія, а только одно добродушіе: пользуйся, молъ, всякая душа человѣческая! — Пѣтухъ кормитъ своихъ гостей на убой, а Базаровъ хочетъ усадить Николая Петровича за книгу, которую онъ считаетъ дѣльною; оба дѣйствуютъ по одинаковому побужденію. «Мнѣ хорошо; хочу чтобъ и другому было хорошо», — это размышленіе такъ просто, такъ естественно, такъ неистребимо въ каждомъ здоровомъ человѣческомъ организмѣ, что и Пѣтухъ способенъ размышлять такимъ образомъ. А между тѣмъ, всѣ величайшіе подвиги чистѣйшаго человѣческаго героизма совершались и будутъ совершаться всегда, именно на основаніи этого простого размышленія. — А критика наша, по обыкновенію, смотритъ въ книгу и видитъ фигу, и на основаніи этой фіги, изобличаетъ Базарова въ непочтительности, въ жесткости, и во всякомъ озорствѣ. Долго придется г. Антоновичу расказываться въ его статьѣ объ «Асмодеѣ нашего времени.» Много вреда надѣлала эта статья. Сильно перепутала она понятія нашего общества о молодомъ поколѣніи. Такъ напакостить могъ именно только одинъ «Современникъ.»

А что же значатъ слова Базарова: «вѣдь онъ не мальчишъ?» — Это значитъ: «когда твой отецъ былъ мальчишкомъ, тогда позволительно было читать Пушкина, потому что лучше наслаждаться четырехстопными ямбами, чѣмъ «ромомъ и аракомъ,» или воронными рисаками. Теперь онъ не мальчишъ, и теперь настали другія времена, и теперь люди научились создавать себѣ болѣе прочныя, болѣе разумныя и болѣе сильныя наслажденія. Пусть твой отецъ отвѣдаетъ этихъ наслажденій и онъ, какъ человѣкъ неглупый, навѣрное полюбитъ ихъ и броситъ ямбы и хорен. Помоги твоему отцу; тебѣ самому будетъ чрезвычайно пріятно сознать, что ты принесъ ему пользу, и что ты открылъ ему доступъ къ великимъ наслажденіямъ мысли. И еще пріятнѣе будетъ для тебя то обстоятельство, что отецъ сдѣлается твоимъ другомъ и помощникомъ во всѣхъ твоихъ дальнѣйшихъ работахъ.» Вотъ мысль Базарова, развитая во всѣхъ подробностяхъ. Если смотрѣть на его слова безъ предвзятой идеи, безъ недоброжелательнаго предубѣжденія, то невозможно даже предположить, чтобы эти слова были произнесены вслѣдствіе какогонибудь другого процесса мысли.

Я обращаюсь теперь къ каждому безпристрастному читателю съ вопросомъ: есть-ли малѣйшая возможность заподозрить Базарова въ желаніи поглумиться надъ Николаемъ Петровичемъ, и унизить въ его лицѣ лучшую часть старшаго поколѣнія? Я убѣжденъ въ томъ, что каждый безпристрастный читатель, взглянувъ на мои доводы, совершенно очиститъ Базарова отъ тѣхъ нелѣпыхъ обвиненій, коотрыя введены на него близорукою критикою. Слова Базарова, вѣсто большой пользы, принесли крошечный вредъ, то есть, огорчили на нѣсколько дней Николая Петровича, и поселили между отцемъ и сыномъ легкое неудовольствіе, которое, однако, скоро исчезло. Случилось же это, во первыхъ, потому, что Николай Петровичъ нечаянно подслушалъ эти слова, которыхъ ему вовсе не слѣдовало слышать; а во вторыхъ потому, что Аркадій оказался набитымъ дуракомъ, и превзошелъ въ этомъ отношеніи всѣ ожиданія или опасенія Базарова. Однажды, когда Николай Петровичъ читалъ Пушкина (а читалъ онъ его, повидимому, часто и усердно) Аркадій подошелъ къ нему, съ ласковою улыбкою взявъ у него изъ рукъ книгу и вмѣсто Пушкина положилъ передъ нимъ Kraft und Stoff. Ну, и оправдалась пословица: услужливый дуракъ и т. д. Базаровъ сказалъ: дай ему на первый случай хоть Бюхнерово «Kraft und Stoff» — Аркадій буквально исполнилъ этотъ совѣтъ. Но Базаровъ сказалъ, кромѣ того: «*ристолкуй* ему, что это (т. е. Пушкинъ) никуда негодится» — а сообразительный Аркадій пропустилъ эти слова мимо ушей, и не понялъ, что въ нихъ заключается весь смыслъ дѣла. Само собою разумѣется, что школьническая, нелѣпая и дерзкая выходка Аркадія, смягченная и украшенная ласковою улыбкою, не мо-

гла разъяснить Николаю Петровичу значеніе естествознанія для исторической жизни массъ и для міросозерцанія отдѣльнаго человѣка. Читатель имѣетъ полное право назвать Аркадія самонадѣяннымъ пошлякомъ, и Николаю Петровичу остается только вздохнуть, пожать плечами, и пожалѣть о томъ, что сынъ его такъ плохъ въ умственномъ отношеніи. Но за чѣмъ же валить съ больной головы на здоровую? Въ чемъ тутъ виноватъ Базаровъ? И что общаго имѣетъ глупость Аркадія съ идеями, которыми проникнуты наши реалисты? Шекспиръ — очень замѣчательный писатель, но и шекспировскую драму можно такъ искусно перевести, и такъ восхитительно разыграть на сценѣ, что она покажется гораздо хуже драмы Нестора Кукольника, или Николая Полевого. Если-бы Аркадій былъ дѣйствительно проникнутъ сознательною любовью къ наукѣ, если бы онъ разумно и убѣдительно заговорилъ съ своимъ отцемъ объ умственныхъ интересахъ естествоиспытателей нашего времени, если бы онъ возбудилъ и направилъ любознательность Николая Петровича, если бы онъ, такимъ образомъ, доставилъ ему много чистыхъ наслажденій, и если бы онъ, посредствомъ этихъ наслажденій, сблизился съ своимъ отцемъ тѣснѣе, чѣмъ когда либо, — то, навѣрное, никому изъ читателей не пришло бы въ голову обвинять Аркадія въ непочтительности къ родителямъ, или въ недостаткѣ сыновней любви. А поступая такимъ образомъ, Аркадій исполнилъ-бы съ самою добросовѣстною точностью дружескій совѣтъ Базарова, тотъ самый совѣтъ, который онъ, по своей глупости, совершенно изуродовалъ. — Изъ всего, что было говорено выше, я вывожу то заключеніе, что взаимному пониманію этихъ двухъ поколѣній, старшаго и молодого, мѣшаютъ, съ одной стороны, старые Печорины, подобные Павлу Петровичу, а съ другой стороны, глупые юноши, подобные Ситникову и Аркадію. То есть, другими словами, мѣшаютъ непониманіе и тупоуміе.

Х.

«Базаровъ — циникъ; взгляды Базарова на женщину проникнуты самымъ грубымъ цинизмомъ». Такое сужденіе вы услышите отъ cadaго русскаго человѣка, прочитавшаго романъ Тургенева, и умѣющаго произнести слова «циникъ» и «цинизмъ». Въ устахъ русскаго человѣка эти слова имѣютъ, конечно, ругательное значеніе; такъ какъ мы сами, до сихъ поръ, не были причастны ни къ одной философской школѣ, то мы ухитрились всѣ дошедшіе до насъ философскіе термины осмыслить по своему, сообразно съ уровнемъ нашихъ умственныхъ отпавленій. Вслѣд-

эзію, на которой основано народное міросозерцаніе. Учитель долженъ говорить съ своими учениками простымъ и понятнымъ языкомъ, и кромѣ того долженъ обращаться съ ними такъ кротко и добродушно, чтобы ученики не робѣли передъ нимъ, и откровенно предлагали ему свои вопросы и возраженія, если его рассказы кажутся имъ непонятными или несогласными съ тѣми идеями, которыя составились въ ихъ головахъ до прихода въ школу. Учителю необходимы, кромѣ того, умѣнье и навыкъ; но эти вещи приобрѣтаются чисто практическимъ путемъ, и ихъ нельзя вычитать ни въ сборникѣ былинъ, ни въ «Очеркахъ» г. Буслаева. Когда учитель передастъ ученикамъ элементарныя основанія географіи, то ему нѣтъ никакой надобности говорить, что земля *не* стоитъ на трехъ китахъ,—что Царь-градъ *не* есть пупъ земли, и что *нѣтъ* такой страны, въ которой живутъ люди съ песьими головами. Пусть онъ рассказываетъ только то, что *есть*; если ученикъ слышалъ о китахъ и о пупѣ земли, то онъ самъ спроситъ у учителя на счетъ этихъ очаровательныхъ созданій народной мудрости, и тогда учитель объяснитъ ему, что все это неимовѣрная чепуха. Поэтому я говорю еще разъ, что изучать народное міросозерцаніе или, проще, народное сужденіе нѣтъ никакой надобности.

Управившись такимъ образомъ съ древнимъ періодомъ нашей литературы, Снѣговъ, разумѣется, не почувствуетъ особеннаго расположенія остановиться съ уваженіемъ и съ любовью на созерцаніи XVIII вѣка. Снѣговъ знаетъ, что въ это время сформировался нашъ литературный языкъ и нашъ стихъ. Но Снѣговъ находитъ, что гораздо благоразумнѣе пользоваться сформированнымъ языкомъ для распространенія въ обществѣ полезныхъ знаній и здравыхъ идей, чѣмъ любоваться на колыбель этого языка, и перечислять всѣ забытыя шалости этого милого ребенка, постоянно ходившаго, и до сихъ поръ продолжающаго ходить на спасительныхъ помочахъ. Что же касается до стиховъ, то въ этомъ отношеніи Снѣговъ можетъ быть названъ настоящимъ варваромъ; онъ, каналья, равнодушенъ къ ихъ гармоніи; онъ думаетъ, что время дорого, и что его не слѣдуетъ тратить ни на сочиненіе новыхъ стиховъ, ни на чтеніе напечатанныхъ произведеній нашей современной поэзіи, ни на изслѣдованіе того вопроса, кто ввелъ у насъ тоническое стихотвореніе, кто его усовершенствовалъ, и чрезъ какія фазы развитія оно перешло со временъ Тредьяковскаго до временъ г. Майкова.

Такимъ образомъ, передъ моимъ Снѣговымъ остается только третій періодъ, или современная литература. Къ этому періоду онъ относится съ сочувствіемъ и уваженіемъ, потому что въ это время многіе честные и умные люди бросили смѣлый и безпристрастный взглядъ на «бѣдность, да несовершенства нашей жизни».

Если мы не будемъ знать того, что пережили и передумали эти

думать, что этот этюдъ въ настоящее время будетъ не совсѣмъ безполезенъ; онъ до нѣкоторой степени облегчитъ намъ пониманіе того сфинкса, который называется молодымъ поколѣніемъ, и который, подъ этимъ названіемъ, наводитъ недоумѣніе и ужасъ на очень многихъ добрыхъ людей обоого пола.

Увидавши Одинцову на балѣ у губернатора, Базаровъ прежде всего обращаетъ вниманіе на ея наружность. «Кто-бы она ни была, говоритъ онъ Аркадію, просто ли губернская львица, или «эманципе», въ родѣ Кукшиной, только у ней такія плечи, какихъ я не видывалъ давно. — Аркадія покорило отъ цинизма Базарова.» — (Отцы и дѣти. стр. 112). Вотъ и чудесно! Слово «цинизмъ» сразу вырвалось у самого Тургенева. Это даетъ самый удобный случай проанализировать, какого рода штука этотъ цинизмъ. Что молодой человѣкъ равнодушенъ къ красотѣ молодой женщины, — въ этомъ, кажется, самый строгій моралистъ и самый восторженный поэтъ, каждый съ своей точки зрѣнія, не найдутъ ровно ничего предосудительнаго. Уже на томъ свѣтѣ стоитъ, что молодые люди нравятся другъ другу, и что любовь, начинается преимущественно съ того пріятнаго впечатлѣнія, которое производитъ привлекательная наружность. Когда человѣкъ почувствовалъ это пріятное впечатлѣніе, то почему-же его и не высказать третьему лицу, которому это сообщеніе нисколько не можетъ быть оскорбительно? — Да, конечно, скажетъ мой изящный читатель, но какъ высказать? — О, я знаю; въ этомъ какъ и заключается настоящая загвоздка. Молодому человѣку позволено говорить о красотѣ женщины, даже о ея бюстѣ, даже о ея роскошныхъ формахъ, но при этомъ онъ, во первыхъ, долженъ выражаться отборными словами, специально обточенными для подобныхъ живописаній; а во вторыхъ, онъ долженъ, во время такого разговора, млѣть и благоговѣть, прищуривать глаза и изображать на своихъ губахъ блаженную улыбку небеснаго созерцанія. Тогда никому въ голову не прійдетъ произнести слово «цинизмъ»; тогда скажутъ, напротивъ того, что молодой человѣкъ — художникъ, способный увлечься высшими идеалами, и что онъ въ конечной формѣ усматриваетъ безконечную идею прекраснаго. — Но, такъ какъ Базаровъ говоритъ спокойно и называетъ плечи — плечами, а не формами, и о безконечной идеѣ прекраснаго не заикается, то сейчасъ является на сцену «цинизмъ», и начинается коробить благонаправнаго Аркадія, который однако способенъ, подобно большей части юныхъ птенцовъ, выслушивать съ величайшимъ наслажденіемъ самыя нескромныя описанія, если только эти описанія производятся по всѣмъ правиламъ эстетики. Куда ни кинь, вездѣ на эстетику натыкаешься.

Любопытно замѣтить, что самъ Добролюбовъ съ этой стороны заплатилъ дань эстетикѣ. Защищая какой-то характеръ, кажется, характеръ Катерины, онъ говоритъ, что его могутъ извратить и опошлить въ сво-

емъ пониманіи только тѣ грязные люди, которые все мараютъ своимъ прикосновеніемъ, которые даже на какую нибудь Венеру Милосскую смотрятъ съ пріапическою улыбкою и съ низкими чувственными помыслами. Я совершенно согласенъ съ Добролюбовымъ, что скалить зубы передъ мраморною статуею—занятіе очень глупое, бесплодное и неблагодарное; но, наперекоръ всѣмъ художникамъ и эстетикамъ въ мірѣ, я осмѣлюсь утверждать, что всѣ экстазы самыхъ просвѣщенныхъ и рафинированныхъ поклонниковъ древней скульптуры въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ пріапическихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній. Послѣднія только проще, непосредственнѣе и откровеннѣе; вслѣдствіе чего и нелѣпость послѣднихъ обрисовывается гораздо рѣзче. Именно, эта очевидная нелѣпость дѣлаетъ ихъ менѣе вредными, сравнительно съ утонченными восторгами. Человѣкъ нехитрый взглянетъ на статую, осклабится своею неизящною улыбкою, постоитъ минуты двѣ — три передъ чудомъ искусства, да и пройдетъ мимо. А люди, посвященные въ таинства экстазовъ, поступаютъ совершенно иначе: они часто всѣ свои силы и всю свою жизнь ухлопываютъ на то, чтобы доставлять эти экстазы себѣ и другимъ; два класса людей, эстетики и художники, только этимъ и занимаются, и при этомъ они находятъ, что дѣлаютъ дѣло. Такую трату свѣжихъ умственныхъ силъ и драгоценнаго времени слѣдуетъ назвать, по меньшей мѣрѣ, непроеводительною и убыточною. Смотрѣть съ пріапическою улыбкою на живую женщину не только глупо, но даже дерзко и совершенно непозволительно, по той простой причинѣ, что такая улыбка можетъ оскорбить, или, по крайней мѣрѣ, привести въ замѣшательство ту личность, къ которой она адресуется. Но Базаровъ говоритъ съ постороннимъ лицомъ, такъ что объ оскорбленіи тутъ не можетъ быть и рѣчи. Стало быть, остается только разрѣшить вопросъ, какимъ языкомъ лучше говорить о красотѣ женщины: высокимъ и восторженнымъ, или простымъ и естественнымъ. Можно было бы сказать, что ужъ это дѣло личнаго вкуса, но я намѣренъ пойти далѣе, и осмѣлюсь выразить то мнѣніе, что говорить, въ этихъ случаяхъ простымъ, базаровскимъ языкомъ гораздо благоразумнѣе и достойнѣе мыслящаго человѣка.

Въ другомъ мѣстѣ того же романа, Базаровъ умоляетъ своего друга, Аркадія Николаевича, «не говорить красиво», но, по своему обыкновению, Базаровъ не пускается въ дальнѣйшія діалектическія тонкости, и не объясняетъ причины, почему красивыя рѣчи возбуждаютъ въ немъ непобѣдимое отвращеніе. Между тѣмъ, такая причина дѣйствительно существуетъ, и ее никакъ нельзя назвать неосновательною. Люди, пробудившіе въ себѣ способность размышлять, ежедневно и ежечасно играютъ сами съ собою въ очень странную и смѣшную игру. Придетъ-ли ему въ голову какая нибудь мысль, шевельнется ли въ его нервной си-

стемъ какое нибудь ощущеніе, человѣкъ тотчасъ ухватывается за это душевное движеніе и начинаетъ его осматривать съ различныхъ сторонъ: что, молъ, это за штука? И какъ ее сформулировать? И подъ какую категорію подвести? И изъ какихъ основныхъ свойствъ моей личности она вытекаетъ? Конечно, процессъ анализа почти никогда не поднимается до настоящихъ фیزیологическихъ причинъ даннаго явленія; останавливаясь на половинѣ, или, еще чаще, въ самомъ началѣ пути, этотъ процессъ обыкновенно заканчивается тѣмъ, что данная мысль или данное ощущеніе получаетъ себѣ то или другое названіе. Если нашему аналитику удастся подобрать названіе красивое, то онъ немедленно почувствуетъ удовольствіе, и даже проникнется нѣкоторымъ уваженіемъ къ своей особѣ:—однако, подумаетъ, я молодецъ. Вотъ какія тонкія мысли и высокія ощущенія я способенъ въ себѣ вынашивать. Но вѣдь приискивать красивыя названія и пригонять къ этимъ названіямъ психическіе анализы—дѣло совсѣмъ немудреное; если только приобрѣсти въ этомъ занятіи нѣкоторый навыкъ, то можно дѣйствовать безъ промаха, и въ каждой плоской выдумкѣ своего я, въ каждомъ естественномъ отправленіи своего организма усматривать бездну граціи, изящества, мягкости, великодушія и всякихъ другихъ благоухающихъ атрибутовъ. Тутъ, конечно, удовольствію и самоуваженію не будетъ конца. Когда человѣкъ покупаетъ себѣ самоуваженіе дорогою цѣною полезнаго и неустрашаемаго труда, когда онъ поддерживаетъ въ себѣ это чувство ежедневными усиліями ума и воли, направленныхъ къ великимъ, общечеловѣческимъ цѣлямъ, тогда самоуваженіе облагораживаетъ его, то есть, постоянно укрѣпляетъ его на новые подвиги труда и борьбы. Но, когда человѣкъ платитъ себѣ за самоуваженіе фальшивою монетою красивыхъ выраженій и плоскихъ софизмовъ, когда онъ, такимъ образомъ, безсознательно выучивается шулерничать съ самимъ собою, тогда онъ быстро пошлѣетъ и опускается, продолжая по прежнему воскуривать себѣ свой затхлый фиміамъ. Чѣмъ мельче становятся мысли и чувства, тѣмъ вычурнѣе и красивѣе подбираются для нихъ названія, потому что навыкъ съ каждымъ днемъ усиливается въ этомъ ремеслѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ. Такимъ-то именно путемъ и вырабатываются отъявленные тунеядцы, считающіе себя русскими лириками. Такимъ-же точно путемъ многіе великіе умы парализировали и оскопили свою дѣятельность. Гете, а вмѣстѣ съ нимъ и добрякъ Шиллеръ, совершенно чистосердечно убѣдили сами себя и другъ друга, что имъ стоитъ только потоньше ощущать, да повозвышеннѣе мыслить, да помудренѣе выражаться, и что они тогда окажутъ всему человѣчеству неизмѣримыя благодѣянія. Утвердившись на этой позиціи, великія свѣтила нѣмецкой поэзіи вскорѣ сдѣлали открытіе, что ощущенія ихъ достаточно тонки, мысли достаточно возвышенны и выраженія достаточно замысловаты. Тогда осталось только лю-

боваться своими совершенствами и продовольствовать простое человечество не грубыми плодами полезнаго умственнаго труда, а тонкимъ изяществомъ просвѣтленныхъ личностей. Восхищайтесь, молъ, нами и благодарите бога за то, что мы живемъ среди васъ, и что вы можете созерцать такую невиданную красоту души и ума. А увѣривъ себя въ этомъ, Гете самъ себя считалъ великимъ. Какъ могъ онъ, при своемъ громаднѣмъ умѣ, предпочитать узкій мѣръ своихъ личныхъ ощущеній широкому міру волнующейся жизни человечества? Какъ могъ онъ ставить субъективную мечту, отправленіе единичнаго организма, выше той дѣйствительной драмы, которая ежеминутно, на каждомъ шагу, съ учрежденія первыхъ человѣческихъ обществъ, разыгрывается передъ глазами каждаго мыслящаго наблюдателя? Филистерская трусость Гете не разъяснить намъ этой загадки. Если-бы тутъ была одна трусость, Гете не могъ-бы такъ чистосердечно уважать и обожать себя. Нѣтъ; мѣръ личныхъ ощущеній былъ для него не убѣжищемъ, а храмомъ, въ которомъ онъ поселился съ полнымъ убѣжденіемъ, что прекраснѣе и священнѣе этого мѣста нѣтъ ничего на свѣтѣ. Чтобы увидать въ самомъ себѣ свѣтлый храмъ, а въ окружающей жизни грязную базарную площадь, чтобы забыть, такимъ образомъ, естественную солидарность своего я съ окружающими глупостями и страданіями остальныхъ людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критическій смыслъ красотою отборныхъ выраженій. Мелкія мысли и мелкія чувства надо было возвести въ перлъ созданія; Гете выполнилъ этотъ фокусъ, и подобные фокусы считаются до сихъ поръ величайшимъ торжествомъ искусства; но производятся такія штуки не только въ сферѣ искусства, а также и во всѣхъ остальныхъ сферахъ человѣческой жизни.

Маленькій, но поучительный примѣръ такого фокуса представляется намъ въ романѣ Тургенева, въ лицѣ Павла Петровича. — «Я очень хорошо знаю, напримѣръ, говоритъ этотъ perfect gentleman, что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность наконецъ, но это все происходитъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка.» (стр. 74).

Я сомнѣваюсь въ томъ, чтобы магическая сила красивыхъ словъ могла обрисоваться когда нибудь и гдѣ нибудь ярче и нагляднѣе, чѣмъ она обрисована въ этомъ мѣстѣ. Циникъ, подобный Базарову, скажетъ: я умываю лицо и руки, стригу ногти, причесываю волосы, хожу въ баню, мѣняю бѣлье—и только. И эти простые слова не возбуждаютъ въ говорящей личности никакого пріятнаго чувства удовлетворенной гордости. А эстетикъ, подобный Павлу Петровичу, скажетъ: — я повинуюсь чувству долга, и поддерживаю свое достоинство, я уважаю въ себѣ человѣка — значитъ, я развитая личность, значитъ, я себя по головѣ по-

глажу, значить, я дѣло дѣлаю, значить, я могу съ спокойною совѣстью почивать на лаврахъ. И мужикъ ходитъ въ баню, но онъ ходитъ по грубой животной потребности, а я хожу съ размышленіемъ, я одухотворяю процессъ физическаго омовенія высшимъ процессомъ мыслительной дѣятельности. Такимъ образомъ, будетъ постоянно возрастать дешовое самоуваженіе, и съ каждымъ днемъ неизлечимѣе и безнадежнѣе будутъ становиться пустота, пошлость и праздность фразерствующей личности. Если человѣкъ не съумасшедшій можетъ ставить себя въ заслугу то, что онъ умывается душистымъ мыломъ и носитъ туго накрахмаленные воротнички, и если даже эта не замысловатая вещь можетъ уложиться въ опрятную и красивую фразу, то понятно, какой неистощимый матеріалъ самовосхваленія могутъ доставить такому человѣку самыя простыя отношенія къ женщинѣ. Полюбоваться красотой женщины, кажется, не велика мудрость и не важный подвигъ; но эстетикъ самъ себя представить свои ощущенія въ такомъ эфирно облагороженномъ видѣ, что, при семъ удобномъ случаѣ, непременно умилился надъ нѣжностью, мягкостью, чувствостью, воспримчивостью и утонченною страстностью своей натуры. Результатъ извѣстенъ: цаники, подобные Базарову, уважаютъ себя только за то, что крѣпко трудятся; а эстетикъ уважаетъ себя за то, что красиво ѣдятъ, красиво пьютъ, красиво умываются и красиво глядятъ на красивыхъ женщинъ. Вслѣдствіе этого, реалисты, чтобы сохранить себя свое собственное уваженіе продолжаютъ крѣпко трудиться; а эстетикъ, для достиженія той-же самой цѣли, продолжаютъ красиво ѣсть, красиво пить, красиво умываться и красиво глядѣть на красивыхъ женщинъ. Что лучше и что общеплезнѣе—объ этомъ я предоставляю судить благосклонному читателю.—Кажется мнѣ только, что плечи слѣдуетъ называть плечами, и что, любуясь красотой живой женщины или мраморной Венеры, мы не оказываемъ особенно великаго одолженія ни отечеству, ни человѣчеству. Ощущеніе очень обыкновенное; стало быть, и выраженіе должно быть просто и положительно. Энтузіазмъ не мѣшаетъ приберегать на другіе случаи, болѣе торжественные, о которыхъ травоядные эстетикъ не имѣютъ понятія.

XI.

Въ жизни Базарова трудъ стоитъ на первомъ планѣ, но Базаровъ совсѣмъ не ригористъ, и вовсе не прочь отъ того, чтобы доставлять своей особѣ удовольствія. Одинцова понравилась ему съ перваго взгля-

да, и ему пришло въ голову приволонуться за нею. Мысль безнравственная, но какъ вы уберегетесь отъ подобныхъ мыслей при настоящихъ условіяхъ воспитанія жизни и общественныхъ отношеній?

Увѣрять женщину въ любви, когда любви этой въ самомъ дѣлѣ не имѣется, — значить, лгать, а лгать, во всякомъ случаѣ, скверно, тѣмъ болѣе тогда, когда ложь такъ близко затрагиваетъ личные интересы того человѣка, съ которымъ мы имѣемъ дѣло. Если-бы Базаровъ разыгралъ съ Одинцовой систематическую и хладнокровно рассчитанную комедію любви, то поступокъ этотъ былъ бы очень предосудителенъ, и вся личность Базарова явилась бы передъ нами въ сомнительномъ свѣтѣ. Но мнѣ кажется, что Базаровъ ни въ какомъ случаѣ не сталъ бы актерствовать; если-бы даже онъ принялся за это утомительное занятіе, то у него не хватило бы терпѣнія дотянуть дѣло до развязки, и онъ, послѣ первыхъ двухъ — трехъ приступовъ, убѣдился бы въ томъ, что игра не стоитъ свѣчей. Съ молодыми людьми случается часто, что они строятъ въ умѣ своемъ какой нибудь отчаянно-макиавелевскій планъ; все такъ хорошо обдуманно, и ложь и притворство поставлены на свое мѣсто, расчетъ произведенъ блистательно, и теоретическая сторона дѣла оказывается безукоризненною; это значить, что мысль работаетъ исправно и отличается надлежащею смѣлостью полета; но такъ, на одномъ смѣломъ полетѣ мысли дѣло и останавливается, потому что, при первой встрѣчѣ съ практическою стороною задуманной дьявольщины, юный макиавелистъ оказывается добродушнымъ и чистосердечнымъ человѣкомъ, который немедленно махнетъ рукою и скажетъ про себя: — а ну ихъ къ чорту! Съ какой стати я ихъ надувать буду! — Такъ могло случиться, и до нѣкоторой степени такъ случилось и съ самимъ Базаровымъ. Онъ оказался гораздо моложе и нѣжнѣе, чѣмъ онъ воображаетъ себя. Съ кабинетными работниками, у которыхъ теоретическій умъ далеко обгоняетъ опытъ жизни, сплошь и рядомъ случаются такія иллюзіи. Справляясь съ идеями, мы думаемъ, что намъ также легко справляться и съ живыми явленіями, а вдругъ оказывается, что живое явленіе затрагиваетъ насъ съ такой стороны, которую мы и не подозрѣвали въ своей особѣ, когда производили наши теоретическія комбинаціи.

Я думаю однако, что Базаровъ даже въ чистой теоріи не задавалъ себѣ задачи актерствовать и лицемѣрить предъ красивою обладательницею «богатаго тѣла». Онъ просто думалъ, что Одинцова — нѣчто въ родѣ Евдокіи Кукиной, а въ такомъ случаѣ комедія была бы излишнею роскошью. Стоило только сказать нѣсколько красивыхъ любезностей на счетъ наружности, да наговорить по больше вздору о Либихѣ и Жоржѣ Зандѣ, о Мишле и Прудонѣ, о Бунзенѣ и о женскомъ вопросѣ — и дѣло было бы улажено къ обоюдному удовольствію. Тутъ дѣло съ самого начала велось бы на чистоту, безъ всякихъ хитростей, и жен-

щина даже не требовала бы от мужчины серьезнаго чувства, потому что не была бы даже способна насладиться такимъ чувствомъ и отплатить за него тою же монетою. Тутъ не было бы ничего, кромѣ болтовни и объятій, и, разумѣется, Базарову очень скоро прѣлось бы такое препровожденіе времени. Но Базаровъ, съ перваго разговора своего съ Одинцовою, замѣтилъ, что эта женщина умѣетъ уважать свое достоинство, и смотритъ на жизнь серьезными глазами мыслящаго человѣка. Шутить съ такою женщиною было невозможно; обманывать ее было трудно и опасно; можно было попасть въ просакъ и поставить самого себя въ самое глупое и безвыходно-позорное положеніе; наконецъ, если бы, паче чаянія, обманъ удался, то онъ оказался бы капитальною подлостью, потому что возбудить въ такой женщинѣ чувство и потомъ, рано или поздно, обнаружить свою полную неискренность, значило бы оскорбить и озорчить эту женщину самымъ жестокимъ, незаслуженнымъ и мошенническимъ образомъ. Все это Базаровъ сообразилъ, или вѣрнѣе, почувствовалъ почти мгновенно, и все его поведеніе съ Одинцовою проникнуто, съ начала до конца, самою глубокою, искреннею и серьезною почтительностью. «Какой я смиренъкій сталъ», думалъ онъ про себя въ первыя минуты своего пребыванія въ деревнѣ Одинцовой (Стр. 122), и потомъ онъ сдѣлался еще болѣе «смиренъкимъ», потому что онъ *полюбилъ* Одинцову; о когда такой «циникъ» любитъ женщину, тогда онъ ее уважаетъ дѣйствительно, то есть, тогда ему становится невозможно схитрить передъ нею словомъ, взглядомъ или движеніемъ. Искренность Базарова доходитъ до крайнихъ предѣловъ, и мнѣ кажется, что именно эта искренность, эта полнѣйшая честность, неподдѣльность приводятъ за собою его неудачу и разрывъ только-что зарождавшихся отношеній. Эта неподдѣльность показалась некрасивою, а женщины наши, повидимому, очень крѣпко держатся за эстетику, и въ смыслъ психическихъ явленій не заглядываютъ почти никогда.

XII.

Самые искренніе люди бываютъ часто самыми сдержанными людьми, и самыя сильныя чувства этихъ людей никогда не выражаются ими, а вырываются изъ нихъ только тогда, когда уже не хватаетъ силъ ихъ задерживать. Въ строгомъ смыслѣ, только такія вырвавшіеся чувства и могутъ быть названы совершенно неподкрашенными. Когда же человѣкъ сознательно выпускаетъ изъ себя чувство, то есть, говоритъ о немъ и

описываетъ его, то мы уже тутъ имѣемъ дѣло не съ сырымъ матеріаломъ, а съ умственнымъ трудомъ, построеннымъ на основаніи этого матеріала. Чѣмъ изыщнѣе и граціознѣе эта постройка, тѣмъ больше на нее положено искусства, то есть, другими словами, тѣмъ спокойнѣе и сознательнѣе произведена обработка первобытнаго матеріала. Чѣмъ красивѣе выраженіе, тѣмъ слабѣе чувство, а такъ какъ женщины дорожатъ преимущественно красотою, въ чемъ-бы она ни проявлялась, то и оказывается въ результатъ, что онѣ обыкновенно отвертываются отъ искреннихъ людей и бросаются на шею фразерамъ или красивымъ кукламъ. Чѣмъ сильнѣе человѣкъ любитъ, тѣмъ невыгоднѣе его положеніе и тѣмъ вѣрнѣе онъ можетъ рассчитывать на полную неудачу.

Истину этого неутишительнаго изрѣченія въ совершенствѣ испытать на себѣ Базаровъ. Онъ полюбилъ Одинцову очень скоро; серьезная любовь началась въ немъ вѣроятно послѣ первой ботанической экскурсіи, которую они предприняли вдвоемъ послѣ завтрака, и которая продолжалась до обѣда. Это было на другой день послѣ пріѣзда молодыхъ людей въ деревню Одинцовой. Что любовь возникла такъ быстро, этому удивляться нечего. Физическая красота бросается въ глаза съ перваго взгляда; умъ обнаруживается въ первомъ же разговорѣ; а когда, такимъ образомъ, вся фигура женщины и каждое слово производятъ на человѣка стройное и пріятное впечатлѣніе, то чего-же вамъ больше? И кровь волнуется, и мозгъ раздражается, и все это такъ обаятельно—ну вотъ и любовь готова. Чѣмъ больше такихъ пріятныхъ впечатлѣній ляжетъ безъ перерыва одно на другое, тѣмъ сильнѣе будетъ становиться любовь; но фундаментъ, незамѣтный зародышъ этого чувства, заложенъ уже самими первыми впечатлѣніемъ.

Полюбивши Одинцову, Базаровъ проводитъ вмѣстѣ съ нею, подъ одною кровлею, и въ постоянныхъ дружескихъ разговорахъ, больше двухъ недѣль. Во все это время онъ говоритъ съ нею, какъ съ умнымъ мужчиною, о предметахъ, имѣющихъ дѣйствительный интересъ: о химіи, о ботаникѣ, о новѣйшихъ открытіяхъ натуралистовъ, о различныхъ взглядахъ передовыхъ умовъ на жизнь природы, на личность человѣка и на потребности общества. Если уважать женщину, значитъ обращаться съ нею, какъ съ мыслящимъ существомъ, то, съ этой стороны, поведеніе «цинника» Базарова надо признать совершенно безукоризненнымъ: онъ старался удовлетворять умственнымъ требованіямъ своей собесѣдницы, и не проронилъ ни одного слова о томъ, что мучило и волновало его самого. Ни слова не было сказано о томъ, что могло возвысить въ глазахъ любимой женщины личность самого Базарова; ни о своемъ прошедшемъ, ни о своихъ стремленіяхъ и планахъ въ будущемъ Базаровъ не заикнулся; а между тѣмъ, въ его прошедшемъ было много упорнаго труда и непобѣдимаго терпѣнія, а въ его взглядѣ на будущее широко и

обаятельно развѣртывались свѣтлое могущество его мысли и неудержимая страстность его сознательной любви къ людямъ. И онъ все-таки молчалъ объ этомъ, потому что ему было отвратительно подумать, что онъ способенъ рисоваться, интересничать и говорить красивыя слова передъ любимомъ женщиною. Это честное и глубокое отвращеніе къ ложной эффектности постоянно обливало его холодною водою, когда онъ начиналъ увлекаться, и когда въ этомъ увлеченіи начинали проблескивать высшія и симпатичныя стороны его ума, его характера и его дѣятельности. Онъ не хотѣлъ становиться на ходули, и поэтому оставался постоянно ниже своего настоящаго роста. Что дѣлать? Человѣкъ почти всегда пересаливаетъ въ ту или въ другую сторону; но кто пересолить подобно Базарову, тотъ, по крайней мѣрѣ, не продастъ гнилого товара за свѣжій и не заглѣзетъ обманомъ ни въ кошелькъ, ни въ душу своихъ собесѣдниковъ. — Дѣльные разговоры Базарова занимаютъ Одинцову, какъ женщину умную и любознательную; но именно, какъ умная женщина, она понимаетъ, что, говоря обо всемъ, Базаровъ, не высказываетъ бездѣлицы—самого себя; а какъ женщина любознательная и даже любопытная, она желаетъ вырвать у Базарова эту тайну, она хочетъ объяснить себѣ настоящій смыслъ этой сильной и замѣчательной личности. Она старается перевести разговоръ съ общаго поля великихъ умственныхъ интересовъ на болѣе интимный тонъ личныхъ признаній и изліяній. Базарову, какъ влюбленному человѣку, такой поворотъ разговора былъ-бы чрезвычайно выгоденъ, а между тѣмъ Базаровъ упирается и выдерживаетъ свое упорство до самого конца. Одинцова все къ чему-то подходитъ; ей, по-видимому, хотѣлось-бы, чтобы оба они понемногу разнѣжились, и чтобы слово любви было произнесено какъ-то незамѣтно для обоихъ, во время нѣжнаго и мечтательнаго разговора; она бы желала увлечься нечувствительно, безъ страстныхъ порывовъ и безъ рѣзкихъ ощущеній. Базарову всѣ эти тонкости непонятны. Какъ это, думаетъ онъ, готовить и настраивать себя къ любви? Когда человѣкъ дѣйствительно любитъ, развѣ онъ можетъ граціозничать и думать о мелочахъ, внѣшняго изящества? Развѣ настоящая любовь колеблется? Развѣ она нуждается въ какихъ нибудь внѣшнихъ пособіяхъ мѣста, времени и минутнаго расположенія, вызваннаго разговоромъ? Базаровъ мѣряетъ на свой аршинъ психическія отправления другихъ людей, и поэтому онъ относится сурово и враждебно ко всѣмъ попыткамъ Одинцовой придать ихъ отношеніямъ ласкающій и нѣжный колоритъ. Ему всѣ эти попытки кажутся искусственными маневрами кокетки, или, по меньшей мѣрѣ, невольными капризами избалованной аристократки. Если-бы она меня любила, думаетъ онъ, она бы давно поняла, какъ сильно я ее люблю, и тогда все между нами было-бы ясно, просто и разумно, и тогда къ чему всѣ ухищренія? Но вѣдь она меня не любитъ и, въ такомъ случаѣ, какъ же она смѣ-

еть забавляться со мною задушевными разговорами? Дикарь этотъ Базаровъ! Первобытный человѣкъ! Онъ упускаетъ изъ виду то обстоятельство, что ея любовь можетъ явиться, какъ результатъ многихъ мелкихъ причинъ, многихъ вѣшнихъ, случайныхъ и неважныхъ впечатлѣній. Онъ совсѣмъ не заботится о томъ, чтобы доставить ей эти впечатлѣнія и потомъ эксплуатировать ихъ въ свою пользу. Онъ хочетъ, чтобы ея любовь была сильна, естественна и самородна, чтобы эта любовь свалилась на нее, какъ снѣгъ на голову, такъ какъ его любовь обрушилась на него, Базарова. А любовь высиженная, вымученная, тепличная, воспитанная нѣжными словами, эффектными взглядами, пустотою деревенской жизни, тишиною и полумракомъ лѣтняго вечера,—такая любовь очень понравилась бы Базарову, если-бы онъ хотѣлъ завести интригу съ красивою барынею, но притворною и отвратительною показалась бы она ему тогда, когда онъ самъ полюбилъ серьезно. Дикарь этотъ Базаровъ! Его уваженіе къ женщинѣ выражается въ томъ, что онъ ничѣмъ не хочетъ и, по натурѣ своей, ничѣмъ не способенъ насиловать чувство этой женщины. Выше этого уваженія ничего нельзя себѣ представить, но для нашихъ дрессированныхъ, обезсиленныхъ и обезцвѣченныхъ женщинъ такое уваженіе оказывается совершенно неумѣстнымъ и непонятнымъ. Женщина сама, всѣмъ направленіемъ своихъ поступковъ и рѣчей, упрощаетъ, чтобы ее заставили полюбить, чтобы ее «увлекли», чтобы ей «вскружили» голову, то есть, короче, чтобы ее лишили воли и сознанія и чтобы тогда дѣлали съ нею, что хотятъ. Тогда, думаетъ она, пожалуй, я полюблю, и потомъ спасибо скажу тому доброму человѣку, который отнялъ у меня способность и печальную необходимость обдумывать мои поступки. А иначе какъ-же? Какъ-же бы я сама? какъ бы я, находясь въ здоровомъ умѣ, сама распорядилась своею особою? Никогда и ни за что бы я сама не распорядилась. Я бы постоянно стремилась и постоянно робѣла бы. На то я и женщина! А дикарь стоитъ себѣ, сложавъ руки, и говоритъ: рѣшайся сама. Думай за себя. Люби самостоятельно. Ни увлекать, ни убѣждать, ни умолять тебя я не намѣренъ, да и не умѣю. Я равный тебѣ человѣкъ. Я не опекунъ тебѣ. И хоть-бы у меня аневризъмъ сдѣлался, и хоть-бы у меня сердце лопнуло отъ любовнаго волненія, все таки я не съумѣю и не захочу кружить тебѣ голову и опаивать тебя дурманомъ граціозныхъ нѣжностей и эффектной жестикюляціи. Я говорю съ тобою, какъ съ разумнымъ существомъ, и не умѣю говорить иначе ни съ кѣмъ изъ тѣхъ людей, которые разъ навсегда заслужили мое уваженіе. Если-бы я не уважалъ тебя, то я-бы тебя и не любилъ; а такъ какъ я тебя люблю, то я и не могу, абсолютно не могу, посягать словами или поступками на твою умственную самостоятельность. — Какой дикарь; но какой хорошій дикарь! Жаль только, что не въ коня кормъ.

ХІІІ.

Читателю можетъ показаться, что я самъ сочинилъ себѣ Базарова и Одинцову, вовсе непохожихъ на героевъ Тургеневскаго романа—до такой степени мои размышленія и заключенія рѣзко противорѣчатъ тому понятію, которое, по милости нашей образцовой тупости, установилось въ читающемъ обществѣ на счетъ базаровскаго типа, и преимущественно на счетъ его *циническихъ* отношеній къ женщинамъ. Мнѣ теперь надо доказать, что я не сочиняю, и что каждое мое слово, основывается исключительно на правильномъ пониманіи тѣхъ матеріаловъ, которые даетъ Тургеневъ, и которые, мнѣ кажется, самъ Тургеневъ не всегда разматриваетъ съ надлежащей точки зрѣнія, хотя фактическія подробности всегда поразительно вѣрны.

Я приведу длинный рядъ доказательствъ изъ двухъ рѣшительныхъ сценъ Базарова съ Одинцовою. (Отцы и Дѣти. Стр. 241—176). Базаровъ сказалъ, что онъ скоро уѣзжаетъ къ своему отцу; это было сказано безъ всякаго дипломатическаго умысла, и Тургеневъ при этомъ замѣчаетъ, что Базаровъ «никогда не сочинялъ». (Стр. 139). Одинцова, по поводу этого близкаго отъѣзда, находится въ полу-грустномъ, полу-нѣжномъ настроеніи. Сидятъ они вдвоемъ, поздно вечеромъ, въ комнатѣ Одинцовой.—Одинцова два раза подъ рядъ говоритъ ему: «мнѣ будетъ скучно». — На первый разъ онъ отвѣчаетъ:—«Аркадій останется», а на второй:—«во всякомъ случаѣ, долго вы скучать не будете».—Вслѣдъ за тѣмъ, онъ говоритъ ей, что она непогрѣшительно-правильно устроила свою жизнь, такъ что въ ней не можетъ быть мѣста никакимъ тяжелымъ чувствамъ.—«Черезъ нѣсколько минутъ, прибавляетъ онъ, пробѣтъ десять часовъ, и я уже напередъ знаю, что вы меня прогоните.—Нѣтъ, не прогону, Евгенийъ Васильевичъ, отвѣчаетъ она, вы можете остаться».—Онъ остается.—«Разскажите мнѣ что нибудь о самомъ себѣ, говоритъ она, вы никогда о себѣ не говорите.—Я стараюсь бесѣдовать съ вами о предметахъ полезныхъ, Анна Сергѣевна,» — Она настаиваетъ съ особенною ласковостію.—Базаровъ думаетъ про себя: «зачѣмъ она говоритъ такіа слова?» (Стр. 143) и отвѣчаетъ ей: «мы люди темные. — А я, по вашему, аристократка?—Да, промолвилъ онъ *преувеличенно рѣзко*».—Одинцова защищается:—«Я, говоритъ она, вамъ когда нибудь расскажу свою жизнь... но вы мнѣ прежде разскажите свою».—Базаровъ это третье приглашеніе пропускаетъ мимо ушей и переводитъ разговоръ на личность Одинцовой.—«Зачѣмъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашею красотою, живете въ деревнѣ?—Какъ? Какъ вы это сказали, съ живостію

подхватила Одинцова. Съ моею.... красотой?»—Бѣдная женщина! Какъ она обрадовалась! Должно быть, Базаровъ не избаловалъ ее комплиментами. А Базаровъ-то! О дикарь! О бурлакъ! Вотъ онъ затушевываетъ свою нечаянную любезность: «*Базаровъ нахмурился. — Это все равно, пробормоталъ онъ, — я хотѣлъ сказать, что не понимаю хорошенько, зачѣмъ вы поселились въ деревнѣ.*»—Его, очевидно, покорило и смутило то, что онъ сказалъ. Говорить съ любимой и уважаемой женщиною о ея красотѣ кажется ему плоскостью и, слѣдовательно, дерзостью. И это тотъ самый Базаровъ, который говорилъ съ Аркадіемъ о плечахъ и о богатомъ тѣлѣ этой самой Одинцовой? И тутъ нѣтъ никакого противорѣчія? Тогда онъ ея не зналъ и, стало быть, для него существовали только линіи и краски ея фигуры; по этимъ извѣстнымъ ему даннымъ онъ и высказывалъ о ней свое сужденіе. Кромѣ того, онъ говорилъ съ третьимъ лицомъ, и тогда эти слова имѣли свой смыслъ, какъ всякое другое сужденіе о какомъ нибудь предметѣ, остановившемъ на себѣ вниманіе человѣка. Но говорить самой женщинѣ, что она хороша собой—это бессмыслица, годная только на то, чтобы наскучить ей, если она умна, или польстить ей, если она глупа. Къ сожалѣнію, надо замѣтить, что очень многимъ женщинамъ такіе разговоры не надоѣдаютъ, и, увы! Кажется, даже Одинцова не прочь послушать такіа рѣчи изрѣдка. Что дѣлать? Сильна наша глупость и безчисленны ея убѣжища; и у самыхъ умныхъ людей еще отведены для нея уютные уголки, и нѣтъ, быть можетъ, того мыслителя, который подъ часъ не оказывался-бы простофілею. Но Базаровъ, по своей дикой суровости, не хочетъ принимать въ соображеніе слабости своей собесѣдницы. Потворствовать этимъ слабостямъ и пользоваться ими онъ, очевидно, считаетъ не только пошлымъ, но и безчестнымъ дѣломъ.—Черезъ нѣсколько минутъ, Базаровъ встаетъ.—«Куда вы? медленно проговорила она.—Онъ ничего не отвѣчалъ и опустилсѣ на стулъ».—Разговоръ, не смотря на безконечную свирѣпость Базарова, становится конфиденціальнымъ и почти нѣжнымъ. «Кажется, говорить она, если-бъ я могла сильно привязаться къ чему-нибудь....—Вамъ хочется полюбить, перебилъ ее Базаровъ, а полюбить вы не можете: вотъ въ чемъ ваше несчастіе.—Развѣ я не могу полюбить?—Едва-ли! Только я напрасно назвалъ это несчастіемъ. Напротивъ, тотъ скорѣе достоинъ сожалѣнія, съ кѣмъ эта штука случается.—Случается, чтó?—Полюбить.—А вы почему это знаете?—*По насмѣшкѣ, сердито отвѣчалъ Базаровъ.— Ты кокетничаешь, подумалъ онъ, ты скучаешь и бранишь меня отъ нечего дѣлать, а мнѣ...* Сердце у него, дѣйствительно, такъ и рвалось». (Стр. 147). «По моему, продолжаетъ Одинцова, или все или ничего. Жизнь за жизнь. Взялъ мою, отдай свою, и тогда уже безъ сожалѣнія и безъ возврата. А то лучше и не надо.—*Что-жъ?* замѣтилъ Базаровъ, *это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ... не нашли,*

чего желали. (Стр. 147). — Но вы бы съумѣли отдаться? спрашиваетъ она. — *Не знаю, хвастаться не хочу.* (Стр. 148) Базаровъ опять встаетъ; она еще разъ его удерживаетъ: погодите, куда же вы спѣшите... мнѣ нужно сказать вамъ одно слово. — Какое? — Погодите, шепнула Одинцова. — Ея глаза остановились на Базаровѣ; казалось, она внимательно его разсматривала. — Онъ прошелъ по комнатѣ, потомъ вдругъ приблизился къ ней и торопливо сказалъ: — «прощайте,» стиснулъ ей руку такъ, что она чуть не вскрикнула и вышелъ вонъ». (Стр. 148).

На другой день Одинцова сама зоветъ его къ себѣ въ кабинетъ, и, пришедши туда, прямо говоритъ ему, что хочетъ возобновить вчерашній разговоръ. Опять начинаются съ ея стороны вызовы на откровенность, а со стороны Базарова упорное отпѣиванье. Онъ говоритъ: *«между вами и мною такое разстояніе»*. Она говоритъ на это: «какое разстояніе? Полноте, Евгенийъ Васильевичъ; я вамъ, кажется, доказала. «Или, можетъ быть, продолжаетъ она, вы меня, какъ женщину, не считаете достойною вашего довѣрія? *Вѣдь вы насъ всѣхъ презираете?* — *Васъ я не презираю, Анна Сергѣевна, и вы это знаете.* — *Нѣтъ я ничего не знаю,* отвѣчаетъ она, и затѣмъ требуетъ, чтобы Базаровъ сказалъ ей, что въ немъ происходить, и какая причина его сдержанности и напряженности. Что-же остается дѣлать этому несчастному Базарову? Вѣдь, наконецъ, всякія человѣческія силы должны истощиться, и всякое ослиное терпѣніе должно лопнуть, когда любимая женщина два дня подъ рядъ умоляетъ объ одномъ и томъ же, когда она васъ упрекаетъ въ томъ, что вы ее презираете, и когда всѣ ея просьбы, всѣ ея ласковыя слова клонятся исключительно къ той самой цѣли, къ которой вы сами стремитесь всѣми силами своего существа. Поневоѣтъ надо было высказать самую глубокую тайну, и Базаровъ ее высказалъ, только совершенно по-базаровскія. «Такъ знайте-же, говоритъ онъ, что я васъ люблю глупо, безумно... *Вотъ чего вы добились.*» — И эти сердитыя слова онъ произноситъ, не глядя на Одинцову, отошедши отъ нея къ окну, и стоя къ ней спиною». Онъ задыхался; все тѣло его видимо трепетало. Но это было не трепетаніе юношеской робости, не сладкій ужасъ перваго признанія овладѣлъ имъ: это страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая — *страсть, похожая на злобу и, быть можетъ, сродни ей... Одинцовой стало и страшно, и жалко его.* Евгенийъ Васильевичъ, проговорила она, и невольная нѣжность зазвенѣла въ ея голосъ.» (Стр. 154, 155).

Ну, тутъ, разумѣется, онъ бросился къ ней и обнялъ ее. Еще-бы онъ не бросился! Еще-бы онъ не обнялъ! Эта невольная нѣжность въ голосъ была для него послѣднимъ и рѣшительнымъ ударомъ, передъ которымъ уже не могла устоять никакая сдержанность, никакая напряженность, никакая искусственная суровость. Онъ ее обнялъ, — гдѣ же тутъ дерзость, гдѣ оскорбленіе? Развѣ, обнимая *любящую* женщину,

любящій мужчина наносить ей оскорбленіе? И развѣ Базаровъ могъ, и развѣ онъ смѣлъ сомнѣваться въ томъ, что Одинцова его любитъ? Все было высказано, высказано просто, грубо и угрюмо, высказано съ глубокимъ, тяжело выстраданнымъ упрекомъ: «*вотъ чего вы добились,*» и послѣ этого «*нѣжность въ голосы!*» Какое же тутъ можетъ быть сомнѣніе? И выразить подобное сомнѣніе, колебаться послѣ этой проклятой «*нѣжности*» еще одну секунду — вѣдь это значило бы глубоко огорчить и оскорбить любящую женщину, значило бы требовать отъ нея, чтобы она вымаливала вашу любовь, подобно тому, какъ она уже вымолила ваше признаніе. И вдругъ она отъ него отскакиваетъ, и вдругъ она говоритъ ему: «вы меня не поняли!» А что же дѣлаетъ Базаровъ? Ничего. Онъ закусываетъ губы и выходитъ изъ комнаты. А потомъ, вечеромъ, онъ извиняется передъ Одинцовой: — «Я долженъ извиниться передъ вами, Анна Сергѣевна. Вы не можете не гнѣваться на меня.» — А она ему отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, я на васъ не сержусь, Евгенийъ Васильевичъ, но я огорчена.»

О, Анна Сергѣевна, замѣчу я отъ себя, какъ вы безмѣрно великодушны! Неужели вы можете не сердиться на этого ужаснаго преступника, котораго неслыханное преступленіе состоитъ въ томъ, что вы поджаривали его на медленномъ огнѣ въ продолженіе двухъ дней? Преклоняюсь передъ вашею женственною кротостью и говорю вамъ безъ всякой ироніи, что вы въ этомъ отношеніи стоите выше многихъ, очаровательныхъ, умныхъ и безукоризненныхъ женщинъ. Тѣ также терзаютъ людей, мажутъ ихъ по губамъ, разбиваютъ ихъ счастье, говорятъ имъ: «вы меня не поняли» — и, сверхъ всего этого, ненавидятъ ихъ самую упорную и холодную ненавистью. Бываютъ, конечно, и мужчины въ такомъ же родѣ, потому что, когда дѣло зайдетъ о глупостяхъ, тогда ни одинъ полъ не уступить другому. Но исторія Базарова поучительна; онъ измученъ, онъ же извиняется, онъ же получаетъ великодушное полу-прощеніе, онъ самъ, во все время своего знакомства съ Одинцовой, не говоритъ ей ни одного непріятнаго или непочтительнаго слова, онъ обходится съ нею, какъ съ святынею, и, при всемъ томъ, его же вся читающая публика обвиняетъ въ нахальствѣ, въ дерзости, въ цинизмѣ, въ неуваженіи къ достоинству женщины, и чортъ знаетъ еще въ какихъ неправдоподобныхъ гадостяхъ.

Но вотъ о чемъ не жѣшаетъ подумать нашей добрейшей и почтеннѣйшей публикѣ: — дали ей въ руки печатную книгу; въ этой книгѣ была написана яснымъ русскимъ языкомъ исторія Базарова и Одинцовой; прочитали эту исторію и опытные критики, и простые, непредубѣжденные читатели; и изъ всего этого прилежнаго чтенія, изъ всѣхъ критическихъ разсужденій произошло, по неисповѣдимымъ законамъ судебъ, самое удивительное пониманіе на выворотъ, или, еще вѣрнѣе, совершенное непониманіе. Я спрашиваю у каждаго безпристрастнаго читателя

моей статьи, есть-ли какая нибудь возможность понять и объяснить факты, собранные мною въ этой главѣ, по какому нибудь другому способу, несходному съ моимъ объясненіемъ? Я увѣренъ, что каждый читатель скажетъ: «нѣтъ, невозможно», и даже назоветъ мое объясненіе ненужною болтовнею, потому что факты ясны, какъ день, и сами за себя говорятъ. Ну да, ясны какъ день, а вѣдь однако ухитрились же люди ихъ не понять и исказить, и для многихъ легковѣрныхъ господъ судьба Базарова, какъ литературнаго типа, рѣшена безапелляціонно. Ихъ теперъ и не вытащить изъ заколдованнаго круга ихъ затверженныхъ сужденій.

И это случилось съ печатною книгою, которую стоитъ только раскрыть и прочитать внимательно для того, чтобы уничтожить всякое заблужденіе, и возстановить настоящее значеніе разсказанныхъ событій. поставьте же теперъ на мѣсто книги живое явленіе, которое никогда не бываетъ такъ ясно и такъ удобно для изученія, какъ литературное произведеніе. Подумайте, какая тутъ произойдетъ катавасія! Если наша публика, ни съ того ни съ сего, совершенно несправедливо оплевала тургеневскаго Базарова, то каково же поступаетъ она съ живыми Базаровыми, которыхъ понять гораздо труднѣе, и которымъ однако больно и досадно, когда на нихъ сыпятся незаслуженнымъ оскорбленія отъ отцевъ, матерей, сестеръ, и особенно отъ любимыхъ женщинъ? Подумайте, сударыня-публика, не пора ли вамъ заподозрить непогрѣшимость вашихъ разсужденій о такихъ явленіяхъ, которыхъ вы не сумѣли понять даже по печатной книгѣ? Я нарочно выбралъ для примѣра «любвную» исторію Базарова, потому что это именно такой предметъ, въ которомъ каждый человѣкъ считаетъ себя компетентнымъ судьей. Ну и что же, компетентные судьи, много вы разсудили?

Нравоученіе изъ этого извлекается только то, что обругать человѣка недолго, но что и пользы изъ этого выходитъ немного.

XIV.

Вамъ, можетъ быть, угодно знать теперъ, почему Одинцова не полюбила Базарова, или, точнѣе, почему ея зарождавшаяся любовь къ этому человѣку не повела за собою никакихъ счастливыхъ послѣдствій. А потому-же самому, почему король Лиръ оттолкнулъ отъ себя ту единственную дочь, которая дѣйствительно была къ нему привязана; потому что чувство Базарова, подобно чувству Корделии, выразилось некрасиво, то есть, несогласно съ эстетическими требованіями того лица, къ которому это чувство адресовалось. Я говорю это безъ всякихъ предположе-

ній, основываясь на словахъ самого Тургенева. «Она задумывалась и краснѣла, вспоминая почти зѣвское лице Базарова, когда онъ бросился къ ней.» (Стр. 155). Она даже не рѣшила хорошенько, какъ ей поступить, то есть, отдаться ли Базарову, или разойтись съ нимъ. «Или?» произнесла она вдругъ, и остановилась, и тряхнула кудрями». (Стр. 156.)

Неподрожаемымъ комментариемъ къ этому забубенному *или* можетъ служить слѣдующая цитата изъ того же романа: «Ямщикъ ему попался лихой, онъ останавливался передъ каждымъ кабакомъ, приговаривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?», но за то, *чкнувши*, не жалѣлъ лошадей» (стр. 211). Къ сожалѣнію, Одинцова, въ дѣлѣ лихости, далеко уступала ямщику, и на первый разъ она рѣшила, что лучше не надо «или?» Но это рѣшеніе никакъ нельзя считать окончательнымъ; нельзя по той простой причинѣ, что она его нѣсколько разъ подтверждала впослѣдствіи, а это значить, что передъ каждымъ подтвержденіемъ въ ея умѣ шевелился болѣе или менѣе явственно обозначенный вопросъ: «аль чкнуть?» И подтвержденіе являлось постоянно по случаю неэстетичности. «Одинцова раза два—прямо, не украдкой—посмотрѣла на его лице, строгое и желчное, съ опущенными глазами, съ отпечаткомъ презрительной рѣшимости въ каждой чертѣ, и подумала: «нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ.» (Стр. 157. «Вѣдь вы,—извините мою откровенность, говоритъ ей Базаровъ вечеромъ того же дня,—не любите меня и не полюбите никогда?—Глаза Базарова сверкнули на мгновеніе изъ подъ темныхъ его бровей. Анна Сергѣевна не отвѣчала ему; «я боюсь этого человѣка, мелькнуло у ней въ головѣ.» (Стр. 158).

Одинцова пріѣзжаетъ къ умирающему Базарову, и вотъ первое ея ощущеніе при взглядѣ на больного: «она просто испугалась какимъ-то холоднымъ и томительнымъ испугомъ; мысль, что она не то бы почувствовала, если-бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней въ головѣ». (Стр. 294). Вотъ видите: до самой послѣдней минуты вопросы: «любила-ли она его», и «точно-ли любила» оставались для нея вопросами. А полюбила-ли бы она его, если бы онъ не умеръ, и могла ли она вообще полюбить его — это такіе вопросы, которые навсегда остались для нея неразрѣшимыми. Базаровъ поставилъ вопросъ слишкомъ ясно: или отдаться, или разойтись. Одинцовой еще не хотѣлось рѣшиться ни въ ту, ни въ другую сторону; ей хотѣлось еще поговорить, и она не разъ выражала это желаніе, и у нея были на то очень законныя причины. Для того, чтобы стать въ уровень съ Базаровымъ, чтобы понять его и взглянуть на его личность свѣтлымъ взглядомъ мыслящаго человѣка, сбросившаго съ своего ума оковы эстетической рутинны, для этого Одинцовой дѣйствительно необходимо было поумнѣть, а она какъ даровитая женщина, умнѣла довольно быстро подъ живительнымъ влія-

ніемъ дѣльныхъ разговоровъ съ Базаровымъ. Но Базаровъ, при всей своей «сатанинской» гордости, не сознавалъ, что онъ въ умственномъ отношеніи стоитъ выше ея; онъ не замѣчалъ, что его вліяніе производитъ въ ней переѣмъ; поэтому онъ и думалъ, что если она не любитъ его теперь, то и не полюбитъ никогда. Значитъ, онъ уважалъ ее слишкомъ много, и было-бы гораздо—о, гораздо лучше, если-бы онъ уважалъ ее поменьше. Но замѣчательно, что вѣдь Базарова-то принято упрекать какъ разъ въ противоположной погрѣшности. Желаніе Одинцовой «еще поговорить,» выражается въ двухъ случаяхъ самымъ очевиднымъ образомъ. Во первыхъ, тотчасъ послѣ неудавшагося поцѣлуя, Базаровъ присылаетъ ей записку слѣдующаго содержанія: «долженъ ли я сегодня уѣхать—или могу остаться до завтра?» Она ему отвѣчаетъ: «зачѣмъ уѣзжать? Я васъ не понимала—вы меня не поняли.» Выводъ ясенъ; «поговоримъ еще, и, можетъ быть, договоримся до взаимнаго пониманія». Во вторыхъ, когда Базаровъ, спустя нѣсколько недѣль, заѣзжаетъ въ послѣдній разъ, на короткое время, въ деревню Одинцовой, она упрашиваетъ его остаться, и еще наивнѣе выражаетъ свое желаніе «поговорить.»— «Развѣ, говоритъ она, вы уѣзжаете? Отчего же вамъ теперь не остаться? Оставайтесь... съ вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робѣешь, а потомъ откуда смѣлость возьмется. Оставайтесь». (Стр. 271). Тутъ опять ясно сквозитъ такая мысль: «дайте мнѣ понабратъ смѣлости, и тогда я, чего добраго, брошусь въ самую пропасть, которая перестанетъ меня пугать.»... Но Базаровъ не видитъ этой сквозящей мысли, или же у него не хватаетъ силъ дожидаться, пока Одинцова поумнѣетъ и перестанетъ робѣть.— «Спасибо за предложеніе, Анна Сергѣевна, отвѣчаетъ онъ ей, и за лестное мнѣніе о моихъ разговорныхъ талантахъ. Но я нахожу, что я и такъ слишкомъ долго вращался въ чужой для меня сферѣ.»

Нелюбезно и почти дерзко отвѣчаетъ онъ на ея приглашеніе, но ее этотъ отвѣтъ не оскорбляетъ. Взглянувши на его блѣдное лице, подернутое горькою усмѣшкою, она подумала: «этотъ меня любить!» и съ участіемъ протянула ему руку. Но онъ не взялъ эту руку, и оттолкнулъ прочь ея непрошенное участіе, потому что люди, подобные Базарову, берутъ себѣ любовь женщины, или ровно ничего не берутъ. (Нѣтъ, сказалъ онъ, и отступилъ на шагъ назадъ. Человѣкъ я бѣдный, но милостыни до сихъ поръ не принималъ. Прощайте-съ и будьте здоровы.» — Она опять рванулась къ нему: — «Я убѣждена, что мы не въ послѣдній разъ видимся, произнесла Анна Сергѣевна съ *невольнымъ движеніемъ*,» (это опять тоже самое, что «невольная нѣжность въ голосѣ,» и знаменательный вопросъ «*ими?*») Но Базаровъ неприступенъ, и опять осаждаетъ ее назадъ. — «Чего на свѣтѣ не бываетъ! отвѣчалъ Базаровъ, поклонился и вышелъ. (Стр. 271). Женщина сама всего лучше можетъ

судить о томъ, оскорблена-ли она или нѣтъ; а Одинцова, тотчасъ послѣ Базаровскаго объятія, не чувствовала себя оскорбленною: «она скорѣе чувствовала себя виноватою». (Стр. 156). Она никогда, ни прежде, ни послѣ рѣшительной сцены, не смотрѣла на Базарова, какъ на нахальнаго циника. Ей, въ самый день поцѣлуя, «хотѣлось сказать ему какое нибудь доброе слово, но она не знала, какъ заговорить съ нимъ,» (Стр. 158.) — «Вы знаете, говорить она ему во время ихъ предпоследняго свиданія, что я васъ боюсь... и въ тоже время я вамъ довѣряю, потому что въ сущности вы очень добры.» (Стр. 268.)

Что за удивительная смѣсь различныхъ чувствъ! И боязнь, и довѣріе, и уваженіе, и желаніе дружбы, и неудовлетворенное любопытство. Боязнь тутъ не что иное, какъ неполное пониманіе, потому что мы всегда боимся того, что кажется намъ страннымъ, незнакомымъ или необъяснимымъ. Но отчего же изъ всей этой смѣси чувствъ не составляется та своеобразная кристаллизація, которая называется любовью? Всѣ составные элементы любви даны, и даже нѣтъ того *физическаго* отвращенія, которое иногда бываетъ въ такомъ дѣлѣ необходимымъ препятствіемъ; отчего же не образуется любовь? Оттого, что эстетика мѣшаетъ; оттого, что въ чувствѣ Базарова нѣтъ той виѣшней миловидности, *je li a voir*, которыя Одинцова совершенно безсознательно считаетъ необходимыми атрибутами всякаго любовнаго пафоса. Читатель подумаетъ, вѣроятно, что эстетика — мой кошмаръ, и читатель въ этомъ случаѣ не ошибется. Эстетика и реализмъ дѣйствительно находятся въ непримиримой враждѣ между собою, и реализмъ долженъ радикально истребить эстетику, которая въ настоящее время отравляетъ и обезсмысливаетъ всѣ отрасли нашей научной дѣятельности, начиная отъ высшихъ сферъ научнаго труда и кончая самыми обыкновенными отношеніями между мужчиною и женщиною. Я немедленно постараюсь доказать читателю, что эстетика есть самый прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумаго прогресса.

XV.

Въ томъ-то и состоитъ пошлость всякихъ эстетическихъ приговоровъ, что они произносятся не вслѣдствіе размысленія, а по вдохновенію, по внушенію того, что называется голосомъ инстинкта или чувства. Взглянулъ, поправилось — ну, значить, хорошо, прекрасно, изящно. Взглянулъ, не понравилось — кончено дѣло: скверно, отвратительно, безо-

бразно. А почему понравилось или не понравилось—этого вамъ не объяснить ни одинъ эстетикъ. Все объясненіе ограничится только ссылкой на внутренний голосъ непосредственнаго чувства. Эстетикъ выставитъ вамъ, конечно, цѣлую систему второстепенныхъ правилъ, но чтобы поставить весь этотъ затѣйливый эшафодажъ на какойнибудь фундаментъ, онъ все таки сошлется подъ конецъ на непосредственное чувство. Но эти ссылки непремѣнно должны имѣть опредѣленный физиологическій смыслъ, или же, въ противномъ случаѣ, онъ не имѣютъ ровно никакого смысла. Напримѣръ, нѣкоторые люди не могутъ ѣсть никакой рыбы, и заемогаютъ, какъ только въ ихъ пищеварительный каналъ попадетъ малѣйшій кусочекъ этого нестерпимаго для нихъ вещества, которое, у большей части людей, считается однако лакомомъ и здоровою пищею. Въ этомъ случаѣ отвращеніе совершенно законно. Значитъ, въ устройствѣ желудка или кишечнаго канала есть какаянибудь индивидуальная особенность отрицающая рыбу. Всякій дѣльный физиологъ скажетъ, подобно Льюису что надо повиноваться голосу желудка, потому что урезонить его не возможно, апеллировать на него некуда, а бороться съ нимъ, значитъ только вызывать тошноту и разныя другія болѣзненныя явленія. Другой примѣръ: рѣзкій свистъ локомотива абсолютно непріятенъ, или, выражаясь другими словами, неизященъ, отвратителенъ, безобразенъ, потому что отъ этого пронзительнаго звука страдаетъ слуховой нервъ. Физиологическая причина существуетъ, и, стало быть, дѣло опять таки рѣшается окончательно. Третій примѣръ: женщина А чувствуетъ непобѣдимое физическое отвращеніе къ мужчинѣ Б. Ей противно прикоснуться къ его рукѣ, а поцѣловать этого человѣка было-бы для нея настоящею пыткой. Такія явленія дѣйствительно существуютъ въ природѣ, и, разумѣется, имѣютъ какоенибудь физиологическое основаніе, хотя, можетъ быть, современная наука и не въ состояніи въ точности опредѣлить ихъ причину. И въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ насиловать природу. И госпожа А поступитъ очень неблагоуразумно, если, вопреки этому физическому отвращенію, разсудочными доводами заставить себя выйти замужъ за господина Б.

Нашъ организмъ имѣетъ свои безспорныя права, и предъявляетъ ихъ, и не терпитъ ихъ нарушенія. Но скажите пожалуйста, какія права своего организма заявляла, напримѣръ, французская публика временъ Вольтера, когда она систематически освистывала всякую трагедію, въ которой не было *un amoureux et une amoureuse*? Или какія права организма выражались въ томъ, что нашимъ уѣзднымъ барышнямъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ нравились почти исключительно блестящіе мундиры и разочарованные герои? Согласитесь, что тутъ не можетъ быть допущено даже легкое предположеніе объ особенномъ устройствѣ какихънибудь зрительныхъ, слуховыхъ, желудочныхъ или другихъ нервовъ. И

барышни, и французская публика очень горячо ссылались на голос непосредственного чувства, и были готовы божиться въ томъ, что ужъ такъ устроила ихъ природа, что они иначе не могутъ чувствовать и разсуждать, что у нихъ есть врожденное стремленіе къ однимъ предметамъ, и такое же врожденное отвращеніе къ другимъ. Странное дѣло! Увѣзныя барышни считаются тысячами, и во французскіе театры ходили, при Вольтерѣ, также тысячи людей. Эти тысячи отдѣльныхъ организмовъ представляли самое пестрое индивидуальное разнообразіе; тутъ были умные и глупые, полнокровные и худосочные, раздражительные и апатичные, и такъ далѣе, до безконечности. И у всѣхъ этихъ различныхъ организмовъ оказывается вдругъ одна общая черта, самая тонкая и неуловимая, та, вслѣдствіе которой французамъ нравились только любовныя трагедіи, а барышнямъ только разочарованные воины. Воля ваша, такое предположеніе еще болѣе неправдоподобно, чѣмъ если-бы мы предположили, что всѣ наши барышни родились съ крошечнымъ темнымъ пятномъ надъ лѣвымъ глазомъ. Само по себѣ такое пятно вовсе не удивительно, и оно такъ-же удобно можетъ помѣститься надъ лѣвымъ глазомъ, какъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ, но чтобы оно появилось разомъ у всѣхъ новорожденныхъ дѣвочекъ цѣлой обширной мѣстности — это невозможно. Чтобы такое *врожденное* свойство держалось постоянно въ теченіи двухъ десятилѣтій, и потомъ исчезло-бы безъ слѣда, замѣняясь для слѣдующихъ поколѣній другимъ *врожденнымъ* свойствомъ — это уже ни съ чѣмъ не сообразно.

Ясно, стало быть, что природа тутъ ни при чемъ, и что внутренній голосъ непосредственного чувства повторяетъ только, какъ попугай, то, что нажужжали намъ въ уши съ самой ранней молодости. Французъ XVIII вѣка видѣлъ постоянно трагедіи съ любовнымъ пламенемъ, и слышалъ постоянно, что такія трагедіи считаются превосходными—онъ и требуетъ себѣ такихъ трагедій, и дѣйствительно чувствуетъ къ нимъ особенную симпатію. Барышня съ трехъ лѣтъ до пятнадцати видитъ постоянно, что старшія родственницы ея любезничаютъ съ офицерами печоринскаго типа, и слышитъ постоянно, что взрослые дѣвицы находятъ такихъ офицеровъ очаровательными; очень естественно, что, надѣвши длинное платье, эта барышня сама стремится любезничать съ такими же офицерами, и въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ какое-то особенное замираніе сердца при одномъ взглядѣ на восхитительный мундиръ. Пассивная привычка—считать какой-нибудь предметъ хорошимъ и желательнымъ, становится до такой степени сильною, что превращается, наконецъ, въ дѣйствительное чувство и въ активное желаніе.

Такія превращенія происходятъ въ нашемъ внутреннемъ мірѣ на каждомъ шагу. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, конечно, привычка—дѣло очень хорошее, но не потому, что она—привычка, а потому, что она ведетъ за собою общепользныя послѣдствія, необходимыя для благососто-

янія человѣчества. Допуская и поощряя результаты привычки, когда они приносятъ намъ пользу, мы не имѣемъ, въ тоже время, никакого основанія преклоняться передъ нашими привычками вообще, и считать ихъ неприкосновенными даже въ томъ случаѣ, когда онѣ вредны, безразсудны, стѣснительны или неудобны. Поэтому, когда внутренній голосъ непосредственнаго чувства начинаетъ намъ что нибудь докладывать, мы можемъ его выслушать, но вовсе не обязаны принимать его совѣты на вѣру, безъ дальнѣйшихъ критическихъ изслѣдованій. Вѣрить этому чревоущанію на слово, значить, обрекать себя на вѣчную умственную неподвижность.

Наши инстинкты, наши безсознательныя влеченія, наши безпричинныя симпатіи, и антипатіи, словомъ, всѣ движенія нашего внутренняго міра, въ которыхъ мы не можемъ дать себѣ яснаго и строгаго отчета, и которыя мы не можемъ свести къ нашимъ потребностямъ или къ понятіямъ вреда и пользы,—всѣ эти движенія, говорю я, захвачены нами изъ прошедшаго, изъ той почвы, которая насъ выкормила, изъ понятій того общества, среди котораго мы развились и жили. Это наслѣдство и составляетъ силу и основаніе всѣхъ нашихъ эстетическихъ понятій. Что нравится намъ безотчетно, то нравится намъ только потому, что мы къ нему привыкли. Если эта безотчетная симпатія не оправдывается сужденіемъ нашей критической мысли, то очевидно, эта симпатія тормозитъ наше умственное развитіе. Если въ этомъ столкновеніи побѣдитъ трезвый умъ,—мы подвинемся впередъ, къ болѣе здравому, то есть, къ болѣе общепользному взгляду на вещи. Если побѣдитъ эстетическое чувство,—мы сдѣлаемъ шагъ назадъ, къ царству рутины, умственного безсилія, вреда и мрака.

Эстетика, безотчетность, рутина, привычка—это все совершенно равносильныя понятія. Реализмъ, сознательность, анализъ, критика и умственный прогрессъ—это также равносильныя понятія, діаметрально противоположныя первымъ. Чѣмъ больше мы даемъ простора нашимъ безотчетнымъ влеченіямъ, чѣмъ сильнѣе разыгрывается наше эстетическое чувство, тѣмъ пассивнѣе становятся наши отношенія къ окружающимъ условіямъ жизни, тѣмъ окончательнѣе и безвозвратнѣе наша умственная самостоятельность поглощается и порабощается безмысленными вліяніями нашей обстановки. Люди, обожающіе красоту и эстетику, разсуждаютъ обыкновенно такъ: мнѣ это нравится, слѣдовательно, это хорошо. Утвердившись на той позиціи, что *это* хорошо, они начинаютъ подбирать второстепенныя условія, при которыхъ можетъ и должна развиваться полная красота даннаго предмета, и этимъ подбираніемъ ограничивается то скромное шевеленіе мозговъ, которое называется эстетическимъ анализомъ. Мысль при этомъ вертится въ предѣлахъ того крошечнаго кружка, который очерченъ вокругъ нея заранѣе. Повертится, передвинетъ съ мѣста на мѣсто кое-какія нѣлики, да на томъ и успокоится. Современ-

ники Вольтера убѣдили себя разъ навсегда въ томъ, что прекрасная трагедія непременно должна заключать въ себѣ любовную интригу. Такая трагедія прекрасна, потому что она намъ нравится—это была ихъ основная аксіома. Отъ этой аксіомы отправлялся ихъ анализъ, и клонился къ тому, чтобы разъяснить, при какихъ условіяхъ *такая* трагедія можетъ быть особенно прекрасна. Этотъ робкій и жалкій анализъ, разумеется, оканчивался шлифованіемъ мельчайшихъ подробностей, составлявшихъ бесполезный, хотя и логическій выводъ изъ совершенно пустой и ложной основной идеи. Вольтеръ осмѣиваетъ рутинную узкость этихъ ходячихъ эстетическихъ теорій, и при этомъ самъ также вертится въ совершенно замкнутомъ кругу, который только чуть-чуть пошире перваго. Вольтеръ приходитъ въ эстетическій ужасъ, когда одинъ изъ его современниковъ, Ламоть-Ударъ (La Motte-Houdart) начинаетъ доказывать, что трагедіи могутъ быть прекрасны, даже въ томъ случаѣ, если въ нихъ не соблюдены три единства (времени, мѣста и дѣйствія) и если даже онѣ написаны прозою. Вольтеръ допускаетъ, что трагедія можетъ быть прекрасна безъ любви, но ереси Ламота онъ допустить не можетъ, и драматическіе произведенія Шекспира все таки ужасаютъ его своими варварскими неправильностями. Но и Ламоть-Ударъ, при всей своей смѣлости, пришелъ бы въ ужасъ, если-бы Бѣлинскій сталъ ему доказывать, что трагедіи Корнеля и Расина никуда не годятся, и что ихъ даже смѣшно сравнивать съ Шекспиромъ. Но и Бѣлинскій, при всей своей гениальности, пришелъ-бы въ ужасъ, если бы Базаровъ сказалъ ему, что «Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ», и что, слѣдовательно, люди очень удобно могутъ жить на свѣтѣ даже совсѣмъ безъ трагедій.

И Французы, обожавшіе любовную трагедію, и Вольтеръ, и Ламоть, и Бѣлинскій, при всемъ различіи своихъ взглядовъ, были все-таки эстетиками, и это обстоятельство проводитъ ясную и неизгладимую границу между этими людьми и представителями чистаго реализма. Существенная разница заключается не въ томъ, что одни признаютъ, а другіе отрицаютъ искусство; это только второстепенные выводы. Можно быть эстетикомъ, не выходя изъ сферы чисто практическихъ интересовъ; и можно быть реалистомъ, съ любовью изучая Шекспира и Гейне, какъ гениальныхъ и великихъ людей. Существенная разница лежитъ гораздо глубже; эстетики всегда останавливаются на аргументѣ: *«потому что это мнѣ нравится»*, и, чаще всего, даже не доходятъ до этого послѣдняго аргумента. Реалисты, напротивъ того, и этотъ послѣдній аргументъ подвергаютъ анализу. «Это мнѣ нравится, думаетъ реалистъ. Хорошо. Но, чтобы узнать цѣну моихъ симпатій, не мѣшаетъ сначала узнать, что за штука это я, такъ отважно произносящее свои рѣшительные приговоры. Между моими сверстниками было много дураковъ и негодяевъ; мои наставники пороли меня по вдохновенію, и заставляли меня дѣлать и под-

личать; мои родственники жили и живутъ безгнѣшными доходами; мои родственницы смѣшиваютъ Гоголя съ Поль-де-Кокомъ, и говорятъ, что писатели, какъ вредного сплетника, опасно пустить на порогъ порядочнаго дома. Посреди всѣхъ этихъ, и многихъ другихъ подобнахъ, влияній сложилась и развивалась моя личность. Были, конечно, и другія впечатлѣнія, совсѣмъ другого сорта, впечатлѣнія, по милости которыхъ мнѣ удалось бросить критическій взглядъ на разнообразный соръ моей родной избы. Были разговоры немногихъ умныхъ людей, и чтеніе многихъ умныхъ книгъ. Не дерзко-ли и не глупо-ли было бы принять за непреложную истину, что благотворное влияние этихъ людей и книгъ совершенно очистило мою личность отъ всѣхъ грязныхъ ингредиентовъ, вошедшихъ въ нее изъ почвы? Ясно теперь, что именно существованіе этой высшей руководящей идеи у послѣдовательнаго реалиста и отсутствіе такой идеи у эстетика составляетъ основное различіе между этими двумя группами людей. Какая же это идея? Это—идея общей пользы или общечеловѣческой солидарности. Какъ всѣ люди, и даже всѣ животныя вообще, эстетикъ и реалистъ оба вполне эгоисты. Но эгоизмъ эстетика похожъ на бессмысленный эгоизмъ ребенка, готоваго ежеминутно облопаться сквернѣйшими леденцами и коврижками. А эгоизмъ реалиста есть сознательный и глубоко-разсчитливый эгоизмъ зрѣлаго человѣка, заговляющаго себя на цѣлую жизнь неистощимые запасы свѣжаго наслажденія.

Идея общечеловѣческой солидарности извѣстна очень многимъ эстетикамъ, но они относятся къ ней, какъ, напримѣръ, къ какому нибудь мексиканскому вопросу.—Да, молъ, хорошая идея и интересныя вещи объ ней пишутся. Отчего не почитать на счетъ этой идеи? Отчего даже, при удобномъ случаѣ, не заявить печатно, что homo sum et nihil humani... Словомъ, отчего-же намъ, эстетикамъ, не побаловать себя и этою идеею, какъ мы балуемъ себя всѣми цвѣточками этого лучшаго изъ возможныхъ міровъ?—Такимъ образомъ эстетики, нисколько не содѣйствуя выясненію и практическому торжеству этой идеи, овладѣваютъ ею, утѣшаются ею, по своему обыкновенію, весьма миловидно, искусно и тонко вводятъ ее въ замкнутый кружокъ своихъ неподвижныхъ симпатій, и безусловно подчиняютъ ее своему высшему, хотя и затаенному, принципу, великому аргументу: *потому что мнѣ нравится*. При такой обстановкѣ, великая идея, господствовавшая деспотически надъ умами міровыхъ гениевъ, становится милою бездѣлкою, которую пріятно поставить на письменный столъ, въ видѣ легкаго presse-papier, для того, что-бы она напоминала пишущему барину, что и онъ тоже работаетъ для челоуѣчества. Да и какъ же не для челоуѣчества? Какую-бы глупость онъ ни написалъ, все таки его будутъ читать не лошади, а люди.

Всѣ мои насмѣшки могутъ относиться вполне только къ эстетикамъ нашего времени. У эстетиковъ прежнихъ временъ, у людей, подобныхъ

Вольтеру или Бѣлинскому, идея общечеловѣческой солидарности медленно созрѣвала подъ эстетическою скорлупкою. Теперь эта идея созрѣла и проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности. Стало быть, кто теперь отворачивается отъ этой идеи, и самодовольно возится съ ея разбитою скорлупою, тотъ или слѣпъ, или умышленно зажимуриваетъ глаза. А смѣяться надъ умственной слѣпотою людей, считающихъ себя обвинять-эссенціею человѣчности, это не только позволительно, но даже необходимо для выясненія и очищенія великой идеи, превращенной въ будуарное украшеніе.

XVI.

Для реалиста идея общечеловѣческой солидарности есть просто одинъ изъ основныхъ законовъ человѣческой природы, одинъ изъ тѣхъ законовъ, которые ежеминутно нарушаются нашимъ невѣденіемъ, и которые своимъ нарушеніемъ порождаютъ почти всѣ хроническія страданія нашей породы. Человѣческій организмъ, разсуждаетъ реалистъ, устроенъ такъ, что онъ можетъ развиваться по человѣчески и удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ только въ томъ случаѣ, если онъ находится въ постоянныхъ и разнообразныхъ сношеніяхъ съ другими подобными себѣ организмами. Выражаясь короче и проще, человѣку, для его собственнаго благосостоянія, необходимо общество другихъ людей. На земномъ шарѣ существуетъ множество отдѣльных человѣческихъ обществъ; между этими обществами могутъ существовать или дружескія, или враждебныя отношенія. Первые несравненно выгоднѣе послѣднихъ. Чѣмъ больше дружескихъ отношеній, и чѣмъ меньше вражды, тѣмъ лучше для каждаго изъ отдѣльныхъ обществъ; а чѣмъ успѣшнѣе развивается общество, тѣмъ пріятнѣе живетъ каждому изъ его членовъ, то есть, каждому отдѣльному человѣческому организму. Такимъ образомъ и выходитъ, что участь одного зависитъ отъ участи всѣхъ. И на оборотъ, когда отдѣльная личность вполнѣ расцѣтливо пользуется своими естественными способностями, тогда она неизбѣжно, сама того не сознавая, увеличиваетъ сумму общечеловѣческаго благосостоянія. Если-бы эта личность сознавала значеніе своей дѣятельности для общаго блага, то ей все таки не было-бы надобности измѣнять въ своей дѣятельности какую бы то ни было мелочную подробность. Вполнѣ расцѣтливый эгоизмъ совершенно совпадаетъ съ результатами самого сознательнаго

человѣколюбія. Но сознавая важное и высокое значеніе своего личнаго труда, видя въ этомъ трудѣ свою неразрывную связь съ милліонами другихъ мыслящихъ существъ, трудящаяся личность еще сильнѣе призывается къ своей дѣятельности, еще смѣлѣе развертываетъ свои способности, и, ясно понимая законность своихъ стремленій, становится болѣе счастливою, то есть, болѣе независимою отъ тѣхъ тяжелыхъ ощущеній, которыя порождаются мелкими неудачами. Я не ошибаюсь въ общемъ направленіи моей жизни, думаетъ такая личность; я повинуюсь основному закону природы. Если мнѣ приходится пережить кое какія непріятности, то я все таки знаю, что я изъ многихъ золъ выбираю меньшее. Если я пойду въ разрѣзъ съ естественнымъ закономъ, если я уклонюсь отъ него въ сторону, то, въ общемъ результатѣ, жизнь моя пойдетъ еще хуже.

Эстетики вообще восторгаются, умиляются и человѣколюбствуютъ гораздо чаще и шумнѣе, чѣмъ реалисты, которые обыкновенно обнаруживаютъ упорную антипатію ко всякому порывистому энтузіазму. Но эстетики считаютъ совершенно невозможнымъ дѣломъ провести идею дѣятельной любви во всѣ мельчайшіе поступки собственной жизни. Для нихъ эта идея — блестящій мундиръ, который можно и даже слѣдуетъ надѣвать по табельнымъ днямъ, но который, при всей своей красотѣ, превратится въ орудіе пытки, если вы станете таскать его каждый день, съ ранняго утра до поздней ночи. Когда имъ говорятъ, что это даже не мундиръ, а очень просторное домашнее пальто, то они этому рѣшительно не вѣрятъ, и людей, высказывающихъ подобныя мысли, называютъ или фантазерами, или лицемерами. Помилюйте, вопіютъ эстетики, эти сухіе, черствые люди, эти угловатая фигуры, толкующія постоянно о выгодѣ и убыткѣ, хотятъ увѣрить насъ, что имъ удалось рѣшить такую задачу общечеловѣческой любви, которая оказалась не по силамъ даже намъ, людямъ мягкимъ, нѣжнымъ и высоко развитымъ въ дѣлѣ пониманія самыхъ изящныхъ сторонъ природы и человѣческой души. Не есть-ли это съ ихъ стороны дерзкая и возмутительная ложь?

Конечно, если бы реалисты къ каждому своему шагу приплетали высокія разсужденія о человѣколюбіи и глубокіе вздохи о человѣческихъ страданіяхъ, то это было-бы и глупо, и скучно, и наконецъ сдѣлалось бы невыносимымъ, какъ для самого реалиста, такъ и для всѣхъ его знакомыхъ. Но идея любви проводится въ жизнь гораздо проще и гораздо дѣйствительнѣе. Къ этой высшей идеѣ реалистъ обращается чрезвычайно рѣдко. Обыкновенно онъ имѣетъ дѣло только съ ея практическими выводами и частными приложеніями. Доживши до тѣхъ лѣтъ, когда приходится выбирать себѣ опредѣленный родъ занятій, молодой человѣкъ, неиспорченный богатствомъ и барственнымъ лѣнью, начинаетъ всматриваться въ свои способности, и дѣлаетъ попытки по разнымъ

направленіямъ, до тѣхъ поръ, пока не отыщется себѣ такой трудъ, который ему пріятенъ, и который, при томъ, можетъ его прокормить. Разсматривая различныя сферы занятій, молодой человѣкъ, сколько нибудь способный размышлять, непремѣнно ставитъ себѣ нѣкоторые вопросы, на которые ему необходимо получить отъ себя отвѣты. Не безчестно-ли это занятіе, то есть, не вредить-ли оно естественнымъ интересамъ большинства? Не подѣйствуетъ-ли оно подавляющимъ образомъ на мои умственные способности? Обеспечитъ ли оно мою нравственную самостоятельность, то есть, буду ли я моимъ трудомъ удовлетворять дѣйствительнымъ потребностямъ общества? Чтобы поставить и рѣшить, въ ту или въ другую сторону, нѣсколько подобныхъ вопросовъ, не надо быть ни гениальнымъ мыслителемъ, ни героемъ или фанатикомъ человѣколюбія. Надо просто быть неглупымъ человѣкомъ и получить въ какомъ нибудь университетѣ довольно ясное понятіе о томъ, что такое общество, и что такое умственный трудъ.

Конечно, выбирая то или другое поприще, надо взглянуть на дѣло широко и серьезно, надо обратиться къ высшей руководящей идеѣ, и ей надо безусловно подчинить разныя второстепенныя соображенія, которыя обыкновенно называются практическими, а на самомъ дѣлѣ всегда оказываются ложными и близорукими. Если напимѣръ, лѣтъ пять тому назадъ, молодому человѣку, вышедшему изъ университета, предложили бы *выгодное* мѣсто по откупамъ, то разумѣется, онъ, во имя идеи, обязанъ былъ безусловно отказаться отъ этого мѣста, не смотря ни на какія выгоды. Идеи требуютъ отъ него этой жертвы; но намъ стоитъ только взглянуть внимательно на дѣло, чтобы немедленно убѣдиться въ томъ, что тутъ жертва чисто внѣшняя, и что требованія высшей идеи здѣсь, какъ и вездѣ, совпадаютъ вполне съ внушеніями эгонстическаго расчета. Молодой человѣкъ стоитъ на распутьѣ: направо — дорога въ откупъ, на лѣво — грошовые уроки и неизвѣстное будущее. Если-бы какой нибудь волшебникъ могъ показать ему его самого, какимъ онъ будетъ лѣтъ черезъ пятнадцать, пошедши направо, и потомъ опять таки его самого, пошедшаго на лѣво, и пережившаго такой же промежутокъ времени, то, конечно, молодому человѣку захотѣлось бы выбрать тотъ путь, который приводитъ къ наиболѣе благообразному результату. Я не думаю, чтобы молодому человѣку понравилась та личность, которую онъ увидѣлъ бы въ первомъ случаѣ. Жизнь въ брюхо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушіе ко всякимъ высшимъ интересамъ, извращеніе умственныхъ способностей, тупая и боязливая ненависть ко всему, что можетъ нарушить выгодное спокойствіе мутного болота, рѣзкій разрывъ съ честными университетскими товарищами, словомъ, всѣ признаки безнадежнаго паденія — результатъ непривлекательный! — Къ этому результату *приходитъ* тѣмъ или другимъ путемъ многіе пламенные юно-

ши, но *идутъ* они не къ этому результату, и если-бы они могли видѣть его заранее, то изъ этихъ многихъ почти всѣ повернули бы куда нибудь въ другую сторону. Значить, тутъ происходитъ ошибка въ расчетѣ, и отъ такихъ ошибокъ, неизбежныхъ при нашей юношеской неопытности и самонадѣянности, насъ всего лучше можетъ предохранить та кажущаяся жертва, которую мы приносимъ требованіямъ высшей идеи.

Очень многія отрасли труда находятся въ полномъ согласіи съ самыми строгими требованіями идеи. Которую же изъ этихъ отраслей долженъ выбрать себѣ молодой человѣкъ? И здѣсь интересы общества сходятся съ интересами личности. Пусть молодой человѣкъ выбираетъ себѣ то, что ему всего пріятнѣе. Тогда, и именно только тогда, онъ, наслаждаясь процессомъ своего труда, принесетъ обществу такое количество пользы, которое вполне соотвѣтствуетъ размѣрамъ его личныхъ способностей.

Положимъ теперь, что требованія идеи соблюдены, дѣятельность молодого человѣка вошла въ свою ровную колею, и, удовлетворяя его умственнымъ потребностямъ, съ каждымъ годомъ становится болѣе драгоценною и необходимою частью его существованія. Каждый не глупый человѣкъ можетъ найти себѣ такую дѣятельность; а какъ только жизнь наполнена осмысленнымъ трудомъ, такъ задача можетъ считаться рѣшенною: идея общечеловѣческой любви проведена во всѣ поступки жизни. Вашъ трудъ полезенъ, вы его любите, вы посвящаете ему всѣ ваши силы, вы ни за что не согласитесь дѣлать его кое-какъ, вы готовы бороться съ затрудненіями и переносить непріятности, чтобы довести его до возможной степени совершенства, вы понимаете и стараетесь расширить практическое значеніе вашей работы — кажется, этого довольно, и кажется, вы поступая такимъ образомъ, ни на одну минуту не забываете вашей солидарности съ остальными людьми, и ни однимъ вашимъ движеніемъ не уклоняетесь въ сторону отъ самыхъ неумолимыхъ требованій высшей идеи.

Итоги всѣхъ этихъ разсужденій можно подвести такъ: эстетикъ — великодушный баринъ, способный, въ минуту героическаго порыва, бросить бѣдному человѣчеству даже трехрублевую бумажку, которая, немного поздиѣе, вмѣстѣ со всѣми остальными деньгами и симпатіями этого барина, непременно полетѣла бы въ руки поющей цыганки; а реалистъ — расчетливый акціонеръ, пустившій въ оборотъ все свое состояніе, и всѣми силами служащій дѣлу компаніи, для увеличенія собственнаго дивиденда. Иной акціонеръ, ради собственной поживы, вздумаетъ, пожалуй, обокрасть компанію, но вѣдь это расчетъ не столько вѣрный, сколько отважный. На такихъ изобрѣтательныхъ акціонеровъ есть уголовный судъ, а на мошенниковъ въ общемъ дѣлѣ человѣчества — презрѣніе честныхъ людей, надъ которымъ не во всякое время можно смѣяться

безнаказанно. Поверхностному наблюдателю эстетикъ можетъ показаться симпатичнѣе реалиста, потому что реалистъ понятенъ только тому, кто разглядитъ общее направленіе его поступковъ, и разгадаетъ высшее значеніе идеи, составляющей внутренній смыслъ его существованія. А эстетикъ весь какъ на ладони, и внутренняго смысла въ его жизни вы не найдете.

XVII.

Реалистъ — мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ. Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалистами могутъ быть въ настоящее время только представители умственного труда. Конечно, трудъ тѣхъ людей, которые кормятъ и одѣваютъ насъ, въ высшей степени полезенъ, но эти люди совсѣмъ не реалисты. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи чернорабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди ничто иное, какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ, и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ человѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало, и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это — туманное пятно, изъ котораго выработаются новые міры, но о которомъ до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ — это въ настоящее время почти немислимо, а въ Россіи, при нашихъ допотопныхъ приемахъ и орудіяхъ работы, еще болѣе немислимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ. Такимъ образомъ, самый реальный трудъ, приносящій самую осязательную и неоспоримую пользу, остается внѣ области реализма, внѣ области пракческаго разума, въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ общечеловѣческой мысли. Что-жъ намъ дѣлать съ этими подвалами? Покада приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственного труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда, прямо или косвенно, клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы.

Изъ всѣхъ реалистовъ только одни естествоиспытатели, раздвигающіе предѣлы науки новыми открытіями, работаютъ для человѣчества вообще, безъ отношенія къ отдѣльнымъ національностямъ и къ различнымъ усло-

вѣмъ мѣста и времени. Остальные реалисты работаютъ также для человѣчества, но задачи и приемы ихъ дѣятельности должны измѣняться сообразно съ обстоятельствами и приспосабливаться къ потребностямъ отдѣльныхъ человѣческихъ обществъ. Мѣстныя и временныя условія нашей русской жизни заявляютъ свои опредѣленные требованія, и русскій реалистъ не можетъ оставлять ихъ безъ вниманія. Этимъ требованіямъ онъ непремѣнно долженъ подчинить свою дѣятельность, если только онъ не посвятилъ себя исключительно изученію природы.

Мнѣ кажется, вліяніе нашихъ мѣстныхъ обстоятельствъ выражается преимущественно въ томъ, что отдѣльныя направленія реалистическаго труда до сихъ поръ не выяснились и не опредѣлились. Наша мысль только что пробуждается въ немногихъ головахъ; въ дѣлѣ умственнаго труда одному и тому же человѣку приходится, сплошь и рядомъ, и землю пахать, и сапоги шить, и пироги печь, и дрова колоть. Рациональное раздѣленіе труда до сихъ поръ еще невозможно; вѣзаться основательно за специальную задачу, значить уйдти далеко впередъ отъ пониманія общества, съзвуть, безъ малѣйшей пользы, сферу своего вліянія, и не встрѣтить въ соотечественникахъ ничего, кромѣ равнодушія и недоумѣнія. За какое бы общепольное предпріятіе вы ни взялись, вамъ, во всякомъ случаѣ, придется вить веревку изъ песку, то есть, собирать и склеивать искусственными средствами такія разсыпавшіяся частицы, которыя не имѣютъ, не хотятъ и не могутъ имѣть, ни малѣйшей связи, ни между собою, ни съ вашею идеею. Каждого соотечественника придется уговаривать поодиночкѣ, и каждого придется, при этомъ удобномъ случаѣ, обучать тѣмъ элементарнымъ истинамъ, которыя человѣкъ непремѣнно долженъ знать для того, чтобы имѣть какое нибудь мнѣніе о вашемъ предпріятіи. Это значить, вамъ нуженъ строевой лѣсъ, а подъ руками у васъ мѣра желудей; конечно, если положить эти желуди въ землю, то лѣсъ вырастетъ, но, рассчитывая на этотъ лѣсъ, подризать плотниковъ, это было бы съ вашей стороны опрометчиво. А кстати, подризать-то не кого, потому что плотники, подобно строевому лѣсу, также находятся въ зачаточномъ состояніи. Какъ-же тутъ прикажете поступить мыслящему реалисту? Если онъ придетъ въ уныніе и опуститъ руки, то онъ очень скоро сдѣлается жирнымъ филистеромъ, и его уныніе перейдетъ въ хроническую улыбку тупого самодовольства. Если онъ будетъ суетиться и метаться изъ угла въ уголъ, не требуя отъ своихъ условій осозательнаго результата, и не задавая себѣ даже вопроса о томъ, возможенъ ли такой результатъ, то онъ окажется Репетиловымъ, или трудающеюся мартышкою. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, онъ перестанетъ быть реалистомъ; горизонтъ его мысли быстро съзвизится, и вся личность его завянетъ и сморщится, потому что и бездѣйствіе и безсмысленная суетня дѣйствуютъ на человѣка самымъ опощающимъ образомъ.

Чтобы поддерживать и возвышать человеческую личность, умственный труд непременно долженъ быть полезнымъ, то есть, онъ не только долженъ быть направленъ къ извѣстной разумной цѣли, но онъ, кромѣ того, долженъ достигать этой цѣли. Реалистъ не можетъ успокоить себя тою отговоркою, что я, молъ, исполнилъ свой долгъ, старался, говорилъ, убѣждалъ, а если не послушали, такъ, стало быть, и нечего дѣлать. Такія отговорки полезны только для эстетика, для дилетанта умственной работы, для человѣка, которому надо, во чтобы то ни стало, получить отъ самого себя квитанцію въ исправномъ платежѣ какого-то невещественнаго долга. А въ глазахъ реалиста такая квитанція не имѣетъ никакого смысла; для него трудъ есть необходимое орудіе самосохраненія, необходимое лекарство противъ заразительной пошлости; онъ ищетъ себѣ полезнаго труда съ тѣмъ неутомимымъ упорствомъ, съ какимъ голодное животное ищетъ себѣ добычи; онъ ищетъ и находитъ, потому что нѣтъ такихъ условій жизни, при которыхъ полезный умственный трудъ былъ бы рѣшительно невозможнымъ. Реалистъ убѣждается въ томъ, что намъ, прежде всего, необходимы знанія. Это—великая истина, превратившаяся даже въ избитую фразу, благодаря тѣмъ мудрецамъ, которые, произнося всевозможныя слова, не поняли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реалистъ не останавливается на голой фразѣ, и немедленно выводитъ изъ основной идеи всѣ ея практическія послѣдствія. Общество нуждается въ знаніяхъ, но оно само почти совсѣмъ не сознаетъ и не чувствуетъ, до какой степени оно бѣдно въ умственномъ отношеніи, и до какой степени эта умственная бѣдность мучительно отзывается во всѣхъ подробностяхъ его всѣдневной жизни. Завалите такое общество превосходнѣйшими учебниками, переведите для него всѣ лучшія научныя сочиненія величайшихъ европейскихъ мыслителей — и все это принесетъ ему очень мало пользы. Обставьте больного всевозможными микстурами и декоктами — и онъ все таки не выздоровѣетъ, если не будетъ принимать вашихъ лекарствъ, и не захочетъ исполнять ваши гигиеническія предписанія. Когда больной считаетъ себя здоровымъ, тогда ему, прежде всего, необходимо доказать, что онъ жестоко ошибается. Именно такимъ образомъ слѣдуетъ поступить и съ нашимъ обществомъ. Оно не только мало размышляетъ, но оно даже не имѣетъ никакого понятія о томъ, что такое дѣятельность мысли. Лексиконъ мудреныхъ словъ, цѣлыя сборники готовыхъ изрѣченій, цѣлыя бібліотеки игрушечныхъ произведеній праядной фантазіи, — вотъ весь умственный капиталъ, обращающійся въ нашемъ обществѣ, и обладаніе такими сокровищами во всѣхъ отношеніяхъ должно считаться болѣе тигостнымъ бѣдствіемъ, чѣмъ самая голая умственная нищета. Мы изъ каждой дѣльной мысли выхватываемъ только ея формальное выраженіе, и къ обширному сборнику нашихъ за-

твержденных изречений прибавляемъ, такимъ образомъ, еще новую фразу, изъ которой улетучивается весь ея жизненный смыслъ.

Имѣемъ-ли мы какое нибудь понятие о животныхъ и растеніяхъ, о физическихъ и химическихъ законахъ, о свойствахъ воды, воздуха, металловъ и различныхъ составныхъ частей почвы?—Ровно никакого. — Знаемъ-ли мы что нибудь о жизни европейскихъ обществъ? — Совсѣмъ ничего. — Понимаемъ-ли мы ихъ исторію?—Нисколько. — Извѣстно-ли намъ положеніе Россіи?—Рѣшительно неизвѣстно.—И въ то же время, при этомъ кругломъ невѣжествѣ, мы все знаемъ, мы знаемъ ужасно много, мы все читаемъ и обо всемъ пишемъ.—Мы знаемъ, что есть телескопъ, микроскопъ, химическій анализъ, жираффа, Александръ Гумбольдтъ, хлѣбное дерево, анатомія, кокосовые орѣхи, эмбриологія, коралловые рифы, и многія другія естественныя произведенія, интересныя съ той или съ другой стороны для изслѣдователей природы. Познанія наши по части европейской политики еще болѣе обширны и разнообразны. Мы знаемъ, что въ англійскомъ парламентѣ сидитъ мистеръ Геннесъ; что Гарибальди сначала подстрѣлили при Аспро-Монте, а потомъ вылечили и простили; что Викторъ Гюго живетъ въ Брюсселѣ и написалъ новый романъ: «Les misérables»; что черногорцы наши братья, и дерутся съ турками; что фабриканты, машинисты и работники, совокупными силами, создали чудеса новѣйшей промышленности, но что, къ сожалѣнію, тутъ появился анатагонизмъ сословій, породился пауперизмъ, а потомъ явились коммунисты и социалисты, которые еще болѣе перепутали дѣло; всего же основательнѣе мы знаемъ, по рассказамъ нашихъ путешествовавшихъ соотечественниковъ, что поѣзды и дебаркадеры желѣзныхъ дорогъ устроены удобно, что лоретки—женщины пикантныя, и рулетка—препровожденіе времени очаровательное, но во многихъ отношеніяхъ изнурительное.

Мы, какъ видите, знаемъ чрезвычайно много; всякія собственныя имена, всякія спеціальныя слова и техническія выраженія, все это намъ доподлинно извѣстно. Не знаемъ мы только бездѣлицы, — не знаемъ тѣхъ живыхъ явленій, которыя обозначаются этими словами, и не знаемъ, кромѣ того, какимъ образомъ эти неизвѣстныя намъ явленія связываются одно съ другимъ. Мы скажемъ вамъ, напримѣръ, что пауперизмъ значить бѣдность, но каковы размѣры этого явленія, въ какихъ формахъ оно выражается, откуда оно произошло, почему оно въ одной сторонѣ развилось сильнѣе, чѣмъ въ другой—этого мы не знаемъ, и мы бы даже очень удивились, если-бы кто нибудь заподозрѣлъ насъ въ способности когда нибудь задать себѣ такіе вопросы, и узнать такіе запутанныя исторіи.—Что такое Литва? спрашиваетъ одинъ изъ обывателей города Калинова, въ драмѣ «Гроза».—А эта Литва къ намъ съ неба свалилась, отвѣчаетъ другой, и любознательность первого гра-

жданна немедленно удовлетворяется этимъ отвѣтомъ. — Литва — это народъ такой, отвѣтитъ себѣ образованный человѣкъ, и также удовлетворится. А вѣдь въ сущности узнать, что неизвѣстный мнѣ народъ называется Литвою, а не Капустою, и не Самоваромъ, это значитъ только прибавить къ своему лексикону новое двусложное слово.

И точно такое же значеніе имѣетъ каждый голый фактъ, вырванный изъ общей картины жизни и поднесенный невзыскательному читателю затѣйливымъ составителемъ журнальнаго или газетнаго обзорѣнія, А такъ какъ наша публика, кромѣ такихъ голыхъ реляцій, не получаетъ отъ своихъ обыкновенныхъ просвѣтителей рѣшительно ничего, и такъ какъ она даже не знаетъ, чего-бы она могла отъ нихъ потребовать, такъ какъ она читаетъ отъ нечего дѣлать, и даже не обращаетъ вниманія на свою полную умственную пассивность, то реалистъ, пристально взглядывшись въ эти специально-россійскія отношенія между писателями и читателями, говоритъ рѣшительно и просто, что общество не знаетъ ровно ничего, и не умѣетъ даже отличить живую дѣятельность мысли отъ бессознательной игры словъ и оборотовъ. Но реалистъ долженъ не только высказать такое сужденіе, а еще, кромѣ того, доказать его строгую вѣрность, и сдѣлать такъ, чтобы общество увидѣло и почувствовало справедливость его словъ.

На чемъ же спать наши соотечественники, или, выражаясь яснѣе, что ихъ утѣшаетъ и успокоиваетъ, что маскируетъ пустоту ихъ жизни и избавляетъ ихъ отъ необходимости умирать со скуки, или заниматься полезною работою? Водка, табакъ, карты, рисаки, донъ-жуанство, гончія собаки—все это предметы, играющіе самыя почетныя роли въ жизни нашего общества, и противъ нихъ, конечно, современный реализмъ безсиленъ. Эти тюфяки будутъ отодвинуты въ сторону только тогда, когда реализмъ войдетъ въ дѣйствительную жизнь, то есть, когда реалистовъ будетъ уже очень много, и когда общество, вслѣдствіе ихъ вліянія, начнетъ въ самомъ дѣлѣ проникаться тѣмъ сознаніемъ, что трудиться гораздо полезнѣе и пріятнѣе, чѣмъ искать сильныхъ ощущеній въ игрѣ, въ пьянствѣ или въ псовой охотѣ. Эти времена лежатъ еще далеко впереди, и поэтому реалистъ не долженъ въ настоящее время тратить свою энергію на безплодныя проповѣди. Реалистъ долженъ думать только о тѣхъ людяхъ, которые могутъ проснуться и превратиться въ реалистовъ. Такіе люди въ нашемъ обществѣ существуютъ. Чтеніе составляетъ для нихъ дѣйствительную потребность и они читаютъ много, и, не смотря на то, все таки спятъ. Эти любители умѣютъ читать даже серьезныя статьи и понимаютъ въ нихъ каждое слово (напримѣръ пауперизмъ — бѣдность, ботаника-наука о растеніяхъ, Либихъ — нѣмецкій химикъ). Но, такъ какъ настоящія задушевные симпатіи этихъ людей влекутъ къ беллетристическимъ и къ поэзіи, то они и серьезные статьи

и книги читаютъ, какъ повѣсти и какъ поэмы. Они говорятъ, для собственнаго назиданія, что серьезныя вещи читать полезно, и они даже всякій разъ, одолѣвши что нибудь серьезное, утѣшаютъ себя тѣмъ пріятнымъ размышленіемъ, что они исполнили священный долгъ, и что теперь, усложнивъ свою требовательную совѣсть, можно побаловать свою грѣшную душу романчикомъ или стихами. Но, при всемъ томъ, даже исполнивъ священный долгъ, они ищутъ во всякомъ серьезномъ чтеніи все той же, любезной имъ, беллетристической занимательности. Когда же они этого сладкаго ингредиента не находятъ, тогда они стараются только какъ можно скорѣе прожевать и проглотить сухую матерію, для того чтобы умиротворить свою совѣсть. Надо отдать имъ справедливость, что совѣсть ихъ очень требовательна; она все шепчетъ имъ самымъ озлобленнымъ шопотомъ: «слѣди же за вѣкомъ! читай же дѣльныя книги! Будь же мыслящимъ существомъ!»

И повинувшись этому повелительному голосу, спящіе читатели совершаютъ дѣйствительно чудеса крабросности. Читать серьезныя сочиненія безъ общаго плана, узнавать отдѣльныя подробности, не видя въ нихъ общаго смысла, проводить черезъ свою голову чужія мысли, не имѣя понятія о живыхъ явленіяхъ, породившихъ эти идеи, напрягать свое вниманіе, не отыскивая никакого отвѣта на вопросы и сомнѣнія своей собственной жизни и мысли—это занятіе умственно-скупное. Это все равно, что читать лексиконъ, или прихода-расходную книгу совершенно неизвѣстнаго вамъ человѣка. И что выходитъ изъ этого чтенія? Запоминаются слова и факты, но въ тѣхъ мысляхъ, которыя управляютъ жизнью самого читателя, не происходитъ ни малѣйшаго передвиженія. Наши русскіе читатели даже твердо убѣждены въ томъ, что между книгою и жизнью не можетъ быть никакого взаимнаго дѣйствія. И все это оттого, что они выучились читать и полюбили чтеніе исключительно по романамъ и поэмамъ. У нихъ установился взглядъ на чтеніе, какъ на препровожденіе времени, то есть, какъ на средство *убить время*, потому что время, это драгоцѣннѣйшее достояніе мыслящаго человѣка, есть смертный врагъ нашихъ соотечественниковъ, врагъ, котораго слѣдуетъ гнать и истреблять всѣми возможными орудіями, начиная отъ желудочной воды и кончая статьями «Русскаго Вѣстника».

Чтеніе нашихъ соотечественниковъ не имѣетъ цѣли; русскій человѣкъ ничего не ищетъ въ книгѣ, ни о чемъ не спрашиваетъ, ни къ чему не жаждетъ придти. Онъ просто хочетъ, чтобы писатель повеселилъ его душу. Если писатель веселитъ его утонченными ощущеніями, и если увеселяемый читатель понимаетъ всѣ утонченности, то онъ считаетъ себя развитымъ человѣкомъ, и, любуясь на свою развитость, называетъ тонкаго увеселителя великимъ гениемъ, и вѣдая себѣ въ заслугу то, что онъ ихъ понимаетъ, русскій читатель вноситъ и во всякое дѣльное чтеніе

тѣ приемы мышленія, которые онъ приобрѣлъ въ обществѣ тонкихъ увеселителей. Хоть русскій читатель и увѣряетъ себя, что онъ читаетъ серьезную книгу для пользы, но вѣдь это только такъ говорится. О настоящей пользѣ онъ и понятія не имѣетъ. Слово польза не вызываетъ въ его умѣ никакого опредѣленнаго представленія, и въ общемъ результатѣ, всякое чтеніе все таки приводитъ за собою только истребленіе времени; а запоминается изъ прочитанной книги, и нравится въ ней исключительно то, что повеселило душу.

Если-бы безобразіе и пошлость такого занятія выступили передъ пониманіемъ читателя во всей своей отвратительной наготѣ, то ему сдѣлалось-бы очень совѣстно. Онъ встревожился-бы и сталъ-бы искать чего нибудь менѣе недѣлаго. Онъ именно попалъ-бы съ постели на полъ, и открылъ-бы свои отяжелѣвшія очи. Къ этой цѣли и направляются усилія нашихъ реалистовъ; сдѣлать такъ, что-бы русскій человѣкъ, собирающійся вздремнуть или помечтать, постоянно слышалъ въ ушахъ своихъ звуки рѣзкаго смѣха, сдѣлать такъ, чтобы русскій человѣкъ самъ принужденъ былъ смѣяться надъ своими возвеличенными нигмеями — это одна изъ самыхъ важныхъ задачъ современнаго реализма. Вамъ нравится Пушкинъ? — Извольте, полюбуйтеся на вашего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демономъ» Лермонтова? — Посмотрите, что это за бессмыслица. — Вы благоговѣете передъ Гегелемъ? — Попробуйте сначала понять его изреченія. — Вамъ хочется уснуть подъ сѣмью «общихъ авторитетовъ поэзіи и философіи?» — Докажите сначала, что эти авторитеты существуютъ и на что нибудь годятся. — Вотъ какъ надо поступать съ русскимъ человекомъ. Не давайте ему уснуть, какъ-бы онъ ни закутывалъ себя голову теплыми иллюзіями и темными фразами.

Реалисты наши такъ и дѣлаютъ: они смѣются, и ихъ звонкій смѣхъ прорѣзываетъ такіе туманы, которые не поддаются серьезной аргументаціи. Русскіе писатели смѣются уже давно, но смѣхъ сатириковъ нашихъ, отъ Капниста до г. Щедрина, тратился постоянно на такіа явленія, которыя на сатиру не обращаютъ никакого вниманія. Испорченая сатирою взяточничество — что можетъ быть невиннѣе и безплоднѣе этого занятія? Реалисты, конечно, неспособны тратить свой смѣхъ на такіа упражненія. Они очень хорошо понимаютъ, что взятка никогда не будетъ казаться смѣшною тому человеку, котораго она кормитъ и одѣваетъ. Если идеи и чувства лириковъ, эстетиковъ, романтиковъ, педантовъ, фразеровъ, сдѣлаются смѣшными для общества, то общество перестанетъ ими увлекаться, и направить свои симпатіи въ другую сторону. Результатъ получится осязательный, и я смѣю думать, что, такимъ образомъ рѣшится очень серьезная задача, потому что въ настоящее время всего необходимѣе превращать чувствительныхъ тунеядцевъ въ мыслящихъ работниковъ.

XVIII.

Началь я съ общечеловѣческой солидарности, а кончилъ тѣмъ практическимъ заключеніемъ, что намъ, русскимъ реалистамъ, можно только осмѣливать потихоньку наши мелкія глупости, и медленно учиться, вмѣстѣ съ нашею лѣнливою публикою, самымъ элементарнымъ истинамъ строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конецъ! Гора мышъ родила, подумаетъ читатель, и я никакъ не осмѣлюсь ему противорѣчить. Я уже говорилъ въ первой части этой статьи, что мы бѣдны и глупы; теперь намъ пришлось убѣдиться въ томъ, что наша бѣдность и наша глупость доходятъ дѣйствительно до самыхъ почтенныхъ размѣровъ, — до такихъ размѣровъ, что глупость мѣшаетъ намъ понимать пользу необходимаго лекарства, а бѣдность мѣшаетъ намъ приобрести себѣ за разъ достаточную дозу этого лекарства. Вслѣдствіе этого и приходится употреблять это лекарство самымъ поверхностнымъ образомъ и въ самыхъ микроскопическихъ приемахъ. Великая и плодотворная идея должна пристроиться къ самому мелкому практическому примѣненію, и только при этомъ условіи она можетъ, съ грѣхомъ пополамъ, проникнуть въ сознание лучшаго меньшинства нашей читающей публики.

Въ этомъ печальномъ обстоятельстве невиноваты, разумѣется, ни основныя особенности реалистической идеи, ни личныя свойства нашихъ реалистовъ. Представьте себѣ, что вы превосходно изучили раціональную агрономію, и что вамъ приходится прикладывать ваши знанія къ обыкновенному мужицкому хозяйству, и всего оборотнаго капитала у васъ рублей сорокъ или пятьдесятъ. Если вы не пустой фантазеръ, то вы, разумѣется, оставите покуда въ сторонѣ всякіе помыслы о паровыхъ плугахъ, о молотилкахъ, объ искусственномъ травосѣяніи и о химическомъ анализѣ почвы. Вы ограничитесь тѣмъ, что на первый годъ купите, на примѣръ, желѣзную борону и для удобренія корову. Значить, и здѣсь гора мышъ родила, но вѣдь это обстоятельство нисколько не доказываетъ, что приложеніе химіи къ земледѣлію — чепуха, или что вы сами ничему не выучились. Ни чуть не бывало. Если вы одарены яснымъ практическимъ умомъ и твердымъ характеромъ, если вы способны ровнымъ шагомъ идти къ далекой цѣли, не спуская съ нея глазъ ни на одну минуту, и постоянно соразмѣряя ваши собственныя силы съ тѣмъ разстояніемъ, которое вы должны пройти, то вы непременно докажете на дѣлѣ вашимъ деревенскимъ сосѣдямъ, что раціональная агрономія не пустяки, и что вы сами не даромъ потратили время на ея

изученіе. За бороною и коровою будутъ слѣдовать ежегодно новыя улучшения, которыя, постоянно увеличивая вашъ доходъ, постоянно будутъ расширять кругъ вашей преобразовательной дѣятельности. Каждое новое улучшение будетъ вытекать изъ прошлагодняго и, такимъ образомъ, корова и борона сдѣлаются фундаментомъ всего вашего послѣдующаго благосостоянія. Если-бы корова и борона и остались безъ дальнѣйшихъ послѣдствій, тогда, конечно, можно было-бы сказать, что гора родила мышъ; но вѣдь тутъ дѣло идетъ, какъ говорятъ французы, *de fil en aiguille*; стало-быть, гора родить цѣлую цѣпь явленій, которыя могутъ вылѣзти изъ горы не иначе, какъ одно за другимъ.

Я хотѣлъ говорить о русскомъ реализмѣ, и свелъ разговоръ на отрицательное направленіе въ русской литературѣ. Читатель можетъ подумать, что я дѣлалъ это по цѣховому самолюбію, по пристрастію къ моему муравейнику и къ моимъ собственнымъ муравьинымъ занятіямъ. Въ этомъ случаѣ, читатель рѣшительно ошибется. Я съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ отыскивалъ въ общественныхъ явленіяхъ нашей вседневной жизни какихъ нибудь признаковъ здороваго реализма, и не нашелъ въ нихъ ничего похожаго, не только на реализмъ, но даже на какое нибудь сознательное движеніе мысли. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, только въ одной литературѣ и проявлялось до сихъ поръ хоть что нибудь самостоятельное и дѣятельное. Гоголь, Бѣлинскій, Добролюбовъ — вотъ вамъ въ трехъ именахъ полный отчетъ о всей нашей умственной жизни за цѣлое тридцатилѣтіе; къ этимъ именамъ можно было-бы прибавить еще два-три имени, но и эти послѣднія также принадлежать къ литературѣ, и, по направленію своей дѣятельности, примыкаютъ или къ Бѣлинскому, или къ Добролюбову.

А гдѣ же наши изслѣдователи, гдѣ наши практическіе работники? Были, есть и будутъ и тѣ и другіе. Г. Соловьевъ, г. Срезневскій, г. Бодянский, г. Буслаевъ — вотъ какія громкія имена мы можемъ выдвинуть въ параллель нѣмецкимъ именамъ: Либихъ, Дюбуа-Реймонъ, Фохтъ, Гельмгольцъ, или французскимъ: Клодъ-Бернаръ, Де-Кандолль, Эли де-Бомонъ, Мильнъ-Эдвардъ, или англійскимъ: Дарвинъ, Ляйелль, Форбесъ, Бокль. Что же касается до практическихъ работниковъ, то ихъ не затѣмъ и пересчитывать.

Нѣкоторые *настоящіе* изслѣдователи, приносящіе *дѣйствительную* пользу общечеловѣческой наукѣ, живутъ, правда, въ русскихъ городахъ, и даже иногда носятъ русскія фамиліи, но ихъ труды остаются для нашего общества мертвымъ и даже неизвѣстнымъ капиталомъ. Нашъ академикъ Карлъ Эрнстъ Фонъ-Бэръ считается во всей Европѣ однимъ изъ величайшихъ эмбриологовъ нашего времени. Дарвинъ, Карлъ Фохтъ, Гексли всегда цитируютъ его мнѣнія съ особеннымъ уваженіемъ. Льюисъ въ своей «Физиологіи обыденной жизни», ссылается на изслѣдованіе

Овсянниковъ о спинномъ мозгѣ, и Якубовича—о нервныхъ клеточкахъ. Французскій ученый Бекларъ упоминаетъ въ своей физиологіи о нѣкоторыхъ экспериментальныхъ работахъ Боткина и Сѣченова. Ну, а мы? мы, я чай, и понятія не имѣемъ о томъ, что у насъ могутъ существовать такіе люди, которые, въ самомъ дѣлѣ, не шута, занимаются эмбриологіею, нервными клеточками и физиологическими опытами. Мы узнаемъ объ этихъ людяхъ изъ иностранныхъ книгъ, и чувствуемъ себя польщенными, точно будто мы сами не спимъ, а занимаемся дѣломъ. И вдругъ, узнавши такимъ случайнымъ образомъ о подвигахъ русскихъ людей, какой-нибудь мыслитель изъ «Сына Отечества» или изъ «Сѣверной Пчелы» вламывается въ амбицію, и заявляетъ жалобнымъ голосомъ свою патріотическую претензію. «На что-же молъ это похоже? Въ Россіи есть умные люди, а я, русскій мыслитель и образованный человѣкъ, объ этомъ ничего не знаю. Какъ же вамъ не грѣхъ такъ поступать, родимые спеціалисты? зачѣмъ же вы пишете по латини или по нѣмецки? Вы должны писать по русски, тогда бы я васъ зналъ и мнѣ было-бы пріятно, а русское общество получило-бы отъ васъ назиданіе и пользу. Смотрите-же, родимые спеціалисты, непременно пишите по русски».

Такія жалобы и такія увѣщанія слышатся очень часто, и читатель имъ обыкновенно сочувствуетъ тѣмъ дряблымъ и ни на что негоднымъ сочувствіемъ, которымъ мы вообще чрезвычайно богаты, и которое никогда не можетъ повести насъ дальше какихъ-нибудь обѣдовъ по подпискѣ или спектаклей съ благотворительными предлогами. Но эти жалобы и увѣщанія такъ же пусты и праздно, какъ и большая часть тѣхъ мыслей, съ которыми сочувственно соглашаются русскіе читатели. Какая бы, въ самомъ дѣлѣ, вышла польза, если-бы Овсянниковъ написалъ свое изслѣдованіе по русски? Пользы никакой, а вредъ очевидный; вѣдь Льюисъ не сталъ бы учиться русскому языку ради одной диссертациі о спинномъ мозгѣ; ну, стало-быть, у Льюиса однимъ полезнымъ пособіемъ было бы меньше, а мыслитель «Сына Отечества» или «Сѣверной Пчелы» все-таки не прочелъ-бы диссертациі родимаго спеціалиста; а если-бы и прочелъ, то ничего бы изъ нея не понялъ и не извлекъ, потому что выучиться нѣмецкому или латинскому языку гораздо легче, чѣмъ понять спеціально ученый трудъ, написанный даже по русски. Если-бы мыслитель былъ способенъ заниматься серьезнымъ дѣломъ, то нѣмецкій или латинскій языкъ не составилъ бы для него непреодолимаго препятствія. А если онъ, отъ лица публики, жалуется на трудность иностраннаго языка, то онъ еще пуще того будетъ жаловаться на непонятность научнаго изложенія. Ему что надо? Ему надо, чтобы Бэръ явился передъ русскою публикою и сказалъ ей съ подобающею любезностью: «честь имѣю рекомендоваться: я — Карлъ Эрнстъ фонъ-Бэръ. Я занимаюсь эмбриологіею. Эмбриологія есть наука о развитіи

живыхъ существъ. Эта наука составляетъ часть естествознанія, а естествознаніе—вещь очень полезная, воть почему, и воть почему. И сдѣлать нѣсколько новыхъ открытій, и объясню вамъ значеніе этихъ открытій, примѣняясь къ вашему убогому пониманію и стараясь растолковать вамъ самыя элементарныя истины, извѣстныя каждому нѣмецкому школьнику, но совершенно новыя для мыслителей нашихъ газетъ и журналовъ».

Ахъ, какъ-бы это было хорошо и благоразумно! На это галантейное расшаркиваніе Бэра передъ русскою публикою ушло-бы очень много времени, а время Бэра очень дорого, потому что великій натуралистъ могъ-бы употребить его на новыя изслѣдованія. Бэръ — превосходный специалистъ, раздвигающій предѣлы науки. а мы, по нашей глупости, хотимъ, кромѣ того, чтобы онъ сдѣлался для насъ школьнымъ учителемъ; и если-бы наше глупое желаніе исполнилось, то однимъ великимъ изслѣдователемъ сдѣлалось-бы меньше, и однимъ плохимъ нисательмъ больше.

И такія же требованія, вмѣстѣ съ такими же нелѣпыми упреками, сыпятся на нашихъ остальныхъ дѣльныхъ специалистовъ. Эти требованія и упреки очень поучительны, потому что въ нихъ выражается, самымъ наивнымъ образомъ, изумительная пассивность нашихъ умственныхъ привычекъ. Чуть только появится у насъ какой нибудь дѣльный человѣкъ, мы сейчасъ наровимъ пристроиться къ нему подъ крылышко. Мы уже ждемъ отъ него какой-то манны небесной, и намъ даже въ голову не приходитъ та мысль, что намъ слѣдуетъ быть дѣтельными помощниками, а не убогими приживалками этого полезнаго человѣка. Мы говоримъ дѣльному человѣку: благодѣтель, отецъ родной! Просвѣти насъ, научи насъ, наставь на путь истины. Мы тебя будемъ слушать и вѣкъ за тебя будемъ бога молить.

Написано, напримѣръ, дѣльное научное сочиненіе, открывающее какія нибудь новыя истины. Значить, нашелся въ обществѣ мыслящій человѣкъ, который сдѣлалъ свое дѣло, какъ слѣдуетъ. Если общество живетъ полною и здоровою жизнью, то этотъ утѣшительный фактъ никакъ не останется одинокимъ и случайнымъ явленіемъ; немедленно найдется другой дѣльный человѣкъ, который объяснитъ открытіе перваго; потомъ, какой нибудь третій человѣкъ придумаетъ для этихъ открытій практическое примѣненіе, — словомъ, дѣло изслѣдователя будетъ проведено въ сознаніе и въ жизнь общества разными популяризаторами и техниками. А у насъ, напротивъ того, десятки людей будутъ жаловаться на то, что изслѣдователь пишетъ неясно, и ни одинъ изъ этихъ поющихъ десятковъ не потрудится разъяснить и переработать собственными силами то, что онъ находитъ неудовлетворительнымъ. Да онъ и не находитъ ничего неудовлетворительнымъ; онъ просто хочетъ сидѣть

на одномъ мѣстѣ, сибаритствовать, заниматься пріятнымъ чтеніемъ и, отдавшись безусловно въ руки спеціалиста, пріобрѣтать отъ него знанія безъ малѣйшаго напряженія мысли.

При такой полной пассивности нашего общества, русскіе спеціалисты поставлены въ необходимость писать свои изслѣдованія на иностранныхъ языкахъ. Это даже выгодно для нашего общества, не говоря уже объ интересахъ общечеловѣческой науки. Положимъ, напримѣръ, что докторъ Боткинъ произвелъ какія нибудь новыя изслѣдованія надъ леченіемъ нервныхъ болѣзней. Напечатай онъ эти изслѣдованія на русскомъ языкѣ они точно въ воду канутъ. Но, какъ только они попадутся въ руки европейскихъ ученыхъ, такъ тотчасъ сотни дѣятельныхъ умовъ дополняютъ и перерабатываютъ ихъ своими собственными наблюденіями, и открытіе нашего доктора вернется къ намъ въ Россію въ усовершенствованномъ видѣ, и больные наши испытаютъ на собственномъ тѣлѣ благотѣльные послѣдствія того факта, что русскій ученый написалъ свое изслѣдованіе на нѣмецкомъ языкѣ. Если-бы умственная жизнь нашего общества отличалась силою и энергіею, тогда спеціалисты наши писали-бы по русски, тогда у насъ было бы много спеціалистовъ, и тогда европейскіе ученые находили-бы для себя полезнымъ учиться русскому языку, подобно тому, какъ они въ настоящее время учатся англійскому, французскому и нѣмецкому. Спеціалиста съ непобѣдимой силою притягиваетъ та сфера, въ которой его специальный трудъ будетъ всего лучше понятъ и оцѣненъ, и въ которой онъ, слѣдовательно, произведетъ самое плодотворное и живительное впечатлѣніе. И спеціалистъ поступаетъ совершенно благоразумно и добросовѣстно, подчиняясь безусловно дѣйствию этой притягательной силы.

Мы даже не имѣемъ никакого права говорить, что русскіе ученые не думаютъ о потребностяхъ русскаго общества. Какіе русскіе ученые? Русскіе ученые не существуютъ. Развѣ тѣ-же ученые, которыхъ мы называемъ русскими, порождены умственнымъ движеніемъ и умственными потребностями нашего общества? Ни чуть не бывало. Мы даже до сихъ поръ не имѣемъ понятія о томъ, что такое умственное движеніе или умственная потребность. Все это я говорю не для того, чтобы обидѣть такихъ спеціалистовъ, какъ Баръ, Овслинниковъ, Якубовичъ и другіе, а только для того, чтобы доказать, что спеціалисты, перевезенные изъ Европы въ Россію, или, точнѣе, порожденные обще-европейскимъ движеніемъ мысли, всегда будутъ и должны тянуться къ своей умственной родинѣ. Они въ нашемъ обществѣ также одиноки, какъ если-бы они находились въ аравійской пустынѣ. Они не могутъ создать въ обществѣ умственное движеніе. Не спеціалисты создаютъ то или другое общественное настроеніе, а на оборотъ, общество, настроившись такъ или иначе, дѣйствіемъ общихъ причинъ, испытываетъ тѣ или другія пот-

ребности, и выдвигаетъ, для удовлетворенія этимъ потребностямъ, теоретическихъ изслѣдователей или практическихъ дѣятелей. Общество должно само работать надъ своимъ образованіемъ, и только оно одно, совокупными усиліями всѣхъ своихъ членовъ, можетъ выполнить надъ собою это дѣло умственного перерожденія. А пока оно будетъ сидѣть, сложа руки, и ждать себѣ манны небесной отъ отдѣльныхъ личностей, до тѣхъ поръ манна къ нему не сойдетъ, хотя-бы эти личности и были европейскими знаменитостями, подобными Бэру.

Что европейская наука насаждена и поддерживается у насъ искусственными средствами, это очень хорошо, потому что безъ искусственныхъ средствъ она-бы не поддержалась, но если общество думаетъ, что оно имѣетъ какое-нибудь право контроля надъ такою наукою, которая возникла и держится помимо его содѣйствія, то общество сильно ошибается. Пусть оно сначала поработаетъ, пусть выдѣлитъ изъ себя научныхъ дѣятелей, и тогда ему не на что будетъ жаловаться: эти новые дѣятели, обязанные ему своимъ происхожденіемъ, будутъ безусловно преданы его умственнымъ интересамъ. До сихъ поръ, наше общество создало своими собственными силами только одну журналистику, которая дѣйствительно возникла, развилась и держится независимо отъ всякихъ постороннихъ вліяній. И въ самомъ дѣлѣ, журналистика, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, всегда служила самымъ добросовѣстнымъ образомъ умственнымъ потребностямъ общества. Такая предварительная дѣятельность совершенно необходима. Базаровъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что всѣ наши акціонерныя компаніи лопаются отъ недостатка честныхъ и дѣльныхъ людей. Стало быть, надо сначала сформировать честныхъ и дѣльныхъ людей, а потомъ уже приниматься за составленіе акціонерныхъ компаній, или за какія-нибудь другія, столь же общественныя предпріятія. Къ этой цѣли и направляются наши реалисты, отчасти осмѣивая мѣняющія глупости, отчасти распространяя научныя свѣдѣнія.—Дѣятельность очень скромная, но мы за блескомъ и не гонимся. Намъ нужна польза для себя и для всѣхъ.

XIX.

Трудъ современныхъ реалистовъ такъ же доступенъ самой слабой женщинѣ, какъ и самому сильному мужчинѣ. Въ этомъ трудѣ нѣтъ ничего грубаго, рѣзкаго и воинственного. Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильныя понятія объ этой поль-

тъ, надо уничтожать смѣшныя и вредныя заблужденія, и вообще, надо вести всю свою жизнь такъ, чтобы личное благосостояніе не было устроено въ ущербъ естественнымъ интересамъ большинства. Надо смотреть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться въ фیزیомію окружающихъ явленій, надо читать и размышлять, не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себѣ ясный взглядъ на свои отношенія къ другимъ людямъ, и на ту неразрывную связь, которая существуетъ между судьбою каждой отдѣльной личности и общимъ уровнемъ человѣческаго благосостоянія. Словомъ: *надо думать*.

Въ этихъ двухъ словахъ выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Эти слова могутъ показаться фразою, но что-же съ этимъ дѣлать? Нѣтъ того слова, которое мы не съумѣли-бы обезсмыслить и превратить въ пустой звукъ тѣми безцѣльными и безсознательными повтореніями, которыя наводняютъ нашу литературу. А между тѣмъ, дѣйствительно намъ надо думать, и нѣтъ другого слова, которое яснѣе и проще выражало-бы то, въ чемъ мы нуждаемся въ настоящую минуту. Есть такіе люди, есть такіа книги, которыя выучиваютъ насъ думать. Надо, чтобы такихъ людей и книгъ у насъ было какъ можно больше; тогда всякая пробуждающаяся мысль будетъ находить себѣ поддержку и здоровую пищу. Надо думать и надо размножать тѣ предметы, которые пробуждаютъ человѣческую мысль, и содѣйствуютъ успѣху ея работы.

Женщина можетъ думать, и можетъ дѣлиться своими мыслями съ другими людьми; поэтому я и говорю, что трудъ современныхъ реалистовъ совершенно доступенъ женщинамъ. Въ природѣ женщины нѣтъ ничего такого, что отстраняло-бы женщину отъ дѣятельнаго участія въ рѣшеніи насущныхъ задачъ нашего времени; но въ воспитаніи женщины, въ ея общественномъ положеніи, словомъ, въ тѣхъ условіяхъ, которыя составляютъ *искусственную* сторону ея теперешней жизни, въ этихъ условіяхъ, говорю я, есть очень много препятствій, которыя въ настоящее время преодолеваются только самыми умными женщинами, при содѣйствіи исключительно счастливыхъ обстоятельствъ. Подъ именемъ «счастливыхъ обстоятельствъ» я, разумѣется, понимаю не то, что понимаетъ большинство нашего общества. Счастливою называютъ у насъ обыкновенно ту женщину, которая богата, хороша собою, выходитъ замужъ по любви, веселится и блеситъ въ свѣтѣ, потомъ пристраиваетъ благополучно своихъ дѣтей, и, наконецъ, умираетъ, окруженная внуками, приживалками и домашними животными. По моему мнѣнію, такая счастливая жизнь, проведенная въ полномъ спокойствіи, то есть, въ полномъ подчиненіи господствующей рутинѣ, оставляетъ мысль женщины совершенно непробужденною. Можетъ быть, такая умственная дремота чрезвычайно пріятна, но я знаю навѣрное, что ни одинъ че-

ловѣкъ, пробудившійся отъ подобнаго усыпленія, не захочетъ ни за какія блага въ мірѣ возвратиться къ этому состоянію первобытной невинности. Поэтому, я называю счастливыми тѣ обстоятельства, которыя, даже причиняя женщинамъ тяжелыя страданія, насильно заставляютъ ее браться за умъ, и задумываться надъ тѣми нелѣпостями, которыя она видитъ и слышитъ вокругъ себя. За размысленіемъ слѣдуетъ отвращеніе, а такъ какъ природа не терпитъ пустоты, то женщина старается замѣнить въ своемъ умѣ выброшенныя нелѣпости какимъ нибудь живымъ и осмысленнымъ содержаніемъ. Если женщина, въ эту критическую минуту своей жизни, встрѣтитъ умнаго человѣка, или умную книгу, тогда она устроитъ у себя въ головѣ порядокъ и чистоту, и тогда она будетъ совершенно застрахована противъ тѣхъ бесплодныхъ восторговъ, которыми увлеклась, напримѣръ, госпожа Свѣчина. Именно, такія обстоятельства я и называю вполне счастливыми; какой нибудь рѣзкій толчекъ долженъ пробудить мысль, а встрѣча съ умнымъ руководителемъ должна направить эту мысль туда, гдѣ она можетъ найти себѣ удовлетвореніе, то есть, реальныя знанія и полезный трудъ.

Такъ случилось съ Вѣрою Павловною Лопуховою, но такъ случается рѣдко, и огромное большинство нашихъ и даже европейскихъ женщинъ проводятъ свою жизнь безъ размысленія, безъ знаній и безъ труда. Онѣ живутъ внѣ общихъ интересовъ человѣчества. Онѣ задавлены мелочами кухни, спальни и моднаго магазина, подобно тому, какъ масса чернорабочихъ задавлена физическимъ утомленіемъ и голодною нищетою. Имъ некогда думать; жизнь ежеминутно задаетъ имъ множество мельчайшихъ вопросовъ, которые волнуютъ и раздражаютъ ихъ, но которые всѣ могутъ быть разрѣшены безъ помощи размысленія; у нихъ нѣтъ ни спокойствія, ни дѣятельности, а есть только безконечная суета, которая утомляетъ человѣка и мѣшаетъ его мысли сосредоточиться на какомъ нибудь отдѣльномъ и важномъ вопросѣ жизни. Это суетливое движеніе начинается у нашихъ женщинъ съ самого ранняго дѣтства.

Ты, другъ мой, должна быть образованною дѣвцею, говорить опытная воспитательница маленькому существу, одѣтому въ короткое платье, и маленькое существо, по ихъ командѣ, суетливо кидается отъ географіи къ фортепьяно, отъ фортепьяно къ пуническимъ войнамъ, отъ подвиговъ Аннибала и Сципіона къ шассе вправо, шассе пазадъ, потомъ къ естественной исторіи Горизонтова, потомъ къ рисованію цвѣтовъ и носовъ, и разныя лохмотья знаній, разныя упражненія по части принтныхъ искусствъ проходить, какъ китайскія тѣни, черезъ несчастный мозгъ ошеломленнаго маленькаго существа. И чуть только въ дѣвчкѣ шевельнется любознательность, чуть только она пожелаетъ посмотрѣть по внимательнѣе на одну изъ промелькнувшихъ тѣней, ее тотчасъ останавливаютъ, потому что такое неестественное желаніе нарушаетъ за-

веденный порядок систематической суеты. Въ день надо непременно продѣлать семь или восемь различныхъ штукъ по части наукъ и искусствъ, стало быть, если одна штука разрастется въ ущербъ остальнымъ, то изъ этого произойдетъ безпорядокъ, который въ благоустроенномъ педагогическомъ хозяйствѣ не можетъ быть допущенъ. Кромѣ того, извѣстно всѣмъ и каждому, что дѣвушка, прежде всего, должна быть пріятною въ обществѣ, а пріятность эта заключается, между прочимъ, въ разнообразіи ея талантовъ и знаній, поэтому любознательность можетъ быть тернива въ дѣвочкѣ на столько, на сколько она содѣйствуетъ исправному изученію обязательныхъ уроковъ; когда же любознательность стремится выйти изъ этихъ естественныхъ границъ, тогда она можетъ повредить будущей пріятности; слѣдовательно, она идетъ тогда на переکورъ основнымъ тенденціямъ воспитанія, и ее необходимо подавлять и искоренять мѣрами кротости, и, въ случаѣ упорства, мѣрами строгости.

Впрочемъ, любознательность дѣвочки очень рѣдко вызываетъ противъ себя отпоръ со стороны воспитательницъ. Вся система преподаванія, всѣ объясненія учителей и весь комплектъ учебниковъ тщательно подобраны такимъ образомъ, что любознательность рѣшительно не можетъ возникнуть, и мысли дѣвочки постоянно стремятся вонъ изъ классной комнаты, прочь отъ книгъ и уроковъ, къ міру дѣйствительной жизни, то есть, къ балу, къ театру, къ модному магазину и къ другимъ очаровательнымъ предметамъ, въ которыхъ каждая благовоспитанная дѣвочка видитъ весь смыслъ и весь интересъ жизни и дѣйствительности. За суетою уроковъ въ жизни дѣвочки слѣдуетъ суета свѣтскихъ удовольствій, которая, въ большей части случаевъ, усложняется кислою суетою домашней бѣдности. Поѣхать на балъ необходимо, но и пообѣдать тоже не мѣшаетъ; нанять карету необходимо, но и купить сажень дровъ слѣдуетъ; надо заказать новое платье — и надо въ тоже время заплатить долгъ въ овощную лавку; нельзя же быть одѣтою хуже какой-нибудь Сидоровой или Антоновой, — но какъ же распорядиться, когда папенька бранится за излишніе расходы «на тряпки»? Не поѣхать на балъ, но на балѣ будетъ ош. При такихъ непримиримыхъ требованіяхъ дѣйствительной жизни, драма слѣдуетъ за драмою; каждая крошечка дѣточка смачивается горькими слезами; каждое пошлое слово дурака или негодяя, встрѣченнаго на балѣ, и поставившаго себя задачею жизни ухаживать за всѣми красивыми барышнями, — вызываетъ живыя надежды, за которыми слѣдуютъ быстро и непременно мучительныя разочарованія.

Все это бури въ стаканѣ воды, все это смѣшно и глупо, но вѣдь тутъ льются человѣческія слезы, тутъ проводятся безсонныя ночи, и то существо, которое мечется по постелѣ и обливаѣтъ слезами свою по-

душку, это существо, говорю я, страдаетъ дѣйствительно, страдаетъ такъ, какъ будто-бы причина страданія была велика и серьезна. И это же самое существо, съ тѣмъ же тѣлосложеніемъ, съ тѣмъ же темпераментомъ и устройствомъ черепа, могло бы, при другихъ условіяхъ развитія и жизни, стать на ту нормальную высоту человѣческаго пониманія, на которую никогда не забираются грязныя и мучительныя волненія о новомъ платьѣ Сидоровой, или о пятой кадрили, протанцованной вѣроломнымъ Ивановымъ съ легкомысленною Антоною. Для большинства нашихъ теперешнихъ женщинъ эта нормальная высота недостижима, и препятствія, отрѣзывающія имъ нутъ къ человѣческому благоумію, вытекаютъ естественнымъ образомъ изъ того основнаго принципа, которому подчинены воспитаніе и вся жизнь женщины.

XX.

Реалисты, построившіе всю свою жизнь на идеѣ общей пользы и разумнаго труда, относятся презрительно и враждебно ко всему, что разъединяетъ человѣческіе интересы, и ко всему, что отвлекаетъ человѣка отъ общепользной дѣятельности. Поэтому они строго осуждаютъ ту желкость понятій и узкость симпатій, которыя прививаются къ женщинамъ всѣмъ направленіемъ ихъ воспитанія. Это враждебное отношеніе реалистовъ къ искусственной ограниченности женщинъ послужило поводомъ къ бессмысленной клеветѣ. Добрые люди пустили слухъ, что реалисты отрицаютъ семейство, осмѣиваютъ бракъ и стараются поставить развратъ на степень общественной добродѣтели.

Эта выдумка столько же остроумна, сколько доброжелательна. Она могла показаться правдоподобною только нашему невинному обществу, совершенно не привыкшему контролировать распускаемые слухи самостоятельнымъ наблюденіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Общество знаетъ нашихъ реалистовъ по роману: «Отцы и дѣти». Какіе же факты сообщаются въ этомъ романѣ?—А вотъ какіе. Базаровъ разговариваетъ съ Одинцовой. Она говоритъ ему: «но моему, или все или ничего. Жизнь за жизнь. Взявъ мою, отдай свою, и тогда уже безъ возврата и безъ возмездія. А то лучше и не надо».—Онъ отвѣчаетъ ей: «что-жъ? это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ не нашли, чего желали».—Эти слова нельзя принять иначе, какъ за самое искреннее выраженіе его взгляда на отношенія между мужчиною и женщиною. Базарова нельзя заподозрить въ желаніи соблазнить Одинцову

этимъ косвеннымъ обѣщаніемъ вѣрности, потому что, когда она, вслѣдъ за тѣмъ, спрашиваетъ у него прямо: «но вы бы сдѣлали отдаться?» — тогда онъ отвѣчаетъ ей: «не знаю, хвастаться не хочу». Замѣйте слово «хвастаться». Въ этомъ словѣ Базаровъ опять невольно проговаривается, значить, онъ считаетъ способность отдаться на всю жизнь великимъ достоинствомъ. И онъ понимаетъ въ тоже время, что не всякій обладаетъ этою способностью, и не всякому представляется въ жизни счастливый случай приложить эту способность къ дѣлу, и не всякій умѣетъ воспользоваться счастливимъ случаемъ, когда онъ ему представляется.

Гдѣ-же, въ комъ же изъ настоящихъ реалистовъ добрые люди помѣтили склонность къ разврату? Каждый настоящий реалистъ, прежде всего, работникъ. Хороша-ли, дурна-ли его работа, объ этомъ онъ самъ знаетъ, и объ этомъ онъ не будетъ давать отчета тѣмъ добрымъ людямъ, которые изобрѣтаютъ и распускаютъ ложные слухи. Хороша-ли, дурна-ли его работа, но во всякомъ случаѣ онъ трудится какъ волъ, а кто не трудится, тотъ и не можетъ называться реалистомъ, какъ бы краснорѣчиво онъ ни разсуждалъ о челоуѣчествѣ и объ общей пользѣ. Кто не трудится, а только разсуждаетъ, тотъ или пустой болтунъ, или вредный шарлатанъ, но ужъ ни въ какомъ случаѣ не реалистъ. Стало быть, настоящимъ реалистамъ нѣтъ никакой надобности ратовать противъ цѣломудрія и противъ супружеской вѣрности. У реалиста трудъ стоитъ на первомъ планѣ. Что помогаетъ успѣху его труда, то онъ любитъ. Что мѣшаетъ его труду, то онъ ненавидитъ. Когда женщина является мыслящимъ существомъ, способнымъ помогать его работѣ и ободрять его своимъ сочувствіемъ, тогда онъ любитъ и уважаетъ женщину. Когда женщина является капризнымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ не участія въ полезной работѣ, а пестрыхъ игрушекъ, тогда онъ отворачивается отъ нея, чтобы она не мѣшала ему трудиться и не надѣдала ему безсмысленною болтовнею. Такой бракъ, который увеличиваетъ силу и энергію работника, называется, на языкѣ реалиста, полезнымъ, благоразумнымъ и счастливымъ. Такой бракъ, который уменьшаетъ или извращаетъ рабочую силу, называется вреднымъ, безразсуднымъ и несчастнымъ. Для прочной связи между мужчиною и женщиною необходимо, по мнѣнію реалиста, общій трудъ. Мужчина долженъ трудиться и женщина также должна трудиться. Если они трудятся въ одинаковомъ направленіи, если они оба любятъ свою работу, если оба способны понять ея цѣль, то они начинаютъ чувствовать другъ къ другу симпатію и уваженіе, и наконецъ, мужчина и женщина объявляютъ свое рѣшеніе передъ обществомъ и призываютъ на свой союзъ благословленіе любви.

Все это, по мнѣнію реалиста, очень естественно и благоразумно. Если бракъ заключенъ при такихъ условіяхъ, то, по мнѣнію реалиста,

счастье обоих супругов съ каждымъ годомъ должно увеличиваться, и, вмѣстѣ съ нѣмъ счастье, должна постоянно увеличиваться и ихъ взаимная привязанность. Реалистъ улыбнется самою презрительною улыбкою, если вы попыбуете сказать ему, что за обладаніемъ должно слѣдовать охлажденіе.

— Да, отвѣтитъ онъ вамъ на это, такъ всегда бываетъ съ тѣми людьми, которые, отъ нечего дѣлать, раздражаютъ свою чувственность и горячатъ свое воображеніе въ то время, когда они начинаютъ сближаться съ красивою женщиною и обладаніе представляется имъ праздному уму высшею цѣлью жизни. Когда эта цѣль достигнута, является разочарованіе, является чувство внутренней пустоты; а чтобы наполнить эту пустоту, они ставятъ себѣ новую цѣль въ такомъ же родѣ, то есть, они направляютъ всѣ усилія къ тому, чтобы соблазнить другую женщину. И потомъ опять пустота, и опять стремленіе къ новымъ побѣдамъ. Все это въ порядкѣ вещей, но у меня, продолжаетъ реалистъ, такіе переходы отъ безумной любви къ безумному разочарованію совершенно невозможны. Цѣль моя въ жизни была всегда одна и таже, и эта цѣль поставлена такъ далеко и такъ высоко, что сотни поколѣній будутъ къ ней стремиться, и сотни поколѣній умрутъ прежде, чѣмъ она будетъ достигнута, не смотря на то, что каждое новое поколѣніе будетъ стоять къ ней ближе всѣхъ предыдущихъ. Съ этою настоящею цѣлью моей жизни обладаніе любимою женщиною никогда не имѣло ничего общаго. Я всегда видѣлъ въ счастливой любви очень большое наслажденіе, помогающее намъ переносить трудности и непріятности утомительной работы и упорной борьбы съ человѣческими глупостями. Я всегда смотрѣлъ на любовь не какъ на самостоятельную цѣль, а какъ на превосходное и незамѣнимое вспомогательное средство. Поэтому, я никогда не составлялъ себѣ преувеличеннаго понятія о наслажденіяхъ любви, и, слѣдовательно, я былъ совершенно застрахованъ противъ всякихъ разочарованій и охлажденій. Мнѣ нравится наружность моей жены, но я бы никогда не рѣшился сдѣлаться ея мужемъ, если-бъ я не былъ вполне убѣжденъ въ томъ, что она во всѣхъ отношеніяхъ способна быть для меня самымъ лучшимъ другомъ. Я зналъ всю ея жизнь и всѣ ея наклонности, прежде чѣмъ я рѣшился сдѣлать ей предложеніе. Она знала всю мою жизнь и всѣ мои наклонности, прежде чѣмъ она рѣшилась принять мое предложеніе. Съ тѣхъ поръ, какъ мы сошлись, мы ведемъ трудъ нашъ общими силами. Она понимаетъ, чего я хочу и я тоже понимаю, чего она хочетъ, потому что мы оба хотимъ одного и того же, хотимъ того, чего хотятъ и будутъ хотѣть всѣ честные люди на свѣтѣ. Она знаетъ, какимъ образомъ моя работа связывается съ общою цѣлью; она знаетъ, зачѣмъ я читаю ту или другую книгу, зачѣмъ я пишу ту или другую статью, зачѣмъ я принимаю одно занятіе

и отказываюсь отъ другого; и она тоже читаетъ, пишетъ, занимается тѣми или другими работами; и я также знаю, какъ нельзя лучше, почему она поступаетъ такъ, а не иначе. Мы часто читаемъ вмѣстѣ, часто читаемъ врознь, часто споримъ объ отдѣльныхъ подробностяхъ и часто измѣняемъ эти подробности, когда споръ кончается торжествомъ противоположныхъ аргументовъ. Всѣ силы ея ума и ея начитанности постоянно находятся въмоемъ распоряженіи, когда я нуждаюсь въ ея содѣйствіи; всѣ силы моего ума и моей начитанности постоянно подоспѣваютъ къ ней на помощь, когда она чѣмъ нибудь затрудняется. Этотъ ежеминутный обмѣнъ услугъ превращаетъ самую сухую работу въ живое наслажденіе и оставляетъ за собою неизгладимый рядъ самыхъ обязательныхъ воспоминаній. Чѣмъ больше такихъ воспоминаній, чѣмъ больше взаимныхъ услугъ, чѣмъ больше работъ, улаженныхъ общими силами, тѣмъ тѣснѣе наша дружба, тѣмъ полнѣе наше взаимное довѣріе, тѣмъ непоколебимѣе наше взаимное уваженіе. А тутъ еще присоединяется ощущеніе любви, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, тутъ еще дѣти, какъ новая живая связь между мною и ею; а тутъ еще ея неизбѣжныя страданія, которыя дѣлаютъ женщину священною въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка. Я этихъ страданій не могу раздѣлить съ нею, по неволѣ же я долженъ вознаградить ее за нихъ удвоенною нѣжностью и безграничнымъ уваженіемъ; а тутъ еще воспитаніе дѣтей, какъ новый видъ общей работы, которую мы оба съумѣемъ вести сообразно съ далекою и высокою цѣлью всего нашего существованія. Одна и таже личность является, такимъ образомъ, для меня товарищемъ по работѣ, другомъ, женою, страдальцею, матерью и воспитательницею моихъ дѣтей, — и вдругъ выдумываютъ, что я не способенъ любить эту личность. И вдругъ произносятъ тутъ слова: охлажденіе, разочарованіе, супружеская ревность или супружеская невѣрность. Чортъ знаетъ, что за чепуха! Охлаждѣть къ другу потому, что онъ десять лѣтъ былъ другомъ. Разочароваться въ этомъ другѣ потому, что мы вмѣстѣ съ нимъ постарѣли на десять лѣтъ. Подозрѣвать этого друга въ томъ, что онъ будетъ со мною лицемерить. Искать себѣ новой привязанности, когда старый другъ живетъ со мною въ одномъ домѣ. Скажите, пожалуйста, есть ли человѣческій смыслъ въ подобныхъ предположеніяхъ? А вѣдь для эстетиковъ и романтиковъ эти самыя предположенія оказываются непреложными истинами. Почему? Очень просто. Потому что жена никогда не бываетъ для нихъ другомъ. И мужчины, и женщины, одержимые эстетическими стремленіями, постоянно, въ теченіе всей своей жизни, играютъ въ игрушки. У нихъ и мужъ — игрушка, и жена — игрушка. Пока игрушка блеститъ, пока она имѣетъ прелесть новизны, до тѣхъ поръ ею потѣшаются. А чуть только блескъ и новизна пропали, является горькое сожалѣніе о томъ, что игрушку нельзя бросить въ помойную яму.

Соотечественники! Кто сложил поговорку: жена не башмакъ; съ ноги несбросишь? Кажется мнѣ, что эта поговорка была въ полномъ ходу въ то время, когда еще прадеды современныхъ реалистовъ не рождались на бѣлый свѣтъ. И кто, или что мѣшаетъ вамъ сбросить жену, какъ башмакъ, не заботясь о томъ, куда она унадетъ? Неужели вамъ мѣшаетъ ваша собственная добросовѣстность? Нѣтъ, друзья мои, вамъ мѣшаетъ только законъ, а то бы тысячи утонченныхъ эстетиковъ, повторяющихъ наивную поговорку съ тяжелымъ вздохомъ, пустили бы на всѣ четыре стороны своихъ женъ, вмѣстѣ съ малолѣтними дѣтьми, и безъ копѣйки денегъ. И эти же самые рѣзвые ребята, обожающіе всякія новыя игрушки, смѣютъ распускать безсмысленные слухи о развратныхъ стремленіяхъ такихъ людей, которые всю свою жизнь проводятъ въ рабочихъ кабинетахъ, за книгами или за письменнымъ столомъ! Только наша русская бестолковость и способна перемаривать такія вопіющія нехѣности.

XXI.

Во всѣхъ двадцати главахъ, которыя я до сихъ поръ написалъ о нашихъ реалистахъ, я старался доказать, что наше общество не позволяло и оклеветало этихъ людей съ чужого голоса. Чтобы сдѣлать доказательства мои какъ можно болѣе убѣдительными, я взялъ за представителя нашего реализма Базарова, того самого Базарова, котораго одна часть нашей критики считала каррикатурой, а другая — правдивымъ, но строжайшимъ обличеніемъ, направленнымъ противъ тенденцій молодого поколѣнія. Вы находите, господа, сказалъ я, что это каррикатура или обличеніе. Положимъ, что это дѣйствительно такъ. Каррикатура или обличеніе, какъ вамъ угодно. Во всякомъ случаѣ, вы согласитесь, что этотъ образъ написанъ безъ малѣйшаго желанія польстить нашимъ реалистамъ. Этотъ образъ написанъ человѣкомъ правдивымъ, но уже вовсе не способнымъ увлекаться юношескими стремленіями къ новымъ идеямъ и къ новымъ людямъ. Хорошо. Я беру именно этотъ образъ, именно то, что вы считаете каррикатурой или обличеніемъ. Я анализирую каждую черту этого образа, я принимаю каждое слово Тургенева за наличную монету, я выслушиваю, такимъ образомъ, сильнѣйшаго и умнѣйшаго врага современнаго реализма, такого врага, который «все-таки неспособенъ лгать», и изъ всѣхъ показаній этого врага я не могу извлечь ни одной черты, которая дѣйствительно превращала бы реали-

ство въ людей глупыхъ, безчестныхъ, безнравственныхъ и вредныхъ для общества и для благосостоянія отдѣльныхъ личностей.

Говорятъ, что реалисты непочтительны къ своимъ родителямъ—неправда! Они только разрознены съ ними роковымъ вліяніемъ общихъ историческихъ причинъ. Реалисты возстановляютъ дѣтей противъ родителей—неправда. Они стараются сблизить старшее поколѣніе съ младшимъ. Реалисты не уважаютъ женщинъ—неправда! Они уважаютъ ихъ гораздо сильнѣе, чѣмъ ихъ уважали поэты и эстеты. Реалисты отрицаютъ бракъ—и это неправда! Они хотятъ только, чтобы благосостояніе отдѣльныхъ семействъ было въ строгомъ согласіи съ великими интересами общества.

Откуда-же вы, милые русскіе журналисты, взяли всѣ ваши обвиненія противъ реалистовъ? Изъ романа Тургенева? Нѣтъ, врете, тамъ нѣтъ этихъ обвиненій. Тамъ даются голые факты, которые надо только понять. А если вы извратили эти факты сообразно съ вашими закулисными выгодами, то вы напрасно прикрываетесь именемъ честнаго, хотя и отсталаго, русскаго писателя. Имя Тургенева надѣлало, быть можетъ, много путаницы, но Тургеневъ не виноватъ въ томъ, что его именемъ пользуются хлестаковы и держиморды нашей журналистики. И всѣ идеи Базарова остаются вѣрными и честными идеями, не смотря на тотъ толстый слой грязи, которымъ завалили ихъ. Конечно, Тургеневъ могъ бы быть менѣе пассивнымъ, въ то время, когда его имя марали гг. Катковы и Скарятны, но вѣдь извѣстное дѣло, старость не радость, и шумъ журнальной полемики ему уже не по лѣтамъ. Отношенія реалистовъ къ живымъ людямъ такимъ образомъ очерчены, хотя и не вполне выяснены. Теперь мнѣ остается поговорить объ отношеніяхъ ихъ къ искусству и къ наукѣ.

XXII.

Лѣтъ двадцать тому назадъ, извѣстный мыслитель и фантазеръ, Пьеръ Леру, написалъ одну очень странную книгу «о человечествѣ» (De l'humanité). Въ этой странной книгѣ имѣется достаточное количество самой вошющей галиматіи; до того человекъ заворачивается, что горячо и серьезно доказываетъ и объясняетъ, какимъ манеромъ человѣческія души переселяются изъ одного тѣла въ другое. По его метафизическимъ выкладкамъ выходитъ, что у насъ нѣтъ предковъ и что у насъ не будетъ потомковъ, а что мы, со временъ Адама, всегда жили и всегда будемъ жить

постоянно обновляющемся жизнью въ томъ громадномъ организмѣ, который называется на языкѣ Леру—«человѣкъ-человѣчество» (*l'homme-humanité*). Читаете вы эту книгу и только плечами пожимаете. Ахъ, какъ вретъ! думаете вы; боже мой, какъ неистово вретъ! А между тѣмъ, — странное дѣло!—вы все-таки дочитываете сумасбродную книгу до конца; и потомъ, дочитавши ее, вы сохраняете объ ея авторѣ очень свѣтлое воспоминаніе; вы невольно относитесь къ Пьеру Леру съ любовью и даже съ уваженіемъ. У Пьера-Леру были послѣдователи и горячіе поклонники. Жоржъ Зандъ подчинилась чарующему вліянію его фантазій и написала два превосходные романа: «*Consuelo*» и «*la Comtesse de Rudolstadt*» подъ господствомъ обаятельно-мистической идеи о переселеніи человѣческихъ душъ.

И все это очень понятно. Пьеръ Леру принадлежитъ къ числу тѣхъ страстно-честныхъ людей, которые много возлюбили и которымъ за это многое прощается, даже вся неисчерпаемая бессмыслица ихъ безпредѣльнаго вранья. Тѣмъ это вранье и обаятельно, что все въ немъ совершенно искренно; нѣтъ въ немъ ни малѣйшей декламации. Леру страстно влюбленъ въ человѣчество, страстно вѣрить въ его безконечное совершенствованіе, страстно стремится къ далекому будущему и всѣхъ этихъ страстностей оказывается черезъ-чуръ достаточно, чтобы совершенно заглушить въ его умѣ голосъ простаго здраваго смысла, который по тихоньку нашептываетъ ему очень печальныя истины. — Ты, братъ Леру, говоришь ему здравый смыслъ, не очень восхищаясь. Ты, все-таки умрешь глѣть черезъ тридцать или черезъ сорокъ и обо всякихъ грядущихъ великолѣпіяхъ человѣческаго прогресса ты не получишь никогда ни малѣйшаго понятія.—Вздоръ! отвѣчаетъ Леру въ порывѣ прогрессивнаго восторга. Я люблю человѣчество, я живу съ нимъ одною жизнью и буду вѣчно жить, любить и мыслить на той самой землѣ, на которой совершается безпредѣльное историческое развитіе громаднаго организма *homme-humanité*.

Любовь къ людямъ и къ жизни доходитъ очевидно до галлюцинаціи; мы ясно видимъ всѣ признаки бреда, но мы понимаемъ также причины этого явленія и никогда не рѣшимся оскорбить насмѣшкою или презрѣніемъ такую личность, у которой любовь къ человѣчеству развилась до пожирающей страсти, до фанатизма и наконецъ до сумасшествія. Эта любовь, доводящая всѣ умственныя силы Леру до неестественнаго и, слѣдовательно, болѣзненнаго напряженія, все-таки облагораживаетъ, очищаетъ его личность и возводитъ ее на такую высоту, съ которой онъ окидываетъ широкимъ и проницательнымъ взглядомъ всю исторію человѣческой мысли. Онъ понимаетъ и эпикуреизмъ, и стоицизмъ, и Платона, и Аристотеля, и мистиковъ, и раціоналистовъ, и скептиковъ, и аскетовъ. Отдавая всѣмъ имъ должную справедливость, отмѣчая яркими и вѣрными чертами ихъ историческое значеніе, онъ понимаетъ и глубоко

чувствует, что человечество вырастает изъ своихъ пеленокъ и что въ его сильномъ коллективномъ умѣ медленно созрѣваетъ что-то новое и громадное, что-то такое, въ чемъ совмѣстятся всѣ истины отжившихъ и отживающихъ философскихъ системъ. Когда Леру слѣзаетъ съ своего любимого конька, то есть, когда онъ перестаетъ городить чепуху о переселеніи душъ, тогда у него, почти на каждой страницѣ, сыпятся, какъ крупныя искры, свѣтлыя и превосходныя мысли, выраженные тѣмъ яркимъ и могучимъ языкомъ, которымъ владѣютъ Гюго, Клене, Мишле, Прудонъ, Жоржъ Зандъ. Одна изъ подобныхъ мыслей особенно сильно пришлась мнѣ по душѣ, такъ что я рѣшился положить ее въ основаніе моихъ реалистическихъ размышлений о наукѣ и искусствѣ. Чтобы эта мысль сдѣлалась вполнѣ понятною моимъ читателямъ и чтобы она освѣтилась для нихъ со всѣхъ сторонъ, я счелъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ источникѣ, изъ котораго она заимствована «*A un point de vue élevé, говорить Леру, les poètes sont ceux qui, d'époque en époque, signalent les maux de l'humanité, de même que les philosophes sont ceux, qui s'occupent de sa guérison et de son salut.* *)

Мнѣ кажется, тому человѣку, который такъ высоко и такъ просто понимаетъ и опредѣляетъ призваніе истиннаго поэта и истиннаго мыслителя, тому человѣку, говорю я, можно простить даже печальную наклонность къ переселенію человѣческихъ душъ.

XXIII.

Люди издавна стремились создать вокругъ себя искусственную атмосферу тепла, аромата и роскоши. Они удовлетворяли всѣмъ естественнымъ потребностямъ своего организма, но этого было мало; они придумывали себѣ новыя потребности, создавали себѣ новыя, чисто искусственныя страсти, нѣжили, лелѣяли, воспитывали и доводили ихъ до высокой степени чуткости, впечатлительности и утонченности. Человѣкъ развивалъ въ своей личности чувства и страсти для того, чтобы извлекать себѣ изъ жизни какъ можно боль-

*) Съ высшей точки зрѣнія, поэтами можно назвать тѣхъ людей, которые, изъ эпохи въ эпоху, раскрываютъ передъ нами страданія человечества, а мыслителями — тѣхъ людей, которые отыскиваютъ средства облегчить и исцѣлить эти болѣзни.»

ше разнообразнаго и безмятежнаго наслажденія. Но расчетъ оказался не совсѣмъ вѣренъ. Тѣ самыя страсти и чувства, которыя должны были служить приправою утонченнаго обѣда или очаровательнаго любовнаго свиданія, сдѣлались, напротивъ того, злѣйшими врагами этой тепличной жизни. Постоянно ѣсть, постоянно пить, постоянно любезничать, проводить жизнь между столомъ и постелью—это показалось невиннымъ наказаніемъ именно для тѣхъ тонко развитыхъ и страстныхъ эпикурейцевъ, которые лучше всѣхъ другихъ людей умѣли разнообразить свои наслажденія. Ничего соусы изъ соловьиныхъ язычковъ, никакія неестественныя проявленія сластолюбія не могли заглушить въ нихъ неутолимаго стремленія дѣйствовать, мыслить, пожалуй даже страдать, но только, во что-бы то ни стало, вырваться изъ одуряющаго воздуха теплицы въ суровую, холодную, но естественную среду дѣйствительной жизни. Дѣйствовать?—Какимъ образомъ?—Мыслить?—О чемъ и зачѣмъ?—Страдать и бороться?—Съ чѣмъ и за что?—Какимъ образомъ дѣйствовать? Ну, конечно, прежде всего воевать. Эта отрасль дѣятельности первая бросается въ глаза страстному эпикурейцу, воспитанному въ тепличной атмосферѣ и утомленному безконечными оргіями. Такъ и рѣшается вопросъ въ дѣйствительности. Алкивіадъ бросается съ войскомъ въ Сицилію, Цезарь въ Галлію, Александръ въ Персію. А потомъ? Потомъ и война надоедаетъ. Сильный умъ ищетъ себѣ новой пищи. Начинаются серьезныя размышленія о сдѣланныхъ завоеваніяхъ. Отставной завоеватель становится рачительнымъ хозяиномъ.

Не всѣ, далеко не всѣ блестящіе дѣятели всемірной исторіи прошли черезъ указанныя мною фазы развитія. Очень многіе спотынулись и погибли въ началѣ или на половинѣ пути, но, не смотря на то, можно сказать навѣрное, что каждый дѣйствительно замѣчательный умъ утомляется рано или поздно тѣми наслажденіями, которыя достаются ему на долю безъ труда и безъ борьбы; утомившись и пресытившись, онъ тревожно начинаетъ искать выхода своимъ силамъ и наконецъ или погибаетъ во время безуспѣшныхъ поисковъ или успокаивается на такой дѣятельности, которая самымъ тѣснымъ образомъ связана съ интересами страждущаго большинства. А между тѣмъ, вѣдь и у частныхъ людей бываютъ и сильныя страсти, и тонкія чувства, и свѣтлые умы. Имъ-то чѣмъ же забавляться? Какимъ образомъ они-то могутъ вырваться изъ теплицы?

Одни изъ этихъ страстныхъ и даровитыхъ тунейдцевъ начинаютъ искать вокругъ себя сильныхъ ощущеній; другіе задумываются надъ различными явленіями изъ жизни природы, ставятъ себѣ на каждомъ шагѣ мудреные вопросы и ломаютъ себѣ голову надъ сотнями и тысячами вѣчныхъ загадокъ. Первые дѣлаются поэтами или художниками; вторые—учеными или мыслителями. Но гдѣ же поэтъ или художникъ, человѣкъ дѣйстви-

тельно воспримчивый, умный и страстный до гениальности, гдѣ же, спрашиваю я, онъ найдетъ себѣ тѣ сильныя ощущенія, которыя удовлетворяютъ вполнѣ его ищущую, жаждущую и томимую природу?—Какимъ образомъ онъ ухитрится, во время своихъ поисковъ, миновать тотъ громадный міръ неподдѣльнаго человѣческаго страданія, который со всѣхъ сторонъ окружаетъ насъ сплошною, темною стѣною?—Развѣ есть возможность не замѣтить того, что, на каждомъ шагѣ рѣжетъ глазъ самому невинительному наблюдателю? Можно, конечно, приглядѣться къ этимъ будничнымъ картинамъ, можно притупить въ себѣ умъ и чувство, можно довести себя совершенно незамѣтнымъ образомъ до самого невозмутимаго равнодушія къ чужому голоду и холоду. Съ этимъ я согласенъ, и мы встрѣчаемся въ жизни ежеминутно съ великолѣпнѣйшими экземплярами такой философской невозмутимости. Но вы не забывайте, что вѣдь мы ведемъ здѣсь рѣчь о поэтѣ, о художникѣ, о человѣкѣ въ высшей степени впечатлительномъ, страстномъ и отзывчивомъ. Какой же истинный поэтъ можетъ довести себя до чурбаннаго равнодушія? Если человѣческія страданія не производятъ на него впечатлѣнія, то гдѣ же его впечатлительность? Если онъ, отворачиваясь съ самодовольнымъ презрѣніемъ отъ картинъ грязной нищеты и невольнаго порока, отзывается пѣвучими нотами на трепетаніе влюбленнаго соловья, и на благоуханіе разцвѣтающей розы, и на каждый грошовой вздохъ смазливой барышни, то вѣдь эта отзывчивость также приторна и отвратительна, какъ нѣжная привязанность старой дѣвки къ кошкемъ, попугаямъ и москватамъ. Во такомъ человѣкѣ нѣтъ ни ума, ни впечатлительности, ни страсти, ни отзывчивости. Что это за художникъ? Это просто мышиный жеребчикъ, одержимый самымъ мельчайшимъ тщеславіемъ, самымъ копѣечнымъ желаніемъ порисоваться передъ почтеннѣйшею публикою и заработать себѣ отъ разныхъ глухихъ тунеядцевъ нѣсколько лестныхъ комплиментовъ и нѣсколько еще болѣе лестныхъ рублей.

Мнѣ возразятъ, быть можетъ, что художникъ можетъ увлечься поклоненіемъ чистой красотѣ и что, въ такомъ случаѣ, онъ посвятитъ всѣ свои силы на воплощеніе своего идеала въ художественномъ созданіи, въ статуѣ, въ картинѣ, въ романѣ или въ какой нибудь другой формѣ творчества. Скульптура цѣлкомъ основана на этомъ поклоненіи физической красотѣ. Знаю. Но это возраженіе устраняется само собою. Я предполагалъ выше, что самымъ умнымъ и даровитымъ людямъ становится непремѣнно душно въ искусственной атмосферѣ эпикурейской теплицы. Мнѣ кажется, что предположеніе вѣрно въ психологическомъ отношеніи и можетъ быть доказано сотнями примѣровъ изъ всѣхъ эпохъ всемірной исторіи. Кому сдѣлалось душно въ теплицѣ, тотъ, разумѣется, выходитъ на открытый воздухъ, то есть, такъ или иначе выѣзживается, въ жизнь большинства. Кому пріѣлись разные сладости, вино и поцѣ-

дуи, тотъ ищетъ себѣ труда и борьбы, тотъ лечится отъ пресыщенія суровыми столкновениями съ неподраженною дѣйствительностью. Гейне превосходно выразилъ это настроеніе въ своей пѣснѣ о Тангейзерѣ. Венера угощаетъ Тангейзера сладкимъ виномъ, хочетъ надѣть ему на голову вѣнокъ изъ свѣжихъ розъ, наконецъ зоветъ его къ себѣ въ спальню; но Тангейзеръ даже смотрѣть на нее не хочетъ; его уже просто тошнитъ отъ всѣхъ этихъ миндальностей; ему хочется труда, горечи, терноваго вѣнка; онъ говоритъ ласковой любовницѣ своей крупныя дерзости и уходитъ отъ нея чортъ знаетъ куда и чортъ знаетъ зачѣмъ. Понятно, что человѣкъ, находящійся въ настроеніи свирѣпаго Тангейзера, рѣшительно неспособенъ заниматься поклоненіемъ чистой или идеальной красоты. Не за тѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, онъ такъ сурово отвернулся отъ живой красавицы, чтобы писать къ ней пламенные сонеты или падать на колѣни передъ ея изображеніемъ, вырѣзаннымъ изъ бѣлаго мрамора или написаннымъ масляными красками на холстѣ. Пигмалионъ молилъ боговъ, чтобы они превратили его мраморную Галатею въ живую женщину и это понятно; но промѣнять живую, любящую женщину на кусокъ полотна или мрамора—это такая нелѣпость, на которую не покушался до сихъ поръ ни одинъ изъ самыхъ необузданныхъ идеалистовъ. Очень многіе пламенные любовники пробавляются чистымъ платонизмомъ, но они всегда дѣлаютъ это только вслѣдствіе печальной необходимости; когда же они имѣютъ возможность сдѣлать выборъ, тогда они съ нарочитымъ удовольствіемъ промѣниваютъ свои отвлеченные восторги на болѣе существенныя и менѣе невинныя наслажденія.

Что же изъ всего этого слѣдуетъ? Да очевидно то, что поклонники чистой красоты никогда не испытывали мученій Тангейзера; напротивъ того, они чрезвычайно довольны тепличною жизнью и, въ наивности души, принимаютъ свой крошечный теплый уголокъ за великій, богатый и разнообразный міръ, въ которомъ всѣ высшія человѣческія потребности находятъ и должны находить себѣ полное и всестороннее удовлетвореніе. Эти пигмеи, занимающіеся скульптурою, живописью, эротическимъ стиходѣланіемъ или томными руладами, эти пигмеи, говорю я, или не знаютъ великихъ вопросовъ широкой, дѣйствительной, міровой жизни, или жѣ не хотятъ ихъ знать, прикидываются глухими и слѣпыми, чтобы оправдывать въ своемъ собственномъ мнѣніи свою ванарѣчную жизнь и дѣятельность. Въ первомъ случаѣ — если не знаютъ — мы имѣемъ несомнѣнное право заподозрить ихъ въ тупоуміи или въ полной неразвитости. Во второмъ случаѣ — если напускаютъ на себя поддѣльную глухоту и слѣпоту,—мы имѣемъ право назвать ихъ безчестными и трусливыми людьми, которые стараются обмануть даже собственную совѣсть. — Въ томъ и въ другомъ случаѣ было бы странно и нелѣпо требовать отъ насъ, чтобы мы признали въ этихъ мелкихъ сибаритахъ передовыхъ пред-

ставителей человечества; дѣятельность такихъ людей не даетъ намъ ровно ничего, и слѣдовательно, встрѣчаясь съ ихъ произведеніями, намъ остается только посмѣяться надъ довѣрчивостью того общества, которое видитъ въ нихъ лучшее свое украшеніе.

XXIV.

Послѣдовательный реализмъ безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги» или историкъ: «неки кулебяки», но мы требуемъ непремѣнно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей специальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы, посредствомъ чтенія, расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая вниманія на то, писана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.

Постараемся же теперь обсудить вопросъ: какимъ образомъ поэтъ, не переставая быть поэтомъ, можетъ принести обществу и человечеству дѣйствительную и несомнѣнную пользу? Само собою разумѣется, что названіе «поэтъ» прилагается здѣсь не къ однимъ стихотворцамъ, а вообще ко всѣмъ художникамъ, создающимъ образы посредствомъ слова. Прежде всего, скажу откровенно, я рѣшительно не признаю такъ называемаго безсознательнаго и безцѣльнаго творчества. Я подозреваю, что это—просто мифъ, созданный эстетическою критикою для пущей таинственности. Въ древности, когда поэтъ былъ пѣвцомъ и импровизаторомъ, тогда, пожалуй, еще можно было допустить, что его осяіяло вдохновеніе и что онъ самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какъ

и зачѣмъ слагалась его пѣсня. Но теперь, когда поэтъ носитъ не хламиду и лавровый вѣнокъ, а сюртукъ и круглую шляпу, теперь, когда онъ не поетъ, а пишетъ и печатаетъ, теперь, говорю я, уже поздно видѣть въ поэтѣ близкаго родственника изступленной дельфійской пифіи. Поэтъ, прежде всего, такой же членъ гражданского общества, какъ и каждый изъ насъ. Встрѣчаясь съ поэтомъ въ гостиницѣ, мы имѣемъ полное право требовать отъ него, чтобы онъ не клалъ ноги на столъ и не плевалъ въ потолокъ; вступая съ поэтомъ въ разговоръ, мы имѣемъ полное право требовать, чтобы онъ разсуждалъ дѣльно и логично; если онъ не исполнитъ этого требованія, мы замѣтимъ про себя, что онъ несетъ чепуху, быть можетъ и вдохновенную, по все таки невыносимую. Чтобы пользоваться любовью и уваженіемъ своихъ знакомыхъ, поэтъ непременно долженъ обладать тѣми же самыми качествами, которыя упрочиваютъ любовь и уваженіе окружающихъ людей за каждымъ изъ простыхъ смертныхъ. Для этого необходима извѣстная доза ума, добродушія, честности и т. д. Такса, по которой покупаются въ обществѣ любовь и уваженіе, повышается и понижается вмѣстѣ съ общимъ уровнемъ умственного и нравственного развитія. Кто въ Англіи считается дуракомъ, тотъ въ Турціи могъ бы прослыть за очень порядочнаго человека. Когда общество доходитъ до извѣстной высоты развитія, тогда оно начинаетъ требовать отъ своихъ членовъ, чтобы у нихъ были опредѣленные и сознательныя убѣжденія и чтобы они держались за свои убѣжденія. Кромѣ обыкновенной честности является тогда еще высшая честность, честность политическая. Воспитавши въ самомъ себѣ великое чувство политической честности, общество начинаетъ вмѣнять его въ обязанность каждому изъ своихъ членовъ, и, тѣмъ болѣе такимъ людямъ, которые, опираясь на свои умственные дарованія, присваиваютъ себѣ право дѣйствовать словомъ или перомъ на развитіе общественныхъ убѣждений. Но эта спасительная зрѣлость и строгость требованій дается обществу не вдругъ. Нравственная чуткость вырабатывается туго и медленно. Байронъ прямо называетъ Роберта Соути ренегатомъ, а Робертъ Соути въ свое время считался знаменитымъ поэтомъ и англичане даже до сихъ поръ читаютъ и издаютъ его произведенія. Но настоящіе поэты не могутъ быть продажными мазуриками; самъ Байронъ, заклеившій Роберта Соути, ни разу не покривилъ душою, именно потому, что его умъ и талантъ стояли неизмѣримо выше всякихъ искушеній. Такіе умы и таланты творятъ чудеса, но творческая сила тотчасъ измѣняетъ имъ, какъ только они осмѣливаются пустить ее въ продажу.

Но одной голой честности и великаго самороднаго таланта еще недостаточно, чтобы быть мировымъ поэтомъ. Самородки, подобные Бѣрису или Кольцову, остаются на всегда блестящими, но безплодными явленіями. Истинный, «полезный» поэтъ долженъ знать и пони-

мать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполне глубокой смыслъ каждой пульсациі общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе, говоритъ Бѣрне; я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки.

Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ писателей, конечно не можетъ составлять исключеніе изъ этого правила. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко-сознательно любить и ненавидѣть. А чтобы любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдѣлано, когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ рѣзкую связь между отдѣльными явленіями, когда онъ понялъ, что надо и что можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собою яснѣе и какъ будто ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирающую страсть и сами, съ трепетомъ томительной надежды, смотрятъ въ даль, на ту же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродятъ ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути.

И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человѣкъ, принимаясь за перо, превращался въ болтливаго младенца, который самъ не вѣдаетъ, что и зачѣмъ лепечуть его розовыя губы! Вы хотите, чтобы онъ безцѣльно тѣшился пестрыми картинками своей фантазіи именно

въ тѣ великія и священныя минуты, когда его могучій умъ, развертываясь въ процессѣ творчества, льетъ въ умы простыхъ и темныхъ людей цѣлые потоки свѣта и теплоты! Никогда этого не бываетъ и быть не можетъ. Человѣкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не съумѣетъ и, что всего важнѣе, никогда не захочетъ возвратиться въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто понималъ и прочувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истинною и заблужденіемъ, тотъ, волею и неволею, въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду.

И такъ, по моему мнѣнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинками, какое вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ — или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», какъ говоритъ Генрихъ Гейне, или же ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ — или титанъ, потрясающій горы вѣкового зла, или же козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза. Это строгая психологическая истина. Дѣйствительно, каждый эстетикъ, конечно, согласится со мною, что искренность есть необходимѣйшее качество поэта. Драма, романъ, поэма, лирическое стихотвореніе, въ которыхъ хоть скольконибудь проглядываютъ натянутыя и обязательныя отношенія автора къ его предмету, — ни подъ какою видою не могутъ быть названы поэтическими произведеніями. Это риторическія упражненія на заданныя темы, а риторъ и поэтъ, разумѣется, не имѣютъ между собою ничего общаго. Припомните, напримѣръ, оды Ломоносова, «Парашу Сибирячку» Полевого, романъ г. Ключникова: «Марев» и тому подобныя прелести.

Искренность необходима; но поэтъ можетъ быть искреннимъ или въ полномъ величіи разумаго міросозерцанія или въ полной ограниченности мыслей, знаній, чувствъ и стремленій. Въ первомъ случаѣ онъ — Шекспиръ, Дантъ, Байронъ, Гете, Гейне. Во второмъ случаѣ онъ — г. Фетъ. — Въ первомъ случаѣ онъ носитъ въ себѣ думы и печали всего современнаго міра. Во второмъ онъ поетъ тоненькою фистулою о душистыхъ локонахъ и еще болѣе трогательнымъ голосомъ жалуется печатно на работника Семена. Вы не думайте, господа, что свистающая журналистика ухватила такъ крѣпко за работника Семена по ребяческому пристрастію къ безплодному зубоскальству. Работникъ Семень — лицо замѣчательное. Онъ непременно войдетъ въ исторію русской литературы, потому что ему назначено было провидѣніемъ показать намъ

обратную сторону медали въ самомъ яркомъ представителѣ томной лирики. Благодаря работнику Семену, мы увидѣли въ нѣжномъ поэтѣ, порхающемъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, расчетливаго хозяина, солиднаго bourgeois и мелкаго человѣка. Тогда мы задумались надъ этимъ фактомъ и быстро убѣдились въ томъ, что тутъ нѣтъ ничего случайнаго. Такова должна быть непремѣнно изнанка каждаго поэта, воспѣвающего «шопотъ, робкое дыханіе, трели соловья».

Кто способенъ въполнѣ удовлетворяться микроскопическими пылинками мысли и чувства, кто умѣетъ составить себѣ громкую извѣстность собираніемъ этихъ пылинокъ, тотъ долженъ быть мелокъ насквозь въ каждой отдѣльной чертѣ своей частной и общественной жизни. Заглядывать въ область частной жизни мы не имѣемъ никакого права и никакой возможности; но, если самому поэту угодно было прогуляться передъ публикою въ домашнемъ халатѣ, то мы должны сказать за это большое спасибо, во-первыхъ, разыгравшемуся поэту, а во-вторыхъ, великому Семену, ухитрившемуся привести своего хозяина въ такой нафосъ лирическаго негодованія. Мы всматриваемся въ интересный халатъ и выводимъ то плодотворное заключеніе, что подобные халаты носить и должны носить всѣ поэты, неимѣющіе понятія о великихъ, истинныхъ и серьезныхъ сторонахъ общечеловѣческой жизни. Какъ были они дѣтьми; такъ и останутся навсегда дѣтьми, мелочными, капризными и сварливыми существами, утратившими только дѣтскую грацію и лишившимися уже всякой надежды сдѣлаться со временемъ сильными, здоровыми, добродушными и мыслящими людьми. Отвернемся отъ этихъ явленій плюговой старости и посмотримъ въ другую сторону, на вѣчно-юныхъ титановъ умственного міра.

XXV.

Въ числѣ титановъ я называлъ Гете и Гейне. Легко можетъ случиться, что наши литературные противники ухватятся за эти два имени и докажутъ мнѣ, какъ дважды-два четыре, что Гете въ теченіе всей своей жизни былъ самымъ неискреннимъ человѣкомъ и что Гейне очень часто является въ своихъ произведеніяхъ пустѣйшимъ балагуромъ или безпечнѣйшимъ пѣвцомъ луны, дѣвы, любви и вздоховъ.—Вотъ видите, скажутъ они мнѣ, значитъ, вамъ надо или вычеркнуть имена Гете и Гейне изъ списка мировыхъ поэтовъ или же радикально измѣнить вашъ взглядъ на поэзію и вообще на искусство.

А вотъ посмотримъ на дѣло поближе. Что Гете обладалъ въ высшей степени способностью извиваться и блудомышничать, это, конечно, не можетъ подлежать сомнѣнiю. Что онъ страдалъ разными стихотворными миндальностями и салонными оперетками, это также составляетъ неопровержимую истину. Ну, а какъ вы думаете, стали бы мы теперь разсуждать съ вами о Гете, если бы полное собранiе его сочиненiй состояло цѣликомъ изъ сотни чистенькихъ оперетокъ и изъ нѣсколькихъ тысячъ миндально-лакейственныхъ мадригаловъ? И какъ вы думаете, посвятили бы такому Гете гордый и безукоризненный Байронъ своего «Сарданапала»? Да еще какъ посвятилъ-то! Съ трепетомъ робости и благоговѣнiя. Вотъ модлиныя слова этого посвященiя: «знаменитому Гете иностранецъ осмѣливается предложить дань литературнаго вассала своему сюзерену, первому изъ существующихъ писателей, создавшему литературу своей родины и прославившему литературу Европы. Недостойное произведенiе, которое авторъ дерзаетъ посвятить ему, носитъ заглавiе: «Сарданапалъ».

Ясное дѣло, что въ глазахъ Байрона умственное величiе Гете съ избыткомъ заглаживаетъ или выкупаетъ тѣ низкия слабости его характера, которыя, конечно, были хорошо извѣстны Байрону, какъ современнику Гете, и которымъ Байронъ, какъ человѣкъ въ высшей степени независимый, разумѣется, не могъ сочувствовать. Но когда Гете спускался въ мiръ живыхъ людей, въ мiръ золоченаго нѣмецкаго мѣщанства, когда онъ превращалъ свой талантъ въ дойную корову и начиналъ гоняться за благосклонными взглядами и покровительственными улыбками, тогда онъ сразу дѣлался мельче всякой козявки, ниже, гаже и безсильнѣе самого ничтожнаго изъ нашихъ современныхъ лириковъ, потому что эти поютъ отъ избытка своей ограниченности, а тотъ долженъ былъ насильно ѣжиться и прикидываться невинною канарейкою.

Примѣръ Гете доказываетъ, какъ нельзя очевиднѣе, что всякая умственная дѣятельность велика и плодотворна только до тѣхъ поръ, пока она остается неразлучною съ искренностью и твердостью глубокаго убѣжденiя. Гете великъ имѣнно только въ той сферѣ, въ которой онъ дѣйствовалъ съ полнымъ и естественнымъ воодушевленiемъ, не стѣсняясь никакими житейскими разсчетами, и этотъ Гете, великiй Гете, совершенно подходитъ подъ мое опредѣленiе поэта и съ полною справедливостью можетъ быть названъ «полезнымъ» поэтомъ, хотя, конечно, не въ томъ смыслѣ, въ какомъ могутъ быть названы полезными поэтами: Барбье, Верамье, Леопарди, Джусти, Шелли, Томасъ Гудъ и другiе двигатели общественнаго сознанiя. Эти люди были поэтами текущей минуты; они будили въ людяхъ ощущенiе и сознанiе настоятельныхъ потребностей современной гражданской жизни; они любили живыхъ людей и возились постоянно съ ихъ дѣйствительными глупостями и стра-

даніями. А Гете никого не любилъ, кромѣ самого себя и своихъ собственныхъ идей; онъ нисколько не заботился объ интересахъ человѣческихъ обществъ и, не смотря на то, онъ все-таки принесъ и еще долго будетъ приносить своими произведеніями много пользы тѣмъ самымъ человѣческимъ обществамъ, къ которымъ онъ былъ совершенно равнодушенъ. Только пустыне и мелкіе люди могутъ оставаться безпольными, а великія умственныя силы непремѣнно приносятъ пользу, даже своими ошибками. Гете никогда не былъ и не будетъ любимымъ поэтомъ читающихъ массъ; вслѣдствіе этого, онъ никогда не будетъ дѣйствовать прямо и непосредственно на умственную жизнь массы, потому что на эту жизнь дѣйствуетъ только тотъ, кто любитъ массу. Но эти наставники и руководители массъ, люди различные между собою по своимъ дарованіямъ, но тѣсно связанные другъ съ другомъ единствомъ святой любви и честныхъ стремленій, эти люди, питающіе другихъ своими идеями, часто нуждаются сами въ умственномъ подкрѣпленіи и обновленіи. Эти люди — мыслящіе и просвѣщенные работники, но всѣмъ не мировые гении. Они, по своему уму и развитію, способны понимать Гете, но у нихъ, разумеется, не достало бы силъ провозвести то, что онъ произвелъ. Для нихъ-то его сочиненія составляютъ огромную гальваническую батарею, которая постоянно снабжаетъ ихъ утомляющіеся мозги новыми электрическими силами. Они читаютъ Гете и глубоко задумываются надъ его страницами и умъ ихъ растетъ и крѣпнеть въ этой живительной работѣ. А приобретенный такимъ образомъ запасъ свѣжей энергіи и новыхъ умственныхъ силъ отправляется все-таки внизъ по теченію, въ то живое море, которое называется массою и въ которое, тѣмъ или другимъ путемъ, рано или поздно, вливаются, подобно скромнымъ ручьямъ, или бурнымъ потокамъ, или величественнымъ рѣкамъ, всѣ наши мысли, всѣ наши труды и стремленія. И холодный тайный совѣтникъ и кавалеръ фонъ-Гете дѣйствуетъ такимъ образомъ, и сильно дѣйствуетъ, на пользу бѣдныхъ и простыхъ ближнихъ посредствомъ тѣхъ идей и ощущений, которыя онъ возбуждаетъ своими произведеніями въ тѣсномъ кругу своихъ избранныхъ и высоко-развитыхъ читателей.

Приведу одинъ очень любопытный и оригинальный примѣръ. Берне ненавидитъ Гете, отчасти за дѣло, по своему горячему демократическому чувству, отчасти несправедливо. Эту ненависть Берне высказываетъ не разъ въ своихъ «парижскихъ письмахъ» и въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ. Высказываетъ онъ ее всегда съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ и изъ подъ его пера выливаются по этому поводу превосходнѣйшія страницы, сверкающія изумительнымъ остроуміемъ и выходящія самымъ чистымъ огнемъ любви къ людямъ и уваженія къ человѣческому достоинству. И эти страницы прочтешь съ увле-

ченіємъ, пойметъ и запомнить чуть не наизусть рѣшительно каждый человѣкъ, стоящій по своему развитію немного выше чичиковскаго Петрушки. Эти страницы, писанныя слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ до сихъ поръ такъ свѣжи и горячи, какъ будто онѣ только сегодня вышли изъ подъ типографскаго станка. А кому же мы обязаны этими страницами, какъ не тому самому Гете, который на нихъ осыпается справедливыми насмѣшками и громовыми проклятіями критика? Чтобы возбудить въ такомъ умномъ человѣкѣ, какъ Берне, такую пылкую и упорную ненависть, чтобы взволновать всю его жолчь, когда онъ только вспомнитъ ненавистное имя или взглянетъ на проклятыя строки, и наконецъ, чтобы каждый разъ заставлятъ своего разъяреннаго антагониста облекаться во все оружіе саркастическаго ума и страстной диалектики, для всего этого, говорю я, необходимо быть такимъ титаномъ, умственнаго міра, какимъ и былъ на самомъ дѣлѣ тайный совѣтникъ и кавалеръ фонъ-Гете. Да и самъ Берне всегда признаетъ его титаномъ, и за то именно бѣсится на него, что этотъ титанъ съ такимъ удовольствіемъ зарывалъ свой талантъ въ землю. Съ этой стороны Берне, разумѣется, правъ: если бы у Гете, кромѣ колоссальныхъ силъ, было еще стремленіе прилагать эти силы, какъ слѣдуетъ, то, безъ сомнѣнія, онъ сдѣлалъ бы въ своей жизни неизмѣримо больше прочнаго и существеннаго добра. Но дѣло теперь не въ томъ. Важно и любопытно для всего хода моей аргументаціи то обстоятельство, что Гете электризуетъ своею дѣятельностью даже такого человѣка, который, по своему чисто фанатическому складу ума, рѣшительно неспособенъ отнестись съ любовью къ тому, что дѣйствительно превосходно въ произведеніяхъ «великаго язычника». Это и значить, что великое явленіе никогда не можетъ остаться безплоднымъ; оно освѣжаетъ и обновляетъ жизнь и тѣмъ, что въ немъ хорошо, и тѣмъ, что въ немъ дурно. Оно приноситъ людямъ пользу и тою любовью, и тою ненавистью, которую оно въ нихъ возбуждаетъ. Скверно только безсиліе, губительна только апатія; а столкновение и борьба враждебныхъ силъ въ области мысли всегда приводятъ за собою со временемъ плодотворное примиреніе въ высшей сферѣ болѣе широкаго синтеза. Поэтому, давай намъ богъ побольше великихъ умовъ и пусть они куралеся въ области мысли, какъ души ихъ будетъ угодно! Мы, простые люди, вслѣдствіе этого, во всякомъ случаѣ, останемся въ чистыхъ барышахъ. По геометріи выходитъ, конечно, что прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками. Но многовѣковой опытъ дѣйствительной жизни доказываетъ неопровержимо, что люди въ исторической практикѣ не признаютъ этой математической истины и умѣютъ подвигаться впередъ не иначе, какъ зигзагами, то есть, выходясь изъ одной крайности въ другую. *Идраву* всего чело-вѣчества препятствовать не возможно и поэтому приходится махуть ру-

кою на неизбежные зигзаги и только радоваться тому, когда крайности начинают быстро и порывисто сменяться одна другою. Значить, пульс хорошъ и человѣческая мысль не порастаетъ плѣсенью.

XXVI.

А теперь потолкуемъ о Гейне. Мнѣ кажется, этого писателя каждый истинный сынъ XIX вѣка долженъ любить совсѣмъ особенною, нѣжною, исключительною, почти болѣзненною любовью. Мнѣ кажется, все умственное развитіе челоуѣка можно сразу измѣрить и обсудить, смотря по тому, какъ и на сколько онъ понимаетъ поэтическую дѣятельность Генриха Гейне. Этотъ писатель — самый новѣйшій изъ мировыхъ поэтовъ; онъ всѣхъ ближе къ намъ по времени и по всему складу своихъ чувствъ и понятій. Онъ цѣликомъ принадлежитъ нашему вѣку; онъ воплотилъ въ себѣ даже всѣ его слабости и смѣшныя стороны; даже разстроенные и разбитые нервы Гейне указываютъ ясно на его кровное родство съ тѣмъ великимъ и просвѣщеннымъ вѣкомъ, въ которомъ средневѣковые костры и плахи смѣнились пенсильванскими общепольными учреждениями для производства умалишенныхъ, и въ которомъ феодальныя права уступили мѣсто мануфактурному пауперизму. Гейне — поэтъ капризнаго, раздражительнаго, нетерпѣливаго и непослѣдовательнаго вѣка. Онъ самъ — весь состоитъ изъ противорѣчій и самъ себя дразнить этими противорѣчіями и даже не пробуетъ помирить ихъ между собою, и самъ то плачетъ, то смѣется надъ своими ощущеніями, то вдругъ выдается въ борьбу жизни и, съ полною силою юношеской горячности и мужественнаго убѣжденія, объясняетъ людямъ различіе между остатками прошедшаго и живыми проблесками будущаго. И эту послѣднюю, живительную сторону своей дѣятельности Гейне также цѣликомъ принадлежитъ къ нашему вѣку, который все-таки лучше всѣхъ прошедшихъ вѣковъ и въ которомъ все-таки, не смотря ни на какія глупости и подлости, химія и фізіологія подняли челоуѣческій умъ на безпримѣрную и, для нашихъ предшественниковъ, непостижимую высоту самостоятельнаго знанія.

Вотъ и соображайте, какого рода результатъ долженъ получиться, когда челоуѣку приходится жить при ежеминутномъ столкновеніи такихъ несомѣстимыхъ крайностей. Разумѣется, должно получиться нѣчто въ родѣ горячаго льда и сухой воды; и въ челоуѣческомъ характерѣ дѣйствительно встрѣчаются ежеминутно такія вопіющія внутреннія противо-

рѣчія, которыя сильно смахиваютъ на сухую воду и горячій ледъ. Намъ эти противорѣчія, порожденные всѣмъ складомъ европейской жизни, должны быть особенно дороги и интересны; намъ необходимо внимательно изучать эту паталогію нашего ума и характера, потому что только внимательное изученіе болѣзни даетъ намъ возможность отыскать лекарство. Вотъ тутъ—то именно никто не можетъ замѣнить обществу великаго поэта. Никакое научное изслѣдованіе не опредѣлитъ вамъ душевную болѣзнь цѣлой эпохи съ такою ясностью, съ какою нарисуетъ ее великій художникъ. Тутъ вполне оправдывается глубокая мысль Пьера Леру о томъ, что поэты изъ вѣка въ вѣкъ возвыщаютъ человечеству его страданія. Потомъ, когда поэтъ собралъ въ одинъ фокусъ, въ одну ярко освѣщенную картину всѣ разрозненные симптомы господствующей болѣзни вѣка, — тогда начинается работа мыслителей, которые анализируютъ вопросъ во всѣхъ его отдѣльных подробностяхъ и выводятъ явленія настоящей минуты изъ отдаленныхъ и глубоко затаившихся историческихъ, бытовыхъ и экономическихъ причинъ. Лирика Гейне есть ничто иное, какъ неподражаемо—полная и правдивая картина тѣхъ чувствъ и мыслей, тѣхъ тревогъ и огорченій, тѣхъ чередующихся припадковъ энергіи и апатіи, среди которыхъ тратятъ свою жизнь лучшіе люди XIX вѣка. Гейне не захотѣлъ или не могъ наблюдать и изображать своихъ современниковъ со стороны; съ естественною самонадѣятельностью истиннаго генія онъ понялъ, что носить въ самомъ себѣ всѣ заветныя чувства и мысли своей эпохи; онъ принялъ самого себя за чистѣйшій типъ современнаго человѣка и посвятилъ всю свою жизнь на то, чтобы высказаться со всѣхъ сторонъ, со всею искренностью и непосредственностью, какая только доступна человѣку XIX столѣтія. Поэтому, всѣ двадцать томовъ сочиненій Гейне составляютъ одно неразрывное цѣлое. И проза, и стихи, и любовь, и политика, и дурачества, и серьезные разсужденія—все это только въ общей связи получаетъ свой полный смыслъ и свое настоящее значеніе. Если вы развинтите Гейне на части и будете разсматривать каждый кусочекъ отдѣльно, то, разумѣется, вы получите много великолѣпныхъ алмазовъ и большую кучу негоднѣйшихъ черепковъ, перемѣшанныхъ съ глиною и съ грязью. Тогда вы скажете, что алмазы надо сохранить и оправить въ золото, а всю кучу примѣси спустить въ помойную яму. И такимъ приговоромъ вы докажете несомнѣнно, что, читая Гейне, вы смотрѣли въ книгу и видѣли фигу. Гейне именно тѣмъ и неопѣнимъ, что онъ даетъ мыслителямъ нашего времени цѣлые рудники матеріаловъ для самыхъ глубокихъ психологическихъ наблюденій и изслѣдованій. Читая Гейне, вдумывайтесь именно въ то, какимъ образомъ грязь перемѣшана въ человѣкѣ съ алмазами, старайтесь понять, почему одинъ и тотъ же геніальный умъ волновался высшими сомнѣніями,

порывами и страстями, доступными человеческой личности, и въ то же время тратился на то, чтобы воспѣвать съ искреннимъ воодушевленіемъ голубые или черные глазенки вертливыхъ парижскихъ лоретокъ. Посмотрите, напримѣръ, письма Гейне съ Гельголанда, помѣщенные въ его книгѣ о Берне и написанныя послѣ іюльскихъ событій 1830 г., и потомъ вдругъ прочтите въ его же книгѣ „Neue Gedichte“ — стихотворенія подѣ рубриками „Анжелика“, „Серафима“, „Катарина“. На Гейне очень часто находить блажь; онъ вдругъ воображаетъ себѣ, что онъ можетъ забыть все, что мѣшаетъ мыслящему человѣку предаваться телачнымъ восторгамъ; начинается бѣганіе и прыганіе на одной ножкѣ; — ахъ, Боже мой, какое благополучіе! воздухъ тепелъ, птички поютъ, роза цвѣтетъ, барышня улыбается; давайте бѣгать, давайте любезничать, давайте дѣлать вѣнки и букеты изъ васильковъ и ландышей. — Да вдругъ ему самому сдѣлается уже черезъ чуръ смѣшно, глядя на собственную прыткость и веселость; а потомъ досадно; а потомъ опять смѣшно; а потомъ и смѣшно и досадно въ одно и тоже время. Оплываетъ онъ вдругъ и барышню, и цвѣты, и природу. Все скверно, все никуда не годится. И желать нечего, и плакать не о чемъ, потому что все это пустая и ни на что не слѣдуетъ обращать вниманія. Къ выдѣлыванію такихъ руладъ неизбѣжно долженъ придти геніальный умъ, не имѣющій возможности найти себѣ такое дѣло, которое соотвѣтствовало бы его силамъ. А что люди, одаренные силами Гейне, остаются внѣ практической дѣятельности, — это, конечно, составляетъ одну изъ самыхъ крупныхъ болячекъ нашего времени и одно изъ самыхъ капитальныхъ препятствій къ выздоровленію. Рисовать картину страданій — это, безъ сомнѣнія, тоже дѣятельность и даже, при данныхъ условіяхъ мѣста и времени, дѣятельность очень полезная. Но, вѣроятно, самый заелтый эстетикъ согласится со мною, что было бы не въ примѣръ лучше, еслибы такая дѣятельность была совершенно не нужна и даже невозможна. Еслибы Гейне былъ вполне удовлетворенъ жизнью, еслибы онъ чувствовалъ себя счастливымъ, то, по всей вѣроятности, онъ не сдѣлался бы поэтомъ, потому что его поэзія была бы странною аномаліею въ такой средѣ, въ которой люди, подобные ему, могли бы устраивать свою жизнь сообразно съ требованіями своего чувства и своего разсудка. Развѣ можетъ возникнуть и развиваться паталогія тамъ, гдѣ не бываетъ болѣзней? А вѣрнѣйшимъ симптомомъ такого отсутствія болѣзней было бы то обстоятельство, что умные люди, подобные Гейне, не состояли бы въ разрядѣ людей лишнихъ, непрактичныхъ, безпокойныхъ и вредныхъ.

Если такимъ образомъ мы примемъ всю литературную дѣятельность Гейне за цѣльное выраженіе того невольнаго и неизбѣжнаго различія, полу-трагическаго, полу-комическаго, который существуетъ между на-

шими завѣтными желаніями и нашими вседневными поступками, если мы взглянемъ на Генриха Гейне, какъ на геніальнаго человѣка, который въ теченіе всей своей жизни стучится головою въ толстую стѣну человѣческихъ глупостей и наконецъ, по временамъ, самъ глупѣетъ отъ этого невыносимаго занятія, — то, разумѣется, всѣ балагурства Гейне, всѣ фривольности и тривіальности примуть въ нашихъ глазахъ значеніе драгоцѣннѣйшихъ фактовъ изъ психологической исторіи современнаго человѣка. Да, подумаемъ мы, вотъ какъ круто приходится иногда умнымъ людямъ. Вотъ какими минутами пошлости и пустоты общая бессмысленность исторической жизни награждаетъ иногда первоклассныхъ геніевъ! Подобныя размышленія никакъ нельзя назвать безплодными и мы должны будемъ сказать большое спасибо Генриху Гейне за то, что онъ не утаилъ отъ насъ тѣхъ печально-комическихъ минутъ своей жизни, когда онъ, отчаяваясь въ торжествѣ разума, пробовалъ сдѣлаться шаловливымъ ребенкомъ и начиналъ то изнывать у ногъ какой-нибудь Анжелики, то, съ простодушіемъ пансіонерки, умиляться надъ зеленою травой и надъ голубыми фіалками.

Гейне вызвалъ цѣлыя легіоны подражателей и этотъ фактъ служить еще новымъ подтвержденіемъ той ужасно старой и печальной истины, что глупыхъ людей очень много. Гейне можно и должно изучать, но подражать ему нѣтъ, во-первыхъ, никакой надобности, а во-вторыхъ, никакой возможности. Когда очень замѣчательный человѣкъ рассказываетъ намъ откровенно о своихъ заблужденіяхъ, о глупостяхъ и проступкахъ своей жизни, о позорныхъ минутахъ унынія, праздности, апатіи и безпечности, тогда мы слушаемъ этотъ рассказъ съ жаднымъ вниманіемъ и съ глубокимъ уваженіемъ. Ошибки и страданія великаго ума всегда поучительны, потому что въ нихъ всегда чувствуется вліяніе общихъ причинъ, повертывающихъ въ ту или въ другую сторону жизнь цѣлой исторической эпохи. На этомъ основаніи мы читаемъ и признаемъ полезными книги и лирику Гейне, и „Confessions“ Жанъ-Жака Руссо. Но когда какой-нибудь Лягушкинъ или Козявкинъ начинаетъ повѣствовать намъ стихами или прозою о томъ, какъ онъ кутилъ и опять желаетъ кутить, какъ онъ любилъ и какъ ему рога наставили, какъ онъ проигрался въ карты и желаетъ получить реваншикъ, а подлецъ Михрюшкинъ забастовалъ не во время, — тогда мы говоримъ ему: уймись, любезный! помажь свои душевные нарывы деревяннымъ масломъ и прикрой ихъ тряпочкой! у насъ этого добра и безъ тебя достаточно.

Любопытно замѣтить, до какого полного извращенія естественныхъ понятій дошла эстетика, то есть та критика, которая предпочитаетъ форму содержанію. Эстетикъ скажетъ вамъ, не задумываясь, что у такого-то поэта хватаетъ силъ на лирическое стихотвореніе, но что онъ непременно опростоволосится, если примется писать романъ или драму.

Вы, мой читатель, навѣрное такъ привыкли къ такимъ сужденіямъ, что въ недоумѣніи спросите у меня: „а что же въ этомъ мнѣніи эстетика есть такого уродливаго и бессмысленнаго? Это чистая правда. Вотъ, примѣръ, г. Полонскій. Кропаетъ онъ лирическіе стихи — и ничего: концы съ концами сводить. А попробовалъ написать романъ: „Свѣжее преданіе“ — вышло убійственно. Сунулся соорудить драму: „Разладъ“ — вышло еще того хуже, такъ что Несторъ Васильевичъ Кукольникъ можетъ сказать, потирая руки: „нашего полку прибыло!“ — Справедливо изволите разсуждать, господинъ читатель. Но вы подумайте все-таки, что такое лирика? Вѣдь это просто публичная исповѣдь человѣка? Прекрасно. А на что же намъ нужна публичная исповѣдь такого человѣка, который рѣшительно ничѣмъ, кромѣ своего желанія исповѣдываться, не можетъ привлечь къ себѣ наше вниманіе? Чѣмъ его огорченія или радости интереснѣе моихъ или вашихъ? Тѣмъ, что онъ умѣетъ укладывать ихъ въ рифмованные ямбы и хорей? Кажется мнѣ, что эта причина неудовлетворительна. Лирика, по самой сущности своей, гораздо искреннѣе и непосредственнѣе эпической и драматической поэзіи. Драму или романъ надо долго обдумывать; при этомъ надо изучать жизнь; плоды этого изученія могутъ быть интересны и поучительны даже въ томъ случаѣ, если автору не удастся придать характерамъ ту яркость, которая создается только силою таланта. Лирическій поэтъ, напротивъ того, только ловить и фиксируетъ мимолетныя настроенія своей собственной особы и достоинство лирическаго произведенія заключается именно въ томъ, чтобъ оно было какъ можно безыскусственнѣе, чтобы чувство или мысль поэта были схвачены и показаны читателю во всей своей непосредственности и непоукрашенности. Но вѣдь показываться въ такой первобытной наготѣ имѣетъ право только то, что замѣчательно само по себѣ и что, вслѣдствіе этого, пробудить въ другихъ людяхъ дѣятельность чувства и мысли. Поэтому ясно, что лирика есть самое высокое и самое трудное проявленіе искусства. Лириками имѣютъ право быть только первоклассные гении, потому что только колоссальная личность можетъ приносить обществу пользу, обращая его вниманіе на свою собственную частную и психическую жизнь.

Отчего же у насъ лирики плодятся, какъ дождевые грибы? Да просто оттого, что журналисты привыкли наполнять стихами тѣ бѣлыя страницы или, выражаясь типографскимъ языкомъ, бѣлыя полосы, которыя случайно остаются между отдѣльными статьями. И до сихъ поръ не могутъ сообразить почтенные журналисты, что бѣлая полоса гораздо лучше лирическаго стихотворенія, во-первыхъ потому, что читатель не тратитъ на бѣлую полосу ни одной минуты времени, во-вторыхъ потому, что редація за бѣлую полосу не платитъ ни копѣйки денегъ, въ-третьихъ потому, что существованіе бѣлыхъ полосъ не поощряетъ ни одной

отрасли предосудительнаго тунеядства. Къ крайнему моему огорченію, даже „Русское Слово“ не возвысилось еще до пониманія этихъ высокихъ и мудрыхъ истинъ.

XXVII.

Литературные противники нашего реализма простодушно убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько филантропическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ сплошь все то, изъ чего нельзя изготовить обѣдъ, сшить платье или выстроить жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они, конечно, должны были ожидать, что мои размышленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать въ себѣ безконечныя упреки Шекспиру, Гете, Гейне и другимъ подобнымъ негодьямъ за трату драгоценнаго времени на непроеводительныя занятія. Они ожидали, вѣроятно, что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ не Шекспиръ, Гете не Гете, чортъ мнѣ не братъ, всѣ дураки и знать никого не хочу. Такому направленію моихъ умозрѣній они были бы несказанно рады, потому что, разумѣется, подобная премудрость не поколебала бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, когда они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ косолапымъ манеромъ, — имъ сдѣлается очень досадно и они начнутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чортиковъ и теперь поневолѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось и мнѣ не приходится раскаиваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я совѣтовалъ г. Щедрина заняться компіляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увяданіе нашей беллетристики, какъ симптомъ возрастающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю тоже самое и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанность ругать Шекспира, Гете, Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негодяи были, прежде всего, чрезвычайно умные люди, а я, и теперь, и прежде, и всегда, былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль, и только мысль можетъ передѣлать и обновить весь строй человѣческой жизни. Все то безусловно полезно,

что заставляет нас задумываться и что помогает нам мыслить. Конечная цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка все-таки состоитъ въ томъ, чтобы разрѣшить навсѣгда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ рѣшительно ничего, о чемъ бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопросъ этотъ и самъ по себѣ такъ громаденъ и такъ сложенъ, что на его разрѣшеніе требуется вся паличная сила и зрѣлость человѣческой мысли, все напряженіе человѣческой энергіи и любви и весь запасъ собранныхъ человѣческихъ знаній; излишку оказаться не можетъ, а напротивъ, оказывается до сихъ поръ громадный недочетъ, который поневолѣ будутъ пополнять рабочія силы слѣдующихъ столѣтій.

Стало бытъ, мы вовсе нерасположены откидывать годный матеріалъ изъ любви къ процессу откидыванія. Это былъ бы съ нашей стороны нехлѣбный ригоризмъ и формализмъ, еслибы мы вздумали браковать гениальную мысль на томъ основаніи, что она проведена въ поэмѣ или въ романѣ, а не въ теоретическомъ разсужденіи. Если бы мы разсуждали такимъ образомъ, то намъ пришлось бы поставить критическія статьи г. Эдельсона выше романа: „Отцы и дѣти“. Но мы разсуждаемъ совершенно иначе. Мы твердо убѣждены въ томъ, что каждому человѣку, желающему сдѣлаться полезнымъ работникомъ мысли, необходимо широкое и всестороннее образованіе, въ которомъ Гейне, Гете, Шекспиръ должны занять свое мѣсто, на ряду съ Либихомъ, Дарвиномъ и Ляйелемъ. — Ничто такъ сильно не расширяетъ весь горизонтъ нашихъ понятій о природѣ и о человѣческой жизни, какъ близкое знакомство съ величайшими умами человѣчества, къ каковой бы отдѣльной области знанія или творчества ни относилась дѣятельность этихъ первоклассныхъ представителей нашей породы. Но, во-первыхъ, знакомясь съ этими титанами, надо непремѣнно сохранять въ отношеніи къ нимъ полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что составляетъ грязное пятно въ произведеніи титана. Во-вторыхъ, и это главное, надо знакомиться только съ настоящими титанами и преспокойно проходить, не бивая головою, мимо многихъ о премногихъ кумировъ, выставляемыхъ на поклоненіе толпы усердными историками различныхъ литературъ. Посовѣтуйтесь, наприимѣръ, съ какимъ нибудь записнымъ гуманистомъ: онъ вамъ будетъ доказывать, что не прочитавъ Горация, Овидія, Виргилія, Цицерона значить остаться круглымъ невѣждою. Заговорите съ французомъ: онъ вамъ поклянется честью, что вамъ совершенно необходимо прочитать всѣ трагедіи Корнеля, всѣ трагедіи Расина, всѣ сатиры Буало, всѣ сладости Фенелона и всѣ проповѣди Боссюэта, котораго французы до сихъ поръ считаютъ великимъ гениемъ и даже глубокимъ, хотя и

одностороннимъ историкомъ. Обратитесь къ г. Лонгинову и онъ вамъ, какъ русскому человѣку, поставитъ въ непремѣнную обязанность прочитывать цѣликомъ Ломоносова, Державина, Карамзина и Жуковского. Счастливы вы, если онъ еще позволитъ вамъ не читать Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова, Аблесимова, Хераскова, Озерова и князя Шаликова. Да нѣтъ. Врядъ ли онъ окажетъ вамъ эту великую милость. Нельзя, скажете. Эти писатели имѣютъ историческое значеніе. А что же вы, въ самомъ дѣлѣ, будете за человѣкъ, если не будете знать исторіи нашей великой и прекрасной литературы?

Если вы одарены отъ природы чувствомъ благоразумнаго самосохраненія, то вы, разумѣется, не послушаете ни г. Лонгинова, ни гуманиста, ни француза. Вы читаете Шекспира, Байрона, Гете, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногихъ другихъ поэтовъ, замѣчательныхъ не тѣмъ, что они когда-то жили и что-то написали, а тѣмъ, что они дѣйствительно высказали людямъ нѣсколько дѣльныхъ и умныхъ мыслей. Изъ нашихъ же писателей вы возьмете Грибоѣдова, Крылова, Пушкина, Гоголя, отнесетесь къ нимъ съ самою строгою критикою и увидите тогда, что ваше чисто-литературное образованіе совершенно окончено. Я не говорю о новѣйшихъ писателяхъ, напримѣръ, о Жоржъ-Зандѣ, Викторѣ Гюго, Диккенсѣ, Теккереѣ и о лучшихъ представителяхъ нашей собственной беллетристики. Этихъ писателей вы уже непремѣнно прочтете, даже не для литературнаго образованія, а просто для того, чтобы слѣдить за современнымъ развитіемъ европейской мысли. Тутъ, разумѣется, вамъ придется прочитать много пустяковъ, напримѣръ: „Фанни“—Фейдо, „Саламбо“—Флобера и такія повѣсти Тургенева, какъ „Первая любовь“ и „Призраки“. Противъ этого не поможетъ ужъ никакой послѣдовательный реализмъ. Чтобы приносить людямъ пользу, надо знать, что ихъ интересуетъ и о чемъ они въ данную минуту толкуютъ, а для этого приходится очень часто просматривать ничтожнѣйшіе романы, пробѣгать пустѣйшіе номера журналовъ и газетъ и выслушивать отъ разныхъ добродушныхъ личностей еще болѣе пустыя разсужденія. Кто хочетъ заниматься психіатріею, тотъ поневолѣ долженъ выслушивать разсказы всякихъ Поприщинныхъ о шипкѣ алжирскаго дея. Но и психіатру нѣтъ особенной надобности читать въ пыльныхъ архивахъ и библіотекахъ умозрѣнія всѣхъ тѣхъ Поприщинныхъ, которые жили раньше насъ и которыхъ бредни, на бѣду нашу, не затерялись.

Изъ всего, что я говорилъ съ самаго начала этой статьи, читатель видитъ ясно, что я отношусь съ глубокимъ и совершенно искреннимъ уваженіемъ къ первокласснымъ поэтамъ всѣхъ вѣковъ и народовъ. Задача реалистической критики въ отношеніи ко всей массѣ литературныхъ памятниковъ, оставленныхъ намъ отжившими поколѣніями, состоитъ именно въ томъ, чтобы выбрать изъ этой массы то, что можетъ содѣйствовать

нашему умственному развитію и объяснить, какимъ образомъ мы должны распоряжаться съ этимъ отборнымъ матеріаломъ. Такая обширная задача не по силамъ одному человѣку, но я, съ своей стороны, постараюсь все-таки, со временемъ, подвинуть это дѣло впередъ, представляя моимъ читателямъ рядъ критическихъ статей о тѣхъ писателяхъ, которыхъ чтеніе я считаю необходимымъ для общаго литературнаго образованія каждаго мыслящаго человѣка.

Въ этой статьѣ я, разумѣется, могу только указать на эту задачу и ограничиться неопредѣленнымъ общаніемъ. — Но у реалистической критики есть и другая задача, можетъ быть, еще болѣе серьезная. Дѣлая строгую оцѣнку литературнымъ трудамъ прошедшаго, она должна еще внимательнѣе и строже слѣдить за развитіемъ литературы въ настоящемъ. Здѣсь на ней лежитъ обязанность быть несравненно болѣе разборчивою и требовательною. Когда мы говоримъ, напримѣръ, о Шекспирѣ, мы просто беремъ у него то, что находимъ въ наличности. Что есть — за то спасибо; чего нѣтъ — не взыщите; на нѣтъ и суда нѣтъ. Наряжать надъ Шекспиромъ слѣдствіе по тому вопросу, былъ ли онъ прогрессистомъ или ретроградомъ — смѣшно, негѣло и несправедливо, по той простой причинѣ, что люди XVI вѣка еще не имѣли понятія о такомъ прогрессѣ, который охватываетъ всѣ отправленія общественной жизни и всѣ отрасли человѣческаго мышленія. Но если бы въ наше время появился поэтъ съ громаднымъ талантомъ и если-бы онъ, подобно Шекспиру, посвятилъ лучшія силы своего таланта на создаваніе историческихъ драмъ, то реалистическая критика имѣла бы полное право отнестись очень сурово къ тому обстоятельству, что колоссальный талантъ отвертывается отъ интересовъ живой дѣйствительности и уходитъ въ область „безпечальнаго созерцанія“, изобрѣтеннаго „Отечественными Записками“ или „Петербургскими Вѣдомостями“.

Я твердо убѣжденъ въ томъ, что настоящій поэтъ, родившійся въ XIX вѣкѣ и получившій здоровое человѣческое образованіе, не можетъ быть ни ретроградомъ, ни индифферентистомъ. Стало быть, если въ произведеніяхъ даровитаго человѣка будутъ проглядывать допотопныя тенденціи или холодное равнодушіе къ живымъ потребностямъ современности, — реалистическая критика обязана внимательно разобрать причины такого ненормальнаго и вреднаго явленія. При ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла непременно обнаружится или полное невѣжество даннаго субъекта, или односторонность развитія, или слабоуміе, или молчаливость, или вообще что нибудь способное испортить и сбить съ пути самыя лучшія задатки литературнаго дарованія. Эти результаты ближайшаго изслѣдованія реалистическая критика должна выставить на показъ въ самыхъ яркихъ краскахъ, для того, чтобы публика перестала обольщаться такимъ оракуломъ, который говоритъ ей вредную галиматью или, по край-

ней мѣрѣ, отвлекаетъ ея вниманіе отъ полезнаго дѣла. Въ наше время можно быть реалистомъ и, слѣдовательно, полезнымъ работникомъ, не будучи поэтомъ; но быть поэтомъ и, въ тоже время, не быть глубокимъ и сознательнымъ реалистомъ—это совершенно невозможно. Кто не реалистъ, тотъ не поэтъ, а просто даровитый неучъ, или ловкій шарлатанъ, или мелкая, но самолюбивая козявка. Отъ всей этой назойливой твари реалистическая критика должна тщательно оберегать умы и карманы читающей публики.

XXVIII.

Если вы предложите мнѣ вопросъ: есть ли у насъ въ Россіи замѣчательные поэты? — то я вамъ отвѣчу безъ всякихъ обиняковъ, что у насъ ихъ нѣтъ, никогда не было, никогда не могло быть — и, по всей вѣроятности, очень долго еще не будетъ. У насъ были или зародыши поэтовъ, или пародіи на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоѣдова; а къ числу пародій я отношу Пушкина и Жуковского. Первые остались на всю жизнь въ положеніи зародышей, потому что имъ нечѣмъ было питаться и некуда было развиваться. Силы—то у нихъ были, но не было ни впечатлѣній, ни простора. Поэтому ничего и не вышло, кромѣ одностороннихъ попытокъ и недодуманныхъ зачатковъ разумнаго міросозерпанія.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое „Мертвыя души“? Изображалъ человѣкъ „бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни“ и все шло хорошо и умно; а потомъ вдругъ, въ самомъ концѣ, пустилъ бессмысленнѣйшее воззваніе къ Россіи, которая, будто бы, куда-то мчится, какъ бѣшеная тройка, да такъ шибко мчится, что остальные народы только ротъ разбаваютъ и диву даются. И кто тянулъ изъ него эту дифирамбическую тираду? Рѣшительно никто. Такъ сама собою вылилась, отъ полноты невѣжества и отъ непривычки къ широкому обобщенію фактовъ. И вышла чепуха: съ одной стороны „бѣдность“, а съ другой такая быстрота развитія, что любо-дорого. Ничего цѣльнаго и не оказалось. И уже въ этомъ лирическомъ порывѣ сидятъ зачатки второй части „Мертвыхъ душъ“ и знаменитой „Переписки съ друзьями“.

А что такое басни Крылова? Робкіе намеки на сильный умъ, который никогда не можетъ и не осмѣлится развернуться во всю свою ширину.

Но эти зародыши все-таки заслуживаютъ наше уваженіе заслуживаютъ именно тѣмъ, что не могли развернуться. Значитъ, при благо-

пріятныхъ обстоятельствахъ, изъ этихъ элементовъ могло выработаться что нибудь порядочное. Но о людяхъ второй категоріи, о пародіяхъ на поэта, намъ приходится высказать совершенно противоположное мнѣніе. Эти люди процвѣтали „яко кринъ“, щебетали, какъ птицы пѣвчія, и совершили „въ предѣлѣхъ земномъ все земное“, то есть, все, что они были способны совершить. Въ произведеніяхъ этихъ людей нѣтъ никакихъ признаковъ болѣзненности или изуродованности. Имъ было весело, легко и хорошо жить на свѣтѣ и это обстоятельство, конечно, останется вѣчнымъ пятномъ на ихъ прославленныхъ именахъ. Впрочемъ нѣтъ, — не *сплывимъ*. Такъ какъ эти господа уже теперь ничѣмъ не связаны съ современнымъ развитіемъ нашей умственной жизни, то мы можемъ надѣяться, что ихъ прославленные имена скоро забудутся или, по крайней мѣрѣ, превратятся для русскихъ людей въ такіе же пустые звуки, въ какіе уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всякихъ другихъ бардовъ прошлаго столѣтія. Съ именемъ Жуковского уже совершилось это превращеніе, но Пушкина мы все еще не рѣшаемся забыть или вѣрнѣе, мы боимся признаться самимъ себѣ, что мы его почти совсѣмъ забыли. О Пушкинѣ до сихъ поръ бродятъ въ обществѣ разные нелѣпые слухи, пущенные въ ходъ эстетическими критиками; общество не сличаетъ этихъ слуховъ съ существующими фактами, но повторяетъ ихъ съ чужого голоса и, по старой привычкѣ къ этимъ слухамъ, считаетъ ихъ за непреложную истину, не требующую никакихъ доказательствъ. Говорятъ, напримѣръ, что Пушкинъ — великій поэтъ и всѣ этому вѣрятъ. А на повѣрку выходитъ, что Пушкинъ просто великій стилистъ — и больше ничего. Говорятъ далѣе, что Пушкинъ основалъ нашу новѣйшую литературу и этому тоже вѣрятъ. И это тоже вздоръ. Новѣйшую литературу основалъ не Пушкинъ, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками, а подъ вліяніемъ Гоголя сформировались Тургеневъ, Писемскій, Некрасовъ, Островскій, Достоевскій; да кромѣ того, произведенія Гоголя дали рѣшительный толчокъ нашей реальной критикѣ.

Многимъ читателямъ мои размышленія о Пушкинѣ покажутся возмутительно-дерзкими. Я самъ, съ своей стороны, признаю за читателемъ полное право требовать отъ меня серьезныхъ и подробныхъ фактическихъ доказательствъ, но теперь, въ этой статьѣ, я все-таки не буду распространяться о литературной дѣятельности великаго Пушкина. Объ этомъ мы поговоримъ впослѣдствіи. Тогда я представлю моимъ читателямъ рядъ статей подъ заглавіемъ „Пушкинъ и Бѣлинскій“. Въ этихъ будущихъ статьяхъ я разберу дѣятельность прославленнаго поэта и постараюсь, съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма, перерѣшить тѣ вопросы, которые Бѣлинскій рѣшалъ на основаніи эстетическихъ догматовъ, потерявшихъ для насъ всю свою обязательную силу.

Въ настоящее время у насъ также нѣтъ поэтовъ; наше общество все еще слишкомъ неподвижно, чтобы содѣйствовать развитію тѣхъ высшихъ силъ ума и чувства, которыми долженъ обладать гениальный поэтъ. Но между нашими литераторами есть нѣсколько умныхъ и добросовѣстныхъ работниковъ, помѣщающихъ въ различныхъ журналахъ романы, повѣсти и драматическія произведенія. Дѣятельность этихъ людей никакъ нельзя назвать бесплодною. Они заставляютъ своихъ читателей задумываться надъ различными вопросами вседневной жизни; они даютъ реальной критикѣ удобный случай разъяснить эти вопросы. Публика прислушивается къ этимъ разъясненіямъ и смыслъ понемногу начинаетъ шевелиться, медленно просачиваясь въ такіе темные углы, которые съ поконъ вѣку были совершенно незнакомы съ подобною роскошью.

При самомъ бѣгломъ взглядѣ на современныя литературы всѣхъ цивилизованныхъ народовъ, вы тотчасъ замѣтите тотъ общій фактъ, что надъ всѣми отраслями поэтического творчества далеко преобладаетъ такъ называемый *гражданскій эпосъ* или, проще, романы, повѣсти и рассказы. Романъ втянулъ въ себя всю область поэзіи, а для лирики и для драмы остались только кое-какіе крошечные уголки. Если, напримѣръ, въ годъ будетъ напечатано *сто* листовъ драматическихъ произведеній и лирическихъ стиховъ, то можно сказать навѣрное, что въ тотъ же промежутокъ времени появится, по крайней мѣрѣ, *тысяча* листовъ романовъ, повѣстей и рассказовъ. А если бы мы могли сравнить цифры читателей, то перевѣсъ *гражданскаго эпоса*, безъ сомнѣнія, оказался бы еще поразительнѣе. Далѣе, не мѣшаетъ замѣтить, что романы въ стихахъ или эпическія поэмы въ наше время сдѣлались невозможными и что эту невозможность признали наконецъ сами эстетика.

Это рѣшительное преобладаніе романа, и притомъ романа въ прозѣ, показываетъ очевидно, что въ отношеніяхъ читающаго общества къ поэзіи совершился глубокой и радикальный переворотъ. Въ былое время на первомъ планѣ стояла *форма*; читатели восхищались совершенствомъ внѣшней техники и, вслѣдствіе этого, безусловно предпочитали стихи прозѣ. Еще во второй половинѣ прошлаго столѣтія, Вольтеръ, превознося Фенелонова „Телемака“, говоритъ въ то же время, что все-таки „Телемака“ невозможно сравнивать съ эпическими поэмами, потому что самая посредственная поэма, написанная стихами, стоитъ неизмѣримо выше превосходнѣйшаго романа въ прозѣ. Теперь, напротивъ того, вниманіе читателей безраздѣльно направляется на *содержаніе*, то есть, на мысль. Отъ *формы* требуютъ только, чтобы она не мѣшала содержанію, то есть, чтобы тяжелые и запутанные обороты рѣчи не затрудняли собою развитіе мысли. По нашимъ теперешнимъ понятіямъ, красота языка заключается единственно въ его ясности и выразительности, то есть,

исключительно въ тѣхъ качествахъ, которыя ускоряютъ и облегчаютъ переходъ мысли изъ головы писателя въ голову читателя. Достоинство телеграфа заключается въ томъ, чтобы онъ передавалъ извѣстія быстро и вѣрно, а никакъ не въ томъ, чтобы телеграфная проволока изображала собою разныя извилины и арабески. Эту простую истину нашъ практическій вѣкъ понемногу, самъ того не замѣчая, приложилъ къ области поэтическаго творчества. Языкъ сдѣлался тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть, именно средствомъ для передачи мысли. Форма подчинилась содержанію и съ этого времени укладываніе мысли въ размѣренныя и рифмованныя строчки стало казаться всѣмъ здравомыслящимъ людямъ ребяческою забавою и напрасною тратою времени. По привычкѣ къ старинѣ, мы еще не рѣшаемся громко сознаться въ томъ, что мы дѣйствительно такъ смотримъ на это дѣло, но живые факты сами говорятъ за себя. Общее число писателей и читателей увеличивается, и въ то же время, число стихотворцевъ и стихолубителей уменьшается. Стихотворцы отходятъ на второй планъ. Кто, напримѣръ, стоитъ во главѣ современной англійской литературы? Ужъ конечно не Теннисонъ, а Диккенсъ, Теккерей, Треллоупъ, Эллиотъ, Бульверъ, то есть, все прозаики и все романисты. Какія сочиненія Виктора Гюго извѣстны всей читающей Европѣ? Не лирика и не трагедія, а „Notre-dame de Paris“ и „les Misérables“—два романа, написанные прозою.

Романъ на столько же удобнѣе всѣхъ остальныхъ видовъ поэческаго творчества, на сколько современный сюртукъ и прическа удобнѣе костюмовъ и париковъ, бывшихъ въ модѣ при Людовикѣ XIV. Романистъ распоряжается своимъ матеріаломъ, какъ ему угодно; описанія, размышленія, психологическіе анализы, историческія бытовья и экономическія подробности—все это съ величайшимъ удобствомъ, входитъ въ романъ и все это почти совсѣмъ не можетъ войти въ драму. О лирикѣ ужъ и говорить нечего. Кромѣ того, романъ оказывается самою *полезною* формою поэческаго творчества. Когда писатель хочетъ предложить на обсужденіе общества какую нибудь психологическую задачу, тогда романъ оказывается необходимымъ и незамѣнимымъ средствомъ. Въ обществѣ и въ семействѣ ежеминутно случаются, между различными типами и характерами, болѣе или менѣе рѣзкія и болѣзненные столкновенія. При подобныхъ столкновеніяхъ, обѣ стороны очень часто считаютъ себя правыми. Когда дѣло идетъ о денежномъ интересѣ, тогда начинается разорительный судебный процессъ. Когда же затронутъ вопросъ, входящій въ область чувства или мысли, тогда сводъ законовъ, разумѣется, молчитъ и дѣло можетъ быть рѣшено только приговоромъ или, вѣрнѣе, вліяніемъ общественнаго мнѣнія. Но въ неразвитомъ обществѣ общественное мнѣніе чрезвычайно слабо; это мнѣніе складывается изъ толковъ сосѣдей и знакомыхъ, которые произносятъ свои сужденія

ощупью, на авось, подъ вліяніемъ своихъ мельчайшихъ симпатій и антипатій. При каждомъ огласившемся столкновѣніи между отцомъ и сѣномъ, братомъ и сестрою, мужемъ и женою, обѣ воюющія стороны непремѣнно находятъ себѣ между сосѣдами и знакомыми усердныхъ утѣшителей и краснорѣчивыхъ защитниковъ. Эти господа своимъ участіемъ всегда растрavляютъ ссору и увеличиваютъ упорство враждующихъ личностей. Иной добродушный человѣкъ, обдумавши на досугъ свой поступокъ, могъ бы почувствовать, что онъ въ самомъ дѣлѣ ошибся и обидѣлъ ни за грошъ своего ближняго, но когда этотъ человѣкъ встрѣчаетъ въ своихъ знакомыхъ полное сочувствіе, когда посторонніе люди совершенно искренно доказываютъ ему, что онъ—то самъ у есть угнетенная невинность, тогда, очевидно, безпристрастное обсужденіе собственныхъ ошибокъ становится чрезвычайно затруднительнымъ и глупѣйшая ссора отравляетъ, вслѣдствіе этого, двѣ человѣческія жизни, которыя могли бы протекать рядомъ въ вождельномъ согласіи. Множество непріятностей и мелкихъ страданій, истощающихъ человѣческія силы и опошляющихъ человѣческую личность, происходитъ такимъ образомъ отъ слѣпоты или неразвитости общественнаго мнѣнія, отъ поголовнаго неумѣнія опредѣлять тѣ границы, внутри которыхъ отдѣльная личность можетъ развѣртывать свои силы, не посягая на свободу и на человѣческое достоинство другихъ личностей.

Самымъ могущественнымъ средствомъ для правильнаго развитія общественнаго мнѣнія является, конечно, общественная жизнь. Когда общество заботится о собственныхъ интересахъ, тогда оно быстро выучивается контролировать поступки и убѣжденія своихъ отдѣльныхъ членовъ. Но, такъ какъ развитіе общественной жизни зависитъ не отъ литературы, а отъ историческихъ обстоятельствъ, то мнѣ не зачѣмъ и распространяться объ этомъ щекотливомъ предметѣ.

Вторымъ средствомъ, гораздо менѣе могущественнымъ, но все-таки не совсѣмъ ничтожнымъ, является вліяніе литературы. Задавать обществу психологическія задачи, показывать ему столкновѣнія между различными страстями, характерами и положеніями, наводить его на размышленія о причинахъ этихъ столкновѣній и о средствахъ устранить подобныя непріятности, заставлять его сочувствовать въ книгѣ тому лицу или поступку, противъ котораго оно (общество) вооружилось бы въ дѣйствительной жизни, вслѣдствіе своихъ закоренѣлыхъ предубѣжденій,—все это значить—формировать общественное мнѣніе, значить—говорить обществу: вглядывайся, вдумывайся въ свою собственную жизнь, выметаи изъ нея, хоть понемногу, тотъ мусоръ ложныхъ понятій, на которомъ живые люди, твои же собственные члены, спотыкаются и ломаютъ себѣ ноги!

Въ рѣшеніи чисто-психологическихъ вопросовъ романъ незамѣнимъ;

напротивъ того, въ рѣшеніи чисто-соціальныхъ вопросовъ романъ долженъ уступить первое мѣсто серьезному изслѣдованію. Но, такъ какъ чисто-соціальный интересъ почти всегда сплетается съ интересомъ чисто-психологическимъ, то романъ можетъ принести очень много пользы даже для разъясненія соціального вопроса. Представьте себѣ, напимѣръ, что васъ поразили всѣдневныя явленія вопіющей человѣческой бѣдности. Если вы, съ своей стороны, хотите сдѣлать вашимъ умственнымъ трудомъ что нибудь для облегченія этого зла, то вы, разумѣется, должны изучить причины и видоизмѣненія бѣдности, собрать какъ можно больше сырыхъ фактовъ и достовѣрныхъ статистическихъ цифръ, привести всѣ эти матеріалы въ порядокъ и вывести ваши посильныя практическія заключенія. Трудъ вашъ окажется, такимъ образомъ, серьезнымъ изслѣваніемъ и дѣловымъ прозектомъ. Его прочитаютъ и обдумаютъ тѣ люди, которые имѣютъ возможность и желаніе осуществлять въ дѣйствительной жизни общепользныя идеи кабинетныхъ мыслителей. Такъ, напимѣръ, въ 1860 году Эмиль Лоранъ издалъ очень дѣльную книгу о французскомъ пауперизмѣ и объ обществахъ взаимнаго вспомошествованія. Эту книгу прочитали, навѣрное, всѣ президенты подобныхъ обществъ, и нѣкоторыми изъ совѣтовъ Лорана воспользовались, быть можетъ тѣ префекты и мэры, которыхъ мысли не сосредоточены исключительно на прискиваніи средствъ для полученія ордена Почетнаго Легіона. Для такихъ читателей, разумѣется, необходимы факты и цифры, а не картины трудовой жизни и душевной борьбы. — Но бѣдность порождаетъ развратъ и преступленіе, а общество обрушивается всею тяжестью своего гнѣва и презрѣнія на тѣхъ людей, которые споткнулись на трудномъ пути и которые могли бы снова подняться на ноги, если бы ихъ не давило въ грязь все, что ихъ окружаетъ, и все, что, благодаря болѣе благоприятнымъ случайностямъ, успѣло сохранить наружный видъ чистоты и безукоризненности.

Если васъ поразила эта чисто-психологическая сторона бѣдности, то вы напишете романъ, и созданныя вами картины заставятъ многихъ изъ вашихъ читателей задуматься надъ тою кровавою несправедливостью, или проще, надъ тою поразительною тупостью, которую мы, люди добродѣтельные, обнаруживаемъ ежедневно въ нашихъ отношеніяхъ къ умственнымъ и нравственнымъ болѣзнямъ голоднаго и раздѣтаго чело-вѣка. Романы Диккенса и виктора Гюго направляются вовсе не къ тому, чтобы разжалобить толстыхъ филистеровъ и выпросить у нихъ копѣечку на пропитаніе вдовъ и сиротъ; эти романы доказываютъ намъ, съ разныхъ сторонъ, полную логическую несостоятельность всѣхъ нашихъ обиходныхъ понятій о порокахъ и преступленіи. Капля долбитъ камень *non vi, sed saepe cadendo* (не силою, но часто повторяющимся паденіемъ), и романы незамѣтно произведутъ въ нравахъ общества и въ

убѣжденіяхъ cadaго отдѣльнаго лица такой радикальный переворотъ, какаго не произвели бы безъ ихъ содѣйствія никакіе философскіе трактаты и никакія ученія изслѣдованія.—Поэтому каждый послѣдовательный реалистъ видитъ въ Диккенсѣ, Теккереѣ, Треллопѣ, Жоржъ-Зандѣ, Гюго—замѣчательныхъ поэтовъ и чрезвычайно полезныхъ работниковъ нашего вѣка. Эти писатели составляютъ своими произведеніями живую связь между передовыми мыслителями и полуобразованною толпою всякаго пола, возраста и состоянія. Они — популяризаторы разумныхъ идей по части психологіи, и физиологіи общества, а въ настоящую минуту добросовѣстные и даровитые популяризаторы, по крайней мѣрѣ, такъ же необходимы, какъ оригинальные мыслители и самостоятельные изслѣдователи.

Мы вовсе не требуемъ отъ романистовъ, чтобы всѣ они непременно описывали страданія бѣдняковъ или показывали намъ челоѣка въ преступникѣ. По нашему мнѣнію каждый романистъ, разрѣшающій какую нибудь пси ологическую задачу, поставленную естественнымъ теченіемъ дѣйствительной жизни, — приносить обществу существенную пользу и, по мѣрѣ силъ своихъ, исполняетъ обязанность честнаго гражданина и развитого челоѣка. Частная жизнь и семейный бытъ, наравнѣ съ экономическими и общественными условіями нашей жизни, должны обращать на себя постоянное вниманіе мыслящихъ людей и даровитыхъ писателей. Чтобы упрочить за собою глубочайшее уваженіе роялистовъ, романистъ или поэтъ долженъ только постоянно, такъ или иначе, служить живому дѣлу дѣйствительной, современной жизни. Онъ не долженъ только превращать свою дѣятельность въ безцѣльную забаву праздной фантазіи. Я надѣюсь, что даже эстетики не станутъ заступаться за Дюма, за Феваля, за Поль-де-Кока. Но очень правдоподобно, что они уважаютъ Вальтеръ-Скотта и Купера. А мы ихъ нисколько не уважаемъ и вообще считаемъ историческій романъ за одно изъ самыхъ бесполезныхъ проявленій поэтическаго творчества. Вальтеръ-Скоттъ и Куперъ — усыпители челоѣчества. Что они люди очень даровитые — противъ этого я не спорю. Но тѣмъ хуже. Тѣмъ-то они и вредны, что ихъ произведенія читаютъ съ удовольствіемъ и создаютъ цѣлыя школы подражателей. А что выносить читатель изъ этихъ романовъ? Ничего, ни одной новой идеи. Рядъ картинъ и арабесковъ. Тоже самое, что ребенка выносить изъ волшебной сказки. Въ наше время, когда надо смотрѣть въ оба глаза и работать обѣими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью въ мертвое прошедшее, съ которымъ всѣмъ порядочнымъ людямъ давно пора разорвать всякія связи.

XXIX.

Съ самого начала этой статьи, я все говорилъ только о поэзии. Обо всѣхъ другихъ искусствахъ, пластическихъ, тоническихъ и мимическихъ, я выскажусь очень коротко и совершенно ясно. Я чувствую къ нимъ глубочайшее равнодушіе. Я рѣшительно не вѣрю тому, чтобы эти искусства какимъ бы то ни было образомъ содѣйствовали умственному или нравственному совершенствованію человѣчества. Вкусы человѣческіе безконечно разнообразны: одному желательно выпить передъ обѣдомъ рюмку очищенной водки; другому—выкурить послѣ обѣда трубку махорки; третьему — побаловаться вечеромъ на скрипкѣ или на флейтѣ; четвертому — придти въ восторгъ и въ ужасъ отъ взвизгиваній Ольриджа въ роли Отелло. Ну, и безподобно. Пускай утѣшаются. Все это я понимаю. Понимаю я также, что двумъ любителямъ очищенной водки, или Ольриджа, или віолончели пріятно побесѣдовать между собою о совершенствахъ любимаго предмета и о тѣхъ средствахъ, которыя слѣдуетъ употребить для того, чтобы придать любимому предмету еще болѣе высочія совершенства. Изъ такихъ специальныхъ бесѣдъ могутъ образоваться спеціальныя общества. Напримѣръ, «общество любителей водки», «общ. люб. псовой охоты», «общество театраловъ», «общ. люб. слоенныхъ пирожковъ», «общ. люб. музыки» и такъ далѣе, впредь до безконечности. У такихъ обществъ могутъ быть свои уставы, свои выборы, свои парламентскіе дебаты, свои убѣжденія, свои журналы. Такія общества могутъ раздавать патенты на геніальность. Вслѣдствіе этого, могутъ появиться на свѣтѣ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Ветховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря. Мы можемъ только радоваться этому обилію человѣческой геніальности и осторожно проходить мимо всѣхъ этихъ «обществъ любителей», тщательно скрывая улыбку, которая невольно напрашивается на наши губы, и которая можетъ раздражить очень многихъ гусей. Впрочемъ, отрицать совершенно практическую пользу живописи мы, конечно, не рѣшимся. Черченіе плановъ необходимо для архитектуры. Почти во всѣхъ сочиненіяхъ по естественнымъ наукамъ требуются рисунки. Въ настоящую минуту передо мною лежитъ великолѣпная книга Брема: «Illustrierte Thierleben» (Иллюстрированная жизнь животныхъ), и эта книга показываетъ мнѣ самымъ нагляднымъ образомъ, до какой степени даровитый и образованный художникъ можетъ своимъ карандашомъ помогать натуралисту

въ распространеніи полезныхъ знаній. Но вѣдь ни Рембрандтъ, ни Тиціанъ не стали бы рисовать картинки для популярнаго сочиненія по зоологіи или по ботаникѣ. А ужь какимъ образомъ Моцартъ и Фанни Эльслеръ, Тальма и Рубини ухитрились бы пристроить свои великія дарованія къ какому нибудь разумному дѣлу, этого я даже и представить себѣ не умѣю. Пусть помогутъ мнѣ въ этомъ затруднительномъ обстоятельствѣ эстетики «Эпохи» и «Библіотеки для Чтенія».

Любители всяческихъ искусствъ не должны гнѣваться на меня за легкомысленный тонъ этой главы. Свобода и терпимость прежде всего! Имъ нравится дуть въ флейту, или изображать своею особою Гамлета, принца датскаго, или пестрить полотно масляными красками, а мнѣ нравится доказывать насмѣшливымъ тономъ, что они никому не приносятъ пользы и что ихъ не за что ставить на пьедесталы. А забавамъ ихъ никто мѣшать не намѣренъ. За шиворотъ ихъ никто не тянетъ на полезную работу. Весело вамъ—ну и веселитесь, милые дѣти!

XXX.

Припомните вмѣстѣ со мною, мой читатель, какимъ образомъ васъ воспитывали и учили. Предположимъ на первый случай, что вы сынъ богатаго помѣщика и живете вмѣстѣ съ вашими родителями въ какой нибудь тамбовскій или рязанской деревнѣ. Вамъ лѣтъ десять, вы безжалостно рвете и пачкаете ваши рубашечки, курточки и панталоны; вы лазьете по горамъ и по деревьямъ и сокрушаете каждый день вашу мамашу новыми синяками и царапинами, которыя она постоянно усматриваетъ на вашемъ лицѣ и на вашихъ рукахъ. Наконецъ мамаша говоритъ папашѣ, что мальчикъ шибко балуется и что давно пора выписать для него строгаго гувернера, который серьезно присадитъ бы его за умныя книжки. Папаша отвѣчаетъ: хорошо! Вотъ продамъ обозъ пшеницы, съѣзжу недѣли на три въ Москву и отыщу тамъ подходящаго нѣмца или француза. Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Получаются деньги за пшеницу и часть этихъ денегъ употребляется на приобрѣтеніе того неизвѣстнаго господина, которымъ уже давно страдала васъ ваша мамаша. Незвѣстный господинъ объявляетъ папашѣ, что надо выписать такую-то арифметику, такую-то грамматику, такую-то географію и такъ далѣе. Папаша отпираетъ ту шкатулку, въ которой у него ссыпана пшеница, превращенная въ кредитные билеты, и выдаетъ рублей 20 или 30

на покупку учебныхъ книгъ. Каждый годъ продаются обозы пшеницы и каждый годъ часть вырученныхъ денегъ вручается вашему ментору, а другая часть превращается въ книги, глобусы, ландкарты, аспидныя доски, писчую бумагу, стальные перья. Все это вы, какъ ненасытная пучина, поглощаете съ тою же быстротою, съ какою вы, въ былое время, истребляли штаны и куртки. Положимъ, что все это идетъ вамъ въ прокъ. Ваша любознательность пробуждается; вашъ умъ растетъ и укрѣпляется; вы всею душою привязываетесь къ вашему воспитателю; онъ рассказываетъ вамъ о своемъ студенчествѣ; и васъ самихъ начинаетъ тянуть въ университетъ, въ обѣтованную землю труда и знанія. Родители ваши съ удовольствіемъ уступаютъ вашему желанію; не смотря на вашу юношескую робость, вы превосходно выдерживаете вступительный экзаменъ и съ замираніемъ сердца входите въ обѣтованную землю. Съ этой минуты часть пшеницы, превращенная въ деньги, поступаетъ въ ваше собственное распоряженіе; вы сами заботитесь о своемъ костюмѣ, сами покупаете себѣ книги, сами позволяете себѣ удовольствія. Допустимъ, что все это вы дѣлаете вполне благоразумно; въ одеждѣ нѣтъ роскоши, въ чтеніи вашемъ господствуетъ строгая послѣдовательность, удовольствія выбираются такіе, которыя дѣйствительно освѣжаютъ ваши силы для новаго труда; все это превосходно; но вѣдь все это до сихъ поръ было только поглощеніемъ пшеницы, превращенной въ сукно, въ голландское полотно, въ дѣльные книги, въ театральные и концертные билеты, въ профессорскія лекціи, въ умныя мысли и въ высокія стремленія. Всякій человѣкъ, собирающійся работать, долженъ непременно поглотить сначала извѣстное количество продукта, уже выработаннаго другими людьми; онъ можетъ поглотить его глупо, то есть, разстроить себѣ желудокъ этимъ поглощеніемъ; можетъ поглотить умно, то есть, дѣйствительно подерѣпить свои силы; но за то, что человѣкъ подерѣпилъ свои силы, мы еще ничуть не обязаны говорить ему спасибо; надо посмотрѣть, что будетъ дальше. Дальше вы оказываетесь кандидатомъ и передъ вами раскрывается жизнь. У васъ есть все, что нужно человѣку для счастья: здоровая молодость, развитой умъ, приличная наружность, обезпеченное состояніе; вамъ хочется жить, любить, мыслить и дѣйствовать. Чѣмъ захочу, думаете вы, тѣмъ и займусь; куда захочу, туда и поѣду; что захочу, то и сдѣлаю. Я самъ себѣ баринъ и никому не намѣренъ отдавать отчетъ въ своемъ образѣ жизни. Мое образованіе изощрило во мнѣ способность наслаждаться всѣмъ, что затрогиваетъ мысль и ласкаетъ чувство; поэтому, я намѣренъ извлекать себѣ наслажденія изъ любви, изъ науки, изъ искусства, изъ живой природы; все мое, а самъ я не принадлежу рѣшительно никому.

Такой взрывъ юношеской самостоятельности составляетъ очень обыкновенное, быть можетъ, даже неизбежное явленіе въ жизни каждой

*

нслищей и развивающейся личности. Но первый трезвый взгляд на экономическую прозу жизни кладет конец этому взрыву. Вы начинаете соображать, что вы поглотили цѣлыя сотни четвертей видоизмѣненной пшеницы и что каждая четверть соответствует извѣстному количеству рабочихъ дней, конныхъ и пѣшихъ, мужскихъ и женскихъ. А я-то, думаете вы, такъ радовался обилію моихъ знаній; а я-то такъ гордился силою моего ума и тонкостью моего эстетическаго вкуса! Вѣдь смѣшно даже подумать, къ чему приводится эта радость и эта гордость. Какой я, въ самомъ дѣлѣ, молодецъ! Какую гору пшеницы я съѣлъ и переварилъ! А что же я теперь собираюсь дѣлать? Наслаждаться прелестями молодой жизни, то есть, опять ѣсть и опять переваривать? Вѣдь надо же и честь знать. А если не честь, то надо же знать, по крайней мѣрѣ, простыя правила арифметики. Если, постоянно вычитать изъ общественнаго капитала, то наконецъ весь капиталъ уничтожится и общество придетъ къ банкротству. Я взялъ въ займы чужой трудъ; теперь надо же уплачивать этотъ долгъ. А чѣмъ его уплачивать? Деньгами, что-ли? Очевидная нецѣлостность. Это значитъ занимать у Ивана, чтобы отдавать Петру. За трудъ можно платить только трудомъ. Сначала другіе люди работали для меня, а теперь я долженъ работать для другихъ людей. Я весь принадлежу тому обществу, которое меня сформировало; всѣ силы моего ума составляютъ результатъ чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на равныя пріятныя глупости, то я окажусь несостоятельнымъ должникомъ и злостнымъ банкротомъ, хотя, можетъ быть, никто не назоветъ меня этимъ позорнымъ именемъ, и даже не замѣтитъ, что я поступаю безчестно, то есть, становлюсь врагомъ того самого общества, которому я обязанъ рѣшительно всѣмъ.

Когда вы придете къ такимъ серьезнымъ заключеніямъ, тогда безцѣльное наслажденіе жизнью, наукою, искусствомъ, окажется для васъ невозможнымъ. Останется только одно наслажденіе, то, которое выходитъ изъ яснаго сознанія, что вы приносите людямъ дѣйствительную пользу, что вы уплачиваете понемногу накопившуюся массу вашихъ долговъ и что вы, твердыми шагами, не сворачивая ни въ право, ни въ лѣво, идете впередъ, къ общей цѣли всей вашей жизни. Да, жизнь есть постоянный трудъ, и только тотъ понимаетъ ее вполнѣ по человѣчески, кто смотритъ на нее съ этой точки зрѣнія. И любовь къ женщинѣ, и искусство, и наука — все это или вспомогательныя средства въ общемъ механизмѣ жизненнаго труда, или минуты отдыха въ антрактахъ между оконченною работою и началомъ новаго дѣла. О любви къ женщинѣ и объ искусствѣ я уже говорилъ выше. Теперь будемъ говорить о наукѣ. Но сначала надо сдѣлать еще нѣсколько общихъ замѣчаній.

Для большей простоты анализа, я предположилъ въ первыхъ строкахъ этой главы, что вы, мой читатель, сынъ богатаго помѣщика и

что вы воспитывались на деньги ваших родителей. При этомъ условіи, отношенія вашего воспитанія къ пшеницѣ и къ рабочимъ днямъ обрисовываются такъ ясно, что о нихъ больше не зачѣмъ и распространяться. Но если бы я предположилъ, что вы плебей и пролетарій, — и что вы сами, тяжелымъ трудомъ, завоевали себѣ каждую отдѣльную частицу вашего широкаго образованія, то даже и въ этомъ случаѣ, настоящая сущность дѣла осталась бы неизмѣнною. Все-таки окажется при внимательномъ разсмотрѣніи, что вы всѣмъ обязаны обществу, и что всѣ силы вашего развитого и укрѣпленнаго ума должны быть употреблены на постоянное служеніе дѣйствительнымъ интересамъ этого общества. Природа дала вамъ живой умъ и сильную любознательность. Но самые превосходные дары природы остаются мертвымъ капиталомъ, если вы живете въ такомъ обществѣ, въ которомъ еще не зародилась умственная дѣятельность. Тѣ вопросы, которые на каждомъ шагѣ задаетъ себѣ вашъ пытливый умъ, остаются безъ отвѣта; энергія ваша истрачивается на множество мелкихъ и безплодныхъ попытокъ проникнуть въ затворенную область знанія; вы понемногу слабѣете, тупѣете, мельчаете и наконецъ миритесь съ вашимъ невѣжествомъ, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ, которое наконецъ перестаетъ даже тяготить васъ. Въ нашемъ обширномъ отечествѣ было очень много гениальныхъ самородковъ, прожившихъ жизнь безъ труда и безъ знанія по той простой причинѣ, что негдѣ, не у кого и нѣкогда было выучиться уму-разуму. Вѣроятно, такіе печальные случаи повторяются довольно часто и въ наше время, потому что Россія велика, а свѣтильниковъ въ ней немного. Стало быть, если вы пролетарій и если вамъ посчастливилось натенуться или удалось отыскать такой свѣтильникъ, который уяснилъ вамъ смыслъ и цѣль человѣческаго существованія, то вы должны задать себѣ вопросъ: какими средствами зажженъ этотъ спасительный свѣтильникъ? и какими матеріалами поддерживается его горѣніе?—Какъ бы ни былъ этотъ свѣтильникъ, университетъ, академія, образованный челоѣкъ, хорошій журналъ, умная книга — все равно; во всякомъ случаѣ, онъ стоитъ денегъ, а мы уже знаемъ, что деньги — ничто иное, какъ пшеница, рожь, овесъ, ленъ, пенька или, еще проще рабочіе дни, конные и пѣшіе, мужскіе и женскіе. Все богатство общества, безъ исключенія, заключается въ его трудѣ. Часть этого труда, тѣми или другими средствами, отдѣляется на то, чтобы создавать въ обществѣ умственный капиталъ. Ясное дѣло, что этотъ умственный капиталъ долженъ приносить обществу хорошіе проценты, иначе общество будетъ постоянно терпѣть убытки и постоянно приближаться къ окончательному разоренію. Примѣры такихъ разореній уже бывали въ исторіи. Такое разореніе называется паденіемъ цивилизаціи, и каждый ученикъ уѣзд-

наго училища долженъ знать, что уже нѣсколько цивилизацій, повидимому сильныхъ и цвѣтушихъ, упало и уничтожилось безъ остатка.

XXXI.

Человѣческій трудъ весь цѣликомъ основанъ на наукѣ. Мужикъ *знаетъ*, когда надо сѣять хлѣбъ, когда жать или косить, на какой землѣ можетъ родиться хлѣбъ и какого снадобья надо подбавить въ землю, чтобы урожай былъ обильнѣе. Все это онъ знаетъ очень смутно и въ самыхъ общихъ чертахъ, но, тѣмъ не менѣе, это — зародыши науки, первыя попытки человѣка уловить тайны живой природы. Въ свое время, эти простыя наблюденія человѣка надъ особенностями земли, воздуха и растений были великими и чрезвычайно важными открытіями; именно по своей важности, они сдѣлались общимъ достояніемъ трудящейся массы; они на всегда слились съ жизнью, и въ этомъ отношеніи, они оставили далеко за собою всѣ послѣдующія открытія, болѣе замысловатыя и до сихъ поръ еще не успѣвшія пробить себѣ дорогу въ трудовую жизнь простого и бѣднаго человѣка. Въ настоящее время физическій трудъ и наука, на всемъ пространствѣ земного шара, находятся между собою въ полномъ разрывѣ. Физическій трудъ пробавляется до сихъ поръ тѣми жалкими начатками науки, которые выработаны человѣческимъ умомъ въ до-историческія времена; а наука въ это время накопляетъ груды великихъ истинъ, которыя остаются почти безплодными, потому что масса не умѣетъ ни понимать ихъ, ни пользоваться ими.

Читатель мой вѣроятно привыкъ читать и слышать, что девятнадцатый вѣкъ есть вѣкъ промышленныхъ чудесъ; вслѣдствіе этого, читателю покажутся странными мои слова о разрывѣ между физическимъ трудомъ и наукою. Да, точно. Люди понемногу начинаютъ браться за умъ, но они берутся за него такъ вяло и такъ плохо, что мои слова о разрывѣ никакъ не могутъ считаться анахронизмомъ. Промышленными чудесами рѣшительно не слѣдуетъ обольщаться. Паровозъ, пароходъ, телеграфъ— все это штуки очень хорошія и очень полезныя, но существованіе этихъ штукъ доказываетъ только, что есть на свѣтѣ правительства и акціонерныя компаніи, которыя понимаютъ пользу и важное значеніе подобныхъ открытій. Русскій мужикъ ѣдетъ по желѣзной дорогѣ; купецъ телеграфируетъ другому купцу о какой нибудь пережвѣнѣ цѣнъ. Мужикъ размышляетъ, что славная эта штука чугунокъ; купецъ тоже философствуетъ, что очень хитро устроена эта проволока. Но скажите на милость: про-

буждаютъ ли эти промышленныя чудеса самостоятельность мысли въ головахъ мужика и купца? Проѣхалъ мужикъ по чугункѣ, воротился въ свою курную избу и по прежнему ведетъ дружбу съ тараканами, по прежнему лечится нашептываніями знахарки и по прежнему обрабатываетъ допотопными орудіями свою землю, которая по прежнему остается раздѣленною на три кліна—озимый, яровой и паръ. А купецъ, отправивъ телеграфическую депешу, по прежнему отбираетъ силою у своихъ дѣтей всякія книги и по прежнему твердо убѣжденъ въ томъ, что торговать безъ обмана значитъ быть сѣумасшедшимъ челоуѣкомъ и стремиться къ неизбѣжному разоренію. Паровозъ и телеграфъ пришиты снаружи къ жизни мужика и купца, но они нисколько не срослись съ ихъ полудикою жизнью.

Когда простой челоуѣкъ, оставаясь простымъ и темнымъ челоуѣкомъ, входитъ въ близкія и ежедневныя сношенія съ промышленными чудесами, тогда его положеніе становится уже изъ рукъ вонъ плохо. Посмотрите, въ какихъ отношеніяхъ находятся между собою фабричная машина и фабричный работникъ. Чѣмъ сложнѣе и великолѣпнѣе машина, тѣмъ тупѣе и бѣднѣе работникъ. На фабрикѣ являются два совершенно различные вида челоуѣческой породы: одинъ видъ господствуетъ надъ природою и силою своего ума подчиняетъ себѣ стихіи; другой видъ находится въ услуженіи у машины, не умѣетъ понять ея сложное устройство и даже не задаетъ себѣ никакихъ вопросовъ о ея пользѣ, о ея цѣли, о ея вліаніи на экономическую жизнь общества. До вопросовъ ли тутъ, когда надо подкладывать уголь подъ котелъ или ежеминутно отерывать и закрывать какой нибудь клапанъ? И такимъ образомъ, машина, изобрѣтенная знающимъ челоуѣкомъ, подавляетъ незнающаго челоуѣка, подавляетъ потому, что между наукою, съ одной стороны, и трудящеюся массою, съ другой стороны, лежитъ широкая бездна, которую долго еще не ухитрятся завалить самые великіе и самые челоуѣколюбивые мыслители. Если работникъ такъ мало развитъ, что у него нѣтъ сознательнаго чувства самосохраненія, то машина закабалитъ этого работника въ самое безвыходное рабство, въ то рабство, которое основано на умственной и вещественной бѣдности порабащаемой личности. Машины должны составлять для челоуѣчества источникъ довольства и счастья, а на повѣрку выходитъ совсѣмъ другая исторія: машины родятъ пауперизмъ, то есть, хроническую и неизлечимую бѣдность. А почему это происходитъ? Потому что машины, какъ снѣгъ на голову, сваливаются изъ высшихъ сферъ умственнаго труда въ такую темную и жалкую среду, которая рѣшительно ничѣмъ не приготовлена къ ихъ принятію. Простой работникъ слишкомъ необразованъ, чтобы сдѣлаться сознательнымъ повелителемъ машины; поэтому онъ немедленно становится ея рабомъ. Видите такимъ образомъ, что промышленныя чудеса превосходно уживаются съ

тѣмъ печальнымъ и страшнымъ разрывомъ, который существуетъ между наукою и физическимъ трудомъ.

Вѣкъ машинъ требуетъ непременно добровольныхъ ассоціацій между работниками, а такія разумныя ассоціаціи возможны только тогда, когда работники находятся уже на довольно высокой степени умственнаго развитія. Если же работники, сталкиваясь съ машинами, продолжаютъ дѣйствовать въ разсыпную, то въ рабочемъ населеніи развивается немедленно, съ изумительною силою и быстрою, бѣдность, тупость и деморализація. Представьте себѣ, что въ какомъ нибудь округѣ пятьсотъ семействъ добываютъ себѣ насущный хлѣбъ производствомъ полотенъ. Зарботки ихъ не очень богаты, но всѣ они, по крайней мѣрѣ, сыты, одѣты и даже откладываютъ кое-какіе гроши про черный день. Вдругъ какой нибудь механикъ придумываетъ превосходный ткацкій станокъ, который приводится въ движеніе силою пара и производитъ въ одинъ день столько полотна, сколько простой работникъ сдѣлаетъ въ мѣсяцъ. Дай Богъ здоровья механику за его превосходное изобрѣтеніе, но для нашихъ пяти-сотъ семействъ новый ткацкій станокъ равняется страшному неурожаю, громадному пожару, наводненію или вообще какому нибудь жестокому естественному бѣдствію. Новая машина такъ дорога, что ни одно семейство не въ силахъ купить ее на свои собственные сбереженные деньги, а работать по старому уже невозможно, потому что изобрѣтеніе механика произвело очень сильное пониженіе цѣнъ на полотно, и ручной трудъ уже не окупается. Если бы двадцать или тридцать семействъ сложили вмѣстѣ свои крошечные капиталы, то они могли бы купить машину, устроить небольшую фабрику и потомъ дѣлить между собою барыши соразмѣрно съ внесенными суммами. Но можно сказать навѣрное, что они этого не сдѣлаютъ; во-первыхъ, никому изъ нихъ эта простая мысль не придетъ въ голову; во-вторыхъ, если бы даже она пришла въ голову одному изъ этихъ работниковъ, то она не нашла бы себѣ сочувствія въ другихъ рабочихъ; сейчасъ явилось бы на сцену то тупое и безпричинное недовѣріе, которымъ обыкновенно страдаютъ люди, не привыкшіе думать, и которое такъ превосходно воплощено Гоголемъ въ личности помѣщицы Коробочки; въ-третьихъ, если бы даже компанія дѣйствительно составила, то она черезъ два-три мѣсяца распалась бы врозь, потому что акціонеры, непривычные къ коллективной дѣятельности, перессорились бы между собою, завели бы кляузы и процессы или погубили бы свое общее дѣло небрежностью. На основаніи всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ, компанія не составляется и ткачи, задавленные превосходствомъ новой машины, прекращаютъ свое производство, отправляются на сосѣднюю фабрику и поступаютъ туда въ поденщики. Такимъ образомъ, кладется краугольный камень того прочнаго зданія, которое называется пауперизмомъ. Какъ вамъ это нра-

этимъ косвеннымъ общаніемъ вѣрности, потому что, когда она, вслѣдъ за тѣмъ, спрашиваетъ у него прямо: «но вы бы сдѣлали отдаться?» — тогда онъ отвѣчаетъ ей: «не знаю, хвастаться не хочу». Замѣйте слово «хвастаться». Въ этомъ словѣ Базаровъ опять невольно проговаривается, значить, онъ считаетъ способность отдаться на всю жизнь великимъ достоинствомъ. И онъ понимаетъ въ тоже время, что не всякій обладаетъ этою способностью, и не всякому представляется въ жизни счастливый случай приложить эту способность къ дѣлу, и не всякій умѣетъ воспользоваться счастливымъ случаемъ, когда онъ ему представляется.

Гдѣ-же, въ комъ же изъ настоящихъ реалистовъ добрые люди подѣлили наклонность къ разврату? Каждый настоящій реалистъ, прежде всего, работникъ. Хороша-ли, дурна-ли его работа, объ этомъ онъ самъ знаетъ, и объ этомъ онъ не будетъ давать отчета тѣмъ добрымъ людямъ, которые изобрѣтаютъ и распускаютъ ложные слухи. Хороша-ли, дурна-ли его работа, но во всякомъ случаѣ онъ трудится какъ волъ, а кто не трудится, тотъ и не можетъ называться реалистомъ, какъ бы краснорѣчиво онъ ни разсуждалъ о челоуѣчествѣ и объ общей пользѣ. Кто не трудится, а только разсуждаетъ, тотъ или пустой болтунъ, или вредный шарлатанъ, но ужъ ни въ какомъ случаѣ не реалистъ. Стало быть, настоящимъ реалистамъ нѣтъ никакой надобности ратовать противъ цѣломудрія и противъ супружеской вѣрности. У реалиста трудъ стоитъ на первомъ планѣ. Что помогаетъ успѣху его труда, то онъ любитъ. Что мѣшаетъ его труду, то онъ ненавидитъ. Когда женщина является мыслящимъ существомъ, способнымъ помогать его работѣ и ободрять его своимъ сочувствіемъ, тогда онъ любитъ и уважаетъ женщину. Когда женщина является капризнымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ не участія въ полезной работѣ, а пестрыхъ игрушекъ, тогда онъ отворачивается отъ нея, чтобы она не мѣшала ему трудиться и не надоѣдала ему безсмысленною болтовнею. Такой бракъ, который увеличиваетъ силу и энергію работника, называется, на языкѣ реалиста, полезнымъ, благоразумнымъ и счастливымъ. Такой бракъ, который уменьшаетъ или извращаетъ рабочую силу, называется вреднымъ, безразсуднымъ и несчастнымъ. Для прочной связи между мужчиною и женщиною необходимо, по мнѣнію реалиста, общій трудъ. Мужчина долженъ трудиться и женщина также должна трудиться. Если они трудятся въ одинаковомъ направленіи, если они оба любятъ свою работу, если оба способны понять ея цѣль, то они начинаютъ чувствовать другъ къ другу симпатію и уваженіе, и наконецъ, мужчина и женщина объявляютъ свое рѣшеніе передъ обществомъ и призываютъ на свой союзъ благословленіе любви.

Все это, по мнѣнію реалиста, очень естественно и благоразумно. Если бракъ заключенъ при такихъ условіяхъ, то, по мнѣнію реалиста,

кричить достаточно громко о своей непереносимой гнусности. Но о филантропіи поговорить не мѣшаетъ, потому что филантропическая дѣятельность притягиваетъ къ себѣ силы очень хорошихъ людей, которые могли бы принести общему дѣлу гораздо больше пользы, если бы принимались за работу иначе.

Нѣтъ того добраго дѣла, за которое, въ разныхъ мѣстахъ и въ разные времена, не ухватывалась бы филантропія; и нѣтъ того предпріятія, въ которомъ филантропія не потерпѣла бы самого полного пораженія. Характеристическій признакъ филантропіи заключается въ томъ, что, встрѣчаясь съ какимъ нибудь видомъ страданія, она старается поскорѣй укротить боль, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать противъ причины болѣзни. Мать слышитъ, напримѣръ, плачь своего ребенка, у котораго болитъ животъ.—На, батюшка, на, говоритъ она ему, пососи конфетку. — Пріятное ощущеніе во рту дѣйствительно перевѣшиваетъ на минуту боль въ желудкѣ, которая еще не успѣла развиться до слишкомъ большихъ размѣровъ. Ребенокъ затихаетъ, но болѣзнь, не остановленная во время, усиливается, и тогда уже не помогаетъ никакое сосаніе конфетокъ. Такая любящая, но недалъновидная мать представляетъ собою чистѣйшій типъ искренняго филантропа. Что филантропія русскаго купечества плодитъ нищихъ, которыхъ содержаніе лежитъ тяжелымъ бременемъ на трудящейся массѣ, это всѣмъ извѣстно. А что бросить грошъ нищему гораздо легче, чѣмъ задумываться надъ причинами нищенства, это тоже не подлежитъ сомнѣнію.

Люди, посвящавшіе свои силы и свое время преподаванію въ народныхъ школахъ, по чистотѣ стремленій и по высотѣ умственнаго развитія стояли, конечно, неизмѣримо выше нищелюбивыхъ купцовъ. Но, надо сказать правду, они были также недалъновидны, какъ и всѣ остальные филантропы. Они видѣли зло — невѣжество. Не вглядываясь въ глубокія причины этого зла, они сейчасъ, при первой возможности, схватились за лекарство. Народъ ничего не знаетъ; ну, значить, надо учить народъ. Разсужденіе, повидимому, такъ вѣрно и такъ просто, что оно должно придти въ голову всякому ребенку и что съ нимъ долженъ согласиться всякій мыслитель. А между тѣмъ, разсужденіе это поверхностно и ошибочно. Почему народъ ничего не знаетъ? Во-первыхъ потому, что ему неудобно было учиться; мѣшало крѣпостное право. Допустимъ, что въ настоящее время обстоятельства измѣнились; явилась *возможность* учиться. Но одной возможности еще недостаточно. Ученіе есть все-таки трудъ, а человѣкъ никогда не принимается за трудъ безъ внѣшней или внутренней побудительной причины. Если нѣтъ побудительной причины, то и филантропическое преподаваніе останется безплоднымъ; а если есть побудительная причина, то народъ самъ выучится всему, что ему дѣйствительно необходимо знать, то есть, всему, что

можетъ доставить ему въ жизни какія нибудь осязательныя выгоды. Онъ выучится урывками, самоучкою, помимо школъ, и такое знаніе, взлелѣванное каждымъ отдѣльнымъ ученикомъ съ страстною и сознательною любовью, будетъ, разумѣется, неизмѣримо прочнѣе, живучѣе и способнѣе къ дальнѣйшему развитію, чѣмъ то знаніе, которое методически и систематически вливается учителемъ въ пассивныя головы равнодушныхъ школьниковъ. Какъ вы думаете: кто богаче, тотъ-ли человѣкъ, который самъ выработалъ тысячу рублей, или тотъ, которому вы подарили двѣ тысячи. Что касается до меня, то я, въ обиду всѣмъ правиламъ ариметики, скажу смѣло, что первый гораздо богаче второго. — Стало быть, чтобы дать простымъ людямъ тѣ выгоды, которыя доставляются образованіемъ, надо создать ту побудительную причину, о которой я говорилъ выше. То есть, надо сдѣлать такъ, чтобы во всей русской жизни усилился запросъ на умственную дѣятельность. Другими словами, надо увеличить число мыслящихъ людей въ тѣхъ классахъ общества, которые называются образованными. Въ этомъ вся задача. Въ этомъ альфа и омега общественнаго прогресса. Если вы хотите образовывать народъ, возвышайте уровень образованія въ цивилизованномъ обществѣ.

И такъ, повторяю вопросъ, поставленный въ началѣ этой главы: какимъ же образомъ надо распространять знанія? А вотъ отвѣтъ на этотъ вопросъ: пусть каждый человѣкъ, способный мыслить и желающій служить обществу, дѣйствуетъ собственнымъ примѣромъ и своимъ непосредственнымъ вліяніемъ въ томъ самомъ кружкѣ, въ которомъ онъ живетъ постоянно, и на тѣхъ самыхъ людей, съ которыми онъ находится въ ежедневныхъ сношеніяхъ. Учитесь сами и увлекайте въ сферу вашихъ умственныхъ занятій вашихъ братьевъ, сестеръ, родственниковъ, товарищей, всѣхъ тѣхъ людей, которыхъ вы знаете лично и которые питаютъ къ вашей особѣ довѣріе, сочувствіе и уваженіе. Если умѣете писать—пишите о предметѣ вашихъ занятій; если не чувствуете расположенія къ литературной дѣятельности, говорите о немъ съ тѣми людьми, у которыхъ уже пробудилась любознательность и на которыхъ вы можете имѣть прочное вліяніе. Эта дѣятельность внутри собственного кружка многимъ нетерпѣливымъ людямъ покажется чрезвычайно скромною и даже мизерною; я согласенъ съ тѣмъ, что въ такой дѣятельности нѣтъ ничего эффектнаго и блестящаго. Но именно поэтому-то она и хороша. Всякій разсудительный читатель, вдумавшись въ настоящую сущность дѣла, придетъ къ тому заключенію, что только дѣятельность, лишенная всякаго блеска и эффекта, можетъ повести за собою прочныя результаты. Такая дѣятельность, по своей наружной мизерности, не возбуждаетъ противъ себя филистерскихъ стenanій, а подъ конецъ и окажется, что младшіе братья и дѣти самыхъ заклaтыхъ филистеровъ сдѣлались реалистами и прогрессистами.

Весь ходъ историческихъ событій всегда и вездѣ опредѣлялся до сихъ поръ количествомъ и качествомъ умственныхъ силъ, заключающихся въ тѣхъ классахъ общества, которые не задавлены нищетою и физическимъ трудомъ. Когда общественное мнѣніе пробудилось, тогда уже очень крупныя эксцентричности въ исторической жизни становятся крайне неудобными и даже невозможными, хотя бы общественное мнѣніе и не имѣло еще никакого опредѣленнаго органа для заявленія своихъ требованій. Общественное мнѣніе, если оно дѣйствительно сильно и разумно, просачивается даже въ тѣ закрытыя лабораторіи, въ которыхъ готовятся историческія событія. Искусные химики, работающіе въ этихъ лабораторіяхъ, сами живутъ все-таки въ обществѣ и, незамѣтно для самихъ себя, пропитываются тѣми идеями, которыя носятъ въ воздухѣ. Нѣтъ той личности и той замкнутой корпораціи, которыя могли бы считать себя вполне застрахованными противъ незамѣтнаго и нечувствительнаго вліянія общественнаго мнѣнія. Иногда общественное мнѣніе дѣйствуетъ на исторію открыто, механическимъ путемъ. Но, кромѣ того, оно дѣйствуетъ еще химическимъ образомъ, давая незамѣтно то или другое направленіе мыслямъ самихъ руководителей. Такимъ образомъ, даже историческія событія подчиняются до нѣкоторой степени общественному мнѣнію. А внутренняя сторона исторіи, то есть, экономическая дѣятельность, почти вся цѣликомъ находится въ рукахъ общества. Оживить народный трудъ, дать ему здоровое и разумное направленіе, внести въ него необходимое разнообразіе, увеличить его производительность примѣненіемъ дознанныхъ научныхъ истинъ, все это—дѣло образованныхъ и достаточныхъ классовъ общества, и никто, кромѣ этихъ классовъ, не можетъ, ни взяться за это дѣло, ни привести его въ исполненіе. Къ какой бы экономической или социальной доктринѣ ни примыкалъ тотъ или другой писатель, во всякомъ случаѣ, осязательныя историческіе и бытовые факты для всѣхъ писателей остаются неизмѣнными. И что же говорятъ намъ эти факты? То, что до сихъ поръ, всегда и вездѣ, въ той или другой формѣ, физическій трудъ былъ управляемъ капиталомъ. А накопленіе капитала всегда основано на физическомъ или умственномъ превосходствѣ того лица, которое накапливаетъ. Кто сильнѣе или умнѣе другихъ, тотъ и богаче. Впослѣдствіи, разумеется, капиталъ самъ получаетъ притягательную силу: деньга деньги родить, какъ говоритъ русская поговорка. Но первое начало этой «деньги» заключается въ физическомъ или умственномъ неравенствѣ между людьми. А это неравенство, какъ явленіе живой природы, не подлежитъ, конечно, реформирующему вліянію человѣка.

Переворотовъ въ исторіи было очень много; падали и политическія, и религіозныя формы; но господство капитала надъ трудомъ вышло изъ всѣхъ переворотовъ въ полнѣйшей неприкосновенности. Историче-

скій опытъ и простая логика говорятъ намъ съ одинаковою убѣдительною, что умные и сильные люди всегда будутъ одерживать перевѣсъ надъ слабыми и тупыми или притупленными. Поэтому, возмущаться противъ того факта, что образованные и достаточные классы преобладаютъ надъ трудящеюся массою, значило бы стучаться головою въ несокрушимую и непоколебимую стѣну естественнаго закона. Одинъ классъ можетъ смѣняться другимъ классомъ, какъ, напримѣръ, во Франціи родовая аристократія смѣнилась богатою буржуазіею, но законъ остается ненарушимымъ. Значить, при встрѣчѣ съ такимъ неотразимымъ проявленіемъ естественнаго закона, надо не возмущаться противъ него, а напротивъ того, дѣйствовать такъ, чтобы этотъ неизбѣжный фактъ обратился на пользу самого народа. У капиталиста есть умъ и богатство. Эти два преимущества упрочиваютъ за нимъ господство надъ трудомъ. Но господство это, смотря по обстоятельствамъ, можетъ быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полуобразование,—онъ сдѣлается пивкомъ. А дайте ему полное, прочное, чисто-человѣческое образование—и тотъ же самый капиталистъ сдѣлается—не благодѣтельнымъ филантропомъ, а мыслящимъ и расчетливымъ руководителемъ народнаго труда, то есть, такимъ человѣкомъ, который во сто разъ полезнѣе всякаго филантропа. Откройте умному человѣку доступъ къ тѣмъ сильнѣйшимъ наслажденіямъ, которыя мы находимъ въ умственномъ трудѣ и въ полезной дѣятельности, и этотъ человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, мѣлліонеръ или пролетарій, непремѣнно пристрастится къ этимъ наслажденіямъ и непремѣнно пойметъ, что быть превосходнымъ общественнымъ дѣятелемъ пріятнѣе, чѣмъ извлекать изъ своего капитала какіе бы то ни было жидовскіе проценты. Разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда, значить открыть трудящемуся большинству дорогу къ широкому и плодотворному умственному развитію. А чтобы выполнить эти двѣ задачи, отъ разрѣшенія которыхъ зависитъ вся будущность народа, надо дѣйствовать исключительно на образованные классы общества. Судьба народа рѣшается не въ народныхъ школахъ, а въ университетахъ. Распространеніе грамотности, конечно, ничему не мѣшаетъ, но жаль, если на этотъ трудъ употребляются такіа силы, которыя могли бы дѣйствовать въ высшихъ сферахъ мысли и въ болѣе обширномъ кругу. — У насъ такихъ силъ еще очень немного, и люди, одаренные ими, должны, изъ любви къ дѣлу своей жизни, расходовать ихъ съ величайшею осмотрительностію. Филантропическими вспышками увлекаться не слѣдуетъ. Надо дѣлать то, что цѣлесообразно, а не то, что красиво, трогательно и похвально съ точки зрѣнія сердечной мягкости.

Вотъ меня опять обвинять въ пристрастіи къ парадоксамъ за

мое откровенное мнѣніе о распространеніи грамотности. Но я долго и упорно размышлялъ объ этомъ предметѣ и старался высказать свою мысль какъ можно проще, серьезнѣе и скромнѣе. Поэтому, я бы желалъ, чтобы мнѣ возражали на эту мысль основательными доводами, а не восклицаніями о моемъ неисправимомъ чудачествѣ. Мнѣ кажется, оно и для дѣла было бы полезнѣе.

XXXIII.

Въ наукѣ, и только въ ней одной, заключается та сила, которая, независимо отъ историческихъ событій, можетъ разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда. Если наука, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, приметъ за рѣшеніе этихъ двухъ задачъ и сосредоточитъ на нихъ всѣ свои силы, то губительный разрывъ между наукою и физическимъ трудомъ прекратится очень скоро, и наука, въ теченіе какихъ нибудь десяти или пятнадцати лѣтъ, подчинитъ всѣ отрасли физическаго труда своему прочному, разумному и благотвѣтельному вліянію. Но я уже замѣтилъ въ предыдущей главѣ, что всякая школа обыкновенно превращаетъ живую науку въ мертвый учебникъ. Ученіе является въ школѣ пассивнымъ лицомъ. Научныя истины лежатъ въ его головѣ безъ движенія, въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ онѣ положены туда преподавателемъ или руководствомъ. Если въ головѣ ученика состоялось до начала ученія какое нибудь ошибочное понятіе, то это понятіе очень часто продолжаетъ жить самымъ дружелюбнымъ образомъ рядомъ съ такою научною истиною, которая находится съ нимъ въ очевидномъ и непримиримомъ противорѣчіи. Урокъ самъ по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Можетъ быть, это происходитъ отъ молодости лѣтъ, а, можетъ быть, и отъ общепринятой манеры преподаванія. Последнее предположеніе кажется мнѣ болѣе правдоподобнымъ. У дѣтей нѣтъ недостатка въ живости и логичности мышленія, но у нихъ нѣтъ той умственной настойчивости, которая необходима для того, чтобы процессъ мышленія дошелъ до какого нибудь окончательнаго результата. Дѣти по поводу своихъ уроковъ часто предлагаютъ учителю очень мѣткіе и остроумные вопросы; иногда эти вопросы приводятъ учителя въ немалое смущеніе своимъ неожиданнымъ и невольнымъ радикализмомъ; но учитель—человѣкъ ловкій и политичный; онъ быстро производитъ искусную диверсію, принимаетъ на себя внушительную осанку или произноситъ съ важнымъ видомъ глубокомысленную чепуху и умственная самодѣятельность, только что заше-

величавшаяся въ живой головѣ ученика, опять усыпляется на долго, а можетъ быть и на всегда.

Былъ у меня въ университетѣ одинъ товарищъ, человѣкъ неглупый, студентъ работающій и дѣльный. Онъ ухитрился дойти до третьяго курса безо всякаго серьезнаго міросозерцанія. Даже вопросовъ и сомнѣній никакихъ не являлось. Но однажды ему пришлось переводить по заказу какую-то астрономическую статью Бабине, или Араго, или какого-то другого французскаго ученаго. Эта статья поставила въ его головѣ все вверхъ дномъ, и началась та умственная перестройка, которую непремѣнно приходится переживать каждому человѣку, прикоснувшемуся къ живому знанію. Въ этомъ простомъ случаѣ любопытно слѣдующее обстоятельство: статья французскаго астронома не заключала въ себѣ никакихъ полемическихъ тенденцій; она излагала яснымъ и живымъ языкомъ тѣ самыя старыя научныя истины, которыя мой товарищъ уже два раза усваивалъ себѣ въ гимназін, во-первыхъ, по введенію въ географію Ободовскаго, а во-вторыхъ, по математической географіи Талызина. Но таковы уже спеціальныя достоинства учебниковъ и школьнаго преподаванія: книга, не тронутая школьнымъ педантизмомъ, вызываетъ живую дѣятельность мысли и прохватываетъ насквозь всѣ убѣжденія читателя тѣми самыми истинами, которыя, красуясь на страницахъ учебника, не возбуждаютъ въ мальчикѣ или въ юношѣ ничего, кромѣ истерической зѣвоты и лѣниваго отвращенія.

Кто дорожить жизнью мысли, тотъ знаетъ очень хорошо, что настоящее образованіе есть только самообразованіе и что оно начинается только съ той минуты, когда человѣкъ, распростившись навсегда со всѣми школами, дѣлается полнымъ хозяиномъ своего времени и своихъ занятій. Университетъ только въ томъ отношеніи и лучше другихъ школъ, что онъ предоставляетъ учащемуся гораздо больше самостоятельности. Но если вы, окончивши курсъ въ университетѣ, отложите всякое попеченіе о вашемъ дальнѣйшемъ образованіи, то вы по гробъ жизни останетесь очень необразованнымъ человѣкомъ. Кто разъ полюбилъ науку, тотъ любитъ ее на всю жизнь и никогда не разстается съ нею добровольно. А кто знаетъ науку такъ мало, что еще не успѣлъ привязаться къ ней всѣми силами своего существа, тотъ не имѣетъ ни малѣйшей причины считать себя образованнымъ человѣкомъ. Надо учиться въ школѣ, но еще гораздо больше надо учиться по выходѣ изъ школы, и это второе ученіе, по своимъ послѣдствіямъ, по своему вліянію на человѣка и на общество, неизмѣримо важнѣе перваго. Стало быть, кто хочетъ содѣйствовать успѣхамъ образованія, тотъ долженъ, прежде всего, обращать вниманіе на то ученіе, которое производится послѣ школы, внѣ школы и помимо школы. Что читаетъ общество и какъ оно относится къ своему чтенію, то есть, видитъ ли оно въ немъ препро-

вожденіе времени или живое и серьезное дѣло—вотъ вопросы, которые, прежде всего, долженъ себѣ поставить человѣкъ, желающій внести науку въ жизнь. Господствующій вкусъ общества и его взглядъ на чтеніе зависятъ отчасти отъ общихъ историческихъ причинъ; но отчасти, и притомъ въ очень значительной степени, они зависятъ также отъ личныхъ свойствъ тѣхъ людей, которые пишутъ для общества. Слабые, дряхлые, безцвѣтные и бездарные писатели подчиняютъ свою дѣятельность прихотямъ общественнаго вкуса и капризамъ умственной моды. Но писатели, сильные талантомъ, знаніемъ и любовью къ идеѣ, идутъ своею дорогою, не обращая никакого вниманія на мимолетныя фантазіи общества. Умственная энергія такихъ писателей сама по себѣ дѣлается иногда такимъ событіемъ, которое обращаетъ на себя вниманіе общества и даже создаетъ новую моду. Яркость таланта и сила убѣжденія могутъ сдѣлать то, что въ обществѣ, всегда смотрѣвшемъ на книгу, какъ на нѣкоторую игру облагороженнаго вкуса, зародится серьезный взглядъ на чтеніе и возникнетъ законная потребность прикидывать мѣрку чистой и свѣтлой идеи къ сдѣлкамъ и продѣлкамъ дѣйствительной жизни. Общество начнетъ понемногу понимать, что умныя мысли кладутся на бумагу не для того, чтобы оставаться въ хор шихъ книжкахъ. — Умиляешься, другъ любезный, надъ хорошею книжкою, такъ не слишкомъ пакости же и въ жизни!

Благодаря Гоголю, Вѣлинскому, Некрасову, Тургеневу, Достоевскому, Добролюбову и немногимъ другимъ, очень замѣчательнымъ и добросовѣстнымъ писателямъ, наше общество уже додумалось до этого умозаключенія. Стѣна между книжною мыслью и дѣйствительною жизнью пробита навсегда. Мысль писателя смотритъ на дѣйствительную жизнь, а жизнь понемногу всасываетъ въ себя питательные элементы теоретической мысли. То, что сдѣлано на этомъ пути нашими предшественниками, значительно облегчаетъ собою задачу современныхъ писателей. Дайте обществу, что хотите — научный трактатъ, газетный очеркъ какихъ нибудь новѣйшихъ событій, критическую статью по литературѣ, романъ, стихотвореніе — все равно: вамъ ужъ не будетъ надобности пробивать ледяную кору равнодушія, невниманія и непониманія; если есть въ вашемъ трудѣ, что нибудь полезное, общество посмотритъ, и пойметъ, и подумаетъ; и мысль ваша западетъ въ ту глубину, въ которой вырабатываются и созрѣваютъ общественныя убѣжденія. При такихъ условіяхъ и жить стоитъ, и работать можно. Есть уже точка опоры, съ которой можно начать дѣло сближенія между теоретическимъ знаніемъ и всеневною жизнью. Общество уже не прочь отъ того, чтобы видѣть въ чтеніи путь къ самообразованію, а въ самообразованіи путь къ практическому благоразумію и совершеннѣйшій. Давайте обществу матеріалы — оно ихъ возьметъ, и воспользуется ими, и скажетъ

вамъ спасибо; но *давайте* непремѣнно. Само собою, безъ содѣйствія литературныхъ посредниковъ, общество не въ силахъ пойти за матеріалами, разрыть ихъ громаду, выбрать, и усвоить себѣ именно то, что ему необходимо. Общество уже любитъ и уважаетъ науку; но эту науку все-таки надобно *популяризовать*, и популяризовать съ очень большимъ умѣньемъ. Можно сказать безъ магѣйшаго преувеличенія, что популяризованіе науки составляетъ самую важную, всемірную задачу нашего вѣка. Хорошій популяризаторъ, особенно у насъ въ Россіи, можетъ принести обществу гораздо больше пользы, чѣмъ даровитый изслѣдователь. Изслѣдованій и открытій въ европейской наукѣ набралось уже очень много. Въ высшихъ сферахъ умственной аристократіи лежитъ огромная масса идей; надо теперь всѣ эти идеи сдвинуть съ мѣста, надо размѣнять ихъ на мелкую монету и пустить ихъ въ общее обращеніе. Тогда только и можно будетъ оцѣнить въ полномъ объемѣ, съ одной стороны, глубину, красоту и практическую силу научныхъ идей, а съ другой стороны, гибкость и плодovitость человѣческаго ума, который тогда впервые отдастъ себѣ отчетъ въ своихъ собственныхъ подвигахъ. Это сближеніе мыслителей съ обществомъ непремѣнно поведетъ за собою сближеніе общества съ народомъ, то сближеніе, которое, при всякомъ другомъ образѣ дѣйствій, конечно останется навсегда маниловскою фантазіей «Эпохи» и «Дня».

Необходимость популяризовать науку до такой степени очевидна, что, кажется, и распространяться объ этомъ не слѣдуетъ. Не значитъ ли это унижать великую истину риторическими декламаціями? Нѣтъ, совсѣмъ не значитъ. У насъ и великія истины еще требуютъ доказательствъ. — У насъ одинъ писатель, и притомъ изъ молодыхъ, и притомъ бывшій студентъ естественнаго факультета, доказывалъ недавно очень горячо и даже съ нѣкоторымъ озлобленіемъ, что науку не зачѣмъ популяризовать и что такимъ дѣломъ могутъ заниматься только шарлатаны и верхоглядъ. Этого писателя зовутъ г. Аверкіевъ, а гордится онъ въ «Эпохѣ», во второй части своей статьи: «Университетскіе отцы и дѣти». Этотъ г. Аверкіевъ, пламенный поклонникъ и неудавшійся подражатель покойнаго Аполлона Григорьева, очень сердится за что-то на Карла Фохта, повидимому за то, что Фохтъ не похожъ на Григорьева. Разсердившись на Фохта собственно съ этой спеціальной стороны, г. Аверкіевъ утверждаетъ, что популярныя сочиненія этого ученаго по естественнымъ наукамъ никуда не годятся; а вслѣдъ за тѣмъ, разгуливаясь все шире да шире, г. Аверкіевъ возвѣщаетъ намъ, что популяризовать науку даже очень глупо. А доказательства предлагаются вотъ какія: во-первыхъ, всякая научная истина сама по себѣ совершенно ясна, потому что она истина; во-вторыхъ, философскія сочиненія Канта гораздо удобопонятнѣе, чѣмъ популярныя статьи о фило-

софій г. Лаврова. Въ-третьихъ, Льюисъ написалъ свою фیزیологію вседневной жизни безо всякихъ претензій на популярность и книга эта оказалась гораздо лучше популярныхъ фیزیологическихъ писемъ Карла Фохта. — Ахъ, какія неподобныя доказательства! Во-первыхъ, всякая научная истина ясна только тогда, когда она изложена ясно. Что ясно для ученаго, то можетъ быть совершенно неясно для образованнаго человѣка въ общепринятомъ разговорномъ значеніи этого слова. И всякую научную истину можно изложить такъ, что у васъ отъ этой истины затрепщитъ голова и потемнѣетъ въ глазахъ. Сотруднику эстетическаго журнала не мѣшало бы, кажется, понимать, что внутреннее достоинство идеи и внѣшняя форма изложенія — двѣ вещи совершенно различныя. Во-вторыхъ, примѣръ о Кантѣ и о г. Лавровѣ замѣчательнъ по своей неудачности. Что Кантъ писалъ ясно, это — личное открытіе, или вѣрнѣе, изобрѣтеніе г. Аверкіева. Впрочемъ, по его мнѣнію, чего добраго, и г. Григорьевъ, которому онъ старается подражать, пишетъ ясно. Нѣмцы, народъ совершенно привычный къ варварской туманности изложенія, все-таки жалуются на Канта, что онъ писалъ самое капитальное изъ своихъ сочиненій: «Критику чистаго разума» самымъ тяжелымъ, деревяннымъ, непонятнымъ и даже схоластическимъ языкомъ. Лучшее доказательство Кантовской неясности заключается въ томъ, что нѣмцы раскусили «Критику чистаго разума» черезъ восемь лѣтъ послѣ ея выхода въ свѣтъ. А своимъ обширнымъ господствомъ надъ умами всѣхъ образованныхъ людей тогдашней Германіи философія Канта обязана преимущественно философскимъ статьямъ Шиллера, сочиненіямъ Рейнгольда и усерднымъ трудамъ многихъ другихъ, болѣе мелкихъ популяризаторовъ. Если бы ясно было, такъ и не зачѣмъ было бы такъ много разъяснять. Что Кантъ яснѣе г. Лаврова, объ этомъ я не спорю. Но это доказываетъ только, что г. Лавровъ прекрасный математикъ и очень ученый человѣкъ, но очень плохой популяризаторъ. Плохихъ популяризаторовъ на свѣтѣ очень много, но выводить изъ этого простаго факта заключеніе противъ популяризированія вообще, способенъ только сотрудникъ «Эпохи». Въ-третьихъ, что Льюисъ писалъ свою «фیزیологію» безъ стремленія къ популярности, это опять произвольная выдумка г. Аверкіева. А что «фیزیологія» Льюиса написана гораздо понятнѣе и занимательнѣе, чѣмъ «Фیزیологическія письма» Фохта, это чистая правда. Но опять-таки, что же изъ этого слѣдуетъ? То, что Льюисъ популяризируетъ лучше Фохта. Это несомнѣнно. И Бюхнеръ также, какъ популяризаторъ, стоитъ выше Фохта. Я подразумѣваю здѣсь «Физиологическія картины», которыя, по ясности и увлекательности изложенія, далеко оставляютъ за собою «Физиологическія письма». Я видѣлъ собственными глазами, что двадцатилѣтняя дѣвушка, не имѣвшая никакого понятія о фیزیологіи, съ величайшимъ увлеченіемъ, почти не отрываясь отъ книги,

ставителей человечества; дѣятельность такихъ людей не дастъ намъ ровно ничего, и слѣдовательно, встрѣчаясь съ ихъ произведеніями, намъ остается только посмѣяться надъ довѣрчивостью того общества, которое видятъ въ нихъ лучшее свое украшеніе.

XXIV.

Послѣдовательный реализмъ безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги» или историкъ: «печи кулебяки», но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей специальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы, посредствомъ чтенія, расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая вниманія на то, писана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посоветовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.

Постараемся же теперь обсудить вопросъ: какимъ образомъ поэтъ, не переставая быть поэтомъ, можетъ принести обществу и человечеству дѣйствительную и несомнѣнную пользу? Само собою разумѣется, что названіе «поэтъ» прилагается здѣсь не къ однимъ стихотворцамъ, а вообще ко всѣмъ художникамъ, создающимъ образы посредствомъ слова. Прежде всего, скажу откровенно, я рѣшительно не признаю такъ называемаго безсознательнаго и безцѣльнаго творчества. Я подозреваю, что это—просто мифъ, созданный эстетическою критикою для пущей таинственности. Въ древности, когда поэтъ былъ пѣвцомъ и импровизаторомъ, тогда, пожалуй, еще можно было допустить, что его ослѣняло вдохновеніе и что онъ самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какъ

на каждой страницѣ, картины, рисованныя съ натуры превосходными художниками, сдѣлавшими кругосвѣтное путешествіе, посѣтившими нѣсколько зоологическихъ садовъ въ Европѣ и пользовавшимися совѣтами первоклассныхъ натуралистовъ. Читаешь характеристику какого нибудь четвероногаго чудака, посмотришь на его портретъ и дѣйствительно видишь, и по рождѣ, и по глазамъ, и по всей его фигурѣ, что онъ способенъ на всѣ тѣ штуки, которыя приписываетъ ему Бремъ. Когда я приобрѣлъ себѣ эту книгу, которая, впрочемъ, далеко еще не доведена до конца, то я въ теченіе нѣсколькихъ дней ни о чемъ не могъ думать, кромѣ Брема. Просто ошалѣлъ отъ радости. И эту великую, именно великую, книгу переводятъ на русскій языкъ. И картины въ ней будутъ совершенно такія же, какъ въ нѣмецкомъ изданіи. Но—горе переводчикамъ, если они хоть сколько нибудь обезцвѣтятъ рассказъ Брема. Это будетъ одно изъ тѣхъ литературныхъ преступленій, которыхъ не должно прощать общество. Если издатели догадаются, послѣ богатаго изданія съ картинами, выпустить другое, дешевое, на сѣрой бумагѣ, безъ картинъ, то Бремъ проникнетъ въ каждое грамотное семейство. Такая книга есть историческое событіе въ полномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова. Если Бремъ успѣетъ описать всѣ классы животнаго царства такъ, какъ онъ теперь описываетъ млекопитающихъ, то его книга останется на вѣчныя времена не только въ исторіи науки и литературы (это уже само собою разумѣется), но и въ исторіи общевърепейской народной жизни. Невозможно представить себѣ, какое море живой мысли и свѣжаго чувства хлынетъ вмѣстѣ съ этою книгою въ умы всего читающаго человѣчества.

Если неразвитость общества требуетъ, чтобы наука являлась передъ нимъ въ арлекинскомъ костюмѣ, съ погремушками и съ бубенчиками,— это не бѣда. Такой маскарадъ нисколько не унижаетъ науку. Дѣльная и вѣрная мысль все-таки остается дѣльною и вѣрною. А если этой мысли, чтобы проникнуть въ сознаніе общества, надо украситья прибаутками и подернуться щедринскою игривостью, пускай украшается и подергивается. Главное дѣло — проникнуть, а черезъ какую дверь и какою походкою — это рѣшительно все равно. Арлекиновать можно и должно, если тогько арлекиновство ведетъ къ цѣли.

Иные читатели скажутъ, что все это вздоръ, что русская публика можетъ читать серьезные книги и статьи безъ малѣйшей приправы арлекиновства. Но я отвѣчу на это: господа, говорите за себя! Есть люди, стоящіе ниже васъ по развитію, и эти люди читаютъ только то, что ихъ забавляетъ, и они составляютъ въ читающей массѣ большинство. Это видно, напримѣръ, потому, что публика выписываетъ журналы чисто ошунью. Лучшій журналъ, когда либо существовавшій въ Россіи, добродюбовскій «Современникъ», имѣлъ блестящій успѣхъ; прекрасно!

Но вслѣдъ за тѣмъ, одинъ изъ самыхъ плоскихъ русскихъ журналовъ, «Время», имѣлъ также блестящій успѣхъ. Что за притча! Да и притчи никакой нѣтъ. Увидало дитя малое червонецъ: давай его сюда! цаца! — Увидало золоченый орѣхъ: и къ орѣху потанулось. Тоже цаца! — Ну вотъ и надо, чтобы научныя идеи всегда были размалеваны, какъ цацы. Пускай дитя малое играетъ этими цацами. Онѣ помогутъ ему расти; а вырастетъ, такъ и увидитъ, что эта цаца — штука самая отиѣнная. Но, само собою разумѣется, что арлекниновать надо съ большимъ, съ очень большимъ умѣньемъ. Играй и кувирайся, какъ хочешь, въ своемъ изложеніи, но держи ухо востро, ни на одну секунду не теряй равновѣсія и ни подъ какимъ видомъ не допускай ни малѣйшаго посягательства на то, что составляетъ жизнь и смыслъ твоей идеи. Шутя, но такъ, чтобы каждая твоя шутка была строго рассчитана и чтобы совокупность твоихъ шутокъ выражала всю научную идею, которую ты хочешь провести въ сознаніе твоихъ читателей, всю, какъ есть, безъ искаженій и утаекъ. Если ты соблюдаешь постоянно это условіе, — ты честный и полезный популяризаторъ. Въ противномъ случаѣ, ты поступаешь въ категорію тѣхъ господъ, которые, пуская въ свѣтъ «Физиологію брака», «Тайныя явленія природы» и разныя другія гнусности, прикрываютъ себя тѣмъ благовиднымъ предлогомъ, что мы, дескать, просвѣщаемъ общество.

При недостаткѣ осмотрительности, умѣнья и серьезности во взглядѣ на великую цѣль своей дѣятельности, популяризаторъ очень легко можетъ превратиться въ литературнаго промышленника и унижить науку до проституціи. Но эта проституція заключается не въ смѣхѣ, не въ игривости, не въ юморѣ, а въ безцѣльности, въ безцѣльности и въ неразборчивости этого смѣха, этой игривости и этого юмора. Когда смѣхъ, игривость и юморъ служатъ средствомъ, тогда все обстоитъ благополучно. Когда они дѣлаются цѣлью — тогда начинается умственное распутство. Для художника, для ученаго, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всѣхъ существуетъ одно великое и общее правило: *идея прежде всего!* Кто забываетъ это правило, тотъ немедленно теряетъ способность приносить людямъ пользу и превращается въ презрѣннаго паразита. Стоитъ только сравнить «Свистокъ» Добролюбова съ полемическими статьями тенерешняго «Современника», чтобы тотчасъ понять на живомъ примѣрѣ, что значить «идея прежде всего» и что значить «все прежде идеи». Конечно, шутиливый тонъ въ популярно-научныхъ сочиненіяхъ составляетъ только временное явленіе. Когда все читающее общество сдѣлается серьезнѣе въ своемъ взглядѣ на чтеніе, тогда и тонъ измѣнится; но не слѣдуетъ измѣнять его слишкомъ рано. Если двѣ-три шутки на страницѣ могутъ дать вашей статьѣ двухъ-трехъ лишнихъ читателей, то было бы очень негуманно и неблагогра-

зумно съ вашей стороны отталкивать отъ себя этихъ читателей серьезностью изложенія, ради того, чтобы соблюсти въ неприкосновенности какое-то отвлеченное и совершенно фантастическое понятіе о величій и достоинствѣ науки. Величіе и достоинство науки состоитъ исключительно въ той пользѣ, которую она приноситъ людямъ, увеличивая производительность ихъ труда и укрѣпляя природныя силы ихъ умовъ. Значеніе науки можетъ только возвыситься, если о ней получаютъ нѣкоторое понятіе даже тѣ неразвитые два-три читателя, которые будутъ привлечены къ вашей статьѣ содержащимися въ ней шутками. Но, кромѣ художественности, кромѣ шутливаго тона, популярное изложеніе должно отличаться еще и другими свойствами, которыя останутся необходимыми даже и тогда, когда смѣхъ, игривость и юморъ потеряютъ для общества свою теперешнюю обаятельность.

Я укажу здѣсь на двѣ главныя особенности, которыми популярное изложеніе всегда должно отличаться отъ строго-научнаго.

Во-первыхъ, популярное изложеніе не допускаетъ въ теченіи мыслей той быстроты, которая совершенно умѣстна въ чисто-научномъ трудѣ. Записные ученые, привыкшіе ко всѣмъ приѣмамъ строгаго мышленія, ко всевозможнымъ упражненіямъ умственныхъ силъ, могутъ слѣдить безъ малѣйшаго напряженія за мыслью изслѣдователя, когда она, какъ бѣлка, прыгаетъ съ одного предмета на другой, бросая читателямъ только легкіе намеки на то, зачѣмъ и почему производятся эти быстрые переходы. Слѣдя за этими эволюціями, ученый видитъ и понимаетъ, что все это одна длинная цѣпь доказательствъ, связанная единствомъ общей идеи и общей цѣли; онъ видитъ, что одна мысль логично развивается изъ другой; но простой читатель этого не увидитъ и станетъ въ тупикъ. Писатель высказалъ одно положеніе, вывелъ изъ него другое, на этихъ двухъ построилъ третье и пошелъ шагать, а простой читатель только недоумѣваетъ: какимъ же образомъ второе вытекаетъ изъ перваго и почему возможенъ переходъ къ третьему? Второе дѣйствительно не вытекаетъ *непосредственно* изъ перваго; эти два положенія связываются между собою двумя или тремя промежуточными умозаключеніями; но ученый писатель, увѣренный въ сообразительности своихъ товарищей по наукѣ, выкидываетъ вонъ эти мостики мысли, которые дѣйствительно не представляютъ къ ученому труду ничего новаго и существеннаго. Но для читателя, не выучившагося прыгать, такое отсутствіе мостиковъ составляетъ непреодолимое препятствіе. На первой же страницѣ онъ спотыкается, а ужъ на какой нибудь пятой или шестой онъ рѣшительно не знаетъ, о чемъ это тутъ идетъ рѣчь и зачѣмъ это все написано. При такихъ условіяхъ, серьезное чтеніе ведетъ за собою только головную боль и одурѣніе. Популяризаторъ, разумѣется, обязанъ избавить мысль своего читателя отъ всякихъ подобныхъ прыжковъ. Въ популярномъ со-

члененіи каждая отдѣльная мысль должна быть развита подробно, такъ, чтобы умъ читателя успѣлъ прочно утвердиться на ней, прежде, чѣмъ онъ пустится въ дальнѣйшій путь, къ логическимъ слѣдствіямъ, вытекающимъ изъ этой мысли. Если вы будете утомлять умъ вашего читателя слишкомъ быстрыми переходами, то получится тотъ же результатъ, который произвело бы отсутствіе мостиковъ: читатель ошалѣетъ и совершенно потеряетъ изъ виду общую связь вашихъ мыслей.

Во-вторыхъ, популярное изложеніе должно тщательно избѣгать всякой отвлеченности. Каждое общее положеніе должно быть подтверждено осязательными фактами и пояснено частными примѣрами. Вотъ и я, повинаясь этому правилу, покажу на отдѣльномъ примѣрѣ, какимъ образомъ популярное изложеніе должно смягчать быстроту и отвлеченность строго-научнаго языка. Представьте себѣ, что въ научномъ сочиненіи находится слѣдующая фраза: «Такъ какъ всѣ математическія сужденія отличаются совершенно аналитическимъ характеромъ, то *разумѣется*, чистая математика меньше всѣхъ остальныхъ наукъ, опирается на свидѣтельство опыта». И затѣмъ авторъ начинаетъ уже выводить дальнѣйшія заключенія изъ той мысли, что «математика меньше всѣхъ остальныхъ наукъ, опирается на свидѣтельство опыта». Но простой читатель сталъ въ тупикъ. Чорта съ два тутъ «разумѣется!» Почему же *аналитическій характеръ* позволяетъ чистой математикѣ *опираться на свидѣтельство опыта* меньше всѣхъ остальныхъ наукъ? Ясное дѣло, что въ нашей фразѣ заключаются два положенія, связанные между собою союзами *такъ какъ* и *то*. Между этими двумя положеніями долженъ существовать мостикъ, но мостикъ этотъ, для большей быстроты движенія, выброшенъ вонъ, а вмѣсто него, вставлено проклятое слово «разумѣется», означающее собою смѣлый и ловкій прыжокъ возмужалой мысли. Популяризаторъ долженъ здѣсь, прежде всего, напомнить читателю, что такое *анализъ* и въ чемъ состоитъ его существенное отличіе отъ *синтеза*. Потомъ онъ долженъ взять два или три математическія сужденія—чѣмъ проще, тѣмъ лучше—и показать на этихъ примѣрахъ, въ чемъ состоитъ типическая особенность всякаго математическаго сужденія и чѣмъ эти сужденія отличаются, на примѣръ, отъ истинъ химіи или физиологіи. Такимъ образомъ выяснится *аналитическій характеръ* математическихъ сужденій. Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснится и отношеніе математики къ опыту. Читатель пойметъ, что при *анализѣ* только исходная точка берется изъ опыта, а при *синтезѣ*, напротивъ того, весь процессъ мысли постоянно опирается на опытъ. Ясно, стало быть, что чѣмъ исключительно преобладаетъ въ какой нибудь наукѣ элементъ анализа, тѣмъ незначительнѣе становится въ ней участіе опыта.

Популяризаторъ долженъ постоянно предвидѣть всѣ вопросы, сомнѣнія и возраженія своего читателя; онъ самъ долженъ ставить и разрѣ-

пять ихъ; такая тактика имѣетъ двойную выгоду: во-первыхъ, предметъ освѣщается со всѣхъ сторонъ; во-вторыхъ, вопросы и возраженія прерываютъ собою монотонное теченіе рѣчи, поддерживаютъ и напрягаютъ постоянно вниманіе читателя, который, въ противномъ случаѣ, легко можетъ вдаться въ полу-машинальное чтеніе, то есть, пропускать черезъ свою голову отдѣльныя мысли, не вдумываясь въ ихъ отношеніе къ цѣлому. Не только группировка мыслей и общій тонъ изложенія, но даже самый языкъ, выборъ словъ и оборотовъ имѣютъ очень значительное вліяніе на успѣхъ или неуспѣхъ популярно-научнаго сочиненія. Удачное выраженіе, мѣткій эпитетъ, картинное сравненіе чрезвычайно много прибавляютъ къ тому удовольствію, которое доставляется читателю самымъ содержаніемъ книги или статьи. А такъ какъ просвѣщать читателя помимо его собственной воли нѣтъ ни малѣйшей возможности, то и не слѣдуетъ, ни подъ какимъ видомъ, пренебрегать тѣми техническими средствами языка, которыя могутъ увеличить удовольствіе читателя, не вредя основной идеѣ вашего труда. Бенхамъ доказываетъ очень подробно и чрезвычайно убѣдительно, что законы должны быть написаны не только совершенно яснымъ и простымъ, но еще, кромѣ того, изящнымъ языкомъ. Съ этимъ мнѣніемъ трудно не согласиться. Въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время нѣтъ на свѣтѣ ни одной страны, въ которой большинство грамотныхъ людей имѣло бы совершенно ясное понятіе о законахъ своего отечества. Отъ этихъ законовъ зависитъ жизнь, честь, собственность, гражданское положеніе и семейное спокойствіе, словомъ, все земное благополучіе каждой отдѣльной личности; а между тѣмъ, ихъ все-таки почти никто не знаетъ, кромѣ судей и адвокатовъ. Можно себѣ представить, сколько невольныхъ преступленій, сколько безтолковыхъ процессовъ, какая трата времени, силъ, денегъ—происходятъ отъ этого незнанія. А чѣмъ же объясняется самый фактъ этого удивительнаго незнанія? Да просто тѣмъ, что сводъ законовъ совершенно справедливо считается у всѣхъ народовъ земного шара, имѣющихъ какой нибудь сводъ, самую скучную книгую, какую только можно было выдумать и написать. А происходитъ ли эта невыносимая скучность свода законовъ отъ самого содержанія этой книги? Составляетъ ли она необходимую принадлежность самаго предмета? Ничуть не бывало. Законъ опредѣляетъ отношенія между людьми, устанавливаетъ ихъ права и обязанности. Трудно даже придумать что нибудь интереснѣе этого предмета. Но этотъ предметъ превращенъ въ сухой скелетъ педантизмомъ средневѣковыхъ юристовъ и остался въ своемъ засушенномъ положеніи по милости современныхъ законовѣдовъ, робѣющихъ до сихъ поръ передъ призраками старыхъ авторитетовъ. Бенхамъ доказалъ теоретически и, что еще гораздо важнѣе, показалъ на практикѣ, своимъ собственнымъ примѣромъ, что можно писать живо и увлекательно не только изслѣдо-

ванія по философіи права, но даже текст кодекса, статьи свода законовъ. По мнѣнію Бентама, самый текстъ закона долженъ быть написанъ коротко и ясно; законъ приказываетъ или запрещаетъ, но не разсуждаетъ. Но, вслѣдъ за этою каноническою частью каждой отдѣльной статьи, долженъ слѣдовать комментарий, въ которомъ объясняется значеніе, необходимость, цѣлесообразность и причина данного закона. Совокупность этихъ комментариевъ составитъ, по мнѣнію Бентама, полный и чрезвычайно интересный кодексъ нравственной философіи. И книга, вмѣщающая въ себя такой кодексъ, сдѣлается настольною книгою въ каждомъ грамотномъ семействѣ; по этой книгѣ отецъ самъ будетъ объяснять своимъ дѣтямъ законы той страны, въ которой имъ суждено жить и дѣйствовать; благодаря такимъ комментаріямъ, законъ ляжетъ въ основаніе самаго обыкновеннаго воспитанія. Вслѣдствіе этого большая часть непроизводительныхъ юристовъ принуждена будетъ заняться полезнымъ трудомъ. Но все это возможно только въ томъ случаѣ, если законы будутъ изложены легкимъ, простымъ и изящнымъ языкомъ. Иначе никакая философская глубина комментариевъ не принудитъ общество читать и изучать сводъ законовъ. Въ общей массѣ, люди чрезвычайно легкомысленны; они всегда дѣлаютъ то, что имъ пріятно, и очень рѣдко дѣлаютъ то, что имъ полезно. Всѣ понимаютъ, какъ нельзя лучше, что знаніе законовъ необходимо; всѣ знаютъ, что незнаніемъ законовъ никто отговариваться не можетъ; и однако, почти никому въ голову не приходитъ почитать въ часы досуга и отдохновенія сводъ законовъ. Послѣ этого есть ли хоть малѣйшая возможность ожидать, что люди примутся читать популярно-научныя сочиненія, если эти сочиненія не будутъ доставлять имъ пріятнаго препровожденія времени. Вѣдь какъ ни велика польза научныхъ знаній, а все-таки эта польза далеко не такъ очевидна, какъ польза законовѣднія. Противъ науки вы услышите много голосовъ, даже въ печати, а ужъ противъ изученія законовъ не возражать ни слова ни купчиха Кабанова, ни Викторъ Ипатьевичъ, ни даже г. Катковъ.— Ясно, стало-быть, что внѣшняя форма популярнаго изложенія имѣетъ громадную важность.

XXXIV.

Послѣ всего, что я говорилъ о популяризованіи науки, у читателя, по всей вѣроятности, зародился въ умѣ естественный вопросъ: какія же именно науки необходимо популяризовать? Въ общихъ чертахъ читатель, разумѣется, уже знаетъ мой образъ мыслей; онъ знаетъ, что я не укажу ни на санскритскую грамматику, ни на египетскую археологію, ни на теорію музыки, ни на исторію живописи. Но если читатель пола-

гаетъ, что я буду рекомендовать ему преимущественно технологию, практическую механику, геогнозію или медицину, то онъ ошибается. Наука, слившаяся уже съ ремесломъ, наука прикладная конечно приноситъ обществу громадную и неоспоримую пользу, но популяризировать ее нѣтъ ни надобности, ни возможности. Технологи, геогности, механики необходимы для общества, но люди, имѣющіе общее понятіе о технологіи, геогнозѣ и механикѣ никому и ни на что не нужны. Словомъ, прикладныя науки должны изучать совершенно основательно каждый человѣкъ, желающій обратить ихъ въ свое хлѣбное ремесло. Кто изучаетъ науку основательно, тотъ, конечно, обращается къ самымъ источникамъ науки а не къ популярнымъ сочиненіямъ. Стало бытъ нуждаются въ популярной обработкѣ только тѣ отрасли знаній, которыя, не слившись съ спеціальнымъ ремесломъ, даютъ каждому человѣку вообще, безъ отношенія къ его частнымъ занятіямъ, вѣрный, разумный и широкій взглядъ на природу, на человѣка и на общество. Разумѣется, здѣсь, какъ и вездѣ, на первомъ планѣ стоятъ тѣ науки, которыя занимаются изученіемъ всѣхъ видимыхъ явленій: астрономія, физика, химія, физиологія, ботаника, зоологія, географія и геологія.

Превосходство естественныхъ наукъ надъ всѣми остальными накопленіями знаній, присвоивающими себѣ также титулъ науки, до такой степени очевидно, и мы уже такъ часто и съ такимъ горячимъ убѣжденіемъ говорили о значеніи этихъ наукъ, что теперь мнѣ не зачѣмъ о нихъ распространяться. Замѣчу только, что подъ именемъ *географіи* я понимаю, разумѣется, не перечисленіе государствъ, а общую картину земнаго шара и опредѣленіе той связи, которая существуетъ между землею и ея обитателями.—Но естественныя науки, при всемъ своемъ великомъ значеніи, не исчерпываютъ собою всего круга предметовъ, о которыхъ человѣку необходимо составить себѣ понятіе. Человѣкъ долженъ знать человѣка и общество. Физиологія показываетъ намъ различныя отправления человѣческаго организма; сравнительная анатомія показываетъ намъ различія между человѣческими расами; но обѣ эти науки не даютъ намъ никакого понятія о томъ, какъ человѣкъ устраиваетъ свою жизнь и какъ онъ постепенно подчиняетъ себѣ силы природы силою своего ума. Оба эти вопроса имѣютъ для насъ капитальную важность; но тѣ отрасли знанія, отъ которыхъ мы должны ожидать себѣ на нихъ отвѣта, исторія и статистика,—до сихъ поръ еще не достигли научной твердости и опредѣленности. Исторія до сихъ поръ ничто иное, какъ огромный арсеналъ, изъ котораго каждая литературная партія выбираетъ себѣ годные аргументы для пораженія своихъ противниковъ. Превратится ли исторія когда нибудь въ настоящую науку,—это неизвѣстно и даже сомнительно. Научная исторія была бы возможна только въ томъ случаѣ, если бы сохранились всѣ матеріалы для составленія подробныхъ

статистическихъ таблицъ за всѣ прошедшія столѣтія. Но о такомъ богатствѣ матеріаловъ нечего и думать. Поэтому, для изученія человѣка въ обществѣ остается только внимательно вглядываться въ современную жизнь и обмѣниваться съ другими людьми запасомъ собранныхъ опытовъ и наблюденій. Статистика уже дала намъ множество драгоценныхъ фактовъ; она подрываетъ вѣру въ пригодность пенитенціарной системы; она цифрами доказываетъ связь между бѣдностью и преступленіемъ; но статистика только что начинаетъ развиваться и мы имѣемъ полное основаніе ожидать отъ нея, въ ближайшемъ будущемъ, въ тысячу разъ больше самыхъ важныхъ практическихъ услугъ, чѣмъ сколько она оказала ихъ намъ до сихъ поръ.

Статья моя кончена. Читатель видитъ изъ нея, что всѣ стремленія нашихъ реалистовъ, всѣ ихъ радости и надежды, весь смыслъ и все содержаніе ихъ жизни пока исчерпываются тремя словами: *«любовь, знаніе и трудъ»*. Послѣ всего, что я говорилъ выше, эти слова не нуждаются въ комментаріяхъ.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Издание Ф. Павленкова.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р.

ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ А. ГОЛОВАЧОВА.
(Воскресенскій пр., д. №№ 23 и 21.)

1866.

СТАТЬИ КРИТИЧЕСКІЯ

СЕРДИТОЕ БЕЗСНІЕ.

I.

Я знаю очень хорошо, что наша публика безконечно добра и простодушна; но иногда эти похвальные свойства ея характера проявляются въ такихъ колоссальныхъ размѣрахъ, что меня разбираетъ охота повторить съ нѣкоторыми измѣненіями непочтительныя слова Верне. «Каждый человѣкъ, говоритъ этотъ писатель въ своихъ «Парижскихъ письмахъ», имѣетъ полное право быть глупымъ, но нѣмцы злоупотребляютъ этимъ правомъ.» Мнѣ кажется, что наша читающая публика въ прошломъ году злоупотребила правомъ быть доброю и простодушною. Она не только прочитала, но даже превознесла до небесъ романъ г. Ключникова «Маревъ». Если бы этотъ романъ могъ попасть, лѣтъ двадцать тому назадъ, въ руки покойнаго барона Брамбеуса, то Брамбеусъ бросилъ бы его подъ столъ и написалъ бы о немъ всего полстроки: «Ванька, это твоя литература!» Если бы наша публика, въ общей массѣ своей, дѣйствительно поумнѣла со временъ Брамбеуса, то мнѣ, разумѣется, и въ голову не могла бы придти дивная мысль писать критическую статью о такомъ произведеніи, какъ романъ г. Ключникова. Даже теперь, принимаясь за такую постыдную работу, я чувствую потребность извиниться передъ мыслящею частью нашей читающей публики. Разбирать романъ г. Ключникова — занятіе крайне неприличное. Невозможно говорить просто: «г. Ключниковъ» «романъ Маревъ». Надо непремѣнно говорить такъ: «съ позволенія сказать, г. Ключниковъ», «съ позволенія сказать, романъ Маревъ». Что бы вы сказали, напримѣръ, господа мыслящіе читатели, если бы я осмѣлился поднести вамъ критическую статью о драматическихъ произведеніяхъ г. Дяченки или о романахъ г. Воскресенскаго, или о философіи г. Аскоченскаго, или о какомъ нибудь преискурантѣ винъ и колоніальныхъ товаровъ? Вы бы сказали, вѣроятно, что я съ ума сошелъ и что

я начинаю шутить съ вами совершенно неприличныя шутки; вы бы замѣтили совершенно основательно, что во всѣ эти вещи можно, пожалуй, завертывать мыло, сыръ или копченую рыбу, но что о нихъ нѣтъ никакой возможности размышлять и писать критическія статьи, потому что всѣ эти вещи совсѣмъ не литература, а только печатная бумага.

И все это вы имѣете полное право сказать мнѣ теперь, когда вы видите, что я имѣю дерзость говорить съ вами о романѣ: «Марево». И въ то же время я васъ могу увѣрить честию, что я не сошелъ съ ума и вовсе не намѣренъ позволять себѣ въ отношеніи къ вамъ неприличныя шутки. Что же прикажете дѣлать, какъ прикажете не говорить объ этомъ произведеніи Россійскаго гениа, когда наша публика уже успѣла забыть все, что толковалъ ей великій эстетикъ Бѣлинскій? Подумаешь, въ самомъ дѣлѣ, что наша публика любитъ и уважаетъ Бѣлинскаго: издано 12 томовъ его сочиненій; томы эти раскупаются, разрѣзываются и даже читаются; самые убогіе писакки называютъ Бѣлинскаго своимъ учителемъ, великимъ бойцомъ, основателемъ русской критики, законодателемъ въ области эстетики. Подумаешь, въ самомъ дѣлѣ, что всѣ истины, высказанныя и доказанныя великимъ критикомъ, вошли уже въ плоть и кровь читающихъ людей, и сдѣлались навсегда тѣмъ общимъ капиталомъ, которымъ непремѣнно долженъ обладать каждый образованный русскій человѣкъ. Подумаешь, что теперь уже не зачѣмъ твердить зады, и что теперь можно уже смѣло строить дальше на томъ прочномъ фундаментѣ, который заложенъ Бѣлинскимъ. Подумаешь — и жестоко ошибешься! Публика читаетъ Бѣлинскаго и похваливаетъ: какъ, дескать, у него складно это все выходитъ!—Публика читаетъ «Марево» и замираетъ отъ восторга: «ухъ! какъ интересно! страсть, какъ интересно!» Чему же научилась масса публики у Бѣлинскаго, когда она до сихъ поръ не умѣетъ отличать въ литературныхъ произведеніяхъ жизненную правду отъ риторической лжи? Чѣмъ подвинулась публика впередъ въ своемъ взглядѣ на литературу съ тѣхъ баснословныхъ временъ, когда она трепетала отъ волненій надъ переводными романами Поля Феваля и заливалась то смѣхомъ, то слезами надъ такими же переводными романами Поль-де-Кока?—Ни у Феваля, ни у Поль-де-Кока вы никогда не найдете ничего подобнаго тому, что создалъ г. Ключниковъ. Не о тенденціяхъ этого начинающаго романиста я намѣренъ здѣсь говорить. Я слишкомъ уважаю самого себя, чтобы вступать съ г. Ключниковымъ въ какія бы то ни было теоретическія препирательства; это совсѣмъ не его ума дѣло. Противъ моего всегдашняго обыкновенія, я посмотрю на романъ г. Ключникова съ чисто эстетической точки зрѣнія, потому что ни съ какой другой точки зрѣнія на него не стоитъ смотрѣть. Я поставлю и рѣшу только вопросъ: годится ли на что нибудь этотъ романъ? То есть, можно ли въ немъ найти хоть малѣйшую искру ума или таланта? Есть ли

въ немъ, по крайней мѣрѣ, хоть капля здраваго смысла и знанія дѣйствительной жизни? Похожи ли его дѣйствующія лица хоть немного на живыхъ людей? Если нѣтъ, на всѣ эти вопросы, придется отвѣчать отрицательно, то никакихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій о романѣ «Маревъ» и быть не можетъ. Развѣ есть, въ самомъ дѣлѣ, возможность разсуждать о жизненныхъ явленіяхъ, затронутыхъ въ романѣ, когда окажется, что романъ не затронулъ совсѣмъ никакихъ явленій?

Въ клеветѣ, въ карикатурѣ можетъ всетаки проявиться умъ, талантъ, своеобразный взглядъ на то или другое явленіе дѣйствительной жизни. Но въ каракулькахъ, написанныхъ или нарисованныхъ пятилѣтнимъ ребенкомъ, которому подарили листъ бѣлой бумаги и очиненный карандашъ, нельзя усмотрѣть рѣшительно ничего, кромѣ неумѣнья рисовать и ребяческой нетвердости руки. Обыкновенно художественныя произведенія пятилѣтнихъ Рубensoвъ оставляются всѣми здравомыслящими людьми безъ вниманія; всякій видитъ, что это каракульки, и всякій понимаетъ, что не за чѣмъ и разсуждать о ихъ бессмысленности. Обыкновенно также литературныя произведенія бездарныхъ писателей оставляются безъ вниманія здравомыслящими критиками. Всякій видитъ, что это—хламъ, и всякій понимаетъ, что безъ хлама не обходится ни одна литература, и что отъ хлама не отошьешься никакою критикою, потому что на свѣтѣ всегда будетъ очень много людей, совмѣщающихъ въ себѣ гениальность шестинедѣльнаго ягненка съ честолюбіемъ Александра Македонскаго. Но когда честолюбивый ягненокъ приобретаетъ себѣ своими каракульками всероссійскую извѣстность, тогда критика поневоѣ должна нарушить свое презрительное молчаніе. Критика должна, во всякомъ случаѣ, удовлетворять умственнымъ потребностямъ публики. Если публика еще способна оболящаться каракульками, значитъ, она нуждается въ томъ, чтобы ей объяснили негодность такихъ художественныхъ произведеній.

Нечего дѣлать! Давайте разбирать каракульки и обсуживать претензіи честолюбивыхъ ягнятъ. Это очень печальная обязанность, но дѣлать нечего. Не публика существуетъ для удовольствія критиковъ, а критики существуютъ для того, чтобы приносить пользу публикѣ.

II.

Бездарный, но честолюбивый писатель г. Ключниковъ силится изобразить въ своемъ уморительномъ романѣ борьбу двухъ міровыхъ силъ, доброй и злой. Хорошая сила воплощена въ кандидатъ Владиміръ Русановъ, а злая въ графъ Владиславъ Бронскій. Между этими двумя си-

лами качается, какъ маятникъ, «святая женская душа», которую г. Ключниковъ называетъ Инною и которую онъ старается сдѣлать весьма интересною. Г. Ключниковъ увѣряетъ насъ, что эта интересная Инна влюблена въ добродѣтельнаго Русанова. Мы ему, разумѣется, охотно вѣримъ, и желаемъ молодымъ людямъ всякаго благополучія, тѣмъ болѣе, что и Русановъ пылаетъ нѣжною, но дѣломудренною страстью. Но авторъ никакъ не можетъ согласиться на ихъ бракъ, потому что тогда не произошло бы никакого «Марева.» На сцену является злое начало, и «святая женская душа», продолжая любить Русанова, обольщается демоническими рѣчами Бронскаго и вовлекается въ его злые умыслы. Вслѣдствіе такихъ предосудительныхъ поступковъ, «пери молодая» изгоняется изъ эдема, такъ что послѣдняя часть романа переноситъ насъ уже за границу.

Коварная фантасмагорія, разлучившая пару родственныхъ душъ, напоминаетъ г. Ключникову то явленіе природы, которое называется въ степяхъ южной Россіи «маревомъ,» а въ обыкновенномъ литературномъ языкѣ—миражемъ. Роману, какъ видите, дано заглавіе эмблематическое, нелишенное значительныхъ претензій на глубокомысліе. Дѣйствующихъ лицъ въ романѣ очень много, и всѣ они выведены отчасти для большаго посрамленія злого начала, отчасти же, и даже преимущественно потому, что надо же чѣмъ нибудь наполнять страницы, благо есть еще на Руси добродушные люди, покупающіе печатную бумагу не пудами, а въ видѣ книжекъ. Весь романъ есть неисчерпаемое море бесвязной болтовни, посредствомъ которой г. Ключниковъ старается показать публикѣ, что онъ слышалъ въ своей жизни всякіе разговоры, читалъ всякія статьи и умѣетъ изобразить на бумагѣ, безъ орфографическихъ ошибокъ, всякое мудреное слово. Эти старанія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, и добродушная публика узнаетъ съ особеннымъ удовольствіемъ, что въ Россіи народился еще одинъ литераторъ, еще одинъ двигатель отечественнаго прогресса, еще одинъ просвѣтитель общественнаго сознанія. Если Петръ Ивановичъ Бобчинскій живъ и здоровъ до настоящей минуты, — онъ, разумѣется, уже не станетъ обращаться къ Хлестакову съ просьбою довести до свѣдѣнія важныхъ особъ, что въ такомъ-то городѣ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Онъ просто напишетъ романъ для «Русскаго Вѣстника» или критическую статью для «Эпохи». Редакціи примутъ его трудъ съ благодарностью, и честолюбивый идіотъ не только увидитъ свою фамилію въ печати, но даже получитъ за это удовольствіе денежное вознагражденіе, потому что, какъ говорятъ французы, *chaque sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.* — Вотъ вамъ, напримѣръ, одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, посредствомъ которыхъ г. Ключниковъ двигаетъ отечественный прогрессъ и просвѣщаетъ общественное

сознание. Дѣйствіе происходитъ въ одномъ уѣздномъ городѣ, на балѣ у мѣстнаго предводителя дворянства.

— «Ахъ!» крикнула одна дама, заматавшись. — Русановъ подхватилъ ее, думая, что съ нею обморокъ. Она глядѣла черезъ плечо; весь задъ платья, оторванный отъ лифа, спустился и открылъ бѣлыя юбки. (Послѣ такого событія, дамѣ, повидимому, слѣдовало бы бѣжать въ уборную и поправлять разстроенный туалетъ. Въ дѣйствительности такъ всегда и бываетъ, но въ романѣ г. Ключникова такъ случиться не можетъ, потому что тогда трудно было бы понять, зачѣмъ рассказанъ эпизодъ о разорванномъ платьѣ. Дама остается въ залѣ, и начинается поучительная сцена, клонящаяся къ посрамленію какихъ-то представителей злого начала.)

— Извините, бормоталъ сконфуженный Коля (пятнадцатилѣтній гимназистъ, рано развращенный вліяніемъ злыхъ элементовъ).

— Медвѣжонки! (Дама продолжаетъ показывать танцующему обществу свои бѣлыя юбки, единственно для того, чтобы поругаться съ развращеннымъ мальчишкой, который при этомъ случаѣ долженъ обнаружить передъ смущенными читателями всю гнусность и закоснѣлость заблуждающейся молодежи).

Тотъ проворчалъ что-то и пошелъ было. (Но она все-таки не пошла въ уборную).

— Что такое? сказала та, поднявъ носикъ.

— Я говорю: вольно-жъ вамъ такіе шлейфы отрицать, что ходить нельзя.

— Да какъ вы смѣете? дерзкій мальчишка! (Да уведите же вы ее, ради бога, въ уборную и вразумите ее тамъ, что въ порядочномъ обществѣ дамы не ругаются за случайную неосторожность. Наступивши ей на платье, Коля сконфузился и сказалъ: «извините!» Чего же ей еще отъ него хочется? Называя его медвѣжонкомъ, она сама напрашивается на дерзость).

— А вы синица долгохвостая! (Ну вотъ, раздражила ребенка, онъ и обругалъ ее).

— Г. Горобецъ (это фамилія Коли), извольте отправиться въ гимназію и объявить дежурному надзирателю, что вы мною арестованы въ карцеръ, сказалъ подошедшій инспекторъ губернской гимназіи. (Этотъ инспекторъ, увлекшись рыцарскимъ желаніемъ поддержать обиженную даму, совершенно забываетъ, вмѣстѣ съ г. Ключниковымъ, условія времени и мѣста. Дѣйствіе происходитъ лѣтомъ, во время каникулъ, и балъ дается не въ губернскомъ, а въ уѣздномъ городѣ. Коля живетъ на хуторѣ у своего дяди, и пріѣхалъ на балъ безъ всякихъ позитивовъ, такъ какъ люди обыкновенно ѣздятъ въ гости. И дядя вовсе не уполномочилъ его скакать, сломя голову, въ ночь, въ губернский городъ, до

котораго, какъ видно изъ другихъ мѣстъ романа, надо считать, по меньшей мѣрѣ, верстъ сорокъ или пятьдесятъ. Куда же это пастырь добрый посылаетъ своего буйнаго питомца? И зачѣмъ же этотъ пастырь добрый такъ глупъ, что даетъ ему неисполнимое приказаніе?)

— Позвольте вамъ замѣтить, г. Егоровъ, отвѣтить, нисколько не смутившись, юноша, что вы мой начальникъ только въ зданіи гимназіи, а здѣсь — такой же гражданинъ, какъ и я. (Къ кому или къ чему г. Ключниковъ хочетъ обратить такое поученіе — я рѣшительно не знаю, но ясное дѣло, что мудреное слово «гражданинъ» употреблено не просто. Мнѣ часто случалось слышать, какъ гимназисты грубятъ начальству, но никогда въ подобныхъ случаяхъ не произносилось ни слова о гражданскихъ правахъ, потому что это было бы ужъ чересчуръ глупо. Значить, тутъ говорить не гимназистъ; тутъ говорить какая-то эмблема какого-то таинственного зла. Коля Горобецъ есть лицо аллегорическое или символическое, но подъ этою многозначительною каракулькою слѣдуетъ непременно подписать, что она направлена противъ такихъ-то и такихъ то явленій дѣйствительной жизни; а то, безъ этой подписи, никто не угадаетъ тайныхъ поползновеній автора. Г. Ключниковъ кого-то или что-то обличаетъ, но его обличительное крикѣнье вызываетъ въ читателѣ только сострадательный смѣхъ надъ *сердитымъ безсильемъ* честолюбиваго ягненка).

Разстроившійся gond собрался вокругъ спорившихъ. (А что же даму, увели въ уборную? Или Русановъ все еще продолжаетъ ее поддерживать и созерцать вмѣстѣ съ нею развалины ея платья? — Г. Ключниковъ такъ увлекается гимназическою теоріею гражданского равенства, что, занявшись изложеніемъ этого спорнаго вопроса, навсегда забываетъ о существованіи дамы и ея платья. Такъ до самаго конца романа мы ничего больше о нихъ и не узнаемъ).

— Что такое? Что такое? раздавались голоса.

— Ну, всѣ на одного, кричалъ разгорячившійся питомецъ гимназіи: — милости просимъ, я давно до васъ добирался. (До кого добирался? И что значить «добирался»? И съ какою цѣлью добирался? Всѣ эти вопросы на вѣчныя времена остаются нерѣшенными).

— А вотъ я тебѣ уши выдеру, не стерпѣлъ инспекторъ. (Молодецъ мужчина! Хвалю за энергію! Тутъ, по крайней мѣрѣ, ясно видно, до чего человекъ добирается. Но если взглянуть на дѣло не съ воинственной, а съ педагогической стороны, то окажется, что инспекторъ глупъ, какъ пробка. Онъ начинаетъ съ того, что даетъ своему питомцу неисполнимое приказаніе; питомецъ отвѣчаетъ ему поразительною глупостью, а инспекторъ оставляетъ эту глупость безъ вниманія и лѣзетъ драться. Развѣ такъ надо учить юношество уму-разуму? Инспекторъ, подобно дамѣ

съ оборванными платьемъ, самъ напрашивается на дерзость и съѣдаетъ весьма некрасивый грибокъ).

— Прошу, рукавъ води не давать, отвѣтилъ тотъ, взявшись за стулъ: — вы сами прозвали нигилистомъ! (Послѣ этого отвѣта, подкрѣпленнаго выразительною мимикою, инспекторъ умолкаетъ и ступовывается. Г. Ключниковъ, которому подвернулось подъ руку новое мудреное слово, совершенно забываетъ о существованіи инспектора, такъ какъ онъ уже забылъ о существованіи дамы, заварившей всю кашу своимъ стремленіемъ поругаться. Что же это наконецъ такое? Коля рѣшительно держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ весь провинціальный beau-monde. Назвалъ даму долгохвостую синицею — та замолчала. Погрозилъ инспектору стуломъ — тотъ поджалъ хвостъ. А что же дѣлаетъ во все это время хозяинъ дома? Что же это за колпакъ, если онъ не умѣетъ вступить за даму и усмирить, двумя-тремя спокойно сказанными словами, буйныя страсти пятнадцатилѣтняго нигилиста?.. Нигилиста!.. Вотъ оно — роковое слово! Вотъ вамъ надлежащая подпись къ обличительной карикатурѣ, измышленной сердитымъ, но безсильнымъ писателемъ. Коля Горобецъ есть символъ или эмблема нигилизма. Весь задъ дамскаго платья оторванъ отъ лифа, дама ругается, инспекторъ говоритъ глупости — единственно для того, чтобы обрисовать съ разныхъ сторонъ чудовище, пожирающее умственные способности русскаго общества. Обрисовываніе, начатое съ такимъ успѣхомъ, продолжается въ послѣдующихъ строкахъ).

— Вотъ они, вредоносные-то плоды литературы, вмѣшался старый чиновникъ. (Не на радость себѣ онъ вмѣшался! И читатель рѣшительно не знаетъ, зачѣмъ г. Ключниковъ вложилъ въ его уста это глупое изреченіе? Затѣмъ ли, чтобы ущипнуть старыхъ чиновниковъ и залить такимъ манеромъ свой собственный, тихонькій либерализмъ, или затѣмъ, чтобы изъ-за угла пустить противъ литературы то невинное замѣчаніе, что она развращаетъ гимназистовъ.)

— Это вы говорите потому, что я васъ въ вѣдомостяхъ обличилъ, да еще въ воровствѣ! (Старый чиновникъ тотчасъ исчезаетъ со сцены и присоединяется къ лицамъ, навсегда забытымъ авторомъ. А въ отвѣтъ Коли заключается такой же обоюдоострый мечъ, какой мы видѣли въ изрѣченіи стараго чиновника. Съ одной стороны, г. Ключниковъ, повидимому, выражаетъ ту смѣлую и новую мысль, что въ Россіи есть старые чиновники, способные нарушать правила строгой честности. Но съ другой стороны, г. Ключниковъ также повидимому, усиливается доказать, что обличать старыхъ чиновниковъ «въ вѣдомостяхъ, да еще въ воровствѣ», способны только такіе развращенные пошляки, какъ Коля Горобецъ. — Легко можетъ быть, что г. Ключниковъ писалъ свои діалоги безъ малѣйшаго умысла, по избытку своего простодушія, по непосредственному влеченію своей природы, такъ какъ соловей поетъ и

роза благоухаетъ. Но что дѣлать? Бываютъ ужъ такія избраннія организаціи, у которыхъ «перлы и адаманты» такъ и сыпятся изо рта, даже помимо ихъ собственного желанія. Что ни скажешь, что ни напишешь — все, каждое слово выходитъ непременно или глупо, или пошло. Въ этомъ отношеніи только одинъ изъ извѣстныхъ мнѣ русскихъ писателей можетъ сравниться съ г. Ключниковымъ. Это — г. Николай Соловьевъ, начавшій съ недавняго времени украшать своими статьями критическій отдѣлъ «Эпохи». Невинность и простодушіе этого писателя сквозятъ въ каждой его строкѣ. А между тѣмъ, въ каждой изъ этихъ невинныхъ и безсвязныхъ строкъ притаилась — незамѣтная для простодушнаго автора, но очевидная для внимательнаго читателя, — злокачественная инсинуація. Г. Николай Соловьевъ имѣетъ привычку читать всѣ мои статьи; чтобы мои, неслестныя для него, слова, не показались ему бездоказательною бранью, я напому ему только то мѣсто изъ ноябрьской книжки «Эпохи», въ которомъ онъ, на основаніи повѣстей Помяловскаго, старается уличить нигилистовъ и реалистовъ въ систематической ненависти къ родителямъ. Пусть наивный критикъ задумается надъ этимъ мѣстомъ и посыплетъ пепломъ свою убогую голову. — Однако, все это въ скобкахъ; пора воротиться къ свирѣпому гимназисту, нагнавшему страхъ на провинціальное общество).

— Il est poli ce petite bñhomme — нечего сказать! — слышались женскіе голоса.

— Это вы говорите оттого, что я не хочу съ вами ногъ вывертывать, какъ ученая собачка, или оттого, что у васъ подъ шляпками, вмѣсто мозговъ, цвѣты на сажень торчатъ. (Эта рѣчь буйнаго юноши не обращена ни къ кому въ частности. Это отвѣтъ на возгласы «женскихъ голосовъ». Это воззваніе ко всему женскому полу вообще. Въ дѣйствительной жизни такія воззванія совершенно невозможны, потому что разобиженный человѣкъ всегда привязывается съ своею бранью къ тѣмъ отдѣльнымъ личностямъ, которыя его оскорбили, но въ романѣ «Марево» человѣческія страсти разыгрываются иначе. Здѣсь тщедушное воплощеніе нигилизма, стараясь заявить свою собственную глупость и гнусность, оскорбляетъ все общество и всѣхъ женщинъ, не разбирая правыхъ и виноватыхъ. Слово *мозги* употреблено съ очевидною цѣлью попрекнуть нигилистовъ Мошешотомъ. Не мѣшаетъ также замѣтить, что южно-русскіе нигилисты, какъ видно изъ словъ Коли Горобца, предписываютъ дамамъ носить *мозги* не внутри черепа, а снаружи, подъ шляпками, тамъ, гдѣ въ настоящее время, по изящному выраженію того же Коли, «торчатъ на сажень цвѣты». Такъ какъ ни одна дама не носитъ подъ шляпкою цвѣтовъ «на сажень» и такъ какъ съ другой стороны, носить мозги на головѣ неопратно и бесполезно, то читатель долженъ согласиться, что нигилизмъ совершенно несостоятеленъ, ибо нигилисты лгутъ

бесовѣстнымъ образомъ и, для своихъ преступныхъ цѣлей, извращаютъ основныя истины анатоміи и физиологіи).

— Позвольте васъ спросить, милостивый государь, гдѣ вы воспитывались? сказалъ Бронскій, подходя въ свою очередь. (Самъ демонъ выступаетъ на сцену, чтобы защитить несчастное общество отъ неукротимаго пятнадцатилѣтняго злодѣя. Однако, надо сказать правду, первый вопросъ демона поразительно глупъ. Къ чему этотъ разговоръ о воспитаніи, когда забывшійся мальчикъ обругалъ всѣхъ дамъ дурами? Его просто надо было увести изъ комнаты и надо было предложить ему стаканъ холодной воды для успокоенія взволнованныхъ его страстей. Но, разумѣется, демонъ и не можетъ быть умнымъ, потому что онъ созданъ г. Ключниковымъ, а извѣстное дѣло, творецъ можетъ дать своему творенію только тѣ свойства, которыми онъ самъ обладаетъ).

— Оставьте его, шепнулъ Доминовъ:—это забавно. (Доминовъ—молодой, но уже очень солидный чиновникъ, товарищъ предсѣдателя гражданской палаты. По какому случаю и съ какой точки зрѣнія этотъ господинъ можетъ находить забавными глупыя и неприличныя выходки Коли Горобца—это остается для читателя непроницаемою тайною).

— Нѣтъ,—онъ можетъ повредить... также полу-шопотомъ отвѣчалъ Бронскій. (Кому повредить, чѣмъ повредить—это опять неразгаданная шарада. Авторъ, очевидно, старается напустить какъ можно больше таинственности; простодушные читатели ловятся на эту балаганную штуку и быстро поглощаютъ одну страницу за другою, въ надеждѣ найти наконецъ желанное объясненіе. Никакого объясненія они не находятъ, но они не злопамятны; имъ надо было только убить время. Если авторъ усыпляетъ свой рассказъ глухими намеками на какую-то интригу, то читатели, по своему добродушію, не потребуютъ отъ него, чтобы онъ имъ показалъ всѣ нити и весь смыслъ интриги; они до самаго конца романа будутъ чего-то ждать, а потомъ, ничего не дождавшись, смиренно поблагодарятъ дюжиннаго писака за доставленное имъ удовольствіе).

— Наше поколѣніе само себя воспитывало, продолжалъ Коля. (Вотъ вамъ третье мудреное слово,—«Гражданинъ», «нигилистъ», «наше поколѣніе»—все это слова весьма предосудительныя, которыя могутъ приносить только неблагонаправленные гимназисты).

— И съ перваго разу поретъ дичь, спокойно возразилъ Бронскій. Что это за ваше поколѣніе? Развѣ не каждую минуту люди рождаются?

— Bravo! bravo! раздалось вокругъ. (Ахъ, какой умный Бронскій и какое умное общество! Чему-жъ они такъ обрадовались, и съ какой стати закричали «bravo»? По словамъ Бронскаго выходитъ, что столѣтній старикъ и грудной ребенокъ принадлежать къ одному поколѣнію.

Ихъ раздѣляетъ, правда, промежуткоѣ времени въ девѣносто девѣтъ лѣтъ, но вѣдь это ровно ничего не значитъ. Годъ состоитъ изъ двѣнадцати мѣсяцевъ, мѣсяць изъ тридцати дней, день изъ 24 часовъ, часъ изъ 60 минутъ, а люди рождаются каждую минуту. Столѣтній старикъ принадлежитъ къ одному поколѣнью съ тѣмъ человѣкомъ, который родился минутою позднѣе его; и съ тѣмъ также, который родился двумя минутами позднѣе, и тремя, и четырьмя, и пятью, и такъ далѣе; если продолжать такой расчетъ очень долго, то и окажется, что столѣтній старикъ и грудной ребенокъ принадлежатъ къ одному поколѣнью. Это варіація на извѣстный софизмъ старой схоластической логики—о плѣшивомъ. Вамъ предлагаютъ вопросъ: если вырвать у васъ одинъ волосъ, сдѣлаетесь ли вы плѣшивымъ?—Вы, разумѣется, отвѣтите: нѣтъ.—А если вырвать еще одинъ?—Нѣтъ.—А еще одинъ?—Нѣтъ.—Но наконецъ вамъ придется же сказать: да; и тогда вашъ собесѣдникъ объявитъ вамъ, что вы сдѣлались плѣшивымъ отъ потери *одного* волоса, или же, что между плѣшивымъ и не плѣшивымъ человѣкомъ нѣтъ никакой разницы. Тотъ, кто первый выдумалъ эту штуку, былъ, конечно, очень остроуменъ, но прилагать эту старую выдумку къ различнымъ частнымъ случаямъ—совсѣмъ не трудно. Но даже въ частномъ приложеніи стараго софизма г. Ключниковъ ползетъ по чужимъ слѣдамъ. «Русскій Вѣстникъ», питающій нѣжную страсть ко всякой схоластической дребедени, уже давно старался доказать схоластическими ухищреніями, что молодое поколѣніе есть мифъ, сочиненный двумя тремя злонамѣренными журналистами).

— Что тутъ значать лѣта? Тутъ важны одинаковыя убѣжденія. (Четвертое мудреное слово, вложенное въ уста Коли для оношеченія! Толковать объ убѣжденіяхъ могутъ только малолѣтніе грубияны).

— Значить, ничего не признавая, признаемъ классификація, признаемъ убѣжденія... (Тутъ я даже въ тупикъ становлюсь передъ величіемъ этой пошлости. Откуда это почерпнулъ Бронскій то свѣдѣніе, что Коля Горобецъ ничего не признаетъ? И что это значитъ — ничего не признавать? И кто это ухитрился не признавать классификацій и убѣжденій? Если я не признаю классификацій, то значитъ, я смѣло могу утверждать, что орангъ-утангъ есть металлъ, что дубъ есть млекопитающее, а желѣзо—растеніе. Такъ, что-ли?—Но въ сущности, это все равно. Дѣло не въ томъ. Г. Ключниковъ, очевидно, полагаетъ, что есть на свѣтѣ люди, не признающіе ничего, не признающіе классификацій и убѣжденій. Въ этомъ мнѣніи г. Ключникова нѣтъ ничего особенно изумительнаго. Вѣдь полагаетъ же странница Феклуша, появляющаяся на сценѣ въ «Грозѣ» Островскаго, что есть люди съ песьими головами. Я не вижу ни малѣйшаго резона, почему и г. Ключникову не имѣть столь же оригинальныхъ понятій о землѣ и о тваряхъ, на ней живущихъ. Что позволено Феклушѣ, то вовсе не должно составлять запретанъ плодъ и для

г. Ключникова. Но вѣдь вы вотъ что возьмите въ расчетъ: Бронскій видитъ Колю Горобца въ первый разъ въ жизни; въ словахъ Коли не было высказано еще ни одного намека на какія бы то ни было признанія или отрицанія. Спрашивается, какемъ же процессомъ мысли Бронскій могъ добраться до той непостижимой нелѣпости, которую онъ произноситъ? Г. Ключниковъ, какъ клиентъ «Русскаго Вѣстника», очень сердится на какихъ-то людей съ песьими головами. Мысль объ этихъ чудовищахъ не даетъ покоя г. Ключникову, но зачѣмъ же онъ навязываетъ свою собственную галлюцинацію тѣмъ дѣйствующимъ лицамъ романа, которыя никакъ не могутъ думать, чувствовать и говорить такъ, какъ думалъ, чувствовалъ и говорилъ бы на ихъ мѣстѣ самъ г. Ключниковъ?)

— А, да чортъ васъ побралъ бы, крикнулъ гимназистъ и улизнулъ изъ залы.

— Молодецъ графъ, не нынѣшнимъ чета! замѣтитель солидный господинъ, съ большимъ интересомъ слѣдившій за этимъ объясненіемъ. (Вы видите, что солидные господа принимаютъ Колю Горобца за одного изъ «нынѣшнихъ». Какъ лестно должно быть графу, что его называютъ «молодцомъ» такіе умные люди! И какъ пріятно должно быть графу то сознаніе, что онъ, передъ лицомъ всего уѣзднаго общества, сумѣлъ побѣдить въ словесномъ турнирѣ даже пятнадцатилѣтняго гимназиста! Да и мудро было не побѣдить! Какъ ни глупы были выходки Коли, однако фразы Бронскаго еще неизмѣримо глупѣе, а глупость, доведенная до колоссальныхъ размѣровъ, можетъ ослѣпить, оглушить, ошеломить и окончательно сбить съ толку самого искуснаго діалектика. Спорить можно только съ тѣмъ человѣкомъ, который дѣйствительно работаетъ умомъ во время спора. Побѣдить въ спорѣ можно только того человѣка, у котораго есть въ головѣ здоровая, естественная логика. Говоря съ такимъ человѣкомъ, вы можете прослѣдить весь процессъ его мысли и отыскать ту точку, въ которой кроется основная причина вашего разногласія. Но что же вы станете дѣлать съ такимъ собесѣдникомъ, который неспособенъ связать въ своей головѣ двухъ мыслей? Скажетъ онъ вамъ, напримѣръ, фразу; вы увидите въ этой фразѣ нелѣпость; начнете вы доказывать ему, что онъ ошибся; онъ сейчасъ отпуститъ вамъ вторую фразу, опять съ нелѣпостью, неимѣющею даже никакой логической связи съ первой; вы кинитесь къ этой второй фразѣ и начнете ее распутывать; онъ вамъ— третью, такого же достоинства и такъ же совершенно не зависящую отъ двухъ первыхъ. И такимъ образомъ онъ отчеканитъ десятки фразъ, безъ малѣйшаго утомленія, потому что онъ не думаетъ, а только говоритъ. Но вы, разумѣется, очень скоро совершенно опашѣете отъ бесплодныхъ усилій отыскать между его фразами какую-нибудь логическую связь. Вы попросите пощады или,

подобно Горобцу, улизнете изъ комнаты, а вашъ глупый собесѣдникъ будетъ считаться въ солидномъ обществѣ такимъ молодцомъ, который «не ныѣшнимъ чета». Бронскій спрашиваетъ у Горобца, гдѣ онъ воспитывался; тотъ ему отвѣчаетъ; Бронскій, не продолжая своей прежней мысли, ухватывается за одно слово въ отвѣтъ Горобца и на этомъ словѣ строить фразу; Горобецъ отвѣчаетъ на эту фразу; Бронскій опять ухватывается одно слово изъ отвѣта и опять на этомъ словѣ строить новую фразу. Такая забава можетъ продолжаться до безконечности. — Г. Ключниковъ заставляетъ Бронскаго говорить глупости не потому, что желаетъ представить его безтолковымъ человѣкомъ. Напротивъ того, Бронскій—по замыслу г. Ключникова,—продувная шельма, демонъ, хитрый и опасный человѣкъ; г. Ключниковъ стремится увѣрить насъ, что Бронскій опуталъ своими интригами цѣлый край; г. Ключниковъ напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы въ каждое слово Бронскаго вложить нѣчто многозначительное и молниеносное; но г. Ключниковъ все-таки остается г. Ключниковымъ, и по этому Бронскій оказывается пигалицею, вмѣсто того, чтобы быть лукавымъ демономъ. И читатель припоминаетъ съ сострадательною улыбкою ту неосновательную лягушку, которая старалась усвоить себѣ тучность вола. Г. Ключникову было бы очень выгодно, если бы мы повѣрили ему на слово; тогда бы онъ намъ просто сказалъ: Бронскій и Русановъ—умные люди; мы бы этимъ увѣреніемъ тотчасъ удовлетворились; но мы тоже люди хитрые и несговорчивые; мы на это возражаемъ г. Ключникову: а вы намъ нарисуйте умныхъ людей! Вы намъ покажите, какъ умные люди говорятъ, дѣйствуютъ. Ну-ка попробуйте!—Г. Ключниковъ пробуетъ, но тучность вола остается для него недостижимымъ идеаломъ. И Бронскій, и Русановъ, и всякіе Горобцы мужескаго и женскаго пола наводятъ на читателя уныніе и оцѣпенѣніе, потому что на всѣхъ этихъ особахъ сіяетъ неизгладимая печать ихъ общаго фабриканта.

III.

Разобранная мною сцена занимаетъ въ романѣ г. Ключникова двѣ небольшія странички. Когда же я взялъ на себя печальный трудъ отгнѣтить и распутать всѣ безсмыслицы, украшающія эту сцену, тогда мнѣ пришлось написать слишкомъ десять страницъ большого формата. Вы у меня, вѣроятно, спросите: ради чего же я такъ усердствовалъ? — А вотъ видите ли: мнѣ хотѣлось показать публикѣ, какимъ образомъ слѣдуетъ читать русскія книги. Если вы прочтете сцену безъ вниманія, то вы не увидите въ ней ничего особеннаго: гимназистъ оторвалъ платье,

поругался съ почтенными людьми, убѣжалъ изъ комнаты—все это вещи возможныя, нисколько ненарушающія законовъ природы. Но прочтите ту же сцену со вниманіемъ, и вы увидите въ ней поразительную безтолковщину. Всѣ дѣйствующія лица—какія-то куколки на пружинкахъ; всѣ говорятъ совсѣмъ не то, что они могутъ и должны говорить по своему положенію и характеру; отвѣты не вьжуются съ вопросами; каждый городить свою собственную чепуху, и вы никакъ не можете понять, какая побудительная причина выталкиваетъ изъ него столь неожиданныя и неправдоподобные звуки.

Если бы наша публика выучилась читать внимательно романы и журнальныя статьи, если бы она постоянно требовала отъ писателя строгаго отчета въ каждомъ написанномъ имъ словѣ, если бы она проникнулась тѣмъ убѣжденіемъ, что каждое слово должно непременно выражать собою мысль, совершенно понятную для того, кто пишетъ это слово,—тогда литература наша навсегда очистилась бы отъ такихъ художескихъ прищепъ, какъ романъ «Марево» или журналъ «Эпоха». Весь романъ «Марево», съ первой страницы до послѣдней, написанъ совершенно такъ, какъ разобранныя мною сцена. Попробуйте, господа читатели, раскрыть его на удачу въ разныхъ мѣстахъ и разобрать попавшіяся вамъ двѣ-три страницы съ тою тщательностью, съ какою я разобралъ 54-ю и 55-ю страницы перваго тома. У васъ просто голова кругомъ пойдетъ отъ этого убійственнаго чтенія; а между тѣмъ, въ прошломъ году, этотъ романъ читался на расхватъ. Что же дѣлать критикъ противъ этого скандальнаго торжества бездарности? Публикѣ были даны, еще со временъ Бѣлинскаго, превосходныя руководящія принципы. Но что же дѣлать, если она сама еще не умѣетъ прилагивать ихъ къ частнымъ случаямъ? Остается только одно послѣднее средство: надо, въ критическихъ статьяхъ, кромѣ теорій, давать еще и практику. Надо не только дать публикѣ въ руки букварь, но надо еще читать вмѣстѣ съ нею на распѣвъ: буки-азъ—ба, вѣди-азъ--ва и такъ далѣе. Мой разборъ клюшниковской сцены есть именно такое чтеніе на распѣвъ. Это очень скучно и утомительно, но больше вы ничѣмъ не остановите наплыва бездарностей, поворяющихъ нашу литературу во всѣхъ ея отрасляхъ. Чего добраго, мнѣ скоро придется возиться съ статьями г. Николая Соловьева такъ, какъ я возуюсь теперь съ романомъ г. Клюшникова. Бездарность душитъ насъ со всѣхъ сторонъ.

Мы видѣли, какъ прелестно г. Клюшниковъ рисуетъ мельчайшія подробности всѣдневной жизни. Посмотримъ теперь, искусенъ ли онъ въ группированіи и освѣщеніи крупныхъ событій, на которыхъ лежатъ весь психологическій интересъ его романа. Посмотримъ, каково задуманы и обрисованы главные характеры. Разумѣется, важнѣе всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ — кандидатъ Русановъ, добродѣтельный юноша,

которому авторъ вполне сочувствуетъ и который даже, по словамъ одного эстетика, г. Эдельсона, представляетъ собою лицо идеальное. Намъ очень пріятно познакомиться съ такимъ прекраснымъ молодымъ человѣкомъ. Посмотримъ же теперь, какими глазами лицо идеальное созерцаетъ міръ запутанныхъ человѣческихъ отношеній?

Русановъ, только-что кончивши курсъ въ московскомъ университетѣ, пріѣзжаетъ въ одну изъ украинскихъ губерній, на хуторъ къ своему дядѣ, и, заинтересовавшись одной барышней, Инною Горобецъ, рѣшается поселиться въ тихомъ уголкѣ и занять тамъ должность мирового посредника. Онъ, въ одно прекрасное утро, отправляется по сосѣднимъ хуторамъ, знакомится съ помѣщиками и, объявляя имъ свое желаніе, проситъ ихъ содѣйствія на предстоящихъ выборахъ. Странное дѣло! Лицо идеальное сразу ставитъ себя въ самое смѣшное положеніе. Представьте себѣ, что вы помѣщикъ. Къ вамъ пріѣзжаетъ незнакомый вамъ юноша и говоритъ: «честь имѣю рекомендоваться. Я—кандидатъ Русановъ. Потрудитесь подать за меня голосъ, когда вамъ придется выбирать мирового посредника.» —Если вы человѣкъ благоразумный, то вы, вѣроятно, посмотрите на вашего гостя съ нѣкоторымъ изумленіемъ. Онъ только-что успѣлъ показать вамъ свою фізіономію и произнести свою фамилію, и онъ уже думаетъ, что имѣетъ нѣкоторыя права на ваше довѣріе и уваженіе. Онъ полагаетъ, что вы сами, добровольно, отдадите въ его руки заботы о такомъ важномъ для васъ вопросѣ, какъ любовное размежеваніе вашихъ интересовъ съ интересами крестьянъ. Изъ любопытства вы спросите у вашего гостя: давно ли вы изволили пріѣхать въ наши края?—Онъ вамъ отвѣтитъ: три недѣли.—А прежде гдѣ вы изволили жить? — Въ Москвѣ. Я учился въ тамошнемъ университетѣ.—Изъ этихъ двухъ краткихъ отвѣтовъ вы уразумѣете, что вашъ собесѣдникъ никогда не былъ деревенскимъ жителемъ и, слѣдовательно, не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о тѣхъ людяхъ, съ которыми ему придется имѣть дѣло, ни о тѣхъ матеріальныхъ интересахъ, которые онъ такъ отважно берется размежовывать. Такъ какъ вашъ юный гость стремится къ званію мирового посредника, не обращая никакого вниманія на свою очевидную неопытность и некомпетентность, то вы имѣете полное право видѣть въ немъ или заносчиваго и пустоголоваго вѣтрогона, хватающагося за всякую работу и неимѣющаго даже понятія о тѣхъ серьезныхъ трудностяхъ, которыя сопряжены съ добросовѣстнымъ отправленіемъ каждой общественной должности,—или же молодого пройдоху, пошлаго искателя приключеній, которому хочется только сорвать съ земства полторы тысячи рублей на канцелярскіе расходы, и потомъ вести дѣло на авось, спустя рукава, безъ всякихъ расходовъ и трудовъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, вы принуждены будете отнестись къ вашему новому знакомому съ согражданскимъ презрѣніемъ, которое, по

всей вѣроятности, нисколько не подвинетъ его впередъ, къ его желанной цѣли. Идеальное лицо — Русановъ, повидимому, долженъ быть все это предвидѣть заранее. Но Русановъ о такихъ пустякахъ не думаетъ. Онъ рѣшается быть мировымъ посредникомъ совершенно неожиданно для себя и для читателя, такъ какъ онъ рѣшился бы выкупаться въ рѣкѣ или пойти на охоту, или сыграть съ добрымъ пріятелемъ партію на билліардѣ. Неужто, въ самомъ дѣлѣ, идеальныя лица должны приниматься за общественную дѣятельность съ такою младенческою беззаботностью?

Вы, можетъ быть, попыбуете сказать, въ оправданіе Русанова, что онъ еще очень молодъ, не знаетъ жизни, видитъ вещи въ розовомъ свѣтѣ, слишкомъ много надѣется на свои юношескія силы и, вслѣдствіе этого, слишкомъ смѣло и необдуманно хватается за такую дѣятельность, о которой онъ имѣетъ самое поверхностное понятіе. Нѣтъ. Ваше оправданіе не идетъ къ дѣлу. Въ студенческіе годы мы не знаемъ дѣйствительной жизни, но мы живемъ въ области мысли; мы въ это время долго, упорно и серьезно думаемъ о нашей будущей дѣятельности: мы подходимъ къ явленіямъ дѣйствительности съ очень строгими, быть можетъ, даже неосуществимыми требованіями; взглядъ нашъ на чело-вѣческія отношенія и на предстоящій трудъ отличается въ молодости скорѣе излишнею торжественностью, чѣмъ излишнимъ легкомысліемъ. Вѣтреными юношами выходятъ изъ университета только тѣ личности, которыя, во все время своего студенчества, не переставали быть прилежными учениками или рѣзвыми малютками. Молодые люди, мало-мальски умные и даровитые, переживаютъ обыкновенно, во время своего студенчества, при столкновеніи съ живою струею науки, много тяжелыхъ и незабвенныхъ минутъ внутренней борьбы и умственного броженія. Молодой чело-вѣкъ углубляется въ самого себя и съ замираніемъ сердца задаетъ себѣ рѣшительные вопросы: что я такое? Какъ я проживу на свѣтѣ? Каковъ складъ моего ума? Каковы размѣры моихъ силъ? На что я годенъ? Къ чему я себя пристрою? Чѣмъ я обезпечу за собою право подавать руку честнымъ людямъ и смотрѣть имъ прямо въ глаза? Рѣшеніе этихъ вопросовъ тѣмъ болѣе мучительно, что молодость всегда нетерпѣлива. Молодость тратитъ неразсчетливо все, начиная отъ своего двутривеннаго и кончая своею величайшею драгоценностью — живыми силами организма. Но когда неразсчетливый юноша схватываетъ себя за голову и, потрясенный какимъ-нибудь новымъ впечатлѣніемъ, вдругъ, съ поразительною ясностью, чувствуетъ потребность рѣшить вопросы жизни, — тогда юношѣ кажется, что время не терпитъ, что каждая минута драгоценна, что надо тотчасъ сдѣлать рѣшительный выборъ, тотчасъ готовить себя къ извѣстной дѣятельности, что малѣйшее промедленіе вредно и преступно, какъ медленное само-

убійство или какъ позорное отступничество. Въ умѣ молодого человѣка поднимается буря; вопросы рѣшаются сегодня такъ, завтра иначе, черезъ недѣлю — на третій манеръ. Молодой человѣкъ злится, бранитъ себя за безхарактерность, выбивается изъ силъ, унываетъ, потомъ принимается за работу хладнокровнѣе, потомъ опять горачится, опять изнемогаетъ, и понемногу, въ этихъ необходимыхъ и спасительныхъ буряхъ нашей молодости, созрѣваетъ и складывается сильный и мужественный характеръ, который будетъ встрѣчать и переносить съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ добродушнѣйшею веселостію все то, что пугаетъ, давить, развращаетъ и уродуетъ мелкихъ личинокъ, незакаленныхъ въ суровой школѣ внутренней борьбы и умственныхъ страданій. Если молодой человѣкъ по нѣскольку разъ въ мѣсяцъ мѣняетъ рѣшеніе важнѣйшихъ вопросовъ жизни, то эта подвижность вовсе не доказываетъ, что рѣшенія даются ему дешево и что онъ относится легкомысленно къ своей будущей дѣятельности. Мѣняетъ онъ свои рѣшенія совсѣмъ не для того, чтобы увеселять себя разнообразіемъ; онъ худѣетъ и блѣднѣетъ, онъ ночей не спитъ отъ этого увеселенія; чѣмъ чаще приходится мѣнять, тѣмъ сильнѣе онъ страдаетъ; да вѣдь что же дѣлать? Такіе вопросы не рѣшаются кое-какъ; и невозможно же, изъ любви къ умственному комфорту, оставлять неизмѣннымъ такое рѣшеніе, которое уже перестало казаться удовлетворительнымъ.

Юношамъ приписываютъ обыкновенно способность мечтать о будущемъ: юность и мечты — два понятія неразлучныя; нѣтъ того рифмоплета, нѣтъ того бездарнаго писака, который бы не отпустилъ нѣсколько казенныхъ пошлостей о золотыхъ или о розовыхъ мечтахъ юности. Рифмоплеть или бездарный беллетристъ въ своей юности дѣйствительно только на то и были годны, чтобы мечтать о розовомъ предметѣ, на примѣръ, о какой нибудь барышнѣ, или о золотомъ предметѣ, на примѣръ, объ офицерскихъ эполетахъ. Можетъ быть, у этихъ господъ были, кромѣ того, и караковыя мечты, направившіяся къ верховой лошади такой масти, и сѣдья мечты, клонившіяся къ бобровому воротнику, который, въ свое время, будетъ весьма картинно серебриться морозной пылью, по незабвенному выраженію Пушкина, величайшаго специалиста по части всякихъ юношескихъ мечтаній, пѣгихъ и буланыхъ, о маленькихъ ножкахъ и объ издѣліяхъ вдовы Клико. Всѣ подобныя мечтанія чрезвычайно усладительны, но то юношество, которое понесетъ на своихъ плечахъ судьбу общества въ ближайшія десятилѣтія, то юношество, въ которомъ лежатъ задатки мужественной зрѣлости, — мечтаетъ мало. Оно думаетъ, и его думы награждаютъ его ранними морщинами и преждевременными лысынами. Объ этой крѣпкой, страстной и серьезной дѣятельности юношеской мысли г. Ключниковъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія. Его идеальное лицо — Русановъ мечталъ въ университетѣ объ

общественной дѣятельности такъ, какъ современники Пушкина мечтали о шампанскомъ и о балетѣ. Возвышеннѣе такого идеала г. Ключниковъ, разумѣется, и не можетъ ничего создать. Безсиліемъ автора и узкостью его пониманія только и объясняется то хлестаковское нахальство, съ которымъ лицо идеальное пытается сунуть свой носъ въ совершенно неизвѣстную ему отрасль серьезной практической дѣятельности. Зрѣлище выходитъ умилительное и уморительное. Герой дѣлаетъ пошлѣйшую изъ пошлостей, а романистъ одобрительно и даже почтительно киваетъ головою. Это напоминаетъ мнѣ ту сцену изъ «Мертвыхъ душъ», когда Маниловъ, съ радостнымъ умиленіемъ, свойственнымъ глупому отцу, превозноситъ гениальныя способности своего вислоухаго Фемистоклеса, котораго, въ эту самую минуту, насильственно сморкаетъ лакей.

Плохія газеты, стараясь заявить свой либерализмъ, подтруниваютъ обыкновенно надъ какою нибудь несчастною Турціею, или упрекаютъ въ рефторградствѣ какаго нибудь шанхайскаго мандарина. Плохіе беллетристы, подобные г. Ключникову, стремясь обнаружить свою образованность и тонкость своего юмора, рисуютъ обыкновенно, съ великосвѣтскою насмѣшливостію, картины дикихъ провинціальныхъ нравовъ. Ироническіе отзывы о закоснѣлости Турціи и о провинціальномъ тапчайс-генге питаютъ и грѣютъ многихъ либеральныхъ каплуновъ, которымъ барская спѣсь и непобѣдимая лѣнь мѣшаютъ взяться за пиленіе дровъ или за тасканіе воды. — Описывая путешествіе Русанова по сосѣднимъ хуторамъ, г. Ключниковъ, разумѣется, развертываетъ сокровища своего юмора и бросаетъ насмѣшливыя взгляды на обитателей украинскаго захолустья. Но просвѣщенный либераль не замѣчаетъ того, что тѣмъ больше онъ издѣвается надъ смиренными провинціалами, тѣмъ глупѣе и смѣшнѣе становится фигура его любимаго героя, сунувшагося въ воду, не спросивъ броду. — «Ну, будетъ по сьумасшедшимъ домамъ шляться! восклицаетъ Русановъ, объѣхавъ около десятка хуторовъ.» — О, милѣйшій господинъ Русановъ, какъ жестоко вы поражаете этимъ возгласомъ вашу собственную особу! Вы сами напращивали на такую должность, которая приводила бы васъ въ ежедневныя соприкосновенія съ самыми допотопными типами провинціальной жизни. Вы называете вашихъ сосѣдей сьумасшедшими? Прекрасно! Но, въ счастью для васъ, у этихъ сьумасшедшихъ все-таки хватило здраваго смысла на то, чтобы отклонить вашу просьбу о мировомъ посредничествѣ. А что бы вы заплѣли въ томъ случаѣ, если бы сьумасшедшіе не оказались благоразумнѣе васъ и если бы они исполнили ваше желаніе? Вѣдь вамъ, мой неразсудительный другъ, пришлось бы тогда каждый день бывать въ какомъ нибудь сьумасшедшемъ домѣ и каждый день по нѣсколько часовъ подъ рядъ вести юридическія или экономическія бесѣды то съ помѣщицею Коробочкою, то съ Собакевичемъ, то съ Ноз-

древниѣ. У васъ голова закружилась отъ нѣсколькихъ легкихъ разговоровъ о погодѣ и объ урожаѣ, а каково бы вамъ пришлось тогда, когда надо было бы толковать обитателямъ сѣумасшедшихъ домовъ положеніе 19 февраля, объяснять имъ, что такое уставная грамота, выкупная сдѣлка, разверстаніе угодій? Какъ же вы осмѣлились просить себѣ аванія мирового посредника, когда вы даже приблизительно не знали умственной и нравственной физіономіи того общества, въ которомъ вамъ пришлось бы судить и рядить? Если вы называете сѣумасшедшими вашихъ сосѣдей, смиренно сидящихъ въ своихъ медвѣжьихъ углахъ, то какъ прикажете назвать Владиміра Ивановича Русанова, образованнаго юношу, врывающагося въ міръ сѣумасшедшихъ домовъ для полученія тысячи пятисотъ рублей за такую работу, которую онъ никакъ не можетъ выполнить добросовѣстно и удовлетворительно?

, На одномъ изъ хуторовъ Русановъ бесѣдуетъ съ сантиментальною помѣщицею, которая, послѣ первыхъ двухъ словъ, наводитъ разговоръ на амурныя дѣла. Русановъ цѣломудренно уклоняется отъ этого щекотливаго предмета и выдвигаетъ впередъ свое желаніе быть мировымъ посредникомъ. Происходитъ маленькое недоразумѣніе, созданное г. Ключниковымъ для того, чтобы уязвить и осмѣять провинціалку, которую онъ называетъ «дебелою красавицею». Но несчастный Русановъ при этомъ недоразумѣніи оказывается несравненно смѣшнѣе «дебелой красавицы».

— «Я желалъ бы переговорить съ вашимъ супругомъ, говорить Русановъ... я желалъ бы быть посредникомъ.

— О, шалунъ! Вы знаете, какъ это опасно! Вы хотите быть посредникомъ между жертвой и тираномъ.

— Какъ-съ?

— Между замужнею женщиной...

— Нѣтъ-съ, мировымъ посредникомъ...

— А-а-а! Я вѣдь сказала вамъ, мужа нѣтъ дома. Это не по моей части...» (Стр. 22).

«Дебелая» красавица желаетъ пошалить съ молодымъ человѣкомъ. Это, конечно, очень безнравственно, но совсѣмъ не глупо, потому что многіе молодые люди — большіе охотники до шалостей; стало быть, красавица не могла знать заранѣе, что ея желаніе не осуществится. Молодой человѣкъ заговариваетъ «съ дебелою красавицею» о мировомъ посредничествѣ. Это, конечно, нисколько не безнравственно, но за то очень глупо, потому что молодой человѣкъ долженъ былъ сразу увидѣть и понять, что «дебелая красавица» способна заниматься только тѣмъ, что «по ея части». Стало быть, бесѣдовать съ нею о дѣлахъ государственной или общественной службы было совершенно неумѣстно.

IV.

Потерпѣвши неудачу въ исканіи мирового посредничества, Русановъ поступаетъ на службу въ гражданскую палату и получаетъ мѣсто столоначальника. Когда ему уже было обвѣщено это мѣсто, онъ ведетъ слѣдующій разговоръ съ своимъ бывшимъ университетскимъ товарищемъ, Бронскимъ.

— «Вы все такой же, Владиславъ, говоритъ Русановъ. Вотъ вы опять утонули въ мечтахъ; когда-то вы ихъ приложите.

— А вы свои приложите?

— Да, помните, какъ мы, разставаясь на станціи, пили наше вступленіе въ жизнь? (*Пить вступленіе въ жизнь запрещено законами русскаго синтаксиса.* Если бы можно было пить вступленіе въ жизнь, то было бы также совершенно позволительно пить день рожденія или свадьбу. Но до сихъ поръ никому не приходила въ голову такая преступная мысль). Съ завтрашняго дня я — столоначальникъ гражданской палаты.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю, сказалъ графъ, отодвигаясь. (Стр. 58).

Разумѣется, трудно повѣрить тому, чтобы идеальное лицо — Русановъ мечталъ, при выходѣ изъ университета, именно о мѣстѣ столоначальника гражданской палаты. Молодые люди, одержимые демономъ честолюбія, мечтаютъ обмѣновенно о болѣе возвышенномъ положеніи въ служебной іерархіи, напримѣръ, о министерскомъ портфель или, по меньшей мѣрѣ, о превосходительномъ титулѣ, о звѣздѣ, о лентѣ, о золотомъ ключѣ. Но я думаю, что даже г. Ключниковъ постыдится официально заявлять свое сочувствіе къ тѣмъ молодымъ людямъ, которые смотрятъ на государственную службу исключительно, какъ на средство удовлетворить прихотямъ мелочнаго тщеславія. Поэтому, я готовъ допустить, что Русановъ, при выходѣ изъ университета, мечталъ не о чинахъ и знакахъ отличія, а о той пользѣ, которую онъ будетъ приносить обществу, занимая въ государственной службѣ какую нибудь скромную должность. Словомъ, Русановъ мечталъ въ университетѣ такъ, какъ Надимовъ и великодушный становой г. Львова мечтали на сценѣ Александринскаго театра. Можно было бы замѣтить, что эти мечты составляютъ уже для русскаго общества разогрѣтое кушанье, но я буду снисходителенъ до конца, постараюсь забыть несвоевременность русановскихъ мечтаній и произнесу надъ ними приговоръ только на основаніи тѣхъ фактовъ, которые изобрѣтаетъ самъ г. Ключниковъ. — Черезъ нѣсколько времени послѣ поступленія Русанова на службу, по-

мощниѣхъ новаго столоначальника, Чижиговъ, приглашаетъ его къ себѣ пообѣдать запросто. Послѣ очень скромнаго обѣда, Чижиговъ пускается съ своимъ начальникомъ въ откровенный разговоръ.

— «По правдѣ сказать, Владиміръ Ивановичъ, я не безъ задней мысли и пригласилъ васъ поглядѣть на наше житье-бытье... Я васъ побаивался...

— Меня-то?

— Вы вѣдь того-съ... изъ нынѣшнихъ, сказалъ Чижиговъ, посмѣиваясь: — а я... лучше ужъ разомъ покаяться... Я беру взятки... А вы погодите, вы не сразу казните... Я и уроки даю, получаю рублей пятнадцать въ мѣсяцъ; ну, мезонинъ доставляетъ пятьдесятъ ежегодно. Этимъ бы можно и жить, да вы возьмите то: начальство требуетъ, чтобъ являться въ своемъ видѣ, не оборвышемъ; ну, и сапоги... Хотя, съ высшей точки зрѣнія, казалось бы, что такое сапоги! А тутъ благодарять двумя-тремя рублями... Не бралъ-съ, ей богу не бралъ, пока оставалось кой-что у жены; все надѣялся на повышение, а вышло вотъ что!..

Чижиговъ пустилъ густое, бѣлое кольцо дыму; оно плыло, расширилось въ темную ленту и пропало въ воздухѣ.

— Скажите, пожалуйста, началъ Русановъ, желая прекратить тяжелое объясненіе: — неужели Ишимовъ ничего не далъ за сестрою?» (Стр. 115).

Вмѣсто того, чтобы описывать весьма картинно, какимъ образомъ бѣлое кольцо дыму плыло, плыло и пропадало въ воздухѣ, г. Ключникову не мѣшало бы задуматься надъ тѣмъ двусмысленнымъ положеніемъ, въ которое попалъ Русановъ вслѣдствіе «тяжелаго объясненія» съ своимъ подчиненнымъ. Но г. Ключниковъ даже не замѣтилъ никакой двусмысленности и никакого положенія. Русановъ, который, разумѣется, не можетъ быть дальновидиѣе своего творца, также отнесся ко всему этому разговору очень легко и игриво. Онъ только своротилъ въ сторону отъ «тяжелаго объясненія» и затѣмъ счелъ все дѣло оконченнымъ. Этого мало. Онъ даже, въ домѣ своихъ добрыхъ знакомыхъ, Горобцовъ, «началъ описывать чиновный міръ и пошелъ по своей колеѣ съ свойственнымъ ему добродушнымъ юморомъ» (стр. 127). По какой колеѣ ходитъ обыкновенно Русановъ въ своихъ разговорахъ—этого я не знаю, потому что всѣ его разговоры, приведенные въ романѣ, совершенно безсвязны, безалаберны, наполнены внутренними противорѣчіями и ни въ какую определенную колею не могутъ быть втиснуты. Что Русанову свойственъ какой-то юморъ, этому я также не могу повѣрить, потому что во всѣхъ его разговорахъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ юмора. Въ добродушіи же я, пожалуй, не откажу Русанову, если только подъ этимъ именемъ мнѣ позволено будетъ подразумевать его абсолютную неспособность отнестись серьезно къ какому бы то ни было явленію жизни, и довести

последовательно до конца какую бы то ни было дѣльную мысль. — На *добродушные* рассказы Русанова о чиновномъ мірѣ, злобный Бронскій дѣлаетъ слѣдующее возраженіе. — «Какъ не пожалѣть, въ самомъ дѣлѣ! Жена, дѣти, et caetera, et caetera... О, благодѣтели! Неужели это оправданіе? — И затѣмъ онъ принялся говорить въ духѣ такой нетерпимости, что Русановъ рѣшился уступить поле противнику и удалился въ уголокъ» (стр. 128).

Возраженіе Бронскаго показываетъ ясно, что Русановъ изощрялъ свой *добродушный юморъ* надъ чѣмъ нибудь, въ родѣ *тяжелого объясненія*, происходившаго въ квартирѣ Чижикова. Я вовсе не хочу заподозрить Русанова въ томъ, что онъ зубоскалилъ на счетъ горемничнаго житія бѣдныхъ чиновниковъ. Нѣтъ. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ. Тутъ важно то обстоятельство, что Русановъ относился весело и добродушно къ такому явленію, которое радикально подрываетъ для него всякую возможность остаться на службѣ. Основная тема русановскихъ разсказовъ о чиновномъ мірѣ состоитъ, очевидно, въ томъ, что, молъ, никакъ нельзя — жена, дѣти, поневолѣ беретъ. — Хорошо! Русановъ, какъ мы видѣли, узналъ, что его подчиненный беретъ взятки. Это *тяжелое объясненіе* каждому мыслящему человеку, находящемуся на мѣстѣ Русанова, дало бы почувствовать, что онъ попалъ въ такіе страшные тиски, изъ которыхъ нѣтъ другого выхода, кромѣ чистой отставки. Къ чему обязываютъ Русанова его присяга, его совѣсть, требованья высшей идеи общественнаго быта? Очевидно, къ тому, чтобы безпощадно искоренять взяточничество. Какъ ближайшій начальникъ Чижикова, онъ долженъ донести о его противозаконныхъ поступкахъ, и употребить всѣ свои усилія на то, чтобы врагъ общественнаго блага былъ отданъ подъ судъ. Если у Русанова не дрогнетъ рука задавить Чижикова и пустить по міру его жену, если Русановъ твердо рѣшился давить точно такимъ же образомъ, во все продолженіе своей службы, всѣхъ бѣдныхъ чиновниковъ, подобныхъ Чижикову, если Русановъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что, производя въ своемъ вѣдомствѣ это постоянное избіеніе младенцевъ, онъ дѣйствительно искореняетъ взяточничество и оказываетъ великія благодѣянія своему отечеству, — тогда Русановъ смѣло можетъ оставаться на службѣ и утверждать во всеуслышаніе, что его студенческая мечта о полезной общественной дѣятельности осуществилась блистательно. Но Русановъ поступаетъ совсѣмъ не такъ. Онъ не давитъ Чижикова, и даже остается съ нимъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. *И въ то же время, Русановъ не выходитъ въ отставку.* Вотъ это уже верхъ непоследовательности, той жалкой, старушечьей непоследовательности, которая происходитъ не отъ пылости страстей, а отъ слабости разсудка. Если Русановъ помиловалъ Чижикова, тогда онъ, очевидно, долженъ миловать постоянно всѣхъ чиновниковъ, находящихся подъ его

начальствомъ. Какъ бы широко ни шла служба Русанова, какъ бы быстро ни подвигалась впередъ его карьера, какъ бы широко ни раздвигались размѣры его власти и дѣятельности — все равно: Русановъ все-таки не можетъ сдѣлать ни шагу для прекращенія чиновническихъ злоупотребленій. Чижиговъ—хорошій человѣкъ, и у него на рукахъ жена; но вѣдь какой нибудь Степановъ тоже чудесный человѣкъ, и у него на рукахъ старуха мать; а чѣмъ же дурень Фадѣевъ, у котораго на рукахъ двѣ сестры? И за что же обижать вдовца-Тихонова, у котораго на рукахъ пятеро малолѣтнихъ дѣтей?—Всѣ берутъ по необходимости, всякому деньги не безполезны и у всякаго есть что нибудь на рукахъ. Значить, къ чему же сводится, при такихъ условіяхъ задачи, студенческая мечта Русанова о полезной общественной дѣятельности? И чѣмъ же будетъ отличаться идеальный чиновникъ Русановъ отъ всѣхъ матеріальныхъ чиновниковъ, служившихъ еще во времена Очакова и покоренія Крыма? Развѣ только тѣмъ, что тѣ воровали, а Русановъ самъ не будетъ воровать?—Значить, Русановъ служить не для того, чтобы приносить положительную пользу, не для того, чтобы искоренять зло, а для того, чтобы *не участвовать* во влѣ. На вопросъ: что вы дѣлаете въ гражданской палатѣ?—Русановъ долженъ отвѣчать: *я не ворую*. Но тогда можно ему замѣтить, что этому отрицательному занятію онъ можетъ съ величайшимъ успѣхомъ предаться и у себя на хуторѣ, и въ Петербургѣ, и за границей, и гдѣ угодно. Для того, чтобы *не воровать*, нѣтъ абсолютной необходимости носить вицмундиръ и ходить каждое утро въ гражданскую палату. Поступать на службу для того, чтобы, со временемъ, своимъ вліяніемъ, реформировать и обновить цѣлыя обширныя части канцелярскаго механизма—это еще куда не шло; объ этомъ, пожалуй, могутъ мечтать юноши, созерцающіе жизнь изъ прекраснаго далека; но мечтать о томъ, чтобы быть въ своей жизни только безвреднымъ, готовить себя совершенно сознательно къ тому, чтобы сдѣлаться навсегда пассивнымъ винтомъ въ ветхомъ механизмѣ — уже явный симптомъ такой вялости и хилости, такой собачьей старости, которая во всякомъ энергическомъ человѣкѣ возбуждаетъ полнѣйшее отвращеніе. О великій романистъ, г. Ключниковъ! О великій редакторъ, г. Катковъ! О великій эстетикъ, г. Эдельсонъ! Такъ это воплощеніе собачьей старости есть, по вашему мнѣнію, лицо идеальное?

Но, позвольте! Это еще не все. Внутреннія противорѣчія въ поведеніи Русанова, какъ-будто нарочно, доводятся авторомъ до послѣднихъ предѣловъ комическаго безобразія. И авторъ такъ слѣпъ, что даже не замѣчаетъ этихъ противорѣчій. На страницѣ 109, Русановъ, придя въ первый разъ на службу, безъ малѣйшей надобности вступаетъ съ однимъ старымъ столоначальникомъ въ ожесточенный споръ по вопросу о взяткахъ. Вотъ вамъ эта поучительная бесѣда, въ которой Ру-

сановъ сіяетъ чисто-надимовскимъ благородствомъ души и безворыстіемъ помысловъ.

— «Горячо вы очень къ сердцу принимаете, не обтерпѣлись еще, не настоящій чиновникъ!»—увѣщевалъ старичокъ.

Съ такимъ, какъ вы говорите, терпѣньемъ и до взятокъ не далеко, рѣзко замѣтилъ Русановъ.

— Хе-хе!... Молода еще...

— Что?

— Въ Саксоніи не была... Эхъ, молодой человѣкъ! кто беретъ взятки? Это запрещено закономъ, за это лишаютъ чиновъ, дворянства...

— А все-таки берутъ...

— Да не взятки же: благодарность за труды! Если вы, примѣрно, ночь просидите за какимъ нибудь дѣломъ, изготовите къ докладу, какая же это взятка? Развѣ вы обязаны сидѣть ночь? Въ Сводѣ Законовъ полагается присутствовать только до двухъ часовъ...

И старичокъ, доставъ красный фуляръ, высморкался съ полнымъ сознаніемъ неотразимаго аргумента.

— Да, почтеннѣйшій collega, перебилъ Русановъ, если предлагаютъ деньги, такъ вѣрно не за очередное: то и безъ того доложится... Стало быть взятка!

— Погодите, послужите, попривыкнете къ нашему порядку...

— Ну ужъ это дудки! Это вамъ придется къ нашему порядку—то приглядываться...» (стр. 109 — 110).

На страницѣ 110, Русановъ горячится и говоритъ, что «это дудки», а на слѣдующей, 111-й страницѣ, Чижиговъ приглашаетъ его къ себѣ обѣдать, и послѣ обѣда—на страницѣ 114,—начинаетъ «тяжелое объясненіе», которое Русановъ прекращаетъ на страницѣ 115. — Спрашивается теперь, съ умысломъ ли или безъ умысла г. Ключниковъ поставилъ рядомъ двѣ сцены, одну между Русановымъ и старичкомъ, развивающимъ теорію благодарности, а другую между тѣмъ же Русановымъ и Чижиковымъ, развивающимъ теорію необходимости? Если это сопоставленіе двухъ сценъ произошло нечаянно, тогда вопіющее слабоуміе автора не можетъ уже подлежать никакому сомнѣнію. Тогда, значитъ, г. Ключниковъ пишетъ одну сцену за другою по какой-то силѣ инерціи, совершенно машинально: безъ всякаго общаго плана, не умѣя даже понимать смыслъ собственныхъ своихъ фразъ. Онъ пишетъ такъ, какъ деревенскіе дѣтки читаютъ псалтырь. И это толкованіе чрезвычайно выгодно для г. Ключникова, потому что, если я предположу, что обѣ сцены написаны сознательно, съ умысломъ, тогда выйдетъ результатъ изъ рукъ вонъ пакостный, такой результатъ, который покажется пакостнымъ всѣмъ пишущимъ и читающимъ людямъ, безъ различія литературныхъ партій. — Старичокъ говоритъ Русанову: «попривыкнете къ нашему по-

ряду», и Русановъ дѣйствительно, въ теченіе какихъ нѣбудь двухъ недѣль, привыкаетъ. Старичокъ говоритъ: «благодарность за труды», и Русановъ горючитъ; Чижиговъ говоритъ: «благодарятъ двумя-тремя рублями», и Русановъ отвѣливаетъ отъ этого разговора, какъ человѣкъ старающійся заглушить въ себѣ голосъ совѣсти. Значить, что же это такое? Значить, старичокъ былъ правъ и слова его были пророчествомъ. Значить, человѣкъ возмущается взятками только тогда, когда «молода еще, въ Саксоніи не была», а какъ только побываетъ «въ Саксоніи», такъ сейчасъ и увидитъ, что взяточничество освящено законами природы, на вѣки нерушимыми, противъ которыхъ ратуютъ, только по своей безтолковости, безпокойные волтеріанцы и фармазоны. Значить, даже и противъ взяточничества ратовать не слѣдуетъ. Значить, самые умные, самые честные, самые крѣпкіе молодые люди должны, съ тупымъ спокойствіемъ травоядныхъ животныхъ, тинуть старую канитель, завѣщанную прадедами, потому что, извѣстное дѣло, яйца курицу не учатъ, и все это не нами началось и не нами должно кончиться.

Множество романовъ и повѣстей посвящались и посвящаются до сихъ поръ описанію того, какимъ образомъ молодые люди понемногу мирятся со всѣми мерзостями дѣйствительной жизни; но авторы этихъ романовъ и повѣстей никогда не осмѣливались оправдывать это примиреніе; они относились къ примирившимся юношамъ болѣе или менѣе сурово, иногда съ сострадательнымъ презрѣніемъ, можетъ быть, съ тихою грустью, но ужъ, во всякомъ случаѣ, безъ восторженнаго сочувствія. Эти романы и повѣсти были всегда варіаціями на знаменитыя слова Гоголя въ главѣ о Плюшкинѣ, на тѣ слова, которыми Гоголь совѣтуетъ юношамъ забирать съ собою смолоду свѣжія чувства, потому что потомъ не подымешь на дорогѣ.—А въ романѣ г. Ключникова дѣло идетъ совсѣмъ на выворотъ. Русановъ, примирившійся съ взяточничествомъ, остается для автора идеаломъ и героемъ. Этотъ самый Русановъ, участвующій своимъ молчаніемъ въ мелкихъ плутняхъ Чижигова, стремится пролить и дѣйствительно проливаетъ за отечество нѣкоторую часть своей, благонамѣренной крови. Значить, тутъ и рѣчи быть не можетъ о нравственномъ паденіи героя и о сострадательномъ презрѣніи автора. Если бы г. Ключниковъ относился къ Русанову неодобрительно, то, разумѣется, г. Ключниковъ не поставилъ бы этого опозореннаго человѣка въ картинную позу Курція, бросающагося въ зіяющую пропасть для спасенія отечества. Всякій истинный патріотъ долженъ понимать, что только чистые люди имѣютъ право совершать чистые подвиги патріотизма. Отдавать, въ литературномъ произведеніи, эти подвиги въ руки замаранныхъ и оподлѣненныхъ личностей, значить простиговать идею патріотизма и усыплять въ обществѣ ту чуткость нрав-

ственныхъ требованій, которая составляетъ самое прочное и разумное основаніе любви къ отечеству и къ согражданамъ.

И такъ, г. Ключниковъ поставленъ въ необходимость выбрать одно изъ двухъ предложенныхъ мною объясненій: или онъ пишетъ безсознательно, въ припадкахъ хроническаго сомнамбулизма, не понимая того, что выходить изъ подъ его пера; или же онъ умышленно проводить въ своемъ романѣ тенденціи старичка и старается реабилитировать взяточничество. Пусть потребуетъ ктонибудь изъ защитниковъ романа «Мареву» объяснить какънибудь иначе смыслъ тѣхъ сценъ, которыя я разобралъ въ этой главѣ. Передъ такою задачею станеть въ тупикъ даже такой неустрашимый софистъ, какъ г. Катковъ. А между тѣмъ, въ этомъ вопросѣ прямо заинтересована честь г. Каткова, если только она еще можетъ чѣмънибудь интересоваться. Романъ «Мареву» былъ напечатанъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Пускай же «Русскій Вѣстникъ» торжественно просить у публики прощенія въ томъ, что опанываетъ ее такимъ дурманомъ. Или же, пускай онъ прямо объявитъ себя адвокатомъ взяточничества и торжественно проклинать даже «Губернскіе очерки» Щедрина, положившіе основаніе всему величію гг. Каткова и Леонтьева. Систематическая апологія взяточничества будетъ дѣломъ безпримѣрнымъ даже въ нашей журналистикѣ, опозорившей себя всякими негѣпостями и гнусостями. Наши литературныя партіи расходятся между собою очень сильно по всѣмъ возможнымъ вопросамъ; даже въ вопросѣ о взяточничествѣ онѣ несогласны на счетъ тѣхъ средствъ, которыя должны привести за собою искорененіе этого общественнаго зла. Но до сихъ поръ я былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что нѣтъ и не можетъ быть даже у насъ такой литературной партіи, которая рѣшилась бы публично провозгласить взяточничество явленіемъ нормальнымъ и не требующимъ искорененія. Я даже и теперь осмѣливаюсь думать, что «Русскій Вѣстникъ» не рѣшится защищать умствованія г. Ключникова и скромно промолчать, чувствуя себя въ безвыходномъ положеніи.

V.

Мы любовались на Русанова, какъ на гражданскаго дѣятеля. Посмотримъ теперь на его отношенія къ любимой женщинѣ. Здѣсь безсиліе автора выражается вполне въ безцвѣтной вялости героя. Г. Ключниковъ готовъ намъ побожиться, что Инна любитъ и уважаетъ Русанова, но мы не повѣримъ никакой божбѣ; мы скажемъ автору: покажите намъ такого Русанова, котораго женщина могла бы любить и уважать; передайте намъ тѣ разговоры или поступки Русанова, которые могли бы

произвести на женщину глубокое впечатлѣніе; сумѣйте создать сильную, умную, мужественную личность, и тогда мы вамъ повѣримъ безъ всякой божбы.

Помилуйте, господа читатели, отвѣтитъ авторъ, чего вы отъ меня требуете? Развѣ можетъ Пульхерія Ивановна изобрѣсти какую нибудь машину? Развѣ можетъ странница Феклуша написать изслѣдованіе по сравнительной анатоміи? И когда же это видано, и когда же это слышано, чтобы курочка бычка родила, поросеночекъ яичко снесъ? Послѣ этого, какъ же вы отъ меня требуете, чтобы я создалъ сильную, умную, мужественную личность? Какъ же вы хотите, чтобы я сочинилъ для моего Русанова умные разговоры или поступки? — Ну, такъ не зачѣмъ вамъ и божиться въ томъ, что Русанова любить и уважаетъ женщина, — отвѣтитъ читатель. Сказали бы просто, что онъ произвелъ сильное впечатлѣніе на деревенскую барышню своимъ атлетическимъ тѣлосложеніемъ и своею румяною фizioномією. Этому мы, пожалуй, повѣримъ, тѣмъ болѣе, что мы уже видѣли, какъ заигрывала съ вашимъ героемъ дебелая красавица. Но г. Ключниковъ пропускаетъ этотъ отвѣтъ мимо ушей и продолжаетъ божиться. Божится же онъ преуморительно. Такъ, напримѣръ, мы видѣли уже, что онъ приписалъ Русанову добродушный юморъ. Но если бы читатели спросили: а гдѣ-жъ онъ, юморъ-то? подавайте его сюда! — то г. Ключникову осталось бы только сказать: былъ, да весь вышелъ. Ей богу, былъ. У меня, господа, Русановъ — самый настоящій юмористъ, да только я этого выразить никакъ не умѣю. Въ другомъ мѣстѣ, на страницѣ 30, авторъ увѣряетъ читателя, что Русановъ говоритъ иногда «горячія тирады означеніи современнаго движенія». Читатель сейчасъ входитъ во вкусъ и требуетъ: давайте мнѣ сюда горячую тираду. Что въ печи, то на столъ мечи. Но горячія тирады такъ и остаются въ печи, и читатель рѣшительно не знаетъ, что именно Русановъ называетъ *современнымъ движеніемъ* и какое онъ въ немъ усматриваетъ значеніе. Автору опять приходится божиться, что *горячія тирады* — не мифъ. Въмѣсто горячихъ тирадъ и добродушнаго юмора, авторъ представляетъ намъ, напримѣръ, слѣдующій эпизодъ изъ его бесѣдъ съ Инной. «Русановъ ходилъ за ней, раздвигая вѣтви, жевалъ листья и все собирался говорить о чемъ-то. Одинъ разъ онъ будто и рѣшился, каплянулъ. — Славный нынче день, сказалъ онъ и опустилъ глаза подъ пристальнымъ взглядомъ Инны» (стр. 29). Впрочемъ, можетъ быть, именно въ этомъ эпизодѣ сидятъ и горячность, и тирады, и добродушіе, и юморъ. Но читатель не знаетъ навѣрное, куда пристроить эти слова. Тираду мы нашли: «славный нынче день!» Разговоръ о свойствахъ *нынешняго* дня есть, безъ сомнѣнія, самый *современный* изъ всѣхъ возможныхъ разговоровъ. Но какъ же мы поступимъ дальше? Съ одной стороны, легко можетъ быть, что Русановъ «*ходилъ за ней*» съ добро-

душіемъ, *раздѣлала* *оттѣи* съ юморомъ и *жевала* *листья* съ горячностью; но съ другой стороны, весьма правдоподобно и то предположеніе, что онъ *рыщала* съ горячностью, *качала* съ юморомъ и *отускала* *лаза* съ добродушіемъ. Просимъ г. Ключникова вывести насъ изъ тягостнаго недоумѣнія.

На 30-й страницѣ, на той самой, на которой г. Ключниковъ приписываетъ своему герою способность произносить горячія тирады, авторъ объявляетъ, намъ, что «вмѣстѣ съ наступавшею темнотою Рusanовъ становился смѣлѣе». У читателя, разумѣется, бьется сердце и замираетъ духъ. Даже тогда, когда было свѣтло, Рusanовъ рискнулъ заговорить о такомъ современномъ вопросѣ, какъ свойства нынѣшняго дня; даже тогда онъ уже жевалъ листья съ горячностью. Что же способенъ онъ сдѣлать теперь, при наступленіи темноты, когда онъ становится даже *еще* смѣлѣе? Теперь онъ будетъ жевать и глотать дубовыя вѣтки и кирпичи. А ужъ о чемъ онъ заговорилъ — этого я и представить себѣ не могу, потому что современнѣе нынѣшняго дня быть ничего не можетъ. Но какова же будетъ горячность его тирады! Онъ просто испепелитъ ими сердце несчастной дѣвушки, и Инна умретъ на мѣстѣ, какъ умерла Тамара, поцѣловавшись съ шаловливымъ кавказскимъ демономъ, котораго, на старости лѣтъ, разобрала охота влюбляться. Сдѣлавшись *еще* смѣлѣе, Рusanовъ дѣйствительно царпнулъ слѣдующую тираду: — «Инна Николаевна, хотѣлось бы вамъ побывать въ Москвѣ?» Послѣ этого вопроса, разговоръ становится уже менѣ замѣчательнымъ. Иннѣ, какимъ-то непостижимымъ чудомъ, удалось спастись отъ испепеленія; но читатель, конечно, согласится, что Рusanовъ достаточно обнаружилъ свою увеличившуюся смѣлость. Г. Ключниковъ до такой степени внимателенъ къ своему герою, что даже считаетъ священнымъ долгомъ сообщать читателю подробности о тѣлодвиженіяхъ его лошади. На стр. 140, мы узнаемъ, что «лошадь Рusanова кашлянула и попробовала укусить его шенкель». Это замѣчательное покушеніе произошло во время одной кавалькады, когда Рusanовъ ѣхалъ рядомъ съ Инною. Къ Иннѣ же г. Ключниковъ, къ сожалѣнію, менѣ внимателенъ, и по этому не сообщаетъ намъ никакихъ подробностей о поведеніи ея лошади. Но, не смотря на постоянную внимательность автора къ герою, мы все-таки не узнаемъ рѣшительно ничего изъ разговоровъ Рusanова съ Инною.

Чтобы г. Ключниковъ или его защитники не могли обвинить меня въ произвольномъ искаженіи фактовъ, я передамъ тотчасъ, съ педантическою точностью, содержаніе всѣхъ бесѣдъ, происходившихъ между героемъ и героинею, до той самой минуты, когда Инна убѣжала съ Бронскимъ, не какъ любовница, а какъ сообщница. На стр. 29, Рusanовъ, искавшій въ это время мирового посредничества, жалуется Иннѣ на необразованность провинціаловъ и прибавляетъ слѣдующія слова:

«а я-то думалъ, что это Аркадія какая-то». Эти слова доказываютъ, что Русановъ не только ничего въ своей жизни не видалъ, но даже ничего не читалъ; если бы онъ зналъ дѣйствительную жизнь только по русскимъ романамъ и повѣстямъ гоголевской школы, то и тогда бы онъ пересталъ мечтать объ Аркадіи. Впрочемъ, мы не знаемъ, какъ Русановъ жаловался на провинціаловъ. У г. Ключникова приведена только одна фраза Русанова: «Ну, люди въ здѣшной сторонѣ!» А затѣмъ сказано глухо, что «онъ началъ описывать ей свои странствованія». И описывать, должно быть, прескучно, потому что она сказала ему: «будешь!»—На стр. 30, Русановъ задаетъ свой смѣлый вопросъ на счетъ Москвы, а Инна за это говоритъ ему, что онъ «точно Подколесинъ». Русановъ, развивая далѣе свою мысль, спрашиваетъ у нея, желала ли бы она насладиться развлечениями, театромъ, обществомъ? Инна отвѣчаетъ на это, что она не любитъ «вообще многолюдства, а въ частности того, что называется обществомъ».—Русановъ случайно услышалъ нѣсколько словъ, произнесенныхъ Инною въ то время, когда она думала, что она одна въ саду; слова эти были обращены къ водолазу Ларѣ. «Ты думаешь, онъ придетъ? говорила Инна. Ихъ нѣтъ больше на свѣтѣ... Ни одного...» Потерпѣвши неудачу въ разговорѣ о московскихъ развлеченияхъ, Русановъ спрашиваетъ: «кто это они, кого нѣтъ больше на свѣтѣ?» Послѣ нѣкоторыхъ отпѣкиваній, Инна отвѣчаетъ: «Они—тѣ, которые съумѣли стать выше земли.—Романтики? идеалисты? спрашиваетъ Русановъ.—Они—тѣ, говоритъ Инна, чья душа и темна, и свѣтла, какъ эта ночь; они—тѣ, что не продадутъ своей совѣсти ни за какія... коврижки. — Только-то? сказалъ онъ, чтобы что-нибудь сказать» (стр. 32). Въ этомъ діалогѣ ясно выражается желаніе г. Ключникова сдѣлать изъ Инны весьма интересное, глубокомысленное и загадочное существо. Но на всякое хотѣніе есть терпѣніе. вмѣсто глубокомыслия, фразы Инны заключаютъ въ себѣ только пустоту и напыщенность. А Русановъ здѣсь, какъ и вездѣ, говоритъ только для того, «чтобы что нибудь сказать».—На стр. 63, Инна приглашаетъ Русанова сдѣлать съ нею обходъ по деревнѣ; Русановъ, видя ея приготовленія, спрашиваетъ съ улыбкой: «посѣщеніе болящихъ?» Улыбка, должно быть, выходитъ у него приторная и глупая; по крайней мѣрѣ, Иннѣ она не нравится. «Да, чему же улыбаться-то? строго спросила она. — Въ употребленіи слова «болящихъ», вмѣсто «больныхъ», авторъ, повидимому, старается проявить «добродушный юморъ» Русанова. Выходитъ плоскость. — Побывавши въ одной мужицкой хатѣ, Русановъ утверждаетъ, что «надо, во что бы то ни стало, развить эстетическія наклонности въ народѣ». Инна осмѣиваетъ и освистываетъ эту новую пошлость, сказанную Русановымъ, по всей вѣроятности, для того, «чтобы что нибудь сказать». На стр. 67, Русановъ продолжаетъ пошлѣть: «увидавъ

на грязномъ тѣлѣ красную рану обжога», онъ изображаетъ на своемъ лицѣ «конвульсивную гримасу». Инна говоритъ ему: «дайте мазь; да не падайте въ обморокъ». На слѣдующей страницѣ, Русановъ произноситъ слова: «Какъ вы должны быть счастливы въ такія минуты!» Таки какъ эта фраза произносится «восторженно», то читатель можетъ принять ее за «горячую тираду о современномъ движеніи» дамскихъ чувствъ. Но дама русановскаго сердца понимаетъ вещи не такъ, какъ ея кавалеръ; на «восторженную» тираду о счастья посѣщать «болящихъ», Инна отвѣчаетъ, почти съ отчаяньемъ: «все бесполезно! все напрасно! ни къ чему не ведетъ!» Иной кавалеръ полюбопытствовалъ бы узнать причину этого отчаянья и вступилъ бы съ своею дамою въ разговоръ, вызывающій на размышленіе. Если дамское отчаянье указываетъ на расположеніе Инны къ нигилизму или къ какойнибудь другой зловредной пакости, то, повидимому, прямая обязанность Русанова, достигнувшаго несостоятельности всякаго зла, заключалась въ томъ, чтобы разумнымъ словомъ отвлечь тоскующую душу отъ бездны заблужденій. Но Русановъ чувствуетъ свою умственную убогость и не спрашиваетъ о причинахъ отчаянья, смутно сознавая, что разговоръ на эту тему можетъ принять очень головоломный характеръ, и что въ такомъ трансцендентальномъ разговорѣ не выйдешь ни на добродушномъ юморѣ, ни на горячей тирадѣ, ни даже на раздвиганіи вѣтвей и на жеваніи листьевъ. Русановъ поспѣшно переводитъ бесѣду на реальную почву и рассказываетъ Иннѣ, что онъ вчера подслушалъ заговоръ, направленный противъ нея; Инна совсѣмъ не хотѣла слушать, въ чемъ состоитъ заговоръ, и намъ тоже нѣтъ никакой надобности заниматься имъ, потому что самъ г. Ключниковъ, по своему обыкновенію, тотчасъ же совершенно забываетъ о его существованіи. На дальнѣйшій ходъ романа заговоръ не имѣетъ никакого вліянія; значить — ясное дѣло, — онъ былъ измышленъ для наполненія страницъ пріятными пустяками. Бесѣда снова принимаетъ направленіе психологическое и головоломное. «Развѣ у меня не можетъ быть привязанности? вопрошаетъ Русановъ. — У васъ? Полноте! отвѣтствуетъ Инна». Тогда Русановъ не на шутку приходитъ въ азартъ и пускаетъ «горячую тираду». Вотъ она вся цѣликомъ. — «Инна Николаевна! Вы, вотъ, смотрите на меня, да только и говорите, что полноте; а есть ли какаянибудь возможность выдаваться такъ, чтобы вы этого не сказали? Чѣмъ же я виноватъ, что это случается только въ романахъ, да еще въ тѣхъ, что Бѣлинскій велитъ Ваньѣ по субботамъ читать». — Кажется, Русановъ приписалъ тутъ Бѣлинскому фразу барона Брамбеуса, но это еще не велика бѣда. Но вотъ что очень плохо: Русановъ думаетъ, что выдаваться изъ толпы пошляковъ можно только какиминибудь подвигами во вкусѣ Еруслана Лазаревича; онъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что въ XIX столѣтіи людей выдвигаетъ впередъ не ло-

маніе казенныхъ стульевъ по случаю Александра Македонскаго, а умственная оригинальность и нравственная самостоятельность. Умные люди и честные работники встрѣчаются въ дѣйствительной жизни, а совсѣмъ не въ пошлыхъ романахъ. Всѣ изобрѣтатели, всѣ замѣчательные изслѣдователи, всѣ даровитые писатели, всѣ добросовѣстные преподаватели, наконецъ, всѣ люди, умѣющіе мыслить и трудиться, выдаются изъ толпы такъ, что ни одна умная женщина не скажетъ имъ: «полноте!» А развѣ эти люди встрѣчались когда нибудь въ романахъ Загоскина, Рафаила Зотова или Воскресенскаго? Значить, «горячая тирада» Русанова оказалась безцвѣтною глупостью, неудачно направленною въ тому, чтобы оправдать собственное, безцвѣтно-глупое прозябаніе говорящей личности. — Русановъ объявляетъ далѣе Иннѣ, что онъ завтра ѣдетъ въ губернскій городъ на службу. Инна говоритъ ему: «я все-таки лучше обываю думала», и спрашиваетъ потомъ: «неужели нельзя пробить свою тропинку?» Русановъ тотчасъ отхватываетъ новую тираду; въ первой онъ цитировалъ Бѣлинскаго, въ этой ссылается на Лермонтова. Я опять привожу его краснорѣчіе безъ утайки. «Вотъ что! Ну, это точно, какъ вамъ сказать вѣрнѣе, выше или ниже силъ... Помните, Лермонтовъ говоритъ, что онъ живетъ, точно читаетъ дурной переводъ книги послѣ оригинала? Да, горько, когда жизнь разбиваетъ всѣ мечты, а намъ и того хуже, мы опытни».

Оно и замѣтно, что *опытни*. Опытные люди всегда ожидаютъ найти Аркадію въ захоластѣ, наполненномъ всѣми миловидными продуктами и остатками крѣпостного права. Опытные люди всегда суются въ мировые посредники, не имѣя понятія о крестьянскомъ бытѣ и о помѣщичьихъ правахъ. Опытные люди всегда толкуютъ о томъ, что надо развивать эстетическія наклонности въ народѣ, у котораго нѣтъ ни школы, ни больницы, ни повивальныхъ бабокъ. «То есть, продолжаетъ *опытный* человѣкъ, Русановъ, у насъ и мечты-то никакой нѣтъ, нечѣмъ и въ молодости-то было скрасить дѣйствительность».

Опять пустословіе и вранье! Изъ разговора Русанова съ Бронскимъ, выписаннаго мною въ началѣ моей IV главы, мы уже знаемъ, что у обоихъ товарищей были мечты, когда они на станціи, вмѣсто вина, *пили «вступленіе въ жизнь»*. Русановъ даже упрекаетъ Бронскаго въ томъ, что онъ опять утонулъ въ мечтахъ. А Бронскій принадлежитъ къ одному поколѣнію съ Русановымъ. Значить, какой же смыслъ имѣютъ слова Русанова—*у насъ*? Какихъ это *насъ* онъ противопоставляетъ поколѣнію Лермонтова? И за чѣмъ же Русановъ намекаетъ на существованіе *поколеньи*, когда г. Ключниковъ уже доказалъ, посредствомъ Бронскаго, заблуждающемуся гимназисту, Колѣ Горобцу, что никакихъ поколѣній быть не можетъ, ибо люди рождаются каждую минуту? А кстати можно замѣтить, что на стр. 27 г. Ключниковъ самъ, отъ своего ав-

торсваго лица, употребляетъ слово «поколѣніе», которое онъ потомъ, на стр. 56, побѣдоносно осмѣиваетъ. Значить, какъ же мы рѣшимъ мудреный вопросъ: существуютъ ли дѣйствительно поколѣнія или же они изобрѣтены журнальными свистунами? Русановъ ставитъ себѣ въ заслугу то, что у него были такіа мечты, которыя не могли скрасить дѣйствительность; онъ драпируется въ тогу гордаго страданія и говоритъ: «намъ и того хуже». Но слова «намъ и того хуже», которыя онъ произноситъ съ тайною гордостью, должны быть, напротивъ того, произнесены съ глубочайшимъ смиреніемъ. Въ нихъ заключается, по настоящему, слѣдующій смыслъ: «я очень глупъ въ сравненіи съ Лермонтовымъ; у меня нѣтъ ни ума, ни чувства, ни фантазіи, и поэтому, даже мои юношескія мечты были тусклы, какъ старый, стертый четвертакъ.»

Одинъ мужикъ мечталъ такимъ образомъ: кабы я, говоритъ, былъ царемъ, я бы каждый день свиное сало ѣлъ! Одна кухарка аккуратно каждую ночь видѣла во снѣ, что она стоитъ передъ плитою и ворочаетъ разныя вострюли. Мечты мужика и сновидѣнія кухарки очень мало способны «скрасить дѣйствительность», потому что онѣ почти совсѣмъ не отдѣляются отъ ихъ дѣйствительности, но этотъ трезвый характеръ ихъ грезъ вовсе не доказываетъ намъ, что этотъ мужикъ и эта кухарка — мыслящіе реалисты и отличные работники. Это доказываетъ только, что они задавлены и притуплены до крайности безцвѣтнымъ однообразіемъ своего существованія. Ихъ умственный горизонтъ такъ узокъ, ихъ жизнь такъ бѣдна впечатлѣніями, что имъ не откуда взять красокъ для разрисовыванія фантастическихъ картинъ. Если русановскія мечты проникнуты ароматомъ свиного сала и кухонной посуды, если, вступая въ жизнь, онъ не требовалъ отъ нея почти ничего и готовъ былъ удовлетвориться самыми мизерными размѣрами дѣятельности, то это доказываетъ не то, что Русановъ *опытенъ* и годенъ на какое нибудь практическое дѣло, а только то, что Русановъ — бездарный, вялый, тряпичный человѣкъ, перешедшій прямо изъ дѣтства въ старость. Мыслящіе юноши — лучше юношей мечтающихъ; но мечтающіе юноши все-таки лучше юношей «умѣренныхъ и аккуратныхъ». Безтолковый идеалистъ Рудинъ стоитъ все-таки неизмѣримо выше искуснаго практика Молчалина. Но Русановъ стоитъ даже ниже Молчалина, потому что Молчалинъ, по крайней мѣрѣ, дѣйствительно опытенъ, а у влюбленнаго героя даже и этого достоинства не имѣется. — «Инна Николаевна, говоритъ Русановъ далѣе, да кто-жъ мнѣ мѣшалъ жить въ Москвѣ, сложа руки? Тамъ у меня и домъ есть, и доходъ порядочный. Нѣтъ, это мое убѣжденіе, только такъ и можно что нибудь сдѣлать; все остальное безсильно...» Что именно *хотѣлъ* сдѣлать Русановъ и что подразумеваетъ онъ въ словѣ «*что нибудь*» — этого я не знаю. Но что

онъ *стлалъ*—это намъ доподлинно извѣстно. Онъ посмотрѣлъ на бѣлое кольцо дыма, пущенное Чижиковымъ, и уклонился отъ *«тяжелого объясненія»*. И какой, подумаешь, всезнающій человекъ этотъ Русановъ! *«Все остальное бессильно...»* значить, все извѣдано Русановымъ, все обдуманно и взвѣшено. Каковъ мудрецъ! Сущій Гете!

«Была ему звѣздная книга ясна
И съ нимъ говорила морская волна.»

Но позвольте, господинъ столоначальникъ Гете! «Все остальное»? Все, кромѣ чего? Все, кромѣ гражданской палаты? Значить, теперь, когда гражданская палата будетъ совершенно передѣлана судебною реформою, теперь все безъ исключенія сдѣлается бессильнымъ? Ахъ, милѣйшій господинъ Русановъ, Гете тожъ, зачѣмъ вы издаете звуки, въ которыхъ вы сами не можете усмотрѣть никакого опредѣленнаго смысла? Зачѣмъ вы говорите обо *всемъ остальномъ*, когда вы совсѣмъ ни о чемъ, да вѣдь рѣшительно ни о чемъ не имѣете никакого понятія? — Ахъ, оставьте меня въ покоѣ, отвѣчаетъ разобиженный Русановъ. Я-то чѣмъ виноватъ? Это все г. Ключниковъ подсказываетъ мнѣ такіа глупости. И охота же вамъ обращаться ко мнѣ, какъ къ живому человеку, когда я просто кипа печатной бумаги. — Это я, господинъ Русановъ, знаю, а обращаюсь къ вамъ только по игривости моего характера.— По окончаніи разговора, Инна, глядя вслѣдъ Русанову, подумала: *«naxel»* (Sic!) (стр. 71).

VI.

На стр. 135, Русановъ говоритъ Иннѣ: «я боюсь, что вы попадетесь подъ вліяніе Бронскаго. — А что? возражаетъ Инна. Развѣ онъ брыкается?» — Русановъ боится за Инну, а между тѣмъ, наканунѣ, когда Бронскій при Иннѣ заговорилъ въ духѣ страшной нетерпимости, тотъ же самый Русановъ «рѣшился уступить поле противнику и удалился въ уголокъ» (стр. 128). Да, конечно, «удаляясь въ уголокъ», мудрено противоdѣйствовать вліянію такого человека, который говоритъ смѣло и горячо. Отступая отъ честной и открытой борьбы съ идеями Бронскаго, Русановъ, какъ старая салонница, старается пошептать кое-что противъ Бронскаго во время его отсутствія. Зачѣмъ же Русановъ наканунѣ «рѣшился уступить поле противнику?» Или онъ не хотѣлъ, или не могъ спорить съ Бронскимъ. Не хотѣлъ? Странное предположеніе! Любящій

мужчина видитъ, что любимая женщина находится въ опасности и, для ея спасенія, *не хочетъ* шевельнуть мозгомъ и возвысить голосъ. Хороша любовь и хорошъ мужчина!—Оказывается, что не могъ. Инна спрашиваетъ прямо: «развѣ не правду говорилъ онъ вчера?»—Русановъ отвѣчаетъ: «правду!» Иначе онъ и не можетъ отвѣтить, потому что тогда Инна тотчасъ задала бы ему вопросъ: зачѣмъ же вы его вчера не опровергали? и на это Русанову пришлось бы отвѣтить: потому, Инна Николаевна, что я еще гораздо глупѣе Бронскаго, хотя и Бронскій глупъ весьма достаточно. Но, сознавшись въ томъ, что Бронскій говоритъ правду, Русановъ прибавляетъ тотчасъ: «да вѣдь это все однѣ слова.» Русанову хотѣлось, повидимому, чтобы изъ рта Бронскаго сыпались, вмѣсто словъ, червонцы или алмазы. Къ сожалѣнію, этого не бываетъ. Когда человѣкъ говоритъ, онъ всегда произноситъ только слова, и весь вопросъ состоитъ въ томъ, правдивы ли эти слова или нѣтъ. Если бы Инна увлекалась *правдивыми* словами Бронскаго, то она, очевидно, поддавалась бы не вліянію Бронскаго, а вліянію истины. Признавая слова Бронскаго за выраженіе истины, Русановъ отнимаетъ у себя всякую возможность противодѣйствовать его вліянію. Впрочемъ, я крѣпко сомнѣваюсь въ томъ, чтобы Бронскій дѣйствительно былъ способенъ высказывать такіа истины, которыя могутъ увлечь умную женщину. Изъ сцены Бронскаго съ Колею, мы уже видѣли, что Бронскій несетъ чепуху страшную. А что онъ говорилъ, когда Русановъ удалился въ уголокъ,—этого мы не знаемъ, потому что г. Ключниковъ не мастеръ сочинять для своихъ героевъ рѣчи, вызывающія на размышленіе. У г. Ключникова сказано очень глухо, что «Бронскій громилъ все съ плеча, говорилъ съ жаромъ... отъ чиновничества перешелъ къ обществу... досталось и литературѣ.» (Стр. 128). Обо всемъ этомъ можно говорить очень умно, но можно также говорить и очень глупо. Я полагаю, что Бронскій говорилъ очень глупо, по той простой причинѣ, что онъ есть дѣйствующее лицо въ романѣ «Марено», сочиненномъ г. Ключниковымъ. А Инна и Русановъ слушали его, развѣсивъ уши, потому что они оба нисколько не уступаютъ Бронскому въ слабоуміи. Продолжая разговоръ о вліяніи Бронскаго, Инна задаетъ Русанову вопросъ: «какой-же вашъ-то идеалъ? Обрисуйте»... Русановъ на это отвѣчаетъ, что у нихъ въ гражданской палатѣ товарищъ предсѣдателя Доминовъ—очень хорошій человѣкъ, и что этотъ Доминовъ однажды въ городскомъ саду объяснилъ ему, Русанову, какимъ образомъ муравьи сосутъ сладкій сокъ, выдѣляемый тлями. Если читатель не иѣритъ мнѣ на слово, что такой отвѣтъ дѣйствительно былъ данъ Русановымъ на вопросъ объ идеалѣ, то я убѣдительно прошу читателя взглянуть на 137 страницу I-го тома романа «Марено». На стр. 160, Русановъ рассказываетъ Иннѣ «грустныя извѣстія, полученные имъ изъ Петербурга». Эти «грустныя извѣстія» такъ

глупы, безсвязны и неправдоподобны, что я о нихъ, по всегдашней моей скромности, умолчу. «Ну-съ, перебила Инна, наговорили вы много; къ какому результату вы пришли?» Этотъ вопросъ застаётъ Русанова врасплохъ и ставитъ его въ тупикъ. Онъ спрашиваетъ простодушно: «какой же тутъ результатъ?» Онъ рассказывалъ слухи, такъ какъ словоохотливыя кухарки рассказываютъ другъ другу всякія сплетни, и вдругъ отъ него потребовали какого-то результата. Разумѣется, онъ вытаращилъ глаза и немедленно стушевался. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что Русановъ — любимецъ г. Ключникова. Именно по этой причинѣ, Русановъ глупѣ всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ. Онъ отъ всѣхъ получаетъ щелчки по носу, и на всѣ эти ласки отвѣчаетъ только оханьемъ и соболизнованіями о человѣческой испорченности.—На стр. 167, Русановъ объявляетъ, что ему не нравится орфографія г. Кудиша. На стр. 168, онъ спрашиваетъ, «что такое духъ времени?» Изъ этого вопроса, мы можемъ заключить, что у Русанова память очень коротка; на стр. 147, онъ упрекалъ Бронскаго въ томъ, что Бронскій кланяется «духу времени», потому что ему уже совѣстно кланяться генераламъ. Значить, на 147 страницѣ Русановъ зналъ, что такое духъ времени, но съ тѣхъ поръ успѣлъ позабыть. А впрочемъ, можетъ быть и то, что Русановъ на 147 стр. употреблялъ такое слово, котораго смыслъ для него непонятенъ. Такіе случаи вовсе не рѣдки. Если бы всякій дуракъ непремѣнно желалъ понимать все, что онъ самъ говоритъ, то многимъ дуракамъ пришлось бы обречь себя на вѣчное безмолвіе. У насъ же дураки не только говорятъ неумоимо, но еще, кромѣ того, пишутъ, печатаютъ и издають журналы, газеты и книги.—На стр. 168, Русановъ порицаетъ идеалы Шевченка; но я осмѣлюсь замѣтить, что Русановъ, быть можетъ, судитъ Шевченка слишкомъ строго; вѣдь легко можетъ быть, что Шевченко не былъ знакомъ съ товарищемъ председателя Доминовымъ, не гулялъ съ нимъ по городскому саду и не слышалъ отъ него рассказовъ объ отношеніяхъ между муравьями и тлими. Послѣ этого, посудите сами, есть ли возможность требовать отъ несчастнаго поэта, чтобы онъ выработалъ себѣ тотъ высокій идеалъ, который обрисованъ Русановымъ нъ стр. 137? Когда мы судимъ о человѣкѣ, надо всегда принимать въ соображеніе обстоятельства, облегчающія его вину.—На стр. 170, Русановъ объявляетъ, что у него «отъ этой литературы ужъ голова трещить.»—«Такъ и порѣшили ничего не читать, чтобы голова всегда свѣжа была?» спрашиваетъ Инна.—Такъ и порѣшилъ, отвѣчаетъ «съ неудовольствіемъ» любимецъ г. Ключникова, росписываясь этимъ отвѣтомъ въ полученіи полновѣснаго щелчка по носу.—На стр. 180, Русановъ, разговаривая съ Инною въ саду, днемъ, обнаруживаетъ внезапно такую предпримчивость, что Инна кричитъ «въ испугѣ: Владимиръ!» и потомъ, чтобы успокоить разгуливавшагося шалуна.

говорить ему: «ужо! ужо!» Такъ какъ г. Ключникову угодно, чтобы Инна любила Русанова, то оказывается, что она сама дрожить отъ страсти въ русановскихъ объятіяхъ и вырывается изъ нихъ только изъ уваженія къ условіямъ времени и мѣста. Однако Русанову не пришлось дожидаться никакого «ужо!» Вскорѣ послѣ нескромныхъ объятій, Инна убѣгаетъ съ Бронскимъ за границу. Русановъ, узнавши о ея побѣгѣ, гонится за нею верхомъ по большой дорогѣ, куда-то пропадаетъ въ продолженіи двухъ дней, никого не успѣваетъ догнать и приобрѣтаетъ себѣ горячку. Изъ этого подвига можно заключить, что Русановъ—неустрашимый всадникъ, но весьма плохой мыслитель и діалектикъ; ему надо было дѣйствовать на Инну силою убѣжденія тогда, когда она еще была способна слушать совѣты. Когда же молодая дѣвушка опалѣла на столько, что рѣшилась бѣжать, тогда уже поздно и глупо лупить за нею во всѣ лопатки по большой дорогѣ. Чѣмъ именно Бронскій околдовалъ Инну—это остается для насъ тайною. Побѣгъ ея составляетъ для читателя совершенный сюрпризъ. Убѣгая вмѣстѣ съ Бронскимъ, Инна оставляетъ Русанову, по приказанію г. Ключникова, разные похвальные аттестаты. Въ письмѣ, написанномъ ею передъ самымъ побѣгомъ, изображены слѣдующія слова: «едва вы сказали первое слово любви, едва я поглядѣла вамъ въ глаза, я узнала одну изъ тѣхъ страстныхъ, упорныхъ привязанностей, которыя часто длятся цѣлую жизнь»... «Чѣмъ больше мы съ вами сходились, тѣмъ больше убѣждалась я, что вы превосходный человѣкъ» и такъ далѣе (Стр. 216.). Бумага все терпитъ; написать на ней можно, что угодно; но какъ бы ни расхваливалъ г. Ключниковъ свое любимое созданіе, какъ бы онъ ни божился въ томъ, что Русановъ—самый первый сортъ, отмѣннѣйшей доброты, мыслящій читатель все-таки будетъ только смѣяться надъ этою гостинодворскою замашкою автора превозносить собственные издѣлія, которыми онъ не умѣетъ придать никакихъ дѣйствительныхъ достоинствъ.—На стр. 340, мы читаемъ отрывки изъ дневника Инны. 15 Іюня она находитъ въ Русановѣ «дикія понятія;» 17 Іюня—«честныя, славныя понятія.» 19 Іюня «я перестаю подавать ему руку.» 29 Іюня, «этотъ человѣкъ загадка.»—Такъ нагло до сихъ поръ еще ни одинъ писатель не насмѣхался надъ публикой. Мы рѣшительно не знаемъ, какими сужденіями или поступками Русановъ производилъ на Инну тѣ противорѣчивыя впечатлѣнія, которыя она занесла въ свой дневникъ. Этотъ дневникъ составляетъ для насъ тарабарскую грамоту; это еще одно проявленіе усерднаго, но чрезвычайно неискускаго и неудачнаго шарлатанства.

VII.

Прибавлю еще одно короткое замѣчаніе. Г. Ключниковъ вводитъ насъ въ губернскую гимназію и, бредя ощупью, натывается тамъ на педагогическій вопросъ. Гимназисты распущены до нелзя, дурачатся, не хотятъ учиться и лѣзутъ въ политику. Приѣзжаетъ изъ Петербурга новый инспекторъ Разгоняевъ. Онъ собираетъ учителей на педагогическій совѣтъ и спрашиваетъ, какъ они намѣрены вести воспитаніе юношества. Одинъ изъ педагоговъ говоритъ, что у нихъ мальчишки «все такой народъ—аховый.» Другой говоритъ: «кто съ борку, кто съ сосенки.» *Аховый* характеръ и древесное происхожденіе мальчишекъ доказываютъ ясно, что противъ нихъ надо дѣйствовать *аховыми* и древесными средствами. Нѣмецъ говоритъ, что «нужно... розга.» Молодой учитель математики объясняетъ беспорядки въ классѣ тѣмъ, что учительскія и надзирательскія обязанности соединяются въ одномъ лицѣ. По его мнѣнію, необходимо, чтобы въ классѣ сидѣлъ надзиратель. Однако самъ г. Ключниковъ быстро уличаетъ этого учителя во враньѣ; беспорядки происходятъ въ дортуарахъ, гдѣ постоянно торчитъ надзиратель. Инспекторъ совѣтуетъ учителямъ обходиться съ воспитанниками помягче и представлять ему немедленно о всякомъ наказаніи. Но вскорѣ этотъ инспекторъ, подобно Ингѣ, попадаетъ подъ вліяніе злыхъ людей, и беспорядки въ гимназіи не прекращаются. А г. Ключниковъ, по своему обыкновенію, наткнувшись на мудреный вопросъ, оставилъ его неразрѣшеннымъ, и представилъ такіе факты, которые ведутъ за собою неблагоприятныя заключенія. Какими же мѣрами можно усмирить свирѣпость *аховаго* народа? «Драть или не драть? вотъ въ чемъ вопросъ.»—Г. Ключникову хочется, повидимому, рѣшить этотъ гамлетовскій вопросъ въ томъ смыслѣ, что драть не годится, а посѣкать—не мѣшаетъ. А «Русскій Вѣстникъ» рѣшить, вѣроятно, этотъ вопросъ такъ: въ филологическихъ гимназіяхъ давать воспитанникамъ заразъ по 25 розогъ; въ реальныхъ же, по крайней мѣрѣ, вдвое, потому что естественныя науки развиваютъ въ юношахъ *аховое* направленіе, которое нуждается въ столь же *аховомъ* противоудѣйствіи.—Убѣдительно прошу мыслящую часть русской публики извинить меня, что я такъ долго возился съ романомъ «Марево».

ПРОМАХИ НЕЗРѢЛОЙ МЫСЛИ.

I.

Прежде, чѣмъ я приступлю къ настоящему предмету моей статьи, я долженъ поправить одинъ *промахъ* моей собственной *мысли*, которую я во многихъ отношеніяхъ считаю очень *незрѣлою*. Лѣтъ пять-шесть тому назадъ я прочиталъ раза два или три повѣсти и рассказы графа Л. Н. Толстого, печатавшіеся тогда въ «Современникѣ». Читалъ я ихъ съ увлеченіемъ; они мнѣ очень нравились, но я былъ еще до такой степени молодъ, что рѣшительно не въ силахъ былъ бросить на нихъ общій взглядъ, и вдуматься въ настоящій смыслъ тѣхъ типовъ, которые изучилъ и воспроизвелъ графъ Толстой. Вниманіе мое останавливалось на удивительно тонкой отдѣлкѣ мелкихъ подробностей, ландшафтныхъ, бытовыхъ и, преимущественно, психологическихъ. Въ эти дни моей самой ранней юности, я былъ помѣшанъ, съ одной стороны, на величій науки, о которой не имѣлъ никакого понятія, а съ другой, на красоту поэзіи, которой представителями я считалъ, между прочими, г. Фета и моего университетскаго товарища, г. Крестовскаго. Прочитавши повѣсти Толстого, я, разумѣется, рѣшилъ, что Толстой — поэтъ, и что я долженъ быть ему очень благодаренъ за доставленное мнѣ эстетическое наслажденіе. Въ 1860-мъ году въ моемъ развитіи произошелъ довольно крутой поворотъ. Гейне сдѣлался моимъ любимымъ поэтомъ, а въ сочиненіяхъ Гейне мнѣ всего больше стали нравиться самыя рѣзкія ноты его смѣха. Отъ Гейне понятенъ переходъ къ Молюту, и вообще къ естествознанію, а далѣе идетъ уже прямая дорога къ послѣдовательному реализму и къ строжайшей утилитарности. Когда эти переходы совершились, тогда, конечно, всякую чистую художественность я съ величайшимъ наслажденіемъ выбросилъ за бортъ. Мнѣ

такъ много надо было читать, учиться и работать, что рѣшительно не было возможности пересматривать отдѣльно каждую изъ тѣхъ бездѣлушекъ, которыя составляли въ совокупности пеструю кучу поэзій, возбуждавшей недавно мои юношескіе восторги. Я осудилъ и осмѣялъ въ своемъ умѣ всю эту кучу гуртомъ, не боясь ошибиться, потому что общее впечатлѣніе было еще очень свѣжо въ моей памяти. Память меня не обманула, но вѣдь память сохраняетъ только то, что вы сами даете ей на сохраненіе. Если вы въ сумеркахъ разсматривали какую нибудь матерію, которая тогда показалась вамъ прочною и красивою, то память такъ и отмѣтитъ у себя, что-молъ въ такомъ-то магазинѣ есть такая-то матерія, прочная и красивая. Но будетъ-ли замѣченная матерія, дѣйствительно соответствовать вашимъ ожиданіямъ, не разочаруетесь ли вы въ ея достоинствахъ, когда увидите ее днемъ? — это уже такіе вопросы, на которые никакъ не можетъ отвѣчать ваша память. Память моя говорила мнѣ, что пестрая куча нравилась мнѣ своею чистою художественностію. Умъ мой отвѣчалъ на это: значить, ни куда не годится! — Но не было ли въ этой кучѣ, кромѣ чистой художественности, какихъ нибудь золотыхъ крупинокъ мысли, незамѣченныхъ и неощищенныхъ мною въ то время, когда я способенъ былъ восхищаться только сладкими звуками? — это такой вопросъ, котораго не могли рѣшить ни память, ни умъ, произносившій свой приговоръ на основаніи общихъ воспоминаній. Вотъ тутъ-то и случился промахъ. Въ статьѣ моей: «Цвѣты невиннаго юмора» я, мелькомъ упоминая о литературной дѣятельности графа Толстого, замѣчаю, что публика отнеслась къ ней довольно равнодушно, и объясняю это равнодушіе тѣмъ обстоятельствомъ, что въ произведеніяхъ графа Толстого нѣтъ ничего, кромѣ чистой художественности. Это объясненіе никуда не годится. Въ нынѣшнемъ году вышли сочиненія Толстого въ изданіи г. Стелловскаго. Я прочиталъ «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика» и «Люцернъ». На этомъ я покуда остановился. Меня изумили обиліе, глубина, сила и свѣжесть мыслей. Мнѣ пришло въ голову, что критика наша молчала о Толстомъ, или, еще того хуже, говорила о немъ ласкательные пустячки, единственно по своему признанному безсилію и скудоумію. Добролюбову неловко было черезъ-чуръ много говорить о постоянномъ сотрудничѣ «Современника», ну а кромѣ Добролюбова, — извѣстное дѣло, — хоть шаромъ покати! Аполлонъ Григорьевъ, у котораго, при всей его безалаберности, были очень живые проблески мысли и чувства, Аполлонъ Григорьевъ, говорю я, понималъ, что произведенія Толстого затрогиваютъ что-то очень большое и очень важное; понималъ онъ, что тутъ хорошо было бы пошевелить мозгами и кое-что разъяснить; и началъ онъ во «Времени» статью о Толстомъ; и, разумѣется, ничего не разъяснилъ. Всѣмъ статьямъ этого критика постоянно суждено было оставаться размахистыми вступленіями во что-то

такое, о чемъ ни Григорьевъ, ни его читатели не имѣли, не имѣютъ и никогда не будутъ имѣть никакого понятія. Толстой остался по прежнему въ тѣни. Его читаютъ, его любятъ, его знаютъ, какъ тонкаго психолога и граціознаго художника, его уважаютъ, какъ почтеннаго работника въ ясно-полянской школѣ, но до сихъ поръ, никто не подхватилъ, не разработалъ и не подвергнулъ тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается въ превосходныхъ повѣстяхъ этого писателя. О каждомъ романѣ Тургенева кричатъ и спорятъ, по крайней мѣрѣ, по полугоду. Толстого прочитаютъ, задумаются, ни до чего не додумаются, да такъ и покончатъ дѣло благоразумнымъ молчаніемъ. Это молчаніе я попробую нарушить. Въ моей статьѣ читатель не найдетъ, разумѣется, ни похвалъ, ни порицаній писателю. Онъ найдетъ только анализъ тѣхъ живыхъ явленій, надъ которыми работала творческая мысль графа Толстого.

II.

Читатели мои знаютъ, конечно, что вѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» составляютъ три отдѣльныя части воспоминаній Николая Иртеньева. Эти воспоминанія начинаются съ одинадцатаго и доходятъ до восемнадцатаго года его жизни. Въ концѣ своего «Отрочества», за нѣсколько мѣсяцевъ до вступленія въ университетъ, Иртеньевъ сближается съ княземъ Нехлюдовымъ, котораго характеръ, набросанный довольно яркими чертами въ «Юности», дорисовывается вполне въ отдѣльныхъ разсказахъ: «Утро помѣщика» и «Люцернъ». — Иртеньевъ и Нехлюдовъ принадлежать оба къ тому поколѣнію, которому, во время крымской войны, было около тридцати лѣтъ. Это поколѣніе лѣтъ на десять моложе Рудинныхъ и Печоринныхъ, и лѣтъ на десять или на пятнадцать старше Базаровыхъ. Въ настоящую минуту людямъ базаровскаго типа можно положить возрастъ отъ двадцати до тридцати лѣтъ; Иртеньевымъ и Нехлюдовымъ — около сорока, а Рудиннымъ и Печориннымъ слишкомъ пятьдесятъ. Впрочемъ, границы базаровскаго типа еще не могутъ быть обозначены, потому что въ настоящую минуту мы не видимъ его конца. Трудно сдѣлаться раньше двадцати лѣтъ зрѣлымъ, то есть, вполне сознательнымъ и непоколебимымъ Базаровымъ, но изъ этого обстоятельства никакъ нельзя выводить то заключеніе, что молодые люди, еще не достигшіе двадцатилѣтняго возраста, составляютъ крайній предѣлъ базаровскаго типа; пятнадцатилѣтній мальчикъ, конечно, не можетъ быть Базаровымъ, потому что въ эти лѣта характеръ

и образъ мыслей едва начинаетъ формироваться; но утверждать, что этотъ мальчикъ никогда не будетъ Базаровымъ, было-бы очень опрометчиво. Напротивъ, можно сказать почти навѣрное, что черезъ нѣсколько лѣтъ умный пятнадцатилѣтній мальчикъ сдѣлается непрѣмѣнно Базаровымъ.

Въ настоящую минуту, въ умственной жизни нашего общества нѣтъ еще рѣшительно ни одного признака, на основаніи котораго мы могли бы предположить, что на смѣну Базаровыхъ вырабатывается какой-нибудь новый типъ.—Иртеньевы и Рудины находятся въ совершенно другомъ положеніи. Это—типы прошедшаго, скромно доживающіе свой вѣкъ, и уже не обновляющіеся притокомъ новыхъ представителей. Иртеньевы и Нехлюдовы, какъ по своему возрасту, такъ и по характеру, занимаютъ середину, между Рудинными съ одной стороны, и Базаровыми съ другой. Рудины—чистые говоруны, неимѣющіе даже понятія о возможности какой нибудь дѣятельности, кромѣ дѣятельности языка. Базаровы—чистые работники, допускающіе дѣятельность языка только въ томъ случаѣ, когда она содѣйствуетъ успѣху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы—ни рыба, ни мясо. Они за все хватаются, вездѣ хотятъ произвести что нибудь изумительно хорошее, и, въ то же время, совсѣмъ ничего не знаютъ, и рѣшительно ничего не умѣютъ сдѣлать, какъ слѣдуетъ. Рудины берутся за какую нибудь работу только въ самомъ крайнемъ случаѣ, то есть, когда имъ ѣсть нечего. Да и тутъ работа идетъ у нихъ такъ нескладно, что они сидятъ впроголодь и ходятъ съ разодранными локтями. У Иртеньевыхъ жажда дѣятельности гораздо сильнѣе, чѣмъ у Рудинныхъ, а на счетъ практической сметливости они другъ друга стоятъ. Настоящее назначеніе Иртеньевыхъ и Нехлюдовыхъ заключается въ томъ, чтобы сидѣть на мягкомъ креслѣ и кушать страсбургскіе пироги. Это единственное занятіе, которому они могутъ предаваться съ полнымъ успѣхомъ. Но ихъ неугомонная добродѣтель никакъ не позволяетъ имъ удовлетворяться такою безмятежною отраслью дѣятельности. Ихъ все подмываетъ сотворить какое нибудь удивительно мудреное добро. Они вскакиваютъ съ мягкаго кресла, хлопчутъ до обморока и кончаютъ свои добродѣтельныя упражненія тѣмъ, что разоряются въ пухъ. Впрочемъ, этотъ результатъ самъ по себѣ очень недуренъ, потому что нѣкоторые обломки нехлюдовскаго или иртеньевскаго состоянія попадаютъ иногда въ руки такихъ людей, которые, во-первыхъ, нуждаются въ деньгахъ, а во-вторыхъ, умѣютъ съ ними обращаться. Такимъ образомъ, Нехлюдовы и Иртеньевы приносятъ иногда пользу совершенно произвольно, подобно тому, какъ многіе люди оказываютъ обществу незамѣнимую услугу своею мирною кончиною. А между тѣмъ, Иртеньевы и Нехлюдовы—люди очень неглупые и совсѣмъ не подлые. Тѣ изъ нихъ, которые родились и выросли въ знатныхъ семей-

ствахъ, готовы даже, для совершенія великихъ подвиговъ добра, переломить свои привычки къ роскошной жизни и разорвать свои связи съ аристократическимъ обществомъ. Стало быть, въ недостаткѣ усердія ихъ упрекнуть нельзя; и объяснить ихъ бесполезность исключительно разслабляющимъ вліяніемъ барственаго воспитанія было бы также не совсѣмъ основательно. Причины ихъ практической непригодности и ихъ безплодныхъ страданій оказываются гораздо сложнее и лежатъ гораздо глубже, чѣмъ можно было бы подумать при бѣгломъ взглядѣ на общій очеркъ ихъ неудачной дѣятельности. Причины эти показаны графомъ Толстымъ такъ ясно, такъ подробно и такъ убѣдительно, что мнѣ остается только сгруппировать для общихъ выводовъ тѣ бытовые и психологическіе факты, которые разбросаны въ отдѣльныхъ сценахъ и отрывочныхъ эпизодахъ «Дѣтства», «Отрочества» и «Юности».

III.

Съ самаго ранняго возраста, Иртеньевъ чувствовалъ мучительный разладъ между мечтою и дѣйствительностью. Вотъ короткій отрывокъ изъ его воспоминаній о классной комнатѣ. «Изъ окна на право видна часть террасы, на которой саживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало, покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью нибудь снину и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ; такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть и, Богъ знаетъ отчего и о чемъ, такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.» (Стр. 9).

Мальчишкѣ лѣнь, мальчишкѣ учиться не хочется, скажутъ эксперты по части педагогики. Мы къ этому давно привыкли, и ничего тутъ пѣтъ особеннаго. — Знаю, господа. Но именно это-то и скверно, что вы давно къ этому привыкли, и не видите тутъ ничего особеннаго. Это-то и скверно, что подобныя исторіи повторяются аккуратно каждый день, въ каждомъ семействѣ, въ которомъ есть учащіеся дѣти. Это-то и скверно, что мы всегда принимаемъ господствующій обычай за законъ природы. Присмотримся къ тому отдѣльному случаю, который представляется намъ въ воспоминаніяхъ Иртеньева. Ребенку хочется быть вмѣстѣ съ матерью и съ большими. — Зачѣмъ его туда не пускаютъ? — Ребенку не хочется сидѣть за диктовкою и за діалогами. — Зачѣмъ его къ этому приневоливаютъ? — Что за глупые вопросы? заговорятъ хоромъ всѣ читатели,

эксперты и не эксперты, мужчины и женщины, старики и молодые. — Зачѣмъ? Надо же ребенку учиться! Нельзя же ему баклушничать! — А я опять свое: зачѣмъ же надо? И отчего же нельзя? — Ну! часть отъ часу не легче! Надо ребенку учиться, напимѣръ, хоть-бы для того, чтобы, по достиженіи извѣстнаго возраста, поступить въ учебное заведеніе. — А зачѣмъ же ему, по достиженіи извѣстнаго возраста, надо поступить въ учебное заведеніе? — Фу, какія глупыя шутки! Зачѣмъ, чтобы учиться, чтобы сдѣлаться образованнымъ человѣкомъ, чтобы составить себѣ какую нибудь карьеру. — (Слова «учиться» и «сдѣлаться образованнымъ человѣкомъ» приведены здѣсь для украшенія рѣчи. Поэтому я пропущу ихъ мимо ушей и задамъ еще одинъ вопросъ, который уже окончательно выведетъ изъ терпѣнія всѣхъ моихъ собесѣдниковъ). — А зачѣмъ же ему надо составить себѣ какую нибудь карьеру? — Что-жъ ему, по вашему, собакъ гонять въ деревнѣ, или въ свинопасы опредѣлиться? Или нить, ѣсть, спать и баловаться съ горничными? Что это вы, у госпожи Простаковой, урожденной Скотининой, что-ли, заимствовали педагогическую философію?

Напрасно вы, волнующіеся читатели, думаете застращать меня именемъ госпожи Простаковой, урожденной Скотининой. Не въ обиду вамъ будь сказано, госпожа Простакова, урожденная Скотинина, окажется гениальною мыслительницею, если мы сравнимъ ея идеи о воспитаніи съ тѣмъ жалкимъ наборомъ перепутанныхъ и непонятныхъ полу-правиль и полу-фразъ, который считается обязательнымъ кодексомъ общепринятой домашней педагогики. У Простаковой есть одно драгоценное свойство; у нея есть послѣдовательность, а у васъ, господа эксперты, ея нѣтъ; и вы даже инстинктивно боитесь ея; и ненавидите эту проклятую послѣдовательность въ другихъ людяхъ. Простакова говоритъ, напимѣръ, что географія совсѣмъ не дворянская наука, потому что на то есть кучеръ, чтобы везти, куда ему прикажутъ безо всякаго описанія земли. Превосходная мысль! Изумительная логика! Самый прямой и необходимый выводъ изъ крѣпостнаго права! Когда подъ моею властью находятся люди, обязанные удовлетворять всѣмъ моимъ потребностямъ и исполнять всѣ мои прихоти, тогда я смѣло отрицаю всякую науку, въ томъ числѣ и географію. Такъ всегда было, и того требуетъ сила вещей или логика исторіи. А просвѣщенные педагоги разсуждаютъ о географіи совсѣмъ иначе. Они говорятъ, что географія есть одна изъ отраслей знанія, и что знаніе вообще расширяетъ умъ человѣка и умягчаетъ его душу. И говоря эти хорошія слова, они, въ то же время, понимаютъ какъ нельзя лучше, что ни учебникъ Арсеньева, ни учебникъ Ободовскаго, ни учебникъ Павловскаго не расширили до сихъ поръ ничьего ума и не умягчили ничьей души. Хорошія слова произносятся такимъ образомъ даже безъ малѣйшей надежды обмануть ими кого бы то ни было. Сужденія Простаковой гораздо разумнѣе этихъ хорошихъ

словъ, потому что Простакова, по крайней мѣрѣ, сама крѣпко вѣрить въ истину того, что она говорить. — Когда Митрофанушка объявляетъ: «не хочу учиться, хочу жениться!» — тогда Простакова начинаетъ его ублажать: «ты, говорить, хоть для виду поучись! А тамъ мы тебя сейчасъ и женимъ.» — Здѣсь опять Простакова оказывается правдивѣе и благоразумнѣе просвѣщенныхъ педагоговъ. Она понимаетъ, что, когда человѣкъ не хочетъ учиться, тогда онъ можетъ учиться только для виду. Понимая это дѣло такъ просто и разумно, она и высказываетъ свое желаніе совершенно прямо и откровенно. Просвѣщенные педагоги, повидимому, знаютъ натуру дѣтей гораздо глубже, чѣмъ знала ее госпожа Простакова; они пишутъ цѣлыя статьи о томъ, что ребенка слѣдуетъ приохотить къ ученію. Кромѣ того, они такъ глубоко уважаютъ науку, что ни за что не рѣшатся сказать воспитаннику: поучись только для виду! Но, такъ какъ писать статьи и уважать науку гораздо легче, чѣмъ возиться съ шаловливыми ребятами, — то, при первомъ же столкновеніи съ дѣйствительностью, то есть, съ живымъ, а не съ воображаемымъ воспитанникомъ, просвѣщенные педагоги тотчасъ замѣняютъ слово «приохотить» словомъ «приневоливать». — Хорошія слова вставляются по прежнему въ книжки и въ разсужденія, а ребенокъ все-таки учится для виду, и педагогъ, изучившій дѣтскую натуру, и уважающій науку, видитъ это очень хорошо, но смотритъ на дѣло сквозь пальцы, и изъ утѣшаетъ себя тѣмъ извѣстнымъ разсужденіемъ, что самая вѣрная теорія непременно должна пускаться на уступки, при столкновеніяхъ съ практикою. Значитъ, и въ этомъ случаѣ, госпожа Простакова, урожденная Скотинина, можетъ дать нашимъ экспертамъ хорошій урокъ по части послѣдовательности и прямоудія.

Приохотить гораздо труднѣе, чѣмъ *приневоливать*. Это несомнѣнно. Если бы отъ каждаго воспитателя требовалось непременно умѣнье приохотить ребенка къ ученію, то, навѣрное, девятисто девять сотыхъ тѣхъ людей, которые, въ настоящее время, называютъ себя гувернерами и гувернантками, были бы принуждены отказаться отъ своего ремесла. Отцы и матери ужаснулись бы, увидѣвъ такое запустѣніе, отнимающее у ихъ дѣтей всякую надежду сдѣлаться когда нибудь образованными людьми, но сами дѣти не потеряли бы ровно ничего, потому что все, что изучается по принужденію, забывается при первомъ удобномъ случаѣ. Десятилѣтнему мальчику, Колѣ Иртеньеву, хочется сидѣть на террасѣ, возлѣ матери, вмѣстѣ съ большими; ему хочется слушать ихъ разговоры и участвовать въ ихъ смѣхѣ. Ребенокъ понимаетъ инстинктивно свою собственную пользу гораздо вѣрнѣе, чѣмъ ее понимаютъ взрослые. Онъ своими ребяческими желаніями тянется именно въ то мѣсто, гдѣ ему слѣдуетъ быть, гдѣ онъ можетъ приглядываться къ дѣйствительной жизни, и гдѣ умныя рѣчи взрослыхъ должны будить и шевелить

его любознательность. Но взрослые гонять его прочь отъ себя, по известной пословицѣ: «знаетъ кошка, чье мясо съѣла.» Взрослые чувствуютъ очень хорошо, что ихъ рѣчи совѣмъ не умныя, а напротивъ того, постоянно вздорныя, и подчасъ очень грязныя. Присутствіе ребенка стыдить и стѣснять ихъ, и они загоняютъ его куда нибудь подальше, въ классную, не только затѣмъ, чтобы онъ зубрилъ діалоги, но преимущественно затѣмъ, чтобы онъ не мозолилъ имъ глаза и не мѣшалъ имъ врать пошлости. Съ одной стороны, въ этомъ желаніи удалить ребенка можно видѣть смиренное сознаніе собственной замаранности; мы, дескать, пустые и дрянные люди, и мы это чувствуемъ, и поэтому мы боимся загрязнить собою нашего чистаго ребенка. Съ другой стороны, въ этомъ же самомъ желаніи можно видѣть полную умственную пустоту и безнадёжную нравственную распущенность. Мы, дескать, любимъ нашего ребенка, но и для его пользы, и для удовольствія быть съ нимъ вмѣстѣ, не оставимъ ни одной изъ нашихъ глупыхъ или предосудительныхъ привычекъ. Значить, съ одной стороны выходить трогательно, а съ другой стороны — скверно; но, кромѣ того, съ обѣихъ сторонъ глупо, потому что, въ большей части случаевъ, это систематическое удаленіе ребенка изъ общества взрослыхъ рѣшительно ни къ чему не ведетъ. Рано или поздно, тѣмъ или другимъ путемъ, черезъ лакейскую или черезъ дѣвичью, ребенокъ непремѣнно узнаетъ всѣ тайны, семейныя или фیزیологическія, которыя скрывались отъ него самымъ тщательнымъ образомъ. Если ребенокъ считалъ папеньку и маменьку полубожественными существами, то онъ въ нихъ непремѣнно разочаруется, и будетъ въ душѣ своей относиться къ нимъ тѣмъ суровѣе, чѣмъ больше они съ нимъ лукавили. Онъ будетъ понимать ихъ слабости, да еще, кромѣ того, будетъ презирать ихъ за систематическій обманъ. Туда-же, скажете, на пьедесталъ лѣзутъ! Если ребенокъ полагалъ, что дѣти рождаются въ капустѣ, то онъ и тутъ разочаруется и, сверхъ того, узнаетъ настоящую сущность вещей отъ какого нибудь смышленнаго сверстника съ такими заманчивыми украшеніями, которыхъ не придумаетъ ни одинъ взрослый, и которыя могутъ сдѣлать это открытіе дѣйствительно опаснымъ для юнаго слушателя. Какъ хотите разсуждайте, а вѣдь все-таки не было на свѣтѣ ни одного человѣка, который въ теченіе всей своей жизни считалъ бы своихъ родителей полубогами, и который дожилъ бы до сѣдыхъ волосъ въ томъ пріятномъ убѣжденіи, что дѣти рождаются въ капустѣ. Изъ чего же мы такъ хлопочемъ о той чистотѣ ребенка, которая непремѣнно должна исчезнуть безъ остатка при первомъ проблескѣ его умственной самодѣтельности? Или, можетъ быть, мы дѣлаемъ это для симметріи? — Природа даетъ дѣтямъ молочные зубы, которые потомъ выпадаютъ и замѣняются настоящими. Ну, а мы — должно быть для симметріи — вкладываемъ имъ въ голову молочныя идеи, ко-

торныя потомъ также выпадаютъ, и также замѣняются настоящими. И для этого мы удаляемъ дѣтей изъ нашего общества, которое все-таки, несмотря на всѣ наши пошлости, могло бы принести имъ гораздо больше пользы, чѣмъ заучиваніе діалоговъ въ ненавистой класной комнатѣ.

IV.

Если старшіе члены семейства—люди дѣльные, умные и образованные, то лучшею первоначальною школою для дѣтей будетъ та комната, въ которой отецъ и мать работаютъ, читаютъ или разговариваютъ. Ребенокъ всегда интересуется тѣмъ, что дѣлаютъ взрослые. И прекрасно. Пусть присматривается къ ихъ работѣ, пусть вслушивается въ ихъ чтеніе, пусть старается понимать смыслъ ихъ разговоровъ. Онъ будетъ предлагать свои вопросы; ему будутъ отвѣчать какъ можно проще и яснѣе; но въ самыхъ простыхъ и ясныхъ отвѣтахъ ему будутъ попадаться нѣкоторыя вещи, превышающія его ребяческое пониманіе. Ему захочется поработать вмѣстѣ съ взрослыми; всѣ мы знаемъ по вседневному опыту, съ какимъ усердіемъ и съ какою радостною гордостью дѣти бѣгутъ помогать взрослымъ, когда они видятъ, что помощь ихъ приноситъ дѣйствительную пользу. Но, при первой попыткѣ поработать вмѣстѣ съ взрослыми, ребенокъ нашъ увидитъ, что работа только съ виду кажется легкою и простою штукою, а что, на самомъ дѣлѣ, тутъ необходима такая сноровка, которая сразу ни кому не дается. Любознательность ребенка будетъ, такимъ образомъ, затронута тѣмъ, что осталось для него неяснымъ въ разговорахъ и отвѣтахъ старшихъ. Самолюбіе и стремленіе къ дѣятельности будутъ постоянно возбуждаться въ немъ тѣмъ зрѣлищемъ, что вотъ-мошь большіе работаютъ, а я то ни за что не умѣю приняться. И ребенокъ самъ начнетъ приставать къ отцу и къ матери, чтобы они его чему нибудь поучили; и когда, уступая этимъ слезнымъ мольбамъ, отецъ или мать возьмутся за книгу, или начнутъ показывать ребенку основныя начала какого нибудь руководствія, тогда ребенокъ будетъ смотрѣть на нихъ во всѣ глаза, и слушать, разиня ротъ, боясь проронить что-нибудь изъ тѣхъ наставленій, которыхъ онъ самъ добивался. Каждый наблюдательный человѣкъ можетъ, навѣрное, припомнить множество случаевъ, въ которыхъ восьми или десятилѣтній ребенокъ выучился читать и писать почти самоучкою. А всякій, конечно, согласится съ тѣмъ, что механизмъ чтенія и писанія составляетъ самую скучную и, быть можетъ, даже самую трудную часть всей человѣческой науки. Извѣстна русская поговорка: первая коломъ, вторая со-

коломъ, а тамъ полетѣли мелкія птички. Эта поговорка, весьма любезная всѣмъ кутяламъ, можетъ быть приложена съ полнымъ успѣхомъ не только къ поглощенію вина и водки, но и ко всякому другому, болѣе полезному занятію. Вездѣ первый шагъ труднѣе и страшнѣе всѣхъ остальныхъ. Стало быть, если даже этотъ первый шагъ въ дѣлѣ книжнаго ученія можетъ быть сдѣланъ ребенкомъ по собственному влеченію, то о другихъ шагахъ нечего и толковать. Надо только, чтобы взрослые до самаго конца не измѣняли великому принципу невмѣшательства, то есть, чтобы всегда и во всякомъ случаѣ ученикъ приставалъ къ учителю, а не на оборотъ. Что ученіе можетъ идти совершенно успѣшно, не только безъ розогъ, но даже — что несравненно важнѣе — безо всякаго нравственнаго принужденія — это доказано на вѣчныя времена практическимъ опытомъ самаго же графа Толстого, въ яснополянской школѣ. Но, если вы никогда не задумывались надъ этимъ вопросомъ, то вы даже и представить себѣ не можете, какое громадное вліяніе будетъ имѣть на весь характеръ ребенка, на весь складъ его ума и на весь ходъ его дальнѣйшаго развитія — то обстоятельство, что онъ, съ самаго начала, не дѣлалъ въ книжномъ ученіи ни одного шага безъ собственного желанія, и безъ внутренняго убѣжденія въ разумности и необходимости этого шага.

Вглядитесь въ развитіе Николая Иртеньева и, на этомъ превосходномъ примѣрѣ, вы увидите, до какой степени важны и вредны могутъ быть первыя тяжелыя впечатлѣнія, вынесенныя ребенкомъ изъ классной комнаты. Я замѣтилъ выше, что Иртеньевъ рано почувствовалъ разладъ между мечтою и дѣйствительностью. Вы скажете, можетъ быть, что всѣ мы, рано или поздно, начинаемъ чувствовать этотъ разладъ, и что самое превосходное воспитаніе не можетъ вполнѣ предохранить человека отъ этого тягостнаго ощущенія. Я съ вами согласенъ, но не совсѣмъ. Разладъ разладу рознь. Моя мечта можетъ обгонять естественный ходъ событій; или же, она можетъ хватать совершенно въ сторону, туда, куда никакой естественный ходъ событій никогда не можетъ прийти. Въ первомъ случаѣ, мечта не приноситъ никакого вреда; она можетъ даже поддерживать и усиливать энергію трудящагося человека. Представьте себѣ, что вы занимаетесь какою нибудь ученою работою; вы устали, идете гулять, и начинаете мечтать о томъ, что вы сдѣлаете, когда трудъ вашъ будетъ оконченъ. Вотъ, думаете вы, заплататъ мнѣ хорошія деньги, заговорятъ обо мнѣ въ журналахъ, дадутъ кафедру, поѣду за границу, женюсь на такой-то, буду жить такъ и такъ. — Потомъ, когда прогулка ваша приходитъ къ концу, и когда наступаетъ время спѣшить куда нибудь въ лабораторію, въ клинику, или въ публичную бібліотеку, вы тотчасъ соображаете, что, для осуществленія всѣхъ вашихъ привлекательныхъ мечтаній, вамъ, прежде всего, слѣдуетъ

поработать. — Ну что жъ, думаете вы, развѣ я отъ этого прочь? И поработаю. Согласитесь, что въ подобныхъ мечтахъ нѣтъ ничего такого, что извращало или парализировало бы вашу рабочую силу. Даже совсѣмъ напротивъ. Если-бы человѣкъ былъ совершенно лишенъ способности мечтать такимъ образомъ, если-бы онъ не могъ изрѣдка забѣгать впередъ и созерцать воображеніемъ своимъ, въ дѣльной и законченной красотѣ, то самое твореніе, которое только что начинается складываться подъ его руками, — тогда я рѣшительно не могу себѣ представить, какая побудительная причина заставляла бы человѣка предпринимать и доводить до конца обширныя и утомительныя работы въ области искусства, науки и практической жизни. Мечта какого нибудь утописта, стремищагося пересоздать всю жизнь человѣческихъ обществъ, хватаетъ впередъ въ такую даль, о которой мы не можемъ даже имѣть никакого понятія. Осуществима-ли, не осуществима-ли мечта, — этого мы рѣшительно не знаемъ. Видимъ только то, что эта мечта находится въ величайшемъ разладѣ съ тою дѣйствительностью, которая находится передъ нашими глазами. Существованіе разлада не подлежитъ сомнѣнію, но этотъ разладъ все-таки нисколько не вреденъ и не опасенъ, ни для самаго мечтателя, ни для тѣхъ людей, на которыхъ онъ старается по-дѣйствовать. Самъ мечтатель видитъ въ своей мечтѣ святую и великую истину; и онъ работаетъ, сильно и добросовѣстно работаетъ, чтобы мечта его перестала быть мечтою. Вся жизнь расположена по одной руководящей идеѣ, и наполнена самою напряженною дѣятельностью. Онъ счастливъ, не смотря на лишенія и непріятности, не смотря на насмѣшки невѣрующихъ и на трудности борьбы съ укоренившимися понятіями. Онъ счастливъ, потому что величайшее счастье, доступное человѣку, состоитъ въ томъ, чтобы влюбиться въ такую идею, которой можно посвятить безраздѣльно всѣ свои силы и всю свою жизнь. Если такой мечтатель, или вѣрнѣе, теоретикъ, дѣйствительно открылъ великую и новую истину, тогда уже само собою разумѣется, что разладъ между его мечтою и нашею практикою не можетъ принести намъ, то есть, людямъ вообще, ничего, кромѣ существенной пользы. Если же мечтатель ошибался, то даже и въ такомъ случаѣ онъ принесъ пользу своею дѣятельностью. Его мечта была одностороннею и незрѣлою попыткою исправить такое неудобство, которое чувствуется болѣе или менѣе ясно всѣми остальными людьми. Значить, во-первыхъ, мечтатель заговорилъ о такомъ предметѣ, о которомъ полезно говорить и думать. Во-вторыхъ, онъ собралъ кое-какія наблюденія, которыя могутъ пригодиться другимъ мыслителямъ, болѣе образованнымъ, болѣе осмотрительнымъ и болѣе даровитымъ. Въ-третьихъ, онъ вывелъ изъ своихъ наблюденій ошибочныя заключенія. Если эти заключенія своею вѣйшею логичностью поразили слушателей и чи-

тателей, то эти же самыя заключенія побудили, навѣрное, болѣе основательныхъ мыслителей заняться серьезною разработкою даннаго вопроса для того, чтобы опровергнуть въ умахъ читающаго общества соблазнительныя заблужденія нашего мечтателя. Экономисты, наприимѣръ, очень не любятъ социалистовъ. Мы съ читателями твердо знаемъ по «Русскому Вѣстнику,» что экономисты люди почтенные, а социалисты—прошалаги и съумасброды. Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давнымъ давно обратились бы въ стадо барановъ и воловъ, пережевывающихъ старую жвачку Адама Смита, если-бы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли ихъ ежеминутно бросаться въ полемику и отражать новыя нападенія новыми аргументами. Стало быть, разладъ между мечтою и дѣйствительностью не приноситъ никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно вѣрить въ свою мечту, внимательно вглядывается въ жизнь, сравниваетъ свои наблюденія съ своими воздушными замками, и вообще, добросовѣстно работаетъ надъ осуществленіемъ своей фантазіи. Когда есть какое нибудь соприкосновеніе между мечтою и жизнью, тогда все обстоитъ благополучно. Тогда или жизнь уступитъ мечтѣ, или мечта исчезнетъ передъ фактическими доводами жизни, и въ концѣ концовъ все-таки получится примиреніе между мечтою и жизнью. То есть, или мечтателю дѣйствительно удастся завоевать себѣ то счастье, къ которому онъ стремится, или мечтатель убѣдится въ томъ, что такое счастье невозможно, и что надо выбрать себѣ что нибудь попроще.

Но есть мечты совсѣмъ другаго рода, мечты, расслабляющія человека, мечты, рождающіяся во время праздности и безсилія и поддерживающія своимъ вліяніемъ ту праздность и то безсиліе, среди которыхъ онъ родился. Это маниловскія мечты о лавкахъ на каменномъ мосту. Мечтая такимъ образомъ, человекъ самъ знаетъ очень хорошо, что онъ не въ состояніи пошевелить пальцемъ для того, чтобы мечта перешла въ дѣйствительность. Представьте себѣ, что вы бѣдный человекъ, и что только самый усиленный трудъ можетъ поддерживать вашу жизнь и вашу нравственную самостоятельность. Въ томъ же усиленномъ трудѣ заключаются и всѣ ваши далекія надежды на нѣкоторое улучшеніе вашей незавидной участи. Лѣтъ черезъ пять, вашъ хозяинъ прибавитъ вамъ жалованья, потомъ дастъ вамъ какое нибудь болѣе важное порученіе, потомъ еще прибавитъ—вотъ все, на что вы можете рассчитывать; но во-первыхъ, все это далеко, очень далеко, а во-вторыхъ, все это надо взять упорнымъ трудомъ. И нынче, и завтра, и послѣ завтра надо работать пристально, и—что гораздо труднѣе—надо тянуть ножи по одежкѣ, и отиѣривать себѣ по золотникамъ все то, что люди зажиточные считаютъ безусловно необходимымъ. И вдругъ вы въ такомъ-то подлѣйшемъ положеніи начинаете мечтать о томъ, что какъ-бы это было

хорошо, кабы у васъ было тысячъ десять годового дохода; спили бы вы себѣ теплую шубу, накупили бы себѣ хорошихъ книгъ; заказали бы вашему повару обѣдъ, отъ котораго васъ не стало бы тошнить; поѣхали бы на лѣто за границу; а то хорошо было бы и въ деревню поѣхать, чистымъ степнымъ и лѣснымъ воздухомъ подышать, за вальдшнепами по болоту поплаться; потомъ не мѣшало бы сдѣлать предложеніе той барышнѣ, которую вы видѣли въ зеленомъ бархатномъ салопѣ на англійской набережной. Въ вашей молодой головѣ складываются обаятельныя подробности простаго и невиннаго романа съ самою добродѣтельною развязкою, и вы герой этого романа; но вдругъ герой слышитъ, что за сосѣднею деревянною перегородкою охаетъ и ворчитъ старуха хозяйка на тѣхъ шаромыжниковъ жильцовъ, которые вотъ уже два мѣсяца не платятъ денегъ ни за квартиру, ни за столъ. Васъ этотъ ворчливый голосъ поражаетъ въ самое сердце, потому что завтра первое число, а за квартиру вы заплатить не можете, потому что почти все ваше жалованье ушло на обмундированіе вашего младшаго брата, только что поступившаго въ гимназію и живущаго подъ вашимъ покровительствомъ. Голосъ хозяйки совершенно разсѣялъ ваши мечты, и вы видите, что передъ вами, на покривившемся деревянномъ столѣ, лежитъ какой-то глупѣйшій конторскій счетъ, который къ завтрашнему утру необходимо провѣрить. И знаете вы, что вамъ приходится провѣрять въ мѣсяцъ сотни подобныхъ счетовъ, такъ что даже трудно сообразить, какое незначительное число копѣекъ вамъ достается за провѣрку каждаго отдѣльнаго счета. И у васъ опускаются руки и является вопросъ: зачѣмъ работать? зачѣмъ морить себя медленною смертію? И чтожъ это, въ самомъ дѣлѣ, за жизнь? И является бесплоднѣйшее размышленіе: *«tant pour les uns, et si peu pour les autres!»*—бесплоднѣйшее потому, что вѣдь вы все таки не пошевелите мизинцемъ для того, чтобы устроить дѣло какъ нибудь иначе. А такъ только: пофилософствуете, потоскуете, повздыхаете, да и приметесь за провѣрку конторскаго счета, и эта работа идетъ у васъ гораздо хуже, и внушаетъ вамъ гораздо болѣе сильное отвращеніе послѣ того, какъ вы побаловали себя ребяческими мечтами о теплой шубѣ, о сносномъ обѣдѣ и о барышнѣ въ зеленомъ бархатномъ салопѣ. Вотъ такія мечты я называю вредными и губительными во всѣхъ отношеніяхъ. Мечты перваго рода можно сравнить съ глоткомъ хорошаго вина, которое бодритъ и подкрѣпляетъ человѣка во время утомительнаго труда. Но послѣднія мечты похожи на пріемъ опиума, который доставляетъ человѣку обаятельныя видѣнія, и, выйдя съ тѣмъ, безвозвратно разстроиваетъ всю нервную систему. Люди бѣдные, лишенные всѣхъ дѣйствительныхъ наслажденій, легче другихъ могутъ пристраститься къ опиуму, и также больше другихъ людей способны баловать себя тѣми заведомо несбыточными мечтами,

которыя я сравнилъ съ вреднымъ наркотическимъ веществомъ. Но и зажиточные люди ухитряются иногда губить свою жизнь, какъ опиумомъ, такъ и вредными мечтами. То воспитаніе, которое мы обыкновенно даемъ нашимъ дѣтямъ, ведетъ ихъ самымъ прямымъ и вѣрнымъ путемъ въ безвыходную область *наркотической* мечты.

V.

Для десятилѣтняго Коли Иртеньева діалоги и диктовка составляютъ презрѣнную и ненавистную дѣйствительность, а пребываніе на террасѣ вмѣстѣ съ большими любимую, но неосуществимую мечту. Дѣйствительность ничѣмъ не связана съ мечтою. Какъ-бы усердно мальчикъ ни зубрилъ свои діалоги, и какъ-бы успѣшно онъ ни избѣгалъ орфографическихъ ошибокъ, все-таки онъ ни на одну секунду не приблизитъ къ себѣ то желанное время, когда всѣ будутъ признавать его большимъ, постоянно принимать его въ свое общество, и разсуждать и смѣяться съ нимъ, какъ съ равнымъ. Онъ самъ очень хорошо понимаетъ все это, и возится съ діалогами и съ диктовками только потому, что такъ приказано, и что его непремѣнно заставляютъ учиться, если онъ обнаружитъ слишкомъ очевидный недостатокъ усердія. За діалогами и диктовками послѣдуютъ болѣе серьезные уроки; за серьезными уроками послѣдуютъ университетскія лекціи. За послѣднимъ университетскимъ экзаменомъ начнется мелкая толкотня практической жизни, и молодой человѣкъ, снимая студенческой мундиръ, скажетъ себѣ съ самодовольною улыбкою, что его научное образованіе окончено самымъ блистательнымъ образомъ, и что теперь надо смотрѣть на вещи глазами зрѣлаго мужчины, то есть, заботиться о хорошемъ мѣстѣ, о связяхъ, о повышеніи, о протекціи, о выгодныхъ акціяхъ, о богатой невѣстѣ, вообще, о прочномъ и комфортабельномъ положеніи въ обществѣ. Переходы отъ діалоговъ къ серьезнымъ урокамъ, и отъ серьезныхъ уроковъ къ университетскимъ лекціямъ и экзаменамъ совершаются обыкновенно такъ постепенно и незамѣтно, что мальчикъ, превращающійся понемногу въ юношу, въ большей части случаевъ переноситъ на серьезные уроки тотъ взглядъ, которымъ онъ смотрѣлъ на діалоги, а потомъ относится и къ университетскимъ занятіямъ такъ, какъ онъ относился къ серьезнымъ урокамъ. Все научное образованіе, отъ азбуки до кандидатской диссертации, оказывается для нашего юноши длиннымъ и утомительнымъ обрядомъ, который непремѣнно долженъ быть исполненъ изъ уваженія къ установившимся привычкамъ общества, но который все таки не имѣетъ никакого вліянія на умственную жизнь исполняющаго субъ-

екта. Бываютъ, конечно, въ жизни нѣкоторыхъ молодыхъ людей счастливыя встрѣчи съ мыслящимъ человѣкомъ или съ очень дѣльной книгой; эти встрѣчи открываютъ молодымъ людямъ глаза, и вдругъ бросаютъ имъ въ голову ту поразительно-новую для нихъ мысль, что наука совсѣмъ непохожа на діалоги и на диктовку, что въ научныхъ занятіяхъ можно находить себѣ постоянно возрастающее наслажденіе, что университетъ только открываетъ человѣку двери въ область знанія, что эта область безпредѣльна и необозрима, что умственное образованіе человѣка должно оканчиваться только съ его жизнью, и что умственное образованіе пересоздаетъ весь характеръ отдѣльной личности, и даже всѣ понятія, обычаи и учрежденія громаднѣйшихъ человѣческихъ обществъ. Послѣ такой встрѣчи, наука перестаетъ казаться молодому человѣку презрѣнною и ненавистною прозою жизни. Научныя занятія перестаютъ быть для него мертвымъ обрядомъ. Проза и поэзія, мечта и дѣйствительность заключаютъ между собою вѣчный миръ и неразрывный союзъ. Умственный трудъ дѣлается для него живѣйшимъ наслажденіемъ, потому что онъ видитъ въ этомъ трудѣ самое вѣрное средство ловить и осуществлять ту любимую мечту, которая постоянно носится передъ его воображеніемъ, и постоянно увлекаетъ его за собою все дальше и дальше, впередъ и впередъ, въ область новыхъ размышленій, изслѣдованій и открытій. Такія счастливыя встрѣчи бываютъ точно; но, во первыхъ, не всѣмъ онѣ выпадаютъ на долю, а во вторыхъ, далеко не всѣ умѣютъ ими воспользоваться, то есть, не на всѣхъ такія встрѣчи производятъ сразу достаточно глубокое и прочное впечатлѣніе. Шевельнется въ головѣ какой-то зародышъ плодотворнаго сомнѣнія, блеснетъ какая-то молнія новой мысли, да тѣмъ дѣло и покончится, за недостаткомъ такихъ матеріаловъ, которые могли бы поддержать и направить работу неопытнаго ума.

Такимъ образомъ, множество молодыхъ людей остаются совершенно нетронутыми въ научномъ отношеніи, и выходятъ изъ университетовъ большими двадцатилѣтними школьниками, выучившими громадное количество скучныхъ и мудреныхъ уроковъ, которые послѣ выпускнаго экзамена непременно должны быть забыты, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.— Природный умъ этихъ молодыхъ людей, часто очень живой и сильный, и притомъ, разумѣется, совершенно неудовлетворенный холодными, формальными и обязательными отношеніями своими къ наукѣ, совершенно отвертывается отъ книжныхъ премудростей, проникается глубокимъ недовѣріемъ ко всякой научной теоріи, о которой онъ въ сущности не имѣетъ никакого понятія, старается проложить себѣ свою собственную, совсѣмъ особенную дорогу, производитъ какіе-то курьезнѣйшіе эксперименты надъ собою и надъ жизнью, терпитъ на всѣхъ пунктахъ очень естественныя пораженія, и наконецъ приходитъ къ полнѣйшему банкротству,

то есть, къ самому безвыходному унынію и къ самой тупой апатіи. Такія траги-комическія кувырканы неразвитаго и голоднаго ума проявляются, напримѣръ, въ добросовѣстныхъ усиліяхъ какого нибудь деревенскаго механика открыть *perpetuum mobile*. И такія же точно кувырканы слышатся намъ ежеминутно въ разсужденіяхъ сантиментальныхъ, но необразованныхъ журналистовъ о почвѣ, о народности, о недостигаемыхъ и непостижимыхъ совершенствахъ русскаго человѣка, о необходимости смириться умомъ передъ народною правдою. У кого умъ наполненъ только смутными воспоминаніями объ учебникахъ Устрялова, Кайданова и Ободовскаго, тотъ, конечно, можетъ смирить гордыню своей мысли передъ мудростью любой деревенской вликуши; но кто не ограничился такою легкою умственною пищею, тотъ уже навсегда потерялъ возможность принижать свой умъ до уровня вошюющей неглѣпости.

Очень многіе читающіе и даже пишущіе люди серьезно и добровѣстно убѣждены въ томъ, что можно сдѣлаться превосходнымъ человѣкомъ и чрезвычайно полезнымъ гражданиномъ, помимо всякаго научнаго образованія. Не всѣмъ же быть учеными, толкуютъ они. Давайте намъ только добросовѣстныхъ практическихъ дѣятелей. Давайте намъ людей непосредственнаго чувства, не засушенныхъ книжными теоріями, не приучившихъ себя вносить всюду разлагающее начало холоднаго сомнѣнія и дерзновеннаго анализа. Давайте намъ людей строго-правдивыхъ, преданныхъ своему долгу, проникнутыхъ желаніемъ добра, способныхъ жертвовать собою для пользы общества. И такъ далѣе. Такими восклицаніями «давайте» можно наполнить цѣлыя страницы, но, къ счастью, все это давно уже было высказано на сценѣ Александринскаго театра, когда г. Самойловъ, въ роли солмогубовскаго чиновника Надимова, приглашалъ всю почтенную публику кликнуть кличъ на всю Россію, и вырвать-взятки, или, какъ говорилось тогда «зао», съ самымъ корнемъ. Въ сущности, всѣ добрые люди, восклицающіе «давайте намъ того-то и того-то», требуютъ невозможнаго, потому что въ ихъ требованіи заключается внутреннее противорѣчіе. Они говорятъ: не нужно топить въ кухнѣ печку. Давайте намъ только горячаго суну и жареныхъ рябчиковъ. — Они относятся холодно и почти враждебно къ научному образованію, и въ тоже время требуютъ себѣ такихъ предметовъ, которые не могутъ быть изготовлены рѣшительно ничѣмъ, кромѣ того же самаго научнаго образованія. Особенно печально то обстоятельство, что дѣло очень часто не ограничивается неглѣпными словами. Многіе люди не только кричатъ: «давайте, давайте», но еще, кромѣ того, насилуютъ и ломаютъ свой собственный умъ и характеръ, стараясь домашними средствами выработать изъ своей личности что-то очень возвышенное и прекрасное, что-то такое, о чемъ они сами не могутъ составить себѣ яснаго понятія, и что вырабатывается изъ человѣческой

личности единственно и исключительно вліяніемъ широкаго и глубокаго научнаго образованія.

Не всѣмъ надо быть изслѣдователями,—съ этимъ я совершенно согласенъ. Не всѣмъ надо быть популяризаторами науки, съ этимъ я также согласенъ; но всякому, кто хочетъ быть въ жизни дѣятельною личностію, а не страдательнымъ матеріаломъ, всякому, говорю я, совершенно необходимо твердо усвоить себѣ и основательно передумать всѣ тѣ результаты общечеловѣческой науки, которые могутъ имѣть хоть какое нибудь вліяніе на развитіе нашихъ житейскихъ понятій и убѣжденій. И это еще не все. Надо укрѣпить свою мысль чтеніемъ гениальнѣйшихъ мыслителей, изучавшихъ природу вообще, и человѣка въ особенностяхъ, не тѣхъ мыслителей, которые старались выдумать изъ себя весь міръ, а тѣхъ, которые подмѣчали и открывали путемъ наблюденія и опыта вѣчные законы живыхъ явленій. И надо, кромѣ того, постоянно поддерживать серьезнымъ чтеніемъ живую связь между своею собственною мыслью и тѣми великими умами, которые, изъ года въ годъ, своими постоянными трудами, расширяють по разнымъ направленіямъ всемірную область человѣческаго знанія. Только при соблюденіи этихъ условий можно быть превосходнымъ человѣкомъ, превосходнымъ семьяниномъ и превосходнымъ общественнымъ дѣятелемъ. Только такимъ путемъ постоянного умственнаго труда можно выработать въ себѣ ту высшую гуманность и ту ширину пониманія, безъ которыхъ человѣку не дается въ руки ни разумное наслажденіе жизнью, ни великая способность приносить дѣйствительную пользу самому себѣ, своему семейству и своему народу. *Превосходными* я называю только тѣхъ людей, которые развернули вполне и постоянно употребляютъ на полезную работу всѣ способности, полученныя отъ природы. Такихъ людей очень немного, и вдумавшись въ мое опредѣленіе слова «превосходный», читатель, вѣроятно, согласится съ тѣмъ, что человѣкъ дѣйствительно можетъ сдѣлаться превосходнымъ только по тому рецепту, который я представилъ въ предыдущихъ строкахъ. Всякая другая метода умственнаго и нравственнаго совершенствованія производитъ только глупости, ошибки, самообольщенія и разочарованія, разбиваетъ разными утомительными волненіями всю нервную систему человѣка, и наконецъ доводитъ его до безсилія и до апатіи. Подробный, правдивый и чрезвычайно поучительный перечень такихъ бесплодныхъ попытокъ и такихъ печальныхъ *промаховъ незрѣлой мысли* представляется намъ въ воспоминаніяхъ Николая Иртеньева о его юности.

VI.

Во время своего отрочества, Иртеньевъ мечтаетъ точь въ точь такимъ же образомъ, какъ онъ мечталъ въ дѣтствѣ. Краски и очертанія мечты измѣняются вмѣстѣ съ окружающею обстановкою, но основной характеръ остается въ полной неприкосновенности: Иртеньевъ забавляется процессомъ мечтаній, сознавая совершенно ясно, что онъ не можетъ сдѣлать ни одного шага для того, чтобы приблизиться къ своей мечтѣ, и захватить ее въ руки. Наконецъ, ему однако надоѣдаетъ эта пассивность. Его пробуждающійся умъ начинаетъ изобрѣтать разныя средства, которыми можно было бы сблизить міръ мечты съ міромъ вседневной жизни. Этими стремленіями, перейти отъ мечтательной праздности къ энергической дѣятельности—начинается и характеризуется первая половина юности нашего героя. А вторая половина этой юности обѣщана, но до сихъ поръ еще не написана графомъ Толстымъ. Я очень жалѣю объ этомъ послѣднемъ обстоятельстве, но нисколько не нахожу его удивительнымъ. Первые три части воспоминаній Иртеньева были такъ смутно поняты критикою и публикою, что авторъ могъ считать продолженіе своего труда несвоевременнымъ и бесполезнымъ. Очень жаль, что у насъ до сихъ поръ нѣтъ второй части «Юности»; но, за неимѣніемъ ея, мы и въ первой части найдемъ огромный запасъ психологическаго матеріала, о которомъ придется потолковать довольно подробно.

Сближеніе съ Нехлюдовымъ составляетъ для Иртеньева ту эпоху, съ которой онъ самъ считаетъ начало своей юности. Сближеніе это начинается неопредѣленно-страстными разсужденіями о жизни, о добродѣтели и объ обязанностяхъ человѣка, тѣми милыми бреднями, къ которымъ всѣ очень молодые люди питаютъ непреодолимое влеченіе, и изъ которыхъ никогда не выходитъ ничего, кромѣ горячихъ и очень непрочныхъ привязанностей. Послѣ многихъ продолжительныхъ бесѣдъ о высокихъ матеріяхъ, бесѣдъ, которыя, къ счастью, только подразумеваются, а не выписываются въ полномъ своемъ объемѣ въ повѣсти графа Толстого, послѣ многихъ изліяній, Нехлюдовъ и Иртеньевъ заключаютъ между собою контрактъ, которымъ они обязываются помогать другъ другу въ процессѣ постояннаго нравственнаго совершенствованія.

«Знаете, какая пришла мнѣ мысль, Nicolas, говоритъ Нехлюдовъ; *сдѣлаемте* это, и вы увидите, какъ это будетъ полезно для насъ-обоихъ: дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу. Мы будемъ знать другъ друга, и намъ не будетъ совѣстно; а для того, чтобы не

бояться постороннихъ, дадимъ себѣ слово *никогда*, ни съ кѣмъ и ничего не говорить другъ о другѣ. Сдѣлаемъ это.—И мы дѣйствительно *сдѣлали это*», прибавляетъ Иртеневъ. (Стр. 79).

Трудно было придумать что нибудь нелѣпѣе и вреднѣе этого взаимнаго обязательства. — Начать съ того, что оно неисполнимо. «*Признаваться во всемъ*» значить признаваться въ каждой мысли, которая остановилась на себѣ ваше вниманіе. И наши юные друзья дѣйствительно понимаютъ свой контрактъ въ этомъ смыслѣ; они считаютъ этотъ контрактъ надежнымъ громовымъ отводомъ противъ гадкихъ и подлыхъ мыслей. «Такія подлые мысли, говоритъ Нехлюдовъ, что ежели бы мы знали, что должны признаваться въ нихъ, онѣ никогда не смѣли бы заходить къ намъ въ голову». (Стр. 79). Неестественный контрактъ, разумѣется, ежеминутно нарушается. Иртеневъ, почти на каждой страницѣ «Юности», признается въ томъ, что, даже во время самаго разгара своей дружбы съ Нехлюдовымъ, онъ, совершенно невольно, то умалчивалъ, то искажалъ, въ разговорахъ съ нимъ, разные тонкіе оттѣнки своихъ мыслей, или побудительныя причины своихъ поступковъ. Иногда дѣло доходило до настоящаго актерства. Въ первый день своего студентства, Иртеневъ затѣваетъ преглушую ссору съ своимъ добрымъ знакомымъ, Дубковымъ. Ссора эта, начатая изъ-за пустяковъ, кончается также пустяками. «И я тотчасъ же успокоился, рассказываетъ Иртеневъ, притворяясь только, передъ Дмитріемъ (Нехлюдовымъ), разсерженнымъ на столько, на сколько это было необходимо, чтобъ мгновенное успокоеніе не показалось страннымъ» (стр. 101). Это наивное признаніе, повидимому даже не замѣченное самимъ Иртеневымъ, доказываетъ лучше всякихъ аргументацій, что полная откровенность совершенно невозможна. Каждый долженъ быть самъ полнымъ хозяиномъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ, и другаго полного хозяина тутъ не можетъ и не должно быть. Но, заключивши свой контрактъ совершенно добровольно, и считая его дѣйствительно очень полезнымъ, наши молодые люди все-таки стараются соблюдать его по возможности добросовѣстно; и постоянно осыпаютъ другъ друга разными интимными признаніями.

Въ этомъ обстоятельствѣ и заключается именно настоящій вредъ. Читатель уже замѣтилъ вѣроятно, что Нехлюдовъ и Иртеневъ оба страдаютъ какою-то странною мыслебоязнью: контрактъ ихъ направленъ почти исключительно противъ *гадкихъ и подлыхъ* мыслей. Какія это такія бываютъ *гадки и подлые* мысли? Я этого не понимаю. Когда я обдумываю какой нибудь вопросъ, или обсуживаю характеръ какой нибудь личности, то я дѣлаю въ умѣ своемъ разные предположенія, рассматриваю ихъ съ разныхъ сторонъ, одни изъ нихъ нахожу правдоподобными, другія несостоятельными, сближаю одно предположеніе съ другимъ, подтверждаю или опровергаю ихъ различными аргументами, и наконецъ

результатомъ всѣхъ моихъ размышлений является то или другое убѣжденіе, которое опредѣляетъ собою дальнѣйшій ходъ моихъ поступковъ. Многія изъ предположеній, сдѣланныхъ мною во время размышленія, могутъ оказаться совершенно негѣлыми или даже оскорбительными для той особы, о которой я думаю, и все таки въ этихъ предположеніяхъ нѣтъ ничего дурного. Если бы я остановился на такомъ предположеніи и принялъ его за норму для моихъ поступковъ, тогда, конечно, я обнаружилъ бы несостоятельность моихъ умственныхъ способностей, и оскорбленная мною особа имѣла бы полное право отвернуться отъ меня, какъ отъ пошлаго дурака. Но вѣдь негѣлое предположеніе не есть окончательный результатъ моего мышленія. Это только одна изъ первыхъ или низшихъ фазъ въ развитіи моей мысли. Это одна изъ ступенекъ той длинной и крутой лѣстницы, по которой мой умъ идетъ вверхъ, къ познанію настоящей истины. Это одинъ изъ тѣхъ ингредиентовъ, которые, въ своей совокупности, послѣ долгой и сложной химической переработки, дадутъ мнѣ готовый продуктъ, имѣющій уже практическое значеніе для меня и для другихъ людей. Въ природѣ ничто не возникаетъ мгновенно, и ничто не появляется на свѣтъ въ совершенно готовомъ видѣ. Самая красивая женщина и самый гениальный мужчина были все-таки, въ свое время, очень безобразными и бессмысленными зародышами, а потомъ очень плаксивыми и сопливыми ребятишками. Но никому же не приходится въ голову вырѣзывать зародышъ изъ утробы матери для того, чтобы глумиться надъ безобразіемъ и тупоуміемъ этого куска органической матеріи. И ни одному здравомыслящему человѣку не приходится также въ голову ненавидѣть и презирать трехлѣтняго пузыря за то, что онъ часто плачетъ и плохо сморкается. Надъ картиною, надъ статуею, надъ научно-теоріею мы также произносимъ нашъ приговоръ только тогда, когда произведеніе окончено, то есть, доведено до той степени совершенства, какую только способенъ придать ему его творецъ.

Когда вы пообѣдали, то вы очень хорошо знаете, что въ вашемъ желудкѣ находится пережованная пища въ видѣ такъ называемой кашицы; вы знаете, что эта кашлица имѣетъ очень некрасивый видъ и довольно непріятный запахъ; но васъ это обстоятельство нисколько не смущаетъ; вы преспокойно оставляете неблагообразную кашлицу тамъ, гдѣ она должна быть, и изъ этой кашлицы вырабатываются понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, то есть, все, что даетъ вамъ возможность жить въ свое удовольствіе, и дѣйствовать на пользу вашихъ ближнихъ. Значитъ, некрасивая кашлица—вещь очень хорошая, но если бы вы стали вытаскивать ее изъ вашего желудка, показывать ее вашимъ друзьямъ и горевать вмѣстѣ съ ними надъ ея непохвальнымъ цвѣтомъ и запахомъ, то вы доставили бы только себѣ и друзьямъ нѣсколько непріятныхъ минутъ, а въ случаѣ частаго повторенія подобныхъ про-

дѣлокъ, вы бы даже очень серьезно разстроили свое здоровье, что все таки не обратило бы на нуть истины закосяблую мерзавку ваницу. А возмущаться противъ тѣхъ законовъ, по которымъ совершается процессъ нашего мышленія, это, въ своемъ родѣ, точно такая же нелѣпость, какъ убиваться надъ несовершенствами трехмѣсячнаго зародыша, или желудочной кашицы.

Мысли не могутъ быть ни гадкими, ни подлыми, пока онѣ остаются въ головѣ мыслящаго субъекта, который пользуется ими, какъ сырыми матеріалами. Но такое первобытное сырье совсѣмъ не должно показываться на свѣтъ, во первыхъ потому, что оно часто бываетъ очень уродливо и бессмысленно, а во вторыхъ потому, что такое заглядываніе въ лабораторію мысли вредитъ процессу умственной работы. Когда вы знаете, что вамъ придется представлять другому лицу докладъ о томъ, что происходитъ въ вашемъ умѣ, тогда вы стараетесь сами смотрѣть на вашу умственную работу со стороны, и запоминать, въ какомъ порядкѣ одна мысль развивалась изъ другой. На этотъ, совершенно лишній, трудъ подглядыванія и запоминанія тратятся тѣ силы, которыя гораздо полезнѣе было бы употребить на болѣе быстрое или болѣе основательное разрѣшеніе затронутыхъ вами вопросовъ, имѣющихъ для васъ живое практическое значеніе. Подглядывая за собою, вы сами раздваиваете свой умъ и ослабляете или извращаете его дѣятельность. Стадо быть, и подглядываніе ваше даетъ вамъ совершенно искусственные результаты. Вы подглядѣли работу вашей ослабленной и извращенной мысли, а не ту естественную работу, которую вы старались опредѣлить. Можетъ быть, всѣ гадости, въ которыхъ вы каетесь вашему другу, произошли именно отъ того, что вы начали подглядывать. Извѣстное дѣло, ничто такъ не раздражаетъ мысль, какъ боязнь мысли и инеизвизиторскій контроль надъ мыслью. Вы отъ нея отталкиваетесь, вы ее преслѣдуете, — тутъ-то именно она и лезетъ къ вамъ въ головѣ, тутъ-то она и становится для васъ неотвязнымъ контролемъ. — Говорять, одинъ алхимикъ открылъ какому-то благодѣтелю своему вѣрнѣйшій способъ дѣлать золото. Возьмите, говоритъ, того-то и того-то, по столько-то золотниковъ и долей, всыпьте въ такую-то посуду, поставьте на такой-то огонь, мѣшайте вотъ этою палочкою и произносите такія-то слова. — Разказалъ и ушелъ. — Благодѣтель сейчасъ принялся за работу, но, на бѣду его, добросовѣстный алхимикъ воротился назадъ. — Ахъ, говоритъ, самое-то главное условіе я и забылъ. Когда будете варить золото, ни подъ какимъ видомъ не думайте о бѣлыхъ мѣдвѣдяхъ, а то ничего не выйдетъ. — Ну, это пустяки, отвѣчаетъ благодѣтель. Я объ нихъ и безъ того никогда не думаю. Однако вышло не пустяки. Благодѣтель, никогда не думавшій о бѣлыхъ мѣдвѣдяхъ, сталъ думать о нихъ аккуратно каждый день, и притомъ именно въ тѣ великія минуты, когда эта проклятая

мысль должна была поминать процессу волшебнаго броженія. Поэтому, золота не получилось, но предсказаніе алхимика о томъ, что ничего не выйдетъ, оказалось все таки не совсѣмъ вѣрнымъ. Вышло то, что благодѣтель сошелъ съ ума и началъ съ крикомъ и со слезами умолять своихъ докторовъ вырвать изъ его головы бѣлаго медвѣдя, который будто-бы съѣлъ у него весь мозгъ, и всякій разъ плачетъ и чихаетъ въ ту посуду, гдѣ варится самое чистое золото.

Если съ Нехлюдовымъ и съ Иртеньевымъ не случилось такой пакости, то они обязаны своимъ спасеніемъ единственно тому обстоятельству, что ихъ желаніе раздавить въ себѣ *гадки* и *подмы* мысли было гораздо менѣе сильно и серьезно, чѣмъ желаніе благодѣтеля приобрести себѣ золотыя горы. Для нашихъ юныхъ моралистовъ борьба съ предсудительными мыслями была только пріятною потѣхою. Оно и въ самомъ дѣлѣ увеселительно. То маленько погрѣшишь, то маленько пораскаешься, да легонько постегашь самого себя невещественными розгами. Вотъ тебѣ и покажется, что ты точно какое-то дѣло дѣлаешь, умомъ своимъ работаешь, нравственность свою исправляешь, полезнаго дѣятеля изъ своей особы приготовляешь. Если даже и крѣпко грѣшишь, и часто падаешь на пути добродѣтели — все это для тебя не велика бѣда. У тебя сейчасъ фарисейскія утѣшенія найдутся, потому что весь твой умъ постоянно устремленъ на казуистическія тонкости, и, посредствомъ навыка, приобретаешь себѣ замѣчательное мастерство по части іезуитской изворотливости. Умъ твой тоненькимъ голоскомъ станетъ шептать тебѣ: успокойся! другіе грѣшатъ вдесятеро больше тебя, но и ухомъ не ведутъ, потому что у нихъ нѣтъ твоей чуткости. Ты неизмѣримо выше ихъ, потому что ты замѣчаешь за собою каждую малѣйшую слабость. Ты человѣкъ высокой нравственности, потому что ты строгъ къ самому себѣ. — Ты будешь слушать, эти льстивыя рѣчи съ глупѣйшею улыбкою самодовольнаго блаженства; но, такъ какъ ты уже измощенничался насквозь, благодаря твоимъ любезнымъ подглядываніямъ, то ты тотчасъ состроишь постную розу и прикрикнешь на самаго себя: молчи мерзавецъ! Какъ ты смѣешь гордиться твоими совершенствами, когда тебѣ слѣдуетъ оплакивать твои беззаконія! — И вслѣдъ затѣмъ, тебя еще пріятнѣе охватитъ сознаніе, что ты ни въ чемъ не даешь себѣ спуска, и даже умственную гордость свою подавлять умѣешь. — Да. Точно. Потѣха весьма увеселительная, но еще болѣе вредная. Во первыхъ — вся штука основана на глупой мыслебоязни. Во вторыхъ — происходитъ громадная трата времени. Кто дѣйствительно хочетъ уберечься по возможности отъ тяжелыхъ практическихъ ошибокъ, тотъ долженъ не бояться *гадкихъ* и *подмыхъ* мыслей, а напротивъ того, смѣло подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно разсматривать ее со всѣхъ сторонъ. Не мѣшаетъ еще при этомъ принимать въ расчетъ ту старую

истину, что тратить свои молодые годы на какія бы то ни было увеселительныя потѣхи, значить, на вѣрняка готовить, изъ себя въ будущемъ дряннаго, тяжелаго и несчастнаго человѣка. Но, разумѣется, Нехлюдовъ и Иртеневъ не виноваты въ томъ, что они надъ собою творять. Въ нихъ дѣйствуетъ то отвращеніе къ научнымъ занятіямъ, которое вколочено въ ихъ головы прежнимъ приневоливаніемъ къ діалогамъ и диктовкамъ. Болѣзненная мечтательность ребенка, при переходѣ въ юношескій возрастъ, породила изъ себя уродливыя и вредныя кривлянія нравственной гимнастики.

VII.

Настоящимъ спеціалистомъ по части нравственной гимнастики оказывается князь Дмитрій Нехлюдовъ, а Иртеневъ является въ этомъ отношеніи только его подражателемъ, и, къ счастью своему, останавливается на степени дилетанта. У Нехлюдова заведены какія-то распisanія пороковъ и прегрѣшеній, онъ **каждый** вечеръ пишетъ подробно свой дневникъ, и еще, кромѣ того, записываетъ въ особую тетрадь свои будущія и прошедшія занятія. Впрочемъ, собственно о его занятіяхъ мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Можетъ быть, у него и времени не хватало на занятія, потому что ему было необходимо постоянно держать въ порядкѣ свою душевную бухгалтерію, и подводить различные итоги въ приходо-расходной книгѣ грѣховъ и добродѣтелей. Нехлюдовъ по университету былъ однимъ курсомъ старше Иртенева, но, повидимому, во взглядахъ своихъ на науку они оба были совершенными школьниками. Нехлюдовъ придавалъ большое значеніе тому, чтобы Иртеневъ блистательно выдержалъ свой вступительный экзаменъ въ университетъ, и чтобы ему поставили очень хорошіе баллы; а потомъ, когда Иртеневъ сдѣлался студентомъ и когда дружба между юными моралистами находилась въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, Нехлюдовъ не умѣлъ возбудить въ своемъ другѣ ни малѣйшей любви къ серьезнымъ занятіямъ, такъ что Иртеневъ цѣлый годъ проболтался глупѣйшимъ образомъ, и, разумѣется, провалился или *срызался* на переходномъ экзаменѣ самымъ постыднымъ манеромъ. Вообще, Нехлюдовъ и Иртеневъ совершенно не похожи на тотъ типъ студента, который каждому изъ насъ хорошо знакомъ и дорогъ по нашимъ собственнымъ, недавнимъ студенческимъ воспоминаніямъ.

Когда мы были студентами, мы всюду втискивали *науку*, кстати и

некстати, съ умысломъ и безъ умысла, искусно и неискусно. Мы очень много врали о наукѣ, мы часто сами себя не понимали, но наука дѣйствительно владѣла всѣми нашими помыслами; мы ее любили чрезвычайно горячо и чистосердечно; мы готовы были работать, и дѣйствительно работали; для насъ жизнь была немислима безъ науки, и гдѣ, бывало, сойдутся два-три студента, тамъ уже, черезъ пять минутъ, непрерживно свирѣлствуетъ научный споръ, въ которомъ воюющія особы, непрерывно другъ передъ другомъ, съ восторгомъ обнаруживаютъ крайнюю слабость своихъ фактическихъ знаній, и столь-же крайнее могущество своихъ молодыхъ и здоровыхъ голосовъ. Много у насъ было безтолковщины, но это было именно то «мутное броженіе» молодой мысли, изъ котораго «творится свѣтлое вино» разумныхъ убѣжденій и сознательнаго трудолюбія. Смѣшно было смотрѣть на насъ со стороны, но ужъ совсѣмъ не грустно. И тѣ самые пожилые и опытные люди, которые смѣялись надъ нами, какъ надъ преуморительными мальчишками, — они сами не могли отказать намъ ни въ своемъ сочувствіи, ни въ своемъ уваженіи, ни даже въ своей *зависти*. Имъ становилось завидно, глядя на насъ. Вспоминая свою собственную молодость, они признавались съ глубокимъ вздохомъ намъ, «преуморительнымъ мальчишкамъ», что наше развитіе идетъ болѣе здоровымъ и разумнымъ путемъ, что мы живемъ болѣе полною жизнью, что у насъ есть мысли, чувства и желанія, которыя имъ были совершенно неизвѣстны, и которыя послужать намъ надежною опорою во время житейскихъ испытаній и «въ минуту душевной невзгоды».

И рѣшительно ничего подобнаго нѣтъ у Нехлюдова и у Иртеньева. Они оба, и особенно Нехлюдовъ, не возбуждаютъ въ постороннемъ наблюдателѣ никакого другого чувства, кромѣ глубочайшаго и совершенно безнадежнаго сожалѣнія о погибающихъ человѣческихъ способностяхъ. Въ ихъ жизни наука не играетъ никакой роли. Объ умѣ они рѣшительно не заботятся. Имъ нужна только добродѣтель. И въ тоже время они всѣ насквозь пропитаны пошлостями своего общества, и со всѣхъ сторонъ опутаны разными свѣтскими и велико-свѣтскими связями и предразсудками. Добродѣтельный Иртеньевъ никакъ не можетъ удержаться, чтобы не заявлять всѣмъ и каждому о своемъ родствѣ съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ, и для этого онъ даже однажды, въ семействѣ Нехлюдова и въ присутствіи самаго Дмитрія, сплетаетъ экспромптомъ неимовернѣйшую ложь о дачѣ этого князя и о какой-то удивительной рѣшоткѣ, цѣною въ триста восемьдесятъ тысячъ рублей. А еще болѣе добродѣтельный Нехлюдовъ всѣми своими бухгалтерскими упражненіями никакъ не можетъ побѣдить въ себѣ странную наклонность бить своего крѣпостнаго мальчика, Ваську, кулаками по головѣ. Но все это еще не очень большая бѣда. Родиться во время полного господства

крѣпостныхъ понятій и всосать въ себя съ молокомъ матери фамусовскую слабость къ вельможному родству — это, конечно, несчастіе, но тутъ еще нѣтъ ничего непоправимаго. Шестнадцатилѣтній Фамусовъ можетъ сдѣлаться черезъ годъ семнадцатилѣтнимъ грохотелемъ московскаго чванства; и даже колотить Васюку не значитъ еще быть отпѣтымъ негодяемъ. Очень можетъ быть, что и Базаровъ во времена своего дѣтства и отрочества показывалъ свою барскую прыткость надъ ребятами своей крѣпостной дворни. А потомъ выросъ, поумнѣлъ и прекратилъ свои подвиги.

Главная бѣда Нехлюдова и Иртеньева заключается въ безнадежности ихъ умственного положенія. Въ головахъ ихъ царствуетъ глубочайшее, непочатое невѣжество, и сношенія ихъ съ университетомъ скользятъ по этому невѣжеству, не производя въ немъ ни малѣйшаго измѣненія. Нехлюдовъ оказывается еще гораздо безнадежнѣе Иртеньева. Иртеньевъ за все хватается, всѣмъ интересуется и увлекается, дурачится и важничаетъ, какъ настоящій шестнадцатилѣтній ребенокъ; поэтому, онъ еще двадцать разъ можетъ переимѣниться и выскочить на прямую дорогу, лишь-бы только нашлись въ его жизни, сначала отрезвляющіе толчки, а потомъ умные товарищи и руководители. Впрочемъ и на Иртеньева нравственная гимнастика положила свою проклятую печать; отъ привычки постоянно копаться въ своихъ душевныхъ ощущеніяхъ, у него выработалась чудовищная мнительность и подозрительность, ежеминутно отравляющія ему всѣ его сношенія съ другими людьми. Въ каждомъ словѣ и въ каждомъ взглядѣ онъ угадываетъ какую нибудь особенную, затаенную и обыкновенно пакостную или оскорбительную мысль своего собесѣдника. Такъ какъ Иртеньевъ отъ природы очень неглупъ — гораздо умнѣе Нехлюдова, — то онъ оцѣнь часто угадываетъ совершенно вѣрно, и все таки для него было бы несравненно лучше вовсе не обладать этимъ даромъ ясновидѣнія. Излишняя воспримчивость какого-бы то ни было чувства, зрѣнія, слуха, обонянія, и такъ далѣе, всегда ведетъ за собою очень много несправностей. Сова не жетъ видѣть днемъ именно отъ того, что зрѣніе ея слишкомъ остро и чувствительно; то количество лучей, которое намъ необходимо для того, чтобы мы могли ясно различать предметы, дѣйствуетъ на сову такъ сильно, что рѣжетъ ей глаза, и заставляетъ ее задвигать наглухо отверстіе зрачка. Та музыка, которая намъ доставляетъ удовольствіе, оказывается мучительною для тонкаго слуха кошки или собаки.

Тоже самое можно сказать и объ иртеньевскомъ ясновидѣніи. Заглядывать въ душу другихъ людей такое же пустое и несправное занятіе, какъ выносить другимъ людямъ на показъ свои собственные душевные тайны. Что вамъ за удовольствіе подмѣчать въ каждомъ изъ вашихъ знакомыхъ каждое движеніе мелкой досады, или зависти, или скард-

ности, или трусости, каждое изъ тѣхъ мимолетныхъ движеній, которыя рождаются и умираютъ въ душѣ, не дѣйствуя на общее направленіе поступковъ, и выражаясь только изрѣдка въ какомъ нибудь подергиваніи губъ или въ какой нибудь дребезжащей нотѣ голоса?! Всѣ ваши отношенія къ людямъ сдѣлаются только болѣе шороховатыми, а въ сущности все останется по старому, потому что нельзя же удалиться отъ людей въ пустыню, на томъ основаніи, что люди не всегда могутъ и умѣютъ быть или вполне искренними друзьями, или вполне непроницаемыми актерами. А главное дѣло, какъ у васъ достаетъ времени и охоты возиться съ этою психологическою дрянью? Надо быть безконечно празднымъ человѣкомъ, чтобы по губамъ Семена Пафнутияча, или по бровямъ Пелагеи Сидоровны читать тайные оттѣнки ихъ душевныхъ волненій. И замѣчательно, что это чтеніе *поддерживаетъ* въ человѣкѣ праздность, потому что служить ему источникомъ неисчерпаемыхъ изслѣдованій, которыхъ привлекательность, разумѣется, совершенно непостижима для того, кто занимается какимъ нибудь полезнымъ дѣломъ. Но, не смотря на гибельную страсть Иртеньева къ асновидѣнію, Нехлюдовъ все таки гораздо безнадежнѣе своего друга. Нехлюдовъ при своемъ кругломъ невѣжествѣ, серьезенъ и настойчивъ. У него есть принципы, которые онъ почерпнулъ чортъ знаетъ изъ какой лужи, но за которые онъ держится очень крѣпко. Бьетъ онъ Ваську, конечно, не по принципу, а по увлеченію, и принципы его осуждаютъ эту баталію, и онъ совершенно убѣжденъ въ томъ, что принципы переработаютъ всю его природу, и даже осчастливятъ со временемъ всѣхъ его Васекъ. По своимъ принципамъ онъ влюбился, или, точнѣе, *влюбилъ себя* въ рыжую, старую, кривобокую, да въ добавокъ еще и глупую барышню, Любовь Сергѣевну, которая все бесѣдуетъ съ нимъ о правилахъ, о сердцѣ и о добродѣтеляхъ. Графъ Толстой этихъ бесѣдъ не выписываетъ, и прекрасно дѣлаетъ. Вѣдь тутъ ужъ, дѣйствительно, «мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ», когда они начнутъ разводить свою психологію сладкими вздохами и любовнымъ жеманствомъ. Также по своимъ принципамъ Нехлюдовъ, подъ руководствомъ Любви Сергѣевны, ѣдетъ къ московскому прорицателю, Ивану Яковлевичу; и также по принципамъ, студентъ втораго курса Нехлюдовъ находитъ, что Иванъ Яковлевичъ очень замѣчательный человѣкъ, и что только самые легкомысленные люди могутъ считать его его сѣмьшпедшимъ или мошенникомъ. А Любовь Сергѣевна, по словамъ самаго Нехлюдова, понимаетъ совершенно Ивана Яковлевича (видите, какая умница!), часто ѣздитъ къ нему, бесѣдуетъ съ нимъ и даетъ ему для бѣдныхъ деньги, которыя сама вырабатываетъ. Изъ всѣхъ этихъ доблестныхъ подвиговъ рыжей барышни Нехлюдовъ выводитъ то заключеніе, что она удивительная женщина, что она необходима для его совершенствованія, и что въ нее никакъ нельзя не влюбиться.

Познакомившись съ этими любопытными подробностями, читатель вѣроятно согласится, что голова Нехлюдова, какъ сплошная чугунная масса, совершенно обезпечена противъ вторженія какихъ-бы то ни было современныхъ идей. Человѣколюбствовать онъ можетъ, потому что на это способна даже усердная собесѣдница Ивана Яковлевича, но ужъ дальше московскаго сердоболія онъ не пойдетъ. А вѣдь могло бы быть совершенно иначе, если-бы любознательность его была затронута въ дѣтствѣ, и если-бы живая струя свѣта и знанія попала въ его голову, когда надъ нею еще не успѣли воцариться мертвящіе принципы нравственной гимнастики и Ивана Яковлевича. Эти принципы такъ безнадежно мрачны и такъ безвыходно-губительны для ума, для чувства и для дѣятельности, что въ сравненіи съ ними даже общій колоритъ московской велико-свѣтскости представляется какою-то небесною лазурью.

VIII.

Исторія объ избіеніи Васьки бросаетъ такой яркій свѣтъ на спеціальныя достоинства нравственной гимнастики, что я считаю очень полезнымъ разсказать и разобрать этотъ любопытный эпизодъ довольно подробно. Иртеньевъ, только что поступившій въ университетъ, передъ отъѣздомъ своимъ въ деревню на лѣто, пріѣзжаетъ на дачу къ Нехлюдовымъ, знакомится съ семействомъ своего друга, проводитъ у нихъ вечеръ, и остается ночевать въ комнатѣ Дмитрія. У Нехлюдова въ этотъ вечеръ разбаиваются зубы; кромѣ того онъ взволнованъ споромъ съ своею сестрою Варенькою; дѣло идетъ въ этомъ спорѣ, объ Иванѣ Яковлевичѣ. Варинька отзывается о немъ съ презрѣніемъ, и ея непочтительные отзывы о московскомъ предсказателѣ очень сильно возмущаютъ Дмитрія, тѣмъ болѣе, что они косвеннымъ образомъ бросаютъ тѣнь на великія достоинства самой Любови Сергѣевны, которая живетъ въ семействѣ Нехлюдовыхъ, и присутствуетъ при этомъ горячемъ спорѣ. Кромѣ того, старая княгиня Нехлюдова, мать Дмитрія и Вареньки, очевидно держитъ сторону своей дочери, и это обстоятельство еще болѣе усиливаетъ волненіе юнаго моралиста. Пораженный въ своемъ обожаніи къ Ивану Яковлевичу и разобиженный зубною болью, Нехлюдовъ уходитъ въ свою комнату и садится за свои вычисленія погрѣшностей и обязанностей. Въ это время Васька спрашиваетъ у него, гдѣ будетъ спать Иртеньевъ. Нехлюдовъ, въ отвѣтъ на этотъ неумѣстный вопросъ, топаетъ ногой и кричитъ: «убирайся къ чорту!» Васька стушовывается.

Тогда Нехлюдовъ начинаетъ *тотчасъ же* кричать: «Васька, Васька, Васька!» Васька входитъ.—Стели мнѣ на полу! командуетъ Нехлюдовъ.— Нѣтъ, лучше я лягу на полу, говоритъ Иртеневъ. — Ну, все равно, стели гдѣ нибудь, ворчитъ Нехлюдовъ. Васька рѣшительно не знаетъ, за что ему взятыя: убирайся къ чорту! Стели на полу! Стели гдѣ нибудь! три противорѣчивыя приказанія въ три минуты, и наконецъ послѣднее приказаніе совершенно неопредѣленное; что значить «гдѣ нибудь»? Гдѣ жъ ему стлать постель? Васька останавливается въ недоумѣніи, и ждетъ, чтобы ему приказали толкомъ. А въ распроси пускаться онъ боится, потому что его только что отправили къ чорту за неумѣстную любознательность. Васька стоитъ и ждетъ, но Нехлюдовъ начинаетъ бѣсноваться. «Васька, Васька! Стели, стели!» И все это съ крикомъ и съ неистовствомъ. Васька окончательно терается. Тогда Нехлюдовъ подбѣгаетъ къ нему и бьетъ его кулаками по головѣ «изо всѣхъ силъ». Васька куда-то убѣгаетъ, и Нехлюдовъ заноситъ въ свою тетрадку новый грѣхъ.

Уже достаточно поучительно то, что Нехлюдовъ послалъ мальчика къ чорту, и потомъ обработалъ ему голову кулаками, *въ то самое время*, когда совершались упражненія нравственной гимнастики. Размышлять о неописанной красотѣ нравственного идеала, и тутъ же, не сходя съ мѣста, нарушать самыя простыя обязанности человѣка самымъ постыднымъ и свотскимъ образомъ — это фактъ въ высшей степени краснорѣчивый. Не трудно, кажется, сообразить, что всѣ эти ежедневныя разглядыванія своего поведенія не даютъ человѣку ровно ничего, кромѣ педантическаго высокомѣрія и фарисейской нетерпимости. Но дальше пойдеть еще интереснѣе.

Вы, вѣроятно, съ нетерпѣніемъ желаете узнать, какую же физиономію соорилъ добродѣтельный Иртеневъ, когда, на его глазахъ, другъ и руководитель его разыгрался, какъ пьяный дыкаръ. А вотъ, полюбуитесь. Вотъ что произошло въ ту самую минуту, когда избитый Васька выбѣжалъ изъ комнаты. «Остановившись у двери, Дмитрій оглянулся на меня, и выраженіе бѣшенства и жестокости, которое за секунду было на его лицѣ, замѣнилось такимъ кроткимъ, пристыженнымъ и любящимъ дѣтскимъ выраженіемъ, что мнѣ стало жадно его, и, какъ ни хотѣлось отвернуться, я не рѣшился этого сдѣлать.» (Стр. 117).

Если-бы на мѣстѣ Иртенева находился человѣкъ дѣйствительно развитый и гуманный, и если бы этотъ человѣкъ могъ чувствовать хоть малѣйшее состраданіе къ негодю, толкующему о добродѣтели, и въ то же время поднимающему руку на беззащитнаго и безответнаго ребенка, то этотъ развитый и гуманный человѣкъ отвернулся бы въ сторону именно изъ состраданія къ Нехлюдову, чтобы не показать ему, во всемъ выраженіи своего лица того подавляющаго презрѣнія, которое возбуж-

дено въ немъ этимъ безсовѣстнымъ поруганіемъ человѣческой личности. Я вовсе не думаю утверждать, что безобразный поступокъ Нехлюдова долженъ навсегда отнять у него уваженіе всѣхъ честныхъ людей. Напротивъ. По моему мнѣнію, нѣтъ того злодѣянія, которое могло бы положить на человѣка вѣчное и неизгладимое пятно безчестія. Самый грязный преступникъ можетъ снова сдѣлаться мыслящимъ и любящимъ существомъ; и дѣйствительно развитое общество никогда не должно отнимать у ожесточеннаго и загрубѣлаго человѣка надежду на самую полную реабилитацію. Но въ ту минуту, когда совершается грязное и безчестное насиліе, порядочный человѣкъ невольно отвернется отъ мерзавца, для того, чтобы не плюнуть ему въ лицо. Но Иртеневъ, повидимому, такъ мало пораженъ избіеніемъ Васьки, что, въ самую минуту этого событія, все его вниманіе обращено исключительно на игру лицевыхъ мускуловъ въ фізіономіи Нехлюдова. Замѣчая въ этихъ мускулахъ быстрое передвиженіе, вслѣдствіе котораго скотское выраженіе бѣшенства переходитъ въ гримасу слезливаго раскаянія, Иртеневъ совершенно забываетъ объ участи Васьки, у котораго въ это время, по всей вѣроятности, лицевыя мускулы также находятся въ сильномъ движеніи, и у котораго, кромѣ того, созрѣваютъ на черепѣ синяки и кровавыя шишки. Иртеневъ начинаетъ соболѣзновать не о томъ, кого избіили, а о томъ, кто билъ. Того и гляди, что онъ подойдетъ къ своему Дмитрію, и, взявъ его за руку, спроситъ у него со слезами въ голосъ: о мой вроткій другъ! о мой сизенькій голубчикъ! Не зашибъ ли ты свою нѣжную ручку о поганую головницу этого грубаго невѣжи? У него, у подлеца, такая твердая голова. И не поранилъ ли ты свое любвеобильное сердце припадкомъ негодованія, возбужденнаго въ тебѣ закоснѣлостью этого пакостника. И зачѣмъ ты самъ утруждалъ себя? Развѣ нельзя было отправить сквернаго мальчишку въ ближайшую полицейскую часть для надлежащаго вразумленія?

Въ подобныхъ изліяніяхъ дружественнаго сочувствія не было бы ничего особенно удивительнаго. Этого совсѣмъ немудрено ожидать отъ Иртенева, который совершенно откровенно признается, что еще сильнѣе прежняго любилъ Дмитрія, увидѣвъ на его лицѣ выраженіе стыда и вротости. Значитъ, вся исторія съ Ваською показалась Иртеневу нѣкоторымъ легкимъ проявленіемъ юношеской рѣзвости, такимъ проявленіемъ, которое выкупается съ избыткомъ нѣкоторою игрою лицевыхъ мускуловъ. Окончивъ потасовку, Нехлюдовъ начинаетъ сбѣчь себя невещественными розгами. «Дмитрій легъ ко мнѣ на постель, рассказываетъ Иртеневъ, и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковымъ и пристыженнымъ взглядомъ смотрѣлъ на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но онъ какъ будто наказывалъ себя. Я улыбнулся, глядя на него. Онъ улыбнулся тоже.» (Стр. 117).

Скажите пожалуйста, какіе милые младенцы! Лежатъ рядомъ на одной постелькѣ и улыбаются, глядя другъ на друга. Чему жъ это они такъ чистосердечно радуются? Оно и видно, что Дмитрій наказывалъ себя не въ самомъ дѣлѣ, а только какъ будто. Прелюбезное дѣло — эти невещественныя розги, когда можно ими стѣчь себя съ улыбкою наслажденія. Вотъ Васька такъ ужъ навѣрное не улыбался, потому что кулакъ — штука вещественная и съ улыбками несовмѣстимая. Глядя на улыбающихся младенцевъ, мы съ читателемъ можемъ ожидать, что они немедленно заговорятъ о Васьиной головѣ, даже съ нѣкоторымъ юморомъ. Однако, братъ Дмитрій, скажетъ Иртеневъ, ты ловко распорядился. Я и оглянуться не успѣлъ, а ужъ онъ ему четыре пинки наставилъ. Теперь Васька-то, и чай, почесывается. Долго не забудетъ, мошенничекъ. Ну, что за важность? отвѣчаетъ Нехлюдовъ съ нѣкоторою скромностью. Онъ у меня въ этому давно привыкъ. Ему не въ первой! — Да вѣдь и не въ послѣдній! подхватить съ пріятною усмѣшкою Иртеневъ. Еще-бы! закончить Нехлюдовъ, влагая въ этотъ лаконическій отвѣтъ самое солидное выраженіе барственной величавости. И знаете-ли, господа читатели, подобный разговоръ не такъ противно было бы слушать, какъ тотъ, который дѣйствительно завязался между нашими улыбающимися друзьями. Въ томъ разговорѣ, который я самъ сочинилъ, есть, по крайней мѣрѣ, та прямота и простота взглядовъ, которыми я восхищался въ госпожѣ Простаковой. Грязь, такъ ужъ грязь на-голо, безъ малѣйшей примѣси солодеоваго корня и розовой водицы. Хочу, дескать, сокрушить морду, и сокрушаю, и ни у кого на этотъ счетъ совѣта и позволенія просить не намѣренъ. Въ такой нетронутой дикости часто не бываетъ даже никакой силы, и никакихъ задатковъ развитія. Но иногда въ ней есть и силы и задатки. Есть или нѣтъ—этого большею частью и разобрать невозможно. Темно, хоть глазъ выколи. Ничего не видать. Но именно эта-то темнота и оставляетъ еще нѣкоторую надежду. Кто его знаетъ, можетъ быть тамъ и есть что-нибудь. Поэтому, мерзости, совершаемыя чистымъ дикаремъ, совсѣмъ не такъ отвратительны, какъ тѣ мерзости, которыя творитъ полуцивилизованная особа. И всего хуже не то, что она дѣлаетъ мерзости, а то, что она относится къ нимъ чрезвычайно хитро и деликатно. Каждая мерзость представляетъ ей удобный случай погладить себя же по головкѣ. Дикарь ничего не знаетъ, и, вслѣдствіе своего незнанія, не слушаетъ никакихъ резоновъ. А деликатная особа кляузничаетъ, то есть, пользуется своимъ неполнымъ знаніемъ, чтобы отуманивать себя и своихъ собесѣдниковъ, и чтобы, во всякомъ случаѣ, ставить свою деликатность выше всякаго сомнѣнія, даже послѣ совершенія мерзостей. Впрочемъ, это уже очень старая и, однако, очень мало сознаваемая истина, что полу-образование совмѣщаетъ въ себѣ всѣ пороки варварства и цивилизаціи. Всѣ усилія мыслящихъ

людей всѣхъ человѣческихъ обществъ уже съ давнихъ поръ направлены на борьбу съ полуобразованіемъ. Нашему обществу варварство уже теперь неопасно. Я могу смѣло хвалить Простакову, нисколько не опасаясь, чтобы кто-нибудь изъ моихъ читателей прельстился ея идеями. Но полуобразование, со всѣми своими фокусами и кляузами, должно внушать намъ самыя серьезныя опасенія, и типъ милѣйшихъ джентльменовъ, совмѣстившихъ въ себѣ чувствительность Манилова съ остроуміемъ Хлестакова—еще очень долго будетъ тормозить или извращать умственное развитіе нашего общества. Ощувивъ на своихъ губахъ присутствіе улыбки, Нехлюдовъ подумалъ, вѣроятно, что вещественныя розги истрепались, и что не мѣшаетъ взять въ руки новый пучокъ, или, еще того лучше, предоставить все дѣло сѣченія добродѣтельному и улыбающемуся другу. И начинается, вслѣдствіе этого, поучительная бесѣда.

— «А отчего же ты мнѣ не скажешь, сказалъ онъ, что я гадко поступилъ? вѣдь ты объ этомъ сейчасъ думалъ?»—Этотъ пошлый вопросъ могъ быть предложенъ только Нехлюдовымъ, и рисуетъ чрезвычайно ярко подлѣйшую приторность отношеній, существующихъ между юными друзьями. Порядочный человѣкъ, сдѣлавши гадость, даже гораздо поменьше Нехлюдовской штуки, конечно не осмѣлился бы фамильярничать съ своимъ другомъ, валяться на его постели, таращить на него глаза, и скалить вмѣстѣ съ нимъ зубы. Порядочный человѣкъ понялъ и почувствовалъ бы, что его другу, также человѣку порядочному, непріятно, тяжело и даже больно смотрѣть на него въ ту минуту, когда впечатлѣніе сдѣланнаго безобразія еще совершенно свѣжо. Тотъ стыдъ, который мы невольно чувствуемъ послѣ очень глупой выходки, у человѣка искренняго и неизломаннаго бываетъ всегда очень цѣломудреннымъ и глубоко затаеннымъ ощущеніемъ. Пристыженный человѣкъ ступовывается, хочетъ, чтобы его въ эту минуту всѣ забыли, чувствуетъ, что онъ тяготитъ другихъ своею замаранною особою; такого пристыженного человѣка вамъ дѣйствительно становится жалко; вы подходите къ нему осторожно, какъ къ больному, и стараетесь подкрѣпить, ободрить и утѣшить его, и при томъ такъ, чтобы ваше приближеніе и ваши слова не оскорбили въ немъ то цѣломудріе стыда, которое черазлучно со всякимъ искреннимъ естественнымъ раскаяніемъ, то есть, съ томительнымъ сознаніемъ важной и вредной ошибки. Но когда накуралесившій нахаль самъ лезетъ къ вамъ съ своимъ раскаяніемъ, когда онъ преслѣдуетъ васъ своимъ присутствіемъ и пристальными взглядами, когда онъ приглашаетъ васъ любоваться его стыдомъ, когда онъ обращается къ вамъ съ безтолковѣйшими вопросами о такомъ дѣлѣ, которое не требуетъ ни малѣйшаго разъясненія,—тогда вамъ остается только сказать: убирайся ты къ чорту, скотина, съ твоими глупыми подвигами самобичеванія! Ты хочешь погеройствовать, силу воли твоей обнаружить, а я вовсе не

расположенъ быть для тебя ни плетью, ни пудовою гирею, которыми ты выдѣлываешь свои дурацкіе фокусъ. Нельзя-ли для гимнастическихъ прогулокъ подальше выбрать закоулковъ? — Затѣмъ надо было повернуться на другой бокъ и оставить милѣйшаго Нехлюдова наединѣ съ его растрепанными чувствами.

Такой неожиданный отпоръ могъ положить рѣзкій конецъ всякимъ дружескимъ отношеніямъ; но о такой дружбѣ, которая не выдерживаетъ прикосновенія голой правды, не стоитъ и жалѣть. Туда ей и дорога. Дружба должна быть прочною штукаю, способною пережить всѣ перемѣны температуры и всѣ толчки той ухабистой дороги, по которой совершаютъ свое жизненное путешествіе дѣльные и порядочные люди. При такой прочности, дружба — вещь драгоценная, потому что она, лучше всякой другой ассоціаціи, утробиваетъ и учетверяетъ рабочія силы и мужественную энергію друзей. Но Иртеневъ и Нехлюдовъ, какъ по молодости своихъ лѣтъ, такъ и по неразвитости своего ума, такъ и, въ особенности, по своему совершенному незнакомству съ серьезною работою жизни, — способны только къ той комнатной или тепличной дружбѣ, которая вся основана на капризныхъ симпатіяхъ, и распадается въ прахъ также подъ вліяніемъ минутнаго каприза. Нѣтъ въ этой дружбѣ никакой серьезной причины существованія, а поэтому нѣтъ и ни малѣйшей серьезности въ отношеніяхъ между друзьями.

Послѣ исторіи о Васькѣ, когда надо было дѣйствительно сказать другу очень жесткое слово, или, еще лучше, не говорить совсѣмъ ничего, Иртеневъ мамлитъ, миндальничаетъ и говоритъ безцвѣтные плоскости; а потомъ, черезъ годъ, когда дружба утратила прелесть новизны, тотъ же кроткій Иртеневъ, въ минуту чисто личнаго и совершенно безпричиннаго раздраженія, высказываетъ Нехлюдову, безъ малѣйшей надобности, самыя рѣзкія и оскорбительныя истины. Между тѣмъ, можно сказать навѣрное, что два-три безжалостно правдивыя слова, произнесенныя Иртеневымъ по поводу Васькиной головы, подѣйствовали бы на Нехлюдова гораздо сильнѣе и неизмѣримо глубже, чѣмъ цѣлыя десятилѣтія нравственной гимнастики. Но, чтобы сказать человѣку такое слово, которое вывернуло бы на изнанку всю его душу, и не забылось бы имъ до сѣдыхъ волосъ, надо быть не Иртеневымъ, а чѣмънибудь почище и покрѣпче. У Иртенева же выходитъ вотъ что: — «Да, это очень плохо, я даже и не ожидалъ отъ тебя этого. Ну, что зубы твои?» — Хотя невозможно выдумать чтонибудь безцвѣтнѣе этого скромнаго порицанія, однако крутой поворотъ къ зубамъ показываетъ ясно, на сколько Иртеневъ стоитъ выше Нехлюдова. Видно, что Иртеневу все-таки тяжело говорить пустячки о такой крупной гадости, а говорить о ней серьезно онъ или не умѣетъ, или совѣстится, вотъ онъ и сворачиваетъ въ сторону при первомъ удобномъ случаѣ. Но Нехлюдовъ не

понимаетъ, что его другу тяжело этотъ разговоръ, и пускается въ длинныя и совершенно безплодныя размышленія на ту же печальную тему. Вотъ его слова: — «Прошли. Ахъ, Николинъка, мой другъ! заговорилъ Дмитрій такъ ласково, что слезы, казалось, стояли въ его блестящихъ глазахъ. (Удивительная логика! поколотилъ Ваську, а подлащивается къ Николинъкѣ, точно будто именно передъ Николинъкой виноватъ). Я знаю и чувствую, какъ я дурень, и богъ видитъ, какъ я желаю и прошу его, чтобъ онъ сдѣлалъ меня лучше; но чтожъ мнѣ дѣлать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характеръ? Что же мнѣ дѣлать?»

О, милѣйшій моралистъ, какъ же вы плохи по части опытной психологiи! Вы спрашиваете, что вамъ дѣлать, чтобы не колотить Ваську? А вотъ что. Объясните мнѣ, почему вы не поколотили вашу сестру Вариньку, которая очень разогорчила васъ во время спора, а поколотили Ваську, который ничѣмъ васъ не обидѣлъ и не могъ обидѣть? Главная причина та, что въ спокойныя минуты вашей жизни вы обращаетесь съ вашей сестрою совсемъ не такъ, какъ съ Ваською. Переходъ отъ почтительнаго и дружелюбнаго обращенія къ ударамъ почти невозможенъ. Поэтому, вы сестрѣ вашей сказали только вѣжливую колкость; горничной, пришедшей узнать о вашихъ зубахъ, крикнули: «ахъ, оставьте меня въ покоѣ!», а мальчика, котораго вы зовете «Ваською», послали къ чорту, а потомъ прибили кулаками. Градація соблюдена вполне. Значитъ, если вы действительно желаете, чтобы Васькина голова была въ безопасности, обращайтесь съ нимъ въ спокойныя минуты вѣжливо и даже почтительно. Называйте его не только полнымъ именемъ, но даже по имени и по отчеству, и говорите ему «вы». Это, конечно, очень смѣшно называть крѣпостного мальчишку Василюмъ Степановичемъ или Василюмъ Антоновичемъ, но вы, какъ великій моралистъ, должны находить, что лучше быть посмѣшищемъ для дураковъ всей Москвы и даже цѣлаго міра, чѣмъ быть грязнымъ и подлымъ злодѣемъ. Если вы, не боясь насмѣшекъ умныхъ людей, преклоняетесь передъ Иваномъ Яковлевичемъ, то въ дѣлѣ Васьки вы и давнымъ должны поставить себя выше зубоскальства вашихъ пустоголовыхъ знакомыхъ, которые сначала поболтаютъ и посмѣются, а потомъ и привыкнуть къ вашей необыкновенной почтительности.

Послушаемъ теперь вашу дальнѣйшую іереміаду. «Я стараюсь удерживаться, исправляться, но вѣдь это невозможно вдругъ, и невозможно одному. (Вы были не одинъ, когда колотили Ваську). Надо, чтобы кто нибудь поддерживалъ, помогалъ мнѣ. (Выражаясь яснѣе, вамъ необходимы люди, которые хвалили бы васъ за красоту души и твердость воли. Невещественныя ровги и невещественныя пряники — безъ этихъ пособій вы не можете быть порядочнымъ человѣкомъ). Вотъ Любовь

Сергѣевна, она понимаетъ меня и много помогла мнѣ въ этомъ. (Оно и замѣтно по всему!) Я знаю по своимъ запискамъ, что я въ продолженіе года уже много исправился. (Пріятно слышать. Значить, по сколько же сняжковъ въ день ложилось прежде на Васькину голову? До исправленія, его голова была, въ своемъ родѣ, очень любопытною лѣтописью. Примѣчайте, кромѣ того, какъ уже въ послѣдней фразѣ тонъ слезливаго раскаянія переходитъ въ тонъ тихаго самовосхваленія. Это значитъ, милое дитя уже потянулось за невещественнымъ приникомъ). Ахъ, Ниволинъка, душа моя! продолжалъ онъ съ особенной непривычной нѣжностью и ужъ болѣе спокойнымъ тономъ, послѣ этого признанія: какъ это много значитъ вліяніе такой женщины, какъ она! Боже мой, какъ можетъ быть хорошо, когда я буду самостоятеленъ, съ такимъ другомъ, какъ она! Я съ ней совершенно другой человѣкъ. (Что значитъ эта послѣдняя фраза? Значить ли это: «я ее не бью, какъ прибилъ Ваську», или же это значитъ: «я никого не бью, когда нахожусь подъ ея вліяніемъ». Въ первомъ случаѣ, это бессмыслица. Во-второмъ, это сладкая ложь. Вы, господинъ Нехлюдовъ, ходили изъ Любви Сергѣевнѣ и бесѣдовали съ нею, какъ-разъ передъ той минутой, когда Васька предложилъ вамъ первый вопросъ о постеляхъ. Или, можетъ быть, вы хотите сказать, что только «въ ея присутствіи» вы совсѣмъ не безчинствуете. Это, безъ сомнѣнія, дѣлаетъ вамъ много чести, но вѣдь отъ этого мало пользы. Стало быть, когда вы женитесь на ней, вы будете находиться безотлучно при ея особѣ; а чуть она на минуту отвернулась—тутъ сейчасъ и пойдетъ крушеніе физіономій? Вѣрнѣе же всего, что вы просто сказали одну изъ тѣхъ совершенно бессмысленныхъ фразъ, безъ которыхъ жить не могутъ всѣ моралисты, подобные вамъ и вашей Любви Сергѣевнѣ). Затѣмъ, друзья наши забываютъ совершенно прерѣнную прозу жизни, и Дмитрій начинаетъ «развивать свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы надъ самимъ собою». Оба совершенно веселы и болтаютъ «до вторыхъ пѣтуховъ». Пріятная и полезная бесѣда заканчивается слѣдующими словами: — «Ну, теперь спать, сказалъ онъ. — Да, отвѣчалъ я: — только одно слово. — Ну? — Отлично жить на свѣтѣ! сказалъ я. — Отлично жить на свѣтѣ, отвѣчалъ онъ такимъ голосомъ, что я въ темнотѣ, казалось, видѣлъ выраженіе его веселыхъ, ласкающихъ глазъ и дѣтской улыбки». (Стр. 118).

О прелестныя малютки! что за «атласистость сердечная», какъ говорить г. Щедринъ о своихъ глуповцахъ! «Отлично жить на свѣтѣ!» Какъ вамъ это нравится? Это заключительный выводъ изъ того ряда размысленій, который былъ вызванъ актомъ подлѣйшаго насилія. Преступленіе и раскаяніе не оставили послѣ себя рѣшительно ничего, кромѣ безпричиннаго восторга и полнѣйшаго самодовольства, и все это въ теченіе одной, короткой лѣтней ночи. Это стоитъ матери Гамлета, съ ея павзно-

на грязномъ тѣлѣ красную рану обжога», онъ изображаетъ на своемъ лицѣ «конвульсивную гримасу». Инна говоритъ ему: «дайте мазь; да не падайте въ обморокъ». На слѣдующей страницѣ, Русановъ произноситъ слова: «Какъ вы должны быть счастливы въ такія минуты!» Такъ какъ эта фраза произносится «восторженно», то читатель можетъ принять ее за «горячую тираду о современномъ движеніи» дамскихъ чувствъ. Но дама русановскаго сердца понимаетъ вещи не такъ, какъ ея кавалеръ; на «восторженную» тираду о счастья посѣщать «болящихъ», Инна отвѣчаетъ, почти съ отчаяньемъ: «все бесполезно! все напрасно! ни къ чему не ведетъ!» Иной кавалеръ полюбопытствовалъ бы узнать причину этого отчаянья и вступилъ бы съ своею дамою въ разговоръ, вызывающій на размышленіе. Если дамское отчаянье указываетъ на расположеніе Инны къ нигилизму или къ какой нибудь другой зловредной пакости, то, повидимому, прямая обязанность Русанова, постигнувшаго несостоятельность всякаго зла, заключалась въ томъ, чтобы разумнымъ словомъ отвлечь тоскующую душу отъ бездны заблужденій. Но Русановъ чувствуетъ свою умственную убогость и не спрашиваетъ о причинахъ отчаянья, смутно сознавая, что разговоръ на эту тему можетъ принять очень головоломный характеръ, и что въ такомъ трансцендентальномъ разговорѣ не выйдешь ни на добродушномъ юморѣ, ни на горячей тирадѣ, ни даже на раздвиганіи вѣтвей и на жеваніи листьевъ. Русановъ поспѣшно переводитъ бесѣду на реальную почву и рассказываетъ Иннѣ, что онъ вчера подслушалъ заговоръ, направленный противъ нея; Инна совсѣмъ не хотѣла слушать, въ чемъ состоитъ заговоръ, и намъ тоже нѣтъ никакой надобности заниматься имъ, потому что самъ г. Ключниковъ, по своему обыкновенію, тотчасъ же совершенно забываетъ о его существованіи. На дальнѣйшій ходъ романа заговоръ не имѣетъ никакого вліянія; значитъ — ясное дѣло, — онъ былъ измышленъ для наполненія страницъ пріятными пустяками. Бесѣда снова принимаетъ направленіе психологическое и головоломное. «Развѣ у меня не можетъ быть привязанности? вопрошаетъ Русановъ. — У васъ? Полноте! отвѣтствуетъ Инна». Тогда Русановъ не на шутку приходитъ въ азартъ и пускаетъ «горячую тираду». Вотъ она вся цѣликомъ. — «Инна Николаевна! Вы, вотъ, смотрите на меня, да только и говорите, что полноте; а есть ли какая нибудь возможность выдаваться такъ, чтобы вы этого не сказали? Чѣмъ же я виноватъ, что это случается только въ романахъ, да еще въ тѣхъ, что Бѣлинскій велитъ Ванькѣ по субботамъ читать». — Кажется, Русановъ приписалъ тутъ Бѣлинскому фразу барона Брамбеуса, но это еще не велика бѣда. Но вотъ что очень плохо: Русановъ думаетъ, что выдаваться изъ толпы пошляковъ можно только какими нибудь подвигами во вкусѣ Еруслана Лазаревича; онъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что въ XIX столѣтіи людей выдвигаетъ впередъ не ло-

навсегда поселиться въ деревнѣ. Очеркъ его сельско-хозяйственной дѣятельности представленъ графомъ Толстымъ въ отдѣльной повѣсти: «Утро помѣщика». Нехлюдовъ занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ, на примѣръ, онъ обходитъ утромъ дворы тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ нибудь вспоможеніи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами, и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду, или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Нехлюдовъ къ Ивану Чурисенку, просившему себя каменхто колья или сошки для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Нехлюдовъ, что все строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чурисенокъ рассказываетъ ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. «По спиѣ, какъ полыхнетъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала». Нехлюдовъ, думая облагодѣтельствовать Чурисенка, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. «Я, говоритъ, ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенокъ говоритъ: «воля вашего сіятельства,» и въ тоже время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается въ ноги къ молодому помѣщику, начинаетъ выть и умоляетъ барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой разваливающейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и неговорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаетъ описывать прелесть стараго мѣста. «Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога и прудъ тебѣ, бѣлье, что-ли, бабѣ стирать, скотину ли поить — и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородинка, и ветлы — вотъ, что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу». Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя же благодѣтельствовать насильно. Нехлюдовъ отказывается отъ своего намѣренія, и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбою о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Нехлюдовъ отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлялъ на починку крестьянскаго строенія. — Но у Чурисенка на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станетъ. — Нехлюдовъ даетъ ему денегъ на покупку коровы, и

идеть дальше. Входить онъ во дворъ къ Епифану или Юхванѣ-Мудреному. Нехлюдову извѣстно, что этотъ мужикъ любитъ, по своему, сибаритствовать, курить трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелою работою, и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Нехлюдовъ узналъ, что Юхванка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотрѣть, возможна ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Нехлюдовъ рѣшительно запрещаетъ Юхванѣ эту коммерческую операцію. Юхванка, въ разговорѣ съ баринѣмъ, лжетъ ему въ глаза самымъ наглымъ образомъ, и нисколько не смущается, когда Нехлюдовъ на каждомъ шагу выводитъ его на свѣжую воду. Нехлюдовъ, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продувная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно ясно, что онъ непремѣнно раскохотался бы надъ его совѣтами, если бы его не удерживало тонкое пониманіе галантерейнаго обращенія. — Пороть меня ты не будешь, думаетъ Юхванка, потому что совсѣмъ никого не порешь; на поселеніе тоже не соплешь — пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди двухъ зубовъ нѣту. Значитъ, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ. — И Нехлюдовъ, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы, для того, чтобы не расплакаться тутъ же, на Юхваниномъ дворѣ, передъ глазами нераскаяннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки, даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба.

Затѣмъ, слѣдуетъ картина другого безпутства. У Давыдки Бѣлаго нѣтъ въ избѣ ни вросши хлѣба; весь дворъ представляетъ собою мерзость запустѣнія, а самъ Давыдка цѣлые дни и ночи лежитъ на печѣ, подъ тулупомъ, даже весь отекаетъ и распухъ отъ сна. Баринъ будитъ «лѣниваго раба» и начинаетъ аргументировать, очень убѣдительно доказывая необходимость труда. «Лѣнивый рабъ слушаетъ тупо и покорно.» Онъ молчалъ; но выраженіе его лица и положеніе всего тѣла говорило: знаю, знаю, ужъ мнѣ не первый разъ это слышать. Ну, бейте же; коли такъ надо — я снесу. Онъ казалось, желалъ, чтобы баринъ пересталъ говорить, а поскорѣ прибилъ его, даже больно прибилъ по пухлымъ щекамъ, но оставилъ поскорѣ въ покоѣ». (стр. 160). Приходитъ въ эту минуту мать Давыдки, дѣятельная и бойкая женщина, которая одна работаетъ за весь свой дворъ. Она начинаетъ жаловаться на своего лдащаго сына, ругаетъ и дразнитъ его, рассказываетъ, что жена Давыдки назвала себя тяжелою работою, а потомъ умоляетъ барина, чтобы онъ во

второй раз женилъ безпутнаго лѣбтя. Нехлюдовъ говорить: съ Богомъ! но штука заключается въ томъ, что за Давыдку ни одна дѣвка по своей волѣ не пойдетъ, и что мать просить у барина не позволенія для Давыдки, а приказанія для дѣвки. Баринъ отвѣчаетъ ей, что это невозможно, что хлѣба онъ имъ дастъ, а невѣсту сватать не берется. Потомъ Нехлюдовъ пошелъ къ богатому мужику Дутлову, предложилъ ему очень выгодное помѣщеніе для его денегъ, но мужикъ, разумѣется, съѣзжился и тщательно затаилъ свой капиталъ отъ помѣщика, и баринъ изыскъ изъ этого посѣщенія только тотъ результатъ, что его маленько покусали Дутловскіи пчелы, потому что онъ забрался на пчельникъ, и, по юношеской храбрости, не пожелалъ надѣть предохранительную сѣтку. Нехлюдовъ отправляется домой, и по дорогѣ задумывается. «Развѣ богаче стали мои мужики? думаетъ онъ; образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Если-бъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, если-бъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недоувѣріе, безпомощность. Я даромъ трачу лучшіе годы жизни, подумалъ онъ, и ему почему-то вспоминалось, что сосѣди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторѣ ничего уже не оставалось; что выдуманная имъ новая молотильная машина, въ общему смѣху мужиковъ, только свистѣла, а ничего не молотила, когда ее въ первый разъ, при многочисленной публикѣ, пустили въ ходъ въ молотильномъ сараѣ; что со дня на день надо было ожидать пріѣзда земскаго суда для описи имѣнія, которое онъ просрочилъ, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями.» (Стр. 168).

Странная и печальная исторія! Умъ, молодость, энергія, стойкость, человѣколюбіе,—все, что дѣлаетъ человѣка сильнымъ и полезнымъ, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ, и все это приводитъ за собою только неудачи и разочарованіе, и, въ концѣ концовъ, безотрадное сознаніе той несомнѣнной истины, что «имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле.» Причина всей нескладницы заключается въ томъ, что Нехлюдовъ — ни рыба, ни мясо, и что онъ, вслѣдствіе этой двусмысленности и неопредѣленности своего положенія и своего развитія, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается влить вино новое въ мѣха старыя. Задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы, и даже приносить вредъ, когда приходитъ въ соприкосновеніе съ старыми формами крѣпостнаго быта. Если бы дѣдушка, или, можетъ быть, и папенька Нехлюдова пріѣхалъ въ свое имѣніе съ цѣлью поправить разстроенное хозяйство мужиковъ, то, по всей вѣроятности, онъ, въ первую же недѣлю, послѣ своего пріѣзда, перепоролъ бы половину деревни, пачиная

разумѣтся съ крѣпостныхъ прикащиковъ, бурмистровъ, старость и всякихъ другихъ деревенскихъ властей. Съ такимъ помѣщикомъ Юхванна пересталъ бы быть «мудреннымъ», и Чурисенокъ переселился бы на новый хуторъ безъ малѣйшаго краснорѣчія. Если бы, кромѣ неумолимой строгости, у этого помѣщика была малая толика практическаго ума, и хоть какое-нибудь, даже самое рутинное знаніе сельскаго хозяйства, то въ пять-шесть лѣтъ мужики дѣйствительно поправили бы свои дѣлишки, и дошли бы до той степени сытаго довольства, которою пользуются быки и бараны благоустроеннаго скотнаго двора, и которая въ крѣпостномъ быту составляетъ предѣлъ, его же не преидеши. И грозный помѣщикъ, съ своей точки зрѣнія, могъ бы сказать, что онъ свято исполнилъ свою гражданскую обязанность, потому что, разумѣтся, онъ стоитъ неизмѣнно выше тѣхъ современниковъ своихъ, которые проживаютъ свои доходы въ столицахъ, предоставляя своихъ мужиковъ въ безконтрольное распоряженіе управляющихъ и бурмистровъ. Да этого еще мало. Грозный помѣщикъ стоитъ даже выше такого почти идеальнаго помѣщика, какимъ является намъ Нехлюдовъ.

Для помѣщика не было середины. Онъ могъ быть или суровымъ властелиномъ, или дойною коровою. На первый взглядъ можетъ показаться, что второй типъ лучше, отраднѣе и полезнѣе перваго, но это—только на первый взглядъ. Дойная корова побалууетъ мужиковъ три-четыре года, а потомъ и протянетъ ноги тѣмъ, или другимъ манеромъ. Самый простой и естественный результатъ этого сантиментальнаго баловства обнаруживается намъ въ исторіи Нехлюдова: въ конторѣ ни копѣйки денегъ; имѣніе просрочено; его опишутъ, возьмутъ въ опеку, разорять еще хуже, а потомъ продадутъ съ аукціоннаго торга, и мужикамъ, привыкшимъ къ доенію коровы, придется такъ скверно при перемѣнѣ системъ, что хоть въ петлю полѣзай. Ясно, кажется, что новое вино пролилось на полъ. Но, разумѣтся, типъ суроваго властелина, въ свою очередь, хорошъ только въ той мѣрѣ, въ какой могло быть что-нибудь хорошее при существованіи крѣпостной зависимости. Сытое довольство скотнаго двора очевидно не благоприятствуетъ развитію высшихъ способностей человѣческаго ума, и не можетъ создавать людей съ сильными и самостоятельными характерами. Вамъ случалось, вѣроятно, видѣть, какъ быстро спиваются съ кругу и затачиваются въ тину самаго оподѣляющаго разврата именно тѣ юноши, которые, при жизни своихъ строгихъ родителей, поражали васъ своимъ безукоризненнымъ и даже неестественнымъ благонравіемъ. «Эхъ, кабы старики-то были живы!» говорить обыкновенно въ этихъ случаяхъ старше друзья покойниковъ, совершенно упуская изъ виду то, что именно сами-то покойники приготовили, въ теченіе всей своей жизни, всю ту кутерьму, которая разыгралась на другой день послѣ ихъ строгости. Ежегодныя рукавицы отняли у

подвластнаго человѣка возможность пріобрѣтать себѣ самостоятельный житейскій опытъ, а неопытность оказалась тою широкою дорогою, по которой поѣхали на человѣка всякія искушенія и всякія ошибки. Такая-то участь и постигаетъ обыкновенно мужиковъ грознаго помѣщика, какъ только ослабѣваетъ или прекращается давленіе его тяжелой руки.

Нехлюдову слѣдовало все это сообразить прежде, чѣмъ онъ пріѣхалъ въ деревню, и предпринялъ свои благотворительныя нововведенія. Надо было сказать себѣ: грознымъ помѣщикомъ я быть не могу, если бы даже и желалъ имъ сдѣлаться. Дойною коровою я не хочу быть, потому что это глупо и бесполезно. Значить, если я чувствую потребность расположить мои отношенія къ крестьянамъ сообразно съ моими гуманными стремленіями и убѣжденіями, то мнѣ остается только одна дорога: надо осторожно развязать, и потомъ совершенно уничтожить всѣ обязательныя отношенія, существующія между мною и этими людьми. Приступая разумнымъ образомъ къ освобожденію своихъ крестьянъ, Нехлюдовъ долженъ былъ, прежде всего, освободить самаго себя отъ крѣпостной зависимости. Онъ живетъ трудами своихъ мужиковъ, или другими словами, доходами съ своего имѣнія. А человѣкъ, который серьезно желаетъ сдѣлать въ своей жизни что нибудь дѣйствительно полезное, долженъ непремѣнно жить своими собственными трудами. Кто не въ состояніи, безъ посторонней помощи, прокормить самаго себя, тому нечего и думать о какой бы то ни было дѣятельности на пользу другихъ. Поэтому, Нехлюдову надо было, прежде всего, узнать свои собственныя способности и выучиться какому-нибудь хлѣбному ремеслу. Сдѣлался ли бы онъ сапожникомъ или писателемъ, профессоромъ или кузнецомъ, машинистомъ или медикомъ, это уже совершенно все равно, и это вполнѣ зависитъ отъ особенностей его умственной и вообще физической организаціи. Важно только то, чтобъ онъ сталъ въ совершенно независимыя отношенія къ своему собственному капиталу, въ чемъ бы этотъ капиталъ ни заключался, въ крѣпостныхъ ли мужикахъ, или въ землѣ, или въ деньгахъ.

Весь смыслъ вещей, весь міръ неодоушевленной природы и живыхъ людей совершенно измѣняется въ глазахъ человѣка, когда этотъ человѣкъ чувствуетъ и сознаетъ, что онъ самъ — рабочая сила, и что въ немъ самомъ, въ его головѣ и въ его рукахъ, заключается совершенно достаточное обезпеченіе его существованія, является смѣлость и предприимчивость, непостижимыя для капиталиста, который знаетъ очень хорошо, что капиталъ его лежитъ внѣ его личности, что этотъ капиталъ можетъ быть утраченъ, и что личность капиталиста, послѣ разлуки съ своимъ капиталомъ, должна превратиться въ нуль, или, еще вѣрнѣе, въ минусъ. Работникъ, владѣющій капиталомъ, можетъ позволить себѣ такую роскошь, на которую никакъ не можетъ отважиться

простой капиталист; онъ можетъ рисковать своимъ капиталомъ въ любви къ своей идѣ; на примѣръ, онъ можетъ тратить его на научные опыты, на ученыя экспедиціи, на проведеніе въ жизнь своихъ гуманныхъ тенденцій. Онъ можетъ ставить послѣднюю копѣйку ребромъ, а такая способность выдерживать, не бастуя и не уменьшая ставки, до самаго конца игры, бываетъ часто совершенно необходима для успѣха всего предпріятія. Кромѣ того, кормить себя собственнымъ трудомъ—значить относиться въ какому-нибудь практическому дѣлу совершенно серьезно и добросовѣстно, безъ всякой примѣси шарлатанства или дилетантизма. Чтобы относиться такимъ образомъ къ какому-бы то ни было дѣлу, надо уже кое-что знать, надо предварительно присмотрѣться и къ самому себѣ и къ разнымъ особенностямъ житейской практики. Вслѣдствіе этого, кромѣ смѣлости и предпримчивости, у работника есть опытность и смѣтливость, недоступныя очень многимъ изъ тѣхъ людей, которые спокойно питаются процентами съ своихъ капиталовъ. Значить, работникъ будетъ дѣйствовать смѣло, но расчетливо, то есть, рисковать только тамъ, гдѣ дѣйствительно надо рисковать, и гдѣ важность успѣха совершенно окупаетъ собою невѣрность предпріятія. Итакъ:

Нехлюдовъ долженъ, прежде всего, сдѣлать изъ себя работника, и испытать силы своего ума и характера надъ рѣшеніемъ той задачи, которая задается въ жизни огромному большинству людей, то есть, надъ самостоятельнымъ прокормленіемъ собственной особы. Для этого ему надо было бы непремѣнно кончить курсъ въ университетѣ, а потомъ еще поучиться очень серьезно въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, во первыхъ, для того, чтобы найти себѣ спеціальность, а во вторыхъ, для того, чтобы достаточно усовершенствоваться въ этой спеціальности. Если бы Нехлюдовъ, послѣ такого приготовленія, рѣшился поселиться въ деревнѣ, то онъ, вѣроятно, придумалъ бы тамъ не свистѣлку, а настоящую молотилку. Дальнѣйшій же ходъ эмансипаціонной работы не представляетъ никакихъ особенныхъ затрудненій. Если имѣніе заложено, и если бы, вслѣдствіе этого, нельзя было отпустить на волю крестьянъ, то надо сначала выкупить имѣніе, а для человѣка, который живетъ собственнымъ трудомъ, и, стало быть, не нуждается въ доходахъ, это дѣло окажется совершенно исполнимымъ. Выкупилъ, отдалъ крестьянамъ полный надѣлъ земли, остальную землю продалъ въ другія руки для того, чтобы крестьяне видѣли возлѣ себя просто богатаго сосѣда, а не своего бывшего барина, связаннаго съ ними патріархальными преданіями, и обязаннаго оказывать имъ разныя щедроты, совершилъ всѣ формальности, отпускныя, дарственныя, купчія, да и уѣхалъ съ вырученными деньгами заниматься своимъ ремесломъ. Вотъ самое простое и единственно возможное рѣшеніе той задачи, надъ которой такъ усердно и такъ безуспѣшно трудится Нехлюдовъ. Посвящать всю свою жизнь

крестьянамъ, нѣтъ рѣшительно никакой надобности. Пожалуйста, не посвящайте. Вѣдь изъ этого посвященія выйдетъ только то, что вы будете тратить деньги, заработанныя крестьянами, или на безтолковыя благодѣянія, или на сооруженіе свистѣльныхъ машинъ. Почему вы знаете, что вы способны быть помѣщикомъ, т. е. агрономомъ, скотоводомъ и отчасти администраторомъ? Потому что вамъ досталось отъ отца имѣніе въ семьсотъ душъ? Это причина неудовлетворительная; тогда, значитъ, сынъ сапожника долженъ быть сапожникомъ, потому что отецъ оставляетъ ему въ наслѣдство колодку и шило. Такимъ путемъ мы приходимъ къ индѣйскимъ кастамъ, то есть, къ систематическому подавленію всякой личной оригинальности. Такого результата не можетъ желать ни одинъ здравомыслящій человѣкъ, и, стало быть, вы, господинъ Нехлюдовъ, должны быть не помѣщикомъ, а можетъ быть, учителемъ математики, или архитекторомъ, или чѣмъ нибудь другимъ, смотря потому, каковы ваши личныя способности. А чтобы узнать свои способности, вы должны учиться, читать, размышлять, говорить съ умными людьми, а не закупоривать себя въ деревнѣ, и не аргументировать съ Юханкой и съ Давыдкой.

Значить, съ какого конца не возьми дѣло, вездѣ оказывается все также самая бѣда: незнаніе, и опять таки незнаніе. Гдѣ нѣтъ прочнаго знанія, тамъ вы не замѣните его ни усердіемъ, ни добродушіемъ, ни чистотою сердца, ни цѣломудріемъ, ни даже Иваномъ Яковлевичемъ. Все будетъ скверно, и все постоянно будетъ становиться хуже да хуже. Собственно для того, чтобы освѣтить съ разныхъ сторонъ эту очень старую истину, я остановился такъ долго на разборѣ повѣсти: «Утро помѣщика». Иначе не зачѣмъ было бы говорить о ней такъ подробно, потому что вѣрнопостыя отношенія, изображенныя въ этой повѣсти, уже давно укатились въ вѣчность «hinaus in's Meer der Ewigkeit», какъ говоритъ Шиллеръ въ своихъ «Идеалахъ». Но вопросъ о знаніи и полузнаніи постоянно стоитъ на очереди.

Х.

Въ послѣдній разъ мы встрѣчаемъ нашего стараго знакомаго, князя Нехлюдова, въ небольшомъ разсказѣ «Люцернъ». Онъ, то есть, не разсказъ, а Нехлюдовъ, путешествуетъ по Швейцаріи и записываетъ свои путевыя впечатлѣнія. Разсказъ «Люцернъ» составляетъ маленькій отрывокъ изъ этихъ записокъ. Дѣйствіе происходитъ въ Люцернѣ, и отно-

сится къ 7-му іюля 1857 года. Князю Нехлюдову въ это время, по моимъ хронологическимъ соображеніямъ, должно быть около 35 лѣтъ. Его характеръ надо считать уже окончательно сложившимся. Вотъ мы теперь и посмотримъ, какой результатъ выработался изъ тѣхъ задатковъ, съ которыми мы познакомились выше. Остановившись въ лучшей люцернской гостинницѣ, Швейцергофѣ, Нехлюдовъ, изъ окна своей комнаты, начинаетъ очень сильно восхищаться видомъ озера, горъ, и вообще, всякой другой природы. «Мнѣ захотѣлось, говорить онъ, въ эту минуту обнять кого нибудь, крѣпко обнять, зашекотать, ущипнуть его, вообще сдѣлать съ нимъ и съ собой что нибудь необыкновенное» (стр. 183). Однако онъ никого не обнялъ, не зашекоталъ и не ущипнулъ, вѣроятно потому, что его восторги въ значительной степени охаждались видомъ набережной, «прямой, какъ палка», и возбудившей въ немъ, съ самой первой минуты, непримиримую ненависть. «Безпрестанно, жалуется онъ, невольно мой взглядъ сталкивался съ этой ужасно прямой линіей набережной и мысленно хотѣлъ оттолкнуть, уничтожить ее, какъ черное пятно, которое сидитъ на носу подъ глазомъ; но набережная съ гуляющими англичанами оставалась на мѣстѣ, и я невольно старался найти точку зрѣнія, съ которой бы мнѣ ея было не видно» (стр. 184). Война Нехлюдова съ бѣлою палкою набережной прерывается тѣмъ, что его зовутъ обѣдать за общій столъ. За обѣдомъ для Нехлюдова начинаются новыя огорченія. Его чрезвычайно волнуетъ то обстоятельство, что странствующие англичане, которыми переполненъ Швейцергофъ, сидятъ слишкомъ чинно и занимаются во время обѣда процессомъ ѣды, а не веселыми разговорами. Во все время обѣда онъ размышляетъ объ англійской холодности, а потомъ, разогорченный ею до глубины души, идетъ шляться по городу въ самомъ невеселомъ расположеніи духа. Тутъ ему становится еще грустнѣе. «Мнѣ становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, какъ это случается иногда безъ видимой причины при переѣздахъ на новое мѣсто». (Стр. 185). Но въ это время какой-то уличный музыкантъ заигралъ на гитарѣ и началъ пѣть пѣсни, и Нехлюдову вдругъ сдѣлалось ужасно хорошо и даже очень приятно жить на свѣтѣ. «Всѣ воспоминанія, невольныя впечатлѣнія жизни вдругъ получили для меня значеніе и прелесть. Въ душѣ моей какъ будто распустился свѣжій, благоухающій цвѣтокъ. Въмѣсто усталости, разсѣянна, равнодушна ко всему на свѣтѣ, которыя я испытывалъ за минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потребность любви, полноту надежды и безпричинную радость жизни. Чего хотѣть, чего желать? сказалося мнѣ невольно, вотъ она, со всѣхъ сторонъ, обступаетъ тебя красота и поэзія. Вдыхай ее въ себя широкими, полными глотками, на сколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебѣ еще надо! Все твое, все благо...» (Стр. 185).

Набережная передъ глазами—досадно! Англичане молчатъ—грустно! На гитарѣ заиграли—ужасно весело! Какъ вамъ нравится такой человѣкъ, у котораго вся нервная система постоянно скрипитъ и коетъ такъ или иначе, въ отвѣтъ на каждый ничтожный и мимолетный звукъ изъ окружающаго міра? Такихъ людей называютъ многіе впечатлительными, отзывчивыми, тонко-чувствительными, художественными натурами; извѣстное дѣло, нѣтъ той дряни, которую нельзя было бы украсить какимъ нибудь маскательнымъ эпитетомъ; но мнѣ кажется, что такіе тонко организованные субъекты, очень похожи на тѣхъ несчастныхъ больныхъ, которые, напивавшись ртутныхъ лекарствъ, превращаются въ ходячіе барометры, то есть, чувствуютъ ломоту въ костяхъ передъ каждою малѣйшею переменною погоды. Эта тонкость организаціи есть ни что иное, какъ совершенное разстройство нервной системы, разстройство, порожденное праздноствіемъ и безтолковою суетливостію. За неизмѣнимъ серьезной цѣли и полезной работы, умъ кидается на пустяки, гоняется за призраками, раздражается своими тщетными попытками поймать то, что никому не дается въ руки, и наконецъ, благодаря такимъ упражненіямъ, человѣкъ доходитъ до какого-то полусумасшествія: постоянно волнуется, постоянно о чемъ-то хлопочетъ, и самъ не только не можетъ, но даже и не пробуетъ объяснить себѣ, чего ему надо, о чемъ онъ груститъ, чему онъ радуется и какой смыслъ имѣютъ всѣ его пошлыя бури въ стаканѣ воды. Когда человѣкъ дошелъ до такого безнадѣжнаго положенія, тогда, разумѣется, смѣшно и ожидать отъ него какой нибудь дѣятельности; тогда надо просить его объ одномъ: садь ты, голубчикъ, на мѣсто и постарайся поменьше кричать и кривляться. Но онъ и этой просьбы исполнить не въ состояніи; онъ все поетъ и все прыгаетъ, и ежеминутно откалываетъ такія удивительныя штуки, какихъ ни одинъ здравомыслящій человѣкъ нарочно не сдумѣлъ бы придумать.

Князь Нехлюдовъ находится именно въ этомъ положеніи совершеннаго умственной банкротства. Мысль и чувство его истрепались и измельчали до послѣдней крайности и дѣлаютъ ежеминутно нелѣпѣйшіе скачки, не имѣя уже силъ остановиться и сосредоточиться на какомъ бы то ни было отдѣльномъ впечатлѣніи. Когда звуки гитары и пѣсни открыли Нехлюдову смыслъ всѣхъ тайнъ и загадокъ міровой жизни, тогда онъ подошелъ къ тому мѣсту, откуда слышались эти волшебные звуки. Онъ увидалъ, что пѣвецъ поетъ передъ балкономъ Швейцергофа; его слушаетъ вся блестящая публика, живущая въ этой гостинницѣ, но ни одинъ изъ слушателей не даетъ ему ни копѣйки, когда онъ, по окончаніи пѣсни, снимаетъ шляпу и произноситъ просительную фразу. Нехлюдовъ пользуется этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы немедленно вознегодовать. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что въ этомъ фактѣ дѣйствительно нѣтъ ничего хорошаго, но я рѣшительно не могу себѣ объяснить,

такое, о чемъ ни Григорьевъ, ни его читатели не имѣли, не имѣютъ и никогда не будутъ имѣть никакого понятія. Толстой остался по прежнему въ тѣни. Его читають, его любятъ, его знаютъ, какъ тонкаго психолога и граціознаго художника, его уважають, какъ почтеннаго работника въ ясно-полянскоѣ школѣ, но до сихъ поръ, никто не подхватилъ, не разработалъ и не подвергнувъ тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается въ превосходныхъ повѣстяхъ этого писателя. О каждомъ романѣ Тургенева кричать и спорять, по крайней мѣрѣ, по полугоду. Толстого прочитають, задумаются, ни до чего не додумаются, да такъ и покончатъ дѣло благоразумнымъ молчаніемъ. Это молчаніе я попробую нарушить. Въ моей статьѣ читатель не найдетъ, разумѣется, ни похвалъ, ни порицаній писателю. Онъ найдетъ только анализъ тѣхъ живыхъ явленій, надъ которыми работала творческая мысль графа Толстого.

II.

Читатели мои знаютъ, конечно, что вѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» составляютъ три отдѣльныя части воспоминаній Николая Иртеньева. Эти воспоминанія начинаются съ одинадцатаго и доходятъ до восемнадцатаго года его жизни. Въ концѣ своего «Отрочества», за нѣсколько мѣсяцевъ до вступленія въ университетъ, Иртеньевъ сближается съ княземъ Нехлюдовымъ, котораго характеръ, набросанный довольно яркими чертами въ «Юности», дорисовывается вполне въ отдѣльныхъ разсказахъ: «Утро помѣщика» и «Люцернъ». — Иртеньевъ и Нехлюдовъ принадлежать оба къ тому поколѣнію, которому, во время крымской войны, было около тридцати лѣтъ. Это поколѣніе лѣтъ на десять моложе Рудиныхъ и Печоринныхъ, и лѣтъ на десять или на пятнадцать старше Базаровыхъ. Въ настоящую минуту людямъ базаровскаго типа можно положить возрастъ отъ двадцати до тридцати лѣтъ; Иртеньевымъ и Нехлюдовымъ — около сорока, а Рудинымъ и Печориннымъ слишкомъ пятьдесятъ. Впрочемъ, границы базаровскаго типа еще не могутъ быть обозначены, потому что въ настоящую минуту мы не видимъ его конца. Трудно сдѣлаться раньше двадцати лѣтъ зрѣлымъ, то есть, вполне сознательнымъ и непоколебимымъ Базаровымъ, но изъ этого обстоятельства никакъ нельзя вывести то заключеніе, что молодые люди, еще не достигшіе двадцатилѣтняго возраста, составляютъ крайній предѣлъ базаровскаго типа; пятнадцатилѣтній мальчикъ, конечно, не можетъ быть Базаровымъ, потому что въ эти лѣта характеръ

обитателямъ Швейцгергофа. Вотъ это ужъ никуда негодится, потому что такая демонстрація вовсе не пріятна для пѣвца, и не полезна ни для кого на свѣтѣ. Пѣвецъ предлагаетъ Нехлюдову войти въ простую расшивочную лавочку, но Нехлюдовъ, по своей дурацкой фантазіи, тащить смущеннаго пѣвца въ настоящій Швейцгергофъ. Это значитъ: пляши по моей дудкѣ, потому что я русскій баринъ, и потому что я тебя хожу, угощаю. Это какъ нельзя больше напоминаетъ мнѣ Ситникова, который кричитъ на мужиковъ: «надѣньте шапки, дураки!» Шапки они должны надѣвать потому, что Ситниковъ прогрессистъ; а дураками они оказались потому, что Ситниковъ баринъ.—Приходятъ въ Швейцгергофъ. Ихъ отводятъ въ залу для простого народа, и тутъ начинается геройская борьба Нехлюдова противъ аристократизма, воплотившагося на этотъ вечеръ въ лакеяхъ блестящей гостиницы. Нехлюдову предлагаютъ простого вина, но онъ; «стараясь принять самый гордый и величественный видъ,» требуетъ «шампанскаго и самаго лучшаго.» Подаютъ шампанское, и вмѣстѣ съ шампанскимъ приходятъ два лакея посмотрѣть на потѣшное представленіе, которое даромъ разыгрываетъ нашъ полоумный соотечественникъ. «Два изъ нихъ сѣли около судомойки, и, съ веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицахъ, любовались на насъ, какъ любятъ родители на милыхъ дѣтей, когда они мило играютъ». (Стр. 187). Соотечественникъ нашъ чувствуетъ себя смущеннымъ, но утѣшаетъ себя тою мыслью, что путь добродѣтели всегда усыпанъ колючими терніями. «Хотя, говорить онъ, мнѣ было и очень тяжело и неловко подъ огнемъ этихъ лакейскихъ глазъ бесѣдовать съ пѣвцомъ и угощать его, я старался дѣлать свое дѣло сколь возможно независимо». (Стр. 187). Это признаніе доказываетъ намъ, что наши соотечественники тратятъ за границею на бесполезные подвиги не только свои деньги, но и свою энергію. Враги нашего соотечественника сдвигаютъ свои силы. «Швейцаръ, не снимая фуражки, вошелъ въ комнату, и, облокотившись на столъ, сѣлъ подлѣ меня. Это послѣднее обстоятельство, задѣвъ мое самолюбіе и тщеславіе, окончательно взорвало меня и дало исходъ той давившей злобѣ, которая весь вечеръ собиралась во мнѣ... Я совсѣмъ озлился той кипящей злобой негодованія, которую я люблю въ себѣ (странный вкус!), возбуждаю даже, когда на меня находятъ (самъ сознается, что *на него находятъ*), потому что она успокоительно дѣйствуетъ на меня и даетъ мнѣ хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергію и силу всѣхъ физическихъ и моральныхъ способностей.» (На счетъ *моральныхъ способностей* позволю себѣ выразить сомнѣніе, потому что, какъ мы увидимъ дальше, онъ совершенно подавляются и помрачаются той кипящей злобой негодованія, которую онъ *любитъ и даже возбуждаетъ въ себѣ*). Воскнигившій самоваръ Нехлюдовъ тотчасъ изля-

ваетъ на преступныхъ лакеевъ потоки глухой, но язвительной рѣчи.— «Какое вы имѣете право смѣяться надъ этимъ господиномъ и сидѣть съ нимъ рядомъ, когда онъ гость, а вы лакей? Отчего вы не смѣялись надо мной нынче за обѣдомъ (лакей могъ-бы на это отвѣчать: я тогда еще не зналъ, что вы такой шутъ гороховой) и не сажались со мной рядомъ? Оттого, что онъ бѣдно одѣтъ и поестъ на улицѣ, а на мнѣ хорошее платье? Отъ этого? Онъ бѣденъ, но въ тысячу разъ лучше васъ, въ этомъ я увѣренъ; потому что онъ никого не оскорбилъ, а вы оскорбляете его.— Да я ничего, что вы, робко отвѣчалъ мой врагъ-лакей. Развѣ я мѣшаю ему сидѣть?— Лакей не понималъ меня, и моя нѣмецкая рѣчь пропадала даромъ. (Стр. 189). Последнее предположеніе Нехлюдова совершенно несправедливо. Судя по отвѣту лакея, можно утверждать, напротивъ того, что онъ превосходно понималъ, и даже разбилъ на голову нашего свирѣпаго оратора. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, вся рѣчь Нехлюдова имѣла-бы хоть какой нибудь смыслъ только въ томъ случаѣ, когда бы лакей мѣшалъ пѣвцу сидѣть. А иначе Нехлюдовъ пропадаетъ въ безвыходное противорѣчіе. Ставя уличнаго пѣвца на ряду съ блестящими гостями Швейцергофа; онъ уничтожаетъ сословныя перегородки, а потомъ онъ тотчасъ, во имя этихъ уничтоженныхъ перегородокъ, кричитъ на лакеевъ, и приказываетъ имъ встать. Это еще гораздо глупѣе ситниковскаго восклицанія; «надѣньте шапки, дураки!»— Кроме того, само собою разумѣется, что эта сцена испортила пѣвцу все удовольствіе выпивки. Онъ самымъ жалобнымъ образомъ начинаетъ проситься домой, но Нехлюдовъ только-что вошелъ въ настоящій вкусъ той кипящей злобы негодованія, которою онъ любитъ угощать самаго себя. Онъ съ сильнымъ нахальствомъ тащитъ бѣднаго пѣвца на новыя мытарства. Выпилъ, дескать, каналья, такъ утѣшай барина до самаго конца. Соотечественникъ нашъ требуетъ, чтобы его, вмѣстѣ съ пѣвцомъ, вели въ парадную залу. Въ рѣчи, которую онъ произноситъ по этому поводу, есть и политика, и нравственная философія, и поэтическіе образы, и арифметическія соображенія. «И отчего вы привели меня съ этимъ господиномъ въ эту, а не въ ту залу? А? допрашивалъ я швейцара, ухвативъ его за руку съ тѣмъ, чтобы онъ не ушелъ отъ меня. Какое вы имѣли право по виду рѣшать, что этотъ господинъ долженъ быть въ этой, а не въ той залѣ? Развѣ, кто платитъ, не всѣ равны въ гостиницахъ? Не только въ республикѣ, но во всемъ мірѣ. Паршивая ваша республика!.. Вотъ оно равенство. Англичанъ вы бы не смѣли провезти въ эту комнату, тѣхъ самыхъ англичанъ, которые даромъ слушали этого господина, то есть украли у него каждый по нѣскольку сантимовъ, которые должны были дать ему. Какъ вы смѣли указать эту залу?» (Стр. 190).

Если вы представите себѣ, что вся эта бурда хорошихъ словъ была вылита на голову несчастнаго швейцара, котораго держать за руку, чтобы онъ не ушелъ, то вы вѣроятно согласитесь, что, можетъ быть, никогда еще типъ неисправимаго фразера или безтолковаго идеалиста не являлся передъ вами въ болѣе смѣшномъ и печальномъ положеніи. — Не забудьте, что это положеніе вытекаетъ самымъ естественнымъ образомъ изъ всѣхъ, уже извѣстныхъ намъ подробностей о воспитаніи и изъ прежней дѣятельности Нехлюдова, не забудьте, что мы, по повѣстямъ Толстаго, можемъ прослѣдить шагъ за шагомъ формированіе этого страшно-болѣзненнаго характера, не забудьте всего этого, говорю я, и тогда только вы убѣдитесь въ томъ, что повѣсти Толстаго дѣйствительно заслуживаютъ самаго внимательнаго изученія. — Нехлюдовъ одерживаетъ побѣду надъ лакеями и входитъ триумфаторомъ въ парадную залу. «Зала была дѣйствительно отперта, освѣщена и за однимъ изъ столовъ сидѣли, ужиная, англичанинъ съ дамою. Не смотря на то, что намъ указывали особый столъ, я съ грязнымъ пѣвцомъ подсѣлъ къ самому англичанину и велѣлъ сюда подать намъ неконченную бутылку». (Стр. 190). Нехлюдовъ злится на англичанъ за ихъ чванство и за то, что они ничего не дали пѣвцу. Онъ хочетъ имъ сдѣлать какую-нибудь непріятность, и для этого пускаетъ въ ходъ своего пѣвца, какъ комокъ грязи, который онъ кладетъ чуть-чуть не на тарелку ужинающихъ англичанъ. Англичане очень неправы; съ ихъ стороны очень непохвально брезгать человѣкомъ, потому что этотъ человѣкъ бѣденъ. Но Нехлюдовъ, вступающійся за этого бѣднаго человѣка, унижаетъ и тираниитъ его еще гораздо сильнѣе; вы представьте себѣ только, каково должно быть положеніе пѣвца, котораго превратили, такимъ образомъ, въ пассивное орудіе, и притомъ, въ орудіе наказанія. Его присутствіемъ наказываютъ другихъ людей; согласитесь, что трудно вообразить себѣ что нибудь глупѣе и мучительнѣе его роли, и Нехлюдовъ самъ сознается, что бѣдный пѣвецъ сидѣлъ въ парадной залѣ «ни живъ, ни мертвъ», и торопливо допилъ все, что оставалось въ бутылкѣ, лишь бы только поскорѣе выбраться вонъ. А тѣ англичане, которыхъ Нехлюдовъ хотѣлъ наказывать, разумѣется, тотчасъ же ушли изъ залы, такъ что вся мучительная непріятность положенія обрушилась исключительно на несчастную причину торжества, то есть, на бѣднаго пѣвца, которому Нехлюдовъ хотѣлъ сначала доставить удовольствіе.

Вѣдь есть же, въ самомъ дѣлѣ, такіе люди, у которыхъ мысль не можетъ ни на минуту остановиться на одномъ предметѣ, и которые, вслѣдствіе этихъ изумительныхъ скачковъ своей мысли, не могутъ довести до конца самаго простаго дѣла. И всего замѣчательнѣе въ психологическомъ отношеніи то обстоятельство, что многіе изъ этихъ по-

лупомѣшанныхъ людей, дѣлая поразительныя глупости каждый божій день, съ ранняго утра до поздней ночи, въ то же время никакъ не могутъ быть названы глупыми людьми. Надѣлавъ множество нелѣпостей, эти господа сами начнутъ разбирать свое диковинное дѣло, и обнаружатъ въ своемъ анализѣ такъ много наблюдательности, тонкаго юмора и безпощадной ироніи надъ своими собственными ошибками, что вы будете вслушиваться въ ихъ рѣчи съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и съ самымъ сознательнымъ сочувствіемъ. Тотъ самый Нехлюдовъ, который держалъ швейцара за руку, чтобы пожаловаться на паршивость люцернской республики, тотъ самый Нехлюдовъ, говорю я, черезъ нѣсколько минутъ послѣ ухода несчастнаго пѣвца, называетъ свою *кипащую злобу негодования*—дѣтскою и глупою. Тотъ самый Нехлюдовъ описываетъ весь этотъ эпизодъ съ неподражаемымъ оттѣнкомъ грустнаго и задумчиваго юмора. И тотъ же самый Нехлюдовъ на другой день, навѣрное, ухитрится сочинить новую нелѣпость, которая опять заставитъ его смѣяться и грустить надъ своею собственною изломанною и искривлявшеюся особою.

Глупить и размышлять надъ сдѣланными глупостями, размышлять и потомъ опять глупить — вотъ все внутреннее содержаніе въ жизни людей, подобныхъ Нехлюдову. И нѣтъ такого сильнаго ума, который не пришелъ бы къ тому же самому безнадежному положенію, если онъ не воспитаетъ самого себя въ строгой школѣ положительной науки и полезнаго труда. Всѣ мы знаемъ давно, что человѣкъ — существо слабое, безпомощное и несчастное, пока онъ, своими единичными силами, пробуетъ бороться противъ силъ физической и органической природы, то есть, противъ стихій и противъ дикихъ животныхъ. И тотъ же самый человѣкъ, соединяя свои силы съ силами другихъ людей, подчиняетъ себѣ воду и вѣтеръ, паръ и электричество, міръ растений и міръ животныхъ. Тотъ же самый законъ, въ полномъ своемъ объемѣ, прилагается, какъ нельзя лучше, къ развитію и совершенствованію отдѣльнаго человѣческаго ума. Умъ нашъ не можетъ развернуться правильно, онъ не можетъ даже оставаться крѣпкимъ и здоровымъ, если мы не будемъ соединять силъ нашего ума съ умственными силами другихъ людей. Въ общечеловѣческой наукѣ соединяются всѣ умственныя силы всѣхъ отжившихъ и всѣхъ живущихъ поколѣній, и поэтому, искать себѣ умственнаго развитія *одинъ* науки — значитъ обрекать свой умъ на уродливое, мучительное и неизлечимое безсиліе. Въ этой мысли нѣтъ рѣшительно ничего новаго, но повторять и даже доказывать ее все еще необходимо. Мы были бы очень умными, и очень счастливыми людьми, если бы многія старыя истины, обратившіяся уже въ пословицы, или украшающія собою наши азбуки и прописи, перестали быть для насъ

мертвыми и избитыми фразами. Слова наши часто бывают очень хорошими словами, но въ томъ-то и горе наше великое, что они навсегда остаются словами, и что мы сами уже давно къ нимъ прислушались, и, потерявши всякое довѣріе къ пустому звуку, забыли въ то же время и основную мысль, вѣчно живую и вѣчно плодотворную.

1884 г. Декабрь.

РОМАНЪ КИСЕЙНОЙ ДѢВУШКИ.

(Повѣсти, рассказы и очерки Н. Г. Помяловскаго. Два тома. С.-Пб. 1865 г.).

I.

Двѣ главныя повѣсти Помяловскаго, «Мѣщанское счастье» и «Молотовъ», связаны между собою личностью героя, Егора Ивановича Молотова.

Въ первой повѣсти Молотовъ является 22-хъ лѣтнимъ юношей, только что кончившимъ курсъ въ университетѣ. Во второй — 33-хъ лѣтнимъ мужчиной, достаточно ознакомившимся съ практическою жизнью. По своему характеру и по общему складу своей дѣятельности, Молотовъ очень похожъ на Штольца. Существенная разница между ними заключается въ томъ, что ихъ авторы смотрятъ на нихъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Г. Гончаровъ смотритъ на Штольца снизу вверхъ, а Помяловскій на Молотова сверху внизъ. Г. Гончаровъ относится къ Штольцу съ восторженнымъ благоговѣніемъ, а Помяловскій къ Молотову съ дружелюбнымъ и неоскорбительнымъ состраданіемъ. Г. Гончаровъ говоритъ: давай намъ богъ такихъ людей, какъ Штолецъ, а Помяловскій говоритъ: какъ жаль, что большинство хорошихъ людей принуждено оставаться въ положеніи Молотова! Для г. Гончарова Штолецъ есть идеалъ, о которомъ едва позволительно мечтать. Для Помяловскаго Молотовъ есть minimum, на которомъ едва ли позволительно останавливаться. Сами герои смотрятъ на себя такъ, какъ смотрятъ на нихъ ихъ творцы. Штолецъ сіяетъ самодовольствомъ. Я-ли, дескать, не уменъ, я-ли не великъ, я-ли не полезенъ. Я соль земли и спаситель отечества. Молотовъ, окончательно сформировавшійся, напротивъ того, тихъ, скромнень, утомленъ и грустенъ. Онъ самъ говоритъ, что его жизнь — честная чичиковщина. О соленіи земли и о спасеніи отечества

онъ, конечно, и не заикается. Именно поэтому, Штольцъ — деревянная кукла, а Молотовъ — живой человѣкъ. Деревянность Штольца происходитъ именно оттого, что г. Гончаровъ нечаянно вложилъ въ него внутреннее противорѣчiе. Штольцъ, въ одно и тоже время, и уменъ, и глупъ. Уменъ, потому что лихо устроиваетъ свои дѣла и пикантно разсуждаетъ о разныхъ психологическихъ тонкостяхъ. Глупъ, потому что усматриваетъ въ себѣ героя и лѣзетъ на пьедесталъ. И получается поэтому въ общемъ результатъ глупо-умная, то есть, невозможная и деревянная фигура. А Молотовъ постоянно уменъ, и въ практическихъ дѣлахъ, и въ теоретическихъ разсужденiяхъ, и во взглядѣ на свою собственную личность. «Подлости я никакой не сдѣлалъ, думаетъ онъ, но мнѣ все-таки грустно и совѣстно быть только не мошенникомъ. Упрекать я себя ни въ чемъ не могу, но и радоваться, и гордиться мнѣ нечѣмъ. Молодымъ дѣтелямъ, которымъ, быть можетъ, удастся совершить подвиги *положительной* честности и активной любви, я скажу только: друзья мои, не судите меня строго. Не считайте меня тунеядцемъ и рабомъ лѣнивымъ, зарывшимъ свой талантъ въ землю. Разсмотрите внимательно мою жизнь, поставьте себя на мое мѣсто, взвѣсьте все — и размѣры моихъ силъ, и обстоятельства, и понятiя моихъ современниковъ — и тогда вы, чего добраго, скажете, что я сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать. И тогда вы, можетъ быть, съ дружескимъ чувствомъ пожмете мою руку за то, что я всегда ѣлъ хлѣбъ, заработанный собственнымъ трудомъ. Трудъ мой рѣдко приносилъ пользу обществу, да вѣдь что же съ этимъ дѣлать? Откуда взять такой трудъ, который былъ бы дѣйствительно полезенъ? Стоить, напримѣръ, на улицѣ извозчикъ. Каждая копѣйка достается ему тяжелымъ и честнымъ трудомъ. Чтобы привезти вечеромъ домой какихъ нибудь два цѣлевыхъ, сколько онъ въ день натерпится и отъ снѣга, и отъ пыли, и отъ дождя, и отъ вѣтра, и отъ мороза! А развѣ трудъ его дѣйствительно полезенъ для общества? Развѣ всѣ концы, сдѣланные извозникомъ, дѣйствительно были необходимы? Развѣ силы лошади и человѣка не тратились большею частью на то, чтобы возить праздношатающихся шалопаевъ къ другимъ праздношатающимся шалопаямъ, которые вовсе не желаютъ ихъ видѣть, и которые, тѣмъ не менѣе, считают своею обязанностью выражать въ подобныхъ случаяхъ притворную радость, неспособную обмануть даже маленькихъ дѣтей? — А вѣдь извозчикъ тутъ все-таки ничѣмъ не виноватъ. — Вотъ и я, продолжаетъ Молотовъ, былъ постоянно точно такимъ же извозчикомъ. Титанъ, генiй, сильный талантъ пробивалъ бы себѣ дорогу къ общепользному труду. Но я не генiй, не титанъ, даже не сильный талантъ. Я не могу и никогда не могъ сказать людямъ такое слово, которое заставило бы ихъ глубоко задуматься или очнуться отъ глубокаго сна. Я просто неглупый и, вслѣд-

стіе этого, не подлій челоуѣкъ. И прошу я васъ, молодые дѣтели, только объ одномъ: поставьте меня въ вашемъ мнѣніи не выше и не ниже того извозчика, который возитъ шалопаевъ, но, не смотря на то, обращается совершенно честно и съ хозяиномъ, и съ сѣдоками, и съ лошадыю. Героемъ я себя не считаю, на пьедесталъ не лѣзу, но уваженіемъ умныхъ и честныхъ людей дорожу».

И дѣйствительно, никакіе молодые дѣтели будущаго времени, никакіе титаны въ мірѣ не имѣютъ возможности смотрѣть съ презрѣніемъ на того обыкновеннаго челоуѣка, который, подобно Молотову, скромно сознавая свою обыкновенность и понимая невозможность передѣлать обстоятельства обыкновенными и изолированными силами, сосредоточилъ все свое вниманіе на той простой задачѣ, чтобы совершенно честно прокормить свою собственную личность. Если бы Штольцъ былъ возможенъ, то онъ былъ бы смѣшонъ и гадокъ. Ему надо было бы дать щелчокъ въ носъ, чтобы онъ слетѣлъ съ пьедестала, на который его суконное рыло не дастъ ему ни малѣйшаго права. Молотовъ, напротивъ того, совершенно возможенъ и очень симпатиченъ своею свѣтлою и тихою грустью. Причина его грусти очень понятна. Онъ сознаетъ, что трудъ его бесполезенъ для общества. Онъ чувствуетъ, что, при другихъ условіяхъ, онъ могъ бы приносить людямъ дѣйствительную пользу. Но создать эти условія онъ не въ состояніи. Для этого нужно, чтобы общество, глубоко проникнутое инстинктивнымъ стремленіемъ къ новой жизни, воплотило эти стремленія въ геніальной личности; чтобы эта личность своею дѣятельностью сгруппировала и осмыслила разрозненные силы многихъ честныхъ и неглупыхъ людей, подобныхъ Молотову; чтобы эти соединенныя силы дружно взялись за работу и превратили инстинктивное стремленіе общества въ разумный планъ и въ живое дѣло. Тогда Молотовъ былъ бы веселъ и счастливъ. Онъ, быть можетъ, все-таки остался бы чернорабочимъ; но какое счастье быть чернорабочимъ въ томъ дѣлѣ, которое любишь, уважаешь и понимаешь во всѣхъ его подробностяхъ и послѣдствіяхъ! Кто читалъ превосходный романъ Шнильгагена: «Два поколѣнія», тотъ, разумѣется, помнитъ чернорабочаго Каіуса, который, сломавши себѣ правую руку, продержалъ лѣвою рукою корректуру длинной передовой статьи «in praesidentem». Въ каждомъ дѣлѣ такіе чернорабочіе дѣйствительно возможны. И каждому дѣлу такіе чернорабочіе безусловно необходимы.

II.

Помяловскій въ своихъ двухъ повѣстяхъ хотѣлъ показать, какимъ образомъ жизнь полегоньку щупаетъ ребра умному и развитому проле-

тарію, и какимъ образомъ пролетарій, опираясь исключительно на силы своего развитаго ума, можетъ, не смотря на всѣ медвѣжьи ласки жизни, остаться свѣжимъ, неискалеченнымъ и не развращеннымъ человекомъ. «Среда заѣла», «жизнь изломала», «обстоятельства погубили» — все это мы слышали много разъ, все это повторялось, и кстати, и не кстати, такъ часто, что все это превратилось наконецъ въ совершенно выѣтрившуюся и очень вредную фразу. Сначала слова эти произносились умными людьми, размышлявшими объ участи другихъ умныхъ людей, потрудившихся на своемъ вѣку и сошедшихъ въ преждевременную могилу, не сдѣлавъ въ жизни того, что они хотѣли и могли бы сдѣлать при болѣе благоприятныхъ условіяхъ. Тогда эти слова имѣли смыслъ. Тогда человекъ, произносившій эти слова, знаетъ очень досконально, путемъ наблюденія и даже личнаго опыта, что это за штука *среда* и *жизнь*, и *обстоятельства*, и по какимъ причинамъ, и какими средствами, и для какой цѣли производятся разныя *заѣданія* и *ломанія*, и *погубленія* людей умныхъ и много потрудившихся на своемъ вѣку. Умные люди, произносившіе слова, всегда прилагали ихъ къ какомунибудь третьему лицу, сошедшему со сцены. Но слова эти спустились въ низшіе слои умственнаго міра, и тогда — «пошла писать губернія.» Определенный смыслъ словъ выдохся, и дряблые людишки стали этими словами заживо читать себѣ отходную. «Меня заѣла среда» — говорилъ какойнибудь Ноздревъ, воротившись съ ярмарки съ опустошеннымъ карманомъ и съ ошипанными бакенбардами. «Меня изломала жизнь» — тоскливо произносилъ Тряпичкинъ, когда какаянибудь редакція возвращала ему въ цѣлости толстыя кнѣ его безграмотныхъ повѣстей и стихотвореній. «Меня погубили обстоятельства» — сладко и томно твердилъ лейтенантъ Жевакинъ, которому какаянибудь Милицриса Кирбятъевна наплевала за излишнюю предприимчивость въ его тусклые, бараньи глаза. И уѣздные города, и резиденціи сельскихъ джентльменовъ на всемъ пространствѣ нашего обширнаго отечества переполнились людьми заѣденными, погубленными и изломанными, которые однако, не смотря на весь трагизмъ своего положенія, ѣли, пили, спали, жирѣли и тупѣли во всю свою волю.

О достойные сограждане! О филейныя части человѣчества! Развѣ вы чѣмънибудь отличаетесь отъ среды, жизни и обстоятельствъ, на которыя вы такъ бессмысленно жалуетесь? И развѣ можетъ какаянибудь сила въ мірѣ заѣсть, изломать или погубить то, что рыхло, мягко, дрябло и жирно, подобно вамъ? И какой же человекъ, дѣйствительно способный почувствовать на своей особѣ медвѣжью лапу жизни, среды и обстоятельствъ, скажетъ когданибудь: *меня заѣли*, *изломали* или *погубили*? Самому признать себя заѣденнымъ, изломаннымъ и погубленнымъ, значить заживо лечь въ могилу, значить бѣжать съ пашни на лежанку въ то время, когда работаютъ сохи и бороны честныхъ и умныхъ со-

сѣдей, друзей и родственниковъ. Пока человѣкъ живъ, до тѣхъ поръ онъ борется и не признаетъ себя побѣжденнымъ; если онъ бѣденъ—онъ трудится, то есть, борется съ своею бѣдностью; если онъ неучъ—онъ учится, то есть борется съ своимъ невѣжествомъ; если онъ болѣнъ—онъ лечится, то есть, борется съ своею болѣзнию. Борьба продолжается до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не одерживаетъ побѣды надъ своимъ врагомъ, или до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не падаетъ замертво на полѣ сраженія. Въ первомъ случаѣ, человѣку не зачѣмъ говорить о своей изломанности или заѣденности; тутъ онъ самъ, напротивъ того, погубилъ, заѣлъ и изломалъ то, что мѣшало ему быть счастливымъ. А во второмъ случаѣ, человѣку упавшему замертво уже некогда осипать свою могилу цвѣтами сочувственнаго краснорѣчія; надгробное слово произнесутъ надъ нимъ другіе люди. Такимъ образомъ, люди умные и энергическіе борются до конца, а люди пустые и никуда негодные подчиняются безъ малѣйшей борьбы всѣмъ мелкимъ случайностямъ своего бессмысленнаго существованія.

Надо сказать правду: люди вполне умные и люди безнадежно пустые во всѣхъ человѣческихъ обществахъ почти одинаково рѣдки. Огромное большинство состоитъ вездѣ изъ людей посредственныхъ, которые, съ одной стороны, пороку не выдумаютъ, но, съ другой стороны, по выраженію г. Щедрина, салыныхъ свѣчъ не ѣдятъ, стекломъ не утираются. Эти люди могутъ быть дѣтельными или праздными, гуманными или жестокими, полезными или вредными, смотря по тому, въ какую сторону направляется въ данную эпоху господствующее теченіе идей. Ходячія фразы имѣютъ значительное вліяніе на это человѣческое стадо, и важнѣйшая задача здоровой и честной литературы заключается именно въ томъ, чтобы всегда пускать въ обращеніе такія фразы, которыя въ данную минуту могутъ дѣйствовать благотворно на умъ и на волю безцвѣтныхъ и несамостоятельныхъ людей, составляющихъ большинство. При этомъ надо умѣть во время мѣнять эти фразы, чтобы онѣ не застаскивались и не покрывались плѣсенью. Это производство и передвижаніе общепользныхъ фразъ составляетъ прямую обязанность беллетристики и чисто литературной критики, то есть, тѣхъ отраслей словесности, которыя всего ближе прикасаются къ чувствамъ, интересамъ и условіямъ частной нравственности и будничной жизни.

Читатель не долженъ смущаться словомъ *фраза*. Каждая фраза является на свѣтъ, какъ формула или выѣска какой нибудь идеи, имѣющей болѣе или менѣе серьезное значеніе; только впоследствии, подъ руками безцвѣтныхъ личностей, фраза опошляется и превращается въ грязную и вредную тряпку, подъ которою скрывается пустота или нелѣпость. Даровитые писатели чувствуютъ тотчасъ, что формула выдохлась и что пора выдвинуть на ея мѣсто новый пароль.

Я показалъ въ началѣ этой главы, какимъ образомъ фразы о средѣ, о жизни и объ обстоятельствахъ, имѣвшія сначала глубокой смыслъ, превратились понемногу въ нелѣпость, прикрывающую собою лѣнь и негодность дряблыхъ тунеядцевъ. Помяловскій своимъ здоровымъ чувствомъ и свѣтлымъ умомъ понялъ, какъ нельзя лучше, что пора поворотить потокъ фразъ въ другую сторону. До Помяловскаго эта потребность чувствовалась многими изъ нашихъ лучшихъ беллетристовъ. Самая полезная сторона въ дѣятельности Тургенева клонилась именно къ тому, чтобы изобразить внутреннее ничтожество нашихъ домашнихъ Гамлетовъ, праздно тоскующихъ о вредномъ вліяніи жизни, среды и обстоятельствъ. Большая часть тургеневскихъ повѣстей говоритъ ясно и выразительно: тѣ люди, которые жалуются на свое безсиліе, никуда не годятся. Къ этому сужденію Помяловскій своими двумя повѣстями придѣлалъ естественное продолженіе: а тѣ люди, которые на чтонибудь годятся, борятся съ неблагоприятными обстоятельствами и, по меньшей мѣрѣ, умѣютъ отстоять противъ нихъ свое собственное нравственное достоинство. — И каждый здоровый и неглупый человѣкъ скажетъ на это съ полнымъ убѣжденіемъ: правда твоя, честный и даровитый труженикъ; правда твоя, бѣдный и забитый бурсакъ, умѣвшій считаться съ своего ума и съ своего чувства всю грязь, наложенную на нихъ бурсацкими розгами! И спасибо тебѣ, Помяловскій, за то, что ты сильнымъ и убѣдительнымъ своимъ словомъ заступился рѣшительно за святыню человѣческой личности, въ силѣ которой усомнились слабодушные охотники оплакивать несовершенства жизни, среды и обстоятельствъ!

Человѣкъ — продуктъ среды и жизни; но жизнь въ то же время вкладываетъ въ него активную силу, которая не можетъ быть мертвымъ капиталомъ для существа дѣятельнаго. Жизнь — дѣло въ высшей степени прогрессивное, и главныя двигательныя пружины ея прогресса сосредоточиваются въ мысляхъ и стремленіяхъ лучшихъ, то есть, самыхъ здоровыхъ и нормально-организованныхъ представителей нашей породы. Поэтому, склоняясь передъ неизбежными законами вѣчной природы, современный мыслитель продолжаетъ сознательно вѣровать въ преобразующія и обновляющія силы человѣческаго ума. Все должно быть такъ, какъ оно есть въ дѣйствительности. Согласенъ. Но если я недоволенъ тѣмъ, что я вижу вокругъ себя, то и недовольство мое также *должно* быть, и не можетъ не существовать. Если мое недовольство наводитъ меня на рядъ размышленій и поступковъ, то и размышленія и поступки входятъ также въ общій планъ природы. Стало быть, сознавать необходимость всѣхъ явленій, совершающихся въ природѣ, совсѣмъ не значитъ складывать руки и погружаться въ факирское созерцаніе. Я — также явленіе; и если я чегонибудь хочу, ищету, домогаюсь, то зачѣмъ же стѣснять его естественныя стремленія?

III.

Помяловскій хотѣлъ представить въ Молотовѣ умнаго и развитога пролетарія безъ всякой примѣсы сословныхъ элементовъ или предразсудковъ. Молотовъ—человѣкъ, совершенно оторванный отъ всякой почвы у него ни кола, ни двора, ни родныхъ, ни покровителей, совсѣмъ ничего нѣтъ, кромѣ умной головы и двухъ здоровыхъ рукъ. «А гдѣ же тѣ липы, спрашиваетъ у себя Молотовъ, подъ которыми прошло мое дѣтство? Нѣтъ тѣхъ липъ, да и не было никогда.» Молотовъ—сынъ бѣднаго мѣщанина, слесари, одного изъ тѣхъ одинокихъ бобылей, которые очень нерѣдки въ сословіи ремесленниковъ. Жизнь его съ отцомъ шла не очень дурно. Отецъ былъ малый добрый, и маленькій Егорка не чувствовалъ передъ нимъ никакого раболопнаго страха. «Мальчишкѣ свободно относился къ отцу, точно взрослый, да и живетъ онъ дома не безъ пользы: онъ и въ лавочку сбѣгаетъ, и заказъ отнесетъ, сѣмѣтъ и кашу сварить, и инструментъ отточить, и пьянаго отца раздѣнетъ, спать уложить, да еще приговариваетъ:

— Ну, ложись!.. ишь ты нарѣзался!..

— Молчи, Егорка!

— Ладно, не разговаривай, лежи себѣ.

Вотъ въ подобныхъ случаяхъ выпадали тяжелыя минуты въ жизни Егорки. Иногда придетъ отецъ сильно пьяный, злой, неподдачный, и ни съ того, ни съ другого поколотить сына.

— Не озорничай, татка!.. чортъ этакой!.. право чортъ! отвѣчаетъ ему сынъ.

— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебѣ овчину-то натреплю...

При этомъ отецъ ловитъ Егорку за вихоръ и обижаетъ его. На другой день отецъ все припомнитъ: ему совѣстно, онъ не знаетъ, какъ и взглянуть на Егорку, какъ приступить къ нему. Отецъ молчитъ; у обоихъ лица пасмурныя. Подъ вечеръ, взглянувъ изъ подлѣбья, отецъ сказалъ:

— Полно, Егорка; ну, тебя...

— А! теперь и рожу въ сторону!.. стыдно, небось стало?.. а ты не дерись!..

— Да ну тебя...

— Ишь нарѣзался, на стѣны лѣзетъ!

Отецъ замолчалъ. Прошло нѣсколько мучительныхъ минутъ. Отецъ тяжело вздохнулъ на всю комнату. Егорка взглянулъ сердито и сказалъ:

— Въ лавочку, что-ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тутъ нечего молчать!

Такая уступка со стороны Егорки служила шагомъ къ примиренію, и у отца отлегло отъ сердца». (Стр. 37 38). «Дѣтская жизнь Егора Иваныча, говоритъ Помяловскій въ другомъ мѣстѣ, совершалась въ грязи, въ бѣдности, а вотъ и теперь онъ вспоминаетъ ее съ добрымъ чувствомъ.» (Стр. 36). И не мудрено. Каждый читатель, непритупленный фразами грошоваго либерализма, согласится, что отношенія между Егоркою и его отцомъ были такъ просты, естественны и здоровы, что они должны были дѣйствовать самымъ живительнымъ образомъ на первоначальное развитіе физическихъ и даже умственныхъ силъ дѣтскаго организма. Трепаніе овчины, разумѣется, не заключаетъ въ себѣ ничего прелестнаго и душеспасительнаго, но вѣдь это нѣчто въ родѣ лѣтняго дождя, совершенно неспособнаго превратить ясную погоду въ пасмурную. А общій колоритъ отношеній совершенно ясенъ и свѣтелъ. Хорошо въ нихъ именно отсутствіе педагогическихъ тенденцій. Отецъ совсѣмъ не воспитываетъ своего Егорку, не муштруетъ его, ничего ему не внушаетъ; онъ просто живетъ съ нимъ, кормитъ, одѣваетъ и защищаетъ его; а затѣмъ молодому организму, укрытому отъ слишкомъ тяжелыхъ столкновеній съ голодомъ, съ холодомъ, съ грубостью постороннихъ людей,—предоставляется полная свобода жить дѣйствительною жизнью, воспринимая «всѣ впечатлѣнія бытія,» доступныя людямъ его соціального положенія. Между жизнью и ребенкомъ нѣтъ той нелѣпой стѣны, которою тщательно обносятся со всѣхъ сторонъ благовоспитываемыя дѣти. Егорка собственными глазами смотритъ на подробности своего быта, собственными ушами слушаетъ разные толки, умные и глупые, и собственнымъ, неиспорченнымъ ребяческимъ разсудкомъ составляетъ себѣ понятія о томъ, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, что правда и что вранье. Ошибается онъ часто, но ошибается самъ. Никакой мудрый педагогъ не завязываетъ ему глазъ и не ведетъ его, съ благими цѣлями, къ такимъ ошибкамъ, которыя питомецъ, рано или поздно, непремѣнно долженъ осмѣять и отвергнуть. Въ сердитую или пьяную минуту, отецъ задаетъ Егорѣ выволочку, но онъ никогда не унижаетъ его нравственнаго достоинства и не извращаетъ его самостоятельнаго сужденія непрошеннымъ и насильственнымъ вмѣшательствомъ въ процессъ его мысли. Онъ не требуетъ отъ Егорки, чтобы тотъ считалъ его образцовымъ человѣкомъ и непогрѣшимымъ авторитетомъ. Онъ самъ смиренно кается Егорѣ въ своихъ грѣхахъ. «Отецъ бесѣдовалъ съ Егоркою, какъ со взрослымъ, разговаривалъ обо всемъ, что занимало его: побранится ли съ кѣмъ, получить ли новый заказъ, болить ли у него съ похмѣлья голова,—все разскажетъ сыну.

— Башка трещить, Егорка: вчера хватилъ лишнее. Выростешь, не пей много.

— Я, тятъка, пиво буду пить...

— И молодецъ!... ты у меня молодецъ вѣдь?

— Еще бы! отвѣчаетъ сынъ.» (Стр. 36).

Отколовивши сына ни за что, ни про что, Иванъ Молотовъ не считаетъ себя правымъ и не требуетъ отъ Егорки, чтобы тотъ лобызалъ карающую десницу. Такіе побои не унизительны. Когда ребенокъ имѣетъ право дуться на своего отца и когда ему позволено открыто выражать свое неодобрение и неудовольствие, тогда ребенокъ не озлобляется и не оподляется. Тятъка его за вихорь, а онъ тятъку въ глаза чортомъ выругаетъ: вотъ они и квиты; и въ вечеру опять начинается у нихъ дружелюбіе и глубокомысленныя бесѣды. Отецъ не смотритъ на себя, какъ на деспота *de jure*. Сынъ не смотритъ на себя, какъ на существо безправное и безгласное. Да и вообще, ни отецъ, ни сынъ никакъ не смотрятъ на себя. У нихъ нѣтъ никакой теоріи взаимныхъ правъ, обязанностей и отношеній. Они живутъ въ первобытномъ состояніи, безъ кодекса, и прекрасно дѣлаютъ, потому что кодексъ они, при своей неразвитости, составили бы прескверный, а по натурѣ оба они ребята добродушные и, стало быть, неспособные постоянно пилить и обижать другъ друга. Хорошую теорію правъ, обязанностей и отношеній составить очень трудно, а плохая теорія гораздо хуже, чѣмъ полное отсутствіе всякой теоріи. А сынъ совершеннаго неуча, Ивана Молотова, несравненно свѣжѣе и счастливѣе, чѣмъ семейства богатыхъ и полуграмотныхъ купцовъ, куралесящихъ въ драматическихъ произведеніяхъ Островскаго. Всѣ нищія духомъ, всѣ алчущіе и жаждущіе гризи, извѣстной подъ названіемъ почвы, возрадуются и начнутъ уличать насъ, озорниковъ и отрицателей, въ непоследовательности. Вотъ видите, скажутъ они, вотъ и вы же признаете въ русской жизни свѣтлыя явленія. Вотъ и вы же находите, что воспитаніе Егорки, совершавшееся въ русской бѣдности и въ русской грязи, было здорово и полезно для мальчика.

Торжество нашихъ близорукихъ противниковъ будетъ очень непродолжительно и повернется тотчасъ противъ ихъ же собственныхъ идей. Я нахожу воспитаніе Егорки здоровымъ и полезнымъ именно потому, что въ немъ нѣтъ никакихъ специально-почвенныхъ элементовъ. Что такое отецъ Егорки? Это человѣкъ, который трудится цѣлый день, чтобы подъ вечеръ съѣсть горшокъ гречневой каши, и ѣсть горшокъ гречневой каши, чтобы потомъ опять, проспавши на голыхъ доскахъ нѣсколько часовъ, трудиться цѣлый день.—Если замѣнить горшокъ каши блюдомъ варенаго картофеля, да если, кромѣ того, дать въ руки Ивану Молотову менѣе допотопные инструменты, то жизнь Молотова окажется похожею, какъ двѣ капли воды, на жизнь бѣднаго ирландца или бѣд-

наго нѣмца. Трудиться, чтобы ѣсть, — ѣсть, чтобы трудиться, таже исторія и завтра, и послѣ завтра, и десятки лѣтъ подѣ рядъ—съ этимъ, воля ваша, не разгуляешься, и о создаваніи какихъ нибудь чисто-національных теорій и бытовыхъ формъ не станешь задумываться, по той простой причинѣ, что некогда и что національныя теоріи нисколько не помогаютъ человѣку ни во время труда, ни во время пищеваренія. Человѣкъ начинаетъ систематизировать свои отношенія къ другимъ людямъ только тогда, когда у него является досугъ и когда его умственныя силы не поглощаются безраздѣльно заботами о кускѣ хлѣба. Первые попытки систематизированія бывають обыкновенно такъ же уродливы, какъ вообще всякія первыя попытки. Голый фактъ, самъ по себѣ очень безобразный, возводится, безъ дальнѣйшаго анализа, въ теоретическій принципъ и черезъ это становится еще безобразнѣе. Взрослый мужчина сильнѣе всѣхъ другихъ членовъ своего семейства, и, вслѣдствіе этого, тузить ихъ кулакомъ или плетью. Когда начинается систематизированіе отношеній, тогда мужчина говоритъ: я имѣю право и на мнѣ лежитъ даже священная обязанность учить васъ, дураковъ.—Когда нобои перестаютъ, такимъ образомъ, быть дѣломъ свободной фантазіи и принимаютъ на себя догматически-обязательный характеръ, тогда положеніе подначальныхъ членовъ семейства становится гораздо хуже прежняго, потому что малѣйшее возраженіе съ ихъ стороны и малѣйшая попытка защищаться, влѣчается имъ, по теоріи, въ преступленіе, заслуживающее усугубленнаго наказанія.

Я не такой знатокъ русскаго быта, чтобы я могъ выдавать мои соображенія за достовѣрные факты, но мнѣ кажется, что систематическое порабощеніе женщинъ и дѣтей гораздо значительнѣе въ семейной жизни достаточнаго купечества, чѣмъ въ семейной жизни бѣдныхъ крестьянъ и мѣщанъ, принужденныхъ постоянно работать изъ-за куска насущнаго хлѣба. Въ бѣдномъ семействѣ главная задача состоитъ постоянно въ томъ, чтобы общими силами бороться противъ голода и холода; жизнью бѣднаго семейства управляютъ не принципы, а ежедневные толчки суровой необходимости. И мужъ, и жена, и дѣти—всѣ должны работать, и работать часто врознь; каждый членъ семейства является, такимъ образомъ, до нѣкоторой степени самостоятельнымъ производителемъ; онъ самъ высматриваетъ свои выгоды, самъ принаравливается къ обстоятельствамъ, самъ отвѣчаетъ за свои поступки. Трудъ иногда изнуряетъ его силы, но тотъ же трудъ обезпечиваетъ за нимъ нѣкоторую долю неотъемлемой самостоятельности. Въ семействѣ русскаго капиталиста, крупнаго или мелкаго, еще нетронутаго общечеловѣческимъ образованіемъ, жизнь складывается иначе. Отецъ семейства кормитъ всѣхъ своихъ домочадцевъ процентами съ своего капитала и держитъ ихъ въ самой полной экономической зависимости. Кромѣ того, кусокъ хлѣба всегда

обеспеченъ, и потому живутъ эти люди не такъ, какъ велятъ жить обстоятельства, а такъ, какъ сами они считаютъ должнымъ и приличнымъ, то есть, такъ, какъ жили отцы и дѣды. Поэтому, жизнь достаточнаго русскаго человѣка, не увлекшагося грѣховными прелестями лукаваго запада, представляетъ собою самый грязный и самый мрачный уголъ нашего отечественнаго быта. Тутъ нѣтъ ни физическаго труда, ни знанія, то есть, нѣтъ именно тѣхъ двухъ элементовъ, которые одни только и могутъ сохранить человѣческую природу отъ полнѣйшей деморализаціи.

Тотъ слой нашего общества, который выведенъ на свѣжую воду комедіями Островскаго, составляетъ дѣйствительно самое темное пятно среди множества темныхъ явленій нашей народной жизни. Это—темное пятно, именно потому, что въ немъ могли сохраниться въ полнѣйшей неприкосновенности принципы, выработанные русскою жизнью и нашедшіе себѣ превосходное выраженіе въ извѣстномъ Домостроѣ попа Сильвестра. Съ этимъ темнымъ пятномъ цѣлуются и обнимаются славянофилы и почвенники; но увы и ахъ! Это темное пятно съ каждымъ десятилѣтіемъ становится меньше. Сверху на него давитъ европейская или общечеловѣческая наука; снизу его тормозятъ и подтачиваютъ запросы физическаго труда; то есть, говоря проще, очень богатые капиталисты посылаютъ своихъ дѣтей въ университеты, а очень бѣдные поневолѣ берутся за ремесло и начинаютъ жить со дня на день, заботясь не столько о неприкосновенности дѣдовскихъ нравовъ, сколько о насыщеніи вопіющихъ желудковъ. Съ этимъ темнымъ пятномъ русской жизни и со всѣми специально-скверными особенностями почвы воспитаніе Егора Молотова не имѣло ничего общаго. По смерти своего отца, маленькаго Егорку взялъ къ себѣ на воспитаніе старый холостякъ, отставной профессоръ. Молотовъ прошелъ черезъ гимназію и черезъ университетъ и, такимъ образомъ, присоединился къ той небольшой горсти мыслящихъ пролетаріевъ, которые ничѣмъ не связаны съ почвою и которые, по своему положенію и образованію, могутъ относиться совершенно безпристрастно ко всему въ нашей общественной жизни.

IV.

Слишкомъ двадцать лѣтъ жизнь обращалась съ Молотовымъ довольно милостиво. Она не баловала его излишнею роскошью, но и не томила его суровою нуждою. Помяловскому было необходимо обставить первую молодость своего героя такими благопріятными условіями. По разбѣрамъ

своихъ умственныхъ силъ, Молотовъ—человѣкъ обыкновенный. Если бы такой человѣкъ съ дѣтства былъ поставленъ въ необходимость страдать и бороться за свою нравственную самостоятельность, то онъ не выдержалъ бы такой ранней и тяжелой борьбы; онъ превратился бы въ человѣка забитаго, притупленнаго и развращеннаго. Самъ Помяловскій вышелъ побѣдителемъ изъ своей четырнадцатилѣтней борьбы съ бурсою, но для этого надо быть Помяловскимъ, да и Помяловскій, не смотря на атлетическое сложеніе своего тѣла и своего ума, вынесъ съ собою изъ бурсы роковое наслѣдство — ѣдкую и неизлѣчимую печаль о потерянномъ времени и, что еще того хуже, несчастную привычку топить эти невыносимо-тяжелыя ощущенія въ простомъ винѣ. Но Помяловскій не хотѣлъ и не могъ мѣрить людей и жизнь на свой аршинъ. Что могъ сдѣлать Помяловскій, то оказалось бы по силамъ только немногимъ избраннымъ личностямъ. Если бы Помяловскій въ лицѣ Молотова вздумалъ изобразить самого себя, то его произведеніе не имѣло бы того, прагматическаго смысла, который оно имѣетъ теперь. Тогда обыкновенные люди имѣли бы право сказать, что жизнь Молотова ни въ какомъ отношеніи не можетъ служить имъ урокомъ и примѣромъ. Мы люди маленькіе, сказали бы они, а Молотовъ — вонъ какой большой. Надо было непременно, чтобы Молотовъ былъ человѣкомъ обыкновеннаго роста. Надо было, чтобы борьба съ жизнью началась для него только тогда, когда физическія и нравственныя его силы были уже совершенно сформированы.

Повѣсть «Мѣщанское счастье» представляетъ именно первое суровое столкновеніе юнаго Молотова съ шероховатостями всендневной дѣйствительности. Въ «Мѣщанскомъ счастьѣ» онъ узнаетъ на практикѣ двѣ житейскія истины: во-первыхъ, что поступками людей управляютъ, въ общей сложности, не чувства, а интересы; и во-вторыхъ, что очень мягкій и любящій человѣкъ можетъ иногда грубо и безжалостно наступить ногою на живое человѣческое тѣло, способное чувствовать самую жгучую боль. — Первую истину выясняютъ ему помѣщикъ Обросимовъ и его супруга. Вторую почерпаетъ онъ изъ своихъ отношеній къ *кисейной* дѣвушкѣ, Леночкѣ. Дѣло Молотова съ семействомъ Обросимовыхъ чрезвычайно просто, и только на мягкаго двадцатилѣтняго юношу, совершенно непотертаго жизнью, оно могло произвести прочное впечатлѣніе. Молотовъ поступилъ къ Обросимову домашнимъ секретаремъ; его хозяева, люди вовсе не грубые и не злые, обращались съ нимъ вѣжливо и ласково; Молотовъ, съ искренностью, свойственною его лѣтамъ, привязался къ нимъ очень скоро и вообразилъ себѣ, что они тоже ужасно какъ любятъ его и видятъ въ немъ задушевнаго друга и почти близкаго родственника. На повѣрку же выходитъ то, чего всегда слѣдовало ожидать. Обросимовы смотрятъ на него, какъ на наемника, изучаютъ

внимательно и хладнокровно выгодныя и невыгодныя стороны его характера, критикуютъ съ своимъ кругу его привычки, держатъ съ нимъ ухо востро и тщательно наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы онъ исполнялъ за свое ничтожное жалованье какъ можно больше разнообразѣйшихъ порученій, за которыя Молотовъ, по своей юношеской наивности, берется даже съ особеннымъ удовольствіемъ, усматривая въ этихъ порученіяхъ доказательства дружеской безцеремонности и откровенности. — Одинъ простой разговоръ между помѣщикомъ и помѣщицею, нечаянно услышанный Молотовымъ, разрушилъ совершенно въ его глазахъ фантастическую идиллію обросимовскаго дружелюбія. Выписываю отрывокъ изъ этого очень безобиднаго діалога:

— «Они, я говорю, образованный народъ, продолжала жена; но все-таки народъ чернорабочій, и все какъ будто подачки ждутъ...

— Что же? можно сдѣлать ему подарокъ какой нибудь. Онъ стоитъ того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжетъ его... А что ни говори, жена,—эти плебен, такъ или иначе пробивающіе себѣ дорогу, вотъ сколько я ни встрѣчалъ ихъ, удивительно дѣльный и умный народъ... Семинаристы, мѣщане, весь этотъ мелкій людъ—всегда способные, ловкіе господа.

— Ахъ, душенька, всѣ голодные люди умне... Ты дворянинъ, тебѣ не нужно было правдой и неправдой насущный хлѣбъ добывать; а этотъ народецъ изъ всего долженъ выжимать копейку. И посмотри, какъ онъ ѣстъ много. Намъ, разумѣется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетитъ обнаруживаетъ въ немъ плебея, человѣка, воспитаннаго въ черномъ тѣлѣ и невидавшаго порядочнаго блюда... Не худо бы подарить ему, душенька, голландскаго полотна, а то, представь себѣ, по буднямъ манишки носить, — вѣдь неприлично!..

— Я не замѣчалъ этого...

— Гдѣ жъ вамъ, мужчинамъ, замѣтить...

— О бѣдность, бѣдность! сказалъ со вздохомъ Обросимовъ». (Стр. 125 и 126).

Разговоръ этотъ замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Но прежде, чѣмъ я буду разсматривать его въ подробностяхъ, я замѣчу мимоходомъ, что не только Молотовъ, но даже самъ Помяловскій смотритъ на этотъ разговоръ не совсѣмъ вѣрно. Юный Молотовъ обидѣлся, захандрилъ, укротилъ свой демократическій аппетитъ и даже, вскорѣ послѣ того, уѣхалъ отъ Обросимовыхъ. Это все понятно. Молотовъ пылалъ любовью и уваженіемъ къ Обросимову, и вдругъ, вмѣсто взаимности, увидѣлъ въ перспективѣ кусокъ голландскаго полотна и часы. И пришлось юношѣ, влюбленному въ добродѣтельнаго помѣщика, сказать выѣстъ съ Шиллеромъ:

Er ist dahin, der süsse Glaube
An Wesen, die mein Traum gebar,
Der rauhen Wirklichkeit zum Raube
Was einst so schön, so göttlich war.

(Она погибла, сладкая вѣра въ существа, порожденныя моею мечтою, и добычею суровой дѣйствительности сдѣлалось то, что было такъ прекрасно, такъ божественно). Все это понятно. Но странно то, что, слишкомъ десять лѣтъ спустя, опытный и разсудительный мужчина Молотовъ, припоминая этотъ случай: говорить: «помѣщикъ оскорбилъ меня, приходилось оставить мѣсто.» (Стр. 267). Въ сущности оскорбленія не произошло ни малѣйшаго; помѣщикъ оказался только не «прекраснымъ» и не «божественнымъ», и добродѣтели этого помѣщика, сочиненныя самимъ Молотовымъ, сдѣлались, подобно шиллеровскимъ идеаламъ, «добычею суровой дѣйствительности». А вѣдь разочарованіе и оскорбленіе — двѣ вещи совершенно различныя. Изъ нѣкоторыхъ очень умныхъ разсужденій Помяловскаго видно, что онъ выводитъ слова Обросимовыхъ изъ аристократизма, барственной спѣси, неразвитости и слабоумія. Но мнѣ кажется, что причины ихъ страннаго взгляда на Молотова лежатъ глубже. Такой взглядъ неизбеженъ вездѣ, гдѣ одинъ человѣкъ нанимаетъ или, другими словами, *покупаетъ на время* другого человѣка.

Весь разговоръ между Обросимовымъ и его женою вытекаетъ естественно и неизбежно изъ того обстоятельства, что Обросимовъ — наниматель, а Молотовъ — наемникъ. И будь Обросимовъ умѣе перваго финансиста въ мірѣ, мистера Глэдстона, все-таки онъ могъ бы говорить съ своею женою о Молотовѣ такъ, какъ онъ говоритъ въ повѣсти Помяловскаго. Обросимовъ долженъ непремѣнно думать о Молотовѣ такъ: «я тебя, другъ любезный, купилъ, и въ извѣстные сроки аккуратно плачу тебѣ деньги за твою же собственную особу. Ты малый ловкій; — съ одной стороны, это хорошо; но съ другой стороны, это опасно. Хорошо потому, что купленный мною товаръ, вслѣдствіе этого, оказывается годнымъ на всякую подѣлку. Опасно потому, что этотъ ловкій и юркій товаръ можетъ ежеминутно выскользнуть у меня изъ рукъ. Ты, о товаръ, можешь надуть меня, ты можешь слишкомъ много отдыхать, отлынивать отъ работы и въ тоже время отводить мнѣ глаза твоею зловредною ловкостью. Ты, о товаръ, повидимому, чувствуешь ко мнѣ симпатію. Но я не дуракъ. Я знаю, зачѣмъ ты обнаруживаешь это чувство. Ты собираешься ускользнуть у меня изъ рукъ, ты начинаешь отводить мнѣ глаза, ты хочешь подвести подкопы подъ мое чувствительное сердце, чтобы я, распустивши нюни, не мѣшалъ тебѣ бить баклуши и произвелъ тебя изъ купленныхъ товаровъ въ полноправные человѣки. О шельма ты, шельма! Ловкость твоя мнѣ нравится. На, тебѣ гривенники на водку и ступай, бестія, работать.»

Мы знаемъ уже, что въ исторіи Молотова *привенникъ на водку* при-
нялъ на себя облагороженный видъ голландскаго полотна и часовъ. И
все-таки я утверждаю, что во всѣхъ размышленіяхъ Обросимова нѣтъ
ничего оскорбительнаго для Молотова. Тутъ нѣтъ столкновенія лично-
стей; тутъ сталкиваются только двѣ отвлеченныя величины, наниматель
и наемникъ. Имѣеть ли Молотовъ какое нибудь разумное основаніе
чувствовать себя, именно *себя*, обиженнымъ, когда съ нимъ обращаются
не хуже, чѣмъ со всѣми остальными честными и умными людьми, по-
ставленными въ его положеніе? По моему мнѣнію, не имѣть. Онъ оби-
дѣлся, потому что былъ юнъ; доживши же до зрѣлаго возраста, онъ бы
долженъ былъ осудить безусловно строй отношеній, и, оправдать также
безусловно личность Обросимова.

Въ разговорѣ Обросимова съ женою любопытны двѣ слѣдующія
черты. Во-первыхъ, замѣчаніе помѣщицы о сильномъ аппетитѣ плебея;
во-вторыхъ, восклицаніе помѣщика: «о бѣдность, бѣдность!» вырвавшееся
у него по поводу молотовскихъ манишекъ. Есть на свѣтѣ люди, для
которыхъ неизмѣніе цѣльныхъ голландскихъ рубашекъ составляетъ симп-
томъ вопіющей бѣдности. Каково, думаютъ такіе люди, этотъ господинъ
ѣсть со мною за однимъ столомъ, разговариваетъ со мною, какъ съ
равнымъ, и вдругъ—у него нѣтъ голландскаго бѣлья. О бѣдный, о не-
счастный человѣкъ! И какъ близко мы, баловни судьбы, сталкиваемся
въ жизни съ непокрытою нищетою.

Эта трогательная филантропія по поводу манишки показываетъ очень
наглядно, до какой степени праздный богатъ можетъ одурѣть и изба-
ловаться, и до какой замѣчательной искусственности онъ можетъ дове-
сти весь свой образъ жизни. Но законы природы никогда не нарушаются
безнаказанно. Замѣчаніе помѣщицы о плебейскомъ аппетитѣ даетъ намъ
понятіе о неизбѣжномъ наказаніи. Аппетитъ убавляется, силы убываютъ,
здоровье слабѣетъ, порода мельчаетъ и тупѣетъ въ тѣхъ людяхъ, ко-
торые постоянно потребляютъ, не производя ровно ничего и не освѣ-
жаясь никогда живительными волнами физическаго и умственнаго труда.
Это — явленіе повсемѣстное.

V.

У одной небогатой сосѣдки Обросимовыхъ есть дочь, молодая дѣ-
вушка, Леночка. Эта барышня простодушно заигрываетъ съ Молотовымъ,
и, безъ всякой задней мысли, пишетъ къ нему нѣжное письмо, въ ко-
торомъ, ни съ того, ни съ сего, назначаетъ ему любовное свиданіе.

Письмо написано такъ: «Егоръ Иванычъ! У васъ есть чувство, и вы завтра въ 6 часовъ придите на рѣку къ мельницѣ вечеромъ, и здѣсь встрѣтите даму, и, если любите, узнаете ее; а если нѣтъ, я останусь по гробъ вѣрная вамъ и любящая». (Стр. 82). Подписи нѣтъ. Молодовъ, юный и застѣнчивый, повергается этимъ письмомъ въ величайшее недоумѣніе. Молодое воображеніе разыгрывается, хотя милая безтолковость письма и фатальныя слова: «по гробъ вѣрная и любящая» значительно умѣряютъ его порывы. Онъ приходитъ къ назначенному мѣсту очень сконфуженный, и конфузится еще сильнѣе, увидѣвъ Леночку, которая, съ своей стороны, уже и сама не рада собственной смѣлости. Выходитъ уморительная сцена. Невинные любовники ведутъ между собою солидный разговоръ о достоинствахъ погоды, и затѣмъ расходятся по домамъ; не сказавши другъ другу ни слова о письмѣ и о томъ, зачѣмъ они встрѣтились. «Странно было смотрѣть на молодыхъ людей. Леночка не менѣе Молодова боялась разговора о письмѣ. Она лишь только увидала Егора Иваныча, ей странно стало за свой легкомысленный поступокъ, который она, кажется, сдѣлала такъ, спроста, по птичьи»..... «Леночка теперь сама поняла, что слѣдовало бы надрать ей хорошенькое ея ушко»..... «Она чуть не плакала, и въ первую минуту едва не сказала:

— «Егоръ Иванычъ, не говорите мамашѣ,... я больше не буду.» Но увидѣвъ, что Молодовъ едва ли не больше ея струсилъ, она сказала себѣ: «онъ не страшный, онъ такой добрый,» и рада была, что Молодовъ не говоритъ ничего о письмѣ. Теперь она была спокойна.

Егоръ Иванычъ наклонился и сорвалъ цвѣтокъ.

— Дайте мнѣ цвѣтокъ, сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мнѣ на память.

— Развѣ нельзя помнить безъ цвѣтка?

Молодовъ сорвалъ другой цвѣтокъ. Леночка опять:

— Дайте мнѣ цвѣтокъ.

— И этотъ на память?

— Дайте же, сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цвѣтокъ и ударила имъ по рукѣ Молодова. Все это сдѣлалось какъ-то ужъ очень наивно. Оба засмѣялись». (Стр. 93).

Славная дѣвчонка эта Леночка! Она не ловить себѣ жениха, она не кокетничаетъ съ Молодовымъ. Она именно заигрываетъ съ нимъ, какъ здоровая дѣвушка, въ которой близость здороваго и красиваго мужчины возбуждаетъ радостное волненіе. Совершенная непосредственность и неподкрашенность простаго фізіологическаго влеченія составляетъ весь секретъ ея граціи. Въ изображеніи этой женской фигуры

Помяловскій является чистымъ натуралистомъ. Базаровъ говорить о Феничкѣ: «чего ей стыдиться? Она мать, стало быть, и права.» Помяловскій смотритъ на Леночку совершенно такъ, какъ Базаровъ на Феничку. Леночка и неразвита, и не умна, и не сіяетъ никакими особенными добродѣтелями. Это просто живой и здоровый организмъ, и Помяловскій откровенно любитъ этимъ превосходнымъ произведеніемъ природы; и нельзя не любоваться. Здоровому человѣку свойственно любить жизнь во всѣхъ ея неизуродованныхъ проявленіяхъ. А когда здоровый человѣкъ становится мыслящимъ человѣкомъ, тогда любовь къ мировой жизни дѣлается еще сильнѣе, потому что онъ получаетъ возможность изучать то, чѣмъ онъ прежде безсознательно любовался. Тургеневъ любитъ свою Асю. Помяловскій любитъ свою Леночку. Но Тургеневу, чтобы полюбить Асю, было необходимо сдѣлать изъ нея какое-то особенное, странное, оригинальное и, мнѣ кажется, полу-фантастическое существо. Ему необходимо было, окружить ее развалинами прибрежныхъ замковъ, сдѣлать изъ нея эффектную дикарку и показать читателю, что въ ея нетронutomъ умѣ таятся богатые задатки будущаго развитія. Словомъ, мы имѣемъ тутъ дѣло съ «высшею натурою» (*une nature délicate*), и Тургеневъ ни подъ какимъ видомъ не позволилъ бы своей Асѣ написать безграмотное *billet-doux* съ подписью «по гробъ вѣрная и любящая.» Его покорило бы отъ этой тривіальности, похожей на поэзію конфетныхъ билетиковъ. Помяловскій, напротивъ того, какъ реалистъ по складу своихъ убѣжденій и какъ совершенно послѣдовательный плебей, не дѣлитъ людей на высшія и низшія натуры, на дюжинныя и недюжинныя, на пошлыя и изящныя. Онъ совершенно безстрашно подходитъ къ самой мелкой, самой будничной прозѣ жизни, даже не къ сермяжнымъ ея явленіямъ, — сермяга имѣетъ въ себѣ своего рода эффектность, — а къ ситцевымъ и къ кисейнымъ; и даже тутъ его неисчерпаемая любовь къ жизни вообще, и къ человѣку въ особенности, не измѣняетъ себѣ ни на минуту. Леночка вовсе не дикарка. Она — чисто одѣтая и гладко причесанная барышня. Она нисколько непохожа на пушкинскую Татьяну. Это не тихій омутъ, въ которомъ черти водятся. Она совсѣмъ не отличается тишиною, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія подозрѣвать въ ней присутствіе какихъ нибудь чертъ. Она вся какъ на ладони, и ее чрезвычайно легко понять съ перваго взгляда. Такіе характеры обыкновенно рисуются художниками на второмъ планѣ, только для того, чтобы оттѣнить контрастомъ натуру высокую, изящную, глубокую, тихую и наполненную скрытыми чертами. Леночка похожа на сестру Татьяны, Ольгу, о которой говорить Онѣгинъ:

Бѣла, кругла лицомъ она,
Какъ эта глупая луна
На этомъ глупомъ небосклонѣ.

Похожа она также на ту Агафью Матвѣевну, которая прельщала Обломова толстыми локтями. И кажется мнѣ еще, что мать Базарова, Арина Власьевна, въ молодости своей сильно смахивала на *кисейную дѣвушку*, Леночку. Но пушкинская Ольга поставлена на второмъ планѣ, и авторъ относится къ ней такъ же насмѣшливо, какъ самъ Онѣгинъ. Агафья Матвѣевна выведена на сцену единственно для того, чтобы сдѣлаться живою эмблемою того паденія, которое постигло Обломова за его предосудительную лѣность. Если она, такимъ образомъ, представляетъ собою воплощенное пугало, то, разумѣется, объ искреннемъ и непокровительственномъ сочувствіи автора къ ней не можетъ быть и рѣчи. Объ Аринѣ Власьевнѣ нечего и говорить; мы видимъ ее въ той порѣ жизни, когда она уже давно перестала быть женщиною. Сына любить, пороку не выдумаетъ, вотъ и все, что можно о ней сказать.

Поэтому надо согласиться, что Помяловскій выбралъ себѣ и разрѣшилъ совершенно новую задачу, нетронутую до него ни однимъ изъ замѣчательныхъ русскихъ писателей. Онъ взялъ совершенно обыкновенную дѣвушку, такую, отъ которой даже и въ будущемъ ничего нельзя ожидать, кромѣ дюжины толстомордыхъ ребятъ, и къ этой простѣйшей изъ простыхъ смертныхъ онъ отнесся съ безпримѣрною кротостью и нѣжностью. Онъ самъ знаетъ очень хорошо, что вся Леночка ничто иное, какъ здоровое и красивое тѣло, но это его нисколько не смущаетъ и не отталкиваетъ. Онъ отъ нея и не требуетъ ни сильнаго ума, ни глубокаго чувства. Онъ говоритъ себѣ: этотъ молодой организмъ ищетъ и проситъ себѣ любви, счастья, наслажденія, того, что для него необходимо, какъ теплота, свѣтъ, воздухъ и сырость необходимы для растенія. Что мнѣ за дѣло до того, что этотъ глуповатый организмъ понимаетъ любовь, счастье и наслажденіе не такъ, какъ понимаютъ ихъ мыслящіе люди? Неужели я буду осуждать кисейную дѣвушку за то, что она не умѣетъ и не можетъ быть счастлива *по маму*? Напротивъ того, я отъ души желаю, чтобъ она была счастлива *по своему*. Я горячо сочувствую ея радости, ея горю, ея тревогѣ и ея томленіямъ, не потому, что я самъ способенъ, такимъ же образомъ, и по такимъ же причинамъ радоваться, горевать, тревожиться и томиться, а потому, что въ ней-то, именно въ ней, всѣ эти ощущенія совершенно естественны, неизбѣжны и неподдѣльны. — Вы скажете, что ея ощущенія слабы и мелки. Для *васъ*—да. Но для *нея* они не мелки и не слабы. Они соответствуютъ размѣрамъ ея силъ и широтѣ ея пониманія. Для самого себя, каждое живое существо есть центръ и смыслъ всего мірозданія; для самаго ничтожнаго субъекта, его собственныя радости, огорченія, усилія и заботы важнѣе и крупнѣе міровыхъ переворотовъ, совершающихся безъ его участія и неимѣющихъ вліянія на судьбу его личности.

Я до сихъ поръ ни разу не встрѣчалъ писателя, у котораго было

бы такъ много самородной гуманности, какъ у Помяловскаго. Тургенева называютъ *симпатичнымъ* художникомъ, и я ничего противъ этого названія не имѣю. Но даже Тургеневъ улыбнется тонкою саркастическою улыбкою при встрѣчѣ съ такими явленіями, на которыхъ Помяловскій съ неутомимою, пантеистическою любовью останавливаетъ свой кроткій, задумчивый, безгранично-нѣжный и, не смотря на то, глубоко-умный взоръ. А между тѣмъ, Помяловскій прослылъ и до сихъ поръ слыветъ у нашихъ журнальныхъ кликушъ грубымъ и грязнымъ обличителемъ, человѣкомъ чорствымъ и безчувственнымъ. — Одинъ изъ новѣйшихъ мудрецовъ «Эпохи», попавшій въ эту журнальную богадѣльню изъ *губернии*, догадывается даже, что Помяловскаго сгубило именно его циническое отвращеніе ко всему нѣжному и изящному. Онъ требуетъ отъ Помяловскаго, чтобы тотъ выводилъ на сцену облагороженныхъ бурсаковъ, а не такихъ, которые говорятъ: *отчехвостить, стилибонить, смазъ вселенская* и т. д. Кромѣ того, онъ въ ноябрьской книжкѣ той же грязной богадѣльни выражаетъ уморительную надежду, что реалисты, и преимущественно авторъ «Нерѣшеннаго вопроса», откажутся отъ солидарности съ безнравственными повѣстями Помяловскаго. Истинно можно сказать: велика и обильна наша матушка Россія. Какія въ ней, подумаешь, бываютъ удивительныя *губернии*, и какія въ этихъ непостижимыхъ губерніяхъ появляются иногда невиданныя свѣтила! И какъ, въ самомъ дѣлѣ, не употребить выразительное слово *lousosheko* въ разговорѣ о томъ источникѣ, изъ котораго льются мысли, подобныя вышеупомянутымъ хитросплетеніямъ. Помяловскій всегда говоритъ рѣзкими и грубыми словами о томъ, что рѣзко и грубо въ дѣйствительности; но подъ твердою оболочкою рѣзкихъ и грубыхъ выраженій таится такая женственная нѣжность чувства, которая ощутительна и понятна для всякаго, маломальски неглупаго и не бездушнаго человѣка. О Помяловскомъ можно вполне справедливо сказать то, что Берне говоритъ о Байронѣ. «Его сердце было окружено сплошною стѣною твердыхъ и острыхъ колючекъ, damit das Vieh nicht daran nage (чтобы его не глодала скотина). И дѣйствительно, какъ только къ подобному сердцу сунется какая нибудь тупая скотина, такъ она сейчасъ и отскочитъ назадъ, съ окровавленною мордою и съ выраженіемъ комическаго негодованія въ своихъ оловянныхъ глазахъ. — Dixi et animam laevavi! По русски эти латинскія слова можно перевести такъ: выругался во все свое удовольствіе!

VI.

Помяловскій съ такою глубокою гуманностью относится къ своей кисейной Леночкѣ, что онъ даже не осмѣливается рѣшить окончательно

вопросъ: дѣйствительно ли изъ нея никогда не можетъ сформироваться мыслящее существо? Да и въ самомъ дѣлѣ, какое мы имѣемъ право, глядя на живого и шаловливаго ребенка, произнести надъ нимъ рѣшительный приговоръ, въ родѣ некрасовской колыбельной пѣсни:

Ты чиновникъ будешь съ виду,
И подлецъ душой.

Чтобы произносить такіе приговоры, надо читать безошибочно характеръ и будущее людей по выпуклостямъ ихъ черепа и по чертамъ ихъ лица. Но подобнымъ умѣньемъ еще не обладаетъ никто, и, слѣдовательно, приговоръ отверженія можетъ иногда обрушиться на такихъ людей, которые способны подняться, окрѣпнуть и развиваться. Въ самыхъ дюжинныхъ личностяхъ, поставленныхъ въ самую безцвѣтную среду, бывають иногда такіе взрывы мысли и чувства, которые вдругъ какою-то молніею освѣщаютъ передъ глазами обыкновеннаго человѣка и безграничное величіе всего живого міра, и неизвѣданную глубину собственной потрясенной души. Есть такіе взрывы и у кисейной Леночки, и кто же осмѣлится утверждать, что они совершенно бесплодны, что они исчезнутъ безъ всякаго слѣда и что врожденная пошлость возьметъ непремѣнно верхъ надъ лучшими впечатлѣніями, если даже эти лучшія впечатлѣнія будутъ повторяться часто и послѣдовательно? Одинъ разъ Леночка рѣзвилась и шалила съ Молотовымъ, и потомъ вдругъ затосковала, да такъ, что даже слезы досады и непонятной грусти выступили на ея живые, черные глаза. Объяснить, чего ей хотѣлось, она, разумѣется, не умѣла. Но понятно, что ее тяготила пустота, отсутствіе любимой мысли, дорогого чувства, отсутствіе всего, что даетъ цвѣтъ и смыслъ человѣческому существованію. Молотовъ старается ее утѣшить, но при этомъ говоритъ только безполезныя слова; въ подобныхъ случаяхъ требуется не краснорѣчіе, а серьезная и дѣятельная помощь, такая помощь, которая бы перевернула всю жизнь тоскующаго человѣка. А когда не хочешь или не можешь оказать такой помощи, тогда ужъ просто молчи и пропускай мимо ушей всѣ жалобы твоего собесѣдника.

— «Читайте, учитесь, продолжалъ Молотовъ и вдругъ остановился, вспомнивъ, что юноши наши всегда предлагаютъ это универсальное лекарство отъ всѣхъ дамскихъ болѣзней.» (Стр. 107). Эти слова могутъ навести читателя на мысль, что самъ Помяловскій сомнѣвается въ дѣйствительности «универсальнаго лекарства.» Сомнѣвается ли онъ или нѣтъ, во всякомъ случаѣ надо замѣтить, что лекарство ни въ чемъ невиновато. Недѣйствительность его происходитъ оттого, что «наши юноши», въ томъ числѣ и Молотовъ, предлагаютъ это лекарство чрезвычайно безтолково. «Читайте, учитесь!» Легко сказать! Скоро сказка сказывается

ся, да не скоро дѣло дѣлается. Эти слова: «читайте, учитесь!» напоминаютъ мнѣ очаровательный куплетъ изъ стихотвореній Гейне:

Въ морозы, прибавилъ онъ, надо всегда
Въ постели какъ можно теплѣй укрываться,
И тутъ же совѣтъ разсудительный далъ
Здоровую пищей питаться.

Въ жалкой конурѣ подъ крышею, два человѣка, мужчина и женщина, умерли въ морозную ночь отъ холода и отъ истощенія силъ. Пришелъ докторъ свидѣтельствовать ихъ трупы, и вотъ онъ-то именно и даетъ, при семъ удобномъ случаѣ, разсудительные совѣты на счетъ здоровой пищи и теплаго одѣяла. Еще болѣе разсудительные совѣты даютъ «наши юноши», когда они произносятъ слова: «читайте, учитесь!» Бѣдняку не откуда взять теплое одѣяло и кусокъ ростбифа; но если вы ему дадите то и другое, то онъ управится съ этими предметами безъ всякихъ дальнѣйшихъ разъясненій. Но если вы дадите десятки умнѣйшихъ книгъ такому человѣку, который никогда не читалъ, не учился и не размышлялъ, и который, кромѣ того, живетъ въ совершенно неподвижномъ обществѣ, то вы не принесете ему рѣшительно никакой пользы. Надо сдѣлать такъ, чтобъ онъ самъ потянулся къ книгѣ, и чтобы онъ собственною энергіею побѣдилъ скуку и трудности перваго начала. Тогда все пойдетъ хорошо, и не зачѣмъ будетъ произносить бесполезныя слова: «читайте, учитесь!» Но для того, чтобы возбудить въ человѣкѣ желаніе и дать ему возможность читать и учиться, надо постоянно дѣйствовать на него словомъ и примѣромъ; надо много, долго, откровенно и задушевно говорить съ нимъ обо всемъ, что расширяетъ нашъ умственный горизонтъ; надо ловить въ немъ каждую минуту его раздумья и его одушевленія; надо, однимъ словомъ, сдѣлаться его лучшимъ другомъ и неутомимымъ руководителемъ.

Когда дѣло происходитъ между мужчиною и женщиною, тогда вопросъ ставится еще проще. Если вы любите или расположены полюбить данную особу, тогда смѣло и серьезно принимайтесь за великую дѣятельность просвѣтителя; если же нѣтъ, тогда оставьте въ покоѣ тоскующую женщину и уходите отъ нея подальше, потому что ваши безсильныя утѣшенія и непримѣнимые совѣты не дадутъ ей ровно ничего, кромѣ лишняго горя. Брошенные на вѣтеръ слова: «читайте, учитесь!» составляютъ двойное кощунство; во-первыхъ, — надъ безпомощнымъ положеніемъ огорченной женщины, живущей въ такомъ обществѣ, гдѣ все мѣшаетъ читать и учиться; а во-вторыхъ, — надъ святынею «универсальнаго лекарства», которое дѣйствительно оказывается безсильнымъ только тогда и тамъ, когда и гдѣ его безтолково сыпать на

поль, вмѣсто того, чтобы подавать его въ руки пациенту. Поэтому «нашимъ юношамъ» дѣйствительно не помѣшаетъ намотать себѣ на усь, что проповѣдывать о величїи науки въ пустынь или въ конюшнѣ, значить превращать святую и великую истину въ бессмысленную фразу, надъ которою съ особеннымъ наслажденіемъ стануть хохотать всѣ многочисленные подлещи и идіоты. Возбуждать такой хохотъ вредно, и слѣдовательно, надо говорить о наукѣ и о разумномъ чтеніи только тѣмъ лицамъ, которыхъ вы намѣрены серьезно просвѣщать и руководить. Да и вообще *говорить о наукѣ* не зачѣмъ, а надо постоянно употреблять науку въ дѣло, какъ орудіе, разбивающее нелѣпость и расширяющее умственный горизонтъ всякаго человѣка, безъ различія пола и общественнаго положенія.

Заигрыванія Леночки съ Молотовымъ доходятъ до того, что она его цѣлуетъ. Онъ держитъ себя совершенно пассивно, то есть, не отталкиваетъ ее прочь и не говоритъ ей ни слова о любви. Она ему нравится, ея ласки волнуютъ его, но онъ постоянно смотритъ на нее сверху внизъ, такъ что ему и въ голову не приходитъ мысль о возможности посвятить всю жизнь этой кисейной дѣвушкѣ. Дѣйствительно ли правъ Молотовъ въ своемъ высокомерномъ взглядѣ на Леночку? Дать на этотъ вопросъ прямой отвѣтъ очень трудно. Молотовъ, какъ человѣкъ обыкновенный по размѣрамъ своего ума, не можетъ смотрѣть на Леночку иначе. У Молотова нѣтъ той сильной и горячей вѣры въ человѣческую природу, которая дается только очень даровитымъ и глубокимъ натурамъ, и которою обладалъ въ такой значительной степени самъ Помяловскій. Плебей Молотовъ былъ бариномъ въ отношеніи къ Леночкѣ, бариномъ очень снисходительнымъ и милостивымъ, но тѣмъ болѣе неспособнымъ поставить кисейную дѣвушку съ собою на одну доску. Ему бросались въ глаза тривіальные выраженія Леночки, какъ госпожѣ Обросимовой бросались въ глаза тривіальныя манишки и тривіальный аппетитъ Молотова. — Шокируясь выраженіями, онъ забывалъ о томъ, что вызывало эти выраженія, о томъ, что искало и не умѣло найти себѣ выхода изъ души искренней, простой, честной и любящей дѣвушки. Она бросилась къ нему на шею безъ расчета, безъ условій, безъ кокетливыхъ уловокъ, именно по птичьей, такъ какъ богъ на душу положилъ.

VII.

Въ прощальной сценѣ Молотова съ Леночкой, бухгалтерская безу-
коризненность юнаго. Егора Ивановича доходитъ просто до комизма, и

кисейная дѣвушка, на которую Молотовъ взираетъ съ величественною снисходительностью, оказывается, по энергіи и задушевности чувства, неизмѣримо выше, прекраснѣе и сильнѣе умнаго и развитою мужчины, только что соскочившаго съ университетской скамейки. Являясь рядомъ съ Леночкой, Молотовъ уподобляется какому-то печеному яблоку, и Помяловскій превосходно понимаетъ его безсиліе и несостоятельность. Прощальная сцена до такой степени замѣчательна, что я разберу ее очень подробно, хоть бы мнѣ пришлось написать о ней страницъ десять. Критикѣ не часто приходится встрѣчаться съ такими явленіями, какъ повѣсти Помяловскаго, и когда встрѣтишься съ ними, тогда ужъ не хочется и разставаться. — Молотовъ приходитъ къ Леночкѣ черезъ недѣлю послѣ того, какъ онъ услышалъ убійственный разговоръ о манишкахъ и объ аппетитѣ. Онъ до такой степени разстроенъ этимъ разговоромъ, что отношенія къ Леночкѣ представляются ему только докучливою прибавкою къ обуревающимъ его заботамъ. «Еще Леночка! еще Леночка на моихъ рукахъ!» повторяетъ онъ про себя, и отправляется къ ней съ твердымъ намѣреніемъ все покончить.

Я напомнимъ здѣсь читателю то величественное равнодушіе и невозмутимое хладнокровіе, съ которыми Базаровъ выслушиваетъ и отражаетъ дерзости Павла Петровича. Будь Базаровъ на мѣстѣ Молотова, онъ бы и вниманія не обратилъ на обросимовскія разсужденія, и не подумалъ бы изъ-за такой ничтожной причины отказываться отъ удобнаго мѣста. Вѣдь бы онъ по прежнему за четверыхъ, потому что, при заключеніи условій, ему не было поставлено въ обязанность сидѣть впроголодь; и манишки носилъ бы онъ, нисколько не смущаясь, а когда бы ему поднесли кусокъ голландскаго полотна и часы, тогда бы онъ спокойно замѣтилъ, — это лишнее, потому что, заключая условія, помѣщикъ не выговаривалъ себѣ права дѣлать, Базарову, какіе бы то ни было подарки. И тогда Обросимовы уразумѣли бы, что Базарова нельзя ласкать по произволу, а надо сначала приобрести его уваженіе, для того, чтобы онъ позволилъ любить и ласкать себя. Базаровъ не сталъ бы говорить: «еще Леночка!» Отношенія къ любящей женщинѣ стояли бы въ его глазахъ постоянно на первомъ планѣ, и для него было бы даже просто непостижимо, какимъ образомъ можно, хотя на минуту, поставить рядомъ съ этими серьезными и обаятельными отношеніями какую нибудь дурацкую болтовню о неприличіи манишекъ и здороваго аппетита? Но мелочное самолюбіе Молотова оскорблено такъ сильно, что, подъ вліяніемъ обросимовскаго разговора, въ его умѣ поднимается безтолковѣйшая буря безсвязныхъ размысленій о жизни, о призваніи, о дѣятельности, о назначеніи человѣка. Ни къ чему эти размысленія не приводятъ, но Молотовъ до такой степени занятъ ими, что, придя къ Леночкѣ съ намѣреніемъ объясниться и проститься на всегда, онъ прежде всего

начинает гамлетствовать, что, очевидно, нисколько не относится къ главному предмету. Леночка, по обыкновенію, встрѣчаетъ его нѣжными, веселыми и довѣрчивыми ласками. Видя его торжественную мрачность, она тревожно и заботливо спрашиваетъ его о здоровьи; въ голосѣ ея слышатся слезы; она старается развеселить его шуткой. — «Ишь какой! сказала Леночка: — что дуться то? муху, что ли, проглотилъ?» (Стр. 160). Но лучъ веселости не проникаетъ въ мрачную душу Молотова, наполняемую манишками, аппетитомъ и «еще Леночкой». И вдругъ Молотовъ начинаетъ задавать своей собесѣдницѣ міровые вопросы. — «Что бы вы сказали, говорить онъ, когда бы привели къ вамъ когонибудь и спросили: дайте этому человѣку дѣло на всю жизнь, но такое, чтобы онъ былъ счастливъ отъ него? — Затѣмъ это вамъ? — Нужно. — Да этого никогда не бываетъ. — Бываетъ». — (Стр. 161).

И вретъ. Дѣйствительно никогда не бываетъ, чтобы приводили одного человѣка къ другому и чтобы этотъ другой на всю жизнь пристроивалъ перваго и доставлялъ ему полное счастье, на которое первый рѣшительно ничѣмъ не приобрѣлъ себѣ разумаго права. Счастье завоевывается и вырабатывается, а не получается въ готовомъ видѣ изъ рукъ благодѣтеля. И самая трудная часть задачи состоитъ именно въ томъ, чтобы составить себѣ понятіе о счастьи, и отыскать себѣ ту дорогу, которая должна къ нему привести. Когда жизненная борьба уже превратилась въ сознательное стремленіе къ опредѣленной цѣли, тогда человѣкъ можетъ уже считать себя счастливымъ, хотя бы ему пришлось упасть и умереть на дорогѣ, не вступивши въ ту обѣтованную землю, которую покойный А. Григорьевъ такъ игриво называетъ *блгою Аранією*. Но сознательность стремленій также вырабатывается трудомъ и борьбой, и ни одинъ благодѣтельный мудрецъ въ мірѣ не можетъ переложить эту сознательность изъ собственной головы въ неокрѣпшія головы своихъ учениковъ и прозелитовъ. — «Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выраженіе лица дѣвушки, когда она занята серьезною мыслью, а Леночка почувствовала женскимъ инстинктомъ, что ей не пустой вопросъ задать. Она, ей богу, отъ всей души желала бы разрѣшить его, но ничего не смыслила тутъ. — Не знаю, сказала она и посмотрѣла на Молотова, — что съ нимъ будетъ. — Онъ усмѣхнулся». (Стр. 161).

Молотовъ, доѣзжающій Леночку глупо-возвышенными вопросами, чрезвычайно похожъ на двѣнадцатилѣтняго гимназиста, щеголяющаго на каникулахъ передъ сестрами лонгиметрією, планиметрією, логарифмами и всякими другими мудреными вещами. Молотовъ очевидно спрашиваетъ не затѣмъ, чтобы получить удовлетворительный отвѣтъ, а затѣмъ именно, чтобы усмѣхнуться, и чтобы въ эту усмѣшку влить малую толику своей клокочущей жолчи. Вотъ, дескать, они мои манишки осмѣяли, и

я имъ за это ничего не могу сдѣлать, а теперь я твое невѣжество осмѣю, и ты со мною тоже ничего не сдѣлаешь. Молотовъ сгорѣлъ бы отъ стыда, если бы онъ совершенно ясно отдалъ себѣ отчетъ въ этомъ движеніи мелкой и дрянной злости, и бѣдная, простодушная Леночка, разумѣется, не стала бы такъ добросовѣстно ломать свою нехитрую голову надъ неразрѣшимымъ вопросомъ, если бы она знала, что ея не-наглядный Егорушка ищетъ только случая поважничать и поломаться. Но въ томъ-то и бѣда Леночкина, что она черезчуръ благоговѣетъ передъ умомъ и образованностью своего кумирчика; если бѣ она благоговѣла поменьше, тогда, можетъ быть, и кумирчикъ не оттолкнулъ бы отъ себя прочь ея чистую и неразсчитливую любовь.—Послѣ своей усмѣшки надъ незнаніемъ Леночки, Молотовъ продолжаетъ пускать мрачныя и глубокомысленныя рулады. Напримѣръ, вотъ этакія: — «Неужели моя жизнь пропадетъ даромъ?... Гдѣ моя дорога?... Неужели такъ я и не нуженъ никому на свѣтѣ?... Онъ крѣпко задумался. Елена все смотрѣла на него, ожидая признаній; но при послѣднихъ словахъ Молотова, она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцѣлуями крѣпкими и жаркими, какими еще никогда не цѣловала его. — Егоръ Ивановичъ!... душка!... ты герой!...—Молотовъ пожалъ плечами и чуть вслухъ не сказалъ: «Душка!... герой!...—вонъ куда хватила!...» Поцѣлуи не разогрѣли его, не смотря на то, что Леночка первый разъ охватила его такъ страстно. Молотовъ ничего не замѣтилъ. Онъ смотрѣлъ угрюмо въ землю...» (Стр. 162).

Я замѣтилъ въ предыдущей главѣ, что бываютъ и у кисейной дѣвушки такіе великолѣпные взрывы чистаго и могучаго чувства, которые, хоть на минуту, поднимаютъ ее неизмѣримо выше мелкой и копѣечной пошлости ея будничной жизни. Читатель видитъ теперь, что замѣчаніе мое не было брошено на вѣтеръ. Взрывъ описанъ у Помяловскаго такъ превосходно, что первый художникъ въ мірѣ не прибавилъ бы ни одной черточки къ выписаннымъ мною строкамъ. Но что же значить этотъ взрывъ, который такъ естественно сдѣланъ кисейной дѣвушкой, «по гробъ вѣрной и любящей?» — И почему Молотовъ для нея «душка» именно въ ту минуту, когда онъ хмурится и грубіянитъ? И почему она видитъ въ немъ «героя» именно тогда, когда онъ слабѣетъ и унываетъ? И то, и другое совершенно понятно. Ты чувствуешь себя одинокимъ и никому ненужнымъ, думаетъ она. Тѣмъ лучше. Я для тебя все въ эту минуту. Никто и ничто не становится между мною и тобою. Хоть бы ты никому на свѣтѣ не былъ нуженъ, — ты мнѣ нуженъ. И жизнь твоя не можетъ пропасть даромъ, потому что я возьму ее себѣ и она дастъ мнѣ полное счастье. Когда все на свѣтѣ смотритъ на тебя холодно и равнодушно, тогда я одна вырастаю въ твоихъ глазахъ, ты сильнѣе обыкновеннаго привязываешься ко мнѣ, и я тоже особенно сильно

люблю тебя, потому что понимаю, какъ полезна тебѣ моя помощь въ эти тяжелыя минуты. И, кромѣ того, ты самъ ошибаешься. Человѣкъ, котораго можно любить такъ, какъ я тебя люблю, никогда не сдѣлается на свѣтѣ лишнимъ и ненужнымъ человѣкомъ. Если тебя дѣйствительно стоитъ любить, то ты непременно найдешь себѣ въ жизни хорошее дѣло. Ты унываешь не оттого, что ты слабъ и негоденъ, а оттого, что ты неудовлетворяешься тѣми гнилыми крупичками, которыя подбираютъ съ такимъ успѣхомъ мелкіе и дрянные людишки. Твое уныніе не можетъ быть продолжительнымъ. Явится спокойное размышленіе, вспыхнетъ съ новою силою твоя мужественная энергія, и опять закипятъ у тебя подъ руками честное и полезное дѣло. И я въ то время буду смотрѣть на тебя и радоваться, и гордиться тобою, и гордиться тѣмъ, что въ твоей бодрости есть частица моего живительнаго и утѣшающаго вліянія. И вездѣ, и всегда я буду рядомъ съ тобою. И трудъ, и лишения, и опасности, и тревогу, и сомнѣнія, и горе — все пополамъ. Я на все готова, и эта готовность удесатеряетъ мои силы.

Слившись въ неопредѣленный, но чрезвычайно сильный порывъ страстной любви, весь этотъ рядъ мыслей промелькнулъ съ неуловимою быстротою въ головѣ Леночки, когда она бросилась на шею къ Молотову, и когда вся фигура ея выросла и просіяла подѣ вліяніемъ нахлынувшихъ на нее, новыхъ и непонятныхъ для нея ощущений. Молотовъ ничего этого не понялъ, по той простой причинѣ, что все его раздумье вытекало изъ очень мелкаго и мутнаго источника. Всѣ безсвязные возгласы о дорогѣ, о жизни, о собственной ненужности выражали собою въ сущности только плачь и скрежетъ зубовъ надъ посрамленными манишками. Когда его называли героемъ, то ему сдѣлалось совѣстно, что его манишки залетѣли въ такіе высокіе хоромы. Но, вмѣсто того, чтобы откровенно назвать самого себя дуракомъ за мелочность своего огорченія, онъ въ душѣ обругалъ дурую Леночку за наивную превеличенность выраженій, которыя, впрочемъ, вовсе не были бы превеличенными, если бы слова Молотова о разныхъ высокихъ матеріяхъ были дѣйствительно глубоко продуманы и прочувствованы, а не напущены со стороны глупымъ разговоромъ Обросимовыхъ.

Значить, Леночка провинилась только тѣмъ, что повѣрила на слово любимому человѣку, то есть, выражаясь яснѣе, тѣмъ, что любила глубоко и сильно. Въ ту минуту, когда она осыпала своими «горячими и бѣшенными» поцѣлуями постную фигуру Молотова, проглотившаго муху и не умѣющаго съ нею справиться, въ умѣ ея возлюбленнаго шевелились, по всей вѣроятности, очень мелкія и буржуазныя мысленки. Да, думалъ онъ о себѣ съ подавленною злобою, ѣсть много, неприличныя манишки носить, и ко всему бы этому великолѣпію еще жену приобрести, «по гробъ вѣрную и любящую», которая при всѣхъ будетъ на

шею вѣшаться и, ни къ селу ни къ городу, визжать: «душка» и «герой». Куда какъ интересно!—Опять тривиальность выраженій заслонила собою въ глазахъ честнаго Чичикова величіе искренняго чувства. — Красота Леночки, просвѣтленной своимъ порывомъ, осталась незамѣченной для ея собесѣдника, погруженнаго въ мучительное созерцаніе манишекъ и собственной нелюбви.

VIII.

Молотовъ пришелъ къ Леночкѣ за тѣмъ, чтобы сбыть ее съ рукъ. Но онъ до такой степени углубленъ въ свое собственное копѣечное раздумье, что, повидимому, совершенно забываетъ настоящую цѣль своего прихода. Если бы онъ нарочно хотѣлъ причинить Леночкѣ какъ можно больше страданія, то онъ не могъ бы придумать нравственную пытку утонченнѣе той, которую онъ заставилъ ее выдержать по своей непростительной невнимательности.

Если онъ пришелъ съ твердымъ намѣреніемъ все покончить, то съ какой стати онъ задаетъ ей мудреные вопросы, интересные только для него и неимѣющие для нея ровно никакого значенія? Деликатно ли, позволительно ли искать себѣ утѣшенія и совѣта у той самой дѣвушки, которую рѣшился и собираешься оттолкнуть? Вѣдь это въ сущности хуже, чѣмъ если бы Молотовъ на прощаніе выпросилъ у нея денегъ взаймы. И какъ онъ осмѣлился принимать ея поцѣлуи, съ какого права называлъ ее до послѣдней минуты Леночкой, когда въ головѣ его участь этой Леночки была уже окончательно рѣшена? Значить, онъ до послѣдней минуты воровалъ ея поцѣлуи и ласки. Онъ разбудилъ въ ея головѣ совершенно непривычную для нея работу мысли, онъ расшаталъ всю ея нервную систему красивою наружностью своего дряннаго горя, онъ далъ ей полное право думать, что пришелъ къ ней подѣлиться заботами и сомнѣніями, онъ раздражилъ ее чуть не до истерики, — и все это для того, чтобы сказать ей вѣжливо-бухгалтерскимъ тономъ: сударыня, честь имѣю съ вами раскланяться!

Не напоминаетъ ли это вамъ, господа, гоголевскаго Ивана Ивановича, который бесѣдуетъ съ голоднымъ нищимъ о говядинѣ, о галушкахъ, о горѣлкахъ, и потомъ, наболтавшись досыта, говоритъ съ замѣчательною кротостью: «ну, ступай же, любезный, вѣдь я тебя не бью!» — Теперь мнѣ придется сдѣлать очень большую выписку.

— «Елена Ильинишна, сказалъ онъ серьезно.

— Что?

— Намъ пора объясниться...

У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егоръ Ивановичъ не говорилъ такъ съ нею.

— Развѣ мы не объяснились? спросила она. (Совершенно справедливое замѣчаніе. Какое тутъ еще требуется объясненіе, когда люди давно цѣлуются?)

— Нѣтъ, не объяснились; все у насъ было кромѣ объясненій. (Аккуратному Егору Ивановичу желательно, чтобы все дѣлалось по формѣ, но безалаберная Леночка врядъ ли способна понять, чтобы объясненія были еще необходимы тогда, когда уже было «все». Впрочемъ, это «все» не должно пугать читателя. Это «все» ограничивалось невиннымъ обмѣномъ поцѣлуевъ. Собственно поэтому, формалистъ Молотовъ и не считаетъ себя связаннымъ.)

— Ну, скажите, отвѣтила Леночка, боязливо глядя на собесѣдника.

— Вы меня любите? (Какой дурацкій вопросъ!)

Леночка хотѣла обнять его. Онъ уклонился. (Леночка, очевидно, предпочитаетъ мимическія объясненія словеснымъ, но Молотову уже становится совѣстно продолжать кражу поцѣлуевъ.)

— Я васъ очень люблю... (Какъ много дѣло подвинулось впередъ отъ этого отвѣта!)

— Но, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что мы не всегда будемъ поддерживать наши отношенія? (Представьте себѣ, что въ уголовную палату призываютъ преступника и говорятъ ему: вы, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что васъ будутъ драть плетью на площади? — Преступникъ на это отвѣчаетъ: — воля ваша, а привыкнуть къ такой мысли я никакъ не могу.— Чтожъ дѣлать, топ сгер, говорятъ ему, постарайтесь привыкнуть. — Что бы вы, читатель мой, подумали о такихъ судьяхъ, которые позволяли бы себѣ подобныя шутки? Вы бы, вѣроятно, назвали ихъ большими негодьями? А вѣдь Молотовъ, по своей деревянной неловкости, поступаетъ точно такимъ же образомъ, только не съ преступникомъ, а съ доброю и милою дѣвушкою, которая его любитъ. Къ чему клонится его вопросъ? Скажетъ ли она *да*, скажетъ ли *нѣтъ*, не все ли равно? Развѣ ея отвѣтъ измѣнить, хоть въ чемъ нибудь, его рѣшеніе? Она это предчувствуетъ и уклоняется отъ отвѣта.)

— Къ чему же объ этомъ говорить? (Вотъ это правда.)

— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно. (Скажите на милость, чего этотъ анафема отъ нея добивается? Зачѣмъ онъ изъ нея душу тянетъ?)

Ей никогда не приходилъ такой вопросъ на умъ, и она съ замѣшательствомъ отвѣчала:—Да, я васъ люблю... (Ничего больше она и сказать не можетъ. Отвѣчаетъ она такъ не потому, что «ей никогда не

приходилъ такой вопросъ на умъ,» а потому, что вопросъ Молотова изъ рукъ вонъ глупъ и оскорбителенъ. Ей надо было или пропустить этотъ вопросъ безъ вниманія, или отвѣчать на него рѣзкимъ упрекомъ. Если сформулировать вопросъ Молотова яснѣе, то получится слѣдующій результатъ: «вѣдь вамъ, разумѣется, все равно, кого не цѣловать, меня ли, другого ли мужчину?» — Бѣдной, добродушной Леночкѣ въ голову не приходило, чтобы Егорушка рѣшился нанести ей такое незаслуженное оскорбленіе. Поэтому, если даже она разобрала въ вопросѣ Молотова этотъ гнусный смыслъ, то она немедленно отбросила прочь это предположеніе, увѣрила себя, что она поняла невѣрно, и, вслѣдствіе этого, сумѣла только повторить съ замѣшательствомъ свою незатѣйливую пѣсенку: «да, я васъ люблю.» Тутъ Молотовъ находить, что онъ уже достаточно приготовилъ преступницу къ принятію плетей, и начинается дѣйствовать.)

— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вамъ не могу отвѣчать тѣмъ же... (Какъ вамъ нравится эта переиѣна декораций! «Да плюй же, плюй ему прямо въ лохань!» какъ выражаются «хорошіе люди» города Глухова.)—Леночка взглянула на него испуганнымъ взглядомъ и вскрикнула. (Подумаешь, какъ это странно! Преступница кричить, точно будто ее не приготовляли заранѣе къ сильному ощущенію.) Болѣзненно отозвался этотъ крикъ въ душѣ Молотова. — Вотъ она такъ любила! подумалъ онъ.

— Елена Ильинишна, кто жъ виноватъ? кто виноватъ? вы должны помнить, что не я первый... Молотовъ оборвался на полуфразѣ, потому что невольно почувствовалъ угрызеніе совѣсти.—«Что жъ такое, что не я первый?» шевельнулось у него въ душѣ, и онъ кончилъ иначе, нежели началъ: — Боже мой, что же это на меня напало?.. (Здѣсь опять авторъ съ изумительною твердостью выдержалъ характеръ своего героя. Это не мерзавецъ, хладнокровно играющій чужимъ счастьемъ; это — милая и добрая размазня, способная только отсиживаться отъ всякой напасти. Для него немыслимъ крупный активный поступокъ: вмѣсто того, чтобы съ самаго начала, съ перваго свиданія спугнуть глупую бабочку, которая летитъ прямо на свѣчку, онъ умѣетъ только отмалчиваться; вмѣсто того, чтобы теперь, когда бабочка уже обожгла себѣ крылья, махнуть на все рукою и смѣло повести ее подъ вѣнецъ, не заботясь о дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ, онъ умѣетъ только сидѣть и добродушно сокрушаться. Подлецомъ его, пожалуй, и нельзя назвать: онъ не завлекалъ, онъ не обѣщалъ, онъ и теперь страдаетъ искренно; но вѣдь вотъ въ чемъ штука: бываютъ въ жизни такіе случаи, когда мямля можетъ насолить ближнему не хуже отъявленнаго негоддя.)Послышалось всхлипываніе и тихое, ровное, мучительное рыданіе; запрется въ груди

звукъ, надтреснуть, переломится и разрѣшится долгой нотой плача; слезы катились градомъ...

— Никому мы не нужны... кому любить такихъ?

Она зарыдала сильнѣе.» (Стр. 164, 165, 166.)... Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бѣдной дѣвушки... глупенькой, кисейной дѣвушки... Она такъ жить хотѣла, такъ любить хотѣла, и доживала послѣднюю лучшую минуту жизни. Впереди ея пошлость, позади тоже пошлость. Теперь она могла бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже такъ, что изъ нея выйдетъ не человѣкъ женщина, а баба-женщина. Молотовъ чувствовалъ это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадетъ она!» думалъ онъ.» (Стр. 169.) И, думая такимъ образомъ, онъ все-таки отталкивалъ ее прочь отъ себя, назадъ, въ ту трясиину пошлости, изъ которой бѣдная дѣвушка старалась высвободиться съ такими судорожными усилями, съ такими горькими и мучительными рыданіями. И все это оттого, что онъ, изволите видѣть, не любилъ ее. Точно будто пужно любить человѣка какою нибудь особенною любовью для того, чтобы протянуть ему руку, когда онъ зоветъ васъ къ себѣ на помощь. Точно будто, доставляя другому человѣку счастливое и разумное существованіе, мы не наслаждаемся вмѣстѣ съ нимъ, и даже гораздо больше его самого, тою свѣтлою жизнью, которую мы ему доставили. Осчастливить ту женщину, которую мы сами любимъ страстно—это, разумѣется, очень пріятно. Но подарить счастье той женщинѣ, которая любитъ насъ, — это также очень недурно, тѣмъ болѣе, что человѣку свойственно привязываться очень сильно къ тѣмъ людямъ, которымъ онъ сдѣлалъ добро. Счастье мыслящаго человѣка состоитъ не въ томъ, чтобы играть въ жизни мелкими игрушками, а въ томъ, чтобы вносить какъ можно больше свѣта и теплоты въ существованіе всѣхъ окружающихъ людей. Молотовъ еще плохо понимаетъ эту простую истину, и это обстоятельство показываетъ ясно, что онъ подходитъ гораздо ближе къ тщедушному идеалу г. Гончарова, чѣмъ къ сильнымъ и мужественнымъ реалистамъ новѣйшаго времени. Молотовъ такъ наивно неделикатенъ, что онъ, уже измучивъ бѣдную Леночку, все еще эксплуатируетъ въ свою пользу ея безпредѣльную доброту. Послѣ сцены рыданія, когда ему надо было уйти прочь безъ оглядки, чтобы не мозолить ей глаза, онъ все сидитъ, да не только сидитъ, а открываетъ ей свою душу, то есть, рассказываетъ ей, какъ его обидѣли Омбросимовы. «Она слушала его съ увлеченіемъ, положивъ на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «да этого не бываетъ»...

— Я ихъ не люблю, сказала она горячо...

Молотовъ поцѣловалъ ее, но это былъ не страстный, а добрый поцѣлуй (И даже глупый.)

— Богъ съ ними, сказалъ онъ... (Какое великодушіе!)

— Никогда ихъ не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя. (Вотъ тутъ, дѣйствительно, кротость и доброта доходить до величественныхъ и, пожалуй, даже до безобразныхъ размѣровъ. Онъ ее оскорбилъ, онъ оттолкнулъ прочь ея святую любовь, онъ осудилъ ее на безвыходно-пошлое существованіе, и она же утѣшаетъ и успокаиваетъ его, и она же принимаетъ горячо къ сердцу трагическую участь его манишекъ. Это, наконецъ, глупо и отвратительно. Любить и прощать—прекрасное занятіе, но много осла не мѣшаетъ и по мордѣ треснуть, чтобы заставить его одуматься.)

Они разстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего же насъ любить нельзя?... отчего?» (Стр. 170.) Э, Леночка, Леночка! Охота тебѣ изъ-за одного дурака задавать себѣ такіе радикальные вопросы! Васъ можно любить, и васъ будутъ любить, и вы сдѣлаетесь умными, мыслящими и полезными людьми. Никакого въ васъ органическаго порока не оказывается. Но, чтобы увидеть и развернуть тѣ задатки здороваго ума, которые въ васъ таятся, надо обладать не такими силами, какими располагалъ твой ненаглядный Егорушка. Дрянной народъ тѣ мужчины, съ которыми вамъ приходится имѣть дѣло. Оттого вы такъ часто и плачете. — Каждая слеза, которую проливаетъ въ современныхъ обществахъ любящая женщина, есть тяжелое обвиненіе противъ мужчины. Взявъ женщину подъ свою опеку, отнявъ у нея самостоятельность, ослабилъ ея умъ и ея физическія силы,—такъ умѣй же, по крайней мѣрѣ, дать ей за это счастье. А не умѣешь,—такъ на что же годится твоя дурацкая опека?

IX.

«Насъ много такихъ дѣвушекъ», замѣчаетъ сама Леночка. «У насъ не мало встрѣчается такихъ женщинъ, какъ Леночка», прибавляетъ отъ себя Помяловскій. И это правда. Къ типу добродушной кисейной дѣвушки подходятъ всѣ женщины, не отличающіяся сильнымъ и блестящимъ умомъ, не получившія порядочнаго образованія и, въ тоже время, еще неиспорченныя и не сбитыя съ толку шумомъ и суетою такъ называемой свѣтской жизни. У этихъ женщинъ развита только одна способность, о которой заботится уже сама природа, именно способность любить. Вся судьба такой женщины рѣшается безусловно тѣмъ, кого она полюбитъ. Попадется хорошій и умный человѣкъ, — и она сама тоже сдѣлается хорошею, даже умною женщиною, потому что отъ природы она не глупа, а только никогда не имѣла ни возможности, ни надобности упражнять и укрѣплять свой умъ. Попадется дуракъ и негодяй—тогда въ ней замретъ даже способ-

ность любить, и превратится она въ автомата, который будетъ рожать, кормить, пачить и обливаетъ слезами дѣтей, не умѣя ни вразумить, ни защитить ихъ противъ самодурства супруга.

Женщина, подобная Леночкѣ, быть можетъ, ни при какихъ условіяхъ не сдѣлается совершенно самостоятельной и сильной личностью; она всегда, болѣе или менѣе, будетъ искать себѣ опоры и руководителя въ любимомъ мужчинѣ; но, не смотря на это врожденное стремленіе къ нѣкоторой зависимости, такая женщина не была бы тягостною и вредною обузою даже для очень умнаго и развитого мужчины. Она была бы способна увлекаться совершенно искренно широкими планами и титаническими стремленіями любимаго человѣка; можетъ быть, она довольно смутно понимала бы необходимую связь между отдѣльными мыслями; можетъ быть, строгая теорія или дѣловой проектъ представлялись бы ей въ неопредѣленныхъ и расплывающихся очертаніяхъ, свойственныхъ воздушнымъ замкамъ. Но за то воодушевленіе, овладѣвающее любимымъ человѣкомъ, находило бы во всемъ ея существѣ ясный, полный и совершенно безыскусственный отголосокъ. Она не стала бы пилить любимаго человѣка безтолковымъ ворчаніемъ или мелкими жалобами въ то время, когда онъ чувствуетъ потребность подѣлиться съ нею результатами своихъ размышленій, набросанными планами и смѣлыми надеждами. Этого, конечно, мало, но вѣдь гдѣ же и взять теперь много такихъ женщинъ, которыя были бы способны серьезно работать вмѣстѣ съ своими мужьями? Уже и то было бы хорошо, если бы женщины не мѣшали работать. А какимъ образомъ онѣ могутъ мѣшать, это всего лучше будетъ видно изъ самаго простаго и скромнаго примѣра. Представьте себѣ, что вамъ предлагаютъ два мѣста. Одно совершенно соотвѣтствуетъ вашимъ убѣжденіямъ и наклонностямъ. Другое—совсѣмъ—напротивъ. Первое даетъ вамъ 60 рублей въ мѣсяцъ, второе — 80. Вы приходите домой, рассказываете все, какъ есть, вашей женѣ, и объявляете ей, что вы хотите взять мѣсто въ 60 рублей. Жена тарашитъ на васъ глаза и говоритъ, что вы съ ума сошли, что 20 рублей на улицѣ не валяются, и что такіе капризы вамъ совсѣмъ не по состоянію. — Да пойми же ты, другъ мой, убѣждаете вы, что на томъ мѣстѣ я буду просто мученикомъ. Оно мнѣ противно. Мнѣ гадко будетъ смотрѣть на самого себя.—Скажите, пожалуйста, какія нѣжности, отвѣчаетъ супруга. А это, не бось, не гадко смотрѣть, что жена въ стоптанныхъ башмакахъ ходитъ! — И много другихъ варіацій разыгрывается на ту же самую, вовсе не интересную для васъ, тему. Если вы человѣкъ твердый, то вы остаетесь непоколебимы и берете все-таки 60-ти рублевое мѣсто; но за то ваша семейная жизнь въ теченіе нѣсколькихъ недѣль скрипитъ, какъ намазанная телѣга. Если же вы такой размазня, какъ огромное большинство русскихъ людей, то вы усту-

паете, жена даетъ вамъ за вашу разсудительность несчетное число «безешекъ», и черезъ нѣсколько времени ваше отвращеніе къ подлой должности исчезаетъ, потому что, подъ вліяніемъ развращающей обстановки, весь строй вашихъ понятій медленно понижается. Такимъ образомъ общество, по милости вашей супруги, потеряло въ вашей особѣ полезнаго работника и приобрѣло лишняго эксплуататора. Но такіа супруги формируются только изъ тѣхъ женщинъ, которыя совершенно сбиты съ толку кринолинами, гуляньями, шляпками и тряпками. Женщины же, подобныя Леночкѣ, понимаютъ очень хорошо, что шелковое платье и счастье жизни — двѣ вещи разныя; и эти послѣднія женщины не промѣняютъ любимаго человѣка не только на шляпку, но даже и на цѣлый бурнусъ. Если вы станете объяснять Леночкѣ, почему вы не хотите или не можете взять мѣсто въ 80 рублей, она, можетъ быть, и не совсѣмъ успѣшно пойметъ ваши доводы, но она, во всякомъ случаѣ, повѣритъ вамъ. Она увидитъ, что вамъ было бы тяжело на томъ мѣстѣ, и этого будетъ для нея совершенно достаточно. Словомъ, простые женщины, подобныя Леночкѣ, умѣютъ, по крайней мѣрѣ, любить, а это умѣнье совсѣмъ не такая ничтожная вещь, которою, при нашей непокрытой бѣдности, было бы позволительно пренебрегать. Разумѣется, змѣиная мудрость лучше голубиной кротости, но на нѣтъ и суда нѣтъ. За неимѣніемъ лучшаго, умѣйте и голубиную кротость обращать себѣ въ пользу. А извлекать изъ нея пользу очень возможно, потому что человѣку, измученному и утомленному ежедневною борьбою съ глупостью и подлостью, не только пріятно, но даже необходимо имѣть возлѣ себя честное, кроткое и любящее существо, у котораго всегда можно найти неподдѣльную ласку и безкорыстное участіе.

Теперь читатель понимаетъ, что типъ кисейной дѣвушки имѣетъ очень важное значеніе, тѣмъ болѣе, что такихъ женщинъ много. Надо объяснить обществу, что эти силы, хорошія и здоровыя, хотя и не блестящія, не должны пропадать даромъ. Надо объяснить преимущественно умнымъ и образованнымъ юношамъ, что на этихъ простыхъ женщинъ они должны смотрѣть не только безъ высокомѣрнаго предубѣжденія, но даже съ глубокимъ сочувствіемъ и уваженіемъ. Путь жизни длиненъ и труденъ. Работа утомительна. Отдыхъ для обыкновенныхъ людей необходимъ. Умныхъ женщинъ мало. Поэтому, если вамъ встрѣтится Леночка, и если она съ ребяческою довѣрчивостью бросится къ вамъ на шею, подумайте, серьезно подумайте, существуетъ ли дѣйствительно какая нибудь необходимость отворачиваться отъ союза съ этимъ милымъ ребенкомъ.—Леночка не дастъ вамъ того великаго, безмѣрнаго счастья, которое даетъ только мыслящая женщина, но, по крайней мѣрѣ, она не превратитъ васъ ни въ подлеца, ни въ филистера, ни въ закабаленнаго батрака. Она не будетъ васъ эксплуатировать; у нея есть

искренность, а это — свойство очень драгоценное. Но, какъ бы вы ни рѣшили вопросъ о вашихъ дальнѣйшихъ отношеніяхъ къ той или другой Леночкѣ, не смѣйте, ни въ какомъ случаѣ, смотрѣть свысока на этихъ женщинъ и обращаться легкомысленно съ ихъ чувствами.

Существуетъ на Руси поговорка, что женскія слезы—вода; эта поговорка, подобно многимъ другимъ, доказываетъ только весьма наглядно, что на Руси во всякое время было достаточное количество дураковъ и подлецовъ. Вы умнѣе, вы образованнѣе, вы крѣпче Леночки; вы не заплачете о томъ, о чемъ она заплачетъ; всѣ ваши доблести и преимущества при васъ и остаются; но все это не даетъ вамъ никакого права думать, что вы чувствуете глубже ея, и что всѣ ея маленькія огорченія скользятъ съ нея, какъ съ гуся вода. Абсолютной мѣрки для глубины чувства не существуетъ. Всякому свои слезы солонны, и кто, своимъ легкомысліемъ, заставляетъ плакать безотвѣтное существо, подобное Леночкѣ, тотъ поступаетъ глупо и подло, хотя, быть можетъ, онъ и не дуракъ и не подлецъ. Важнѣйшее житейское искусство состоитъ именно въ томъ, чтобы пробираться бережно и осмотрительно въ путаницѣ личностей и интересовъ, не наступая никогда нечаянно на живое человѣческое тѣло. — Мудреное искусство жить и дѣйствовать, не обижая безвредныхъ людей, приобрѣтается не вдругъ. Молодымъ людямъ случается часто наступать на живое тѣло безъ всякаго злого или подлаго умысла, по неопытности, по неловкости, по неумѣнью ясно рассмотреть ту пограничную черту, гдѣ кончаются естественныя права собственной личности и гдѣ начинаются естественныя права сосѣда. Это наступаніе на живое тѣло производитъ съ одной стороны боль, съ другой—стыдъ и угрызение совѣсти. Такіе уроки не проходятъ даромъ. Кто наступилъ одинъ разъ и кто пережилъ всѣ тяжелыя ощущенія, развивающіяся изъ такого событія, тотъ постарается на будущее время вести свои дѣла внимательнѣе и осторожнѣе. Опытъ здѣсь, какъ и вездѣ, дѣйствуетъ сильнѣе всякаго кабинетнаго размышленія.

Но подобныя опыты обходятся слишкомъ дорого, и было бы очень полезно замѣнить ихъ, на сколько это возможно, плодами теоретическихъ размышленій. Польза беллетристики и литературной критики состоитъ преимущественно въ томъ, что онѣ заставляютъ читателя размышлять о такихъ житейскихъ вопросахъ и формировать себѣ взгляды на такія стороны и явленія вседневной жизни, которыя незнакомы читателю по собственному опыту. Читая, напримѣръ, простую исторію Молотова съ Леночкой, неопытный молодой человѣкъ задумывается надъ нею, вглядывается въ слова и поступки обѣихъ личностей и произноситъ надъ ними свое сужденіе; было бы очень неосновательно думать, что такое упражненіе мысли остается совершенно бесплоднымъ и не имѣетъ никакого вліянія, прямого или косвеннаго, на собственные поступки

юнаго читателя. Литературная критика должна поддерживать, усиливать и направлять ту работу мысли, которую пробуждаетъ въ головѣ читателя беллетристическое произведеніе. Разбирая романъ или повѣсть, я постоянно имѣю въ виду, не литературное достоинство даннаго произведенія, а ту пользу, которую изъ него можно извлечь для міросозерцанія моихъ читателей.

Легко можетъ быть, что читателя утомляютъ иногда мои длинныя микроскопическія изслѣдованія надъ такими мелкими явленіями, какъ любовныя радости и огорченія какой нибудь ничтожной Леночки. Читателю досадно, зачѣмъ я анализирую почти каждое движеніе, и комментирую почти каждое слово Молотова и кисейной дѣвушки. Но мнѣ кажется, что досада читателя неосновательна. Я глубоко убѣжденъ въ томъ, что эти микроскопическія явленія, эти будничныя мелочи наполняютъ собою цѣлую жизнь цѣлыхъ миллионовъ людей. Изъ необдуманныхъ словъ, изъ мелкихъ непослѣдовательностей, изъ незамѣтныхъ оплошностей складывается мало по малу большая часть человѣческихъ страданій и человѣческихъ подлостей. Вѣдь Молотовъ поступилъ съ Леночкою очень плохо; онъ и самъ сознается себѣ въ этомъ; а между тѣмъ, скажите по совѣсти, мои двадцатилѣтніе читатели, многіе ли изъ васъ сѣмѣли бы или рѣшились бы, на мѣстѣ Молотова, поступить такъ, чтобы не вышло подлости? Вотъ и надо было показать подробнѣйшимъ анализомъ, какимъ образомъ отвратительный ядъ подлости слагается изъ самыхъ невинныхъ и безвредныхъ элементовъ. Подлость Молотова именно тѣмъ и поучительна, что Молотовъ самъ нисколько не подлець. Я относился къ нему очень жестоко, когда я разбиралъ его отношенія къ Леночкѣ, тамъ я смотрѣлъ только на одну сторону дѣла; я констатировалъ вредъ и боль, нанесенные кисейной дѣвушкѣ, существу совершенно невинному и беззащитному. Теперь мнѣ надо возстановить въ глазахъ читателя репутацію Молотова, на котораго мы можемъ сердиться за его неуклюжесть но котораго было бы несправедливо презирать. Собственно, полная реабилитация Молотова возможна только тогда, когда мы познакоимся съ дальнѣйшимъ ходомъ его жизни. Молотовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которымъ все въ жизни дается довольно туго. Поэтому, тридцатилѣтній Молотовъ гораздо лучше двадцатилѣтняго. Толчки и удары жизни шлифуютъ и закаляютъ его. Онъ превосходно пользуется опытомъ. Что пережито имъ, то уже оставляетъ неизгладимую черту въ его умѣ и въ его характерѣ. Но у Молотова нѣтъ того, чѣмъ обладаютъ очень даровитыя личности, подобныя Базарову. У него нѣтъ умѣнья угадывать жизнь; онъ не можетъ силою творческой и анализирующей мысли забѣгать впередъ и рѣшать заранѣе, совершенно безошибочно, такія задачи, которыхъ еще не задавала ему дѣйствительная жизнь. Молотовъ выходитъ изъ университета розовымъ птенцомъ, простирающимъ во всѣ

стороны свои объятія, тоскующимъ, когда ему приходится обвинять пустое пространство, и робѣющимъ, когда въ его объятія попадаетъ живая дѣвушка, принявшая его безпредметное доброжелательство за опредѣлившееся чувство. Базаровъ входитъ въ жизнь сильнымъ, страстнымъ, смѣлымъ и энергическимъ мужчиною, уже выработавшимъ себѣ, въ мѣрѣ книжныхъ занятій, драгоценное умѣнье кое-что ненавидѣть, многое презирать, къ очень многому относиться равнодушно и все на свѣтѣ подвергать анализу. Базаровъ на видъ гораздо страшнѣе и свирѣпѣе Молотова. Та женщина, которая съ радостною довѣрчивостію подходитъ къ Молотову, едва осмѣлилась бы заговорить съ Базаровымъ, или даже при Базаровѣ. Одинъ взглядъ Базарова, быстрый и небрежный, совершенно смутилъ сестру Одинцовой, Катю. А между тѣмъ, Молотовъ гораздо опаснѣе Базарова. Базаровъ только смутить или испугаетъ, а Молотовъ, безъ всякаго злого умысла, истерзаетъ женщину и изуродуетъ ея жизнь. Если бы Базаровъ получилъ письмо Леночки, «по гробъ вѣрной и любящей», то онъ тотчасъ рѣшилъ бы, какъ ему дѣйствовать, вести ли дѣло впередъ, или оборвать его въ самомъ началѣ. Въ первомъ случаѣ, Леночка сдѣлалась бы счастливѣйшею женщиною. А во второмъ случаѣ, Базаровъ сразу такъ обжогъ бы ее насмѣшливымъ взглядомъ и правдивымъ словомъ, что Леночка тотчасъ убѣжала бы со свиданія домой и навсегда закаялась бы писать нѣжныя цыдулки къ молодымъ людямъ. Леночка стала бы говорить о Базаровѣ, что онъ и злой, и гордый, и страшный, но Леночкѣ не пришлось бы рыдать на дерновой скамейкѣ, не пришлось бы плакать на пролетѣ цѣлыя ночи и непришлось бы повторять съ безвыходнымъ отчаяніемъ ужасныя слова: «никому мы не нужны!.. Кому любить такихъ?..» И злой, гордый, демоническій Базаровъ оказался бы здѣсь, какъ и вездѣ, гораздо лучше добраго, нѣжнаго, ласковаго Молотова.

1865 г. Январь.

ПУШКИНЪ И БѢЛИНСКІЙ.

ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ.

I.

«Онѣгинъ, говоритъ Бѣлинскій, есть самое задумѣнное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на не многія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такою полнотою, свѣтло и ясно, какъ отразилась въ «Онѣгинѣ» личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здѣсь его чувства, понятія, идеалы. Оцѣнить такое произведеніе,—значить оцѣнить самого поэта, во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности.» (Соч. Бѣл. Томъ VIII. Стр. 509). Дѣйствительно, «Онѣгинъ» серьезнѣе всѣхъ остальныхъ произведеній Пушкина; въ этомъ романѣ поэтъ становится лицомъ къ лицу съ современною дѣйствительностью, старается вдуматься въ нее какъ можно глубже и, по крайней мѣрѣ, не истощаетъ своей фантазіи въ эффектныхъ, но совершенно безплодныхъ изображеніяхъ молодыхъ черкешенокъ, влюбленныхъ хановъ, высоко-нравственныхъ цыганъ и неправдоподобно-гнусныхъ измѣнниковъ, которые «не вѣдаютъ святыни и не помнятъ благодѣтели.»

Если творческая дѣятельность Пушкина даетъ какіе нибудь отвѣты на тѣ вопросы, которые ставитъ дѣйствительная жизнь, то, безъ сомнѣнія, этихъ отвѣтовъ мы должны искать въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ.» Къ разбору «Онѣгина» Бѣлинскій приступалъ съ благоговѣніемъ и, какъ онъ самъ сознается, *не безъ нѣкоторой робости.* Объ «Онѣгинѣ» Бѣлинскій написалъ двѣ большія статьи; онъ говоритъ, что «эта поэма

имѣть для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе,» и что «въ ней Пушкинъ является представителемъ пробудившагося общественного самосознанія.»

Посмотримъ, на сколько самый романъ оправдываетъ и объясняетъ собою всѣ эти восторги нашего гениальнаго критика. Прежде всего надо рѣшить вопросъ: что за человекъ самъ Евгений Онегинъ? — Бѣлинскій опредѣляетъ Онегина такъ: «Онегинъ — добрый малый, но при этомъ недюжинный человекъ. Онъ не годится въ гении, не лѣзетъ въ великіе люди, но бездѣятельность и пошлость жизни душатъ его; онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется; но онъ знаетъ и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность.» (Стр. 546, 547). Самъ Пушкинъ относится къ своему герою съ уваженіемъ и съ любовью.

«Мнѣ, нравились его черты,
Мечталъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ — угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ,
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой фортуны и людей,
На самоѣ утрѣ нашихъ дней.
Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожить
Призракъ невозвратимыхъ дней:
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змѣя воспоминаній,
Того раскаянье грызетъ.
Все это часто придаетъ
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина языкъ
Меня смущалъ; но я привыкъ
Къ его язвительному спору
И къ шуткѣ, съ жолчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.
Какъ часто глѣтнею пороку,
Когда прозрачно и свѣтло
Ночное небо надъ Неввою
И водъ веселое стекло
Не отражаетъ ликъ Діаны,
Воспомя прежнихъ глѣтъ романы,
Воспомя прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной

Возможно упивались мы!
Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
Перенесенъ колодникъ сонный,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.»

(Глава I. Стихотворенія XLV, XLVI, XLVII.)

Въ этомъ отрывкѣ Пушкинъ постоянно употребляетъ такіа эластическія слова, которыя сами по себѣ не имѣютъ никакого опредѣленнаго смысла и въ которыя, вслѣдствіе этого, каждый читатель можетъ втиснуть какой угодно смыслъ. — Человѣкъ обладаетъ рѣзкимъ, охлажденнымъ умомъ, знаетъ игру страстей; онъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ; въ немъ погасъ жаръ сердца; его томить жизнь; его ожидаетъ злоба людей и сдѣлой фортуны; — всѣ эти слова могутъ быть приложены къ какому нибудь очень крупному человѣку, къ замѣчательному мыслителю, даже къ историческому дѣятелю, который старался вразумить людей и котораго не поняли, осмѣяли или проклинали тупоумные современники. Обманутый хорошими эластическими словами, — тѣми словами, въ которыя онъ самъ, мыслитель и дѣятель, привыкъ вкладывать живую душу — Бѣлинскій посмотрѣлъ на Онѣгина благосклонно и смѣло выдвинулъ его изъ безчисленной толпы дюжинныхъ личностей. Но мнѣ кажется, что Бѣлинскій ошибся. Онъ повѣрилъ словамъ и забылъ то обстоятельство, что люди очень часто произносятъ хорошія слова, не отдавая себѣ яснаго отчета въ ихъ значеніи, или, по крайней мѣрѣ, придавая этимъ словамъ узкій, односторонній и нищенскій смыслъ. Въ самомъ дѣлѣ, попробуемъ задать себѣ вопросы: *чѣмъ же охлажденъ умъ Онѣгина? Какую игру страстей онъ испыталъ? На что тратилъ и истратилъ онъ жаръ своего сердца? Что подразумѣваетъ онъ подъ словомъ жизнь, когда онъ говоритъ себѣ и другимъ, что жизнь томить его? Что значить, на языкѣ Пушкина и Онѣгина, жить, мыслить и чувствовать?*

Отвѣта на всѣ эти вопросы мы должны искать въ описаніи тѣхъ занятій, которымъ предавался Онѣгинъ съ самой ранней молодости и которыя, наконецъ, вогнали его въ хандру. — Въ первой главѣ, начиная съ XV-ой до XXXVII строфы, Пушкинъ описываетъ цѣлый день Онѣгина, съ той минуты, когда онъ просыпается утромъ, до той минуты, когда онъ ложится спать, тоже утромъ. Лежа еще въ постели, Онѣгинъ получаетъ три приглашенія на вечеръ; онъ одѣвается и въ утреннемъ уборѣ ѣдетъ на бульваръ, и гуляетъ тамъ до тѣхъ поръ,

«Пока недремлющій брегетъ
Не прозвонитъ ему обѣдъ.»

Онъ ѣдетъ обѣдать въ ресторанъ Талона, и такъ какъ дѣло про исходить зимою, то, при семъ удобномъ случаѣ, его бобровый во-

ротникъ серебрится морозной шилью; и это достопамятное обстоятельство даетъ Бѣлинскому поводъ замѣтить, что Пушкинъ обладаетъ удивительною способностью «дѣлать поэтическими самые прозаическіе предметы». (Т. VIII. Стр. 387.)

Если бы Бѣлинскій дожилъ до нашихъ временъ, то онъ принужденъ былъ бы сознаться, что нѣкоторые художники далеко превосходили великаго Пушкина даже въ этой удивительной и специально-художественной способности. Наши великіе живописцы, господа Зарянки и Тютрюмовы, воспѣваютъ бобровые воротники красками, и воспѣваютъ ихъ такъ неподражаемо-хорошо, что каждый отдѣльный волосокъ превращается въ поэтическую картину и въ перлъ созданія. Увидѣвъ великія произведенія этихъ великихъ жив писцевъ, Бѣлинскій былъ бы поставленъ въ трагическую альтернативу: ему пришлось бы или преклониться передъ творческимъ величіемъ господъ Зарянки и Тютрюмова, или отречься отъ тѣхъ эстетическихъ понятій, которыя видятъ заслугу поэта въ его удивительной способности воспѣвать бобровые воротники.

Воспѣвъ бобровый воротникъ, Пушкинъ воспѣваетъ всѣ кушанья того обѣда, которымъ занимается Онѣгинъ у Талона. Обѣдъ недуренъ: тутъ появляются окровавленный ростбифъ, трюфли, которые Пушкинъ называетъ почему-то роскошью юныхъ лѣтъ, нетлѣнный пирогъ Страсбурга, живой лимбургскій сыръ, золотой ананасъ и котлеты, очень горячія, очень жирныя и возбуждающія жажду, которая утоляется шампанскимъ. Въ какомъ порядкѣ эти поэтическіе предметы слѣдуютъ одинъ за другимъ, — этого Пушкинъ намъ, въ сожалѣнію, не объясняетъ, и прямая обязанность нашихъ антикваріевъ и библіофловъ состоитъ въ томъ, чтобы пополнить этотъ важный пробѣлъ посредствомъ тщательныхъ изслѣдованій.

Когда обѣдъ еще не доконченъ, когда горячій жиръ котлетъ еще недостаточно залить волнами шампанскаго (какого именно шампанскаго?—это тоже весьма интересный вопросъ для усердныхъ комментаторовъ), звонъ брегета доноситъ обѣдающимъ, что начался новый балетъ.

Какъ злой законодатель театра, какъ непостоянный обожатель очаровательныхъ актрисъ (объ актрисахъ, разумѣется, нечего напоминать комментаторамъ; они, разумѣется, всѣхъ ихъ знаютъ по имени, по отчеству, по фамиліи и по самымъ подробнымъ формулярнымъ спискамъ) и какъ почетный гражданинъ кулисъ, Онѣгинъ летитъ въ балетъ. (Здѣсь я съ ужасомъ вспоминаю, что мы рѣшительно не знаемъ, какой масти была лошадь Онѣгина, и что эту великую тайну, по всей вѣроятности, не раскроютъ намъ никакія изслѣдованія комментаторовъ). Войдя въ театральную залу, Онѣгинъ начинаетъ обнаруживать охлажденность своего ума; окинувъ взоромъ всѣ ярусы, онъ, по словамъ Пушкина, все видѣлъ и остался ужасно недоволенъ лицами и уборомъ; потомъ, рас-

клянцвшись съ мужчинами, взглянуть на сцену въ¹ большомъ разсѣяннѣ, потомъ даже отворотился и зѣвнулъ, и молвилъ:

«Всѣхъ пора на смѣну,
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надоѣлъ».

Приведя это суровое анти-балетное восклицаніе разочарованнаго Онѣгина, Пушкинъ самъ почувствовалъ, что онъ ставитъ своего героя въ довольно смѣшное положеніе, потому что люди, дѣйствительно обладающіе рѣзкимъ и охлажденнымъ умомъ, не станутъ тратить своей ироніи на отрицаніе балетмейстера Дидло и дамскихъ уборовъ. Почувствовавъ смѣшное положеніе Онѣгина, Пушкинъ придѣлалъ къ XXI строфѣ слѣдующее юмористическое примѣчаніе: «Черта охлажденнаго чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображенія и прелести необыкновенной. Одинъ изъ нашихъ романтическихъ писателей находилъ въ нихъ гораздо болѣе поэзіи, нежели во всей французской литературѣ». Этимъ примѣчаніемъ Пушкинъ, очевидно, хотѣлъ показать, что онъ самъ подтруниваетъ надъ бутадою Онѣгина и не принимаетъ этой бутады за симптомъ серьезной разочарованности. Но примѣчаніе это производитъ очень слабое впечатлѣніе на внимательнаго и недоувѣрливаго читателя; такой читатель видитъ, что, кромѣ забавныхъ бутадъ, рѣзкій и охлажденный умъ Онѣгина не порождаетъ ровно ничего. Въ XXI строфѣ I-й главы Онѣгинъ отрицалъ балеты Дидло, а въ IV и въ V-й строфахъ. III главы Онѣгинъ отрицаетъ брусничную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну и глухой небосклонъ. И этими немногими, весьма невинными выходками исчерпывается до самаго дна та злость мрачныхъ эпиграммъ, которою угрожалъ намъ Пушкинъ въ XLVI строфѣ I главы. Злѣе и мрачнѣе этихъ эпиграммъ мы отъ Онѣгина ничего и не услышимъ до самаго конца романа. Если всѣ эпиграммы Онѣгина были такъ же мрачны и такъ же злы, то не мудрено, что Пушкинъ привыкъ къ нимъ очень скоро.

Подолжая проявлять свою разочарованность, Онѣгинъ уѣзжаетъ изъ театра въ то время, когда амурь, черти и змѣи еще скачутъ и шумятъ на сценѣ. Не интересуясь ихъ скаканіемъ и шумѣніемъ, онъ ѣдетъ домой, переодѣвается для бала и отправляется танцовать до утра. Въ то время, когда Онѣгинъ переодѣвается, Пушкинъ превращаетъ въ поэтическіе предметы тѣ гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которыя украшаютъ кабинетъ «философа въ осьмнадцать лѣтъ». Философомъ же юный Онѣгинъ оказался, вѣроятно, именно потому, что у него очень много гребенокъ, пилочекъ, ножницъ и щетокъ; но и самъ Пушкинъ по части философіи не желаетъ отставать отъ Онѣгина и, вслѣдствіе этого, высказываетъ весьма категорически ту философскую истину, лю-

безную Павлу Кирсанову, что можно быть дѣльнымъ человѣкомъ и думать о красотѣ ногтей. Эту великую истину Пушкинъ поддерживаетъ другою истиною, еще болѣе великою. «Къ чему, спрашиваетъ онъ, бесплодно спорить съ вѣкомъ?» Такъ какъ XIX вѣкъ, очевидно, направляетъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы превратить ногти въ поэтическіе предметы, то, разумѣется, относиться равнодушно къ красотѣ ногтей, значить быть ретроградомъ и обскурантомъ... «Обычай, продолжаетъ философъ Пушкинъ, — деспотъ межъ людей». Ну, разумѣется, и притомъ обычай всегда останется деспотомъ *межъ* такихъ философовъ, какъ Онѣгинъ и Пушкинъ. Къ сожалѣнію, число такихъ драгоценныхъ мыслителей понемногу начинаетъ убывать. — Пушкинъ насказалъ бы намъ еще много философскихъ истинъ, но Онѣгинъ уже одѣлся, угодился вѣтренной Венерѣ, надѣвшей мужской нарядъ, и въ ямской каретѣ поскакалъ *стремглавъ* (вѣроятно, вслѣдствіе охлажденности ума) на балъ. Пушкинъ, разумѣется, спѣшитъ за нимъ, и потокъ философскихъ истинъ на нѣсколько времени изсякаетъ. — На балѣ мы совершенно теряемъ изъ виду Онѣгина и рѣшительно не знаемъ, въ чемъ выразилось его несомнѣнное превосходство надъ презрѣнною толпою. Введя своего героя въ балъную залу, Пушкинъ весь предается воспоминаніямъ о ножкахъ и рассказываетъ съ неподражаемымъ увлеченіемъ, какъ онъ однажды завидовалъ волнамъ, «бѣгущимъ бурной чередою съ любовью лечь къ ея ногамъ». Недовѣрчивый читатель, быть можетъ, усомнится въ томъ, чтобы волны дѣйствительно ложились къ ея ногамъ *съ любовью*, но я отвѣчу такому неотесанному читателю, что прозаическія волны превращены здѣсь въ поэтическіе предметы, и что, поэтому, со стороны поэта даже очень похвально приписать имъ, для пущей поэтичности, любовь къ женщинѣ вообще или къ ея ногамъ въ особенности. Что же касается до завидованія неодушевленному предмету, прикасающемуся или приближающемуся къ красивой женщинѣ такъ или иначе, то я надѣюсь, что противъ этого даже самый неотесанный читатель не осмѣлится представить никакого скептическаго возраженія, потому что этотъ мотивъ выясненъ и разработанъ до послѣдней тонкости глубокомысленнымъ и изящнымъ романсомъ: «ахъ, зачѣмъ я не бревно», — романсомъ, достаточно извѣстнымъ не только грамотной, но даже и безграмотной Россіи. — Объяснивъ читателямъ, что милыя ноги привлекали его сильнѣе и даже несравненно сильнѣе, чѣмъ уста, ланиты и перси, Пушкинъ вспоминаетъ о своемъ Онѣгинѣ, везетъ его съ бала домой и укладываетъ въ постель въ то время, когда рабочій Петербургъ уже начинаетъ просыпаться. Когда Онѣгинъ встаетъ отъ сна, тогда начинается опять та же исторія: гулянье, обѣдъ, театръ, переодѣванье, балъ и сонъ.

II.

И такъ, Онѣгинъ ѣстъ, пьетъ, критикуетъ балеты, танцуетъ цѣлыя ночи напролетъ, — словомъ, ведетъ очень веселую жизнь. Преобладающимъ интересомъ въ этой веселой жизни является «наука страсти нѣжной», которую Онѣгинъ занимается съ величайшимъ усердіемъ и съ блестящимъ успѣхомъ. «Но былъ ли счастливъ мой Евгений?» спрашиваетъ Пушкинъ. Оказывается, что Евгений не былъ счастливъ, и, изъ этого послѣдняго обстоятельства, Пушкинъ выводитъ заключеніе, что Евгений стоялъ выше пошлой, презрѣнной и самодовольной толпы. Съ этимъ заключеніемъ соглашается, какъ мы видѣли выше, Бѣлинскій; но я, къ крайнему моему сожалѣнію, принужденъ здѣсь противорѣчить, какъ нашему величайшему поэту, такъ и нашему величайшему критику. Скука Онѣгина не имѣетъ ничего общаго съ недовольствомъ жизнью; въ этой скукѣ нельзя подмѣтить даже инстинктивнаго протѣста противъ тѣхъ неудобныхъ формъ и отношеній, съ которыми мирится и уживается, по привычкѣ и по силѣ инерціи, пассивное большинство. Эта скука есть ничто иное, какъ простое фیزیологическое послѣдствіе очень безпорядочной жизни. Эта скука есть видоизмѣненіе того чувства, которое нѣмцы называютъ Katzenjammer и которое обыкновенно посѣщаетъ каждаго кутилу на другой день послѣ хорошей попойки. Человѣкъ такъ устроенъ отъ природы, что онъ не можетъ постоянно обжираться, упиваться и изучать «науку страсти нѣжной». Самый крѣпкій организмъ надламывается или, по крайней мѣрѣ, истаскивается и утомляется, когда онъ черезчуръ роскошно пользуется разнообразными дарами природы. Всякое наслажденіе притупляетъ, въ большей или въ меньшей степени, на болѣе или менѣе долгое время, ту способность нашего организма, которая воспринимаетъ это наслажденіе. Если отдѣльные приемы наслажденія быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, и если эти приемы очень сильны, то наша способность наслаждаться совершенно притупляется, и мы говоримъ, что намъ надоѣло и опротивѣло то или другое пріятное занятіе. Это притупленіе одной изъ нашихъ способностей совершается помимо всякихъ умственныхъ соображеній и совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было критическихъ взглядовъ на то занятіе, которое мы прежде любили и къ которому мы потомъ охладѣли.

Представьте себѣ, что вы очень любите какое нибудь питательное и здоровое кушанье, напримѣръ, пуддингъ; въ одинъ прекрасный день это любимое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо; вы объѣдае-

тесъ имъ и сильно разстраиываетъ себѣ желудокъ; послѣ этого легко можетъ случиться, что вы получите къ пуддингу непобѣдимое отвращеніе, которое, разумѣется, будетъ совершенно независимо отъ вашихъ теоретическихъ понятій о пуддингѣ. Вы знаете очень хорошо весь составъ пуддинга; вы знаете, что въ него не кладутъ никакихъ ядовитыхъ веществъ; вы видите, что другіе люди при васъ ѣдятъ его съ удовольствіемъ, и, при всемъ томъ, вамъ, прежнему любителю пуддинга, это кушанье не идетъ въ горло.

Отношенія Онѣгина къ различнымъ удовольствіямъ свѣтской жизни, похожи, какъ двѣ капли воды, на ваши отношенія къ пуддингу. Онѣгинъ всѣмъ объѣлся и его отъ всего тошнитъ. Если не всѣхъ свѣтскихъ людей тошнитъ такъ, какъ Онѣгина, то это происходитъ единственно оттого, что не всѣмъ удастся объѣсться. Какъ специалистъ въ «наукѣ нѣжной страсти», Онѣгинъ, разумѣется, стоитъ выше многихъ своихъ сверстниковъ. Онъ красивъ собою, ловокъ, *il a la langue bien pendue*, какъ говорятъ французы, и въ этихъ особенностяхъ его личности заключается вся тайна его разочарованности и его мнимаго превосходства надъ презрѣнною толпою. Другіе свѣтскіе люди, ведущіе, вмѣстѣ съ Онѣгинымъ, пустую и веселую жизнь, совсѣмъ не одерживаютъ побѣдъ надъ свѣтскими женщинами, или одерживаютъ этихъ побѣдъ очень немного, такъ что не успѣваютъ притупить своего чувства съ этой стороны. «Наука нѣжной страсти» продолжаетъ быть для нихъ привлекательною, потому что они встрѣчаютъ въ ней серьезныя трудности, которыя они желаютъ и надѣются преодолѣть. Для Онѣгина эти трудности не существуютъ; онъ наслаждается тѣмъ, къ чему другіе только стремятся, и, вслѣдствіе неумѣреннаго наслажденія, онъ притупляетъ въ себѣ вкусъ и влеченіе ко всему, что составляетъ содержаніе свѣтской жизни.

До сихъ поръ превосходство Онѣгина заключается только въ томъ, что онъ лучше многихъ другихъ умѣлъ «тревожить сердца кокетокъ записныхъ». Легко можетъ быть, что Пушкинъ любитъ и уважаетъ своего героя именно за эту особенность его личности. Но кто имѣетъ понятіе о Вѣлинскомъ, тотъ, конечно, знаетъ, что Вѣлинскій не могъ бы относиться къ Онѣгину съ сочувствіемъ, если бы видѣлъ въ немъ только искуснаго соблазнителя записныхъ кокетокъ.

И такъ, посмотримъ, что будетъ дальше; посмотримъ, за какое средство ухватится объѣвшійся Онѣгинъ, чтобы побѣдить свой *Katzenjammer* и чтобы снова помириться съ жизнью. Когда человѣку надобно наслажденіе и когда этотъ человѣкъ, въ то же время, чувствуетъ себя молодымъ и сильнымъ, тогда онъ непремѣнно начинаетъ искать себѣ труда. Для него наступаетъ пора тяжелаго раздумья; онъ всматривается въ самого себя, всматривается въ общество; онъ взвѣшиваетъ каче-

ство и количество своих собственных силъ; онъ оцѣниваетъ свойства тѣхъ препятствій, съ которыми ему придется бороться, и тѣхъ общественныхъ потребностей, которыя стоятъ на очереди и ожидаютъ себя удовлетворенія. Наконецъ, изъ его раздумья выходитъ какое нибудь рѣшеніе, и онъ начинаетъ дѣйствовать; жизнь ломаетъ по своему его теоретическія выкладки; жизнь старается обезличить его самого и переработать по общей, казенной мѣркѣ весь строй его убѣжденій; онъ упорно борется за свою умственную и нравственную самостоятельность, и въ этой неизбежной борьбѣ обнаруживаются размѣры его личныхъ силъ. Когда человѣкъ прошелъ черезъ эту школу размышленія и житейской борьбы, тогда мы имѣемъ возможность поставить вопросъ: возвышается ли этотъ человѣкъ надъ безличною и пассивною массою, или не возвышается? Но пока человѣкъ не побывалъ въ этой передѣлкѣ, до тѣхъ поръ онъ, въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи, составляетъ для насъ такую же неизвѣстную величину, какую мы видимъ, напримѣръ, въ грудномъ ребенкѣ. Если же человѣкъ, утомленный наслажденіемъ, не умѣетъ даже попасть въ школу раздумья и житейской борьбы, то мы тутъ уже прямо можемъ сказать, что этотъ эмбрионъ никогда не сдѣлается мыслящимъ существомъ и, слѣдовательно, никогда не будетъ имѣть законнаго основанія смотрѣть съ презрѣніемъ на пассивную массу.—Къ числу этихъ вѣчныхъ и безнадежныхъ эмбрионовъ принадлежитъ и Онѣгинъ.

«Отступникъ бурныхъ наслажденій,
Онѣгинъ дома заперся,
Зѣвая за перо взялся, —
Хотѣлъ писать; но трудъ упорный
Ему былъ тошенъ; ничего
Не вышло изъ пера его».

(Глава I. Строфа XLIII).

Шляться въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ по ресторанамъ и по балетамъ, потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, устыться за письменный столъ и взять перо въ руки съ тѣмъ, чтобы сдѣлаться писателемъ, — это фантазія, по меньшей мѣрѣ, очень странная. Браться за перо, *зѣвая*, и въ то же время ожидать, что перо напишетъ что нибудь мало-мальски сносное — это также нисколько не остроумно. Наконецъ, отвращеніе Онѣгина къ упорному труду, отвращеніе, которое такъ откровенно признаетъ самъ Пушкинъ, составляетъ симптомъ очень печальный, по которому мы уже заранѣе имѣемъ право предугадывать, что Онѣгинъ навсегда останется эмбриономъ. Но не будемъ торопиться въ произнесеніи окончательнаго приговора. Когда человѣкъ входитъ въ новую фазу жизни, тогда онъ поневолѣ идетъ ощупью, берется за непривычное дѣло очень неискусно, переходитъ отъ одной ошибки къ другой, испыты-

тываетъ множество неудачъ, и, только посредствомъ этихъ ошибокъ и неудачъ, выучивается понемногу работать надъ тѣми вопросами, которые настоятельно требуютъ отъ него разрѣшенія.

Онѣгинъ увидалъ, что онъ не можетъ быть писателемъ и что сдѣлаться писателемъ гораздо труднѣе, чѣмъ пообѣдать у Талона. Эта крошечная частица житейской опытности, вынесенная имъ изъ перваго столкновенія съ вопросомъ о трудѣ, повидимому, не пропала для него даромъ. По крайней мѣрѣ, вторая попытка его оказывается гораздо благоразумнѣе первой.

«И снова, преданный бездѣлю,
Томясь душевной пустотой,
Усылся онъ съ похвальной цѣлью
Себѣ усвоить умъ чужой».

(Строфа XLIV).

Значить, началъ читать. Это придумано недурно. Но именно эта удачная, хотя и очень простая выдумка тотчасъ раскрываетъ передъ нами ту истину, что Онѣгинъ — человѣкъ безнадежно-пустой и совершенно ничтожный.

«Отрядомъ книгъ уставишь полку;
Читалъ, читалъ, а все безъ толку:
Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ;
Въ томъ совѣсти, — въ томъ смысла нѣтъ;
На всѣхъ различныя вериги;
И устарѣла старина,
И старымъ бредить новизна:
Какъ женщина, онъ оставилъ книги,
И полку, съ пыльной ихъ семьей,
Задержнулъ траурной тафтой.»

(Строфа XLIV).

Если бы Онѣгинъ справился такъ бойко съ одними русскими книгами, то въ словахъ поэта можно было бы видѣть злую, но справедливую сатиру на нашу тогдашнюю, вялую и ничтожную литературу. Но, къ сожалѣнію, мы знаемъ доподлинно, изъ другихъ мѣстъ романа, что Онѣгинъ умѣлъ читать всякія книжки, и французскія, и нѣмецкія (Гердера), и англійскія (Гиббона и Байрона), и даже итальянскія (Манзони). Въ его распоряженіи находилась вся европейская литература XVIII вѣка, а онъ сумѣлъ только задержать полку съ книгами траурной тафтой. Пушкинъ, повидимому, желалъ показать, что проницательный умъ и неукротимый духъ Онѣгина ничѣмъ не могутъ удовлетвориться и ищутъ такого совершенства, котораго даже и на свѣтѣ не бываетъ. Но показалъ онъ совсѣмъ не то. Онъ показалъ одно изъ двухъ: или то, что Онѣгинъ не умѣлъ себѣ выбрать хорошихъ книгъ, или то, что Онѣгинъ не умѣлъ оцѣнить и полюбить тѣхъ мыслителей, съ которыми

онъ познакомился. По всей вѣроятности, Онѣгина постигли обѣ эти неудачи; т. е. и выборъ книгъ былъ неудовлетворителенъ, и пониманіе было изъ рукъ вонъ плохо. Онѣгинъ, вѣроятно, накупилъ себѣ всякой всячины, началъ глотать одну книгу за другою безъ цѣли, безъ системы, безъ руководящей идеи; почти ничего не понималъ, почти ничего не запомнилъ и бросилъ, наконецъ, это безтолковое чтеніе, убѣдивши себя въ томъ, что онъ произошелъ всю человѣческую науку, что всѣ мыслители — дурачье и что всѣхъ ихъ надо повѣсить на одну осину. Это отрицаніе, конечно, очень отважно и очень безпощадно, но оно, кромѣ того, чрезвычайно смѣшно и для отрицаемыхъ предметовъ совершенно безвредно. Когда человѣкъ отрицаетъ рѣшительно все, то это значитъ, что онъ не отрицаетъ ровно ничего и что онъ даже ничего не знаетъ и не понимаетъ. Если этимъ легкимъ дѣломъ сплошного отрицанія занимается не ребенокъ, а взрослый человѣкъ, то можно даже смѣло утверждать, что этотъ бойкій господинъ одаренъ такимъ неподвижнымъ и лѣнивымъ умомъ, который никогда не усвоитъ себѣ и не пойметъ ни одной дѣльной мысли. Онѣгинъ расправляется съ книгами такъ, какъ онъ расправился выше съ балетами Дидло, и, какъ онъ въ III главѣ будетъ расправляться съ глупою луною и съ глупымъ небосклономъ. Онъ произноситъ рѣзкую фразу, которую довѣрчивые люди принимаютъ за смѣлую мысль. Враждебное столкновеніе его съ книгами составляетъ въ его жизни послѣднюю попытку отыскать себѣ трудъ. Послѣ этой попытки, Онѣгинъ и Пушкинъ окончательно убѣждаются въ томъ, что для высшихъ натуръ не существуетъ въ жизни увлекательнаго труда, и что чѣмъ человѣкъ умнѣе, тѣмъ больше онъ долженъ скучать. Сваливать, такимъ образомъ, всякую вину на роковые законы природы, конечно, очень удобно и даже лестно для тѣхъ людей, которые не привыкли и не умѣютъ размышлять, и которые, посредствомъ этого сваливанія, могутъ, безъ дальнѣйшихъ хлопотъ, перечислить себя изъ тунеядцевъ въ высшія натурн. У Пушкина особенно развита эта замашка выдумывать законы природы и ставить эти выдуманные законы, какъ границу, за которую не можетъ проникнуть никакое исследование. Спрашивается, напримѣръ, отчего люди скучаютъ? — На это можно отвѣчать: оттого, что они ничего не дѣлаютъ. — А отчего они ничего не дѣлаютъ? — Оттого, что за нихъ работаютъ другіе люди. — А это отчего происходитъ? — На этотъ вопросъ также можно отыскать отвѣтъ, но только, разумѣется, тутъ придется вѣхаться и въ исторію, и въ политическую экономію, и въ фізіологію, и въ опытную психологію. Но у Пушкина дѣло не доходитъ даже до второго вопроса. У него сію минуту готовъ законъ природы. Пушкинскій Фаустъ говоритъ, напримѣръ, Мефистофелю: «мнѣ скучно, бѣсъ», а Мефистофель немедленно объясняетъ ему, что «таковъ вамъ положенъ

предѣлъ» и что «вся тварь разумная скучаетъ.» И Фаустъ довѣрчиво и даже съ нѣкоторымъ ужасомъ выслушиваетъ вздорную болтовню Мефистофеля, а потомъ, для развлечения, приказываетъ Мефистофелю утопить испанскій трехмачтовый корабль, готовый пристать къ берегамъ Голландіи. Эта, такъ называемая, «Сцена изъ Фауста» составляетъ превосходный комментарий къ «Евгенію Онегину». Въ этой «сценѣ» демонизмъ, какъ понимаетъ его Пушкинъ, доведенъ уже до послѣднихъ границъ нелѣпаго и смѣшного. Тутъ уже для читателя становится ясно, что пушкинскій Фаустъ — совсѣмъ не Фаустъ и совсѣмъ не высшая натура, а просто развеселый купеческій сыночекъ, которому свойственно не топить трехмачтовые испанскіе корабли, а разрушать большія зеркала въ русскихъ увеселительныхъ заведеніяхъ. Надъ Мефистофелемъ этотъ рѣзвый юноша не имѣетъ ни малѣйшей власти, но должность Мефистофеля исправляетъ при этомъ русскіимъ Фаустъ толстый бумажникъ, наполненный кредитными билетами. Именно этотъ карманный Мефистофель и даетъ ему возможность бить зеркала для того, чтобы разнообразить жизнь и прогонять на нѣсколько минутъ роковую скуку. Отнимите у русскаго Фауста бумажникъ — и онъ тотчасъ сдѣлается тише воды, ниже травы, скромнѣе красной дѣвушки. Въмѣстѣ съ вспышками демонической природы пропадетъ и роковая скука. Фаустъ пойдетъ въ чернорабочіе и затеряется въ той сѣрой толпѣ, которую онъ отважно давилъ своими рысиками во времена своего господства надъ карманнымъ Мефистофелемъ.

По натурѣ своей, Онегинъ чрезвычайно похожъ на Фауста, который въ романѣ топилъ испанскіе корабли, а въ жизни крушилъ русскія зеркала. И демонизмъ Онегина также цѣликомъ сидитъ въ его бумажникѣ. Какъ только бумажникъ опустѣетъ, такъ Онегинъ тотчасъ пойдетъ въ чиновники и превратится въ Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель ни за что не отличитъ его отъ той толпы, которую онъ презиралъ на томъ основаніи, что онъ будто бы «жилъ и мыслилъ».

И такъ, Онегинъ скучаетъ не оттого, что онъ не находитъ себѣ разумной дѣятельности, и не оттого, что онъ — высшая натура, и не оттого, что «вся тварь разумная скучаетъ», а просто оттого, что у него лежатъ въ карманѣ шальные деньги, которыя даютъ ему возможность много ѣсть, много пить, много заниматься «наукой нѣжной страсти» и корчить всякія гримасы, какія онъ только пожелаетъ состроить. Умъ его ничѣмъ не охлажденъ, — онъ только совершенно нетронутъ и неразвѣтъ. *Игру страстей* онъ испыталъ на столько, на сколько эта игра входитъ въ «науку страсти нѣжной». О существованіи другихъ, болѣе сильныхъ страстей, — страстей, направленныхъ къ идеѣ, онъ даже не имѣетъ никакого понятія, подобно тому, какъ не имѣетъ о нихъ понятія пушкинскій Фаустъ. *Жаръ своего сердца* Онегинъ истратилъ

на будуарныя сцены и на маскарадные похождения. Если Онѣгинъ думаетъ, что *жизнь томить* его, то онъ думаетъ чистый вздоръ; кого жизнь дѣйствительно томить, тотъ не поскачетъ на почтовыхъ за наслѣдствомъ въ деревню умирающаго дяди. *Жить*, на языкѣ Онѣгина, значить гулять по бульвару, обѣдать у Талона, ѣздить въ театры и на балы. *Мыслить* — значить критиковать балеты Дидло и ругать луну душой за то, что она очень кругла. *Чувствовать* — значить завидовать волнамъ, которыя ложатся къ ногамъ хорошенькой барыни. *Кто жилъ и мыслилъ*, подобно Онѣгину, *тотъ*, разумѣется, *не можетъ не презирать людей*, живущихъ менѣе роскошно и мыслящихъ не столь оригинально. *Кто чувствовалъ*, подобно Онѣгину, *того*, разумѣется, *тревожитъ призракъ невозвратимыхъ дней*, т. е. тѣхъ дней, когда случилось видѣть вблизи ножки, ланиты, перси и разныя другія интересныя подробности женскаго тѣла. — Такимъ образомъ, я отвѣтилъ на всѣ вопросы, поставленные мною въ первой главѣ, и у насъ оказался тотъ неожиданный результатъ, что Онѣгинъ совсѣмъ не «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья», а просто коварный измѣнщикъ и жестокий тиранъ дамскихъ сердецъ. Мы увидимъ ниже, что этотъ результатъ оправдывается всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ романа.

III.

Пушкинъ подружился съ Онѣгинымъ и призналъ за нимъ право презирать людей въ то время, когда Онѣгинъ, постигнувъ суетность науки, задергивалъ траурной тафтой полку съ книгами. Вслѣдъ затѣмъ, умеръ отецъ Онѣгина и Евгенийъ предоставилъ наслѣдство кредиторамъ,

«Большой потери въ томъ не видя,
Иль предузнавъ издалика
Кончину дяди-старика.»

Дѣйствительно, дядя вскорѣ занемогаетъ, и,

«Прочтя печальное посланье,
Евгеній тотчасъ на свиданье
Стреглавъ по почтѣ поскакалъ
И ужъ заранѣе зѣвалъ,
Приговорясь, денегъ ради,
На вздохи, скуку и обменъ.»

О предстоящихъ занятіяхъ съ больнымъ дядей Онѣгинъ размышлялъ такъ:

«Но, Боже мой, какая скука
 Съ больнымъ сидѣть и день, и ночь,
 Не отходя ни шагу прочь.
 Какое низкое коварство
 Полуживого забавлять,
 Ему подушки поправлять,
 Печально подносить лекарство,
 Вздыхать и думать про себя:
 Когда же чортъ возьметъ тебя!»

Все это очень естественно и изложено очень хорошими стихами, но все это, очевидно, совершенно уравниваетъ Онѣгина съ самыми презрѣнными людьми презрѣнной толпы. Изъ за чего суетятся, сгибаются въ дугу, актерствуютъ и подличаютъ самые презрѣнные люди? Изъ-за чего Молчалинъ ходитъ на заднихъ лапкахъ передъ Фамусовымъ и передъ всѣми его важными гостями? — Изъ-за презрѣннаго металла, которымъ поддерживается брэнное существованіе. А ради чего Онѣгинъ скачетъ *стремглавъ по почтѣ* и готовится къ хожденію на заднихъ лапкахъ передъ умирающимъ родственникомъ? — *Денегъ ради*, отвѣчаетъ Пушкинъ съ свойственною ему откровенностью. Онѣгинъ унижается передъ дядей, Молчалинъ унижается передъ начальникомъ; побудительная причина у обоихъ одна и та же. Съ какой же стати Пушкинъ даетъ Онѣгину право презирать толпу, въ которой молчалинство составляетъ самую темную и грязную сторону? Если Онѣгину необходимо упражняться въ презрѣніи, то ему слѣдовало бы начать съ самого себя и даже кончить самимъ собою, то есть, сосредоточить навсегда все свое презрѣніе на собственной личности и оставить толпу въ покоѣ, потому что даже такой мелкій человѣкъ толпы, какъ Молчалинъ, все-таки стоитъ выше блестящаго дэнди Онѣгина. Молчалинъ подличаетъ потому, что въ русской жизни господствуетъ, какъ остроумно замѣтилъ Помяловскій, своеобразный экономическій законъ, вслѣдствіе котораго, человѣкъ, дающій работу, считаетъ себя благодѣтелемъ человѣка, получающаго и выполняющаго работу. Очень немногія отрасли труда освободились отъ господства этого своеобразнаго закона, и разумѣется, то поприще, на которомъ подвизается Молчалинъ, относится къ числу неосвободившихся отраслей. Подличая передъ Фамусовымъ, Молчалинъ добивается только того, чтобы у него не отняли работы и чтобы ему платили за эту работу хорошія деньги. Разумна ли и полезна ли сама работа—за это Молчалинъ не отвѣчаетъ, потому что не онъ ее выдумалъ. Дѣло Молчалина—трудиться, и онъ дѣйствительно трудится, и его начальникъ, Фамусовъ, сознается, что Молчалинъ — дѣловой человѣкъ. Когда же Онѣгинъ подличаетъ передъ дядей, тогда онъ ждетъ отъ дяди не работы и не задѣльной платы, а даровой подачи, что, конечно, несравненно унизительнѣе для человѣческаго достоинства. Онѣгину постыжъ

упорный трудъ, и, вслѣдствіе этого, каждый человѣкъ, способный трудиться, имѣетъ полное и разумное право смотрѣть на Онѣгина съ презрѣніемъ, какъ на вѣчнаго недоросля въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи. Получивъ наслѣдство, Онѣгинъ улучшаетъ положеніе мужиковъ:

«Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ:
Мужикъ судьбу благословилъ».

Это, конечно, недурно со стороны Онѣгина. Но это доказываетъ только, во-первыхъ, что Онѣгинъ не Плюшкинъ и не Гарпагонъ, и не скупой рыцарь; а во-вторыхъ, что полученное наслѣдство было достаточно велико. Легкій оброкъ, не смотря на всю свою легкость, все-таки давалъ Онѣгину полную возможность имѣть въ деревнѣ «обѣдъ довольно прихотливый», пить съ Ленскимъ бордо и шампанское, а потомъ, послѣ смерти Ленскаго, разѣзжать въ теченіи двухъ лѣтъ по Россіи. Если бы наслѣдство было менѣе значительно, то, по всей вѣроятности, мужику не пришлось бы благословлять судьбу, потому что Онѣгинъ врядъ ли отказался бы отъ бордо, отъ странствованій по Россіи и отъ разныхъ другихъ удобствъ жизни, которыя должны оплачиваться «легкимъ оброкомъ» или «старинною барщиною». Значитъ, отношенія Онѣгина къ мужикамъ украшаютъ нашего героя только отрицательнымъ достоинствомъ, то есть, спасаютъ его отъ упрека въ корыстолюбіи.

«Два дня ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихаго ручья;
На третій, роща, холмъ и поле
Его не занимали боги,
Потомъ ужъ наводили сонъ».

(Гл. I. Стр. LIV).

И, разумѣется, хандра стала бѣгать за нимъ, «какъ тѣнь иль вѣрная жена». Многимъ — въ томъ числѣ и Пушкину, — эта способность скучать всегда и вездѣ кажется привилегіею сильныхъ умовъ, неспособныхъ удовлетворяться тѣмъ, что составляетъ счастье обыкновенныхъ людей. Пушкинъ здѣсь, какъ и вездѣ, подмѣтилъ и обрисовалъ самый фактъ совершенно вѣрно; но чуть только дѣло доходитъ до объясненія представленнаго факта, Пушкинъ тотчасъ впадаетъ въ самыя грубыя ошибки. Дѣйствительно, человѣкъ, подобный Онѣгину, испорченный до мозга костей систематическою праздною мысли, долженъ скучать постоянно; дѣйствительно, такой человѣкъ долженъ кидаться съ жадностью на всякую новизну и долженъ охладѣвать къ ней, какъ только успѣетъ въ нее взглянуть; все это совершенно вѣрно, но все это доказываетъ не то, что онъ слишкомъ много жилъ, мыслилъ и чувство-

валъ, а, совсѣмъ напротивъ, то, что онъ вовсе не мыслить, вовсе не умѣть мыслить и что всѣ его чувства были всегда, такъ же мелки и ничтожны, какъ чувства остроумнаго джентльмена, завидующаго счастливому бревну, на которое оперлась чья-то хорошенькая ножка. Въ области мысли Онѣгинъ остался ребенкомъ, не смотря на то, что онъ соблазнилъ многихъ женщинъ и прочиталъ много книжекъ. Онѣгинъ, какъ десятилѣтній ребенокъ, умѣетъ только воспринимать впечатлѣнія и совсѣмъ не умѣетъ ихъ перерабатывать. Оттого онъ и нуждается въ постоянномъ притока свѣжихъ впечатлѣній; пока передъ его глазами мелькаютъ новыя картинки, невиданные переливы красокъ, непривычныя комбинаціи линій и тѣней, до тѣхъ поръ онъ спокоенъ, не хмурится и не плачетъ. Умъ его, по обыкновенію, находится въ бездѣйствіи; нашъ герой широко раскрываетъ глаза и черезъ эти раскрытыя форточки совершенно пассивно втягиваетъ въ себя впечатлѣнія окружающаго міра; когда декорации быстро переменяются, тогда форточки работаютъ исправно и пассивное втягиваніе впечатлѣній мѣшаетъ нашему герою оставаться наединѣ съ самимъ собою; когда же передвиженіе декораций прекращается и когда, вслѣдствіе этого, безцѣльное глазѣніе становится невозможнымъ, тогда хроническое бездѣйствіе ума выдвигается на первый планъ, Онѣгинъ остается наединѣ съ своею умственной нищетою и, разумеется, ощущеніе этой безнадежной нищеты погружаетъ его въ то психическое состояніе, которое называется скукою, тоскою или хандрю. Все это нисколько не величественно и ни мало не трогательно. — Постояннымъ собесѣдникомъ и пріятелемъ Онѣгина, скучающаго въ деревнѣ, становится его молодой сосѣдъ,

«По имени Владиміръ Левскій,
Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ.
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольно-любимыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ».

(Гл. II. Стр. VI).

Плоды учености этого господина были, по всей вѣроятности, нигуда негодны, потому что этому господину было «безъ малаго осьмнадцать лѣтъ»; а между тѣмъ, онъ считалъ уже свое образованіе оконченнымъ и помышлялъ только о томъ, чтобы поскорѣе жениться на Ольгѣ Лариной, наплодить побольше дѣтей и написать побольше стихотвореній о романтическихъ розахъ и о туманной дали. Въ чемъ заключались геттингенскія свойства его души и въ чемъ проявлялось его уваженіе къ

Канту,—это остается для насъ вѣчною тайною. О его вольнолюбивыхъ мечтахъ мы также ровно ничего не узнаемъ, потому что во время своихъ свиданій съ Онѣгинимъ геттингенская душа только и дѣлаетъ, что тянетъ шампанское да вретъ эротическія глупости. Неотъемлемою собственностью Ленскаго остаются, такимъ образомъ, длинныя черныя волосы, всегдашняя восторженность рѣчи и пылкость духа съ достаточною примѣсью странности. Все это вмѣстѣ должно было дѣлать его общество совершенно невыносимымъ для всякаго мало-мальски серьезнаго и мыслящаго человѣка; но Онѣгину эта недоучившаяся пифія, развумѣется, очень понравилась, по той простой причинѣ, что Онѣгину прежде всего было необходимо хоть чѣмъ нибудь занять ту или другую пару форточекъ, то есть, дать какую нибудь работу или глазамъ, или ушамъ. А такъ какъ Ленскій болталъ восторженно и неудержимо, то, стало быть, участь онѣгинскихъ ушей была вполне обезпечена.

Пушкинъ увѣряетъ насъ, что бесѣды этихъ двухъ мыслителей были чрезвычайно разнообразны.

«Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племень минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду».

(Гл. II. Стр. XVI).

Въ этихъ бесѣдахъ могли бы обнаружиться и особенности геттингенской души, и охлажденность онѣгинскаго ума; въ этихъ бесѣдахъ могли бы обрисоваться со всѣхъ сторонъ политическія, нравственныя и всякія другія убѣжденія Онѣгина и Ленскаго; но, къ сожалѣнію, въ романѣ не представлено ни одной такой бесѣды, и, вслѣдствіе этого, мы имѣемъ полное право крѣпко сомнѣваться въ томъ, имѣлись ли у этихъ двухъ праздношатающихся джентльменовъ какія нибудь убѣжденія.

Читатели мои, по всей вѣроятности, знаютъ и помнятъ очень хорошо, что Пушкинъ въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ» разсуждаетъ чрезвычайно пространно о всевозможныхъ предметахъ, очень мало относящихся къ дѣлу: тутъ и дамскія ножки, и сравненіе *ан* съ *бордо*, и негодованіе противъ альбомовъ петербургскихъ дамъ, и соображенія о томъ, что наше сѣверное лѣто—карикатура южныхъ зимъ, воспоминанія о садахъ лицей, и многое множество другихъ вставокъ и украшеній. А между тѣмъ, когда нужно рѣшить дѣйствительно важный вопросъ, когда надо показать, что у главныхъ дѣйствующихъ лицъ были опредѣленные понятія о жизни и о между-человѣческихъ отношеніяхъ, тогда нашъ ве-

ликий поэтъ отдѣливается короткимъ и совершенно неопредѣленнымъ намекомъ на какія-то разнообразныя бесѣды, которыя будто бы рождали споры и влекли къ размышленію. Одинъ такой споръ, очевидно, охарактеризовалъ бы Онѣгина несравненно полнѣе, чѣмъ десятки очень милыхъ, но совершенно ненужныхъ подробностей о томъ, какъ онъ игралъ на бильярдѣ тупымъ кіемъ, какъ онъ садился въ ванну со льдомъ, въ которомъ часу онъ обѣдалъ и такъ далѣе. Ни одного такого спора мы не видимъ въ романѣ. И это еще не все. Пушкинъ упоминаетъ о разнообразныхъ бесѣдахъ въ XIV строфѣ II главы, а въ XV-й строфѣ онъ сообщаетъ намъ такія подробности, которыя, быть можетъ, дѣлаютъ величайшую честь нѣжности онѣгинскаго сердца, но которыя, въ то же время, совершенно уничтожаютъ возможность серьезныхъ споровъ, влекущихъ къ размышленію.

«Поэта пылкій разговоръ,
И умъ, еще въ сужденяхъ вибкой,
И вѣчно вдохновенный взоръ —
Онѣгину все было ново;
Онъ охладительное слово
Въ устахъ старался удержать
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству,
И безъ меня пора придетъ;
Пускай покаместъ онъ живетъ
Да вѣрить міра совершенству».

Какой же дѣльный споръ, какой же серьезный обмѣнъ мыслей возможенъ тогда, когда одинъ изъ собесѣдниковъ постоянно старается воздерживаться отъ охладительныхъ словъ и когда другой собесѣдникъ постоянно пылаетъ, то есть постоянно нуждается въ охлажденіи? Если мы пересмотримъ тѣ предметы разговора, которые перечислены Пушкинымъ въ XVI строфѣ, то мы немедленно убѣдимся въ томъ, что споры объ этихъ предметахъ были совершенно невозможны безъ охладительныхъ словъ стороны Онѣгина. Если эти споры дѣйствительно влекли къ размышленіямъ, то они должны были состоять почти исключительно въ томъ, что Ленскій фантазировалъ и предавался сладостному оптимизму, а Онѣгинъ произносилъ разныя печальныя истины и охладительныя слова. Въ самомъ дѣлѣ, что ихъ занимало? Во-первыхъ, *племь минувшихъ договоровъ*. Хотя это выраженіе очень неудачно и неясно, однако, можно понять, что тутъ дѣло идетъ объ историческихъ вопросахъ. Ясное дѣло, что Ленскій, какъ идеалистъ и какъ поэтъ, долженъ былъ строить въ области исторіи разныя красивыя и трогательныя тенденціи, а Онѣгинъ, какъ скептикъ, долженъ былъ разрѣшивать эти построенія охладительными аргументами. Если даже мы примемъ слово *договоровъ* въ его точномъ и буквальномъ значеніи, то и тогда споръ врядъ ли обойдется безъ охладительныхъ

словъ. Объ Анталкидовомъ мирѣ или о договорѣ Олега съ греками можно, конечно, разсуждать совершенно безопасно и безпристрастно; но, по всей вѣроятности, друзья наши не забирались въ такую глубокую древность; если же они бесѣдовали о какомъ нибудь договорѣ поновѣе, на примѣръ, о священномъ союзѣ или о вѣнскомъ конгрессѣ, или о карлсбадскихъ конференціяхъ, то Ленскій съ большимъ удобствомъ могъ предаваться неосновательнымъ восторгамъ, противъ которыхъ необходимо было дѣйствовать охладительными словами. Во-вторыхъ — *плоды наукъ*. Тутъ все зависитъ оттого, *какіе* плоды. О математическихъ сочиненіяхъ Эйлера или Лагранжа можно разсуждать безъ охладительныхъ словъ. Но если только друзья наши брали что нибудь пожнвѣе, на примѣръ, систему міра Лапласа или теорію перерожденій Ламарка, то охладительныя слова становились неизбѣжными, потому что такіе ученые, какъ Лапласъ и Ламаркъ, разрушаютъ очень многія заблужденія, весьма драгоценныя для юныхъ идеалистовъ и романтиковъ. А такъ какъ друзья наши врядъ ли бесѣдовали объ аналитической геометріи, и такъ какъ, по всей вѣроятности, они выбирали тѣ *плоды науки*, которые, такъ или иначе, затрогиваютъ общіе вопросы міросозерцанія, то, стало быть, и о *плодахъ науки* нельзя было спорить безъ охладительныхъ словъ. Въ-третьихъ—*добро и зло*, то есть, основанія нравственности. Тутъ столкновеніе противоположныхъ убѣжденій совершенно неизбѣжно, и необходимость охладительныхъ словъ до такой степени очевидна, что нечего объ этомъ и распространяться. Въ-четвертыхъ — *предразсудки въковые*. Если происходилъ споръ о вѣковыхъ предразсудкахъ, то этотъ споръ могъ принимать одну изъ двухъ главныхъ формъ: или Онѣгинъ считалъ какое нибудь мнѣніе за предразсудокъ, а Ленскій доказывалъ его разумность; или же наоборотъ, Ленскій нападалъ на предразсудокъ, а Онѣгинъ его отстаивалъ. Въ первомъ случаѣ, Ленскій, какъ юноша и поэтъ, бралъ подъ свое покровительство разныя красивыя иллюзіи, которыя Онѣгинъ, какъ человѣкъ, познакомившійся съ жизнью, отрицалъ и осмѣивалъ. Во-второмъ случаѣ, Ленскій, какъ юный и горячій представитель чистой теоріи, несклоняющейся ни на какіе компромиссы, осуждалъ, съ высоты своей идеи, разныя мелкія слабости общества, которыя Онѣгинъ, какъ опытный человѣкъ, считалъ извинительными или даже неизбѣжными. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, Онѣгину пришлось бы совершенно отказаться отъ спора, если бы онъ захотѣлъ воздерживаться отъ охладительныхъ словъ. Въ-пятыхъ—*гроба тайны роковыя*. Часъ отъ часу не легче. Если возможенъ какой нибудь споръ о *роковыхъ тайнахъ гроба*, то этотъ споръ можетъ происходить только на счетъ безсмертія души. Между Онѣгинымъ и Ленскимъ споръ, безъ сомнѣнія, долженъ былъ завязаться такъ, что Онѣгинъ отрицалъ, а Ленскій утверждалъ. Начиная такой споръ, Онѣгинъ, очевидно,

затрогивалъ такой предметъ, который составлялъ для юнаго идеалиста величайшую и неприкосновеннѣйшую драгоценность. Какъ бы мягко и осторожно Онѣгинъ не выражался, во всякомъ случаѣ, уже тотъ фактъ, что онъ ставилъ знакъ вопросительный тамъ, гдѣ Ленскій ставилъ точку или знакъ восклицательный, — одинъ этотъ фактъ, говорю я, долженъ былъ произвести на несчастнаго поэта гораздо болѣе потрясающее впечатлѣніе, чѣмъ всевозможныя охлаждающія слова. Въ-шестыхъ — *судьба и жизнь*. Ну, это выраженіе такъ неясно и такъ растяжимо, что о немъ нечего и говорить.

Подробный анализъ тѣхъ высокихъ предметовъ, о которыхъ разговаривали Онѣгинъ и Ленскій, приводитъ меня къ тому заключенію, что они ни о какихъ высокихъ предметахъ не разговаривали и что Пушкинъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что значить серьезный споръ, влекущій къ размышленію, и какое значеніе имѣетъ для человѣка сознательное и глубоко-прочувствованное убѣжденіе. Пушкину хотѣлось, чтобы Онѣгинъ, въ своихъ отношеніяхъ къ Ленскому, обнаруживалъ граціозную мягкость своего характера, и Пушкинъ, какъ человѣкъ, хорошо знакомый съ граціозною мягкостью и совершенно незнакомый съ убѣжденіями, не сообразилъ того, что, навязывая своему герою это изящное свойство, онъ осуждалъ его на такую жалкую безцвѣтность, при которой возможны только пренія о погодѣ, о достоинствахъ шампанскаго, да, пожалуй, еще о договорахъ Олега съ греками. Если бы Онѣгинъ дѣйствительно имѣлъ какія нибудь убѣжденія, то, подружившись съ Ленскимъ, онъ, именно изъ привязанности къ нему, старался бы откровенно подѣлиться съ нимъ своими взглядами на жизнь и разрушить дружескими разговорами тѣ юношескія заблужденія, которыя, рано или поздно, грубо и безжалостно разрушить презрѣнная житейская проза. Но Онѣгинъ, по своей неразвитости и по совершенному отсутствію убѣжденій, соблюдаетъ въ отношеніи къ Ленскому ту знаменитую политику скрыванія и педагогическаго обмана, которую постоянно прилагаютъ къ своимъ питомцамъ всѣ родители и воспитатели, отличающіеся теплотою чувствъ и ограниченностью ума.

Я уже показалъ выше, что при этой политикѣ совершенно невозможны серьезные разговоры о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе. И такъ какъ Пушкинъ намъ дѣйствительно не сообщаетъ ни одного подобнаго разговора, то мы имѣемъ полное право утверждать, что Онѣгинъ и Ленскій были совершенно неспособны къ серьезнымъ разсужденіямъ, и что Пушкинъ, желая поставить ихъ на пьедесталъ, упомянулъ мимоходомъ о разныхъ высокихъ предметахъ, до которыхъ ни ему самому, ни его героямъ никогда не было никакого дѣла. Договоры племенъ, вѣковныя предразсудки, роковыя тайны, все это — одни слова, къ которымъ критикъ долженъ относиться съ крайней недовѣрчивостію.

IV.

Любопытно замѣтить, что граціозная мягкость измѣняетъ Онѣгину именно тогда, когда она была необходима и когда охлаждающее слово было не только очень невѣжливо, но еще, кромѣ того, совершенно бесполезно. Вотъ какимъ образомъ Онѣгинъ разсуждаетъ объ Ольгѣ, въ которую, какъ ему извѣстно, давно уже влюбленъ Ленскій.

«Въ чертахъ у Ольги жизни нѣтъ,
Точь въ точь въ Вандиковой Мадонѣ:
Кругла, красна лицомъ она,
Какъ эта глупая луна
На этомъ глупомъ небосклонѣ».

(Гл. III. Стр. V).

Эта тирада, очевидно, была сказана только для того, чтобы полюбоваться насмѣшливою холодностью своего взгляда на природу и на жизнь. Ленскому эта грубая и безтолковая выходка противъ Ольги показалась очень непріятною, и кромѣ этой, совершенно безплодной непріятности, ровно ничего не вышло и не могло выйти изъ охлаждающаго слова, произнесеннаго Онѣгинымъ ни къ селу, ни къ городу, для улаженія собственнаго слуха. Впрочемъ надо и то сказать, что Ленскій самъ напрашивается на подобныя дерзости; онъ лѣзетъ къ Онѣгину съ такими конфиденціальными разговорами объ Ольгѣ, которые совершенно несомѣстны съ серьезнымъ уваженіемъ любящаго мужчины къ любимой женщинѣ. Онъ, за бокаломъ шампанскаго, анализируетъ Ольгу съ пластической точки зрѣнія, и этому занятію онъ предается уже послѣ того, какъ Онѣгинъ сравнилъ эту Ольгу съ глупою луною. Вотъ его подлинныя слова:

«Ахъ, милый, какъ похорошѣли
У Ольги плечи, что за груди!
Что за душа!»

(Гл. IV. Стр. XLVIII).

Когда Базаровъ сказалъ своему другу нѣсколько словъ о плечахъ женщины, которую онъ видѣлъ въ первый разъ, тогда наша критика и наша публика порѣшили, что Базаровъ ужасный циникъ. Но если бы критика и публика потрудились перечитать «Евгенія Онѣгина», то онѣ увидѣли бы, что идеалистъ и романтикъ Ленскій далеко перещеголялъ матеріалиста и эмпирика Базарова. Базаровъ говорилъ о незнакомой женщинѣ, Ленскій, напротивъ того, — о той дѣвушкѣ, въ которую онъ былъ влюбленъ съ дѣтства; Базаровъ говорилъ только о плечахъ, Ленскій — о плечахъ и о груди. Стало быть, упрекъ въ цинизмъ относится

по всѣмъ правамъ къ пламеннымъ идеалистамъ 20-хъ годовъ, а не къ холоднымъ реалистамъ нашего времени. Впрочемъ, это совершенно естественно, потому что, какъ намъ извѣстно даже изъ прописей, праздность есть мать всѣхъ пороковъ, а въ дѣлѣ праздности Базарову, конечно, мудрено тягаться съ Онѣгинымъ и съ Ленскимъ. Праздность Онѣгина такъ колоссальна, что онъ даже

« — — Дома цѣлый день
Одинъ, въ расчеты погруженный,
Тупымъ кіемъ вооруженный,
На бильярдѣ въ два шара
Играетъ съ самаго утра». (Гл. IV. Стр. XLIV).

При такомъ бездѣйствіи мысли, вранье на разныя тѣмы составляетъ, конечно, одно изъ лучшихъ украшеній жизни.

Чтобы дорисовать личность Ленскаго, надо разобрать его дуэль съ Онѣгинымъ. Тутъ читатель рѣшительно не знаетъ, кому отдать пальму первенства по части тупоумія, — Онѣгину или Ленскому. Единственное возможное объясненіе этого нелѣпѣйшаго случая состоятъ въ томъ, что оба они, Ленскій и Онѣгинъ, совершенно ошалѣли отъ бездѣлья и отъ мертвящей скуки. Онѣгину захотѣлось взбѣсить Ленскаго и, такимъ образомъ, отмстить ему за то, что у Лариныхъ, на именины Татьяны, собралось много гостей, между тѣмъ, какъ Ленскій говорилъ Онѣгину, что не будетъ никого изъ постороннихъ. Чтобы исполнить свое намѣреніе, Онѣгинъ танцуетъ съ Ольгой, сначала вальсъ, потомъ мазурку, потомъ котильонъ. Во время танцевъ, онъ,

«Наклонясь, ей шепчетъ нѣжно
Какой-то пошлый мадригалъ,
И руку жметъ — и запыхалъ
Въ ея лицѣ самолюбивомъ
Румянецъ ярче». (Гл. V. Стр. XLIV).

Но спрашивается, что же онъ могъ видѣть? Что Онѣгинъ наклонился къ Ольгѣ и шепталъ ей что-то, въ этомъ, кажется, нѣтъ ничего преступнаго. Кавалеры обыкновенно говорятъ съ дамами во время танцевъ, и никто не обязываетъ ихъ говорить такъ громко, чтобы каждое слово было слышно во всѣхъ концахъ залы. Пошлаго мадригала Ленскій не могъ ни видѣть, ни слышать, потому что онъ былъ произнесенъ шопотомъ. Замѣтить пожатіе руки было также невозможно, потому что это движеніе мускуловъ совершенно неувидимо для глазъ. Что Ольга улыбалась и краснѣла—это Ленскій, конечно, могъ видѣть; но, во-первыхъ, во время танцевъ никто не хмурится; а во-вторыхъ, Ольга могла раскраснѣться именно отъ движенія; наконецъ, если бы даже Ленскій могъ быть твердо убѣжденъ въ томъ, что Онѣгинъ гово-

рить Ольгѣ комплименты на счетъ ея наружности, и что Ольга улыбається и краснѣетъ отъ удовольствія, то и тогда онъ не имѣлъ бы никакого основанія сердиться ни на Онѣгина, ни на Ольгу. Въ двадцатыхъ годахъ комплименты были еще въ полномъ ходу, и дамы были еще такъ наивны, что находили ихъ лестными и пріятными. Стало быть, ни Онѣгинъ, ни Ольга не позволяли себѣ рѣшительно ничего такого, что выходило бы изъ уровня принятыхъ обычаевъ. Но Ленскій лѣзетъ на стѣны:

«Не въ силахъ Ленскій снести удара;
Проказы женскія кляня,
Выходить, требуетъ коня
И скачетъ. Пистолетовъ пара,
Двѣ пули — больше ничего —
Вдругъ разрѣшать судьбу его. (Гл. V. Стр. XLV).

А весь ударъ состоялъ въ томъ, что Ольга не пошла танцевать съ нимъ котильонъ. А не пошла она по той законной причинѣ, что ее уже заранѣе пригласилъ Онѣгинъ. Легко можетъ быть, что въ двадцатыхъ годахъ дѣйствительно существовали такіе чудаки, которые принимали подобныя событія за жестокіе удары. Но, въ такомъ случаѣ, надо будетъ сознаться, что у романтиковъ двадцатыхъ годовъ была въ головѣ своя оригинальная логика, о которой мы, въ настоящее время, не можемъ составить себѣ почти никакого понятія. Кромѣ того, не мѣшаетъ замѣтить, что женамъ этихъ чувствительныхъ и пламенныхъ романтиковъ было, по всей вѣроятности, очень скверно жить на свѣтѣ.

Трагедія, по поводу котильона, происходитъ за недѣлю съ небольшимъ до срока, назначеннаго для свадьбы Ленскаго, который зналъ и любилъ свою невѣсту съ самаго дѣтства. Если Ленскій осмѣливается оскорблять бессмысленными подозрѣніями ту дѣвушку, которую онъ знаетъ съ малыхъ лѣтъ, и если эти подозрѣнія могутъ возникнуть отъ каждаго взгляда, брошеннаго Ольгой на посторонняго мужчину, то, спрашивается, когда же, и при какихъ условіяхъ, установятся между мужемъ и женою разумныя отношенія, основанныя на взаимномъ довѣріи? И если о разумномъ взглядѣ на женщину не имѣетъ никакого понятія геттингенская душа, читающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то, спрашивается, какая же разница существуетъ между геттингенскою душою и душою вятскою или симбирскою? И что за охота была Пушкину посылать Ленскаго въ туманную Германію за плодами учености и за какими-то вольно-любивыми мечтами, когда этому Ленскому суждено было только сказать и сдѣлать въ романѣ нѣсколько плоскостей, которымъ онъ могъ бы съ величайшимъ удобствомъ научиться не только въ своей деревнѣ, но даже и въ какойнибудь буковинской ордѣ? Что же касается до длинныхъ волосъ, которые Ленскій, по свидѣтельству

Пушкина, также привезъ съ собою изъ туманной Германіи, то мнѣ кажется, что они, при тщательномъ уходѣ, могли бы вырасти и въ Россіи.

Пріѣхавъ домой послѣ измѣны коварной Ольги, Ленскій посылаетъ Онѣгину

...«Пріятный, благородный,
Короткій вызовъ иль Картель.»

Къ сожалѣнію, Пушкинъ не представляетъ намъ того письма, которое написалъ по этому поводу «поклонникъ Канта и поэтъ». У Пушкина сказано только, что

«Учтиво, съ ясностью холодной
Звалъ друга Ленскій на дуэль.»

Но такъ какъ вызовъ надо же чѣмъ нибудь мотивировать, то было бы очень любопытно посмотреть, какимъ образомъ Ленскій вывернулся изъ этой задачи, то есть, какимъ образомъ онъ ухитрился и сать къ Онѣгину о небываломъ оскорбленіи. Впрочемъ, рыбакъ рыбака видитъ изъ далека. Ленскій, вѣроятно, предчувствовалъ, что всякая пошлость непременно найдетъ себѣ сочувственный отзывъ въ душѣ его бывшего друга, и что, слѣдовательно, въ сношеніяхъ съ этимъ бывшимъ другомъ можно нарушать совершенно безбоязненно всѣ правила обыкновенной человѣческой логики. Ленскій, повидимому, понималъ, что Онѣгинъ, какъ свѣтскій человѣкъ, есть прежде всего машина, которая, при извѣстномъ прикосновеніи, непременно должна произвести извѣстное движеніе, хотя бы это движеніе, при данныхъ условіяхъ, было совершенно бессмысленно и даже крайне неумѣстно. Разумѣется, Онѣгинъ вполне оправдываетъ надежды своего достойнаго друга. Получивши «пріятный, благородный, короткий вызовъ», онъ, какъ образцовый дэнди, не требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ объясненій и отвѣчаетъ пріятно, благородно, коротко, «что онъ *всегда готовъ*». Секундантъ Ленскаго тотчасъ уѣзжаетъ, а Онѣгинъ, «наединѣ съ своей душой», начинаетъ соображать, что эта душа надѣлала премного глупостей. Онѣгинъ недоволенъ самъ собой. Пушкинъ говоритъ:

И по дѣломъ: въ разборѣ строгомъ,
На тайный судъ себя призвавъ,
Онъ обвинялъ себя во многомъ:
Во-первыхъ, онъ ужъ былъ неправъ,
Что надъ любовью робкой, нѣжной
Такъ подшутилъ вечеръ небрежно.
А во-вторыхъ, пускай поэтъ
Дурачится: въ осьмнадцать лѣтъ
Оно простительно. Евгеній,
Всѣмъ сердцемъ юношу любя,
Быть долженъ оказать себя
Не мячикомъ предразсужденій,
Не пылкимъ мальчишкою-бойцомъ,
Но мужемъ съ честью и съ умомъ.
Онъ могъ бы чувства обнаружить,

А не щетиниться, какъ звѣрь;
 Онъ долженъ былъ обезоружить
 Младое сердце. «Но теперь
 Уже поздно; время улетѣло.
 Къ тому-жъ, онъ мыслить, въ это дѣло
 Выѣшался старый дуалистъ;
 Онъ золь, онъ сплетникъ, онъ рѣчиствъ.
 Конечно, быть должно презрѣнье
 Цѣной его забавныхъ словъ;
 Но шопоть, хохотня глупцовъ.
 И вотъ общественное мнѣнье!...»
 Пружина чести, вашъ кумиръ!
 И вотъ на чемъ вертится мѣръ!

(Гл. VI Стр. X, XI.)

Евгеній, какъ видите, любитъ юношу всѣмъ сердцемъ; кромѣ того, строгій разборъ, произведенный на тайномъ судѣ совѣсти, говоритъ ему, что мужъ съ честью и съ умомъ не сталъ бы щетиниться, какъ звѣрь, и не позволилъ бы себѣ стрѣлять въ осьмнадцатилѣтняго разыгравшагося мальчика. На одну чашку вѣсовъ Онѣгинъ кладетъ жизнь юноши, котораго онъ любитъ всѣмъ сердцемъ, и, кромѣ того, здравыя требованія ума и чести, — тѣ требованія, которыя сформулированы строгимъ разборомъ тайнаго суда. На другую чашку Онѣгинъ кладетъ шопоть и хохотню глупцовъ, которыхъ натравить старый дуалистъ и злой сплетникъ, достойный, по мнѣнію самого же Онѣгина, самаго полного презрѣнья. Вторая чашка тотчасъ перетягиваетъ и догадливый читатель немедленно можетъ составить себѣ очень наглядное понятіе о томъ, какъ сильно умѣетъ Онѣгинъ любить и какъ высоко цѣнить онъ свое собственное уваженіе. — Я долженъ убить моего друга, рассуждаетъ Онѣгинъ, я долженъ оказаться передъ тайнымъ судомъ моей совѣсти мужемъ безъ чести и безъ ума, я долженъ это сдѣлать непременно, потому что, въ противномъ случаѣ, дураки, которыхъ я презираю, будутъ шептать и смѣяться.

Изъ этого процесса мысли мы видимъ ясно, что слова «другъ», «совѣсть», «честь», «умъ», «дураки», «презирать» — не имѣютъ для Онѣгина никакого осязательнаго смысла. Какъ негръ, задавленный непосильнымъ трудомъ, тяжелыми лишеніями и ежедневными побоями, теряетъ способность любить, ненавидѣть, презирать и рассуждать, превращается въ тупое вѣличное животное, способное только къ пассивному повиновенію и къ машинальной работѣ изъ подъ палки, такъ и Онѣгинъ, задавленный умственной пустотою и гнетомъ свѣтскихъ предразсудковъ, навсегда потерялъ силу и умѣнье чувствовать, мыслить и дѣйствовать, не испрашивая на то соизволенія у той толпы, которую онъ величественно презираетъ. Личныя понятія, личныя чувства, личныя желанія Онѣгина такъ слабы и вялы, что они не могутъ имѣть никакого ощутительнаго вліянія на его поступки. Поступить онъ, во всякомъ случаѣ, такъ, какъ того потребуетъ отъ него свѣтская толпа; онъ даже не по-

дождеть, чтобы эта толпа выразила ясно свое требованье; онъ его угадаетъ заранѣе; онъ, съ утонченною угодливостью раба, воспитаннаго въ рабствѣ съ колыбели, предупредить всѣ желанія этой толпы, которая, какъ избалованный властелинъ, разумѣется, даже и вниманія не обратитъ на то, какими усиліями и жертвами ея вѣрный рабъ, Онѣгинъ, купилъ себѣ право оставаться въ ея глазахъ джентльменомъ самой безукоризненной безпѣвѣтности. И толпа поступаетъ совершенно справедливо, когда не обращаетъ вниманія на усилія и жертвы вѣрнаго раба; вѣрный рабъ вѣренъ только потому, что не смѣетъ сдѣлаться невѣрнымъ; онъ боится своего господина и, въ то же время, вмѣстѣ съ другими, столь же трусливыми и вѣрными рабами, ежеминутно ругаетъ его за глаза, подобно тому, какъ это дѣлаютъ всѣ лакеи, проникнутые духомъ лакейства до мозга костей. Этой лакейской замашкой ругать за глаза строгаго господина объясняется то презрѣніе къ толпѣ, которымъ драпируется Онѣгинъ. Это красивое презрѣніе—чувство совершенно платоническое; оно цѣлкомъ улетучивается въ словахъ; какъ только приходится дѣйствовать, такъ это презрѣніе смѣняется тотчасъ самымъ плоскимъ и раболопнымъ благоговѣніемъ.

Спрашивается теперь; какимъ образомъ долженъ былъ отнестись поэтъ къ этой чертѣ въ характерѣ Онѣгина? Мнѣ кажется, онъ долженъ былъ понять весь глубокій комизмъ этой черты, онъ долженъ былъ всѣми силами своего таланта подмѣтить и разработать въ этой чертѣ всѣ ея смѣшныя стороны, онъ долженъ былъ осмѣять, опошлить и втоптать въ грязь безъ малѣйшаго состраданія ту низкую трусость, которая заставляетъ неглупаго человѣка играть роль вреднаго идіота для того, чтобы не подвергнуться робкимъ и косвеннымъ насмѣшкамъ настоящихъ идіотовъ, достойныхъ полного презрѣнія. Поступая такимъ образомъ, поэтъ оказалъ бы дѣйствительную и серьезную услугу обществу самосознанію; онъ бы заставилъ толпу смѣяться надъ тѣми формами топоумія и безличности, на которыя она, по своей недогадливости и инерціи мысли, привыкла смотрѣть не только равнодушно, но даже благосклонно.

Такъ ли поступилъ Пушкинъ? Нѣтъ, онъ поступилъ какъ разъ наоборотъ. Въ своемъ взглядѣ на положеніе Онѣгина, онъ самъ оказался человѣкомъ свѣтской толпы и употребилъ всѣ силы своего таланта на то, чтобы изъ мелкаго, трусливаго, безхарактернаго и праздношатающагося франтика сдѣлать трагическую личность, изнемогающую въ борьбѣ съ непреодолимыми требованіями вѣка и народа. Вмѣсто того, чтобы сказать читателю: какъ пусть, смѣшонъ и ничтоженъ мой Онѣгинъ, убивающій своего друга въ угоду дуракамъ и негодяямъ, Пушкинъ говоритъ: «и вотъ на чемъ вертится міръ», точно будто бы отказаться отъ бессмысленнаго вызова, значить нарушить міровой законъ.

Возвышая, такимъ образомъ, въ глазахъ читающей массы, тѣ типы и тѣ черты характера, которые сами по себѣ низки, пошлы и ничтожны, Пушкинъ, всѣми силами своего таланта, усыпляетъ то общественное самосознаніе, которое истинный поэтъ долженъ пробуждать и воспитывать своими произведеніями. Сваливая на общія причины, на неумолимую судьбу и на міровые законы вину позорныхъ ошибокъ, отъ которыхъ каждый умный и энергическій человѣкъ можетъ уберечься силами своей собственной личности, Пушкинъ оправдываетъ и поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предрасудки, которые каждый мыслящій человѣкъ обязанъ разрушить всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній. «И вотъ на чемъ вертится міръ!» Какъ вамъ нравится это наивное признаніе Пушкина, что для него весь міръ сосредоточивается въ тѣхъ малочисленныхъ кружкахъ фешенебельнаго общества, въ которыхъ люди, обожающіе «пружину чести», изъ благоговѣнія къ этой пружинѣ, стрѣляются съ своими друзьями, противъ собственного желанія и противъ собственного убѣжденія?

Сдѣлавши замѣчательное открытіе, что міръ вертится на пружинѣ чести, Пушкинъ далеко превосходитъ Людовика Филиппа, придумавшаго остроумное выраженіе «le pays légal» для обозначенія тѣхъ французовъ, которые пользовались правомъ голоса на выборахъ депутатовъ. У Людовика Филиппа огромное большинство французовъ остается за предѣлами законной Франціи, а у Пушкина огромное большинство людей остается за предѣлами существующаго міра, — что, безъ сомнѣнія, гораздо болѣе остроумно.

V.

Онѣгинъ остается ничтожнѣйшимъ пошлякомъ до самого конца своей исторіи съ Ленскимъ, а Пушкинъ до самого конца продолжаетъ восхвалять его поступки, какъ грандіозныя и трагическія событія. Благодаря превосходному разсказу нашего поэта, читатель видитъ постоянно не внутреннюю дрянность и мелкость побужденій, а внѣшнюю красоту и величавость хладнокровнаго мужества и безукоризненнаго джентльменства.

..... «Хладнокровно,
Еще не цѣля, два врага,
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертныхъ ступени.
Свой пистолетъ тогда Евгенийъ,
Не переставая наступать,

Сталь первый тихо поднимать.
Вотъ пять шаговъ еще ступили,
И Ленскій, жмуря лѣвый глазъ,
Сталь также цѣлить, но какъ разъ
Онѣгина выстрѣлилъ... Пробыли
Часы урочные: поэтъ
Роняетъ молча пистолеть,
На грудь кладетъ тихонько руку
И падаетъ.» (Гл. VI. Стр. XXX, XXXI).

Господи, какъ красиво! Люди переходятъ, *твердою походкою, тихо, ровно* четыре шага, *четыре смертныя ступени*. Два человѣка, безъ всякой надобности, идутъ на смерть и смотрятъ ей въ глаза, не обнаруживая ни малѣйшаго волненія. Такъ это красиво и такъ это старательно воспрѣто, что читатель, замирая отъ ужаса и преклоняясь передъ доблестями храбрыхъ героевъ, даже не осмѣлится и не сдумаетъ подумать о томъ, до какой степени глупо все это происшествіе и до какой степени похожи величественные герои, соблюдающіе твердость и тишину походы, на жалкихъ дрессированныхъ гладіаторовъ, тратившихъ всю свою энергію на то, чтобы въ предсмертныхъ мукахъ доставить удовольствіе зрителямъ красивою позитурою тѣла. А между тѣмъ, эти зрители были влѣйшими врагами гладіаторовъ, и если бы гладіаторы направили свою энергію не на красивыя позы, а на тупоумныхъ любителей этихъ позъ, то легко могло бы случиться, что они навсегда избавили бы себя отъ печальной необходимости тѣшить праздныхъ дураковъ красивыми позами. Надо полагать, что гладіаторы были очень глупы и что глупость ихъ, къ сожалѣнію, не умерла вмѣстѣ съ ними.

Но кромѣ общей гладіаторской глупости, поведение Онѣгина въ сценѣ дуэли заключаетъ въ себѣ еще свою собственную, совершенно специальную глупость или дрянность, которая, до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, была упущена изъ виду самыми внимательными критиками. То обстоятельство, что онъ принялъ вызовъ Ленскаго и явился на поединокъ, еще можетъ быть до нѣкоторой степени объяснено, хотя, конечно, не оправдано, — вліяніемъ свѣтскихъ предразсудковъ, сдѣлавшихся для Онѣгина второю природою. Но то обстоятельство, что онъ «всѣмъ сердцемъ юношу любя» и сознавая себя кругомъ виноватымъ, *цѣлилъ* въ Ленскаго и убилъ его, можетъ быть объяснено только или крайнимъ малодушіемъ, или непостижимымъ тупоуміемъ. Свѣтскій предразсудокъ обязывалъ Онѣгина идти на встрѣчу опасности, но свѣтскій предразсудокъ нисколько не запрещалъ ему выдержать выстрѣлъ Ленскаго и потомъ разрядить пистолеть на воздухъ. При такомъ образѣ дѣйствій, и волеи были бы сыты, и овцы были бы цѣлы. Репутація храбрыхъ гладіаторовъ была бы спасена; Ленскій, вполне удовлетворенный и обооруженный, пригласилъ бы Онѣгина быть шаферомъ на его свадьбѣ, а

Онѣгина, сказавшій Ольгѣ пошлый мадригалъ и *оказавшій себя мичкомъ предразсужденій*, за всѣ эти проделанности былъ бы наказанъ тѣмъ неприятнымъ ощущеніемъ, которое доставляетъ каждому порядочному человѣку созерцаніе нисколетнаго дула, направленнаго прямо на его собственную особу. Конечно, Ленскій могъ убить или тяжело ранить Онѣгина, которому, въ такомъ случаѣ, не пришлось бы быть шаферомъ на предстоящей свадьбѣ, но эта перспектива нисколько не должна была конфузить Онѣгина, если только онъ дѣйствительно былъ утомленъ жизнью и совершенно искренно тиготился ея пустотою. Онѣгину не долженъ былъ колебаться ни одной минуты, когда ему надо было рѣшать на практикѣ вопросъ: кому жить, ему или Ленскому? Онъ ни на одну минуту не долженъ былъ ставить свою собственную, опротивѣвшую ему жизнь на одну доску съ свѣжею жизнью влюбленнаго юноши. Однако, онъ поступилъ какъ разъ наоборотъ. Онъ первый сталъ поднимать свой пистолетъ и выстрѣлить именно въ то самое время, когда Ленскій началъ прицѣливаться.

Почему же онъ это сдѣлалъ? Или потому, что не сообразилъ заранѣе, какъ ему слѣдовало распорядиться, или же потому, что чувство самосохраненія одержало верхъ надъ всѣми предварительными соображеніями. Первое предположеніе очень неправдоподобно; сообразить было не мудрено; если Онѣгину не умѣетъ подумать даже тогда, когда отъ его размышленій зависитъ жизнь юноши, котораго онъ любитъ всѣмъ сердцемъ, то, значитъ, онъ совсѣмъ, неспособенъ шевелить мозгами. Съ этимъ трудно согласиться, хотя, разумѣется, умственные способности Онѣгина очень неблестательны и совершенно испорчены бездѣйствіемъ. Остается второе предположеніе, которое, по моему мнѣнію, совершенно основательно. Онѣгину, не смотря на свое хроническое вѣваніе и не смотря на свою замашку ругать жизнь вскими скверными словами, очень любить эту самую жизнь и никакъ не согласится промѣнять ее не только на «новой небытія», но даже и на какую нибудь другую жизнь, болѣе разумную и болѣе дѣятельную. Умирать ему совсѣмъ не хочется, потому что какъ ни ругай нашу юдолю бѣдствій, а все-таки въ этой юдоли есть для богатаго собственника и устрицы, и гомары, и бордо, и влико, и прекрасный полъ. Устроить себѣ какую нибудь новую жизнь ему также совсѣмъ не хочется, потому что ни для какой другой жизни онъ не годится. Онъ съ своею вѣчною скукою можетъ прожить очень спокойно, пріятно и комфортабельно лѣтъ до восьмидесяти, и когда Ленскій сталъ цѣлиться, тогда Онѣгину смекнуть въ одну секунду, что милую скуку позволительно ругать и проклинать, но что съ нею вовсе не слѣдуетъ разставаться преждевременно.

Пушкинъ такъ красиво описываетъ мелкія чувства, дрянныя мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить въ пользу ничтожнаго

Онѣгина не только простодушную массу читателей, но даже такого замѣчательнаго человека и такого тонкаго критика, какъ Бѣлинскій. «Мы, говоритъ Бѣлинскій, нисколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говоритъ поэтъ, былъ долженъ оказать себя не мячикомъ предразсужденій, не пылкимъ мальчишомъ-бойцомъ, но мужемъ съ честью и умомъ; но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ — верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи». (Т. VIII. Стр. 563).

И это все! Хорошо приговоръ. Онъ не оправдываетъ Онѣгина, а между тѣмъ, тутъ же утверждаетъ, что только герой на мѣстѣ Онѣгина поступилъ бы иначе. Значитъ вполне оправдываетъ, потому что мы не имѣемъ никакого права требовать отъ обыкновенныхъ людей такихъ подвиговъ нравственнаго мужества, которые превышаютъ средній уровень обыкновенныхъ человѣческихъ силъ. Но развѣ-жъ это правда? Развѣ въ самомъ дѣлѣ надо быть героемъ, чтобы уметь любить своего друга и чтобы не убивать собственноручно, изъ низкой трусости, тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ всѣмъ сердцемъ? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героямъ, Бѣлинскій унижаетъ человѣческую природу и, безъ всякой надобности, является защитникомъ нравственной гнилости и трапичности. А вводитъ его въ этотъ тяжелый грѣхъ его крайняя впечатлительность, подкупленная тѣмъ обстоятельствомъ, что «подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ — верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи». Если бы Бѣлинскій потрудился задать себѣ вопросъ, на что потрачено это художественное совершенство и къ чему оно клонится, то онъ немедленно убѣдился бы въ томъ, что за такіе художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта. Фанатическія драмы Кальдерона могли быть превосходны въ художественномъ отношеніи, но влияние ихъ на испанское общество было, во всякомъ случаѣ, отвратительно.

Къ Ленскому Бѣлинскій относится очень справедливо и безъ малѣйшей нѣжности, вѣроятно, потому, что ему самому приходилось встрѣчать романтиковъ въ дѣйствительной жизни. «Люди, подобные Ленскому, говоритъ Бѣлинскій, при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ (?), нехороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохраняютъ навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются тѣми устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ же неприяты, какъ и старія идеальныя дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копаясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, что дѣлается въ мірѣ, и твердятъ о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвѣздную сто-

рому мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно (?) было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣйственной чистоты его сердца (?), въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.» (Т. VIII. Стр. 564, 565).

Съ этими словами Бѣлинскаго я совершенно согласенъ; не вижу я только никакихъ неоспоримыхъ достоинствъ въ Ленскомъ, не нахожу въ немъ ничего обаятельно-прекраснаго и не умѣю восхищаться дѣйственной чистотою его сердца, потому что рѣшительно не понимаю, кому нужна эта дѣйственная чистота, какую она можетъ принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована отъ грязнящихъ и развращающихъ прикосновеній дѣйствительной жизни. Если изъ приведенной мною цитаты выбросить вонъ неоспоримая достоинства, обаятельно-прекрасное и дѣйственную чистоту, то въ остаткѣ получится энергическій и строгій приговоръ послѣдовательнаго реалиста не только надъ одними романтиками, но и надъ всѣми художниками, оставляющими безъ вниманія горе и нужду современной дѣйствительности. Если, по мнѣнію Бѣлинскаго, несносны, пусты и пошлы тѣ люди, которые стремятся душою въ надзвѣздную сторону мечтаній, то, очевидно, не за что миловать и тѣхъ людей, которые стремятся душою въ мертвую тишину историческаго прошедшаго. И тѣ, и другіе одинаково отвертываются отъ суеты этой земли, «*гдѣ есть и голодъ, и нужда, и...*», а именно въ этомъ презрѣніи къ суетѣ земли и заключается ихъ настоящая вина. Разъ какъ они уже отвернулись отъ суеты земли, тогда уже рѣшительно все равно, въ какую бы сторону они ни смотрѣли. Тогда они уже отрѣзанный ломоть, и о нихъ можно совершенно справедливо сказать, вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, что «*это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди*».

Не мѣшаетъ также замѣтить, что эти слова Бѣлинскаго чрезвычайно сильно задѣваютъ самого Пушкина, который, въ теченіе всей своей поэтической дѣятельности, постоянно и систематически игнорировалъ и голодъ, и нужду, и всѣ остальные болячки дѣйствительной жизни. Когда же онъ случайно наткнулся на какую нибудь крошечную болячку, тогда онъ обыкновенно бралъ ее подъ свое покровительство, т. е. старался доказать ея роковую необходимость. Это, пожалуй, будетъ даже похуже, чѣмъ стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній.

Послѣ смерти Ленскаго, Онѣгинъ отправляется странствовать по Россіи, вездѣ хмурится и питать, вездѣ смотритъ съ бессмысленнымъ презрѣніемъ на занятія суетной толпы, и, наконецъ, доходитъ до такой

нелѣпости, что начинаеть завидовать большымъ, которыхъ онъ видѣть на кавказскихъ минеральныхъ водахъ.

«Питая горьки размышленія,
Среди печальной ихъ семьи,
Онѣгнѣнъ взоромъ сожалѣнья
Глядитъ на дымныя струи
И мыслить, грустью отуманенъ:
Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ бѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждаты! Тоска, тоска!»

Размышленія Вѣлинскаго, по поведѣнію этихъ бессмысленныхъ жалобъ, чрезвычайно любопытны; они даютъ намъ самое наглядное понятіе о глубокой искренности нашего великаго критика, о его необыкновенной правдивости и о его изумительной способности принимать за чистую монету каждое человѣческое слово, даже такое, въ которомъ очень нетрудно распознать самую грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь! восклицаетъ Вѣлинскій. Вотъ оно, то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ, и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное; безъ котурна, безъ ходуль, безъ драпировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тѣмъ ужаснѣе!.. Спать ночью, звать днемъ, видѣть, что всѣ изъ-за-чего-то хлопочутъ, чѣмъ-то заняты, одинъ — деньгами, другой — женитьбою, третій — болѣзнію, четвертый — нуждою и кровавымъ потомъ работы, — видѣть вокругъ себя и веселье, и печаль, и смѣхъ и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Вѣчному Жиду, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ; это страданіе не всѣмъ понятное, но оттого не меньше страшное. Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ; чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модною причудою». (Т. VIII. Стр. 554).

Я безъ малѣйшаго колебанія записываюсь въ ряды *тупой черни* и вѣстѣ съ этою *тупою чернью* радикально отрицаю и бенощадно осмѣиваю то ужасное страданіе, надъ которымъ такъ добродушно сокрушается Вѣлинскій. На Вѣчнаго Жиду россійскій помѣщикъ Онѣгнѣнъ

непохожъ нисколько и сравнивать ихъ между собою нѣтъ ни малѣйшей надобности. Вѣчный Жидъ, говорятъ, былъ такъ устроенъ, что никакъ не могъ умереть; вслѣдствіе этой странной особенности своего организма, онъ дѣйствительно имѣлъ полное основаніе мечтать о смерти, какъ о величайшемъ блаженствѣ. Но Онѣгинъ этого основанія вовсе не имѣетъ, и фантастическая фигура Вѣчнаго Жида, воплотившаго въ себѣ такое страданіе, которое далеко превышаетъ размѣры человѣческихъ силъ и человѣческаго терпѣнія, приплетена тутъ ни къ селу, ни къ городу. Бѣлинскій самъ подозрѣваетъ, что «онѣгинское страданіе» не *отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья*, но, по своей великодушной довѣрчивости, нашъ критикъ полагаетъ, что оно *тѣмъ ужаснѣе*.

Да, дѣйствительно ужасно! Такимъ страданіемъ страдаютъ въ водевилахъ неутѣшныя вдовы, которыя во время пьесы плачутъ о мужѣ и съвозъ слезы кокетничаютъ съ юнымъ офицеромъ, а передъ самымъ наденіемъ занавѣси вытираютъ глазки платочкомъ и объявляютъ расстроганнымъ зрителямъ въ заключительномъ куплетѣ, что спасительное время и новая любовь исплѣютъ самыя глубокія раны растерзанныхъ вдовьихъ сердецъ. У этихъ милыхъ вдовъ страданіе тоже сидитъ въ самой глубинѣ души, такъ глубоко, что не можетъ имѣть никакого вліянія на различныя отправленія физическаго организма. Сердце вдовы разбито, но тѣло ея жирѣетъ и процвѣтаетъ во все свое удовольствіе. Простое человѣческое страданіе, не водеvilное и не онѣгинское, не забирается въ такую недосыгаемую глубину, и, вслѣдствіе этого, разѣдаетъ и прожигаетъ насквозь тотъ организмъ, въ которомъ оно гнѣздится. Я долженъ признаться, что, какъ грубый реалистъ, я только это послѣднее, грубое и неглубокое страданіе считаю истиннымъ. Когда же несчастный страдалецъ спитъ по восьми часовъ въ сутки, ѣстъ, какъ здоровый бурлакъ, и толстѣетъ отъ глубокой печали, тогда я осмѣливаюсь утверждать, что этотъ цвѣтущій мученикъ — большой шутникъ, выкадывающий самыя уморительныя колѣнца. Посудите сами: не шутникъ ли этотъ Онѣгинъ? Вздумалъ насъ увѣрять, что онъ завидуетъ больнымъ и раненымъ! Но онъ насъ не обманетъ. Мы знаемъ очень хорошо, что зависть возможна только тогда, когда она направлена на такой предметъ, котораго завидующій человѣкъ не можетъ себѣ присвоить собственными силами. Больной можетъ завидовать здоровому, потому что больной не въ состояніи сдѣлаться здоровымъ по собственному желанію. Нищій можетъ завидовать миллионеру по той же самой причинѣ. Но въ обратномъ направленіи зависть не имѣетъ никакого смысла, потому что здоровый человѣкъ можетъ, когда ему заблагоразсудится, разотрѣть свое здоровье, а миллионеръ, во всякую даную минуту, можетъ превратиться въ нищаго. Зачѣмъ, говоритъ Онѣгинъ, я пулей въ грудь не раненъ? — Ну, не шутъ ли онъ гороховый? Это

онъ говоритъ на Кавказѣ и говоритъ въ то время, когда Кавказъ еще не былъ покоренъ и замиренъ. Да кто-жъ ему мѣшаетъ поступить инженеромъ въ дѣйствующую армію и получить въ грудь не только одну пулю, а пожалуй даже, хоть цѣлую дюжину? Но ему вовсе не хочется имѣть въ груди пулю; ему желательно только разсуждать объ удовольствіи быть раненнымъ, о блаженствѣ тульского засѣдателя, лежащаго въ параличѣ, и о великомъ несчастьи того человѣка, который молодъ и чувствуетъ въ себѣ присутствіе крѣпкой жизни. О всѣхъ этихъ предметахъ онъ разсуждаетъ совершенно безпрепятственно; довѣрчивые люди принимаютъ его слова за чистую монету; на него смотрятъ, какъ на загадочную личность; его отдѣляютъ отъ толпы не какъ шута горохового, а какъ высшую натуру; значитъ, онъ катается, какъ сыръ въ маслѣ, и сокрушеніе Бѣлинскаго надъ его несуществующими страданіями не имѣетъ рѣшительно никакого основанія. Бѣлинскій, очевидно, принялъ Онѣгина за другого, хоть бы, напримѣръ, за Бельтова, за того чиновника, который не дослужилъ до пражки четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ. Но вѣдь Бельтовъ не истратилъ своей молодости на обольщеніе записныхъ кокетокъ; Бельтовъ не былъ способенъ убить друга изъ низкой трусости; Бельтовъ никогда не мечталъ о пріятности имѣть въ груди пулю и никогда не завидовалъ ни тульскому засѣдателю, ни бѣдному откупщику. Словомъ, Бельтовъ такъ же далекъ отъ Онѣгина, какъ творецъ Бельтова далекъ отъ Пушкина.

Я рѣшительно не могу объяснить себѣ, какимъ образомъ Бѣлинскій смѣшалъ эти два совершенно различные типа? Онѣгинъ — ничто иное, какъ Митрофанушка Простаковъ, одѣтый и причесанный по столичной модѣ двадцатыхъ годовъ; у нихъ даже и внѣшніе приемы почти одни и тѣ же: Митрофанушка говоритъ: не хочу учиться, хочу жениться; а Онѣгинъ изучаетъ «науку страсти нѣжной» и задерживаетъ траурной тафтой всѣхъ мыслителей XVIII вѣка. Бельтовъ, напротивъ того, вмѣстѣ съ Чацкимъ и Рудиннымъ изображаютъ собою мучительное пробужденіе русскаго самосознанія. Это люди мысли и горячей любви. Они тоже скучаютъ, но не отъ умственной праздности, а оттого, что вопросы, давно рѣшенные въ ихъ умѣ, еще не могутъ быть даже поставлены въ дѣйствительной жизни.

Время Бельтовыхъ, Чацкихъ и Рудинныхъ прошло навсегда съ той минуты, какъ сдѣлалось возможнымъ появленіе Базаровыхъ, Лопуховыхъ и Рахметовыхъ; но мы, повѣйшіе реалисты, чувствуемъ свое кровное родство съ этимъ отжившимъ типомъ; мы узнаемъ въ немъ нашихъ предшественниковъ, мы уважаемъ и любимъ въ немъ нашихъ учителей, мы понимаемъ, что безъ нихъ не могло бы быть и насъ. Но съ онѣгинскимъ типомъ мы не связаны рѣшительно ничѣмъ; мы ничѣмъ ему не обязаны; это типъ бесплодный, неспособный ни къ развитію, ни къ пе-

перожденію; онѣгинская скука не можетъ произвести изъ себя ничего, кромѣ нелѣпостей и гадостей. Онѣгинъ скучаетъ, какъ толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалѣетъ о томъ, что не можетъ выпить ихъ тридцать-три. Еслибъ человѣческое брюхо не имѣло предѣловъ, то онѣгинская скука не могла бы существовать. Бѣлинскій любитъ Онѣгина по недоразумѣнію, но со стороны Пушкина тутъ нѣтъ никакихъ недоразумѣній.

VI.

Теперь я начинаю разбирать характеръ Татьяны и ея отношенія къ Онѣгину. Вводя насъ въ семейство Ларинныхъ, Пушкинъ тотчасъ старается предрасположить насъ въ пользу Татьяны; эта, дескать, старшая, Татьяна, пускай будетъ интересная личность, высшая натура и героиня; а та, младшая, Ольга, пускай будетъ неинтересная личность, простая натура и пріятная фигурка. Довѣрчивые читатели, конечно, тотчасъ предрасполагаются и начинаютъ смотрѣть на каждый поступокъ и на каждое слово Татьяны совсѣмъ иначе, чѣмъ какъ они стали бы смотрѣть на такіе же поступки и на такіе же слова, сдѣланные и произнесенныя Ольгой. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ. Господинъ Пушкинъ изволятъ быть знаменитымъ сочинителемъ. Стало быть, если господинъ Пушкинъ изволятъ любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкіе читающіе люди, обязаны питать къ той же Татьянѣ нѣжныя и почтительныя чувства. Однако же, я попробую отрѣшиться отъ этихъ предвзятыхъ чувствъ любви и уваженія. Я взгляну на Татьяну, какъ на совершенно незнакомую мнѣ дѣвушку, которой умъ и характеръ должны раскрываться предо мною не въ рекомендательныхъ словахъ автора, а въ ея собственныхъ поступкахъ и разговорахъ.

Первый поступокъ Татьяны—ея письмо къ Онѣгину. Поступокъ очень крупный и до такой степени выразительный, что въ немъ сразу раскрывается весь характеръ дѣвушки. Надо отдать полную справедливость Пушкину: характеръ выдержанъ превосходно до конца романа; но здѣсь, какъ и вездѣ, Пушкинъ понимаетъ совершенно превратно тѣ явленія, которыя онъ рисуетъ совершенно вѣрно. Представьте себѣ живописца, который, желая нарисовать цвѣтущаго юношу, взялъ бы себѣ въ натурщи чахоточнаго больного, на томъ основаніи, что у этого больного играетъ на щекахъ очень яркій румянецъ. Точно такъ поступаетъ и Пушкинъ. Въ своей Татьянѣ онъ рисуетъ съ восторгомъ и съ сочувствіемъ такое явленіе русской жизни, которое можно и должно рисовать только съ глубокимъ состраданіемъ или съ рѣзкою ироніею.

Что я не клевету на Пушкина, приписывая ему восторгъ и сочувствіе, это я могу доказать многочисленными цитатами. На первый случай достаточно будетъ привести XXXI строфу III-ей главы.

«Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу,
Читаю съ тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушалъ и эту нѣжность,
И словъ любовную небрежность?
Кто ей внушалъ умильный вздоръ,
Безумный сердца разговоръ
И увѣкательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вотъ
Неполный, слабый переводъ,
Съ живой картины списокъ блѣдный
Или разыгранный Фрейшицъ
Перстами робкихъ ученицъ».

Чтобы читатели поняли послѣднюю фразу, я долженъ имъ напомнить, что, какъ говоритъ Пушкинъ въ XXVI строфѣ, письмо Татьяны было написано по французски. Посмотримъ теперь, что это за письмо и при какихъ условіяхъ Татьяна почувствовала необходимость писать къ Онѣгину.

Онѣгинъ, во все продолженіе романа, былъ у Ларинныхъ три раза. Въ первый разъ тогда, когда Ленскій его представилъ и когда ихъ обоихъ угощали вареньемъ и брусничною водою. Во второй разъ тогда, когда онъ получилъ письмо Татьяны. И въ третій разъ на именинахъ Татьяны. Передавая Онѣгину приглашеніе Ларинныхъ на именины, Ленскій говоритъ ему:

«А то, мой другъ, сули ты самъ:
Два раза заглянулъ, а тамъ
Ужъ къ нимъ и носу не покажешь.»

Значить, до именинъ было дѣйствительно только два визита, и мы не имѣемъ никакой возможности предполагать, чтобы нѣкоторые визиты Онѣгина были пройдены молчаніемъ въ романѣ. Значить, Татьяна влюбилась въ Онѣгина *сразу* и рѣшилась къ нему написать письмо, проникнутая самою странною нѣжностью, видѣвши его всего только одинъ разъ. Но что же такое произошло во время этого перваго свиданья? Въ какихъ поступкахъ, въ какомъ разговорѣ обнаружился обаятельный особенности онѣгинскаго ума и характера?

Если бы «Евгеній Онѣгинъ» былъ сочиненъ мною, то, можетъ быть, я былъ бы въ состояніи отвѣчать на эти вопросы, которые неизбежно должны возникнуть въ умѣ cadaго внимательнаго читателя, неспособнаго удовлетворяться одною звучностью и плавностью стиха. Но такъ какъ я неповиненъ въ сочиненіи «Евгенія Онѣгина», то, въ отвѣтъ на эти неизбежные вопросы, я могу только выписать разсказъ объ этомъ первомъ визитѣ, погубившемъ прелестную Татьяну во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ.

— — «Поскакали други,
Явились; имъ расточены
Порой тяжелыя услуги
Гостепріимной старины.
Обрядъ извѣстный угощенья:
Несутъ на блюдечкахъ варенья,
На столикъ ставятъ воцаной
Кувшинъ съ брусничною водой». (Гл. III. Стр. III.)

Затѣмъ слѣдуетъ пять строкъ точекъ, а потомъ «они дорогой самой краткой
домой летятъ во весь опоръ». Летя домой, они разговариваютъ между
собою, и изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что Онѣгинъ выпилъ нѣкоторое
количество брусничной воды и боится отъ нея дурныхъ послѣдствій.
Пожаловавшись на брусничную воду, Онѣгинъ спрашиваетъ: «скажи,
которая Татьяна?»—Ленскій отвѣчаетъ:

«Да та, которая грустна
И молчалива, какъ Свѣтлана,
Вошла и сѣла у окна».

Знакомство было, очевидно, самое поверхностное, когда Онѣгинъ
даже не знаетъ, «которая Татьяна». Легко можетъ быть, что Онѣгинъ
не сказалъ съ Татьяною ни одного слова; это обстоятельство тѣмъ
болѣе правдоподобно, что Ленскій называетъ Татьяну молчаливой; по
всей вѣроятности, разговоромъ владѣла постоянно старуха Ларина;
Онѣгинъ, на возвратномъ пути, говорить о ней:

«А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка.»

Значить, онъ только объ одной старухѣ и успѣлъ составить себѣ
довольно опредѣленное понятіе. А въ разговорѣ съ *простою* старухой
онъ, очевидно, не могъ высказать ничего такого замѣчательнаго, что
оправдывало бы или объясняло бы возникновеніе внезапнаго и страстнаго
чувства въ душѣ умной и разсудительной дѣвушки. Какъ бы то ни было,
результатомъ перваго, совершенно поверхностнаго знакомства Татьяны съ
Онѣгинымъ оказалось то знаменитое письмо которое Пушкинъ *свято бере-
жетъ и читаетъ съ тайною тоскою*. Татьяна начинаетъ свое письмо довольно
умѣренно; она выражаетъ желаніе видѣть Онѣгина хоть разъ въ недѣлю,
чтобъ только слышать его рѣчи, чтобы молвить ему слово и чтобы потомъ
день и ночь думать о немъ до новой встрѣчи. Все это было бы очень
хорошо, если бы мы знали, какія это рѣчи такъ понравились Татьянѣ
и какое слово она желаетъ молвить Онѣгину. Но, къ сожалѣнію, намъ
достоверно извѣстно, что Онѣгинъ не могъ говорить старухѣ Лариной
никакихъ замѣчательныхъ рѣчей и что Татьяна не вымолвила ни одного
слова. Если же она желаетъ молвить слова, подобныя тѣмъ, которыми
она наполняетъ свое письмо, то ей, право не зачѣмъ приглашать Онѣ-

гина въ недѣлю разъ, потому что въ этихъ словахъ нѣтъ никакого смысла, и отъ нихъ не можетъ быть никакого облегченія ни тому, кто ихъ произноситъ, ни тому, кто ихъ выслушиваетъ. Татьяна, повидимому предчувствуетъ, что Онѣгинъ не станетъ ѣздить къ нимъ разъ въ недѣлю, чтобы говорить ей рѣчи и выслушивать слова; вслѣдствіе этого, начинаются въ письмѣ нѣжныя упреки; ужь если, дескать, не будете вы, коварный тиранъ, ѣздить къ намъ разъ въ недѣлю, такъ не зачѣмъ было и показываться у насъ; безъ васъ, я бы, можетъ быть, сдѣлалась вѣрною женою и добродѣтельною матерью; а теперь я, по вашей милости, жестокой мужчина, пропадать должна. Все это, разумѣется, изложено самымъ благороднымъ тономъ и втиснуто въ самые безукоризненные четырехстопные ямбы.—Ни за кого я нехочу замужъ идти, продолжаетъ Татьяна, а за тебя даже очень хочу, потому что «то въ высшемъ суждено совѣтъ... то воля неба я твоя», и потому что ты мнѣ посланъ богомъ и ты мой хранитель по гробъ моей жизни. Тутъ Татьяна какъ будто спохватилась и, вѣроятно, подумала про себя: что-жъ это я, однако, за глупости пишу, и съ какой стати я это такъ раскутилась? Вѣдь я его всего на всего только одинъ разъ видала. Такъ нѣтъ же вотъ, продолжаетъ она: не одинъ разъ; не такая же я, въ самомъ дѣлѣ, шальная дура, чтобы вѣшаться на шею первому встрѣчному: я влюбилась въ него потому, что онъ мой идеалъ; а я ужь давно мечтаю объ идеалѣ, значить, я видѣла его много разъ; волосы, усы, глаза, носъ—все, какъ есть, такъ какъ должно быть у идеала; и кромѣ того, въ высшемъ совѣтѣ такъ суждено; и кромѣ того, во всѣхъ романахъ г-жи Коттенъ и г-жи Жанлисъ такъ дѣлается; значить, не о чемъ и толковать: влюблена я въ него до безумія, буду ему вѣрна въ сей жизни и въ будущей, буду о немъ мечтать денно и нощно и напишу къ нему такое пламенное письмо, отъ котораго затрепещетъ самое безчувственное сердце. Затѣмъ Татьяна бросаетъ въ сторону послѣдніе остатки своего здраваго смысла и начинаетъ взводить на несчастнаго Онѣгина самыя неправдоподобныя напраслины. «Ты въ сновидѣніяхъ мнѣ являлся».—Да я-то чѣмъ же виноватъ? подумаетъ Онѣгинъ. Мало ли что ей могло присниться? Не отвѣчать же мнѣ за всякую глупость, какую она во снѣ видѣла.

«Въ душѣ твоей голосъ раздавался
Давно... нѣтъ, это былъ не сонъ!»

Вотъ тебѣ разъ! Даже не сонъ. Теперь она еще нагородитъ, что я къ ней на яву приходилъ. И она дѣйствительно городитъ это:

«Ты говорилъ со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала
Или молитвой улаживала
Тоску волнуемой души.»

«Ого, съ вашей стороны, очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете беднымъ и усердно молитесь богу; не только вѣчить вы сочиняете неблаженныя? Отъ роду я никогда съ вами не говорилъ ни въ тиши, ни въ шумѣ; и вы сами это очень хорошо знаете.—Объ каждой дальнейшей строчкѣ письма Татьяна завирается хуже и хуже, по русской пословицѣ: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ».

«И въ это самое мгновеніе
Не ты ли, милое видѣнье,
Въ прозрачной темнотѣ мелькнулъ,
Приникнулъ тихо къ изголовью?»

Да престаньте же наконецъ, Татьяна Дмитриевна. Вѣдь вы ужъ до галлюцинацій договорились. Во-первыхъ, я совсѣмъ не видѣнье, а вашъ сосѣдъ, русскій дворянинъ и помѣщикъ, Олѣгинъ, пріѣхавшій въ деревню получить наслѣдство отъ дяди. Это дѣло совершенно практическое, и никакія милныя видѣнія подобными дѣлами не занимаются. Во-вторыхъ, за маминъ я дьяволомъ буду мелкать по ночамъ въ прозрачной темнотѣ и тихо приникать къ вашему изголовью! Мельканіе — дѣло очень скучное и безполезное; а тихое приниканіе привело бы въ неописанный ужасъ вашу добрую мамину, которую я отъ души уважаю за ея простоту. И наконецъ, могу вамъ объявить разъ навсегда, что я по ночамъ не мелкаю, а сплю, тѣмъ болѣе, что и все мое интересное страданіе, по справедливому закрѣпленію г. Бѣлинскаго, состоитъ въ томъ, что я ночью сплю, а днемъ живу. Значитъ, мелкать мнѣ некогда, и я могу вамъ сказать по совѣсти, что если бы вы подражали моему благоразумному приѣзду, то есть, крѣпко опали бы по ночамъ, вмѣсто того, чтобы мечтать о писанныхъ красавчикахъ и читать раздражающіе романы, то вы никогда не стали бы увѣрять меня въ томъ, что вы видали меня во снѣ, что мой голосъ раздавался въ вашей душѣ и что я приникаю къ вашему изголовью. Вы бы тогда понимали очень хорошо, что все это — пустая, смѣнная и безтолковая болтовня.

Видно бы очень недурно и очень полезно для Татьяны, если бы Олѣгинъ отвѣчалъ ей словесно или письменно въ томъ рѣзко-насмѣшливомъ и холодно-трезвомъ тонѣ, въ какомъ я написалъ отъ его лица нѣсколько фразъ. Такой отвѣтъ, конечно, заставилъ бы Татьяну пролить несмѣтное количество слезъ; но если только мы допустимъ предположеніе, что Татьяна была неглупа отъ природы, что ея врожденный умъ не былъ еще окончательно истребленъ безтолковыми романами и что ея нервная система не была вполне разстроена ночными мечтаніями и сладкими сновидѣніями, — то мы придемъ къ тому убѣжденію, что горькія слезы, пролитыя ею, надъ прозаическимъ отвѣтомъ жестокаго идеала, должны были бы произвести во всей умственной жизни не-

обходимый и чрезвычайно благодѣтельный перевертокъ. Глубокая рана, нанесенная ей самолюбію, мгновенно потребила бы ея фантастическую любовь къ очаровательному сосѣду. Что-жь, подумала бы она, должно быть, это въ самомъ дѣлѣ не онъ мелькалъ въ прозрачной темнотѣ. А если не онъ, такъ кто же? Да, должно быть, никто не мелькалъ. И зачѣмъ это я ему такъ много глупостей написала? И зачѣмъ это и сама такъ много о разныхъ глупостяхъ думаю? И зачѣмъ это я по ночамъ мечтаю? И зачѣмъ это я такія книги читаю, въ которыхъ пишутъ только о мечтаніяхъ, мельканіяхъ и прикиданіяхъ?

Татьяна увидала бы ясно, что ея любовь къ Онѣгину, лопнувшая, какъ мыльный пузырь, была только поддѣлкою любви, смѣшною и жалкою пародіею на любовь, безцѣльною и мучительною игрою празднаго воображенія; она поняла бы въ то же время, что эта ошибка, ставшая ей многихъ слезъ и заставляющая ее краснѣть отъ стыда и досады, была естественнымъ и необходимымъ выводомъ изъ всего строя ея понятій, которыя она черпала съ страстною жадностью изъ своего беспорядочнаго чтенія; она сообразила бы, что ей надо застраховать себя на будущее время отъ повторенія подобныхъ ошибокъ, и что для такого застрахованія ей необходимо изломать и перестроить заново весь міръ ея идей. Необходимо или отыскать себѣ другое, адронное чтеніе, или, по крайней мѣрѣ, прислониться въ дѣйствительной жизни къ какому нибудь хорошему и разумному дѣлу, которое могло бы неостановленно поддерживать въ ней умственную трезвость и отвлекать ее отъ туманной области наркотическихъ мечтаній. Такое хорошее и разумное дѣло отыскать нетрудно; намекъ на него существуетъ даже въ нѣкоторыхъ письмахъ Татьяны; она говоритъ, что помогаетъ бѣднымъ; — ну, и помогай; но только займись этимъ дѣломъ серьезно и смотри на него, какъ на постоянный и любимый трудъ, а не какъ на дешовое средство стереть съ своей совѣсти кое-какіе микроскопическіе грѣшки. Имѣй въ виду, при этомъ помоганіи, дѣйствительныя потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бѣдному копѣечку и тотомъ погладить себя за это по головкѣ. Словомъ, не смотря на пустоту и безцвѣтность той жизни, на которую была осуждена Татьяна съ самаго дѣтства, наша героиня все таки имѣла возможность дѣйствовать въ этой жизни съ пользою для себя и для другихъ, и она непременно принялась-бы за какую нибудь скромную, но полезную дѣятельность, если бы нашелся умный человѣкъ, который бы энергическимъ словомъ и рѣзкою насмѣшкою выбросилъ ее вонъ изъ ядовитой атмосферы фантастическихъ видѣній и глупыхъ романовъ.

Но, разумѣется, Онѣгинъ, стоящій на одномъ уровнѣ умственнаго развитія съ самимъ Пушкинымъ и съ Татьяною, не могъ своимъ вліяніемъ охладить беспорядочныя порывы ея разгоряченнаго воображенія.

Онѣгину очень понравилось скупасбродное письмо фантазирующей барини.

«...Получивъ посланье Тани,
Онѣгинъ живо тронутъ былъ:
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмучилъ;
И вспомнилъ онъ Татьяны милой
И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылый;
И въ сладостный, безгрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ.» (Гл. IV. Стр. XI).

Онѣгину представлялась возможность расположить свои отношенія къ Татьянѣ по одному изъ четырехъ слѣдующихъ плановъ: во-первыхъ, онъ могъ на ней жениться; во-вторыхъ, онъ, въ своемъ объясненіи съ нею, могъ осмѣять ея письмо; въ третьихъ, онъ, въ этомъ же объясненіи, могъ деликатно отклонить ея любовь, наговоривши ей, при семъ удобномъ случаѣ, множество любезностей на счетъ ея прекрасныхъ качествъ; въ-четвертыхъ, онъ могъ поиграть съ нею, какъ кошка играетъ съ мышкою, то есть, могъ измучить, обезчестить и потомъ бросить ее.

Жениться Онѣгинъ не хотѣлъ, и онъ самъ очень наивно объясняетъ Татьянѣ причину своего нежеланія. «Я, сколько не любилъ бы васъ, привыкнувъ, разлюблю тотчасъ». Соблазнять ее онъ тоже не желаетъ, отчасти потому, что онъ не подлецъ, а отчасти и потому, что это дѣло ведетъ за собою слезы, сцены и множество непріятныхъ хлопотъ, особенно когда дѣйствующимъ лицомъ является такая энергическая и восторженная дѣвушка, какъ Татьяна. Въ онѣгинскія времена уровень нравственныхъ требованій стоялъ такъ низко, что Татьяна, вышедши замужъ, въ концѣ романа считаетъ своею обязанностью благодарить Онѣгина за то, что онъ вступилъ съ нею благородно. А все это благородство, которое Татьяна никакъ не можетъ забыть, состояло въ томъ, что Онѣгинъ не оказался въ отношеніи къ ней воромъ.—И такъ, два плана, первый и четвертый, отвергнуты. Второй планъ для Онѣгина неосуществимъ; осмѣять письмо Татьяны онъ не въ состояніи, потому что онъ самъ, подобно Пушкину, находилъ это письмо не смѣшнымъ, а трогательнымъ. Насмѣшка показалась бы ему профанаціею и жестокостью, потому что ни Онѣгинъ, ни Пушкинъ не имѣютъ понятія о той высшей и вполне сознательной гуманности, которая очень часто заставляетъ мыслящаго человѣка произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло бы Татьяну, но оно было бы для нея несравненно полезнѣе, чѣмъ всѣ сладости, рассыпанныя въ рѣчи Онѣгина. Но время Онѣгина не было временемъ той göttliche Grobheit, которую совершенно справедливо превозноситъ Берне. Онѣгинъ рѣшился поднести Татьянѣ золоченую пилюлю, которая не могла подѣйствовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Рѣчь Онѣ-

гина, занимающая въ романѣ пять строфъ, вся цѣликомъ, какъ-будто нарочно, направлена къ тому, чтобы еще больше закружить и оглушить бѣдную голову Татьяны. «Я, говоритъ Онѣгинъ,

прочелъ

Души довърчивой признанья,
Любви невинной изліянья;
Мнѣ ваша искренность мила (тонъ довольно султанскій!);
Она въ волненье привела
Давно умолкнувшія чувства.»

Съ самаго начала Онѣгинъ дѣлаетъ грубую и непоправимую ошибку; онъ принимаетъ любовь Татьяны за дѣйствительно-существующій фактъ; а ему, напротивъ того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсѣмъ не любитъ и не можетъ любить, потому что съ перваго взгляда люди влюбляются только въ глупыхъ романахъ.

«Когда-бъ семейственной картиной, (продолжаетъ Онѣгинъ),
Плѣнился я хоть мигъ единой,
То вѣрно-бъ, кромя васъ одной,
Невѣсты не искалъ иной.»

Это все, за безтолковое письмо; разумеется, послѣ этихъ словъ, сама Татьяна будетъ смотрѣть на свое посланіе, какъ на образцовое произведеніе, отразившее въ себѣ самое неподдѣльное чувство, самый замѣчательный умъ. Эти лестныя и, къ сожалѣнію, искреннія слова Онѣгина должны подѣйствовать на бѣдную Татьяну такъ, какъ подѣйствовала на несчастнаго Донъ-Кихота его побѣда надъ цирюльникомъ и завоеваніе жѣднаго таза, который немедленно былъ переименованъ въ въ шлемъ Мамбрина. Добывши себѣ трофей, Донъ-Кихотъ, очевидно, долженъ былъ утвердиться въ томъ печальномъ заблужденіи, что онъ дѣйствительно странствующій рыцарь и что онъ дѣйствительно можетъ и долженъ совершать великіе подвиги. Выслушавъ комплименты Онѣгина, Татьяна точно также должна была утвердиться въ томъ, столь же печальномъ заблужденіи, что она очень влюблена, очень страдаетъ и очень похожа на несчастную героиню какого нибудь раздирательнаго романа. Каждое дальнѣйшее слово Онѣгина подноситъ несчастному Донъ-Кихоту новыя шлемы Мамбрина. Онѣгинъ объявляетъ своей собесѣдницѣ «безъ блесковъ мадригальныхъ», что онъ нашелъ въ ней свой «прежній идеалъ», но что, въ крайнему своему сожалѣнію, онъ, по дробности своего сердца, никакъ не можетъ воспользоваться этой пріятной находкой:

«Напрасны ваши совершенства:
Ихъ вовсе недостойнъ я»

«И того-ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда съ такою простотой,

Съ такимъ умомъ ко мнѣ писали? —

Я васъ люблю любовью брата,
И, можетъ быть, еще нѣжливѣй..

Длинный хвалебный гимнъ Онѣгина заканчивается плоскимъ и безцвѣтнымъ правоученіемъ, которое находится въ непримиримомъ разладѣ со всѣми предыдущими комплиментами и которое, вслѣдствіе этого, разумѣется, будетъ пропущено Татьяною мимо ушей:

«Учитесь властвовать собою,
Не всякій васъ, какъ я, койметъ:
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.»

— Къ какой же бѣдѣ? должна подумать Татьяна. Благодаря моей неопытности, я написала къ нему письмо, въ которомъ онъ нашелъ очень много ума и очень много простоты; благодаря моей неопытности, я раскрыла передъ нимъ мои совершенства, я обнаружила передъ нимъ чистую пламенность моей души, я попала въ прежніе идеалы и возбудила въ немъ любовь брата и, можетъ быть, другую любовь, еще болѣе нѣжную. А не напиши я этого письма, такъ ничего бы этого не случилось. А если онъ говоритъ, что не всякій меня пойметъ, то вѣдь мнѣ до всякаго нѣтъ никакого дѣла. Сердце мое наполнено навсегда моею несчастною любовью, и я до дверей холодной могилы буду влечить въ моемъ истерзанномъ сердцѣ эту несчастную любовь по тернистому пути моей мучительной жизни.

Что Татьяна разсуждаетъ именно такимъ образомъ и что ея мысли облекаются въ ея головѣ именно въ такія напыщенные формы, — это мы видимъ, между прочимъ, изъ тѣхъ размышленій, которыми она занимается ночью послѣ дня своихъ именинъ, когда она сидитъ

«Одна, печально подь окномъ
Озарена лучомъ Діаны.» —

«Погибну, Таяя говорить:
Но гибель отъ него любезна.
Я не ропщу: зачѣмъ роптать?
Не можетъ онъ мнѣ счастья дать.»

Голова несчастной дѣвушки до такой степени засорена всякою дрянью и до такой степени разгорячена глупыми комплиментами Онѣгина, что нелѣпыя слова: «гибель отъ него любезна», произносятся съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень добросовѣстно проводятся въ жизнь. Забыть Онѣгина, прогнать мысль о немъ какиминибудь дѣльными занятіями, подумать о какомънибудь новомъ чувствѣ и вообще превратиться какиминибудь средствами изъ несчастной страдальцы въ обыкновенную, здоровую и веселую дѣвушку, — все это возвышенная Татьяна считаетъ для себя величайшимъ безчестіемъ; это, по ея мнѣнію, значило бы свалиться съ неба на землю, смѣшаться съ пошлою толпою, погрузиться

въ грязный омутъ житейской прозы. Она говоритъ, что «гибель отъ него любезна», и поэтому находитъ, что гораздо величественнѣе страдать и чахнуть въ мірѣ воображаемой любви, чѣмъ жить и веселиться въ сферѣ презрѣнной дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ, ей удастся довести себя слезами, бессонными ночами и печальными размышленіями подъ лучомъ Дианы до совершеннаго изнеможенія.

«Увы, Татьяна утѣдась,
Блѣднѣетъ, гаснетъ и молчитъ!
Ничто ее не занимаетъ,
Ея души не шевелитъ».

И все это, въ значительной степени, было результатомъ ея разговора съ Онѣгинымъ.

«Что было слѣдствіемъ свиданья?
Увы, нетрудно угадать!
Люви безумныя страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нѣтъ, пуще страстью безотрадной
Татьяна бѣдная горитъ».

Читатель видитъ теперь, что утонченная любезность Онѣгина приносила самые богатые плоды.

VII.

Послѣ отъѣзда Онѣгина изъ деревни, Татьяна, стараясь поддержать въ себѣ неугасимый огонь своей вѣчной любви, посѣщаетъ неоднократно кабинетъ уѣхавшаго идеала и читаетъ съ большимъ вниманіемъ его книги. Съ особеннымъ любопытствомъ вглядывается и вдумывается она въ тѣ страницы, на которыхъ рукою Онѣгина сдѣлана какая нибудь отмѣтка. Такимъ образомъ, она прочитала сочиненія Байрона и нѣсколько романовъ,

«Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человекъ
Изображенъ довольно вѣрно».

«И ей открылся міръ иной», объявляетъ намъ Пушкинъ. Слова: «міръ иной», должны, повидимому, обозначать собою новый взглядъ на человѣческую жизнь вообще и на личность Онѣгина въ особенности. Затѣмъ Пушкинъ продолжаетъ:

«И начинаетъ понемногу,
Моя Татьяна понимать
Теперь ясное, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать

Осуждена судьбою властной:
 Чудакъ печальный и опасный,
 Созданіе ада иль небесъ,
 Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
 Что-жъ онъ? уже ли подражанье,
 Ничтожный призракъ, иль еще
 Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,
 Чужихъ причудъ истолкованье,
 Словъ модныхъ полный лексиконъ?
 Ужъ не пародія ли онъ?
 Уже-ль загадку разрѣшила?
 Уже ли слово найдено?» (Гл. VII. Стр. XXIV, XXV).

Невозможно понять, зачѣмъ Пушкинъ навязалъ Татьянѣ всѣ эти критическія размышленія и зачѣмъ онъ хочетъ насъ увѣрить, что ей открылся міръ иной. Этотъ «міръ иной» и эти размышленія о москвичѣ въ гарольдовомъ плащѣ не обнаруживаютъ ни малѣйшаго вліянія ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ея поступки. До открытія новаго міра она воображала себя, что влюблена по гробъ жизни; послѣ своего открытія, она остается при томъ же самомъ убѣжденіи. До открытія новаго міра она безпрекословно повиновалась мамашѣ; и послѣ открытія она продолжаетъ повиноваться также безпрекословно. Это съ ея стороны очень похвально, но для того, чтобы повиноваться мамашѣ въ самыхъ важныхъ случаяхъ жизни, не было ни малѣйшей надобности открывать новый міръ, потому что и старый нашъ міръ основанъ цѣлкомъ на смиреніи и послушаніи.

Пока Татьяна въ кабинетѣ Онѣгина открываетъ новыя міры, однанъ изъ жителей стараго міра совѣтуетъ ея мамашѣ повезти дочь «въ Москву, на ярмарку невѣстъ». Ларина соглашается съ этой мыслью, и когда Татьяна узнаетъ объ этомъ рѣшеніи, тогда она, съ своей стороны, не представляетъ никакихъ возраженій. Надо полагать, что «ярмарка невѣстъ» занимаетъ очень почетное мѣсто въ томъ новомъ мірѣ, который открыла Татьяна. Но если новый міръ допускаетъ ярмарку невѣстъ, то любопытно было бы узнать, чѣмъ онъ отличается отъ стараго міра и какая надобность была его открывать?

Въ Москвѣ Татьяна ведетъ себя именно такъ, какъ обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливою родительницею на ярмарку невѣстъ. Разумѣется,

«Ей душно здѣсь... она мечтой
 Стремится къ жизни поленой,
 Въ деревню къ бѣднымъ поселенямъ,
 Въ одушевленный уголокъ, гдѣ
 Льетъ свѣтлый ручеекъ,
 Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ
 И въ сумракъ липовыхъ аллей, —
 Туда, гдѣ онъ явился ей». (Гл. VII. Стр. LIII).

Но вѣдь это все пустяя слова, и навѣнъ былъ бы тотъ читатель, который бы принялъ ихъ за чистую монету. Куда бы она ни стремилась мечтой — это рѣшительно все равно. Тѣло ея, затаенное въ корсетъ, во всякомъ случаѣ, находится тамъ, гдѣ ему велятъ находиться, и дѣлаетъ именно тѣ движенія, которыя ему прикажутъ дѣлать. Въ то время, когда она стремится въ сумракъ ливневыхъ аллей, двѣ тетушки предписываютъ ей смотрѣть налѣво, на толстаго генерала, и она смотритъ. Потомъ ей приказываютъ выйти замужъ за этого толстаго генерала, и она выходитъ за него замужъ.

Если всѣ эти дѣйствія находятся въ строгомъ согласіи съ законами ея новаго міра, то я осмѣливаюсь думать, что она съ большимъ удобствомъ могла бы избавить себя отъ труда производить свои открытія, потому что всѣ эти открытія были давно уже сдѣланы самими отдаленными ея предками. Я полагаю, что въ умственной жизни Татьяны Онѣгинскія книжки не произвели никакого переворота. Татьяна до конца романа остается тѣмъ самымъ рыцаремъ печальнаго образа, казавшійся ей въ ея письмѣ къ Онѣгину. Ея болѣзненно-развитое воображеніе постоянно создаетъ ей поддѣльныя чувства, поддѣльныя потребности, поддѣльныя обязанности, цѣлую искусственную программу жизни, и она выполняетъ эту искусственную программу съ тѣмъ поразительнымъ упорствомъ, которымъ обыкновенно отличаются люди, одержимые какою нибудь мономаніею. Она вообразила себѣ, что влюблена въ Онѣгина, и дѣйствительно влюбила себя въ него, начала пылать страстью и дѣлать глупости, подобныя кувырканьямъ влюбленнаго Донъ-Быхота въ горахъ Сіерры-Морены. Потомъ она вообразила себѣ, что ея жизнь разбита, и, вслѣдствіе этого, начала худѣть и блѣднѣть. Потомъ, видя, что ей не удастся умереть, она себѣ вообразила, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя въ полное распоряженіе своимъ родственницъ, которыя повезли ее на ярмарку невѣстъ и тамъ сбыли ее; какъ хорошій товаръ, толстому генералу. Очутившись въ рукахъ своего новаго хозяина, она вообразила себѣ, что она превращена въ украшеніе генеральскаго дома; тогда всѣ силы ея ума и ея воли, направились къ той цѣли, чтобы на это украшеніе не попало ни одной пылинки. Она поставила себя подъ стеклянный колпакъ и обязала себя простоять подъ этимъ колпакомъ въ теченіе всей своей жизни. И сама она смотритъ на себя со стороны и любитъ свою неприкосновенность и твердость своего характера. Миѣ, думаетъ она, очень скучно подъ колпакомъ, а я все-таки изъ подъ него не выйду ни для кого на свѣтѣ, потому что я — украшеніе генеральскаго дома; а генералъ приобрѣлъ меня не за тѣмъ, чтобы я жила въ свое удовольствіе.

Онѣгинъ встрѣчается съ нею въ Петербургѣ въ то время, когда она, драпируясь въ свою неприкосновенность, уже украшаетъ своею

кланявшись съ мужчинами, взглянулъ на сцену въ¹ большомъ развѣяннѣ, потомъ даже отворотился и зѣвнулъ, и молвилъ:

«Всѣхъ пора на смѣну,
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надоѣлъ».

Приведа это суровое анти-балетное восклицаніе разочарованнаго Онѣгина, Пушкинъ самъ почувствовалъ, что онъ ставитъ своего героя въ довольно смѣшное положеніе, потому что люди, дѣйствительно обладающіе рѣзкимъ и охлажденнымъ умомъ, не стануть тратить своей ироніи на отрицаніе балетмейстера Дидло и дамскихъ уборовъ. Почувствовавъ смѣшное положеніе Онѣгина, Пушкинъ придѣлалъ къ XXI строфѣ слѣдующее юмористическое примѣчаніе: «Черта охлажденнаго чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображенія и прелести необыкновенной. Одинъ изъ нашихъ романтическихъ писателей находилъ въ нихъ гораздо болѣе поэзіи, нежели во всей французской литературѣ». Этимъ примѣчаніемъ Пушкинъ, очевидно, хотѣлъ показать, что онъ самъ подтруниваетъ надъ бутадою Онѣгина и не принимаетъ этой бутады за симптомъ серьезной разочарованности. Но примѣчаніе это производитъ очень слабое впечатлѣніе на внимательнаго и педовѣрчиваго читателя; такой читатель видитъ, что, кромѣ забавныхъ бутадъ, рѣзкій и охлажденный умъ Онѣгина не порождаетъ ровно ничего. Въ XXI строфѣ I-й главы Онѣгинъ отрицалъ балеты Дидло, а въ IV и въ V-й строфахъ III главы Онѣгинъ отрицаетъ брусничную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну и глушій небосклонъ. И этими немногими, весьма невинными выходками исчерпывается до самаго дна та злость мрачныхъ эпиграммъ, которою угрожалъ намъ Пушкинъ въ XLVI строфѣ I главы. Злѣе и мрачнѣе этихъ эпиграммъ мы отъ Онѣгина ничего и не услышимъ до самаго конца романа. Если всѣ эпиграммы Онѣгина были такъ же мрачны и такъ же злы, то не мудрено, что Пушкинъ привыкъ къ нимъ очень скоро.

Подолжая проявлять свою разочарованность, Онѣгинъ уѣзжаетъ изъ театра въ то время, когда амуры, черти и зѣби еще скачутъ и шумятъ на сценѣ. Не интересуясь ихъ скаканіемъ и шумѣніемъ, онъ ѣдетъ домой, переодѣвается для бала и отправляется танцовать до утра. Въ то время, когда Онѣгинъ переодѣвается, Пушкинъ превращаетъ въ поэтическіе предметы тѣ гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которыя украшаютъ кабинетъ «философа въ осьмнадцать лѣтъ». Философомъ же юный Онѣгинъ оказался, вѣроятно, именно потому, что у него очень много гребенокъ, пилочекъ, ножницъ и щетокъ; но и самъ Пушкинъ по части философіи не желаетъ отставать отъ Онѣгина и, вслѣдствіе этого, высказываетъ весьма категорически ту философскую истину, лю-

Онѣгину нѣсколько пріятныхъ минутъ и попользоваться ея благосклонностью до тѣхъ поръ, пока онъ не привыкнетъ.

Татьяна задаетъ Онѣгину вопросъ: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе, и когда я любила васъ? Этотъ вопросъ поставленъ очень удачно, и если бы Онѣгинъ хотѣлъ и умѣлъ отвѣчать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого, что люди, подобные мнѣ, способны только шутить и забавляться съ женщинами. Когда вы были дѣвушкою, тогда мнѣ предстояла необходимость принять на себя, въ отношеніи къ вамъ, серьезныя обязанности; мнѣ надо было тогда взять на себя заботу о вашемъ счастьи, то есть, объ удовлетвореніи всѣхъ вашихъ матеріальныхъ и умственныхъ потребностей; разъ принявши на себя эту работу, я бы уже не имѣлъ возможности сложить ее на кого нибудь другого; а такая перспектива приводила меня въ ужасъ, потому что я неспособенъ ни къ какому серьезному дѣлу, неспособенъ даже заботиться о матеріальномъ и умственномъ благосостояніи той женщины, которая доставляетъ мнѣ пріятныя минуты. Теперь дѣло совсѣмъ другое. Теперь я могу завести съ вами веселую интрижку, съ таинственными свиданьями, съ пламенными объятіями и безъ всякихъ будничныхъ, то есть, серьезныхъ и спокойно-дружескихъ отношеній. Эта интрижка будетъ продолжаться мѣсяцевъ пять-шесть, и потомъ я засвидѣтельствую вамъ мое почтеніе, не обращая никакого вниманія на то, любите ли вы меня или нѣтъ.

Когда Онѣгинъ писалъ къ Татьянѣ страстные письма и когда онъ, у нея въ домѣ, бросился къ ея ногамъ, тогда онъ, разувѣсь, добывался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измѣрить глубину и силу онѣгинской любви, но Пушкинъ, конечно, не воспользовался этимъ случаемъ, потому что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія выставить на показъ самыя мелкія и дрянныя стороны онѣгинскаго характера. Это полное разоблаченіе ничтожной личности было бы неизбежно, если бы на мѣстѣ Татьяны стояла энергическая женщина, любящая Онѣгина дѣйствительною, а не придуманною любовью. Если бы эта женщина бросилась на шею къ Онѣгину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что бы то ни стало, увези меня прочь отъ мужа, потому что я не хочу и не могу играть съ нимъ подлую комедію, — тогда восторги Онѣгина въ одну минуту охладѣли бы очень сильно. Можетъ быть, онъ посоветился бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность передъ серьезною заботою; можетъ быть, онъ не осмѣлился бы отшатнуться тотчасъ отъ женщины, передъ которою онъ, за минуту передъ тѣмъ, самъ стоялъ на колѣняхъ; можетъ быть, даже, чувствуя невозможность отступленія, онъ рѣшился бы, скрѣпя сердце, увезти эту женщину куда нибудь за-границу; но между невольнымъ похитителемъ и несчастною жертвою завязались бы нещад-

ленно такіа скрипучія и мучительныя отношенія, которыхъ бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дѣло кончилось бы тѣмъ, что она убѣжала бы отъ него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумѣется, бѣдной, опозоренной женщиной пришлось бы или умереть въ самой ужасной нищетѣ, или втянуться поневолѣ въ самый жалкій развратъ. Если бы Пушкинъ захотѣлъ и сумѣлъ написать такую главу, то она, мнѣ кажется, обрисовала бы онѣгинскій типъ ярче, полнѣе и справедливѣе, чѣмъ обрисовываетъ его теперь весь романъ. Но для того, чтобы подвергнуть онѣгинскій типъ такому жестокому и вопиюще заслуженному униженію, самому Пушкину, очевидно, было необходимо стоять выше этого типа и относиться къ нему совершенно отрицательно.

ХІІІ.

Бѣлинскій посвятилъ характеристикѣ Татьяны цѣлую отдѣльную статью. Въ этой статьѣ онъ, по своему обыкновенію, высказалъ много превосходныхъ мыслей, которыя даже теперь, по прошествіи двадцати лѣтъ, могутъ еще изумлять и приводить въ ужасъ несправившихъ филистеровъ. Но, отдавая полную справедливость превосходнымъ частностямъ этой статьи, я долженъ замѣтить, что, по своей основной идее, по своему взгляду на характеръ Татьяны, она оказывается совершенно несостоятельною. Бѣлинскій ставитъ Татьяну на пьедесталъ и приписываетъ ей такіа высокія достоинства, на которыя она не имѣетъ никакого права и которыми самъ Пушкинъ, при своемъ поверхностномъ и ребяческомъ взглядѣ на жизнь вообще и на женщину въ особенности, не хотѣлъ и не могъ надѣлать любимое созданіе своей фантазіи.

Главная причина неосновательнаго пристрастія Бѣлинскаго къ Татьянѣ заключается, по моему мнѣнію, въ томъ, что Бѣлинскому приходится защищать какъ самого Пушкина, такъ и Татьяну противъ тупыхъ и пошлыхъ нападеній тогдашняго филистерства. Въ увлеченіи полемики трудно сохранять постоянно трезвость критическаго взгляда. Опровергая глупыя замѣчанія филистеровъ, Бѣлинскій впадаетъ часто въ противоположную крайность. Филистеры говорятъ, напримѣръ: такой-то поступокъ отвратителенъ. Бѣлинскій, въ пику имъ, утверждаетъ, что онъ великолѣпенъ. А при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что филистеры, конечно, городятъ ужасный вздоръ, но что и Бѣлинскій совершенно неправъ, потому что въ разбираемомъ поступкѣ нѣтъ ничего ни отвратительнаго, ни великолѣпнаго.—Это вліяніе филистерскихъ тол-

ковъ на процессъ мысли, совершившійся въ головѣ великаго бойца Бѣлинскаго, выразилось очень ясно во многихъ мѣстахъ его критическихъ статей о Пушкинѣ. Вотъ, напримѣръ, какъ разсуждаетъ Бѣлинскій о письмѣ Татьяны къ Онѣгину:

«Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ наивный и благородный, но его источникъ заключается не въ сознаниіи, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ, когда она стала знатною барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца». Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько эстетическихъ замѣчаній о той формѣ, въ какой выразилось чувство Татьяны. Потомъ начинаются сраженія съ филистерствомъ. «Замѣчательно, продолжаетъ Бѣлинскій, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея рѣшимость написать и послать это письмо; видно, что поэтъ слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ.»

Выдержавъ нѣсколько строфъ изъ «Онѣгина», Бѣлинскій продолжаетъ: «Нельзя не жалѣть о поэтѣ, который видитъ себя принужденнымъ, такимъ образомъ, оправдывать свою героиню передъ обществомъ — и въ чемъ же? — въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе, — что у нея есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болѣе нельзя не жалѣть объ обществѣ, передъ которымъ поэтъ видѣлъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она — женщина, а не деревяшка, выточенная по подобію женщины.» (Т. VIII. Стр. 591, 593, 595.)

Благодаря ослинымъ воплямъ филистеровъ, весь вопросъ о Татьянѣ сдвинутъ въ сторону и поставленъ совершенно неправильно. Бѣлинскій доказываетъ, что, любя Онѣгина, Татьяна имѣла полное право написать къ нему письмо. Это не подлежитъ сомнѣнію и противъ этого могутъ спорить только филистеры. Но сущность вопроса состоитъ совсѣмъ не въ этомъ, а въ томъ: можетъ ли и должна ли умная дѣвушка влюбляться въ мужчину съ перваго взгляда? Бѣлинскій смотритъ на Татьяну очень благосклонно за то, что у нея оказалось въ груди сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ. Это съ ея стороны очень похвально, но, увлекшись этимъ достоинствомъ ея личности, Бѣлинскій совершенно забываетъ справиться о томъ, имѣлось ли въ ея красивой головѣ достаточное количество мозга, и если имѣлось, то въ какомъ положеніи находился этотъ мозгъ. Если бы Бѣлинскій задать себѣ эти вопросы, то онъ немедленно сообразилъ бы, что количество мозга было весьма незначительно, что это малое количество находилось въ самомъ плачевномъ состояніи и что только это плачевное состояніе мозга, а никакъ не присутствіе сердца, объясняетъ собою внезапный взрывъ нѣжности, проявившейся въ сочиненіи сьумасброднаго письма. Бѣлинскій благодаритъ Татьяну за то, что — она женщина, а не деревяшка; тутъ намъ

критикъ, очевидно, хватилъ чересъ край и, замахнувшись на филцстеровъ, самъ потерялъ равновѣсiе. Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, надо непременно быть деревянкой для того, чтобы, послѣ перваго свиданья съ красивымъ дэнди, не упасть къ его ногамъ? И развѣ быть женщиной значить писать къ знакомымъ людямъ раздражительныя письма?

Бѣлиноскій съ замѣчательной силой анализа очерчиваетъ тотъ типъ, въ которому принадлежитъ Татьяна; она называется этотъ типъ — *типомъ идеальной дѣвы*; онъ подмѣчаетъ всѣ его сжѣнные стороны и относится къ нему совершенно отрицательно. Читая это описанiе идеальныхъ дѣвъ, вы ожидаете, что онъ немедленно подведетъ Татьяну подъ эту категорiю и осмѣетъ самымъ безпощаднымъ образомъ всѣ ея глупыя вздыханiя объ Онѣгинѣ. Не тутъ-то было! Бѣлинскiй напрягаетъ всѣ силы своего великаго таланта, чтобы провести рѣзкую раздѣлительную черту между полчищемъ идеальныхъ дѣвъ и личностью пушкинской героини; но эта задача оказывается неразрѣшимой, и всѣ аргументы Бѣлинскаго остаются очень неубѣдительными, по той простой причинѣ, что они не находятъ себѣ никакой опоры въ фактахъ самаго романа. «Татьяна, говоритъ Бѣлинскiй, — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бѣдствомъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастья взаимности, любовь такой женщины — ровное, свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ, — упорное пламя, которому сила воли, можетъ быть, не позволить прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна, спокойно, но, тѣмъ не менѣе, страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою дѣтямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненiи своихъ обязанностей, съ этимъ спокойствiемъ, съ этимъ вѣншимъ безстрастiемъ, съ этою наружною холодною, которая составляютъ достоинство и величiе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна». (Т. VIII. Стр. 582).

Да, такова Татьяна, сочиненная Бѣлинскимъ, но совсѣмъ не такова Татьяна Пушкина. Вся глубина пушкинской Татьяны состоитъ въ томъ, что она сидитъ по ночамъ подъ лучомъ Дiаны. Вся ея исключительность — въ томъ, что она бродитъ по полямъ

«Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою во рукахъ.»

Вся ея страстность выплываетъ безъ остатка въ одномъ восторженномъ писмѣ. Написавши это письмо, она находитъ, что она заплатила достаточную дань молодости и что ей затѣмъ остается только превратиться въ неприступную свѣтскую даму. Во всемъ романѣ мы видимъ только

два поступка Татьяны: во-первыхъ, ея низкое, во-вторыхъ, ея замѣчательный монологъ; только по этимъ двумъ моментамъ, въ ея жизни мы должны составлять себѣ понятіе о ея характерѣ; въ антрактѣ между этими двумя рѣшительными моментами она только мечтаетъ, худѣтъ, груститъ, тоскуетъ и вообще ведетъ себя, съ одной стороны, какъ идеальная дѣва, а съ другой стороны, какъ пассивный товаръ, который можно везти на ярмарку и продавать лицомъ. Что же касается до двухъ выдающихся точекъ въ ея жизни, то, основываясь на нихъ, можно только прийтти къ Татьянѣ извѣстныя слова Пушкина:

«Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ;—
Блаженъ, кто во время созрѣлъ.»

Въ молодости своей Татьяна отличалась эксцентрическими выходками, а созрѣвши, она превратилась въ воплощенную солидность. Черезъ такіа превращенія проходятъ самые отчаянные филистеры, которые, во время своего студентства, бывають обыкновенно самыми разбитыми буршами. Возможность этого превращенія превосходно понимаетъ и самъ Бѣлинскій. «Многія изъ нихъ, говоритъ онъ объ идеальныхъ дѣвахъ, не прочь бы и отъ замужества, и, при первой возможности, вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія и изъ идеальныхъ дѣвъ дѣлаются самыми простыми бабами.» (Т. VIII. Стр. 575). Татьяна сдѣлалась не самою простою бабою, а самою блестящею дамою. Разница, кажется, не очень значительна, и превращеніе разбитого бурша въ солиднаго филистера такъ же несомнѣнно во второмъ случаѣ, какъ и въ первомъ.

Что случилось бы съ Татьяною, если бы она вышла замужъ по страстной любви,—объ этомъ мы ровно ничего не знаемъ, но мы можемъ замѣтить, что у самого Бѣлинскаго на этотъ счетъ встрѣчается очень любопытное противорѣчіе. Разматривая характеръ Татьяны отдѣльно и передѣлывая его по своему произволу, Бѣлинскій утверждаетъ, что она можетъ быть превосходною сунугою и образцовою матерью. Но анализируя тотъ же характеръ въ связи съ характеромъ Онегина, Бѣлинскій приходитъ къ тому заключенію, что Онегинъ не долженъ былъ жениться на Татьянѣ, потому что Татьяна была бы съ нимъ несчастнѣйшею женщиною и сдѣлалась бы для него невыносимою обузою. «Что бы нанесть онъ потомъ въ Татьянѣ? спрашиваетъ Бѣлинскій. Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имѣло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнѣе, но зато еще скучнѣе.» (Стр. 553). Вотъ видите, какъ неудобно умному человѣку (Бѣлинскій считаетъ Онегина за умнаго че-

женился на Татьяне. Куда ни кини, — все кини. А между тем, она полагает, что влюблена въ него, и притомъ влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочет слышать. Если, вышедши замужъ, за этого любимого человѣка, она неизбежно должна сдѣлаться для него невыносимою обузою, то, спрашивается, какія же условія необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходною женою и образцовою матерью? По какому рецепту долженъ быть составленъ тотъ человѣкъ, въ котораго она могла бы влюбиться и котораго, кромѣ того, она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мнѣ, что Татьяна никого не можетъ осчастливить, и что если бы она вышла замужъ не за толстаго генерала, а за простаго смертнаго, желавшаго найдти въ ней не украшеніе дома, а добраго и умнаго друга, то ея семейная жизнь расположилась бы по слѣдующей программѣ, очень остроумно составленной Бѣлинскимъ для нѣкоторыхъ идеальныхъ дѣвъ: «Ужаснѣе всѣхъ другихъ, говоритъ Бѣлинскій, тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которые не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеалъ брачнаго счастья, — и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ желаннаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ поречъ своего разочарованія.» (Стр. 575). Именно такъ; и поэтому идеальной дѣвѣ Татьянѣ Дмитріевнѣ Лариной всего лучше и безопаснѣе было отправиться на ярмарку невѣстъ, чтобы потомъ превратиться въ самую простую бабу или въ самую блестящую свѣтскую даму.

Думать, что Пушкинъ способенъ создать типъ образцовой жены и превосходной матери, значитъ положительно взводить напраслину на нашего рѣзкаго любимца музъ и грацій. Въ такой серьезной идеѣ Пушкинъ рѣшительно неповиненъ. На женщину онъ смотритъ исключительно съ точки зрѣнія ея миловидности. «Женщины, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, не имѣютъ характера; онѣ имѣютъ страсти въ молодости; оттого нетрудно и выводить ихъ». (Матеріалы для біографіи Пушкина, стр. 135). Въ бракѣ онъ видитъ только «радъ утомительныхъ картинъ, романъ во вкусѣ Лафонтена». Къ слову «женать» у него есть непремѣнно двѣ постоянныя приемы: «халатъ» и «рогатъ». За женитьбой, по его мнѣнію, неизбежно слѣдуетъ опошленіе; а тѣ люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми свѣрхными мужьями и живутъ съ своими женами, какъ кошка съ собакой. Дѣйствительно, надо быть высоко развитымъ человѣкомъ, надо быть фанатикомъ великой идеи и плодотворнаго труда, чтобы понять и выразить всю безконечную поэзію постоянной любви. У насъ всѣ романы обыкновенно оканчиваются тамъ, гдѣ начинается семейная жизнь молодыхъ супруговъ. Доведа своего героя до свадьбы,

романистъ прощается съ нимъ навсегда. Когда выводится изъ романъ брачная чета, то она выводится или за тѣмъ, чтобы изобразить бурю семейной жизни, или за тѣмъ, чтобы нарисовать сонное царство, въ родѣ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ».

IX.

Въ началѣ этой статьи я привелъ нѣсколько восторженныхъ отзывовъ Бѣлинскаго объ огромномъ историческомъ и общественномъ значеніи «Евгенія Онѣгина». Теперь, разобравъ главные характеры романа, я могу рѣшить, по моему крайнему разумѣнію, вопросъ о томъ: оправдываются ли эти восторженные отзывы Бѣлинскаго действительными достоинствами *«самаго задумшевнiа произведенiа»* Пушкина? Бѣлинскій говоритъ, что «Онѣгина можно назвать энциклопедіей русской жизни». Эта поэма была, по его мнѣнію, «актомъ сознанія для русскаго общества, почти первымъ, но за то какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него столпие на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ». (Т. VIII. Стр. 606).

Если сознаніе общества должно состоять въ томъ, чтобы общество отдавало себѣ полный и строгій отчетъ въ своихъ собственныхъ потребностяхъ, страданіяхъ, предразсудкахъ и порокахъ, то «Евгеній Онѣгинъ», ни въ какомъ случаѣ и ни съ какой точки зрѣнія, не можетъ быть названъ *актомъ сознанiа*. Если движеніе общества впередъ должно состоять въ томъ, чтобы общество выясняло себѣ свои потребности, изучало и устраняло причины своихъ страданій, отрѣзнялось отъ своихъ предразсудковъ и клеймило презрѣніемъ свои пороки, то «Евгеній Онѣгинъ» не можетъ быть названъ ни первымъ, ни великимъ, ни вообще какимъ бы то ни было *шагомъ впередъ* въ умственной жизни нашего общества. Что же касается до *богатырскаго размаха* и до *невозможности стоять на одномъ мѣстѣ* послѣ «Евгенія Онѣгина», то, разумѣется, читателю, при встрѣчѣ съ такими смѣлыми и чисто-фантастическими гиперболами, остается только улыбнуться, пожать плечами и припомнить то недалекое прошедшее, которое ежеминутно, какъ упорная и плохо вылеченная болѣзнь, даетъ себя чувствовать въ настоящемъ.

Отношенія Пушкина къ изображаемымъ явленіямъ жизни до такой степени пристрастны, его понятія о потребностяхъ и о нравственныхъ обязанностяхъ человѣка и гражданина до такой степени смутны и неправильны, что «любимое дитя» пушкинской музы должно было дѣйствовать на читателей, какъ усыпительное питье, по милости котораго

человѣкъ забываетъ о томъ, что ему необходимо помнить постоянно, и примиряется съ тѣмъ, противъ чего онъ долженъ бороться неутомимо. Весь «Евгеній Онѣгинъ» — ничто иное, какъ яркая и блестящая апофеоза самого безотраднaго и самого бессмысленнаго statu quo. Всѣ картины этого романа нарисованы такими свѣтлыми красками, вся грязь дѣйствительной жизни такъ старательно отодвинута въ сторону, крупныя нелѣпости нашихъ общественныхъ нравовъ описаны въ такомъ величественномъ видѣ, крошечныя погрѣшности осмѣяны съ такимъ невозмутимымъ добродушіемъ, самому поэту живется такъ весело и дышется такъ легко, — что впечатлительный читатель непременно долженъ вообразить себя счастливымъ обитателемъ какой-то Аркадіи, въ которой съ завтрашняго же дня непременно долженъ водвориться золотой вѣкъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какія человѣческія страданія Пушкинъ счумѣлъ подмѣтить и счелъ необходимымъ воспѣть? Во-первыхъ, — скуку или хандру; а во-вторыхъ, — несчастную любовь, а въ третьихъ... въ третьихъ... больше ничего, больше никакихъ страданій не оказалось въ русскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ. Сначала Онѣгинъ скучаетъ оттого, что онъ слишкомъ счастливъ, слишкомъ безгранично наслаждается всѣми благами жизни; потомъ Татьяна страдаетъ оттого, что Онѣгинъ не хочетъ на ней жениться; потомъ Онѣгинъ страдаетъ оттого, что Татьяна не желаетъ сдѣлаться его любовницей. Значитъ, въ русскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ были два капитальные порока, два такіе порока, на которые величайшій поэтъ Россіи непременно долженъ былъ обратить свое просвѣщенное вниманіе. Во-первыхъ, въ тогдашней Россіи было слишкомъ много благъ жизни, такъ что русскіе юноши могли объѣдаться ими, разстроивать себѣ желудки и, вслѣдствіе этого, впадать въ хандру. Во-вторыхъ, русскіе мужчины и русскія женщины были такъ устроены отъ природы, что они не всегда одновременно влюблялись другъ въ друга; случалось, напримѣръ, такъ, что женщина уже пламенѣетъ, а мужчина еще едва начинаетъ разогрѣваться; потомъ мужчина пылаетъ, а женщина уже сгорѣла до тла и гаснетъ. Такое неудобное устройство причиняло много огорченій какъ просвѣщеннымъ россиянамъ, такъ и очаровательнымъ россиянкамъ. Романъ Пушкина бросилъ яркій свѣтъ на обѣ главныя язвы русской жизни; такъ какъ этотъ романъ былъ *богатырскимъ размахомъ*, то стоять на одномъ мѣстѣ послѣ его появленія было уже невозможно, и русское общество, вникнувъ въ страданія Онѣгина и Татьяны, немедленно сдѣлало необходимыя распоряженія, во-первыхъ, на счетъ того, чтобы количество жизненныхъ благъ было приведено въ строгую соразмѣрность съ объемомъ юношескихъ желудковъ, а во-вторыхъ, на счетъ того, чтобы просвѣщенные россияне и очаровательныя россиянки воспламенялись взаимною любовью одновременно. Когда это равновѣсіе вошло въ надлежа-

щую силу, тогда уничтожились хандра и несчастная любовь; въ Россіи водворился золотой вѣкъ; юноши стали вкушать блага жизни съ благо-разумною умѣренностью, а дѣвы, благодаря этимъ умѣреннымъ юношамъ, стали, въ надлежащее время, превращаться въ счастливыхъ женъ и превосходныхъ матерей. Но золотой вѣкъ исчезъ, какъ легкое сновидѣніе; и смотря юные потомки аркадскихъ жителей на богатырскій размахъ «Евгенія Онѣгина», какъ на совершенно несообразную грезу, которую, послѣ пробужденія, трудно не только понять, но даже и припомнить. И смекаютъ эти развращенные потомки, что если «Евгеній Онѣгинъ» есть энциклопедія русской жизни, то, значить, энциклопедія и русская жизнь нисколько другъ на друга непохожи, потому что энциклопедія — сама по себѣ, а русская жизнь — тоже сама по себѣ.

По нѣкоторымъ темнымъ преданіямъ и по нѣкоторымъ глубокимъ историческимъ изслѣдованіямъ, позволительно, напримѣръ, думать, что въ Россіи двадцатыхъ годовъ существовало то явленіе общественной жизни, которое извѣстно теперь подъ именемъ крѣпостного права. Интересно было бы знать, какъ отразилось это явленіе русской жизни въ энциклопедіи? Справляемся и узнаемъ, что Онѣгинъ, пріѣхавъ въ деревню, замѣнилъ яремъ старинной барщины легкимъ оброкомъ, и что мужикъ благословилъ судьбу; что старуха Ларина «служанокъ била, осердясь», «брила лбы» и «стала звать Акулькой прежнюю Селину»; что служанки, собирая ягоды, пѣли по барскому приказанію пѣсни для того, «чтобъ барской ягоды тайкомъ уста лукавыя не ѣли»; что «крестьянинъ, торжествуя, на дровняхъ обновляетъ путь»; что дворовый мальчикъ бѣгаетъ по двору, «въ салазки жучку посадивъ, себя въ коня превобразивъ»; что на сваткахъ

«Служанки со всего двора
Про барышень своихъ гадали
И имъ сулили каждый годъ
Мужевъ военныхъ и походъ.»

Вотъ и все, что мы можемъ почерпнуть изъ энциклопедіи касательно крѣпостного права. Надо сказать правду, на этихъ свѣдѣніяхъ лежитъ самый свѣтло-розовый колоритъ; помѣщикъ облегчаетъ положеніе мужика; мужикъ благословляетъ судьбу; мужикъ торжествуетъ при появленіи зимы; значить, любить зиму; значить, ему тепло зимой и хлѣба у него вдоволь; а такъ какъ русская зима продолжается, по крайней мѣрѣ, полгода, то, значить, мужикъ проводить въ торжествѣ и благодушествѣ, по крайней мѣрѣ, половину своей жизни. Сынъ двороваго челоуѣка тоже ликоветъ и забавляется; значить его никто не бьетъ, его хорошо кормятъ, тепло одѣваютъ и не превращаютъ съ малыхъ лѣтъ въ казачка, обязаннаго торчать на коникѣ въ лакейской и ежеминутно

бѣгать то за носовымъ платкомъ, то за стаканомъ воды, то за трубкой, то за табакеркой. Свѣтло-розовый колоритъ немного помрачается тѣмъ неожиданнымъ извѣстіемъ, что Ларина была служанокъ; но, во-первыхъ, она ихъ была только «осердясь»; а сердилась она, вѣроятно, очень рѣдко и только за дѣло, потому что если бы она была способна сердиться часто и неосновательно, то, разумѣется, проникательный Онѣгинъ, пріятель и любимецъ автора энциклопедіи, не сказалъ бы о Лариной, что она «очень милая старушка». Во-вторыхъ, служанокъ нельзя было и не бить, потому что онѣ, какъ мы узнаемъ изъ той же энциклопедіи, были очень большія мерзавки; онѣ были способны похищать барскія ягоды, и барыня, для огражденія священной собственности и для предохраненія мерзкихъ служанокъ отъ гнуснаго преступленія, была принуждена утруждать свою барскую голову и придумывать то замысловатое средство, которое называется въ энциклопедіи *затѣю сельской остроты* и которое приучало служанокъ предпочитать высокія эстетическія наслажденія, какъ то, пѣніе, — низкимъ матеріальнымъ предметамъ, именно ягодамъ. Въ третьихъ, служанокъ били не больно, потому что ни самыя побои, ни воспоминанія объ опытахъ не мѣшали имъ проводить святки въ пѣснопѣніяхъ, въ которыхъ онѣ имѣли случай усовершенствоваться во время лѣта, при своихъ нерѣдкихъ столкновеніяхъ съ низкими матеріальными предметами, то есть, съ ягодами.

И такъ, основываясь на свидѣтельствѣ энциклопедіи, мы имѣемъ полное право умозаключить, что крѣпостное право доставляло весьма много пользы и удовольствія какъ помѣщикамъ, такъ и мужикамъ. Помѣщики имѣли возможность обнаруживать свое великодушіе, мужики имѣли возможность учиться у нихъ безкорыстно, служанки развивали въ себѣ эстетическое чувство и способность нравственнаго самообладанія; словомъ, всѣ благоденствовали и взаимно совершенствовались другъ друга.

Х.

Если вы пожелаете узнать, чѣмъ занималась образованнѣйшая часть русскаго общества въ двадцатыхъ годахъ, то энциклопедія русской жизни отвѣтитъ вамъ, что эта образованнѣйшая часть ѣла, пила, плясала, посѣщала театры, влюблялась и страдала то отъ скуки, то отъ любви. И только? Спросите вы. — И только! отвѣтитъ энциклопедія. — Это очень весело, подумаете вы, но не совсѣмъ правдоподобно. Неужели въ тогдашней Россіи не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерахъ и не старались проложить себѣ, такъ или иначе,

дорогу къ богатству и къ почестямъ? Неужели каждый отдѣльный чловѣкъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ и не шевелилъ ни однимъ пальцемъ для того, чтобы улучшить это положеніе? Неужели Онѣгину приходилось презирать людей только за то, что они очень громко стучали каблукѣми во время мазурки? И неужели не было въ тогдашнемъ обществѣ такихъ людей, которые не задерживали мыслителей XVIII вѣка траурной тафтой и которые могли смотрѣть на Онѣгина съ такимъ же презрѣніемъ, съ какимъ самъ Онѣгинъ смотрѣлъ на Буянова, Пустякова и разныхъ другихъ представителей провинціальной фауны? — На послѣдній вопросъ энциклопедія отвѣчаетъ совершенно отрицательно. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что Онѣгинъ на всѣхъ смотритъ сверху внизъ, и что на него самого не смотритъ такимъ образомъ никто. Всѣ остальные вопросы оставлены совершенно безъ отвѣта.

За то энциклопедія сообщаетъ намъ очень подробныя свѣдѣнія о столичныхъ ресторанахъ, о танцовщицѣ Истоминой, которая летаетъ по сценѣ, «какъ пухъ отъ устъ Эола», о томъ, что варенье подается на блюдечкахъ, а брусничная вода въ кувшинѣ; о томъ, что дамы говорили по русски съ грамматическими ошибками; о томъ, какіе стишки пишутся въ альбомахъ увѣданныхъ барышень; о томъ, что шампанское замѣняется иногда въ деревняхъ цымлянскимъ; о томъ, что котильонъ танцуется послѣ мазурки, и такъ далѣе. Словомъ, вы найдете описаніе многихъ мелкихъ обычаевъ, но изъ этихъ крошечныхъ кусочковъ, годныхъ только для записного антикварія, вы не извлечете почти ничего для фізіологіи или для патологіи тогдашняго общества; вы рѣшительно не узнаете, какими идеями или иллюзіями жило это общество; вы рѣшительно не узнаете, что давало ему смыслъ и направленіе или что поддерживало въ немъ бессмыслицу и апатію. Исторической картины вы не увидите; вы увидите только коллекцію старинныхъ костюмовъ и причесокъ, старинныхъ преісъ-курантовъ и афишъ, старинной мебели и старинныхъ ужинокъ. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но вѣдь этого мало; чтобы нарисовать историческую картину, надо быть не только внимательнымъ наблюдателемъ, но еще, кромѣ того, замѣчательнымъ мыслителемъ; надо изъ окружающей васъ пестроты лицъ, мыслей, словъ, радостей, огорченій, глупостей и подлостей выбрать именно то, что сосредоточиваетъ въ себѣ весь смыслъ данной эпохи, что накладываетъ свою печать на всю массу второстепенныхъ явленій, что втискиваетъ въ свои рамки и видоизмѣняетъ своимъ вліяніемъ всѣ остальные отрасли частной и общественной жизни.

Такую громадную задачу дѣйствительно выполнилъ для Россіи двадцатыхъ годовъ Грибоѣдовъ; что же касается до Пушкина, то онъ даже не подошелъ близко къ этой задачѣ, даже не составилъ себѣ о ней приблизительно-вѣрнаго понятія. Начать съ того, что выборъ героя въ

высшей степени неудаченъ: Въ такомъ романѣ, который долженъ изобразить въ данный моментъ жизнь цѣлаго общества, героемъ долженъ быть непремѣнно или такой человѣкъ, который сосредоточиваетъ въ своей личности смыслъ и типическія особенности *statu quo*, или такой, который носить въ себѣ самое сильное стремленіе къ будущему и самое ясное пониманіе настоящихъ общественныхъ потребностей. Другими словами: героемъ долженъ быть непремѣнно или рыцарь прошедшаго, или рыцарь будущаго, но, во всякомъ случаѣ, человѣкъ дѣятельный, имѣющій въ жизни какую нибудь цѣль, толкающійся между людьми, суетящійся вмѣстѣ съ толпою, развертывающій и напрягающій, такъ или иначе, въ честномъ или въ безчестномъ дѣлѣ, всѣ силы своего ума и своей энергіи. Только жизнь такой активной личности можетъ показать намъ въ наглядномъ примѣрѣ достоинства и недостатки общественнаго механизма и общественной нравственности.

За какими благами гонится большинство, какія средства ведутъ къ желанному успѣху, какъ относится къ различнымъ средствамъ общественное мнѣніе, изъ какихъ составныхъ элементовъ слагается это общественное мнѣніе, гдѣ кончается рутинная и гдѣ начинается протестъ, каковы сравнительныя силы рутинеровъ и протестантовъ, какъ велико между ними взаимное ожесточеніе — всѣ эти и многіе другіе вопросы, которые необходимо должны быть поставлены и рѣшены въ энциклопедіи общественной жизни, могутъ быть затронуты только тогда, когда средоточіемъ всей картины будетъ сдѣланъ боецъ и работникъ, а не сонная фигура праздношатающагося шалопая. Чичикова, Молчалина, Калиновича можно сдѣлать героями историческаго романа, но Онѣгина и Обломова — ни подъ какимъ видомъ. Чичиковъ, Молчалинъ, Калиновичъ, какъ люди, чего-то добивающіеся, связаны съ обществомъ самыми крѣпкими узами, потому что они только въ обществѣ и посредствомъ общества могутъ осуществлять свои желанія. Заставляя ихъ идти по тому или по другому пути, заставляя ихъ въ одномъ мѣстѣ солгать, въ другомъ сплутовать, въ третьемъ произнести чувствительную рѣчь, въ четвертомъ отвѣсить низкій поклонъ, — общество обтесываетъ ихъ по своему образу и подобию, измѣняетъ ихъ характеры, опредѣляетъ ихъ понятія и понемногу приготавливаетъ изъ нихъ типическихъ представителей даннаго времени, даннаго народа и данной среды. Напротивъ того, Онѣгинъ и Обломовъ, люди обезпеченные въ своемъ матеріальномъ существованіи и неодаренные отъ природы ни великими умами, ни сильными страстями, могутъ почти совершенно отдѣлиться отъ общества, подчиниться исключительно требованіямъ своего темперамента и, такимъ образомъ, не отразить въ своемъ характерѣ ни дурныхъ, ни хорошихъ сторонъ даннаго общественнаго устройства. Эти люди, какъ отдѣльныя личности, не представляютъ рѣшительно никакого интереса

для мыслителя, изучающаго физиологію общества. Они приобрѣтають значеніе только въ томъ случаѣ, когда они, по многочисленности, превращаются въ замѣтный статистическій фактъ. Если въ образованнѣйшей части какого-нибудь общества встрѣчаются на каждомъ шагу сотни или тысячи Онѣгинныхъ и Обломовыхъ, то есть, людей, игнорирующихъ существованіе общества и неимѣющихъ никакого понятія ни о какихъ общественныхъ интересахъ, то, разумѣется, такой фактъ можетъ навести мыслящаго наблюдателя на очень поучительныя размышленія. Этотъ наблюдатель будетъ имѣть полное право подумать, что движеніе общественной жизни чрезвычайно вяло и слабо, потому что это движеніе не затягиваетъ въ себя и не увлекаетъ за собою тѣхъ людей, которые живутъ въ данномъ обществѣ. Но даже и въ этомъ случаѣ, мыслящему писателю не-зачѣмъ приниматься за специальное изученіе расплывшихся Онѣгинныхъ и Обломовыхъ. Какъ бы они ни были многочисленны, они все-таки составляютъ пассивный продуктъ, а не дѣятельную причину общественного застоя. Не оттого въ погребѣ сыро, что въ немъ живутъ мокрицы, а оттого въ него набрались мокрицы, что въ немъ было сыро. А отчего сыро было — это уже другой вопросъ, при изслѣдованіи котораго мокрицы должны быть совершенно отодвинуты въ сторону. Не оттого общественная жизнь движется медленно, что въ обществѣ много Обломовыхъ и Онѣгинныхъ, а напротивъ того, Обломы и Онѣгины расплодились въ обществѣ по той причинѣ, что общественная жизнь движется медленно. А почему она движется медленно — это уже другой вопросъ, при изслѣдованіи котораго надо имѣть въ виду не Обломовыхъ и Онѣгинныхъ, а Чичиковыхъ, Молчалиныхъ Калиновичей съ одной стороны, и Чацкихъ, Рудинныхъ, Базаровыхъ съ другой стороны.

Такимъ образомъ, въ произведеніи мыслящаго писателя, задумавшаго нарисовать картину даннаго общества, — фигуры, подобныя Онѣгину, могутъ быть допущены только какъ вводныя лица, стоящія на второмъ планѣ, какъ стоятъ, напримѣръ, Загорѣцкій и Репетиловъ въ комедіи Грибоѣдова. Первые мѣста, по всей справедливости, принадлежать Фамусову и Скалозубу, которые даютъ читателю ключъ къ пониманію цѣлаго историческаго періода, и которые, своими типическими и рѣзко обозначенными физиономіями, объясняютъ намъ и низкопоклонство Молчалина, и глупую сентиментальность Софьи, и бесплодное краснорѣчіе Чацкаго. Грибоѣдовъ, въ своемъ анализѣ русской жизни, дошелъ до той крайней границы, дальше которой поэтъ не можетъ идти, не переставая быть поэтомъ и не превращаясь въ ученаго изслѣдователя. Пушкинъ же, напротивъ того, даже и не приступалъ ни къ какому анализу; онъ съ полной искренностью и съ очень похвальной скромностью говоритъ въ VII главѣ «Онѣгина»: «пою пріятеля млада и множество его при-

чуждъ.» Дѣйствительно, въ этомъ и заключается вся его задача. Почему онъ обратилъ свое вниманіе именно на этого «пріятеля младова», а не на когонибудь другого,—объ этомъ вы его не спрашивайте. На то онъ и поэтъ, чтобы дѣлать въ области своего творчества все, что ему вздумается, не отдавая въ томъ отчета никому на свѣтѣ, ни даже самому себѣ. Чѣмъ объясняются причуды этого пріятеля — этимъ онъ также нисколько не интересуется.

Если бы критика и публика поняли романъ Пушкина такъ, какъ онъ самъ его понималъ, если бы они смотрѣли на него, какъ на невинную и безцѣльную штучку, подобную «Графу Нулину» или «Домнику въ Коломнѣ», если бы они не ставили Пушкина на пьедесталъ, на который онъ не имѣетъ ни малѣйшаго права, и не навязывали ему насильно великихъ задачъ, которыхъ онъ вовсе не умѣетъ и не желаетъ ни рѣшать, ни даже задавать себѣ,—тогда я и не подумалъ бы возмущать чувствительныя сердца русскихъ эстетиковъ моими непочтительными статьями о произведеніяхъ нашего, такъ называемаго, *великаго поэта*. Но, къ сожалѣнію, публика временъ Пушкина была такъ неразвита, что принимала хорошіе стихи и яркія описанія за великія событія въ своей умственной жизни. Эта публика съ одинаковымъ усердіемъ переписывала и «Горе отъ ума»,—одно изъ величайшихъ произведеній нашей литературы, и «Бахчисарайскій фонтанъ», въ которомъ нѣтъ ровно ничего, кромѣ пріятныхъ звуковъ и яркихъ красокъ.

Спустя двадцать лѣтъ, за вопросъ о Пушкинѣ взялся превосходный критикъ, честный гражданинъ и замѣчательный мыслитель, Виссаріонъ Бѣлинскій. Кажется, такой человекъ могъ рѣшить этотъ вопросъ удовлетворительно и отвести Пушкину то скромное мѣсто, которое должно принадлежать ему въ исторіи нашей умственной жизни. Вышло, однако, наоборотъ тѣ. Бѣлинскій написалъ о Пушкинѣ одиннадцать превосходныхъ статей и разсыпалъ въ этихъ статьяхъ множество самыхъ свѣтлыхъ мыслей о правахъ и обязанностяхъ человека, объ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами, о любви, о ревности, о частной и объ общественной жизни, но вопросъ о Пушкинѣ въ концѣ концовъ оказался совершенно затмѣненнымъ. Читателямъ, а быть можетъ, и самому Бѣлинскому, показалось, что именно Пушкинъ породилъ своими произведеніями всѣ эти замѣчательныя мысли, которыя, однако, цѣликомъ принадлежали критику и которыя, по всей вѣроятности, вовсе не понравились бы разбираемому поэту. Бѣлинскій преувеличилъ значеніе всѣхъ главныхъ произведеній Пушкина, и каждому изъ этихъ произведеній приписалъ такой серьезный и глубокий смыслъ, котораго самъ авторъ никакъ не могъ и не хотѣлъ въ нихъ вложить.

Статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ сами по себѣ, какъ самостоятельныя литературныя произведенія, были чрезвычайно полезны для умственнаго

развитія нашего общества; но какъ восхваленіа стараго кумира, какъ зазыванія въ старый храмъ, въ которомъ было много пищи для воображенія и въ которомъ не было никакой пищи для ума, эти самыя статьи могли принести и дѣйствительно принесли свою долю вреда. Бѣлинскій любилъ того Пушкина, котораго онъ самъ себя создалъ; но многіе изъ горячихъ послѣдователей Бѣлинскаго стали любить настоящаго Пушкина, въ его натуральномъ и необлагороженномъ видѣ. Они стали превозносить въ немъ именно тѣ слабыя стороны, которыя Бѣлинскій затушевывалъ или перетолковывалъ по своему. Вслѣдствіе этого, имя Пушкина сдѣлалось знаменемъ несправимыхъ романтиковъ и литературныхъ филистеровъ. Вся критика Аполлона Григорьева и его послѣдователей была основана на превознесеніи той всеобъемлющей любви, которую будто бы проникнуты насквозь всѣ произведенія Пушкина. Превознося кроткаго и любвеобильнаго Пушкина, романтики и филистеры почти совершенно игнорируютъ Грибоѣдова и относятся почти враждебно къ Гоголю. Въ нѣкоторыхъ журналахъ не разъ высказывалось забавное мнѣніе, что Гоголь не зналъ великорусской жизни. Если прибавить къ этому, что нѣкоторые малороссійскіе писатели упрекаютъ Гоголя въ незнаніи малорусскаго быта, то окажется, что Гоголь совсѣмъ ничего не зналъ, и что онъ произвелъ полный переворотъ въ русской литературѣ именно своимъ незнаніемъ.

Восхищаясь своимъ возлюбленнымъ Пушкинымъ, какъ величайшимъ представителемъ филистерскаго взгляда на жизнь, наши романтики, въ то же время, прикрываются великимъ именемъ Бѣлинскаго, какъ надежнымъ громоотводомъ, спасающимъ ихъ отъ всякаго подозрѣнія въ филистерскихъ вкусахъ и тенденціяхъ. Мы за одно съ Бѣлинскимъ, говорятъ романтики, а вы, нигилисты или реалисты, — вы просто самолюбивые мальчишки, старающіеся обратить на себя вниманіе публики вашими дерзкими отношеніями къ незабвеннымъ авторитетамъ.

Благоговѣніе романтиковъ передъ Пушкинымъ доводитъ ихъ иногда до самыхъ смѣшныхъ и нелѣпыхъ крайностей. Аполлонъ Григорьевъ написалъ однажды, въ одномъ изъ своихъ писемъ, изданныхъ г. Страховымъ, что тремя послѣдними великими поэтами онъ считаетъ Байрона, Мицкевича и Пушкина. Довольно забавно уже то обстоятельство, что рядомъ съ Байрономъ поставлены Мицкевичъ и Пушкинъ. Это совершенно все равно, что поставить Кайданова и Смарагдова рядомъ съ Шлоссеромъ. Но еще гораздо забавнѣе то обстоятельство, что Мицкевичъ и Пушкинъ попались въ число великихъ поэтовъ, а Гейне не попалъ. Оно и понятно. Не заслуживаетъ онъ этой чести, потому что былъ свистуномъ и отрицателемъ. Понятно также, почему панегиристы Пушкина молчатъ о Грибоѣдовѣ и не долблляваютъ Гоголя. И Грибоѣдовъ, и Гоголь стоятъ

гораздо ближе къ окружающей насъ дѣйствительности, чѣмъ къ мирнымъ и тихимъ спальнямъ романтиковъ и филистеровъ.

Такъ какъ борьба литературныхъ партій сдѣлалась теперь упорною и непримиримою, такъ какъ духомъ партій обуславливаются теперь взгляды пишущихъ людей на прежнихъ писателей даже въ тѣхъ органахъ нашей печати, которые сами вопіютъ противъ духа партій, то и реалисты, сражаясь за свои идеи, поставлены въ необходимость посмотрѣть повнимательнѣе, съ своей точки зрѣнія, на тѣ старые литературные кумиры и на тѣ почтенныя имена, за которыми прячутся наши очень свирѣпые, но очень трусливые гонители. Мы надѣемся доказать нашему обществу, что старые литературные кумиры разваливаются отъ своей ветхости при первомъ прикосновеніи серьезной критики. Что же касается до почтеннаго имени Бѣлинскаго, то оно повернется противъ нашихъ литературныхъ враговъ. Расходясь съ Бѣлинскимъ въ оцѣнкѣ отдѣльных фактовъ, замѣчая въ немъ излишнюю довѣрчивость и слишкомъ сильную впечатлительность, мы, въ то же время, гораздо ближе нашихъ противниковъ подходимъ къ его основнымъ убѣжденіямъ.

ЛИРИКА ПУШКИНА.

I.

Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, именно въ 1844 году, была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» пятая статья Бѣлинскаго о Пушкинѣ. Вотъ оглавленіе этой статьи: «Взглядъ на русскую критику. — Понятіе о современной критикѣ. — Изслѣдованіе пафоса поэта, какъ первая задача критики. — Пафосъ поэзіи Пушкина вообще. — Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина». — Въ этой статьѣ Бѣлинскаго встрѣчаются болѣе или менѣе опредѣленные намеки на всѣ тѣ идеи, которыми живетъ наша теперешняя реальная критика. Въ этой же самой статьѣ Бѣлинскій предается самымъ необузданнымъ эстетическимъ восторгамъ. Читая внимательно эту статью, мы видимъ, какъ эстетикъ борется въ Бѣлинскомъ съ общественнымъ дѣятелемъ, и предчувствуемъ, что побѣда непременно должна склониться на сторону послѣдняго. Чтобы доказать читающей публикѣ кровное родство реальной критики съ Бѣлинскимъ, я приведу изъ этой статьи, напечатанной двадцать лѣтъ тому назадъ, нѣсколько обширныхъ выписокъ.

«Гѣте гдѣ-то сказалъ: «какого читателя желаю я?—такого, который

бы меня, себя и цѣлый міръ забылъ, и жилъ бы только въ книгѣ моей». Нѣкоторые нѣмецкіе аристархи оперлись на это выраженіе великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эстетической критики. И однакожь, односторонность гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго; принявъ его на вѣру и безусловно, критика только и дѣлала бы, что кланялась въ поясъ то тому, то другому поэту, ибо такъ какъ все имѣетъ свою причину и основаніе—даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то если критикъ будетъ смотрѣть на произведеніе поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывъ о самомъ себѣ и цѣломъ мірѣ,—естественно, что творенія этого поэта, будь они только ознаменованы болѣею или меньшею степенью таланта, явятся непогрѣшительными и достойными безусловной похвалы».

Изъ приведенныхъ словъ читатель видитъ, что у Гёте была губа не дура, и что онъ придумалъ очень вѣрное средство затушевывать слабыя стороны своей поэтической дѣятельности. Чистые эстетики приняли искусную выдумку Гёте за святую истину, но Бѣлинскій оказался гораздо проникательнѣе *нѣмецкихъ аристарховъ* и, такимъ образомъ, внесъ въ критику элементъ, совершенно враждебный эстетикѣ. Въ словахъ Бѣлинскаго мы видимъ ясное выраженіе той идеи, что поэтический талантъ одинъ, самъ по себѣ, еще не даетъ поэту права пользоваться уваженіемъ и сочувствіемъ современниковъ и потомства. Бѣлинскій относится очень сурово къ *невѣжеству* поэта, къ *дурному направленію* и къ *эгоизму*. Слово *эгоизмъ*, конечно, употреблено неправильно; но такъ какъ этимъ словомъ Бѣлинскій, очевидно, хочетъ обозначить узость ума и мелкость чувства, то съ его идеею мы можемъ совершенно согласиться. Если, такимъ образомъ, критика, по мнѣнію Бѣлинскаго, должна непремѣнно требовать отъ поэта широкаго умственнаго развитія, хорошаго, то есть, честнаго направленія и разумной любви къ чело-вѣчеству, то, очевидно, критика Добролюбова и теперешняя критика «Русскаго Слова», по своему основному принципу, совершенно соотвѣтствуютъ стремленіямъ Бѣлинскаго. Критика Бѣлинскаго, критика Добролюбова и критика «Русскаго Слова» оказываются развитіемъ одной и той же идеи, которая съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе очищается отъ всякихъ постороннихъ примѣсей.

«При нѣмецкой апатической терпимости ко всему, продолжаетъ Бѣлинскій, что бываетъ и дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, при нѣмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можетъ сдѣлаться ничѣмъ, мысль, высказанная Гёте, поставяетъ искусство цѣлью самому себѣ и черезъ это самое освобождаетъ его отъ всякаго соотношенія съ жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни».

Какъ вамъ это нравится, господа читатели? Уже въ 1844 году была провозглашена въ русской журналистикѣ та великая идея, что *искусство не должно быть цѣлью самому себѣ*, и что *жизнь выше искусства*. А слишкомъ двадцать лѣтъ спустя, тотъ самый журналъ, который бросилъ русскому обществу эти двѣ блестящія и плодотворныя идеи, съ тупымъ самодовольствомъ возстаетъ противъ «Эстетическихъ отношеній», которыя цѣликомъ построены на этихъ двухъ идеяхъ. Этотъ поучительный фактъ доказываетъ ясно, что человѣческая мысль не можетъ стоять на одномъ мѣстѣ. Когда она не хочетъ или не умѣетъ двигаться впередъ, тогда она поневолѣ пятится назадъ. «Отечественныя записки» хотѣли забастовать на Бѣлинскомъ. Оказывается теперь, что онѣ забыли Бѣлинскаго и подвинулись къ двадцатымъ годамъ нынѣшняго столѣтія. «Современникъ» хочетъ забастовать на Добролюбовѣ, и мы видимъ, дѣйствительно, что «Современникъ» быстро забываетъ Добролюбова и также путешествуетъ въ область двадцатыхъ годовъ. Повторять слова учителя—не значить быть его продолжателемъ. Надо понимать ту цѣль, къ которой шелъ учитель. Идя къ извѣстной цѣли, учитель произносилъ извѣстныя слова. Въ ту минуту, когда эти слова произносились, они дѣйствительно подвигали людей впередъ къ предположенной цѣли. Но когда эти слова уже подѣйствовали, когда люди, подчиняясь ихъ вліянію, сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ, тогда все положеніе вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенныя слова теряютъ свою двигательную силу и, слѣдовательно, перестаютъ быть умѣстными, полезными и цѣлесообразными. Тогда надо произносить новыя слова, примѣняя ихъ къ новымъ потребностямъ времени; эти новыя слова могутъ находиться въ рѣзкомъ разногласіи съ старыми словами, и это разногласіе нисколько не мѣшаетъ ни тѣмъ, ни другимъ быть одинаково вѣрными выраженіями одной и той же основной тенденціи.

Основная тенденція всей критической школы Бѣлинскаго, продолжающей дѣйствовать и развиваться до настоящей минуты, выражается совершенно ясно и отчетливо въ тѣхъ двухъ положеніяхъ, что *искусство не должно быть цѣлью самому себѣ* и что *жизнь выше искусства*. Изъ этихъ двухъ простыхъ и скромныхъ положеній выводятся совершенно логично и неизбежно всѣ самыя смѣлыя и блистательныя salt mortale моего уважаемаго сотрудника, г. Зайцева, на котораго смотреть, до сихъ поръ, съ такимъ непритворнымъ ужасомъ и съ такимъ комическимъ недоумѣніемъ всѣ солидные тихоходы нашей періодической литературы. — При тѣхъ условіяхъ, при которыхъ развивался и дѣйствовалъ Бѣлинскій, онъ, конечно, не могъ вывести изъ этихъ двухъ положеній всѣ ихъ логическія послѣдствія. Въ сороковыхъ годахъ онъ даже не могъ ихъ предвидѣть. Онъ ежеминутно уклоняется въ своей дѣятельности отъ этихъ двухъ основныхъ положеній, но смыслъ и сила его

дѣятельности заключаются, конечно, не въ этихъ случайныхъ нарушеніяхъ логики. Высказать вѣрную мысль, еще не значитъ послѣдовательно провести эту мысль въ анализъ всѣхъ явленій жизни, науки и искусства. Вторая задача, разумѣется, гораздо труднѣе и многосложнѣе первой. Если высказанная мысль дѣйствительно велика и плодотворна, то на ея послѣдовательное проведеніе могутъ потратиться силы нѣсколькихъ поколѣній. Эта завидная участь выпала на долю мыслей Бѣлинскаго. Въ продолженіе двадцати лѣтъ, лучшіе люди русской литературы развиваютъ его мысли, и впереди еще не видно конца этой работѣ. Та тѣсная родственная связь, которая несомнѣнно существуетъ между Бѣлинскимъ и теперешними реалистами, доказываетъ, съ одной стороны, умственное величіе нашего общаго учителя, а съ другой стороны, то обстоятельство, что такъ называемый нигилизмъ есть дитя нашего времени, имѣющее своихъ законныхъ и весьма почтенныхъ родителей въ прошедшемъ періодѣ нашей умственной жизни. Проклиная нигилизмъ, солидные люди очень охотно вычеркиваютъ изъ исторіи русской литературы «Эстетическія отношенія» и Добролюбова, въ которыхъ они видятъ случайныя или болѣзненные явленія. Теперь я попрошу солидныхъ людей, для радикальнаго уничтоженія нигилистовъ, начать работу вычеркиванія съ Виссаріона Бѣлинскаго. Года четыре тому назадъ, «Русскій Вѣстникъ», какъ самый послѣдовательный и дальновидный врагъ нигилизма, дѣйствительно попробовалъ занести руку и на Бѣлинскаго. Въ 1861 году, г. Лонгиновъ силился уличить Бѣлинскаго въ заносчивомъ невѣжествѣ. Если бы эта попытка увѣчилась успѣхомъ, тогда, по всей вѣроятности, ядъ вольнодумства былъ бы искорененъ-вполнѣ, и настоящими, здоровыми и совершенно незаподозрѣнными представителями русской мысли оказались бы: въ прошедшемъ—гг. Мерзляковъ и Шевыревъ, а въ настоящемъ—гг. Лонгиновъ и Анненковъ. Вся остальная русская критика была бы причислена къ ложнымъ и отреченнымъ книгамъ. Этотъ результатъ былъ бы, конечно, очень блистателенъ и утѣшителенъ, но, къ сожалѣнію, усердная попытка г. Лонгинова осталась, по какой-то необъяснимой случайности, совершенно незамѣченной.—Совѣтую солиднымъ людямъ повторить эту попытку, потому что для искорененія нигилизма необходимо убить Бѣлинскаго во мнѣніи русскаго общества.

II.

«Дѣйствительно, продолжаетъ Бѣлинскій, нѣмецкая критика, при разсматриваніи произведеній искусства, всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно обращается въ тѣс-

ной сферѣ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобы обращаться изрѣдка къ характеристикѣ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. И оттого жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведениями угождаютъ такой критикѣ». (Т. VIII. Стр. 343).

Нѣмецкая критика, противъ которой возстаютъ Бѣлинскій и сама жизнь, поступаетъ въ высшей степени благоразумно. Она тщательно поддерживаетъ тѣ перегородки, которыхъ паденіе краснорѣчиво оплакиваетъ нечестный преемникъ Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», г. Incognito. Когда эта нѣмецкая критика говоритъ объ искусствѣ, тогда она и опирается на само искусство. Если же Бѣлинскій находитъ сферу эстетики *тѣсною*, если онъ требуетъ, чтобы критика вырвалась изъ этой *тѣсной сферы* и вступила въ безпредѣльный міръ дѣйствительной жизни — прошедшей и настоящей, — то онъ, очевидно, оказывается гнуснымъ сообщникомъ нынѣшней реальной критики. — Но чтобы показать солиднымъ людямъ, что Бѣлинскій еще не совсѣмъ пропащій человекъ, и чтобы напомнить несолиднымъ мальчишкамъ и дѣвчонкамъ, что Бѣлинскій еще не совсѣмъ послѣдовательный реалистъ, я прошу господъ читателей, солидныхъ и несолидныхъ, отыскать въ томъ же VIII томѣ и въ той же критической статьѣ страницу 352, на которой изображены слѣдующія строки:

«Каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Еслибъ мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дѣятельности его разсудка, мы убили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дѣлѣ, что мудренаго было бы сдѣлаться поэтомъ и кто бы не въ состояніи былъ сдѣлаться поэтомъ, по нуждѣ, по выгодѣ или по прихоти, еслибъ для этого стоило только придумать какую нибудь мысль, да и втиснуть ее въ придуманную же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и по призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята, — произведеніе все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ cadaго въ выраженной имъ мысли, не смотря на всю ея правдивость! Но, между тѣмъ, такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуетъ она отъ поэтовъ! Придумайте ей, на досугѣ, мысль получше, да потомъ и обдѣляйте ее въ какой нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото. Вотъ и дѣло съ концомъ!»

Здѣсь Бѣлинскій, очевидно, платитъ очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводитъ рѣзкую раздѣлительную черту между поэтами и простыми смертными. Поэтомъ надо родиться, поэтъ — высшая натура, на его высокомъ челѣ горитъ печать его высокаго при-

дождетъ, чтобы эта толпа выразила ясно свое требованье; онъ его угадаетъ заранѣе; онъ, съ утонченною угодливостью раба, воспитаннаго въ рабствѣ съ колыбели, предупредить всѣ желанія этой толпы, которая, какъ избалованный властелинъ, разумѣется, даже и вниманія не обращать на то, какими усилиями и жертвами ея вѣрный рабъ, Онѣгинъ, купилъ себѣ право оставаться въ ея глазахъ джентльменомъ самой безукоризненной безцвѣтности. И толпа поступаетъ совершенно справедливо, когда не обращаетъ вниманія на усилія и жертвы вѣрнаго раба; вѣрный рабъ вѣренъ только потому, что не смѣетъ сдѣлаться невѣрнымъ; онъ боится своего господина и, въ то же время, вмѣстѣ съ другими, столь же трусливыми и вѣрными рабами, ежеминутно ругаетъ его за глаза, подобно тому, какъ это дѣлаютъ всѣ лакеи, проникнутые духомъ лакейства до мозга костей. Этой лакейской замашкой ругать за глаза строгаго господина объясняется то презрѣнне къ толпѣ, которымъ драпируется Онѣгинъ. Это красивое презрѣнне—чувство совершенно платоническое; оно цѣликомъ улетучивается въ словахъ; какъ только приходится дѣйствовать, такъ это презрѣнне смѣняется тотчасъ самымъ плоскимъ и раболопнымъ благоговѣннемъ.

Спрашивается теперь; какимъ образомъ долженъ былъ отнестись поэтъ къ этой чертѣ въ характерѣ Онѣгина? Мнѣ кажется, онъ долженъ былъ понять весь глубокий комизмъ этой черты, онъ долженъ былъ всѣми силами своего таланта подмѣтить и разработать въ этой чертѣ всѣ ея смѣшныя стороны, онъ долженъ былъ осмѣять, опозилить и втоптать въ грязь безъ малѣйшаго состраданія ту низкую трусость, которая заставляетъ неглупаго человѣка играть роль вреднаго идіота для того, чтобы не подвергнуться робкимъ и косвеннымъ насмѣшкамъ настоящихъ идіотовъ, достойныхъ полнаго презрѣнія. Поступая такимъ образомъ, поэтъ оказалъ бы дѣйствительную и серьезную услугу обществу самосознанію; онъ бы заставилъ толпу смѣяться надъ тѣми формами топоумія и безличности, на которыя она, по своей недогадливости и инерціи мысли, привыкла смотрѣть не только равнодушно, но даже благосклонно.

Такъ ли поступилъ Пушкинъ? Нѣтъ, онъ поступилъ какъ разъ наоборотъ. Въ своемъ взглядѣ на положеніе Онѣгина, онъ самъ оказался человѣкомъ свѣтской толпы и употребилъ всѣ силы своего таланта на то, чтобы изъ мелкаго, трусливаго, безхарактернаго и праздношатающагося франтика сдѣлать трагическую личность, изнемогающую въ борьбѣ съ непреодолимыми требованіями вѣка и народа. Вмѣсто того, чтобы сказать читателю: какъ пустъ, смѣшонъ и ничтоженъ мой Онѣгинъ, убивающій своего друга въ угоду дуракамъ и негодяямъ, Пушкинъ говоритъ: «и вотъ на чемъ вертится міръ», точно будто бы отказаться отъ бессмысленнаго вызова, значить нарушить міровой законъ.

поэтическія произведенія, если бы для этого надо было *только придумать какую нибудь мысль, да и втиснуть ее въ придуманную же форму*. На самомъ дѣлѣ, всѣ поэтическія произведенія создаются именно такимъ образомъ: тотъ человѣкъ, котораго мы называемъ поэтомъ, придумываетъ какую нибудь мысль и потомъ втискиваетъ ее въ придуманную форму. Это втискиваніе обыкновенно стоитъ поэту очень большого труда; сначала онъ набрасываетъ планъ своего будущаго произведенія, потомъ придумываетъ отдѣльныя сцены, картины и подробности, потомъ шлифуетъ языкъ или стихъ. Ни стройность плана, ни красота подробностей, ни картинность языка, ни внѣшнее изящество стиха,—словомъ, ни одно изъ достоинствъ поэтическаго произведенія не даются поэту сразу. Оконченное произведеніе обыкновенно представляетъ очень мало сходства съ первоначальнымъ замысломъ. Весь остовъ поэтическаго произведенія подвергается во время работы очень значительнымъ и глубокимъ видоизмѣненіямъ. Однѣ подробности, которыя сначала казались поэту необходимыми, оказываются излишними и неумѣстными; другія подробности, которыхъ онъ сначала не имѣлъ въ виду, оказываются необходимыми. Поэтъ, какъ плохой портной, кроитъ и перекраиваетъ, урѣзываетъ и приставляетъ, сшиваетъ и утюжитъ до тѣхъ поръ, пока не получится въ окончательномъ результатѣ нѣчто правдоподобное и благообразное.

Желающіе могутъ найти въ «Матеріалахъ для біографіи Пушкина», собранныхъ г. Анненковымъ, многочисленныя примѣры той тяжелой, черной работы, посредствомъ которой Пушкинъ втискивалъ придуманную мысль въ придуманную форму. Если поэтъ дѣйствительно придумываетъ и втискиваетъ, то, стало быть, всякій, кто умѣетъ хорошо придумать и хорошо втиснуть, можетъ сдѣлаться замѣчательнымъ поэтомъ. Это несомнѣнно, но слѣдуетъ ли изъ этого то заключеніе, что поэтъ сдѣлаться легко? — Нисколько не слѣдуетъ. *Придумать мысль*, какъ выражается Вѣлинскій, совсѣмъ не легко. Умныя мысли приходятъ въ голову только умнымъ людямъ, и приходятъ сами, помимо нашей воли. Придумать мысль, то есть, привести ее насильно къ себѣ въ голову, нѣтъ даже никакой возможности. Затѣмъ, когда мысль пришла въ голову, необходимо много энергіи и напряженнаго умственнаго труда для того, чтобы разсмотрѣть эту мысль со всѣхъ сторонъ и чтобы развить изъ нея всѣ ея послѣдствія. Наконецъ, для того, чтобы передать другимъ людямъ ясно и отчетливо то, что вы сами поняли и перечувствовали, надо потратить очень много труда на втискиваніе мысли въ форму. Умъ, энергія, трудолюбіе, техническая ловкость или сноровка,—всѣ эти качества необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться поэтомъ,—необходимы точно въ такой же мѣрѣ, въ какой они необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться ораторомъ, профессо-

ромъ, адвокатомъ, историкомъ, публицистомъ, критикомъ или вообще словесныхъ дѣлъ мастеромъ, по какой бы то ни было отрасли словеснаго искусства. Такой человекъ, къ которому заходятъ въ голову умныя мысли, который умѣетъ задерживать и разрабатывать эти мысли въ своей головѣ и который, посредствомъ упражненія, сдѣлался мастеромъ словесныхъ дѣлъ, такой человекъ, говорю я, можетъ, если только пожелаетъ, сдѣлаться поэтомъ, то есть, создать нѣсколько произведеній, которыя подѣйствуютъ на читателей такъ точно, какъ дѣйствуютъ на нихъ произведенія, созданныя настоящими, патентованными поэтами.

Бѣлинскій говоритъ: «у того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята,—произведение все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ cadaго въ выраженной имъ мысли, не смотря на всю ея правдивость». — Любопытно было бы узнать, что сказалъ бы Бѣлинскій, если бы ему пришлось прочесть романъ «Что дѣлать?» Сказалъ ли бы онъ объ этомъ романѣ, что онъ—произведение *мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое*? Если бы даже, паче чаянія, Бѣлинскій рѣшился произнести надъ нимъ этотъ приговоръ, то во всякомъ случаѣ, онъ не имѣлъ бы никакой возможности сказать, что этотъ романъ никого не убѣдилъ и всѣхъ разочаровалъ. Тутъ сама жизнь опровергнула бы сужденіе Бѣлинскаго. Всѣмъ друзьямъ и врагамъ этого романа одинаково извѣстно, что онъ произвелъ на читающее общество такое глубокое впечатлѣніе, какого не производило до сихъ поръ ни одно твореніе патентованныхъ поэтовъ. Но неужели же мы, на основаніи этого глубокаго впечатлѣнія, должны будемъ сказать, что авторъ этого романа—*поэтъ по натурѣ и по призванію*? Если Чернышевскій, трезвѣйшій изъ трезвыхъ мыслителей, окажется поэтомъ по натурѣ и по призванію, то тогда надо будетъ признать поэтами всѣхъ умныхъ людей безъ исключенія. — Значитъ, *толпа*, надъ которою смѣется Бѣлинскій, совершенно права, когда она требуетъ отъ поэта, чтобы онъ придумывалъ ей мысль получше и потомъ обдѣлывалъ эту мысль въ какойнибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото.

Бѣлинскій поясняетъ дагѣ, что настоящій поэтъ является страстно влюбленнымъ въ идею, страстно проникнутымъ ею, и что онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ, но всею полнотою и цѣлостію своего нравственнаго бытія. — Все это очень хорошо, но эти страстныя отношенія къ идеѣ вовсе не составляютъ исключительной особенности поэта. Всѣ великія дѣла, совершенныя замѣчательными людьми, были совершены именно посредствомъ страсти. Развѣ Колумбъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ, человекъ очень гордый и самостоятельный, таскался, въ продолженіе восемнадцати лѣтъ, въ качествѣ смиреннаго и убогаго просителя, по призоженнымъ

разныхъ португальскихъ и испанскихъ вельможь? Развѣ Джонъ Говардъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ, въ теченіе своей жизни, шлепался по тюрьмамъ и госпиталямъ? Развѣ аболіціонистъ Джонъ Броунъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ, на старости лѣтъ, пошелъ на висѣлицу? Бокль, за нѣсколько минутъ до своей смерти, сокрушался исключительно о томъ, что ему не удастся дописать до конца «Исторію цивилизаціи въ Англіи». Развѣ этотъ человекъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею? Когда Ньютонъ повѣрялъ свою теорію мірового тяготѣнія посредствомъ вычисленій надъ движеніемъ луны, тогда онъ, подъ конецъ вычисленія, почувствовалъ такое сильное волненіе, что принужденъ былъ оставить работу, и попросилъ одного изъ своихъ друзей докончить за него самую простую математическую выкладку. Развѣ этотъ человекъ не созерцалъ свою идею *всю полноту и чистоту своего нравственнаго бытія*? — Желая изслѣдовать вопросъ о питательныхъ свойствахъ сахара, докторъ Старкъ сталъ производить опыты надъ самимъ собою, и такъ долго продовольствовалъ себя исключительно сахаромъ, что, наконецъ, занемогъ и умеръ отъ истощенія силъ. Кажется, страстище, безграничѣе и даже безумнѣе этой любви къ идеѣ невозможно себѣ ничего вообразить. Вообще, если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примѣры тѣхъ странныхъ отношеній, которыя могутъ существовать между человекомъ и идеей, то вы должны будете обратиться не къ художникамъ, а къ изслѣдователямъ или къ политическимъ дѣятелямъ. Къ чести человѣческой природы вообще и человѣческаго ума въ особенности, надо замѣтить, что до сихъ поръ, кажется, ни одинъ человекъ не пошелъ на смерть за то, что онъ считалъ красивымъ, и что, напротивъ того, нѣтъ числа тѣмъ людямъ, которые съ радостью отдавали жизнь за то, что они считали истиннымъ или общепользнымъ. У искусства не было и не можетъ быть мучениковъ. Наука и общественная жизнь, напротивъ того, уже давно потеряли счетъ своимъ мученикамъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что способность влюбляться въ идею никакъ не должна считаться исключительною привилегіею художниковъ. Эта способность составляетъ тотъ священный огонь, безъ котораго вообще невозможенъ и немислимъ сознательный прогрессъ челоѣчества. Этою способностью, въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣмъ художники, обладаютъ тѣ люди, которыхъ мы привыкли называть холодными и положительными прозаиками, спокойными, суровыми, и чорствыми дѣятели жизни или науки. Вильгельмъ Оранскій, освободитель Нидерландовъ, Фердинандъ Магелланъ, сѣѣвшій, вмѣстѣ съ своимъ экипажемъ, всѣхъ мышей и всѣ кожанныя вещи своего корабля для того, чтобы довести до конца свое кругосвѣтное плаваніе. Джонъ Лилбертъ, боровшійся въ теченіе всей своей жизни, словомъ и перомъ, сначала съ са-

мовластіємъ Карла I, а потомъ съ самовластіємъ Кромвеля, — всѣ эти люди, разумѣется, любили идею гораздо страстнѣе, чѣмъ умѣли любить ее тѣ господа, которые, изъ любви къ ней, писали пріятныя стихи или потрясательныя драмы. Если дѣятели науки и жизни не пишутъ стиховъ и драмъ, то, разумѣется, это происходитъ не оттого, что у нихъ не хватаетъ ума, и не оттого, что въ нихъ слаба любовь къ идеѣ, а напротивъ, именно оттого, что разбѣры ихъ ума и сила ихъ любви не позволяютъ имъ удовлетворяться созданіемъ красивыхъ беллетристическихъ произведеній. Эти люди тоже поэты, но ихъ поэмами оказываются ихъ великія дѣла, которыя, разумѣется, не только полезны, но даже грандіознѣе всевозможныхъ илладъ и всевозможныхъ шекспировскихъ драмъ. И различіе между поэтами и не-поэтами, которое хотять установить эстетики и, вмѣстѣ съ ними, полу-эстетики Вѣлинскій, оказывается пустымъ оптическимъ обманомъ. То извѣстное латинское изрѣченіе, что ораторомъ можно сдѣлаться, а поэтомъ надо родиться, оказывается чистою нелѣпостью. Поэтомъ можно *сдѣлаться*, точно также, какъ можно сдѣлаться адвокатомъ, профессоромъ, публицистомъ, саножникомъ или часовщикомъ. Стихотворецъ или вообще беллетристъ, или, еще шире, вообще художникъ — такой же точно ремесленникъ, какъ и всѣ остальные ремесленники, удовлетворяющіе своимъ трудомъ различнымъ естественнымъ или искусственнымъ потребностямъ общества. Подобно всѣмъ остальнымъ ремесленникамъ, поэтъ или художникъ нуждается въ извѣстныхъ врожденныхъ способностяхъ; но та доза способностей, которая необходима для того, чтобы человѣкъ могъ приступить къ изученію ремесла, встрѣчается обыкновенно у всѣхъ нормальныхъ и здоровыхъ экземпляровъ человѣческой породы. Затѣмъ, все остальное довершается въ образованіи художника впечатлѣніями жизни, чтеніемъ и размышленіемъ, и преимущественно, упражненіемъ и навыкомъ. Какъ только эти предварительныя занятія дали человѣку способность придумывать идеи и втискивать ихъ въ формы, такъ поэтъ оказывается готовымъ къ услугамъ всѣхъ любителей легкаго чтенія.

III.

Чтобы окончательно реабилитировать Вѣлинскаго въ глазахъ солидныхъ людей, я приведу его отзывъ о стихѣ Пушкина. «И что же это за стихъ! восклицаетъ нашъ критикъ. Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельною игрою романтической

рому мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно (?) было въ Лепскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца (?), въ нихъ только претензіи на вѣдимость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.» (Т. VIII. Стр. 564, 565).

Съ этими словами Бѣлинскаго я совершенно согласенъ; не вижу я только никакихъ неоспоримыхъ достоинствъ въ Ленскомъ, не нахожу въ немъ ничего обаятельно-прекраснаго и не умѣю восхищаться дѣвственною чистотою его сердца, потому что рѣшительно не понимаю, кому нужна эта дѣвственная чистота, какую она можетъ принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована отъ грязнящихъ и развращающихъ прикосновеній дѣйствительной жизни. Если изъ приведенной мною цитаты выбросить вонъ неоспоримая достоинства, обаятельно-прекрасное и дѣвственную чистоту, то въ остаткѣ получится энергическій и строгій приговоръ послѣдовательнаго реалиста не только надъ одними романтиками, но и надъ всѣми художниками, оставляющими безъ вниманія горе и нужду современной дѣйствительности. Если, по мнѣнію Бѣлинскаго, несносны, пусты и пошлы тѣ люди, которые стремятся душою въ надзвѣздную сторону мечтаній, то, очевидно, не за что миловать и тѣхъ людей, которые стремятся душою въ мертвую тишину историческаго прошедшаго. И тѣ, и другіе одинаково отвертываются отъ суеты этой земли, «*гдѣ есть и голодъ, и нужда, и...*», а именно въ этомъ презрѣніи къ суетѣ земли и заключается ихъ настоящая вина. Разъ какъ они уже отвернулись отъ суеты земли, тогда уже рѣшительно все равно, въ какую бы сторону они ни смотрѣли. Тогда они уже отрѣзанный ломоть, и о нихъ можно совершенно справедливо сказать, вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, что «*это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди*».

Не мѣшаетъ также замѣтить, что эти слова Бѣлинскаго чрезвычайно сильно задѣваютъ самого Пушкина, который, въ теченіе всей своей поэтической дѣятельности, постоянно и систематически игнорировалъ и голодъ, и нужду, и всѣ остальные болячки дѣйствительной жизни. Когда же онъ случайно наткнулся на какую нибудь крошечную болячку, тогда онъ обыкновенно бралъ ее подъ свое покровительство, т. е. старался доказать ея роковую необходимость. Это, пожалуй, будетъ даже похуже, чѣмъ стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній.

Послѣ смерти Ленскаго, Онѣгинъ отправляется странствовать по Россіи, вездѣ хмурится и нищитъ, вездѣ смотритъ съ бессмысленнымъ презрѣніемъ на занятія суетной толпы, и, наконецъ, доходитъ до такой

дифирамбъ во славу жаренымъ птичкамъ, соединяющимъ въ себѣ тѣ-
гучесть смолы съ благовоиѣмъ весны и съ яростью молніи, а то,
что онъ еще умѣетъ находить область эстетики *тѣсною* и душною для
мыслящаго критика. Удивительно то, что Бѣлинскій, въ самомъ разгарѣ
своего эстетическаго восторга, не упустилъ изъ виду ни одного изъ су-
щественныхъ недостатковъ пушкинской поэзіи. Въслѣдъ за тою неистовою
тирадою, которая приписываетъ пушкинскому стиху свойства смолы,
весны и молніи, является слѣдующее, очень вѣрное, хотя, конечно, че-
резчуръ любовное опредѣленіе характеристическихъ особенностей нашего
поэта. «Въ Пушкинѣ, *напротивъ*, прежде всего увидите вы художника,
вооруженнаго всѣми чарами поэзіи, призваннаго для искусства, какъ
для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрас-
ному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ досто-
инства, всѣ недостатки его поэзіи; и если вы будете разсматривать
его съ этой точки, то съ удвоенною полнотою насладитесь его достоин-
ствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ
оборотную сторону его же достоинствъ». (Стр. 363).

Въ этихъ кроткихъ и ласковыхъ словахъ заключается самое полное
и безпощадное осужденіе не только одной пушкинской поэзіи, но и во-
обще всякаго чистаго искусства. Кто любить все, тотъ не любить ро-
вно ничего; кто любитъ одинаково сильно истца и отвѣтника, страдальца
и обидчика, истину и предрасудокъ, тупого обскуранта и гениальнаго
мыслителя, тотъ, очевидно, не можетъ желать, чтобы истецъ выигралъ
свой процессъ, чтобы страдалецъ поборолъ обидчика, чтобы истина
истребила предрасудокъ и чтобы гениальный мыслитель одержалъ
рѣшительную побѣду надъ тупыми обскурантами. Всеобъемлющая, теп-
ловатая любовь, по совершенно справедливому замѣчанію Бѣлинскаго,
непремѣнно ведетъ за собою всестороннюю терпимость, возможную только
при совершенно безсмысленномъ, безучастномъ и безстрастномъ взглядѣ
на жизнь. Кто во всѣхъ явленіяхъ жизни ищетъ только эстетически-
прекраснаго, тотъ, очевидно, долженъ смотрѣть на людей такъ, какъ
ребенокъ смотритъ на пестрые камушки и цвѣтныя стеклышки калей-
доскопа. При такихъ отношеніяхъ къ жизни, не можетъ быть ни любви
къ людямъ, ни вѣрнаго и глубокаго пониманія ихъ стремленій и страда-
ній. Это ребяческое равнодушіе къ людямъ, это тупое непониманіе жизни
составляютъ дѣйствительно, какъ замѣчаетъ Бѣлинскій, необходимое
слѣдствіе или *оборотную сторону* тѣхъ достоинствъ, которыми восхи-
щаются эстетики въ проявленіяхъ чистаго художника. Если бы не
было этой *оборотной стороны*, тогда чистый художникъ превратился бы
въ страстнаго бойца за ту или другую идею, и тогда онъ уже потерялъ
бы способность угощать эстетическихъ гастрономовъ птичками величиною
съ наперстокъ. Но такъ эта *оборотная сторона* достойна самого полнаго

и неумолимаго презрѣнія и такъ какъ она составляетъ, по словамъ самаго же Бѣлинскаго, необходимую принадлежность самой медали, то нетрудно сообразить, что и вся медаль совсѣмъ нигде не годится.

Не смотря на всю ласковость своихъ отношеній къ Пушкину, Бѣлинскій самъ глубоко чувствуетъ неудовлетворительность этой медали. Во-первыхъ, я попрошу читателей обратить вниманіе на слово *напротивъ*, подчеркнутое мною въ моей послѣдней выпискѣ изъ Бѣлинскаго. Это слово поставлено Бѣлинскимъ потому, что онъ противопоставляетъ Пушкина Шекспиру, Байрону, Гете и Шиллеру. — Шекспиръ, по словамъ Бѣлинскаго *«глубокій сердцеѣдецъ, мірообъемлющій созерцатель.»* Въ Байронѣ Бѣлинскаго поражаетъ *«ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смѣлость и гордость его чувствъ и мыслей.»* Гете — *«поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души человѣка.»* Передъ Шиллеромъ Бѣлинскій преклоняется *«съ любовью и благоговѣніемъ»*, какъ *«передъ трибуномъ чело-вѣчества, провозвѣстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно-прекраснаго.»*

Набросавъ, такимъ образомъ, эти четыре характеристики, Бѣлинскій вводитъ въ это избранное общество гениальныхъ поэтовъ нашего маленькаго Пушкина. Вводя его, онъ произноситъ ту рекомендательную фразу, которую я выписалъ выше. Благосклонность этой рекомендательной фразы выставяетъ особенно рельефно то печально-комическое обстоятельство, что нашему маленькому Пушкину рѣшительно нечего дѣлать въ той знатной компаніи, въ которую онъ попалъ совершенно не кстати, по милости своего лукаваго доброжелателя, Бѣлинскаго. Нашъ маленький и миленькій Пушкинъ неспособенъ не только вставить свое слово въ разговоръ важныхъ господъ, но даже и понять то, о чемъ эти господа между собою толкуютъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое Пушкинъ и что такое тѣ люди, съ которыми сводитъ его Бѣлинскій? Одинъ изъ этихъ людей — *глубокій сердцеѣдецъ*, другой — *смѣлый и гордый титанъ*, третій — *царь и властелинъ внутренняго міра*, четвертый — *трибунъ чело-вѣчества*. Какъ видите, народъ все чиновный! Все тузы литературной колоды и у каждаго туза своя собственная фizioномія. Ну, а Пушкинъ-то что же такое? — Пушкинъ — художникъ?! Вотъ тебѣ разъ! — Это что же за рекомендація? А Шекспиръ, небось, не художникъ? Байронъ — не художникъ? Гете — не художникъ? Шиллеръ — не художникъ? — Кажется, всѣ они художники, но, кромѣ того, каждый изъ нихъ оказывается еще крупнымъ чело-вѣкомъ, съ ясно-обозначеннымъ характеромъ и съ совершенно своеобразнымъ складомъ ума. Художественная виртуозность для каждаго изъ нихъ является только средствомъ выразить въ общепонятныхъ и привлекательныхъ формахъ то, что составляетъ внутреннее содержаніе внутренній смыслъ, жизнь и силу ихъ энергическихъ и рѣзко-очерчен-

ныхъ личностей. Художественная виртуозность для нихъ то же самое, что приличное платье для каждаго изъ насъ. Когда вы отправляетесь въ общество, вы, конечно, заботитесь о томъ, чтобы ваше платье было опрятно и неизпорчено; но, разумѣется, вы отправляетесь въ общество не за тѣмъ, чтобы показать людямъ ваше новое платье. Бываютъ, конечно, и такіе господа, которые выѣзжаютъ въ свѣтъ именно съ этою послѣднею цѣлью, но такихъ господъ умные люди не уважаютъ и клеймятъ названіемъ праздношатающихся шалопаевъ или ходячихъ въ пальто, или говорящихъ манекеновъ (mannequin). Если бы, собирая свѣдѣнія о незнакомомъ вамъ человѣкѣ, вы услышали бы о немъ, отъ самыхъ близкихъ его друзей, только то, что онъ отиѣнно-хорошо одѣвается, то вы, безъ сомнѣнія, подумали бы о немъ, что онъ совершенно пустой, ничтожный и ограниченный человѣкъ, потому что, въ противномъ случаѣ, его друзья обратили бы вниманіе не на покрой его платья, а на особенности его ума и характера. Представьте же себѣ, что отзывъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ совершенно равносильнъ этому отзыву близкихъ друзей о господинѣ, одѣтомъ по послѣдней модѣ. Пушкинъ — художникъ и больше ничего! Это значитъ, что Пушкинъ пользуется своею художественною виртуозностью, какъ средствомъ посвятить всю читающую Россію въ печальныя тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного безсилія. Этотъ неотразимый выводъ особенно настоятельно напрашивается на вниманіе читателя именно потому, что Бѣлинскій свелъ своего protégé Пушкина съ такими людьми, которыхъ значеніе состоитъ совсѣмъ не въ безукоризненномъ покрое платья.

Было бы очень неосновательно думать, что это сопоставленіе Пушкина съ тузами поэзіи было сдѣлано нечаянно, или что Бѣлинскій самъ не предвидѣлъ тѣхъ опасныхъ послѣдствій, которыя можетъ повести за собою, для литературной славы Пушкина, это коварное сопоставленіе. Бѣлинскій, на каждой страницѣ своихъ статей, наноситъ Пушкину жестокіе удары, которые проходили и, до сихъ поръ, проходятъ незамѣченными только потому, что они облечены въ чрезвычайно почтительную форму и сопровождаются самыми глубокими реверансами. «И такъ какъ его назначеніе, говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ, на стр. 365, было завоевать, усвоить навсегда русской землѣ поэзію, какъ искусство, такъ чтобы русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіею и перейти въ рифмованную прозу,—то естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться художникомъ.»—Соскоблите съ этой фразы шелуху гегелизма и переведите ее съ высокаго эстетическаго языка на общепонятный русскій языкъ, и знаете ли, что вы получите?—Получите вы то, что я сказалъ о Пушкинѣ въ третьей части «Реалистовъ», а именно то, что Пушкинъ—

просто великій стилистъ и что усовершенствованіе русскаго стиха составляетъ его единственную заслугу передъ лицомъ русскаго общества и русской литературы, если только это усовершенствованіе дѣйствительно можно назвать заслугою.

Шелухою гегелизма я называю идею органическаго развитія, которая засѣла очень глубоко въ головѣ Бѣлинскаго и которую онъ, всѣми правдами и неправдами, старается провести даже тамъ, гдѣ она совершенно неприменима. Увлекаясь этою идеею, онъ видитъ что-то органическое и необходимое во всѣхъ стихотворныхъ шалостяхъ Батюшкова, Жуковскаго и Пушкина. Онъ полагаетъ, что каждый изъ этихъ господъ имѣлъ и исполнилъ свое особенное назначеніе, свою специальную миссію въ исторіи развитія русской поэзіи. Въ настоящее время, такія добродушныя мечтанія, разумѣется, кажутся намъ странными и смѣшными. Мы знаемъ очень хорошо, что во времена Батюшкова, Жуковскаго и Пушкина русская мысль спала крѣпкимъ сномъ, а русская поэзія представляла собою даже не тепличное растеніе, а просто картонную декорацию. Мы знаемъ также, что всѣ эти господа, которымъ Бѣлинскій навязываетъ миссіи и назначенія, были просто quelques gentilshommes, которые, по выраженію госпожи Сталь, se sont occupés de littérature en Russie, точно такъ, какъ они могли s'occuper en Russie разведеніемъ борзыхъ собакъ или воздѣлываніемъ тюльпановъ, или плеваніемъ въ потолокъ. Появленіе комедіи: «Горе отъ ума» нисколько не опровергаетъ моей мысли о совершенной мертвенности и искусственности тогдашней поэзіи. Напротивъ, оно даже подтверждаетъ мою мысль. «Горе отъ ума» стоитъ совершенно одиноко. Оно ничѣмъ не связано ни съ тѣмъ, что было до него, ни съ тѣмъ, что существовало рядомъ съ нимъ, ни съ тѣмъ, что было послѣ него. До него былъ Озеровъ, послѣ него былъ Кукольникъ; въ одно время съ нимъ блистали стихотворныя шалости Жуковскаго и Пушкина.—И такъ, Грибоѣдовъ оказывается преемникомъ Озерова, предшественникомъ Кукольника и сподвижникомъ романтика Жуковскаго. Какое превосходное органическое развитіе! Какъ много заимствовалъ Грибоѣдовъ у Озерова и какъ много онъ далъ Кукольнику! И какъ легко догадаться, что Грибоѣдовъ и Жуковскій были современниками!

И такъ, шелуху гегелизма надо соскабливать съ сочиненій Бѣлинскаго. Толковать о значеніи Пушкина — напрасный трудъ. Та фраза, что Пушкинъ завоевалъ русской землѣ поэзію, или не имѣетъ никакого осязательнаго смысла, или заключаетъ въ себѣ тотъ очень скромный смыслъ, что Пушкинъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *пивной кружкѣ* и о *бобровомъ воротникѣ*, между тѣмъ, какъ его предшественники говорили только о *фіалахъ* и о *хамидяхъ*.—Изъ этого слѣдуетъ, очевидно, то заключеніе, что Пушкинъ

можетъ имѣть теперь только историческое значеніе, а для тѣхъ людей, которымъ некогда и не зачѣмъ заниматься исторіей литературы, не имѣетъ даже совсѣмъ никакого значенія.

Бѣлинскій очень ясно понималъ даже и это сокрушительное обстоятельство. «Какъ бы то ни было, говорить онъ на стр. 398, но, по своему возрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только, какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожныя, болѣзненные вопросы настоящаго».

Если жизнью всякой истинной поэзіи сдѣлалось страстное мышленіе, полное вражды и любви, то, очевидно, поэзія Пушкина—уже не поэзія, а только археологическій образецъ того, что считалось поэзіею въ старыя годы. Мѣсто Пушкина—не на письменномъ столѣ современнаго работника, а въ пыльномъ кабинетѣ антикварія, рядомъ съ заржавленными латами и съ изломанными аркебузами. Бѣлинскій осмѣливается высказать даже и эту печальную истину. «Каждый умный человѣкъ, говорить онъ на страницѣ 400, въ правѣ требовать, чтобы поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени, или, по крайней мѣрѣ, исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній». Ага! какой пассаж! И все это съ глубокими реверансами и съ неизмѣнною ласковостью голоса! Видите, какой пакостный озерникъ этотъ Бѣлинскій и какія онъ произноситъ дерзкія и зловѣщія пророчества! Если Бѣлинскій могъ говорить такія вещи въ *сороковыхъ* годахъ, то меня, человѣка, пишущаго въ *шестидесятыхъ* годахъ, можно упрекать не въ томъ, что я говорю неслыханныя дерзости, а развѣ только въ томъ, что я надобѣдаю читателей повтореніемъ слишкомъ старыхъ истинъ.

IV.

Внутреннія противорѣчія, которыми переполнены статьи Бѣлинскаго, не должны возбуждать въ читателѣ ни изумленія, ни негодованія. Читатель долженъ постоянно помнить, что Бѣлинскій стоитъ на рубежѣ двухъ противоположныхъ міросозерцаній и въ его могучей личности

совершается мучительный переходъ къ тому строю понятій, съ которыми, даже до настоящей минуты, еще не сѣмѣли освоиться и помириться солидные люди нашей литературы. Во время такого перехода, колебанія, ошибки и внутреннія противорѣчія оказываются совершенно неизбежными даже для самыхъ сильныхъ и здоровыхъ умовъ. «Есть, говоритъ Бѣлинскій на стр. 391, всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ челоуѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоого пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юншества, образователемъ юнаго чувства». — Въ концѣ своего труда о Пушкинѣ, на стр. 701, Бѣлинскій повторяетъ ту же мысль въ слѣдующихъ словахъ: «придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».

Сопоставляя эти изрѣченія Бѣлинскаго съ тѣми сужденіями того же критика, которыя были приведены и разобраны мною въ концѣ предыдущей главы, мы получаемъ тотъ неожиданный и изумительный результатъ, что «для молодыхъ людей обоого пола особенно полезно» чтеніе такого поэта, котораго произведенія для нашего времени уже перестали быть поэзіею; далѣе, что поэтъ, который «рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній, будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ»; и наконецъ, что «можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ челоуѣка», читая творенія такого поэта, который систематически уклоняется отъ отвѣта «на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго» и который «поетъ про себя и для себя, презирая тому». — Если бы мы приняли слова Бѣлинскаго о благотворномъ влияніи Пушкина на молодыхъ людей обоого пола за выраженіе прочно-устновившагося убѣжденія, то мы принуждены были бы назвать Бѣлинскаго закоснѣлымъ поборникомъ квіетизма и индифферентизма, тупымъ обожателемъ застоя и рутины и систематическимъ развратителемъ молодого поколѣнія. Дѣйствительно, для тѣхъ людей, въ которыхъ произведенія Пушкина не возбуждаютъ истерической зѣвоты,—эти произведенія оказываются вѣрнѣйшимъ средствомъ притупить здоровый умъ и усыпить челоуѣческое чувство. Кому Пушкинъ безвреденъ, тотъ не станетъ его читать; а кому онъ понравится, того онъ испортитъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Испортитъ онъ не тѣмъ, что даетъ ложное направленіе силамъ молодого ума, а тѣмъ, что не дастъ имъ совсѣмъ никакого направленія, тѣмъ, что приучитъ «молодыхъ людей обоого пола» обходиться въ жизни безъ всякихъ убѣжденій и относиться съ воробыинымъ легкомысліемъ къ самымъ серьезнымъ вопросамъ, поглощающимъ

всѣ силы лучшихъ дѣателей данной эпохи. Воспитывать молодыхъ людей на Пушкинѣ, значитъ готовить изъ нихъ трутней или тѣхъ сибаритовъ, которые, по словамъ Гоголя, пресытившись грубыми и тяжелыми астами, услаждаются жареными птичками величиною съ наперстокъ.

Чтобы доказать вѣрность моей мысли на отдѣльныхъ примѣрахъ, я приступаю теперь къ анализу Пушкинской лирики. Изъ всей массы лирическихъ стихотвореній Пушкина, занимающихъ въ изданіи г. Анненкова до *шестисотъ* страницъ, я буду выбирать только тѣ, которыя считаются самыми лучшими, которыя заключаютъ въ себѣ поползновеніе къ мысли и которыя Бѣлинскій рекомендуетъ съ особеннымъ жаромъ молодымъ людямъ обоого пола. — Съ чего бы начать? Возьмемъ, напри-
мѣръ, стихотвореніе: «19 октября», написанное въ 1825 году и пользующееся полнѣйшимъ сочувствіемъ Бѣлинскаго. — 19 октября, какъ извѣстно, — день открытія лица, въ которомъ воспитывался Пушкинъ. Въ 1825 году, Пушкину было 26 лѣтъ, и онъ пользовался уже громкою извѣстностью. — И такъ, молодой и блестящій поэтъ, полный жизни и энергіи, обращается къ своимъ бывшимъ лицейскимъ товарищамъ и бесѣдуетъ съ ними шестистопнымъ ямбомъ на пяти большихъ страницахъ. Какъ много чувства и мысли должно заключать въ себѣ это стихотвореніе! Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, уже познакомившійся съ волненіями и съ радостями жизни, уже провѣрившій житейскимъ опытомъ юношескія мечты, уже отбросившій прочь воздушные замки, но сохранившій юношескую смѣлость мысли и свѣжесть чувства, такой человѣкъ, говорю я, вступаетъ въ разговоръ съ тѣми людьми, которые знали его, когда онъ былъ мальчикомъ, которые вмѣстѣ съ нимъ росли и развивались, вмѣстѣ съ нимъ мечтали о жизни, чертили роскошные планы и строили воздушные замки. Въ откровенномъ разговорѣ съ друзьями своего дѣтства, поэтъ развернетъ, конечно, всю свою житейскую философію. Мы узнаемъ отъ него какъ онъ смотритъ на свое прошедшее, чего онъ требуетъ отъ будущаго, какое мѣсто отводитъ онъ своей собственной дѣятельности въ общей толкотнѣ и суетѣ житейскихъ явленій. Вообще, мы въ правѣ ожидать отъ поэта серьезнаго слова: тѣ люди, къ которымъ онъ обращается, знаютъ его насквозь, слѣдовательно, онъ можетъ и долженъ быть съ ними совершенно откровененъ; онъ самъ дорожитъ дружбою и уваженіемъ этихъ людей, слѣдовательно, онъ, по всей вѣроятности, чувствуетъ потребность высказаться передъ ними такъ, чтобы они получили полное и вѣрное понятіе объ его сложившейся и возмужалой личности. Тутъ нѣтъ мѣста легкомыслію и фразерству. Если Пушкинъ вообще способенъ смотрѣть серьезно и разумно на людей и на жизнь, то эта способность должна непременно проявиться въ стихотвореніи: «19 октября 1825 года».

Въ первыхъ сорока восьми строкахъ Пушкинъ говоритъ, что онъ проводить этотъ день одинъ въ своей «пустынной кельѣ»; потомъ вспоминаетъ о товарищѣ, умершемъ въ Италіи, и о другомъ товарищѣ, служащемъ во флотѣ. Идей въ этихъ сорока восьми строкахъ нѣтъ; есть только фактическія подробности и неопредѣленные выраженія дружелюбія и чувствительности. Вслѣдъ затѣмъ, онъ говоритъ:

«Друзья мои — прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ.
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ
Срослася онъ подлѣ снѣгу дружныхъ Музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина
И счастье куда-бъ ни повело, —
Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ чужбина;
Отечество намъ Царское Село».

Случалось ли вамъ, читатель мой, бывать на официальныхъ обѣдахъ, которые даются чиновниками въ честь благодѣтельнаго начальника? На такихъ обѣдахъ, послѣ жаркого, солиднѣйшій изъ чиновниковъ обращается обыкновенно къ герою торжества съ неистово-хвалебною и безукоризненно-официальною рѣчью, которая, также обыкновенно, заставляетъ скромнаго героя уронить въ полный бокалъ шампанскаго такую же безукоризненно-официальную слезу умиленія. Эта неизбежная рѣчь приписываетъ присутствующему герою такіе изумительные подвиги усердія и человѣколюбія, которыхъ онъ никогда не совершалъ и даже, по своему чину и положенію, никогда не могъ совершить. Я долженъ признаться, что дифирамбъ Пушкина въ честь прекраснаго союза, который нераздѣлимъ и вѣченъ, какъ душа, очень сильно напоминаетъ мнѣ тонъ безукоризненно-официальныхъ рѣчей, произносимыхъ, послѣ жаркого, во славу благодѣтельнаго начальства. Весь куплетъ состоитъ изъ гиперболей. Какъ вамъ нравится, наприимѣръ, тотъ возгласъ, что имъ цѣлый міръ чужбина; и что ихъ отечество находится исключительно въ Царскомъ Селѣ? Если это не правда, то какая плоскость! Надо быть совершенно исковерканнымъ человѣкомъ, двойникомъ Онѣгина, чтобы говорить приторные и завѣдомо-ложные комплименты школьнымъ товарищамъ и друзьямъ дѣтства. Если даже нѣтъ мѣста искренности, то гдѣ же она укроется и какіе тайники человѣческаго чувства останутся застрахованными отъ наплыва безукоризненной официальнойности? — А если Пушкинъ говоритъ правду, то какая узкость ума и какая дряблость чувства! Человѣкъ во всемъ мірѣ любитъ только то училище, въ которомъ онъ воспитывался. Человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ отворачивается отъ будущаго и утѣшается только воспоминаніями дѣтства. Хорошъ мужчина, хорошъ боецъ, хорошъ общественный дѣятель! А если онъ не мужчина, не боецъ и не общественный дѣятель, то какъ же онъ можетъ быть замѣчатель-

нимъ поэтомъ? И такъ, одно изъ двухъ: или это плоскій и лживый комплиментъ, или росписка въ собственномъ ничтожествѣ. Какъ то, такъ и другое одинаково не достойно умнаго и энергическаго человѣка.

Одинъ изъ послѣдующихъ куплетовъ показываетъ намъ ясно, какую цѣну мы должны придавать гиперболамъ Пушкина. Вотъ его подлинныя слова:

Ты, Горчаковъ, счастливцевъ съ первыхъ дней,
Хвала тебѣ! Фортуны блескъ холодный
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ же ты для чести и друзей.
Намъ розный путь судьбой назначенъ строгой;
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись:
Но незначай проселочной дорогой
Мы встрѣтились и братски обнялись.

Поняли вы, за что Пушкинъ воздастъ *хвалу* своему товарищу? За то, что этотъ товарищъ не отвернулся отъ него при нечаянной встрѣчѣ; за то, что онъ дружески поздоровался съ нимъ. Значить, этотъ поступокъ былъ для Пушкина неожиданностью, если онъ вмѣняетъ его въ заслугу своему бывшему товарищу. Значить, Пушкинъ ожидалъ, что одинъ изъ членовъ *прекраснаго союза, нераздѣлимаго и вѣчнаго, какъ душа*, при свиданьи съ другимъ членомъ того же прекраснаго и душеподобнаго союза, можетъ посмотреть на этого другого члена съ высоты своего величія и протянуть ему для пожатія кончики двухъ пальцевъ или даже совсѣмъ ничего не протянуть и при этомъ спросить съвозъ зубовъ:— Кого я имѣю удовольствіе видѣть?

Еслибъ я не былъ твердо убѣжденъ въ чистотѣ пушкинскаго сердца и въ совершенной неспособности его ума къ лукавымъ сомнѣніямъ, то я подумалъ бы, что, сравнивая *прекрасный союзъ* съ душою, Пушкинъ этимъ лукавымъ сравненіемъ старается поколебать въ своихъ читателяхъ вѣру въ безсмертіе души. Всего восемь лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Пушкинъ разстался съ лицемъ, и онъ уже приходитъ въ восторгъ отъ того, что *блескъ холодной фортуны не измѣнилъ свободной души* его товарища. Плохо же онъ вѣритъ въ прочность того союза, который онъ, для пущей сладости, называетъ вѣчнымъ и нераздѣлимымъ, какъ душа. И какой же это такой особенный *блескъ фортуны* могъ озарить его товарища въ теченіе восьми лѣтъ? И могли ли они, въ это время, дѣйствительно разойтись на очень далекое разстояніе? — Ничуть не бывало. Пушкинъ никогда не былъ ни мученикомъ, ни даже нищимъ. Что же касается до *счастливица съ первыхъ дней*, то, очевидно, какъ бы ни былъ онъ счастливъ, онъ, въ восемь лѣтъ, не могъ сдѣлаться ни фельдмаршаломъ, ни министромъ, ни чрезвычайнымъ посломъ, ни генералъ-губернаторомъ. Значить, встрѣтившись на проселочной дорогѣ, Пушкинъ и *счастливцевъ* вовсе не стояли на двухъ крайнихъ ступеняхъ

общественной дѣятельности. Вся разница между ними могла состоять только въ томъ, что одинъ былъ двумя или тремя чинами старше другого. Союзъ *отчужденный и неразделимый, какъ душа*, оказался столь крѣпкимъ, что не лопнулъ даже отъ этого громаднаго различія; коллежскій совѣтникъ великодушно обнялъ титулярнаго, и Пушкинъ восклицаетъ съ восторгомъ: хвала тебѣ ваше высокоблагородіе!

Затѣмъ Пушкинъ обращается къ другому, не столь чиновному члену *прекраснаго союза*. «Съ младенчества, говоритъ онъ ему,

Духъ пѣсень въ насъ горѣлъ
И дивное волненіе мы познали;
Съ младенчества двѣ Музы къ намъ летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ:
Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты гордый пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья,
Ты гений свой воспитывалъ въ тиши.

Служеніе Музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво
И шумныя насъ радуютъ мечты..
Опомнися, но поздно! И уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ *), не толь и съ нами было,
Мой братъ родной по Музѣ, по судьбамъ?

Пора, пора! Душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!»

Если всю эту рифмованную болтовню переложить на простой и ясный прозаическій языкъ, то получится слѣдующій, весьма тощій и блѣдный смыслъ: — мы съ тобою оба пописывали стихи; я отдавалъ свои стихи въ печать, а ты своихъ не отдавалъ; теперь и я перестану печатать мои стихотворенія. — Почему Пушкину пришла въ голову эта послѣдняя фантазія и почему онъ оставилъ ее безъ исполненія—этого недоумѣвающий читатель никогда не узнаетъ. Что значать громкія фразы о служеніи Музъ, которое не терпитъ суеты, и о прекрасномъ, которое должно быть величаво—это также остается неизвѣстнымъ. Вѣрнѣе всего то, что эти фразы ровно ничего не значать и изображаютъ собою стилистическія упражненія и риторическія амплификаціи. Какія душевныя муки принималъ на себя Пушкинъ изъ любви къ міру и чѣмъ провинился передъ Пушкинымъ неблагодарный міръ—объ этомъ также молчитъ исторія. Надо полагать, что подъ благозвучнымъ именемъ душевныхъ мукъ здѣсь подразумѣвается многотрудное исканіе рифмы. Что же касается

*) Кюхельбекеръ.

до сокрытія жизни подъ сѣнь уединенія, то этою меланхолическою фразою, очевидно, плѣнился и вдохновился Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, приглашавшій прелестную городничиху удалиться вмѣстѣ съ нимъ подъ сѣнь струй.

Перехожу къ послѣднимъ двумъ куплетамъ, которые особенно понравились Бѣлинскому. — «Пируйте же говорить Пушкинъ,

Пока еще мы тутъ!

Увы, нашъ кругъ часть отъ часу рѣдѣетъ,
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣтъ;
Судьба глядитъ (?), мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему.....
Кому-жъ изъ насъ подъ старость день лица
Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! Средь новыхъ поколѣній
Доучный гость и лишній, и чужой,
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой.»

Выписавъ эти строки, Бѣлинскій разсуждаетъ о нихъ или, вѣрнѣе восторгается ими слѣдующимъ образомъ: «Какая глубокая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, свѣтлая скорбь! Каждая мысль сама по себѣ такъ исполнена поэзій, независимо отъ формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! (Гм! А «судьба глядитъ»? Это — не метафора?) Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, доучный, лишній и чужой гость среди новыхъ поколѣній, дрожащею рукою закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ — это не просто поэтическіе стихи, это — поэтическая картина.» (Стр. 378). А по моему, эта поэтическая картина составляетъ именно самое крупное пятно во всемъ стихотвореніи, которое, по правдѣ сказать, есть ничто иное, какъ сплошной рядъ болѣе или менѣе крупныхъ пятенъ. Эта поэтическая картина показываетъ намъ особенно наглядно жалкую неспособность автора возвыситься до разумнаго пониманія жизни. Авторъ думаетъ, повидимому, что новыя поколѣнія будутъ уже не людьми, а орангутангами, и что, вслѣдствіе этого, «несчастный другъ» непременно долженъ оказаться среди этихъ новыхъ поколѣній доучнымъ, лишнимъ и чужимъ гостемъ.

Автору было 26 лѣтъ, когда онъ писалъ свое стихотвореніе; рисуя поэтическую картину несчастнаго друга, закрывающаго глаза дрожащею рукою, онъ захватывалъ впередъ лѣтъ на сорокъ. И, между тѣмъ, хватая такъ далеко впередъ, онъ не умѣетъ указать несчастному другу никакого предохранительнаго средства противъ того печальнаго положенія, которое онъ ему пророчитъ въ далекомъ будущемъ. Видя впереди разладъ съ новыми поколѣніями и холодное одиночество, Пушкинъ даже не задаетъ себѣ вопроса о томъ, есть ли возможность избѣгнуть этого

печальнаго разлада и избавиться отъ этого тягостнаго одиночества. Онъ, безъ малѣйшаго размышленія, принимаетъ разладъ и одиночество за роковую необходимость. Конечно, тѣмъ людямъ, для которыхъ *«цѣлый міръ чужбина, а отечество—Царское Село»*, дѣйствительно, на старости лѣтъ придется непременно закрывать глаза дрожащею рукою. Но имъ за это надо будетъ пенять на самихъ себя, а никакъ не на новыя поколѣнія. Вольно же было этимъ людямъ смотрѣть на весь міръ, какъ на чужбину, и сосредоточивать въ самомъ тѣсномъ и ограниченномъ кругу всѣ свои симпатіи и стремленія. Если бы они, съ ранней молодости, умѣли полюбить всѣми силами своего существа тѣ идеи, въ которыхъ заключается весь смыслъ и весь интересъ текущаго историческаго періода; если бы они, въ зрѣломъ возрастѣ, умѣли съ наслажденіемъ прилагать всѣ свои способности къ добыванію теоретическихъ истинъ или къ проведенію добытыхъ истинъ въ дѣйствительную жизнь; если бы они состарѣлись и посѣдѣли въ этихъ общепользныхъ трудахъ, — тогда цѣлый міръ былъ бы ихъ отечествомъ, тогда лицейская годовщина не имѣла бы для нихъ мистически-торжественнаго значенія, тогда преждевременная смерть двухъ-трехъ товарищей не приводила бы ихъ въ отчаяніе и тогда новыя поколѣнія были бы для нихъ не дикими орангутангами, а молодыми, нѣжными и почтительными друзьями, среди которыхъ старше и утомленные работники съ законнымъ удовольствіемъ отдыхали бы отъ своихъ честныхъ и полезныхъ трудовъ. Такіе старики какъ Ньютонъ, Волтеръ, Франклинъ, Александръ Гумбольдтъ, никогда не могли чувствовать себя докучными, лишними и чужими гостями. Въ наше время также много такихъ стариковъ, которыхъ жизнь драгоценна для всего образованнаго міра и которые, по своей кипучей энергіи и по своей страстной любви ко всему живому, могутъ смѣло потягаться съ любимъ юношей. И эту свѣтлую и радостную старость можетъ приготовить себѣ каждый человѣкъ, хотя бы онъ былъ одаренъ очень обыкновенными умственными способностями. Для этого ему надо только постоянно и добросовѣстно, по мѣрѣ силъ своихъ жить, и работать въ кругу тѣхъ идей, которыми увлечены лучшіе люди даннаго общества. Для этого ему надо только дѣлать какъ разъ противное тому, что совѣтуетъ Пушкинъ, желающій устранить суету изъ служенія Музъ, отказаться отъ душевныхъ мукъ и скрыть жизнь подъ сѣнью уединенія. Благоразумные совѣты Пушкина, разумѣется, превратятъ живого и сильнаго человѣка въ ходячую окаменѣлость, и уже съ 26-лѣтняго возраста воспитають въ здовомомъ мужчинѣ вялаго, плаксиваго и брюзгливаго старика, который будетъ закрывать себѣ глаза дрожащею рукою, отчасти для того, чтобы проливать бесполезныя и бессмысленныя слезы надъ невозвратимымъ прошедшимъ, а отчасти и даже преимущественно для того, чтобы не видѣть отвратительныхъ молодыхъ орангутанговъ. «Но

продолжаетъ Бѣлинскій, не въ духѣ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствѣ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ, оканчивается піеса этими полными бодрого чувства стихами:

«Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чащей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворяя вѣкъ опальный,
Его провелъ безъ горя и заботъ».

Пушкинъ, говоритъ Бѣлинскій, не даетъ судьбѣ побѣды надъ собою; онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады».

Переведите *торжественный музыкальный аккордъ* на общеупотребительный человѣческій языкъ, и вы получите слѣдующій, очень удобоисполнимый совѣтъ: «Несчастный другъ! Когда ты останешься одинъ, то постарайся нализаться за обѣдомъ до положенія ризъ, а послѣ обѣда завались спать вплоть до слѣдующаго утра». — Если *несчастный другъ* твердо запомнить совѣтъ великаго художника, то можно сказать навѣрное, что, усердно прилагая этотъ совѣтъ къ дѣлу, *несчастный другъ* приобрѣтетъ себѣ багровый носъ, который и будетъ изображать собою часть отрады, вырванную имъ у коварной судьбы. Если бы такіе полезные совѣты были предложены топорною прозою, Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, назвалъ бы такіе совѣты вопіющею пошлостью. Но эти совѣты втиснуты въ рифмованныя строчки, и Бѣлинскій называетъ ихъ *«торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ»*. Бѣлинскій въ этихъ строчкахъ видитъ даже *«бодрое чувство»*. Я, напротивъ того, вижу въ нихъ, во-первыхъ, умственную трусость, а во-вторыхъ, всю напущенность фальшиваго и неискренняго чувства. Умственная трусость состоитъ въ томъ, что Пушкинъ самъ не смѣетъ смотрѣть прямо и спокойно на ту печальную картину, которую онъ нарисовалъ. Поставивъ своего *несчастливаго друга* въ очень скверное положеніе, Пушкинъ не умѣетъ найти выхода изъ этого положенія и, въ то же время, не осмѣливается сознаться передъ собою и передъ читателями въ томъ, что онъ считаетъ это положеніе безвыходнымъ. Тогда онъ на-скоро отыскиваетъ ложный выходъ и выдаетъ его за истинный, хотя самъ онъ, при всей своей колоссальной неразвитости, все-таки не можетъ думать, что рюмка водки или стаканъ шампанскаго дѣйствительно составляютъ полезное лекарство противъ глубокаго огорченія.

Напущенность и неискренность чувства обваруживаются именно въ томъ обстоятельстве, что Пушкинъ рѣшается поднести *несчастному другу* рюмку водки. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: развѣ вы осмѣлитесь поступить такимъ образомъ съ тѣмъ человѣкомъ, котораго вы уважаете, котораго огорченіе вы вполне понимаете и сами глубоко прочувствовали? Не покажется ли вамъ, въ такомъ случаѣ, рюмка водки нелѣпою и дерзкою профанаціею того чувства и той личности, съ которыми вы

Осуждена судьбою властной:
 Чуждакъ печальный и опасный,
 Созданіе ада иль небесъ,
 Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
 Что-жъ онъ? уже ли подражанье,
 Ничтожный призракъ, иль еще
 Москвитчъ въ гарольдовомъ плащѣ,
 Чужихъ причудъ истолкованье,
 Словъ модныхъ полный лексиконъ?
 Ужъ не пародія ли онъ?
 Уже-ль загадку разрѣшила?
 Уже ли слово найдено?» (Гл. VII. Стр. XXIV, XXV).

Невозможно понять, зачѣмъ Пушкинъ навязалъ Татьянѣ всѣ эти критическія размышленія и зачѣмъ онъ хочетъ насъ увѣрить, что ей открылся міръ иной. Этотъ «міръ иной» и эти размышленія о москвитчѣ въ гарольдовомъ плащѣ не обнаруживаютъ ни малѣйшаго вліянія ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ея поступки. До открытія новаго міра она воображала себѣ, что влюблена по гробъ жизни; послѣ своего открытія, она остается при томъ же самомъ убѣжденіи. До открытія новаго міра она безпрекословно повиновалась маманѣ; и послѣ открытія она продолжаетъ повиноваться также безпрекословно. Это съ ея стороны очень похвально, но для того, чтобы повиноваться маманѣ въ самыхъ важныхъ случаяхъ жизни, не было ни малѣйшей надобности открывать новый міръ, потому что и старый нашъ міръ основанъ цѣликомъ на смиреніи и послушаніи.

Пока Татьяна въ кабинетѣ Онѣгина открываетъ новые міры, однанъ изъ жителей стараго міра совѣтуетъ ея маманѣ повезти дочь «въ Москву, на ярмарку невѣсть». Ларина соглашается съ этой мыслью, и когда Татьяна узнаетъ объ этомъ рѣшеніи, тогда она, съ своей стороны, не представляетъ никакихъ возраженій. Надо полагать, что «ярмарка невѣсть» занимаетъ очень почетное мѣсто въ томъ новомъ мірѣ, который открыла Татьяна. Но если новый міръ допускаетъ ярмарку невѣсть, то любопытно было бы узнать, чѣмъ онъ отличается отъ стараго міра и какая надобность была его открывать?

Въ Москвѣ Татьяна ведетъ себя именно такъ, какъ обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливою родительницею на ярмарку невѣсть. Разумѣется,

«Ей душно здѣсь... она мечтой
 Стремится къ жизни полевой,
 Въ деревню къ бѣднымъ поселенямъ,
 Въ одушевленный уголокъ, гдѣ
 Лется свѣтлый ручеекъ,
 Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ
 И въ сумракъ липовыхъ аллей, —
 Туда, гдѣ онъ явился ей». (Гл. VII. Стр. LIII).

есть, съ собою и о себѣ, составляютъ все-таки самую глубокомысленную часть пушкинской лирики, то я разберу эти бесѣды одну за другою, въ хронологическомъ порядкѣ. Въ стихотвореніяхъ 1824 года находится «разговоръ книгопродавца съ поэтомъ.» Книгопродавцу желательно купить у поэта его произведеніе, а поэту, по всей вѣроятности, желательно взять за это произведеніе какъ можно дороже. Желанія обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ одинаково естественны и законны, и поэту, по-видимому, просто слѣдовало бы поторговаться съ книгопродавцемъ, такъ какъ торгуются вообще всякіе поэты, прованки и простые смертные. Но поэту, выведенному Пушкинымъ и составляющему, по всей вѣроятности, идеаль Пушкіна, хочется сначала поломаться, и поэтому онъ душистъ несчастнаго книгопродавца длиннѣйшими монологами, немѣющимися никакого отношенія ни къ книжной торговлѣ, ни къ цѣнѣ того товара, который поэтъ держитъ въ своемъ портфелѣ. Книгопродавецъ, разумѣется, слушаетъ болтливаго «любимца Музъ и Грацій» съ почтительнымъ вниманіемъ и отвѣчаетъ на его монологи приличными комплиментами, потому что предвидитъ отъ его лиры много добра или, проще, надѣется зашибить на его новой поэмѣ порядочный барышъ. Конечно, поэтъ прежде всего старается заявить, что ему тяжело и больно продавать свое вдохновеніе. Когда книгопродавецъ говоритъ ему: «стишки любимца Музъ и Грацій, мы вамъ рублями замѣнимъ», тогда поэтъ вздыхаетъ, и притомъ столь глубоко, что книгопродавецъ, изъ вѣжливости, принужденъ изъяснить свое участіе и освѣдомиться о причинѣ такого вздоха. Поэту только того и нужно было. Придравшись къ вопросу книгопродавца, онъ немедленно приступаетъ къ изготавленію монологовъ:

«Я былъ далеко,
Я время то воспоминалъ,
Когда, надеждами богатый,
Поэтъ безпечный, я писалъ
Изъ вдохновенья, не изъ платы.
Я видѣлъ вновь пріюты скалъ»...

Ну, и такъ далѣе; начинаются картины природы, потомъ оказывается, что какой-то демонъ обладалъ его играми и шепталъ ему дивные звуки, что его голова была полна тяжкимъ пламеннымъ недугомъ, что его соперникомъ въ гармоніи былъ шумъ лѣсовъ и буйный вихрь, и живой напѣвъ яволги; что онъ не унижалъ постыднымъ торгомъ сладостныхъ даровъ музы и не хотѣлъ дѣлиться съ толпою пламеннымъ восторгомъ.

Видя, что поэтъ напираетъ на какую-то постыдность торга, я почувствуя, съ содроганіемъ сердца, въ этомъ возвышенномъ разговорѣ коварнѣйшій маневръ, направленный къ тому, чтобы набить цѣну, которая, очевидно, должна будетъ покрыть собою не только трудъ поэта,

но еще и *мозорь* торговой сдѣлки, — несчастный книгопродавецъ, не встати осѣдомившійся о причинѣ вздоха, старается показать своему собесѣднику лицевую сторону медали и заговариваетъ о славѣ, которая, по его мнѣнію, замѣнила поэту «мечтанья тайнаго отрады.» Но поэтъ твердо рѣшился ободрать книгопродавца, какъ линку, и поэтому относится къ славѣ очень сурово. «Что слава? спрашиваетъ онъ; шепеть ли чтеца? Говеніе-ль низкаго вѣѣжды? Иль восхищеніе глушца?»

Тутъ поэтъ, повидимому, самъ признается въ томъ, что только глупецъ можетъ восхищаться его произведеніями. Не будемъ съ нимъ спорить. Книгопродавецъ, изъ чувства самосохраненія, никакъ не хочетъ, однако, согласиться съ тѣмъ, что слава — звукъ пустой. Онъ напоминаетъ поэту, что «сердце женщины славы просить: для нихъ пишите».

Поэтъ продолжая жеманиться и кривляться, увѣряетъ, что ему и до женщины нѣтъ никакого дѣла, тѣмъ болѣе, что для него это не диковинка. Тутъ онъ никакъ не можетъ утерпѣть, чтобы не наемкнутъ книгопродавцу о своихъ побѣдахъ и говорить:

«Глаза прелестные читали
Меня съ улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мнѣ звуки сладкіе жон».

Но мнѣ, дескать, это все нипочемъ.

«Нечисто въ нихъ воображенье:
Не понимаетъ насъ оно,
И, призракъ бога, вдохновенья
Для нихъ и чуждо, и смѣнно».

Значить, не стоитъ съ ними и связываться. Но книгопродавецъ является галантерейнымъ защитникомъ прекраснаго пола, у котораго оказалось такое пакостное воображеніе, и спрашиваетъ:

«Ужели ни одна не стоитъ
Ни вдохновенья, ни страстей
И вашихъ пѣсень не присвоитъ
Всесильной красотѣ своей?»

Поэтъ отвѣчаетъ весьма пространно и восторженно, что такая отъѣнно-хорошая барыня, безъ нечистаго воображенія, дѣйствительно существуетъ, но что, къ сожалѣнію, она это знать не хочетъ. Книгопродавцу, въ это время, уже до смерти надобно выслушивать и почти-тельно одобрять безтолковые монологи. Поэтому онъ торопится придти къ практическому заключенію и говорить:

«Теперь, оставя шумный свѣтъ
И Музъ, и вѣтреную моду,
Что-жъ изберете вы?»

Поэтъ отвѣчаетъ: «свободу!» Это неожиданное рѣшеніе можетъ показаться читателю чрезчуръ храбрымъ и, пожалуй, даже неисполнимымъ. Но читатель долженъ помнить, что вѣдь эта пушкинская свобода—свобода самая смиренная и непритязательная, и даже незамѣтная, въ томъ смыслѣ, что ее можно принять за нѣчто вовсе непохожее на свободу. Пушкинъ во многихъ своихъ стихотвореніяхъ прославляетъ свободу, но это обстоятельство нисколько не должно вредить его репутаціи въ глазахъ солидныхъ и добродѣтельныхъ людей. Книгопродавецъ очень хорошо понимаетъ, о какой свободѣ тутъ идетъ рѣчь, и, вслѣдствіе этого, очень основательно замѣчаетъ поэту, что

«Въ сей вѣкъ желѣзный
Безъ денегъ и свободы нѣтъ.»

Вы, дескать, сначала извольте мнѣ продать вашу поэмочку, а потомъ ложитесь на диванъ, задерите ноги къверху и плюйте въ потолокъ, то есть, наслаждайтесь вашею свободою до тѣхъ поръ, пока не истратите всѣхъ полученныхъ денегъ. Поэту, повидимому, тоже надоѣло кривляться и пустословить. Онъ отвѣчаетъ книгопродавцу прозой: «вы совершенно правы. Вотъ вамъ моя рукопись. Условимся.»—Тѣмъ и оканчивается вся піеса.

Не знаю, стоитъ ли эта піеса выше или ниже критики, но знаю навѣрное, что она стоитъ внѣ критики, потому что въ ней нѣтъ рѣшительно ни одной мысли, — ни такой, противъ которой можно было бы спорить, ни такой, съ которою можно было бы согласиться. Во всемъ разговорѣ нѣтъ ничего, кромѣ непроходимаго пустословія, и все это пустословіе выставляетъ поэта въ самомъ мизерномъ видѣ. Онъ оказывается похожимъ на старую кокетку, которой до смерти хочется согрѣшить, но которая при этомъ непремѣнно желаетъ, чтобы ее вовлекли въ грѣхъ почти насильно. Если Пушкинъ самъ смотрѣлъ на своего поэта съ уваженіемъ и если онъ хотѣлъ внушить это чувство своимъ читателямъ, то мнѣ остается только подивиться какъ проницательности Пушкина, такъ и его искусству. Если же Пушкинъ хотѣлъ дѣйствительно написать сатиру на поэтовъ, то можно замѣтить, что эта сатира длинна, скучна и страдаетъ полнымъ отсутствіемъ остроумія.

Въ 1827 году, Пушкинъ написалъ стихотвореніе: «Поэтъ». Вотъ оно:

«Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра
Быть можетъ, всѣхъ ничтожѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,

Душа поэта встрепетает,
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы;
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы;
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенія полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы.»

Хотя Бѣлинскій и превозноситъ Пушкина за то, что Пушкинъ замѣнилъ *фіалы писанными кружками*, однако, нельзя не замѣтить, что нашъ поэтъ до самого конца своей жизни не отдѣлался вполне отъ стараго и совершенно бессмысленнаго мифологическаго языка. Этотъ языкъ невыносимъ для тѣхъ писателей, которые чувствуютъ въ себѣ потребность высказывать обществу какія нибудь опредѣленные и ясно-сознанныя мысли. Но для тѣхъ писателей, которые, подобно пушкинскому поэту, полны не мыслей, а только *звуковъ и смятенія*, мифологическій языкъ составляетъ незамѣнимое сокровище, потому что разныя Аполлоны, Музы, Грація, Киприды, Парки даютъ такимъ писателямъ, кромѣ богатаго запаса подставныхъ рифмъ, полную возможность не высказывать въ своихъ стихахъ ровно ничего, притворяясь въ то же время, будто они высказываютъ чрезвычайно много. Въ стихотвореніи: «Поэтъ» мифологическій языкъ оказалъ Пушкину драгоцѣнную услугу. Попробуйте выгнать изъ этого стихотворенія Аполлона, и все стихотвореніе окажется несуществующимъ, потому что тогда немедленно откроется вся его бессмысленность. Въ этомъ стихотвореніи поэтъ приведенъ въ зависимость отъ какой-то верховной, таинственной власти, неимѣющей никакихъ необходимыхъ отношеній къ интересамъ и волненіямъ живыхъ людей. Аполлонъ призываетъ поэта къ священной жертвѣ, божественный глаголъ масаается до чуткаго слуха — это, конечно, только поэтическіе образы или, вѣрнѣе, аллегорическіе обороты рѣчи, но именно только эти аллегорическіе обороты могутъ до нѣкоторой степени заслонить, какъ отъ самого автора, такъ и отъ читателя, совершенную несостоятельность основного мотива. Называя Аполлономъ ту силу, которая побуждаетъ поэта творить, Пушкинъ, однимъ этимъ риторическимъ маневромъ, приписываетъ этой силѣ совершенно самостоятельное существованіе. По теоріи Пушкина, поэтъ творить не тогда, когда онъ взволнованъ, такъ или иначе, впечатлѣніями, воспринятыми изъ окружающей жизни, то есть, изъ сношеній съ людьми, изъ созерцанія природы или изъ чтенія книгъ, а тогда, когда на него, безъ всякой посторонней и видимой причины, находитъ какое-то особенное, священное бѣшенство, во время котораго онъ бѣгаетъ по берегамъ пустынныхъ волнъ и по широко-

шумнымъ дубовамъ. Вся теорія, очень любезная многимъ поэтамъ и превращающая поэта въ совершенно исключительное существо, непохожее на обыкновенныхъ людей, выразилась чрезвычайно ярко въ той фибіи, что Аполлонъ требуетъ поэта къ священной жертвѣ. Эта фибія оказывается непереводимой на обыкновенный человѣческій языкъ, потому что въ дѣйствительной жизни нѣтъ такого процесса, который соответствовалъ бы призванію поэта къ священной жертвѣ. Уничтожая Аполлона, то есть, обособленіе и олицетвореніе вдохновляющей силы, вы уничтожаете не только внѣшнюю форму, но также и все внутреннее содержаніе пушкинской піэсы.

Въ дѣйствительности, вся поэтическая дѣятельность всякаго поэта зависитъ безусловно, во-первыхъ, отъ его организма, то есть, отъ склада его ума и характера, а во-вторыхъ, отъ того общества, въ которомъ онъ живетъ. Стало быть, въ дѣйствительности, между личностью поэта и его дѣятельностью никогда не бываетъ и не можетъ быть того рѣзкаго противорѣчія, которое такъ эффектно воссѣваетъ Пушкинъ. Если самъ поэтъ ничтоженъ и если онъ живетъ среди ничтожныхъ дѣтей міра, то и произведенія его окажутся вполне ничтожными. Въ дѣйствительности, роль *божественнаго милого* могутъ играть, въ отношеніи къ поэту, только впечатлѣнія окружающей жизни. Но этотъ *божественный милой* не умолкаетъ ни на одну минуту; жизнь постоянно волнуется, такъ или иначе, умъ и чувство того человѣка, который способенъ вглядываться въ ея явленія и понимать ея выразительный, но не для всѣхъ одинаково доступный языкъ. Стало быть, если человѣкъ обладаетъ *чуткимъ слухомъ* и если душа этого человѣка способна *острепенуться, какъ пробудившійся орелъ*, слышавъ *божественный милой* жизни, то этому человѣку некогда будетъ *малодушно погружаться въ заботы суетнаго свѣта*, и этой душой некогда будетъ *слушать холодный сонъ*. Душа, способная слышать и понимать *божественный милой* жизни, будетъ слушать его постоянно и, слѣдовательно, будетъ постоянно находиться въ страстно-напряженномъ положеніи бодрствующаго орла.

На это можно возразить, что человѣческіе нервы не выносятъ постоянного напряженія. Это справедливо. Поэтъ, какъ и всякій другой человѣкъ, нуждается въ отдыхѣ, но отдыхъ, то есть, полоса бездѣйствія, необходимая для восстановленія потраченныхъ силъ, не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ *малодушнымъ погруженіемъ въ суетныя заботы свѣта*. Это малодушное погруженіе для каждаго умнаго и впечатлительнаго человѣка бываетъ обыкновенно гораздо изнурительнѣе, чѣмъ самый напряженный процессъ творчества. Во время отдыха, поэтъ, изслѣдователь или какой нибудь другой общественный дѣятель отлаживаютъ въ сторону трудъ, но они все-таки постоянно остаются на той высотѣ умственнаго развитія, на которую они сумѣли поставить себя всѣмъ

процессомъ своей трудовой жизни. Если поэтъ искренно презираетъ дряблость и малочность того общества, среди котораго ему приходится жить, то это презрѣніе будетъ оставаться въ его душѣ даже и тогда, когда оно не будетъ служить ему тѣмою и канвою для стихотвореній или для романовъ. Если исследователь счумѣлъ отдѣлаться, посредствомъ своихъ научныхъ занятій, отъ различныхъ предразсудковъ, то онъ не подчинится этимъ предразсудкамъ въ то время, когда будетъ отдыхать отъ своихъ работъ. Если членъ парламента глубоко проникнутъ извѣстными политическими стремленіями, то онъ не откажется отъ этихъ стремленій тогда, когда превратится на нѣсколько недѣль въ беззаботнаго туриста или въ скромнаго сельскаго джентльмена. Спящій атлетъ все-таки остается атлетомъ, то есть, не превращается въ плюгаваго и безсильнаго карлика, хотя, разумѣется, онъ не можетъ совершать во время сна никакихъ подвиговъ силы, ловкости и мужества.

Бываютъ, конечно, минуты, когда *божественный лаголъ* жизни раздается особенно громко, такъ что становится вразумительнымъ даже для тѣхъ мелкихъ, легкомысленныхъ или тупоумныхъ людей, которые не замѣчаютъ или не понимаютъ его въ обыкновенное время. Въ жизни человѣческихъ обществъ бываютъ такія торжественныя или критическія минуты, когда все общество, сверху до низу, чувствуетъ необходимость сосредоточить всѣ свои силы для ожесточенной борьбы съ внѣшними или съ внутренними врагами. Въ такія минуты появляются обыкновенно цѣлыя тучи поэтовъ, порожденныхъ тревожнымъ настроеніемъ общества. Въ 1854 году, такіе скороспѣлые поэты сулили возможныя бѣдствія французамъ, англичанамъ и туркамъ. Въ 1857 году, такіе же точно поэты стыдили насъ тѣмъ, что мы очень долго спали, и увѣрили насъ чествомъ, что теперь мы проснулись. Нѣтъ сомнѣнія, что и крымская война, и всѣ послѣдовавшія за нею преобразованія составляютъ очень знаменательную эпоху въ исторической жизни нашего общества; но нѣтъ также ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что всѣ поэты, ругавшіе лорда Пальмерстона и толковавшіе о нашемъ возрожденіи, не произвели ровно ничего, кромѣ утомительнаго жужжанія. *Божественный лаголъ* жизни дошелъ до нихъ тогда, когда его уже слышали и почувствовали всѣ классы русскаго общества. Поэты не сдѣлали ровно ничего для разъясненія тѣхъ событій, которыми было поражено вниманіе общества; въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, поэты наигрывали только различныя варіаціи на тѣ тѣмы, которыя были даны имъ настоящими руководителями общественнаго сознанія.

Значить, хотя души мелкихъ людишекъ, вообразившихъ себя поэтами, дѣйствительно вострепнулись отъ громкихъ нотъ *божественнаго лагола*, однако, эти души оказались все-таки не *пробудившимися органами*, а только безсильными и пискливыми трасогузками. И эта участь всегда и вездѣ

постигаетъ тѣхъ людей, которые стремятся быть поэтами, не умѣя и не желая предварительно сдѣлаться мыслящими людьми и честными гражданами. Такіе господа, разумѣется, готовы превознести до небесъ то стихотвореніе Пушкина, которое я разбираю въ настоящую минуту. Блестящія фигуры и фразы этого стихотворенія предоставляютъ каждому рифмоплету полнѣйшее право быть пошлымъ дуракомъ и отъявленнымъ негодяемъ; эти фигуры и фразы даютъ ему даже драгоценную возможность рисоваться своею глупостью и своимъ негодяйствомъ. — Другъ любезный, спрашиваете вы у такого господина, зачѣмъ ты баклуши бьешь? — Затѣмъ, mon cher, отвѣчаетъ онъ вамъ съ благородною гордостью, что Аполлонъ не требуетъ меня къ священной жертвѣ. — А когда-жъ онъ тебя потребуетъ? — А я почему знаю! Поди спроси у Аполлона. — А зачѣмъ ты пьянствуешь? — Затѣмъ, что душа моя вкушаетъ холодный сонъ. — А взятки зачѣмъ берешь? — Затѣмъ, что я малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта. — А зачѣмъ ты своего вице-директора въ плечико цѣлуешь? — Затѣмъ, что я, быть можетъ, ничтожнѣе всѣхъ ничтожныхъ дѣтей міра. — Да вѣдь все это, братецъ ты мой, очень скверно. — Нисколько не скверно. Все это доказываетъ только, что я самый настоящій поэтъ, что душа моя вострепелась, какъ пробудившійся орелъ, что у меня зазвенитъ въ ушахъ и что я убѣгу отъ моего вице-директора въ широкошумныя дубровы. — Скатертью тебѣ дорога, любезный другъ.

VI.

Въ 1828 году, Пушкинъ написалъ стихотвореніе: «Чернь», въ которомъ, по словамъ Бѣлинскаго, заключается его «художническое profession de foi». Выдержками изъ этого стихотворенія любители чистаго искусства обыкновенно подкрѣпляютъ свои умозрѣнія. Я приведу это стихотвореніе вполнѣ, потому что въ немъ каждое слово есть драгоценный перлъ для безпристрастной оцѣнки Пушкина.

«Поэтъ по лирѣ вдохновенной
Рукой разсѣянной бряцалъ.
Онъ глѣзъ, — а холодный и надменный,
Бругомъ народъ непосвященный,
Ему бызсмысленно внималъ».

Лири и *пѣніе* составляютъ также обломки того стараго мифологическаго балласта, съ которымъ никакъ не можетъ разстаться Пушкинъ. Превращая поэта въ жреца Аполлона, давая ему въ руки *вдохновенную лиру*, заставляя его *пѣть*, Пушкинъ этими ветхими побрякушками глу-

любіма) жениться на Татьянѣ. Куда ни выйдѣ — все выйдѣ. А между тѣмъ, она полагаетъ, что влюблена въ него, и притомъ влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочетъ слышать. Если, вышедши замужъ, за этого любимого человѣка, она неизбежно должна сдѣлаться для него невыносимою обузою, то, спрашивается, какія же условія необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходною женою и образцовою матерью? По какому рецепту долженъ быть составленъ тотъ человѣкъ, въ котораго она могла бы влюбиться и котораго, кромѣ того, она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мнѣ, что Татьяна никого не можетъ осчастливить, и что если бы она вышла замужъ не за толстаго генерала, а за простаго смертнаго, желавшаго найдти въ ней не украшеніе дома, а добраго и умнаго друга, то ея семейная жизнь расположилась бы по слѣдующей программѣ, очень остроумно составленной Бѣлинскимъ для нѣкоторыхъ идеальныхъ дѣвъ: «Ужаснѣе всѣхъ другихъ, говоритъ Бѣлинскій, тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеалъ брачнаго счастья, — и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ поречъ своего разочарованія.» (Стр. 575). Именно такъ; и поэтому идеальной дѣвѣ Татьянѣ Дмитріевнѣ Лариной всего лучше и безопаснѣе было отправиться на ярмарку невѣстъ, чтобы потомъ превратиться въ самую простую бабу или въ самую блестящую свѣтскую даму.

Думать, что Пушкинъ способенъ создать типъ образцовой жены и превосходной матери, значитъ положительно вводить напраслину на нашего рѣзвато любимца музъ и грацій. Въ такой серьезной идеѣ Пушкинъ рѣшительно неповиненъ. На женщину онъ смотритъ исключительно съ точки зрѣнія ея миловидности. «Женщины, говорятъ онъ въ одномъ письмѣ, не имѣютъ характера; онѣ имѣютъ страсти въ молодости; оттого нетрудно и выводить ихъ». (Матеріалы для біографіи Пушкина, стр. 135). Въ бракѣ онъ видитъ только «рядъ утомительныхъ картинъ, романъ во вкусѣ Лафонтена». Изъ слову «женать» у него есть непремѣнно двѣ постоянныя рѣшмы: «жалать» и «рогать». За женитьбой, по его мнѣнію, неизбежно слѣдуетъ опошленіе; а тѣ люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми северными мужьями и живутъ съ своими жонами, какъ кошка съ собакой. Дѣйствительно, надо быть высоко развитымъ человѣкомъ, надо быть фанатикомъ великой идеи и плодотворнаго труда, чтобы понять и выразить всю безконечную поэзію постоянной любви. У насъ всѣ романы обыкновенно оканчиваются тамъ, гдѣ начинается семейная жизнь молодыхъ супруговъ. Доведа своего героя до свадьбы,

усидчивыми шлифовальщиками сценъ, картинъ, подробностей, языка и стиха. Усерднѣйшій адвокатъ *разсѣяннаго бряцанія*, Пушкинъ жестоко черкалъ и перемарывалъ свои рукописи, что уже нисколько непохоже ни на разсѣянное бряцаніе, ни на бессознательное творчество. Если бы Пушкину вздумалось подражать на практикѣ тому поэту, который «по лирѣ вдохновенной рукой разсѣянной бряцать», то мы, въ настоящую минуту, конечно, не имѣли бы никакого понятія о томъ, что жилъ на свѣтѣ нѣкій Пушкинъ, о чемъ-то разсѣянно бряцавшій. Продукты разсѣяннаго бряцанія, небрежно написанные, вялые, блѣдные и неблагозвучные стихи не нашли бы себѣ ни издателей, ни покупателей, ни читателей, ни обожателей, ни подражателей. Имя Пушкина кануло бы въ вѣчность, вмѣстѣ съ его разсѣяннымъ бряцаніемъ. Чувство самосохраненія заставляетъ, такимъ образомъ, поэтовъ откладывать въ сторону горделивую разсѣянность, когда они приступаютъ къ той сторонѣ своего труда, которая затрогиваетъ особенно близко ихъ собственные интересы. Они знаютъ, что публику надо приманивать красотою и яркостью внѣшней формы; они знаютъ, что безъ этой приманки имъ не добыть себѣ ни денегъ, ни извѣстности; поэту они и трудятся надъ внѣшнею формою, безъ малѣйшей разсѣянности, какъ простые чернорабочіе. Но, тщательно выгораживая, такимъ образомъ, свои собственные выгоды, тщательно обезпечивая за собою, посредствомъ самого напряженного труда, вѣрный и прибыльный сбытъ своихъ произведеній, поэты пушкинскаго закала напускаютъ на себя неизлечимую разсѣянность, какъ только заходятъ рѣчь о выгодахъ тѣхъ людей, которые покупаютъ и читаютъ ихъ произведенія. Передъ самимъ собою поэтъ совершенно правъ. На вопросъ: «зачѣмъ вы тратите трудъ и время», — онъ можетъ отвѣчать преспокойно: «затѣмъ, чтобы приобрѣсти деньги и извѣстность». — Резонъ совершенно достаточный. Деньги и извѣстность — такіа хорошія вещи, за которыми гоняются безъ отдыха всѣ люди, не совсѣмъ задавленные нуждою, имѣющіе возможность думать о чемъ нибудь, кромѣ чорстваго куска насущнаго хлѣба. Но о томъ, чтобы оказаться правымъ передъ другими людьми, поэтъ, по своей милой *разсѣянности*, совершенно не умѣетъ и не желаетъ думать. На вопросъ: «зачѣмъ вы предлагаете вашимъ соотечественникамъ такое чтеніе, которое не даетъ имъ ни новыхъ идей, ни фактическихъ знаній?» Поэтъ отвѣтитъ вамъ: «а мнѣ какое дѣло? Chacun chez soi, chacun pour soi! Я ихъ не заставляю покупать мои произведенія. — Спросите у купца толкучаго рынка: зачѣмъ вы, мой почтенный, торговлю ведете? — Онъ вамъ отвѣтитъ: затѣмъ, чтобы капиталы свои приумножить. — Спросите у него далѣе: а зачѣмъ вы, мой почтенный, продаете такой товаръ, который нигуда не годится? — Онъ вамъ отвѣтитъ: стало быть, годится-съ, когда покупаютъ. Наше дѣло продать-съ, а ихъ дѣло смотрѣть-съ. На то имъ отъ бога

глаза даны-съ, а насильно-съ мы никому товара нашего не всучиваемъ.

Сходство между общественною дѣятельностью *разспянаго* поэта и торговыми операціями искуснаго пушкинскаго негодіанта окажется полное и поразительное, особенно если мы припомнимъ, что просвѣщенный нашъ негодіантъ очень сильно заботится о вѣшной благодѣтельности того товара, котораго онъ никому не всучиваетъ насильно, подобно тому, какъ вдохновенный брацатель очень сильно трудится надъ вѣшною отдѣлкою тѣхъ произведеній, которыхъ онъ также никому не навязываетъ насильно.

Пушкинъ говоритъ, что поэтъ *безсмысленно* внималъ *хладный* и *надменный* народъ. Всѣ три ругательные эпитета, которыми охарактеризованъ народъ, не только сами по себѣ нелѣпы, но даже совершенно противорѣчаютъ тѣмъ чертамъ, которыми самъ же Пушкинъ обрисовываетъ народъ въ томъ же стихотвореніи. Что народъ слушаетъ *не безсмысленно*, это видно изъ того, что онъ высказываетъ о пѣснѣ поэта очень вѣрные замѣчанія, противъ которыхъ поэтъ не находитъ никакихъ аргументовъ, кромѣ энергическихъ ругательствъ и ничтожныхъ насмѣшекъ, желающихъ быть язвительными. Что народъ не можетъ быть названъ *хладнымъ*, — видно изъ того, что онъ поддается вліянію даже той пѣсни, которой безцѣльность онъ самъ замѣчаетъ и осуждаетъ. Народъ говоритъ о поэтѣ: «зачѣмъ сердца волнуешь, мучить, какъ своеправный чародѣй.» Если народъ чувствуетъ въ своемъ сердцѣ волненія и мученія въ такой сильной степени, что даже уподобляетъ поэта своеправному чародѣю, то гдѣ же та *хладность*, въ которой упрекаетъ его Пушкинъ? — Что народъ не можетъ быть названъ *надменнымъ*, — видно изъ того, что этотъ народъ смиренно кается передъ поэтомъ въ своихъ грѣхахъ, проситъ поэта быть его руководителемъ и общается терпѣливо и внимательно выслушивать его рѣзкія наставленія. А *надменнымъ* оказывается, напротивъ того, поэтъ, который, на эту смиренную просьбу народа, отвѣчаетъ: убирайтесь къ чорту! *Хладнымъ* оказывается также поэтъ, котораго не трогаютъ ни пороки ближнихъ, ни ихъ раскаяніе, ни ихъ желаніе исправиться. *Безсмысленнымъ* оказывается опять-таки тотъ же поэтъ, который какъ мы увидимъ дальше, совѣтуетъ народу врачевать душевные недуги *бичами, жемчугами и топорами*. Если можно въ чемъ-нибудь упрекнуть *неосвященный* народъ, то развѣ только въ томъ, что онъ, по свойственной всякому народу наклонности ротоувѣнчивать и кланяться въ поясъ, остановился слушать пѣніе такого отъявленнаго кретина, а потомъ, у этого же безнадежнаго кретина вздумалъ выпрашивать себѣ разумныхъ совѣтовъ.

VII.

«И толковала чернь тупая (это уже четвертое ругательное слово, измышленное любвеобильнымъ Пушкинымъ для посрамленія непосвященнаго народа): зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ? Напрасно ухо поражая, къ какой онъ цѣли насъ ведетъ? (Поэзія сама себѣ цѣль, т. е., когда творенія поэта раскуплены, тогда высшая и послѣдняя цѣль достигнута.) О чемъ бренчить? Чему насъ учить? Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучить, какъ своеправный чародѣй? Какъ вѣтеръ, нѣснѣ его свободна, ва то, какъ вѣтеръ, и безплодна; какая польза намъ отъ ней?»

Принисывая *тупой черни* эти слова, Пушкинъ, очевидно, желаетъ выразить ими то, что непосвященный народъ, не смотря на всю грубость своихъ чувствъ, не смотря на силу своихъ анти-эстетическихъ предубѣжденій, невольно и даже неохотно, но все-таки подчиняется неодолимому и волшебному обаянію поэтической пѣсни. Не смотря на свои недоброжелательныя отношенія къ чистому искусству, народъ сознается, что поэтъ *поетъ звучно* и что онъ даже *волнуетъ и мучитъ сердца, какъ своеправный чародѣй*.

Заставляя чернь произносить эти послѣднія слова, Пушкинъ черезчуръ увлекся своимъ желаніемъ превознести волшебную силу поэзіи. Спрашивается: можетъ ли дѣйствительно волновать и мучить сердца такой поэтъ, который ничему не учитъ своихъ читателей, не ведетъ ихъ ни къ какой опредѣленной цѣли и не приноситъ имъ никакой пользы? О чемъ пѣлъ или, какъ выражается *тупая чернь*, бренчалъ поэтъ, — этого мы не знаемъ, потому что Пушкинъ, къ сожалѣнію, не сообщаетъ намъ его пѣсни. Если бы онъ пѣлъ о нравахъ и обязанностяхъ человѣка, о стремленіи къ свѣтлому будущему, о недостаткахъ современной дѣйствительности, о борьбѣ человѣческаго разума съ вѣковыми заблужденіями, о сознательной любви къ отечеству и къ человечеству, о значеніи того или другого историческаго переворота, — то, разумѣется, его пѣніе волновало и мучило бы сердца, но въ то же время самый тупой, самый холодный, надменный и бессмысленный народъ не могъ бы упрекнуть это пѣніе въ томъ, что оно ничему не учитъ, не ведетъ ни къ какой цѣли и не приноситъ никакой пользы. Если бы пѣніе поэта наводило слушателей на серьезныя размышленія, если бы оно пробуждало или усиливало въ нихъ любовь къ истинѣ, ненависть къ обману и къ эксплуатаціи, презрѣніе къ двоедушію и къ тупоумію, то народу оставалось бы только слушать и благодарить, а поэту не было бы ни малѣйшаго основанія ссориться съ *тупою чернью*, зараженною грубыми утилитарными предразсудками.

Чтобы объяснить себѣ размовку, происшедшую между глѣцомъ и его слушателями, надо предположить, что поэтъ пѣлъ о красотѣ лѣтняго утра или о томъ, что какойнибудь онъ очень сильно любилъ и вѣрно цѣловалъ какуюнибудь ее. Воспѣваніе лѣтняго утра не могло волновать и мучить сердца, потому что подобныя воспѣванія играютъ въ поэзіи такую же скромную и невинную роль, какую играютъ въ обществѣ наочительныя бесѣды о прекрасной погодѣ. Воспѣваніе любви и поцѣлуевъ можетъ, конечно, волновать и мучить, но, для большей точности, надо было бы сказать, что это воспѣваніе волнуетъ и мучитъ не сердца, а чувственность. Эротическія пѣсни находятъ себѣ обыкновенно многочисленныхъ и усердныхъ слушателей; если же эротическая пѣсня пушкинскаго поэта казалась народу *безплодною*, и если онъ, вмѣсто нея, требовалъ себѣ такого пѣнія, которое вело бы его къ известной цѣли и приносило бы ему осязательную пользу, если онъ не довольствовался тѣмъ, что *возмозало* его чувственность, то надо сознаться, что поэтъ имѣлъ дѣло съ такою *чернью*, которая стояла на необыкновенно высокой степени умственного развитія и отличалась замѣчательно-серьезнымъ и разумнымъ взглядомъ на жизнь.

Мнѣ могутъ возразить, что пѣснь пушкинскаго поэта не была эротическою пѣснью, и что, слѣдовательно, неудовольствіе черни противъ этой пѣсни не доказываетъ еще, чтобы эта чернь относилась презрительно и насмѣшливо къ пріятному щекотанію чувственности. Но, въ такомъ случаѣ, я спрошу; какую же пѣснь могъ пѣть поэтъ? Постарайтесь найти, кромѣ эротической пѣсни, какуюнибудь пѣснь, которая могла бы волновать и мучить сердце, не удовлетворяя въ то же время всѣмъ требованіямъ утилитарнаго взгляда на жизнь. *Тупая чернь*, очевидно, требуетъ отъ поэта плодотворныхъ мыслей; а поэтъ, неспособный мыслить, даетъ ей яркое описаніе мелкихъ ощущений, которыя всякому известны, всякому понятны и пріятны въ дѣйствительной жизни, но въ пѣснѣ интересны только для шаловливыхъ отроковъ или для безсильно-сластолюбивыхъ стариковъ. Чернь не удовлетворяется соблазнительными картинками, и это обстоятельство, конечно, дѣлаетъ честь ея здоровымъ умственнымъ способностямъ. Приписавши черни слова о томъ, что пѣснь поэта волнуетъ и мучитъ сердца, Пушкинъ, совершенно неожиданно для самого себя, затронулъ вопросъ: можетъ ли бесполезная поэзія сильно дѣйствовать на человѣка? Я рассмотрѣлъ теперь этотъ вопросъ и пришелъ къ тому заключенію, что бесполезная поэзія всегда бываетъ въ то же время бессильною поэзіею, т. е. она или не производитъ совсѣмъ никакого впечатлѣнія, или дѣйствуетъ самымъ поверхностнымъ образомъ только на тѣхъ умственно-недозрѣлыхъ субъектовъ, которые способны упиваться балетными позами. — Услышавъ разсужденія черни, крестить, произведенный Пушкинымъ въ поэты, начинаетъ ругаться:

«Молчи, бессмысленный народъ, подемщикъ, рабъ нужды, заботы! (*подемщикъ*, по мнѣнію кретина, бранное слово. Попрекать человѣка тѣмъ, что онъ бѣденъ и трудится, значить, по мнѣнію того же кретина, обнаруживать благородство чувствъ и возвышенность мысли.) Несносенъ мнѣ твой ропотъ деревей. Ты червь земли, не сынъ небесъ! (Дѣтми небесъ оказываются, во-первыхъ, *разсѣянные* поэты, а во-вторыхъ, тѣ неусушные негодіанты толкачаго рынка, которые, какъ мы видѣли въ предыдущей главѣ, обходятся съ публикою столь же *разсѣянно*, какъ самые ревностные жрецы чистаго искусства). Тебѣ бы пользы все (ишь чего захотѣлъ! Тебѣ бы все хорошаго товару! думаетъ про себя искусный негодіантъ), на вѣсь кумиръ ты цѣнишь бельведерскій. Ты пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей. вѣдь богъ! (Себѣ дороже-съ! Самой настоящей англійской доброты! распинается негодіантъ за такую гниль, которая нейдетъ у него съ рукъ.) Такъ что-же? Печной горшокъ тебѣ дороже: ты щицу въ немъ себѣ варишь.»

Ну, а ты, возвышенный кретинъ, ты сынъ небесъ, ты въ чемъ варишь себѣ щицу, въ горшкѣ или въ бельведерскомъ кумирѣ? Или, можетъ быть, ты питаешься такою амброзією, которая ни въ чемъ не варится, а присылается къ тебѣ въ готовомъ видѣ изъ твоей небесной родины? Или, можетъ быть, ты скажешь, что совсѣмъ не твое дѣло разсуждать о пищѣ, и отошлешь насъ за справками къ твоему повару, т. е. къ одному изъ *червей земли*, къ одному изъ *тѣхъ жалкихъ рабовъ нужды*, которые цѣнятъ на вѣсь твоего мраморнаго бога? — Поваръ твой, о кретинъ, скажетъ намъ, навѣрное, что твоя пища варится въ горшкахъ и въ кострюляхъ, а не въ кумирахъ, и скажетъ намъ, кромѣ того, въ какую цѣну обходится тебѣ твой обѣдъ. Тогда мы узнаемъ, что ты съѣдаешь въ одинъ день такую массу человѣческаго труда, которая можетъ прокормить *раба нужды* съ женою и съ дѣтми въ теченіе цѣлаго мѣсяца. Тогда, поговоривши съ твоимъ коваромъ, мы увидимъ ясно, въ чемъ состоитъ несомнѣнное превосходство *дѣтей неба* надъ *черепами земли*. *Червь земли* живетъ впроголодь, а *сынъ неба* приобретаетъ себѣ надежный слой жира, который даетъ ему полную возможность создавать себѣ мраморныхъ боговъ и беззастѣнчиво плевать въ печные горшки неимущихъ соотечественниковъ.

«Онъ ничего не отрицаетъ, говоритъ Вѣлиноскій о Пушкинѣ, ничего не проваливается, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ»... «Общій колоритъ поэміи Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя красота человѣка и легяющая душу гуманность»... «Есть всегда что то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина»... «Никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ читателей, какъ Пушкинъ.»

Всѣ эти сладкія слова Вѣлинскаго превращаются въ жесточайшую пропію, когда вы ставите ихъ рядомъ съ словами самого Пушкина, взятыми изъ того стихотворенія, которое самъ же Вѣлинскій считаетъ его «поэтическимъ profession de foi.» Онъ ничего не отрицаетъ и не проклинаетъ — кромѣ всего трудящагося человѣчества. Онъ смотритъ съ любовью и благословеніемъ на все — то есть, на весь петербургскій beau monde, и даже на всѣхъ людей соиме il faut, живущихъ въ Москвѣ и въ провинціи. Обійи каморитъ поэзіи Пушкина — внутренняя красота человека... проводящаго свою жизнь въ благородной праздности и посвящающаго свои досуги нищеваренію и созерцанію мраморныхъ боговъ; и лелѣющая душу гуманность въ отношеніи къ дѣтямъ небесъ, которыя превращаютъ и топчутъ въ грязь червей земли. Есть всегда что-то особенно благородное (о да!) кроткое, тѣжное, благоуханное и граціозное въ томъ презрѣніи, съ которымъ Пушкинъ кричитъ на безмысленный народъ, бросая ему въ лицо, какъ сильныя ругательства, святыя слова: *поденщикъ и рабъ нужды.* Никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юнжѣ, и возмужалымъ, и даже старымъ читателямъ, какъ Пушкинъ, потому что никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не можетъ внушить своимъ читателямъ такого безпредѣльнаго равнодушія къ народнымъ страданіямъ, такого глубокаго презрѣнія къ честной бѣдности и такого систематическаго отвращенія къ полезному труду, какъ Пушкинъ.

Не для того я произвелъ это убійственное сопоставленіе, чтобы глумиться надъ священной памятью нашего великаго учителя, Вѣлинскаго, а для того, чтобы показать читателямъ, до какой степени опасны и губительны бываютъ эстетическія увлеченія даже для самыхъ сильныхъ и замѣчательныхъ умовъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какому воспитателя рекомендуетъ Вѣлинскій всей читающей Россіи! Хороши бы мы были, если бы мы принимали каждое слово Вѣлинскаго за изрѣченіе оракула! — На ругательства сына небесъ черемъ земли отвѣчаютъ слѣдующею смиренною просьбою:

«Нѣтъ, если ты небесъ избранный,
Свой даръ, божественный послышнись,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ лживы есмы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣзятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя.»

Бываютъ ли въ дѣйствительной жизни какія нибудь явленія, соответствующія до нѣкоторой степени этому обращенію черни къ поэту? — Бываютъ, и одно изъ такихъ явленій совершилось на глазахъ тѣхъ русскихъ людей, которые живы и здоровы до настоящей минуты. Мы всѣ помнимъ очень живо тотъ пафосъ самообличенія и публичнаго покаянія, который овладѣлъ нашимъ обществомъ послѣ окончанія крымской войны, и который, къ сожалѣнію, по прошествіи двухъ-трехъ лѣтъ, снова замѣнился для большинства соннымъ и тупымъ самодовольствомъ катковской школы. «Въ тѣ дни, когда намъ были новы» всѣ невинныя проявленія нашей робкой и скромной полу-гласности, въ тѣ веселые и счастливые дни, для нашего общества не существовало никакой беллетристики, кромѣ обличительной. На вниманіе публики могли рассчитывать только тѣ писатели, которые обнаруживали въ своихъ произведеніяхъ искреннее или неискреннее, но во всякомъ случаѣ, громкое негодованіе противъ различныхъ общественныхъ золъ, подлежащихъ вѣдѣнію нашей тогдашней полу-гласности. Даже катковская школа, всегда питавшая склонность къ сладостному оптимизму, не въ силахъ была сопротивляться требованіямъ читающей публики; громадный и быстрый успѣхъ «Губернскихъ очерковъ» положилъ, какъ извѣстно, самое прочное основаніе могуществу «Русскаго Вѣстника.» И такъ, *тупая чернь* требовала въ то время отъ своихъ поэтовъ, чтобы они, «любя ближняго», давали ей «смѣлые уроки» и постоянно держали передъ ея глазами длинный списокъ ея глупостей и подлостей. А что же дѣлали въ то время поэты? Что дѣлали самые ревностные жрецы чистаго искусства?—О! какъ только *тупая чернь* ясно сформулировала свои требованія, какъ только обнаружился сильный запросъ на обличительный товаръ, на прогрессивныя стремленія и на гражданскія чувства, — такъ тотчасъ самые эфирные мотыльки нашего поэтическаго вертограда, наперерывъ другъ передъ другомъ, стали прикладываться къ дѣлу русскую поговорку: «Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней.» Всѣ оказались раболѣпными угонщиками *тупой черни*, всѣ начали усердно поддаиваться подъ господствующій тонъ, всѣ почувствовали неодолимую потребность заявить о своихъ стихахъ и въ прозѣ, что они тоже любятъ отечество, что они тоже тяготеютъ застоюмъ мысли и жизни, что они тоже печалятся о бѣдности русскаго мужика и что они вообще не послѣдняя спица въ колесницѣ русскаго прогресса. Словомъ, *тупая чернь* сдѣлала знакъ своимъ поэтамъ, и поэты, какъ растропные слуги, со всѣхъ ногъ кинулись исполнять приказанія своего властелина, то есть, той самой *тупой черни*, съ которою такъ кавалерственно обращается неправдоподобный поэтъ, придуманный Пушкинымъ. И никому изъ жрецовъ чистаго искусства не пришло въ голову крикнуть печатано: «молчи, безмысленный народъ!» Ни у кого не хватило храбрости открыто и рѣшительно пойти противъ

чудъ.» Дѣйствительно, въ этомъ и заключается вся его задача. Почему онъ обратилъ свое вниманіе именно на этого «пріятеля младова», а не на кого нибудь другого,—объ этомъ вы его не спрашивайте. На то онъ и поэтъ, чтобы дѣлать въ области своего творчества все, что ему вздумается, не отдавая въ томъ отчета никому на свѣтѣ, ни даже самому себѣ. Чѣмъ объясняются причуды этого пріятеля — этимъ онъ также нисколько не интересуется.

Если бы критика и публика поняли романъ Пушкина такъ, какъ онъ самъ его понималъ, если бы они смотрѣли на него, какъ на невинную и безцѣльную штучку, подобную «Графу Нулину» или «Доміку въ Коломнѣ», если бы они не ставили Пушкина на пьедесталъ, на который онъ не имѣетъ ни малѣйшаго права, и не навязывали ему насильно великихъ задачъ, которыхъ онъ вовсе не умѣетъ и не желаетъ ни рѣшать, ни даже задавать себѣ,—тогда я и не подумалъ бы возмущать чувствительныя сердца русскихъ эстетиковъ моими непочтительными статьями о произведеніяхъ нашего, такъ называемаго, *великаго поэта*. Но, къ сожалѣнію, публика временъ Пушкина была такъ неразвита, что принимала хорошіе стихи и яркія описанія за великія событія въ своей умственной жизни. Эта публика съ одинаковымъ усердіемъ переписывала и «Горе отъ ума»,—одно изъ величайшихъ произведеній нашей литературы, и «Бахчисарайскій фонтанъ», въ которомъ нѣтъ ровно ничего, кромѣ пріятныхъ звуковъ и яркихъ красокъ.

Спустя двадцать лѣтъ, за вопросъ о Пушкинѣ взялся превосходный критикъ, честный гражданинъ и замѣчательный мыслитель, Виссаріонъ Бѣлинскій. Кажется, такой человѣкъ могъ рѣшить этотъ вопросъ удовлетворительно и отвести Пушкину то скромное мѣсто, которое должно принадлежать ему въ исторіи нашей умственной жизни. Вышло, однако, наоборотъ. Бѣлинскій написалъ о Пушкинѣ одиннадцать превосходныхъ статей и разсыпалъ въ этихъ статьяхъ множество самыхъ свѣтлыхъ мыслей о правахъ и обязанностяхъ человѣка, объ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами, о любви, о ревности, о частной и объ общественной жизни, но вопросъ о Пушкинѣ въ концѣ концовъ оказался совершенно затемненнымъ. Читателямъ, а быть можетъ, и самому Бѣлинскому, показалось, что именно Пушкинъ породилъ своими произведеніями всѣ эти замѣчательныя мысли, которыя, однако, цѣликомъ принадлежали критику и которыя, по всей вѣроятности, вовсе не понравились бы разбираемому поэту. Бѣлинскій преувеличилъ значеніе всѣхъ главныхъ произведеній Пушкина, и каждому изъ этихъ произведеній приписалъ такой серьезный и глубокий смыслъ, котораго самъ авторъ никакъ не могъ и не хотѣлъ въ нихъ вложить.

Статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ сами по себѣ, какъ самостоятельныя литературныя произведенія, были чрезвычайно полезны для умственного

физическое или антично-мифологическое чувство одержало победу надъ всѣми искушеніями предстоящей популярности, — было бы просто смѣшно. Достаточно припомнить, что всѣ отрасли искусства всегда и вездѣ подчинялись мельчайшимъ и глупѣйшимъ требованіямъ измѣнчиваго общественнаго вкуса и прихотливой моды. Красота художественнаго произведенія сама по себѣ вещь чисто-условная; поэтому, привязанность человѣка къ этой условной и относительной красотѣ никогда не можетъ быть на столько сильною, чтобы служить ему надежною опорой. въ серьезной борьбѣ съ господствующими требованіями времени и народа. Идти наперекоръ ясно-выраженнымъ желаніямъ массы можно только изъ горячей любви къ этой же самой массѣ. Только живая, естественная и искренняя любовь человѣка къ людямъ можетъ дать передовому мыслителю или дѣятелю непоколебимую самоувѣренность, силу и мужество, необходимыя для того, чтобы встрѣтить и выдержать жестокую бурю близорукое общественное негодованіе и медленную пытку незаслуженнаго презрѣнія. Всякія искусственныя, тепличныя и напущенныя чувства, въ томъ числѣ, разумѣется, и уморительная любовь художника къ служенію Музъ, нетерпящему суеты, изломаются и исчезнутъ безъ слѣда при первомъ столкновеніи съ требованіями общества, хотя бы даже эти требованія были сами по себѣ совершенно неосновательны.

Въ стихотвореніи Пушкина выходитъ совсѣмъ наоборотъ: поэтъ торжественно отказывается отъ популярности, громко проклинаетъ *тупую чернь* и погружается въ одинокое созерцаніе чистой красоты, понятной только для посвященныхъ. Эта совершенно неправдоподобная развязка объясняется очень легко и совершенно удовлетворительно тѣмъ обстоятельствомъ, что общество, въ которомъ жилъ Пушкинъ, спало мертвымъ сномъ, такъ что Пушкинъ не имѣлъ возможности составить себѣ приблизительно-вѣрнаго понятія о томъ, что такое общественное мнѣніе, что такое голосъ *тупой черни* и въ какой степени заразительны и увлекательны бываютъ общественныя страсти. Можно предположить даже, что все стихотвореніе Пушкина было вызвано какою нибудь тупою и пошлою критическою статьею Булгарина, упрекавшего его въ безнравственности и требовавшего отъ него поучительныхъ стиховъ и медоточивыхъ разсказовъ. Булгаринъ или какой нибудь другой артистъ того же достоинства, по всей вѣроятности, показался Пушкину представителемъ массы и проводникомъ ея умственныхъ требованій; дрянное поползновеніе булгаринской клики къ пошлой нравоучительности принято Пушкинымъ за чистѣйшее выраженіе принципа утилитарности. Это предположеніе въ высшей степени правдоподобно, потому что, дѣйствительно, во времена Пушкина, въ нашей литературѣ не было еще ни одного писателя, который постоянно и добросовѣстно защищалъ бы интересы массы и смотрѣлъ бы съ чисто-утилитарной точки зрѣнія на всѣ явленія жизни,

науки и искусства, Значить, Пушкинь, ругая чернь и глумясь надъ идеею пользы, ратуетъ противъ такихъ вещей, которыхъ онъ никогда не видалъ въ глаза. Отсюда происходитъ та неосновательная храбрость и то комическое озлобленіе, которыя обнаруживаетъ пушкинскій поэтъ въ отношеніи къ *тупой черни*, терпящей горькую напраслину за глупости и подлости булгаринской клики.

Подобное зрѣлище намъ случилось видѣть очень недавно. Разгоряченный нападеніями «Искры», г. Писемскій написалъ противъ нея огромный романъ, въ которомъ старался доказать, что отечество находится въ опасности и что молодое поколѣніе погибаетъ въ безднѣ заблужденій. Въ дѣлахъ отечества и молодого поколѣнія г. Писемскій оказывается совершенно такимъ же компетентнымъ судьей, какимъ оказывается Пушкинь въ вопросѣ о требованіяхъ общественнаго мнѣнія и объ идеѣ утилитарности. Оба говорятъ о томъ, чего они не знаютъ, и оба принимаютъ за воплощеніе принципа такую случайную и ничтожную мелочь, которая ни съ какимъ принципомъ не можетъ имѣть ничего общаго. Такія комическія ошибки, конечно, не дѣлаютъ особенной чести ни природному ихъ остроумію, ни широтѣ и основательности ихъ благопріобрѣтеннаго умственнаго развитія.

VIII.

Неудобно-ли теперь послушать отвѣтъ пушкинскаго поэта:

«Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ;
Душѣ прогивны вы, какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Считаютъ соръ — полезный трудъ! —
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.»

Этими торжественными словами оканчивается стихотвореніе, и тутъ можно именно сказать, что конецъ вѣнчаетъ дѣло. Если бы какой нибудь злѣйшій врагъ чистаго искусства захотѣлъ закидать его грязью и погубить его во мнѣніи общества, то врядъ ли бы онъ придумалъ для своей обвинительной рѣчи что нибудь сильнѣе и убійственнѣе тѣхъ словъ, которыя Пушкинъ такъ простодушно и откровенно приписываетъ своему поэту.

Мирному поэту нѣтъ дѣла до умственныхъ и нравственныхъ потребностей народа; ему нѣтъ дѣла до пороковъ и страданій окружающихъ людей; ему нѣтъ дѣла до того, что эти люди желаютъ мыслить и совершенствоваться и просятъ себѣ живого слова и разумнаго совѣта у того, кто самъ себя величаетъ *сыномъ небесъ* и въ комъ они также признаютъ *избранника небесъ и божественнаго посланника*. Спрашивается, въ такомъ случаѣ, до кого и до чего же ему есть дѣло? — До самого себя и до своихъ собственныхъ ощущеній? До веселой попойки съ любезнымъ другомъ Ивановымъ, до пріятной болтовни съ чудеснымъ малымъ Семеновымъ, до катанья на тройкѣ съ отличнымъ товарищемъ Андреевымъ? До золотыхъ локоновъ прелестной А., до лебединой шеи очаровательной В., до маленькой ножки несравненной С., до голубыхъ очей восхитительной Д? — Вѣдь, на самомъ дѣлѣ, если отодвинуть въ сторону всѣ мифологическія фіоритуръ, — служеніе Музъ, которое не терпитъ суеты, и священная жертва, въ которой Аполлонъ требуетъ поэта, окажутся просто интимною болтовнею поэта съ милыми друзьями о милыхъ подругахъ и съ милыми подругами о ихъ собственныхъ прелестяхъ. Такая болтовня очень интересна для самого поэта, для его милыхъ друзей и для его милыхъ подругъ; но такъ какъ у каждого отдѣльнаго человѣка есть свои собственные милые друзья и свои собственные милые подруги, то, при такомъ направленіи творческой дѣятельности, поэзія превращается въ дѣло или, вѣрнѣе, въ забаву частныхъ кружковъ, и совершенно теряетъ свою способность служить высшей нравственною связью между всѣми грамотными членами извѣстной націи.

Такъ оно и было дѣйствительно у насъ, въ Россіи, въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Чтобы дать читателямъ легкое понятіе о томъ, какимъ граціозно-младенческимъ забавамъ предавались тогдашніе корифеи поэзіи, я приведу здѣсь небольшую выписку изъ «Матеріаловъ для біографіи Пушкина», собранныхъ г. Анненковымъ.

«Въ 1815 году еще продолжалась бѣрба, возникшая по поводу нововведенія Карамзина, и противники его направленія сосредоточились въ обществѣ: Бесѣда любителей Русскаго слова (должно быть, не нашего), къ членамъ которой принадлежали многіе даровитые люди: въ числѣ ихъ былъ и кн. Шаховской. Все молодое, желавшее новыхъ формъ для поэзіи и языка и свѣжихъ источниковъ для искусства вообще, при-

строилось въ другому обществу, — Арзамасу. Арзамасъ порожденъ былъ шуткой и сохранялъ основной характеръ свой до конца. Одинъ веселый и остроумный рассказъ подъ названіемъ: *Видѣніе во градѣ*, вызвалъ его на свѣтъ. Въ рассказѣ переданъ былъ анекдотъ о нѣкоторыхъ скромныхъ людяхъ, собравшихся разъ на обѣдъ въ бѣдный Арзамасскій трактиръ. Столъ ихъ былъ покрытъ скатертью, бѣлизны не совсѣмъ безпорочной, и нисколько не былъ отягощенъ изобиліемъ брашенъ. Въ срединѣ бесѣды прислужникъ возвѣстилъ имъ, что какой-то проѣзжіи остановился въ трактирѣ и, повидимому, находится въ магнетическомъ свѣ. Хотя любопытство и приписывается исключительно прекрасному полу, но друзья Арзамаса доказали противное. Они отправились наблюдать новаго ясновидящаго у дверей и увидѣли высокаго, толстаго человѣка, который ходилъ безпрестанно по комнатамъ, произнося непонятные тирады и афоризмы. Послѣдніе они тутъ же записали, но скрыли всѣ собственныя имена, потому что незлобивость и добродушіе составляли и составляютъ отличительную черту Арзамаса. Едва разнеслась эта шутка, въ которой не трудно было отгадать всѣ тонкіе намеки ея, какъ авторъ получилъ отъ одного изъ своихъ друзей приглашеніе на первый *Арзамасскій вечеръ*. Продолжая шутку, лица Арзамасскаго вечера назвались именами изъ балладъ В. А. Жуковского и, на подобіе Французской Академіи, положили правило: всякій новоизбранный членъ обязанъ былъ сказать похвальное слово — не умершему своему предшественнику, потому что такихъ не было, а какому-либо члену Бесѣды любителей Русскаго слова или другому извѣстному литератору. Такъ, произнесены были похвальные слова г. Захарову, переводчику Авелевой смерти Геснера, Велисарія г-жи Жанлисъ и Странствованій Телемака Фенелона; Г. А. Волкову — автору Арфы стихогласной и мног. др. Секретарь общества, В. А. Жуковский, велъ журналъ засѣданій, и протоколы его представляютъ автора Людмилы, съ другой стороны, еще неуловленной біографами (ахъ, біографы! чего вы смотрите?) со стороны вообще веселаго характера. Это образцы самой забавной и, вмѣстѣ, самой приличной шутки.» (Стр. 50, 51).

Вотъ каковы были тѣ господа, по поводу которыхъ Вѣлинскій проводилъ идею органическаго развитія. И вотъ каково было то высокое служеніе Музъ, которое налагало на поэта обязанность игнорировать и презирать потребности, пороки и страданія *тупой черни*, то есть, всего русскаго общества. Здѣсь, какъ видите, навязываніе бумажки на Зюсюшкинъ хвостъ было возведено въ принципъ и обставлено торжественными обрядами. Къ этому многотрудному и систематическому навязыванію Пушкинъ, по свидѣтельству того же г. Анненкова, относился постоянно съ непоколебимою нѣжностью.

«Такъ важно было, говорить г. Анненковъ, вліяніе Арзамаса на

литературу нашу, и, надо прибавить къ этому, что Пушкинъ уже сохранилъ навсегда уваженіе, какъ къ лицамъ признаннымъ авторитетами (по части навязыванія бумажки?) въ средѣ его, такъ и къ самому способу дѣйствованія во имя идей, обсужденныхъ цѣлымъ обществомъ. Онъ сильно порицалъ у друзей своихъ попытки разьединенія (а чѣмъ такимъ они были соединены? Должно быть, общею ненавистью къ М. Каченовскому?), проявившіяся одно время въ видѣ нападокъ на произведенія Жуковского (это значитъ: нашихъ не тронь! и рука руку моетъ), и вообще всѣ такого рода попытки; да и къ одному личному мнѣнію, становившемуся наперекоръ мнѣнію общему, уже никогда не имѣлъ уваженія.» (Оно и видно, стало быть, что поэтъ «къ ногамъ народнаго кумира не клонитъ гордой головы.» Здѣсь роль народа играетъ кружокъ, и поэтъ оказывается покорнымъ слугою этого кружка).

Въ другомъ мѣстѣ (стр. 54) г. Анненковъ говоритъ о Пушкинѣ, что «онъ сохранилъ до конца своей жизни существенныя, характеристическія черты члена старыхъ литературныхъ обществъ и уже не имѣлъ симпатій къ произволу (а въ кружкахъ его небыло?) журнальныхъ сужденій, вскорѣ замѣстившему ихъ и захватившему довольно обширный кругъ дѣйствія.»

Эти біографическія подробности составляютъ очень выразительный комментарий къ тому *поэтическому profession de foi*, которое изложилъ Пушкинъ въ стихотвореніи: «Чернь». — Мы видимъ теперь довольно ясно, во имя чего поэтъ отвертывается отъ разумныхъ и реальныхъ требованій общества. Углубленный въ игрушечные интересы разныхъ Арзамасовъ, поэтъ приглашаетъ живыхъ людей *(смыло камень въ развратъ)*; онъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что *мать его миръ*, посвященной воспѣванію Зюзюшки и ея хвоста, *не оживитъ* людей, требующихъ себѣ нравственнаго обновленія. Эти люди, дерзающіе чего-то требовать, *противны его душѣ, какъ гробы*, потому что они, своимъ дѣкучливымъ ропотомъ, мѣшаютъ этой арзамасской душѣ погрузиться безраздѣльно въ глубокомысленное созерцаніе зюзюшкинаго хвоста. Легко себѣ представить, какимъ *гробомъ* долженъ былъ показаться Пушкину одинъ неизвѣстный *червь земли*, написавшій къ сыну небесъ энергическое письмо, изъ котораго г. Анненковъ приводитъ слѣдующія замѣчательныя строки: «когда видишь того, кто долженъ покорять сердца людей, рабѣдствующаго передъ обычаями и привычками толпы, — человекъ останавливается посреди пути и спрашиваетъ самого себя: почему преграждаетъ мнѣ дорогу тотъ, который впереди меня и которому слѣдовало бы сдѣлаться моимъ вожатымъ? Подобная мысль приходитъ мнѣ въ голову, когда я думаю о васъ, — а думаю я объ васъ много, даже до усталости. Позвольте же мнѣ идти, сдѣлайте милость. Если некогда вамъ узнавать требованія шани, углубитесь въ самого себя и въ собственной груди почерпните

огонь, который, несомнѣнно, присутствуетъ въ каждой такой душѣ, какъ ваша». (Стр. 88).

Здоровымъ и мужественнымъ, не арзамасскимъ и не пушкинскимъ взглядомъ на жизнь проникнуты эти строки. Тому *чребу*, который проситъ у Пушкина *позволенія идти*, и всѣмъ другимъ, подобнымъ ему, *чребамъ* любвеобильный поэтъ великодушно совѣтуетъ обратиться за умственнымъ и нравственнымъ совершенствованіемъ къ бичамъ, къ темницамъ и къ топорамъ:

«Для вашей глупости и злобы
Ижили вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры. —
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!»

Это невѣроятное четверостишіе слѣдуетъ выгравировать золотыми буквами на подножіи того монумента, который благодарная Россія, безъ сомнѣнія, воздвигнетъ изъ своихъ трудовыхъ копѣекъ своему величайшему поэту. А въ ожиданіи монумента, это же самое четверостишіе должно сдѣлаться эпитафіомъ къ тому изданію сочиненій Пушкина, по которому *молодые люди обою помя будутъ воспитывать въ себѣ человека*.

Предоставивъ, такимъ образомъ, нравственное воспитаніе народа бичамъ, темницамъ и топорамъ, пушкинскій поэтъ объявляетъ, что подобныя ему дѣти небесъ рождены не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ, а для вдохновенія, для сладкихъ звуковъ, для молитвъ. Все это прекрасно, любезныя дѣти небесъ, но все это въ высшей степени неопредѣленно. Вы рождены для вдохновенія — очень хорошо! Но *чѣмъ* именно вы будете вдохновляться? — вотъ вопросъ, на который вамъ не мѣшало бы прискаты отвѣтъ. Вы рождены для сладкихъ звуковъ — это тоже недурно! Но *кому* именно эти звуки будутъ казаться сладкими? Вы рождены для молитвъ — превосходно! Но *о комъ* и *о чѣмъ* вы будете молиться? — Если вы, дѣти небесъ, будете вдохновляться такими явленіями жизни, которыя въ каждомъ неглупомъ чловѣкѣ возбуждаютъ негодованіе и отвращеніе, если вы, напримѣръ, будете прославлять дикое насиліе, какъ геніальную твердость, а низкую угодливость, какъ безкорыстную преданность, то легко можетъ случиться, что все ваше вдохновеніе будетъ стоять въ глазахъ вашихъ соотечественниковъ неизмѣримо ниже, чѣмъ сметаніе сора съ улицъ шумныхъ, о которомъ вы отзываетесь съ самымъ великолѣпнымъ презрѣніемъ. Если вы, дѣти небесъ, предъ толпою голодныхъ людей будете воспѣвать достоинства страсбургскаго пирога и лимбургскаго сыра, то можно сказать навѣрное, что ваши *звуки*, очень *сладкіе* для васъ самихъ и для подобныхъ вамъ тунеядцевъ, покажутся вашимъ голоднымъ слушателямъ горькою и отвратительною насмѣшкою надъ ихъ безпомощнымъ положеніемъ. Если вы, дѣти небесъ, имѣя въ своихъ амбарахъ тысячи чет-

вертей продажной пшеницы, будете молиться о ниспосланіи на землю града или саранчи, для надлежащаго повышенія рыночныхъ цѣнъ, то я не совѣтую вамъ высказывать вашу молитву во всеуслышаніе, потому что, въ какіе бы *смолисто-тяжкіе* и *кристально-прозрачныя* ямбы или хоры вы ни облекли вашу молитву о градѣ и о саранчѣ, во всякомъ случаѣ, эта молитва не доставитъ ни малѣйшаго удовольствія вашимъ добродушнымъ и трудолюбивымъ сосѣдямъ. Такимъ образомъ, вы видите, о дѣти небесъ, что не всякое вдохновеніе возбуждаетъ въ людяхъ чувство уваженія и признательности, что не всякій сладкій звукъ оказывается сладкимъ для всѣхъ слушателей и что не всякая молитва можетъ быть названа высокимъ подвигомъ челоуѣколюбія. Стало быть, ты, о пушкинскій поэтъ, объявляя *тупой черни*, что вы рождены для вдохновеній, для сладкихъ звуковъ и для молитвъ, занимаешься произнесеніемъ словъ, не заключающихъ въ себѣ никакого опредѣленнаго смысла.

Кромѣ того, не мѣшаетъ замѣтить, что у Пушкина слово расходится съ дѣломъ, или поэтическое profession de foi расходится съ поэтическою дѣятельностью. Объявляя категорически, что поэты рождены *не для битвъ*, Пушкинъ, въ то же время, пишетъ свои два слишкомъ извѣстныхъ стихотворенія: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». И онъ не только написалъ и напечаталъ эти два, въ буквальный смыслъ слова, *воинственные* стихотворенія, но даже самъ придавалъ имъ серьезное европейское значеніе. «Пушкинъ, говоритъ г. Анненковъ, выразилъ во французскомъ письмѣ къ князю Н. Б. Голицыну (переводчику по французски «Чернеца» Козлова и пьесы: «Клеветникамъ Россіи») чувства, одушевлявшія его во время созданія самого стихотворенія: «*Merci mille fois, говоритъ онъ, cher Prince, pour votre incomparable traduction de ma pièce de vers, lancée contre les ennemis de notre pays... Que ne traduisites-vous pas cette pièce en temps opportun? Je l'aurais fais passer en France, pour donner sur le nez à tous ces vocifératrices de la Chambre des députés.*» (Тысячу разъ благодарю васъ, любезный князь, за вашъ несравненный переводъ моего стихотворенія, направленнаго противъ враговъ нашей земли... Зачѣмъ не перевели вы его во время? — Я бы переслалъ его во Францію, чтобы ударить по носу всѣхъ этихъ крикуновъ Палаты депутатовъ.) (Стр. 318).

Видите, въ самомъ дѣлѣ, какъ это жалко, что князь Голицынъ опоздалъ сдѣлать переводъ. Попади только это стихотвореніе во Францію, тогда, само собою разумѣется, всѣ крикливые французскіе депутаты, узнавши, что въ Россіи существуетъ воинственный и сердитый стихотворецъ, monsieur Pouschkine, тотчасъ понизили бы тонъ и немедленно уразумѣли бы, что съ Россіею ссориться опасно, ибо эта Россія можетъ засыпать Францію растаянутыми стихотвореніями, тщательно переведенными съ русскаго на французскій.

поэтическія произведенія, если бы для этого надо было *только придумать какуюнибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную же форму*. На самомъ дѣлѣ, всѣ поэтическія произведенія создаются именно такимъ образомъ: тотъ человѣкъ, котораго мы называемъ поэтомъ, придумываетъ какуюнибудь мысль и потомъ втискиваетъ ее въ придуманную форму. Это втискиваніе обыкновенно стоитъ поэту очень большого труда; сначала онъ набрасываетъ планъ своего будущаго произведенія, потомъ придумываетъ отдѣльныя сцены, картины и подробности, потомъ шлифуетъ языкъ или стихъ. Ни стройность плана, ни красота подробностей, ни картинность языка, ни вѣншее изящество стиха, — словомъ, ни одно изъ достоинствъ поэтическаго произведенія не даются поэту сразу. Оконченное произведеніе обыкновенно представляетъ очень мало сходства съ первоначальнымъ замысломъ. Весь остовъ поэтическаго произведенія подвергается во время работы очень значительнымъ и глубокимъ видоизмѣненіямъ. Однѣ подробности, которыя сначала казались поэту необходимыми, оказываются излишними и неумѣстными; другія подробности, которыхъ онъ сначала не имѣлъ въ виду, оказываются необходимыми. Поэтъ, какъ плохой портной, кроитъ и перекраиваетъ, урѣзываетъ и приставляетъ, сшиваетъ и утюжитъ до тѣхъ поръ, пока не получится въ окончательномъ результатѣ нѣчто правдоподобное и благообразное.

Желающіе могутъ найти въ «Матеріалахъ для біографіи Пушкина», собранныхъ г. Анненковымъ, многочисленныя примѣры той тяжелой, черной работы, посредствомъ которой Пушкинъ втискивалъ придуманную мысль въ придуманную форму. Если поэтъ дѣйствительно придумываетъ и втискиваетъ, то, стало быть, всякій, кто умѣетъ хорошо придумать и хорошо втиснуть, можетъ сдѣлаться замѣчательнымъ поэтомъ. Это несомнѣнно, но слѣдуетъ ли изъ этого то заключеніе, что поэтомъ сдѣлаться легко? — Нисколько не слѣдуетъ. *Придумать мысль*, какъ выражается Бѣлинскій, совсѣмъ не легко. Умныя мысли приходятъ въ голову только умнымъ людямъ, и приходятъ сами, помимо нашей воли. Придумать мысль, то есть, привести ее насильно къ себѣ въ голову, нѣтъ даже никакой возможности. Затѣмъ, когда мысль пришла въ голову, необходимо много энергіи и напряженнаго умственнаго труда для того, чтобы разсмотрѣть эту мысль со всѣхъ сторонъ и чтобы развить изъ нея всѣ ея послѣдствія. Наконецъ, для того, чтобы передать другимъ людямъ ясно и отчетливо то, что вы сами поняли и перечувствовали, надо потратить очень много труда на втискиваніе мысли въ форму. Умъ, энергія, трудолюбіе, техническая ловкость или сноровка, — всѣ эти качества необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться поэтомъ, — необходимы точно въ такой же мѣрѣ, въ какой они необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться ораторомъ, профессо-

IX.

Какими же глазами смотреть Бѣлинскій на то «художническое profession de foi» Пушкина, о которомъ я говорилъ до сихъ поръ? Отношенія Бѣлинскаго къ этому стихотворенію въ высшей степени неопредѣленны. «Онъ презираетъ чернь, говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ, и на ея приглашеніе—исправлять ее звуками лиры, отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія.»—Затѣмъ Бѣлинскій выписываетъ—просто трудно повѣрить глазамъ!—заключительный монологъ поэта, тотъ самый монологъ, въ которомъ народу представляются въ вѣчное потомственное владѣніе *бичи, тамники, топоры*, а поэтамъ отмежовывается область *вдохновенія, сладкихъ звуковъ и молитвъ*. И Бѣлинскій въ этихъ безумныхъ словахъ находитъ *благородную гордость*.

Выписавши монологъ поэта, Бѣлинскій разсуждаетъ такъ: «Дѣйствительно, смѣшны и жалки тѣ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на искусство втискивать въ разсѣренныя строчки съ рифмами разными правоучительныя мысли и требуютъ отъ поэта непременно, чтобы онъ воспѣвалъ имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидѣть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нѣтъ общихъ правоучительныхъ мѣстъ.»

Затѣмъ Бѣлинскій придумалъ здѣсь какихъ-то *муницовъ*, которымъ онъ приписалъ какія-то глупыя требованія—этого я рѣшительно не понимаю. *Тупая чернь* никогда не требовала отъ поэта, чтобы онъ воспѣвалъ ей все любовь да дружбу. Она требовала отъ поэта не *общихъ правоучительныхъ мѣстъ*, а *смыслыхъ уроковъ*, что нисколько непохоже ни на *общія правоучительныя мѣста*, ни на *любовь да дружбу*. Если бы *тупая чернь* состояла изъ тѣхъ *муницовъ*, которыхъ Бѣлинскій называетъ *смыслыми и жалкими*, тогда она совершенно удовлетворилась бы пушкинскою поэзію, потому что эта поэзія заключаетъ въ себѣ именно то, что нравится *смыслымъ и жалкимъ муницамъ*. Это не я говорю, это говоритъ самъ Бѣлинскій. На стр. 399 онъ объявляетъ намъ, что смѣшныя и жалкіе глупцы заставляютъ поэта воспѣвать *все любовь да дружбу*, а на стр. 391 Бѣлинскій спрашиваетъ: «что составляетъ содержаніе мелкихъ піесъ Пушкина?» и отвѣчаетъ такъ: «почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни.»—Значить, *смыслые и жалкіе муницы* Бѣлинскаго оказываются для Пушкина не *тупою чернью*, а напротивъ того, избранною и посвященною публикою,

читающаго съ восторгомъ его стихотворенія. Значить, Пушкинъ *отъ-часть* словами, полными благородной гордости, не смѣливымъ и жалкимъ мунцамъ, а честнымъ и мыслящимъ гражданамъ, которымъ непременно долженъ сочувствовать и самъ Бѣлинскій; значить, наконецъ, самъ Бѣлинскій, стараясь прикрыть промахи Пушкина, такъ запутывается въ противорѣчія, что вытащить его изъ нихъ не остается ни малѣйшей возможности. На страницѣ 398 онъ хвалитъ Пушкина за *благородную гордость*, а на страницѣ 400 оказывается, что, при этой *благородной гордости*, поэтъ *рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній*. Впрочемъ, у эстетиковъ и полу-эстетиковъ такіа противорѣчія даже не считаются противорѣчіями. На той же 400 страницѣ, Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ говоритъ, что стихотвореніе «Поэтъ» *превосходно*, но что мысль этого стихотворенія *совершенно ложна*.

Съ нашей реальной точки зрѣнія, такое явленіе немислимо; по нашему, если мысль совершенно ложна, то и все стихотвореніе никуда не родится; но такъ какъ эстетики обладаютъ спеціальною способностью улаживаться стихотвореніями, какъ *жареными птичками величинаю съ наперстока*, то, разумѣется, на ихъ кабалистическомъ языкѣ, слово *превосходно* можетъ имѣть гастрономическое или какое нибудь другое, столь же непостижимое для насъ значеніе. Та гордость, съ которою Пушкинъ гонитъ прочь *тупую чернь*, по всей вѣроятности, показала Бѣлинскому *благородною* съ какою нибудь спеціально-эстетической точки зрѣнія. Въ этой гордости, на самомъ дѣлѣ, нѣтъ рѣшительно ничего благороднаго: во-первыхъ потому, что она совершенно бессмысленна, а во-вторыхъ потому, что она поддѣльна, какъ стоическое равнодушіе голодной лисицы къ недоступному винограду. Тотъ фактъ, что читающая масса значительно охладѣла къ Пушкину во время послѣдняго десятилѣтія его литературной дѣятельности,—не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Объ этомъ фактѣ говорятъ очень откровенно и Бѣлинскій, и Гоголь, и г. Анненковъ, и всѣ прочіе обожатели Пушкина. Стало быть, поэтъ гонитъ отъ себя чернь заднимъ числомъ, то есть, тогда, когда она сама удалилась отъ него и когда онъ увидѣлъ свою неспособность воротить ее назадъ.

Стихотвореніе: «Поэту», написанное въ 1830 году, также наполнено назидательными размышленіями о незрѣлости винограда.

«Поэтъ, говоритъ Пушкинъ, не дорожи любовію народною! Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ; услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной (это, очевидно, говорится по опыту); но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ (а что же больше то дѣлать? Въдѣ не плакать же публично объ утраченной популярности?). Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободною иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, не требуя наградъ за подвигъ бла-

городный (поэтъ убѣдительно проситъ самого себя не нищенствовать передъ толпою и доказываетъ самому себѣ очень основательно, что получить отъ толпы подаваніе не предвидится ни малѣйшей надежды). Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ; всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ (строже, можетъ быть, но только не съ той точки зрѣнія, съ какой его цѣнить другіе). Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ? Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранить и плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ и, въ дѣтской рѣзвости, колеблеть твой треножникъ».

Въ этомъ стихотвореніи, которое у Бѣлинскаго, также оказывается *превосходнымъ*, мнѣ особенно нравится та рѣшимость, съ которою взыскательный художникъ, въ пику равнодушной толпѣ, провозглашаетъ себя царемъ. — Вы, молъ, негоди, не хотите называть меня въ вашихъ глупыхъ журналахъ гениальнымъ поэтомъ, а я самъ возьму да и назову себя царемъ; вотъ вы и останетесь въ дуракахъ. — Впрочемъ, этотъ произвольно-зародившійся царь оказывается царемъ самого страннаго фасона: у него нѣтъ ни придворнаго штата, ни льстецовъ, ни подданныхъ, ни средствъ дѣйствовать, такъ или иначе, на жизнь окружающаго общества. Этотъ своеобразный царь можетъ смѣло завести дипломатическія сношенія съ тѣми царями, которыхъ резиденція находится въ Бедламѣ или въ Бисетрѣ и которые также *живутъ одни*, потому что, вступивши на престолъ, потеряли способность жить скромно и прилично въ обществѣ здравомыслящихъ людей.

Въ 1831 году, въ стихотвореніи: «Эхо» Пушкинъ жалуется на то, что поэтъ, какъ эхо, откликается на всякій звукъ живой природы, а между тѣмъ, самъ не находитъ себѣ отзыва нигдѣ. Жалоба неосновательна и сравненіе неудачно. Поэтъ не находитъ себѣ отзыва только въ томъ случаѣ, когда онъ самъ не откликается на тѣ явленія, идеи, чувства и стремленія, которыя составляютъ преобладающій интересъ въ жизни его современниковъ и соотечественниковъ. Другими словами: только тотъ поэтъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній, который поетъ про себя и для себя, призирая толпу.

Въ стихотвореніи: «Памятникъ», написанномъ въ 1836 году, Пушкинъ, уже шесть лѣтъ тому назадъ провозгласившій себя царемъ, провозводитъ себя въ безсмертные гении и въ благодѣтели человѣчества. Нашъ безсмертный геній прямо говоритъ:

«Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный;
Къ нему не заростетъ народная тропа;
Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа (это называется: *exsurgit de reul*).
Нѣтъ! весь я не умру: душа въ завѣтной лѣрѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣныя убѣжитъ —

И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
 Живъ будетъ хоть одинъ пинтъ.
 Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
 И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
 И гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынѣ дикой
 Тунгусъ, и другъ степей, Калмыкъ —
 И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
 Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ (?),
 Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ (?)
 И милость къ падшимъ призывалъ. (?)»

Превознеся самого себя выше облака ходячаго и умилившись достаточно надъ всѣми своими человѣческими и даже гражданскими добродѣтелями, Пушкинъ вдругъ напускаетъ на себя кротость, смиреніе и равнодушіе къ той самой славѣ, въ которой онъ превзошелъ Наполеона и передъ которою преклонялся со временемъ тунгусы и калмыки:

«Велѣнью Божию, о Муза, будь послушна!
 Обиды не страшись, не требуй вѣнца,
 Хвалу и клевету приеми равнодушно
 И не оспаривай глупца».

Призывая къ себѣ на помощь дикаго тунгуса и друга степей калмыка, Пушкинъ поступаетъ очень разсчитливо и благоразумно, потому что легко можетъ случиться, что болѣе развитыя племена російской имперіи, именно финнъ и гордый (?) внукъ славянъ, въ самомъ непродолжительномъ времени жестоко обманутъ честолюбивыя и несбыточныя надежды искуснаго версификатора, самовольно надѣвшаго себѣ на голову вѣнецъ безсмертія, на который онъ не имѣетъ никакого законнаго права.

Любопытно замѣтить, что въ основаніе своего нерукотворнаго памятника Пушкинъ кладетъ такіе резоны, которые цѣликомъ заимствованы изъ осмѣяннаго и ослѣяннаго имъ міросозерцанія *тупой черни*. Когда поэту приходится предъавлять свои права на безсмертіе, тогда онъ поневолѣ принужденъ заговорить серьезнымъ языкомъ мыслящаго реалиста; онъ признаетъ надъ собою судъ того народа, который прежде украшался обыкновенно, эпитетомъ: «*безсмысленный*»; онъ заговаривариваетъ о *добрыхъ чувствахъ*, тогда какъ прежде у него шла рѣчь только о *сладкихъ звукахъ*; наконецъ, онъ даже произноситъ слово *полезенъ* и соглашается, такимъ образомъ, вступить въ состязаніе съ *печными горшками*.

Эти невольныя уступки гордаго поэта доказываютъ, очевидно, что утилитарныя аксіомы заключаютъ въ себѣ естественную обязательную силу даже для тѣхъ поверхностныхъ умовъ, которые неспособны вывести изъ этихъ аксіомъ все основное направленіе собственной жизни и дѣ-

ательности, Но, обнаруживая собою непоколебимую прочность утилитарных истинъ, вынужденныя уступки эти, конечно, не могутъ принести ни малѣйшей пользы личному дѣлу самого Пушкина. Это дѣло окончательно проиграно, и уступки сдѣланныя Пушкинымъ, даютъ мыслящимъ реалистамъ полное право осудить его безапелляціонно, во имя тѣхъ самыхъ принциповъ, на которые онъ старается опереться и которые онъ, слѣдовательно, признаетъ истинными. — Я буду безсмертенъ, говорить Пушкинъ, потому что я пробуждалъ лирой добрыя чувства. — Позвольте господинъ Пушкинъ, скажутъ мыслящіе реалисты, какія же добрыя чувства вы пробуждали? Привязанность къ друзьямъ и товарищамъ дѣтства? Но развѣ же эти чувства нуждаются въ пробужденіи? Развѣ есть на свѣтѣ такіе люди, которые были бы неспособны любить своихъ друзей? И развѣ эти каменные люди, — если только они существуютъ, — при звукахъ вашей лиры сдѣлаются нѣжными и любвеобильными? — Любовь къ красивымъ женщинамъ? Любовь къ хорошему шампанскому? Презрѣніе къ полезному труду? Уваженіе къ благородной праздности? Равнодушіе къ общественнымъ интересамъ? Робость и неподвижность мысли во всѣхъ основныхъ вопросахъ міросозерцанія? Лучшее изъ всѣхъ этихъ *добрыхъ чувствъ*, пробуждавшихся при звукахъ вашей лиры, есть, разумѣется, любовь къ красивымъ женщинамъ. Въ этомъ чувствѣ, дѣйствительно, нѣтъ ничего предосудительнаго, но, во-первыхъ, можно замѣтить, что оно достаточно сильно само по себѣ, безъ всякихъ искусственныхъ возбужденій; а во-вторыхъ, должно сознаться, что учредители новѣйшихъ петербургскихъ танц-классовъ умѣютъ пробуждать и воспитывать это чувство несравненно успѣшнѣе, чѣмъ звуки вашей лиры. Что же касается до всѣхъ остальныхъ *добрыхъ чувствъ*, то было бы несравненно лучше, если бы вы ихъ совсѣмъ не пробуждали. — Я буду безсмертенъ, говорить далѣе Пушкинъ, потому что я былъ полезенъ. — Чѣмъ? спросятъ реалисты, и на этотъ вопросъ не воспослѣдуетъ ни откуда никакого отвѣта. — Я буду безсмертенъ, говорить, наконецъ, Пушкинъ, потому что я призывалъ милость къ падшимъ. — Господинъ Пушкинъ! скажутъ реалисты, мы совѣтуемъ вамъ обратиться съ этимъ аргументомъ къ тунгусамъ и къ калмыкамъ. Эти дѣти природы и друзья степей, быть можетъ, повѣрятъ вамъ на-слово и поймутъ именно въ этомъ филантропическомъ смыслѣ ваши воинственные стихотворенія, написанныя не во время войны, а послѣ побѣды. Что же касается до *юрдаю внука Славянъ* и до *Финна*, то эти люди уже слишкомъ испорчены европейскою цивилизаціею, чтобы принимать воинственные восклицанія за проявленіе кротости и человеколюбія.

Х.

Я полагаю, что я могу теперь проститься съ Пушкинымъ и что эта вторая статья (разборъ лирики) имѣть полное право сдѣлаться послѣднею. Принимаясь за эту работу, я вовсе не имѣлъ намѣренія представить читателямъ полный и подробный разборъ всѣхъ лирическихъ, эпическихъ и драматическихъ произведеній Пушкина. Предпринять такой объемистый и утомительный трудъ, въ настоящее время, значило бы придавать вопросу о Пушкинѣ слишкомъ важное значеніе,—такое значеніе, котораго онъ уже не можетъ имѣть въ 1865 году. Приступая къ этой работѣ, я хотѣлъ только высказать громко и открыто и подкрѣпить фактическими доказательствами то мнѣніе, которое уже многіе мыслящіе люди составили себѣ о Пушкинѣ и о всѣхъ поэтахъ и художникахъ его школы.

Теперь это дѣло сдѣлано; въ такъ называемомъ великомъ поэтѣ я показаль моимъ читателямъ легкомысленнаго версификатора, опутаннаго мелкими предразсудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка.

Если, паче чаянія наши литературные противники представляютъ мнѣ какія нибудь дѣльныя возраженія, то я возвращусь къ вопросу о Пушкинѣ и разберу эти возраженія подробно и обстоятельно. Если же—въ чемъ я почти не сомнѣваюсь,—обожатели Пушкина отвѣтятъ мнѣ только скромнымъ молчаніемъ или безсильными воплями комическаго негодованія, то читающая публика увидитъ ясно, безъ всякихъ дальнѣйшихъ толкованій, полную ветхость того кумира, предъ которымъ, по старой привычкѣ и по обязанности службы, преклоняется до сихъ поръ все наше пишущее филистерство.

Въ заключеніе этой статьи, я скажу еще нѣсколько словъ о Бѣлинскомъ. Я уже показаль читателямъ, какимъ образомъ въ этомъ сильномъ умѣ происходила упорная борьба между реализмомъ и эстетикою. Я цитироваль какъ тѣ мнѣнія Бѣлинскаго, въ которыхъ я соглашаюсь съ нимъ, такъ и тѣ, которыя всякого мыслящаго реалиста заставятъ улыбнуться и пожать плечами. Но до сихъ поръ, въ обѣихъ моихъ статьяхъ мнѣ приходилось гораздо чаще опровергать Бѣлинскаго, чѣмъ соглашаться съ нимъ; это обстоятельство можетъ дать о Бѣлинскомъ ложное понятіе тѣмъ читателямъ, которые мало знакомы съ его сочиненіями. Поэтому, я считаю не лишнимъ дорисовать здѣсь ту сторону этой уважаемой личности, которую я поневолѣ долженъ былъ оставить въ тѣни, пока я возился съ усыпительными твореніями Пушкина. Я приведу изъ

статей Бѣлинскаго нѣсколько выписокъ, характеризующихъ его взгляды на тѣ вопросы, за прямое и откровенное рѣшеніе которыхъ реальная критика подвергается до сихъ поръ самымъ ожесточеннымъ нападкамъ.

Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Бѣлинскій о любви или, какъ онъ выражается, о романтизмѣ нашего времени: «Любовь зависитъ отъ сближенія, а сближеніе отъ случайности. Не удалось здѣсь,—удастся тамъ; не сошлись съ одною, сойдется съ другою. Это опять не значитъ, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волѣ своей: это значитъ только то, что если каждый можетъ любить только извѣстный идеалъ, то никогда ни какой идеалъ не является въ мірѣ въ одномъ экземплярѣ, но существуетъ въ большемъ или въ меньшемъ числѣ видоизмѣненій и оттѣнковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиною несчастья его жизни... Одинъ такъ, другой иначе; тотъ одинъ разъ въ жизни, а этотъ — десять разъ: оба равно правы, лишь бы только на совѣсти тотораго нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье». (Т. VIII, Стр. 133). Бѣлинскій говоритъ: «не сошлись съ одною, сойдется съ другою», а Базаровъ говоритъ: «нельзя, ну и не надо; земля не клиномъ сошлась». Предоставляю читателю судить о томъ, велика ли разница между обѣими формулами.

«Вѣрность, говоритъ Бѣлинскій въ другомъ мѣстѣ, перестаетъ быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердцѣ: нѣтъ болѣе чувства—и вѣрность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается—вѣрность опять не имѣетъ смысла, ибо что за услуга быть вѣрнымъ своему счастью?» (Т. VIII. Стр. 173.)

Приглашаю тѣхъ господъ, которые возмущались безнравственностью романа «Что дѣлать?» направить свое великодушное негодованіе противъ Бѣлинскаго,

А вотъ какъ Бѣлинскій трактуетъ вѣрнаго рыцаря Тоггенбурга. «Подлинно—рыцарь печальнаго образа!.. Какъ жаль, что Шиллеръ воскресилъ его не совсѣмъ въ пору да во время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокия и прозаическія, мы жалѣемъ объ этомъ рыцарѣ, но не какъ о человѣкѣ, постигнутомъ рокомъ и несущемъ на себѣ тяжкое бремя *дѣйствительнаго* несчастья, а какъ о счумасшедшемъ». (Стр. 190). Рѣшительно *les beaux esprits se rencontrent*: Базаровъ положительно удивлялся тому, что Тоггенбурга не посадили въ счумасшедшій домъ. Послѣ этого, опираясь на свидѣтельство Бѣлинскаго, осмѣлюсь спросить: неужто, въ самомъ дѣлѣ, съ моей стороны было неслыханною дерзостью назвать *добрякомъ* того поэта, у котораго достало добродушія на то, чтобы воспѣвать чувствительными стихами огорченія счумасшедшаго человѣка.

Вотъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, что долженъ дѣлать человѣкъ въ томъ случаѣ, если любимая имъ особа полюбила другого. «Въ такомъ случаѣ естественно, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметъ за преступленіе или такъ называемую на языкѣ пошлыхъ романовъ *невѣрность*, и еще менѣе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастья отказаться отъ счастья новой любви, можетъ быть, бывшей причиною ея къ нему охлажденія. Еще болѣе естественно, что въ такомъ случаѣ ему остается сдѣлать только одно:—со всѣмъ самоотверженіемъ души любящей, со всею теплотою сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить *его* или *ее* на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если нѣтъ силъ освободиться отъ него, глубоко скоронить отъ всѣхъ, и въ особенности отъ *него* или отъ *нея* въ своемъ сердцѣ.» (Т. VIII. Стр. 463).

Прочитавши эти строки, можно представить себѣ, съ какимъ глубокимъ и сознательнымъ уваженіемъ отнесся бы Бѣлинскій къ характеру и поступку Лопухова, и какую вдохновенную критическую статью написать бы онъ по поводу того романа, на который такъ упорно и такъ тупо клеветали солидные люди нашей литературы. Изъ этого романа Бѣлинскій узналъ бы впрочемъ, что фантастическое и неправдоподобное *самоотверженіе* замѣняется въ подобныхъ случаяхъ, совершенно удовлетворительно, разумнымъ эгоизмомъ или правильнымъ пониманіемъ собственной выгоды.

А вотъ мысли Бѣлинскаго о ревности вообще и объ Отелло въ особенности: «Въ образованномъ человѣкѣ нашего времени шекспировъ Отелло можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тѣмъ, однакожъ, условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человѣкъ нашего времени только разсмѣется отъ новыхъ Отелликовъ, въ родѣ Марселя въ нелѣпой повѣсти Эжена Сю, «Крао» и безыменнаго господина въ отвратительной повѣсти Дюма: «Une Vengeance». Но люди, которымъ нужно доказывать, что въ наше время кинжалы, яды и даже пистолеты вслѣдствіе ревности, суть ничто иное, какъ пошлые театральные эффекты или результаты болѣзненнаго безумія, животнаго эгоизма и дикаго невѣжества,—такіе люди не стоятъ того, чтобы тратить на нихъ слова», (Стр. 464). Это мѣсто я привожу для тѣхъ господъ, которые были очень озадачены моимъ замѣчаніемъ на счетъ Отелло, помѣщеннымъ въ статьѣ: «Мотивы русской драмы».

Наконецъ, вотъ вамъ еще слова Бѣлинскаго о родительской власти: «Если-бъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни, на основаніи собственныхъ корыстныхъ расчетовъ,—всѣ бы уви-

дѣли, что отецъ любить себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ отца». (Стр. 195). Коротко и ясно! Это мѣсто я рекомендую тому жалкому нигмю, который обвинялъ Помяловскаго въ стремленіи возстановлять дѣтей противъ родителей. Словомъ, на всѣхъ пунктахъ, кромѣ эстетики, наши противники, нападая на насъ нападаютъ въ то же время и на Вѣлинскаго, котораго они совершенно не кстати *объясняютъ* своимъ учителемъ.

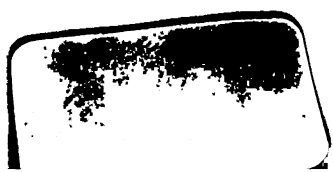
1886 г. Іюль.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

	Стр.
I. Сердитое безсилье.	1
II. Промахи незрѣлой мысли	37
III. Романъ кисейной дѣвушки	87
IV. Пушкинъ и Бѣлинскій	123

751569



до сокрытія жизни подъ сѣнь уединенія, то этою меланхолическою фразою, очевидно, плѣнился и вдохновился Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, приглашавшій прелестную городничиху удалиться вмѣстѣ съ нимъ подъ сѣнь струй.

Перехожу къ послѣднимъ двумъ куплетамъ, которые особенно понравились Бѣлинскому. — «Пируйте же говорить Пушкинъ,

Пока еще мы тутъ!

Увы, нашъ кругъ часть отъ часу рѣдѣетъ,
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣтъ;
Судьба глядитъ (?), мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему.....
Кому-жъ изъ насъ подъ старость день лица
Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! Средь новыхъ поколѣній
Докучный гость и лишній, и чужой,
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой.»

Выписавъ эти строки, Бѣлинскій разсуждаетъ о нихъ или, вѣрнѣе восторгается ими слѣдующимъ образомъ: «Какая глубокая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, свѣтлая скорбь! Каждая мысль сама по себѣ такъ исполнена поэзіи, независимо отъ формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! (Гм! А «судьба глядитъ»? Это — не метафора?) Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ поколѣній, дрожащею рукою закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ — это не просто поэтическіе стихи, это — поэтическая картина.» (Стр. 378). А по моему, эта поэтическая картина составляетъ именно самое крупное пятно во всемъ стихотвореніи, которое, по правдѣ сказать, есть ничто иное, какъ сплошной рядъ болѣе или менѣе крупныхъ пятенъ. Эта поэтическая картина показываетъ намъ особенно наглядно жалкую неспособность автора возвыситься до разумнаго пониманія жизни. Авторъ думаетъ, повидимому, что новыя поколѣнія будутъ уже не людьми, а орангутангами, и что, вслѣдствіе этого, «несчастный другъ» непременно долженъ оказаться среди этихъ новыхъ поколѣній *докучнымъ, лишнимъ и чужимъ гостемъ*.

Автору было 26 лѣтъ, когда онъ писалъ свое стихотвореніе; рисуя поэтическую картину несчастнаго друга, закрывающаго глаза дрожащею рукою, онъ захватывалъ впередъ лѣтъ на сорокъ. И, между тѣмъ, хватая такъ далеко впередъ, онъ не умѣетъ указать *несчастному другу* никакого предохранительнаго средства противъ того печальнаго положенія, которое онъ ему пророчитъ въ далекомъ будущемъ. Видя впереди разладъ съ новыми поколѣніями и холодное одиночество, Пушкинъ даже не задаетъ себѣ вопроса о томъ, есть ли возможность избѣгнуть этого